

М. Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ

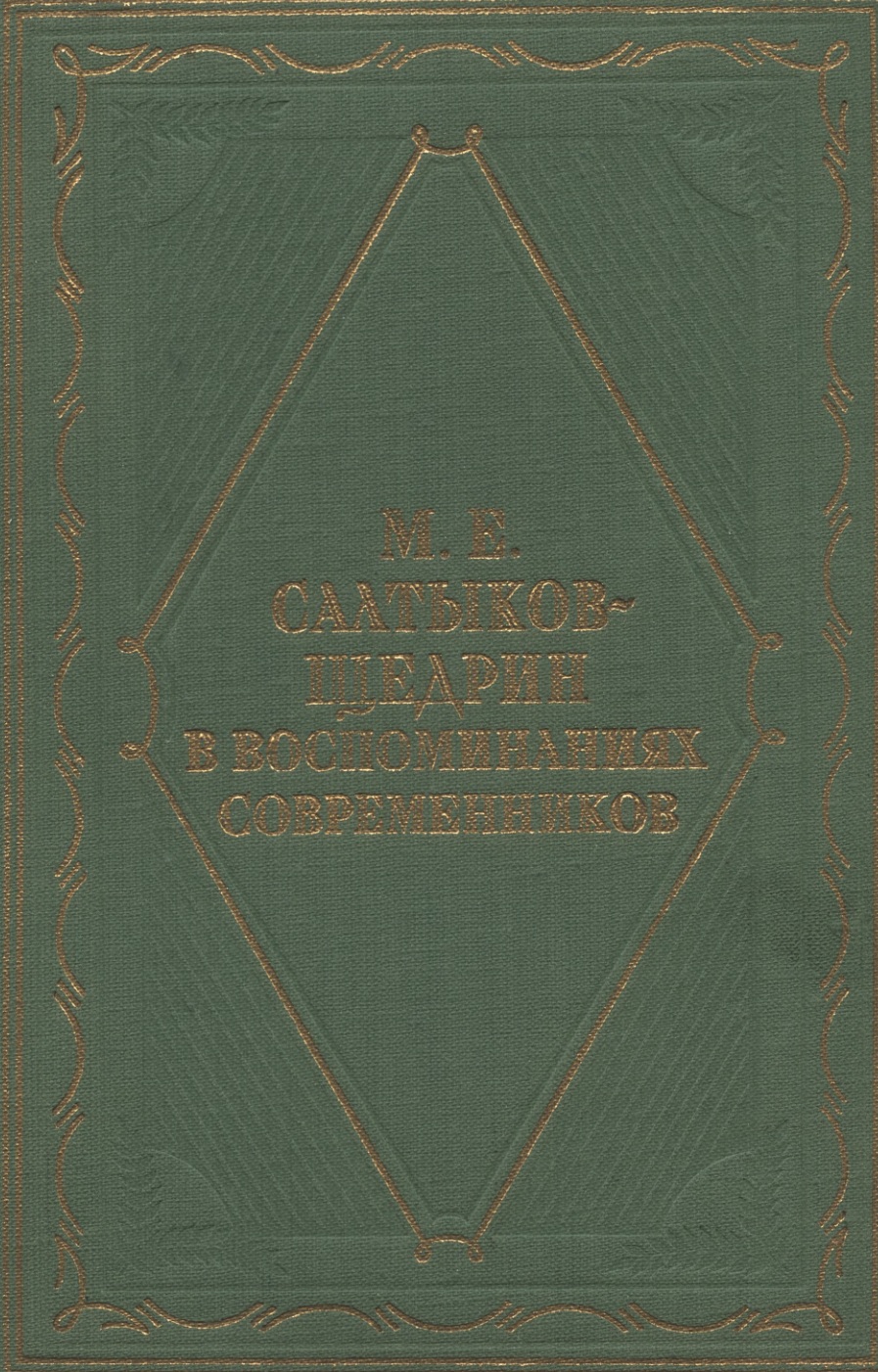


М. Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ

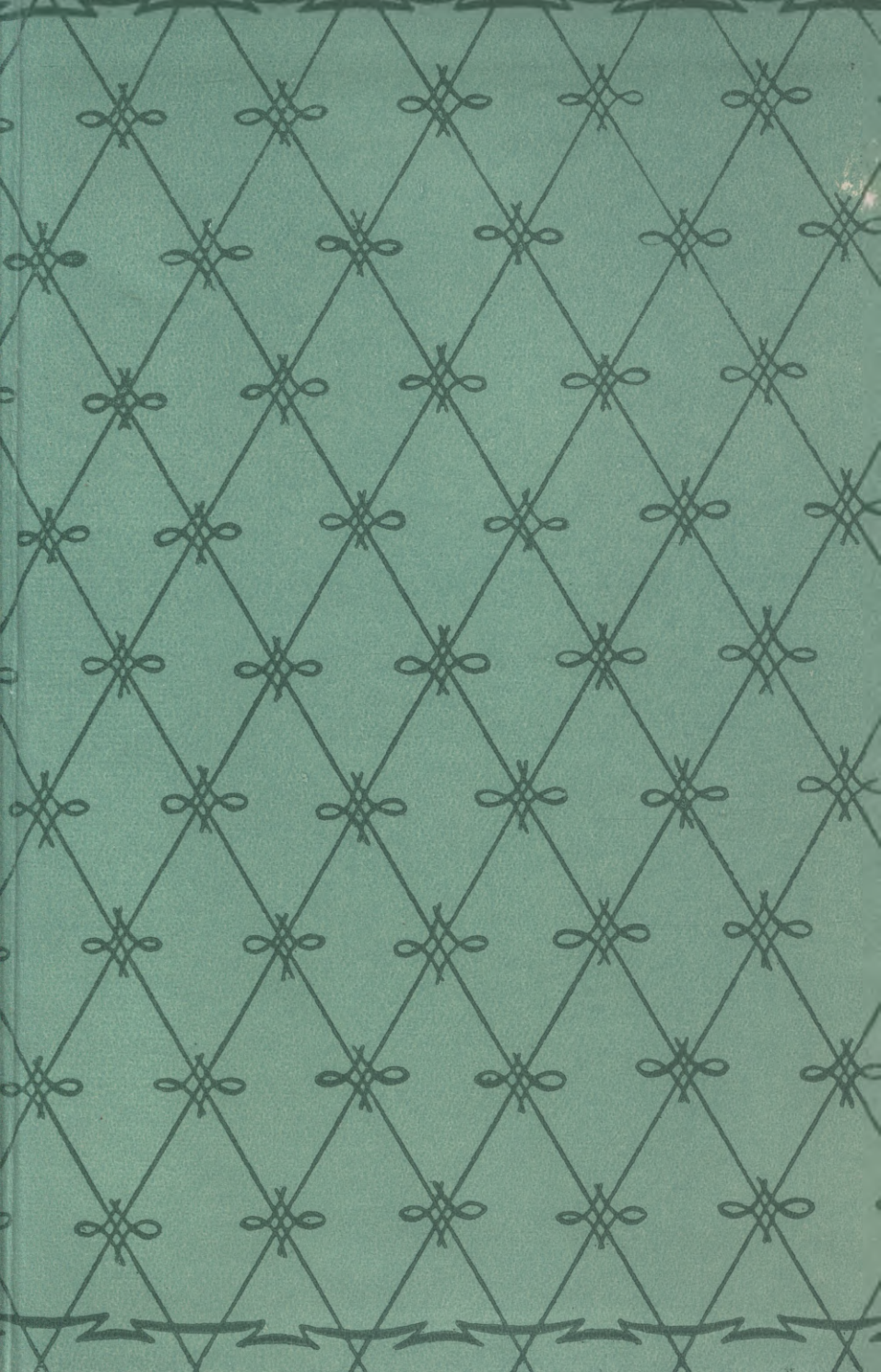
ГОСЛИТИЗДАТ
1957



М. Е.
СААТЫКОВ-
ЩЕДРИН
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ



М. Е.
СААТЫКОВ-
ЩЕДРИН
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

С Е Р И Я ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ



Под общей редакцией

С. Н. ГОЛУБОВА, Н. К. ГУДЗИЯ, С. А. МАКАШИНА,
Ю. Г. ОКСМАНА, Б. Г. РЕИЗОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1957

М. Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН
В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННИКОВ

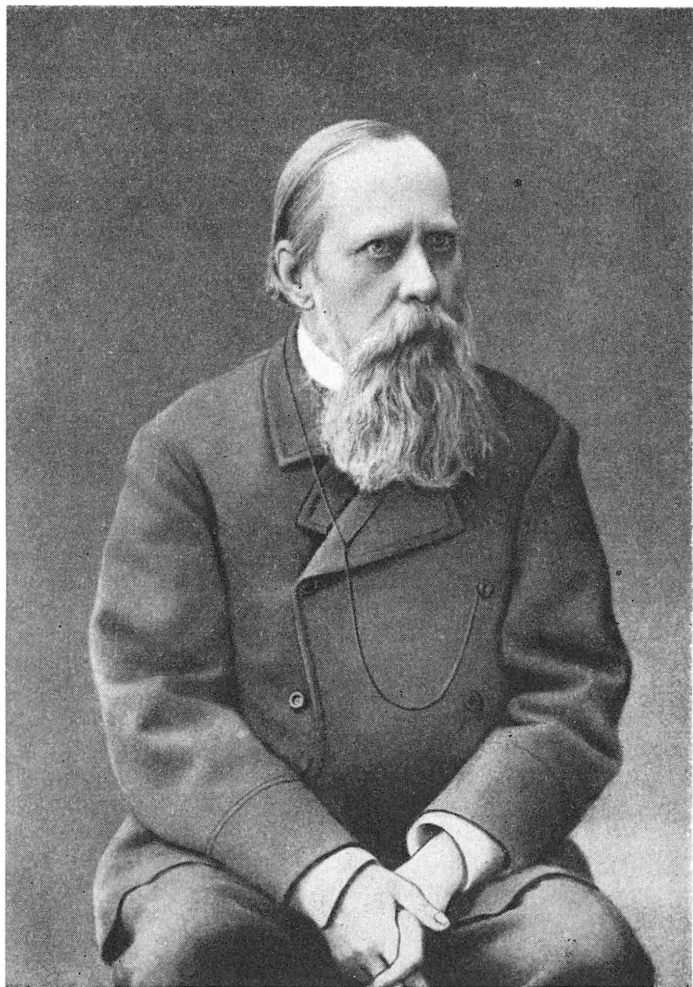


ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1957

Предисловие, подготовка текста
и комментарии
С. А. МАКАШИНА

Оформление художника
Н. ШИШЛОВСКОГО



М. Е. Салтыков-Шедрин. Начало 1880-х г.г.
Фотография К. Шапиро.

ПРЕДИСЛОВИЕ

«...ежели будет моя правдивая биография,
то она может быть любопытна».

Салтыков.

Настоящая книга представляет собой *первый* опыт издания сборника воспоминаний и других свидетельств современников о великом русском писателе Михаиле Евграфовиче Салтыкове (Н. Щедрине).

Несобранность мемуарных источников — одна из причин, затруднявших до сих пор освещение некоторых сторон его личной, литературной и политической биографии.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРЕДИСЛОВИИ, ВВОДНЫХ ЗАМЕТКАХ И КОММЕНТАРИЯХ

ГПБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки РСФСР им М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

ИМЛ — Центральный Партийный архив Института Марксизма-Ленинизма при ЦК КПСС (Москва).

ИРЛИ — Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР (Ленинград).

ЛБ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (Москва).

ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства (Москва).

ЦГИАЛ — Центральный Государственный исторический архив (Ленинград).

ЦГИАМ — Центральный Государственный исторический архив (Москва).

Мемуарная литература о Салтыкове довольно обширна, но фрагментарна, пестра, не всегда соответствует историческому значению жизни и творчества гениального сатирика и содержит немало тенденциозных страниц.

Последнее, разумеется, не удивительно. У всякого выдающегося деятеля эпохи бывает обычно много и друзей и врагов. Тем более они были у такого писателя, как Щедрин, всегда находившегося на «переднем крае» общественно-литературной борьбы своего времени.

«Нехорошо, что Вы нездоровы... — писал однажды Салтыкову Тургенев, — но что Вы жалуетесь на ненависть иных людей, которые даже бледнеют при одном Вашем имени, — это Вы напрасно. — Кто возбуждает ненависть — тот возбуждает и любовь. Будь Вы просто потомственный дворянин М. Е. Салтыков — ничего бы этого не было. — Но Вы Салтыков-Щедрин, писатель, которому суждено было провести глубокий след в нашей литературе — вот Вас и ненавидят и любят, смотря кто»¹.

Борьба «любви» и «ненависти» вокруг Салтыкова продолжалась и после его смерти и наложила резкий отпечаток на многие воспоминания. «Любовь» порою так смягчала жесткие тона на портрете Салтыкова, что превращала сурового сатирика в евангельского агнца кротости и всепрощения. «Ненависть» же рисовала его беспробудным пессимистом, мрачным человеконенавистником, готовым глумиться надо всем — и добрым и злым, — отрицала гуманистическое содержание щедринской сатиры и ее устремленность к будущему.

Салтыков с величайшей страстностью относился к современной ему действительности, пытаясь воздействовать на нее в направлении своих идеалов. Его позиция одновременно обвинителя и судьи правящих классов старой России и всех созданных ими социально-политических институтов, те чувства гнева и презрения, которые они в нем возбуждали, тот беспощадный «правед», которому он подвергал в своей сатире дворянско-помещичьих, полицейско-бюрократических и буржуазно-либеральных деятелей, не оставались, разумеется, безответными. Ему платили злобой, бранью и клеветой. Салтыков никогда не знал безразличного или просто спокойного к себе отношения.

При отборе воспоминаний о писателе, стоявшем, по выражению того же Тургенева, «на самом юру и виду», на котором «можно сказать, почти исключительно сосредоточено внимание и

¹ «Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб. 1884, стр. 497 (письмо от 24 сентября 1882 г.).

читателей и начальства»¹, нельзя было, не впадая в ту или другую односторонность, обойти борьбу мнений, кипевшую вокруг деятельности Салтыкова и вокруг него самого (разумеется, «воспоминания» клеветнического характера в расчет не принимались). Иные из мемуарных документов, включенных в настоящий сборник, противоречат друг другу. Эти споры не всегда могут быть отнесены только за счет тех отклонений от истины, которые — вольно или невольно — допускались авторами воспоминаний в угоду своим взглядам или пристрастиям. Во многих случаях в этих разноречиях отражена объективная действительность.

Берясь за перо мемуариста с искренним желанием рассказать всю правду о Салтыкове, многие из современников были не в состоянии разобраться в большой сложности его личности, в трудностях его идейного развития, уловить смысл отдельных срывов и ошибок на его жизненном пути. Для иных же авторов воспоминаний внутренний образ Салтыкова — человека и писателя — заслонялся или искажался некоторыми внешними проявлениями его характера, особенно его резким прямодушием, не знавшим никаких смягчений условной вежливостью и потому казавшимся многим грубостью, а также его вспыльчивостью и раздражительностью, доведенной до крайности мучительным недугом последних лет.

Говоря о значении биографий известных исторических деятелей, Салтыков подчеркивал, что они лишь в том случае интересны и поучительны, если выполнены «без малейшей утайки» (V, 380—381)². «У нас есть, — писал Салтыков, — дрянная привычка показывать... только казовые концы жизни... Рассказать с большею или меньшею подробностью происшествия жизни известного лица, конечно, очень легко и возможно, но ведь для добросовестного биографа этого недостаточно. Он захочет увидеть своего героя лицом действующим, окруженным известною средою, а тут-то именно и предстоят ему со всех сторон различные непреодолимые преткновения. «Вот это неловко, вот это несвоевременно, а вот этого и совсем нельзя», — будет он слышать на каждом шагу и поймет, что задуманное им дело не только трудно, но едва ли и удобно исполнимо» (V, 381).

В этой книге, как убедится читатель, показаны не только «казовые концы жизни» Салтыкова. Приукрашивания и выравнивания в биографиях великих людей прошлого столь же вредны, как

¹ «Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб. 1884, стр. 273 (письмо от 5 декабря 1875 г.).

² Здесь и во всей книге ссылки на произведения и письма Салтыкова даются по изданию: Н. Щедрин (М. Е. Салтыков), Полн. собр. соч. в 20 томах, М., 1933—1941,

и любое другое тенденциозное освещение истории. Однако отбор биографических документов по принципу «без малейшей утайки» предполагает по меньшей мере два необходимых условия: условия *достоверности* и *содержательности* документов, призванных рассказать правду, какая бы она ни была.

Чтобы отобрать наиболее достоверные и содержательные материалы для книги воспоминаний о Салтыкове, необходимо было прежде всего учесть — с возможной для индивидуальных усилий составителя полнотой — все напечатанные, а также еще не издававшиеся, оставшиеся в рукописях мемуарные и дневниковые источники, притом не только специально посвященные Салтыкову, но и относящиеся к нему частично — главами и отдельными, более или менее развернутыми, эпизодами.

Таких источников насчитывается довольно много — несколько сот¹. Большую часть этих материалов удалось изучить и подвергнуть проверке «на достоверность». О методе и приемах проверки читатель может отчасти судить по характеру печатаемых комментариев. Все основные факты, сообщаемые в воспоминаниях, сопоставлялись не только с соответствующими показаниями других мемуаристов, но и со свидетельствами, зафиксированными непосредственно в документах того времени, в переписке современников, в газетной и журнальной летописи тех дней, в официальном делопроизводстве.

Особенное внимание было уделено выяснению вопроса о возможных документальных первоисточниках воспоминаний, писавшихся в годы старости, когда память, естественно, слабеет. В результате удалось по-новому оценить источниковедческую ценность некоторых давно известных мемуарных материалов. Так, например, обращение к черновой рукописи воспоминаний доктора Н. А. Белоголового, — рукописи, включающей расширенную, по сравнению с известным в печати текстом, редакцию очерка жизни Салтыкова, позволило установить, что в основу этого незавершенного очерка легла запись автобиографических рассказов сатирика, сделанная с его слов Белоголовым в Висбадене летом 1885 года.

В результате отбора всех учтенных мемуарных материалов о Салтыкове определилась относительно небольшая по объему, но

¹ Список источников не печатается в настоящей книге вследствие его довольно большого объема, а также потому, что в капитальной «щедриниане» Л. М. Добровольского предусматривается издание специального указателя мемуарной литературы о Салтыкове (первый том — «М. Е. Салтыков-Щедрин в печати» — вышел в свет в 1949 году, а второй — «Прижизненная литература о М. Е. Салтыкове-Щедрине» — подготовлен к сдаче в печать).

численно (шестьдесят) все же значительная группа надежных и в том или ином отношении интересных и содержательных воспоминаний и мемуарных фрагментов. Некоторые из этих документов публикуются впервые: дневник А. И. Артемьева, письма Е. С. Некрасовой, воспоминания В. И. Танеева и другие. Сверх того, в комментариях использовано еще несколько мемуарных и дневниковых текстов подчиненного значения.

В комментариях же процитированы и два отрывка из немногих заслуживающих доверия страниц мемуарной книги сына писателя, К. М. Салтыкова, «Интимный Щедрин» — книги плохой, обывательской.

Включенные в сборник воспоминания охватывают весь период литературной деятельности Салтыкова — от 1848 до 1889 года. Однако они размещены в книге не по этапам салтыковской биографии, а «тематически», по определенным группам авторов. Биографический или хронологический принцип расположения мемуарных источников в таком сборнике вообще, как правило, неосуществим, если не идти на нарушение цельности воспоминаний, охватывающих иногда длительные, многолетние периоды в жизни писателя.

Ярко выраженное субъективное начало в мемуарных произведениях, всегда возникающих на основе индивидуального опыта и личных впечатлений, обязывает составителя сборника воспоминаний о том или ином историческом деятеле придавать важное значение самой личности мемуариста и характеру его отношений с этим деятелем.

Эти общие соображения и подсказали принципы композиционного расположения материалов сборника.

Применительно к биографии Салтыкова современники, оставившие о нем свои воспоминания, могут быть разбиты на пять групп: 1) писатели, 2) соредакторы и ближайшие помощники по руководству журналом «Отечественные записки», 3) представители радикально-демократической интеллигенции, участники революционного и студенческого движения, 4) сослуживцы и свидетели административной деятельности писателя на государственной службе и, наконец, 5) друзья и знакомые, общавшиеся с писателем исключительно или преимущественно в его домашней обстановке.

Соответственно указанным группам все материалы сборника разбиты на пять разделов. Внутри них воспоминания расположены — там, где это было возможно — строго хронологически либо, в иных случаях, во временной последовательности *основных событий*, отраженных в воспоминаниях.

Интерес и значение для биографии Салтыкова каждого из мемуарных источников, введенных в сборник, а также общественная

и литературная позиция авторов воспоминаний и их отношение к Салтыкову определены во вводных заметках к каждому документу. Это позволяет ограничиться в настоящем предисловии краткими характеристиками общего содержания каждого из пяти отделов и указаниями на связь отдельных групп мемуарных источников с некоторыми принципиальными вопросами изучения жизни и деятельности Салтыкова.

В первом разделе — *«Среди литераторов»* — помещены воспоминания, принадлежащие перу писателей или других деятелей, выступавших в печати и связанных с Салтыковым преимущественно литературно-журнальными отношениями.

Почти все авторы воспоминаний этого раздела — сотрудники «Современника» или «Отечественных записок», двух ведущих демократических журналов, в которых Салтыков был редактором. Естественно, что большинство мемуаристов рассказывает главным образом об отношении Салтыкова к их собственным произведениям, печатавшимся в названных журналах. Воспоминания П. В. Засодимского, В. Г. Короленко, П. Д. Боборыкина, Н. Н. Златовратского, Ив. Щеглова (И. В. Леонтьева) и других содержат ряд ценных сведений об отношении к их творчеству Салтыкова. Но в этих же, как и в других, воспоминаниях сообщается немало фактов и наблюдений, представляющих интерес для литературного портрета самого Салтыкова. Таковы, например, зафиксированные мемуаристами высказывания Салтыкова о деятелях современной ему литературы и общественной мысли — о Белинском, Герцене, Чернышевском, Писареве, Тургеневе, Гаршине, и об иностранных писателях — Флобере, Золя, Сенкевиче, Ожешко и других.

Раздел второй — *«В редакции «Отечественных записок»* — отведен воспоминаниям ближайших помощников Салтыкова по редактированию этого издания. Воспоминания относятся преимущественно к последнему — «посленекрасовскому» — периоду существования журнала.

Шестнадцать лет работы Салтыкова в «Отечественных записках» (1868—1884) — центральный и важнейший период в литературной биографии писателя. В бурные шестидесятые годы, с их крутым подъемом, а затем упадком массового общественного движения, с их накалом классово-борьбы, Салтыков освободился от многого в своем идейном прошлом, что осложняло его положение в лагере революционной демократии. Он, в частности, расстался со своим просветительским взглядом на государственную службу, как на одну из сфер приложения пропагандировавшейся им так-

тики социального практицизма, по формуле: «Практиковать либерализм в самом капище антилиберализма»¹.

Освободившись от чиновничьей службы и от попыток связывать с нею свои идейные искания, Салтыков всецело сосредоточивает свои силы в литературе. Он так глубоко уходит в писательство и редакторский труд, так полно подчиняет им свою жизнь, что все остальные факты его биографии, за исключением наступившей его в 1875 году и с тех пор уже не оставлявшей болезни, приобретают второстепенное значение.

«Был он писатель в большей мере, чем все другие писатели, — определял это своеобразие биографии сатирика Короленко. — У всех, кроме писательства, есть еще личная жизнь, и, более или менее, мы о ней знаем. О жизни Щедрина за последние годы мы знаем лишь то, что он писал. Да едва ли и было, что узнавать: он жил в «Отечественных записках»...²

В эти годы Салтыков выступает не только как крупнейшая художественная сила русского освободительного движения, но и как собиратель, организатор и руководитель всего лагеря демократической литературы. Ему и Некрасову, которого Салтыков заменил на посту руководителя «Отечественных записок», фактически с 1876 года, удается сделать этот журнал самым распространенным и влиятельным периодическим изданием в демократических кругах русского общества. Позднее, уже после того как в 1884 году правительство закрыло журнал, Салтыков писал П. В. Анненкову о своей работе редактора: «Наиболее талантливые люди шли в «Отечественные записки» как в свой дом, несмотря на мою нелюдимость и отсутствие обворожительных манер. Мне — *доверяли*, моему такту и смыслу, и никто не роптал, ежели я изменял и исправлял. В «Отечественных записках» бывали слабые вещи, но *глупых* — не бывало... Я Вам скажу прямо: большинство новых литературных деятелей, участвовавшее в других журналах, только о том и думало, чтобы в «Отечественные записки» попасть. Вот Вам характеристика журнала, и позволяю себе думать, что в этой характеристике я занимал свое место» (XX, 56).

Печатаемые во втором разделе воспоминания Г. З. Елисеева, С. Н. Кривенко, Н. К. Михайловского и других, более «молодых»

¹ «Антилиберализм» означает в этой формуле самодержавие, «капище антилиберализма» — его государственный аппарат, а «либерализм» — все противостоящие царизму и реакции освободительно-демократические взгляды (но не политическую идеологию либерализма в современном понимании этого слова).

² В. Г. Короленко, Собр. соч., т. 8, М., 1955, стр. 284 (набросок доклада о Щедринае).

членов редакции «Отечественных записок» — литераторов, имевших возможность непосредственно и в течение длительного времени наблюдать работу Салтыкова-редактора, — являются важнейшими мемуарными документами, широко раскрывающими и комментирующими приведенную автохарактеристику.

Следует, однако, подчеркнуть, что ценность воспоминаний народнических публицистов и критиков «Отечественных записок» заключается именно в том материале, который идет «от факта» — от личных впечатлений и наблюдений, а не от общего взгляда на значение личности и деятельности Салтыкова. И если воспоминания в собственном смысле этого слова содержат много достоверных и ярких штрихов для портрета Салтыкова-писателя и редактора, то идеологические характеристики несут на себе иногда явную печать либерально-народнической путаницы и фальши. Особенно показательна в этом отношении попытка Елисеева во второй — «теоретической» — части своих незавершенных воспоминаний (в настоящий сборник она не вошла) представить Салтыкова в роли сторонника и проводника либерально-оппортунистической программы «разумного соглашения с властью», а руководимый им печатный орган — в качестве журнала, который будто бы «шаг за шагом шел за правительством и искренне и горячо отстаивал как все совершенные им уже реформы, так и те, которые оно предполагало еще совершить» («Статья о Салтыкове», ИРЛИ, ф. 366, оп. 7, № 21, лл. 16 и 36). Елисеев приписывает тут Салтыкову свою собственную программу безудержного оппортунизма, к которому он пришел в свои поздние годы. Салтыков же не только сурово полемизировал с такими взглядами, но и вынужден был принять нелегкое для себя решение об отстранении Елисеева от участия в руководстве «Отечественными записками». Лишь закрытие журнала правительством помешало осуществить это решение.

Материалы, сгруппированные в разделе *«Встречи с участниками революционного и студенческого движения»*, немногочисленны, невелики по объему и не очень значительны по содержанию. Они способны, быть может, разочаровать тех, кто склонен слишком прямолинейно представлять себе связь Салтыкова с освободительной борьбой своего времени.

Как все подлинно великие художники, Салтыков писал всегда о самых коренных социальных вопросах современности, и писал глубоко тенденциозно. Основным же, кардинальнейшим из всех вопросов тех десятилетий исторической действительности, на которые падает деятельность Салтыкова, был вопрос о буржуазно-демократической революции. «И если перед нами действительно

великий художник, — писал Ленин о Толстом, — то некоторые хотя бы из существенных сторон революции он должен был отразить в своих произведениях»¹. Ленинский критерий приложим и к Салтыкову. Великий сатирик, правда, не дожил, как Толстой, до времени наступления первой русской революции, но его деятельность совпала с эпохой подготовки этой революции, поскольку, по определению Ленина, «1861-ый год породил 1905-ый». В своем творчестве Салтыков отразил основные, решающие черты периода подготовки, собирания сил назревающей «крестьянской буржуазной революции». Причем он отразил их с позиций наиболее прогрессивной социально-политической группы своего времени — с позиций, как это определил Ленин, «старой» народнической демократии»², то есть революционной демократии, крупнейшим представителем которой в области художественной литературы Салтыков является наряду с Некрасовым.

Один из важнейших источников глубины и силы салтыковской сатиры — ее глубочайший демократизм. Писатель утверждал: «Единственно плодотворная почва для сатиры есть почва народная, ибо ее только и можно назвать общественной в истинном и действительном значении этого слова. Чем далее проникает сатирик в глубины этой <народной. — С. М.> жизни, тем весче становится его слово, тем яснее рисуется его задача, тем неоспоримее выступает наружу значение его деятельности» (VIII, 297). Он хотел, чтобы его творчество служило «кровному человеческому делу» освобождения общества от гнета всякой эксплуатации, и писал о себе, что «сердце его истекало кровью ради народа».

Ненависть Салтыкова к царскому самодержавию и его полицейско-бюрократическому аппарату, к крепостничеству и его пережиткам, к дворянину-помещику, к купцу-капиталисту, к либералу, пошедшему на сделку с царизмом, вызывалась именно тем, что сатирик видел в них *антинародные* силы. Эти силы были повинны в вековой отсталости, темноте и страданиях русского народа, жившего «под игом безумия» самодержавно-крепостнического строя. Поэтому обличение «бессознательности» и пассивности народных масс, еще выносящих на своих плечах гнет страшного принуждения, также входило в щедринский протест против всей политической системы русского самодержавия. Вместе с тем в щедринской сатире нашла выражение духовная сила сопротивления русского народа вековому порабощению самодержавно-крепостническим строем.

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 15, стр. 179.

² Там же, т. 35, стр. 32.

Силу ударов щедринской сатиры по главным устоям «старой жизни» хорошо понимали наиболее умные идеологи и охранители ее. С этой точки зрения представляет определенный интерес оценка сатиры Щедрина, принадлежащая одному из видных представителей официальной России М. П. Соловьеву (начальник Главного управления по делам печати до 1900 года). Оценка эта привлекла внимание такого крупного идеолога реакции, как В. В. Розанов, и была приведена им в одной из его статей. Признавая «богатство и силу» демократической литературы шестидесятых и семидесятых годов, М. П. Соловьев заметил:

«С появлением каждой новой вещи Щедрина валился целый угол старой жизни. Кто помнит впечатление от его «Помпадуров и помпадурш», его «глуповцев», его «Балалайкина», знает это. Явление, за которое он брался, не могло выжить после его удара. Оно становилось смешно и позорно. Никто не мог отнестись к нему с уважением. И ему оставалось только умереть»¹.

А газета «Московские ведомости» — главный орган дворянско-помещичьей реакции — в своем отклике на смерть Салтыкова дала следующую, чисто политическую оценку его писательской деятельности.

«В тяжелое смутное время конца семидесятых и начала восьмидесятых годов, «сатира» Щедрина была таким же развращающим и разрушающим орудием в руках наших террористов, как и их подпольные листки, заграничные брошюры и динамитные бомбы. М. Е. Салтыков знал это и не прекращал своих глумлений над теми мерами, которые правительству приходилось принимать в борьбе с революционным террором. Террористы того времени делились на нелегальных и легальных деятелей; Щедрин был несомненно самым ярким и самым даровитым представителем последней категории, принесшей России гораздо больше нравственного вреда, чем первая»².

Такие свидетельства прямых, незамаскированных политических врагов Салтыкова помогают современному читателю глубже понять, каким действенным оружием в борьбе против буржуазно-помещичьего строя в России являлась его сатира. Она была мощной идейной силой, работавшей на революцию. Но, отдав свое перо писателя делу освободительной борьбы, представляя, пользуясь определением Добролюбова, *партию народа в литературе*, Салтыков не принимал непосредственного практического участия в революционном движении, разгоравшемся в стране.

¹ В. Розанов, М. П. Соловьев и К. П. Победоносцев о бюрократии. — «Новое слово», СПб. 1910, № 1, стр. 19.

² «Московские ведомости», 1889, № 121 от 4 мая.

Происхождение из старинной и богатой дворянской семьи, воспитание на «лоне материальной обеспеченности и эстетических преданий», в привилегированнейшем Александровском лицее (бывшем Царскосельском), крупные должности в государственном аппарате, занимавшиеся им до конца шестидесятих годов, имущественное положение помещика средней руки, сохранявшееся до конца семидесятых годов, семейный быт, определявшийся вкусами жены — красивой светской женщины, вовсе не причастной к миру идейных интересов своего мужа, — все это в конечном итоге не помешало Салтыкову стать тем, чем он стал — великим писателем русской демократии. Но все эти обстоятельства, а также некоторые другие, способствовали возникновению ряда противоречий в Салтыкове, в том числе противоречий, в которые он впадал в жизни, но которые не были заметны в его литературной деятельности. В самом деле, каждый читатель Щедрина ощущает, какой ненавистью дышал сатирик, когда писал свои «сказания» о чиновниках-«помпадурах» или о дворянско-буржуазных либералах, умеренных российских «прогрессистах». Но домашний, семейный быт Салтыкова был больше связан именно с этой ненавидимой и отрицаемой им социальной средой, чем с «миром молодой и борющейся России» (Лавров). Сам писатель всегда помнил об этой светотени своей жизни и не раз сурово осуждал себя за этот, как ему казалось, разлад между «словом и делом». «Отчего ты не шел прямо и не самоотвергался? — подводит итоги своей жизни Крамольников, герой известной щедринской «сказки-элегии» «Приключение с Крамольниковым». — Отчего ты подчинял себя какой-то профессии, которая давала тебе положение, связи, друзей, а не спешил туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицом к лицу с этими стонами, а волновался ими только отвлеченно? Из-под пера твоего лился протест, но ты облачал его в такую форму, которая делала его мертворожденным. Все, против чего ты протестовал, — все это и поныне стоит в том же виде, как и до твоего протеста... Ты протестовал, но не указал ни того, что нужно делать, ни того, как люди шли вглубь и погибали, а ты слал им вслед свое сочувствие...» (XVI, 230).

Конечно, Крамольников — не Салтыков. Это обобщенное изображение русского просветителя-демократа — «коренного пошехонского литератора», — вынужденного вторгаться в жизнь только пером и тоскующего от отсутствия прямой общественной практики, революционного «дела». При всем том эмоционально-автобиографическая окраска образа Крамольникова очевидна. Она признавалась всеми современниками, писавшими или упоминавшими об этом образе; не отрицал ее и сам Салтыков. Человек с огромными

практическими запросами, с властной тягой к деятельной жизни, боец по темпераменту, он мог в соответствии со своими взглядами и в условиях своего времени только в литературе найти применение своим силам, а это не удовлетворяло его активную натуру. И несомненно, отпечаток именно салтыковской «думы жестокой» лежит на самообвинениях Крамольникова, столь близких некрасовской жажде революционного подвига:

Уведи меня в стан попибающих
За великое дело любви!

В свете всего исторического опыта освободительной борьбы в России читателю наших дней ясно, насколько Салтыков был неправ, адресуя себе горькие упреки Крамольникова. К. Маркс указывал, в одном из писем к М. М. Ковалевскому, на необходимость для писателя «различать то, что какой-либо автор в действительности дает, и то, что он дает только в собственном представлении»¹. И если в «собственном представлении» Салтыкова его «протест» казался ему *иногда* «мертворожденным», то в действительности правда была не в этих суровых укорах требовательной совести писателя-демократа, а в выдающемся объективном значении его сочинений для развития политического сознания русского общества. Они будили совесть, звали к борьбе за народное освобождение.

Теперь нам ясно, насколько неправы были те, правда немногие, современники, которые склонны были ставить Салтыкову в упрек его непричастность к непосредственной практике революционной работы. Такой упрек был предъявлен Салтыкову, например, Львом Тихомировым, видным деятелем партии «Народная воля», членом ее Исполнительного комитета, впоследствии же ренегатом. После закрытия правительством, весной 1884 года, «Отечественных записок» Лев Тихомиров, по словам П. Л. Лаврова, предлагал Салтыкову уехать за границу, перейти на положение политического эмигранта и возобновить издание «Отечественных записок» в условиях «вольной русской печати». Салтыков, разумеется, отверг этот проект, совершенно нереальный, да и субъективно неприемлемый для него по многим причинам, в том числе потому, что жить где-либо вне России он был неспособен. Он остался на родине и сумел создать и напечатать здесь, в условиях свирепого разгула реакции восьмидесятых годов, такие произведения, как «Пестрые письма»,

¹ «Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с русскими политическими деятелями», изд. 2-ое, М. 1951, стр. 233 (письмо от апреля 1879 г.).

«Сказки», «Мелочи жизни» и «Пошеховская старина». Они не только обогатили русскую литературу художественными ценностями первоклассного значения, но и содействовали политическому развитию русского общества в неизмеримо большей степени, чем это мог бы сделать еще один эмигрантский журнал или листок того времени. Этот пример является выразительной иллюстрацией известного положения, сформулированного Лениным: «Вульгарный революционаризм не понимает того, что слово тоже есть дело; это положение бесспорное для приложения к истории вообще или к тем эпохам истории, когда открытого политического выступления масс нет, а его никакие путчи не заменят и искусственно не вызовут»¹.

Недооценка того, что в исторических условиях России второй половины XIX века именно *слово* великого писателя-демократа и являлось огромной важности *делом* в освободительной борьбе русского народа, приводит иных авторов к неверному исходному тезису: признанию обязательности участия Салтыкова в конспиративной деятельности русских революционеров. Конечно, в биографии Салтыкова далеко еще не все основные факты приведены в известность. Но то, что известно и документировано надежными источниками, свидетельствует о том, что прямого, личного участия в революционной практике Салтыков никогда не принимал (если не считать некоторой его прикосновенности в юные годы к одному из кружков петрашевцев).

Публикуемые в третьем разделе сборника мемуарные источники со своей стороны подтверждают именно этот вывод, а не высказывавшиеся в литературе бездоказательные утверждения о том, будто бы Салтыков был членом первой «Земли и воли» — крупнейшего тайного общества шестидесятых годов.

Однако эти же мемуарные источники свидетельствуют о несостоятельности и другого, прямо противоположного утверждения, будто бы Салтыков вообще не имел никакого общения с людьми, непосредственно связанными с революционной практикой, так как был-де принципиальным легалистом и строжайше придерживался этой линии политического поведения. Между тем можно назвать немало участников революционного движения шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых годов, произведения которых Салтыков безымянно печатал в «Отечественных записках», с которыми был лично знаком или же имел с ними кратковременные встречи и беседы, вызванные теми или другими поводами и обстоятельствами. Помимо руководителей «Современника», великих революционеров

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 9, стр. 53.

Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, назовем здесь еще следующие имена: Н. В. Шелгунова, В. А. Обручева, Л. И. Мечникова, Н. А. Серно-Соловьевича, М. Л. Михайлова; Н. Я. Николадзе, П. Л. Лаврова, Г. А. Лопатина, А. П. Корбы, А. В. Прибылева, А. И. Ульянова, А. И. Ульяновой, П. Ф. Якубовича (Мельшина), а также ближайших сотрудников писателя по редакции «Отечественных записок» — Н. К. Михайловского, С. Н. Кривенко и М. А. Протопопова.

Лишь малая часть этих знакомств и встреч Салтыкова освещается в существующих воспоминаниях. Но, несмотря на свою немногочисленность и отрывочность, материалы третьего раздела сборника все же дают некоторое представление о характере и объеме личных связей, существовавших у Салтыкова с людьми из лагеря «действующих революционеров».

Среди других материалов раздела особый интерес для биографов сатирика представляют: рассказ С. Г. Стахевича о беседах Салтыкова с Чернышевским — на темы о будущем политическом устройстве России, мемуарная заметка Германа Лопатина, устанавливающая факт свиданий Салтыкова с этим замечательным революционером, наконец сведения о том, что в составе студенческих deputаций Салтыкова посетили брат и сестра Лейнина — Александр Ильич Ульянов и Анна Ильинична Ульянова, которая, как выясняется, была автором одного из «адресов», врученного писателю от учащейся молодежи.

Заслуживают быть отмеченными также сообщения мемуаристов как в третьем, так и в других разделах об участии Салтыкова в хлопотах об освобождении из ссылки административно сосланных Д. П. Сильчевского, Н. Н. Кузнецова и других.

Четвертый раздел называется «*На службе*». Но входящими в этот раздел воспоминаниями и другими материалами освещается круг вопросов значительно более широкий, чем непосредственно относящийся к административной деятельности писателя. Объясняется это тем, что чиновничья служба Салтыкова, продолжавшаяся в общей сложности более двадцати лет, оказалась тесно связанной и с его творчеством и с его идейными исканиями.

Однажды, в беседе с редактором журнала «Русская старина» историком М. И. Семевским, происходившей в 1882 году, Салтыков сказал своему собеседнику: «Вообще... о времени моей службы я стараюсь забыть. И вы ничего о ней не печатайте. Я — писатель, в этом мое призвание». Однако в ответ на последовавшую реплику Семевского Салтыков тут же согласился, что «если бы он не прошел всех стадий службы... тогда, быть может, он и не стал бы

тем, что он теперь, то есть не знал бы так Русь и всю ее бюрократию».

Действительно, длительное пребывание как в центральных правительственных учреждениях Петербурга, так и в «глуховских омутах» провинции дало Салтыкову возможность превосходно, изнутри узнать весь механизм бюрократической машины царизма. И не только механизм. В годы ссылки и службы он был поставлен в необходимость ознакомиться с политическим бытом самодержавной власти во многих главных ее звеньях и проявлениях: с правами государственной администрации царизма, с удручающей тупостью канцелярщины, с произволом суда и органов политического надзора... Служба дала Салтыкову возможность войти в соприкосновение со всеми слоями русского общества. Он видел и наблюдал русскую жизнь не из окна барской усадьбы и не глазами кабинетного мыслителя-теоретика, а в самой атмосфере тех дней, накаленной классовой борьбой вокруг крестьянской реформы до температуры революционного взрыва.

Современники в один голос твердили: никто из писателей не знал России лучше, чем Салтыков. А так как, начиная с отставки 1868 года и особенно в связи с начавшейся в 1875 году тяжелой болезнью, Салтыков редко выезжал из Петербурга, то следует признать, что на долю службы надо отнести немалую часть того огромного запаса наблюдений над «глубинной» русской жизнью — наблюдений, непрестанно пополнявшихся впоследствии другими путями, — которые питали творчество писателя.

В превосходном знании родной страны была сила Щедрина. Но эта сила оборачивалась иногда и слабостью. Хорошее конкретное знание народной русской жизни, в первую очередь крестьянской, вырабатывало и яд скептицизма. Несомненно Салтыков имел некоторое право смотреть на себя как на человека более широкого жизненного опыта, чем «теоретик» Чернышевский. Но этот эмпирический опыт послужил основой для скептического отношения Салтыкова к возможности поднять тогдашнее крестьянство, народ на активную и организованную борьбу. Правда, Салтыков отнюдь не отвергал принципиальной возможности, а при известных условиях и «необходимости войны», то есть революции (VI, 343). Такую перспективу он сохранял и много думал о ней. Вместе с Чернышевским и другими последовательными демократами он осуждал реформистские пути и, как подчеркивал Ленин, «беспощадно издевался над либералами»¹. Но он и не разделял характерного для революционной демократии начала шестидесятых годов страстного

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 287.

ожидания всеобщего крестьянского восстания. Он не верил, что пришло уже время для определения календарных дат и сроков восстания и для разработки его конкретного плана. Такому ожиданию и такой вере мешало у Салтыкова его убеждение в тяжелой непробужденности народа, в неготовности масс для самостоятельного действия. Он был убежден в относительной длительности еще предстоящего русскому народу исторического пути от «Глухова» к «Умнову» (допуская, что путь этот будет проходить через «Буянов»). Именно это сознание и окрасило в глубоко трагические тона салтыковскую сатиру, в первую очередь «Историю одного города» — главное, вместе с «Прологом» Чернышевского, произведение, отразившее в творческом преломлении художника крах революционной ситуации конца пятидесятых — начала шестидесятых годов.

В какой мере салтыковскому обличению пассивности, недостаточной политической сознательности масс еще долго суждено было «стоять в повестке дня» главной работы русских революционеров, можно показать на следующем примере.

В 1901 году Ленин писал свою известную статью «Гонители земства и Аннибалы либерализма». Статья начинается следующими словами: «Если про русского крестьянина было сказано, что он всего более беден сознанием своей бедности, то про русского обывателя или подданного можно сказать, что он, будучи беден гражданскими правами, особенно беден сознанием своего бесправия»¹ и т. д.

Ленин имеет тут в виду Салтыкова, писавшего в шестом «Письме из провинции»: «...русский мужик беден действительно, беден всеми видами бедности, какие только возможно себе представить, и — что всего хуже — беден сознанием этой бедности» (VII, 255).

Таким образом, Ленин сочувственно цитирует Салтыкова применительно к одной из важнейших задач, стоявших перед всеми русскими революционерами, — задаче «раскачивания масс»², пробуждения в народе и обществе, придавленных самодержавно-крепостническим строем, «сознания собственных сил», что было необходимым условием борьбы с этим строем.

Авторам публикуемых «чиновничьих воспоминаний», разумеется, не могла быть ясна эта связь между наблюдениями Салтыкова над народом и провинциальным обществом («гуртовым русским человеком»), накопленными на государственной службе, и создан-

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 23.

² Там же, т. 23, стр. 231.

ной сатириком на основе этих наблюдений картиной распада правящих сословий и страданий народных масс, еще не способных подняться на широкую, открытую, сознательную борьбу за свободу. Но читателю этих воспоминаний следует помнить об охарактеризованном общем значении чиновничьей службы писателя, которую не столь давно либо замалчивали, считая ее «позором» для демократа (забывая при этом, что почти все члены первой «Земли и воли» служили), либо объясняли ее чисто меркантильными соображениями (не принимая тут в расчет, что такое объяснение воздвигало против Салтыкова тяжкое обвинение в политической беспринципности).

Публикуемые воспоминания сослуживцев Салтыкова представляют интерес еще в двух отношениях. Ранние из них — К. С. Веселовского, И. А. Пузыревского и дневник Н. В. Кукольника — являются надежным первоисточником для истории ареста и ссылки Салтыкова в 1848 году. В других, более поздних — С. Н. Егорова, Г. А. Мачтета, Д. А. Бырдина, Н. Н. Кузнецова и И. М. Михайлова — содержатся сведения для реально-исторического комментария к салтыковским произведениям, написанным на материале рязанской, тверской, пензенской и тульской службы. Особый интерес представляет неизданный дневник А. И. Артемьева. В нем читатель найдет ряд живых зарисовок Салтыкова, сделанных в период работы писателя над его первой книгой — «Губернскими очерками».

Последний, пятый раздел называется *«В кругу семьи, друзей и знакомых»*. В нем сгруппированы воспоминания людей, соприкасавшихся с Салтыковым преимущественно в сфере его частной жизни. Однако название раздела соответствует образуящим его воспоминаниям скорее формально, чем по внутренней сути их содержания. У Салтыкова, по крайней мере к концу его жизни, по существу не было ни семьи, ни того, что обычно понимают под словом «друзья», «дружба».

В черновой тетради к «Дневнику писателя» за 1876 год Достоевский сделал такую запись: «У нас нет семьи», — вспомнились мне слова одного из наших талантливейших сатириков, сказавшего мне это». И в другом месте: *«Нет семьи!»* — говорит Щедрин¹. Запомнившиеся Достоевскому слова Салтыкова относились, разумеется, к общему, а не к частному. Салтыков имел в виду развал семьи под натиском «колупаевской революции» — в условиях бурного развития капитализма в стране (это одна из тем «Благо-

¹ С. Борщевский, Щедрин и Достоевский. История их идейной борьбы, М. 1956, стр. 295.

намеренных речей» и выросших на них «Господ Головлевых»). Но в словах писателя был и автобиографический подтекст. В содержание этого подтекста позволяет проникнуть позднейшая недатированная записка Салтыкова, относящаяся, вероятно, к середине восьмидесятых годов.

«Брак — вот язва и ужас современной жизни, — писал здесь Салтыков, — и ежели я ропщу на свою болезнь, то единственно потому, что она не дает мне работать и изобразить во всех подробностях эту язву, которой я испытал все стадии. Брак — это гибель и людей и детей, и только одну пользу может принести — это познакомить человека с высшим мучительством, какое возможно испытать. Все болезни, все раздражения, все неудачи, все глупости, все измены и пошлости — все отсюда. Ежели я слажу когда-нибудь с собой, то напишу картину, перед которой побледнеют все атласы с изображением венерических болезней» (XIX, 408).

Такой «картины» Салтыков не написал. Но зарисовки к ней встречаются на многих страницах его поздних произведений — в «Мелочах жизни», «Сказках», «Пошехонской старине».

Так, в «сказке-элегии» «Приключение с Крамольниковым» Салтыков следующим образом отмечает глубокий трагизм одной из «мелочей жизни» в современном ему обществе — трагизм семейного начала, не опирающегося на фундамент до конца гармоничных, до конца согласованных «страстей-интересов» человека (Фурье): «Что такое семья? — спрашивает здесь писатель, — как устроиться с семейным началом? Как сделать, чтобы оно не было для человека египетской язвой, не тянуло его во все стороны, не мешало быть гражданином?»

Если говорить о самом Салтыкове, то хотя семья и не помешала ему быть гражданином, но простого человеческого счастья она ему не принесла. «Семья ему душу рвала», — эти слова из того же «Приключения с Крамольниковым» вполне применимы к самому писателю, хотя у этого «медведя с душой ребенка» (Михайловский) были все качества в высшей степени заботливого семьянина.

Салтыков очень скоро оставил просветительские надежды на возможность «перевоспитания» своей жены, которую полюбил, когда она была еще девочкой-подростком, и которая очень скоро развилась в красивую светскую женщину, весьма ограниченную, с вечной заботой о празднике жизни, даже отдаленно непричастную к тому кругу умственных интересов, которыми жил ее муж. В конце концов Салтыков принял ее такой, какой она была, — «куколкой», воспитанной в аристократических традициях Смольного инсти-

тута. И это обстоятельство наложило заметный отпечаток на биографию писателя. О какой-либо общности идейных интересов, разумеется, не могло быть и речи. Салтыков очень скоро почувствовал одиночество в собственной семье. Но устранить этот разлад в своей жизни писателю не удалось. Несмотря на все видимые, подчас очень бурные и грубые проявления ненависти к Елизавете Аполлоновне, Салтыков до конца дней сохранил к ней — самому близкому и вместе с тем самому далекому человеку — сложное и одновременно сильное чувство привязанности, может быть любви. Об этом хорошо знали ближайшие друзья писателя. Один из них, известный врач-клиницист С. П. Боткин, писал в 1887 году Н. А. Белоголовому: «Семейная обстановка Михаила Евграфовича по-прежнему ужасна, она медленно, но верно убивает его, но убрать от него семью или хотя бы только Елизавету Аполлоновну — значит убить его сразу» (ЛБ, — архив Н. А. Белоголового).

Собранные в последнем разделе настоящей книги воспоминания полностью подтверждают достоверность свидетельства С. П. Боткина. Все мемуаристы, говорящие о семейной жизни Салтыкова, рисуют ее мрачными, жесткими красками — и симпатизирующий Елизавете Аполлоновне В. И. Танеев, и более объективные наблюдатели, понимавшие жестокость, хотя и не преднамеренную, этой женщины, — Н. А. Белоголовый, В. А. Оболенский и семья А. М., М. А. и С. А. Унковских.

Созданный Елизаветой Аполлоновной и неуклонно поддерживаемый ею уклад жизни семьи — со светскими визитерами и приемами (правда, лишь на *своей* половине квартиры), со швейцаром в парадной livree, от одного вида которого так оробел однажды писатель-плебей Решетников, с выездами в карете, хотя бы цель «путешествия» находилась за один-два квартала от дома, с французженками-гувернантками — резко не соответствовал общественному положению Салтыкова, как крупнейшего в семидесятые — восьмидесятые годы писателя и деятеля демократической литературы.

Это несоответствие породило в свою очередь еще одно противоречие жизни Салтыкова, которое не раз ставилось ему в вину писателями-разночинцами, особенно из группы молодых сотрудников «Отечественных записок». Салтыков придавал большое значение регулярному общению с литераторами руководимого им журнала. Неукоснительно и ревниво, как строгий начальник, следил он за посещением «редакционных дней» — понедельников — и сам, если был здоров, никогда не манкировал этими собраниями, на которые, по словам Елисеева, «являлся всегда оживленным и возбу-

жденным предстоящими беседами». Но этим, да еще деловой перепиской, и ограничивалось по существу общение Салтыкова с сотрудниками у него литераторами. Неловкость такого положения Салтыков чувствовал и сам. Как-то в разговоре с Белоголовым он сказал, что Тургенев «сильно бранит» его за то, что он не старается сблизиться с молодыми писателями, чтобы «влиять на них частными беседами». Салтыков признался далее, что под воздействием этих упреков он подумывал было открыть у себя писательские «журфиксы», но осуществить свое желание так и не решился. «Я ведь — человек дикий, не общественный, на словах горяч, — говорил он, — и выйдет только то, что мы все перессоримся; да и жена моя — дама не литературная: я заведу литературные журфиксы, а она назовет на них своих знакомых, гвардейцев всякого оружия. Что же это будет такое?»

И вот в результате, всецело тяготея к литературе и предпочитая «звание» литератора всякому иному, Салтыков поддерживал с писателями преимущественно деловые отношения. Весьма показательно свидетельство Михайловского, вспоминавшего: «Глубоко уважая и любя Салтыкова, не только как литературного деятеля, но и как человека, будучи очень близок с ним в сфере идей и общественной симпатии и антипатии, я, однако, даже и представить себе не могу, как бы мы с ним друг к другу, например, «в гости» ходили. Слишком уж велика разница была в наших привычках, обстановке, во всем складе жизни. Без дела я бывал у Салтыкова только во время болезни..»

Так было с Михайловским, ближайшим помощником Салтыкова по редактированию «Отечественных записок». Что же говорить о прочих сотрудниках журнала! Впрочем, ропща иногда на отсутствие более близких связей с Салтыковым, сотрудники «Отечественных записок» и другие литераторы демократического лагеря тем не менее высоко ценили ту форму «делового» общения с ними, которую установил Салтыков. Это хорошо видно из следующих строк позднейшего письма Г. И. Успенского к издательнице журнала «Северный вестник» А. М. Евреиновой: «С закрытием «Отечественных записок», — читаем здесь, — целые толпы молодых и всяких литераторов, как мухи, идут вразброд, <ищут> работы из-за копейки денег. Нет ни уюта (литературного, а домашний есть у всякого), ни искреннего внимания к работе (как было у Щедрина), — холодно, одиноко и скучно. Вяло пишется, и не видно — каков таков читатель у тебя...»¹

¹ Г. И. Успенский, Полн. собр. соч., т. XIV, М. 1954, стр. 552.

Значит, в той писательской семье, где «старшим» был Салтыков, он сумел создать «литературный уют». А вот «домашнего уюта», который, по мнению Успенского, «есть у всякого», у Салтыкова как раз и не было. Как уже упоминалось, личные связи и знакомства Салтыкова находились вне писательской среды. Исключения составляли, и то с некоторыми оговорками, лишь Некрасов, Тургенев, Анненков и Елисеев. Люди, с которыми он проводил, когда еще был здоров, часы своего отдыха, — за условленными обедами или ужинами, за карточным столом, в театральной ложе, в кабинете за беседой, были главным образом его старые знакомые из круга либеральных деятелей шестидесятых годов, а также его школьные и лицейские приятели, сослуживцы, друзья Некрасова. Почти все они были знакомы между собою «домами». Тут были член-учредитель Литературного фонда, крупный чиновник и одновременно пушкинист, лицейский товарищ Салтыкова В. П. Гаевский, родственник Некрасова, инженер А. Н. Ераков, мировой судья Г. В. Лермонтов, адвокаты А. М. Унковский, А. Л. Боровиковский и В. И. Танеев, общественный деятель и публицист А. А. Головачев, видные представители цензурного ведомства Н. А. Ратынский и В. М. Лазаревский, из которых первый был товарищем Салтыкова по Московскому дворянскому институту, а второй — его сослуживцем и приятелем Некрасова по охоте, известные врачи С. П. Боткин и Н. А. Белоголовый, петербургский городской голова В. И. Лихачев.

Вся эта внешне пестрая, но довольно однородная по своим взглядам и общественному положению компания знакомых Салтыкова — «компания мушкетеров», как он ее называл, несомненно сыграла свою роль в творчестве писателя. Она постоянно поставляла ему новые материалы для сатирической разработки типа «русского культурного деятеля» из верхушки либерально-буржуазного общества. Она же давала замкнуто жившему писателю знание тех форм быта, в котором этот тип существовал.

Были у Салтыкова и другого рода знакомства — с некоторыми сановными тузами в отставке, например с экс-диктатором и министром графом М. Т. Лорис-Меликовым и с бывшим петербургским градоначальником генералом Ф. Ф. Треповым. Эти знакомства расширяли его наблюдения над руководителями и слугами центрального аппарата самодержавной власти — наблюдения, которыми с таким ядовитым сарказмом умел пользоваться сатирик.

Но были ли у Салтыкова друзья?

В одном из писем 1886 года к доктору Белоголовому Салтыков заявлял: «Я не могу пожаловаться на недостаток друзей». Однако речь тут шла лишь о заочных «читателях-друзьях». Как

ни ценил Салтыков их любовь и поддержку, он нуждался и в теплоте обычной человеческой дружбы — обычной, но не лишенной индивидуальных требований писателя, главным из которых было требование «общности убеждений».

В рассказе «Имярек», на автобиографичность которого указывал сам Салтыков, писатель задает от имени своего лирического героя тот же вопрос: «Были ли когда-нибудь у него друзья?» — и отвечает на него так: «Кажется, что-то вроде этого было... Он был когда-то здоров, но никогда настолько, чтоб быть настоящим другом. Он бывал и весел, но опять не настолько, сколько требуется от «друга». Анекдотов он совсем не знал, гастрономом не был, в винах понимал очень мало. Жил как-то особняком, имел «образ мыслей» и даже в манерах сохранил нечто резкое, несовместное с дружелюбием» (подчеркнуто мною. — С. М.).

Дочь писателя Е. М. де Пассано со своей стороны заявляла: «Друзей у отца не было. Бывал он часто у Лихачевых, Унковских, Елисеевых. Часто он жаловался, бранил себя, укорял себя за свой характер, который мешал ему сойтись ближе с своими товарищами»¹.

Печатаемые в заключительном разделе воспоминания В. И. Таеяева, Н. А. Белоголового и А. М. Унковского — людей, по-домашнему наиболее близких писателю, — показывают, что суровый сатирик, не боявшийся никакой правды, не скрыл ее и здесь: все эти люди были не друзья — *единомышленники* и *соратники* великого писателя, о которых он тосковал, а всего лишь «что-то вроде этого». И хотя Салтыков очень дорожил дружескими отношениями с ними, не в ограниченных рамках этих отношений могла найти себе удовлетворение его гениально одаренная и сложная личность.

* * *

Собранные в настоящей книге воспоминания содержат целую серию портретных зарисовок великого сатирика в жизни. Эти зарисовки очень различны и по взгляду на писателя, и по манере, и по степени законченности рисунка. Они относятся к разным этапам его жизни и к разным сферам его деятельности. В них показано много различных граней в характере писателя, иногда далеко не самых важных, но всегда относящихся к живому Салтыкову, а не к Салтыкову заранее сложившихся представлений. Однако иные линии и штрихи повторяются если не во всех, то

¹ И. Двинский, У дочери М. Е. Салтыкова. — «Биржевые ведомости», утр. вып., 1914, № 14123 от 27 апреля (вкладной лист).

в большинстве изображений. Ими-то и определяются те стороны характера Салтыкова, которые были видны современникам наиболее отчетливо и, очевидно, являлись самыми существенными.

В статье о первой книге Салтыкова, «Губернских очерках», Чернышевский указывал: «Главная причина громадного успеха этих рассказов очевидна каждому. В них очень много правды, — очень живой и очень важной...»¹ Горький же в одной из своих характеристик Салтыкова писал: «...он... был умен, честен, суров и никогда не замалчивал правды, как бы она ни была прискорбна»². Способность прямо глядеть в глаза истине, умение видеть и говорить правду — главная психологическая основа личности Салтыкова, а тем самым и всей его деятельности.

Авторы воспоминаний единодушно свидетельствуют, что Салтыков решительно не был способен к малейшей неискренности и фальши. «Он всегда говорил только то, что думал, — подчеркивает А. М. Унковский, — и даже не умел скрывать того, что приходило ему в голову». При этом для искренности и прямодушия Салтыкова не имело никакого значения, кто являлся его собеседником: подчиненный или начальник, мелкая литературная сошка или именитый писатель. Салтыков был совершенно чужд подобострастия или заискивания по отношению к людям, от которых так или иначе зависел. И эта черта его характера была столь же определяющей, как и прямодушие. Она проявилась еще в юности, о чем свидетельствуют записанные Л. Н. Спасской рассказы ее родителей о Салтыкове периода вятской ссылки.

Резкая прямота в сочетании с крайней экспансивностью и бурной раздражительностью заставляли Салтыкова высказывать людям такие взгляды, такие суждения об их поступках, которые обычно не принято высказывать в глаза. Многие боялись этого свойства Салтыкова, а иные даже избегали встреч с ним. Самая внешность писателя, его манера говорить нагоняли на более робких испуг.

Хмурое неподвижное лицо, суровый, в упор направленный на собеседника взгляд больших серых сильно выпуклых глаз, глубокая поперечная складка на высоком открытом лбу, голос — низкий бас, по словам Успенского напоминающий «рычание», а по словам Тургенева — как бы самой природой устроенный для того, чтобы «ругаться», привычка к круто посолненным словам русского просторечья, способность «вспыхивать» и «взрываться» в накале

¹ Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. IV, М. 1948, стр. 263.

² М. Горький, История русской литературы, М. 1939, стр. 273.

спора — все это затрудняло сближение с грозным редактором «Отечественных записок».

П. Д. Боборыкин, — рассказывает В. И. Танеев, — «очень боялся Салтыкова и боязни своей откровенно не скрывал». То же и С. Я. Надсон. Он боялся сатирика даже заочно. В письмах к Н. А. Белоголовому, жившему в 1885 году вместе с Салтыковым в Висбадене, он даже не решался передавать писателю поклон и делал это с такими оговорками и предостережениями: «Что-то у Вас поделявает Салтыков и как Вы с ним ладите? Выберите, пожалуйста, солнечный день и минуту, когда он будет в хорошем настроении духа, и поосторожнее поклонитесь ему от меня...» (ЛБ, архив Н. А. Белоголового).

Сам Салтыков не раз признавал, что у него «трудный», «тяжелый» характер и что чем дальше, тем больше он «портится» под разрушающим воздействием мучившего его недуга. Но при этом писатель всегда отводил от себя подозрения и упреки в том, что он будто бы не ценит в людях «доброты», что он «изверился» в ней. «Я на Вас убедился, — писал Салтыков Белоголовому 31 октября (12 ноября) 1875 года, — что на свете не перевелись еще добрые люди и что это хорошо. Я сам в этом отношении несколько попорчен: очень подла уж была среда, в которой я провел большую часть своей жизни, и порядочно-таки она меня раздражила, но во всяком случае человеческая доброта в моих глазах есть предмет, достойный величайшего уважения».

Нет ничего удивительного в том, что для людей случайно или мало знавших Салтыкова, для людей непроницательных его собственная доброта оставалась скрытой за оболочкой внешней грубости и раздражительности.

И все же почти все авторы воспоминаний — и литераторы, и сослуживцы, и домашние друзья, и знакомцы твердят о «доброй душе», «большой сердечности», даже о «ласковости» и «деликатности» Салтыкова. «Иногда, — замечает Н. К. Михайловский, — это суровое лицо все освещалось такою почти детски добродушною улыбкой, что даже люди, мало знавшие Щедрина, но попадавшие под свет этой улыбки, понимали, какая наивная и добрая душа кроется под его угрюмой внешностью. О тех, кто его близко знал, нечего и говорить». Одною из многих иллюстраций к словам Михайловского может служить признание Тургенева в неизданном письме к П. В. Анненкову 1876 года: «Я от Салтыкова получил более спокойное письмо: очень я люблю этого человека — как он ни страшает глазами и не старается быть «букой», он очень наивен и добр. И ругается он от избытка этих двух качеств». А писатель Иван Щеглов (Леонтьев), — приятель Чехова — тот даже

озагдавлив свои воспоминания «Суровый добряк», желая подчеркнуть этой антитезой один из бросавшихся в глаза контрастов характера Салтыкова.

Подлинные искания социальной справедливости, активная приверженность к общественной правде невозможны без ненависти к тому, что является их противоположностью. В стихотворении «Памяти М. Е. Салтыкова» Иван Бунин, обращаясь к ушедшему писателю, восклицал:

Верь, что нет без злобы и печали
И любви глубокой и святой¹.

Ненависть и злоба Щедрина были направлены на эксплуататорские классы современной ему России, на самодержавный строй. С этими силами, повинными в страданиях многомиллионных народных масс, щедринская сатира не знала и не искала никакого примирения. Создатель этой неистощимой в своей ярости сатиры был психологически близок настроениям замечательного русского революционера Александра Серно-Соловьевича, писавшего в 1859 году: «Нет, мало посылаемых проклятий, мало изливаемой ненависти, — нужно воспитывать ядовитую злобу, лелеять ее, довести до последних пределов, пусть будет она не вспышками, медленно уничтожающими, а нормальным состоянием»².

Но Салтыков воспитывал в себе не только злобу и ненависть к идейному и политическому врагу, но и умение презирать его. Чехов считал, что только один Салтыков в русской литературе и владел в полной мере этим трудным умением. Он так отозвался на смерть сатирика: «Мне жаль Салтыкова. Это была крепкая, сильная голова. Тот сволочный дух, который живет в мелком, измощенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба, потерял в нем своего самого упрямого и назойливого врага. Обличать умеет каждый газетчик, издеваться умеет и Буренин, но открыто презирать умел один только Салтыков. Две трети читателей не любили его, но верили ему все. Никто не сомневался в искренности его презрения»³.

И как литератор, сознательно подчинявший весь свой писательский труд определенным социально-политическим задачам («я, благодаря моему создателю, могу каждое свое сочинение объяснить, против чего оно направлено»), и как редактор журнала определен-

¹ Газета «Орловский вестник», 1890, № 94. Сообщ. А. К. Бабореко.

² Мих. Лемке, Очерки освободительного движения «шестидесятых годов». 2-е изд., СПб. 1908, стр. 251.

³ А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 14, М. 1949, стр. 365 (письмо к А. Н. Плещееву от 14 мая 1889 г.).

ного направления, Салтыков ощущал себя «человеком партии». В арсенале его оружия одно наиболее поражало воображение современников — *непримиримость* к идейному противнику и тот *гнев*, который он испытывал к врагу. Редкий из современников, оставивший свое свидетельство о сатирике, прошел мимо этих его свойств. Так Герцен, делясь в письме к Огареву своими впечатлениями от очередной книжки «Отечественных записок» 1868 года, заметил о статье Салтыкова «Напрасные опасения», что в ней «дует ненависть» ко всем писателям, не связанным с традициями «Современника», «Русского слова» и других демократических групп шестидесятых годов¹. Достоевский, сообщая о неудаче своих попыток напечатать в «Отечественных записках» пьесу реакционного драматурга Аверкиева, таким сопоставлением определял позицию Салтыкова и Некрасова в состоявшихся переговорах: «...прийди <к ним> хоть сам Мольер, но если он почему-либо *сомнителен*, то и его не примут»². Писательница Е. С. Некрасова сообщала в письме к сестре о встрече с Салтыковым на вечере у Елисеева весной 1881 года: «Он <Салтыков> страшно, не стесняясь, ругал сидевшего тут Боровиковского за то, что тот признавал какое-то достоинство в Цитовиче и находил, что и «Новое время» иногда говорит дело». Он слышать не хотел таких благосклонных отзывов ни о Цитовиче, ни о Суворине: «Если, говорит, они и дело говорят, то их слушать нечего; если и хорошо говорят, то надо говорить, что они дурно говорят».

Непримиримость к идейному противнику определялась глубокой принципиальностью Салтыкова. «В каждой строке, им написанной, — указывал сатирик в автобиографических строках одного из своих произведений, — звучало убеждение...» Заставить писателя поступиться чем-либо существенным в его взглядах было невозможно. Это не удавалось никому.

В 1885 году Толстой просил Салтыкова о сотрудничестве в издательстве «Посредник», которым руководил его друг и единомышленник В. Г. Чертков. Издания «Посредника» предназначались для народа. Объясняя свою просьбу, Толстой писал Салтыкову: «Если бы я сказал Вам все, что я думаю о том, что именно Вы можете сделать в этом роде по моему мнению, Вы бы, несмотря на то, что не считаете меня хитрым человеком, наверно бы приняли за лесть. У Вас есть все что нужно — сжатый, сильный, настоящий язык, характерность, оставшаяся у Вас одних, не юмор,

¹ А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем, т. 21, М.—П. 1923 (письмо к Н. П. Огареву от 30 октября 1868 г.).

² «Литературное наследство», т. 49—50, 1949, стр. 632 (письмо к Д. В. Аверкиеву от 6 ноября 1877 г.).

а то, что производит веселый смех, и по содержанию — любовь и потому знание истинных интересов жизни народа»¹.

Салтыкова очень привлекало предложение появиться перед читателями из народа. Предполагался стотысячный тираж и низкая, в копейках, цена. Несмотря на жестокую болезнь, он сразу же принялся за работу. Однако Салтыков столкнулся с требованием изъять все то, что противоречило враждебной ему идеологии «толстовщины» — проповеди социального смирения и непротivления злу насилеи. Не считая возможным идти на какие-либо компромиссы, которые ему предлагались, сатирик порвал переговоры с «Посредником». Чертков так извещал об этом Толстого: «Щедрин прислал нам несколько своих вещей. Я был у него. Он, по-видимому, сознает, что умирает... Во всех почти его рассказах, подходящих сколько-нибудь к нашей цели, есть что-нибудь прямо противоположное нашему духу; но когда указываешь на это, то он говорит, что всю вещь написал именно для этого места, и никак не соглашается на пропуск»².

Непримиримость Салтыкова, его органическую неспособность пойти на идейный компромисс, покориться тому, что несогласно с внутренним убеждением, отмечают многие мемуаристы. Один из них, писатель Л. Е. Оболенский, испытал впечатление непримиримости даже от мертвого Салтыкова, лежащего в гробу. «Этот не покорялся судьбе до последнего издыхания, — заканчивал он свои воспоминания о сатирике, — боролся за жизнь, за мысль до последнего момента и даже в гробе, даже мертвый, сохранил на своем лице такое выражение, что мне казалось, его сжатые уста каждую минуту готовы крикнуть грубым, хриповатым голосом: «А я все же не покорюсь!»

Почти все авторы воспоминаний считают нужным указать на активную эмоциональность натуры Салтыкова — фундамент его стихийного сатирического темперамента. А. Я. Панаева, познакомившаяся с писателем, когда еще он был молод и здоров, свидетельствует: «Я никогда не видала Салтыкова спокойным; он всегда был раздражен на что-нибудь или на кого-нибудь». О том же говорит и Михайловский, знавший сатирика в последние полтора десятка лет его жизни: «Салтыков был весь нервы и постоянное волнение». Внутренняя жизнь Салтыкова была до предела напряженной, в ней всегда сверкали молнии и гремел гром, и нередко эти грозные тучи прорывались такими мощными разрядами гнева,

¹ Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 63 М.—Л. 1934, стр. 307—308 (письмо от 1—3 (?) декабря 1885 г.).

² «Литературное наследство», т. 13—14, 1934, стр. 517 (письмо от 19 марта 1887 г.).

о которых долго помнили те, кто их наблюдал. Так, И. С. Тургенев навсегда запомнил, как в его квартире в Буживале, осенью 1875 года, произошло столкновение между Салтыковым и гр. В. А. Соллогубом, светским беллетристом и одновременно экспертом по устройству тюрем («вероятно, потому, — комментировал Салтыков, — что его самого нужно посадить в тюрьму»). Соллогуб прочитал Тургеневу и Салтыкову свою новую пьесу — антиинициативный памфлет, где вор — главное действующее лицо, воплощающее образ молодого разночинно-демократического поколения. Вот как описывал Тургенев — в письме к Ю. П. Вревской — реакцию сатирика на это чтение: «Салтыков взбесился, обругал его <Соллогуба>, да чуть с ног не свалился от волнения: я думал, что с ним удар сделается... Он мне напомнил Белинского...»¹ И то же в другом, еще не изданном письме — к П. В. Анненкову: «Итак, Салтыков рассказал Вам свою историю с Соллогубом!.. Это было, доложу Вам, нечто потрясающее! Он мне напомнил Виссариона» (письмо от 6 ноября 1875 г.).

Стихийную силу обличительного темперамента Салтыкова демонстрируют многие эпизоды из жизни писателя, запомнившиеся современникам. Пожалуй, наиболее интересны случаи, связанные с чиновничьей службой писателя, когда он, говоря его словами, пытался «практиковать либерализм в самом капище антилиберализма», — в «капище», которое он люто ненавидел. «Практика» эта не только представляла Салтыкову объекты сатиры, но и подсказывала самые приемы сатирического изображения.

Насколько органично, изнутри, из повседневного быта выращивались Салтыковым эти художественные приемы, можно видеть из следующего примера. Хорошо известны щедринские «помпадуры» и «градоначальники», которые, желая на время освободить себя от «закона», прятали его в шкаф или садились на него (обычный в щедринской сатире прием овеществления отвлеченного понятия — здесь «закон» означает книгу, в которой собраны узаконения, «Свод законов»). Источник, из которого Салтыков заимствовал описания действий «правителей», испытывающих нужду на время «остаться без закона», кроется, оказывается, в поступках самого писателя, которыми он гротескно выражал свое отношение к официальному политическому быту царской администрации. Вот что, например, сообщает в своих воспоминаниях о Салтыкове его «сослуживец по Рязанской казенной палате Н. Н. Кузнецов. Когда Салтыкову во время занятий в «присутствии» хотелось кúrить (а это не полага-

¹ «Щукинский сборник», вып. 5, М. 1906, стр. 475 (письмо от октября 1875 г.).

лось «из-за уважения к закону»), он снимал золотой герб с «зеркала» — официального символа самодержавной власти — и, кладя его на стол, говорил: «Ну теперь можно и вольно!»

Сатирик по природе, по своей внутренней сущности, Салтыков всегда и всюду им оставался.

Быть великим обличителем социального неустройства современной действительности, быть знаменосцем новых идей нельзя без острого ощущения духа времени, без чуткости к ходу истории. И Салтыкову действительно было присуще такое жгучее чувство современности, какое, по свидетельству авторов воспоминаний, не было присуще никому другому из крупных писателей эпохи (за исключением, быть может, одного Достоевского — мнение Елисеева).

Сам Салтыков утверждал, и нет оснований оспаривать его утверждение, что жизнь его была укорочена не только болезнью, но и крайней остротой восприятия социальной действительности. В своей «оправдательной записке» он писал: «Постоянные болезненные припадки и мучительная восприимчивость, с которой я всегда относился к современности, положили начало тому злему недугу, с которым я сойду в могилу».

Салтыков настолько был художником современности, связанным с ее горячим дыханием, что долго, например, не решался приняться за «Пошехонскую старину» с ее ретроспективным сюжетом. Он опасался, что его обращение к историческому прошлому будет истолковано как вынужденная уступка цензуре, «заставившей» его в эти годы жесточайшего натиска реакции отойти от современных тем.

Как и все великие писатели, Салтыков был упорным тружеником в литературе. Естественно, что наблюдения, относящиеся к его писательскому, а также редакторскому труду занимают в воспоминаниях большое место. При всей своей разрозненности эти наблюдения дают в совокупности целостное представление и об общем писательском облике Салтыкова и о всей культуре его литературного труда. Писательство для Салтыкова было трудовым делом каждого дня. «Я — литератор действующий, — говорил он о себе, — я труженик, обязанный держать в руке перо ежеминутно». Работоспособность его была исключительной. Так, за один лишь 1863 год он напечатал в «Современнике» около сорока листов, то есть в среднем по три листа в месяц, а написал еще больше. В упоминавшейся выше «оправдательной записке» Салтыков говорит о своем «непрерывном труде»: «Могу сказать смело, что до последних минут вся моя жизнь прошла в труде, и только когда мне становится уж очень тяжело, я бросаю перо и впадаю в мучительное забытие». Он говорил Михайловскому, что своей литературной известностью обязан не таланту, который, дескать, вовсе не велик,

а упорному труду. При этом он уверял своего собеседника, что «более или менее талантливым писателем может стать всякий», — надо только смолodu приучить человека «правильно и упорно работать». Сам Салтыков не прекращал писательской работы ни на один день, даже и во время своих заграничных лечебных поездок.

Писателей, не отличавшихся дисциплинированностью и регулярностью литературного труда, Салтыков осуждал. «Успенский, — говорил он Кривенко, — пишет по-барски, только тогда, когда ему хочется. Так не должно быть. А ты садись писать, когда не хочется, непременно садись...»

При всем том в писательском труде Салтыкова не было и тени ремесленно-безразличного отношения к предмету работы. Подобно Некрасову, Салтыков мог сказать, что «никогда не брался за перо с мыслью, *что бы такое* написать или *как бы это* написать». Он не знал холодных, «нейтральных» сюжетов, равнодушия к теме, он писал всегда с величайшей страстностью и сам говорил про себя: «Клянусь, — в ту минуту, когда я почувствую, что внутренности во мне не дрожат больше, — кину перо, хоть бы пришлось умереть». Анненкову Салтыков, когда еще был здоров, представлялся «тем чудесным кровным скакуном, который в крови и пене всегда приходил первым к цели и так восхищал всех»¹.

Еще одну важную черту в облике Салтыкова-литератора подчеркивают многие мемуаристы — писательскую скромность. Решительный противник возведения современников на прижизненные пьедесталы, он был особенно нетерпим к такого рода попыткам в отношении себя самого.

В 1876 году Скабичевский в одной из своих статей назвал Щедрина «одним из народных и вместе с тем общечеловеческих сатириков, вроде Рабле, Мольера, Свифта, Грибоедова и Гоголя», то есть высказал мысль, ныне общепризнанную. Прочтя это, Салтыков пришел в крайнее раздражение и разразился в письме к Некрасову по-щедрински гневной и резкой тирадой, назвав написанный в его честь «панегирик» «бесстыдной глупостью» (XVIII, 359). Такое же раздражение и недовольство испытал Салтыков, по свидетельству М. М. Ковалевского, от высказанного Арапетовым замечания, что в его глазах автор «Головлевых» и «Истории одного города» перерос головою самого Гоголя. «Что вы, Гоголя? страшно и подумать, — отвечал ему решительно Салтыков и взглянул на него так грозно, что дальнейший разговор на эту тему сделался невозможным».

Хвалить Салтыкова было опаснее, чем бранить.

¹ «Литературное наследство», т. 51—52, 1949, стр. 101 (письмо к Н. А. Некрасову, от 14/2 мая 1875 г.).

Среди авторов воспоминаний о Салтыкове почти нет имен крупных писателей или других великих людей. Воспоминания принадлежат, за малыми исключениями, второстепенным деятелям. Естественно, что эти люди не обладали той, пользуясь определением Горького, «высотой точки наблюдения», которая присуща выдающимся умам и которая необходима для масштабного отражения такого явления, как Щедрин. Кроме того, нельзя не учитывать одного объективного обстоятельства, которое в очень существенной мере снижало и ту «высоту точки наблюдения», на которую были способны авторы воспоминаний в пору их общения с Салтыковым. Многие, и как раз основные, воспоминания написаны сразу или вскоре после смерти сатирика — то есть в 1889 году или в начале девяностых годов. Характеризуя это время «разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской реакции», Ленин указывал, что под натиском ее «наши демократы трусили, присели» и «пошли назад, к либералам»¹. В этой обстановке выцветания и оскудения демократических традиций эпохи шестидесятых и семидесятых годов — эпохи «старой народнической демократии», сформировавшей Щедрина, и образовался основной фонд мемуарной литературы о нем. Разумеется, это обстоятельство наложило свой отпечаток на многие воспоминания.

Однако непосредственные живые свидетельства о Салтыкове оставили не только Боборыкин и Златовратский, Елисеев и Кривенко, Пантелеев и Белоголовый и другие авторы, представленные в настоящей книге. О Салтыкове сказали свое слово лично знавшие его Чернышевский и Добролюбов, Некрасов и Тургенев, Толстой и Достоевский, Островский и Гончаров, Успенский и Гаршин, Короленко и Эртель. Сочинения сатирика читались сразу после их появления в печати Марксом и Энгельсом, Герценом и Огаревым, Тарасом Шевченко и Иваном Франко, Чеховым и Горьким. Вероятно, еще при жизни Салтыкова его произведения, напечатанные в «Современнике», «Отечественных записках» и «Вестнике Европы» были прочтены Лениным².

¹ В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 267.

² Существуют записанные В. В. Воровским в 1904 году в Женеве воспоминания В. И. Ленина, относящиеся к кругу его чтения в деревне Кокушкино, куда он был выслан под надзор полиции в 1887 году. Ленин вспоминал, в частности:

«Кажется, никогда потом в моей жизни, даже в тюрьме в Петербурге и в Сибири, я не читал столько, как в год после моей высылки в деревню из Казани, то было чтение запоем с раннего утра до позднего часа <...> больше всего я читал статьи, в свое

И все эти великие или выдающиеся люди, духовные руководители своего и последующих поколений, оставили свидетельства своего индивидуального восприятия Щедрина. Извлеченные из писем и дневников, из записей их бесед и печатных выступлений, эти свидетельства бросают яркий луч на те стороны личности и творчества Салтыкова, которые у авторов воспоминаний освещены туго или же вовсе оставлены в тени. Эти материалы не могли быть, однако, введены в настоящую книгу. Они нарушили бы цельность ее мемуарного жанра. В рамках же настоящего предисловия возможно лишь бегло, обзорно указать на некоторые особенности источников этого рода.

Прежде всего следует отметить характерную для отзывов выдающихся современников историческую масштабность в определениях Щедрина. Его имя воспринимается в ряду крупнейших гениев мировой сатирической литературы — Аристофана, Ювенала, Рабле, Сервантеса, Свифта, Вольтера. «Сатирическая манера Салтыкова несколько напоминает манеру Ювенала, — утверждает Тургенев. — Его смех полон горечи и гнева, его насмешки подчас оскорбительны». «Есть в Салтыкове что-то от Свифта, — замечает Тургенев в другом месте, — тот же серьезный и мрачный комизм, тот же реализм, непоколебимо ясный, даже среди самого буйного разгула фантазии, а главное, тот же здравый смысл — я бы даже сказал, чувство меры, неизменно сохраняемое при всех преувеличениях и заострениях формы. Я видел, как публика буквально корчилась от смеха, слушая чтение салтыковских очерков. И было что-то почти страшное в этом смехе — ведь люди смеялись, чувствуя и себя под ударами бича сатирика»¹.

Глубоко национальный гений Щедрина гораздо чаще, однако,

время печатавшиеся в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Вестник Европы». В них было помещено самое интересное по общественным и политическим вопросам в предыдущие десятилетия (см. публикацию в одном из последних номеров журнала «Вопросы литературы» за 1957 год).

Так вскрывается ранний источник того широкого знания щедринских текстов, которое нашло столь заметное отражение в произведениях Ленина. Интерес к Щедрину и руководимому им журналу, «Отечественным запискам», вероятно, стимулировался и отношением к ним брата Ленина Александра Ильича. Он был горячим поклонником сатирика и дважды участвовал в студенческих делегациях к нему (см. об этом на стр. 401—403).

¹ Ivan Tourgueneff, *History of a Town*. Edited by M. E. Saltykoff. — «The Academy» (London). March 1, 1871, № 19, pp. 151—152.

Цитаты приведены в переводе с английского, выполненном Е. Д. Калашниковой.

сопоставляется с вершинами русской литературы и общественной мысли.

Щедрин-художник воспринимается в начале своего литературного пути как «ученик» Гоголя, понесший свой талант еще дальше в глубины народной жизни. Когда Т. Г. Шевченко познакомился с первой книгой сатирика, он записал в своем дневнике (5 сентября 1857 года): «Как хороши «Губернские очерки» <...> Я благоговею перед Салтыковым. О Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостью возрадовалася бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих. Други мои, искренние мои! Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, опаскуженную чернь! За этого поруганного бессловесного смерда!»¹

На более позднем этапе развития щедринской сатиры однолинейные сопоставления ее с творчеством Гоголя усложняются. В различных аспектах Салтыкова начинают ставить в ряд с другими вершинами русской литературы. «Хорошие юмористы, — замечает Анненков в неизданном письме к Тургеневу от 3 февраля 1876 года, — всегда трагики по натуре и по сущности созерцания: Гоголь, Герцен, Салтыков». «Это ... писатель ничуть или мало уступающий Льву Толстому, — утверждает Эртель, — а в энергичной, страстной борьбе со злом, в той силе анализа, с которой он умел разбираться в разных общественных течениях, может быть даже превосходящий Толстого»². По «неугомонной деятельности» «пытливой мысли», находившейся в вечном напряжении, никогда не знавшей покоя, по силе «впечатлительности» живой, на все отзывчивой души, Елисеев сопоставляет Салтыкова с Достоевским³. Исходя из критерия страстности исканий истины во имя любви к человеку, к правде сближает этих писателей, идейных антиподов, и Гончаров. «...Достоевский и Щедрин не могли бы силою одного холодного анализа находить правды жизни — один в глубокой, никому, кроме его, не достигаемой пучине людских зол, другой — в мутном потоке мелькающих перед ним безобразий. Один содрогается и стонет сам — содрогается от ужаса и боли его читатель, точно так же, как этот читатель злобно хохочет с автором над какой-нибудь «современной идиллией» или внезапно побледнеет перед образом «Иудушки».

¹ Тарас Шевченко, Собр. соч. в пяти томах, т. 5, М. 1949, стр. 157.

² «Записки отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина», вып. 6, М. 1940, стр. 80—81 (письмо к М. Н. Чистякову от 21 ноября 1890 г.).

³ «Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину», М. 1935, стр. 163 (письмо к Салтыкову от 28 декабря 1884 г.).

Под этой мрачной скорбью одного и горячей злобой другого кипят свои «невидимые слезы», прячется своя любовь, которая вместе с другими силами творчества лежит в основе талантов ... этих звезд первой величины. Не было бы ничего этого у них, если бы они были только покойные, объективные наблюдатели правды!»¹.

Щедрин-художник — другая важная тема высказываний крупнейших писателей-современников.

Для Достоевского Щедрин — «настоящий художник» (1861 год), «большой художник» (1876 год)².

Гончаров, поражаясь глубине дарования автора «Господ Головлевых», указывает на редкую и принципиально важную особенность его таланта: на умение ладить «с новою, нарождающеюся жизнью»³, то есть на способность сатирика образно улавливать социальные явления и типы в моменты их зарождения и развития, — способность, которую Достоевский считал присущей только гениальным писателям.

Островский ощущает в Щедрина «страшную поэтическую силу»⁴.

«Кажется, он зарекомендовал себя как художник в «Иудушке», — пишет Гаршин и добавляет, — за этого «Иудушку» я отдам трех Достоевских...»⁵.

Тургенев называет себя «одним из самых старинных и неизменных поклонников» таланта сатирика и пишет ему: «Вы отмечали себе в нашей словесности целую область, в которой Вы неоспоримый мастер и первый человек»⁶. А в разговоре с Кривенко — в самом начале восьмидесятых годов — Тургенев говорил ему о Салтыкове: «Знаете, что мне иногда кажется: что на его плечах вся наша литература теперь лежит. Конечно, есть и кроме него хорошие, даровитые люди, но держит литературу он».

Толстой, чередуя, как часто у него, отрицательные отзывы с положительными, называет Щедрина талантом «серьезным», «здо-

¹ И. А. Гончаров, Собр. соч., т. 8, М. 1955, стр. 109.

² Ф. М. Достоевский: 1) Собр. соч., т. 13, М. 1930, стр. 71 и 2) Полн. собр. соч., 6-е изд., СПб. 1905, стр. 317—318.

³ И. А. Гончаров, Собр. соч., т. 8, М. 1955, стр. 457 (письмо к Ф. М. Достоевскому от 11 февраля 1874 г.).

⁴ «Литературное наследство», т. 13—14, 1934, стр. 417 (письмо Н. Н. Луженовского к Салтыкову от 7 марта 1887 г.).

⁵ В. М. Гаршин, Полн. собр. соч., т. 3, М. 1934, стр. 178 (письмо к Е. С. Гаршиной от конца февраля 1879 г.).

⁶ «Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб. 1884, стр. 217 (письмо от 9 апреля 1873 г.).

ровым», восхищается его «великолепным, чисто народным метким слогом». Признает в нем любовь к народу «и потому знание истинных интересов жизни народа», говорит, что Щедрина «вполне стоит того», что «молодежь любит его больше остальных писателей» — и заявляет от своего имени: «Щедрина я люблю»¹.

Многие современники отмечают в своих свидетельствах силу общественной мысли Салтыкова, ее смелость и ширь, ее выдающееся значение для идейной жизни эпохи. При этом имя Щедрина нередко сопоставляется с именем Чернышевского. «После Тургенева и Достоевского, — сказал в одной из своих речей 1889 года крупнейший теоретик старого народничества П. Л. Лавров, — Россия похоронила двух самых сильных деятелей своей мысли: того Щедрина, с которым и в сатире которого всё мыслящее в России переживало надежды и разочарования, возмущение совести и перипетии борьбы последних трех десятилетий, того Чернышевского, который для нынешнего поколения был уже полумифическим героем предыдущего периода»².

Исключительно высокую оценку значения Салтыкова для самосознания русского общества дал известный публицист и общественный деятель, видный участник революционно-демократического движения шестидесятых годов Н. В. Шелгунов. В своих «Очерках русской жизни» он писал, откликаясь на смерть сатирика: «Салтыков был истинный мудрец, которому были ясны все тончайшие нити и пружины личных и общественных отношений; он только об этих отношениях и говорил; только о них он и напоминал; только их закон он и отыскивал в каждой отдельной человеческой душе. Сила ума Салтыкова заключалась в редкой пронизательности, в способности вдруг, сразу, моментально проникнуть в самую суть человеческой души или в суть сложного явления, созданного множеством подобных душ. Потому-то потеря Салтыкова так и громадна, что у нас нет другого, равного ему крупного человека, который бы мог настолько же помогать развитию общественного сознания, насколько помогал ему Салтыков; потому эта потеря и велика, что у нас нет другого писателя, который бы мог воздействовать на ту именно совесть, на которую воздействовал Салтыков... Хороня Салтыкова, думающая Россия чувствовала (сознательно или бес-

¹ Л. Н. Толстой, Полн. собр. соч., т. 47, стр. 150; т. 48, стр. 9; т. 63, стр. 307—308; Г. А. Русанов, Поездка в Ясную поляну (24—25 августа 1883 г.). — «Толстовский ежегодник, 1912 г.», М., стр. 55, 69—70.

² П. Лавров, Последовательные поколения, Женева, 1892, стр. 3.

сознательно), что теперь у нее уже нет центрального тела, нет того светившего всем маяка, которым был Салтыков для всей наиболее умственно независимой части населения»¹.

О том же, откликаясь на годовщину смерти Салтыкова, свидетельствовал представитель другого поколения и других общественных настроений — только что начинавший тогда свой литературный путь И. А. Бунин. «Русское общество, — писал он в газете «Орловский вестник», — почувствовало, какую громадную утрату понесло оно, какую великую силу поборота смерть. В Салтыкове таилась необычайная мощь духа, такая мощь, какой не проявлял доселе ни один из самых великих писателей России. Могучий талант не давил его»².

Существенный интерес представляют в отзывах современников образные определения Щедрина, краткие и выразительные.

«Хотите знать, что такое Щедрин? — спрашивал анонимный автор в журнале «Искра» и отвечал: — *Прокурор русской общественной жизни и защитник России от врагов внутренних*»³.

«Вас <редакции «Отечественных записок». — С. М.> трепещет вся литература, особенно *Сатирического старца*, — читаем в черновых материалах Достоевского к «Дневнику писателя» за январь 1881 года. — Никто против него не посмеет: дескать, либерал, проеден либерализмом»⁴.

«Да, Ваше имя теперь настолько авторитетно в России, — писал Салтыкову Елисеев в 1882 году, — что Вы не только имеете право, но и *должны* говорить, как *власть имеющий*»⁵.

«Господа! Вы чувствуете великого диагноста в медицине, — говорил прославленный русский физиолог И. М. Сеченов на юбилее С. П. Боткина, — но не забудьте, что в нашей среде находится теперь другой, не менее *великий диагност* — это всеми уважаемый *диагност наших общественных зол и недугов*, Михаил Евграфович Салтыков»⁶.

«Хочу побывать у бывшего *командира* Салтыкова...» — сообщал Гаршин писателю Минскому в июне 1884 года, вскоре

¹ Н. В. Шелгунов, Очерки русской жизни, СПб. 1895, стр. 795—796.

² «Памяти М. Е. Салтыкова» — Газета «Орловский вестник», 1890, № 94, от 28 апреля. Сообщил В. Н. Афанасьев.

³ «Искра», 1873, № 3. Здесь и ниже подчеркнуто нами. — С. М.

⁴ «Биография, письма и заметки из записной книжки Достоевского», СПб. 1883.

⁵ «Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину», М. 1935, стр. 91.

⁶ «Биржевые ведомости, 1882, 30 апреля.

после закрытия правительством журнала «Отечественные записки»¹.

«Знаете ли Вы, как ценил Ваш талант покойник Островский? — писал Салтыкову в 1887 году один из друзей умершего драматурга Н. Н. Луженовский. — ...Он считал вас *пророком*, *vaŕes'om* римским...»²

«*Радетелем о русской земле*» назвал Салтыкова Гл. Успенский, когда в 1893 году приступил было к писанию воспоминаний о нем, а также о Тургеневе, Вере Фигнер и других.

* * *

Объективная оценка событий и людей принадлежит будущему: чем действительное значение их больше, тем масштабнее представление о них в сознании отдаленного потомства. Щедрин сам всегда апеллировал к «суду будущего», к «суду истории». И будущее давно уже подтвердило общее значение писателя как одного из великих художников слова, порожденных Россией, и вместе с тем как могучую силу, выдвинутую русским народом в борьбе за свою свободу.

Следует, однако, признать, что, несмотря на общепризнанность Щедрина, его относительно мало читают. Смелость его отрицания, безжалостность разрушения отпугивают. «Бич сарказма, — говорил декабрист М. С. Лунин, — так же сечет, как и топор палача»³. А Щедрин был гением сарказма, так же как и гением иронии. Для многих Щедрин слишком неуютный, колющий, беспощадный писатель. Даже Луначарский, большой почитатель сатирика, утверждал: «Сатира Щедрина... при всем блестящем остроумии, тяжела, ее просто трудно читать! Она такая злая, она звенит, как натянутая струна, она готова оборваться. Он надрывает вам сердце...»⁴

И это верно. Сатира Щедрина глубоко трагична и предельно напряжена. Кроме того, многое в ней погружено в исторически изжитое прошлое и без хорошего детального знания этого прошлого трудно доступно для восприятия. Тем более трудно, что Щедрин, писавший под контролем царской цензуры, создал для своих сатирических произведений особый метафорический язык, который он сам назвал «эзоповым языком» — по имени легендарного древнегреческого баснописца Эзопа. Иносказания, намеки, умолча-

¹ В. М. Гаршин, Полн. собр. соч., т. 3. Под ред. Ю. Г. Оксмана, М. 1934, стр. 327.

² «Литературное наследство», т. 13—14, 1934, стр. 417.

³ «Декабрист М. С. Лунин. Сочинения и письма», стр. 24.

⁴ «Печать и революция», 1924, № 4, стр. 34.

ния «эзопова языка», его глубокий и сложный подтекст, полный едкой иронии или гневного сарказма, требуют от читателя наших дней дополнительных усилий для полного и ясного понимания некоторых Щедринских страниц.

Но не менее верно и другое — неумирающая художественная ценность основных образов, созданных писателем, ни с чем не сравнимая познавательная сила его произведений, без помощи которой, по словам Горького, «невозможно понять историю России во второй половине XIX века...»¹, наконец великая устремленность Щедрина в будущее. «Писатели, — утверждал Чехов, — которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и вас зовут туда же... Лучшие из них реальны, и пишут жизнь такою, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет вас»².

Этот «важный признак» в высшей степени характерен для Щедрина (как и для самого Чехова). Он был одним из тех великих людей искусства, который умел «проводить» положительные идеалы в отрицательной форме, умел тревожить мысль и совесть людей, звать их на борьбу за народное освобождение. Эта сторона сатиры Щедрина лучше, чем нам, была видна его современникам. И в этом отношении их свидетельства особенно важны и необходимы для «суда истории».

С. МАКАШИН

¹ М. Горький. История русской литературы, М. 1939, стр. 273—274.

² А. П. Чехов, Полн. собр. соч. и писем, т. 15, М. 1949, стр. 446.

СРЕДИ ЛИТЕРАТОРОВ

А. Я. Панаева (Головачева)

«Воспоминания» Авдотьи Яковлевны Панаевой (1819—1893) — писательницы, гражданской жены Некрасова — принадлежат к числу наиболее популярных произведений мемуарной литературы. Панаева общалась с многими выдающимися деятелями русской культуры середины прошлого века. О ценности ее «Воспоминаний» авторитетно свидетельствует отзыв Чернышевского — «очень хороши» — и его намерение взять на себя труд подготовки отдельного издания мемуаров — намерение, не осуществившееся из-за его смерти. (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XV, М. 1950, стр. 818, 897—898).

Но страницы «Воспоминаний», посвященные Салтыкову, немногочисленны и фрагментарны. Панаева, без сомнения, могла бы рассказать значительно больше и подробнее о работе Салтыкова в «Современнике», о его отношениях с Некрасовым, Чернышевским и Добролюбовым. Видимо, она и рассчитывала впоследствии сделать это, когда писала: «О Салтыкове я *пока* ограничусь немногими словами» (подчеркнуто нами. — С. М.). Однако дополнения в печати не появились. Вероятно, они и не были написаны.

- При всей своей неполноте, воспоминания Панаевой о Салтыкове для его биографии важны. В них содержится единственное свидетельство очевидца о том, что юный Салтыков, в ту пору лицеист, посещал в начале сороковых годов известные в Петербурге собрания литераторов у М. А. Языкова и слушал здесь Белинского. Тем самым устанавливается, что «полное страсти слово Белинского» (III, 210), сыгравшее столь крупную роль в духовном развитии будущего сатирика, приходило к нему не только печатным, но и изустным. Хотя Панаева не сообщает прямо о знакомстве Салтыкова с Белинским, можно предполагать, что и формально оно состоялось. Вполне допустимо, что хозяин дома М. А. Языков

представил Белинскому своего постоянного (если верить Панаевой) гостя, тем более что Языкову было известно его глубокое увлечение статьями критика.

С М. А. Языковым Салтыков поддерживал знакомство и в последующие годы, вплоть до его смерти в 1885 году (XIX, 310 и А. М. Мошин, Мелкие штрихи для больших портретов, М. 1905, стр. 71 и 75).

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

О Салтыкове я пока ограничусь немногими словами.

Я видела его еще в мундире лицеиста в начале сороковых годов в доме М. А. Языкова. Он приходил к нему по утрам по праздникам. Юный Салтыков и тогда не отличался веселым выражением лица. Его большие серые глаза сурово смотрели на всех, и он всегда молчал. Помню только раз на лице молчаливого и сумрачного лицеиста улыбку. Он всегда садился не в той комнате, где сидели все гости, а помещался в другой, против двери, и оттуда внимательно слушал разговоры.

Как теперь, помню Белинского, рассказывающего по комнате, заложив, по обыкновению, руки в карманы, и распекавшего К. *, известного всему кружку хвастуна. У К. было плаксивое выражение в лице, так что смешно было на него смотреть. Панаев, Языков и еще двое не литераторов, но постоянных членов кружка, слушали его распеканье. Я сидела против двери, и мне было видно лицеиста.

— Господи, зачем я вру! — патетично воскликнул К.

— Мамка вас в детстве зашибла! — заметил Белинский.

При этих словах на лице у лицеиста изобразилась улыбка.

— Чудеса, сегодня ваш мрачный лицеист улыбнулся, — сказала я Языкову.

— Я знаю, — ответил Языков, — что он ходит ко мне, чтобы посмотреть на литераторов. Он сам стихи пишет, и их напечатали в «Библиотеке для чтения». Кто знает, может, и будет со временем известным поэтом *.

Потом я слышала от Языкова, что Салтыков окончил

курс в лицее и продолжал писать стихи. Затем я не видела Салтыкова до 1847 или 1848 года.

Однажды я шла с Панаевым по Невскому, и мы встретили графа Канкрин, который был хорошо знаком с Панаевым. С Канкриным шел какой-то статский. Оба раскланялись с Панаевым.

— Кажется, это тот сумрачный лицеист, который бывал у Языкова? — спросила я Панаева.

— Да, это Салтыков, — ответил мне Панаев, — он теперь написал повесть, читал Канкрину, и тот в восторге от нее, пришлет ко мне прочесть, чтобы напечатать в «Современнике».

Канкрин сам привез Панаеву рукопись Салтыкова. Панаев прочел ее, но возвратил назад, потому что нечего было и думать, чтобы цензура пропустила ее, и сказал при мне Канкрину:

— Пусть лучше автор отдаст в другой журнал, там авось пропустят. А цензура в «Современнике» такую повесть не только запретит, но еще гвалт поднимет.

Но «Запутанное дело» (так называлась повесть Салтыкова) и без «Современника» произвело гвалт*. Последствия оказались весьма печальны для Салтыкова: он сослан был в Вятку.

В 1857 году появились «Губернские очерки»* под псевдонимом Щедрина, и с тех пор расположение читающей публики к произведениям Щедрина росло, как говорится в сказках, не по дням, а по часам.

Я увидела Салтыкова в редакции «Современника» уже в вицмундире в начале шестидесятых годов:* сумрачное выражение его лица еще более усилилось. Я заметила, что у него появилось нервное движение шеи, точно он желал высвободить ее из туго завязанного галстука. Кроме того, в нем произошла большая перемена — из молчаливого он сделался очень говорлив. Он всех смешил энергическими эпитетами, которыми награждал чиновничество, и говорил, что служить более не может, выходит в отставку и займется литературой; что отучеешь в среде людей, у которых вместо мозга в голове органчик* с единым мотивом «Тебе бога хвалим».

Я была свидетельницей однажды страшного раздражения Салтыкова против литературы*. Не могу припомнить название его очерка или рассказа, запрещенного цензором. Это запрещение было очень неприятно и

Некрасову, потому что нужно было дать набирать вновь что-нибудь другое, отчего номер журнала должен был очень запоздать.

Салтыков явился в редакцию в страшном раздражении и нещадно стал бранить русскую литературу, говоря, что можно поколоть с голоду; если писатель рассчитывает жить литературным трудом, то он не заработает на прокорм своей старой лошади, на которой приехал; что одни дураки могут посвящать себя литературному труду при таких условиях, когда какой-нибудь вислоухий камергер имеет власть не только исказить, но запретить печатать умственный труд литератора; что чиновничья служба имеет пред литературной хотя то преимущество, что человека не грабят, что он каждое утро отсидит известное число часов на службе и получает каждый месяц жалованье, а вот он теперь и свищи в кулак. Салтыков уверял, что он навсегда прощается с литературой, и набросился на Некрасова, который, усмехнувшись, заметил, что не верит этому.

Я никогда не видела Салтыкова спокойным; он всегда был раздражен на что-нибудь или на кого-нибудь.

Поразителен был контраст, когда Салтыков сидел за обедом вместе с Островским, который изображал само спокойствие, а Салтыков кипятился от нервного раздражения.

В 1863 году Салтыков приехал на короткое время в Петербург с места своей службы* и почти каждый день приходил обедать к нам. К удивлению моему, он был не так сильно раздражен на все и на всех; но это настроение в нем скоро прошло, и он говорил, что надо скоро уехать из Петербурга, иначе он без штанов останется.

— Такая куча денег выходит, а удовольствия никакого нет.

— Ну, все-таки в Петербурге больше разнообразия, — сказал Некрасов.

— Хорошо разнообразие! Куда ни пойдешь — видишь одни морды, на которые так и хочется харкнуть! Тупоумие, прилизанная мелочная подлость или раздраженная бычачья свирепость. Я даже обрадовался вчера, ужиная у Бореля, — такое каторжное рыло сидело против меня, но все-таки видно, что мозги у него работают хотя на то, чтобы прирезать кого-нибудь и обокрасть.



М. Е. Салтыков-Щедрин. Середина 1860-х г.г.
Фотография С. Левицкого.

— Разве не те же лица вы видите и в провинции? — возразил Некрасов.

— Нет, там жизнь превращает людей в вяленых судачков! — отвечал Салтыков.

Когда я впоследствии читала произведения Салтыкова, то часто встречала те самые выражения, которые слышала в его разговоре. Иудушкой он звал одного своего родственника и через несколько лет воспроизвел его в «Головлевых» *.

В начале семидесятых годов я видела Салтыкова играющим в карты у одних наших общих знакомых. Он точно так же болезненно был раздражителен, бросал карты и так бранил своего партнера, как будто тот совершил что-то ужасное.

В. П. Буренин

Автор публикуемых воспоминаний Виктор Петрович Буренин (1841—1926), критик, поэт-пародист, драматург и переводчик, выступил в литературе в шестидесятых годах. Он примыкает первоначально к демократической журналистике — дебютирует в «Колоколе» (разумеется, анонимно), пишет в «Искре» (псевдонимы: Владимир Монументов, Выборгский пустынный и др.), сотрудничает вместе с Салтыковым в «Современнике», «Свистке» (некоторые его страницы до недавнего времени приписывались Салтыкову) и «Отечественных записках». Однако радикализм молодого Буренина был весьма поверхностным и непрочным; скоро он находит для себя более подходящую среду в либерально-буржуазных органах: «Санкт-Петербургских ведомостях», «Библиотеке для чтения», «Вестнике Европы». А с 1876 года Буренин становится ближайшим сотрудником газеты «Новое время», только что приобретенной Сувориным. Вместе с «Новым временем» самоопределялся и Буренин. Если в первое время после перехода «Нового времени» в руки Суворина еще возможно было сотрудничество в его газете, наряду с Бурениным, Салтыкова и Некрасова, то начиная с русско-турецкой войны 1877—1878 годов и второго демократического подъема в России Суворин «повернул к национализму, к шовинизму, к беспардонному лакейству перед властью имущими» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 18, стр. 251). Отныне Суворин и его группа позволяли себе умеренный либерализм лишь в той мере, в какой это допускали под буржуазными воздействиями правящие круги. Салтыков уже в конце 1876 года понимал, «до каких пределов дошел» Суворин, и называл «Новое время» «гнусной газеточкой» (XIX, 78), а позднее заклеил ее метким и сразу привившимся прозвищем «Чего изволите?».

Начиная с восьмидесятых годов Буренин был одним из наиболее воинствующих представителей группы «Нового времени».

Возглавляя литературно-критический отдел газеты, он пропитывал его крайним черносотенством и особенно отличался антисемитскими и вообще шовинистическими выпадами. Все мало-мальски отступавшее от рутины, — будь это даже буржуазно-оппозиционная литература, — встречало с его стороны глумление и грубые ругательства. Не лишенный таланта версификатор, он написал много пародий на своих современников, но пародии эти были слишком элементарно грубы, чтобы иметь серьезное значение даже в своей группе. В юмористических сценах Буренина можно проследить выродившиеся и разложившиеся традиции «Свистка» и «Искры».

Публикуемые здесь воспоминания написаны Бурениным в последние годы его жизни, в глубокой старости, и предназначались для печати. Ренегат демократической литературы, основываясь на юношеских воспоминаниях, гримируется под соратника Салтыкова, изображая дело так, будто и позднее их ничто не разлучало. Буренин старается скрыть, что на протяжении последнего десятилетия жизни сатирика он неустанно, напряженно вел с ним злобную борьбу. С неумолимым упорством преследовал он в это время буквально каждую статью, каждую книгу писателя, несмотря на то, что сам же сравнивал его с Гоголем, талант которого называл «огромным». В средствах борьбы этот главарь нововременской клики не стеснялся. Его выступления против Салтыкова переполнены изветами, они развязны и лживы. Исключение составляют только статьи Буренина на смерть сатирика («Новое время», 1889, №№ 4741 и 4748, от 12 и 19 мая). Высокая оценка литературного значения Щедрина в публикуемых воспоминаниях Буренина, — так же, как раздел о «Губернских очерках», — восходит именно к этим статьям. Ни словом не обмолвился Буренин в своих воспоминаниях о подлинном отношении Щедрина к нему — «собственному корреспонденту газеты «Чего изволите?», а это отношение, исполненное глубочайшего презрения, было автору воспоминаний прекрасно известно. Все это Буренин скрывает, и не трудно догадаться — почему. Воспоминания, написанные уже после Октябрьской революции, предназначались для советского читателя, которому Буренин не решался сказать всю правду о себе. Пользоваться этими воспоминаниями следует, конечно, с осторожностью. Но они бесспорно содержат интересный фактический материал, а их умолчания хотя и скрывают истину, но истину о самом Буренине, а не о Салтыкове.

Когда «Губернские очерки» появились на страницах «Русского вестника», они сразу произвели, можно сказать, сенсацию и в литературе и в обществе. Не известное до тех пор никому имя Щедрина очень скоро сделалось одним из самых популярных, и автор «Очерков» стал в ряду тогдашних литературных корифеев — Тургенева, Гончарова, Толстого, Григоровича. Остроумие и юмор нового писателя, его смелые либеральные изобличения приводили в восторг читающую публику. В обществе заговорили, что этот автор — сатирик, наследник Гоголя. Очерки очень скоро нашли подражателей и породили ту «обличительную» литературу, которая казалась в то время таким смелым протестом. Книжки «Русского вестника» тогда выходили по две, каждое первое и пятнадцатое число месяца (по образцу «*Revue des deux Mondes*»), прочитывались, если можно так выразиться, нарасхват при их появлении, и прежде всего в них читатели бросались на «Губернские очерки» — «из записок надворного советника Щедрина». Об авторе этих записок начали даже, как это обыкновенно бывает, создаваться легенды: он был сослан в сороковых годах за либеральную повесть в Вятку * (что было на самом деле) и затем, дослужившись до крупного административного поста, вынужден был оставить службу за «обличительность» очерков и т. п. Тогдашнее «молодое поколение» просто, что называется, «упивалось» щедринскими очерками.

Разумеется, я был также в числе упивающихся: я тогда только что начал свою литературную деятельность.

В то время в Москве жил Ал. Ник. Плещеев, стихи которого появлялись в «Русском вестнике» одновременно с очерками Щедрина *. Плещеев также в глазах молодежи был осенен ореолом бывшего политического ссыльного.

Его стихи отличались так называемым «гражданским» оттенком, и он пользовался уважением в литературном кругу. Он получил незадолго <до того> порядочное наследство, был состоятельным человеком * и раз в неделю завел у себя вечерние «собрания». На этих «собраниях» бывали некоторые из московских литераторов

и порою наезжавшие из Петербурга и из губерний «известности» литературы. Бывали и начинающие вроде меня студенты университета. Алексей Николаевич был очень приветлив к «молодому поколению» и любил общество юношей. Он одобрял мои первые опыты в литературе, дружески был расположен ко мне, и я посещал его собрания постоянно. Там я увидел в первый раз Некрасова, Толстого и Салтыкова*.

По наружности Салтыков не произвел на меня особого впечатления. Он был среднего роста, немного узковатый в плечах, брюнет, не с длинными волосами, что считалось тогда за признак либерализма, но однако же с бородой. В то время борода была еще большим признаком независимости, чем длинные волосы à la Герцен, заграничные фотографические карточки которого, несмотря на запрет, были достаточно распространены среди молодежи. Борода тоже была нечто запретное: служащие чиновники не имели права запускать бороду и должны были ограничиваться лишь бакенбардами. Бородами отличались люди свободных профессий — художники, артисты, литераторы, не служащие помещики. Салтыков в то время, когда я впервые увидел его, был в отставке и бороду запустил порядочного размера. Поздней, когда он поступил на службу вице-губернатором в Рязань*, он принужден был уничтожить это либеральное украшение. Мне смешно вспоминать, что, встретив его тогда, я не сразу узнал его и в бакенбардах он показался мне типичным «надворным советником». В обращении Михаил Евграфович был прост и добродушен. Но он говорил довольно грубым басом, отрывисто, так что с первого раза производил впечатление сурового человека. В манере держаться у него нередко проявлялась нервность, и он имел привычку как-то странно подергиваться и ворочать шеей, как будто его теснили тугие воротнички сорочки. Особенно этим выкручиванием шеи он сопровождал свои остроты и свои юмористические замечания. И странное дело, этот жест усиливал остроумие и юмор его разговора.

В его наружности были замечательны еще глаза, довольно большие, выпуклые, с холодным и суровым взглядом. Он притом никогда не улыбался, не смеялся и при самых юмористических, самых забавных и остроумных

шутках был серьезен и даже мрачен. Это делало его шутки и остроты еще более выразительными и еще более вызывающими смех.

Салтыков не принадлежал к категории присяжных блестящих рассказчиков-литераторов, какими считались Тургенев и Григорович, которые славились в разговоре блеском и выразительностью своего остроумия. Мне не случалось слышать беседы Тургенева, но говорят, что он был замечательным рассказчиком. Что касается Григоровича, я часто слышал его рассказы — он действительно был большим мастером разговора. Но в его разговорах слышалась как бы предварительная обработка. Он часто повторялся в своих рассказах и, видимо, предварительно подготавливал их. У Салтыкова никогда не чувствовалось подготовки: его юмор и остроумие вырывались невольно, были прирожденным качеством его речи. Когда ему случалось говорить с одним ли слушателем, или при многих, тотчас же он невольно увлекал и вызывал смех своим юмором и резкими, порою даже немного грубоватыми по форме, но остроумными выходками. И при всей шутливости своих речей он, как я уже заметил, сохранял почти суровую серьезность и сам никогда не смеялся. Это, говорят, черта, свойственная истинным талантам сатирического склада: Гоголь и Свифт тоже отличались серьезностью и редко обнаруживали веселость...

Невольно мне припоминается рассказ Михаила Евграфовича об обеде, данном рязанским дворянством императору Александру Николаевичу* при посещении им Рязани, и о том, как Михаил Евграфович после этого обеда «представлялся» великим князьям Константину Николаевичу и Николаю Николаевичу (старшему). Я, разумеется, не могу передать юмора этого рассказа; невозможно было без смеха слушать этот его, быть может немного шаржированный, рассказ. Обед, конечно, был устроен такой, какие, кажется, умели в старое время для «высочайших» особ устраивать только в России <...>. Перед тем как государь и великие князья должны были войти в зал, члены местного дворянства и лица местного начальства были расставлены вдоль стенки, по ранжиру. Государь и великие князья вошли и уселись за стол с некоторой торжественностью, а дворянство разместилось за столом с «усиленным выраже-

нием почтительности в лицах», и лакеи начали разносить кушанья.

— Я, — рассказывал Михаил Евграфович, — наблюдал за государем: как ест! И сколько ест! По три раза подзывает официанта пальцем, чуть не каждое кушанье!

Когда обед кончился и высочайшие особы вышли из зала, к Салтыкову подошел адъютант и объявил ему, что великие князья Константин и Николай пожелали, чтоб знаменитый писатель представился им.

— Сейчас? — спросил Салтыков.

— Нет, через несколько времени, я тогда приду за вами.

— Ну, через полчаса действительно пришел и пригласил «проследовать» за ним. Я проследовал. Адъютант привел меня в одну из комнат, из которой великие двери в другую, где были высочайшие особы. Двери были затворены. Адъютант поставил меня перед дверями, пригласил подождать и сказал, что великий князь Константин сейчас выйдет. Я встал на указанном месте. Адъютант оглядел меня, как будто желая убедиться, все ли у меня в порядке, и ушел. Через минуту двери растворились и вошел Константин. Как только он увидел меня, он остановился, взбросил в глаз монокль и, кивнув мне головой, протянул — «а!».

Я представился ему, разумеется по «форме», в качестве вице-губернатора. Он выбросил монокль из глаза, с необыкновенной ловкостью опять взбросил в глазок, снова повторив «а!», спросил:

— Здешний дворянин?

— Здешний дворянин.

— А! Читал ваши очерки, восхищался вашим остроумием.

Я подумал: «Ну читал так читал, восхищался так восхищался».

Великий князь снова повторил свой прежний маневр, оглядел меня в монокль, выкинул его с ловкостью модного франта и опять вздел в глаз.

— Вы недавно здесь вице-губернатором?

— Недавно, ваше высочество.

— Все еще пишете?

— Все еще пишу.

— А! Очень рад. Пишите, пишите...

— Затем кивнул головой, повернулся к дверям. Двери сами отворились.

— Как сами?

— Сами. Перед царями и великими князьями двери сами отворяются. Они приучены к этикету. Этикет так требует.

Когда Константин удалился, вошел опять адъютант и объявил, что теперь Салтыков должен «ожидать» вел. кн. Николая Николаевича. Он не замедлил предстать, и произошел «прием» совершенно такой же. Салтыков «представился». Великий князь с высоты своего действительно великого роста оглядел его и спросил: «Здесьшний дворянин и все еще пишете?» Салтыков дал тот же ответ. Николай в обращении со знаменитым автором очерков выказал больше добродушия, чем Константин, сказал несколько приветливых слов и затем кивнул головой.

Аудиенция окончилась.

Михаил Евграфович рассказывал таким юмористическим <тоном?>, что невозможно было не смеяться. Я делаю маленькое замечание: он, очевидно, шаржировал в передаче подробностей, как нередко это бывало с ним. Особенно насчет Константина. Как известно, Константин в то время считался и был либералом, даже в некотором оппозиционном роде и к литературе «пребывал благосклонным», говоря ироническим выражением Герцена о Николае I.

Когда Чернышевский после ареста и суда над ним был сослан, Некрасов пригласил Салтыкова для пополнения редакции «Современника» крупной литературной знаменитостью. Салтыков незадолго перед тем оставил вице-губернаторство в Рязани и был очень доволен приглашением Некрасова. Он перебрался из Москвы в Петербург*.

Редакция «Современника», кроме Салтыкова и Некрасова, состояла тогда из трех лиц: Елисеева, Пыпина и Антоновича. Участие Салтыкова в журнале сразу сказалось некоторым оживлением. Салтыков занимался редактированием с чрезвычайным усердием и увлечением.

В каждой книжке журнала появлялись его статьи сатирического характера, критические и, кроме того, в отделе библиографии — без подписи. Он сделал попытку возобновить «Свисток», который прекратился за

смертью Добролюбова*. Литературная работоспособность его была изумительна. Он, что называется, без отдыха писал и занимался чтением присылаемых в журнал рукописей и редакторским корректированием.

Я в то время перебрался из Москвы в Петербург. Так как в «Современнике» печатались мои стихи, мне приходилось нередко обращаться к Салтыкову. Бывало, как ни зайдешь к нему днем или вечером, постоянно застаешь его сидящим за своим очень скромным и небольшим письменным столом (петербургские редакторы, к слову сказать, заводили себе тогда непременно огромные столы на манер канцелярских) или пишущим, или прочитывающим корректурные листы и рукописи. Вообще Михаил Евграфович был необычайно аккуратен в качестве редактора литературного отдела «Современника»; никогда и не задерживал присылаемых ему рукописей, и не затягивал их прочтение, как это делали тогдашние редакторы других журналов. Его литературные недоброжелатели утверждали, что он «в душе все-таки чиновник» и к литературе и литераторам относится холодно и безучастно. Но это была неправда: он любил литературу, писательство для него было увлекательным, главным делом жизни. В своих литературных сношениях с молодыми начинающими авторами он не выказывал чиновничьего тона и чиновничьей повадки и был очень приветлив.

Тем не менее по складу своего сатирического темперамента он склонен был к шутливым характеристикам и прозвищам литературных деятелей. Раз я спросил его, доволен ли он своими соредакторами в «Современнике» — Елисеевым, Пыпиным и Антоновичем. Он шутливо отозвался: «Доволен-то доволен, а только все же у нас редакция в некотором роде консистория*, ведь они из «духовной» среды». И затем нарисовал забавную картину «выхода» Елисеева, Антоновича и Пыпина в редакционные приемные дни. Эти «выходы» происходили в квартире Некрасова.

— Раз в неделю придешь, бывало, в назначенный час в редакцию, — говорил он, — Некрасов обыкновенно спит еще у себя в кабинете: всю ночь «играли» в карты и лег только утром. Затем появляются Пыпин, Елисеев и Антонович, точно из алтаря в обедню выходят с «дарами»: Елисеев с чашей, Пыпин с диском и лжицей и Антонович с «теплотой», как причетник*.

Трудно передать тот насмешливый юмор Салтыкова, с которым он рисовал эту сцену «выхода» трех своих сотоварищей.

Я упомянул о том, что Салтыков вел литературный отдел в «Современнике» с примерной внимательностью и усердием. Редактируя работы начинающих беллетристов, он делал нередко в их рассказах и повестях сокращения, поправки и переделки с большим тактом. Я не говорю уже о его советах начинающим писателям и полезных наставлениях: он был превосходным критиком и обладал редким эстетическим вкусом. Он не особенно ценил стихи, даже как будто недолюбливал их, но понимал очень тонко поэтические произведения. Особенно Михаил Евграфович не любил стихи, как он выражался, «куцые, без рифм». Помню, раз я пришел к нему, когда он прочитывал корректуру стихотворения Плещеева и стал с комической досадой жаловаться: «Это вот Плещеев прислал стихи и длинные и без рифм. Читаешь, словно мякину ешь; терпеть не могу этих стихов». Он так резко и выразительно гневался на поэзию без рифм, что я стал возражать и заметил ему, что ведь древние классические поэты, греческие и римские, писали без рифм, что белыми стихами написано много знаменитых поэм, притом очень объемистых: «Потерянный рай», «Герман и Доротея» и т. п.

— Ну да, это все прежнего времени поэты. А вот попробуйте почитать теперь «Потерянный рай» или «Германа и Доротею» гетевскую, так, батюшка, устанете.

— Однако Пушкин высказал такое мнение, что для русских стихов рифмы, может быть, и затруднительны: ведь их в нашем языке очень мало, не то что в южных языках, и при этом прибавлял, что, быть может, когда-нибудь у нас явится поэт, который рифму устранил из русского стихотворства*.

— Ну да что же такое, что Пушкин говорил так? А сам-то писал рифмованные стихи, и, кажется, ведь хорошие стихи, как вы полагаете? — заключил Михаил Евграфович шутивым вопросом. — Вам-то, поэтам, дай волю писать стихи без рифм, так вы их столько напишете, что гонорара за них не напасемся. Что вам настроичить сотню белых стихов, а глядишь, за сотню-то «Современник» отдай вам полсотни гонорара: ведь Некрасов платит по полтиннику за строчку.

Разумеется, все это Салтыков высказывал в добродушном юмористическом тоне. Но такие суждения намекали как будто на его склонность к скупости, которую в нем заподозривали его журнальные неблагоприятели. Эти господа говорили, что он слишком уж старается о том, чтобы как можно больше нажиться от своих литературных и редакторских трудов, что он для этого так много и часто пишет. Действительно он оставил после себя несколько объемистых томов своих сатир и должен быть признан одним из самых плодovitых писателей своего времени, особенно в тот период его литературной и журнальной деятельности, когда он редактировал «Современник»*; его появлявшиеся в печати почти ежемесячно «Благонамеренные речи», «Письма к тетеньке» не всегда были художественными сатирами и нередко попадали в фельетонный тон. Может быть, упреки в торопливом многописании долею были справедливы. Но ведь и другие писатели, его современники, были еще более плодovitыми художниками-писателями и оставили больше томов своих сочинений, чем Салтыков. Но Достоевский много и торопливо писал не для того, чтобы нажить больше средств, а от бедности: и несмотря на всю огромность его таланта, вернее сказать его гения, почти до последних трех-четырех лет его жизни Достоевского угнетал недостаток обеспеченности, тяжелая нужда. Салтыков от самых молодых лет никогда не был в нужде, он в литературу вступил, будучи достаточным человеком, у него было родовое имение*, наконец служба казенная давала ему известное обеспечение. Притом его не угнетали семейные заботы. У него долго не было детей, и, если не ошибаюсь, только после пятнадцатилетнего супружества родились один за другим двое детей. Он оставил им довольно крупное наследство, кажется тысяч до ста каждому. Говорят, он нежно любил этих позднорожденных детей и заботился усердно об увеличении своего состояния для их обеспечения. Впрочем, об интимной и семейной жизни Михаила Евграфовича я не знаю почти ничего. Когда мне случалось посещать Салтыкова в качестве сотрудника «Современника», я раза два-три видел его жену. Это была достаточно красивая дама, много моложе Михаила Евграфовича, со светскими манерами, любила говорить и в разговор часто вставляла французские фразы, причем к мужу относилась с усиленной

нежностью, называла его ласково Мишель. Ее нежность, светский тон и французские фразы как будто немножко коробили сурового сатирика. Так по крайней мере казалось мне. Жена Михаила Евграфовича происходила из княжеского рода, впрочем незначительного (не помню ее родовую фамилию). Михаил Евграфович женился в то время, когда служил в губернии*, незадолго до своего появления в литературе с «Губернскими очерками» и во всяком случае раньше, чем он сделался знаменитым писателем. Лица, знавшие жену Михаила Евграфовича близко, говорили, что она к литературным произведениям своего мужа относилась на манер жены Пушкина: не очень интересовалась ими, однако мужа любила искренне и заботливо относилась к нему.

Я немного отвлекся в сторону от воспоминаний о Салтыкове как о литераторе и журналисте, но мне все-таки хочется сказать еще нечто о том, каким в сущности он был добрым человеком, несмотря на свою суровую внешность и резкое сатирическое отношение к людям. Припоминается мне нижеследующий случай. А. Н. Плещеев, который жил в Москве года три-четыре после того, как я уехал из Москвы, обратился ко мне с просьбой помочь ему перебраться также в Петербург. Он в это время уже не был состоятельным человеком и, напротив, очень нуждался. Первая его жена умерла очень молодой, оставив ему двух сыновей и дочь. Он женился на второй. Нужны были средства, чтобы содержать семью. В Москве он не имел никакого места и литературного заработка. Просьба его ко мне заключалась вот в чем: не могу ли я похлопотать у Некрасова, чтобы Некрасов дал ему место секретаря при редакции. При этом он просил также о том, чтобы я «поговорил» Салтыкову, не похлопочет ли и он у Некрасова, так как сам Плещеев стеснялся обратиться к Михаилу Евграфовичу, зная, что тот не любит такого рода обращения к Некрасову.

Я пошел к Салтыкову и передал ему о стеснительном положении Плещеева в Москве и о том, что он просит Салтыкова «посодействовать» у Некрасова. Михаил Евграфович, выслушав меня, нервно заволновался и сурово отрезал мне:

— Нет уж, батюшка, идите к Некрасову сами с этим делом, разговаривайте с ним, а я не пойду. Коли

Некрасов захочет, так сделает все равно. Идите к нему и разговаривайте с ним, сколько угодно.

Я ответил, что, конечно, я пойду к Некрасову и буду хлопотать, да боюсь, что он не обратит внимания.

— Я ведь не близок с ним, я не литературный авторитет для него, как вы. Ваши хлопоты за Плещеева, конечно, будут удачнее моих.

— Да что мне до Плещеева — он ведь сам виноват в своем теперешнем, как вы выражаетесь, бедственном положении. Помилуйте, прожил в короткий срок, ведь у него были средства порядочные, дом на Малой Дмитровке купил, да тут же и заложил, и, разумеется, и дом прахом пошел. Ведь вы знаете его: это какой человек? Помогай не помогай — все равно. Ему дайте хоть миллион: он в год его пропьет... на лимонад!

Закончив этой сатирической характеристикой Плещеева, он решительно объявил, что не станет хлопотать о нем у Некрасова. И тем не менее он все-таки, как я узнал от него самого, Некрасову «поговорил», и Плещеев, перебравшись в Петербург из Москвы, получил место секретаря при редакции «Современника» — место, которое, по правде сказать, было для него чистой синекурой... Я слышал также, что Салтыков нередко оказывал помощь и другим нуждавшимся собратьям по литературе, особенно из начинающих. Вообще, несмотря на его внешнюю суровость и репутацию «злого» сатирика, мне всегда казалось, что в сущности он очень добродушен и участлив.

Одна черта в нем неприятно удивляла меня: он чрезвычайно несправедливо и резко отзывался о выдающихся произведениях литературы тогдашних корифеев; он как будто даже завидовал Тургеневу, Достоевскому. Однажды я ему высказал, что на мой взгляд «Отцы и дети» такой роман, каких немного даже не только в нашей, но и в европейской литературе.

— Ну, разумеется, это лучшее произведение Тургенева, но тем хуже, что в своем лучшем произведении он упал лицом в грязь — оклеветал стремления молодого поколения*.

Странно было слышать от него такое суждение. Он порою даже с насмешкой говорил о «дворянской» натурности Тургенева. Помню, случилось мне встретить Салтыкова на академической художественной выставке

перед известным портретом Ивана Сергеевича, работы художника Харламова. Харламов почти постоянно жил в Париже и перенял у французских портретистов (вроде знаменитого Королюс-Дюран) изящную манеру кисти, не впадающей в крайности реализма, столь любезные русским портретистам. Портрет этот, кажется, и написан им в Париже. Тургенев схвачен на полотне как живой: с полотна на вас глядит благородный престарелый русский джентльмен. Я выразил суждение в таком роде. Михаил Евграфович, по обыкновенной своей привычке, нервно pokrutil шею — это значило, что сейчас последует сатирическая выходка...

— Да, русский джентльмен! Я, как увидел портрет, тотчас и подумал: вот настоящий воспитатель великих князей. Хоть сейчас приглашай ко двору!

К Достоевскому Салтыков относился еще более недружелюбно *, чем к Тургеневу. Я был искренним поклонником его творчества. Помню, чуть, бывало, начнешь восхвалять художественное дарование автора «Бесов», Салтыков резко и раздражительно заметит:

— Какая тут художественности! Художественности не может быть там, где болезненная истерика, припадочное напряжение мысли! У Достоевского почти все герои его романов созданы не по наблюдениям действительных живых людей: он выматывает их образы из своей болезненной фантазии. Все говорят на один склад истерическим языком самого Достоевского.

Так судил Салтыков о писателе, который создал такие живые, правдивые и реальные типы, как отец и сын Верховенские, как Раскольников, как Мармеладов. На первых же порах своего редакторства в «Современнике» Салтыков разразился грубой и резкой полемикой против Достоевского, которая в то время произвела дурное впечатление. Причину раздражения против Федора Михайловича, кажется, было главным образом то, что он знал про отрицательное мнение Достоевского: ведь Федор Михайлович отрицал глубину сатиры Салтыкова *, считал ее узкой и определил ее так: «Все содержание сатиры Салтыкова заключается в том, что где-то существует квартальный, который наблюдает за ним и мешает ему жить» *.

К начинающим молодым писателям Салтыков относился внимательно и, кажется, вообще с участием, но и

тут иногда не мог удерживать своего юмора при оценке их. В начале его редакторства в «Современнике» я раз спросил его:

— Вот вам теперь, конечно, присылают много своих литературных работ начинающие таланты, и вам много приходится читать их произведений. Какого вы мнения об этих писателях и их талантах?

— Да какие же теперь таланты? Почти все нынешние молодые писатели двух сортов: или «Засодимские», или «Отпущенские». Засодимские — те, что засажены в тюрьмах*, а Отпущенские — те, что выпущены из тюрем. Засодимские пишут, кажется, посодержательней, и в их писаниях больше обдуманности: досуга, ведь у них в тюрьме для писательства много. Ну, а Отпущенские, эти обнаруживают торопливость и небрежность в своих повестях и рассказах, желают поскорей напечатать свои работы. Но, конечно, между теми и другими таланты есть и подающих надежды встречается не мало...

Н. Н. Мазуренко

Автор воспоминаний Николай Николаевич Мазуренко (1840—?) после студенческих волнений 1858 года в Харькове был исключен из университета. В 1859—1862 годах Мазуренко несколько раз ездил за границу. Там он установил контакт с Герценом и Огаревым, стал деятельным корреспондентом «Колокола» и даже намеревался перейти на положение эмигранта. Однако Герцен убедил его не уезжать из России, так как «там каждая сила нужна» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. X, П. 1919, стр. 207). Летом или осенью 1861 года Мазуренко познакомился и сблизился с Добролюбовым, только что вернувшимся из заграничной поездки. Тогда же он познакомился с Чернышевским и выполнял какие-то его и Добролюбова поручения (Е. Г. Бушканец, Кто такой «Даниил»?.. — «Вопросы истории», 1954, № 11, стр. 110—111). Мазуренко помещал литературно-критические статьи и публицистические очерки в «Современнике», «Очерках», «Народном богатстве», «Заграничном вестнике» и других изданиях.

Воспоминаниями Н. Н. Мазуренко и публикуемыми ниже записями М. А. Унковского исчерпываются известные нам мемуарные источники, отразившие интерес Салтыкова к жизни и деятельности издателей «Колокола». Описываемые мемуаристом встречи с Салтыковым датируются январем — февралем 1863 года и октябрём — ноябрём 1864 года.

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

...Тотчас после похорон Добролюбова, уехав из Петербурга за границу, я возвратился только чрез несколько месяцев, привезя с собою критическую статью по поводу

романа Тургенева «Отцы и дети», а также статьи «Интеллигентный пролетариат в России» и статью о «Мертвом доме» Достоевского. Кроме того, привез я еще три статьи беллетристического содержания, между которыми были «Записки хуторянина» *, напечатанные в «Современнике» в том самом номере, в котором началось печатание романа Чернышевского «Что делать?».

Узнав об издании газеты «Очерки» *, Очкиным, редактором которой был Григорий Захарович Елисеев (подписывавшийся часто «Грицко»), постоянный составитель внутреннего обозрения в «Современнике», я отправился к нему на Васильевский остров, кажется в 13-ю линию.

Радужно, отечески принятый Елисеевым, который был много старше меня, — тогда мне было всего двадцать один год, — я передал ему статью об «Отцах и детях», которая чрез несколько дней была напечатана в газете «Очерки», но вместо скромного названия, данного ей мною, именно «Кирсановы и Базаровы с точки зрения Тургенева», Елисеев озаглавил ее «Молодое поколение», а ниже под этим стояло в скобках по-французски: «profession de foi» ¹. Показывая Григорию Захаровичу другие свои статьи, я спрашивал его совета, куда бы мне обратиться с ними, в какую редакцию. Он дал мне свою визитную карточку на которой несколько слов написал Михаилу Евграфовичу Салтыкову, которого я давно уже очень высоко ставил *.

Вот как, после получасового знакомства, принимали редакторы людей, которых встречали первый раз в жизни! <...>

Я в тот же день отправился к Салтыкову, который также жил на Васильевском острове, кажется в 5-й линии *.

Щедрин принял меня весьма любезно, не заставив ждать даже минуты; расспрашивал меня о моей жизни за границую, о Герцене и Огареве, слегка зондировал меня, причем я успел ему высказаться как ярый поклонник поэзии Некрасова, с которым, однако, во всю жизнь мне почему-то не удалось встретиться. Щедрин удерживал меня, когда я встал, собираясь уйти, так как я опасался помешать его срочным работам. Передав ему

¹ «исповедание веры» (франц.).

статью «Записки хуторянина», я откровенно сказал, что порядком нуждаюсь и с нетерпением жду напечатания моего труда.

Казалось бы, такое кратковременное свидание и самая просьба человека, которого он первый раз в жизни видел, могли быть легко забыты. Какое ему дело, что я нуждаюсь, тем более что я сам был в том кругом виноват, прожив остатки своего состояния за границей, вместо того чтобы искать какого-либо дела, если служба мне была не по нутру. Мало ли кто нуждается, всем не поможешь, — рассуждают резонно современные литературные тузы.

Смотрел Михаил Евграфович сурово, голос был немного грубоватый, резкий, точно он сердился, был чем-то недоволен, но это была только внешность, а в действительности это был очень добрый, отзывчивый человек.

Чрез шесть дней после свидания с Салтыковым сижу я в библиотеке Серно-Соловьевича, находилась она на Невском, недалеко от Казанского собора, теперь, увы, я ее не вижу. Вдруг входит Щедрин. Я, разумеется, с него глаз не спускал, но, ввиду высказанной ему просьбы, мне как-то совестно было, неловким казалось подойти к нему. Подошел он к конторке, о чем-то толковал с Серно-Соловьевичем*, стоя к читающим спиной. Минут чрез пять он повернулся и рассматривал читающих, тогда глаза его встретились с моими. Прошло несколько секунд, Салтыков точно вспоминал что-то. Мне стало неловко; я невольно покраснел, так как проклятая мысль о деньгах сидела у меня гвоздем в голове, и опустил глаза на книгу.

В эту минуту подходит ко мне Щедрин. Я вскакиваю как ужаленный и, стараясь скрыть волнение, жму ему руку.

— Ну, я очень рад, — говорит Щедрин, — статья ваша уже набрана; я помню, что вы мне говорили о временном стеснении, и потому позвольте вам предложить: когда Валериан Иванович Панаев* будет вам платить гонорар, тогда рассчитаемся; придется более ста рублей.

С этими словами Салтыков вынимает портмоне и дает мне пятидесятирублевую бумажку*. Было бы пустым ломанием колебаться, отказываться. Я тотчас принимаю деньги и горячо благодарю Михаила Евграфовича, который поспешил попрощаться и уйти.

Едва ли на это способны нынешние редакторы, да хотя бы и были способны, не вспомнят вовремя, забудут лицо человека, которого видели первый раз в жизни.

Не помню — когда, и не помню, в каких газетах, но мне приходилось читать отзывы о покойном Михаиле Евграфовиче как о черстве, часто грубовато-резком человеке. Я помню, что эта клевета меня глубоко возмутила. Наконец это могли писать люди, весьма несимпатичные покойному сатирику, притом, вероятно, выведшие его из терпения каким-нибудь нахальным требованием или назойливым приставанием.

Вскоре после того передал я Салтыкову еще два рассказа и одну критическую статью. Пролежали они у него месяц, так как он уезжал в Москву. По возвращении его в Петербург, я отправился к Михаилу Евграфовичу. Из разговора я понял, что какая-то черная кошка пробежала между Салтыковым и «Современником». Он объявил мне, что отказался от заведования беллетристическим отделом и последний передан в заведование Антоновичу. Дал он мне статьи мои обратно и написал письмо Антоновичу, в котором дал хороший отзыв о статьях моих и даже выразился так: «Желательно было бы видеть их напечатанными в «Современнике» *.

Вскоре после того Салтыков перешел в «Отечественные записки» и даже, надо полагать, он окончательно разошелся с «Современником» *, когда передавал мне статьи и письмо.

Между тем статьи эти пролежали недели две у Антоновича, который никакого внимания не обратил на письмо Салтыкова или, может быть, обратил слишком большое внимание, так как возвратил мне статьи, говоря, что они *по направлению к «Современнику» не подходят, а скорее пригодны в «Отечественные записки».*

После того мне не приходилось более встречаться с Михаилом Евграфовичем.

Н. А. Лейкин

Имя Николая Александровича Лейкина (1841—1906) неотделимо от созданного им жанра сатирико-юмористических рассказов из быта мелкого купечества. В начале своего литературного пути, в шестидесятые годы, он примыкал к демократической журналистике — к «Современнику», «Искре», «Отечественным запискам». Руководители этих изданий его ценили. Салтыков относил Лейкина к числу литераторов, знакомство с которыми «весьма полезно для лиц, желающих иметь правильное понятие о бытовой стороне русской жизни». При этом, однако, он подчеркивал, что рассказы Лейкина имеют «скорее этнографическую, нежели беллетристическую ценность». Первое издание сочинений Лейкина, вышедшее в 1871 году в двух томах, Салтыков встретил сочувственной рецензией в «Отечественных записках» (VIII, 446—450). О том, что Салтыков считал Лейкина «весьма талантливым человеком» и «с интересом» следил за его «маленькими фельетонами» в «Петербургской газете», сообщает и сын сатирика в своих воспоминаниях (К. Салтыков, Интимный Щедрин, М. — П. 1923, стр. 32—33). Сам же Лейкин, не отличавшийся скромностью, сообщал о себе: «Я, что ни говорите, маленький Щедрин» (Иер. Ясинский, Роман моей жизни, М. — Л. 1926, стр. 205).

Мемуарная зарисовка Лейкина интересна тем, что в ней зафиксирована одна из форм той практической работы в редакции «Современника», которой был занят Салтыков в 1863—1864 годах.

ИЗ «МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Наступил 1864 год.

Помню, что утром в праздник, кажется в феврале, в нашей квартире раздался звонок. Помню, что я сам от-

ворил наружную дверь... Передо мной стоял высокий господин в шубе и шляпе, с черными небольшими бакенбардами и говорил:

— Писателя Лейкина мне надо видеть. Здесь он живет?

— Здесь. Это я, — дал я ответ. — Что вам угодно?

— Имею вам кое-что сказать. Позвольте раздеться. Я — Салтыков... писатель Салтыков.... Щедрин... Приехал от Некрасова переговорить с вами.

Я обомлел и стоял как истукан. Передо мной действительно стоял Салтыков-Щедрин, которого я теперь узнал по имевшемуся у меня его портрету издания «Художественного листка» Тимма *. Я не мог и представить себе такой чести. Салтыков сам снял с себя шубу и повесил ее в прихожей на вешалку. Я до того растерялся, что даже не помог ему сделать этого.

Кое-как оправившись, я, однако, пригласил его в гостиную. Он сам и начал:

— Николай Алексеевич Некрасов и я читали ваших «Апраксинцев» в «Библиотеке для чтения», и нам они очень понравились. Читали и ваши милые рассказы в «Искре». Очень своеобразно. Писать из купеческого быта трудно после Островского, но вы не подражаете... У вас свое... И вот Некрасов поручил мне заехать к вам и просить вас дать нам что-нибудь для «Современника».

Я, как говорится, земли под собой не слышал от радости и восторга. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин казался мне чем-то великим, недостижимым — и вдруг он у меня! Я зачитывался его «Губернскими очерками», об нем я слышал столько восторженных речей от сотрудников «Искры», от самого В. С. Курочкина, который даже ездил к нему советоваться с некоторыми рукописями *, как мне было известно, а я и на Курочкина смотрел как на нечто огромное.

Кое-как я оправился и отвечал:

— Мне так лестно, так лестно ваше предложение, что я и выразить не могу. У меня есть начатая повесть «Биржевые артельщики», но она написана только наполовину....

— «Биржевые артельщики»? О, это опять должен быть своеобразный быт, как и ваши «Апраксинцы». Давайте, давайте нам эту повесть для «Современника»! Давайте то, что у вас есть. Мы напечатаем начало,

а потом вы будете продолжать. Ведь вы скоро пишете? — говорил Салтыков.

— У меня и начало еще не отделано. Черновик... Надо переписать...

— Так отделяйте скорей и приносите нам в «Современник». Мы сейчас же напечатаем *. А вы пишите продолжение, поналягте хорошенько, поутихите пишите.

Помню, что на глазах моих были слезы радости. Они мешали мне говорить.

Я обещал доставить начало рукописи через неделю и даже показал Салтыкову эту рукопись. Он перелистывал ее, посмотрел и проговорил:

— Хорошо, четко пишете... И переписывать не надо... И так наберут. И не такие рукописи набирают. Разве исправления будете делать...

Затем Салтыков расспросил меня, где я служу, с кем я живу, и, узнав, что живу в большой семье отца, показал головой.

— В большой семье трудно заниматься литературной работой, — сказал он.

Таково было посещение меня Салтыковым.

Приведу, кстати, отзыв моего дяди о посещении меня Салтыковым. Он не читал произведений Салтыкова и не был знаком с его литературным значением. Здесь также выразилось его неудовольствие к моему литературному труду, а также и пренебрежительный взгляд на мое положение. Он не сознавал, что я уже выдвигался на литературном поприще и, как говорится, был на виду.

— Кто это у тебя был? — спросил он меня после ухода Салтыкова.

— Знаменитый писатель, сатирик, Михаил Евграфович Салтыков, — отвечал я, млея от восторга. — Приглашал меня работать в «Современнике».

Дядя нахмурился.

— Знаменитый... Был бы знаменитый, так к тебе не приехал бы, — пробормотал он.

Е. И. Жуковская

В «Записках» Екатерины Ивановны Жуковской (1841—1913) нарисован портрет Салтыкова периода его сотрудничества в «Современнике». «Записки» содержат ряд интересных сведений о сатирике, которых нет в других мемуарах. Но пользоваться ими как источником для его биографии следует с большой осторожностью. Жуковская писала воспоминания в старости, незадолго до смерти. К этому времени бывшая «нигилистка», участница знаменитой слепцовской коммуны давно утратила боевой радикализм своей молодости, — так же как и ее муж, видный публицист «Современника» Юлий Галактионович Жуковский (1822—1907), достигший высокого служебного положения и звания сенатора. Интересное свидетельство о политической эволюции, проделанной супругами Жуковскими, находим у Л. Ф. Пантелеева. В своих воспоминаниях он сообщает, что в годы первой «Земли и воли» Жуковский был «настолько посвящен» в конспиративную деятельность этой крупнейшей революционной организации шестидесятых годов, что даже участвовал однажды в редактировании землевольской прокламации. В начале девятисотых годов Пантелеев иногда сталкивался с Жуковскими за границей. «При встрече со мной, — пишет Пантелеев, — он хотя и раскланивается, но торопливо проходит. Так и кажется, что мое имя напоминает ему что-то давно забытое, даже совсем схороненное, а жена его прямо-таки от всего отпирается» (Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, редакция и комментарии Г. А. Рейсера, М. — Л. 1934, стр. 309—310. Подчеркнуто нами. — С. М.). Несомненно, что и на страницах своих «Записок» Жуковская иногда намеренно, иногда невольно «отпирается» кое от чего в своем прошлом. Но именно кое от чего. Отпираться «от всего» ей не было нужды, так как и в шестидесятые годы ее «бунтарство» и «нигилизм» проявились лишь в специфической сфере так называемого женского вопроса.

Она энергично боролась за освобождение от деспотизма семьи и от оков своего первого, неудачного брака. В борьбе за право самой строить свою жизнь Жуковская обнаружила незаурядную силу характера. Собственно, ради того, чтобы прославить это свое прошлое, которым она очень гордилась, она и взялась за перо мемуаристки. Другое дело — ее связи с революционными демократами. Тут она кое о чем умолчала, в том числе и о Салтыкове, о котором предпочла рассказать преимущественно в бытовом и психологическом плане. Между тем Жуковская была поставлена обстоятельствами своей жизни в весьма тесное, хотя и непродолжительное соприкосновение со многими передовыми людьми того времени. Ей было о чем вспомнить. Предпринятое ею после разрыва с семьей и первым мужем «искание знакомств по человечеству» привело ее в коммуну Слепцова и в среду людей, группировавшихся вокруг «Современника». Сближение с Жуковским поставило ее скоро в положение хозяйки дома, в котором, по словам ее дочери, «кружок «Современника» и друзей его чаще всего собирался», где приходившие запросто, без приглашений, «Некрасов и Салтыков-Щедрин прежде всего читали свои новые произведения, за разговорами и горячими спорами проводили целые ночи» (Н. Ю. Жуковская - Лисенко, Дети Салтыкова-Щедрина. Рукопись незаконченных воспоминаний, ИРЛИ).

Общение с деятелями «Современника» не прошло для Жуковской бесследно, но отнюдь не превратило ее в последовательницу взглядов революционных демократов, даже в той области, которая ее преимущественно интересовала. Их главное убеждение — что борьба за свободу женщины неразрывна с борьбой за всестороннее освобождение народа, — осталось ей чуждо. Рассказывая в «Записках», что участники слепцовской коммуны делились на «нигилистов-аристократов» и «нигилистов-бурх», то есть разночинцев, Жуковская причисляла себя к первым. О политических же убеждениях «нигилистов-аристократов» она пишет: «Все они были чужды всяких насильственных переворотов и пытались проводить новые начала самым миролюбивым путем...» («Записки», стр. 208). Такая склонность к мирному реформаторству, конечно, отдаляла Жуковскую от боевого духа щедринской сатиры, хотя к самому писателю она питала в годы их общения дружескую симпатию. Последующее политическое развитие Жуковской все дальше и дальше уводило ее от верного понимания Салтыкова — писателя и человека. Весьма важную роль сыграло здесь еще одно обстоятельство. Жуковская не могла простить Салтыкову позиции, занятой им в конфликте, который возник между членами бывшей редакции «Современника» (закрытого правительством в 1866 г.)

при организации Некрасовым в 1868 году нового журнала «Отечественные записки».

Как сообщает в своих воспоминаниях Г. З. Елисеев, на одном из совещаний о будущих «Отечественных записках» осенью 1867 года Жуковский потребовал себе, наравне с Некрасовым, половину прибыли и, кроме того, условием своего участия в журнале поставил приглашение за счет общередакционных сумм Антоновича и Пыпина, а труд Елисеева, «если Некрасову угодно» привлечь и его, оплачивать из некрасовской доли. Некрасов не согласился на это, и новая редакция образовалась в составе Некрасова, Елисеева и позднее примкнувшего к ним Салтыкова (Салтыков, вынужденный выйти в отставку, только что вернулся из Рязани и участвовал только в одном совещании — в октябре 1867 года).

Однако версия, изложенная Елисеевым (сб. «Шестидесятые годы», М. — Л., 1933, «Academia», стр. 353—355) и с тех пор ставшая традиционной, не вполне точно излагает историю образования состава редакции «Отечественных записок». Лишь недавно стало известно, что министр внутренних дел Валуев по прямому указанию III Отделения вмешался в организацию журнала и потребовал устранения Жуковского и Антоновича от участия в «Отечественных записках». (Подробно об этом см. в статье: С. Макашин и Б. Папковский, Некрасов и литературная политика самодержавия. — «Литературное наследство», М. 1949, т. 49—50, стр. 439—452.)

Преследовало ли III Отделение провокационные цели — поссорить старых товарищей по редакции «Современника», или же стремилось только изолировать этих писателей от издания, вновь собиравшего вокруг себя демократические силы литературы, — сказать трудно. Но вражда между редакцией «Отечественных записок» и Антоновичем с Жуковским все возрастала и привела в 1869 году к острой полемике в печати. Жуковский и Антонович выпустили отдельной брошюрой оскорбительный для Некрасова памфлет «Материалы для характеристики современной русской литературы». Салтыков отвечал анонимной статьей-рецензией в четвертой книжке «Отечественных записок». В ней он, в частности, заявил своим противникам, что они хотят выместить свои неудачи и разочарования «не на тех, кто был главною и действительною их причиной (до тех-то, в ком, собственно, и заключается источник всевозможных литературных неудач, пожалуй, рукой не достанешь), а на тех, кто находится ближе под руками» (VIII, 353). Таким образом, Салтыков явно давал понять читателям, что имелись скрытые причины, помешавшие сотрудничеству Антоновича и Жуковского в редакции «Отечественных записок».

«Уступка», которую пришлось Некрасову сделать властям, вызвала против него новую бурю негодования среди его недругов в литературном мире, — хотя суть дела знали очень немногие. При этом сознательно игнорировалось либо просто не учитывалось и другое решающее обстоятельство — для раскола в бывшей редакции «Современника» существовали весьма важные *внутренние* причины и предпосылки. В статьях Антоновича и, особенно, Жуковского последних лет существования «Современника» резко снизился тот высокий теоретический уровень мысли, который был достигнут журналом под руководством Чернышевского. Более того, Жуковский обнаружил тенденцию к прямой ревизии взглядов великого ученого и революционера. Салтыков в упомянутой рецензии на «скандальную книжицу», констатируя ряд признаков ясно обозначившегося отхода Жуковского от революционно-демократической программы «Современника», задавался вопросом: «Что это такое? действительное ли обращение? или просто недобросовестный полемический прием?» (VIII, 360). Будущее показало, что это было «обращение», то есть ренегатство.

Статья Салтыкова и его вступление в редакцию новых «Отечественных записок» были восприняты Жуковской не в принципиальном, а в элементарно-личном плане. Человек очень пристрастный в своих суждениях, особенно там, где дело касалось интересов боготворимого ею мужа, она оказалась неспособной возвыситься над своими симпатиями и антипатиями и понять идейные мотивы, определившие неизбежность расхождения Салтыкова и Жуковского. Это наложило на воспоминания Жуковской определенный отпечаток. Нотки недружелюбия и даже враждебности, звучащие в «Записках» по отношению к Салтыкову, в значительной мере — результат позднейших переоценок.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О М. Е. САЛТЫКОВЕ

В первый раз я встретилась с М. Е. Салтыковым в Москве, на даче Плещеева, к которому он заехал проездом через Москву в свое имение у станции Пушкино*. По переезде моем в Петербург видала его в коммуне*, куда он заходил к Головачеву, тогдашнему секретарю «Современника», то по делам этого журнала, то просто поболтать. Собственно, последнее выражение как-то трудно применимо к Салтыкову. Болтовня предполагает

некоторую долю добродушия, а он даже в самые добродушные минуты выглядел угрюмым, ворчливым, большею частью кого-нибудь ругал или на что-нибудь жаловался: прежде всего на цензуру, затем на редакторов «Современника» и «консistorию», как он обзывал его сотрудников из духовного звания. В то недалекое от крепостничества время он, хотя и поборник освобождения крестьян, еще не мог все-таки отделаться от барства и не легко мирился с необходимостью считаться с так называемой им «консistorиею» *. Мой муж, Юлий Галактионович Жуковский, пользовался его расположением, может быть, отчасти потому, что был чистокровным дворянином. Живя в Петербурге, а потом приезжая из провинции *, Салтыков приходил к нам отводить свою душу. Вообще я думаю, что самый опытный сердцевед затруднился бы дать отчетливую характеристику Салтыкова — до того он был соткан из противоречивых настроений и взглядов. Это была какая-то смесь доброты и злости, зависти, жадности и щедрости, иногда наивности до смешного и замечательной целомудренности, столь чуждой теперешнему поколению литераторов.

Разговаривая однажды с двоюродной сестрой его жены, милейшей, на редкость умной Анной Николаевной Энгельгардт, хорошо знавшей Салтыкова, я, передавая ей какие-то забавные выходки Салтыкова, посетившего нас накануне, заметила ей:

— Совершенно незнакомый с ним человек мог бы принять его за крепостника.

— Да он в корне крепостник и есть! * — воскликнула она. — Весь его либерализм — наносный элемент; он просто опоздал родиться и попал в такое время, когда крепостничество не к месту и не к лицу. Как талантливый человек, он быстро усвоил веяния времени и сделался либералом *.

И действительно, вспоминая теперь Салтыкова начала нашего знакомства, то есть в начале шестидесятых годов прошлого столетия, я должна признать, что он значительно полевел с годами. Я не нашла в собрании его сочинений тех его фельетонов 1864—1865 года, где он глумился над передовыми женщинами, вследствие чего очень популярная в то время княжна Макулова написала ему выговор *, на который он пришел к нам жаловаться, и притом совершенно по-детски, как маленький

мальчик, которого обидели, так что невольно пришлось рассмеяться. И даже покончивший со своей жалобой, он все-таки не раз в течение вечера возвращался к Макуловой. Изложивши какую-нибудь мысль свою, он вдруг не то шутя, не то серьезно спросит:

— А что она на это скажет?

— Да кто она? — спрашиваю.

— Да княжна Макулова... Вот вам смешно, а каково мне такие письма получать!

Осмеивая всех, он не любил, чтобы ему отплачивали тою же монетою. Однажды, подшучивая над крайностями «Русского слова», он изобразил одного из его сотрудников, Зайцева, в виде мальчика, который, прочтя у Молешота, что фосфор составляет главную основу мозга, принялся усердно есть головки фосфорных спичек для увеличения своего мозгового вещества *. С своей стороны, Зайцев по поводу какого-то фельетона Салтыкова заметил: «Видно, что фельетон написан чернилами со стола статского советника» *. Салтыков на это тоже обиделся и некоторое время носился с жалобами по этому поводу. Вообще он как-то стыдился своего чиновничества и, дослужившись до действительного статского советника, очень не любил, когда его даже в шутку называли: «Ваше превосходительство».

Одно время цензура как-то особенно урезывала его статьи, а затем у него вышли какие-то недоразумения с самой редакцией «Современника» вследствие его попытки осмеять в фельетоне одного из его сотрудников *. Рассердившись, он решил поступить опять на службу и вскоре выхлопотал себе место председателя казенной палаты в Пензе. Он пришел к нам проститься перед отъездом уже с бритыми усами, как полагалось в то время чиновникам. Бритые усы как-то меняют лицо, и к нему не сразу привыкаешь. Я плохо запоминаю и замечаю частные особенности лиц, и потому, увидя Салтыкова как-то странно подбирающим губы и не сообразив, что он сбрил свои усы, я невольно усмехнулась, на него глядя. Он тотчас же отнес мою улыбку к насмешке над его чиновничеством.

— Что, небось смеетесь надо мною, что в чиновники пошел? — задето сказал он мне.

— Ничуть; просто у вас какой-то странный, непривычный вид.

— Да разве же ты не видишь, что он себе сбрил усы, — заметил Юлий Галактионович. Успокоившись с этой стороны, Салтыков тотчас же принялся разносить цензуру и «консистирию» и рассказывать анекдоты о семинаристах, которых, по словам какого-то остряка, и в бане узнаешь.

Долго оставаться на службе он не мог по своему беспокойному, неуживчивому характеру. Он постоянно препирался с губернаторами: не стесняясь, острил над ними в обществе, а живя в Туле, написал целую летопись о губернаторах, причем местного губернатора, как он нам пояснил, изобразил в виде губернатора с фаршированной головой *. До появления этой летописи в печати он читал ее не только нам в Петербурге, но и своим знакомым в Туле, что, разумеется, стало известно губернатору, и он хлопотал о переводе Салтыкова в другой губернский город. Перейдя в Рязань, он и там насолил губернатору и его антуражу ¹. Я помню, как, приезжая в Петербург на побывку, он на какие-то мои вопросы отвечал мне некоторое время по-французски, то изображая губернаторшу, то вице-губернатора. И рязанский губернатор выхлопотал, чтобы его из Рязани убрали. Салтыкову предложили выйти в отставку * с чином действительного статского советника и пенсией в тысячу или тысячу двести рублей *, на что он согласился и скоро сделался соредактором в «Отечественных записках» с Некрасовым.

При всей своей видимой суровости он был не чужд совершенно школьнических выходок. В один из его приездов из провинции мы были приглашены вместе с ним к Унковским. Там мы встретили актера Бурдина, просившего Унковского устроить ему свидание с Салтыковым, от которого ему было нужно разрешение взять в свой бенефис его пьесу. Так как, кроме нас и общего нашего приятеля Европеуса, чужих никого не было, то появление среди нас совершенно для нас постороннего лица в виде Бурдина рассердило Салтыкова, приехавшего всего на несколько дней. Особенно раздражала его почтительная робость перед ним Бурдина.

¹ окружению (от франц. *entourage*).

— На кой черт пригласил он эту тарелку! — сказал он сердито, обращаясь к нам, в то время как Бурдин, круглое лицо которого действительно напоминало тарелку, был отвлечен Унковским зачем-то в другую сторону. И затем, когда Бурдин присоединился ко всем нам, он, среди общего разговора, постоянно вставлял какое-нибудь забавное замечание насчет какой-нибудь тарелки, лукаво на нас глядя, и развеселялся особенно, когда на него бросал недоумевающий взгляд Унковский, не понимавший, в чем дело, и Бурдин, старавшийся приладиться к настроению Салтыкова и ухмылявшийся его островам насчет тарелки.

— Да что вы всё с тарелкой? — заметил ему, наконец, Унковский.

— Надоела мне тарелка, я готов ее расшибить! — и он вдруг забарабанил во всю мочь по двери и затем смолк, скущаясь надулся, едва цедя короткие ответы на обращенные к нему по временам вопросы. Такое его настроение, видимо, подействовало удручающе на Бурдина; он почувствовал себя лишним между нами, стал прощаться и ушел, несмотря на приглашение добрейшего Унковского остаться выпить чаю. По его уходе Салтыков набросился на Унковского за его приглашение Бурдина вечером, когда можно было разрешение устроить заглазно или утром, в деловом непродолжительном свидании. Унковский отпарировал его ругань смехом и островами. Салтыков рассмеялся, оживился и в этот вечер был в особенном ударе, много рассказывал из своей провинциальной жизни и острил. А вдруг нет-нет и приплетет что-нибудь о тарелке.

Самой непривлекательной стороной Салтыкова была, конечно, его жадность и зависть к деньгам; но это выражалось у него таким непосредственным, детским образом, что невольно вызывало улыбку вместо осуждения. Он завидовал не только богатым, но даже просто всякому, кому случалось заработать несколько больше обыкновенного*, хотя бы это большее было много меньше его обыкновенного заработка.

— Он завидует даже мне, — смеясь, рассказывала все та же кузина его жены А. Н. Энгельгардт, — не может переварить, что я зарабатываю помимо мужа. На днях

во все время обеда отпускал мне очень забавные шпильки по поводу моей работы в «Вестнике Европы» и, провожая меня в передней, заметил, — а я бы на вашем месте, Анна Николаевна, выставил бы на дверях дощечку: Анна Николаевна Энгельгардт, переводчица «Нана».

Богатение А. С. Суворина возбуждало его особенную зависть и вызывало разные остроты. Даже Ю. Г. Жуковского, к которому он был так расположен, он не мог оставить в покое. Так, однажды, придя в редакцию в один из своих приездов в Петербург и перебирая статьи первого бесцензурного номера «Современника», в котором Юлию Галактионовичу пришлось написать три статьи по настоятельной просьбе Некрасова, на его вопрос секретарю:

— Чьи статьи?

Тот ему назвал Юлия Галактионовича.

— А эта?

— Тоже его.

— Ну, а эта?

— Опять его.

— Так вот кто у вас теперь пишет! — завистливо воскликнул он и, являсь в тот вечер к нам с Унковским, принялся вдруг извиняться, что помешал мужу писать.

— Да какой, я и то написал три статьи в прошлом месяце, а теперь отдыхаю, — ответил ему Юлий Галактионович.

— Так отдыхаете, а я все боялся вам помешать, да вот меня Алексей Михайлович привел; вы, пожалуйста, скажите, если мешаем.

Так как секретарь «Современника» Головачев еще утром, после редакционного приема, со смехом сообщил нам о негодовании Салтыкова, то Юлий Галактионович только рассмеялся на выходку последнего.

Зависть эта и жажда получать больше денег происходили главным образом от чрезмерных трат его красивой жены. Хотя он, не смущаясь присутствием посторонних, бранил ее, тем не менее он не стеснял ее в ее расходах.

Попытки его обогатиться покупкой имений всегда как-то скорее разоряли его, чем обогащали*. Продавцы его обманывали, да и покупщики норовили сделать то же. Так, при покупке имения у станции Пушкино Ярославской дороги, при проверке инвентаря, его надул продавец, показав, между прочим, набитый сеном сарай, в сущности

пустой, с заделанной сеном дверью. При продаже другого имения он составил по просьбе покупателя черновую расписку в получении им от покупателя задатка, машинально подписал свою фамилию и хватился об этом последнем обстоятельстве только на другой день после того, как тщетно прождал покупателя с обещанным задатком *. Тот задумал воспользоваться такой оплошностью Салтыкова и объявил было, что это была не черновая расписка, а настоящая и что Салтыков подписал ее, получив от него, не помню, сколько тысяч задатка. Черновую расписку пришлось вытребовать не то полицейским порядком, не то судебным вмешательством — хорошо не помню.

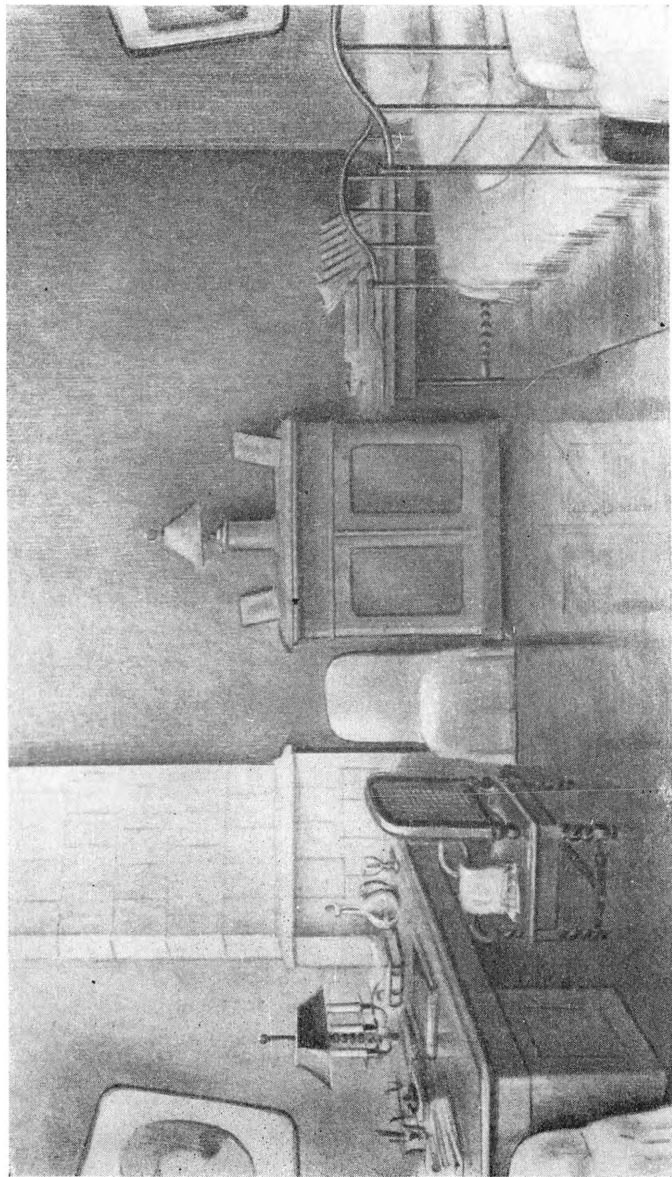
Управляющий-немец тоже его постоянно обманывал, судя по ругательствам Салтыкова по его адресу, когда мне случалось переводить письма последнего к Салтыкову, плохо знавшему немецкий язык, и составлять ответы на них.

При покупке одного какого-то имения он признался у матери под заемное письмо тридцать — тридцать пять тысяч, а затем несколько времени спустя, увлекшись, описал ее в одном из своих фельетонов в виде помещицы, наготовившей приданое своим дочерям *. Рассердившись на которую-нибудь из них, она перекладывала из сундука провинившейся в сундуки других дочерей. Мать рассердилась за это на него и предъявила на него взыскание самым неожиданным для него образом. Он собирался в свое подмосковное имение, отправил уже туда жену, рассчитывая выехать на другой день сам, так как задержался в Петербурге по случаю каких-то недоконченных дел, как вдруг к нему явился полицейский пристав и взял с него подписку о невыезде из Петербурга вследствие подачи взыскания с него матерью вышеупомянутых денег *. Он пришел к нам вечером советоваться с мужем и Г. К. Репинским, жившим тогда с нами в одной квартире; рвал, метал, кричал, что ему во что бы то ни стало нужно выехать завтра же в деревню, и глядел на нас так свирепо, точно мы в чем-то виноваты.

— Да зачем вы дали подписку? — заметил сидевший у нас Головачев.

— Как зачем! — он требовал и бумагу принес мне для прочтения.

— Вот важность какая! — возразил Головачев, нахо-



Кабинет М. Е. Салтыкова-Щедрина в Петербурге.

Рисунок М. Маищева.



М. Е. Салтыков-Шедрин. 1877—1879.
*Портрет маслом работы И. Н. Крамского.
Третьяковская галлерея, Москва*

дившийся кругом в долгах и не раз испытывавший такие случаи. — Дали бы ему взятку, чтобы оттянуть до другого дня.

— Мелькнула у меня эта мысль, да думаю, а вдруг он скажет: «Вы меня опишете», взятки не возьмет — и выйдет пакость.

Забавны были его переходы от гнева к самым посторонним вещам, ничего общего с предыдущим не имеющим.

— Знаете, я на днях получил письмо от женщины, — вдруг заговорил он в тот же вечер среди своих сетований, свирепо на нас глядя.

— От Макуловой? — спросила я, смеясь на его свирепый вид.

— Нет, не от нее, пишет другая.

— Что же — бранится?

— Нет, хочет посоветоваться со мной по какому-то делу, просит приехать к ней.

— Что же не поехали?

— Да пока жена тут была, некогда было, да еще бог знает что вообразила бы. Вот пристав заарестовал, съезжу к ней завтра.

— Что же, роман хотите, что ли, заводить? — спросил легкомысленный Головачев.

— Черт знает что вы говорите! Какой роман! У меня жена есть! — воскликнул он с негодованием.

И действительно, несмотря на полное разногласие во взглядах с женою, он не изменял ей, хотя ругал ее в глаза и за глаза, как я упоминала выше. Жена не обижалась на его ругань, постоянно жантильничала¹ и разыгрывала из себя дурочку, хотя была далеко не глупа и прекрасно, лучше мужа, умела устроить свои денежные дела, особенно после его смерти, когда она получила полную свободу действия.

Не знаю, насколько был к ней привязан Салтыков, но он строго соблюдал свои обязанности мужа и, впоследствии, отца двоих детей и не изменял ей.

Однажды, оставаясь летом без жены, он пошел обедать с Унковским к «Донону»*. Стол, за которым они обедали, оказался рядом со столом знакомого Унковского, адвоката, обедавшего с кокоткой. Узнав от Унковского, кто такая принимавшая участие в общем разго-

¹ жеманилась, кокетничала (от франц. *gentille*).

воре, Салтыков подтолкнул Унковского в конце обеда и сказал тихо:

— Заставьте ее рассказать свою историю.

Унковский засмеялся и предложил ему обратиться к ней самому.

— Не хочу и не умею с ними говорить, — возразил Салтыков строго и сурово.

— Хотите, она вас поцелует для начала знакомства? — продолжал подсмеиваться Унковский, делая движение по направлению к кокошке.

Салтыков освирипел:

— Я ей по роже дам, если она осмелится меня коснуться!

Тотчас же потребовал счет и ушел рассерженный.

Вообще он проявлял весьма странные, несуразные выходки, которые могли сбить с толку всякого свежего человека, не привыкшего к его странностям, над которыми добродушно посмеивались между собою его друзья и близкие знакомые.

У него не было детей в продолжение первых шестнадцати лет супружества. Узнав о первой беременности своей жены, он до того растерялся от такой неожиданности, что тотчас же побежал делиться этой новостью с Унковским; не застав его дома, он сообщил эту новость Ивану, лакею Унковского:

— Моя жена беременна, черт возьми! — и ушел.

Сделавшись отцом, он серьезно вошел в свои обязанности и считал долгом особенно блюсти свое незапятнанное имя. Один из газетных критиков, рассердившись на его какую-то выходку против себя, обозвал его в своем фельетоне «хамом» *. Он принял это серьезно к сердцу и жаловался как-то наивно всем:

— Х. назвал меня «хамом», а ведь у меня семейство!

Появление двух малышей * заставило его задуматься и приступить к составлению духовного завещания. Первоначально он предполагал завещать все жене, а после ее смерти детям. Он ходил по кабинету Унковского, своего друга, обсуждая с ним все пункты завещания, и вдруг остановился, ударив себя по лбу: «А вдруг она за какого-нибудь солдатишку еще замуж выйдет!» — завопил он таким голосом, будто это и в самом деле вещь воз-

можная, и тут же изменил свой первоначальный проект, завещая разделить все свое имущество поровну между женой и детьми и сверх того все издания своих сочинений сыну. Жена его, после смерти его, выкупила это право сына на весь доход с издания и делила его тоже поровну, как и остальное имущество.

Привыкши во время своей государственной службы строго соблюдать законы, он всегда и в частной жизни держался строгой законности, даже и в тех случаях, когда законность в сущности не нарушалась, но почему-либо, по его мнению, могло выйти нарушение. Так, вскоре после известного в свое время процесса о мясниковском наследстве умер его бездетный брат *, оставив свое имущество исключительно ему, помимо его других братьев и сестер. Несмотря на свои сетования о недостаточности средств, он отказался получать наследство брата единолично:

— А вдруг выйдет Мясниковское дело! Нет, пусть будет по закону.

Упомянув выше о жадности Салтыкова, считаю нужным упомянуть об одном случае, где он на моих глазах проявил искреннее сожаление, даже отчаяние, о невозможности удовлетворить просьбу одного из своих приятелей, жившего в Москве *, просившего его письменно одолжить ему что-то около пяти тысяч. Мы встретились с ним на обеде у Европеуса, и он рассказал мне об этом письме, сидя рядом со мной за обедом, и большую часть времени не переставал терзаться и жаловаться:

— Зачем, зачем написал он мне это письмо? Ведь он знал, что у меня таких денег нет, — не раз возобновлял он свои сетования. — Он взбаламутил меня. Я все теперь о нем думаю: «А вдруг он из-за меня запутается».

— Да что вы так, как будто вы один у него приятель и есть; кто другой выручит, — пробовала я его успокоить.

— Нет, зачем, зачем он написал мне это раздирательное письмо? — начинал он сызнова и как будто уже укоряя П. за доставленное ему беспокойство.

— Может быть, думал, вы где-нибудь достанете, — пробовала я уже извинять перед ним П.

— Как вы это говорите. Где же, где, у кого? Скажите на милость! Я теперь покоя не найду.

Он действительно так искренно тосковал, что, я уверена, послал бы эти пять тысяч, будь они у него.

Несмотря на свой свирепый вид, Салтыков очень любил музыку, охотно ездил в оперу, почему-то очень любил Вольпини, находил ее очень старательной, и она вызывала в нем желание похлопать ее по плечу и сказать: «Старайся, старайся, голубушка». Живя в провинции, он выучился несколько играть на фортепьяно * под руководством своей жены, хорошей музыкантши. Однажды, перебирая мои ноты, он вдруг вытащил какое-то легонькое попури в четыре руки из какой-то оперы и предложил мне сыграть с ним, к нашему величайшему удивлению, так как мы и не подозревали за ним музыкальных талантов. Играл он со своей обычной суровой серьезностью, соблюдая все оттенки, добросовестно останавливался на ошибках, исправляя их, тогда как я самым недобросовестным образом смазывала свои и продолжала, не останавливаясь, дальше. Впрочем, за музыкой я его видала всего один раз и не слыхала о его дальнейших успехах в этом искусстве.

Разошлись мы с ним как-то постепенно. Сделавшись редактором «Отечественных записок», он невольно должен был держать сторону Некрасова, с которым разошелся Юлий Галактионович, как писано в биографии последнего *. Когда Юлий Галактионович вынужден был вместе с Антоновичем объяснить причину своего невступления в редакцию «Отечественных записок», то Салтыков, заслышав о предполагаемом объяснении, бил себя в грудь и жаловался нашему общему знакомому Г. В. Лермантову: «Что они со мной делают! До сих пор я подлости Некрасова таил про себя, а теперь все узнают, с кем я имею дело».

Сам Некрасов, сколько мне известно, до появления брошюры Ю. Г. Жуковского и М. А. Антоновича очень беспокоился ее появлением и тоже через того же Лермантова пытался предотвратить ее появление, боясь утратить свой престиж ревнителя и поборника правды и защитника угнетенных. Встретив в Английском клубе того же Лермантова, он поручил ему узнать у меня, приму ли я от него вновь изданные его сочинения, так как получила от него самого первый том. Я просила передать ему, что не приму.

Некрасов никак не ожидал, что семидесятники набросятся не на него, как набросились на него шестидесят-

ники за его стихотворение Муравьеву *, а на обиженных и обойденных, оправдывая пословицу: «Горе побежденным», до того была сильна реакция в то время, что даже до того порядочные с вида люди, в погоне за куском хлеба, утратили всякое чувство справедливости и не стыдились этого. Только один Страхов, не числившийся в либеральном лагере, нередко травимый Антоновичем, выступил в защиту Ю. Г. Жуковского и Антоновича * из чувства человечности, присущей ему справедливости и беспристрастия.

Так как в эпоху реакции из либеральных журналов держались на поверхности только Некрасов и Стасюлевич, то все более или менее причастные к литературе хватались и держались за редактируемые двумя последними журналы и оказались *plus royalistes que le roi*; ¹ старались лягать Жуковского и Антоновича по всякому поводу и без всякого повода, из желания выслужиться перед Некрасовым и удержаться на поверхности. Особенно старался в этом направлении Михайловский при начале своего сотрудничества в «Отечественных записках» *, пока не утвердился в них окончательно. Он как-то специализировался на том, чтобы затоптать Ю. Г. Жуковского, который никогда не считал нужным вступать с ним в полемику: до того придирки Михайловского были недостойны. Однажды в одной из своих статей он до того часто упоминал имя Жуковского, что я, для курьеза, сочитала, сколько раз он упоминал это имя, помножила на количество букв строки «Отечественных записок», и оказалось, что именем Жуковского можно было наполнить если не целых две страницы, то во всяком случае около этого.

Можно только удивляться, как прежние друзья Жуковского — Салтыков и Некрасов — допускали такую недостойную травлю. Только и можно объяснить это тем, что Михайловский своими нападка ми как бы оправдывал их отчуждение от человека, которого они до его отказа от сотрудничества в «Отечественных записках» любили и чтили. Волею и неволею Салтыков вместе с Елисеевым выступили в защиту Некрасова, причем Елисеев обрушился больше на Юлия Галактионовича, а Салтыков на Антоновича.

¹ более роялистами, чем король (франц.).

Рассерженный на Салтыкова, Антонович написал ему письмо с выговором, причем напомнил ему один пассаж, в котором Салтыков совершенно случайно, никак не преднамеренно, сыграл некрасивую роль.

Дело происходило в начале шестидесятых годов, когда появление прокламаций было необычно. Будучи вице-губернатором в Твери, Салтыков получил какую-то прокламацию и в виде курьеза, по-товарищески, показал ее тогдашнему тверскому губернатору Баранову. Последний был, видимо, ехидный человек и отправил означенную прокламацию в Третье отделение, где, по почерку конверта, добрались до Обручева*, офицера генерального штаба, вследствие чего последний был разжалован и сослан в каторгу. Этот необдуманый эпизод сильно возмутил против Салтыкова тех, кто про это знал, особенно приятелей Обручева, пользовавшегося репутацией талантливого и дельного человека. Сам Салтыков сообразил о своей оплошности, когда дело было сделано, и клял себя страшно, как говорят. Но многие, задеваемые им так или иначе, вспоминали об этом и подогревали рассказы об этом эпизоде негодование против него за его поступок. Так, после его бранной статьи против Антоновича последний написал ему частное бранное письмо*. обращаясь к нему со словами: «Ваше превосходительство», и приравнял его к Феофану Прокоповичу, намекая на эпизод с Обручевым.

Мы долго не видались с Салтыковым после этого. Знали только от Унковского, что он рвал и метал на Антоновича. Осенью, по возвращении нашем с дачи и его из деревни, я в первый раз встретила с ним в кондитерской Назарова, ныне не существующей. Встреча была холодная, официальная, так как, затронутая его выходкой против Юлия Галактионовича, я не считала нужным разговаривать с ним по-старому и занялась выбором пирожков, за которыми пришла. Ему же, видимо, было жаль так, без объяснения, разойтись с нами навсегда, и потому, когда мне стали завязывать корзину с пирожками, он подошел ко мне и, как водится, со свойственной ему нелепостью заявил мне, что он, собственно, против Юлия Галактионовича ничего не имеет, любит и уважает его по-прежнему.

— Еще бы вы что-нибудь имели! — ответила я ему строго. — Если кому иметь, то мне за вашу выходку против Юлия Галактионовича.

— Да что я, собственно, бранного против него написал?

— Трусливым зайчиком обозвали *.

— А меня превосходительством называли, — обиженно сказал он.

Я невольно улыбнулась на это:

— Да разве же вы не превосходительство?

— Ну да, хорошо, — сказал он, — пусть так. Но Антонович-то, Антонович какое мне письмо написал! Я это письмо здесь всегда на груди ношу, — стукнул он себя в грудь. — Ведь он меня с Феофаном Прокоповичем сравнил.

— Ну, за Антоновича мы не ответственные, — заметила я.

И так как мой пакет был завязан, я стала расплачиваться; он уже расплатился ранее, мы простились, и он вышел из кондитёрской. Он уже отъезжал на извозчике, когда вышла я. И тут как-то дружески, по-старому, взглянул на меня и добродушно крикнул мне:

— Знаете, Алексей Михайлович, (Унковский) вчера вернулся. Будете у него в пятницу?

Я тоже по-старому, улыбаясь, кивнула ему утвердительно головой, и так мы расстались, если не навсегда, то уже не разговаривали более на дружеской ноге. Встречаясь у Унковского, нам не приходилось почти разговаривать. Он как будто чувствовал себя неловко перед Юлием Галактионовичем, избегал сидеть в общей комнате, торопился сесть за карты и уезжал до ужина.

Вскоре у нас умерло двое детей в одну неделю; мы были до того сражены и убиты этою смертью, что бросились из Петербурга в Москву. А затем умерла первая жена Унковского. Пятницы Унковского на время прикончились. Хотя мы и заезжали к нему в разное время, но с Салтыковым почти не встречались. Да он все больше болел и редко показывался даже к Унковскому. От последнего мы слышали, что он не раз выражал сожаление о нашем разрыве и не переставал считать Юлия Галактионовича единственным человеком, не способным ни к каким компромиссам.

И. В. Засодимский

Наиболее значительное произведение известного писателя-народника Павла Владимировича Засодимского (1843—1912) «Хроника села Смурина» появилось в печати под редакцией Салтыкова в «Отечественных записках» (1874, №№ 8—10 и 12). Это единственное произведение Засодимского, напечатанное в этом журнале.

В романе отчетливо сказывается народническая идеализация общины. Однако суровые, мрачные картины жизни крестьянских бедняков написаны вполне реалистически и проникнуты глубоким сочувствием к этим, по выражению Засодимского, «угрюмым людям, живущим впроголодь и, впроголодь, для которых жизнь на белом свете представляется не веселее вечной каторги». При редактировании «Хроники села Смурина» Салтыков внес в текст много изменений и сокращений. В отдельном издании романа (1875) автор восстановил лишь те сокращения, которые были сделаны в журнальном тексте по соображениям цензурного характера.

МОЕ ЗНАКОМСТВО С М. Е. САЛТЫКОВЫМ

I

В течение 1873 года, отрываясь лишь для небольших текущих дел, я работал над повестью «Печать Антихриста» — из деревенской жизни. Работал я над ней с увлечением, и «зеленую» тетрадь с этой повестью в своих странствованиях по России* я возил с собой. Как только находилось время, днем или ночью — в минуты бессонницы, я раскрывал тетрадь и брался за карандаш.

Писал я эту повесть и в Петербурге, и в Москве, где был проездом, и в Усмани, и в селе Никольском-Кабаньем (в усадьбе Н. И. Кривенко), и даже в вагоне. Я кончил ее в начале марта 1874 года, и целый месяц после того я еще сидел над нею, перечитывая и раздумывая над некоторыми ее страницами.

В начале апреля я отнес повесть в редакцию «Отечественных записок» и отдал ее Некрасову. Мне предложили прийти за ответом через три недели. В этот раз я видел в редакции, кроме Некрасова, лишь А. Н. Плещеева, бывшего секретарем «Отечественных записок»: я пришел рано, когда ближайших сотрудников Некрасова еще не было в редакции.

Через три недели, придя за ответом, я застал в сборе всю редакцию. Тогда, кроме Некрасова и Плещеева, с которыми я был уже знаком, я в первый раз увидел Салтыкова, Елисеева, Демерта, Михайловского, Скабичевского, Ник. Курочкина...

— Вашу рукопись я передал Салтыкову... Он читал ее! — сказал мне Некрасов. — Вот я сейчас познакомлю вас, и вы переговорите с ним... Михаил Евграфович! — крикнул он своим слабым, надтреснутым голосом.

Салтыков в ту минуту стоял с Плещеевым у окна. На зов Некрасова он оглянулся вполоборота и тяжелой, неторопливой поступью пошел к нам.

— Вот, Михаил Евграфович, автор «Печати Антихриста». Сдаю вам его с рук на руки! — добродушно, шутливым тоном промолвил Некрасов и, пожав мне руку, отошел к бильярду, где его ожидали какие-то посетители.

Первое впечатление, произведенное на меня нашим знаменитым сатириком, было не особенно приятное. Его серьезное лицо, густые нахмуренные брови, большое рипсе-пез в темной черепаховой оправе, сердитый взгляд, как мне показалось, словно с недовольством надутые губы — не понравились мне. Его глухой голос, говор, ворчливый тон, жесты — все в нем мне показалось грубо, отпугивало меня. Он напомнил мне одного строгого директора гимназии.

— Мы берем вашу повесть... — проворчал он, не спуская с меня глаз и поблескивая своим ужасным рипсе-пез. — Только вот насчет заглавия... «Печать Анти-

христа»... Что такое!.. Надо переменить... Что это за «печать»! ¹

Я ему возразил, что из повести ясно видно, что это за «печать».

— Так-то так, да все-таки неловко... — продолжал он. — Лучше попросе... Надо придумать что-нибудь другое... А то бог знает что, — «Печать Антихриста»! Испугать можно... Да что ж мы... пойдем сядем! — перебил он себя на полуслове и увел меня в глубину комнаты.

Несколько секунд мы сидели молча.

— Ну, например, скажем, «История села Смурина»? — подумав, предложил Салтыков.

— «История села Горюхина» Пушкина... — заметил я.

— Гм. Да... положим... — проворчал мой собеседник. — Ну, «Летопись»... «Хроника», что ли...

Так мы и порешили.

— Вот еще что... — заговорил Салтыков. — Не можете ли вы подписаться псевдонимом... Вы до сего времени работали в «Деле», у Благосветлова *, и теперь вдруг появитесь у нас...

— Но ведь, я полагаю, оба эти журнала прогрессивного направления! — отозвался я.

— Да, но... все же мы разных, как говорится, лагерей, не одного прихода... * Знаете, как-то неудобно... Нет, уже вы, пожалуйста, изберите какой-нибудь псевдоним, на первый раз! — настаивал Салтыков.

Я обещал придумать псевдоним и сообщить ему.

Для меня было совершенно безразлично, как ни подписать повесть, и через несколько дней я написал Салтыкову, чтобы он под рукописью вместо моей фамилии поставил «Володин». Таково было происхождение моего псевдонима, которым я впоследствии часто пользовался.

Кратко переговорили об условиях: кроме гонорара, редакция была должна сделать мне отдельное издание «Хроники» (в количестве 1200 экз.).

По окончании делового разговора Михаил Евграфович вдруг оживился, «опростился», редакторская суровость слетела с него, и сатирик-громовержец обратился в приятного, веселого и очень для меня симпатичного собе-

¹ Конечно, нельзя требовать, чтобы через тридцать лет я помнил и передавал буквально происходившие разговоры, но смысл и тон их я хорошо помню и стараюсь, сколько могу, передавать их с приблизительной точностью. (Примеч. П. Засодимского.)

седника. При виде такой чудесной метаморфозы я подумал: «Вот уж именно «наружность иногда обманчива бывает, иной — как зверь, а добр, тот ласков, а кусает...» В жизни не раз мне вспоминалась эта мораль крыловской басни *.

— А ведь я узнал в вашем романе одного из наших тверских земцев! — с улыбкой заговорил Михаил Евграфович и назвал одну фамилию.

Я сказал, что он угадал, что я именно это лицо имел в виду.

— Похож, похож! — посмеиваясь, говорил Салтыков. Поговорили о тверских земских деятелях.

Потом Михаил Евграфович поинтересовался узнать: с кого списан Кряжев ¹, из жизни какой местности взяты мною факты, кто такая Лизавета Петровна ², действительно ли у меня есть письмо Лисина ³, с кем еще из тверитян я знаком, и т. д.

Проговорили мы битый час, если не дольше.

«В первый раз он может напугать, — думал я, идя из редакции в свой Тюремный переулок. — Но он только с виду суров и мрачен... Он добрый!»

Так, приблизительно, срезюмировал я впечатления, полученные мною при первом знакомстве с М. Е. Салтыковым.

В письме от 20 мая * Салтыков, между прочим, сообщал мне: «Что же касается до Вашей рукописи, то извините меня: я еще не успел приступить к ее редактированию. Но прошу Вас быть уверенным, что я в ущерб ей ничего не сделаю. Об одном считаю долгом предупредить Вас: времена тяжелые наступили, и 5-й № «Отечественных записок» арестован и, вероятно, будет сожжен *. Рукопись Вашу я беру в деревню, куда выезжаю в субботу. Мы думаем начать печатание ее с августовской книжки...»

II

Как-то в конце мая, придя на Николаевский вокзал за какими-то справками, я встретил Некрасова и Салтыкова, медленно ходивших по платформе. Я несколько раз прошелся с ними взад и вперед. Оказалось, что Михаил

^{1,2,3} Действующие лица моего романа. (Примеч. П. Засодимского.)

Евграфович провожал в деревню свою семью, но жена его с детьми еще не приехала на вокзал.

— И вы скоро поедете в деревню? — спросил я его.

— Да, скоро... — ответил он*. — И рукопись вашу увезу с собой... еще перечитаю все... поглажу кое-где... Но вы, пожалуйста, не беспокойтесь! Я ведь не испорчу...

Вскоре после того и я уехал на лето к родным, в Вологодскую губернию.

Осенью, по возвращении в Петербург, я стал большею частью видаться с Михаилом Евграфовичем у него на квартире, в его рабочем кабинете. Тут я окончательно убедился, что под этой суровой, мрачной, угрюмой наружностью скрывался очень добрый, даже мягкий человек...

Однажды, помню, я застал его не совсем здоровым и в ворчливом настроении духа: вышли какие-то неприятности с цензурой.

— Вчера я перечитывал последнюю главу вашей «Хроники»... — сказал он, хмуро посматривая на ворох лежавших перед ним корректурных листов. — Невозможно ее пускать... я сократил ее! Жаль, а сократил...

— В отдельном издании, Михаил Евграфович, я восстановлю все, что вы из этой главы выбросите! — самым решительным тоном заметил я.

— Восстанавливайте, восстанавливайте! сделайте милость... — насмешливо промолвил Михаил Евграфович, сердито комкая корректуры и что-то разыскивая под ними. — Одной сожженной книгой будет больше, а вы при своей храбрости останетесь... Что ж, восстанавливайте! Дело ваше...

Он вытащил из-под корректуры мою, уже растерзанную «зеленую» тетрадку и прочитал вслух несколько отрывков из последней главы.

— Ну что ж? — спросил он меня. — Вы находите, что так можно. А? Вы думаете, те... черти-то цензурные — олухи, что ли? Вы думаете, им это понравится?.. Они за последнее время точно белены обьелись. Рассказывал я вам, как они на майскую-то книжку набросились...

— Да, но у меня-то в последней главе что уж такого особенного!.. — начал было я убеждать Михаила Евграфовича, но он перебил меня.

— Гм! «Что особенного! Что особенного!» — передразнивающим тоном заговорил он. — Младенец вы...

оттого и не боитесь! А вот поживите с мое... да еще с ответственностью за журнал...

И он выразительно махнул рукой.

Из последней главы моего романа Салтыков оставил лишь одну страницу. Все пропущенное им, как я сказал, мною было восстановлено в отдельном издании.

В последних числах декабря «Хроника села Смурина» была послана в цензуру.

Начальник Главного управления по делам печати перед тем только что умер, другой не был еще назначен, и книга моя попала в цензурное чистилище во время смут междоусобия.

Кажется, 4 или 5 января 1875 года «Хроника» поступила в мое распоряжение или, как говорится, «вышла в свет». С торжествующим видом я принес книгу Михаилу Евграфовичу.

— Ну, счастлив ваш бог! — сказал он, просмотрев окончание романа, за которое он так опасался. — Видно, под благоприятным созвездием вы родились... Рад, очень рад, что вышло так счастливо!

И было видно, что он не пустую фразу говорил, а действительно от души, искренно порадовался со мною по поводу того, что мою книгу «черти цензурные не слопали»...

С. Ф. Либрович

Историк и писатель для юношества Сигизмунд Феликсович Либрович (1855—1918, псевдоним В. Русаков) был, начиная с середины семидесятых годов, доверенным лицом и главным помощником известного петербургского книгопродавца и издателя Маврикия Осиповича Вольфа (1825—1883). Очевидец и участник многих встреч Вольфа с писателями, Либрович свои наблюдения тогда же заносил в записную книжку. Эти наблюдения, дополненные впоследствии материалами из архива Вольфа, легли в основу воспоминаний Либровича, в том числе и воспоминаний о Салтыкове. Однако, обращаясь спустя много лет к своим записям и документам, мемуарист не везде разобрался в них и допустил ряд ошибок. Он внес, в частности, большую путаницу в хронологию издательско-книгопродавецких переговоров Вольфа с Салтыковым. Соответствующая действительности последовательность этих переговоров и относящихся к ним документов восстановлена в специальной справке, которую читатель найдет в комментариях.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «НА КНИЖНОМ ПОСТУ»

I

<ЗАБОТА ЩЕДРИНА О ПРОДАЖЕ ЕГО КНИГ>

Когда Щедрин-Салтыков выпускал какую-нибудь новую свою книгу, он обыкновенно приносил в магазин Вольфа несколько ее экземпляров для раздачи приказчикам и снабжал эти экземпляры своей соответственной подписью, твердо веря, что этим он заставит при-

казчиков способствовать большему распространению его книг среди публики.

Вообще же Щедрин очень жаловался, что книги его (он их сам издавал), за исключением «Губернских очерков», в то время распроданных, не расходятся так, как он этого бы желал. «Поставьте их хоть в витрине, на виду, чтобы глаза мозолили публике, а то совсем их забудут», — просил Щедрин.

Нередко Щедрин высказывал горькие упреки по адресу книгопродавцев и книжных приказчиков в том, что они «замалчивают» его книги, недостаточно заботятся об их сбыте. На одном особенно людном вечернем собрании в «почти-клубе» * Щедрин развивал громко мысль, что надо бы принять какие-нибудь меры для того, чтобы увеличить сбыт русских книг. Он предлагал учреждение особого института интеллигентных офеней, которые разъезжали бы по всей России с тюками книг и предлагали бы их всем грамотным. Минаев, слушавший внимательно Щедрина, вдруг встал и предложил в стихотворном экспромте сбор пожертвований на Диогенов фонарь * для будущего интеллигентного офени.

— К чему фонарь? — в один голос спросили все присутствующие.

— Чтобы разыскать грамотных на Руси, — ответил Минаев, — их так мало, что без фонаря и не сыщешь.

Замечание Минаева вызвало горячий спор. Одни доказывали, что в России достаточное число «читателей», которые лишь по скупости не покупают книг, другие утверждали, что тормозом распространения книг является незначительное, сравнительно, число образованных людей в России, третьи сваливали вину малого распространения книг на книгопродавцев.

Защитником последних являлся всегда Лесков.

II

ШЕСТЬ ПИСЕМ ШЕДРИНА

1

В 1878 году Маврикий Осипович Вольф, приступая к изданию «Живописной России» *, обратился ко всем выдающимся русским писателям и ученым с предложением принять участие в этом издании. «Подобно целому ряду иностранных предприятий этого рода, это издание, —

писал Вольф, — может быть осуществлено лишь при условии совместного участия литературных и ученых сил всей страны». Обратился Вольф и к М. Е. Салтыкову-Щедрину, прося его дать для нового издания какой-либо очерк или описание своей родины. Щедрин, однако, отклонил это предложение. Вот что писал он Вольфу по этому поводу 6 марта 1878 года.

«Милостивый государь, Маврикий Осипович. Никогда не занимавшись этнографическими работами, я должен отказать себе в удовольствии принять участие в предложенном Вами издании «Живописная Россия».

Примите уверение в совершенном моем почтении и уважении.

М. Салтыков».

Спустя несколько дней, Салтыков лично явился в магазин к Вольфу. Он заявил, что пришел узнать подробности об издании, которому он, по мысли, вполне сочувствует.

— За трудное издание вы взялись, — заметил при этом Салтыков. — Шутка сказать: «всесторонне описать Россию». Ведь это, пожалуй, даже и совсем невозможно. Можно описать одну, другую сторону, но описать все стороны — едва ли удастся.

Вольф ответил на это, что в издании примут участие более ста литераторов и ученых.

— Более ста! — воскликнул Салтыков. — И вы думаете, что они в состоянии описать Россию? А по-моему, разошлите вы во все концы тысячу литераторов, тысячу ученых и тысячу писцов — и они все еще не в состоянии будут описать одной тысячной части России.

Возражая Щедрину, Вольф указал ему на целый ряд подобных всесторонних описаний других стран на иностранных языках, но Щедрин это не убедило.

— То французы, немцы, а то мы — русские. Француз скажет, что русские свечи едят, водку бочками пьют и сморкаются в полы своих сюртуков, — и этим, думают, охарактеризовали весь русский народ. А нам так нельзя...

Когда затем Вольф показал Щедрину известное французское сочинение «La Russie historique, monumentale et pittoresque»¹* Артамова и Арманго, в котором вся

¹ «Россия — ее история, памятники древности и быт» (франц.).

Россия описана всего в двух томах. Щедрин просто ужаснулся:

— Всю-то Россию втиснуть в такие два тома — ведь это просто ужасно! Я этого не понимаю. Мне кажется, что об одном только подмосковном селе надо написать полтома, а тут всю Россию втиснули в два тома!..

Тем не менее Щедрин еще раз подтвердил, что идея «Живописной России» ему очень нравится.

2

Спустя два года, в 1880 году, Вольф, предпринимая издание собрания сочинений русских и иностранных писателей, обратился к Щедрину с предложением уступить ему право на издание его сочинений*.

Щедрин в ответ на это написал 2 ноября Вольфу письмо*, очень характерное в том отношении, что в нем совершенно ясно высказываются сомнения этого знаменитого писателя в успехе издания полного собрания его сочинений.

Вот что писал тогда Салтыков:

«Милостивый государь, Маврикий Осипович. Вам, вероятно, неизвестно, что я очень недавно издал 4 книги*. Сверх того, в настоящее время я печатаю еще «Монрепо» и «Историю одного города»*. На быстрый расход этих изданий я не могу рассчитывать, тем более, что некоторые из них появляются уже в третий и в четвертый раз. Затем, как в книжных магазинах, так и у меня лично, имеется много книг разных именований и, между прочим, 1000 экз. «За рубежом»*. Судите сами, возможно ли теперь полное собрание сочинений? Мне кажется, прежде всего нужно установить известный срок, в продолжение которого старые издания понемногу истощатся, а от новых я воздержусь. Я не прочь вступить с Вами в переговоры, но не вижу возможности для иных оснований. Я в настоящее время очень болен и не выезжаю, но при первом облегчении побываю у Вас в магазине.

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.

М. Салтыков».

Спустя несколько дней в магазин к Вольфу зашел приехавший из Москвы А. Н. Островский* и сообщил, что Салтыков болен, сам побывать у Вольфа не может,

и предложил Вольфу зайти побывать у больного писателя для переговоров на квартире. Вольф, конечно, пошел. Но в то время у Салтыкова были посторонние лица, при которых Салтыков не хотел говорить об издании. Решено было поэтому, что он, поправившись, сам заедет к Вольфу.

Действительно, вскоре он явился туда вместе с Островским. Он сильно кашлял, имел довольно угрюмый вид и заметил Вольфу, что хотел бы поскорее покончить с вопросом об издании, так как болезнь делает быстрые шаги, и он опасается, как бы «поганый недуг» не заставил его совсем прекратить переговоры.

Вольф пригласил Салтыкова в небольшой свой кабинет при магазине. Туда же зашел Островский. Начался довольно оживленный разговор относительно плана издания, числа томов и проч. Салтыков тут же, наскоро, набросал план. Он рассчитал, что, издавая сочинения в формате, предложенном Вольфом (небольшой формат in 8°, такой, в каком изданы сочинения Писемского, Боборыкина, Бенедиктова, Мицкевича, Лессинга и др.), придется напечатать одиннадцать томов. Вместе с тем он наметил приблизительно порядок, в котором следует печатать все издание, определяя все количество листов в каждом томе. Порядок предлагался тогда следующий: *

1. Губернские очерки	33—34 л.
2. Невинные рассказы. Сатиры в прозе . .	30 „
3. Признаки времени	
Письма (о) провинции	28 „
4. (Господа) Ташкентцы	
1/2 (Убежище) Монрепо	25—28 „
5. Дневник провинциала (в Петербурге)	
1/2 (Убежище) Монрепо	25—28 „
6. Помпадуры (и помпадурши)	
История (одного) города	29—30 „
7. В среде умеренности (и аккуратности)	
Отголоски	27 „
8. (Господа) Головлевы	
Сказки	24 „
9. Благонамеренные речи	35 „
10. За рубежом	
Круглый год	32 „
11. Современная идиллия	24 „

Всего . . . 330—350 печат. лист.

Перешли затем к вопросу о гонораре.

Тут вмешался Островский.

— Вы, Маврикий Осипович, знайте, — смеясь, заметил он, — что я уговорил Салтыкова дешево не отдавать. Мы выйдем из магазина «или со щитом, или на щите»: или вы согласитесь заплатить крупный куш, или мы поднимем паруса и уплывем от вас.

Вольф обратил тогда внимание на разницу, существующую между изданиями сочинений Островского и Щедрина: первые, помимо искренних поклонников писателя и любителей литературы, покупаются еще массою актеров-любителей, ставящих пьесы Островского на домашних сценах.

— Это совершенно верно, — подтвердил Щедрин. — Я даже знаю пример: однажды я слышал, как одна швея жаловалась сестре Некрасова на дороговизну сочинений Островского. Она хотела с подругами поставить где-то на домашней сцене одну из его пьес, — и пришлось бедняжке купить зараз все сочинения. Как ни жалась, а купила.

— Зато Салтыкова все чиновники по всей России будут покупать, — возразил Островский.

— Островского купцы раскупают, — заметил опять Салтыков. — Да, впрочем, что нам тут рассуждать. Перед нами сидит книгопродавец: он вернее всего в состоянии знать, кто кого покупает.

Вообще Щедрин не скрывал, что он опасается за успех издания, и Островский неоднократно замечал ему, что его мнительность просто смешна.

Как раз во время разговора вошла какая-то нарядно одетая дама и спросила сборник стихотворений русских поэтов, составленный А. П. Милюковым. Узнав цену сборника, дама ужаснулась.

— Как, однако, у нас, в России, книги дороги! — воскликнула она.

— Вот подите тут с такой публикой рассуждать! — злобно заметил Щедрин. — Книги им дороги, а, наверно, рядом, за тряпки, заплатила четвертную — и показалось вовсе не дорого.

От слова к слову — Щедрин заявил, что он оценивает права на издание одного полного собрания своих сочинений в сорок тысяч рублей, и выразил желание, чтобы Вольф предложил с своей стороны «сколько может» и составил проект контракта.

На этом разговор и кончился.

Проект этот был доставлен Вольфом Салтыкову спустя несколько дней. Просмотрев проект, Салтыков ответил следующим письмом от 19 декабря: *

«Милостивый государь, Маврикий Осипович. Условия, изложенные в проекте контракта об уступке права издания на мои сочинения, кажутся мне неудовлетворительными как с точки зрения вознаграждения, так и с точки зрения сложности. Поэтому я предпочитаю издавать на будущее время отдельные томы, как издавал до сих пор.

Извините, пожалуйста, за причиненное Вам беспокойство и верьте чувствам искреннего почтения и преданности, с которыми имею честь быть.

Готовый к услугам

М. Салтыков».

В проекте этом, как значится в памятной записке Вольфа (самого проекта не сохранилось), цифра гонорара, предложенного Щедрину за право одного отдельного издания полного собрания его сочинений, составляла три тысячи рублей за каждый том, то есть тридцать три тысячи рублей за все одиннадцать томов.

При новом свидании с Вольфом Щедрин объяснил, что его удерживала продать право на издание полного собрания сочинений не цифра гонорара, несколько уменьшенная против объявленной им, но вопрос о том, что сделать с не распроданными еще прежде изданными произведениями.

3

В конце 1881 года между М. Е. Салтыковым и М. О. Вольфом опять начались переговоры, на этот раз уже относительно продажи Вольфу всех оставшихся у Салтыкова экземпляров отдельных сочинений. Предполагалось ускорить сбыт этих экземпляров для того, чтобы они не стали помехою полному собранию сочинений.

Для личных по этому делу объяснений Салтыков приглашал Вольфа к себе на квартиру. Но Вольф, страдавший в то время сильною одышкою, не мог явиться к Салтыкову, о чем и известил его письмом от 19 ноября. В ответ на это письмо Салтыков писал Вольфу 23 ноября 1881 года:

«Милостивый государь, Маврикий Осипович. Я очень хорошо понимаю, как тяжело подниматься в 3-й этаж человеку, страдающему одышкой, потому что и сам одержим этой болезнью в высшей степени. Поэтому я охотно приеду к Вам, но предварительно должен изложить Вам следующие сведения, небесполезные для переговоров. «За рубежом» я печатал в количестве 5000 экземпляров, из них продано 2600 экз. (в том числе 500 кн. маг. «Нового времени», неделю тому назад); у меня остается 2400 экз. Прочие издания (4 наименования) печатались мной в количестве 2000 экз. В настоящее время осталось у меня на руках: «Невинных рассказов» 700 экз., «Сатир в прозе» 650 экз., «Сборника» 750 экз. и «Среди умеренности» 980 экз. Из этого количества я желал бы оставить за собой: «За рубежом» 200 экз., «Невинных рассказов» и проч. по 100 экз., а «Сатир в прозе» только 50 экз. Это для меня необходимо, во-первых, потому, что я объявил о выписке через контору «Отечественных записок» на особых льготных условиях, а во-вторых, потому что сделал некоторые обещания. Затем, имею честь предложить Вам: «За рубежом» 2200 экз., «Невинных рассказов» 550 экз., «Сатир в прозе» 600 экз., «Сборника» 600 экз. и «В среде умеренности» 830 экз. Уступку я предлагаю в количестве 45%, т. е. за книгу «За рубежом» получить мне 1 р. 10 к. и т. д.

Я нарочно изложил Вам все эти подробности, чтобы Вы могли взвесить все планы предстоящей продажи.

Если же Вы найдете невозможным принять эти условия, то не согласитесь ли, подобно книжному магазину «Нового времени», взять у меня 500 экз. «За рубежом» и по 100 экз. прочих изданий с уступкою 40%.

Я обращаюсь в Ваш магазин, так как он наиболее посещается публикою и, следовательно, наиболее может продать моих книг, если они будут на виду. В этом смысле я был бы доволен, если бы вы брали у меня книги и, по мере надобности, на прежних условиях. Но, разумеется, продать большое количество разом было бы для меня приятнее.

Во всяком случае я просил бы у Вас предварительного ответа на настоящее мое письмо и, буде возможно, в непродолжительном времени.

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.

М. Салтыков».

Приведенное письмо имеет, конечно, характер лишь делового документа, но в нем заключается несколько строк, довольно метко характеризующих скромность Салтыкова по отношению к вопросу об успехе его произведений. Особенно характерно то место, где знаменитый писатель высказывает мнение, что его книги в книжном магазине будут больше расходиться, если они «будут на виду у публики». Писателю, столь известному, как Щедрин, конечно, нечего было заботиться о том, чтобы его произведения «были на виду», нечего было опасаться, что они «с глаз долой — из памяти вон». Щедрин, однако, скромно думает, что для успеха его книг необходимо, чтобы они находились на глазах у публики.

Спустя два дня по отправке письма, Салтыков послал Вольфу следующее письмо, помеченное 25 ноября:

«Милостивый государь, Маврикий Осипович. Будьте так любезны уведомить меня, получили ли Вы мое письмо, посланное третьего дня, и ежели получили, то на что именно решились. Я затрудняю Вас этою просьбою, потому что сегодня получил из Москвы значительный заказ книг, но охотно бы от него отказался ввиду требования кредита, если бы Вы уведомили меня, может ли состояться между нами сделка и в каком именно смысле.

Примите уверение в совершенном почтении и преданности.

М. Салтыков».

Отвечая на это письмо, Вольф письменно заявил Салтыкову, что он готов купить не только оставшиеся экземпляры уже напечатанных сочинений Салтыкова, но и приобрести право на напечатание новым изданием распроданных, а также на издание тех сочинений, которые не были еще выпущены отдельными книгами.

На это Салтыков, письмом от 26 ноября 1881 года, ответил:

«Милостивый государь, Маврикий Осипович. В настоящее время я не имею в виду никаких новых изданий. Во-первых, потому, что старые издания мои, за исключением «Признаков времени», еще имеются в продаже; во-вторых, потому, что для новой книги еще нет достаточно материала, да при нынешнем положении печати нельзя

ручаться, что таковой скоро наберется. Поэтому, дело идет только о пяти книгах, которые имеются у меня на руках в количестве, о котором я Вам уже сообщал. Ваш магазин более других имеет средства для распродажи книг — вот почему я встретил с удовольствием Ваше предложение купить у меня мои книги. Но, признаюсь откровенно, мне в особенности было бы приятно, если бы Вы, подобно книжному магазину «Нового времени», взяли у меня, с уступкою 40%, от 500 до 600 экз. книги «За рубежом» и от 100 до 200 экз. каждого из остальных 4-х изданий. Ежели нужна рассрочка, то я на нее согласен, а именно $\frac{1}{3}$ денег вперед, а остальное — векселя на 4 и 8 месяцев на равные части. Впрочем, я готов и большее количество экземпляров уступить, но все-таки этих, а не иных изданий.

Я совершенно готов приехать к Вам, но прошу Вас иметь в виду, что болезнь моя очень серьезна и всякий выход мой почти всегда сопровождается обострением припадков.

Искренно Вам преданный

М: Салтыков».

Результатом переговоров явилось приобретение Вольфом значительного количества экземпляров перечисленных выше сочинений М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В апреле 1882 года между Вольфом и Салтыковым опять началась переписка относительно издания полного собрания сочинений и затем личные переговоры на квартире у Салтыкова. Они приближались уже к окончательному результату, как вдруг Вольф опасно захворал и, по требованию врачей, должен был немедленно ехать за границу, и переговоры, вследствие этого, окончательно прекратились.

В. Г. Короленко

Салтыков был одним из любимейших писателей Владимира Галактионовича Короленко (1853—1921) и оказал заметное влияние на его идейное развитие. С произведениями Салтыкова Короленко стал знакомиться еще в ранней молодости. В «Истории моего современника» Короленко рассказывает, как, прочитав в гимназии Диккенса и «Историю одного города» Щедрина, он стал «переживать» окружавшее его провинциальное общество (дело было в Ровно) «то в диккенсовских, то в щедринских персонажах». С тех пор, и чем дальше, тем глубже и осознаннее, Салтыков прочно входит в духовную жизнь Короленко, становится одним из самых близких его «спутников». На протяжении всей своей жизни Короленко много и часто читает Салтыкова. Художественные образы автора «Современной идиллии», отдельные его мысли и наблюдения многократно встречаются на страницах сочинений, писем и дневников Короленко. В некоторых произведениях, особенно явственно в сказке «Стой, солнце, и не двигись, луна», Короленко подпадает под непосредственное влияние литературной манеры сатирика, творчество которого он ставил в ряд с творчеством Гоголя, Успенского и Чехова, добавляя при этом: «Этим именами почти исчерпывается ряд выдающихся русских писателей с сильно выраженным юмористическим темпераментом» (В. Г. Короленко, Собр. соч., М. 1955, т. 8, стр. 94).

Короленко считал, что Салтыков с наибольшей полнотой воплощал в себе писательское призвание. «Был он писатель в большей мере, чем все другие писатели...» — говорил о нем Короленко в докладе, прочитанном в Нижнем-Новгороде в 1889 году, в связи со смертью сатирика (там же, стр. 284).

А через четыре года Короленко следующим образом определял общее значение Щедрина (письмо В. А. Гольцеву от 11 марта 1894 г.): «Если даже допустить (чего я отнюдь не допускаю), что Фета будут еще читать, когда забудут даже Щедрина, — то что

же из этого? С той точки зрения, которую я проводил выше, — и то и другое является живой силой. А живая сила измеряется массой, приведенной в движение — все равно в какое время. Подсчитайте ту огромную массу новых мыслей и чувств (нового отношения человека к миру), которую в свое время привел в движение Щедрин, — и вы увидите, что — проживи поэзия Фета тысячу лет, она не подымет и десятой доли этого...» (В. Г. Короленко, Избранные письма, М. 1936, т. III, стр. 80.)

Придавая огромное значение общественной стороне литературной деятельности Салтыкова, высоко ценя «живую силу» его ненависти к «пошехонскому миру», Короленко сближал Салтыкова с Чернышевским, считая их идейными и политическими соратниками в освободительной борьбе русского народа.

Весьма любопытно в этом отношении упоминание имени Щедрина в первоначальном, потом отброшенном окончании короленковских «Воспоминаний о Чернышевском».

В этих «Воспоминаниях» Короленко рассказал народную легенду о Чернышевском, которая сложилась еще во время его подневольной жизни в Сибири, на Лене. Короленко услышал легенду, возвращаясь из якутской ссылки, от одного из ямщиков, который вез Чернышевского в начале 1872 года на Виллю, а осенью 1883 года отвозил обратно в Россию. Легенда изображала Чернышевского «самым первейшим сенатором», отправленным в заточение по наветам других «сенаторов» за то, что он не боялся говорить покойному царю Александру II правду о тяжелой жизни простого народа и хотел «убавить тягостей» с него, а богатым и знатным «работы бы прибавить». Такими же «заступниками народными» изображались в легенде «семь сынов» Чернышевского, оставшиеся в Петербурге. Когда они выросли и «стали генералами», то пришли к новому царю и сказали ему: «Вели, государь, вернуть нашего родителя, потому его и отец твой любил. Да теперь уж и не один он будет, — мы все с ним, семь генералов». После этого Чернышевский, согласно легенде, и был возвращен в Россию, чтобы по сущей правде дать царю ответ, «как в Сибири, в отдаленных местах народ живет».

Рассказав эту легенду словами ямщика, Короленко заключил рассказ следующим собственным рассуждением:

«Конечно, Чернышевский был не сенатор и у него нет сыновей генералов. Но он говорил о бшестве и правит ельству» — именно то, что приводится в сказке. Нам нужно работать больше на пользу народа, а народу нужно облегчение. Он твердой рукой разрушал шлюзы, из-за которых в русское обшество хлынул поток освободительных идей. И если эта волна польется опять и

дохлестнет в отдаленные места, принося и им облегчение, — то и нам и им придется еще вспомнить Чернышевского, но не сенатора, а писателя, и его сыновей, — не сказочных генералов, а его сподвижников и детей того же духа, который веял на заре русского освобождения и ярче всего выразился в деяте<льности> писателей Щедрина и Ч<ернышевского>» (ЛБ-Кор. 13. 708).

Хотя эти строки из рукописи Короленко (автор пожертвовал ими, не желая, вероятно, разрушать публицистическим рассуждением поэтическую цельность народного сказа) уже дважды приводились в печати, но оба раза в неудовлетворительном виде: в частности, имени Щедрина в этих публикациях не было. Правильное прочтение А. В. Храбровицким трудного места рукописи документально обосновывает важную особенность взглядов Короленко на место Щедрина в истории русской общественной мысли.

Когда у молодого Короленко созрело решение стать литератором, он хотел начать свой писательский путь в журнале Салтыкова. Предпринятое с этой целью посещение редакции «Отечественных записок» окончилось неудачей. Принесенный рассказ был отвергнут Салтыковым. Короленко, по его словам, «болезненно принял эту первую литературную неудачу» (В. Г. Короленко, Собр. соч., М. 1954, т. 6, стр. 230). Впрочем, впечатление от нее было скоро вытеснено новыми переживаниями. Через несколько дней Короленко был арестован, после чего в его жизни наступила длительная полоса ссылки и поднадзорного существования. Неудачно сложившаяся для Короленко встреча с Салтыковым 1879 года оказалась, таким образом, *единственным* их личным свиданием. О нем и рассказывается в первом из печатаемых набросков. Второй интересен как неизвестная до сих пор запись характерного рассказа о Салтыкове — «кровном редакторе», сделанная Короленко.

I

<свидание с щедриным>

...Когда в назначенный день я пришел в редакцию «Отечественных записок»*, то застал там целое собрание. В большой комнате сидели сотрудники. Среди них я, очень смущенный, узнал только своего знакомого, Котелянского, рано умершего талантливого писателя... Щедрин, стоя посередине, говорил что-то суровым, лающим голосом. Лицо его тоже было сурово, но от того, что он говорил, сотрудники только смеялись. Когда я смущенно топтался в передней, за мной вошел Михайлов-

ский. Он сразу узнал меня и, взяв за руку, подвел к Щедрина.

— Это вот автор того рассказа... — сказал он.

— А! — Щедрин повернулся ко мне и пошел в маленькую комнатку через переднюю...

— Рукопись не будет напечатана, — говорил он на ходу, — Алексей Николаевич *, вот. Надо вернуть...

Я робко попросил хотя бы короткого отзыва.

— Видите... Оно бы и ничего.... Да зелено... зелено очень... Алексей Николаевич...

В это время в переднюю вошла старушка маленького роста, одетая несколько странно, по моде, вероятно, сороковых годов, кажется даже в кринолине... Оказалось, что это Зайончковская, известная в то время писательница, подписывавшая свои статьи Крестовский — псевдоним. Она только недавно приехала из провинции. Вся редакция кинулась навстречу старушке, и Щедрин тоже ушел, кинув мне на ходу:

— Да вот. Зелено еще, зелено. Алексей Николаевич, отдайте...

Плещеев отдал мне рукопись. Я был огорчен и сконфужен.

«Но все-таки Михайловский не признал мой рассказ безусловно плохим» *, — утешал я себя, печально плетясь по Бассейной. И мне приятно было вспомнить, как просто он взял меня, растерявшегося, за руку и подвел к Щедрина...

II

<РАЗГОВОР ШЕДРИНА С ИЗДАТЕЛЕМ>

Мне вспоминается следующий характерный эпизод из истории нашей журналистики.

Это было вскоре после закрытия «Отечественных записок». Около этого же времени умер один известный старый книгоиздатель *. Продолжателем его в деле, поставленном чрезвычайно солидно и прочно на старых началах, русской книжной торговли явился его сын, воспитывавшийся или только изучавший книжное и журнальное дело за границей. Вернувшись оттуда, он привез молодую энергию и уверенность, что в литературном деле деньги — все. Поэтому он решил забить все остальные журналы своим новым изданием *. На замечания сведущих людей, что дело это трудное и требует специального

знакомства с литературной средой и запросами русского читателя, он, говорят, отвечал, что деньги такой магнит, на который пойдут все «лучшие силы» русской литературы, и все устроится само собой.

Чтобы взять быка за рога, он отправился с приглашением к М. Е. Салтыкову-Щедрину, который в то время мерами просвещенного начальства был выбит из своего любимого дела и скитался по чужим литературным приютам *. О свидании старого и желчного сатирика с молодым беззаботным издателем в Петербурге ходил в то время характерный рассказ.

Как известно, Щедрин не отличался вообще особенной приветливостью, а в то время он уже был болен. Он принял молодого посетителя, попросил сесть и молча слушал то, что тот имел сказать. Молодой «антрепренер» имел сказать много. Он начал с изложения своих взглядов на журналистику за границей, о том, насколько отстало у нас журнальное дело, о своих намерениях обновить его притоком свежего капитала и в заключение пригласил маститого сатирика примкнуть к «новому журналу», имеющему такое блестящее будущее.

Когда он остановился, Щедрин спросил:

— Ну, а кто же у вас будет редактором?

Спрошенный спокойно ответил:

— Редактировать буду я сам.

— Да, да. Что ж, это бывало и у нас в «Отечественных записках». Я и Некрасов уедем, бывало, за границу... Елисеев заболит... Тогда тоже приходилось редактировать метранпажу...

Так это дело с Салтыковым и не выгорело. Не выгорело оно и вообще *.

Я не знаю наверное — действительно ли происходил тот разговор между угрюмым сатириком и жизнерадостным издателем, о котором тогда рассказывали. Возможно, что это только характерный анекдот *.

В. Короленко.

Припомнил данный эпизод-анекдот, когда возникла суета около нового органа, затеянного Протопоповым *. Около этой суеты все-таки слышнее всего прочего оказались пять миллионов господ промышленников, торговцев и банкиров. А приглашенные писатели первого сорта пойдут, конечно.

Н. С. Русанов

Николай Сергеевич Русанов (1859—?), впоследствии эсеровский публицист, начал свою литературную деятельность в конце семидесятых годов в петербургских демократических журналах: «Отечественные записки», «Дело», «Русское богатство». Он находился тогда под сильным воздействием идей Маркса и считал себя его учеником, последователем и пропагандистом в России. По свидетельству Л. Г. Дейча, впрочем не вполне достоверному, Русанов входил в организацию «Черный передел» («Группа «Освобождение труда», сборник № 4, М.—Л., 1926, стр. 420). Начиная с 1882 года Русанов долго жил в эмиграции; он объявил себя народником и в 1893 году организовал «группу старых народолюбцев», а позднее принял участие в создании партии социалистов-революционеров.

Книга «На родине» была написана Русановым на склоне лет в 1922—1923 годах в Берлине. Воспоминания эти принадлежат к типу беллетризованных, «живописных» мемуаров, с элементами стилизации под живую речь исторических деятелей.

Содержание помещаемых ниже фрагментов относится к 1879—1882 годам. Воспоминаний в точном смысле слова эти страницы не содержат. Автор передает рассказы о Салтыкове Глеба Успенского, Михайловского, Кривенко, Благодетелюва — людей, с которыми он находился тогда в тесном общении. Остается даже неясным, был ли Русанов лично знаком с Салтыковым. Но известно, что он принадлежал в эти годы к числу почитателей его таланта. Об этом свидетельствует глубоко сочувственная рецензия на «Убежище Монрепо» в журнале «Дело» (1880, № 1, стр. 88—96, без подписи). Русанов сумел настоять на ее опубликовании, хотя его взгляд на Щедрина резко расходился с тогдашним отношением к сатирику «столпов» этого журнала Н. В. Шелгунова («Горький смех — не легкий смех», 1876, № 10, подпись: Н. Языков) и П. Н. Ткачева («Безобидная сатира», 1878, № 1).

<1>

...Кривенко <...> дал обо мне благоприятный отзыв Михайловскому и несколько раз передавал ему от меня статьи для напечатания в «Отечественных записках». Большинство этих статей не удовлетворяло строгую редакцию знаменитого журнала. Из некоторых Михайловский мастерски выкраивал рецензии. А одна большая статья, носившая юношески-претенциозное заглавие «Современные проявления капитализма в России», возбудила интерес, но и разногласие в редакции (Щедрин высказался за, Михайловский колебался, решительно восстал против нее за «антинароднический дух» Елисеев), пролежала изрядно долго в портфеле «Отечественных записок» и была, наконец, отвергнута. Ее я помещу — лишь через несколько месяцев — в нашем артельном журнале «Русское богатство» *... .

<2>

Даже такие тонкие ценители и сами первоклассные писатели, как Михайловский и Щедрин, подвергались порою упрекам в пристрастности. Скабичевский и Протопопов жаловались мне, например, каждый на свой лад, что Михайловский, к которому они в то время относились в общем с огромным уважением, не дает им ходу * после смерти Некрасова <...>.

В свою очередь Гаршин был очень огорчен тем, что его грациозная сказочка «Атталеа Принцепс» (которая была помещена позже в нашем артельном «Русском богатстве») была отвергнута Щедриным за ее недоуменный конец: «Читатель не поймет и плюнет на все!» * Златовратский и даже Успенский, которым Щедрин ужасно дорожил, приносили тоже в «Русское богатство» один или два раза отвергнутые «Отечественными записками» вещи.

«Дело» было, собственно, менее разборчиво. Но у Благосветлова была своя мания: он не допускал в свой журнал никакого произведения, даже беллетристики, где встречалось хоть слово одобрения направлению «Отечественных записок» или «Дома на Бассейной», как он пре-

зрительно называл орган Щедрина, Елисеева и Михайловского. В «Деле» с годами накапливались также когда-то сносные, теперь исписавшиеся романисты, которым становилось все труднее и труднее помещать свою «прозу» даже на страницах этого более снисходительного журнала. Эти тоже потянулись в «Русское богатство», так что недаром Щедрин, раздраженный «затеей» Кривенки, сказал ему однажды не особенно любезно:

— Да на кой прах, Сергей Николаевич, вы завели эту... водосточную трубу! Как кому приспичит, так сейчас бежит в ваше «Богатство». Этак и те из вас, кто умеет пока писать, совсем разучатся грамоте.

В этом была известная доля правды: наш журнал являлся до некоторой степени «салонном отверженных»...

<3>

Как-то утром он <Г. И. Успенский> получил из конторы «Отечественных записок» триста рублей за статью в последнем номере. Все уже у него было заранее распределено «по хозяйству» и на необходимые семейные издержки. Весь сияющий, сбегает Глеб Иванович по лестнице для скорости, чтобы порадовать пораньше свою с нетерпением ждущую получки, ибо кругом задолжавшую за месяц, Александру Васильевну (жена Успенского: тоже интересное в своем роде существо), садится на извозчика... Проходит несколько часов, и уже пеший, смущенный, неровным, медленным шагом Успенский входит по той же лестнице, но не в контору, где уже больше получать нечего, а в редакцию, где сидит столь грозный на вид Щедрин и правит корректуру.

— Вам что, Глеб Иваныч?

— Да вот я... да, так я начинаю писать для следующей книжки... уже пол-листа завтра будет, а дня через два и всю статью сдам.

— Какой вы аккуратный стали! То никак вас не дождешься, типография требует, шлет к вам посыльного за посыльным, а вы все до последней минуты оттягиваете... А теперь вот... Похвально!.. Может, все-таки денек-то и отдохнули бы...

— Нет, так уж лучше... Я теперь всегда аккуратный буду... Заранее писать стану... Уж и теперь почти стал... Только вот...

Салтыков как будто уходит в чтение корректуры. Успенский оглядывается, не придет ли откуда-нибудь неожиданная помощь, и вдруг, с видом человека, которому остается перешагнуть лишь последнюю ступень, чтобы очутиться на эшафоте под петлей, быстро-быстро и тихо-тихо роняет на наклоненную над полосой голову Щедрина несколько фраз:

— А я, Михаил Евграфович, пришел попросить у вас авансу... Я уже начал писать... Сейчас же отработаю... Очень много расходов... Не рассчитал... Вот только бы сесть...

Угрюмая голова отрывается от корректуры.

— Что? Авансу? Какого авансу?.. Вы сегодня получили триста рублей?..

— Совершенно верно... Но большие, непредвиденные издержки... До дому не мог довести... Да мне бы самый маленький авансик... Так, рублей полтора... И через три дня статья. А потом бы еще рублей сто... Если обойдусь.

— Да что же вы с утренними-то деньгами сделали? Пророскошествовали?

— Помилуйте, Михаил Евграфович, покупки самые необходимые... Вот только сразу пришлось — и не хватило...

— Какие такие покупки? Ну, рассказывайте, что вы купили?

— Прежде всего сапоги... Отличные сапоги.. Я уже давно хотел именно такие купить... Знакомый магазин... Продавец прямо говорит: без износу... Лучше варшавских...

— Охотно верю... А еще что?

— А что же еще?

— Я спрашиваю: что еще купили?

— Ах, да... Еще фунт сыру... Превосходный сыр... Знаете, настоящий швейцарский... Я уже давно хотел Александру Васильевну побаловать...

— Вижу, вижу, что побаловали... А еще что?

— А еще извозчик... Хотел поскорее домой. Знаете, расстояния эти петербургские положительно убивают... Целый день ухлопал. Сначала в Гостинный двор за

сапогами, потом на Большую Морскую за сыром...
А потом...

Пауза.

— А потом вот что я вам скажу, Глеб Иваныч: всем вашим покупкам и с извозчиком и со всей вашей теперешней словесностью красная цена четвертной билет, а вы сегодня утром отсюда триста рублей унесли... Где же остальные?

Успенский начинает чувствовать себя лучше. Все-таки старик разговаривает, а мог бы прямо сказать: некогда, корректуру правлю... И уже с облегченной наполовину душой Глеб Иванович чрезвычайно убедительно произносит:

— А сапоги-то!..

— Все не триста!

— А сыр-то!

— Далеко до счета!

— А про извозчика-то забыли, Михаил Евграфович? — уже почти укоризненно говорит все более и более смеляющийся Успенский.

— Ну, сколько вам стоил извозчик? — спрашивает, наоборот, все более и более смягчающийся Салтыков.

— Да ведь если бы один извозчик был, а то сыр...

— Ну, а сыр сколько?

— Но ведь еще сапоги...

— Тыфу ты пропасть! С вами, Глеб Иваныч, натошак не сговоришься! Ну что вы, как малое дитя, в трех соснах блуждаете: сыр-сыр, сапоги-сапоги, извозчик-извозчик... Вот вам ордер пока на двести рублей, а там на будущей неделе посмотрим...

Увы! Успенский принужден удовольствоваться суммой, которой еле хватит его семье на покрытие кричащих долгов... И паки и паки увы! Он не может сказать ни Салтыкову, ни жене, что как раз эту сумму он отдал извозчику, с которым он, кстати, ездил не в первый раз и который разжалобил «хорошего господина» картинным рассказом (Глеб Иванович в качестве истинного знатока наслаждался этой сочной речью) о том, как из-за пьяницы-брата у него все дуром пошло и теперь он ездит от хозяина, а кабы снова лошадку купить, только бы одну пока для обзаведенья, он опять бы как по ветошке вверх пошел и в люди вышел!...

По контрасту с Успенским выплывает у меня в памяти образ другого беллетриста-народника, из-за которого временами велся даже спор, кто выше, Успенский или он: я говорю о Николае Николаевиче Златовратском <...>.

Однажды вышло так, что Салтыков в течение нескольких месяцев помещал в «Отечественных записках» статьи обоих антагонистов попеременно, в одном номере одного, в следующем — другого. Златовратский, взвинченный своими друзьями, воспользовался этим обстоятельством, чтобы полемизировать каждый раз с предшествовавшей статьей Успенского, не прямо, конечно, — что было бы не совсем удобно в одном и том же издании, — а лишь демонстративно противопоставляя фактам и выводам Успенского свои, как раз противоположные, пока, наконец, Щедрин не прервал этого одностороннего диалога: * «Что это вы, Николай Николаевич, от Успенского, как от печки, взялись танцевать? Или своего нечего сказать?»

Р. И. Сементковский

Ростислав Иванович Сементковский (1846—1914) был известным в свое время литератором — критиком, публицистом, переводчиком, беллетристом, редактором (с 1897 года) журнала «Нива». Сторонник умеренно-либеральных взглядов, он сам писал о себе, используя известные стихи А. К. Толстого, что «никогда не был «бойцом двух станов», а разве только их «случайным гостем» (Р. И. Сементковский, Сочинения, Русское общество и литература, СПб., б. г., т. I, стр. 6). Сементковский высоко ставил «изумительный сатирический талант» Салтыкова, но признавал лишь обличительную и разрушающую силу этого таланта и писал об отсутствии у писателя «специальных идеалов, пригодных для того времени, в которое он жил» (там же, стр. 387). К оценке Салтыкова он подходил с точки зрения дюжинного российского прогрессиста-либерала, призывавшего к оппортунистической практике «малых дел» и чуждого той устремленности к социалистическому идеалу будущего, которая была движущей силой щедринской сатиры. Это нашло свое отражение и в публикуемых воспоминаниях.

Второй мемуарный набросок содержит интересное свидетельство об отношении Салтыкова к польской демократической литературе и его отзыв о Генрихе Сенкевиче.

I

ВОСПОМИНАНИЯ

Личные мои встречи с Михаилом Евграфовичем относятся к началу восьмидесятых годов *. Разговоры у нас были по преимуществу деловые; но две беседы приняли

общий характер. Одна из них мне особенно памятна. Речь зашла о западной литературе сравнительно с русской. Несмотря на болезненное состояние и частые приступы мучительного кашля, Михаил Евграфович увлекся темой, говорил долго и с жаром и в заключение резюмировал свою мысль в следующих словах: «Там (то есть на Западе) могут уже *сеять*, у нас пока еще надо *корчевать*» *. И, подавая мне на прощанье руку, он, улыбаясь своею доброю улыбкою, внезапно сменявшею суровое выражение его лица, прибавил: «А мне и сам бог велит этим делом заниматься. Недаром я и родился-то близ Корчевы» *.

Я долго находился под впечатлением этих слов, да и теперь, вспоминая наш разговор, не могу не подивиться их меткости и глубине. Михаил Евграфович расчищал почву для будущего посева. Дремучий лес, в котором так долго задыхался русский человек, был вырублен *, но боже мой, сколько еще оставалось уродливых пней, тяжелых камней, сорной травы! Да, расчищать приходилось еще много и Салтыков, как истый богатырь, выворачивал огромные пни, далеко отбрасывал тяжелые камни, выжигал сорную траву, а если сам не поспевал, то указывал другим, где и как надо трудиться. Когда на Руси появится сеятель, он найдет почву уже расчищенную и с глубокою благодарностью вспомнит о могучем работнике на нашей родной ниве — о Михаиле Евграфовиче Салтыкове.

II

из воспоминаний «встречи и столкновения»

С Михаилом Евграфовичем у меня завязались сношения вот по какому поводу. В конце семидесятых годов в нашей печати, как это бывало периодически и раньше, усиленно обсуждался польский вопрос *. Все рассуждения публицистов консервативного и либерального лагеря мне казались неубедительными. Объяснялось это, вероятно, следующим. Во-первых, я в детстве рос в Варшаве, а с одиннадцати до двадцатитрехлетнего возраста ежегодно приезжал в Баршаву к моему опекуну на рождество и летние каникулы; я, следовательно, был знаком с польской жизнью непосредственно. Во-вторых, ум у меня по преимуществу реальный в том смысле, что я от

фактов восхожу к теории, а не наоборот. Поэтому и в польском вопросе мне также хотелось исходить от самой жизни, а не от тех или других польских или русских теорий. И вот я решил познакомиться, так как не мог отлучиться из Петербурга, с тогдашней польской жизнью, по крайней мере насколько она отражается в польской беллетристике. Пришлось подучиться польскому языку, который я знал недостаточно, а затем я зашел в петербургский книжный магазин и попросил дать мне новейшие польские беллетристические произведения.

На мое несчастье, мне сперва все попадались книги, которые меня гораздо больше знакомили с их авторами, чем с польскою жизнью. Но вдруг начинаю читать одну небольшую повесть и уж не могу от нее оторваться. Вот она, жизнь без прикрас. Я был в восторге от повести. Потом мне подвернулись другие повести, хотя и не такие сильные, но устанавливавшие, как дважды два четыре, что польская жизнь удивительно похожа на русскую*. А между тем наша либеральная печать без всякого видимого результата все толковала о польско-русском сближении. «Может быть, оно легче достижимо, — спрашивал я себя, — не на почве политических теорий или стремлений, а на почве тех общих вопросов, которые вследствие поразительного сходства русской и польской жизни приходится решать совместно и полякам и нам, русским?»

Отсюда до желания познакомить русских читателей с прочитанными мною польскими беллетристическими произведениями был только один шаг.

Хотя я никогда до тех пор не занимался переводами, за исключением одного ученого труда*, я решился перевести соблазнившую меня повесть и быстро справился с этой работой. Она была из народного быта («Эскизы углем»* Сенкевича, столько раз впоследствии переведенные на русский язык). Кроме того, я для достижения поставленной себе цели был заинтересован в том, чтобы повесть появилась в распространенном и влиятельном органе. Поэтому я решил предложить ее «Отечественным запискам». Салтыков ее принял с большою готовностью и попросил меня через Н. К. Михайловского зайти в редакцию для переговоров. Вот тут-то и произошла моя встреча с русским сатириком.

Это было в квартире Г. З. Елисеева на Надеждинской. Когда я позвонил и мне открыли дверь, я невольно

отшатнулся, — так был ошеломлен потоком ругательств, несшихся из квартиры и извергаемых густым басом. Я подумал, что попал не туда, куда следует, и хотел обратиться в бегство, но лакей успокоительно мне ухмылялся.

— Ничего-с, — сказал он, — это Михаил Евграфович. Я все еще не мог прийти в себя от удивления.

— Пожалуйте, — приглашал он меня. — Вы в редакцию?

Ругательства продолжали нестись из квартиры в ускоренном темпе и с удвоенною силою, но лакей мне так добродушно улыбался, что я успокоился и вошел. Меня провели в гостиную, где никого не было. Вскоре ругательства прекратились, и в комнату вошел... но кто не видел портрета Салтыкова? Скажу только, что хотя ему было в то время только пятьдесят три года, но он производил впечатление старика. Походка у него была медленная, грузная, и он тяжело опустился в кресло, пригласив и меня сесть.

— Нечего бога гневить, — сказал он, и я в его голосе признал бас, только что извергавший ругательства, — вещь хорошая... очень хорошая, — прибавил он с оттяжкой. — И читается, точно русская, — только у нас не умеют так писать... Чего улыбаетесь, — повысил он голос и вперил в меня свой неподвижный взгляд, — говорю вам, не умеют. У нас не пишут — мазилкой мажут, как волостной старшина у вашего Сенкевича.

Впоследствии он мне часто повторял эту фразу: «У нас не умеют писать, — и неизменно прибавлял: — В наших повестях идут с неба какие-то розовые дожди», намекая на конец помещенной в «Отечественных записках» повести очень известного русского беллетриста. Я уяснил себе только впоследствии эти вечные жалобы Салтыкова на наших беллетристов: уж очень солоно ему приходилось от исправления их рукописей. Он не поступал так, как поступали и поступают другие редакторы, которые просто не принимают для своего удобства и с явным ущербом для читателя и даже для литературы рукописей, требующих исправления, как бы они по своему содержанию ни были интересны. Салтыков, напротив, зная, что форма иногда далеко не соответствует содержанию, что люди с огромною наблюдательностью и с богатейшим материалом, почерпнутым прямо из жизни, могут иногда грешить не только против стилистики, но даже и против

грамотности, считал прямо преступным отвергать рукописи, интересные по содержанию, но неудовлетворительные по форме, и подвергал себя тяжелому труду, вызванному любовью к литературе и добросовестностью по отношению к читателю. Поэтому впоследствии, получая рукописи от лиц, помещавших свои произведения в «Отечественных записках», редакторы удивлялись, как Салтыков мог принимать произведения авторов, заведомо безграмотных. При этом забывалось, что рукописи эти подвергались иногда полной переработке Салтыковым и что даже знаменитые наши писатели находятся иногда в больших неладах с орфографией, лексикологией и синтаксисом.

Но возвращаясь к рассказу о моей первой встрече с Салтыковым.

— Скажите, пожалуйста, — спросил он меня, — этот Сенкевич известный польский писатель?

Я ответил ему, что, сколько я знаю, он еще молодой человек, написал пока мало и не пользуется большою известностью или симпатией у поляков.

— Странно, странно, — ответил Салтыков. — Большой он талант! Поляки, значит, как и русские, не умеют ценить своих талантов.

Я возразил Салтыкову, что, насколько я успел познакомиться с поляками, они, напротив, превозносят сверх меры своих писателей, но что, вероятно, тенденция Сенкевича им несимпатична, что он слишком резко осуждает интеллигенцию, помещиков и духовенство.

Салтыков расхохотался так искренно, что я удивился: этот смех как-то странно противоречил его недавним ругательствам и его мрачному виду.

— Да, ловко он их отделяет, — проговорил он сквозь смех, — даже завидно. И наших бы следовало больно по-стегать, нет, больнее. У нас что мужик, что помещик — порода одна, а в Польше мужик хотя и соплеменник, а все же порода другая — малороссиянин, русин, что ли...

Я решился поправить Салтыкова, заметив, что место действия повести Сенкевича не австрийская, а русская Польша*.

— Да, да, — прервал он меня, видимо не поняв значения моей поправки, — оттого-то я с особенным удовольствием принимаю вашу рукопись, что дело происходит в нашей Польше.

Не подлежало сомнению, что Салтыков сваливает Галицию и русскую Польшу в одну кучу, что он не знает, что в нашей Польше крестьяне вовсе не малороссы, а такие же поляки, как и помещики.

Я, конечно, промолчал, но в то же время подумал: «Боже, как мы далеки от правильного решения разных общественных и государственных вопросов, если даже выдающиеся наши писатели так мало знакомы с реальными условиями!»

Салтыков просил меня почаще присылать ему переводы с польского, и на этом мы пока расстались.

Я продолжал следить внимательно за польской беллетристикой и часто давал «Отечественным запискам» рассказы разных авторов. Так я познакомил впервые русских читателей, кроме Сенкевича, с Оржешко и Гловацким (Прусом), имена которых, особенно первых двух, сделались в России популярными. Вместе с тем и другие журналы стали усердно переводить польских авторов, и моя цель была достигнута: наше общество стало знакомиться с реальной польской жизнью.

До какой степени Салтыков заинтересовался польской литературой, показывает факт, что он постоянно сам или через Михайловского напоминал мне, что я давно уже ничего не давал и что пора бы опять что-нибудь прислать *. Раз как-то я взял аванс рублей в сто, и Салтыков в письме мне о нем напомнил. Я тотчас же явился к нему, чтобы расплатиться, но Салтыков мне с досадою сказал:

— Не видал я, что ли, ваших денег! Мне рассказ нужен.

Оржешко была, видимо, польщена, что в «Отечественных записках» появлялись ее рассказы (я перевел «Могучего Самсона», «Милорда», «Сильфиду» и др.), и обратилась с благодарственным письмом к Салтыкову. Он просил меня поскорее перевести ему это письмо, чтобы немедленно на него ответить, и, видимо, был очень озабочен этим вопросом. Не знаю, сохранилось ли письмо Оржешки и ответ Салтыкова на него *. Было бы жаль, если бы оно пропало.

Во всяком случае Салтыков очень внимательно отнесся к польской литературе. Из моих бесед с ним я убедился, что он вполне оценил мою мысль и старался ее осуществить, насколько можно было без ущерба для других отделов журнала. Составить себе ясное понятие о симпатиях и намерениях Салтыкова было нетрудно,

потому что он был удивительно искренний человек по отношению к людям, которых он, со своей стороны, признавал искренними. Его же отношение к сотрудникам было просто образцовое. За первый доставленный мною рассказ я был рассчитан по двадцать пять рублей за лист. Плата эта по тогдашнему времени была недурная. Но вскоре меня в конторе начали рассчитывать по тридцать рублей, а через месяц или два вышло распоряжение Салтыкова, чтобы меня рассчитывали по тридцать пять рублей. И эти распоряжения последовали *propter motu*¹, без тени намека с моей стороны, даже без сознанного мною желания, так как я первоначальной платой был доволен, дорожа меньше заработком, чем целью, которой я задался.

Помню, я как-то долго не был у Салтыкова и зашел к нему перед самым летом. Свертываю с Невского на Литейный и вижу, у подъезда стоит коляска, и в нее усаживается Салтыков, окруженный саками и пледами, то есть, видимо, собираясь в дальний путь или по меньшей мере на дачу. Он мне приветливо улыбнулся.

— Опоздали, батюшка, опоздали, — приветствовал он меня издали. — Только смотрите, присылайте: мне перешлют.

И, протягивая мне руку, он прибавил:

— Спасибо, спасибо за все.

Столько было доброго чувства в этих словах, что я невольно задумался над вопросом, за что, собственно, он меня благодарит, и долго смотрел ему вслед. Он оглянулся и низко наклонил голову в знак прощального приветия. Я вспомнил мою первую встречу с ним, как у входа в квартиру Елисеева меня ошеломил поток его ругательств, подумал, как иногда наружность бывает обманчива, и спросил себя, если он меня, бывшего для «Отечественных записок» рядовым и кратковременным сотрудником, так благодарит, то каковы его чувства по отношению к тем сотрудникам, которые серьезно поработали для этого журнала.

Впрочем, он, кажется, умел и сердиться не только на словах. Раз как-то я в беседе с ним упомянул о Терпигоре (это было тогда, когда тот уже работал в «Новом времени»).

¹ по собственному побуждению (лат.).

Не успел я его назвать, как Салтыков выпалил:

— Слушайте, батюшка, я знал в жизни много него-
дьяв и мерзавцев, но прохвостов только трех.

И он назвал Терпигорева и двух других журнали-
стов *.

Я нисколько не сомневался, что Терпигорев не был способен на поступок, который оправдывал бы столь сильное выражение. Поэтому я ответил только улыбкой.

— Вы не верите, — накинулся он на меня. — Нет, в самом деле он — прохвост.

Я заговорил о другом, потому что знал причину гнева Салтыкова: он очень горячо рекомендовал Терпигорева Стасюлевичу для его «Порядка», а Терпигорев взял и перешел в газету, враждебную «Порядку», в «Новое время» *. И в то же время я спросил себя тогда, как спрашиваю и теперь, — откуда у Салтыкова взялась эта, по меньшей мере странная, привычка усаждать свою речь грубыми ругательствами. Как известно, ни воспитание (лицейское), ни служебная карьера (он дослужился до вице-губернатора), ни общество, в котором он вращался, не могли развить в нем этой привычки. Он остается для меня загадочным фактом, который, понятно, не может ни на волос уменьшить чувство глубокого уважения, которое внушил мне Салтыков как человек и как редактор. Вот уже скоро четверть века, как его на свете нет; сколько людей я встречал с тех пор, а он словно живой стоит в моей благодарной памяти, — благодарной за то, что, встречаясь с ним, я проникался уверенностью, что в человеческих отношениях может быть и доброжелательство и правдивость. Ведь их пока так мало на свете.

А. Ф. Кони

Известный судебный и общественный деятель Анатолий Федорович Кони (1844—1927), по своим интересам и личным связям близко стоявший к писательской среде, познакомился с Салтыковым у Некрасова в начале семидесятых годов. Знакомство не перешло в то близкое, дружеское общение, которое связывало Кони с большинством других писателей-современников: с Некрасовым, Островским, Тургеневым, Гончаровым, Достоевским, Толстым, позднее Короленко. Салтыкова, надо думать, раздражало в характере и политическом поведении Кони все то «умеренное и аккуратное», что заставило его самого называть себя «большим оппортунистом», который «всегда соразмерял шаги соответственно духу медлительной эпохи, в которой <...>жил» (А. Ф. Кони, Воспоминания о деле Веры Засулич, «Academia», М. — Л. 1933, стр. XXXVI). Со своей стороны и Кони, по словам Б. Л. Модзалевского, по-видимому, не питал особенных симпатий к дарованию сатирика, «хотя, конечно, сознавал его роль и значение в литературе» (Б. Л. Модзалевский, Круг литературных отношений А. Ф. Кони. — В сборнике «Памяти Анатолия Федоровича Кони». Труды Пушкинского дома АН СССР, Л. — М. 1929, стр. 42). Все же Салтыков и Кони находились в отношениях личного знакомства на протяжении полутора десятка лет.

В богатом мемуарном наследстве Кони имеется немало блестящих, мастерских литературных портретов и характеристик. Но в этой галерее нет Салтыкова. По свидетельству известного исследователя жизни и творчества Некрасова В. Е. Евгеньева-Максимова, Кони не раз говорил ему о своем намерении «вспомнить для печати» об одном «большом разговоре» с Салтыковым, происходившем в начале восьмидесятых годов. В этом разговоре сатирик «поразил» собеседника «трагическою глубиною своего понимания сокровенных глубин русского народа и его истории». К сожалению,

намерение Кони записать беседу осталось, по-видимому, неосуществленным, и мы находим у него лишь несколько эпизодических упоминаний и заметок, относящихся к Салтыкову.

<ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ>

I

<Д. А. МИЛЮТИН О ЩЕДРИНЕ>

Мне помнится, между прочим, довольно длинный разговор о Салтыкове-Щедрине. Дмитрий Алексеевич был большим почитателем Салтыкова* и, отдавая справедливость тому искусству, с которым знаменитый сатирик, путем ярких иносказаний, умел освещать и придавать рельеф больным местам современности, с удивлением отмечал полное непонимание в высших правительственных кругах смысла сатиры Щедрина, в которой видели один лишь увеселительный и забавный юмор.

II

<БЕСЕДА И. С. ТУРГЕНЕВА С ЩЕДРИНЫМ>

Придя к нему <Тургеневу>* вместе с покойным А. И. Урусовым*, мы встретили у него Салтыкова-Щедрина и присутствовали при поразившей нас своей дипломатичностью, их беседе, что так мало вязалось с бранчливой повадкой знаменитого сатирика. Было очевидно, что есть много литературных, а может быть, и житейских вопросов, по которым они резко расходились во мнениях. Но было интересно слышать, как они оба тщательно обходили эти вопросы не только сами, но даже и тогда, когда их возбуждал Урусов.

III

<А. Н. ОСТРОВСКИЙ О ЩЕДРИНЕ>

...В последний раз я видел Островского за два года до его кончины в редакции «Вестника Европы». Он жаловался на усталость, и на лице его лежала какая-то

тень, как будто его уже слегка коснулась смерть своим крылом. Но он был очень оживлен и с иронией повествовал о своих прошлых цензурных злоключениях, указывая, что знаменитое Третье Отделение за время своего существования очень косо смотрело на него, считая его драматические произведения систематическими и последовательными нападениями на купечество, дворянство и чиновничество. Разговор перешел на Салтыкова-Щедрина, и Островский отзывался о нем самым восторженным образом, заявляя, что считает его не только выдающимся писателем с несравненными приемами сатиры, но и пророком по отношению к будущему*.

П. Д. Боборыкин

С писателем Петром Дмитриевичем Б о б о р ы к и н ы м (1836—1921) Салтыков впервые встретился в начале 1871 года в Петербурге. Боборыкин только что вернулся тогда из-за границы, где пробыл около шести лет. Незадолго до своего возвращения он стал, по приглашению Некрасова, сотрудничать в «Отечественных записках»: в четырех последних книжках журнала за 1870 год был напечатан роман Боборыкина «Солидные добродетели». За границей он встречался с Герценом, а также с другими русскими эмигрантами, общался со многими иностранными писателями, политическими и общественными деятелями. Герцен писал о нем Огареву 16 октября 1869 года: «Боборыкин мне очень понравился <...>. Он вдвое больше живой человек, чем Вырубов» («Литературное наследство», 1957, т. 64, печатается). С интересом наблюдал Боборыкин подъем рабочего движения на Западе, в частности деятельность руководимого Марксом и Энгельсом Первого Интернационала. Он присутствовал на Брюссельском и Базельском конгрессах Интернационала в 1868—1869 годах. Свои впечатления от этих съездов рабочих Боборыкин подробно изложил в пятнадцати больших корреспонденциях в газету «Голос» (1868, №№ 239, 241—246, 248, 252, 254, 262, 274, 330, 333; 1869, № 36. Подпись: «Б. Б. Б.») и в четырех корреспонденциях и двух статьях в газете «СПб. ведомости» (1869, №№ 239, 241, 244, 246, 251 и 257, анонимно и за подписью: «П. Б.»). Словом, Боборыкин много видел за рубежом и мог рассказать о своих заграничных наблюдениях немало интересного. Неизвестно, впрочем, шла ли обо всем этом речь в ту первую встречу Боборыкина с Некрасовым и Салтыковым, когда оба редактора «Отече-

ственных записок» первыми нанесли визит своему новому сотруднику. Некрасов хотел привлечь Боборыкина к постоянной работе в «Отечественных записках». Но для этого необходимо было наладить взаимоотношения между Боборыкиным и Салтыковым, ведавшим беллетристическим отделом журнала. Если верить Боборыкину, он лишь по приезде в Петербург узнал об остром выступлении против него Салтыкова — о статье-рецензии в ноябрьской книжке «Отечественных записок» за 1868 год, под названием «Новаторы особого рода». Статья Салтыкова, резко критиковавшая роман Боборыкина «Жертва вечерняя» за безыдейность и порнографию, за путаницу и фальшь в изображении демократической среды шестидесятых годов, не могла не уязвить Боборыкина. А у Салтыкова не было оснований откапываться от своей оценки или смягчать ее. В этих условиях их знакомство не могло означать ничего другого, кроме установления чисто делового контакта, необходимого для работы в одной редакции. «Личных отношений, — констатирует Боборыкин, — у нас с ним не установилось почти что никаких».

Отрицательный взгляд Салтыкова на писания Боборыкина сохранился и впоследствии. Чем дальше, тем больше Боборыкин определялся в качестве литератора «буржуазного направления». Рекомендую русским писателям учиться «европеизации» у флюберовско-натуралистской школы, школы «экспериментального романа», Боборыкин и его единомышленники открывали по сути дела поход против наследства шестидесятых годов, против общественных, оппозиционно-демократических традиций русской реалистической литературы. Это заставило Салтыкова в конце концов отстранить Боборыкина от сотрудничества в «Отечественных записках». Однако знакомство их не оборвалось. Напротив, Салтыков с течением времени стал ценить некоторые черты в характере Боборыкина и признавал, хотя и не без оговорок, интересным и полезным общение с ним. Об этом свидетельствует, например, письмо Салтыкова от 22 мая 1881 года к молодой писательнице А. А. Вилинской-Будзианик: «Есть в Москве литератор Петр Дмитриевич Боборыкин, человек очень добрый и при умеренном употреблении несомненно полезный. Я с ним несколько разладился, потому что отказался печатать его роман; но думаю, что если бы Вы пришли к нему моим именем, то он принял бы Вас радушно».

Что же касается Боборыкина, то он, по словам В. И. Танеева, «ужасно боялся Салтыкова» и боязни своей откровенно не скрывал. Добавим, однако, что Боборыкин испытывал не только «боязнь», но и чувство глубокого уважения к Салтыкову как к «убежденному писателю». Это чувство явственно звучит и в печатаемой ниже «Думе о Салтыкове».

ИЗ КНИГИ «ЗА ПОЛВЕКА»

...К себе Некрасов приглашал на обеды только некоторых сотрудников. Так, в эти две зимы* я не видал в числе гостей ни Скабичевского, ни Михайловского, с которым познакомился только тогда. Иногда был приглашаем Плещеев и всегда Салтыков. А остальными гостями очень часто бывали два влиятельных цензора и какой-нибудь клубский приятель хозяина <...>.

Судьба поставила рядом с ним, в руководительство такого журнала, как тогдашние «Отечественные записки», М. Е. Салтыкова.

Как они держались друг с другом наедине — я не знаю, но при людях, за обедами или в редакции, Салтыков имел гораздо более хозяйский вид и авторитетный тон; частенько и ворчал и позволял себе «разносы», тогда как Некрасов — когда чем и был недоволен — ограничивался только сухостью тона или короткими фразами.

Не думаю, чтобы они были когда-либо задушевными приятелями.

Правда, они были люди одной эпохи (Некрасов немного постарше Салтыкова), но в них не чувствовалось сходства ни в складе натур, ни в общей повадке, ни в тех настроениях, которые дали им их писательскую физиономию.

Если оба были обличители общественного зла, то в Некрасове все еще и тогда жил поэт, способный на лирические порывы, а Салтыков уже ушел в свой систематический сарказм и разъедающий анализ тогдашнего строя русской жизни.

Личных отношений у нас с ним почти что не установилось никаких. В памяти моей не сохранилось даже ни одного разговора со мною, как с молодым писателем, который стал постоянным сотрудником журнала, где он играл уже первую роль.

Вскоре по моем приезде* они сделали мне вдвоем визит в той меблированной квартире, которую я нанял у немки Иды Ивановны, в доме у Каменного моста. И тогда же я им обещал доставить для одной из первых книжек «Отечественных записок» рассказ «Посестрие»*, начатый еще за границей и после «Фараончиков» — по счету второй мой рассказ.

Салтыков сложился тогда вполне в того немножко Собакевича, каким и умер. У него были приятели, но не из сотрудников журнала, хотя некоторых, как, например, Глеба Успенского, он по-своему любил и высоко ставил их талант.

Ко мне — и впоследствии — он относился формально, и в деловых переговорах и письмах, вежливо, но ворчливо, отделиваясь короткими казенными фразами. Столкновений у меня с ним, по журналу, не было никаких. И только раз он, уже по смерти Некрасова, отказался принять у меня большой роман. Это был «Китай-город», попавший к Стасюлевичу*.

Я бывал, на протяжении нескольких лет, раза два-три и у него на квартире, но уже гораздо позднее, когда он уже начинал хронически хворать.

«Компанию» он водил с двумя-тремя своими приятелями, вроде Унковского и Лихачева, играл с ними в карты и неистово бранился. Тургенев, когда заболел в Петербурге сильными припадками подагры, говорил мне, что стал от скуки играть в карты и его партнером был сначала Салтыков. «Но я не выдержал, перестал его приглашать, уж очень он ругал меня!»

Рядом с Салтыковым Некрасов сейчас же выигрывал как литературный человек. В нем чувствовался — несмотря на его образ жизни — «наш брат-писатель», тогда как на Салтыкова долгая чиновничья служба наложила печать чего-то совсем чуждого писательскому миру, хотя он и был такой убежденный писатель и так любил литературу.

С Некрасовым вы могли о чем угодно говорить, и если он не проявлял особой сердечности, то все-таки отзывался на всякое проявление вашей личности. С Салтыковым слишком трудно было взять тон задушевной беседы.

При другом редакционном компаньоне Некрасова в редакции было бы, вероятно, меньше той сухости, какая, на первых порах, меня неприятно корбила.

Редакция похожа была на какой-то строговатый помещичий дом, где в известные дни два хозяина, с прибавкой еще третьего компаньона (Елисеева), толковали во внутренних покоях; а молодые сотрудники ждали в приемной, куда то тот, то другой из хозяев и показывался для тех или иных распоряжений...

«МОНРЕПО»

(Дума о Салтыкове)

1

Прямо против моих окон, в той вилле, где я живу на водах, через полотно железной дороги вижу я, сдавленный между двумя пансионами, домик в швейцарском вкусе. Под крышей, из полинялых красноватых букв, выходит: «Pavillon Mongeros».

В первый день я случайно разобрал эту надпись, и она не вызвала во мне ничего. Но вчера я повторил раза два, вслух, стоя у окна: «Mongeros, mongeros»¹ — и целая вереница образов и воспоминаний всплыла в моей голове вокруг одной фигуры — автора «Убежища Монрепо»...

О смерти Салтыкова узнал я, в переездах, по краткому некрологу какой-то парижской газеты*, где, разумеется, среди всяких сочувственных фраз, стоял и такой вздор, что с Салтыковым в лице учился в одно время Федор Достоевский, как сын «знатных» родителей.

Та же газета упомянула о книжке, составленной, во французском переводе, из его заграничных очерков, — под заглавием: «Paris et Berlin»*. По этому поводу говорилось о его *великой* любви к Франции и французам.

Имя Салтыкова в Париже не было, однако, и наполовину известно, как имена Достоевского, Толстого и Тургенева; да и сам он не особенно искал этой известности*.

В начале восьмидесятых годов случай поместил нас с ним в одном гарни², позади церкви Мадлен. Он там останавливался несколько раз.

Было это в конце русского августа*. Я вернулся с морских купаний из Нормандии, и хозяйка гарни сейчас же мне доложила, что через несколько дней у нее поместится: «Toute la famille du général Saltikoff»³.

Этим «генералом» оказался Михаил Евграфович, уже больной, с раскатыстым кашлем и одышкой, но еще на вид довольно бодрый.

¹ «Мой приют, мой приют» (франц.).

² меблированные комнаты (от франц. *chambres garnies*).

³ Семейство генерала Салтыкова (франц.).

Я жил на самом верху и на другой день по приезде русского семейства слышал на лестнице знакомый кашель. Салтыков поднимался ко мне. Я сошел вниз и не допустил его утомлять себя подъемом на шестой этаж.

Первое, чем Михаил Евграфович начал тогда, были горькие жалобы на то, как он тоскует в Париже.

— Мне здесь ровно нечего делать! — нервно повторял он, глядя пристально страдающими глазами. — Работать я не могу, таскаться по театрам — духота в них невыносимая, палата закрыта, знакомства с французами я не вожу...

И в самом деле, он очень мало интересовался личностями парижских писателей; у него мне не случилось видеть ни одного француза из ученого, литературного или политического мира. А как он относился к вопросу о переводе своих произведений на французский язык, может показать отрывок из разговора, бывшего в тот же его приезд и в той же гостиной его меблированной квартиры.

В числе корреспондентов проживал в Париже, довольно уже давно, один петербуржец, дававший там и уроки русского языка. У него был ученик француз, богатый светский человек, езжавший в Москву как турист. Он перевел, под руководством своего учителя, «Сказки» Салтыкова и издал их на свой счет; * а когда узнал, что автор — в Париже, доставил ему экземпляр и пожелал выразить ему лично глубокое сочувствие его таланту. Надо было видеть Михаила Евграфовича! — до какой степени это подношение растрожило его.

— Помилуйте, — говорил он с беспощадною суровостью к самому себе, — какой интерес могу я представлять для французской публики?.. Я — *писатель семнадцатого века*, на их аршин. То, против чего я всю жизнь ратую, для них не имеет даже значения курьеза. Надо это понять!..

Спорить с ним было трудновато, и он никак не хотел сойти с того тезиса, что он писатель «семнадцатого века».

А между тем разве он по-своему не был прав?

Разве после представления «Грозы» Островского самые авторитетные парижские критики не сказали без всякой иронии, что нравы эти напоминают им XIV век во Франции; вы видите: даже «четырнадцатый», а не «семнадцатый». Перенесите на сцену «Господ Головлевых».

(что и было сделано в Москве), и они нашли бы точно то же. И, быть может, у одного Салтыкова достало мужества так резко определять *содержание своей сатиры* для французов; а *форма* его слишком своеобразна, чтобы получить в переводе обаяние чисто эстетического характера, чего не вышло ведь до него ни с Толстым, ни с Тургеневым, которые взяли больше содержанием и общим колоритом.

2

Любил ли он французскую литературу?

Не знаю. Может быть, некоторые вещи Виктора Гюго и Жорж Занд, по старой памяти.

Но вот что я прекрасно помню. Раз, у Некрасова (это было в начале семидесятых годов) за обедом, речь зашла о парижских писателях, романистах и драматургах. Я перед тем прожил несколько зим во Франции, с 1865 года по год войны *.

Из тогдашних сценических писателей я ставил выше других Ожье и Дюма-сына, который, *по тому времени*, был, без сомнения, новатор, если не в художественном смысле, то как проводитель разных *идей* и нравственных *идеалов*, казавшихся и публике шестидесятых годов и критике очень смешными: стоит мне только припомнить «Идеи госпожи Обрэ». За них и автор, и директор театра Жимназ, и актриса Деляпорт, создавшая роль Жаннины — девицы с «изъяном», на которой почтенная мать решается, наконец, женить своего сына, — дрожали на первом представлении. По своим эмансипационным идеям Дюма-сын должен бы был скорее нравиться Салтыкову. Но Михаил Евграфович, помолчав довольно долго, разразился, к десерту, огульным неодобрением парижских знаменитостей.

— Один у них есть настоящий талант, — решил он, — это — Флобер; да и тот большой, говорят, хлыщ!

Это было до его поездки за границу. Личное знакомство, через Тургенева, с Флобером и другими натуралистами не смягчило его приговоров. Флобер ему не очень понравился *. А как он смотрел на всю школу, вы сейчас увидите из маленькой сценки, разыгравшейся у меня в кабинете, на Песках, в зиму 1876—1877 года.

В отсутствие Михаила Евграфовича были напечатаны в «Отечественных записках» три лекции, прочитанные

мною в пользу женских курсов, в клубе художников, «О реальном романе во Франции» *.

Первая фраза, произнесенная Михайлом Евграфовичем, когда он вошел в кабинет, была:

— Какой это вы нашли у них реализм?!

Я, конечно, не стал спорить, а дал ему излить свой протест...

В моих лекциях я занимался больше других именно Флобером и входившим в славу Золя, который выпустил тогда уже первые романы своей серии *. И его реализма не признавал суровый сатирик... * Не пощадил он и Флобера *, на этот раз не захотел его выделить, как единственного человека «с настоящим талантом»... О Додэ, Гонкурах и говорить нечего. Их он растер в порошок...

Привожу эти подлинные документы, ярко сохранившиеся в моей памяти, не затем, конечно, чтобы обличать эстетические вкусы покойного, а чтобы показать, до какой степени скороспешно объявляют его теперь французы исконным другом Франции и *всего* французского.

В Париже ему мало что нравилось: * иначе бы он не тосковал там до такой степени. Самое привлекательное, что есть для приезжего иностранца, это — парижские театры. И к искусству французских актеров, даже и в «Comédie Française», относился он очень строго *.

— Они, — говаривал он мне не раз, — умеют только хорошо *произносить* стихи и прозу, да и то в комедии; в трагедии я их *пения* слышать не могу! Вся их игра — в дикции. А жесты у них — рутинные, мимика лица — казенная и бедная.

И это, в общем, довольно верно. Его требования были — русские. Требования человека, воспитанного на игре Щепкина, Мартынова, Садовского, Мочалова, то есть на игре более нервной и выразительной, полной внутреннего юмора и комизма или богатой трагическими жестами и экспрессиями лица.

В тот приезд в Париж, с которого я начал, Салтыков пожелал пойти в театр, на феерию: «La biche au bois» ¹. Мы смотрели ее втроем с общим добрым знакомым, князем У. * Выставка женского тела в разных эволюциях и группах давала ему повод ядовито и забавно острить в антрактах над нравственным уровнем парижских сцен.

¹ «Лесная лань» (франц.).

В театре он сильно раскашлялся и после четвертого акта запросился домой, обвязав себе шею большим фуляром, хотя температура была тропическая.

Вышли мы на бульвар, в этом месте, против театра «Porte St.-Martin»¹, высоко поднятый над мостовой, и нас охватила живая картина ночного Парижа.

— Вот это здесь лучше всего! — вскричал Салтыков, и его глаза сразу повеселели.

Он постоял с нами, любуясь бульварной толпой, где преобладал простой люд: блюзники, торговки апельсинами, гамэны², проходившие домой работницы.

Кажется, только это ему безусловно и нравилось в Париже.

3

Но, наверно, было такое время, когда он чувствовал себя ближе к Франции, в лице людей тридцатых и сороковых годов, мечтавших о социальных преобразованиях, об эльдорадо на земле.

И прямо, в конце Николаевской эпохи, от запретных книжек Сен-Симона, Фурье, Луи-Блана, Виктора Консидерана, Кабэ — очутиться в служебной ссылке и две трети своей жизни провести в самой трясине губернских нравов до- и пореформенной родины!

Казалось бы, что после месносной жизни в убийственном климате северо-русских губернских городов, а потом Петербурга (от него он и скончался еще совсем не старым человеком) Салтыков должен был бы стремиться давно на благодатный юг, в эту Францию, к народу, среди которого ему все-таки легче дышалось, — о чем он заявлял иногда и в печати, — устроить там свое «Монрепо» где-нибудь на Ривьере, в окрестностях Ниццы, в Канне, где солнце ласкает вас круглый год, где население красиво и весело, где жизнерадостность проникла бы и в его горькую, хронически-раздражаемую душу!

Он и жил в Ницце, по приказанию врачей, но скучал в ней; его всегда и отовсюду тянуло домой и никуда, как все в тот же Петербург, к самому нездоровому образу жизни, к писательскому кабинету, к спертому воздуху,

¹ «Врата св. Мартина» (франц.).

² мальчишки (франц.).

к своим чисто русским привычкам, к вечерней партии в какую-нибудь коммерческую игру, за которой он ужасно волновался и только усиливал постоянное недомогание, портил себе окончательно и нервы, и легкие, и кровеносную систему...

Раз, в Баден-Бадене, мы разговорились о его зарубежных поездках с покойным П. В. Анненковым, его старшим сверстником и — в последние годы — приятелем. На его глазах проходила жизнь Салтыкова — еще слабого, но выздоравливающего, в этом приятнейшем из немецких курортов, где ему оказано было — все это помнят — публичное чествование как писателю от покойного канцлера, кн. Горчакова *.

И там ему было не по себе...

— Михаил Евграфович, — говорил мне Анненков, — любит Петербург, хоть и клянет его на разные лады... Ему без его петербургских привычек и обстановки и жизнь не в жизнь!..

Вероятно, так оно и было. Когда у него в последние годы открылась полная возможность выбрать себе «Монрепо» в самом благословенном уголке западной Европы или даже в России, где-нибудь на южном берегу Крыма, на побережьях Кавказа, усадьба его очутилась на болотном севере, неподалеку все от того же Петербурга, этого «города ядовитых признательностей» *, как назвал его Салтыков еще в одном из первых своих «Губернских очерков».

Да, «город ядовитых признательностей»! И он вкушал добровольно этот яд, не мог стряхнуть с себя ностальгии¹ по Петербургу. Мечтая иногда о «Монрепо», настоящем, привольном, с солнцем и тенью роскошных деревьев, с благоуханием и рокотом нежной морской волны, он тайно любил гнилой и пасмурный Петербург, любил потому, главное всего, что там ему писалось.

Это не мое досужее предположение. Я слышал от самого Михаила Евграфовича, и не один раз, такие слова:

— Без провинции у меня не было бы и половины материала, которым я живу как писатель. Но работаете мне лучше всего здесь, в Петербурге. Только этот город подхлестывает мысль, заставляет уходить в себя, сосредоточивает замыслы, питает охоту к перу.

¹ тоски по родине (от греч. nostos algos).

Мечтал он и о переселении в Москву... Там прошло его детство. Там жил его школьный товарищ С. А. Юрьев... Но не пощадивший его долгий и мучительный недуг подкрался в последний раз, и Москва не увидала в своих стенах заката писательской жизни русского сатирика.

Раньше сошел в могилу и Юрьев, очень быстро, еще юный духом, полный увлечений идеями прекрасного, любви к поэзии, к театру, приглашенный, накануне смерти, руководить новым журналом.

Он нашел вечное «Монрепо» еще скорее своего московского школьного товарища *.

4

Случилось так, что в мои недавние переезды, тотчас после кончины Салтыкова, я совсем не читал русских газет, не видал полемики, поднявшейся из-за него, не удержал в голове никаких общих мест и ходячих формул «преданности и уважения» личности и таланту покойного русского *Свифта* и *Поля-Луи-Курье*.

Эти два имени неспроста подвернулись под перо. Не стану сравнивать Салтыкова ни с одним из них, определять: выше ли он их по таланту и значению в истории нравственных идеалов своей родины как творец и художник слова. Но они в двух передовых нациях Европы считаются самыми крупными выразителями сатирического гения. Оба страдали от людской глупости, тщеславия, пошлых инстинктов, от мирской неправды, от мелкоты и грязи. И британский «декан» и французский деревенский буржуа — были, каждый в свою меру, несчастны, как люди, не умевшие мириться с действительностью.

Но Салтыков был самым несчастным из европейских сатириков на протяжении более ста лет со дня рождения Свифта и по день смерти русского писателя.

И у Свифта и у Поля-Луи-Курье имелись в запасе свойства национального темперамента, позволявшие им легче переносить зрелище мирской глупости, пошлости и порочности. Свифт мог даже полусумасшедшим объективно относиться и к самому себе: припомните его сравнение своей головы с высыхающим деревом во время прогулки... Кровь и нервы галла не допускали и Поля-Луи-Курье до той горечи и надсады, какими исходил Салтыков!..

Судьбе угодно было наделить его темпераментом, всего чутче отзывавшимся на темные стороны жизни. Мне говорили и его литературные сверстники, помнившие его молодым — тотчас по выходе из лицея, когда он уже бывал в писательских кружках, что и в то время он проявлял те же признаки человека, не умеющего примирительно смотреть на людей, на личную долю и общественную жизнь. Детство и отрочество прошли — судя по его «Пошехонской старине» — среди особенно бездушных нравов. На долю его выпало нечто гораздо более способное воспитать негодующего сатирика, чем то, что представлял собою общий уровень дворянской среды николаевского времени. И позади — как начало всякой думы и основа всякого взгляда на родину — та эпоха, постылая, рабовладельческая, которая даже в такой мягкой натуре, как Тургенев, вызвала побег на Запад и клятву: не мириться с крепостным строем тогдашней России! *

Кому же, как не Салтыкову, нужнее было, к старости, «Убежище Монрепо», выражаясь его языком? Но оно ему не давалось. Русская жизнь, как разъедающий лишай, грызла его, не пускала никуда, сделала равнодушным к приволью и благодати других стран. И когда к моральной желчи, душившей его, присоединились еще несносные, тягучие физические недуги, сатирик не выдерживал и в лирических жалобах изливался перед публикою, за что многие *осуждали* его, находили, что он не имеет права позволять себе такие сетования Иова!.. *

Но «Монрепо» все-таки было неизбежно — последнее, верное и безобидное *убежище*, против которого бессильна и самая злая сатира!

Эмс.

М. М. Ковалевский

Встречи Салтыкова с известным впоследствии буржуазным социологом Максимом Максимовичем Ковалевским (1851—1916) относятся к середине семидесятых — началу восьмидесятых годов. Это были годы дружеского общения молодого ученого с Карлом Марксом. Ковалевский остался чужд марксизму. Но в связи с тем, что его интерес к трудам основоположника научного коммунизма и к нему самому был в ту пору чрезвычайно активен, вполне возможно допустить, что в парижских беседах с Салтыковым он мог не раз рассказывать ему о своих тогдашних встречах и переписке с Марксом.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ»

...Со времени пушкинских праздников мне не суждено было более встретиться с Тургеневым в России *. Я уехал на два года за границу и неоднократно виделся с ним в Париже. В одном доме со мною жил М. Е. Салтыков, и мы несколько раз сходились обедать втроем, а однажды вместе с Арапетовым и Домонтовичем были приглашены Тургеневым в Буживаль *. Мне остался памятным этот день. Салтыков был в духе, юморизировал нескончаемо и все же кончил тем, что под конец рассердился на Арапетова, заметившего ему, что в его глазах автор «Головлевых» и «Истории одного города» перерос голову самого Гоголя.

— Что вы, Гоголя? страшно и подумать, — отвечал ему решительно Салтыков и взглянул на него так грозно, что дальнейший разговор на эту тему сделался невозможным.

Не помню, в этот ли день, или при другом случае, мне пришлось услышать и от Тургенева личную оценку его литературной роли в России. Если не ошибаюсь, тот же Арапетов на правах старого приятеля стал нападать на него за излишнюю скромность.

«Право, — отвечал ему Тургенев, — я иногда читаю во французских журналах похвалы своим повестям и сам спрашиваю себя: «Будто бы это уже так хорошо? Не много ли в этих похвалах условного, того, что французы называют «*clichet*». Ведь не Гете же я какой-нибудь? И фантазии-то большой у меня нет, и фабулу-то выдумать мне не легко, особенно теперь, когда воображение уже не действует как прежде. Мне всегда нужна встреча с живым человеком, непосредственное знакомство с каким-нибудь жизненным фактом, прежде чем приступить к созданию типа или к составлению фабулы; конечно, я не какой-нибудь фотограф, я не срисовываю своих образцов, но уже Белинский заметил, что что-нибудь выдумать, взять что-либо из головы я совершенно не способен, а, впрочем, цену себе знаю не хуже другого; у меня нет силы таланта, какой обладает Лев Толстой, я бы никогда не мог написать ничего подобного сцене свидания Анны Карениной с ее детьми <!>. Я не поставлю себя также в ряд с Островским. Разве за ними? Разумеется, я не говорю о Салтыкове — это особый талант. Как сатирик, он не имеет себе равного» * (Тургенев сам читал однажды на литературном утре в Париже «Двух генералов» Салтыкова и позаботился о переводе их на французский язык) *.

С. Н. Кривенко

С. Н. Кривенко, один из главных сотрудников редакции «Отечественных записок» последнего периода их существования, посвятил Салтыкову особый мемуарный очерк (см. ниже) и был автором первой его биографии. Печатаемые здесь фрагменты из литературных воспоминаний Кривенко в эти работы не вошли. А между тем содержание их заслуживает внимания, в частности особенно интересно приведенное суждение Тургенева о роли Салтыкова в общем «строе» русской литературы семидесятых — начала восьмидесятых годов («держит литературу он»).

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

<Два отрывка о Салтыкове и Тургеневе>

<1>

...Покройный М. Е. Салтыков однажды в разговоре утверждал, что я вижу Тургенева только с показной стороны. С обычною своею прямою и суровостью он говорил: «Он перед вами, как павлин, распускает хвост, а вы любуетесь, и это ему приятно, а потом сам же будет рассказывать, что за ним ухаживают, и опять получит при этом удовольствие». Насколько Салтыков был прав, — не знаю, только я действительно видел Тургенева лишь с хорошей стороны, и сторона эта мне казалась не совсем показною. Салтыков, этот прямой, нервный, искренний и не любивший никаких компромиссов

человек, человек, весь отдавшийся литературе и видевший в ней чуть ли не самое высшее призвание на земле, был очень часто слишком строг к людям и имел на это неоспоримое право; но право это было чисто личным его правом, его да разве еще весьма немногих столь же цельных людей, а большинство не может так смотреть на Тургенева.

<2>

...Через несколько дней я был в Морской по делу и по дороге еще раз зашел к Тургеневу *. Чувствовал он себя лучше. Говорил много и о разных предметах, но больше всего о литературе и молодых писателях. Говорил о Г. И. Успенском, которого очень любил и ценил, досадуя на него только за одно, почему он не попытается большого романа или повести написать; а из молодых писателей больше всех ему нравился Гаршин: «Какая, должно быть, у него чудесная душа, — говорил он, — только что-то болезненное в нем есть». Очень нравилась ему еще небольшая повесть Виницкой *, напечатанная в то время в «Отечественных записках»: «Просто прелестные, чисто художественные есть страницы, — говорил он, — но не все хорошо, а потому трудно сказать, что из нее выйдет». Тургенев следил решительно за всем, что появлялось новенького в литературе, не исключая даже иллюстрированных изданий и таких газет и журналов, которых в Петербурге обыкновенно не читают, а потому знал и таких писателей, которые только что выступили в литературу или написали только одну какую-нибудь вещь, мало кому известную. Он помнил даже особенно выдающиеся и яркие места и страницы, которые произвели на него впечатление, обращал внимание даже на слог и внешность.

— А у Виницкой, — сказал он, — должно быть, Салтыков не мало вымарывал и исправлял... * Так это как-то чувствуется. Я почти безошибочно всегда могу сказать, где он постарался. Это уж такой человек, которого всегда и везде узнаешь. И, должно быть, сердится при этом, верно что-нибудь было неподходящее или слишком растянутое. Сейчас ведь это видно, как он вырубает. А как сам он меня радует, вы не можете себе представить; он не только нисколько не стареет, но становится

все лучшее и сильнее, все ярче и определеннее. Я радуюсь за него, помимо всего прочего, еще чисто эгоистически, потому что это наше поколение: значит, мы не совсем еще старики и кое на что годимся... За исключением меня, впрочем, потому что я вряд ли могу уж теперь работать.

— А вы хотели два рассказа-то написать? — сказал я.

— Да, вот хотел и не мог ничего с собою сделать. Ну, да это что. Я говорю, работать так, чтобы стыдно не было, работать, как Салтыков, например, работает. Знаете, что мне иногда кажется: что на его плечах вся наша литература теперь лежит. Конечно, есть и кроме него хорошие, даровитые люди, но держит литературу он.

Л. Е. Оболенский

Литературная деятельность Леонида Егоровича Оболенского (1845—1906) — известного впоследствии писателя либерально-народнического направления — началась в конце шестидесятых годов. Оболенский находился тогда в ссылке, в уездных городках Костромской губернии — Буге, а затем Варнавине, куда попал в 1866 году в связи с делом Каракозова. Из этого захолустья он и начал посылать свои стихи в демократический журнал «Дело».

В 1873 году Оболенский был освобожден из-под полицейского надзора. С конца семидесятых годов он жил в Петербурге, где издавал журналы «Свет» (1878), «Мысль» (1880—1882) и «Русское богатство» (1882—1891).

Знакомство Оболенского с Салтыковым относится, вероятно, к 1877 году.

Приведем из другого раздела печатаемых мемуаров Оболенского «Литературные воспоминания и характеристики» еще одно упоминание о Салтыкове:

«Николай Степанович Курочкин, брат бывшего редактора «Искры», Василия Степановича (в то время уже умершего), сидел за столом против Федора Михайловича <Достоевского> и рассказывал двум-трем соседям, внимательно его слушавшим, свои любопытные наблюдения над жизнеспособностью очень талантливых людей (Николай Степанович был одновременно и поэт и врач). Между прочим, он привел в пример Салтыкова (Щедрина), которого исследовал как врач еще, в то время, когда тот был совсем молодым человеком, и нашел у него такой порок сердца, от которого давно умер бы всякий «обыкновенный» смертный. Между тем Салтыков живет и усиленно работает» («Исторический вестник», 1902, № 11, стр. 501).

Я посылал стихи в «Дело» в течение десяти лет, то есть до 1878 года, сперва из того же захолустья, а затем и из Орла, куда перебрался в 1870 году.

Ни Благосветлова, ни А. К. Шеллера я не видел лично до конца семидесятых годов, когда мне удалось на несколько дней заехать в Петербург.

Второго я посетил в его квартире и был принят им с истинно братским радушием, приветливостью и простотой. В самом деле, отличительной чертой личного характера А. К. Шеллера была чрезвычайная любовь к русской литературе, а в то же время, конечно, и к начинающим писателям, подававшим какие-либо надежды на будущее развитие.

Для таких начинающих он готов был сделать все, что было в его силах, а уж что касается одобрения, подъема духовного, укрепления надежд на свои силы, то едва ли кто-нибудь другой был в нашей литературе, кто так же относился бы к молодой пишущей братии.

И таким А. К. Шеллер остался до своей смерти.

Говорят, таково же было отношение к начинающим и В. Г. Белинского. Из моего личного опыта я знал почти такое же отношение ко мне М. Е. Салтыкова (Щедрина), когда я, в тот же приезд в Петербург, отнес ему мою юношескую «дррраму» в стихах, из времен крепостного права, написанную по рассказу моей квартирной хозяйки в том захолустье, где я жил¹.

¹ Муж моей хозяйки был в сороковых годах любимым крепостным лакеем местного помещика З., который осыпал его милостями и щедротами. Но лакей не вынес вида страданий остальных крепостных, с которыми З. обращался жестоко: он убежал, однако лет через пять вернулся. Барин не только не наказал его, но подарил ему дом в городе, дорогую шубу и золотые часы. Дело в том, что когда-то этот лакей насильно не пустил барина на пожар гумна, которое, как потом оказалось, было подожжено ночью крестьянами с целью бросить помещика в огонь. Прожив после побега года два и еще раз спасши жизнь З., лакей не выдержал и в конце третьего года убил барина из ружья через стекло балконной двери. Его не только не подозревали в этом убийстве, но сделали даже управляющим. Однако, видя, что десятки людей сидят в тюрьме по подозрению, он явился в суд и заявил об истине... Приговоренный к наказанию плетью, он умер под ними в г. Варнавине, Костромской губернии. (Примеч. Л. Оболенского.)

В этой драме я заплатил дань юношескому мелодрамматизму и сентиментализму; я, например, ввел в нее неизбежную «любовь».

Салтыков не взял этой драмы, но приема, сделанного им мне в его квартире, я никогда не забуду. Быть может, впрочем, он обуславливался в значительной степени тем крайним смущением и робостью, которые охватили меня, когда я увидел перед собою любимого, почти боготворимого мною сатирика. Когда он усадил меня около стола и стал расспрашивать, я едва мог говорить от волнения. Но я был окончательно уничтожен его добротой и любезностью, когда в передней, провожая меня, вследствие того что горничная где-то замешкалась, он сам (сам!) помог мне надеть пальто!

В то время он не высказал мне окончательного решения о моей драме и сказал, что прочел только два ее действия. В редакции же, куда я пришел через несколько дней, я слышал, как на вопрос Плещеева:

— А что драма?

Он ответил одним словом:

— Грубо!..

Быть может, дело шло вовсе не о моей драме, но в то время мне казалось, что все, что говорится в редакции, говорится обо мне.

Тогда же я увидел в первый раз в сборе почти всех тех людей, которые так волновали мое сердце в провинции: тут были и А. М. Скабичевский и Н. К. Михайловский.

Я до сих пор помню, что Салтыков рассказывал Н. К. Михайловскому, что к нему являлся какой-то иностранный издатель, прося позволения перевести его очерки (кажется, «Губернские»). Говорил он это довольно покойным и небрежным тоном, даже несколько насмешливым и грубоватым, но сердце мое подсказывало мне, что он не может не быть рад уже по тому одному, что каждому убежденному писателю дорого распространение его произведений. Да и недаром же он рассказывал об этом в редакции.

После этого я видел его только два раза: через несколько лет в Главном управлении по делам печати, где я ожидал приема, а он вышел из кабинета Феоктистова и поразил меня своей памятью. Надо сказать, что я в то время уже издавал свой журнал и поместил там статью о его произведениях*. Статья была написана очень

горячо и, между прочим, имела целью отстранить от Салтыкова те нападки и обвинения, которые посылались на него со стороны Страстного бульвара * ¹.

И вот, не видев меня несколько лет, он сразу узнал меня, хотя я должен был значительно перемениться. Да и видел он меня раньше лишь несколько минут. Салтыков, опираясь на палку, тяжелой поступью направился прямо ко мне (я сидел в приемной у стола налево) и своим грубоватым годосом, теперь значительно смягченным, спросил:

— Ведь вы Оболенский? Вы теперь издаете журнал?

Я ответил утвердительно.

— Я его вижу. Желаю вам всякого успеха. Хорошо ли он идет у вас? Какова подписка?

На прощанье он крепко пожал мне руку и пожелал «прежде всего здоровья». «Вот я все прихварываю», — добавил он.

На меня и в этот раз он произвел впечатление человека необыкновенно простого, полного внутреннего величия и мощи, большой сердечности и даже ласковости, рвущейся через оболочку грубости и лаконичности, как результата мучительной болезни.

Еще раз, и последний, я видел его в гробу. Он лежал там, как-то съезжившись, точно придавленный непобедимой, необъятно-могучей силой. Даже его голова стала как-то меньше. Я не мог смотреть на это тело, задавленное роком, и плакал над ним, как ребенок. Ни одни литературные похороны не производили на меня такого потрясающего впечатления, — даже похороны Достоевского. Ведь тот, в конце жизни, все же покорился судьбе и даже сделал принципом своей проповеди «смирение» и «покорность». Поэтому его смерть не была такой трагедией, как смерть Салтыкова. Этот не покорялся судьбе до последнего издыхания, боролся за жизнь, за мысль до последнего момента, и даже в гробе, даже мертвый сохранил на своем лице такое выражение, что мне казалось, его сжатые уста каждую минуту готовы крикнуть грубым, хрипловатым голосом: — А я все же не покорюсь!

Таково мое общее впечатление и от этого человека, и от его сочинений, и даже от его мертвого тела...

¹ Я тогда же послал эту книжку журнала Салтыкову, чтобы выразить ему этим мое глубокое уважение и сочувствие. (Примеч. Л. Оболенского.)

Н. Н. Златовратский

Еще в годы ранней юности Николай Николаевич Златовратский (1845—1911) прочитал «Губернские очерки». Щедрина сатира шестидесятых годов сыграла важную роль в его идейном развитии. Недаром свои первые очерки и рассказы, остро обличительные по содержанию, Златовратский иногда подписывал псевдонимом: «Маленький Щедрин». Непосредственное же литературное общение его с Салтыковым установилось в 1874 году, когда он предложил «Отечественным запискам» свой роман «Крестьяне-присяжные», который и был там напечатан. В течение последующих десяти лет, вплоть до закрытия «Отечественных записок» в 1884 году, Златовратский печатал там все свои крупные произведения. О том, какую роль сыграл этот журнал в его писательской работе, Златовратский писал Салтыкову 4 апреля 1882 года: «Вы сами знаете, что даже то небольшое, что я успел еще сделать лично, было исполнено только при неослабном участии ко мне редакции «Отечественных записок». Без этого стороннего участия моя деятельность была бы немыслима...» («Литературное наследство», М. 1934, т. 13—14, стр. 366).

И в самом деле, Салтыков уделял Златовратскому немало внимания. Он ценил в нем пристального наблюдателя народной жизни. Искренняя любовь к трудовому крестьянству, горячее желание проникнуть в кровные интересы его жизни и быта, демократизм Златовратского, реалистические картины пореформенной крестьянской действительности в его произведениях привлекали Салтыкова. Поэтому он и печатал эти произведения в своем журнале, а иные и высоко ценил, — особенно те, в которых Златовратский правдиво изображал «колупавевскую революцию», отдававшую «освобожденного» мужика «на поток и разорение» новому — капиталистическому — хищничеству. Об одном из таких произведений — очерке «Красный куст» — Салтыков писал Михайловскому 27 декабря 1880 года: «Читали ли Вы фельетон Златовратского? По моему, это отличная вещь» (XIX, 183).

Но в целом Салтыков не считал Златовратского большим писателем. Романтически приподнятое, порою слащаво-восторженное или сентиментально-слезливое отношение к крестьянской жизни не удовлетворяло художественным требованиям сатирика, убежденного, что «когда говоришь о мужичках, то нет никакой надобности ни умиляться, ни приседать, ни впадать в меланхолию». Резко критиковал Салтыков идейные позиции писателя — его народническую веру в общинные «устои». В письме к Михайловскому он упоминает о том, что сообщил Златовратскому резко отрицательный отзыв о его статье. Она напомнила Салтыкову «трактирные беседы благомысленных бахвалов, переливающих из пустого в порожнее насчет мужицкой «правоты», которую он, Златовратский, никак найти не может» (XIX, 395). Еще определеннее и резче отзыв в письме к Елисееву от 13 января 1882 года: «Златовратский гордит чушь <...> Он теперь кулаков стал восхвалять» (XIX, 256).

В 1880 году Златовратский был избран редактором журнала «Русское богатство», созданного по инициативе С. Н. Кривенко на «артельных началах» группой литераторов-народников (характеристике артельного «Русского богатства» посвящен очерк Б. П. Козьмина в его книге «От девятнадцатого февраля к первому марта», М. 1933, стр. 214—253). Как сообщает сам Златовратский, Салтыков отнесся к этой «затее» «очень скептически». Однако Златовратский в своих воспоминаниях преуменьшает неприязнь сатирика к новому изданию. Кроме того, он односторонне объясняет причину этой неприязни, усматривая ее лишь в опасениях Салтыкова-редактора, не отвлечет ли «артельный журнал» литературские силы от «Отечественных записок». Такие ревнивые опасения Салтыков действительно высказывал. Но те «мрачные мысли и перспективы», которые, по словам Златовратского, возбуждало в сатире будущее артельного журнала, определялись другими, принципиальными причинами. Салтыков был непримиримым противником тех настроений политического оппортунизма, которые были присущи артельному «Русскому богатству» — выразителю складывавшейся идеологии либерального народничества. После выхода в свет первой книжки журнала Салтыков писал об «артельщиках»: «Еще, пожалуй, такую душину пустят, что и «Новое время» за пояс заткнут» (XIX, 144).

Утверждение Златовратского, что между «Отечественными записками» и «Русским богатством» «скоро установились самые благодушные отношения», не соответствует истине. Салтыков отрицательно относился к артельному журналу до конца его недолгого существования: весной 1881 года артель распалась, и журнал, перейдя в другие руки, изменил свое направление.

...В то время в «Отечественных записках» существовало два приемных дня в редакции: один — официально редакционный, по понедельникам, днем, когда собиралась вся редакция в полном составе, с М. Е. Салтыковым во главе; в этот день, главным образом, и могли видаться и беседовать с Салтыковым все имевшие до него дело. На своей квартире он принимал сотрудников редко и только в исключительных случаях, так как общих журфиксов у него не было. Для общения же сотрудников между собою и с редакторами существовали такие журфиксы в квартире Г. З. Елисеева, в помещении редакции *, куда нередко появлялся и сам Салтыков, если ему было с кем «повинтить» (разговаривать на этих вечерах он, по-видимому, не любил). На одном-то из таких вечеров я и познакомился с Гаршиным. Известно, какой это был мягкий, нежный, необыкновенно деликатный и застенчивый человек, застенчивый больше от своей необыкновенной нервности. Зашел разговор о нашем новом журнале; я напомнил ему об обещании дать что-нибудь для первой книжки.

— Я, конечно, очень, очень рад был бы, если бы мог, — сказал Гаршин. — Только... я... видите... пишу мало... Все у меня не выходит... Вот попробовал... новенькую написать.

— Ну, вот и дайте...

— Да нет... видите ли... Ничего не вышло... Говорят, плохо... Не приняли... возвратили назад... — смущенно говорил Гаршин.

— Кто не принял?

— «Отечественные записки»... Салтыков... Да это верно!.. Я теперь сам вижу... Не следовало отдавать...

— Все же вы дайте нам.

— Да как же?.. как-то неловко...

— Ну, однако... дайте нам прочесть хотя...

— Хорошо... Как хотите... Я только еще просмотрю ее... может быть, исправлю.

Немного спустя «Attalea» появилась в первой книжке нового журнала.

Нужно сказать, что к нашей затее с «артельным» журналом опытный старец Салтыков относился очень скептически и все время, пока шла организация этого

дела, добродушно ворчал на нас и иногда даже сердито выговаривал, что мы этой затеей только будем обессиливать «Отечественные записки», сами закабалимся в новую работу, а толку из этого никакого все одно не будет. Но молодость плохо верит «брюзжанью» опытных старцев; мы продолжали вести «свою линию» и только старались утешать старика, что мы своей затеей никакого ущерба ему и его делу не принесем. Однако, тем не менее, чем больше приближался час выхода в свет нашего новорождающегося литературного детища, мы все больше трусили и побаивались, как-то примет его наш старик?

Между прочим, представлять ему это новорожденное детище жребий пал на меня.

Как ни глубоко я верил в «добродушие» нашего сурового старика, однако меня не покидала мысль, что мне предстоит выдержать «крупное» объяснение.

Скрепя сердце в одно туманное петербургское утро поднялся я в квартиру Салтыкова с «детищем» под мышкой.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте... Вижу уж, вижу! — сердито улыбаясь, встретил меня старик, кивая головой на протянутую ему мною свеженькую книжку.

— Вот, Михаил Евграфович, просим вас любить и жаловать, — проговорил я заранее приготовленную фразу. — Принес на ваше усмотрение...

— Что усмотрение!.. — махнул он безнадежно рукой. — Говорил — не послушали, вольному воля... Хотите руки себе еще связать — ваше дело... Ну, показывайте, что у вас там, — проговорил он, начиная просматривать оглавление.

Я не спускал глаз с него. Вдруг по его лицу пробежала судорога; он сердито закричал.

— Гм... Гм... Это вы зачем же «Атталею»-то приняли? Это... значит... я, по-вашему, преступление сделал, что не поместил ее? А? Значит, мол, старик из ума вышел, чутье, мол, потерял... так, что ли? — вдруг загремел он, по-видимому действительно огорченный.

— Вы напрасно это так принимаете к сердцу, Михаил Евграфович, — говорил я, — мы решительно не думаем, чтобы эта невинная в сущности вещь могла вызвать какое-либо между нами и вами недоразумение... Написана она очень талантливо, греха в ней особого мы не видим, и для маленького журнала эта маленькая ска-

зочка кажется вполне уместной... Другое дело — для «Отечественных записок»...

— Талантлива! Греха не видим!.. — заворчал опять старик. — А по-моему, это... по-моему, это — черт знает что такое! Талантлива!..

— Мне кажется, Михаил Евграфович, — говорил я, — что вы напрасно увидели в ней то, чего она не заключает в себе, вам показалось, быть может, что автор что-то проповедует...

— Да, конечно проповедует... Фатализм проповедует... вот что-с! Самый беспощадный фатализм... губящий всякую энергию... всякий светлый взгляд на будущее... * Ведь с таким фатализмом — куда же дальше идти? Ну, говорите...

— Михаил Евграфович, не найдете ли вы, что на этот рассказ можно смотреть с другой стороны, которую, как кажется, автор именно и имел в виду. В сущности, чего же иного, как не безнадежного отчаяния, и можно было ожидать от хрупкого, оранжерейного существа, неожиданно заглянувшего в иной мир для жизни и борьбы, в котором вырастают и воспитываются иные силы?.. Я уверен, что именно так думал и чувствовал сам автор...

— Ну что ж, как хотите, — заговорил старик уже другим тоном. — Хотите так смотреть — смотрите... Может быть, я и ошибся... Устарел уж... Пора мне и на смену из редакторов...

Долго еще добродушный старик говорил на эту тему, долго мне пришлось защищать перед ним новое детище и рассеивать в нем разные мрачные мысли и перспективы, которые возбуждало в нем будущее и нашего журнала и нас самих¹. Много было высказано им хороших мыслей по этому поводу, но я когда-нибудь передам их лучше при другом случае *.

¹ В конечном результате между обоими журналами скоро установились самые благодушные отношения, а рассказ Гаршина был единственным поводом к возникшему недоразумению. Приведенный же эпизод навсегда запечатлел во мне симпатичный образ сурово-добродушного идеального редактора-ригориста. (Примеч. Н. Златовратского.)

Е. С. Некрасова

В девяностые годы прошлого столетия в Румянцевском музее в Москве (ныне Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина) была основана так называемая «комната людей сороковых годов» — научный центр собирания и изучения документального наследия Герцена и Огарева, а также других выдающихся представителей русской демократической культуры.

Организатором «комнаты» была московская писательница, деятельная участница общественного движения, сотрудница «Русской мысли» и других изданий, Екатерина Степановна Некрасова (1842—1905). Завязав отношения с детьми Герцена — Александром Александровичем и Натальей Александровной, а также с Н. А. Тучковой-Огаревой, Т. П. Пассек и другими современниками, она положила начало сосредоточению и публикации рукописного наследия издателей «Колокола» на их родине, в Москве.

Первоначальным толчком, давшим это направление деятельности Некрасовой, явился счастливый случай. В 1872 году Некрасова увидела и купила на книжном развале у Сухаревой башни рукопись Герцена — так называемую «Записную тетрадь 1836 года». «Тетрадь» содержала ряд герценовских произведений и заметок тридцатых годов. Желание опубликовать некоторые из этих вещей, отражавших идейно-политическое, философское и художественное развитие молодого Герцена, привело Некрасову в 1881 году в редакцию «Отечественных записок». Однако Салтыков и Елисеев отклонили ее предложение. Они приводили при этом разные доводы, но решающее значение — о чем Некрасова не пишет — имели, вероятно, цензурные опасения. Появление герценовских произведений, хотя бы и без подписи или под любым «непроницаемым» псевдонимом, в радикальном журнале, находившемся под особо бдительным контролем органов политического надзора, могло привести к серьезным неприятностям для издания.

Кроме этого эпизода, в публикуемых материалах имеется ряд других свидетельств и наблюдений, существенных для биографии Салтыкова. В дневниковых отрывках интересны записи принадлежащих Глебу Успенскому характеристик писательского труда Салтыкова — высокой культуры и дисциплинированности этого труда. Письма к сестре, писавшиеся после встреч с Салтыковым у Лихачева, содержат несколько «фотографических изображений» писателя в обычной обстановке отдыха, в них передается его живая речь, сообщаются новые отзывы о некоторых литературных и общественных деятелях — Гаршине, Златовратском, Танееве, Суворине.

ИЗ ПИСЕМ И ДНЕВНИКОВ

<1>

1881 г., 2 февраля.

Я еще прошлый раз обещала тебе описать вечер у Елисеевых <...>. Он встретил меня любезно, провел, усадил в гостиную. Когда я стала выяснять ему причину моего прихода, то есть, что желаю поместить некоторые вещи Герцена в «Отечественных записках» *, он не выразил особенной радости. Это меня несколько удивило, и я ему тут же об этом заметила. Он мне ответил так: «Я думал, что Вы привезли что-нибудь свое, а Герцен до меня не касается, этот отдел находится в руках у Щедрина». Затем вдруг смотрит на меня в упор и задает мне такой вопрос: «А разве Вы можете печатать чужие вещи? Ведь это литературная собственность детей Герцена?» Этим вопросом он меня совсем опешил, что я, конечно, ему тут же и заметила, сказавши, что до сих пор я еще ни разу в продолжение целых девяти лет, пока обладаю рукописью, ни от кого не слыхала подобного вопроса, что у меня давно брались ее напечатать, не затрудняясь этим вопросом, даже деньги давали мне вперед и не напечатали только потому, что цензура не позволяла. Он стоял на своем и говорил, что непременно надо спросить позволения у детей, и предложил свои услуги обратиться к доктору Белоголовому, который хорошо знаком с сыном Герцена. Я положительно опешила, чувствовала, что он говорит неверно, а доказать ему это никак

не придумала. Затем он предложил мне попить чайку и повел в столовую, где сидела его жена — Екатерина Павловна<...>.

Ну вот видишь, уже целый листок написала, а до вечера Елисеевых не дошла, а теперь уж и начинать не стоит. Скажу только, что там я познакомилась с Скабичевским, Боровиковским (пишет стихи в «Отечественных записках»), Унковским, Лихачевыми, женой Щедрина (которая представляет действительно в настоящем, прошлом и будущем только одно декольте*), видела и Щедрина. С начала вечера он сидел в другой комнате и играл в карты, а за ужином я вдруг увидела совсем новое лицо, новое и в то же время хорошо знакомое — я тотчас узнала, что это Салтыков. Он очень похож на портрет, сделанный Крамским, только выглядит несколько старше, больше седины, больше складок на лице. Он производит впечатление кандидата на могилу: ужасно кашляет, в груди у него так бушует мокрота, что, кажется, никогда ее там и не прочистишь. Такое впечатление производит он. Он не говорит, а (как верно выразился Глеб Иванович) рычит, и действительно он все время рычал. Его рычанье неприятно, так как он страшно резок и циничен, но надо при этом заметить, что это рычанье очень оригинально. Мне досадно было, что не место было записывать говоримых им слов; помню, что Цитовича он называл «изверг естества»; такие же характерные эпитеты сопровождали и другие антипатичные ему имена. Он страшно, не стесняясь, ругал сидевшего тут Боровиковского за то, что тот признавал какое-то достоинство в Цитовиче и находил, что и «Новое время» иногда говорит дело. Он слышать не хотел таких благосклонных отзывов ни о Цитовиче, ни о Суворине: «Если, говорит, они и дело говорят, то их слушать нечего; если и хорошо говорят, то надо говорить, что они дурно говорят». У меня его фразы выходят бесскладные, а у него они очень оригинальны. Интересно также, что он своей грубости ничьим присутствием не сдерживает, и своего деспотического отношения к жене не скрывает. Так, когда сидели за ужином, она говорит Боровиковскому: «Вам хочется иметь канарейку? Я вам подарю». Вдруг с другого конца стола раздается рычанье Щедрина: «Не позволю!» Она умоляющим голосом говорит: «Michell!» С того конца снова раздается: «Не позволю!»

Нет, нехорошее он на меня впечатление произвел, видеть его часто я бы не желала; видеть же Глеба Ивановича желала бы еще чаще. Глеб Иванович, как в своих произведениях, так, должно быть, и по натуре, составляет противоположность с Щедриным; насколько тот рычит, настолько этот мягок. А про жену Щедрина, да и вообще про жен литераторов здешних, утешительного ничего сказать нельзя...

<2>

12 ф<евраля> 1881 г.

...Вчера, когда уведомили меня из редакции «Слова», что «Отечественные записки» отказались поместить моего Герцена, мне тут же передали, что Щедрин говорил про меня. За все время я его видела два раза; ну, разумеется, и он меня видел! В первый раз только смотрел в мою сторону, надевши на нос пенсне, которое сильно сжимает ему нос и придает лицу выражение очень сердитое. В первый раз он только смотрел на меня. Во второй раз я его видела у Лихачевых. Там он мне поклонился и, уходя, подошел и подал руку. На другой день после *jour-fixe* у Лихачевых он должен был дать ответ относительно моей рукописи. То был понедельник. Это редакционный день «Отечественных записок»; в этот день собираются туда три соредактора: Щедрин, Елисеев и Михайловский, а иногда приходит и кто-нибудь из сотрудников. В этот день там был Кривенко, он слышал, конечно, все происходившие там прения, и вот что он передавал, — только, конечно, не мне, я получила уже из вторых рук. Щедрин обозвал те вещи, которые помещены в рукописи Герцена, которые, надо заметить, он не читал, — ошибками юности: «Всякий из нас, говорит, в юности был глуп — так к чему же напоминать об этом?» О какой глупости он говорит, — черт его знает! Взбрела ему на ум какая-то глупость, будет он о ней повторять, сам не сознавая того, про какую глупость он говорит. Затем речь зашла обо мне, уж не знаю, кто из них начал, только Щедрин выразился обо мне так: «Всяких женщин видал на своем веку, разных видал, видал и таких, которые заняты общественными вопросами, и женским вопросом, видал и таких, у которых вся специальность декольте, а таких, как эта, не видал, никогда не видал: *археологией занимается!*» Откуда он, к черту,

археологию откопал? Шут его знает, только рукопись-то мою все-таки не взял.

Завтра Засодимский поедет с нею к Абазе просить разрешения напечатать; но, Христос ведает, разрешит ли Абаз. А очень мне досадно на «Отечественные записки». Елисеев говорит, что если бы этот отдел зависел от него, то он рукописи не выпустил бы, что «Феодора», которую он прочел, прелестьна.

<3>

29 декабря 1882 г., Петербург.

Нынешний год еще меньше интересу*. Все знакомо. Неинтересно. Щедрин... но он болен. Лежит. Уже три недели как не был в редакции. Кривенко говорит, что его болезнь называется по-русски «собачье дыхание»? — emphysema, должно быть (но так ли пишут это слово?). Несколько дней назад ему было очень нехорошо. Теперь лучше. Была лихорадка, жар. Но он острит: «Доктора говорят, что мне нынешний год не умереть...» А за нынешним годом всего полтора дня осталось. Пожалуй, и его не увижу. Зачем же тогда я приехала? Г. Успенский обещал быть перед Новым годом. Верней, что не будет. А мне они только двое и интересны...

<4>

<18>83. Гена. СПб.

О ЩЕДРИНЕ

Кто-то к нему пришел.

Он жмет руку:

— Как рад, как рад, что вы пришли!

В эту минуту раздается звонок.

— О, черт возьми! Опять кого-то черт несет! — говорит он вслух, еще не успевши отнять протянутой руки.

<5>

<18>83. Петер<бург>

Воскресенье. 16-е янв<аря>

...Сегодня думаю идти к Лихачевым. Щедрина увидеть не надеюсь, все же пойду. Хотя Щедрин, как слышно, выздоравливает.

Ну вот, вчера в 10 часов отправилась к Лихачевым — наконец-таки попала! *Щедрин уже был там!* Из прежних знакомых — был Унковский и еще племянница Лихачевой. Затем целый ряд новых племянниц, — сестра Лихачевой, кот<орая> (то есть сестра) объявила, что она генеральша; тут же был ее муж — генерал, тут же и ее дочь, и жених дочери, какой-то бедный армейский доктор, которому — видимо — было очень неловко среди петербургских генералов, и он, бедненький, все жался, молчал, не знал, куда ему девать не столько руки, сколько всего себя с ног до головы. Впрочем, сердечно его я пожалела, уже вернувшись домой, а там я больше была занята Щедриным. Лихачевы встретили меня весьма любезно<...>. Тут она <Лихачева> меня сейчас пере-знакомила с своими племянницами и сестрой, а дальше сидел Унковский, а затем — Михаил Евграфович. Они оба встали, когда я подошла (впрочем, Михаил Евграфович встал не для меня — он уже отпил чай и шел в кабинет играть в карты). Унковский спросил — мою ли статью он читал в «Вестнике Европы» о врачебных курсах; * а я, почти не отвечая, перепрыгнула к литературному генералу с словами:

— Ну, как же я рада, что вас вижу здоровым!

— Какой же я здоровый?

— Да и напугали же вы нас, Михаил Евграфович! * а тут еще «Русский курьер» с своими телеграммами.

— Есть чего пугаться! — сказал он с тем оттенком приятного недоверия, какое бывает только, как мне кажется, у очень самолюбивых людей. И с этими словами он ушел в кабинет играть в карты. За ним пошел и Унковский<...>. Наконец, кончился чай. Все двинулись в гостиную. Лихачева стала угощать конфетами, а генеральша все жужжит, все жужжит, генерал молчит, дочери тихо сидят; бедный военный врач по-прежнему затрудняется, куда себя пристроить. Разговор опять идет о привидениях, говорит одна генеральша. Из кабинета раздается кашель. Страшный, беззвучный, хриплый, без перерывов — одна хриплая нота. Кашляет долго. А генеральша все не перестает жужжать. У меня сердце ноет при звуке этих хриплых нот, а она, противная!.. Но вот он

на кого-то рассердился, закричал. Лихачева, должно быть, чтобы перервать жужжанье сестры, села за рояль <...>. Затем, в первом часу, все сели за ужином. Я нарочно схитрила, пропустила всех вперед, чтобы сестра рядом с Унковским, возле которого сидел Щедрин. Таким образом, я спокойно могла говорить с Михаилом Евграфовичем. И я на сей раз не только говорила односложные фразы, а так расхрабрилась, что спрашивала его. Весь разговор здесь, разумеется, не запишешь, ну, я поделюсь с тобою хоть клочками.

— А мы вчера, Михаил Евграфович, пили за вас — ведь вчера был день вашего рождения?

— А вы почему знаете? Да, вчера.

— В книжке прочли.

— Кто ж пил?

— Москвичи, живущие в Москве.

— Да в каком часу-то вы родились? — спросил, смеясь, Унковский.

— Не знаю в каком, — пресерьезно (а потому и смешно) заметил Михаил Евграфович.

Речь зашла о событиях дня. Я что-то сказала насчет одного факта, бывшего с Гаршиным в Москве.

— Кто это? Гаршин говорил? — сказал Щедрин. — Гаршин? Ну так это ему привиделось. Ему всегда видится! Посмотрите, что он написал (будет в «Отечественных записках» *). Очень хорошо написано, а посмотрите. — И при этом он начал передавать рассказ со всей мимикой лица, со всеми жестикованиями, как бы это было с ним. Оказывается, в этом новом рассказе Гаршин передает чувства солдата на войне.

— Да разве Гаршин был на войне? — спросила я.

— А как же? Как же бы он написал свои «Четыре дня»? * Он добровольцем ходил...

После длинных речей насчет своего сына (мысль о котором, как видно, очень беспокоит Щедрина) он начал посмеиваться над собой и над своими сотоварищами, то есть людьми сороковых годов. (Удивительно бодр духом, несмотря на болезнь.)

— Да, хороши мы, писатели сороковых годов! Один — Тургенев (ему на днях Сегон сделал операцию, вырезал какой-то нервон или нервон — не знаю). — пишет: «Я совсем здоров, только вот одно, что *не могу двинуться с места*» * — только! а то здоров, — говорит с своим обыч-

ным сарказмом Щедрин, совсем не улыбаясь. — Другой — Анненков¹ — не умеет отличить воды от суши!

— Как это? — перебиваю я его.

— Да так. Пошел недавно (кажется, в Италии) на гору, да оттуда бух в воду, так прямо рожей — ну и смазлся*. А третий — ну вот тоже хорош (указывает он на себя). Мне кажется, что я как-нибудь кость вместо мяса съем.

— Отчего?

— Оттого, что стар, не разберу, — сказал он, сделавши преуморительную физиономию и прищутив глаза, — ровно слепец...

Однако надо перервать, а то моим рассказам конца не будет...

<7>

С. Петербург, 21 января 1883 г.

<Успенский:> — Посмотрите, как писал Гоголь, посмотрите, сколько он исправлял и переделывал... Нет, мы так не можем, мы уже испорчены; мы так не можем. Посмотрите на Салтыкова. Его сочинения идут, он получает с них деньги, а он пишет так, как Гоголь, — с трудом и исподволь. Нет, мы испорчены, мы так не можем.

<Некрасова:> — Что я хотела вас попросить, Глеб Иванович, — дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь вашу черновую.

— Что вы, что вы, Екатерина Степановна? — улыбнулся он. — У меня никогда никаких черновиков не было.

— Неужели вы в самом деле пишете прямо набело?

— Да (сделал он свой обычный утвердительный знак губами), никогда начерно не пишу... Говорю вам, мы испорчены.

<8>

<Январь 1883 г.>

Мне пришлось, расспрашивая Кривенко о Щедрине, узнать, что Щедрин хоть и к каждому месяцу пишет, но он пишет не прямо, а всегда переписывает. Щедрин будто бы так говорит: «Успенский пишет по-барски, только тогда, когда ему хочется. Так не должно быть. А ты са-

¹ В рукописи ошибочно: Анненский. — С. М.

дись писать, когда не хочется, непременно садись. Не пишется, ну бери и исправляй, что написано. Непременно садись...» Говорят, будто бы Щедрин именно так поступает, строго к себе относится, поблажки лениться не дает.

<9>

<Январь 1883 г.>

<Успенский:> — Мне очень жалко Щедрина. Ждет, ждет он меня, а я вдруг три листа — и ужасная дрянь! (Видимо, эта мысль его очень волнует, и он не для ради смирения говорит эти слова...)

<10>

<Петербург, январь 1883 г.>

Когда пришлось завести речь о Щедрина, он <Успенский> его очень хвалил.

— Неправда, это хорошая, теплая душа, — говорил он на мои не совсем теплые отзывы о Щедрина, которые я неосновательно¹ вывела из трех-четырёх свиданий с ним. — Он груб на вид, а под этой грубостью скрыто много мягкого <...>. Не судите Щедрина по внешности <...>

— А что, Некрасов хорошо платил?

Успенский:

— Он платил хорошо, но ужасно безалаберно <...>. У Щедрина гораздо лучше. Он охотно увеличивает плату, сам увеличивает, выдаёт деньги только в известное время и любит вперед давать, а у Некрасова — подписка...

<11>

<21—25 января 1883 г.>

...Целую неделю Успенский колебался — идти <ли> к Щедрину. Чтобы ехать в Баку — для этого нужны деньги. На февральскую кн. «Отечественных записок» он отдал статью в три листа*, следовательно, до<лжен> получить около семисот рублей — и целая неделя прошла в том, что он решает непременно завтра идти к Щедрину.

¹ Слово «неосновательно» вписано позже, карандашом. — С. М.

А наступает завтра, он доходит до крыльца щедринской квартиры и идет назад. Так было целую неделю. Один раз он вместо Щедрина пришел ко мне. «Хотел идти к Салтыкову, но нет — не могу». То начинает склоняться к мысли, что необходимо написать к Щедрину, а ходить, собственно, можно и не ходить. И вот на моих глазах запечатывает письмо, наклеивает марку и кладет письмо в карман.

— Позвольте, Глеб Иванович, я пошлю?

— Нет, зачем? Я сам положу.

На другой день узнаем от него:

— Нет, не послал. Нехорошо писать. Он не любит, когда пишут. Надо самому сходить! — Опять делается твердое решение на завтра; но завтра опять то же. И надо заметить, все время колебаний Успенский ходит сам не свой: ничего не понимает, не слышит, ужасно взволнован, непрерывно дергает и крутит свою бороду, лицо выражает ужасную тоску. Видно, что неделя нерешительных колебаний ужасно расстроила ему нервы<...>.

— Боюсь, будет кричать, браниться Салтыков... — говорит он с страдальческим выражением.

— Глеб Иванович! Да полноте! Неужто вам-то бояться Щедрина? Да что это в самом деле? Вы возьмите да сами хлопните на него ногой хорошенько, возьмите да сами и рассердитесь — он сейчас и присмирет.

— Нет, я не хочу сердиться, напротив. Я их хочу отучить сердиться, — сказал он<со>своим божественно-кротким взглядом.

И так долго, долго длились мученья. Наконец сегодня утром входит:

— Я к вам от Салтыкова.

— Были-таки, наконец?

— Был.

— Ну и что же? говорили ему о деньгах?

— Нет, Екатерина Степановна, не говорил, не мог. Не могу. Да это пустяки... Я ему напишу. Дайте-ка мне маленький конвертик. Ну вот я нынче же напишу, а завтра уеду. Я к вам сегодня вечером опять приду.

— Обещаете, как вчера, не придете...

— Нет, приду. Это будет последний вечер — завтра уеду в деревню, а послезавтра выеду на Кавказ.

— Ну, любопытно, что же Щедрин — огорчен предостережением? *

— Ничуть. Нисколько. Смеется. Он рассказывает, что в феврале непременно дадут третье предостережение. Разумеется, тогда придется закрыть, а тем временем приготовить к дальнейшему выпуску двойные книжки, которые и заменят эти пустые месяцы. Нет, он очень весел. Только все поговаривает о том, чтобы снять с себя ответственного редактора; задумывается, кого бы из нас выбрать редактором.

— А он-то что ж?

— Хочет отдохнуть. Поехал бы за границу, а сотрудничество, разумеется, продолжал бы.

— Отчего же вы ему не сказали про деньги?

— Да неловко, очень неловко просить вперед, прежде чем напечатали статью... Неловко, — и опять страдальческий взгляд, голова набок, и все лицо покрывается складками, сморщивается.

— А ловко, хорошо они поступают, что до сих пор не могут вам положить жалованья, которое бы обеспечивало существование вашей семьи. Я непременно Щедрина напишу анонимное письмо, непременно...

— Нет вы, пожалуйста, этого не делайте, а то все падет на меня.

— Ну, полагаю, сумею так сделать, что не падет, ни даже <не> заденет вас. Да скажите, что же, Щедрин говорил что-нибудь о вашем новом рассказе?

— Да, говорил, но я сам лучше знаю цену ему...

— Значит, он не бранил, как вы рассчитывали?

— Нет, не бранил... Он говорил, впрочем, что спешно писан...

— А дает он вам жалованье, чтобы иметь хотя малейшее право упомянуть о спешности?

— Да, а вы посмотрите, как он сам работает: я сегодня пришел в двенадцатом часу, он сидит, пьет чай и читает корректуру. А вещи свои каждую переписывает по три раза.

— Да, я полагаю, ему это можно делать, так как у него все готово и нет надобности ни о чем заботиться, нет надобности хотя бы помнить о лавке, о том, что существует книжка, по которой неотлагательно платить надо. Нет, нет, Глеб Иванович, они с вами поступают никак не лучше, чем «Русская мысль». Но «Русской-то мысли» ведь простительно: она лавочница, торговка, а они воспитанные, Щедрин!..

— Они по крайней мере не плетут на меня небылицы, какие плетет «Русская мысль».

— Говорю вам, сие не столько вменяется «Русской мысли», а Щедрина... Вам и Кривенке — много ли он платит?

— Да, Григорий Захарович прислал письмо, в котором говорит, что ему совестно получать прежнее жалование, пай и т. д. *, когда он теперь в «Отечественных записках» не работает. Щедрин говорит: «Ишь когда догадался посовеститься, а то все получал! Я ему и пишу (говорит Щедрин): теперь и без вашего вольного на то согласия не придется, пожалуй, больше высылать: скоро прикроют».

Вечером сегодня он <Успенский> опять у меня был. Оказывается, послал, наконец, письмо, рассчитывает, что завтра Щедрин пришлет ему бланк и завтра получит из конторы деньги...

<12>

<28 января 1883 г.>

Получив из конторы ред. «Отечественных записок» всего двести рублей, вместо семисот, он уехал в четверг в деревню...

<13>

<Вскоре после 6 февраля 1883 г.>

Щедрина видела три раза. В последний раз, только что пришла, он обратился с вопросом:

— Это вы писали рецензию на «Письма к тетеньке»?*

Я вопросительно смотрю на него и молчу секунд пять.

— А вы очень браните?.. Да, я.

— Нет, ничего, довольно мило, сочувственно...

И замолчал. Заговорили о чем-то другом, совсем постороннем. Вдруг он обращается к Лихачеву:

— Так меня читать не станут? Понимать не станут? — И последние слова он говорил уже в мою сторону, как бы с упреком.

— А разве вы лгали, Михаил Евграфович, когда это самое писали в своих «Письмах»?

— Нет, не лгал.

— Ну так как же? Разве это неправда, что вас понимать не будут? И не будут вас понимать.

— Бывает правда, на которой настаивать не надо, — сказал он.

Очень жалею, что не могла вступить с ним в разговор. Ужасно болела голова <...>.

Через несколько времени Щедрин начал опять о рецензии (видимо, что был занят ею), на тему об «отважном отчаянии».

— Да, вам прекрасно будет, когда «Новое время» поднимет меня на смех и начнет трепать...

— Да не тронет оно вас. При чем вы тут? Уж если будет глумиться, то, разумеется, над рецензентом. Да к тому же рецензии-то никто никогда из газетных обозревателей не читает.

— Да, а я хорош с «отважным отчаянием»! Вот оно у меня каково «отважное отчаяние»-то — я «Сказки» вырезал из февральской книжки *, — сказал он с насмешкой над самим собой.

Опять приходится пожалеть свою голову — не могла, не в силах была я вступать с ним в бой: я сильно была уставши...

<14>

Четверг 23 <февраля 1884 г.>

Боюсь, что теперь уже все впечатление о Щедрине испарилось. А очень бы хотелось рассказать. Ну попробую. Пришла к Лихачевым хоть и довольно поздно, но гостей почти никого не было: Щедрин да еще какой-то из Берлина приехавший полунемец. Дам ни одной. Даже сама хозяйка дома отсутствует: заболела, температура разом поднялась 39 и 1 десятая. «Ну, думаю, значит, минут через пять придется ретироваться». Сижу совсем опечаленная. Щедрин сидит возле на креслах.

— Ну что ваша Москва? — говорит.

— Живем, даже очень хорошо живем. У нас весело: у нас Златовратский. Такое принес оживление своим переселением! — каждый день все дебатировать...

— Вот! у нас его и слушать никто не хотел, да и знать тоже не хотел, а у вас оживление привез. Задолжал здесь всем, у всех денег забрал и уехал. О, мошенник!.. — И Щедрин все больше и больше разгорячался на эту тему и выбрасывал на Златовратского разные крепкие словца. Мне хотелось еще подлить масла в огонь.

— А он, говорю, у нас свои сочинения хочет издавать, разумеется не на свой счет, а на деньги купчихи Морозовой *...

— Что она, вдова? Так вот бы Златовратскому-то... Ах, да — ведь он женат... Так не даст ли она Успенскому пенсии?

Разговор как-то перескочил на ежемесячно обедающих *, и Щедрин начал над ними острить.

— Вот ваша Москва! Всего раз в месяц обедаем и кричим об этом на весь свет. По всем городам рассылаем телеграммы: «Обедаем! мы обедаем!» А вот я и каждый день обедаю, да никому об этом знать не даю.

Потом поострил еще над москвичами, что они не знают дня его рождения, когда это везде прописано. И начал высчитывать и совершенно в серьез, где и когда прописано. Он отошел к карточному столу, а я уже думала ретироваться, как приехали Унковские, муж с женой. Я ужасно обрадовалась даме: она давала мне право остаться и сидеть весь вечер. Еще пришли двое: какой-то мировой судья Коробка да племянник Лихачевых. Вот и все гости этого вечера. Все они уселись играть в карты, кроме дам и самого Лихачева. Он нас занимал весь вечер. Рассказывал много любопытного: как, например, Глазунов (городской голова) преподнес государю сочинения Тургенева * в синем переплете; как хоронили недавно мирового судью Трофимова, как С. Н. придется непременно проехаться в Сибирь * и т. д. ... Потом как-то нечаянно речь перешла на Танеева, на то имение, которое он купил под Клином *, наконец на Майданова. Оказывается, Щедрин очень желал купить имение Новиковой, но никак не мог добиться никаких сведений от Танеева.

Когда кончились карты — все двинулись в столовую. Мне очень хотелось сесть с Щедриным. Но Унковский встал у соседнего со мной прибора. Вдруг подходит Михаил Евграфович, отодвигает Унковского и садится. Я, конечно, ужасно обрадовалась. Прямо начала с ним о Майданове. А он в ответ начал бранить Танеева. И чем дальше, тем сильнее разгорячался, в его воображении с каждой минутой преступность Танеева росла, и Щедрин возвышался в своем гневе чуть не до бешенства, я боялась, как бы мне не досталось, как бы он не побил меня. А вся вина Танеева заключалась в том, что на письма жены Щедрина о продаже новиковского имения он

ответил: «Не то, чтобы продается, а сдается и отдается, но тоже и продается» (эти три глагола до такого разнообразия варьировал Щедрин в размещении, и варьировал по крайней мере четверть часа, что я хохотала до упаду; я давно, очень давно так не смеялась от души...). И за сие за самое Щедрин обозвал Танеева и дураком и телятиной...

— Они все были дураки... и он и отец — все. Из них только один не дурак, ну зато подлец*.

— Очень, — говорю, — приятное исключение.

Затем Щедрин начал говорить на тему, что куда ж ему покупать имение, где есть дачи, что его Лизавета пройти ему по дорожке не даст, все будет смотреть, не заглядывается ли он...

— Вот и вчера. Уезжает на бал (бал б<ыл> у Боткина, где была только избранная публика). «Я, говорит, до пяти утра не буду дома». Вдруг приезжает в двенадцать! А это, чтобы посмотреть — не прогуливаюсь ли я по коридору с Миной (горничной) — ей-богу... Нет, заклятие наложу, в завещании упомяну, чтобы сын никогда не женился... Этак нельзя...

— Завещанием, разумеется, вы его не остановите, только усложните этим вопрос...

— Нет, должно же быть некоторое предостережение...

— Но ведь детей можно иметь и не женившись, — говорит Унковский.

— Это в чужих гнездах-то? Сколько хочешь, это не запрещается... А то вот теперь: хочу дачу, хочу дачу. И, не посмотревши, дала задатку пятьсот рублей, а за дачу тысячу в лето... Да нет сил никаких...

<15>

<Конец февраля — начало марта 1884 г.>

¹ Из дам в этот раз опять были только я да Унковская. Щедрина было приехала; но как узнала, что Лихачева больна, так сейчас же объявила своему Мишелю, что уезжает.

— Зачем? Скажи на милость?

— Мне надо, — отвечает она, полуобернувшись в его сторону.

¹ Начало письма не сохранилось. — С, М.

— Совсем не надо, вовсе не надо, — начинает волноваться Михаил Евграфович, — просто ты кобенишься!

— Фи, какие слова! — сказала она вполголоса и пошла прощаться.

— Куда же вы? — говорит Лихачев.

— Да у меня Лиза больна.

— Вот и забыли — кто болен: давеча на лестнице сказали Костя болен, а теперь говорите Лиза: Несравненно удобнее, чтобы не смешаться в таких случаях, говорить: оба больны, — поддел ее довольно ловко Лихачев.

— Да просто она кобенится, — еще раз во всеуслышание заявил Михаил Евграфович, не стесняясь вовсе присутствием такого множества посторонних лиц.

А в этот раз народу — то есть мужского сословия — было очень много: и Соколов (Нил) — ассистент Боткина, и мировой судья Коробка, и Пантелеев, который пишет в «Отечественных записках» под каким-то псевдонимом *, и Меньшуткин, и Унковский, и какой-то товарищ сына Лихачева, и т. д. Я с Унковской все же просидела до второго часа. Но на этот раз мне не весело было, потому что Михаил Евграфович был далеко. И я ужасно жалела, так как после отъезда жены настроение его духа очень изменилось: он стал веселый, все время острил, только на этот раз чересчур сильно; его поддерживали Унковский и Соколов. Например: «У нее был рак», — говорит Михаил Евграфович. «Где?» — кто-то спросил. «В женских обстоятельствах». Или еще: «Что она, красива?» — спросили про какую-то даму. «Вы представьте себе два земных шара». Или еще: «Вы жили, кажется, с ней в единении?» — говорит он Унковскому про одну даму. — Она вам, кажется, уже в остатках досталась» и т. д.

Нет, я вчерашним вечером не довольна, а следующего, разумеется, не будет, так как болезнь Лихачевой должна разыграться не на шутку.

<16>

С.-Петербург. Малая Итальянская,
37—3. 15 генв<аря> <18>89

Юрьева нет! А знаешь, как эту весть встретил Щедрин? Вчера была Лихачева. От нее узнала, что Щедрин никуда уже больше не выезжает, даже ради прогулки

не выходит и не катается ради воздуха. Целые дни сидит пишет, — а говорит только о своей болезни. Он так страшен, так слаб, что удивляться можно, чем только он живет. Когда ему сказали о Сергее Андреевиче, то это нисколько не отвлекло его от его собственных дум, от дум о болезни. Эти мысли поглощают все свободное время от литературных трудов. Смерть Юрьева, одним словом, не произвела никакого впечатления, хотя он — как и Лихачева подтверждает — очень любил Сергея Андреевича, — они и однокашники и ровесники... *

Ив. Щеглов

Иван Щеглов — псевдоним известного в свое время беллетриста и драматурга Ивана Леонтьевича Леонтьева (1856—1911), приятеля А. П. Чехова. Артиллерийский офицер, он участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Военные рассказы и очерки, с которыми он выступил в начале восьмидесятых годов, создали ему некоторую популярность. Салтыков сочувственно отнесся к первым произведениям Ив. Щеглова — рассказу «Первое сражение» («Новое обозрение», 1881, № 3) и очерку «Поручик Попсеров. Из записной книжки молодого офицера» («Вестник Европы», 1881, № 4). Он охотно напечатал предложенный ему третий рассказ молодого писателя — «Неудачный герой» («Отечественные записки», 1881, № 9). Этим, однако, и ограничилось сотрудничество Щеглова в журнале Салтыкова. Щеглов был искренним почитателем его таланта, но считал, что «журналист победил в Михаиле Евграфовиче и заслонил великого художника» (ИРЛИ, запись в дневнике 1893 года — сообщено Н. Г. Розенблюмом).

Краткие описания встреч с Салтыковым, а также похорон сатирика Щеглов внес, по свежим следам событий, в свой дневник — рукописную «Книгу жизни». Несомненно, когда Щеглов в 1910 году писал мемуарный очерк о Салтыкове, он не имел перед глазами этого дневника и допустил поэтому ряд неточностей.

СУРОВЫЙ ДОБРЯК

(Из воспоминаний о М. Е. Салтыкове-Щедрине)

Это была довольно жуткая минута в моей жизни: остаться с глаза на глаз, в тесной редакторской комнате, с знаменитым сатириком, — вдобавок находившимся в раздражительном состоянии духа...

Дело было так (дело, кстати сказать, было тридцать лет тому назад). Весной 1881 года почти одновременно в двух толстых журналах — в «Вестнике Европы» и в «Новом обозрении» (издав. Д. А. Карабчевским) — появились мои первые беллетристические произведения, военные очерки: «Первое сражение» и «Поручик Поспелов». Успех, сопровождавший их появление в печати, дал мне смелость обратиться с третьим моим военным очерком («Неудачный герой») в высшую по тому времени журнальную инстанцию, в «Отечественные записки», издававшиеся М. Е. Щедриным, коему и была передана через поэта Плещеева рукопись «Неудачного героя».

«Неудачного героя» встретила, однако, полная удача: очерк не только был охотно принят, но через того же Плещеева мне был передан от лица Щедрина теплый отзыв по адресу моего «Поручика Поспелова», появившегося ранее моих других очерков.

Излишне добавлять, что я чувствовал себя на седьмом небе. Этим счастливым настроением как нельзя кстати воспользовался мой друг и сочувственник, Дмитрий Андреевич Карабчевский, собиравшийся в начале мая за границу и предложивший отправиться вместе, мудро ставя мне на вид, что едва ли представится впоследствии для такого путешествия более благоприятное стечение обстоятельств. Не долго думая, я взял у начальства двухмесячный отпуск (тогда я еще находился на военной службе) и спешно стал готовиться к отъезду.

Разумеется, на дорожном положении каждый грош был на счету, и, по совету Плещеева, я решил обратиться, между прочим, за авансом к Михаилу Евграфовичу Щедрину.

Но я попал не в добрый час.

Михаил Евграфович с утра был расстроен какими-то неприятностями, домашними или цензурными, а может быть, и теми и другими вместе — и в тот самый момент, когда ему передали мою карточку, кого-то за что-то разносил. В таком состоянии, да еще при развившейся в последние годы болезненности, Михаил Евграфович был почти страшен: не говорил, а грозно рычал, оглушительно кашлял, сыпал грубыми словами и сверкал из-под седых нависших бровей сердито-зелеными глазами, — совсем дед-лесовик.

И вдруг: «Пожалуйте — вас просят!» *

При моей страстной любви к литературе, я вообще робел перед всякими литературными знаменитостями — удивительно ли, что теперь душа ушла у меня в пятки. Плещеев и Михайловский почти насильно втолкнули меня в редакторский кабинет.

Комната была узкая, длинная, полутемная, скорее похожая на «лакейскую», чем на кабинет редактора — вдобавок без толку загроможденная шкафами с книгами, картонками с рукописями, письменной конторкой с ворохом корректур и т. п. По левую сторону, в углу, на кушетке, сидел он — с шафранным, истощенным лицом, с растрепанными седыми космами, с толстым пледом на коленях.

Я остановился посреди комнаты ни жив ни мертв.

Щедрин поднял на меня недружелюбные, недоуменные глаза и отрывисто рыкнул:

— Чего вам еще? Ведь сказано, что рассказ ваш пойдет!

Я совсем растерялся от такого начала. Но кое-как собрался с духом и сбивчиво забормотал о моем предположении ехать за границу и некоторой стесненности в ресурсах.

— Ввиду того что рассказ мой пойдет, — заключил я, — позволю себе просить одолжить мне вперед... немного денег!..

При последнем слове Михаил Евграфович нахмурился, как туча, и так напряженно вытянул вперед шею, точно собрался меня проглотить.

— Денег... вот что! — На губах Щедрина появилась саркастическая усмешка, и он, вероятно, разразился бы саркастическим хохотом, если бы не разразился неожиданно страшным затыжным кашлем, от которого скрипнула жидкая кушетка и дрогнула редакторская конторка. Но припадок кашля прошел — и на мою голову посыпался настоящий град обличительных слов:

— Денег вперед... вот, признаюсь, не ожидал! Отлично... превосходно! Милая пошла молодежь, нечего сказать!! Чуть на бумагу чернилами капнул — сейчас денег давай... А откуда я возьму денег... ну, откуда?.. — Он вытарашил на меня ожесточенные глаза: — Что, я министр финансов, что ли, чтобы зря швырять деньгами?.. Дам денег — а потом свисти в кулак! Не сегодня-завтра прихлопнут журнал, — что тогда прикажете делать:

у Казанского собора с протянутой рукой стоять? Петь Лазаря по дворам под старость, а? Я вас спрашиваю?

Не помню, что он дальше говорил, но моему тогдашнему офицерскому самолюбию эти слова показались достаточно обидными, и я решил откланяться.

— Бог с ними, с деньгами, в таком случае, — взволнованно проговорил я. — Простите за беспокойство!

Щелкнул шпорами и направился к дверям...

Вдруг слышу за собой новый окрик, уже совсем свирепый:

— Куда прете? Дам денег!

И, представьте, дал записку на выдачу из конторы «Отечественных записок» аванса в размере семидесяти пяти рублей и не только дал, но даже обмолвился на прощание каким-то благопожеланием.

«Оригинал! брюзглив, а без малейшей злобы!» * — невольно припомнился мне грибоедовский стих.

Оригинал. Михаил Евграфович был неизменный, но брюзгой был далеко не всегда и в кругу сердечно расположенных к нему людей являлся «агнцем доброты и кротости» *, чему лучшим примером служит его шестинедельное сожительство с семьей врача Белоголового. Мало того, в откровенные минуты он не прочь был иногда даже поострить над своей собственной болезненностью и брюзгливостью. Тому же Белоголовому он как-то пишет: «Надо утром видеть, что со мной происходит. А врачи, видя меня, восклицают: «Какой у вас сегодня прекрасный вид!» А я по крайней мере раза четыре в день по полчаса лаю, как собака. Вот что значит быть сатириком: и лицо не настоящее!» *

Шутки шутками, а положение Михаила Евграфовича в последние годы было действительно ужасно. «Организм Михаила Евграфовича был изгрызен многолетнею болезнью, и в нем буквально не оставалось ни одного здорового органа. Надо только удивляться, откуда он набирался сил, чтоб писать!» *

Ах, бедный, бедный Михаил Евграфович!!

Признаться откровенно, мне на другой же день стало совестно за мое офицерское фанфаронство в присутствии такого заведомо больного старика, и на второй день пасхи *, накануне моего отъезда за границу, я отправился к Щедрина, с визитом на дом.

Михаил Евграфович жил тогда на Литейной, близ Невского, стена об стену с домом К. П. Победоносцева *. Обстановка квартиры была самая скромная, типичная обстановка чиновника средней руки, и я впоследствии очень смеялся, когда какой-то студент, описывая свой визит к Щедрину, не преминул кольнуть знаменитого сатирика: будто бы защитник демократических начал сам «утопал в роскоши».

Этот мой второй визит к Щедрину оказался куда более удачным, чем первый. Хотел ли Михаил Евграфович загладить первое дурное впечатление, произведенное в редакции «Отечественных записок», или просто-напросто был в добром расположении духа по случаю теплой весенней погоды, но он принял меня на этот раз крайне приветливо, не покидая, впрочем, своего обычного зловеще-сурового вида. Присоединилось вдобавок одно случайное обстоятельство, сильно меня растрогавшее: подойдя к Михаилу Евграфовичу, чтобы похристосоваться, мне невольно бросилась в глаза лежавшая на его письменном столе мартовская книжка «Нового обозрения», как раз развернутая на моем рассказе «Первое сражение».

— Отчего не нам отдали «Первое сражение», а? Отчего не нам?

Я что-то смущенно пробормотал, приблизительно в том смысле, что не смел мечтать о такой чести.

— Вот ваш «Неудачный герой» не того... не так мне нравится. Впрочем, может быть, ошибаюсь, давно читал — утратил впечатление... Надо будет еще раз проглядеть! — Он хмуро на меня покосился. — Не извольте сердчать — я у вас в рукописи, между прочим, сделал две поправочки... в цензурных соображениях!..

Мне оставалось только благодарить.

Шутка сказать — «щедринские поправочки»! Это вышло почти то же, что вставить среди простых камней алмазы чистой воды. Когда я их потом увидел — эти две характерные поправочки, по выходе книги «Отечественных записок» с моим рассказом, — я искренно пожалел, что их было только две.

Михаил Евграфович вдруг опять оживился.

— А вот «Первое сражение» — хорошая вещь! — настойчиво повторил он и неожиданно с таким угрожающим видом поднял правую руку, что я невольно попятился.

— Хаарошая!! — глухо прорычал он и хлопнул изо всей силы кулаком по книге, так что даже стоявший на письменном столе стакан с недопитым чаем испуганно зазвенел.

После такого своеобразного выражения восторга Михаил Евграфович как-то ослабел и страшно закашлялся. Как раз горничная принесла ему на подносе внушительную пачку писем и телеграмм.

Я счел благовременным ретироваться.

Разумеется, беседа с таким большим человеком могла бы быть куда содержательнее; но я слишком волновался для того, чтобы найти нужные слова для завязки беседы, а Михаил Евграфович с незнакомыми людьми тоже не был особенно разговорчив, да и, как мне чувствовалось, казался смущенным за свой первый прием.

А когда он поднялся, чтобы проводить меня, я, признаться, совсем растерялся. Но он, как был в халате, кашляющий, с изможденным лицом, не только проводил меня до передней, но даже вышел на площадку лестницы.

«Суровый добряк!» — подумал я про себя, выходя на подъезд и усиленно награждая швейцара.

Такое мнение о Михаиле Евграфовиче подкрепил во мне и Д. А. Карабчевский, к которому я зашел вечером в редакцию, чтобы поделиться впечатлением.

— Бог знает с чего он напускает на себя такую свирепость, — улыбаясь, заметил Карабчевский, — в сущности это предобрейший человек! — И, кстати, привел мне несколько примеров «щедринского добродушия». Из них запомнился мне случай с Глебом Ивановичем Успенским.

Карабчевский одно время жил в Москве, в одних и тех же меблированных комнатах с Глебом Успенским. Это было в самом начале литературной деятельности Глеба Ивановича, и он страшно бедствовал. Оставалось одно: обратиться в редакцию «Отечественных записок», хотя он уже задолжал в редакции порядочную сумму. В письме Г. И. Успенский усиленно подчеркивал, что «им владеют особенно тяжелые обстоятельства». Выручил опять не кто иной, как тот же Щедрин, хотя и предпослал авансу краткое отеческое внушение: «Посылая аванс на сумму такую-то, весьма сожалею, что обстоятельства владеют вами, а не вы обстоятельствами!» *

Видеть Щедрина мне пришлось всего три раза в жизни. В третий раз только мельком, уже после моего заграничного путешествия, следующим летом.

Непредвиденно на долю моего скромного писательского кабинета на Надеждинской выпала высокая честь: собрать у себя редакцию «Отечественных записок» с самим Щедриным во главе. Срок контракта в прежнем помещении редакции окончился *, а нового еще не было подыскано, и приходилось где-нибудь устроить последний приемный день перед летним разгоном — оказалось, что всего удобнее у меня, так как родные мои были на даче и просторная квартира была совершенно свободна. Разумеется, лично я устранил всякий след своего присутствия, распорядившись лишь в качестве хозяина насчет чаепития в столовой для членов редакции.

К сожалению, на этот раз Щедрин пробыл на приеме очень недолго: ему надо было по какому-то огорчительному делу съездить в Главное управление по делам печати *. Он уже сходил с лестницы, когда меня предупредили, и когда я сбегал вниз в швейцарскую, он уже готовился сесть в карету... Он шел бодро, высоко закинув голову, с туго набитым портфелем под мышкой, производя со стороны впечатление министра, отправляющегося в министерство. Такое впечатление усиливалось благодаря следовавшим за ним почтительно двум членам редакции и швейцару, подобострастно отворившему перед ним двери и посадившему в карету. Генерал, как есть генерал!.. Вся осанка как нельзя более выдавала бывшего вице-губернатора.

По отъезде патрона члены редакции перешли в столовую к самовару, и благодаря присутствию А. Н. Плещеева завязалась оживленная беседа — по преимуществу около оригинальной личности Щедрина. В этот день Михаил Евграфович был в особенно острословном настроении и обронил несколько ярких, чисто «щедринских» словечек. Записываю кое-что уцелевшее в памяти... *

Явилась, между прочим, на прием какая-то расфранченная дама с любовными стихами. Стихи оказались не только безграмотные, но даже порнографические.

Щедрин, пробежав стихи, свирепо покосился на даму и прорычал:

— Вы, милостивая государыня, дверью ошиблись: здесь не кабак, а редакция литературного журнала!

Та так растерялась, что могла только выговорить:

— Ах, monsieur Салтыков, как вы нелюбезны с дамами!

— Уж извините: у меня совсем другая специальность! — поправился Михаил Евграфович.

Явилась другая дама, более скромная, и вручила Михаилу Евграфовичу какой-то рассказик, причем, чтобы расположить в свою пользу сурового редактора, стала усиленно расхваливать последнюю книжку «Отечественных записок».

— Особенно мне понравился роман Ш. (она назвала имя известной писательницы)*. Очень хорошо написано!

— Не написано, а *напечатано* хорошо!! — огрызнулся Михаил Евграфович.

Плещеев тут же объяснил, в чем дело. Роман действительно был интересно написан, но чисто по-дамски растянут, и третья часть почти была повторением двух первых. Щедрин, не долго думая, перечеркнул всю третью часть целиком и вставил на ее место всего несколько ярких, щедринских строк, посвященных «непредвиденной смерти героини».

Не менее метко выразился он о другом романе — одного известного писателя, назову его N.* Роман был длинный-предлинный, написанный в модной тогда манере «золаизма», с описанием мельчайших подробностей обстановки. Когда Плещеев в качестве секретаря редакции справился о судьбе романа, Щедрин напустился на Плещеева:

— Да что вы, батенька, какой же это роман! Это просто-напросто *каталог вещей*, а вовсе не роман! У нас, слава богу, не магазин!!

Так роман известного писателя и не прошел.

С этим же самым известным писателем N. разыгрался, кстати сказать, довольно забавный анекдот на вечере у того же Плещеева. Плещеев в интимном кружке литераторов передавал впечатления Щедрина о его пребывании в Париже. Между прочим, Михаил Евграфович с большим юмором рассказывал о посещении какого-то театра, где давалась производившая фурор феерия*. Феерия сама по себе не представляла ничего особенного, и фурор производила главным образом одна из картин, где на фоне декорации Кавказа демонстрировалась при

электрическом освещении живописная группа совершенно обнаженных женщин.

— Понимаете, с полсотни баб, и все нагишом — показывают публично, при электрическом сиянии, то, чего не следует! Омерзение, понимаете, вопиющее!! А возле меня как раз уселся какой-то облезлый франт в клетчатых брюках и, как только все это безобразие началось, ну, себя шлепает, от полноты чувств, по ляжкам. Шлепает и подвигивает:

— Вот это Европа-с! Эт-то я понимаю-с!!

Писатель не выдержал и подскочил на своем стуле:

— Позвольте, как же это Михаил Евграфович мог так говорить? Ведь это же я тогда сидел с ним рядом! Я же его и на феерию затащил!

Получилась картина, не требующая объяснения.

Пересказ щедринской речи иногда много теряет в силу необходимости смягчить то или другое нецензурное слово, тем более что в этом отношении Михаил Евграфович мало стеснялся и фантазии его часто принимали самый странный оборот.

Однажды, будучи в особенно угнетенном состоянии духа, Михаил Евграфович в присутствии Плещеева принялся вдруг пророчествовать о своей смерти: «Будто похоронят его за городом, на пустыре, где сваливают мусор, без песнопения и колокольного звона, — и, когда его зароят, забредет на его могилу пьяный монах и осквернит свежую могильную насыпь!» (Рассказчик выразился несколько сильнее.)

— И будет это в городе Туле! — мрачно заключил он.

Почему «в Туле» — никто не мог понять, по всей вероятности и сам Щедрин.

Нечего и говорить, что зловещее пророчество нимало не оправдалось. Умер Михаил Евграфович, как известно, в Петербурге и с большой помпой был похоронен на Волковом кладбище, в тесном соседстве с могилами Тургенева и Кавелина...

Л. Ф. Пантелеев

Имя Лонгина Федоровича Пантелеева (1840—1919) достаточно известно и в подробных пояснениях не нуждается. Видный участник революционного движения шестидесятых годов, один из активных членов тайного общества «Земля и воля», Пантелеев в декабре 1864 года был арестован и приговорен к шести годам каторжных работ, замененных ссылкой в Сибирь; затем, после восстановления в правах (1874) и освобождения от надзора (1876), принимал деятельное участие в общественно-политической и литературной жизни, сотрудничал в «Отечественных записках», много занимался издательским делом и написал воспоминания, в которых живо и ярко, с большой осведомленностью, рассказал о событиях и людях своего прошлого... Все, что в этих воспоминаниях посвящено Салтыкову, относится к последним пяти годам его жизни (за исключением приводимых автобиографических рассказов Салтыкова). В 1884—1889 годах Пантелеев, горячий поклонник Щедрина еще с гимназических лет, был частым гостем в доме на Литейном, 62. Человек бывалый, охотно делившийся интересными новостями, он был желанным собеседником для уединенно жившего Салтыкова. Кроме того, Пантелеев деятельно помогал больному писателю в его издательских делах, в бытовых заботах и нуждах. Салтыков ценил эти услуги и отвечал на них дружеским расположением.

Важность вопросов, затронутых в воспоминаниях Пантелеева, и большая точность этих воспоминаний ставят их на одно из первых мест среди мемуаров о Салтыкове. Почти документальная достоверность воспоминаний объясняется тем, что в основе их лежат записи, сделанные Пантелеевым непосредственно после бесед с Салтыковым. Об этом свидетельствуют слова Пантелеева, поставленные в начале его воспоминаний о сатирике: «Почти все нижеследующие строки взяты прямо из моей памятной книжки». То же

подтвердил Пантелеев и в беседе с В. П. Кранихфельдом в 1908 году: «В свои памятные книжки я почти стенографически заносил все наиболее интересное, что приходилось слышать от Михаила Евграфовича» (ИРЛИ, ф. 528). Важная беседа о Салтыкове с Чернышевским также воссоздана не по памяти, а по записям, сразу же сделанным в конце мая 1889 года, в Астрахани. Пантелеев использовал и письма к нему Салтыкова, — некоторые из них он еще при получении снабдил пояснительными замечками (подлинники хранятся в ИРЛИ).

При всем том в серьезно документированных воспоминаниях Пантелеева имеются кое-какие неточные и неверные сведения. Они исправлены в комментариях.

За пределами настоящей книги мы оставляем три менее значительные мемуарные заметки Пантелеева о Салтыкове: 1) «Христова ночь» М. Е. Салтыкова. (По воспоминаниям)» — журнал «Солнце России», П. 1914, № 219, 16 апреля; 2) «Забытый юбилей» — газета «Речь», П., 1917, № 8, от 9 января (о шестидесятилетнем юбилее «Губернских очерков») и 3) «Как трудно управлять Россией» — газета «Современные вести», П. 1917, № 22 от 24 декабря (публикация по памяти одного «рескрипта» из «Переписки Николая Павловича с Поль де Коком»).

I

из воспоминаний о м. е. салтыкове

М. Е. Салтыкова я лишь мельком видал в 1863—1864 годах, но от этого времени у меня не сохранилось никаких личных воспоминаний. Вернувшись из Сибири в половине семидесятых годов, я застал Михаила Евграфовича уже первенствующим редактором «Отечественных записок»* и по временам встречал его у В. И. Лихачева, по воскресеньям вечером, где он обыкновенно играл в карты, причем А. М. Унковскому, его всегдашнему партнеру, доставалось от Михаила Евграфовича за все: и не так сдал — вся игра у противников, и неверно сходил, и зачем садится за карты, если в них ступить не умеет. Обыкновенно с последним ходом Михаил Евграфович моментально успокаивался. Нельзя было не удивляться поразительному благодушию и терпению Унковского, так как нередко Михаил Евграфович приходил просто в

ярость. Раз, однако же, и Алексей Михайлович не выдержал, встал из-за стола и более к игре в этот вечер не возвращался.

Когда в числе партнеров случались люди сравнительно мало близкие с Михаилом Евграфовичем, притом с известным положением, он был совершенно сдержан и игра обходилась без малейших инцидентов.

Хотя в 1879 году Михаил Евграфович и напечатал в «Отечественных записках» два моих рассказа из приисковой жизни *, однако настоящее знакомство началось лишь с 1884 года, когда я окончательно поселился в Петербурге, и продолжалось до его смерти. За это время мы имеем ценные воспоминания Н. А. Белоголового. Но так как относительно выдающихся общественных деятелей даже мелочи их жизни не лишены значения и интереса, то я позволяю себе поделиться с публикой кой-чем из того, что уцелело в моей памяти о Михаиле Евграфовиче. Извиняюсь за отрывочность изложения, так как почти все нижеследующие строки взяты прямо из моей памятной книжки.

По словам Михаила Евграфовича, кроме стихов и двух повестей, о которых говорит Н. А. Белоголовский, по выходе из лицея он еще писал рецензии в «Отечественных записках» и «Современнике»¹.

— Рецензиями я зарабатывал до пятидесяти рублей в месяц, в то время это были деньги, да мать высылала мне тысячу рублей в год; жить можно было хорошо. Была у меня тогда страстишка пофрантить, но, впрочем, скоро прошла.

— В Вятке, — говорил Михаил Евграфович, — я ничего не писал, вел самую пустую жизнь, даже сильно пьянствовал. Получая, кроме жалованья по должности советника губернского правления, еще пятьсот рублей за составление городских инвентарей, я имел для этого дела двух помощников, но ни одного инвентаря не составил. Но Вятка имела на меня и благотворное влияние: она

¹ За время своего редакторства Михаил Евграфович нередко писал рецензии в «Отечественных записках». По словам Г. З. Елисеева, когда по обстоятельствам нужно было написать для журнала какую-нибудь экстренную публицистическую статью или рецензию, Михаил Евграфович брался за это, и все подобные статьи, — а их наберется в «Отечественных записках» немало, — были в своем роде шедевры. (Примеч. Л. Пантелеева.)

меня сблизила с действительной жизнью и дала много материалов для «Губернских очерков», а ранее я писал вздор.

«Губернские очерки» Михаил Евграфович написал в 1856 году в Петербурге, проживая в Волковских номерах (Б. Конюшенная), в которых с давних пор привыкли останавливаться сибиряки и приезжие из северо-восточных губерний, смежных с Сибирью. Окончив «Губернские очерки», Михаил Евграфович прежде всего дал их прочитать А. В. Дружинину *. Отзыв Дружинина был самый благоприятный: «Вот вы стали на настоящую дорогу: это совсем не похоже на то, что писали прежде». Через Дружинина «Губернские очерки» были переданы Тургеневу. Последний высказал мнение прямо противоположное: «Это совсем не литература, а черт знает что такое!» *

Вследствие такого отношения Тургенева к «Губернским очеркам» Некрасов отказался принять их в «Современник», хотя отчасти тут играли роль и цензурные соображения *. В Петербурге провести их почти не представлялось возможности. Выручил судьбу «Губернских очерков» В. П. Безобразов, товарищ по лицу Михаила Евграфовича, с которым он был в то время в очень близких отношениях, даже жили вместе *. В. П. Безобразов высоко ценил «Губернские очерки» и, участвуя в «Русском вестнике», переслал их М. Н. Каткову. Последний сразу понял выдающееся значение «Губернских очерков» и с радостью согласился напечатать их в «Русском вестнике». Но без цензора Крузе первое крупное произведение Михаила Евграфовича не скоро увидало бы свет, хотя с треть все-таки было выкинуто, Михаил Евграфович не раз говорил мне, что корректуры без пропусков должны были сохраниться *, но где — припомнить не мог. Может быть, они и по сей день живы?

К слову о корректурах. Михаил Евграфович говорил (в 1886 г.), что сохранились первоначальные корректуры «Истории одного города», которая в печати вышла с большими сокращениями. Где эти корректуры? *

Необыкновенный успех «Губернских очерков» подал мысль выпустить их отдельным изданием, как только окончено было печатание в «Русском вестнике». Это дело взял на себя М. Н. Катков. Отдельное издание разошлось очень быстро и дало Михаилу Евграфовичу около двух тысяч рублей.

— Этим я обязан Каткову; и вообще за это время могу только добром помянуть Каткова.

Их потом ближайшим образом развела разница во взглядах на способ освобождения крестьян; известно, что надел крестьян землею не пользовался сочувствием Каткова.

После выхода «Губернских очерков» Михаил Евграфович приехал в Петербург; здесь к нему одним из первых приехал с визитом Некрасов и выражал крайнее сожаление, что, положившись на отзыв Тургенева, не дал места «Губернским очеркам» в «Современнике», и предложил ему сотрудничество *.

Благодаря Каткову Михаил Евграфович написал «Смерть Пазухина». Раз как-то Михаил Евграфович был в очень хорошем расположении духа (что в последние годы его жизни случалось не часто), говорил о драме и при этом высказал следующее:

— Я знаю две драмы, удивительные как по глубине внутреннего содержания, так и по художественному достоинству. Это — «Ревизор» и «Свои люди — сочтемся»; конечно, последняя без приделанного для цензуры конца *. Обе, как бетховенские симфонии: ни одного слова нельзя ни убавить, ни прибавить.

Совсем позабыв, что еще гимназистом читал «Смерть Пазухина», я спросил Михаила Евграфовича:

— А вы не пробовали писать для сцены?

Тут доброе настроение Михаила Евграфовича мигом исчезло.

— Написал одну гадость, — раздраженно отвечал он, — совестно вспомнить. Это тогда все Катков натвердил мне: «У вас настоящий талант для сцены»; вот я послушался его и написал черт знает что такое — «Смерть Пазухина» *. Я ее теперь больше и не перепечатаваю.

Как известно, спустя некоторое время после смерти Михаила Евграфовича «Смерть Пазухина» была поставлена на сцене, имела успех, и рецензенты выражали удивление, что такая прекрасная пьеса более тридцати лет должна была дожидаться постановки на сцену. Здесь кстати сказать, что к своим произведениям Михаил Евграфович относился более чем строго. Вот что он писал мне 30 марта 1887 года *.

Перечислив сочинения, которые могут подлежать отчуждению и войти в состав полного собрания (и что

потом действительно вошло в посмертное издание), он заканчивает так: «Хотя, кроме этих сочинений, и имеется еще достаточно рассеянных в разных изданиях, но они отчуждению не подлежат, и я *положительно воспрещаю*¹ их когда-либо перепечатывать», — и затем просил меня, после его смерти, это письмо предъявить опеке над его семьей.

Почти те же самые слова находятся и в сохранившемся у меня проекте условия, помнится с фирмой Салаевых*.

После выхода в отставку, в 1861 году, Михаил Евграфович не мог уже вернуться на службу по министерству внутренних дел; * потому, нуждаясь в службе, он принял место председателя казенной палаты в Пензе. Тут он не поладил с губернатором Александровым*, человеком очень богатым, пользовавшимся особенной поддержкой министра Валуева; поэтому Михаил Евграфович был переведен в Тулу, но и здесь недолго удержался вследствие крайне обострившихся отношений с губернатором Шидловским. Впоследствии, при министре Тимашеве, Шидловский был назначен начальником Главного управления по делам печати; как раз в это время Михаил Евграфович был одним из редакторов «Отечественных записок» и, конечно, мог ожидать всяких неприятностей. Однако, при личном свидании, Шидловский прямо заявил Михаилу Евграфовичу, что прежние отношения не могут иметь никакого значения.

— И действительно, — прибавил Михаил Евграфович, — Шидловский ничем не выразил какой-нибудь особенной неприязни ко мне или «Отечественным запискам»*.

Шидловского скоро сменил Лонгинов*. При нем цензурный комитет задержал «Дневник провинциала в Петербурге»: председателю Петрову показалось, что Михаил Евграфович вывел личность великого князя Константина Николаевича, о чем у него и помышления не было.

— А Лонгинова в то время в Петербурге не было; решил дожидаться его возвращения. Вы знаете, что такое был Лонгинов; но все же у него был вкус, своего рода уважение к литературе. Только что он приехал, отправляюсь я к нему.

¹ Эти слова в подлиннике подчеркнуты. (Примеч. Л. Пантелева.)

— Знаю, зачем пришли, — сказал Лонгинов, — не беспокойтесь. Мы с Тимашевым едва животики не надорвали, читая ваш дневник. Комитету бог знает что пригрелось, ему уже послано распоряжение выпустить книгу.

Лучшим произведением Достоевского Михаил Евграфович считал «Идиота» *.

— Это — гениально задуманная вещь; в ней есть места поразительные, но еще больше плохо высказанного и бог знает как скомканного.

— На литературном вечере в конце 1870 года или начале 1871 года, устроенном здешними французами в пользу своих раненых, я был, — рассказывал Михаил Евграфович, — чтобы заявить свое сочувствие французам ¹ *. Там встретился с Тургеневым, с которым был не в особенно дружественных отношениях и даже иногда проходил на его счет. Завидя меня, Тургенев сам подошел ко мне и при этом дал мне оттиск своей статьи о моей «Истории одного города» (кажется, статья была напечатана в английском «Атенеуме») *. Тургенев сравнивал меня с Свифтом. Я недавно перечитал Свифта; хотя при издании и была статья В. Скотта, все же трудно понимать без комментариев *; потому он на меня и не произвел особенно сильного впечатления.

— У нас, — продолжал Михаил Евграфович, — установилось такое понятие о романе, что он без любовной завязки быть не может; собственно, это идет со времени Бальзака; ранее любовная завязка не составляла необходимого условия романа, например «Дон-Кихота». Я считаю мои «Современная идиллия», «Головлевые», «Дневник провинциала» и др. настоящими романами; в них, несмотря даже на то, что они составлены как бы из отдельных рассказов, взяты целые периоды нашей жизни.

Возобновленные в 1871 году отношения с Тургеневым * еще более скрепились в 1875 году, когда Михаил Евграфович

¹ Г. З. Елисеев рассказывал: в начале лета 73 года Михаил Евграфович уезжал куда-то на короткое время из Петербурга. Вернувшись, в самый день приезда, еще не прочитав газет, пришел он в редакцию. Там застал разговор о Франции, о Тьере. Я сказал, что сегодняшняя телеграмма сообщает об избрании на его место Мак-Магона. При этих словах Михаил Евграфович вскочил со стула, точно ужаленный. «Как, Мак-Магон, эта протухлая крыса... — и далее непечатно, — будет распоряжаться судьбами Франции? Это ужасно!» (Примеч. Л. Пантелеева.)

фович был за границей. Между ними происходила даже оживленная переписка. Между прочим, к Тургеневу была адресована часть писем из юмористической серии, носившей название: «Переписка Николая Павловича с Польде Коком» *. Будет ли когда-нибудь она разыскана и собрана? У Михаила Евграфовича не осталось черновиков; по его словам, он писал нескольким лицам, — Тургеневу, Еракову, Уиковскому и, может быть, еще кому-нибудь, — припомнить он не мог. Судя по тем немногим письмам, содержание которых он мне рассказал, это была очень остроумная вещь. Письма к Еракову, по словам Михаила Евграфовича, погибли в пожаре.

У Тургенева в Буживале раз Михаил Евграфович встретился с гр. Соллогубом, заранее просившим у Тургенева разрешения прочитать ему свою новую пьесу. Началось чтение; в пьесе было выставлено в самом ужасном виде молодое поколение; представители его являлись людьми, лишенными всяких нравственных принципов, ворами, мошенниками. Михаил Евграфович некоторое время слушал, хотя видно было, что пьеса Соллогуба глубоко возмущала его; наконец, он не выдержал и разразился страшной бранью по адресу Соллогуба. Возбуждение Михаила Евграфовича дошло до высшей степени, и с ним сделался обморок. Все это так подействовало на Соллогуба, что он тут же бросил свою пьесу в камин *.

Закрытие в 1884 году «Отечественных записок», сопровождавшееся правительственным сообщением, как громом поразило Михаила Евграфовича; в первое время он даже опасался дальнейших личных неприятностей. Незадолго перед тем я обратил внимание Михаила Евграфовича на корреспонденцию в «Daily News», в которой Михаил Евграфович выставлялся как глава республиканской партии в России *, очень хитро ведущий свои дела; при этом подробно рассказывалась фантастическая сцена обыска у него (легенда об этом обыске разнеслась по всей России, хотя никакого обыска у Михаила Евграфовича в действительности никогда не было). Михаил Евграфович послал в «Daily News» опровержение, справедливо указывая в нем, что никогда не стоял во главе какой-нибудь политической партии, и всего менее республиканской, о которой в России никто и никогда не слыхал. Но ликвидация дела скоро отвлекла его внимание, и сначала

казалось, что к самому факту прекращения журнала он был несколько равнодушен. Но когда все кончилось, он стал чувствовать своего рода одиночество, сиротство.

— Вы не можете себе представить, — говорил он, — какое для меня лишение, что я не могу ежемесячно говорить с публикой, и притом о чем хочу. Друзей у меня никогда не было (говоря так, Михаил Евграфович по меньшей мере забывал в эту минуту о своих отношениях к А. М. Унковскому, которого в душе считал самым близким к себе человеком¹⁾); я жил только общением с публикой. А теперь — какое одиночество! В «Вестнике Европы» меня печатают («Пестрые письма» — в это время), но ведь я там чужой, все мои отношения ограничиваются тем, что по временам ко мне заезжает Стасюлевич.

По закрытии «Отечественных записок» Михаил Евграфович писал в «Вестнике Европы» и «Русских ведомостях». Покойному П. А. Гайдебурову очень хотелось что-нибудь получить от Михаила Евграфовича для книжек «Недели». Долго его покушения были тщетны; наконец, в одну добрую минуту Михаил Евграфович дал ему «Оброшенного», небольшую вещицу, но такую характерную и драгоценную по автобиографическому значению*. Михаил Евграфович, однако, скоро раскаялся в своей уступчивости.

— Не место «Оброшенному» в книжках «Недели»: кто его там будет читать; черт знает какую глупость сделал.

Дня через три П. А. Гайдебуров приезжает к Михаилу Евграфовичу в необычное время, вечером. Сцена происходила при мне.

— Ваш рассказ уже сверстан, только я думаю... — Тут Павел Александрович несколько замаялся.

— Что ж вы думаете, цензура не пропустит? — с живостью прервал Михаил Евграфович.

¹ Никто так близко не знал Михаила Евграфовича, как Унковский, к которому Михаил Евграфович нередко обращался в самые трудные минуты, когда его душевное состояние почему-нибудь доходило до крайнего напряжения; потому не лишено значения замечание Унковского, которое мне раз пришлось слышать от него. «Я знаю, — говорил Алексей Михайлович, — с лишком двадцать лет Михаила Евграфовича* и до сих пор не могу уяснить себе его характер, — так много в нем противоречивого». (Примеч. Л. Пантелеева.)

— Нет, в цензурном отношении он не представляет никаких затруднений. По-моему, следовало бы кое-где сделать некоторые редакционные поправки.

— Какого же рода?

— Встречаются, как мне кажется, не совсем удачные выражения, например... — и тут Гайдебуров указал на некоторые слова, которые, по его мнению, лучше было бы заменить другими, и даже указал какими.

Я ожидал взрыва со стороны Михаила Евграфовича; к удивлению, тот сдержался и только сухо отвечал:

— Не вижу никакой надобности изменять.

— Я вам завтра pošлю корректуру и отмечу места, на которые сейчас указывал, — закончил Павел Александрович и с этими словами откланялся.

Я то же хотел сделать, но Михаил Евграфович меня удержал.

— Нет, вы только подумайте: Гайдебуров вздумал меня исправлять! Я возьму назад «Оброшенного».

Михаил Евграфович так и сделал; никакие просьбы Гайдебурова не переменили его решения. Впоследствии он дал ему совсем незначительную вещь, «Полковницкую дочь»*, да еще сказку «Неумытый Трезор»*. Содержание последней показалось Павлу Александровичу не совсем понятным, но, наученный опытом, он уже никаких разговоров с Михаилом Евграфовичем не заводил по этому поводу.

К началу осени 1885 года Михаил Евграфович вернулся из-за границы и тотчас же начал себя чувствовать хуже. В конце октября разыгралась одна громкая история с лицом, находившимся в близких отношениях к Михаилу Евграфовичу, а именно с В. И. Лихачевым; эта история так взволновала Михаила Евграфовича, что, в связи с легкой простудой, едва не свела его в могилу; * на этот раз С. П. Боткин буквально вырвал его из когтей смерти. Но никакое искусство не могло совсем поставить его на ноги; надо еще удивляться тому, что С. П. Боткин подерживал его в течение с лишком трех лет.

История, о которой я только что упомянул, навсегда сделала невозможными какие-нибудь личные отношения между В. И. Лихачевым и А. М. Унковским, ранее находившимися в добром знакомстве. Это создало бы Михаилу Евграфовичу крайне щекотливое положение: тот и другой были его душеприказчиками. С Унковским его

связывали давние дружеские отношения, и несомненно, он искренно уважал его; что касается до Лихачева, то вот что он говорил: «Я не могу не ценить, что почти двадцать лет видел с его стороны одно только внимание и всякие услуги». Другими словами, Михаил Евграфович не находил возможным которого-нибудь исключить из числа душеприказчиков и прибег к такому нейтрализирующему решению: прибавил третьего душеприказчика в лице С. П. Боткина.

В болезненный период жизни Михаила Евграфовича, начиная с 1885 года, можно было замечать в нем три резко отличных состояния. Иногда по несколько недель он находился в каком-то дремотном состоянии, лишь изредка прерываемом минутными вспышками раздражительности. Бывали, наоборот, целые месяцы крайней раздражительности и возбужденности. Тогда он, конечно, ничего не писал, даже высказывал мысль, что, вероятно, никогда больше ничего и не напишет. Вот что, например, он писал мне 12 августа 1887 года *: «Я давно не писал к Вам по той уважительной причине, что рука едва двигается. Страдаю я невыносимо, и дело, очевидно, идет к концу, но к концу мучительному... Во всяком случае, литературная карьера моя кончилась: во все лето я не написал ни строки. И память... потерял, вообще впадаю в идиотизм. Как горько переживать самого себя — Вы представить себе не можете».

Помню одну сцену. Приехал С. П. Боткин; уже самый приезд его несколько оживил Михаила Евграфовича, а сердечность Сергея Петровича и умение поднять настроение больного вызвали у Михаила Евграфовича вопрос:

— Так вы думаете, что я еще могу поправиться?

— Не только думаю, но даже в этом положительно уверен.

— И в состоянии буду писать?

— Конечно. Вот вы еще к пасхе (разговор происходил в середине великого поста) подарите нам хорошенькую сказочку, а может быть, и не одну.

Михаил Евграфович ничего не сказал, только слезы выступили у него на глазах. Эту минуту несколько напоминает портрет Михаила Евграфовича, писанный Н. А. Ярошенко *, портрет, к слову сказать, далеко не из удачных.

Совсем неожиданно для стороннего наблюдателя приходило время некоторого оздоровления. Еще вчера видели Михаила Евграфовича в самом тяжелом состоянии, а сегодня он говорит:

— А, знаете, мне гораздо лучше, я уж с утра начал работать — и посмотрите, сколько написал.

Случалось нередко, что Михаил Евграфович жаловался, что простая слабость руки или пальцев не позволяет ему работать.

— У меня весь сюжет обдуман, только бы писать, а не могу перо держать.

— Так вы попробовали бы диктовать стенографу.

— Никак этого не могу: у меня вместе с чернилами, стекающими с пера, складывается и фраза.

Судя по крайней производительности в светлые промежутки, надо заключить, что даже в периоды крайней слабости или, наоборот, большой раздражительности творческая мысль его не переставала работать, складывались образы, и все это ждало только благоприятной минуты, чтобы вылиться из-под его пера.

Когда Михаил Евграфович чувствовал себя лучше, его литературная производительность была просто изумительна, а главное, его талант не только не показывал никакого упадка, — напротив того, в борьбе с недугом, невольной сосредоточенностью точно почерпал новые силы. Лучшим доказательством могут служить его «Сказки» и «Пошехонская старина». Но я думаю, что самую лучшую вещь он унес с собой в могилу, это — «Забывшие слова»; они были совсем готовы, то есть обдуманы, оставалось только написать *. Он несколько раз говорил о задуманной им теме и сам придавал ей особенное значение.

По поводу «Пошехонской старины» припоминаю два разговора.

— Читали вы «Слуг» Гончарова? (Только что тогда появились в «Ниве».)

— Да.

— Что же о них думаете?

— Да как-то незначительно для Гончарова.

— Вот я ему покажу настоящих слуг прошлого времени *.

В это время Михаил Евграфович писал «Пошехонскую старину».

В другой раз Михаил Евграфович говорил:

— Ах, поскорее бы кончить, не дают мне покоя (персонажи «Пошехонской старины»), все стоят передо мной, двигаются; только тогда и отстают, когда кто-нибудь совсем сходит со сцены.

Не все сказки, задуманные Михаилом Евграфовичем, он записал; случалось, что болезненное состояние усиливалось и обрывало тему, которую он начинал обдумывать; становилось лучше — он брался за что-нибудь новое.

— У меня почти готовы три сказки; давно собираюсь по поводу одной из них переговорить с вами. В ней я переношу сцену действия в Сибирь, и мне хотелось бы знать, какое впечатление производит то время, когда круглый день стоит ночь, а потом наоборот.

Я не мог удовлетворить любопытству Михаила Евграфовича, так как севернее 63° не жил в Сибири.

— Но почему вас это интересует?

— Дело в том, что в одной сказке я вывожу личность, которая живет в большом городе, принимает сознательное и деятельное участие в ходе общественной жизни, сама на него влияет и вдруг, по мановению волшебства, оказывается среди сибирских пустынь *. Первое время она живет продолжением тех интересов, которые только что вчера ее волновали, чувствует себя как бы в среде борющихся страстей; но постепенно образы начинают отодвигаться вдаль, какой-то туман спускается, вот едва выступают очертания прошлого, наконец все исчезает, воцаряется мертвое молчание. Лишь изредка в непроглядную ночь слышится звон колокольчика проезжей тройки, и до него долетают слова: «Ты все еще не исправился?»

Но эта сказка никогда не была закончена; о ней потом Михаил Евграфович даже позабыл.

Раз, вернувшись из деревни, я поехал на дачу к Михаилу Евграфовичу, в Новую Кирку. Застал его совершенно одного, вся семья уехала на некоторое время в Гельсингфорс *. Михаил Евграфович обедал и пришел в крайнее беспокойство, что меня нечем угощать.

— Да зачем же вы меня не предупредили, ведь голодны останетесь.

Едва успокоил его, сказав, что уже пообедал в городе. День стоял дождливый; Михаил Евграфович был

в дурном настроении. Покончив с обедом, он извинился, что должен лечь в постель.

— Но вы, пожалуйста, подождите, я только чуточку отдохну.

Он лег в постель, положивши голову на затылок. Можно себе представить, что представляло в таком положении его исхудалое лицо; сначала приступ кашля, потом пошли хрипы со стоном, иногда дыхание как бы совсем останавливалось.

Мне сделалось страшно: казалось, настали последние минуты. Так через полчаса Михаил Евграфович встал и сел за письменный стол. Между тем неожиданно выглянуло солнце.

— А ведь я за это время много писал.

— Знаю, я все читал, что появилось в «Вестнике Европы» и «Русских ведомостях».

— Но у меня еще кое-что есть в портфеле; написал, между прочим, три сказки.

И затем одну за другой рассказал их, почти буквально, начав с «Христовой ночи».

— Ну, как вы их находите? — спросил Михаил Евграфович.

— Извините, Михаил Евграфович, последних двух я совсем не слышал, так я потрясен «Христовой ночью». — И я отнюдь не преувеличивал впечатления, произведенного этой сказкой. Прошу читателя, хоть несколько знакомого с портретами Михаила Евграфовича последнего времени, представить себе его изможденную физиономию, но всю возбужденную, голос, — то тихий, радостно-сокрушенный, когда Михаил Евграфович передавал слова трудящихся и обремененных, строгий, когда Христос обращается к богатым, и как громом поражающий в словах: «Будь проклят, предатель!» Ни одно чтение не производило на меня такого сильного впечатления, и вся сцена настолько осталась в памяти, что и теперь я, как живого, вижу Михаила Евграфовича, слышу его голос.

Михаил Евграфович потом подарил мне на память черновой оригинал «Христовой ночи»*. Он любил писать на хорошей бумаге, перегибая пополам; но лепил строчку на строчке, делая поправки и варьянты на полях. Вся «Христова ночь», занимающая в отдельном издании

сказок, помнится, двенадцать страниц, уписана на половине полулиста.

Тяжело было видеть, как физически страдал Михаил Евграфович; в письмах его постоянно встречаются строки вроде следующих: «...голова так слаба, что решительно ничего не могу делать. Вечный шум, точно прибой волн. Боюсь с ума сойти» (28 мая 1887 г.); «... чувствую себя ужасно. Каждое утро встаю с мыслью: не лучше ли застрелиться» (5 июля 1886 г.).

Но еще тяжелее было слушать, когда он высказывал свои душевные боли. Постепенно он стал приходить к убеждению, что его болезнь хроническая, а не временный недуг.

— Вы только подумайте, что мне, может быть, придется прожить несколько лет, ничего не читая, не работая, не позволяя себе думать о чем-нибудь серьезном. Бывают минуты, что я боюсь сойти с ума, да, верно, этим и кончу.

— Мое положение ужасно: ни читать, ни писать не могу, целый день думаю о пустяках; по временам находит такое странное физическое состояние, что я должен употреблять все усилия, чтобы подавить его.

— До сих пор, — говорил в другой раз Михаил Евграфович, — я не знал, что такое тоска, бывало скучно и только. А теперь я ношу в себе эту тоску как нечто постоянное, она не покидает меня ни на минуту и угнетает мое душевное состояние окончательно. И вместе с тем малейшие пустяки, не стоящие никакого внимания, раздражают меня (пример — прислуга, собирающаяся выйти замуж, да еще не ранее, как через полгода). И этот шум, вечный звон в ушах! вот целую неделю гудит в ушах «Вдоль по улице метелица метет», — тут наверно сойдешь с ума.

Чем сильнее развивалось болезненное состояние Михаила Евграфовича, тем резче стали проявляться у него разные фантазии и небывалые до той поры черты в характере; он стал жаловаться, что все его забыли, а это была очевидная несправедливость. Никогда не оказывалось ему большего внимания, как именно в это время; малейшее его желание всякий считал для себя священным долгом.

Жалобы на докторов все усиливались. Общее наблюдение за Михаилом Евграфовичем имел С. П. Боткин

и посещал его, когда это находил нужным; затем раз в неделю бывал Н. И. Соколов, а в остальные дни Васильев (все трое уже не в живых).

— Не хочет Боткин приняться за меня серьезно, — роптал Михаил Евграфович, — вот недавно исследовал он Унковского, так даже молоточком по коленам стучал, а меня никогда. Ныл Иванович теперь больше калашниковскими купцами занимается, а Васильев... так этот иногда отменяет какое-нибудь лекарство и ничего взамен его не дает.

Вследствие привычки видаться почти каждый день с Васильевым Михаил Евграфович и в глаза не стеснялся говорить ему то же, и, конечно, для Васильева визиты к нему были истинным мучением. Но чуть, бывало, тот же Васильев немного запоздает против обычного часа, и Михаил Евграфович приходит уже в крайнее беспокойство.

— Что же это Васильева до сих пор нет?

— Да, вероятно, где-нибудь задержался, ведь доктора не всегда хозяева своего времени.

— А может быть, надоело ему возиться со мной. Что теперь я буду делать, — продолжать ли принимать ландыш, или оставить?

Во время болезни с Михаилом Евграфовичем был такой замысловатый случай. Не знаю, самостоятельно или под чьим давлением, только он решил пригласить отца Иоанна Кронштадтского*. Тот и появился в один прекрасный день. Ничего не зная, в то же самое время приехал С. П. Боткин и, конечно, встретился с отцом Иоанном в кабинете Михаила Евграфовича. Последний, видимо, сильно сконфузился, но Сергей Петрович с обычным тактом все дело повернул в самую лучшую сторону. Кажется, и раньше зная отца Иоанна, он не только не показал какого-нибудь удивления от неожиданной встречи, но самым любезным тоном сказал: «Вот и прекрасно: отец Иоанн лечит душу, а я тело; теперь ваше выздоровление, Михаил Евграфович, пойдет еще вернее».

Чем больше одновременно прописывали Михаилу Евграфовичу разных средств, тем ему бывало приятнее. И вообще, в противоположность иным больным, Михаилу Евграфовичу никогда не надоедало говорить о своей болезни со всяким входящим посетителем. Иногда придешь к нему и не знаешь, как начать разговор. Сидит

он, опершись головой о спинку кресла, и не то дремлет, не то в полнейшем упадке сил, но стоит спросить: «Как вы себя сегодня чувствуете?» — «Ах, мне сегодня ужасно», — но сейчас же оживится и весьма обстоятельно расскажет все, что с ним было за ближайшее время, до самых интимных подробностей. Но вот кто-нибудь входит — и сейчас же повторяется та же история; еще новый посетитель — и опять все рассказывается до мелочей.

— Вам надо меньше думать о вашей болезни, — кто-то раз при мне заметил Михаилу Евграфовичу (покойный Вл. Ив. Иванов), видя его возбужденное состояние. Михаил Евграфович с минуту подумал и потом спокойным тоном ответил:

— Что ж, о принце Рудольфе прикажете мне думать? (Это было вскоре после загадочной смерти принца Рудольфа *.)

Вдруг мысли Михаила Евграфовича приняли практическое направление. Еле двигаясь по комнате, он стал мечтать о покупке дома; чуть услышит, что продается подходящий дом, сейчас же просит собрать все необходимые сведения. Сначала это принимали всерьез, но потом, не показывая вида, поняли, что это игра больного воображения, и ничего более.

Только что перестал Михаил Евграфович говорить о доме, как вспыхнул другой страстью — купить имение.

— Небольшое, не дороже пятидесяти—шестидесяти тысяч, но чтобы была река, и сад, и лес настоящий; а дом незатейливый, но хорошо выстроенный; это ничего, что деревянный. В деревянном доме, когда он хорошо поставлен, как это прежде делали, отлично жить.

— Но что же вы будете делать с имением?

— Как только куплю имение, сейчас же перееду туда на постоянное жительство, а семью оставлю в Петербурге; впрочем, Константина (сына) отправлю в Москву к Поливанову *.

Стал Михаил Евграфович вырезать объявления из газет, началось собирание справок, на этот раз единственно для утешения старика. В самое последнее время Михаил Евграфович, прежде не отличавшийся большою расчетливостью, стал до крайности сдержан в расходах лично на себя; начал жаловаться, что ему нечем жить, что приходится тратить из капитала. Это дало Унковскому повод пошутить:

— Михаил Евграфович верно говорит, что ему приходится жить из капитала, потому что, как только получит сторублевку, сейчас же покупает облигацию.

Кончились разговоры о покупке дома и имения — Михаил Евграфович тотчас же принялся за проект продажи в полную собственность всех своих сочинений, как изданных, так и тех, что мог еще написать. Переговоры с разными лицами ни к чему не привели; когда даже все существенные пункты бывали порешены, вдруг всплывал какой-нибудь второстепенный, и дело обрывалось. Но вот был какой характерный случай. Все уже было покончено с И. М. Сибиряковым за пятьдесят тысяч рублей; по условию, Сибиряков не имел права выпустить полного собрания сочинений ранее двух лет со дня подписания условия. Оставалось только подписать условие; в это время приходит Г. З. Елисеев; Михаил Евграфович дает ему прочитать проект.

— Этого мало, — сказал Елисеев, — что Сибиряков не имеет права выпустить полное собрание ранее известного срока; надо его обязать, чтобы он непременно издал ваши сочинения в известный срок.

— Почему? — живо спросил Михаил Евграфович.

— Сибиряков — человек богатый, заплатить пятьдесят тысяч рублей ему ничего не значит. А вдруг ему придет фантазия изъять вас из публики, или в этом смысле на него со стороны подействуют.

— Как, меня изъять из публики?

И Михаил Евграфович пришел в величайшее волнение; сейчас же полетели письма к посредникам, чтобы передали Сибирякову о необходимости дополнить условие еще пунктом, которым возлагалось на Сибирякова обязательство в известный срок выпустить полное собрание. К общему удивлению, Сибиряков не принял этого пункта, найдя неудобным связывать себя таким обязательством. Что касается до Михаила Евграфовича, то одна мысль, что он может быть изъят из обращения, навела на него такой ужас, что он круто оборвал переговоры с Сибиряковым.

Переговоры с наследниками фирмы Салаевых разстроились из-за каких-то пустяков.

В начале марта 1889 года я собрался в дальнюю поездку; * прощаясь со мной, Михаил Евграфович сказал свою обычную фразу, когда кто-нибудь уезжал:

— Вы меня уж больше не застанете в живых.

На этот раз его слова, к несчастью, оправдались.

Конечно, долго он прожить не мог, но весьма вероятно, что свою смерть он сам ускорил. И вот каким образом.

Раз, в начале 1889 года, Михаил Евграфович говорит:

— Что вы скажете, если б я сам принялся за издание полного собрания своих сочинений?

— Отличная была бы вещь, средства у вас есть; все вам охотно помогут, то есть примут на себя хлопоты. Но вот беда — вы себя в гроб уложите, так начнете волноваться этим делом.

— Это правда, — ответил Михаил Евграфович.

Однако подобное соображение не остановило Михаила Евграфовича, и, пользуясь крайне обязательным содействием М. М. Стасюлевича, помнится, в феврале Михаил Евграфович приступил к изданию за свой собственный счет. Все хлопоты и заботы взял на себя М. М. Стасюлевич; Михаилу Евграфовичу не понадобилось даже затрачивать своих денег, — все расходы покрывались из издания.

Прихожу к Михаилу Евграфовичу дня через два, как все было вырешено с М. М. Стасюлевичем, и нахожу Михаила Евграфовича в крайне возбужденном состоянии.

— Что с вами, Михаил Евграфович?

— Сдал объявление о предстоящем выходе полного собрания; обещали напечатать его послезавтра. Не делают они этого не только послезавтра, а, пожалуй, и через неделю, — едва выговорил Михаил Евграфович, задыхаясь от волнения.

— Да ведь публикация послана из магазина Стасюлевича, откуда вы имеете и уведомление о том, когда она выйдет. Поверьте, что магазин не послал бы вам такого извещения, если б не был уверен.

— Что из того, что публикация появится послезавтра, переврут все — и тогда мне не будет покоя ни днем, ни ночью от массы запросов, разъяснений и тому подобного.

— Почему же вы думаете, что публикация будет неверно напечатана?

— Да уж это так всегда бывает, — ответил Михаил Евграфович самым убежденным тоном.

Затем я скоро уехал, но потом слышал, что Михаил Евграфович, чем дальше, тем больше волновался начатым делом.

А ему всего важнее был абсолютный покой: он один только и мог его несколько протянуть.

В этих мечтательных, болезненно тревожных проявлениях практического характера, начиная от покупки дома до издания полного собрания, собственно, сказывалось, хотя и не выговаривалось громко, заботливое желание, сколь возможно обеспечить материальное положение семьи, особенно детей, которых он горячо любил.

В последнее время Михаил Евграфович, и не со мной одним, часто заводил такой разговор:

— Я хочу завещать в пользу Литературного фонда шесть тысяч рублей¹. Но как это сделать? Поехать к нотариусу не могу, позвать его к себе на квартиру... покоя мне не дадут... Как только настанет тепло и буду в состоянии выехать, первое, что я сделаю, — поеду к Иванову (нотариусу).

Но не довелось Михаилу Евграфовичу дожить до тепла.

II

<РАЗГОВОР О М. Е. САЛТЫКОВЕ С Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИМ> *

...И на этот раз просидел у Николая Гавриловича до глубокого вечера. Вскоре по приходе Николай Гаврилович и говорит:

¹ Михаил Евграфович был членом-учредителем Литературного фонда, трижды (на трехлетие) избирался членом комитета, в последний раз — 2 февраля 1880 г., и всегда, как я помню, очень к сердцу принимал его интересы. Так, например, осенью 1881 г. он просил меня привлечь в члены фонда покойного В. И. Базилевского. «Что ему, богачу, стоит дать сто рублей?» (то есть пожизненный взнос). Базилевский вручил мне тысячу рублей для передачи в фонд. Между тем в изданном комитетом фонда в 1885 г. по случаю двадцатипятилетия фонда списке членов я случайно натолкнулся при фамилии Михаила Евграфовича на совсем непонятную отметку: «1881 г. декабря 7 сложил с себя звание члена общества» *. Из живых сочленов Михаила Евграфовича по комитету ни Ф. Ф. Воропанов, ни Н. С. Таганцев не только не могли припомнить обстоятельств выхода из общества Михаила Евграфовича, но и самый факт не сохранился в их памяти.

Так как Михаил Евграфович не значился членом комитета за время с 2 февраля 1881 г. по 2 февраля 1882 г., то надо думать, что еще до 2 февраля 1881 г. он отказался от звания члена комитета и уже потом, 7 декабря 1881 г., и члена общества. (Примеч. Л. Пантелеева.)

— А я вот слышал, что вы, Лонгин Федорович, очень часто в последние годы бывали у Михаила Евграфовича¹ (я вообще заметил большую осведомленность у Николая Гавриловича даже в мелочах о тогдашней жизни). Что же, вы это делали по христианскому состраданию или уж по особенному уважению к нему?

По тону, как были сказаны эти слова, я понял, что старая история не забыта Николаем Гавриловичем, как она не была забыта и Салтыковым*. Перед моим отъездом в Закаспийскую область я спросил у Михаила Евграфовича, не пожелает ли он под своим портретом (мой снимок)* подписать свою фамилию и от его имени передать Чернышевскому. На эти слова Михаил Евграфович ничего не ответил. А старая история состояла в следующем. В 1861 году Салтыков был вице-губернатором в Твери; там он в один прекрасный день получил прокламацию («Великорусс») и в исполнение циркулярного распоряжения представил ее по начальству, да на беду в том самом конверте, в каком она пришла с почты. Этот конверт, как говорили тогда, и послужил первой уликой против В. А. Обручева. Разумеется, как только это обстоятельство стало известно в литературных кругах, особенно в кружке «Современника», — поднялась буря негодования против Михаила Евграфовича. Когда последний узнал, что произошло в Петербурге, то сейчас же приехал туда, но был крайне сурово принят Николаем Гавриловичем и близкими к нему; посредничество А. А. Головачева и А. И. Европеуса несколько не смягчило Николая Гавриловича. Чтобы несколько реабилитировать себя, Михаил Евграфович вышел тогда в отставку². В № 2 «Былого» за 1906 год напечатано письмо Михаила Евграфовича к Чернышевскому, помеченное 14 апреля 1862 года, — значит, после истории из-за Обручева. В письме этом, Михаил Евграфович выражает надежду, что Чернышевский не откажет в своем сотрудничестве в журнале, который он предполагал издавать в соредакторстве с Унковским и Головачевым. Письмо начинается словами: «Милостивый государь» и оканчи-

¹ Михаил Евграфович незадолго перед тем умер (<28 апреля 1889 года>). (Примеч. Л. Пантелеева.)

² Этим же эпизодом, надо думать, объясняется и тот резкий тон, который проявлялся в радикальном «Русском слове» по отношению к Михаилу Евграфовичу. (Примеч. Л. Пантелеева.)

вается: «с истинным почтением и совершенной преданностью имею честь быть вашим, милостивый государь, покорнейшим слугою». Хотя в письме и говорится: «глубоко ценя и уважая вашу частную и общественную деятельность», вышеприведенные заголовок и послесловие ясно показывают чистую официальность письма.

На вопрос Николая Гавриловича я отвечал:

— Да, часто бывал. Михаилу Евграфовичу, как больному, видимо, было приятно всякое внимание, а затем его литературная деятельность, особенно последнего времени, не могла не возбуждать к нему глубочайшей симпатии и уважения.

— Что это вздумалось Михаилу Евграфовичу поднимать такую старину, написать «Пошехонскую старину», да еще растянуть ее на десятки листов? Не понимаю, кому это может быть теперь интересно.

— Лет десять тому назад, — отвечал я, — Михаилу Евграфовичу, вероятно, и в голову не приходило, что он сделается летописцем «Пошехонской старины». Но времена значительно изменились: что считалось навсегда похороненным, да еще с печатью заклеивания, то вдруг стало предметом реабилитации, даже идеализации. Ответом на это течение и явилась «Пошехонская старина»*.

— Да, пожалуй, я этого не имел в виду; но все же страшно растянуто.

Этот разговор о Салтыкове вызвал другой, еще более интересный, — о Некрасове <...>.

Продолжая разговор о Салтыкове, я заметил:

— Михаил Евграфович раз говорил: «Пока Некрасов был здоров, он заходил ко мне чуть не каждый день. Некоторыми сторонами характера Некрасов, конечно, не мог возбуждать больших симпатий: притом он был человек малобразованный (как тогда, так и теперь, я передаю слова Михаила Евграфовича значительно смягченными, — известно, что порой он выражался слишком резко), но до такой степени был умный человек, что с ним каждый день приятно было иметь разговор».

— Да, конечно, Некрасов не был ученый человек, но ведь и образование Михаила Евграфовича все идет из французских газет*. А что касается до характера Некрасова... — И тут Николай Гаврилович очень долго и с оживлением стал объяснять, какой во всех отношениях благороднейший человек был Некрасов...

< запись беседы В. П. Кранихфельда
с Л. Ф. Пантелеевым >

7 АПРЕЛЯ 1908 г. У Л. Ф. ПАНТЕЛЕЕВА

Лонгин Федорович дал мне «право обратиться к нему с разговором об издании Щедрина» по возвращении его из-за границы — в августе.

Он обещал представить мне рукопись «Христовой ночи» для сфотографирования. Рукопись на полулисте. Характерна мелким почерком и массою поправок.

Замечание Унковского о *противоречиях* в характере Щедрина дополняется в записной книжке Пантелеева иллюстрацией: Щедрин был очень дружен с В. И. Лихачевым, но в разговоре с Унковским отозвался о нем весьма дурно, как о пошляке.

В дополнение к эпизоду с «Великоруссом» (у Пантелеева, стр. 192) Пантелеев сообщает, что Щедрин весьма сурово, как о глупцах, отозвался о первомартовцах *.

Лонгин Федорович подчеркивает противоречие между идеями Щедрина, проникнутыми широкими перспективами французских утопистов, и его личной жизнью.

К противоречиям относится и И. Кронштадтский и многие знакомства Щедрина.

Отношения в семье были ненормальными [это мучило Щедрина при его заботах о будущем, о детях]. Жена-франтиха и мотовка, крайне уродливо воспитавшая детей, баловавшая их, возившая их по театрам, увлекавшаяся нарядами.

В. Р. Зотов

Знакомство Салтыкова с Владимиром Рафаиловичем Зотовым (1821—1896), известным в свое время литератором, продолжалось около полувека. Впервые они встретились еще юношами в конце тридцатых годов, на школьной скамье Царскосельского лицея (Зотов был старше Салтыкова на два курса). После окончания лицея оба поступили на службу в Канцелярию военного министерства. Именно в это время они были наиболее близки между собою. Причем сближение их в сороковые годы скреплялось не службой, а некоторым совпадением идейных интересов и общей страстью к литературе и театру. Ссылка Салтыкова прервала их отношения, но впоследствии они возобновились и продолжались, не делаясь, впрочем, особенно тесными, до конца жизни сатирика.

По своим общественно-политическим взглядам Зотов принадлежал к либеральной оппозиции самодержавию. Но он не был чужд и некоторых связей с революционным лагерем. В 1849 году он привлекался по делу Петрашевского, в пятидесятые и шестидесятые годы дважды ездил за границу для свидания с Герценом, сотрудничал в «Колоколе»; позднее по просьбе революционеров-народников хранил у себя архивы «Земли и воли» и «Народной воли».

Последнее свидание Зотова с Салтыковым, о котором он вспоминает в своей мемуарной заметке, произошло в марте 1889 года.

ПОСЛЕ БЕСЕДЫ С МИХАИЛОМ ЕВГРАФОВИЧЕМ

...Я посетил его незадолго перед его кончиною. Он вышел ко мне с тем тяжелым зловещим кашлем, который мучил его уже несколько лет и, не уступая никаким

лечениям, служил доказательством постоянно ослабевающего здоровья дорогого товарища. Я прежде всего, конечно, стал уговаривать его поскорее оставить Петербург, опасный в начале весны для болезней груди и сердца. Он объяснил невозможность скорого отъезда — необходимостью переждать экзамены детей и семейными обстоятельствами. Последний труд его «Пошехонская старина» был уже окончен, и я заговорил об этом капитальном произведении. Выслушав меня, он вдруг стал возражать в пессимистском тоне и сказал: «А я часто думаю, не ошибся ли, что сделал сатиру главною темою моих работ? Не напрасно ли трудился я в течение сорока лет? Поймут ли, оценят ли ее, как следует? Принесет ли она какую-нибудь пользу?» Я, понятно, доказывал ему странность таких мыслей, очевидно навеянных болезнью, старался доказать и высокое значение сатиры и его собственную роль в ней, как первого русского сатирика... Теперь, когда его не стало, я посвящаю его памяти строфы, внушенные мне последнею беседою с ним.

* * *

Сороковых годов боец неукротимый *,
Ты рано кончил свой тернистый, скорбный путь.
Тебя давно томил недуг неизлечимый,
Но сам ты не хотел, не думал отдохнуть,
Пока не кончен труд тяжелый, но любимый...
Не от телесных мук больная ныла грудь:
Ты мыслью мучился, забыв страданья тела.
Цель твоего труда понятна ль и ясна?
Чтоб оценить его, окрепла ль и созрела
В горниле опыта родимая страна?
Высокий подвиг твой, поверь, уразумела
И на него давно откликнулась она.
Как воин доблестный, боец родного слова,
Ты своего меча-пера не покидал,
Смерть вырвала его из рук твоих сурово, —
И, долгою борьбой измученный, ты пал.
Но в избранных сердцах народа нам родного
Ты будешь вечно жить — наш высший идеал.
И не бесплодна здесь была твоя сатира,
Смех едкий отрезвлял застывшие умы
Среди вседневных нужд, дрызг мелочного мира,
Постыдных низостей, невежества и тьмы...
Тот смех спасительный — средь жизненного пира
Иль в годы тяжкие — не позабудем мы!..

**В РЕДАКЦИИ
«ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»**

Г. З. Елисеев

Григорий Захарович Елисеев (1821—1891) восемь лет проработал в «Современнике» и шестнадцать — в «Отечественных записках»; проработал не как рядовой сотрудник, а как ведущий литератор, создатель жанра «внутреннего обозрения» и один из руководителей этих крупнейших демократических журналов эпохи, оказавший серьезное влияние на их публицистические отделы.

«Товарищ Некрасова и Салтыкова, — говорил о нем Лавров на собрании русских эмигрантов в Париже в 1891 году, — один из редакторов журнала <«Отечественные записки»>, который был лучшим и самым верным представителем русской мысли в эпоху самой тяжелой реакции, один из старших представителей этого энергического поколения русской литературы, Григорий Захарьевич Елисеев добровольно оставался почти всю свою жизнь, как личность, мало известным читателям. Между тем он неустанно работал в продолжение многих лет, несмотря на мучительную болезнь; он никогда не спустил своего знамени, несмотря ни на какие преследования. Он лег в могилу, окруженный исключительно личными приятелями и немногими литературными ценителями, едва замеченный тем поколением, за которым теперь очередь действовать на пользу России, но предоставляя будущим историкам русской мысли оценить ту крупную роль, которую играл в битве за правду шестидесятых и семидесятых годов скромный, но упорный боец за эту правду» (П. Л. Лавров, Последовательные поколения. В память Г. З. Елисеева и Н. В. Шелгунова, Женева, 1892, стр. 3—4).

Следует признать, что и теперь, через шестьдесят пять лет после того, как эти слова были сказаны, роль Елисеева в истории русской общественной мысли в полной мере не выяснена. Публицистика Елисеева (почти всегда анонимная) до сих пор не собрана и не изучена, место ее в идейно-политической жизни эпохи еще не определено. Но с полной несомненностью можно утверждать одно: направление, в котором развивались общественно-политические

взгляды Елисеева, расходилось, и чем дальше, тем больше, с направлением его великих соратников по литературно-журнальной трибуне — Чернышевского, Некрасова и Салтыкова-Щедрина. В отличие от них Елисеев представлял либеральное, а не революционно-демократическое крыло в русском просветительстве. Причем с годами Елисеев отступал от радикальных позиций периода своего сотрудинчества в «Современнике» вправо. Если в начале шестидесятых годов еще возможно было участие Елисеева в революционной работе, в частности в деятельности общества «Земля и воля», и III Отделение относило Елисеева «к числу литераторов, составляющих интимный кружок Чернышевского, который им весьма дорожил» (ЦГИАМ, ф. III Отделения, № 109, 1 эксп., 1862, № 61, справка от 28 марта), то в начале восьмидесятых годов даже весьма умеренному Белоголовому Елисеев казался оппортунистом. В письме к П. Л. Лаврову от 6 ноября 1880 года Белоголовый следующим образом отзывался о Елисееве («нашем друге»): «Отечественные записки» процветают, наш друг совсем превратился в оппортуниста, и Салтыков выходит из себя за последние его статьи, находя их и розовыми и мало содержательными вообще...» (ИМЛ, ф. П. Л. Лаврова, п. 31, лл. 97—100).

В условиях реакции восьмидесятых годов, когда понижение общественной активности и упаднические настроения распространились и на демократическую среду, Елисеев, вопреки утверждению Лаврова, настолько «спустил свое знамя», что Салтыков должен был признать невозможность их дальнейшей совместной работы. Получив известие о скором возвращении своего соредактора из-за границы, где он лечился около трех лет, Салтыков писал Белоголовому 5 апреля 1884 года: «...я твердо решил ни к каким редакционным обязанностям Елисеева не допускать. Не можете ли Вы поставить его на эту точку зрения, так как в таком случае он, быть может, и опять решится остаться за границей» (XIX, 404—405). Правительственное запрещение «Отечественных записок» избавило Салтыкова от трудной необходимости осуществить свое решение, но что оно было принято всерьез — сомневаться не приходится. Салтыков не мог допустить участия в руководстве демократическими «Отечественными записками» человека, в представлении которого «все отличие этого журнала от других журналов состояло в том, что он шаг за шагом шел за правительством и искренне и горячо отстаивал как все совершенные им уже реформы, так и те, которые оно предлагало еще совершить» (из рукописи статьи Елисеева о Салтыкове, ИРЛИ, ф. 366, оп. 7, ед. хр. 21). Такая оценка «Отечественных записок», отъединявшая их от демократического лагеря и от борьбы с самодержавием, являлась одним из частных

выражений той линии поведения Елисеева последних лет его жизни, которая определялась поисками контактов и сотрудничества с правительством на основе «совместной разработки вопросов» чисто просветительских, культурнических. С этой проповедью либерального соглашательства и реформизма Салтыкову пришлось сурово полемизировать также и после того, как были закрыты «Отечественные записки» (см. С. Макашин, Памятник идейного распада народничества. О письмах Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину. — «Книга и пролетарская революция», М. 1936, № 6, стр. 118—123). После закрытия «Отечественных записок» и прекращения работы с Салтыковым Елисеев стал править все больше и больше. В рукописи своей предсмертной статьи о Салтыкове бывший сотрудник Чернышевского призывал усматривать «главную силу и опору русского могущества и величия России... в царе Александре II и его реформах» (ИРЛИ, ф. 366, оп. 7, № 21, л. 16).

Связанные в течение многих лет общим делом, Салтыков и Елисеев взаимно ценили и уважали друг друга. Но полного единомыслия между ними не было никогда; не было, вследствие этого, и полного согласия во внутриредакционных делах; не было, наконец, и дружеской близости. В своих доверительных письмах Салтыков не раз характеризовал Елисеева, как человека «хитрого и недоброжелательного», называл его «самолюбивым протоиереем» (см., например, XIX, 204, 314).

Однако Елисеев в своих записках почти не касается всего того, что разделяло его с Салтыковым. Он затушевывает их идейные расхождения, которые, как сказано, приводили иногда к весьма острым спорам и столкновениям. Картина внутриредакционной жизни в «Отечественных записках» получилась в его воспоминаниях несколько идиллической.

И все-таки воспоминания Елисеева занимают важное место в мемуарной литературе о Салтыкове. Это итог, хотя и незавершенный, наблюдений и раздумий, подведенный человеком, которому довелось в течение более четверти века работать в литературе с Салтыковым, находясь вместе с ним в центре управления такими журналами, как «Современник» и «Отечественные записки».

ОТ НЕОКОНЧЕННЫХ ВОСПОМИНАНИЙ О М. Е. САЛТЫКОВЕ

Русская публика знает Михаила Евграфовича Салтыкова как талантливого сатирика, который мог писать только черным по белому, то есть имел способность

бегло схватить различные неприглядные явления русской жизни и передать их в поэтических образах. Но она не знает того, что он был вместе с тем человек замечательно смелой и сильной мысли, что, когда было нужно по обстоятельствам написать для журнала какую-нибудь экстренную публицистическую статью или рецензию на вышедшую в свет книгу, он брался и за это, и все подобные статьи, которых немало наберется в «Современнике» и «Отечественных записках» и которые до сих пор остаются неизвестны публике *, были в своем роде шедевры, сообразно с теми щекотливыми обстоятельствами, по которым они писались. Вообще, Михаил Евграфович по своему темпераменту и призванию был журналист в лучшем смысле этого слова, и трудно сказать, что в нём преобладало: поэтическая ли способность, или строгая логическая мысль; по-видимому, все это в нём было уравновешено. Никто так внимательно и зорко не следил за всеми движениями и явлениями русской и иностранной жизни, начиная от великих до самых малых, никто так не был чуток к новым, едва только нарождающимся переменам и веяниям в общественной жизни, никто не умел так быстро схватить суть этих нарождающихся перемен и веяний и их охарактеризовать часто одним рельефным образом и словом, как он.

Надобно было видеть, в какое он приходил возбуждение и некоторым образом неистовство, когда его вдруг нечаянно поражал какой-нибудь непредвиденный им факт. Раз, помню, Михаил Евграфович как-то уезжал из Петербурга на неделю или более времени, кажется, в Ярославль. По приезде оттуда он в самый день приезда, не читав газет, пришел в редакцию. Начался разговор о Франции, о Тьере. Я сказал, что теперь уже нет Тьера; сегодня в телеграммах уже Мак-Магон объявлен президентом. Как вспрыгнет Михаил Евграфович со стула; точно его укусил кто-нибудь: «Как! Мак-Магон! — воскликнул он. — Эта протухлая крыса... (он выразился непечатно) будет распоряжаться судьбами несчастной Франции. Это ужасно» *. В другой раз, в день смерти Некрасова, мы все, сотрудники «Отечественных записок», собрались на панихиду и сидели в смежной с его кабинетом комнате, разговаривая о покойном. Тут же был и Михаил Евграфович. Вскоре он зачем-то вышел в залу, где лежал покойный, и тотчас же возвратился в сильном

возбуждении, пылая от гнева: «Это черт знает на что похоже, — начинает он, обращаясь к нам, — велел отвезти себя к девкам!» Мы сидели в недоумении, чем раздражился Михаил Евграфович? Кто велел себя отвезти и к каким девкам? «Всю жизнь говорил, что желает быть похоронен на литературном кладбище (Волковом), а перед смертью сделал распоряжение, чтобы его похоронили в Новодевичьем монастыре...» Мы поняли, что речь идет о покойном. Нас это самих всех удивило. «Кто вам сказал?» — спросили мы. «Кто сказал? Конечно, Ераков (он был близкий человек Некрасову и всем распоряжался на его похоронах), у него и бумага в руках и письменное распоряжение покойного», — отвечал, уже несколько успокоившись, но все-таки сердито Салтыков. Все, кто знал Салтыкова и часто видал его, припомнят, конечно, множество случаев подобных раздражений, по поводу часто самых мелких казусов, поразивших его неожиданно. Раздражения эти заканчивались обыкновенно крепким словом или характеристической кличкой по адресу того, кто был их виновником или подал к ним повод.

В явлениях высшего порядка, явлениях общественной жизни и разнообразных общественных веяниях, никаких непредвиденных, поражающих казусов, конечно, не могло быть или они бывали очень редко, ибо все они более или менее вперед обуславливались общим ходом дел; потому, когда они случались, здесь не было таких моментальных раздражений и взрывов, а вместо них являлись умеренно возбужденная мысль и фантазия и заставляли Михаила Евграфовича браться за перо. Раз статья была готова, Михаил Евграфович не любил, чтобы она лежала у него, и тотчас нес ее в редакцию и требовал немедленного печатания. В журнальном деле есть свои коммерческие расчеты, в силу которых не только сообразно разным сезонам в году, но даже сообразно известным месяцам в этих сезонах распределяются статьи, имеющиеся в портфелях редакции: важнейшие, или талантливейшие, или среднего достоинства. Некрасов, самый опытный из редакторов в распределении имеющихся в портфеле редакции статей по сезонам и месяцам, несколько раз мне жаловался, что Михаил Евграфович часто путает все его расчеты в размещении статей: «Точно шило у этого Салтыкова в з..... сидит и не

дает ему покоя. Напишет статью и то и дело ходит и требует, чтобы сейчас печатал. Едва уломаешь его отложить на месяц или на два».

Некоторые из наших писателей и рецензентов, в особенности любители изящной, не тенденциозной беллетристики, не раз выражали сожаление: зачем Михаил Евграфович не сидит и не обдумывает своих сочинений и не пишет таких законченных вещей, как «Семейство Головлевых» * или «Пошехонская старина», а дает неопработанные сатирические очерки вроде журнальных фельетонов. Эти люди забывают, что Салтыков был вовсе не сочинитель, пишущий для увеселения или услаждения праздных читателей, а общественный деятель, который в ту или другую данную минуту хотел осветить для общества то или другое положение дел, как оно ему представлялось, и таким образом дать ему понять, на что оно должно надеяться и чего опасаться. Сам Салтыков смотрел на свои сатирические очерки, как на прямое общественное служение, а на свои беллетристические произведения, как «Семейство Головлевых», «Пошехонская старина», как на отдых от дела, который он не должен был себе позволять. Во время писания своего последнего произведения — «Пошехонской старины» он два раза спрашивал меня: хорошо ли он делает, что пишет это вместо сатирических очерков? * Довольна ли этим публика? Я, конечно, отвечал утвердительно. Другие, к которым он обращался с этим же вопросом, также хвалили его «Пошехонскую старину». Наконец похвалы ей сыпались из всех органов печати. И Михаил Евграфович продолжал писать. Наконец она все-таки ему наскучила *. «Последние главы я скомкал, хотя бы можно было написать их гораздо подробнее и интереснее, — говорил он мне и другим. — Мне хотелось бы перед смертью напомнить публике о когда-то ценных и веских для нее словах: * стыд, совесть, честь и т. п., которые ныне совсем забыты и ни на кого не действуют». При такой задаче служить обществу освещением того или другого общественного положения в данную минуту, как он ее понимал, Михаилу Евграфовичу натурально было не до обработки его сатирических очерков. Он спешил передать обществу вовремя свою мысль. И вовсе не в его темпераменте было сидеть над своим сочинением, вычищать его, выравнивать, придумывать красивые и забо-

ристые фразы. Он писал, как ложилась сама мысль под перо. И если употреблял заботу, то не на то, чтобы одеть ее в забористую фразу, а скорее на то, чтобы смягчить ее суровость и резкость, чтобы она могла благополучно пройти через Сциллу и Харибду русского печатного слова. Надобно сказать, что и свои чисто беллетристические вещи Салтыков писал не без задней мысли. По крайней мере это должно сказать о его «Пошехонской старине». Мне и другим он говорил, что хочет посвятить это сочинение имени покойного Некрасова *. Притом прибавлял, что «ныне вошло в моду плевать на шестидесятые годы и людей, в то время действовавших. Топчут в грязь всех и всё. Начали лягать и Некрасова». Надобно полагать, что Михаил Евграфович своей «Пошехонской стариной» хотел показать всем порицателям шестидесятых годов, что при самом скромном, спокойном, можно сказать, даже идиллическом изображении русского общества, и в особенности общества дворянского, перед самым началом шестидесятых годов в этом обществе не было ничего, кроме повальной мерзости и пошлости.

По смерти Некрасова Салтыков занял в «Отечественных записках» новое положение главного ответственного редактора журнала, которое прежде и более всего должно было удовлетворять его тем, что давало ему и вполне обеспечивало самостоятельность и независимость его собственного литературного труда. Он теперь стоял непосредственно перед публикой и мог во всякое время говорить с ней о том, что считал необходимым в ту или другую минуту. Вместе с тем ему же стало принадлежать и верховенство в руководстве журналом. Он, конечно, не мог изменить того направления, в котором велся журнал, но, смотря по надобностям и обстоятельствам, он мог понижать и возвышать его тон, давать ему ту или иную окраску. Другая немаловажная выгода нового положения Салтыкова была та, что он, сделавшись редактором, получил возможность ближе познакомиться и сойтись как с сотрудниками журнала, так и вообще с рабочим литературным людом. Как это ни странно сказать, а между тем несомненно, что, проработав почти двадцать лет в двух таких распространенных журналах, как «Современник» и «Отечественные записки», Михаил Евграфович до своего редакторства

оставался известным рабочему литературному люду только по имени и сочинениям и был совсем почти неизвестен по своим личным качествам. Семейная обстановка Михаила Евграфовича была такова, что не давала ему возможности входить в сближение, в сношения с литературными рабочими, если бы он и хотел. Он часто сам на это жаловался, даже уже после того, как сделался редактором, когда он сам стал желать этого сближения. Обыкновенно серьезный, даже суровый вид Михаила Евграфовича, его неприветливость и несколько грубоватая, точно сердитая речь, наконец раздражительность, готовая вспыхнуть по поводу всякой мелочи, — так он представлялся всякому незнакомому лицу, имеющему до него дело, — не могли, конечно, производить хорошего впечатления в людях, имеющих до него дело, и располагать к знакомству с ним. С другой стороны, в Михаиле Евграфовиче долго оставались традиции условного дворянского декорума относительно внешности, одежды, обращения и т. п., и он на молодых литераторов, пренебрегавших этим декорумом, смотрел как на людей «необнатуренных», как он выражался, и, естественно, остерегался вступать с ними в более близкие отношения. Несколько случайных инцидентов содействовали к тому, чтобы утвердить его в этом предубеждении. Еще во время существования «Современника» пришел к Михаилу Евграфовичу на квартиру и, кажется, по его же приглашению, покойный Левитов, чтобы поговорить о представленной им в редакцию «Современника» статье. Михаил Евграфович был дома. Но, вероятно, не предупрежденный о приходе Левитова, лакей не только его не принял, но по его неказистому платью отнесся к нему с обыкновенным лакейским высокомерием. Левитова это взорвало, и он написал Михаилу Евграфовичу обидчивую записку*, в которой, титулуя его вашим превосходительством, наговорил ему пропасть разных неприятностей. Это сильно взволновало Салтыкова, и он долго не мог забыть записки Левитова.

В другой раз, уже во время издания «Отечественных записок» под редакцией Некрасова, еще более резкий инцидент случился с Некрасовым. К нему пришел Н. Успенский, сотрудничавший в «Современнике», для объяснения по старым счетам об издании своих сочине-

ний, которые принял на себя Некрасов¹. Объяснение вышло так горячо и было так обидно для Некрасова; что он вынужден был оскорбить Успенского действием *. Это рассказывал сам Некрасов; но объяснение происходило между ними с глазу на глаз, без свидетелей, а потому, насколько верно показание Некрасова, сказать трудно. По крайней мере я никогда этому не верил. Мне казалось и прежде и теперь представляется невозможным, чтобы такой выдержанный, всегда ровный и хладнокровный по наружности человек, как Некрасов, какой бы при этом гнев и бешенство ни кипели в его груди, поднял руку на кого бы то ни было. Какую Некрасов имел цель, возводя на себя такую некрасивую вещь, не знаю, но рассказ его производил большую сенсацию в слушавших, в особенности на Михаила Евграфовича, и заставлял держать себя подальше от малознакомых сочинителей вообще.

В тесном редакторском кружке «Современника» и «Отечественных записок» Михаил Евграфович, конечно, был более известен, но и здесь он не мог выказаться теми сторонами, которые раскрылись в нем, когда он сделался редактором журнала и сам стал хозяином дела. Некрасов имел огромное на него влияние, да и другие стороны своей личности не мог держать нараспашку, выказывать вполне. Сам Некрасов по натуре был скрытен и в речах своих сдержан, а когда он делался очень экспансивным, в тесном ли кругу редакции, а в особенности в сепаратных разговорах с кем-нибудь из своих сотрудников, то надобно было держать ухо очень остро. Он не пускался в откровенности без цели. Он прошел длинную и тяжелую литературную школу. И из своей долгой литературной практики вынес и усвоил очень несимпатичный и несчастный для него принцип, много ему вредивший: «*divide et impera*»². Оттого искренности его верили мало, даже тогда, когда по всей видимости ей нельзя было не верить.

¹ По словам Н. Успенского, он, вернувшись из-за границы, «узнал из достоверного источника, что Некрасов вместо одного завода, как обещал, напечатал мои рассказы в количестве 6000 экземпляров ценою по 1 р. за каждый». После этого Успенский порвал свои отношения с Некрасовым (Н. Успенский, Из прошлого, М. 1889, стр. 7—8). (Примеч. Г. Елисеева.)

² «разделяй и властвуй» (лат.).

Мне скажут, что я бросаю на покойного Некрасова тень. Конечно, бросаю и при этом знаю, что у Некрасова была не одна эта тень. Их было очень много. И, несмотря на эти тени, я должен не только повторить вслед за покойным Михаилом Евграфовичем, что Некрасов был «большой» человек, но и прибавить к этому, что, обозревая деятельность Некрасова за все то время, с которого я его узнал, вплоть до его смерти, я не знаю ни одного человека, который бы столько потрудился и оказал столько услуг русской литературе, как он. За все свои тени он с лихвой заплатил еще при жизни и продолжает расплачиваться и теперь, по смерти. Когда будут поняты и оценены его труды, его заслуги для русской литературы, как следует, и будут ли, еще бог весть. Впрочем, о Некрасове и «Современнике» я надеюсь написать особое воспоминание *.

Теперь же обращаюсь снова к Михаилу Евграфовичу. Сделавшись редактором и проводя от трех до четырех часов и более в редакционные дни в редакции в постоянных разговорах с сотрудниками, с литераторами, приносившими статьи и приходившими за другими делами, с заведующим конторою, с метранпажем, он с каждым днем более и более выяснялся своими личными качествами. По общительности натуры Михаил Евграфович был совершенно противоположен натуре Некрасова. Насколько последний был крайне скрытен и сдержан, настолько же Михаил Евграфович был откровенен и экспансивен до крайности. У него не могли держаться задние тайные мысли ни о ком и ни о чем, разве к тому вынуждала какая-нибудь чрезвычайная необходимость. Впечатлительность натуры его была так велика, что каждое поразившее его явление заставляло его немедленно высказываться, даже если бы он и не хотел. Раз, помнится, вскоре после смерти Некрасова Г. *, встретившись с ним, рассказал ему, что я затеваю новый журнал и приходил к нему, Г., с приглашением сотрудничать в этом журнале. Михаил Евграфович так был этим удивлен, что, не дождавшись редакционного дня, немедленно написал мне укорительную записку *, что я, очевидно, из неприязни к нему, к явному подрыву «Отечественных записок», хочу основать новый журнал. Я отвечал ему, что никакой неприязни к нему не имел и не имею, затевать новый журнал мысли не имел, да и странно было

бы думать, что я буду подрывать, если бы даже и мог, «Отечественные записки», основанные при моем участии и содействии, за что вместе с Некрасовым я претерпел столько брани. И когда же? Теперь, когда «Отечественные записки» вполне утвердились, процветают, с году на год приобретают все более и более подписчиков!

Таков Михаил Евграфович в отношении ко всем. Раз появилось в нем по отношению к какому-нибудь из сотрудников неприятное чувство, он высказывал его немедленно вполне, и дело объяснялось к общему удовольствию. Эта искренность и прямота, служа к сохранению постоянного мира и согласию между сотрудниками, возбуждала вместе с тем общее к нему уважение и доверие и делала отношения к нему легкими и приятными. Не менее — если еще не более — обаятельно эта искренность и прямота действовали на лиц сторонних, приходивших в редакцию по разным делам. Всякий автор, приходя в редакцию, мог быть уверен, что ему сделают непременно то, что обещают, и в тот именно срок, в который обещают, и скажут прямую истину о его труде, как бы она ни была горька, не прикрываясь никакими сторонними мотивами. Если Михаил Евграфович дал обещание прочесть статью в такой-то срок, то непременно прочтет. Если статья показалась ему дурною, то так и ответит автору, что находит статью его дурною, и объяснит почему. Самая раздражительность его, вследствие которой Михаил Евграфович приходил в возбуждение по поводу разных мелочей, высказанных со стороны приходящих, в том числе и со стороны авторов, делавших возражения на его мнения о их статьях и вызывающих во время этого возбуждения пикантные юмористические словца по адресу возражателей, не только никогда никого не огорчала, а напротив, в некоторых возбуждала даже веселость. Михаил Евграфович часто был так мил именно в этом возбуждении. Мало-помалу через лиц, приходивших в редакцию и лично объяснявшихся с Михаилом Евграфовичем, через сотрудников «Отечественных записок» оригинальная личность его сделалась известною во всех литературных кружках. Повторялись везде его остроумные изречения, рассказы о его манере держать себя, о его речи, походке. Одним словом, прежний бука с его суровым видом и

сердитою речью сделался общим любимцем литературных кружков.

В качестве редактора журнала Салтыков также резко отличался от всех других редакторов, в том числе и от Некрасова. Большая часть наших редакторов, набирая сотрудников, что называется, с борку по сосенке, похожа на дурных кучеров, которые не дают лошадям бежать спокойно и ровно, дергают их без всякой нужды из стороны в сторону. Известно, что нет ничего хуже таких кучеров, нет ничего хуже и таких редакторов. Напрасно они держат то и дело совещания со своими сотрудниками, о чем писать в тот или другой момент, напрасно потеют, сидя с утра до вечера над корректурами, стараясь смягчить или ослабить ту или другую резкую фразу в виду тех или других соображений о возможных читателях и т. п. Все это ни к чему не приводит, кроме возбуждения нервной боязни в сотруднике за свою натурально являющуюся мысль, за свою фразу, кончающейся в конце концов совершенным его обезличением. В «Современнике», с того времени как я его знаю, дело это повелось другим образом. Там набирались подходящие к направлению журнала сотрудники, им представлялось писать в каждый данный момент, что им бог на душу положит. Никто не следил ни за мыслями, ни за фразами. Иногда казалось, что точно редакторы не читают никаких статей в своем журнале, а между тем само собой выходило все ладно. Почему? Да потому, что в журнале-то главным образом и нужно, чтобы все говорили в одно. Не только удачные фразы, но и неудачные, то есть слабые, целые статьи, если только они бьют в одну цель, в общем несколько не вредят делу. Оттого «Современник» торжествовал над всеми журналами не только в первый период своей обновленной деятельности с 1857 по 1862 год, когда им руководил его блестящий штаб с Чернышевским во главе, но и впоследствии, когда в нем сильно чувствовалось отсутствие этого штаба, особенно в критическом отделе, сильно обедневшем и изменившемся.

Сделавшись редактором «Отечественных записок», Некрасов остался к ним в таких же отношениях, в каких был и к «Современнику». Человек от природы несомненно умный, с сильно развитым эстетическим и критическим чутьем, он ограничивался выбором подходящих со-

трудников и предоставлял делу идти, как оно могло идти, не подражая тем малоопытным и неискусным кучерам, которые без толку дергают лошадей и мешают им бежать спокойно и ровно. Сам Некрасов, непрестанно работавший в течение тридцати лет, если не более, в разных журналах и изданиях, более или менее был утомлен этой работой и занимался ею, так сказать, наскоком и порывами. Иногда он все читал, что печаталось в журнале, от начала до конца, иногда оставлял журнал на целые месяцы, в надежде, что и без него, с одними сотрудниками, дело пойдет так же хорошо, как оно шло, не смущаясь тем, что явятся статьи неудачные или что допущены будут в некоторых из них разные неровности и излишества и т. п. И дело действительно шло хорошо, как только могло идти при данных наличных силах.

Михаил Евграфович, в общем, держался в ведении журнала той же системы, что и Некрасов, то есть, употребляя прежнее сравнение, он, так же как Некрасов, не принадлежал к числу тех плохих кучеров, которые бестолковым дерганьем лошадей мешают только свободной, спокойной и ровной езде. Но Михаил Евграфович был кучер не только умелый и ловкий, но и кучер-щеголь, который заботился не только, чтобы езда была хороша и спокойна, но чтобы при выезде не было никакой неряшливости ни в сбруе, ни в экипаже, чтобы все в выездном ансамбле если не блистало, то было в порядке и чисто. Если Некрасов с удовольствием предоставлял делать другим даже свою работу, когда сам не имел для нее времени или охоты, то Михаил Евграфович не только не возлагал ни одной строки своей работы на других, но имел терпенье пересматривать работу всех своих постоянных сотрудников и по своему темпенту не мог успокоиться до тех пор, пока ему не будет известно до последней строки, что напечатано в его журнале. Лично принадлежащее ему работою он считал всю беллетристическую часть журнала, даже в том случае, если бы статья была чисто публицистическая, но имела внешнюю беллетристическую форму.

Все эти статьи отнимали у него много времени и труда; некоторые из них, принадлежащие авторам начинающим или малоизвестным, он, конечно, с их позволения, переделывал до неузнаваемости, почти что писал вновью; затем со всем вниманием прочитывал все

другие, не беллетристические статьи посторонних лиц, входивших в книжку журнала, также библиографию журнала, наконец статьи постоянных сотрудников, замечая, что представлялось ему ненужным или неудобным, и просил читавших статьи или самих авторов их выпустить или исправить замеченное. Редакторская работа в таком виде, как ее вел Михаил Евграфович, была чисто работа египетская. Но он во все время своего редакторства вел ее с особенным усердием и, когда, окончив ее, еще находил время написать заключительный фельетон в выходящую книжку журнала, то был в полном восторге, что выходящая книжка устроена им вполне и читатель ею будет доволен. Наслаждение этою мыслью составляло самое высшее из его наслаждений. Михаил Евграфович был вполне редактор-работник в полном и самом лучшем смысле этого слова, какие едва ли когда-нибудь у нас еще бывали.

Кроме занятия чисто литературной и редакторской работой, у Михаила Евграфовича не мало уходило времени на счета по конторе журнала. Он так усердно заботился о журнальной кассе, так зорко следил, чтобы ни одна копейка даром не пропадала, что едва ли он более заботился о своей собственной кассе. Михаил Евграфович по природе вовсе не был скуп, напротив, скорее щедр, когда это было нужно. Все расходы по журналу по смерти Некрасова не только не уменьшились, но постоянно возрастали и увеличивались. Лично для себя черпать из этой кассы более, чем он получал прежде, он вовсе не хотел, хотя бы имел полное право по той работе, которую он нес в журнале. Чистая прибыль от журнала обыкновенно делилась в «Отечественных записках» на четыре части: одна определенная часть, не знаю, кажется третья, отдавалась за аренду Краевскому*, остальные две трети делились между тремя членами редакции поровну. Когда по смерти Некрасова вместо него членом редакции сделался Н. К. Михайловский, то Михаил Евграфович, перепишав то же самое домашнее условие, которое было при Некрасове, исключил из него ту тысячу рублей, которую получал Некрасов в качестве ответственного редактора. Мы с Михайловским, конечно, всеми силами старались убедить его, чтобы он не отказывался от такой ничтожной, собственно говоря, прибавки к его редакторскому гонорару сравнительно с на-

шим. Но он и слышать ничего не хотел о какой бы то ни было прибавке. «Я хочу, — отвечал он решительно, — получать одинаковый редакторский гонорар с вашим». На том и уперся и до самого закрытия журнала, несмотря на свою усиленную редакторскую работу, не хотел брать ни гроша более нас. Вообще в денежных делах Михаил Евграфович старался быть справедливым, насколько возможно, не только юридически, но и нравственно. Когда я сделался болен и уехал за границу *, я, в продолжение двух с половиною лет, вплоть до окончания арендного контракта с Краевским, то есть до конца 1883 года, получал полное редакторское содержание, на что нравственно я считал себя отчасти вправе как основатель «Отечественных записок», хотя по существующему между нами условию для больных редакторов назначалось другое, гораздо меньшее содержание. И когда я раз написал ему письмо с просьбою, в виду больших расходов на меня журнала, подвести и меня под эту статью о больных редакторах *, то это его сильно взволновало, и он ответил мне 15 мая 1882 года: «Письмо Ваше двояко взволновало меня. Во-первых, Вы никакого повода не имеете думать, чтоб отношения Ваши к «Отечественным запискам» могли в чем-либо измениться. Ни мне, ни Михайловскому ни малейшей мысли в этом роде не приходило в голову, и мы считаем, что, покуда контракт с Краевским существует, Вы имеете право на все те денежные выгоды, которыми Вы пользуетесь теперь и пользовались до болезни. Было бы несправедливо и даже бесчестно что-нибудь изменять <...>. Будьте так добры, оставьте всякие мысли о перемене отношений и о ссылках на контракт. Между людьми добросовестными об этом не должно быть речи, и если б контракт был разорван, то сила его была бы обязательна. Само собой разумеется, что, раз Вы воротитесь в Россию и будете в силах работать, Ваше место в редакции восстановится само собой. И я решительно не согласен ни на какие другие сделки, кроме тех, которые установились и существуют. Желательно было бы, чтоб и Вы в Ваших заботах о своем здоровье не имели никаких других соображений, кроме интересов самого здоровья. Уверяю вас, что, действуя иначе и напоминая о том мне, Вы глубоко меня, до крови огорчите <...>. Что же касается до того, что с будущим годом кончается срок контракта с Краевским, то я теперь

не могу еще определить, вступлю ли в новые обязательства и насколько. Дело в том, что я устал до бесконечности. Не столько от физической боли, сколько от нравственной. Это определится в течение зимы, но во всяком случае, ежели и продолжу редакторство, то на год или на два — не больше. И с тем непременным условием, чтоб и Вы участвовали» *.

И потом, когда несколько раз мне приходило на мысль распорядиться некоторыми суммами денег, находящимися в его руках и мне не нужных в данную минуту, употребив их для целей сторонних, он постоянно меня останавливал: «Почему Вы думаете, — писал он мне несколько раз, — почему Вы уверены в прочности «Отечественных записок»? Я нисколько в этом не уверен, я считаю их, напротив, очень непрочными. А когда они прекратятся, чем Вы тогда будете существовать, да еще за границей?» * Я в то время мало был склонен верить таким опасениям.

Мне казалось, что тот умеренный тон, в каком «Отечественные записки» издавались и издаются, благодаря которому они пережили столько невзгод и благополучно перешли невредимо даже катастрофу 1 марта * и менять который им не предстоит нужды и на будущее время, — что этот умеренный тон, которого они постоянно держались и держатся, служит достаточным ручательством за их всегдашнюю прочность. А раз они будут существовать, я всегда буду иметь денег больше, чем сколько мне нужно. Только внезапное и беспричинное закрытие их уничтожило эти мои иллюзии *. И только тогда я понял, насколько Михаил Евграфович был практичнее и прозорливее меня в этом случае. Не охлаждай он меня тогда своим скептицизмом и не останавливай моих необдуманных порывов, — в каком бы я очутился теперь положении?

К этому не могу не присовокупить, что мне всегда будет памятна та неизменная, самая нежная заботливость, которую имел обо мне Михаил Евграфович во все время моего пребывания за границей. Несмотря на множество дел и хлопот по редакции, несмотря на его частые огорчения со стороны цензуры и на случавшуюся нередко болезнь его самого и его семьи, он находил время вести со мной довольно частую и самую аккуратную корреспонденцию. Он сообщал мне о том,

что делается в России, осведомляясь о моих нуждах, исполнял мои комиссии, сам вел точный счет моим деньгам, высылал, сколько нужно, и хранил остальные.

Редакторство составляет один из важнейших моментов в жизни Михаила Евграфовича, и я считаю нужным осветить его несколько подробнее по имеющимся у меня несомненным документам — собственноручным письмам Михаила Евграфовича *.

Михаил Евграфович сделался редактором пятидесяти лет от роду. Литературный талант его был тогда в полном расцвете своих сил. Став во главе любимого им дела, он предался ему вполне, со всем напряжением своих сил, со всею энергией. Но это именно по обстоятельствам и сделалось началом его конца. Оно, то есть редакторство, в связи с его собственной неутомимой литературной деятельностью, мало-помалу, день за днем, расшатывая его нервы, произвело, наконец, полное их расстройство и в конце концов наделило его тою страшною болезнью, которой он страдал целых четыре года и от которой умер. Можно сказать с полной уверенностью, что, не сделайся Михаил Евграфович редактором, оставаясь сотрудником в каком-нибудь журнале, он не подвергался бы тем непрерывным волнениям, которые испытывал в качестве редактора журнала, и продолжал бы жить и писать еще долго и долго. Духовная его природа была так неистощимо богата, что с летами силы ее не уменьшались, а, по-видимому, все более и более возрастали, как можно видеть из его последних произведений. Мозговая масса его была, очевидно, вполне крепка и здорова для отправления его обычных литературных занятий. Все остальные важнейшие органы его телесного состава, несмотря на его крайнее истощение от четырехлетних непрерывных страданий, при вскрытии оказались настолько прочными, как удостоверяли присутствовавшие при вскрытии врачи, что он еще долго мог жить с ними. Ясно, что главная причина его смерти была не столько физическая, сколько нравственная, зависящая от тех огорчений, которые принесло ему с собой редакторство в таком прогрессивном журнале, как «Отечественные записки»... *

С. Н. Кривенко

Народнический публицист Сергей Николаевич Кривенко (1847—1907) в лучшую пору своей деятельности стоял очень близко к редакции «Отечественных записок». Привлеченный в 1873 году Михайловским, он вместе с ним и Елисеевым, сразу оценившим близкого ему по духу нового сотрудника, занимался в журнале разработкой программных руководящих статей. С половины 1881 года Кривенко, по предложению Салтыкова (XIX, 203), заменил в «Отечественных записках» уехавшего за границу больного Елисеева на ответственном посту обозревателя основных событий внутренней жизни. Его ежемесячные очерки «По поводу внутренних вопросов» — они печатались без подписи — пользовались популярностью в кругах демократической интеллигенции не только народнического толка.

В конце 1882 года, когда Михайловский был выслан из Петербурга, Салтыков стал «приближать» Кривенко к руководству журналом, но делал это осторожно, с внутренними сомнениями. «Думаю приспособить Кривенко, — писал он Белоголовому 18 декабря 1882 года, — но какова это будет помощь, не знаю» (XIX, 308). Он поручил Кривенко заведование «вторым отделом» журнала — отделом критики и публицистики, именовавшимся официально «Современное обозрение». Салтыков считал, что Кривенко «отчасти» мог заменить в редакции Елисеева и что «дело у него наладилось» (XIX, 314 и 392). Так продолжалось два с половиной года. В ночь на 3 января 1884 года Кривенко был арестован. Он стал одной из первых жертв так называемой «судейкинско-дегаевской ликвидации» — очередной попытки органов политического надзора царизма нащупать и разгромить основные силы революционного подполья в России. Смерть Судейкина и бегство Дегаева помешали департаменту полиции организовать большой политический процесс, к которому должен был быть привлечен и Кривенко. Все же следствие установило, хотя и неполно, что с 1879 года, то есть

с момента зарождения «Народной воли», Кривенко принимал деятельное участие в ее изданиях, а в 1882—1883 годах несколько раз входил в соприкосновение с центральной организацией партии, в частности через Дегаева. Кривенко не знал, разумеется, что Дегаев уже встал в это время на путь предательства. На следственных допросах Кривенко объяснял свои отношения с Дегаевым (будто бы известным ему только под конспиративной фамилией Федоровского) «чисто литературными интересами». Он утверждал, что Дегаев посещал его как сотрудника журнала «Отечественные записки» и приносил ему «разные статьи» с просьбой поместить их в журнале (ЦИАМ — ф. департамента полиции, № 102, 3 дело-производство, 1885, № 996: «О дочери коллежского советника С. Е. Усовой», л. 9, об.).

В июле 1885 года, после девятнадцати месяцев заключения в Петропавловской крепости, Кривенко был сослан. Резолютивная часть «высочайшего повеления» о ссылке включала и такой пункт: «За сношения с Дегаевым и переписку с политическими эмигрантами и ссылными *по поручению редакции «Отечественных записок»* (там же, 1889, № 1297: «О дворянине С. Н. Кривенко», л. 15 и цит. дело № 996 о С. Е. Усовой, л. 9 об. — подчеркнуто нами — С. М.).

Дело Кривенко было использовано властями как одна из мотивировок прекращения «Отечественных записок». Правительственное сообщение гласило: «Следствием, кроме того, установлено, что заведовавший одним из отделов <...> журнала до времени его ареста был участником преступной организации» («Правительственный вестник», 1884, № 87). Слова эти относились к Кривенко.

Вернувшись из Сибири в августе 1888 года, Кривенко, еще не имевший права жительства в столицах, все же несколько раз получал разрешение на кратковременные поездки в Петербург из Новгорода, где он поселился. Он виделся с Салтыковым между 15 и 21 сентября 1888 года и в марте и апреле 1889 года (цит. дело № 1297, лл. 108а и след.). Эти встречи также нашли отражение в публикуемых воспоминаниях, хотя в основном воспоминания относятся к десятилетию 1873—1883 годов. Они были написаны летом 1889 года, вскоре после смерти Салтыкова, но по цензурным причинам смогли появиться в печати лишь в конце следующего 1890 года.

В 1892 году Кривенко стал одним из редакторов журнала «Русское богатство» — органа либерального народничества. Здесь он выступил со статьями, направленными против русских марксистов, и подвергся уничтожающей критике Ленина в работе «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?». На примере выступлений Кривенко и его единомышленников — Михайловского (с ним, впрочем, Кривенко вскоре резко и навсегда

порвал), Южакова и других руководителей «Русского богатства», Ленин показал закономерность вырождения народничества в мешанский культурнический оппортунизм. Кривенко периода девяностых годов характеризуется Лениным как обуржуазившийся демократ, у которого «и следа не заметно пожеланий какого бы то ни было коренного изменения современных порядков» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 1, стр. 228). Эти элементы буржуазно-оппортунистической идеологии были присущи Кривенко и раньше. Но в период демократического подъема семидесятых — начала восьмидесятых годов, когда Кривенко работал в «Отечественных записках», его политические настроения еще не отличались тем примиренчеством, к которому он пришел позднее, в результате общего вырождения народничества и своей собственной эволюции. В те годы Кривенко, как сказано, был связан с революционным подпольем.

Салтыков не разделял программных установок «внутреннего» обозревателя своего журнала. Он считал, что Кривенко не видит или сглаживает остроту и сложность противоречий в русской жизни, проповедует практицизм «малых дел», что вообще кругозор его ограничен крестьянской исключительностью и узостью народнической доктрины. «Пора бы «Внутреннее обозрение» поставить на почву общечеловеческую, а не исключительно крестьянскую», — писал Салтыков Михайловскому 13 января 1884 года (XIX, 383). Но Кривенко искренно сочувствовал угнетенному положению крестьянства и горячо выступал в защиту его интересов, как он их понимал. Этот демократизм являлся, при всех разногласиях между Салтыковым и Кривенко, платформой их совместной журнальной деятельности и личных дружеских отношений.

Среди воспоминаний о Салтыкове, оставленных народническими публицистами «Отечественных записок» — Елисеевым, Михайловским, Южаковым, Абрамовым, Скабичевским, — очерк Кривенко выделяется не только своей обширностью, но определенностью и широтой именно мемуарного замысла. Взявшись в 1889 году, вскоре после смерти Салтыкова, по свежей памяти писать мемуары о Салтыкове, Кривенко несомненно уже думал о своей следующей работе — биографии сатирика. Поэтому он постарался вспомнить все, что представлялось ему ценным для характеристики Салтыкова — и как писателя, и как общественного деятеля, и как человека. Кривенко был очень озабочен тем, чтобы обеспечить наибольшую достоверность и объективность своих воспоминаний. Об этом свидетельствует, в частности, его переписка с Южаковым и Михайловским, с которыми он советовался во время работы, контролируя их памятью верность отдельных своих наблюдений и припоминаний. Эти усилия не остались безрезультатными. И только там, где Кри-

венко оставляет перо мемуариста и обращается к общим идеологическим оценкам и характеристикам, он вносит в свой очерк путаницу и фальшь народнической легенды о Салтыкове. Таково, например, идиллическое изображение совместной работы Салтыкова с народническими теоретиками, затушевывание антагонизма и борьбы в редакционной жизни «Отечественных записок», навязывание сатирику не свойственных ему «общинных склонностей», внушающее неверное представление о его подлинных взглядах на общину. Но подобных мест немного. В целом же Кривенко удалось создать правдивый и достоверный образ Салтыкова — один из самых ценных и крупных портретов в мемуарной литературе о писателе.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О М. Е. САЛТЫКОВЕ»

1

Мне кажется, что на каждом из знавших лично М. Е. Салтыкова лежит нравственная обязанность записать по свежей памяти свои воспоминания о нем, чтобы сохранить от забвения те черты, которые могут характеризовать его как человека, как писателя и как общественного деятеля. Без этого невозможна хорошая его биография, и чем больше будет таких воспоминаний и материалов, тем полнее и лучше обрисуется его личность. Человеческая память — слишком ненадежный архив: некоторые факты и обстоятельства с течением времени утрачивают краски и настоящий смысл, а многое и совсем забывается; виденное кажется слышанным, а слышанное виденным; пущенный кем-нибудь удачный анекдот — действительностью, а действительность — анекдотом.

Незадолго перед смертью Михаил Евграфович сказал мне, между прочим, в разговоре: «Обиднее всего, что умрешь, и — будут про тебя только анекдоты рассказывать...» Собственно говоря, в анекдотах ничего еще дурного нет, если они хороши и правдоподобны: чуть ли не про всех великих людей существуют анекдоты, а вместе с тем рассказывают про них же и нечто иное, что сделало их великими, но действительно одни «только анекдоты» обидны. Об этом даже подумать только — и то тяжело. Положим, что Салтыков всегда преувеличивал опасения и в данном случае преувеличил анекдотическое усердие

тех, о ком говорил и от кого ждал анекдотов; положим, что анекдотов про него не рассказывают и смерть его вызвала много самых искренних сожалений и слез; но в данном случае, относительно литературных деятелей, у нас вообще дело стоит как-то чересчур сурово и несправедливо, я сказал бы даже неблагоприятно <...>.

Когда умирают не «второстепенные величины», как Хвощинская и Минаев, а такие крупные личности, как Некрасов и Салтыков, то о них говорят и пишут, конечно, больше, но все-таки и о них не особенно много писалось и пишется. Я не могу назвать краткого биографического очерка, приложенного к стихотворениям Некрасова, не только полную, настоящую биографию, но даже настоящую характеристику; не могу также назвать нескольких брошюр и книжечек о нем <...> — серьезными литературными работами и не могу указать хорошей критической оценки его произведений и литературной деятельности вообще. Салтыкову несколько больше посчастливилось, но и о нем не особенно много пишется и далеко еще не все дано, что желательно было бы видеть. Слишком интересный и содержательный он человек и в слишком интересное и богатое событиями время жил. Даже органы, причисляющие себя к одному с ним знамени и желавшие, по-видимому, почтить его память, дали слишком мало <...>. Это либо критические и библиографические статьи, касающиеся преимущественно его произведений, либо воспоминания, обнимающие период только журнальной его деятельности. Мои воспоминания также ограничиваются только этою последнею сферою и относятся к последним десяти годам его деятельности в «Отечественных записках» (1873—1883 гг.) и к самому последнему времени (1888—1889 гг.). Но, кроме этого, у него было интересное детство, частью вошедшее в «Пошехонскую старину» и другие произведения, имеющие не мало автобиографических черт, а частью никуда не вошедшее; у него была юность, когда складывался его характер и вообще духовная сторона, юность, которую он почему-то вспоминал гораздо меньше, чем детство; у него были тяжелые годы подневольной жизни и службы в Вятке, а затем службы в других местах, где он уже в иной роли мог относиться к жизни и ее темным сторонам. Этот период деятельности Михаила Евграфовича особенно интересен: он и там вносил в дело ту же пря-

моту, ту же искренность, страстность и ничем не подкупную честность, какими отличался и в литературе. Рассказы его из этого времени полны тяжелых впечатлений и самых мрачных красок. Ему приходилось видеть воочию все прелести дореформенных порядков: крепостное право, откуп, судебную волокиту и взяточничество, самоуправство, насилие и грубость, бюрократическое всевластие, лень и формализм, и само собою разумеется, что он не оставался ко всему этому равнодушен. Я как сейчас помню его рассказы о ревизии тюрем и мест заключения (если не ошибаюсь, в качестве вице-губернатора): «Вы не можете представить, какие ужасы мне приходилось видеть; я ведь застал еще застенки и деревянные колодки, из которых заставлял при себе вынимать людей». Им было возбуждено несколько дел о жестоком обращении с крестьянами. Доклады, отзывы, заключения и вообще переписка его по таким поводам, хранящаяся где-нибудь в архивах, должна представлять большой интерес *. Писал он бумаги, по всей вероятности, не обычным форменным языком, а языком литературным, живым и страстным. Так это можно думать из того, что эти официальные бумаги и были причиною выхода его в отставку. Михаил Евграфович рассказывал, что покойный государь, которому случалось, при рассмотрении разных дел, прочитывать иногда и некоторые из его бумаг, обратил на них внимание и выразил по начальству, что они ему очень не нравятся слишком мрачным тоном, что он их просто не может читать *. Само собою разумеется, что это сейчас же стало известно Михаилу Евграфовичу, и он поторопился подать в отставку. В течение всего этого времени у Салтыкова были товарищи, сослуживцы и просто очевидцы его жизни. Как хорошо все они сделали бы, если бы записали о нем то, что видели и знают <...>.

Мне говорят люди, очень любившие и уважавшие Салтыкова: «Как хорошо, что о нем не всякий может писать, а то захватили бы его чистый образ». С этим я не согласен. Салтыкова трудно захватить, как бы ни были нечистоплотны некоторые руки: слишком много в нем белого и слишком белизна эта на мрамор похожа своею прочностью; одно не пристанет, а другое отстанет. К тому же я глубоко уверен, что дурного о нем нечего и некому сказать, кроме разве только тех господ, кого он сам не любил и кто заслуживал этого; но, по всей

вероятности, и они, раз захотят быть справедливыми, увидят, что, каковы бы ни были его ошибки, недостатки и шероховатости характера, все-таки он был человеком честным, добрым и в высшей степени прямодушным и справедливым. Он органически не переносил никакой фальши и неправды; его замечательное прямодушие и честность и были главною причиною неровностей его характера. Наконец, если бы кто-нибудь непременно пожелал заняться пачкотней, то есть кому сказать таким пачкунам: «Не очень-то пачкайте» — и снять следы нечистоплотности. Гораздо хуже следующее положение: когда проходит десяток-другой лет, когда люди, знавшие близко человека, вымирают и остаются одни только тихие летописцы (обоего пола), которые до времени молчат, а потом и начинают невозбранно сообщать были и небылицы про покойника, приплетая иногда сюда же и личную к нему неприязнь, или когда позднейшие биографы и разные литературные историографы начнут сообщать о нем сомнительные слухи и сведения. Конечно, многое о Салтыкове еще не может быть напечатано как по личным его отношениям к разным лицам (например, переписка), так и по другим причинам, но и в пределах возможного может быть дано и сделано гораздо больше. Для этого нужно только помнить одну хорошую американскую поговорку: «Никогда не следует откладывать до завтра того, что можно сделать сегодня» <...>.

Но буду лучше рассказывать по порядку то, что помню о Михаиле Евграфовиче. К сожалению, порядок этот не хронологический, а порядок отдельных; нередко отрывочных впечатлений, из которых складывалось представление о нем, как о человеке, писателе и общественном деятеле. Не велика будет моя лепта, но, принесенная от чистого сердца, и она, вероятно, на что-нибудь пригодится в общем биографическом материале.

2

Познакомился я с Михаилом Евграфовичем в 1873 году, когда была напечатана в «Отечественных записках» первая моя статья* и когда я получил приглашение заходить по понедельникам, то есть в редакционные дни, в редакцию. Редакция помещалась тогда в доме Краевского, на Литейной, в квартире Некрасова,

которому в то время и принадлежала главная роль в журнале: он ведался с типографией, с цензурой, с конторой и вообще со всею внешнею стороною издания, читая в то же время некоторые рукописи и корректуры всего журнала. Последнее для него было необходимо в качестве ответственного редактора. Внутреннее свое значение он делил и с виду даже как-то подчинял Михаилу Евграфовичу и Г. З. Елисееву, которые также читали редакторскую корректуру всего журнала и заведовали: первый, вместе с Некрасовым, беллетристикой, а второй — так называемыми серьезными статьями и вторым отделом, за исключением переводных романов.

Помню, как первое впечатление не соответствовало тем заглазным представлениям, которые я составил и которые обыкновенно составляют начинающие авторы об известных писателях: я думал, что встречу каких-нибудь жрецов или по крайней мере важных господ, какую-нибудь необыкновенную и торжественную обстановку, со шкафами книг, большими столами, портретами и бюстами, а встретил я самую простую комнату, с самым простым убранством на помещичий лад. Правда, что комната эта была очень большая и хорошая, и все, что в ней было, тоже было очень хорошо, хотя и не бросалось в глаза новизною и вычурностью, но все-таки все в ней было неожиданно просто: самый обыкновенный письменный стол, самые обыкновенные стулья, один или два шкафа с рукописями и на них — вместо бюстов и портретов — чучела птиц и зайца-русака (Некрасов был охотник), а в другой половине комнаты помещался бильярд. Тут же ходил 'черный' поинтер. Одним словом, это была скорее всего бильярдная в хорошем помещичьем доме. И сами люди были тоже на помещичий лад: и по внешности и по характеру разговора, который тогда шел. Одним словом, я точно был перенесен лет на пятнадцать — двадцать назад, в помещичью обстановку и сразу невольно подумал: вот ведь как не скоро изглаживается эта прирожденная складка. В то время как мысль человеческая вырастает, интересы расширяются и уходят вперед, — внешность, манера и привычки остаются прежние. Конечно, внешность — последнее дело, и серьезные люди меньше всего обращают на нее внимание. Очень возможно, что оттого это и происходило.

У Салтыкова и Некрасова были чисто русские лица,

хотя и совершенно разных типов. Особенно бросалось в глаза это русское обличье у Салтыкова: схожие лица встречаются и среди помещиков и у крестьян северных губерний; только такого прекрасного выражения глаз не скоро найдешь. Если бы все глаза так смотрели, то истинно человеческой доброты и правды в нашей жизни было бы, вероятно, гораздо больше.

Видеть Михаила Евграфовича мне приходилось сначала только в редакционные дни. Приходя в редакцию, он обыкновенно долго кашлял, — кашель его иногда раздавался еще с лестницы, — а потом, смотря по настроению, или говорил только о текущих делах по журналу и коротко, точно нехотя, отвечал на вопросы, или начинал что-нибудь рассказывать: рассказывал он обыкновенно какие-нибудь слухи и новости, имевшие общественное значение, проекты разных предполагавшихся мероприятий, которые касались преимущественно литературы, причем нередко можно было слышать возглас: «Каково положение!» Благодаря своим связям в высшем служебном мире он получал эти сведения очень рано и иногда даже из первоисточников. Настоящее всегда связывалось и сопоставлялось им с прошлым, так что иногда можно было услышать от него и воспоминания как из своей прежней жизни, так и из жизни некоторых лиц высшего общества, из которых многие были его товарищами и сидели с ним на одной школьной скамейке. Связей своих с высшим обществом Салтыков не поддерживал; вначале они как-то сами собою держались, а потом, хотя и не совсем прекратились, но все более и более ослабевали. С одними он разошелся принципиально, с другими лично, как человек строгий и не любивший компромиссов, третьим не хотел кланяться: слишком не соответствовало это его натуре. «Я ни у кого не заискиваю, — говорил он не без гордости, — никому не кланяюсь и ни у кого не бываю; ко мне еще, по старой памяти, кое-кто заходит, а я нет: зачем я пойду, что у нас осталось общего»¹.

¹ В книге С. Н. Кривенко «М. Е. Салтыков... Биографический очерк» далее следует (стр. 64):

У него было несколько человек хороших знакомых, по большей части стоявших близко к литературе и относившихся к ней совсем иначе, которыми он и ограничивался. Это были знакомства постоянные, многолетние, которыми он дорожил, которые не налагали

Но особенно много в ту пору было рассказов об имении, которое у него было под Петербургом и в котором он пытался хозяйничать, испытывая неудачи. Эти неудачи, в связи с самым способом приобретения имения, тоже неудачным, были темой целого ряда живых и интересных рассказов, которые потом вошли в «Монрепо» *. Нередко Салтыков начинал также рассказывать что-нибудь такое, над чем нельзя было не смеяться, особенно глядя при этом на его почти всегда серьезное лицо. По большей части это была действительность, изукрашенная его фантазией. Обыкновенно в таких случаях присутствовавшие хохотали самым неудержимым образом, а сам он никогда сильно и громко не смеялся, а только изредка улыбался, да и то бывало это в тех только случаях, когда он добродушно рассказывал что-нибудь комическое про знакомых или когда предмет, о котором шла речь, был незначителен и только забавен. Смешить вовсе не было его целью, напротив, он всегда боялся прослыть писателем «по смешной части» и даже в разговоре оставался иногда недоволен тем, что смеются, хотя мог бы уж, кажется, привыкнуть к этому и допустить, что нельзя не смеяться, слушая смешные вещи. Я отлично помню, как однажды он рассказывал что-то в редакции, а я сидел в соседней комнате и держал корректуру, которую нужно было скорее сдать в типографию; взрывы хохота раздавались один за другим, и продолжалось это довольно долго. Зная, что причиною этого Салтыков, я очень удивился, когда он вдруг вошел и недовольным тоном сказал: «Я думаю, что это и вам мешает... просто не понимаю, что это сегодня все смеются. Неужели то, что я рассказываю, так смешно? По-моему, нисколько не смешно, нисколько...»

Зависело это от своеобразных свойств его рассказа

на него уз высшего света, не стесняли и не заставляли казаться в ином виде, чем он был на самом деле. С ним не считались визитами, он мог реже бывать, чем у него бываю, мог ехать в обыкновенном пиджаке, в котором ходил каждый день, мог, садясь за карты, ворчать сколько ему угодно, и т. д. А затем у него были знакомства чисто литературные, как прежние, так и новые, которые создавались «Отечественными записками». Но все-таки, благодаря своим прежним связям в высшем служебном мире, он получал обыкновенно очень рано сведения о недовольстве журналом и литературой вообще, о том, что ей предстоит впереди, что проектируется на будущее время.

и столь же своеобразного отношения к тому, о чем он говорил: он часто возмущался и негодовал, но в то же время придумывал для предмета негодования одно положение смешнее другого, и чем он больше останавливался на таком предмете, тем, кажется, неистощимее становилась его фантазия. Это было чисто личною его особенностью, чисто личным оружием, как хобот у слона, как зубы и когти у медведя, оружием, которым он владел в совершенстве и которое пускал в ход чисто рефлексивно, хотя в то же время и не бессознательно, а постоянно держа его под контролем и руководством разума. Он не мог спокойно и хладнокровно относиться к тому, что было бессмысленно, бессовестно, фальшиво, надменно, цинично, словом, что возмущало его чувство и не мирилось с логикой, и сейчас же реагировал на это, как мог и умел, как находил лучше и целесообразнее. Людей и предметы, которые в этом отрицательном смысле обращали на себя его внимание, он всегда почти освещал со стороны совершенно неожиданной, самой прозаической; характеризовал их необыкновенно метко несколькими штрихами и открывал в них какую-нибудь новую глупость или гадость, которых вы, может быть, и не подозревали. К таким скрытым и приличия ради прикрытым глупостям и гадостям он был особенно беспощаден и вытаскивал их на свет во всей наготе, в наиболее показной и неудобной для них форме, вытаскивал без всякой церемоний, за что попало, хотя бы даже — да простится мне это выражение — за хвост: смотрите, мол, какая это гадина, какая скотина! Он сердился при этом на них, но до злобной вражды и ратоборства с ними редко доходил, а по большей части смотрел на них с известной высоты общечеловеческого и своего личного достоинства. Это была, с одной стороны, настоящая мера вещей, а, с другой, если хотите, известная доля душевной мягкости и художественной объективности.

Может быть, это и подало повод в семидесятых годах одному критику * посмотреть на его смех, как на смех больше для смеха, потому будто бы и не особенно обидный тем, на кого он направлен. Какою это было ошибкой со стороны талантливого критика — нечего, конечно, и говорить. Салтыков опроверг это всею своею как прежнею, так и в особенности последующею деятель-

ностью, опроверг целым рядом произведений, возбуждающих не смех только и совсем смеха не возбуждающих. Были вещи, над которыми Салтыков не смеялся, которые точно подавляли его и над которыми и другие тоже не смеялись, когда он о них говорил и рассказывал. И таких вещей было немало. Были также вещи, над которыми он не смеялся по другим причинам, чтобы не дать оружия в руки врагам, чтобы даже как-нибудь косвенно не поддерживать реакционных усилий, или над которыми хоть и смеялся в частной беседе, но никогда не напечатал о них ни строчки, несмотря на то, что мог бы создать пресмешные вещи. Повторяю: смех никогда не был для него целью, а был только средством. Но если бы даже он ограничился только смехом, только приклеиванием позорных ярлыков и надеванием дурачких колпаков на людей, которые этого заслуживали, то и это было бы уж большою заслугою: общественный смех есть признак сознания и критического отношения к тому, что считалось дотоле выше каких бы то ни было сомнений, что незаслуженно пользовалось авторитетом и злоупотребляло им. Можно указать случаи, когда смех Салтыкова достигал именно той цели, какую имел в виду; можно указать также и людей, которые до самой смерти ходили — а другие и теперь еще ходят и будут ходить — с его ярлыками. Но до какой степени сам Салтыков смотрел на свой смех именно как на средство, до какой степени он способен был умалять его высокое художественное значение ради общественной пользы, лучше всего, мне кажется, может показать следующий случай: раз в редакции зашла речь об одном господине, высказавшем и предлагавшем печатно нечто очень нехорошее, что именно — уж я теперь забыл, а помню только, что все возмущались и что тема была благодарная, так что несколько человек, и я в том числе, изъявили готовность написать что-нибудь по этому поводу; Салтыков же с самым озабоченным видом ходил и повторял:

— Ах, пожалуйста, ничего не пишите, не нужно ничего писать, это только больше значения ему придаст.

Некрасов и другие что-то возражали, Салтыков горячился и стоял на своем. Наконец, он остановился посреди комнаты и сказал:

— Если уж так, то извольте, я напишу. Ведь того,

что нужно, никто не сделает, а я могу сделать: тут нужно облить¹ человека, а они собираются о нем писать и разговаривать.

В мужском обществе и тем более в своем кружке Салтыков в выражениях не стеснялся, и замечательно, что это никогда не производило дурного впечатления и не носило дурного характера, как у других. Вот уж именно: то же слово, да не так молвится. Вы ясно видели, что говорит это человек несомненно нравственный, которому только мало дела до выражений, который делает нецензурные сравнения и пускается иногда даже в невозможную фантастику только потому, что так короче и изобразительнее выходит, что, наконец, самому предмету, о котором он говорит, наиболее приличествует именно такая форма выражения, что если, например, о человеке не стоит писать, а надо произвести над ним нечто другое, то это потому, что он ничего больше не заслуживает. Отчасти это можно видеть и в некоторых его сочинениях, где тоже попадаются иногда кое-какие словечки и положения, соответствующие нескромному характеру и свойствам действующих лиц, но где вы все-таки не найдете скабрёзности. Салтыков не терпел вообще скабрёзности и порнографии, особенно в литературе. Один из бывших сотрудников «Отечественных записок» рассказывает о нем*, между прочим, в своих воспоминаниях, почему он однажды не принял повесть начинающего автора и как не мог удержаться, когда тот пришел за ответом, чтобы не сказать в его присутствии случившимся тут же сотрудникам: «Ведь вот автор — совсем юноша... а мне, старику, было стыдно читать его повесть, столько скабрёзности». Скабрёзность всегда его шокировала даже у известных писателей и в хороших произведениях. Он всегда находил, что можно бы и без этого обойтись, что очень уже это скучно и надоело.

Ближе узнал я Михаила Евграфовича уже после смерти Некрасова, когда он сделался ответственным редактором «Отечественных записок»*². Сколько самых

¹ Собственно говоря, он не так, а гораздо прямее выразился. (Примеч. С. Кривенко.)

² В книге С. Н. Кривенко «М. Е. Салтыков... Биографический очерк» далее следует (стр. 51):

Сначала он, по обыкновению, опасался новой роли и принял ее неохотно, после неоднократных убеждений Елисеева. Ему ка-

неусыпных трудов и горячих тревог и забот доставляли ему «Отечественные записки», — об этом хорошо знают все сотрудники. Он читал рукописи по беллетристике, правил их и готовил к печати, просматривал корректуры всех отделов журнала, вел переписку с некоторыми из иногородних сотрудников, сам писал статьи (иногда по две в месяц, то есть статью и маленький фельетон), имел объяснения с цензурой и т. д., словом, он весь был в журнале, всего себя в него вкладывал. Работал он очень много; так много, как может работать только очень привычный и сильный работник. Как это согласовалось и уживалось со слабостью его физических сил и давно уже начавшимися разными болезнями и недомоганиями, — трудно даже понять, а объяснить это можно только разве одним: необыкновенною его любовью к литературе и тою тесною связью, какая существовала между нею и его личною жизнью. Весь досуг, все антракты и передышки между приступами болезни и ночные бессонницы, все печали и радости, мечты и помыслы — все отдавалось литературе. Жить для него значило писать или что-нибудь делать для литературы. Как Некрасов говорит старику рассыльному, у которого болят ноги от ходьбы: «Жить тебе, пока ты на ходу» *, так можно было бы сказать то же самое и Салтыкову относительно литературы. Литература была для него тем же, чем земля для известного <героя> мифа *, получавшего силу от земли, или сказочная чудесная вода для изрубленных в куски богатырей, которые, будучи ею окроплены, опять оживали и становились еще более сильными.

Сказать, что он просто читал и приготавливал к печати рукописи, значит мало еще сказать, потому что надо знать, как это делалось: в противоположность Некрасову и Елисееву, он сильно марал и исправлял рукописи, так что некоторые из них поступали в типографию все перемаранными, а иные страницы и совсем вновь бывали переписаны на полях его рукою. Что это была за египетская работа, не всякий знает и не может представить

залось, что и не утверждают его, что и нареканий будто много на журнал, и что — главное — подписка упадет. Когда же число подписчиков превысило десять тысяч, чего при Некрасове не было, то я живо помню, как он был этим удивлен и насколько этот успех был для него действительно неожиданностью.

себе, не зная близко журнального дела. Кроме главной стороны, то есть, чтобы не испортить вещи и не столкнуться с авторским самолюбием, — тут много еще чисто технических затруднений, при соединении оставшихся частей, при изменении оставшегося текста, согласовании выпущенным или измененным местам (чтобы не вышло несообразностей и противуречий), при соблюдении архитектуры целого и отдельных глав, при вписывании вставок и т. д. и т. д. Н. К. Михайловский рассказывает *, например, о такой операции, произведенной Салтыковым над повестью Котелянского «Чиншевики»: он вытравил целиком на всем протяжении повести одно из действующих лиц, со всеми его довольно сложными отношениями к другим оставшимся действующим лицам. И Котелянский потом говорил Михайловскому, что он очень благодарен Салтыкову за эту операцию, потому что она только скрасила повесть, и что он удивляется, как он ухитрился это сделать, как хватило у него на это терпенья и внимательности. Но тут, кроме труда и внимательности, требовалось еще много умения и тщательности в работе. Насколько успешно все это достигалось Салтыковым, лучше всего, мне кажется, можно видеть из того, что большинство авторов, более или менее постоянно появлявшихся в «Отечественных записках», подобно Котелянскому, оставались довольны исправлениями и не только не вступали с ним в какие бы то ни было пререкания, но именно понимали, что произведения их выигрывали от его опытной руки. Случались, конечно, иногда и обиды, когда авторами были слишком самомнительные люди, требовавшие, чтобы ни одного слова у них не было выпущено и изменено, или когда Салтыков, увлеченный работой и художественной правдой, делал в произведениях слишком крупные перевороты. Об одной из таких обид вспоминает, например, г. Скабичевский *: одна сентиментальная романистка непременно желала окончить роман свой смертью героини от чахотки, а Салтыков нашел, что той гораздо будет лучше выйти замуж, и потому взял и выдал ее замуж за героя. Но таких случаев было очень мало; насколько я помню, это едва ли даже не единственный случай. Зато гораздо чаще приходилось слышать вот что, о чем также припоминает г. Скабичевский: что люди, не знавшие о тех операциях, какие производил Салтыков над

произведениями второстепенных беллетристов, приходили нередко в удивление, отчего это те самые писатели, которые под редакцией Салтыкова помещают весьма недурные рассказы и повести, в другие издания приносят вещи ниже всякой критики и даже совсем неудобные для печатания. А с другой стороны, уже сделано также и такое еще наблюдение, что писатели, печатавшиеся прежде в «Отечественных записках» и бывшие под контролем Салтыкова вполне приличными, значительно изменились к худшему в смысле литературной порядочности и выдержанности направления после того, как стали писать в других изданиях, то есть после того, как вышли из-под его указки и вообще из-под влияния известной литературной атмосферы.

Но в то время как Салтыков исправлял второстепенных и начинающих беллетристов, он совсем не трогал произведений больших талантов и тех установившихся уже писателей, которые постоянно писали в «Отечественных записках». В этих произведениях он ничего не изменял, хотя и не всегда оставался ими доволен: «Ну, доложу вам, и прислал же нынче NN, — просто черт знает что», — говорил он иногда, и тем не менее ничего не изменял и печатал присланное. Говоря «черт знает что», он, конечно, преувеличивал, но слабые и спешно написанные вещи случались, и не исправлял он их не потому вовсе, что не мог, — он мог их поправлять или совсем не принимать, — а потому, что считал себя нравственно не вправе вмешиваться и как бы учить людей уже установившихся, которые сами за себя ответственны. Если бы дело касалось направления и основная мысль произведения слишком противуречила журналу, то это другое дело: тут он не замедлил бы снестись с автором относительно необходимых изменений или возвратил бы рукопись, а собственно литературную сторону, то есть исполнение, приемы, слог и прочее своим делом не считал. Невмешательство это простиралось иногда даже дальше литературной стороны, — до мысли, с которою Салтыков был не согласен, лишь бы только она не шла вразрез общему направлению и при условии, чтобы статья была подписана автором, то есть, чтобы отвечал за нее он сам и не принимали ее за редакционную.

Не касалась рука Салтыкова также всех статей второго отдела, которым заведовал не он, а ближайшие его

сотрудники, а равным образом и не беллетристических статей первого отдела. Здесь он опять строго соблюдал невмешательство в то, что принадлежало другим. Во втором отделе ему принадлежали только переводные романы, печатавшиеся в приложении, а остальное все читалось, выбиралось, отдавалось в типографию и исправлялось не им. Он только прочитывал редакторскую корректуру и смотрел, чтобы не было нецензурных мест, да и то, если таковые встречались в статьях постоянных сотрудников, не вымарывал их без их ведома и согласия. Он обыкновенно только отмечал и указывал им сомнительные места, а иногда и то, что ему почему-либо не нравилось или казалось неудобным. Равным образом и ему указывали те из сотрудников, кому посылались корректуры всего журнала, то, что им казалось сомнительным и неподходящим в его отделе и в его статьях. И каких бы то ни было обид и недоразумений при этом никогда не возникало. Он не только умел избегать ненужного вмешательства, но и доверять людям, и не только доверять, но и уступать. Это редкие черты характера, которые говорят не только об его уме, но и об его искреннем сердце. Как ничего не изменял он в статьях постоянных сотрудников не потому, чтобы не мог изменять, так и исправлял он столь усиленно начинающих и второстепенных беллетристов вовсе не потому, что мог делать с ними, что хотел, а потому, что это было лучше в разных смыслах, лучше как для журнала, так и для них самих. Вместо недовольства, которого можно было бы ожидать, если бы мотивы были иные, он привлек к журналу и сгруппировал вокруг него целую группу беллетристов, благодаря чему, без всякого преувеличения можно сказать, ни в одном из русских журналов, ни прежде, ни после, не было такой богатой беллетристики, как в «Отечественных записках». Иногда ее упрекали в «избытке мужика», но тем не менее постоянно все читали, не исключая и тех светских людей, которые делали подобные упреки. И создано это было главным образом Салтыковым, потому что остальные либо никакого касательства к беллетристике не имели, либо помогали ему только в предварительном просмотре рукописей, когда таковых скопилось слишком много в редакционном портфеле: отделяя все очень плохое и указывая на то, что заслуживало внимания, они облег-

чали ему выбор. Но только и всего. Я сказал бы даже больше, — что создано это было исключительно Салтыковым, если бы раньше него не обращал особого внимания на беллетристику Некрасов¹. Тем не менее, если начало дела принадлежит Некрасову, то дальнейшее его развитие принадлежит Салтыкову.

Повторяю: работать так, как работал Михаил Евграфович, не всякий может. Работа для него превратилась не только в обычное занятие, но и в какую-то непреодолимую потребность. Он не мог не писать: ни какие-нибудь дела, ни усталость и желание отдохнуть, ни знакомства и отношения, ни даже сама болезнь не могли удерживать его от этого. Сплошь и рядом совсем больной он садился к письменному столу и писал своим медленным, сжатым почерком страничку-другую, сколько мог. Я застал его раз пишущим на подоконнике во время переезда на дачу, когда в кабинете все было уже уложено и стол был чем-то загроможден; а за границу он ухитрялся иногда писать даже на маленьком круглом столике, урывая несколько минут между прогулкой и завтраком или между ванной и обедом². Я всегда удивлялся, как ему не мешают работать посетители. Ни приемных и неприятных дней, ни особых приемных и неприятных

¹ В книге С. Н. Кривенко «М. Е. Салтыков... Биографический очерк» далее следует (стр. 56):

...и если бы ему не помогал в том же направлении Елисеев, который хотя и не имел непосредственного касательства к беллетристике, но отлично понимал важное ее значение для публики и журнала и, кроме того, постоянно сглаживал неровности и шероховатости его характера по отношению к пишущей братии, особенно к начинающим писателям, не знавшим еще салтыковских прямодушия и манеры говорить.

² В книге С. Н. Кривенко «М. Е. Салтыков... Биографический очерк» далее следует (стр. 57):

У него одна работа кончалась, другая начиналась, а иногда две-три работы шли рядом; случалось, что раньше начатые работы иногда откладывались на несколько лет, а более поздние печатались безостановочно, и тогда, по окончании их, он снова брался за какую-нибудь оставленную работу. Зависело это от разных причин: и от большей своевременности и необходимости позднее начатых работ, и от того, что они им сильнее овладевали, так что оставить их было нелегко. Иногда он жаловался на то, что работа затягивается и надоедает ему, а расстаться с нею все-таки не мог. Так, он жаловался на «Пошехонскую старину», которую кончал уже совсем больной, незадолго перед смертью, а между тем задумывал новое большое произведение и даже сделал к нему приступ.

часов, как у других, у него не было. Положим, что к нему не во всякое время ходили, но утром, часов с одиннадцати и до обеда, его все и всегда могли застать и шли к нему совершенно свободно. Случалось мне иногда заходить к нему и вечером; и опять никто не говорил, что он не принимает, и опять приходилось кого-нибудь встречать у него. Правда, что он не со всеми и не всегда бывал любезен; но надо же войти в положение человека, которому мешают писать, которому несколько раз приходится отрываться от рукописи и заниматься разговорами, может быть, совсем из другой области, чем та, о которой он думал, а сплошь и рядом и совсем для него не интересными. Одни деловые разговоры по журналу, продолжавшиеся обыкновенно не долго, и те могли докучать. Знаешь, бывало, когда он занят, и думаешь ограничиться несколькими словами и несколькими минутами, а проговоришь час. А тут, смотришь, и еще кто-нибудь пришел. Однажды я зашел к нему таким образом «на минутку» и застал его очень сконфуженным.

— Представьте, какая штука со мною сейчас вышла, — сказал он, здороваясь, — просто опомниться не могу, так стыдно... Ждал я вчера к себе Боткина: третьего дня письмо ему написал и просил посмотреть меня; а он вчера не приехал. Сегодня же, как нарочно, с самого утра гости: то один, то другой; то по целым месяцам глаз не кажут, а тут вдруг все соскучились!.. Мне же, право, нездоровится, и я совсем сегодня был не расположен к визитным разговорам, а думал писать. Наконец, все посидели, поговорили и распрощались; только было я к столу, как вдруг опять кто-то приходит. Вижу, Ратынский... так мне стало досадно, что я отвернулся к окну. «Здравствуйте», — говорит. Я подал руку, поздоровался. «Как, говорит, ваше здоровье?» — «Да ничего, как видите». — «Погода, говорит, нынче хорошая». — «Ну, и слава богу, говорю, с чем вас и поздравляю». — «Гуляли ли?» — «Нет, не гулял». Еще что-то спросил, я так же коротко ответил. Сидим и молчим. Я тут вот и в окно смотрю, а он на вашем месте. И прошло так, должно быть, с полчаса. Наконец, по всей вероятности, это ему наскучило, и он поднимается и начинает прощаться: «Я, говорит, к вам лучше в другое время заеду». Тут только я взглянул, и можете представить мое удивление: передо мною был вовсе не Ратынский,

а Боткин. Каково положение! Как я раньше его не узнал, — просто понять не могу. Если уж в лицо не смотрел, так по походке, по голосу, наконец по вопросам можно было узнать. Совсем про него забыл. Но хуже всего то, что ничего ему не сказал, что принял его за Ратынского. Неловко как-то было. Так он и уехал. Что теперь обо мне он может подумать? Совсем, скажет, человек с ума сошел, или отнесет это к тому, что я обиделся за то, что он вчера же не приехал, а я, право, об этом и не думал, потому что знаю, как он бывает иногда занят. К тому же он всегда ко мне так любезен и внимателен. Никогда я его так не принял бы. Думаю письмо ему написать...

Не знаю, писал ли что-нибудь Михаил Евграфович Боткину, или как-нибудь иначе объяснился, — лично или через знакомых, — знаю только, что отношения Боткина к нему вследствие этого случая не переменились, да дело и не в этом, а в том, что ему нередко мешали работать и приводили его в дурное настроение и что, несмотря на это, он все-таки не запирали своих дверей и ухитрялся много работать¹. Помимо литературных и нескольких человек обычных знакомых, у него иногда можно было

¹ В книге С. Н. Кривенко «М. Е. Салтыков... Биографический очерк» далее следует (стр. 61, 63):

У Салтыкова было два рода знакомств и отношений: чисто домашние и литературные, которые он весьма резонно разделял и никогда не смешивал, и не смешивал, я думаю, не столько во ограждение домашней жизни, сколько во ограждение литературы от всего ей стороннего и чуждого. Литература была для него, особенно в тот период, о котором мы говорим, главным фактором его жизни. Он считал ее не только важным и серьезным делом, но едва ли не самым важным и серьезным из всех земных дел. Он видел в ней высшее служение обществу и собственное личное призвание, называл ее даже «вечным делом» и вообще был связан с нею самым тесным образом как нравственно, так и материально, потому что, *volens-nolens*², она являлась и источником существования, источником, подверженным многим случайностям и переполненным терниями. Литература занимала в его жизни такое большое место и играла такую роль, что остальные интересы отступали на задний план <...>. Не мудрено, что Салтыков жертвовал литературе и здоровьем, и связями, и отношениями. Сам он мне раз говорил, что литература была причиною того, что он перессорился с большинством своих родных и прежних знакомых, что бывшее его начальство, товарищи и сослуживцы начали на него коситься, когда увидели, что он всецело отдался литературе, да еще «отрицательного» направления.

² Волей-неволей (лат.).

встретить и графа Лорис-Меликова * и кого-нибудь еще из людей совершенно иного круга. К некоторым из них, как, например, к графу Лорис-Меликову, которого он раньше знал и который был хорош с Некрасовым, он еще хорошо относился, но некоторые знакомства его положительно тяготили. Помню, например, как он был недоволен и сердился, узнав, что к нему собирается Ф. Ф. Трепов *. Знаменитый петербургский градоначальник после отставки жил одно время в одном с ним доме, на Литейной, познакомился на прогулке с его детьми и выразил желание и с ним познакомиться, сказав, что думает зайти для этого на днях с визитом.

— Скажите, пожалуйста, для чего это нужно? — волновался Салтыков. — Что я с ним буду говорить?! Он литературой никогда не занимался, а я по полиции никогда не служил, что же у нас общего и для чего наносить мне этот визит? Если просто посмотреть на меня, любопытства ради, так не настолько я интересен. Он, наверное, видал многих преступников интереснее меня. Прежде ведь он ко мне не ходил и не одобрял, конечно, моей литературной деятельности, и я к нему тоже ни за чем не обращался, так зачем же теперь это изменять? Пусть бы так и оставалось, как было. Они, как выйдут в отставку, так в оппозиционном направлении начинают думать и начнут захаживать, воображая, что стали интересны и что нечто общее у нас есть. Нисколько он мне не интересен, и ничего общего у нас нет, ничего! Уж не думает ли он, что и я к нему тоже пойду? Или, может быть, статью какую-нибудь пишет?.. Вот раздолжит! Если о пресечении чего-нибудь, то скажу, что для этого есть «Русский вестник», а если воспоминания какие-нибудь, то пусть идет в «Русскую старину». Нет, вы мне скажите, что я с ним буду говорить? О чем я с ним говорить буду?! Просто я даже представить себе не могу подобного глупого положения.

Салтыков в обращении с людьми был совершенно одинаков, как бы ни велика была разница в их общественном положении: был перед ним богач, или бедняк, граф, князь, генерал, или простой мещанин и разночинец в длинных сапогах и ситцевой рубашке, — со всеми он говорил одинаково. Он различал только людей по их достоинствам и внутренним качествам, когда узнавал их ближе: одни ему нравились, одних он любил или ува-

жал и относился к ним замечательно хорошо, других, наоборот, совсем не уважал и не любил и скрыть этого уже никак не мог. Его так и тянуло или посмеяться и сказать что-нибудь неприятное такому человеку, или уйти от греха, уйти от того неприятного впечатления, которое тот на него производил. Были некоторые посетители и посетительницы, заходившие иногда в редакцию по какому-нибудь делу, которых он просто не выносил и при одном появлении которых сейчас же замолкал, начинал на них коситься и всячески избегать разговора. «Не угодно ли вам поговорить (с ним или с нею), а я просто не могу», — говаривал он иногда кому-нибудь из сотрудников или начинал спрашивать: «Как вы думаете, скоро они уйдут?» Некрасов во время своей болезни опасался просить его съездить вместо себя для объяснений с цензурой и Главным управлением по делам печати, боясь, что он там чего-нибудь наговорит и, вместо того чтобы уладить дело и устранить недоразумение, только еще более усилит недовольство. Он и сам, по-видимому, боялся этого и всегда старался избегать каких бы то ни было объяснений, прося справиться или сказать что нужно кого-нибудь из знакомых цензоров. Я помню рассказ об одной его поездке к бывшему министру внутренних дел Макову, который официально пригласил к себе редакторов газет и журналов, чтобы высказать им какие-то свои взгляды касательно поведения и положения печати*. Хотя Салтыков и сам рассказывал об этой поездке, передавая суть дела, но о том, что и как он говорил, умалчивал, не придавая, конечно, этому никакого значения. Об этом рассказывали другие, кто был там одновременно с ним, противопоставляя его некоторым другим редакторам, державшим себя чересчур подобострастно. Г. Маков сказал сначала собравшимся нечто вроде речи, а потом стал говорить с некоторыми в отдельности, и вот, в то время как одни чуть ли не со всем сказанным им соглашались и только давали да точно такали, Салтыков, напротив, горячо и и прямо стоял за литературу и своим громким басом говорил об ее стесненном положении, так что выходило так, как будто не Маков, а он Макову сделал выговор, а когда последний на прощанье обратился к нему с любезною шуткою: «Под каким же соусом вы меня теперь преподнесете публике?», то он, мрачно отходя в сторону

и еще более возвышая голос, отвечал: «Нам теперь не до соусов, не до соусов!» Замечательная прямота и искренность всегда смягчали суровость и резкость его тона. Я уверен, что его огромный талант и эта искренность не раз обезоруживали даже его врагов и пред-отвращали кары от журнала.

3

Мы знали Михаила Евграфовича главным образом в литературных его отношениях, и в этом случае, мне кажется, лучшею для него рекомендацией может служить тот удивительно единодушный взгляд на него, какой высказали все писавшие о нем сотрудники. Я не могу отказать себе в удовольствии, чтобы не привести нескольких строк из воспоминаний своих бывших товарищей, как для того, чтобы показать их сходство, так и для того, чтобы самому избежать повторений.

Н. К. Михайловский говорит о Салтыкове*, что он часто был резок, раздражителен, не сдержан в выражениях и что внешность его только усиливала это впечатление: резкая перпендикулярная складка между бровей на прекрасном, открытом и высоком лбу, сильно выпуклые глаза, сурово и как-то непреклонно смотревшие прямо в глаза собеседнику, грубый голос, угрюмый вид. «Но иногда это суровое лицо все освещалось такою почти детски-добродушной улыбкой, что даже люди, мало его знавшие, но попадавшие под свет этой улыбки, понимали, какая наивная и добрая душа кроется под его угрюмой внешностью. О тех, кто его близко знал, нечего и говорить. Он не мог не поворчать в разговоре с кем бы то ни было... но все знали, что это только воркотня и что в конце концов она ничем не отзовется на деле и действительных отношениях... Это был истинно добрый человек, всегда готовый помочь нуждающемуся словом и делом. Мелких же чувств мстительности, подозрительности, соперничества в нем не было даже самых слабых следов». А. М. Скабичевский продолжает: * в обществе ходили баснословные слухи о мнимых суровости, жестокости и даже бранчивости, с какими Салтыков будто бы обращался с людьми не только близкими, но и совершенно незнакомыми, которых в первый раз видел. Вследствие этих слухов начинающие авторы,

впервые являвшиеся к нему с своими начинаниями, сильно потрухивали и робели. «Но эти слухи крайне преувеличены. Действительно, его лицо носило по большей части суровое и несколько даже мрачное выражение, и в нервном голосе очень часто слышались ноты болезненной раздражительности, что могло пугать каждого неприязненного человека. Но все это не мешало ему быть человеком в сущности крайне добрым, с мягким и даже нежным сердцем, не способным отказывать в чем-либо людям и вообще оставаться безучастным к их нуждам. Часто случалось, говорит он дальше, что к нему обращались за авансом сотрудники, забравшие немало уже денег и потерявшие, по-видимому, всякое право на новые авансы. Салтыков выходил из себя в таких случаях. Грозный голос его начинал раздаваться по всем комнатам редакции: «Это невозможно! — кричал он. — Это черт знает что такое!.. Мы и без того роздали безвозвратно до тридцати тысяч! Что же с нами будет, наконец, чем же это кончится?» и т. д. И кончалось всегда тем, что... он брал лист бумаги и писал ордер в контору о выдаче сотруднику суммы, которую тот просил». Равным образом и состоявшие при редакции конторщики, метранпажи и другие служащие несколько его не боялись и прямо говорили: «Что нам Михаил Евграфович! Он только так кричит, а мы его несколько не боимся». Однажды при Скабичевском он с ужасным гневом напустился на метранпажа за то, что тот слишком скоро набрал весь отданный в типографию материал для книжки и явился за новым. «Чего вы торопитесь, — кричал он, — едите вы, что ли, рукописи? Ему не успеешь дать рукопись, уж у него и готово. Да что вы в неделю хотите набрать книжку, что ли?.. Набрали, так и ждите теперь, а от меня вы больше ничего раньше недели не получите, ничего!..» Понятно, что, слушая такую распекацию, метранпаж еле удерживался от смеха, потому что она в сущности была ему похвалою. Но Салтыков действительно сердился в это время.

«Страх, который внушал Салтыков робким людям, — говорит г. Скабичевский, — происходил главным образом от двух его достоинств: от крайнего прямодушия и нервного отвращения ко всему фальшивому и неискреннему. Как только он видел что-либо подобное, его тотчас же начинало коробить, он не мог не высказать человеку в глаза того впечатления, которое тот на него производил,

и высказать со всем тем саркастическим остроумием, которым он был наделен. Не гнев его был страшен, а скорее те шуточки, которыми он способен был уничтожить собеседника... Но зато, если Салтыков усматривал в человеке природный ум, честность и искренность, он делался с таким человеком крайне мягок, деликатен, любезен и вполне откровенен». Г. Абрамов также опровергает * разные нелепые слухи, ходившие относительно Салтыкова, и говорит, что он является в его воспоминаниях «чрезвычайно мягким, добрым и глубоко симпатичным человеком», что он всегда встречал в нем «внимательного и заботливого человека», интересовавшегося как его занятиями так и «материальным положением», и что таково же, насколько он мог заметить, «было его отношение и ко всем другим сотрудникам». То же или почти то же самое говорит и г. Южаков *. То же самое, разумеется, сказал бы и я, и не знаю — сказал ли бы лучше, а потому посмотрим лучше на черты его характера, менее подчеркнутые и не так резко бросающиеся в глаза.

Несмотря на свою прямоту и суровость, он был в отношении сотрудников и людей, которых знал или которые ему казались искренними, замечательно деликатен. Я уже указывал выше, как он умело вел редакторское дело, не оскорбляя литературных самолюбий (едва ли не самых болезненных в мире), с которыми ему приходилось встречаться чуть ли не на каждом шагу. А между тем в то же время он всегда указывал людям их ошибки и промахи, нисколько не стеснялся высказывать неприятные истины прямо в глаза. Делалось это, несмотря на кажущуюся внешнюю резкость, в такой сердечной, чисто товарищеской и деликатной форме, что люди не обижались, а если и обижались, то чувствовали себя не вправе сердиться: на его стороне была правда и самое душевное доброжелательство. Человек чувствовал, что его не желают вовсе оскорбить или как бы то ни было унижить, а просто говорят ему то, что следует и чего от других он во веки веков не услышит и ни за какие сокровища не купит. Если бы Салтыков кому-нибудь из близких людей причинил обиду, то это, наверное, долго его мучило бы. Даже в тех случаях, когда нечто подобное происходило как-нибудь невольно или когда он только предполагал, что человек мог обидеться, он всегда извинялся перед ним и говорил: «Вы, пожалуйста, на меня не сердитесь»,

«Пожалуйста, извините, но, право, я не хотел вас обидеть». После каждой горячности и крупного разговора он обыкновенно становился очень мягок, точно смотря, не обидел ли кого и не нужно ли заглаживать обиду. Расскажу, как он в некоторых случаях стеснялся возвращать рукописи. Помню, раз через меня поступила в редакцию рукопись одной моей знакомой писательницы, человека очень скромного и малоизвестного. Это было в самом начале моего сотрудничества. Я в то время жил в Лесном и не каждый раз бывал в редакции, а потому в назначенный срок, через две недели, сказал знакомой, чтобы она сама зашла за ответом. Салтыков никакого ответа ей не дал, а сказал только, что желает меня видеть и даст ответ через меня. Несколько дней я был занят и в городе не был, а потому не был и у него. В воскресенье получаю от него письмо: * непременно просит приехать завтра в редакцию. Приезжаю, отводит он меня в сторону и говорит:

— Послушайте, должно быть, эта ваша знакомая, которая рассказ написала, очень хороший человек. Это по рассказу видно, но что нам делать: рассказ-то ведь плох, не по мысли, а в литературном отношении. Я целую неделю колебался: принимать его или не принимать. Она тут была в прошлый понедельник. Отказать как-то язык не поворачивается: может быть, она нуждается и надеялась на эту работу; в рассказе у нее такое знакомство с нуждой, что, верно, он сама ее испытала или испытывает, а тут вдруг откажешь. А с другой стороны, и нам тоже как-то неловко слабые вещи принимать. У нас их и без того достаточно. Сделайте для меня такое одолжение, снимите с меня эту тягость и скажите ей об этом как-нибудь так, чтобы она не обиделась. Когда знаешь человека, то это как-то лучше выходит. А если ей деньги нужны, то можно будет выдать: что-нибудь другое напишет, может быть удачнее выйдет.

Вспоминаю также случай деликатности со мною, тоже отчасти касавшийся денежного вопроса, но так как тут главную роль играла другая сторона, то скажу сначала следующее.

При издании «Отечественных записок» самыми мучительными днями для Салтыкова были четыре дня, когда книжка поступала в цензуру, особенно если в ней было что-нибудь сомнительное. В течение этих четырех дней

пробывания книжки «во чреве китове», как говорил Михаил Евграфович, он был положительно сам не свой: иногда не спал ночей, а днем чуть не поминутно заглядывал в окно и прислушивался к звонку.

Прийти к нему в эти дни — значило наверное услышать:

— Вот я за вашу статью ужасно боюсь.

— А за свою?

— У меня ничего нет, а у вас есть к чему придраться.

Но обыкновенно оказывалось, что его статьи гораздо чаще приходилось вырезать, чем статьи других сотрудников, даже в общей сложности. Когда срок оканчивался и книжка выходила, он успокоивался. Когда печаталась его «Пошехонская старина» в «Вестнике Европы», то он боялся и за «Вестник Европы», когда тот шел в цензуру. Однажды я застал его в такой тревоге. Совсем уже больной, он еле волочил ноги по комнате, но все-таки подходил к окну, заглядывал и волновался, отчего не идет рассылный, которого должны были прислать с известием из типографии. Желая его успокоить хоть немного, я сказал:

— Вы даже за чужие журналы волнуетесь... И охота же причинять себе столько беспокойства: по всей вероятности, все обойдется благополучно.

— Да, — отвечал он, — а вот если задержат книжку за мою статью, тогда что Стасюлевич скажет?

Однако вышла раз и на меня проруха: написал я рецензию о сочинении Чичерина о немецких социалистах: * К. Марксе и Лассале. Рецензия эта, несмотря на то, что была чисто теоретическою, не понравилась в цензуре и была вырезана. Прошло года три или четыре, Чичерин опять как-то проявился на московском небосклоне с вышеуказанным сочинением и кандидатурою на должность московского городского головы, а я, не прельщаясь надеждами тогда эффекта его речью, взял расширил свою рецензию в статью и пустил ее под другим названием, надеясь, что через такое значительное время она пройдет. Книжка была послана в цензуру, и срок ей истекал по обыкновению к редакционному дню, как это приноровлялось для удобства раздачи гонорара и новых книжек сотрудникам. Прихожу я, ничего не подозревая, в редакцию, Салтыков любезен, как-то особенно ласков и говорит, что книжка вышла; то же повторяют и другие; то же говорит и конторщик, раздавая деньги сотрудникам.

«Получите, говорит, и вы». Я получил, сколько причиталось, и расписался. Спрашиваю: «А где же книжка, нельзя ли получить экземпляра?» — «Сейчас, говорит, ее принесут». Затем посидели некоторое время, поговорили о текущих делах; приходили посетители — одни за ответом, другие с новыми статьями; одним словом, все шло своим чередом, и я ничего не замечал. Наконец Салтыков распрощался и уехал, а как только он уехал, так вдруг откуда-то появилась и книжка. Смотрю; моей статьи в ней нет. Оказалось, что в цензуре заметили, что она уже была раз вырезана (хоть я и совершенно ее переделал, но ход мысли и самый предмет остались те же), а потому предложили и вторично вырезать. Иначе задержали бы всю книжку. Салтыков же, не желая меня огорчать или, лучше сказать, видеть моего огорчения, просил всех не говорить мне об этом, пока он не уйдет из редакции. Он по себе знал, насколько это огорчительно, а с другой стороны, и статья ему нравилась. Мне действительно было очень неприятно и жаль статью, а затем и положение мое относительно гонорара вышло довольно неловким: я уже получил раз деньги за вырезанную рецензию, а теперь вторично получал в сущности за ту же самую работу, которая также не пригодилась журналу. Выходило так, как будто я обладаю какой-то сказочной ценностью, которая другому не дается и постоянно ко мне же возвращается. К тому же денежное мое положение было вовсе не плохим: кроме платы за статьи, я получал еще от редакции очень хорошее жалованье *. Видя, что конторщик уже ушел из редакции, я, когда возвращался домой, зашел в контору и предложил ему деньги обратно, но получил в ответ, что он сделать этого никак не может, потому что Михаил Евграфович приказал не брать от меня денег: «Не велел, говорит, сказывать вам, что статья вырезана, и книжку не велел показывать, куда денег не получите, а потом денег назад не велел брать». Значит, он и тут уже распорядился. Говорил я ему потом об этом раза два, но он и слушать не хотел, повторяя только одно: «Ах, как это скучно, право. Ведь и во второй раз вы работали над статьею, не сама же она написалась, следовательно не о чем тут и говорить; если же не хотите брать денег или у вас их так много, что некуда девать, так отдайте кому-нибудь». Положение мое в данном случае было, впрочем, вовсе не исключительным: все статьи,

раз принятые редакцией, оплачивались, хотя бы почему-нибудь — по независящим или иным причинам — и не были напечатаны.

Вообще в денежных вопросах и делах с пишущей братиею Салтыков был гораздо более щедр, чем это могло показаться с виду, по скромности его личных потребностей и тем случаям, когда он начинал ворчать при выдаче некоторых авансов¹. Он постоянно выдавал авансы, и авансы значительные; мало того, сам даже предлагал иногда денег, когда узнавал, что человек нуждается, и предлагал людям, которых мало знал, лишь бы только они были писателями и из писаний их было видно, что они люди порядочные <...>. Салтыков не любил только *бесконечных* авансов, как называл он те случаи, когда человек, не давая долго статей, чуть ли не каждый месяц атаковал его просьбами, и не любил также слишком маленьких выдач. Так, например, один поэт, человек с солидным общественным положением и имевший хорошее место*, почти постоянно желал получать гонорар за свои стихотворения вперед: напишет стихотворение, узнает, когда оно пойдет, рассчитает, сколько за него приходится, и придет за какими-нибудь восьмью рублями. Вот Салтыков и начинает ворчать. Во-первых, изменяется лицо и становится недовольным, во-вторых, не находится пера для написания записки в контору или перо оказывается таким плохим, что не пишет («это только у нас могут быть такие перья!»), затем бумаги нет и т. д. Все это говорится, пока пишется записка; наконец все кончено, поэт поспешно

¹ В книге С. Н. Кривенко «М. Е. Салтыков... Биографический очерк» далее следует (стр. 81—82):

В последнем случае он иногда легко мог производить впечатление человека скупого, ибо относительно непроемчивых трат, предметов роскоши и бестолкового разбрасывания и раздачи денег действительно был прижимист и строг. Не походил он также и на поэта, живущего постоянно в эмпиреях и не знающего счета в деньгах. Он был просто, по-крестьянски, домовитым человеком, желал, чтобы труд его не пропадал, чтобы в доме у него был достаток, чтобы ни от кого ему не зависеть и никому не кланяться, чтобы и самому в старости не нуждаться и умереть с уверенностью, что и семья тоже не будет нуждаться. И все это на почве труда, энергии и бережливости. Желал он того же и другим, и мало того, что желал, а считал это даже необходимым для каждого, беспоконился, когда кому-нибудь не удавалось достигнуть хоть самого небольшого довольства, и сердился, когда видел, что человек живет бестолково и не думает о будущем.

уходит, и начинаются рассуждения: «И зачем ему понадобились эти восемь рублей? Никогда я не поверю, чтобы человеку в таком возрасте и чинах могли понадобиться восемь рублей. Это он или в баню хочет сходить, или в банк их положит, чтобы в конторе даром целый месяц не лежали». Не верил он, конечно, и, наверное, даже ни на минуту серьезно не допускал ни одного из этих предположений, хорошо зная, что могут понадобиться и восемь рублей человеку, а просто это ему надоедало и не нравилась такая маленькая житейская неаккуратность. О том же человеку в другое время он говорил совершенно иначе, то есть сочувствуя его положению, хотя бы сам человек ему и не нравился.

Арендуя «Отечественные записки», Салтыков мог бы получать от издания гораздо больше, если бы, подобно другим издателям, меньше думал об интересах пишущих. Салтыков всегда порицал маленькие гонорары, которые существуют в некоторых изданиях для людей начинающих и малоизвестных, и всегда давал хорошую плату, плату во всяком случае не низшую, а высшую, чем в других журналах, а затем с течением времени плата эта повышалась. В некоторых случаях гонорары «Отечественных записок» достигали очень значительных размеров. Некоторые сотрудники получали больше, чем сам Салтыков: я помню время, когда ему расчет производился по двести рублей за лист, а другие получали по двести пятьдесят рублей. Потом это сравнялось. Случайные статьи известных писателей также иногда оплачивались дороже. В числе сотрудников всегда было несколько человек, которые получали постоянное жалованье. В случае болезни или каких-либо житейских передрыг жалованье это сохранялось долго за ними или выдавалось их семьям. Долги сотрудников, когда их положение было плохо, постоянно смазывались. Когда «Отечественные записки» закрылись, то многие оказались должными журналу, — и все эти долги были уничтожены; кроме того, почти все, кто постоянно работал для журнала и жил текущею работою, получили по несколько сот рублей, что дало им возможность перебиться до приискания новой работы.

В связи с только что сказанным мне хочется отметить еще одну чисто народную черту характера Салтыкова: он был артельным, мирским человеком не в смысле мир-

ского времяпрепровождения или каких-либо развлечений, совершенно для него чуждых, а в смысле склонности жить и действовать артелью, миром и постоянно принимать близко к сердцу общественные интересы. Это тип на Руси вполне определенный и сохранившийся еще и до сих пор: из него выходят порицатели общественной неправды и пороков, ходоки, заступники и вообще радетели о мире, личная жизнь которых неразрывно соединяется с мирскою, которые немислимы без мира так же, как растение без земли и птица без воздуха. По первому внешнему впечатлению Салтыков легко мог показаться нелюдимым, но чем больше вы его узнавали и ближе к нему присматривались, тем для вас становилось очевиднее, что в нем сильно развито общественное чувство, что он именно немислим без мира, что его даже нельзя представить себе в одиночку: прежде всего без известного кружка близких людей одинаковых с ним убеждений, затем без известного круга читателей, который служил мысленным продолжением этого кружка и который он постоянно имел в виду, и, наконец, без забот об общественном благе в самом широком значении этого слова.

Заботы об общественных интересах достаточно видны из его произведений, из которых каждое имело общественное значение; но немногим, конечно, известно, насколько в непосредственных литературных отношениях Салтыков был заботливым, верным и прекрасным товарищем, насколько мало стремился он преобладать, властвовать и подчинять себе людей и насколько сам умел подчиняться, насколько заботился об единодушии и общем тоне работ, насколько расположение его к людям, с которыми свела его судьба, было прочно и насколько он дорожил ими и ценил их. В этом последнем отношении он даже несколько пересаливал, как зачастую пересаливают (что, впрочем, совершенно естественно) все вообще общественники, артельщики и даже люди политических партий, считающие дороже и выше всего свою общину, свой монастырь, свою ближайшую среду и относящиеся к остальному миру если не с предубеждением раскольников, то во всяком случае как к чему-то чужому: это вот свой, а то чужие; это наш, а то чужанин. Наш может быть и с некоторым изъясцем, да молодец и человек верный, а тот — кто его знает, что такое, — может быть, и нечто хорошее, а может быть, и плохое.

Как умного человека, это не приводило его к крайности, к заключению, что только и света в окошке, что у нас; напротив, он часто порицал свое, отлично знал его слабые стороны и всегда стремился привлечь к журналу все новое, мало-мальски даровитое и честное, признавал порядочность и заслуги других как на литературном, так и на иных поприщах, извинял и там ошибки и слабости, лишь бы только не было неискренности, лжи, ренегатства и виланья хвостом ради каких-либо низменных целей и выгод; но отношение к своему все-таки было несомненно предпочтительное перед посторонним. За своих он всегда готов был постоять, а сознание, что и со своими можно постоять за общие убеждения и идеалы, доставляло ему большое удовольствие. К посторонним людям он вообще относился как-то *искося*, если можно так выразиться. Как не любил он, например, когда посетители, приходя в редакцию, долго засиживались и разговаривали.

— Скажите, пожалуйста, чего они тут сидят? — начинал он ворчать, — ведь у нас дело есть, а тут извольте ждать. Вероятно, они думают, что мы для разговоров собираемся...

А когда разговорчивые посетители или посетительницы уходили, то он иногда напускался на того, кто с ними говорил, причем оказывалось, что «если бы мы сами с ними не разговаривали, то они так долго не засиживались бы».

Правду надо сказать, что между посетителями были прескучные: или придут с чисто теоретическими разговорами, или с совершенно не относящимися к литературе вопросами, или с выговорами за какую-нибудь статью, или с объяснениями, почему такая-то статья не принята, когда она так хороша, и т. п. С одною писательницею, отличавшеюся особенною придирчивостью и необыкновенным многословием, Салтыков положительно не мог говорить, несмотря на то, что она очень редко появлялась: как только, бывало, покажется, так он сейчас же старается направить к ней кого-нибудь из сотрудников: «Это она к вам пришла», или: «Потрудитесь, пожалуйста, принять чашу сию», а сам уходит в другую комнату или, застигнутый врасплох, сидит, косится и сердито откашливается. Вообще он сторонних не жаловал и, наоборот, очень любил, чтобы сотрудники «Отечественных записок»

всегда приходили, и чем больше собирался кружок, тем он становился довольнее и одушевленное. Как только кого-нибудь недоставало, так сейчас же начинались вопросы: почему не пришел, здоров ли и т. д., а когда замечал, что человек как будто уклоняется от посещений, то всегда узнавал: не рассердился ли он на что-нибудь, и не обиделся ли. В начале моего сотрудничества, когда я еще не был близок к редакции и просто стеснялся приходить без определенного повода, Салтыков неоднократно спрашивал:

— Почему вы прошлый раз не были? Что же это мы все врозь будем писать... Право, раз в неделю нетрудно ходить.

То же самое говорилось и другим; а если бы кто-нибудь из постоянных сотрудников, участвовавших в чтении рукописей и в текущих отделах, вздумал не ходить, то тут, наверное, была бы целая история, и Салтыков и сам замучился бы и его бы замучил вопросами, записками, объяснениями, а в конце концов, вероятно, поссорился бы. Однажды, когда еще никаких обязанностей на мне не лежало, я задумал зимовать в Лесном, и он сейчас же стал спрашивать:

— Что это вы в Лесном совсем поселились? Разве там так хорошо?

Говорю:

— Да, хорошо.

— А по-моему, ничего хорошего нет. Разве писатель может жить где-нибудь, кроме Петербурга?

— Почему же?

— Да потому, что вы там не будете так близко принимать к сердцу того, что происходит.

Но так как я никак не мог взять в толк, чтобы такое маленькое расстояние могло что-нибудь значить, и приводил свои резоны, то он избрал другой путь — стал подтрунивать надо мною и сочинять небылицы.

— Я слышал, что вы коров и лошадей в Лесном заводите? Правда это или нет?

— Кто это вам сказал?

— Не помню, кто-то говорил.

Ясно, что никто ему этого не говорил. А в другой раз прихожу в редакцию и слышу рассказ про себя: рассказывает он, что я развожу в Лесном кур.

— Для чего же вы сочиняете, Михаил Евграфович? — сказал я смеясь.

— А для того-с, что настоящий писатель должен в Петербурге жить, а так как вы не настоящий писатель и не желаете им быть, то и живете подальше от литературы. Это уж я по себе знаю; да и по другим тоже: вот Х живет в деревне — много он пишет? А Z как переехал в деревню, так черт знает что стал писать.

Ему просто было нужно, чтобы все собирались, говорили, советовались, чтобы он видел, что журнал есть общее и близкое всем дело. В отрывках из его писем к Н. К. Михайловскому, напечатанных в «Русской мысли» *, немало фактов глубокой его привязанности к журналу и заботливости о сотрудниках: обо всех он думает, неудачников жалеет, говорит о важности работы в *общем* тоне и в *своем* месте, а по поводу неодобренного им полемического фельетона одного из сотрудников высказывает, что «подобные шаги должны быть решаемы обдуманно и *сообща*, чтобы можно было и впоследствии поддержать полемику, а не отступать», и т. п. Но, несмотря на это, все-таки еще жалеет, что недостаточно отрешился от личных привязанностей и отношений ради общего дела. Сделав некоторые поправки в статье Михайловского, он пишет ему: «Я утром ждал вас, но не дождался. Впрочем, корректуры с моими пометками у вас... Будьте так добры, сделайте мне эти уступки... Я зачеркнул, между прочим, и упоминание об Анненкове. Если хотите, восстановите его, но он мой приятель, и я как-то не возвысился еще до того, чтобы оставить отца и мать и прилепиться к журналу».

То же самое было и со мною: раз по поводу Костомарова ¹, когда Салтыков потребовал, чтобы я под статью хоть инициалы поставил *, чтобы она не была принята за редакционную (так как я под статьями никогда не подписывался), а в другой раз по поводу Кавелина. Кавелин выпустил книжку о крестьянском вопросе. Я написал рецензию, где не похвалил его и особенно подчеркнул политическую неопределенность его взглядов, стремление всегда стать на какую-то такую высоту, с которой всегда

¹ Во время русско-турецкой войны он заплатил дань шовинизму, написал сомнительного достоинства статью об исторической нашей задаче, против которой я и возражал. (Примеч. С. Кривенко.)

получается двоякое решение вопроса: и так и этак. Получаю от Салтыкова письмо. Прихожу и вижу у него на столе корректуру.

— У меня, — говорит, — есть к вам большая просьба, которую, собственно говоря, я не вправе был бы делать, потому что совершенно согласен с вашим отзывом. Нам иначе и нельзя относиться к кавелинской эквилибристике, но тут вопрос чисто личный, мой: не ссорьте меня, пожалуйста, с ним... Человек он, право, не дурной, а уж это так он устроен. Я уж и так для литературы порвал решительно все свои прежние отношения: у меня ведь из прежних приятелей и знакомых осталось всего-навсего два-три человека. Пусть же хоть они останутся! Сделайте мне, пожалуйста, эту уступку: не будем печатать эту рецензию!.. *

Разумеется, я согласился. Говоря это, Салтыков повышал тон, и я ясно видел, что он и конфузится и сердится, что у него остается нечто, с чем жаль и трудно расстаться. Хотя это нечто было такое маленькое, естественное и обыкновенное, что не стоило бы о нем даже и говорить, так как у каждого писателя есть отношения и лица, которых он щадит, но его это уже беспокоило. Слишком цельная у него была натура, тяготившаяся всякими компромиссами. И при этом, очевидно, ему и в голову не приходило искать каких бы то ни было оправданий, а прямо решалось, что он не возвысился до известной высоты, до которой иные возвышаются. Уж он ли, кажется, не оставил многого ради журнальной деятельности и правды, — он и с большинством родных, как сам мне рассказывал, перессорился из-за этого, — но раз являлось обстоятельство, мешавшее цельности понятия, он уже не мог чувствовать себя удовлетворенным¹. Последовательность и строгость к себе позволяли ему прилагать такую же строгую мерку в других случаях и к сотрудникам.

¹ В книге С. Н. Кривенко «М. Е. Салтыков... Биографический очерк» далее следует (стр. 66):

Большую ошибку сделал бы, однако, тот, кто придал бы этим компромиссам серьезное значение; наоборот, надо признать совершенно справедливым мнение Н. К. Михайловского, данное в той же его статье: «Несмотря на вышеприведенную оговорку по поводу Анненкова, я не знал человека, о котором с большим правом, чем о Салтыкове, можно сказать, что он оставил отца и мать и прилепился к журналу».

После его смерти один мало знавший его писатель высказал, что он будто бы имел привычку обо всех заглазно дурно отзываться. Это неправда. Он действительно имел привычку на многих ворчать (в том числе и на себя) по поводам иногда самым незначительным, но и в глаза и за глаза всегда высказывал одно и то же, хотя, может быть, и не в одинаковых выражениях, причем сплошь и рядом в глаза высказывался гораздо резче, чем заглазно, потому что терял самообладание. Мне приходилось слышать его воркотню чуть ли не обо всех и каждом из сотрудников, но я положительно не помню случая, когда дело касалось бы чьей-нибудь чести и доброго имени, чтобы слово его было жестоким, оскорбительным словом. Вы сейчас же чувствовали, что это вовсе не злословие, а скорее доброжелательство и забота об общем литературном интересе, что это только слишком строгая точка зрения и нервное отношение к тому, что он не любит, а именно любит и считает своим. Дурно отзывался он только о тех, кто этого заслуживал, но в большинстве случаев он уже не мог спокойно видеть и говорить с такими людьми и в конце концов прекращал с ними отношения или только с великим трудом выносил их. В воркотне же его против своих я никогда не мог усмотреть сбиды: то он начнет по поводу неаккуратности и небрежности работ уверять, что «у нас всё пишут загадочные, поэтические натуры», то про сотрудника, путающего свои денежные счета и дела, начнет говорить: «Это у нас министр финансов» *, и т. п. Как скоро он замечал, когда кто-нибудь в редакционные дни был скучен или просто не в своей тарелке; но прямо по большей части не спросит, точно стыдится такой экспансивности или боится неделикатности вмешательства, а спросит кого-нибудь другого:

— Скажите, пожалуйста, что это N такой скучный, — болен он, что ли? А как дела его?

Сколько раз мне приходилось слышать подобные вопросы. Вообще войти в положение человека, понять это положение и отнестись к нему сочувственно, было для него какою-то непреодолимою потребностью. Иногда думаешь, что он останется безучастным, а он тут-то именно и распахнет свою душу. Иногда думаешь, что он очень рассердится, а он тут-то именно и покажет себя настоящим человеком. Однажды я взял из редакции для прочтения и приготовления к печати три рукописи: роман Карню-

вича, большой рассказ Златовратского и еще какую-то статью. На Садовой, против банка, когда я переходил через улицу, была давка, и на меня наехали два или три извозчика с разных сторон. Чтобы спастись от них, я вскочил в проходившую мимо конку и выронил в это время сверток с рукописями. Сейчас же, разумеется, возвратился, но свертка уже не оказалось, его кто-то поднял. Кто-то сказал мне, что сверток поднял какой-то банковский чиновник и прошел в банк. Я туда, опросил чуть ли не всех сторожей и швейцаров, зашел в несколько отделений, но никто ничего не видал. Положение мое и состояние духа было самое неприятное: что скажут авторы? Как с ними быть? Если отбросить всякие прочие неприятности и оставить один только материальный ущерб, то одному Карновичу приходилось за роман больше тысячи рублей. Что, наконец, скажет Салтыков? Попросив вывесить в банке объявление о потере рукописей, я отправился по газетам с публикациями, пробегал и проезжал весь вечер и, измученный и усталый, возвратился часов в десять домой, думая только об одном: как же мне быть, сказать Салтыкову или погодить, заметит он завтра публикации или нет? Вдруг получаю от него записку; зовет сейчас же. Прихожу в ожидании самого неприятного объяснения, а он говорит:

— Извините, пожалуйста, что я вас потревожил так поздно, но думаю; что вы, должно быть, просто измучились. Рукописи-то ведь, слава богу, нашлись; вот они, возьмите. Какой-то чиновник нашел, увидел там адрес Карновича и доставил их ему, а он мне привез. Это бывает. Вот и с Некрасовым также раз было: вез из крепости «Что делать?» Чернышевского, да и потерял *.

Только и всего, и ни слова укоризны, ни тени недовольства. А какое искреннее удовольствие доставляла ему каждая написанная кем-нибудь хорошая статья. Как сейчас помню, какие восторженные отзывы делал он, например, об «Устоях» Златовратского *, которые ему очень нравились, о «Власти земли» Успенского, несмотря на то, что с некоторыми конечными его заключениями был не согласен. Он положительно становился даже как-то горд в такие минуты, гордостью чисто общественной: «Дескать, все-таки мы впереди», хотя преобладающим чувством было, конечно, не это, а чисто художественное и идейное удовольствие, какое он получал. Зато

как он оставался недоволен, когда кто-нибудь из сотрудников отдавал статью и появлялся в каком-нибудь другом журнале, кроме «Отечественных записок». Это было для него настоящею обидою, особенно, если он дорожил сотрудником: «Зачем, да почему, если недоволен чем, то отчего не сказать? как это идти в чужое место, да что про нас скажут? Скажут, что мы разгоняем людей» и т. д. Чаше всего это происходило по самой простой причине: другие редакции просят сотрудника дать что-нибудь, он обещает; потом у него встречается надобность в деньгах, а в «Отечественных записках» он должен, еще брать стыдно и неприятно — Салтыков ворчать будет, вот он и даст что-нибудь в другое издание. Случалось это, впрочем, довольно редко, так как все знали, насколько это Салтыкову неприятно.

В «Отечественных записках» было несколько человек провинциальных и иногородних сотрудников, которых мы и в глаза не видали и с которыми вел переписку и сношения он сам. Это были преимущественно беллетристы и этнографы, писавшие не постоянно, а от времени до времени присылавшие свои рассказы, повести и очерки. И ими тоже Салтыков очень дорожил, что можно видеть из той аккуратности, с какою он извещал их о получении рукописей, когда они пойдут, что в них следует, по его мнению, изменить, и т. д. Однажды, уезжая за границу, он поручил мне ответить за него двум таким сотрудникам, от которых ждались рукописи, причем по крайней мере раз пять повторил, чтобы я одному сейчас же ответил, как только получится рукопись, потому что он человек аккуратный и любит аккуратность. Или: получаю однажды от него записку, зовет в тот же день вечером или завтра утром. Думаю, что что-нибудь экстренное и иду. Оказывается, что получено письмо от одного из таких сотрудников, на которое он желает скорее ответить, но затрудняется:

— Вот какое неприятное положение: я вам говорил, что прибавил С. полустную плату — вместо семидесяти пяти рублей сто рублей — и написал ему об этом, а он, представьте, остался недоволен и вот что отвечает: говорит, что желает получить сто тридцать рублей... Если так, то почему уж не сто пятьдесят, что за вычисление такое. Ничего не понимаю. Да вот письмо, прочитайте и имейте в виду, что до моего письма он и не заикался о прибавке,

а когда я прибавил, так оказывается, что этого мало, то есть, дескать, если сам прибавляешь, так и больше прибавишь. Неприятно это мне: молодой человек, у нас же начал писать, мы же с ним возимся, а он как на лавку какую-то смотрит. Да мы, наконец, и не можем всем столько платить.

Я сказал, что и на меня это производит также неблагоприятное впечатление и что я или повысил бы всем гонорар как за беллетристику, так и за другие статьи, которые писать иногда гораздо труднее, чем очерки и рассказы, или же не делал бы исключений.

— В том-то и дело, что его нельзя ставить в исключительное положение: конечно, он недурно пишет, но так пишут все. Тогда придется и другим прибавлять, придется прибавить и получающим двести и двести пятьдесят рублей, а мы, право, столько платить не можем. Мы и без того дороже других платим.

Прощаясь, Салтыков сказал:

— Ну, я очень рад, что не один я так смотрю.

Но каково же было мое удивление, когда в первый же редакционный день я от него услышал:

— А, знаете, я ведь написал С., что согласен на его прибавку: * пусть по его будет. Неловко как-то: может быть, у него какие-нибудь расчеты с этим связаны.

Словом, никто не должен был уходить, пока не расходился во взглядах с журналом. Некоторые из этих сотрудников были людьми не особенно даровитыми, и Салтыков возился с ними, исправлял их рукописи, подкрашивал, но никогда не отказывал. Точно по пословице: «Чем дитя несчастнее, тем матери милее». Не менее интересно также его отношение к писателям слабеющим. Это один из драматических моментов в писательской жизни: вследствие возраста или каких-либо других внутренних причин, иногда только временных, человек вдруг начинает утрачивать интерес, живость мысли и впечатлительности, начинает писать мало или вяло и шаблонно, точно лапти плетет. Это состояние характеризуется выражениями: «Стал исписываться»; «Стал слабеет»; «Не может идти в уровень с жизнью» и т. п.; но определения эти сплошь и рядом бывают ошибочны: человек иногда несколько не стареет и не слабеет, а просто устает работать или переживает какой-нибудь временный душевный процесс. Но как бы там ни было, а сотрудники более жи-

вые и энергичные выдвигаются в это время вперед, начинают больше работать, разбирать темы и вообще действовать, а тот понемногу отстает и переходит в задние ряды. На моей памяти были такие примеры, и Салтыков сейчас же это заметит¹:

— Скажите, пожалуйста, отчего это Z стал так мало писать?

— Я не знаю: вероятно, не хочет или не может.

— Нет, а я думаю, потому, что с ним неделикатно обходятся: никогда ничего не предложат написать, никогда не спросят, что он думает писать, вообще точно обходят. А он между тем, право, настоящий писатель и очень не дурно пишет. Вот, например, в библиографии: разберут все новые книги, а на его долю ничего и не остается.

В то время относительно библиографий в «Отечественных записках» был такой порядок: новые книги, присылавшиеся авторами, издателями и книжными магазинами, приносились в редакцию и разбирались для отзывов сотрудниками, кому что было ближе и что кого больше интересовало. Кроме того, книги, которых не было, можно было брать в книжных магазинах сначала Мамонтова, а потом Мартынова, и по иностранной литературе у Мелье и Риккера. Словом, относительно рецензий была полная свобода, и столкновений никаких не происходило. Однако о замечании Салтыкова я подумал и в первый же раз, как только стали разбирать книги, сказал Z:

— А отчего вы никогда ничего не возьмете?

Он взял две книги, а Салтыков потом сказал мне:

— Ну, вот видите.

Оказалось, что Z действительно деликатничал и что всем нам это было невдомек.

Вообще он отличался замечательною внимательностью к людям и не хотел, чтобы кто-нибудь был обижен и недоволен. Повторяю, когда он сам оказывался в чем-нибудь неправ, то всегда сознавал свою неправоту и всегда готов был извиниться. Неприятно это было ему, мор-

¹ В книге С. Н. Кривенко «М. Е. Салтыков... Биографический очерк» далее следует (стр. 94):

...ободрит человека, придумает или попросит других приискать ему работу, так что тот иной раз и не подозревает, кто о нем думает, и, смотришь, человек опять входит в колею и начинает работать несколько не хуже прежнего, да и не хуже других.

щился он, но всегда извинялся с самым чистым сердцем, потому что сердце у него было действительно чистое, чуждое каких-либо дурных чувств против ближнего. Я не могу сказать, чтобы я пользовался каким-нибудь особенным расположением Михаила Евграфовича, я был простым рядовым сотрудником, и потому-то отношения эти имеют значение для его характеристики: это больше, чем обыкновенные деловые хорошие отношения, — это именно отношения артельные, мирские, когда вы чувствовали, что составляете часть чего-то целого, на что можете опираться, и сознавали, что вас не вышвырнут в один прекрасный день, как из машины винт негодный, на улицу. Я и большинство сотрудников были значительно моложе Михаила Евграфовича, а потому относился он к нам иногда как старший к младшим; но обидного в таких отношениях ничего не было, так как вы сейчас же убеждались и в его искреннем к вам расположении и — весьма нередко — и в правоте. Больше всего он сердился за недостаточное усердие и внимание к журналу. Сам он, как я уже говорил, вкладывал в него всю душу и перенес в дело чисто служебную привычку к аккуратности и пунктуальности. Требовал того же и от других.

— Вы как следует никто не работаете, — обыкновенно говорил он, — и относитесь к делу спустя рукава. Вы всё думаете, что мы вечно будем жить. Придется же когда-нибудь и вам самостоятельно вести журнал... Дело это вовсе не шуточное. Это большое дело, а для вас все равно.

— Из чего же это вы заключаете?

— Как из чего, слепой я, что ли? Никогда посоветоваться не придете, каждый что вздумает, то и пишет... Я еще, право, удивляюсь, как у нас книжки более или менее согласно составляются... Да и работаете-то как: напишете лист с четвертью и думаете, что в пределах земных совершили все земное. Я больше вас пишу.

— Не всякий так может работать, как вы.

— Приучайте себя.

— Да уж поздно приучать-то.

— Почему?

— Да потому, что мы уж не дети.

— А старики, да? Из вас кто старше, — М.? * Позвольте узнать, сколько ему лет.

— Почти сорок.

— Ах, какой удивительный возраст! Я в сорок лет только начал работать как следует.

Просто нельзя было иной раз не расхохотаться, но на это всегда следовало замечание, что «смеяться мы умеем», и приводился какой-нибудь такой аргумент, который должен был показать, что смешного тут ничего нет.

— Вот вы смеетесь, а не угодно ли посмотреть вот (он показывал обыкновенно чью-нибудь всю перемазанную корректуру, над которою сидел). Меня одни наши переводчики замучили своими переводами.

— Почему же вы сами это делаете и не поручите кому-нибудь? Ведь никто из нас не отказывается...

— Потому, что желания не вижу. Я не знаю, согласитесь вы на это или нет. Это — работа египетская, каторжная.

Мы пробовали брать у него редакторские корректуры, но это было бесполезно, потому что он все равно над ними сидел, поправляя слог, изменяя абзацы и т. п., и сидел не над исправленными уже формами, а над теми, которые и ему посылались одновременно с нами. Такой уж это был беспокойный и заботливый человек.

Когда мне пришлось вести постоянный отдел в журнале и участвовать в редакционной работе, то побуждения к работе стали еще настойчивее. Положительно не проходило месяца без таких побуждений, а иногда и без пререканий, которые, впрочем, очень скоро кончались. Работы по журналу было много, а у меня были другие дела, которых я никак не мог оставить*, поэтому свои статьи приходилось откладывать в самый конец, отдавая им последние три-четыре дня перед отправкою в цензуру. Вот тут-то Михаил Евграфович и начинал бояться, что книжка запоздает выходом, и начинал торопить. Тут до смерти некогда, а он шлет гонцов, письма, сердится и только мешает. Бегают рассыльные, приходит метранпаж и сидит. Говоришь или пишешь ему, что до обычного срока остается еще несколько дней, что никогда с моей стороны задержки не было и что и теперь не запоздаем, но он этим не удовлетворяется и начинает писать какие-нибудь колкости, что-нибудь вроде следующего: «Вы свои статьи подгоняете обыкновенно к самому концу, так что я не успеваю просматривать корректур. Если вы считаете излишним советоваться со мною, как

с товарищем и как я с вами советуюсь, то не устраняйте меня по крайней мере как официального редактора, потому, что я <иначе не> могу отвечать за журнал» и т. п. Тут рябит в глазах от последних корректур, свою работу через пень в колоду кончаешь, а он такие письма пишет. Рассердился я однажды на такое письмо и написал, что удивляюсь, для чего он истолковывает в таком обидном смысле самые обыкновенные вещи, что статью свою я уже кончил и послал в типографию, а вчера кончить не мог потому, ну, хотя бы потому, что болен был. Позвольте, дескать, и мне иметь такое маленькое и естественное право. Но тут я попался, как говорится, впро�ак. Мне действительно несколько нездоровилось, но я был на ногах и вообще был больше здоров, чем болен. Послал я это письмо с рассыльным, а сам стал пить чай с одним из наших постоянных сотрудников, на которого Салтыков также постоянно роптал. Не прошло и часа, как слышу, дверь отворяется и входит, задыхаясь и кашляя, Михаил Евграфович. Жил я в четвертом этаже, а сам он был гораздо больше меня.

— Что с вами такое? Вы меня напугали... Кто вас лечит?

Мне стало ужасно совестно, и я сказал, что чувствую себя теперь гораздо лучше.

Посидев с час и поговорив по-хорошему, Михаил Евграфович ушел, но случай этот мне не прошел даром: как только, бывало, рассердится и начнет говорить о том, что мы ничего не делаем, так всегда добавляет: «Вы только чай с N пьете».

В другой раз было еще хуже: написал было я очередную статью, но, получив гораздо лучшую о том же предмете (Капустина), взял и пустил ее вместо своей *, а сам стал другое писать. Но Салтыков сейчас же это заметил и написал мне опять что-то колкое, на ту тему, что журналу нужны почему-то именно мои статьи, а не чужие, хотя бы и прекрасные. Я ответил, что и моя статья будет, а эту все равно нужно напечатать, потому что она очень обстоятельна и как нельзя более своевременна. Он еще что-то написал и снова упомянул, что я будто бы умышленно не хочу знать. Я ответил, что в таком случае не лучше ли будет мне уйти из журнала, что я настолько не желаю причинять ему неприятностей, что готов исполнить это хоть сегодня же. И опять Салтыков

через силу приехал и стал говорить, что так и жить нельзя, если ничего нельзя сказать, и т. д.

Вообще, нужно правду сказать, мы тяготились ходить к нему и слушать его воркотню, обижались на его порою резкое слово, за которым не было дурного чувства и которое только выражалось в резкой форме, не принимали в соображение его нервности, болезненности и действительно огромных трудов, которые на нем лежали. Положим, что он сам их на себя накладывал, но мы все-таки гораздо меньше его работали и гораздо больше жили другою жизнью. Он часто действительно чувствовал себя одиноким, и это его ужасно обижало и причиняло ему нравственную боль.

— Я один, все меня забыли, никто ко мне не ходит или ходят только по делу, — вот его постоянные жалобы.

В последние два года перед закрытием «Отечественных записок» я чаще других ходил к нему и очень часто слышал эти жалобы. Один же жить он положительно не мог; он не только не любил единолично решать разные общие вопросы, но ему просто необходимо было с кем-нибудь предварительно поговорить и посоветоваться: «Если вам не о чем советоваться, если вы всё так счастливо решаете, то мне нужен совет». Прежде он всегда и больше всего советовался с Г. З. Елисеевым. Кажется, было достаточно и одного такого опытного и дальновидного советчика, но он в то же время советовался также и с Н. К. Михайловским, заступившим место Некрасова; но и этим не довольствовался, а советовался и с другими. Обычная его фраза: «Как вы думаете, а?» — всем, вероятно, памятна. Когда Елисеев заболел и должен был надолго отправиться за границу, а Михайловский экстренно выехал из Петербурга *, то положение его стало особенно трудным.

— Вы знаете, что я никуда почти не могу сам ездить, потому что болен; поэтому надо ко мне ходить чаще. Разве я виноват, что болен?.. А у меня между тем никто не бывает.

Однажды я попробовал указать ему на двух не частных к журналу лиц, с которыми он был более или менее хорош *, но оказалось, что ему нужны именно литературные и из литературных свои люди:

— О чем я буду с ними говорить? Разве я не знаю,

что они скажут? Разговоры с ними совсем особые, а об журнале я с ними не могу, да и не хочу говорить.

Словом, мы относились к нему менее внимательно, чем он к нам. Единственное извинение, которое я лично нахожу для себя в данном случае, это то, что у меня в то время было столько дела, кроме «Отечественных записок», что было не разорваться и что я не считался с ним и не боялся того, что он мне наговорит, а просто стеснялся прийти не вовремя, оторвать его от работы и т. д. Причинить Салтыкову какую-нибудь неприятность или беспокойство всегда было как-то стыдно, и я не знаю, сколько отдал бы, чтобы вернуть причиненные ему совершенно невольно неприятности. Теперь, впрочем, не время еще об этом говорить*.

Иногда сущие недоразумения и неумение самого Салтыкова выразить то, что он хотел, были причиной того, что к нему некоторые неохотно шли. Помню, например, такой случай. Говорю я одному из сотрудников, про которого он часто вспоминал, почему он не зайдет к нему, а он мне отвечает:

— Как я к нему пойду... Представьте, прихожу в последний раз: «Ну, здравствуйте, садитесь», — говорит, как вдруг в это время кто-то позвонил, а он и говорит: «А вот и еще черт кого-то принес».

Я глубоко убежден, что Салтыков не хотел этого сказать, что сорвавшаяся у него фраза не только не имела отношения к собеседнику, но даже и к тому, кто вновь пришел, а просто выражала досаду, что помешают поговорить с человеком, которого он хотел видеть; между тем фраза вышла такой неудачной, что произвела обиду.

Помню такой еще случай. Однажды я пришел к нему как раз после многолюдной компании знакомых (не литературных), которая только что ушла от него, и услышал от него следующее:

— Боюсь, как бы эти господа на меня не обиделись... Представьте: то не едут, не едут целые месяцы, а тут вдруг все сразу пожаловали, сидят и разговаривают между собою, хохочут, а я слушаю. Ну, вот я и сказал им это, а они вдруг взяли шапки да уехали. Право же, я не хотел им ничего обидного сказать, а просто хотел только выразить, что гораздо лучше они сделали бы, если бы не сразу приезжали, что мне приятнее было бы видеть

их порознь и чаще, самому говорить с ними, чем слушать их разговоры между собою.

К салтыковскому голосу и разговору нужно было привыкнуть да привыкнуть. Так, например, чтобы сказать, что у меня литературная форма плоха, он вот что говорил, говорил сердитым басом и с сердитыми глазами:

— Вы, вероятно, воображаете, что вы обозрения пишете?

— А что же?

— Статьи! Вот что.

— Что же, это хуже или лучше?

— Я не знаю, хуже или лучше, только это не обозрения.

— В таком случае, давайте другого кого-нибудь найдем.

— Вот и обижаетесь. Ничего нельзя сказать.

— Нисколько не обижаюсь. Я пишу, как пишется, как могу, а если не то выходит, то почему же не попробовать кого-нибудь другого, а я буду статьи писать.

— Совсем этого не нужно. Не нужно!

Относительно своих статей Салтыков всегда испытывал робость, что у него плохо вышло, и всегда, бывало, спрашивает:

— Скажите, пожалуйста, а мою статью вы просмотрели? Ничего у меня вышло? Кажется, плохо?

На замечания он никогда не обижался. Хотя и редко приходилось их делать, но приходилось; а до какой степени он всегда интересовался искренним мнением, лучше всего можно было видеть по тому вниманию, с каким он выслушивал замечания¹. Почти целых пять лет мне пришлось не видеть Михаила Евграфовича*, и когда

¹ В книге С. Н. Кривенко «М. Е. Салтыков... Биографический очерк» далее следует (стр. 58—59):

Эта строгость к себе и привычка спрашивать остались у него до самой смерти.

Салтыков вполне искренно не доверял своему огромному таланту и думал, что он только трудом и может брать. Он вообще скептически относился к всемогуществу таланта, особенно если талантливые люди были слишком проникнуты самоуверенностью и думали выезжать на одном только таланте, без труда и знаний. Признавая их талантливость, он, однако же, довольно часто иронизировал над ними, когда представлялся какой-нибудь повод, говоря: «Это гениальные натуры, которых простые смертные даже понять не могут. Я тоже не понимаю, потому что я не гениальный»

я его увидел, то во второе же свидание он меня спросил:

— Ну, а «Пошехонскую старину» читали? Ничего она выходит? Кажется, плохо?

— Нисколько не плохо, — сказал я. — Конечно, не все у вас одинаково написано, есть пропуски в картине...

— Ну, вот видите, а тут, кого ни спросишь, все: «Великолепно да великолепно».

— Позвольте, но в общем-то все-таки получается картина живая и хорошая.

— Нет-с, я недоволен «Пошехонскою стариною». Начал я ее действительно с удовольствием, а потом надоела она мне ужасно, просто измучила... Образы за образами поднимаются и лезут в голову, а возиться с ними скучно, тяжело, да, наконец, все это уже известно.

— А я, напротив, думаю, что у нас мала и недостаточна литература по этому периоду, у нас именно недостает широкой картины крепостного быта.

— Какие же пропуски вы находите?

— А вот именно о положении крестьян, дворовых.

— А у Аксакова в «Семейной хронике». У Тургенева, у Гоголя...

— Но всего этого мало, Михаил Евграфович, для такого большого периода.

— Да, это правда, что мало, Но вы не поверите, как мне надоела эта канитель. Ведь я опять точно переживаю то время. А тут еще болен я. Право, иногда кажется, что не кончу. Впрочем, нисколько об этом не жалею: у меня на всякий случай проект окончания есть, всего-то в одну

писатель», и с гордостью добавлял: «Зато я работник». Если он работал для журнала из месяца в месяц, если он не любил, чтобы произведения его залеживались, то это не мешало ему тщательно обдумывать их, по нескольку раз переписывать и переделывать рукописи. Работник он действительно был замечательный. Вот что сам он говорит в одном наброске, найденном в его бумагах:

«Я никогда не мог похвалиться ни хорошим здоровьем, ни физическою силою, но с 1875 года не проходило почти ни одного дня, в который я мог бы сказать, что чувствую себя изрядно. Постоянные болезненные припадки и мучительная восприимчивость, с которою я всегда относился к современности, положили начало тому злому недугу, с которым я сойду в могилу. Не могу также пройти молчанием и *непрерывного труда: могу сказать смело, что до последних минут вся моя жизнь прошла в труде, и, только когда мне становилось уж очень тяжело, я бросал перо и впадал в мучительное забытие*».

страничку. Надо будет как-нибудь написать на всякий случай, а не напишу, так пусть другой кто-нибудь напишет и скажет, что автор предполагал кончить свою историю зимним помещичьим весельем, пошехонским раздольем. А вот о чем жалею, — продолжал он с расстановкой после небольшой паузы, — для этого стоило бы начать снова жить: я задумал новую большую вещь — «Забывшие слова». — И он рассказал программу этой новой работы *.

Михаил Евграфович очень любил говорить и развивать планы задумываемых им работ, причем вспоминал разных лиц, разные обстоятельства и случаи, о которых должна была идти речь, любил также читать рукописи. Мне приходилось не раз слушать такое чтение. Насколько публично читал он нехорошо, настолько же с удовольствием можно было слушать его в кабинете. Читал он просто, без всякой манеры, без ударений, без интонации и вообще без всякой искусственности, но увлечение предметом невольно передавалось и вам, и я по крайней мере слушал его чтение с большим удовольствием. Не знаю, были ли у Михаила Евграфовича вещи, написанные сразу. Вероятно, были, но те, которые он мне читал, были в нескольких вариантах или, лучше сказать, редакциях, то есть были написаны раз, потом поправлены, изменены и переписаны. Помню, одно из «Писем к тетеньке» было в двух редакциях, а сказка о киселе — в трех. Над этою крошечною сказкою Михаил Евграфович долго сидел и говорил о ней с неменьшим увлечением, чем и о самоотверженном зайце и бедном волке, которые тоже читал мне, только уже не в рукописях, а в корректуре. С какою скромностью он выслушивал замечания и принимал или отвергал их. В этом отношении он представлял совершенную противоположность другим писателям, которые ни единою строчкою из написанного не поступятся.

Припомню еще несколько фактов, характеризующих Салтыкова со стороны, о которой говорю, со стороны склонности жить и действовать миром. Он это исповедовал не только лично, но и предъявлял к другим — и предъявлял не только при их жизни, но даже после смерти. Когда умер Некрасов и завещал похоронить себя в Новодевичьем монастыре, то надо было видеть, как он сердился за это на покойника.

— Вот видите, — говорил он на панихиде, — не захотел со всеми на Волковом кладбище быть, а выделиться захотел. Я, дескать, такая величина, что не хочу со всеми лежать. А не все ли равно, где лежать, между тем для общества это значение имеет. Он вот и при жизни такой же был: все один, все в особинку да втихомолку.

И несколько раз Салтыков повторял на разные лады то же самое. Видимое дело, что это его очень огорчало и что он никак не мог взять в толк, как это «такой умный человек и мог сделать такое распоряжение». Потом он стал даже иронизировать над Некрасовым:

— Вы знаете, зачем он велел на Новодевичьем кладбище себя похоронить? Думал, что монахини будут ходить по могиле и петь, а он будет слушать и поглядывать оттуда. Право, так.

Словом, человек и после смерти должен был быть со своими.

Затем, когда закрылись «Отечественные записки», то это было для Салтыкова огромным ударом: вся жизнь его была связана с журналом, вся душа его была там; но не это главным образом огорчало его, а то, что его выделили из числа сотрудников. * «Я каким-то дураком вышел, вот что обидно», — говорил он. И в самом деле, журнал был общим, мирским делом, как же можно было разделять их? Я уверен, что если бы его постигла какая-нибудь кара, то он встретил бы ее мужественно и почувствовал бы себя спокойнее. Не могу, между прочим, не рассказать тут о своей встрече с ним. Почти целых пять лет не видал я его. Увидев меня, он обрадовался и сказал: «Откуда ты, эфира житель?», но сию же минуту насупился, отвернулся в сторону и сказал: «А я на вас сердит».

— Знаю я это, — отвечал я *.

— Нет, не знаете, я вот за что сердит: я все эти пять лет посылал вам свои книжки, — как только выйдет какая, так и пошлю, — а вы мне хоть бы строчку написали...

Я сказал, что получил только одну книгу *, и то в самое последнее время, перед приездом в Петербург, так что писать, собственно, не стоило, потому что лично надеялся увидеться, а остальные, вероятно, затерялись или неправильно были адресованы. Книги, по поручению

Салтыкова, на самом деле мне не посылались, но он этого не знал, и так просидел все время недовольный (а объяснять ему настоящую причину неполучения книг мне не хотелось *). Разговаривал он, спрашивал, рассказывал, но все-таки как-то косился, когда же я стал уходить, то в прихожей уже вдруг гнев с него совершенно сошел.

— Что это мы с вами как встретились, точно чужие, — сказал он, — столько времени не видались и даже не поцеловались. Черт знает что такое!

— Так давайте поцелуемся, Михаил Евграфович, ведь это вы рассердились, — сказал я.

И он обнял меня, и мы несколько раз горячо поцеловались. *Не чужие, а свои* ему были все, кто работал в «Отечественных записках». Обо всех он думал и никого не забывал. Еще факт: пришел я к нему незадолго перед смертью и застал его в самом тяжелом состоянии: сидел он в кресле перед письменным столом, закрыв глаза, ничего не говорил и тяжело дышал. На измученном лице лежали следы страдания, жизни, уступающей смерти. Смотреть даже было тяжело. Поздоровавшись, я посидел минут пять и спросил: не обременяю ли его своим приходом?

— Нет, — сказал он, — пожалуйста, посидите и расскажите что-нибудь, а мне трудно говорить.

«Что же, думаю, рассказать ему? Ничего для него нет интереснее литературы», а потому стал рассказывать об устраивающемся литературном вечере, в котором принимал участие и Н. К. Михайловский. Как только произнес я его имя, так Салтыков вдруг открыл глаза и сердито сказал:

— И зачем он с ними связывается?! Там и писателей-то, кроме него, нет.

— Как нет? — сказал я и назвал несколько старых, известных фамилий.

— Какие же это писатели, это просто... — (тут было сказано обычное крепкое словечко). Свои не должны были смешиваться с кем попало...

В печати без направления и направления зазорного несколько раз говорилось, что будто бы у Салтыкова не было определенного мирозерцания, что он не был цело-

веком партии и будто бы бил иногда своих. Уже в самом соединении этих определений есть противуречия: если он не был партийным человеком и не имел определенного миросозерцания, то как могли быть у него *свои* и, наоборот, если у него были *свои*, то, значит, он принадлежал к известной группе (велика она была или мала — это все равно) и имел известное миросозерцание. Миросозерцание Салтыкова было очень широким и в то же время очень определенным. Юность его приходится на сороковые годы, когда в русской литературе образовалось два течения — западническое и славянофильское. Он воспитывался на статьях Белинского и, будучи по природе русским и оставаясь им до самой смерти, примкнул навсегда к западникам, то есть стал желать для отечества того, что на западе было выработано жизнью хорошего. Примкнул он, однако, не к большинству западников, занимавшемуся популяризацией немецкой философии, а к небольшому кружку, прилепившемуся к Франции, к Франции не Гизо и Луи-Филиппа, а к Франции Сен-Симона, Фурье, Кабе, Луи-Блана и Жорж Занда. «Оттуда, — говорит он в одном очерке, имеющем несомненно автобиографическое значение, — лилась на нас вера в человечество, шло все доброе, любвеобильное и желанное, оттуда воссияла нам уверенность, что золотой век не назади, а впереди нас» («За рубежом»). Он еще в лицее читал этих авторов и увлекался ими, и когда потом в Вятке собирался писать «Об идее права» и биографию Беккарии, когда писал нечто вроде исторического учебника («Краткую историю России») и ставил в заслугу Иоанну Грозному его борьбу с боярством на почве местного управления и учреждение судных старост и целовальников, «чтобы лишить областных правителей возможности грабить народ», когда, участвуя в служебных командировках, ревизиях и комиссиях, высказывался даже в официальных бумагах за свободу личности, экономическое благосостояние народа, вред полицейского всевластия и бюрократической централизации и стоял за необходимость общественного контроля и местного самоуправления, — то во всем этом уже сказывались социально-политические идеи этих писателей, не просто на веру взятые, а продуманные и согласованные с русской действительностью. Идеи эти как нельзя более гармонировали с его чисто русскими общинными

склонностями. Он и в последние годы, будучи уже стариком, много раз вспоминал в разговоре об этих писателях, особенно о Фурье, с практическою стороною учений которого (например, с устройством фаланстеров и т. п.), однако, далеко не был согласен. Признавая и высоко ценя общие положения, всю практическую часть он ставил в зависимость от времени, развития и желания людей и скептически относился к возможности раз навсегда придумать формы жизни. Как русский народ, выработав общинный порядок и храня его как главную основу своего быта, остановился на известном расстоянии от перехода в коммунизм и от поглощения общиной личности, так и он — и инстинктивно и путем высшего процесса мысли — также остановился на известном расстоянии от категорических форм, которые могли бы быть придуманы на вечные времена, остановился во имя той же свободы личности, предоставляя ей самой устроиваться в подробностях. Истина несомненно здесь, в этой стороне, говорил он, — но можно ли назвать формы жизни, придуманные хотя бы и великими людьми, окончательными? Прекрасные, справедливые и удобные для данной эпохи, не превратятся ли они в прокрустово ложе для будущего? В частном письме к одному из писателей, отрывок из которого приводит г. Арсеньев * в «Материалах для биографии Салтыкова», он говорит: «Мне кажется, что писатель, имеющий в виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иных идеалов, кроме тех, которые исстари волнуют человечество. А именно: свобода, равноправность и справедливость. Что же касается до практических идеалов, то они так разнообразны, что останавливаться на этих стадиях — значит добровольно стеснять себя. Я положительно уверен, что большее или меньшее совершенство этих идеалов зависит от большего или меньшего усвоения человеком тайн природы и происходящего отсюда успеха прикладных наук... Фурье был великий мыслитель, а вся прикладная часть его теории оказывается более или менее несостоятельною, и остаются только неумирающие общие положения. Это дало мне повод задаться более скромною миссией, а именно спасти идеал свободного исследования, как неотъемлемого права всякого человека, и обратиться к тем современным «основам, во

имя которых эта свобода исследования попирается».

Чем обстоятельства, в каких приходилось действовать Салтыкову, были труднее, тем, само собой разумеется, приходилось дольше стоять на общих положениях, тратить больше сил и времени на подготовительную работу, «на корчевку старых пней», как он выразился однажды в разговоре с одним из сотрудников *, и отодвигать положительный идеал дальше; но тем не менее он никогда не упускал его из вида, и все его отрицание клонилось к осуществлению и уяснению этого идеала, к водворению в жизнь общих положений, которые самым тесным образом с ним соединялись и входили в него. Мне очень трудно представить себе Салтыкова не в писательской роли, а в роли политического оратора, депутата или вообще какого-нибудь политического деятеля, но если бы у нас существовали политические партии, наподобие европейских, и Салтыкову пришлось бы делать между ними выбор, то я не сомневаюсь, что он выбрал бы партию социалистическую.

Когда говорят, что Салтыков будто бы не щадил своих и бранил и смеялся над всеми одинаково, то для этого нужно было бы представлять доказательства, которых обыкновенно не представляют, потому что их трудно найти, но если бы что-либо подобное и было найдено в его сочинениях, то это еще ничего не доказывало бы, потому что и свои могут ошибаться и заблуждаться и заслуживать порицания, а еще чаще чужие могут взять ваши идеи, особенно наиболее слабые, и компрометировать их неудачным применением или прямо искажать и предавать поруганию одним своим прикосновением: и Роберт Овен устраивал рабочих в Нью-Ленарке, и Аракчеев создавал свои поселения, и Фурье мечтал об общежитиях, и помпадур «зизидитель» тоже разводил какие-то мечтания на ту же тему.

Человек с меньшим умом и практической выдержкой мог бы очень много написать про своих и про молодое поколение, тесно с ними соприкасавшееся. Много было смешного, ошибочного, претендующего и лично оскорблявшего Салтыкова, но он никогда не терял самообладания. Сколько смешного рассказывал он про одну

фельдшерицу, отправившуюся, по земскому приглашению, на борьбу с сифилисом, но, зная, что этот факт частный, и боясь, что им могут воспользоваться противники женского образования, — и не подумал смеяться над ним печатно. Сколько неприятных писем и объяснений ему приходилось иметь с молодежью, но, зная, что перед ним не все молодое поколение, а только наиболее нетерпеливые, единицы, — ни строки дурной не написал о молодом поколении и сохранил к нему любовь и веру. Надо было знать, насколько непосредственно могли раздражать <его> некоторые факты и положения. Одно время (в середине семидесятых годов) положение Салтыкова было просто нестерпимым: с одной стороны, на него постоянно были недовольны так называемые сферы и цензура, а с другой — его бранили молодежь и публика за то, что он недостаточно последователен, не то пишет и не то делает, что нужно, и т. д. Это уже потом ему стали посылаться многочисленные адреса, а вначале читатель к нему был очень строг, порою просто даже безмилосерден. Так, например, его постоянно звали читать в пользу чего-нибудь, участвовать в литературных вечерах, он отказывался, его бранили, не желая знать никаких извинительных причин и объясняя отказ исключительно нежеланием и его неотзывчивостью к добру. Между тем он часто не мог читать просто по болезни, не говоря уже о том, что для него появляться на эстраде и читать публично было чистою мукою. Не умел он читать, да и появляться публично не любил. «Я никогда не мог похвалиться, — говорит он в одной объяснительной записке *, — ни хорошим здоровьем, ни физической силою, но с 1875 года не проходило почти ни одного дня, в который я мог бы сказать, что чувствую себя изрядно». А тут будут читать.

— Вот вы посидите да послушайте, как я кашляю, — говорил он иногда приглашающим, — тогда и увидите, могу ли я читать.

Кашель Салтыкова был действительно затяжным, продолжавшимся иногда минут пять — десять подряд. Но отвечать так можно было только в спокойном, хорошем настроении, а в другое время можно было говорить просто: «Не могу, не пойду», а так как говорил он это по обыкновению сердитым тоном, то это также ставилось ему на счет.

Затем, Салтыкова считали чуть ли не миллионером и постоянно осаждали просьбами о пожертвованиях на разные благотворительные и благородные цели. Он давал сколько мог, а иногда и отказывал, и опять его бранили. Состояние Салтыкова было очень не велико и поправилось только за последние годы, когда возросла подписка на «Отечественные записки» и когда стали расходиться его сочинения отдельными изданиями. Служил он по необходимости, работал в литературе также далеко не по одной только охоте *. В «Отечественных записках» он получал сначала только сто пятьдесят рублей в месяц и сам говорил мне, что должен был как вол работать; а в «Современнике», дела которого в то время были не блестящи, ему приходилось иногда перебиваться рецензиями, что и заставило его искать опять места и вторично поступить на службу, до последней отставки. О семье своей он действительно думал, желая оставить ей обеспечение, но в личной своей жизни отличался большою скромностью (даже больной он не имел отдельной прислуги). Опасаясь «полуголодной старости», он работал до самой смерти. «Могу смело сказать, — говорил он в вышеупомянутой записке, — что до последних минут вся моя жизнь прошла в труде, и только когда мне становилось уж очень тяжело, я бросал перо и впадал в мучительное забытие». В 1888 году, когда я его спросил, как он себя чувствует, он мне ответил:

— Уверяю вас, что каждый день ложусь с неуверенностью, что проснусь утром.

И тем не менее и в это время он работал.

Одним словом, материальное положение Салтыкова в то время, о котором я говорю, вовсе не было таким блестящим, как об этом думали осаждавшие его просьбами. В этом отношении у нас дело стоит вообще довольно любопытно: когда, например, писатель делает издание, то получает всегда массу просьб пожертвовать издание или прислать «по удешевленной цене». Пишут библиотеки, больницы, школы и т. д., не исключая и частных лиц. Во многих местах заведены для этого даже специальные печатные бланки. Если бы писатель удовлетворял все просьбы, то в некоторых случаях легко могло бы случиться, что ему самому ничего не осталось бы; но нередко он даже не может сам распоряжаться

своим изданием, так как издает его не он, а другое лицо, которому он его продал. Между тем этого знать не хотят или никак понять не могут и пишут претензии, выговоры, упреки за то, что слово не согласуется с делом, что на словах одно, а на деле другое и т. д. Салтыкову немало приходилось выслушивать подобных упреков, и я знаю случаи, когда он сам покупал свои же сочинения, чтобы послать кому-нибудь. Выговорив или оставив при издании определенное количество экземпляров для раздачи, он на остальные не имел уже права. Правда, что сочинения его были сравнительно дороги, но для этого нужно было знать, как он с ними устроивался: он отдавал их книжным торговцам не с двадцатью пятью — тридцатью процентами скидки, как обыкновенно, а с пятьюдесятью процентами, то есть за полцены, и отдавал обыкновенно не на чистые деньги, а на векселя. Однажды я ему сказал, что он портит таким образом книжное дело, что книги, благодаря этому, продаются по самым произвольным ценам, а он мне на это ответил, что нельзя же и торговцев притеснять, так как дела их очень плохи.

Но этого рода упреки были еще не так обидны, как упреки другого рода, упреки чисто принципиальные и нравственные, которые также приходилось выслушивать по поводам сплошь и рядом самым неосновательным. Так, например, его звали на студенческие сходки. Одно такое приглашение, помню, шло через меня: «Если ваш Салтыков порядочный человек, — говорили мне три барышни и двое молодых людей, — то почему он на сходки не ходит? Вот скажите ему, что в четверг будет сходка». Я воображаю Салтыкова на студенческой сходке да еще с женским персоналом. Само собою разумеется, что приглашения этого я не передал, а только потом, при случае, посмеялся над ним Салтыкову, но это нисколько его не удивило: «А вы думаете, что это впервой, — сказал он, — меня и лично сколько раз звали». Этим он, впрочем, не обижался, но когда ему приходилось выслушивать упреки за литературную деятельность, когда ее неправильно истолковывали относительно направления и молодого поколения и в особенности когда упреки шли со стороны самой молодежи, то это его очень огорчало. Я знаю случаи, когда Салтыков, получив одно такое несправедливое и резкое обвинительное письмо, заплакал. И тем не менее он никогда не обмолвился не только дурным,

но даже просто раздражительным словом против молодого поколения как такового. При его нервности и раздражительности такая выдержка говорит только об его большом уме и прочности его убеждений. Я уверен, что не одно, а несколько молодых поколений придут на салтыковскую могилу и вспомнят его добрым словом. Это один из замечательных людей эпохи преобразований, которая целиком отразилась в его произведениях со всеми нашими недугами и слабостями.

А. М. Скабичевский

Александр Михайлович Скабичевский (1838—1910) в течение шестнадцати лет существования «Отечественных записок», под редакцией Некрасова и Салтыкова, выступал в этом журнале в роли главного литературного критика. Считая себя последователем Чернышевского и Добролюбова, Скабичевский не был, однако, в состоянии продолжать их великие традиции. Этому препятствовали не только несравнимые масштабы дарования. Мирозрение Скабичевского, хотя и развившееся под воздействием демократического просветительства шестидесятников, носило на себе печать либерально-народнической идеологии и было чуждо духу революционной борьбы. Салтыков весьма невысоко оценивал литературно-критические способности Скабичевского, находил его статьи многословными и скучными, а главное — мелкими по мысли. В письмах к друзьям Салтыков в сердцах называл присяжного критика своего журнала «глупцом», «дурачиною» и другими пощедрински откровенными словами. Подлинное отношение Салтыкова и других редакторов издания к Скабичевскому не было для него тайной. Рассказывая историю своего десятилетнего сотрудничества в «Отечественных записках», Скабичевский с горечью писал Михайловскому: «...раз установленные отношения остались неизменными: я продолжал быть сотрудником-работником, не только не имеющим никакого голоса в делах редакции, но даже в присутствии которого стараются избегать обсуждения этих дел <...>. Я до такой степени привык безмолвствовать в стенах редакции, что у меня язык не поворачивался, чтобы разговаривать даже об обыкновенных предметах с Некрасовым или Салтыковым <...>. Всеми вышеупомянутыми обстоятельствами объясняется и мое пассивное отношение к делам редакции, когда они на меня временно возлагались. Вы подумайте только, что при этом давалась мне ин-

струкция, доходящая до таких микроскопических подробностей, что только что не внушалось мне, где какие знаки препинания расставлять в статьях <...>. Верите ли мне, что до сих пор, после десятилетнего сотрудничества в «Отечественных записках», каждую вновь написанную статью я ношу туда с трепетом новичка, не знающего, примут ли его статью или отвергнут, и, когда пишу, дрожу за каждую строчку и вычеркиваю часто единственно потому, что меня ужас берет при мысли, какую рожу скорчит и как выругается Салтыков при чтении этой строчки, что подумает Елисеев, что скажете Вы и т. д.» («Литературное наследство», т. 51—52, М. 1949, стр. 486—488; письмо от 10 февраля 1878 г.).

Таким образом, не только редакционные поручения, дававшиеся Скабичевскому, но и его литературный труд находились в «Отечественных записках» под строгим идейным и редакторским контролем Салтыкова. Прекращение же «Отечественных записок» оказалось для Скабичевского роковым. Вынужденный искать прибежища в мелкой либеральной прессе, он скоро утратил принципиальную основу и цели своего литературного труда. Он стал все чаще и больше писать «для заработка» и скатился до самого неприкрытого оппортунизма и обывательщины. Значение Скабичевского как литературного критика (при всей скромности сыгранной им роли) кончилось, по существу, в 1884 году, вместе с гибелью «Отечественных записок», хотя он прожил еще четверть века и много печатался.

В последние годы жизни Салтыкова Скабичевский несколько раз его навещал. Во время этих свиданий Скабичевскому, как показывают записи в его неизданном дневнике, посчастливилось быть слушателем некоторых автобиографических рассказов сатирика. Однако и эти рассказы и все другие наблюдения над жизнью и деятельностью Салтыкова, накопленные за время долгой совместной работы с ним в «Отечественных записках», получили слабое отражение в мемуарах Скабичевского, — не исключая и печатаемых здесь отрывков. Все же они содержат ряд живых штрихов, ценных для характеристики Салтыкова и его писательского и редакторского труда. Добавим, что жизненный материал дан здесь просто и непосредственно, без той либеральной риторики, которая характерна для более поздних статей Скабичевского о Салтыкове.

(НЕСКОЛЬКО ВОСПОМИНАНИЙ
О М. Е. САЛТЫКОВЕ)

1

...Первое стихотворение Салтыкова «Лира» появилось в «Библиотеке для чтения», в 1841 году, за подписью С—в. В следующем, 1842 году, появилась в том же журнале другая его пьеса: «Две жизни» *, помеченная только первой буквой его фамилии. Ко времени пребывания в лицее относятся и остальные стихотворения Салтыкова, хотя они появились в «Современнике» уже после выпуска его из лицея, в 1844 и 1845 годах. Но это были последние его стихотворения; с выходом из лицея он оставил свои мечты сделаться вторым Пушкиным. Впоследствии же он даже и не любил, когда кто-либо напоминал ему о стихотворных грехах его молодости, краснея, хмурясь при этом случае и стараясь всячески замять разговор. Однажды он высказал даже о поэтах парадокс, что все они, по его мнению, сумасшедшие люди.

— Помилуйте, — объяснял он, — разве это не сумасшествие — по целым часам ломать голову, чтобы живую, естественную человеческую речь втискивать во что бы то ни стало в размеренные рифмованные строчки. Это все равно, что кто-нибудь вздумал бы вдруг ходить не иначе, как по разостланной веревочке, да непременно еще на каждом шагу приседая.

Конечно, это была не более как одна из сатирических гипербол великого юмориста, потому что на самом деле он был тонкий знаток и ценитель хороших стихов, и Некрасов постоянно ему одному из первых читал свои новые стихотворения.

2

...Подобно Пушкину, первые три года по выходе из лицея Салтыков очень бурно и рассеянно справлял «праздник жизни, молодости годы». По своей страсти все представлять в комическом виде, не щадя и самого себя, Салтыков рассказывал о себе несколько анекдотов из этого периода своей жизни *, которые по крайней курьезности вполне совпадают с жанром его сатир.

Но ни этот праздник молодости, ни канцелярская служба не мешали Салтыкову отдаваться движению времени и принимать в нем горячее участие...

Среди людей, мало знавших М. Е. Салтыкова, ходили в обществе баснословные слухи о его мнимых суровости, жесткости и даже бранчивости, с какими он, будто бы, обращался с людьми не только близкими, но и совершенно незнакомыми, которых в первый раз видел. Вследствие этих слухов начинающие авторы, впервые являвшиеся в редакции журналов, в которых он участвовал, со своими скромными начинаниями, сильно потрухивали и робели. Но эти слухи крайне преувеличены. Действительно, его лицо носило по большей части суровое и несколько мрачное выражение, а в нервном голосе очень часто слышались ноты болезненной раздражительности, что могло пугать непривычного человека. Но все это не мешало ему быть человеком крайне дёбрым, с мягким и даже нежным сердцем, не способным отказывать людям и оставаться безучастным к их нуждам. Случалось, что обращались к нему за авансом сотрудники, забывшие немало денег и потерявшие, по-видимому, всякое право на новые авансы. Салтыков выходил из себя в таких случаях. Грозный голос его начинал раздаваться по всем комнатам редакции: «Это невозможно! — кричал он. — Это черт знает что такое!.. Мы и без того роздали безвозвратно до тридцати тысяч! Что же с нами будет, наконец, чем же это кончится?» и т. д. И кончалось всегда тем, что, накричавшись вдоволь, он брал лист бумаги и писал ордер в контору о выдаче сотруднику суммы, которую тот просил. Пишущему эти строки случалось слышать от провинциальных чиновников, служивших под его начальством, что начальник он был редкий: как ни робели от его грозных окриков, но никто его не боялся, а, напротив того, — очень любили его за то, что он входил в нужды каждого мелкого чиновника и был снисходителен к их слабостям и недостаткам, которые не приносили вреда службе. Точно так же и в редакциях мелкие служители, вроде конторщиков и метранпажей, прямо говорили: «Что нам Михаил Евграфович! Он только так кричит, а мы его нисколько не боимся!» Да еще бы бояться им было его, когда раз при пишущем эти строки был такой случай, что он с гневом набросился на метранпажа за то, что тот слишком скоро набрал весь отданный в типографию материал для книжки и явился просить

нового материала. «Чего вы торопитесь? — кричал Салтыков. — Едите, что ли, рукописи? Ему не успеешь дать рукопись, уж у него и готово! Да что вы в неделю хотите набрать всю книжку, что ли? Родить мне прикажете для вас рукописи? Набрали, так и ждите теперь, а от меня раньше недели больше ничего не получите, ничего!.. Убирайтесь!..» Понятно, что, слушая такие речи, метранпаж едва удерживался от смеха.

Страх, который внушал Салтыков робким людям, происходил от двух его достоинств: прямоты и нервного отвращения от всего пошлого, фальшивого и неискреннего. Как только он видел что-либо подобное, его тотчас же начинало коробить, он не мог не высказать человеку в глаза впечатления, которое тот на него производит, и высказать со всем тем саркастическим остроумием, которым он славился. Не гнев его был страшен, а скорее те шуточки, которыми он способен был уничтожить собеседника. Поэтому очень было опасно посылать его о чем-либо ходатайствовать в высшие инстанции. Всегда могло кончиться тем, что вместо того, чтобы распутать пустое недоразумение, Салтыков не вытерпит и наговорит чего-нибудь такого, что наживет себе новых врагов и еще более запутает дело.

Но если Салтыков усматривал в человеке природный ум, честность и искренность, он делался с таким человеком крайне мягок, деликатен, любезен и откровенен. В обществе Салтыков был блестящим собеседником. Он принадлежал к числу тех редких писателей, которые говорят, как пишут, и когда приходилось его слушать, разговор его производил буквально такое же впечатление, какое выносилось из его произведений, с тою, к тому же, разницею, что в разговорной речи он не стеснялся никакими цензурными условиями, и это был уже не эзоповский язык некоторых его сатир. Особенно блистал он искусством одним-двумя словами, часто по одному чисто внешнему признаку, очертить личность в самом комическом виде, в то же время чрезвычайно верно. Так, например, об одном случайном посетителе редакции, которого он недолюбливал, он сделал однажды такое замечание: «Ну, что такое NN! На нем и штаны-то сидят, как на покойнике!» — Этим одним словом он определил не только покров брюк, но и все умственные и нравственные качества писателя.

Как редактор беллетристического отдела, Салтыков представлял из себя нечто незаменимое. Он не ограничивался правильным выбором для журнала из всего доставляемого в редакцию материала, а сам создавал беллетристику. Одни лишь произведения крупных талантов оставались им нетронутыми. Произведения второстепенных и посредственных беллетристов, подвергая тщательной обработке, он делал порою неузнаваемыми. Люди, не знавшие о тех операциях, какие производил Салтыков над рассказами второстепенных беллетристов, особенно же так называемыми «летними» *, приходили в удивление, отчего те самые писатели, которые под редакцию Салтыкова помещают недурные рассказы, в другие издания приносят вещи ниже всякой критики и совершенно неудобные для печатания. Мало-мальски умные беллетристы не обижались при виде, как патриархально-отеческая рука редактора сглаживает и сравнивает шероховатости и недостатки их юных творений, и выносили из его редакторской работы богатые уроки для себя. Но, конечно, встречались и самолюбивые недотроги, требовавшие, чтобы ни одного слова не было изменено или выкинуто из их великих творений, и вставляли на дыбы. Я никогда не забуду, как одна сентиментальная романистка прибежала к сотруднику Салтыкова * с горькими жалобами на него и разразилась отчаянными рыданиями. Дело оказалось в том, что она желала окончить роман своей смертью героини от чахотки, а Салтыков взял, да и сочетал вдруг героиню с героем законным браком.

Жил Салтыков, особенно под конец, замкнуто, в тесном кругу нескольких друзей. Лето он проводил то в своем Монгеросе *, в окрестностях Ораниенбаума, пока не продал его, то где-нибудь на даче, изредка уезжал за границу, куда-нибудь на воды по совету врачей, но он терпеть не мог заграничных путешествий и всегда с большой неохотой приготавливался к ним. За границей им овладевала смертельная скука и тоска по родине, и он возвращался из своей поездки раньше, чем предполагал <...>.

После же 1884 года он настолько ослабел, что не только не выходил из квартиры, но и по комнате еле двигался. При таком крайнем расстройстве организма ему пришлось еще перенести крупозное воспаление легких

осенью в 1886 году, и эта болезнь, едва не уложившая его в могилу, окончательно сломила его силы.

Тем не менее он работал, можно поистине сказать, до последнего вздоха, и было нечто в высшей степени трогательное и величественное в образе изможденного, окруженного лекарствами старца, который не выпускал пера из дрожащих и костенеющих рук и, продолжая выпускать произведение за произведением, умирал в полном смысле этого слова воином на поле битвы. Так, за несколько дней до смерти он показывал посетителям полуисписанный лист, с отчаянием заявляя, что рука его отказывается писать и не в силах продолжать начатой работы. Это были те самые «Забутые слова», о которых он собирался напомнить своим соотечественникам. Пред самою смертью он успел составить план издания полного собрания своих сочинений и энергически хлопотал об издании его. В этих хлопотах он и скончался 28 апреля 1889 года.

Я. В. Абрамов

Известный впоследствии право-народнический литератор Яков Васильевич Абрамов (1858—1906, псевдоним «Федосеевец») начал свое сотрудничество в «Отечественных записках» в 1881 году, сразу после возвращения из ссылки. В эти годы он еще сохранял некоторую связь с революционным движением. Салтыков, вообще невысоко ценивший литературное мастерство публицистов своего журнала (за исключением Михайловского), к Абрамову, однако, относился лучше, нежели к другим. Объяснялось это, вероятно, тем, что Абрамов проявлял в своих статьях больший интерес к конкретному анализу общественно-экономических фактов, чем к народническому теоретизированию. Недовольный Южаковым и Капустиным, которые взялись было вести в журнале «Внутреннее обозрение» (вместо арестованного Кривенко), Салтыков просил Михайловского «приспособить к этому делу Абрамова»: «Он все-таки толковый человек» (XIX, 387). Извещая об этом решении своего соредактора Елисеева, Салтыков писал ему 12 марта 1884 года: «Кажется, что Абрамов будет дельнее Кривенко и в тысячу раз талантливее Южакова...» (XIX, 398). Последующая эволюция Абрамова отнюдь не оправдала надежд, возлагавшихся на него Салтыковым. Более того, эта его эволюция вызвала суровые обличения щедринской сатиры. После прекращения «Отечественных записок» Абрамов начал сотрудничать в либерально-народническом журнале «Неделя» и явился создателем одной из многих «программ» общественной реакции конца восьмидесятых годов, получившей по его имени название «абрамовщины». Суть ее, как и других аналогичных программ, заключалась в принципиальном отказе от революционной борьбы, в проповеди «теории малых дел» и «культуричества».

Вспоминая о Салтыкове, Абрамов совершенно не касается их идейных разногласий. Это отчасти объясняется тем, что воспомни-

нения появились в печати сразу после смерти сатирика и были включены в некролог. «Некрологический» тон звучит и в ряде других мест мемуарного очерка Абрамова, подчеркивающего, например, «благодушие» Салтыкова, вовсе ему не свойственное.

ПАМЯТИ М. Е. САЛТЫКОВА

Салтыков умер... Смерть его не была неожиданностью. Уже давно все знали, что он прикован к своему креслу страшным, неизлечимым недугом; давно все ждали неизбежной катастрофы. Сам он в своих произведениях последних лет не раз прямо говорил читателям: «Жду смерти!» Общество, таким образом, было заранее подготовлено к тяжелой потере. И тем не менее, когда катастрофа наконец пришла, когда навеки закрылись глаза и смолкли уста человека, голосу которого внимала вся Россия, — все были поражены. Тяжело терять дорогого человека, но терять такой крупный талант, место которого среди величайших деятелей всемирной литературы, страшно мучительно. К тому же жизненность, которую проявил покойный в многолетней борьбе с своим недугом, неоднократные случаи близости его к смерти и победы над последней, наконец неутомимая творческая деятельность, которой он отдавался до самых последних дней жизни, — все это заставляло надеяться, что столь дорогая жизнь продолжится еще на многие годы, что общество получит от талантливого писателя еще многое. Теперь конец всем надеждам...

Произведения покойного читались и читаются всей образованной Россией, и значение его как писателя достаточно оценено всеми. Мы здесь не будем касаться этого предмета. Мы хотим лишь, помимо общих биографических сведений о покойном, сообщить некоторые личные воспоминания о нем, характеризующие его как члена литературной семьи, редактора и отчасти как человека. <...> Без сомнения, люди, близко знавшие покойного, поделятся своими сведениями с обществом, и тогда перед последним предстанет, рядом с громадной фигурой писателя, в высшей степени симпатичная личность

Михаила Евграфовича как человека. В обществе циркулируют самые странные представления о покойном как человеке. По ходячим рассказам, он рисуется суровою фигурою, крайне грозной для всех, кому приходилось иметь с ним дело, и в особенности для начинающих писателей. Анекдотов о том, как покойный «оборвал» того или другого, как он встречал посетителей чуть не зверем разъяренным, существует целая масса. Есть даже рассказы, рисующие Михаила Евграфовича в крайне несимпатичном виде, как человека несправедливого, грубого и будто бы даже эксплуатировавшего своих сотрудников. Считаем долгом восстать против всех этих рассказов и заявить, что — насколько мы могли узнать покойного за время нашего участия в «Отечественных записках» (1881—1884) — мы не видели в покойном и тени тех черт, которые приписываются ему ходячими анекдотами и рассказами. Напротив, в наших воспоминаниях он является чрезвычайно мягким, добрым и глубоко-симпатичным человеком.

Любовь покойного к литературе была необыкновенно глубока и сильна. Мы не встречали другого человека, который так страстно любил бы свои литературные занятия и литературу вообще. Он принимал близко к сердцу интересы литературы; все, что красило ее, всякое светлое явление в ней искренно радовало его, а все печальное, всякое темное явление глубоко огорчало. Молодое дарование, самое скромное, появлявшееся на горизонте литературы, принималось им с распростертыми объятиями. В свои литературные занятия он вкладывал всю душу. Литературе он отдал всю свою жизнь. Ради литературы он оставил службу, ради нее он порвал с тем обществом, к которому принадлежал по происхождению и затем по служебным связям. Можно положительно сказать, что последние двадцать лет он жил исключительно литературой, не имея вне ее никаких других интересов (не считая, конечно, семьи). С тех же пор, как болезнь заставила его почти все время оставаться в комнате, литература сделалась для него буквально всем. Несмотря на тяжкие страдания, он продолжал неутомимо работать, и из-под пера его выходили вещи одна лучше другой, вызывая удивление пред могучею силою таланта, побеждавшей страшный недуг. Действительно, одни литературные занятия давали ему силу

вести то безотрадное существование, на которое он был обречен болезнью. Он сам шутливо говорил, что, перестань он писать, он немедленно же умер бы, — и пожалуй, в его словах было много правды. В последний самый мучительный год он дал такую капитальную и в количественном и в качественном отношении вещь, как «Пошехонская старина». Он сам словно поражался своею необыкновенною плодovitостью, стоявшей в таком противоречии с его физическим состоянием, и, говоря о «Пошехонской старине», жаловался на обилие образов, возникавших в его воображении, преследовавших его, не дававших ему покоя, пока он не переносил их на бумагу. Едва покончив с «Пошехонской стариной», он уже начал новую работу и горько жаловался на то, что новый недуг — болезнь глаз — лишает его возможности работать в той мере, в какой он чувствовал потребность. В последние месяцы своей жизни он усиленно занялся также подготовкой издания полного собрания своих сочинений, но успел выпустить только первый том. Вообще он умер так, как желал, деятельным бойцом слова, в полном вооружении и в разгаре деятельности, — так сказать, с пером в руке...

К своей литературной работе Михаил Евграфович относился так, как теперь у нас уже редко кто относится. Несмотря на то, что журнальная работа требовала спешности, он много трудился над своими произведениями, всегда тщательно отделявая их. Такое отношение к своей работе, при общем господстве спешности и полном отсутствии тщательной обработки написанного, давало право Михаилу Евграфовичу гордиться своими примерами работы, и он не прочь был похвастаться ими. Помним, с каким удовольствием показывал он нам три рукописи одного и того же своего произведения, исчерканные поправками и вставками до невозможности разобрать что-либо, — и это еще было не все: оставалась еще корректура, в которой Михаил Евграфович давал окончательную отделку своим произведениям, делая и в этот раз многочисленные изменения и поправки. Господство спешной работы в современной литературе его очень огорчало, хотя он не бросал камня осуждения в пишущих, вполне понимая, как порой эта спешность бывает неизбежна, и зная, что она огорчает нередко прежде всего и больше всего именно самого пишущего.

Ту же внимательность и ту же тщательность вносил Михаил Евграфович в свои редакторские занятия. Трудолюбие его вообще было изумительно. Он сам шуточно говорил, что любит, чтобы у него к обеду спина заболела от работы. И действительно, его рабочие часы тянулись целый день. Он прочитывал массу рукописей беллетристического содержания, а над теми, которые выбирал для помещения в «Отечественных записках», работал едва ли не больше, чем над собственными произведениями. Часто он выпускал то или другое действующее лицо, нарушавшее художественность впечатления от произведения или бывшее просто лишним в рассказе, и тогда ему приходилось перебирать все произведение строка за строкой, чтобы сделать незаметным пропуск. Особенно сильным превращениям подвергались произведения писателей с склонностью к ненужному многословию, к водянистости; Михаил Евграфович сокращал их вдвое и даже втрое, и от этого, конечно, произведения выигрывали в десять раз. Точно так же Михаил Евграфович порой производил радикальные изменения в ходе действия обрабатываемых им произведений, отчего последние приобретали достоинства, на которые и намека не было в первоначальном подлиннике. Отсюда возникали иногда крайне курьезные недоразумения. Публика, с удовольствием читавшая произведения того или другого писателя на страницах «Отечественных записок», с удивлением замечала, что произведения того же писателя, появлявшиеся в других изданиях, оказывались бездарными и скучными. С прекращением «Отечественных записок» несколько писателей, произведения которых в означенном журнале обратили на себя внимание читателей, словно в воду канули, и уже ничего из-под их пера не появлялось в печати. С другими авторами, печатавшимися в «Отечественных записках», произошло превращение иного рода: все, что они ни напечатали по прекращении этого журнала, оказывается необычайно водянистым и скучным. Особенно резко эта перемена заметна на одном крайне плодovitом в количественном отношении беллетристе: * произведения, освобожденные опытной рукою Михаила Евграфовича от воды и ненужного балласта, дали было ему имя, которое он, однако, быстро затем потопил в Лете, оставленный без руководства.

Специально заведую беллетристическим отделом «Отечественных записок», Михаил Евграфович обращал большое внимание, особенно в последние годы существования журнала, и на другие его отделы. Он брал рукописи, одобренные его товарищами по редакции, и подвергал их тщательной отделке, выбрасывая из них лишнее и исправляя слог. Мы видели много таких рукописей, прошедших через руки Михаила Евграфовича, и должны засвидетельствовать, что это была настоящая сизифова работа*.

Отношения Михаила Евграфовича к своим сотрудникам по журналу были всегда такими, каких только можно было пожелать. Пользуясь общим уважением и являясь для всех громадным авторитетом, Михаил Евграфович никогда не проявлял своей редакторской власти в форме, которая хотя бы малейшим образом задевала чье-либо самолюбие. Правда, он нисколько не стеснялся говорить сотрудникам самые горькие истины, не стеснялся указывать промахи и ошибки, но это всегда делалось в самой добродушной форме, несмотря на кажущуюся внешнюю грубость и грозность тона. Вообще отношения его к сотрудникам были чисто товарищеские. Комната, служившая для собраний сотрудников в редакционные дни, была вместе с тем и кабинетом редактора, в который свободно, без всяких докладов, входил всякий, кому было дело до редакции. В редакционные дни Михаил Евграфович обыкновенно бывал весьма оживлен, весел, любил поговорить, пересыпая свою речь остроумными словами. Объяснения его с посетителями были всегда необыкновенно кратки, но вполне удовлетворяли цели, ради которой эти посетители являлись. Между прочим, по поводу этих объяснений Михаила Евграфовича с приходящей публикой сложилось и ходит в обществе немало анекдотов, рисующих его человеком крайне суровым, даже прямо свирепым. Особенно суровым изображается Михаил Евграфович в своих отношениях к начинающим писателям, которых он, по рассказам, чуть не живьем глотал. Решительно заявляем, что по нашим по крайней мере наблюдениям в подобных рассказах ничего похожего на правду нет. Очень может быть, что поводом к составлению их в значительной мере послужило то обстоятельство, что наружность Михаила Евграфовича с первого взгляда производила

действительно впечатление суровости, а голос у него был всегда повышенный и несколько крикливый. Но эти внешние качества не скрывали его добродушия, дававшего себя знать с первых же слов, и разве уж слишком робкие натуры запугивались его наружностью. Напротив, пишущий эти строки не раз удивлялся тому благодушию, которое обнаруживал Михаил Евграфович при объяснениях с иными посетителями. Если вообще редакторам приходится часто иметь дело со всевозможными чудачками и порою с людьми совершенно невыносимыми, то Михаилу Евграфовичу это счастье выпадало особенно часто. И он всегда выносил это крайне благодушно, может быть, еще радуясь как художник налетавшим на него оригиналам. Помню, как однажды он весело рассказывал в редакции про одно нелепое посещение. В квартиру к нему явился какой-то господин и отрекомендовался автором одного ученого исследования и врачом. На вопрос Михаила Евграфовича, что ему нужно, он в свою очередь спросил, что Михаилу Евграфовичу от него нужно. Михаил Евграфович ответил, что ему от ученого исследователя ничего не нужно. «Зачем же вы хотите меня описать?» — возразил тот. Михаил Евграфович в недоумении смотрел на странного посетителя, а тот в свою очередь вытарашил глаза на Михаила Евграфовича. «Да объясните, наконец, в чем дело!» — закричал Михаил Евграфович. Дело оказалось в том, что ученый исследователь бросил девушку, с которой жил, а та погрозилась пожаловаться на него Михаилу Евграфовичу, который будто бы пообещал ей «хорошенько разделать» коварного врача. Ученый врач так перепугался угрозы своей сожительницы, что прибежал оправдываться перед Михаилом Евграфовичем и просить не «губить» его. Михаил Евграфович хохотал самым задумчивым образом, рассказывая эту действительно потешную историю.

То же нужно сказать и относительно начинающих писателей, с которыми Михаилу Евграфовичу приходилось иметь дело. Были между ними робкие, скромные, которые шли к Михаилу Евграфовичу со страхом и трепетом, соответствовавшими тому глубокому уважению, которое он внушал им своими произведениями. Но были между ними и такие, развязность которых равнялась только их бездарности. Подобных господ Михаил Ев-

графович действительно терпеть не мог и умел осаживать одним словом. Некоторые из этих господ обладали способностью приводить Михаила Евграфовича в раздраженное состояние. Особенно сердил его один стихоплет, забрасывавший редакцию «Отечественных записок» своими стихотворениями; несмотря на то, что все эти стихотворения аккуратно отправлялись в сорную корзину, он положительно бомбардировал редакцию своими изделиями и грозно требовал отчета, почему его стихотворения не печатаются в журнале. Но за этими исключениями отношения Михаила Евграфовича к начинающим писателям были самые радужные и теплые. Лишь только он замечал в человеке хоть малейшие проблески дарования, он подбодрял его, советовал писать, делал указания и охотно давал место в журнале его работам. Если ему приходилось получить мало-мальски недурную вещь из провинции, он немедленно списывался с автором и поощрял работать. Раза два, помню, ему даже пришлось горько раскаиваться в отсылке таких теплых, дружественных писем. Чудаки, получившие их, пришли в восторг от того, что «сам Щедрин» признал в них талант, бросили места, которые они занимали в провинции и которые давали им средства к жизни, и явились в Петербург в полной уверенности, что они могут жить литературным заработком. Тут, однако, бедняг ожидало полное разочарование.

Здесь, думается мне, уместно будет рассказать про мое личное знакомство с Михаилом Евграфовичем в качестве «начинающего писателя». Рассказ этот наглядно покажет всю нелепость ходячих рассказов о будто бы суровом отношении Михаила Евграфовича к являвшимся к нему молодым писателям.

Это было в 1881 году. Я явился в Петербург, не имея здесь никаких знакомств и без всяких рекомендаций. У меня была только рукопись, да и то неоконченная, и на нее-то я возлагал все свои надежды. Рукопись свою я решил нести прямо в «Отечественные записки», занимавшие тогда первое и притом совсем особое место в журналистике. Явиться к самому Михаилу Евграфовичу я, однако, не решился. Произведения Михаила Евграфовича создали в моем воображении столь величественный образ, что я боялся к нему подступиться; к тому же рассказы о его суровости навели на меня такой страх,

что я и подумать не мог о посещении Михаила Евграфовича. Желая, однако, проникнуть в редакцию «Отечественных записок», я начал с того, что отправился к тому из ближайших участников в этом журнале, который по своим произведениям казался наиболее мягким и добрым человеком — к Г. И. Успенскому. Последний встретил меня самым радушным образом и познакомил с другими ближайшими сотрудниками «Отечественных записок» — Гр. З. Елисеевым и Н. К. Михайловским. Рукопись свою я передал Гр. З. Елисееву, которым она и была принята для помещения в «Отечественных записках»*. Это меня настолько ободрило, что я решился послать вторую рукопись (беллетристического содержания) уже самому Михаилу Евграфовичу*. Последний принял рукопись к напечатанию и передал мне об этом через одного из членов редакции, приглашая прийти в редакцию или к нему на квартиру. Но я и тогда не решился явиться на глаза Михаилу Евграфовичу, несмотря на то, что члены редакции брали меня под свое покровительство. Как вдруг совершенно неожиданно мне пришлось отправиться к Михаилу Евграфовичу одному. Первая моя работа была помещена в апрельской книжке «Отечественных записок». Как раз в это время мне необходимо было уехать из Петербурга, но, когда я явился в контору получить гонорар за статью, мне заявили там, что меня не знают, а потому и не могут выдать денег, и просили принести записку от Михаила Евграфовича. Волею-неволей пришлось отправиться на квартиру Михаила Евграфовича. Все предыдущее я рассказал затем, чтоб показать, как велик был мой страх, когда я шел к Михаилу Евграфовичу, и какой контраст с этим страхом представляло то, что меня ожидало в действительности. Помню, когда я вошел в квартиру Михаила Евграфовича, меня крайне поразила скромность обстановки комнат. Я почему-то ожидал каких-то палат. Кабинет Михаила Евграфовича отличался уж прямо спартанскою простотою. Еще более удивило меня, когда на мой вопрос — дома ли Михаил Евграфович и можно ли его видеть, прислуга спокойно указала мне на кабинет его, сказав: «Пожалуйте!» Оказалось, что к Михаилу Евграфовичу всем можно было идти прямо, без всяких докладов и ожиданий. Я уже был несколько знаком с простотою нравов большинства на-

ших литераторов, но встретить ту же простоту у такого большого литературного генерала, каким был Михаил Евграфович, было все-таки неожиданно приятно. В кабинете меня встретил человек, уже и тогда больной на вид, с довольно суровыми чертами лица, которые тотчас же разгладились, как только я назвал себя. Разговор наш вышел самый душевный. Когда я рассказал Михаилу Евграфовичу, каким буквой представлялся он мне и как я боялся идти к нему, он много смеялся. Узнав, что я желал бы получить деньги за мою рукопись, он немедленно написал мне удостоверение, которого требовала контора. «Как же вы хотите ехать на Кавказ с такою небольшою суммою денег?» — заметил он при этом. Я отвечал, что сумма действительно невелика, но что же делать, если больше нигде взять. «Как нигде взять? — закричал он. — Берите у нас вперед! Сколько вам нужно?» Я стеснялся воспользоваться такой любезностью. Но он наступал на меня, все повышая голос: «Да не все равно разве деньгам лежать в банке? Говорите без ломанья, сколько вам нужно?» Я назвал цифру, и Михаил Евграфович немедленно же составил «приказ» в контору о выдаче мне порядочного аванса.

Должен сказать, что последующие мои сношения с Михаилом Евграфовичем ни малейшим образом не уменьшили того обаяния, которое он внушил мне с первого раза. Я всегда встречал в Михаиле Евграфовиче внимательного и заботливого человека, интересовавшегося как моими занятиями, так и моим материальным положением. Таково же было, насколько я мог заметить, его отношение и ко всем другим сотрудникам. Однажды он высказал мысль, что «писателя нужно ставить в возможно лучшие условия, чтобы получить от него все, что он может дать», — и, насколько это было возможно, он осуществлял эту мысль. Арендуя «Отечественные записки», он был материально заинтересован в издании, и свое право распоряжения материальной стороной дела он именно употреблял не в своих интересах, а как раз наоборот — в интересах пишущих. У него не существовало тех «нищенских» гонораров, которых держатся иные журналы в отношении людей малоизвестных или начинающих; Михаил Евграфович сразу давал человеку настоящую плату и затем с течением времени повышал гонорар. Но не только в этом выражалась заботливость

Михаила Евграфовича об улучшении положения пишущих. У него никогда не залеживались рукописи лиц, живущих литературным трудом. Кроме того, Михаил Евграфович щедро раздавал авансы. Положительно все сотрудники прибегали постоянно к этим авансам, а некоторые так и не выходили никогда из долгов Михаилу Евграфовичу. Кажется, не проходило редакционного дня без того, чтобы кто-нибудь не обращался за авансом, — и отказа никогда не было. Правда, Михаил Евграфович любил иногда при этом поворчать, и с годами эта наклонность у него все более развивалась. Он иногда разражался громкими воплями по поводу массы денег, розданных авансами, но затем вдруг прерывал себя и давал кассиру распоряжение о выдаче просимой суммы. Я был только раз свидетелем отказа со стороны Михаила Евграфовича в просьбе о выдаче аванса, и притом отказа в довольно тяжелой форме. Но это было совсем исключительное обстоятельство. Лицо, по отношению к которому имел место отказ, могло вывести из терпения и ангела, и думаю, что всякий на месте Михаила Евграфовича поступил бы в данном случае несравненно круче. А Михаил Евграфович до такой степени был сам сконфужен своим отказом, что немедленно же уехал из редакции домой. Когда «Отечественные записки» прекратились, почти все сотрудники оказались должными журналу, и все эти долги были скощены; кроме того, большинство сотрудников получили значительные денежные субсидии*, давшие им возможность спокойно прожить до той поры, пока каждый из них устроился так или иначе. Сколько мы помним, такое отношение к сотрудникам имело только один прецедент — в коршевских «Петербургских ведомостях»*.

На редакционных собраниях Михаил Евграфович обыкновенно бывал чрезвычайно разговорчив, оживлен и любил рассказывать разные любопытные случаи, бывшие с ним. Говорил он всегда с шутками, остроумными гиперболами и часто в весьма энергичных выражениях. У него была способность одним словом так характеризовать то или другое явление, ту или другую личность, что к данной характеристике не нужно было ничего прибавлять, и она давала ясное понятие, о чем или ком идет речь. Приведу в пример его характеристику двух распространенных газет*. Речь шла о неудовлетворитель-

ности современных газет и вытекающей отсюда затруднительности выбора между ними. Михаил Евграфович сказал, что он остановился на такой-то газете. Когда его спросили о причине такого выбора, он сказал: «По крайней мере знаешь, с кем имеешь дело: видишь, что острожники и не скрываются, ну и знаешь, чего от них ожидать». Кто-то заметил, что он предпочитает другую газету. «Ну, вот нашли сокровище, — возразил Михаил Евграфович, — читал я ее, да сил просто не стало выносить дольше: как принесут ее, так и кажется, что дурак вошел в комнату!»

Мучительное состояние, в котором находился Михаил Евграфович в последние годы, не было секретом для общества и побуждало время от времени некоторые общественные группы выражать ему свое сочувствие. Это было очень приятно Михаилу Евграфовичу, доставляя ему утешение за все его страдания. К сожалению, наше общество всегда скупится на проявление своих симпатий к писателям, и даже Михаил Евграфович редко имел это удовольствие, чаще чувствуя себя совершенно одиноким и оставляемым без внимания своим читателем, что он и выражал не раз в своих произведениях последних лет.

Последний раз я был у Михаила Евграфовича прошлой осенью вместе с ныне покойным А. Я. Гердом. Явились мы просить Михаила Евграфовича принять участие в литературно-художественном сборнике «Памяти В. М. Гаршина». Михаил Евграфович на нашу просьбу ответил самым решительным отказом: «Не могу, не могу и не могу!.. У меня глаза болят... Я писать ничего не могу... Да и что там за сборник такой! Что это за манера — только умрет писатель, сейчас ему вдогонку сборник!..» А. Я. Герд заметил, что было бы очень приятно, если бы каждому умершему писателю «вдогонку» посылались товарищами книга, сбор с которой шел бы на доброе дело, связанное с именем покойного. Но Михаил Евграфович и слышать ничего не хотел. «И что выйдет из вашего сборника? — продолжал он. — Вот против меня букинист Клочков, — у него все сборники, и ваш там же будет... (к счастью, это предсказание Михаила Евграфовича исполнилось как раз в противоположном смысле). Да и где мне писать? Я умираю...» Я знал, чем кончится вся эта тирада, и потому

ждал молча. Но А. Я. Герд, не знакомый с приемами Михаила Евграфовича, сконфуженно поднялся и стал извиняться за причиненное нашим визитом беспокойство, обнаруживая намерение уйти. Едва Михаил Евграфович это заметил, как тотчас же переменял тон: «Да что вы это? Куда вы?.. Да неужто вы думаете, что я откажусь от общего дела?.. Да я дам все, что могу. Вот у меня есть кое-что, берите что хотите!» И он подал нам несколько ненапечатанных своих произведений. «Самое лучшее — возьмите вот эти сказки» *. Покончив с вопросом об участии в сборнике, Михаил Евграфович сделался очень веселым и разговорчивым и начал добродушно подсмеиваться над гимназией, в которой училась его дочь и директором которой состоял А. Я. Герд. «Какие у них там темы для сочинений даются, — говорил он, обращаясь ко мне и кивая на А. Я., — не угодно ли написать сочинение «о пустыне и море»! Да ни одна из учениц не видела отродясь никакой пустыни, а вместо моря видела только «Маркизову лужу» (устье Невы) — вот и сочиняй. А то не угодно ли описать Аничков мост!..» И Михаил Евграфович рассказал анекдот о том, как будто бы ученицы целого класса явились на Аничков мост изучать его для сочинения и тем крайне смутили стоявших у моста городских. «Я сам уж попробовал написать сочинение для вашего свирепого учителя, — продолжал Михаил Евграфович, обращаясь к А. Я. Герду, — и ничего, слава богу, получил за свое сочинение тройку!» Это сообщение заставило нас смеяться до слез. «Тоже хорош и ваш учитель истории», — продолжал Михаил Евграфович, но Герд счел нужным взять учителя истории под свою защиту, и между собеседниками завязался горячий спор о целях преподавания истории. Кончилось тем, что Герд ушел в полном восторге от Михаила Евграфовича и с увлечением рассказывал потом о своем свидании с ним, а Михаил Евграфович при прощании убедительно просил Герда почаще заходить к нему...

С. Н. Южаков

В семидесятые годы Сергей Николаевич Южаков (1849—1910) — один из будущих столпов легального народничества — еще был связан с революционными кругами, за что подвергся в 1879 году аресту и административной ссылке. Там, в Восточной Сибири, и началась его литературная работа для «Отечественных записок». Вернувшись в 1882 году в Петербург, Южаков был привлечен к постоянному сотрудничеству в журнале. Это произошло по желанию Михайловского и помимо желания Салтыкова. Сатирик находил у Южакова «совсем крохотный талант» и относил его к «унылым элементам» «Отечественных записок» (XIX, 382—383). Несмотря на то, что Салтыков старался «не вмешиваться» (XIX, 306) в дела публицистического отдела, находившегося в ведении Михайловского, а после его высылки из Петербурга — у Кривенко, ему приходилось не раз вторгаться своим редакторским пером в писания Южакова. «По моему мнению, — жаловался Салтыков Михайловскому, — статья Южакова, по форме несуразная, по существу представляет среднего достоинства хныканье, сопряженное с бормотанием. Прочитать ее корректуру и выделить все противоречия и глупости стоило для меня мученических усилий» (XIX, 386). Впоследствии Южаков явился одним из создателей легенды о будто бы решающем воздействии на Салтыкова в семидесятые — восьмидесятые годы народнических идей. Так, например, в статье о писателе, помещенной в т. XIII редактировавшейся им «Большой энциклопедии» (1903), Южаков писал, что взглядам Михайловского подчинились в семидесятые годы «не только сверстники, даже такие крупные, как Гл. Успенский, но и старшее поколение, как Некрасов и Салтыков; особенно последний вполне проникся новым мирозерцанием». Публикуемые воспоминания, написанные в 1889 году, вскоре после смерти Салтыкова, еще лишены этой фальши. В них дана достаточно объективная, хотя и лишенная

особенной глубины характеристика Салтыкова-редактора в последние два года существования его журнала. Наибольший интерес представляют наблюдения мемуариста, относящиеся к литературно-воспитательному значению редакторской деятельности Салтыкова.

М. Е. САЛТЫКОВ КАК РЕДАКТОР

(По личным воспоминаниям)

...Среди наших великих писателей едва ли можно указать другого, столь же преданного служению злбам родной русской действительности, столь же глубоко национального в высшем и лучшем значении этого слова <как М. Е. Салтыков>. Вся писательская его деятельность является лучшим памятником этой преданности. Ею же была исполнена и его редакторская деятельность, столь же строгая, столь же скептическая, но вместе с тем столь же нелицеприятная, столь же глубоко верующая и столь же неутомимая и трудовая.

Труд и битва, труд великого ума и битва великого сердца — это его сочинения; труд и битва — это же самое и его редакторство.

Мне довелось недолго работать в качестве сотрудника М. Е. Салтыкова, всего два года, и другие больше могут сообщить об этой стороне его жизни и деятельности, но и того небольшого времени, в которое мне удалось видеть более или менее близко редакторский труд Михаила Евграфовича, было более нежели достаточно, чтобы вынести вышеприведенную его характеристику<...>.

Как ни отрывочны эти воспоминания, как ни мало времени они охватывают (с весны 1882 по весну 1884 г.), мне кажется, они все-таки могут послужить иллюстрацией приведенной характеристики и могут хоть отчасти намекнуть и дать почувствовать характер этого сурового и строгого служения своему литературному делу. Никакое редакторство не усыпано розами, а такое редакторство, какое для себя выработал Салтыков, и того менее. Я не говорю о внешних, не литературных затруднениях *. Не говорю я и о злобном шипении литературных врагов такого деятеля, как Салтыков. О тех и этих шипах редакторской деятельности все имеют более или менее ясное

понятие, но существуют и другие шипы, ни для кого не видимые и незаметные, но наполняющие жизнь редактора совершенно особого рода вздором и воздвигающие на его пути совершенно особые затруднения, с которыми постоянно редактор должен считаться. Литературные самолюбия, самые больные и самые беспокойные самолюбия, создают этот вздор и эти затруднения, и надо сказать, что редко редакторы имеют достаточно мужества, чтобы всегда и неизменно предпочитать литературное достоинство принимаемых произведений литературному самолюбию их авторов, да и немногие редакторы достаточно авторитетны, чтобы могли безнаказанно следовать примеру Салтыкова.

И Салтыкову не прощали, но от Салтыкова переносили... От другого не перенесли бы. Мало мужества — нужно и право. И этим мужеством и этим правом обладал Салтыков в полной мере. И, однако, все-таки отсюда идет легенда о его якобы грубости редакторской. Кто в литературных кружках не слышал тысячи сплетен об этой грубости? Эти сплетни, после его кончины, перенесены и в прессу.

За два года я не был свидетелем ни одной грубости в редакции Салтыкова, или, если хотите, был свидетелем нескольких, которые и расскажу, которые дадут ясное понятие об отношении Салтыкова к своей задаче как редактора.

Редакционные приемы были по понедельникам, между часом и четырьмя дня. К этому времени собирались обыкновенно все постоянные сотрудники журнала, и в это же время приходили и авторы, желавшие лично объясниться с редактором. В один из таких понедельников, вскоре после того как я начал посещать их, приходит за ответом о судьбе своего произведения (рассказа) молодая девушка, лет девятнадцати — двадцати...

— Это ваше собственное сочинение? — спрашивает Салтыков.

— Да, мое...

— Сколько же вам лет, барышня?

— Девятнадцать.

— Так видите ли, рано вы начинаете неправду писать... Вещица ваша написана недурно в смысле изложения, но ведь вы никогда не видели и не наблюдали за жизнью, которую изображаете... Не правда ли?

— Никогда, — краснеет барышня.

— Зачем же вы изображаете то, чего не знаете? В девятнадцать лет рано говорить неправду... Получите вашу рукопись.

Барышня расписывается в книге и получает от А. Н. Плещеева * свою тетрадку.

— Вы извините меня, старика, — еще раз обращается к ней Салтыков, — вы, может быть, сердитесь на меня?

— Напротив, — шепчет сконфуженная барышня, — я очень благодарна...

Другой раз приходит молодой автор, с едва пробившимися усиками над верхней губой, но уже с вполне развязными манерами.

— Моя фамилия... Я оставил тут повесть для просмотра...

— Ваша рукопись сдана в контору, — сурово и не глядя на автора, замечает Салтыков.

— Сдана в контору! Что же это значит?

— А значит, что вы ее там можете получить... Басейная, дом Краевского.

— То есть не принята?

— Да, не принята... — И, быстро обращаясь к нам, здесь сидевшим, Салтыков прибавил: — Ведь вот автор — совсем юноша, быть может гимназист старших классов, а мне, старику, было стыдно читать его повесть, столько скабрёзности...

Развязный автор неудачно пробует принять презрительное выражение и удаляется.

Вероятно, он немало после того рассказывал о грубости Салтыкова.

Третий пример — одна романистка, печатающаяся в разных журналах, в том числе появлявшаяся и в журнале Салтыкова *, доставила на просмотр рукопись нового своего произведения. Через некоторое время является в редакцию молодой человек с ее поручением узнать о судьбе рукописи и получить ее обратно в случае неодобрения.

Салтыков выслушивает посла и некоторое время молчит...

— Повесть госпожи N не будет напечатана, — говорит, наконец, Салтыков, — но отчего N сама не зашла?

Посол объясняет нездоровьем, недосугом и т. д. и спрашивает, может ли он получить рукопись?

— Нет, да скажите N, чтобы она сама зашла...

Поверенный романистки осведомляется, не значит ли это, что надежда на принятие рукописи не совсем потеряна и с некоторыми переделками она может быть напечатана?

— Ни в каком случае, — строго отвечает Салтыков, — но все-таки я желаю видеть госпожу N... Потрудитесь ей передать мою просьбу.

Посол недоумевает и удаляется без рукописи. Романистка же предпочла за своей рукописью сходить на квартиру к Салтыкову, а не в редакцию... Какой произошел у них разговор по поводу ее творения, я, конечно, не знал, но, когда оно появилось вслед затем в другом повременном издании, я понял, почему наша романистка предпочла объяснение наедине и почему Салтыков счел своей обязанностью возратить ей рукопись не иначе, как с устными примечаниями. Повесть допускала значительные отклонения от того строгого литературного жанра, который проводил Салтыков как писатель и редактор *. Неприятны подобные объяснения с авторами, и никому не может улыбаться такой инцидент, но, чувствуя за собой литературный авторитет, Салтыков чувствовал и обязанность направлять его на охранение литературы от зла растления, которое лезло из всех щелей прессы и навевалось запросами улицы, с своими требованиями и вкусами нагло вторгнувшейся в литературу. Салтыков-редактор также строго и стойко стоял на страже против этого растления, как Салтыков-писатель бичевал его своею негодующей сатирою.

Это влияние Салтыкова-редактора, этот грозный авторитет Шедрина мог быть оценен по достоинству лишь тогда, когда печать внезапно освободилась из-под феулы строгого, но любящего блюстителя ее литературной порядочности, ее здоровых традиций.

Вспомните, например, чем был хотя бы г. Ясинский (Максим Белинский) в произведениях, появлявшихся в журнале Салтыкова? И чем он стал немедленно после того, как этого журнала не стало и он поспешил приютиться в «Нови»? * Строгий реализм, никогда не переходящий в карикатуру или пасквиль, никогда не впадающий в скабрёзность и порнографию, — таков Максим Белинский до 1884 года, а что стало с этим писателем уже

в этом самом 1884 году, — известно каждому, следящему за движением русской литературы.

И это далеко не единственный пример литературного падения после выхода из-под авторитетной указки Салтыкова. Вспомним гг. Скабичевского, Кроткова... «Чем ты был? И что стал? И что есть у тебя?..» *

Конечно, не очень много стоит тот писатель, который на правильной литературной стезе только и держится авторитетом редактора... Конечно, не велика и потеря для литературы, если такие господа находят себе успокоение в местах, более для них пригодных.

И не в том было великое значение Салтыкова, что он удерживал в пределах пристойности гг. Скабичевского, Ясинского и т. д. Однако эти резкие примеры, как и вышеприведенные случаи его «редакторской грубости», ярко вскрывают и направление и силу влияния Салтыкова. И влияние это, конечно, сказывалось не только на тех, кто лишь не смел быть отщепенцем, но и на тех, которые лишь начинали свою литературную карьеру и для которых руководство Салтыкова было поистине литературным воспитанием...

И опять-таки лишь после того, как это воспитательное значение редакторской деятельности Салтыкова прекратилось, можно было оценить всю ее силу. Вспомним, кто из молодых беллетристов наших под его воспитательным влиянием начал писать — Гаршин, Короленко, Эртель, Мачтет, — сравните их с теми, тоже несомненно талантливыми писателями, которые, как Чехов и Бежецкий, стали писать после того. Таланта у г. Антона Чехова, например, больше, нежели у гг. Эртеля и Мачтета, пожалуй даже не меньше, нежели у г. Короленко, но школы недостает этому дарованию, а школы теперь не дает ни одна редакция. Иная потому, что и сама не имеет школы. Другая не успела приобрести необходимого авторитета. Третья не отличается вкусом и т. д. и т. д. Да, строг был покойник в вопросах литературной чести и литературной совести, и тем писателям, которые небрегли этими вопросами, лучше было избегать салтыковской редакции, где они всегда рисковали выслушать всю правду... «Грубостью» называли это, но дай бог нам побольше такой грубости... Без нее как-то огрубела литература.

Для начинающих беллетристов Салтыков был учителем в самом точном и буквальном смысле слова. Он сам

внимательно читал все виды беллетристики, со всех сторон стекавшей в его редакцию, и ловил малейший проблеск таланта, наблюдательности, идеи. Такая рукопись всегда служила предметом его особого попечения и заботы. Войдя в сношение с автором и получив его разрешение, Салтыков принимался за ее обработку, которая порою была просто переработка.

Салтыков надеялся всегда, что, показав публике то, что было ценного в рукописи, он покажет и автору, как следует обращаться с материалом. Случалось, что не одну первую рукопись начинающего автора Салтыков подвергал такой назидательной обработке, но и последующие, пока автор не овладевал приемами работы или Салтыков не убеждался, что он этого никогда не дожидется. Некоторых из второстепенных писателей наших он положительно обучал писать этим путем. Для других, однако, эти уроки пропали даром. Помню, например, одного беллетриста, нередко появлявшегося в журнале Салтыкова. Это были бытовые очерки, которые всегда читались с интересом. Писал он у Салтыкова довольно долго, несколько лет, но вот прекратился журнал Салтыкова, и нашему беллетристу, успевшему приобрести маленькое имя, пришлось искать приюта в других местах. Появляется он в одном толстом журнале, потом в одной большой газете, но везде только начало... Очевидно, рассказы были приняты на веру, за прежние произведения, носившие его подпись. Редакция, однако, спохватилась, и конца не появилось, хотя и напечатанного начала было вполне достаточно, чтобы видеть совершенную неумелость автора. Мне было известно, что Салтыков много возился с рассказами нашего автора, но и в голову не могло прийти, что автору принадлежал лишь сырой материал наблюдений, а вся обработка — Салтыкова! Материал был, однако, свеж, нов и интересен, и этого было достаточно, чтобы знаменитый писатель отдавал свое время скучному процессу переработки чужого произведения! Приведу еще один характерный пример того же рода.

Заговорили как-то в редакции об одном молодом беллетристе, одна большая повесть которого была напечатана в журнале Салтыкова и доставила автору некоторую известность, даже популярность.

Все, что после того появлялось из его произведений (в других журналах), далеко не соответствовало успешному дебюту...

— Вы с ним хорошо знакомы, что ли? — обратился ко мне Салтыков после какого-то моего замечания о том, что он обнаружил было талант.

— Нет, совсем даже не знаком.

— Так пусть какой-нибудь хороший его знакомый передаст ему мой совет, чтобы он бросил беллетристику. Он хорошо наблюдает, тепло относится к народу и его нуждам, так пусть просто и пишет об этом, этнографические очерки, что ли, а беллетристического таланта у него нет никакого... Пусть это бросит.

Я возразил Салтыкову, что действительно последние его произведения очень слабы, но что его такая-то повесть, появившаяся в «Отечественных записках», обнаруживает некоторое дарование, а следовательно, не рано ли отчаиваться?

— Да вы знаете ли, что мне стоила эта самая повесть, сколько я над ней повозился? Если вы имеете понятие о беллетристическом труде, то поймете, когда скажу, что одно действующее лицо, одно из главных действующих лиц я вынул из повести! * По этому одному примеру можете судить об остальном...

Не знаю, дошел ли совет Салтыкова по назначению (я и до сих пор не знаком с г. беллетристом, а он и до сих пор продолжает писать повести), но всяк легко поймет из этих примеров, сколько труда и какого квалифицированного труда затрачивал Салтыков на свое редакторство, которому, как и собственному литературному творчеству, он посвящал всю свою жизнь в самом точном и буквальном смысле этого слова. Сколько раз, бывало, возвращаясь поздней ночью с не совсем литературного времяпрепровождения, случалось мне ехать мимо квартиры Салтыкова и видеть в его кабинете горящую лампу, при свете которой великий сатирик создавал одно из своих бессмертных произведений или своею умелою рукою собирал, объединял и давал жизнь самому влиятельному и популярному литературному органу своего времени! Для него жить значило трудиться на пользу литературы, строго блюсти ее достоинство, неустанно будить ее совесть, в строгой школе воспитывать новые литературные силы, приобщать их к лучшим традициям,

развивать в них вкус и талант, честь и совесть... Служению родной литературе он посвятил всю свою долгую и деятельную жизнь, и результатом этого служения является двадцать шесть томов его произведений * и та литературная школа, которая не вся же поддавалась растлевающему влиянию улицы и ее запросов.

Да! были личности!.. * Не пропадет народ,
Обретший их во времена крутые!
Мудреными путями бог ведет
Тебя, многострадальная Россия!
Попробуй, усомнись в твоих богатырях
Доисторического века,
Когда и в наши дни выносят на плечах
Всё поколение два-три человека!

И таким литературным богатырем доисторического века несомненно был М. Е. Салтыков и в своей писательской и в своей редакторской деятельности...

С.-Петербург, 24 июня 1889 г.

Н. Б. Михайловский

«У Щедрина не было Белинского и Добролюбова, как он того заслуживал, — писал Николаю Константиновичу Михайловскому (1842—1904) на другой день после смерти сатирика один из «огорченных читателей». — И меня, — продолжал он, — признать, всегда поражало, почему Вы не брали на себя их роли по отношению к нему. Его дело требует именно современного ему истолкователя и солидарного товарища по деятельности...» (ИРЛИ — ф. 181, оп. 1, ед. хр. № 787: письмо Ел. Щепотьевой).

Михайловский действительно был «товарищем по деятельности» Салтыкова, хотя и далеко не во всем «солидарным». Он начал сотрудничать в «Отечественных записках» в конце 1868 года — первого года существования журнала Некрасова и Салтыкова. А когда Некрасов умер, Михайловский, по предложению Салтыкова и Елисеева, стал их соредактором и оставался им вплоть до прекращения издания в 1884 году. Пятнадцать лет проработав с Салтыковым, Михайловский накопил немало наблюдений, важных для разъяснения его творчества с демократических позиций. Однако роли «классического» истолкователя Салтыкова — «роли Белинского и Добролюбова» — Михайловский не сыграл и сыграть не мог, хотя и напечатал вскоре после цитированного письма и, быть может, не без его воздействия, серию замечательных статей, которые в следующем году собрал в книгу: «Критические опыты Н. К. Михайловского. II. Щедрин» (М. 1890). Михайловский называл талант Салтыкова «огромным», и среди первых стал писать об авторе «Господ Головлевых» как о «великом художнике» (одна из глав названной книги так и называется «Художник»). Но в произведениях литературы и искусства Михайловского интересовали прежде всего «идеалы» (или «утопии») художника и соотношения отраженной художником действительности с этими «идеалами». Это и

было применением теории «субъективной социологии» к литературной критике. Белинский же и Добролюбов, как и Чернышевский, видели в литературе объективное отражение жизни и на этом строили свои критические суждения, ставшие классическими.

Не сыграв «роли Белинского и Добролюбова», Михайловский не сыграл и «роли Анненкова», выдающегося мемуарного портретиста Гоголя, Тургенева, Герцена. Воспоминаний, специально посвященных Салтыкову, он не оставил. Но почти в каждой статье о нем Михайловского встречаются мемуарные страницы или строки. Для настоящего сборника выбрано несколько таких отрывков; статьи же «Памяти Щедрина» — взволнованный набросок, вызванный первыми впечатлениями от смерти писателя, — и «Материалы для литературного портрета М. Е. Салтыкова» помещаются полностью.

Мемуарные фрагменты Михайловского интересны, — при всей разрозненности и даже случайности своего содержания, — рядом наблюдений, ценных для воссоздания живого облика Салтыкова. Они позволяют также ощутить обстановку, в которой протекала работа редакции «Отечественных записок» в семидесятых и начале восьмидесятых годов. В некоторых современных исследованиях эта обстановка рисуется преимущественно, если не исключительно, как борьба и враждебная разобщенность между Салтыковым — продолжателем революционно-демократических традиций, и Михайловским — идеологом народничества. Но им самим отношения их представлялись иными. «Без сомнения, — указывал Михайловский, — не всегда и не во всем мы вполне сходились, случались и разногласия, но они никогда не достигали размеров принципиального разлада». Так же думал и Салтыков: «Никогда у нас с Вами серьезных разногласий не было, — писал он Михайловскому в 1884 году, — и публика читающая это знает отлично...» (XIX, 384). Эти и подобные им заявления подтверждаются и письмами Салтыкова к Михайловскому, относящимися ко времени их совместной работы в «Отечественных записках» (ответные письма Михайловского неизвестны). «Естественно, — замечает Михайловский, — что и в письмах нет того, поводов к чему не было в самой жизни, то есть пререканий или даже только рассуждений о принципах». Правда, нельзя полностью согласиться с тем, что пишет далее Михайловский: «Единственный след чего-нибудь отдаленно подобного я нашел в письме его из деревни от 1876 года...» В письмах Салтыкова, дошедших до нас, можно найти и другие следы их разногласий — по общим и частным вопросам. Но в основном Михайловский был прав. Письма к нему Салтыкова свидетельствуют не о вражде и раздорах, а о дружески-деловом сотрудничестве, о взаимных чувствах уважения и симпатии. Когда высланному из

Петербурга Михайловскому был разрешен въезд в столицу, суровый сатирик откликнулся на это таким лирическим признанием: «Никакое известие давно меня так не радовало, как весть о предоставлении Вам свободы передвижения. Вы были для меня одним из симпатичнейших и любимейших людей, хотя разность лет и моя болезнь препятствовали мне ближе сойтись с Вами» (XX, 152). Михайловский, со своей стороны, также указывал, что личной близости между ними никогда не было, но объяснял это не возрастом и болезнью Салтыкова, а тем, что был его был чужд Михайловскому. При этом Михайловский добавлял: «Наши отношения <...> принадлежат к числу лучших воспоминаний всей моей жизни, и даже такой изъян, как отсутствие личной дружбы, вносил в них своеобразную прелесть и чистоту».

Нет оснований сомневаться в искренности этих слов. Однако любовь и уважение, которые питали друг к другу Салтыков и Михайловский, и совместная их литературно-журнальная деятельность все же не исключали серьезных идеологических расхождений. Об этом нельзя забывать и при оценке помещаемых мемуарных материалов.

Салтыков не разделял главных убеждений Михайловского — его учения о «миновании Россией фазы капитализма», его идеализации крестьянской общины, а в области социологии — его теории «героев и толпы», согласно которой история делается не массами, а героическими личностями. С этими доктринами Михайловского и его группы Салтыков вел острую идейную борьбу. Однако вел он ее не столько в качестве редактора, имевшего возможность устранять нежелательные течения и оттенки в общем направлении журнала (организационные формы этой внутриредакционной борьбы сильно преувеличиваются в новейших работах), а преимущественно в своих сочинениях, освещавших те же вопросы русской действительности, но с принципиально иных позиций — с реалистических позиций революционного просветителя, писателя «старой» народнической демократии, как называл Салтыкова Ленин (В. И. Ленин, Сочинения, т. 35, стр. 32).

При всем том и Салтыков и Михайловский не раз говорили о своей идейной солидарности. «Я сам полагаю, — писал Салтыков Михайловскому 13 января 1884 года, — что не одна случайность соединила нас с Вами в одном журнале, но и общность воззрений» (XIX, 383—384). Как видно из сказанного выше, эта «общность» не относилась к специфическим элементам народнической доктрины, не относилась она, тем более, и к либеральным колебаниям Михайловского. «Общность воззрений» двух руководителей «Отечественных записок» заключалась в их *демократизме*, в их общей не-

ненависти к царизму и его государственному аппарату, в их преданности трудовым крестьянским массам, в их стремлении служить делу борьбы за свободу всего русского народа.

«Великой исторической заслугой Михайловского в буржуазно-демократическом движении в пользу освобождения России, — писал Ленин, — было то, что он горячо сочувствовал угнетенному положению крестьян, энергично боролся против всех и всяких проявлений крепостнического гнета, отстаивал в легальной, открытой печати — хотя бы намеками сочувствие и уважение к «подполью», где действовали самые последовательные и решительные демократы разночинцы, и даже сам помогал прямо этому подполью» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 20, стр. 99—100).

Ленин характеризует здесь именно те черты в деятельности Михайловского, которые сближали его с Салтыковым, создавали общую почву для их сотрудничества. Переход Михайловского и его группы к буржуазно-либеральному ликвидаторству относится к тому — более позднему — периоду его деятельности, который протекал вне его совместной работы с Салтыковым, окончившейся в 1884 году вместе с прекращением «Отечественных записок».

Достоинство печатаемых воспоминаний в том, что Михайловский не одевает Салтыкова в косоворотку народника. Он не только сам не создавал народнических легенд о Салтыкове, как это часто утверждают, но стремился пресечь их, если они возникали. Когда С. Южаков поместил в редактировавшейся им «Большой энциклопедий» статью о Салтыкове (т. XIII, стр. 324), в которой утверждалось, что в семидесятые годы Салтыков будто бы «вполне проникся новым мирозерцанием», то есть идеями Михайловского, последний тотчас же заявил Южакову, что такое утверждение не соответствует истине и является «легендой». На это Южаков отвечал: «Что касается Салтыкова, то я позволю себе не согласиться с Вашею скромною самооценкою. Мне кажется, простое сопоставление салтыковского творчества шестидесятых и семидесятых годов покажет такую огромную разницу, которую одним естественным внутренним развитием объяснить невозможно. Надо внешнее воздействие. Заняться этим вопросом подробнее совсем теперь некогда, но в статье «Русская литература», которую теперь пишу, вероятно, придется повторить мысль, что так смутила Вашу скромность» (письмо от 14 сентября 1903 г. Подлинник в ИРЛИ. Цитируем по публикации Б. В. Папковского в «Известиях Отделения литературы и языка АН СССР», 1949, т. VIII, вып. 5, стр. 451). Михайловский-заявил против такого намерения решительный протест и потребовал устранения легенды из статьи С. Южакова, находившейся тогда в наборе. В ответ на это Южаков писал: «Я не могу

согласиться с Вами <...>. Я нахожу эту легенду уместною и даже необходимою, но если Ваша совесть требует ее устранения, я не препятствую Вам сделать эту журнальную операцию. Сам же накладывать руку на то, что по сути удобно, не могу» (Там же. Письмо б. д., конца 1903 г., подлинник в ИРЛИ. Цитируем по указ. публикации).

Позиция Михайловского в споре с Южаковым о Салтыкове оказалась и в печатаемых воспоминаниях. Они свободны от нарочитой тенденциозности. И они проникнуты не только пониманием величия литературного таланта писателя, но и любовью к самому Салтыкову — «медведю с душою ребенка», как сказал о нем Михайловский в одном из писем к Хвощинской.

I

ПАМЯТИ ЩЕДРИНА¹

Все на свете стареется, изнашивается и, наконец, умирает, уступая место новой, молодой жизни. Таков закон естества, неизбежный и неумолимый, как бы ни возмущалось против него наше чувство. Да и не всегда ведь оно возмущается. Смерть не страшна и не печальна, а именно только естественна, когда она составляет условие обновленной жизни, когда умирает то, что успело уже износиться и только давит собою новые ростки жизни. Такой смерти вполне приличествует эпитет «естественная», и с нею сравнительно легко мирится даже личное горе людей, близких к покойнику. Щедрин умер в этом смысле не естественною смертью. Давно больной телом, он не изжил своих духовных сил, не одряхлел ни талантом, ни убеждением, и не только не отнимал своим существованием места у новой жизни, а напротив, лишь о расчищении его и думал.

Тяжело было бывать у Щедрина в последние месяцы его жизни. Больное тело явно шло к концу, а это и само по себе производило удручающее впечатление и, кроме

¹ Глава эта написана и напечатана в «Русских ведомостях» тотчас после смерти Салтыкова. Я не хотел ее перепечатывать, ввиду ее характера наброска, вызванного первым впечатлением известия о смерти сатирика. Но в ней содержатся кое-какие черты, которые мне не удалось потом развить (*Примеч. Н. Михайловского*).

того, отражалось на душевном состоянии больного мрачною мнительностью. Однако страшные физические страдания отравляли только, так сказать, интимную, личную сторону его духовной жизни; ему казалось, что его забыли, что предпринятое им перед самою смертью издание его сочинений не будет иметь успеха, и т. п., и все это преувеличенно волновало и раздражало его. Но в то же время он иногда с почти юношеским увлечением говорил о новых планах литературных работ. Трудно поверить, что такое сильное и вместе художественно-прекрасное произведение, как «Пошехонская старина», написано среди постоянных физических страданий. Но еще труднее представить себе, что, только что окончив «Пошехонскую старину» и уже стоя одной ногой в гробу, Щедрин мечтал о новой большой работе, которая должна была называться «Забытые слова». Он предчувствовал, что «Пошехонская старина» будет его лебединою песнью, и с свойственною ему особенно, добродушно-сердитою манерой отталкивал всякие слова утешения и надежды. Но творческая работа этого изумительно одаренного духа не прекращалась, можно сказать, до самой смерти. «Были, знаете, слова, — говорил он мне незадолго до смерти, и кто из знавших Щедрина не припомнит при этом его басистого голоса и добродушно-сердитых глаз, устремленных прямо в глаза собеседника, — были, знаете, слова: ну, совесть, отечество, человечество... другие там еще... А теперь потрудитесь-ка их поискать! Надо же напомнить...» Таково должно было быть содержание «Забытых слов».

Творческая сила Щедрина обнаружилась очень рано. Начал он, собственно, поэзией, стихами и подавал в этом направлении большие надежды. В Александровском лицее, где воспитывался Щедрин, со времен Пушкина чуть не на каждом курсе школа искала преемника великому поэту, и Щедрин был одним из этих предполагаемых преемников. Но скоро он выбрал другой литературный путь, с которого никогда не сворачивал, на котором и умер с «Забытыми словами» в мечте. Так называемое «искусство для искусства» Щедрин не допускал; он считал его праздным вздором или вздорным празднословием, хотя, сам будучи великим художником, высоко ценил художественные достоинства и в чужих произведениях. Обрекая свою творческую силу на служение обществу и известным нравственно-политическим идеалам, он понимал эту

служебную роль так высоко, что, по народному выражению, шапка свалилась бы с головы тех маленьких жрецов чистого искусства, которые вздумали бы взглянуть на эту высоту. Большому кораблю — большое плавание, а маленькая лодочка и в пруду погуляет. Пусть мелочь тратит то малое, что ей богом отпущено, на воспевание звездочек и цветочков, ландышей и кудрей, пурпурного заката и столь же пурпурного восхода. А Щедрины пусть напоминают нам забытые слова: совесть, честь, отечество, человечество. Всякому свое. И кто знает, какого, может быть, первоклассного, художественного произведения не получили мы с Щедрина в этих «Забытых словах»! Талантом и убеждением этот человек был так силен, что болезнь и возраст ничем не отражались на его произведениях. Напротив, он только рос и крепнул. Сравните «Губернские очерки», имевшие такое огромное значение в литературе и сами по себе представляющие большую ценность, с «Пошехонской стариной», написанной на склоне дней, и вы увидите, что никакого склона дней в литературном отношении тут нет, а есть, напротив, подъем. Щедрин и прежде бывал сильно болен, так что опасались за его жизнь; бывали и в его литературной деятельности как бы периоды утомления. Но он вдруг стряхивал с себя и хворь и утомление и являлся в неожиданно обновленном виде. Теперь, только что получив известие о смерти Щедрина и наскоро набрасывая эту заметку, я не могу охватить сразу все подробности его долгой и плодотворной литературной деятельности. Напомню только «Господ Головлевых», «За рубежом», «Сказки», «Мелочи жизни». Все эти произведения в разное время развешивали перед изумленными читателями новые стороны таланта Щедрина, который был, кажется, неиссякаем. «Забытые слова» могли бы быть таким же сюрпризом. Нам не пришлось его получить, а он был возможен. Вот почему мысль так трудно мирится с этой смертью: не износился еще человек, не изжил отпущенного на его долю запаса силы, и дай бог иному в юношеских годах начинать свою сознательную жизнь так, как ее кончил в старости Щедрин, с верой в совесть, честь, отечество, человечество, с желанием постоять за эти великие, но увы! на самом деле почти забытые слова... И в это-то трудное, смутное, тусклое время забвения одним борцом стало меньше... И каким борцом! Если бы

Щедрин даже не написал своих «Забытых слов», а просто бы только жил, существовал, так и то было бы посветлее на Руси. Оставалась бы все-таки возможность ожидания, оставалась бы надежда, — пускай тщетная, — что вот-вот «ударит по сердцам с неведомою силой» привычное властное слово. Утешительно было бы даже просто сознание, что еще жив человек, который так высоко нес знамя литературы, что никакие брызги грязи не долетали до него и не запятнали его...

Этих брызгов грязи было много. Знаменосцем нельзя быть без риска привлечь к себе много злобного внимания. А Щедрин и по натуре был не из тех людей, которые могут всю жизнь прожить припеваючи, не нажив ни одного врага. Для этого в нем было слишком мало и кротости, и практичности, и желания нравиться. Врагов у него было много, притом подчас вполне бессовестных, не стеснявшихся в выборе оружия. В частной жизни он был безупречен с точки зрения самой придирчивой морали, а с тех пор как я его помню (с 1870 года)* он, если можно так выразиться, общался с жизнью только через окно литературы. Весь преданный своему делу, поглощенный, кроме чисто литературной работы, еще непомерным обилием невидного, черного редакторского труда, он жил, как монах, чуждый «миру» с его соблазнами. Тем не менее у него были враги и как у писателя, и как у редактора журнала, и, наконец, как у человека.

Однажды в редакции «Отечественных записок» я был свидетелем такой сцены. Элегантно одетая дама просила Щедрина о чем-то, чего он не считал возможным сделать; не то принять доставленную ею рукопись, не то ускорить ее напечатание, не помню. «Будьте любезны, Михаил Евграфович», — просила дама. «Сударыня, — отвечал Михаил Евграфович, — быть любезным совершенно не моя специальность». Это была правда. Любезность отнюдь не составляла его специальности. Он часто был грубоват, резок, раздражителен, несдержан в выражениях. В одном из напечатанных писем Тургенева есть замечание, что, дескать, у Салтыкова и наружность и голос самой природой уж так устроены, чтобы ругаться*. Действительно, внешность Щедрина еще усиливала впечатление его грубоватой манеры: резкая перпендикулярная складка между бровей на прекрасном открытом и высоком лбу, сильно выпуклые, как бы выпяченные глаза, сурово и как-то не-

преклонно смотревшие прямо в глаза собеседнику, грубый голос, угрюмый вид. Но иногда это суровое лицо все освещалось такою почти детски-добродушною улыбкой, что даже люди, мало знавшие Щедрина, но попадавшие под свет этой улыбки, понимали, какая наивная и добрая душа кроется под его угрюмой внешностью. Об тех, кто его близко знал, нечего и говорить. Он не мог не поворачивать в разговоре с кем бы то ни было, и под конец его жизни эта воркотня была иногда тяжела, но все знали все-таки, что это только воркотня и что в конце-концов она ничем не отзовется на деле и действительных отношениях.

Кроме добродушия, эту ворчливость и грубоватость много скрашивало еще то обстоятельство, что Щедрин проявлял ее совершенно равномерно по отношению ко всем. Это уже потому не был «генеральский» тон, как утверждали некоторые обиженные, что применялся не только к тем, кто так или иначе зависел от Щедрина, а и к тем, от кого он сам зависел. Раз слушатели какого-то высшего заведения пришли просить его участвовать в литературном вечере. Он сурово отвечал: «А вот посидите немножко да подождите, пока я закашляю: тогда и увидите, могу ли я публично читать». Один из министров внутренних дел созвал однажды к себе редакторов газет и журналов для предъявления им своих требований от литературы*. Окончив официальную речь, министр обратился к Щедрину с любезною шуткой: «Под каким вы меня соусом подадите теперь публике, Михаил Евграфович?» — «Нам не до соусов, ваше высокопревосходительство, не до соусов, не до соусов», — отвечал сатирик, постепенно возвышая свой бас и угрюмо отходя в сторону. Всегда и со всеми любезность была совершенно не его специальностью. Но это был истинно добрый человек, всегда готовый помочь нуждающемуся словом и делом. Мелких же чувств — мстительности, подозрительности, соперничества — в нем не было даже самых слабых следов. Понятно, как все это должно было отражаться на его редакторской деятельности.

Меня всегда поражало трудолюбие Щедрина. Он и сам им гордился. Он утверждал даже, что его литературная слава достигнута не талантом, который, дескать, вовсе не велик, а упорным трудом. В одном разговоре о воспитании детей он уверял меня, что более или менее талантливым писателем может стать всякий, —

надо только -смолоду приучить мальчика правильно и упорно работать; «конечно, если он не идиот и не математик», — прибавил он, разумея, кажется, противоположность между определенной специальною способностью и полным отсутствием всяких способностей. И в том и в другом случае, значит, ничего не поделаешь, а в этих пределах все доступно труду. Разумеется, роль труда в своей собственной литературной деятельности Щедрин непомерно преувеличивал. Его редкое трудолюбие не только не способствовало его славе художника или сатирика, а напротив, отвлекало его силы в сторону журнальной техники. Чтение и исправление рукописей и корректур, всегда отнимающее много времени, у Щедрина отнимало его больше, чем у кого-нибудь. Он ведал в «Отечественных записках», кроме общей редакции в качестве ответственного редактора, еще специально беллетристический отдел, и если вообще принимал близко к сердцу интересы журнала, то в свой специальный беллетристический отдел поистине всю душу свою клал. Всякий вновь появлявшийся в журнале беллетрист, первоначально, может быть, несколько обескураженный резкою и суровою манерою редактора, встречал в нем на деле доброжелательнейшего, усерднейшего покровителя и советника, даже расточительно тратившего свой труд и время на чужие произведения. Помню, например, такой случай. Молодой талантливый писатель Котелянский (я могу его назвать, он умер) прислал повесть «Чиншевики». Щедрин решил ее напечатать, но по исправлению и сокращении. И вот что он, между прочим, сделал: вытравил на всем протяжении повести одно из действующих лиц целиком, со всеми его довольно сложными отношениями к другим, оставшимся действующим лицам. Котелянский сам говорил мне потом, что он очень благодарен Щедрину за эту операцию, которая скрасила повесть, но удивляется, как он ухитрился это сделать. И действительно, всякий маломальски знакомый с редакторским делом поймет, какого труда и внимания стоит подобная операция. Вообще Щедрин был образцовым редактором. Я был несколько лет одним из ближайших его сотрудников по ведению журнала, и хотя дело не всегда обходилось без недоразумений и пререканий, но ни единой капли горечи не осталось в моих воспоминаниях об этом сотрудничестве и не иначе, как с удовольствием и чувством глубокого уважения

к Щедрина, думаю я о том счастливом времени. Несмотря на свою резкость и раздражительность, Щедрин владел той тайной внутреннего равновесия, которая гарантирует редактора и от беспринципной распушенности, превращающей журнал в простой сборник более или менее интересных или неинтересных статей и от ненужного мелочного вмешательства в ведение самостоятельных делов. Единство и цельность журнала даже в мелких подробностях слагались как будто сами собой. В согласии с основными чертами своего открытого, благородного характера и своей отзывчивости на «житейские волнения», Щедрин ненавидел ложь, в чем бы она ни состояла, и сухой доктринерский формализм. Правдивое и живое отношение к делу — вот главное, чего он лично требовал от сотрудников и без чего мудрено было попасть в «Отечественные записки». При обширном и тонком уме Щедрина, при его чуткости эта формула «правдивого и живого отношения» обнимала очень многое, и немудрено, что руководимый им журнал постепенно выработал себе такую цельность и определенность физиономии, какая не часто встречается в истории русской журналистики. Конечно, она могла нравиться одним и не нравиться другим...

Собственная писательская физиономия Щедрина тоже нравилась одним и не нравилась другим. Он имел восторженных поклонников, но имел и врагов, злобных, мстительных. Такова участь всякого превышающего средний рост человека, но в положении Щедрина были свои особенности. Его великий талант и его значение как литературного деятеля едва ли не с первых же его литературных шагов стали вне всякого спора и сомнения, а затем обратились в общее место, которое даже повторять странно. Правда, кое-кто из оскорбленных его личною резкостью или его строгою, но и ответственною деятельностью как редактора «Отечественных записок», бессильными, трясущимися от злобы руками замахивался и на его талант. Помню одну забавную статью в «Русском вестнике», в которой серьезнейшим образом доказывалось, что Щедрин (и Некрасов) не может идти по таланту ни в какое сравнение с... г. Стахеевым. Помню разные полемические упражнения газетных рецензентов, представляющих собою двойную анатомическую игру природы: отсутствие мозга и сердца, при наличности рук, которые могут держать перо, мочать его в чернила и потом водить им по бумаге. Этой мелочи

Щедрин даже не замечал, как слон той моськи, которая на него лаяла. Были враги покрупнее. Были такие, которые понимали, что прать против рожна глупо, и не только не отрицали таланта Щедрина, но именно в этом таланте видели сугубую опасность для чего-то будто бы ими охраняемого. Эти очень волновали покойного и многого добились.

Была пущена в ход и усердно эксплуатировалась нелепая клевета, что Щедрин ненавидит и презирает Россию *, не верит в нее, желает ей всякого зла и гибели, в доказательство чего указывалось на исключительно мрачные краски его сатирической палитры. Если бы «патриот своего отечества» и «мерзавец своей жизни» не слились у нас в какой-то конгломерат шутовской пошлости и злодейского предательства, если бы слово «патриот» не было так захватано грязными руками, я сказал бы, что Щедрин был великий патриот. Здесь не место, да и слишком много времени потребовалось бы, подвергать сколько-нибудь систематическому критическому анализу сочинения Щедрина в их художественном и общественном значении. Я просто пишу беглую заметку, и читатели не вправе требовать от нее многого.

Щедрин, бесспорно, не любил многого в России (а кто любит все в России? не те ли, кто не любил великого русского писателя, ныне лежащего в гробу?). Не любил, между прочим, и даже в особенности, того фальшивого, иногда слащавого, иногда, напротив, злобного течения, которое как бы захватило в свои руки монополию патриотизма. Этому ненавистному для Щедрина течению часто от него доставалось, его мощное слово не раз посрамляло его представителей *. Так, одно время представители эти усвоили себе кличку «культурных людей» и очень носились с нею. Тогда Щедрин начал в «Отечественных записках» ряд очерков под заглавием «Культурные люди» *, но не успел даже их кончить (так они и остались незаконченными в журнале и до сих пор не перепечатывались в отдельном издании; в полное собрание сочинений, однако, войдут), — не успел даже кончить, как гордую кличку «культурные люди», точно траву косой, скосило. «Культурные люди» устыдились посрамленной Щедриным клички, — до такой степени устыдились, что кличка так навеки и погибла, и, может быть, многие из читателей даже не помнят ее. А знаменитая «торжествующая свинья»? ! *

Но если Щедрин неустанно клеймил лживое течение, самозванно усвоившее себе имя патриотизма, то только слепой или именно урод, лишенный мозга и сердца, мог не видеть той горячей, трогательной и заразной любви к отечеству и к отечественному «мальчику без штанов» («За рубежом»), которая сквозила из-под его едкой сатиры.

Возьмем сравнительно безобидную область — область литературы. Раз Щедрин спросил меня, какое из его произведений я считаю наиболее удачным. Я затруднился ответить, как затруднился бы и сейчас выбрать какой-нибудь цветок из этого огромного и роскошного букета. «По-моему, «Похороны» * лучше всего, я их вчера пересматривал; право, хорошо», — сказал Щедрин. Я хорошо помнил «Похороны», небольшой и действительно прекрасный рассказ, который, однако, трудно поставить в ряду произведений Щедрина в первую голову. Это рассказ о похоронах бедного, маленького писателя, о постигавших его при жизни невзгодах, о трудностях и радостях его положения. Рассказ проникнут тихой, хотя и улыбающеюся грустью и тем своеобразным лиризмом, который в последний период деятельности Щедрина все чаще и чаще пробивался в его произведениях. Этот-то душевный тон рассказа и подкупал самого автора. Он глубоко любил русскую литературу и интересовался судьбами самых даже маленьких и невидных ее служителей. Мерзости представителей печати, которых он награждал ударами своего сатирического бича, не мешали ему верить в русскую литературу, именно как в русскую, желать ей расцвета, свободы, почета. Недаром он и в завещании сыну написал трогательные и по праву гордые слова: «Паче всего люби родную литературу и звание литератора предпочитай всякому другому». Не касаясь прочих сторон этого предсмертного пожелания, я спрашиваю: кто же был истинный патриот, кто больше любил свое отечество и больше верил в таящиеся в нем силы, — тот ли, кто завещал своему сыну любить «родную литературу» или те «патриоты своего отечества», которые с пеной у рта требуют для этой родной литературы узды и кнута?

Великая скорбь посетила Россию, еще большая — русскую литературу и нас, русских литераторов. Почтим же память Щедрина не только словами или слезами, а и делом; постараемся сравняться с ним, конечно, не та-

лантом: постараемся работать так, чтобы, подобно ему, иметь перед лицом смерти право гордиться своим званием литератора и завещать эту гордость потомству...

II

ИЗ КНИГИ «КРИТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ. II. ЩЕДРИН»

...Однажды, по некоторому особенному случаю, мы разговорились с Салтыковым о картине Каульбаха «Каталаунская битва» или «Сражение с гуннами», — не помню, как она называется. На этой картине, внизу, на земле, гунны дерутся с римлянами и их союзниками, а вверху, на небе, души погибших в сражении продолжают яростную битву. Салтыкову очень нравилась эта мысль о загробном продолжении земной битвы *. В нем, в его личности, эта мысль получила свое осуществление: он умер, но живет и продолжает свою битву жизни; мне кажется, именно потому, что он при жизни много жил будущим. Он много думал о потомстве, и потомство отдаривает его вечной памятью...

Очерк «Имярек» произвел в свое время сильное впечатление как личная исповедь знаменитого автора. Он получал много писем. Одно из них пришло в моем присутствии, и Салтыков, жалуясь на слабость зрения, просил меня прочесть его. Я никогда не забуду этой сцены: слушая письмо, Салтыков, по обыкновению, ворчал и в то же время плакал... * Автор письма называл его «святым стариком», доказывал, что не крохи и мелочи у него в прошлом, что не одинок он и не может быть одинок, что русское общество не может забыть его заслуги, как бы ни умалял их размеры он сам. Письмо было хорошее, звучало искренностью, и если автору его попадутся на глаза эти строки, пусть он примет от меня благодарность за те минуты умиления, которые он доставил больному и мнительному старику. Корреспондент был настоящий «читатель-друг», общение с которым Салтыков, как мы видели, считал драгоценным для каждого убежденного писателя. Но письмо было не просто утешительно, в нем была правда. Конечно, только мнительность

и болезнь могли внушить Салтыкову мысль, что «сзади у него повис ворох крох и мелочей, а впереди — ничего, кроме одиночества и оброшенности» *. Все относительно. Ядовитые мелочи не пощадили и Салтыкова, и в его жизнь и деятельность они внесли свою долю горькой отравы. Но сделанного им, разумеется, слишком достаточно для того, чтобы не предаваться скорби Имярека. Хотя бы уже потому, что в его деятельности широкая полоса была отдана именно борьбе с мелочами жизни. До конца дней своих не устал он звать нас в тот мир идеала и действенной веры в будущее, который только и может спасти от губительной цепкости мелочей...

III

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПОРТРЕТА М. Е. САЛТЫКОВА

...Когда я писал о Салтыкове в «Русских ведомостях» и когда потом издавал эти фельетоны отдельную книжкой *, мне не пришло в голову воспользоваться для характеристики покойного сатирика имеющимися у меня его письмами. На эту мысль я был натолкнут только теперь. Думаю, что и мои материалы могут оказаться не бесполезными.

Странное чувство испытывал я, разыскивая письма Салтыкова в огромном ворохе всякого рода писем по литературным делам, сохранившихся за много лет. Точно будто вновь переживались эти много лет, хотя и в полном беспорядке, потому что письма были свалены кое-как, и из кучи их попадалось то письмо еще живого «презрительного Терсита», то письмо «могучего Патрокла», которого уже нет *; отголосок времени надежд чередовался с свидетельством мрачного отчаяния; след живого общения с читателем попадался рядом с порождением мелких литературных дрызг; автограф изменника, когда-то лезшего в душу, а ныне... а черт его знает, что он такое ныне! Целая коллекция писем писателя, добивавшегося чести попасть в «Отечественные записки» и потом печатно их обругавшего; письма восторженных юношей, «читателей-друзей»; письма милых сердцу и поныне и письма постылых; письма о больших и о смешных делах; письма разумных и письма безумных; всякие, всякие... Да, много

пережито за все то время, от которого сохранился этот ворох писем. И не мудрено, что, разыскивая письма Салтыкова, я то и дело останавливался на других, в ту минуту мне вовсе ненужных письмах, и воскрешал в памяти своей тот или другой вызвавший их эпизод. Впрочем, так как огромное большинство писем так или иначе связано с «Отечественными записками», то многое все-таки по крайней мере напоминает Салтыкова, а кое-что и прямо к нему относится. Вот, например, стихотворная ругань, в которой некто называет Салтыкова «журнальным генералом» и, очевидно, полагает себя остроумным и ядовитым. Должно быть, это оскорбленный непринятием статьи бездарный писака; письмо его, вероятно, адресованное просто в редакцию, попало ко мне, и я, конечно, скрыл его от тогда уже больного и слабого Салтыкова (письмо помечено 1882 годом). Вот другие письма о Салтыкове, участливые, восторженные... Но вот, наконец, письма самого Салтыкова извлечены, расположены в хронологическом порядке. Их около сотни *.

Надо, прежде всего, заметить, что многих писем я не уберег, — пропали при переездах и других передерягах. Самое раннее относится к 1876 году, и после него опять порядочный пробел. Далее большинство писем относится к лету 1880 года, и к лету 1881 года, когда Салтыков жил за границей, а я в Петербурге, и к 1883—1886 годам, когда, наоборот, он жил в Петербурге, а я вне оногo. Однако благодаря страстному отношению Салтыкова к литературному делу есть не мало писем и записок и за те времена, когда мы оба были в Петербурге: не дожидаясь свидания, обязательного каждый понедельник в редакции или, в случае его болезни, у него на квартире, после редакционных приемных часов, он торопился сообщить или получить то или другое сведение, то или другое впечатление. Затем надо иметь в виду, что письма Салтыкова никогда не могли бы быть опубликованы так, как это было сделано, например, с перепиской Тургенева. Многие в них неудобно для печати как по самой теме, так и по выражениям, в которых он, в письмах к близким людям, не стеснялся.

Я, впрочем, не могу себя считать вполне близким к нему человеком. И, для уразумения нижеследующего, надо сказать несколько слов о наших с ним отношениях, очень оригинальных. Знаю, что многие из пишущих

воспоминания о знаменитых покойниках, может быть, даже бессознательно и невольно, приурочивают эти воспоминания так или иначе к своей собственной личности. Но думаю, что мне тем легче будет избежать этого комического положения, что я, собственно, не воспоминания собираюсь писать, а хочу только извлечь из писем Салтыкова кое-какие характерные черты.

В одном из позднейших писем, выражая, по некоторому особенному случаю, свои добрые чувства ко мне *, которые, дескать, всегда питал, он прибавляет: «Хотя разность лет и моя болезнь препятствовали мне ближе сойтись с Вами». Я имел много свидетельств доброго расположения покойного сатирика, но интимно близок с ним никогда не был. Этому препятствовали не только его болезнь и разность лет, но и разница во всем складе жизни. Что называется «домами» мы никогда не были знакомы и «в гостях» друг у друга не бывали. Посещения были чисто деловые, а с прекращением «Отечественных записок» я только навещал больного. Интимно-дружеской близости не было, а суррогат ее — светские отношения — были бы между нами просто смешны. Ни он, ни я не чувствовали склонности вообще к такого рода отношениям, хотя ему благодаря всей его жизненной обстановке приходилось все-таки иметь и поддерживать таковые. Воображаю, а отчасти и знаю, как он их поддерживал! Я не мог не улыбнуться, перечитывая следующие строки в одной его записке ко мне, помеченной 5-м декабря (не знаю которого года): * «Так как завтра множество Николаев, то полагаю, что Вы один из оных». И затем подпись. Это значило, что он поздравляет с именинами.

Тем ценнее представляется мне наше литературное единение. Оно было свободно от всяких посторонних подмесей. «Наша совместная служба на радость и пользу пошехонцам», как он выражается в одном письме *, вытекала исключительно из общности взглядов. Без сомнения, не всегда и не во всем мы вполне сходились; случались и разногласия, но они никогда не достигали размеров принципиального разлада. Естественно, что и в письмах нет того, поводов к чему не было в самой жизни, то есть пререканий или даже только рассуждений о принципах. Единственный след чего-нибудь отдаленно подобного я нашел в письме его из деревни от 1876 года, по разным причинам неудобным для печати * и кончающемся так:

«До свидания, жму Вашу руку, ту самую, которая выдвинула вперед вопрос о качественности цивилизации... А Мордовцев подслушал сие и окрылился...» Разногласия, какие были, кончались всегда скоро и благополучно. Несмотря на ворчливость и раздражительность покойника, мне по крайней мере было легко иметь с ним дело, потому что при общности взглядов и взаимном доверии взаимные уступки не заключали в себе ни тени чего-нибудь унижительного. Были, правда, попытки нарушить эту в своем роде почти даже идиллию, но они ничего не достигали. В январе 1884 года по некоторому, мне теперь уже не совсем ясному, поводу Салтыков писал мне: * «Есть многие сукины дети, которые мне делают это приветствие: «Здравствуй, дурак!» Никогда у нас с Вами серьезных разногласий не было, и публика читающая это знает отлично, точно так же, как знает, что я не наемный редактор, а кровный». Как у нас вообще делалось дело, можно видеть из следующих двух отрывков из писем Салтыкова (выбираю два, лишь в видах краткости). В сентябре 1881 года, посылая из Парижа третье «Письмо к тетеньке», он писал: «Думаю, что статья и неудовлетворительна и не весьма цензурна. Поэтому предоставляю Вам делать с нею, что хотите: исправлять, печатать, не печатать и т. д. Спорить и прекословить не стану, а буду, напротив, очень благодарен» *. А вот отрывок из письма, не датированного, но, если не ошибаюсь, 1880 года *: «Я утром ждал Вас, но не дождался. Впрочем, корректуры с моими пометками у Вас... Будьте так добры, сделайте мне эти уступки... Я зачеркнул, между прочим, и упоминание об Анненкове. Если хотите, восстановите его, но он мой приятель, и я как-то еще не возвысился до того, чтобы оставить отца и мать и прилепиться к журналу».

На этом я кончаю выписки, характеризующие наши отношения, хотя, признаюсь, очень соблазнительно остановиться на них подольше. Они принадлежат к числу лучших воспоминаний всей моей жизни, и даже такой изъян, как отсутствие личной дружбы, вносил в них своеобразную прелесть и чистоту.

Несмотря на вышеприведенную оговорку по поводу Анненкова, я не знал человека, о котором с большим правом, чем о Салтыкове, можно сказать, что он оставил отца и мать и прилепился к журналу. В этом отношении

особенно характерны его заграничные письма. О заграничных впечатлениях, встречах, о своем времяпровождении — несколько слов. Например: «Здесь (в Париже) ужас какая скука»*. Иногда, впрочем, несколько больше: «Здесь (опять-таки в Париже) ужасные холода и льет дождь ежеминутно. Поэтому я сижу дома и пишу совершенно так, как бы находился в 3-м Парголове. Знакомых совсем почти нет; сегодня приезжал Стасюлевич, да разве это резон веселиться? А все-таки пробуду указанное время в Париже, то есть еще две недели: хоть в театры схожу. За скверным временем не вижу главного — уличной жизни, и это большое лишение»*. И затем сообщения о литературных планах и о ходе работы или же самые детальные заботы о составе книжки «Отечественных записок» и о сотрудниках. Вот, например, одно из писем почти целиком: «Предполагаю печатать «Наташку» и Златовратского... Плещеев и Михаловский еще при мне доставили стихи... а между тем в августовской книжке стихов совсем нет. Есть еще стихи Яхонтова — спросите, пожалуйста, у Плещеева. Ежели «Миражей», Златовратского и Ясинского (будет еще мое письмо в лист) недостаточно, то можно в середку записать Бело-конского... Большакова статью оставьте до меня, Салова тоже лучше в ноябре поместить. Да что же Успенский? — неужели так ничего и не будет писать? По-моему, это самый для нас необходимый писатель, хотя последняя его статья скучновата... Я попросил бы Вас спросить у Новодворского (Осипович тож), сколько ему нужно денег, и дать записку. — Он... вероятно, нуждается. Что же касается до Каронина, то до смерти его жалко. «Записки ученого» — негодная вещь, я с Вами совершенно согласен, ибо читал их. Говорят, что Альбов хорошо пишет. Я ничего не читал, но хвалят. Нельзя ли его привлечь в «Отечественные записки»... По-моему, Ясинский талантлив. И его не мешало бы привлечь. Не слыхали ли, не написал ли чего Островский?» *

Имейте в виду, что это пишет человек больной, слабый, уехавший лечиться и отдыхать и в действительности отдыхавший только от чтения рукописей и корректур, потому что над своими собственными вещами он не переставал работать. Тем не менее он был, очевидно, весь тут, в нашей редакции, в этих двух комнатах, где

бывало подчас так ужасно невесело и где, однако, всякая мелочь была ему дорога и близка. Но и от черной редакторской работы Салтыков не вполне все-таки отдыхал за границей. 7 июля 1881 года он мне писал: «Пожалуйста, поместите в августовской книжке обручевскую статью об иезуитах. После будет уж поздно. Он ужасно обескуражен. Принес мне статью беллетристического содержания, довольно-таки плохую, и все-таки надо будет поместить. На одном редактировании придется мне потратить дня три усидчивого труда»*.

Источником заграничных волнений Салтыкова были, однако, преимущественно цензурные условия. Вот выдержки из нескольких тогдашних писем.

7 июля 1881 года: «Прочитали ли Вы мое письмо к тетеньке? Я предположил написать штук 7 или 8... Но опасаюсь, что уже на первом письме, пожалуй, произойдет осечка, то есть вырежут. Вероятно, в минуту получения Вами этого письма июльский № уже будет в цензуре. Пожалуйста, последите за перипетиями этого пребывания во чреве кита, и буде что случится — обратитесь к Краевскому...»

15 августа: «Вы пишете от 11 числа и, к сожалению, ни одним словом не упоминаете, когда предполагаете отправить № в цензуру. Мне кажется, что мы много себе мучения прибавляем этою медленностью. Думаю, однако ж, что хоть вчера-то отправили ввиду двух праздничных дней. Поверите ли, так щемит сердце. Здесь все какие-то безобразнейшие слухи, которые принимают тем более уродливые размеры, что нельзя проверки никакой сделать. Все думается, что ждет нечто необыкновенно неприятное»*.

10 сентября: «Я очень просил бы Вас, нельзя ли отослать 9 № в цензуру 12 числа? Тут два дня праздников»*.

14 сентября: «Вероятно, в эту минуту «Отечественные записки» уже готовятся к отъезду в цензуру. От души желаю, чтобы путешествие было благополучное, хотя, признаться, не совсем-то спокойно на сердце»*.

16 сентября: «Благодарю за письмо, хотя весьма огорчен, что отсылка 9 № отложена до вчерашнего числа. Дело в том, что я выезжаю отсюда в пятницу, а срок цензурный кончится в субботу. По особенностям моего

организма, я все время буду ехать с стесненным сердцем, тогда как если бы срок кончился сегодня, то Гаспер (конторщик) мог бы телеграфировать мне о результате. Всякое мученье нужно сокращать — вот мое правило» *.

В конце 1882 года я должен был уехать из Петербурга*, и хотя продолжал издали принимать участие в редактировании «Отечественных записок», но понятно, что, при самом горячем желании, не мог намного облегчать работу Салтыкова, а он все слабел физически и омрачался духом. Затем произошла еще убыль в составе сотрудников*. Временами Салтыков бодрился, утешал и меня и отдавался юмору. Но в общем письма его за это время наполнены жалобами на судьбу, особенно после того, как «Отечественные записки» получили в 1883 году второе предостережение*. Действительно, положение его было необыкновенно трудно, и не мудрено, что ему приходило в голову даже бросить журнал. Замечательно, однако, что и тут у него находилось доброе, утешающее слово для других.

20 января 1883 года он писал: «Что касается до меня, то со мною делается нечто странное. Кашель меньше, а слабость ужасная. Шатает. Вообще доживаю свой век. Вчера был Боткин. Молоко приказал пить, а я терпеть его не могу. И еще говорит: меньше курите, а я люблю курить. Как умный человек, он, однако ж, не прибавил: меньше волнуйтесь. Впрочем, я уже не волнуюсь, а просто до крайности все опостыдело. Работать охоты нет. Боюсь, что к февральской книжке не поспею. Плохое мое дело».

30 июня 1883 года: «Мне кажется, что Вы слишком беспокойно смотрите на Ваше положение; это мешает Вам устроиться и работать. Что Вы отсутствуете из Петербурга — с этим журнал еще может кое-как устроиться; а вот, что Вы не работаете для журнала — это отзывается чувствительно. Впрочем, прошу Вас не принимать моих слов за упрек, а просто за желание, чтобы журнал был сколько-нибудь интереснее. Я был на днях у Краевского и говорил с ним о журнале: окончательное решение отложили до возвращения моего из-за границы. Но вероятнее всего, что я с будущего года откажусь от редакторства. Во-первых, с двумя предостережениями журнал издавать совсем немыслимо, а во-вторых, я со-

всем измучен и физически и нравственно. В первом смысле, я почти потерял зрение, во втором — вижу себя до того одиноким, что страшно делается. Помышляю о том, не переехать ли в Москву, — там не будет ли полюднее. Не имеете ли Вы какую-нибудь комбинацию в виду на счет «Отечественных записок», которую мог бы Краевский принять?.. Ежели все три редактора будут отсутствовать, то журнал несомненно упадет, а быть редактором падающего журнала тоже не особенно лестно».

18 декабря 1883 года: «Имею к Вам большую просьбу: не задерживайте выхода 1-ой книжки. Я надеюсь выпустить ее совсем невинную, и сам затеял рассказ, в котором идет речь об обстановке дворянского дома и воспитании дворянского сына в былые годы («Пошехонская старина»). Болен я самым неприятным образом... Это письмо пишу в 7 часов утра, потому что разбудил страшный припадок кашля. Вот так работник! До свидания, будьте здоровы. А мне — мат».

Таким образом, первая мысль о «Пошехонской старине» относится еще к 1883 году. Но текущие дела, злобы дня в ту пору еще слишком занимали Салтыкова, и в 1884 году он выступил со «Сказками» и фельетонами «Между делом» («Недоконченные беседы»). Сказки потерпели крушение. Сообщая мне об этом 14 февраля, Салтыков продолжает: «Скажу Вам откровенно, мне становится невыносимо скучно. И стар я и болен, а тут еще в цензурный комитет требуют и работу уничтожают. Крепко подумываю я об отставке, хотя полуголодная старость вовсе для меня непривлекательна... На всякий случай, не хотите ли Вы такую комбинацию: дождавшись выхода мартовской или, пожалуй, апрельской книжки, предложить редакцию Карновичу? Вы бы могли оставаться в том же положении — об этом можно бы с Карновичем условиться — и прочие сотрудники тоже. Я же продолжал бы участвовать в журнале в качестве сотрудника. Пишу Вам все сие откровенно и жду Вашего откровенного ответа» *.

Я, разумеется, никаким образом не мог согласиться на эту комбинацию. Карнович был хороший человек, но ни в каких смыслах не соответствовал положению редактора «Отечественных записок». Все здание, долгими усилиями воздвигнутое, рухнуло бы — так мне представлялось по крайней мере — самопроизвольно, и

я предпочитал, чтобы оно лучше уж прямо шло навстречу своей судьбе, хотя понимал, что трудно Салтыкову, как он писал, «воевать на старости лет в одиночку». И, кроме того, у меня были все-таки надежды. Салтыков, однако, и потом, после прекращения «Отечественных записок», писал: «Мне тоже невольно припоминается при этом, как было бы хорошо, если б дело устроилось с Карновичем!» * Впрочем, тут он разумел только то, что, отказавшись от редакторства, он не был бы обременен неприятными хлопотами по ликвидации журнала. А с Карновичем дело все равно не выгорело бы. Салтыков предполагал вручить ему бразды правления после мартовской или даже апрельской книжки, а апрельская уже не вышла.

Мне хочется еще подчеркнуть здесь удивительную энергию творчества, не покидавшую Салтыкова даже в это трудное время. 8 февраля он писал: «Ужасно обидно: задумал я сказку под названием: «Пестрые люди» (об этом есть уже намек в сказке «Вяленая вобла»), как вдруг вижу, что Успенский об том же предмете трактует! Ну, да я свое возьму, не нынче, так завтра» *. 14 февраля: «Увы, мои сказки похоронены, и что еще больше досадно, я на март передал в типографию еще 4 сказки и думал, что отработался, а выходит, что только всеу труждался зиждущий и должен был сегодня же взять сказки эти обратно» *. Письмо без даты: «Меня лукавый подбил писать «Между делом»... Я пишу пошехонский рассказ, но так как я рассчитывал на новые сказки, которые были уже совсем готовы и сданы в типографию, то понятно, что, взяв их назад, я не могу поспеть скоро. К тому же я до того болен, что даже в редакции не мог сегодня быть» *.

Душевное состояние Салтыкова после прекращения «Отечественных записок» было необыкновенно тягостно. Как ни туго ему приходилось перед концом журнала, как ни ворчал он на бремя, становившееся действительно неудобноносимым, как ни хотел он его сбросить и уйти, — но, когда пришлось это сделать поневоле, он загоревал еще пуще. Погибло дорогое, любимое детище, в которое он всю душу свою клал. Поднимались сложные, трудные даже не для шестидесятилетнего больного человека вопросы: что же теперь делать? куда идти? Оборвалась руководящая нить жизни... Я все еще жил

тогда вне Петербурга, и потому писем, относящихся к этому времени, было у меня довольно много. К огромному моему сожалению, они далеко не все сохранились. Недостает даже первого, извещающего о событии.

Натура чрезвычайно деятельная, Салтыков получил некоторое отвлечение от своего горя в форме разнообразной возни по ликвидации «Отечественных записок». Правда, он опять-таки очень ворчал на эту возню, — да и мудрено бы было проделывать ее с кротостью, — но это все-таки был своего рода горчичник. Расчеты с издателем, конторой, подписчиками, журналами, принявшими на себя удовлетворение подписчиков, множество отнюдь не всегда приятных свиданий и разговоров — все это было, конечно, и скучно, и хлопотно, и подавало повод к разным раздражениям, но вместе с тем не давало мысли исключительно сосредоточиваться на постигшей журнал беде. Расчеты были особенно сложны как ввиду неожиданности события, так и ввиду организации журнала: собственником «Отечественных записок» был Краевский, а мы были только арендаторами. Переписка наша по этому поводу не представляет для читателей никакого интереса, и я приведу только одну характерную для Салтыкова выдержку: «Вчера я имел с ним <Краевским> целую стычку по поводу выдачи единовременно и безвозвратно некоторой суммы денег, которая дала бы возможность осмотреться сотрудникам нашим, потерявшим работу. Насилу уломал дать до расчета с подписчиками 2 500 руб., ибо он требовал, чтобы ждать расчета. Деньги эти распределены так:... Я знаю, что этого мало, но ничего поделать не могу»*. Потом Салтыкову удалось несколько увеличить эту сумму.

Но хлопоты по ликвидации «Отечественных записок» были все-таки только отвлечением и не могли заглушить горе совсем. В письме от 11 мая 1884 года Салтыков писал, между прочим: «Искренно благодарен Вам, что откликнулись и вспомнили добром нашу совместную службу на радость и пользу пошехонцам. С своей стороны отвечаю Вам тем же. Думаю, что моя песня уже спета и что ни лета мои, ни здоровье не позволяют в этом отношении никакого сомнения. Желаю мирной кончины живота моего, а что она будет непостыдна, — это уже от меня зависит... Желаю, чтобы жизнь когда-нибудь улыбнулась Вам».

В другом письме (без числа, что, мимоходом сказать, случилось с Салтыковым очень редко: он был так же обстоятелен в переписке, как и в работе): «Ничего не пишу и вряд ли буду. Слишком велик переполох, и я слишком стар. Надо новую дорогу прокладывать, а это и трудно, да и противно... Я человек оконченный. Меня и теперь уже наполовину забыли. Задумал я одну вещь давно «на всякий случай» (вероятно, дело идет о «Пюшехонской старине»), но теперь вижу, как мне трудно из колен выйти... Извините небрежность письма. Хотел бы и больше и складнее поговорить, да лучше не ворошить. Болен я и... огорчен!!!» *

В письме от 29 июня: «Я очень рад, что Вы собираетесь работать, хотя, конечно, это для Вас будет трудно. Сужу по себе: с тех пор как у меня душу запечатали, нет ни охоты, ни повода работать. Вся суть заключалась в непрерывном общении с читателем. Для русского литературного деятеля это, покамест, единственная подстрекающая сила. Антонович недюжинный человек, а стусевался, будучи лишен этого общения. А надежд на восстановление общения очень мало. Так мало, что я и не думаю о нем. Если найдется возможность, буду кое-что кропать, а не то, так и ухну в Лету без разговоров. Ужасно как нелестно быть свидетелем своей собственной смерти...» *

23 июля: «Я положительно потерял всякую охоту к писанию, и вот уже три месяца, как ничего не делаю. Я болен, а больше всего привык работать в общем тоне и в *своем месте* (подчеркнуто в подлиннике). Куда я теперь пойду — просто ума не приложу. Провидение послало мне ужасную старость. Я на свете любил только одну особу — читателя, и его теперь у меня отняли» *.

11 августа все того же 1884 года, сообщая, что в одной петербургской газете меня не совсем, при данных условиях, деликатно назвали «критиком, сошедшим со сцены» *, и, характеризуя эту неделикатность словами, не вполне удобными для печати, Салтыков прибавляет: «Может быть, и обо мне будут так же выражаться, и с полным основанием, потому что чем больше я думаю о предстоящей литературной деятельности, тем более сомневаюсь в ее возможности. Собственно говоря, ведь писать не об чем. Легко сказать: пишите бытовые вещи, — но трудно переломить свою природу. Прежде

всего это возьмет пропасть времени, а мне, между прочим, и деньги добывать нужно. И куда идти? — это тоже вопрос... Я живу жизнью почти отчужденною и болен необыкновенно, чему отчасти, впрочем, и рад, потому что это дает мне надежду на скорую развязку... Меня дрожь пробирает ввиду предстоящего бесплодия моей жизни, и вся надежда на то, что скоро предстоит провести черту. О читателе скажу Вам, что хотя я страстно его люблю, но это не мешает мне понимать, что он великий подлец.

17 ноября: «Я решился печататься в «Вестнике Европы» и отчасти в «Русских ведомостях» — больше идти некуда. Но, конечно, и в том и в другом месте я буду не более как случайный сотрудник. Скучно мне до зарезу, и совсем не пишется» *.

15 февраля 1885 года: «Нет ничего ужаснее, как чувствовать себя иностранцем в журнале, в котором участвуешь. А я именно нахожусь в этом положении...»

Здесь уместно будет привести отрывок из письма, свидетельствующий о том, как понимал Салтыков журнальную дисциплину: «Протопопов написал фельетон, но совершенно невозможный. Вырвал из «Страны» три строчки «примечания» и привязался. Я не поместил фельетона, во-первых, потому, что не вижу надобности пока вступать в полемику со «Страной»; во-вторых, ежели и понадобится полемика, то не по поводу случайных трех строк, да и не Протопопову же увлекать нас на сей новый путь, а в-третьих, я полагаю, что подобные шаги должны быть решаемы обдуманно и сообща, чтобы можно было и впоследствии поддержать полемику, а не отступать» *.

Вот и все, что я нашел возможным извлечь из писем Салтыкова. Не то чтобы в них не было больше ничего интересного. Напротив, там есть много любопытных и оригинально выраженных суждений о людях, событиях, литературных произведениях, но они не подлежат, по крайней мере теперь, оглашению. Однако и то немногое, что приведено выше, хорошо характеризует Салтыкова в некоторых отношениях.

Вы видите, что этот человек, комически неспособный совершить такой элементарный акт внешней вежливости, как поздравление с именинами, — человек, о котором составилось мнение, как о суровом, грубом и надменном «литературном генерале», был в сущности необыкновенно

мягок и добродушен. Я не стану, конечно, утверждать, чтобы он был идеалом любезности. Но много ли найдется таких редакторов, которые, пребывая ради своей пользы или удовольствия за границей, следили бы оттуда и за таким-то, которого «до смерти жалко», потому что он написал «негодную вещь», и за таким-то, который «вероятно, нуждается». А свидетельств такой внимательности к чужим делам в письмах много, — я только избегал повторений. В том же ворохе разных документов, из которого я извлек письма Салтыкова, я нашел и кое-какие жалобы на него и просьбы уладить те или другие, иногда очень острые недоразумения, возникавшие между кем-либо из сотрудников и Салтыковым. Многое в этих случаях объясняется действительно его раздражительностью, особенно за последнее время, когда он почти постоянно хворал. Но многое прямо зависит от неумения разобраться в этой оригинальной смеси внешней, скажем, нелюбезности с внутреннею мягкостью. Что до меня касается, я с чувством глубокой благодарности перечитывал те его письма, в которых он пытается утешить, успокоить в постигавших меня бедах. Это выходило тем трогательнее, что ласковых слов в его распоряжении было от природы очень мало и что личной близости, как я уже говорил, между нами никогда не было.

Но с особенной ясностью возникает из приведенных отрывков образ настоящего, кровного литератора, не дилетантски относящегося к своему делу, а отдавшего ему целиком и бесповоротно. Если читатель соблаговолит пересмотреть теперь те выписки из сочинений Салтыкова, которые сгруппированы в первой главе моей книжки «Щедрин»*, и сопоставит их с вышеприведенными отрывками из писем, он увидит, до какой степени слово и дело сливались у покойного сатирика. Не для красного словца писал он в «За рубежом»: «Легко сказать, позабудь, что в Петербурге существует цензурное ведомство, и затем возьми одр твой и иди; но выполнить этот совет на практике, право, нелегко». Ему действительно было нелегко, и мы видели выше, как в самом деле трепетало за границей его сердце за судьбу каждой книжки «Отечественных записок». Недаром в письмах встречаются почти буквально те же выражения, которые вошли потом, например, в «Приключение с Крамольниковым»: «Крамольников был коренной пошехонский ли-

тератор, у которого не было никакой иной привязанности, кроме читателя, никакой иной радости, кроме общения с читателем». Правда, в письме прибавлено: «Но это не мешает ему понимать, что читатель великий подлец». Ну, да ведь в частном письме мало ли что можно себе позволять, особенно после того, как оказался вопиющим в пустыне глас оратора на похоронах литературного труженика Пимена Коршунова: «Читатель! русский читатель, защити!» *

В страстной любви к литературе, которую болел, именно болел, Салтыков, были специальные особенности. Он не был любителем словесности, который может спокойно, медленно и в одиночку «творить» вне общественной жизни и житейской борьбы или где-то над ними. Ему, как видно из писем (а сколько-нибудь проникательные люди могли бы увидеть это и из сочинений), нужно было, во-первых, «непрерываемое общение с читателем», без которого он мучительно тосковал, и, во-вторых, «работа в общем тоне и в *своем месте*», без чего он, опять-таки, был сам не свой. Лишенный читателя и «своего места», он мрачно доживал свои дни с «запечатанною душой», — выражение необыкновенно меткое и верное: душа жила и требовала себе работы и не находила ее в удовлетворяющем размере, потому что была запечатана. Распечатать ее могло бы только возрождение непрерывного общения с читателем и работы «в общем тоне и своем месте». Судьба не побаловала душу Салтыкова... Я не могу, к сожалению, привести другие, имеющиеся в письмах свидетельства отчаянной тоски по читателе и в особенности по «общему тону и своему месту». Но, полагаю, и приведенного достаточно, чтобы видеть, до какой степени ошибочны некоторые из повторяемых в печати взглядов на Салтыкова.

Выражаются, например, сожаления, иногда лицемерные, а иногда, может быть, искренно недоуменные, о том, что Салтыков не поместил свой высокий талант целиком у подножия алтаря «вечного» искусства, а разорвался, дескать, на клочки в угоду разным злобам дня. Высказывается уверенность, что он сделал это из каких-то сторонних побуждений, что он насильствовал свое дарование, соблазняясь доктринами, враждебными чистому художеству. Из приведенного видно, что, напротив, для всякой другой деятельности, кроме той, которую выбрал

Салтыков, он должен бы был «переломить свою природу» и что это ему было «трудно». Другие утверждали, что Салтыков никогда никакими доктринами не соблазнялся, никогда таковых не имел, ни к какой определенной партии не принадлежал, а потому все не прямо мракобесные элементы нашей литературы были ему «свой». Отсюда сожаления, что он иногда бил «своих»... Стоны, настоящие стоны Салтыкова о «работе в общем тоне и в своем месте» достаточно ясно говорят сами за себя...

IV

ИЗ КНИГИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ СМУТА»

...Спокойная, уверенная в себе сила чувствовалась во всем обиходе редакции «Отечественных записок» и давала себя знать при первом, даже самом поверхностном сближении с нею. Я разумею, конечно, не спокойствие личных характеров. Из всех трех ровно спокоен был только Елисейев. Некрасов был скорее замкнут и скрытен, чем спокоен<...>. А Салтыков был весь нервы и постоянное волнение. Но все эти индивидуальные особенности ничем не отражались на общем литературном деле, которое стояло не на темпераментах и характерах, а на убеждениях. Эти-то убеждения, прочные и сами по себе, еще упрочивались сознанием преемственной связи с рядом предшествовавших работников*.

...Странно сказать, но из всех трех стариков редакции я был, что называется, «знаком» только с Елисейевым, и это за все время существования «Отечественных записок». Приходилось, разумеется, очень часто видаться и с Некрасовым и с Салтыковым, но, за весьма редкими исключениями, это были свидания по делу. Склад жизни Некрасова так же резко отличался от склада жизни Салтыкова, как и сами они резко разнились друг от друга. Но для меня и с тем и с другим одинаково невозможны были товарищеские, приятельские отношения, внешним образом выражающиеся тем, что люди друг к другу ходят чайку попить, поболтать и т. п. Впоследствии, уже

по закрытии «Отечественных записок», Салтыков писал мне однажды: «Вы были для меня одним из симпатичнейших и любимейших людей, хотя разность лет и моя болезнь препятствовали мне ближе сойтись с Вами» *. Но Михаил Евграфович ошибался, — не в разности лет и не в его болезни дело было, по крайней мере не только в них. Елисеев был даже старше его и тоже человек хворый, но это не мешало нам быть в коротких приятельских отношениях. Глубоко уважая и любя Салтыкова не только как литературного деятеля, но и как человека, будучи очень близок с ним в сфере идей и общественных симпатий и антипатий, я, однако, даже и представить себе не могу, как бы мы с ним друг к другу, например, «в гости» ходили. Слишком уж велика разница была в наших привычках, обстановке, во всем складе жизни. Без дела я бывал у Салтыкова только во время его болезни.

...Благодаря безусловному доверию Некрасова к своим главным сотрудникам и соредакторам, редакционные дела «Отечественных записок» шли точно сами собою, точно никто ничего и не делал, тогда как в действительности все много работали. Какие-нибудь пререкания были величайшею редкостью. Тот же порядок был и потом, когда после смерти Некрасова ответственным редактором стал Салтыков. Только Салтыков, в силу своей крайней экспансивности, не мог удержать в себе ни одной мысли, ни одного чувства, тогда как Некрасов, напротив, был до такой степени замкнут и скрытен, что иной раз и догадаться было невозможно, что он думает.

...В числе других видов общения с нужными людьми у Некрасова бывали, если не ошибаюсь, еженедельно специальные собрания, на одном из которых был и я. Это было некрасивое зрелище. Из ненужных людей, кроме меня, был только Салтыков. Остальные все нужные. Правда, это были *dii minores*¹ Олимпа нужных людей *, но все-таки значительные, почтенные люди. Некрасов накормил нас хорошим обедом, напоил хорошим вином, потом сели играть в карты на нескольких столах.

¹ второстепенные боги (лат.).

Игра была небольшая, не некрасовская. Некрасов был очень мил и любезен, но его такт избавлял его от каких-нибудь заискивающих форм любезности. И все-таки мне было как-то не по себе, как-то чуждо и жутко, точно я в дурном деле участвовал. Между прочим, играл в карты и Салтыков, по обыкновению раздражаясь на неудачный ход партнера, на плохие карты и проч. За его спиной стал один из неигравших гостей, значительный седобородый старец, и посоветовал ему какой-то ход; Салтыков проворчал что-то вроде: «Ну да! советчики!» Однако послушался. Но когда ход оказался неудачным, Салтыков грубо выбранил советчика и бесцеремонно потребовал, чтобы он отошел от его стула и не совался в игру. Эта вспышка, очевидно, портила политическую музыку Некрасова, но мне, признаюсь, Михаил Евграфович был в эту минуту необыкновенно мил и дорог. Я больше не бывал на этих собраниях, и не только потому, что мне на них делать нечего было, так как в карты я не играю, — просто почти бессознательное чувство брезгливости протестовало.

Скажут, может быть, что вот не поцеремонился же Салтыков с нужным человеком, а ведь и он, после смерти Некрасова, тянул лямку ответственного редактора. Действительно, политика Салтыкова как редактора резко отличалась от некрасовской. Но не надо забывать, что ко времени редакторства Салтыкова литература была уже далеко не так поставлена, как в ту мрачную пору, когда Некрасов начал свою журнальную деятельность и получил свое воспитание как редактор-издатель; да и всероссийские нравы изменились.

...В воспоминаниях г. Фета есть следующий эпизод. Г-н Фет встретился однажды у Тургенева с Салтыковым *. Салтыков, по уверению маститого певца соловья и розы, «стал бойко расхваливать Тургеневу успех недавно возникших фаланстеров », где мужчины и женщины в свободном сожительстве приносят результаты трудов своих в общий склад, причем каждый и каждая имеют право, входя в комнату другого, читать его книги, письма и брать его вещи и деньги. «Ну, а какая же участь ожидает детей?» — спросил Тургенев своим кисло-сладким фальцетом. «Детей не полагается», — отвечал Щедрин».

Надо заметить, что г. Фет имел свои причины до такой степени не любить или бояться Салтыкова, что при входе последнего «схватил огромный лист «Голоса» и уселся в углу комнаты в вольтеровское кресло, совершенно укрывшись за газетой». Какие именно обстоятельства побудили изящного поэта поступить столь невежливо по отношению не только к Салтыкову, а и к Тургеневу как хозяину, он не объясняет. Он говорит только, что не хотел «возобновлять знакомство» с сатириком, а почему не хотел и как произошло первое знакомство, — не сообщает. Можно догадываться, что неводержанный на язык, экспансивный Салтыков позволил себе откровенно высказаться о поэтических или прозаических произведениях г. Фета *. Последние, то есть прозаические опыты г. Фета, печатавшиеся в «Русском вестнике», отличались крайнею озлобленностью против порядка вещей, наступившего после 19 февраля 1861 года, и Салтыков в свое время не оставил их без своего печатного клейма. Как бы то ни было, нельзя не пожалеть, что г. Фет так невежливо удалился в угол и закрылся газетой при входе Салтыкова к Тургеневу. Без сомнения, этот «огромный лист» мешал маститому поэту не только видеть Салтыкова, а и слышать его речи. Иначе я не могу себе объяснить резкое противоречие рассказа г. Фета со всем, что мне известно о Салтыкове, а знал я его двадцать лет.

Когда у Салтыкова родился первый ребенок, суровый сатирик до забавности сиял радостью и счастьем. Даже самые дорогие для него в жизни интересы, литературные, на время как бы отступили на второй план. В наши понедельники (редакционный день «Отечественных записок») благодаря экспансивности Салтыкова ворвалась новая и шумная струя. Со свойственным ему оригинальным юмором он рассказывал о своем сыне, о том, что он делает теперь (не особенно великие дела, как догадывается читатель) и чем он будет впоследствии (неприменно писателем). Это было забавно и вместе с тем трогательно. Нельзя было не заражаться весельем этого человека с нахмуренным лбом, грубым голосом и упорными глазами, к которому веселье, казалось бы, так не шло и который так редко веселился. И не скоро привык Салтыков к новому счастью, тем более что года через два оно подновило рождением дочери. А потом начались заботы, хлопоты и опасения. Помню, например, негодование, с которым

Салтыков рассказывал о непосильно трудных задачах, задаваемых сыну в гимназии: «Я сегодня до трех часов ночи над этими проклятыми задачами сидел, — каково же мальцу-то с ними возиться?!» — сердито говорил он. Очень возможно, что мальцу решить эти задачи было даже легче, чем старику, давно отвыкшему от школьных приемов; но дело не в этом, а в трогательном образе этого сурового старика, по горло заваленного своими собственными делами и урывающего у своей недолгой ночи часы для помощи сыну.

**ВСТРЕЧИ С УЧАСТНИКАМИ
РЕВОЛЮЦИОННОГО И СТУДЕНЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ**

В. А. Обручев

Страница о Салтыкове из воспоминаний известного участника революционно-демократического движения шестидесятых годов Владимира Александровича Обручева (1836—1912) примечательна в двух отношениях. Во-первых, в ней эскизно, несколькими штрихами, но отчетливо набросан портрет Салтыкова на рубеже пятидесятых и шестидесятых годов. Другого такого портрета в мемуарной литературе нет. Во-вторых, Обручев — человек тогда очень близкий Чернышевскому — дает нам ощутить то чувство живого и сочувственного интереса, с которым относился в это время Чернышевский к автору «Губернских очерков». Точная дата описываемого свидания Салтыкова и Чернышевского неизвестна. Оно могло состояться на протяжении двух лет, между осенью 1859 года, когда началось сотрудничество Обручева в «Современнике», и 4 октября 1861 года — датой его ареста. Обручев был арестован и затем сослан в Сибирь на каторгу за распространение прокламаций «Великорусс». Некоторые события, предшествовавшие аресту Обручева, оказались связанными с биографией Салтыкова, о чем рассказано в воспоминаниях Пантелеева и примечаниях к ним.

«ИЗ ПЕРЕЖИТОГО»

(Отрывок)

...Раз, идя за чем-то в кабинет к Николаю Гавриловичу, я увидел незнакомого молодого человека в аккуратном вицмундире министерства внутренних дел (или финансов) * — рубашка с стоячим воротом, узенький галстук, все такое, как редко приходилось видеть в наших

сферах. Волосы темные, довольно длинные, лицо молодое, бритое, немного мальчишеское, скорее незначительное, кроме большого, открытого лба и упорного взгляда. Он стоял лицом к окну, держась за спинку стула и поставив ногу на стул (опять-таки как у нас не водилось). Я тотчас отшатнулся и в кабинет не входил, видел, значит, это лицо только один миг, а между тем оно до сих пор как живое передо мной; потому что, когда мы потом увиделись с Николаем Гавриловичем, он мне сказал с веселым возбуждением: «Знаете, кто это был? Ведь это Щедрин!»

Кто бы угадал тогда, что из этого лица мысль и страдание выработают образ, написанный Крамским! *

С. Г. Стахевич

Сергей Григорьевич Стахевич (1843—1918) — участник революционно-демократического движения шестидесятых годов. За распространение землевольческих прокламаций был в 1863 году арестован и сослан на каторгу в Сибирь. С Чернышевским познакомился в июне 1864 года в Тобольской тюрьме, а затем около пяти лет, с 1865 по 1870 год, провел вместе с ним на каторжных работах в Александровском заводе. Другой товарищ Чернышевского по каторге — П. Д. Баллод свидетельствует в своих воспоминаниях, что Стахевич часто посещал Чернышевского и подолгу с ним беседовал. По словам Баллода, Чернышевский высоко ценил Стахевича («Н. Г. Чернышевский. 1828—1928», М. 1928, стр. 46). Воспоминания Стахевича — авторитетный источник, и его рассказ о беседе или беседах Чернышевского с Салтыковым о будущем политическом устройстве России заслуживает серьезного внимания. Но подойти к этому рассказу следует все же с большой осторожностью. Чернышевский, как известно, выступал против монархической и дворянской конституции и отстаивал требование демократической республики. Правда, он допускал (например, в «дневнике» и в прокламации «Барским крестьянам...») возможность установления конституционной монархии¹, но никогда не рассматривал эту возможность в качестве политической цели русской революционной демократии. Говоря словами Герцена, Чернышевский был убежден, что Россия никогда «не восстанет только для того, чтоб отделаться от царя Николая и получить в награду представителей-царей, судей-императоров, полицию-деспотов» (А. И. Герцен, Полн. собр. соч., под ред. М. К. Лемке, том VIII, стр. 26).

¹ В своем «дневнике» Чернышевский писал: «... не в этом дело, будет ли царь, или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого». — С. М.

Великая княгиня Елена Павловна, о которой идет речь в воспоминаниях Стахевича, была вдохновительницей правого официального течения в либерализме конца пятидесятых — начала шестидесятых годов. Возможно, что Салтыков, не чуждый в то время некоторых либеральных иллюзий, действительно задумывался над планами конституционных преобразований в России и над тем, чтобы посадить Елену Павловну на российский престол. Что же касается Чернышевского, то он должен был отнестись к подобным планам весьма иронически и не мог принадлежать к «какому-то кружку», который вынашивал преобразовательные замыслы такого рода. Быть может, под этим «кружком» следует разуть группу общественных деятелей и литераторов — А. М. Унковского, А. А. и А. Ф. Головачевых, А. И. Европеуса, Б. И. Утина, А. Н. Плещеева и других, — группу, которую Салтыков намеревался сплотить вокруг журнала «Русская правда». Известно, что весной 1862 года группа «Русской правды» обращалась к Чернышевскому с просьбой принять участие в обсуждении программы задуманного издания. Программа эта, вероятно, имела и свою неофициальную политическую часть.

Определить точные даты описываемых совещаний с Чернышевским Салтыкова «и еще кое-кого» — не представляется возможным. Эти совещания могли происходить в 1859—1861 годах.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «СРЕДИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ.

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ»

...Сам Николай Гаврилович о своей политической деятельности выразился однажды со смехом и с шутками приблизительно так:

— Мы, то есть я, Салтыков и еще кое-кто, составляли план преобразования России... Ха-ха-ха! Ну, вот мы еще не решили, что для нас лучше: монархия или республика; больше к тому склонялись, чтобы утвердить монархию, обставленную демократическими учреждениями. Гм... Легко сказать... А ежели монархию, то ведь надо же иметь, согласитесь сами, своего кандидата на престол. Решили: великую княгиню Елену Павловну. Вот ведь мы каковы; с нами не шутите... Ха-ха-ха!

Он любил говорить шутливо и о пустяковых предметах и о важных. Кажется, о его шутливости можно сказать те слова, которые он сказал о шутливости Лессинга в своей статье о нем, помещенной в третьем томе его сочинений (стр. 779): * «У Лессинга, как и у всех добродушных мизантропов, шутливость постоянно прикрывала глубокое сострадание к бедствиям человеческой жизни и глубокую скорбь сердца». На этот раз, при подшучиваниях Николая Гавриловича над широкими преобразованиями замыслами какого-то кружка, к которому принадлежал и он, я про себя подумал: «Шутки шутками, а какие-то политические планы, должно быть, действительно составлялись, и для осуществления их кое-что, должно быть, действительно предпринималось; не с ветру же Зайчневский говорил мне три года назад то-то и то-то».

;

Д. П. Сильчевский

Библиограф по специальности, Дмитрий Петрович Сильчевский (1851—1919) всю свою жизнь, начиная со студенческой скамьи, прожил на беспокойном положении профессионального революционера. Его неоднократно арестовывали, четыре раза ссылали, много лет держали под полицейским надзором. Первый арест произошел в феврале 1877 года. Сильчевский, тогда студент Петербургского университета и одновременно сотрудник ряда петербургских журналов, был по распоряжению министра внутренних дел выслан из столицы и отправлен в Олонецкую губернию в бессрочную ссылку. Причина ссылки выясняется из материалов «дела» III Отделения под названием «О клубе художников и закрытии его по высочайшему повелению» (ЦГИАМ, ф. III Отделения, № 109, 3 эксп., 1877, д. 104). Дело начинается следующим документом, представляющим интерес и для биографии Некрасова: «4 февраля 1877 г. Вчера в клубе художников, перед окончанием художественно-музыкального вечера, данного в пользу студентов акушерских курсов, в комнате, смежной с буфетом, где студенты пели песни, был разговор о последних стихах, написанных Некрасовым и напечатанных в «Голосе», «Новом времени» и «Отечественных записках»¹. И так как в стихах этих Некрасовым высказывалось сожаление о том, что с его смертью он будет забыт, то несколько студентов, толковавших об этом (человек двадцать — тридцать), стали говорить, что Некрасов несправедливо думает и что народ будет его помнить как лучшего поэта. Бывший при этом дворянин Сильчевский, занимающийся в редакциях «Неделя», «Биржевые веде-

¹ Речь идет о произведениях из цикла «Последние песни», в частности о стихотворении «Скоро стану добычею тленья...» — С. М.

мости» и «Русская старина», сказал, что следовало бы составить адрес, и при этом прочел проект такого адреса, написанного карандашом. В этой рукописи, весьма краткой, было сказано, что народ не забудет творчества Некрасова и что он будет вечно в народной памяти. Проект этот одобрили ведущие разговор о Некрасове и захотели подписать его, для чего и был взят лист бумаги, на котором стали подписываться». Ни проекта адреса, ни подписного листа в «деле» нет. Клуб был закрыт 10 февраля (любопытно, что 14 августа 1877 года Чернышевский почти в тех же выражениях писал о Некрасове Пыпину из Вилюйска).

Однако поводы для последующих репрессий Сильчевского были малозначительными. Политические воззрения его тоже не отличались особым радикализмом. Поэтому причислять его к последовательным деятелям революционного движения нет оснований.

Из своих встреч с Салтыковым в 1871—1872 и в 1881 годах Сильчевский запомнил не слишком много. Но среди этого немногого есть ценные наблюдения и факты, не встречающиеся в других источниках и пополняющие наши знания о писателе. Это, в первую очередь, слова Салтыкова о Чернышевском и Писареве, а также свидетельство мемуариста, что своим освобождением в 1881 году из административной ссылки он был обязан хлопотам Салтыкова.

МОИ ВСТРЕЧИ С М. Е. САЛТЫКОВЫМ-ЩЕДРИНЫМ

1

...В первый раз я увидел Михаила Евграфовича Салтыкова и познакомился с ним сорок три года назад, вечером 24 сентября 1871 года. Это был еще первый литератор, с которым пришлось мне познакомиться, а произошло это знакомство таким образом.

Я прибыл впервые в Петербург в сентябре 1871 года молодым, двадцатилетним юношей, с непреодолимым стремлением посвятить себя исключительно литературным занятиям. Богатая помещица Черниговской губернии, С. И. Ширай (ныне покойная), сына которой (впоследствии известного местного общественного деятеля, основавшего в г. Стародубе женскую гимназию и ремесленное училище), Сережу Ширая я летом 1871 года подготовил в 3-й класс гимназии,— эта-то m-me Ширай была хорошо

знакома с Щедриным и особенно дружна с его женой. Она и направила меня к М. Е. Салтыкову, вручив мне рекомендательное письмо к нему, где говорила о моем желании отдаться литературе и, ввиду того, что я никого из писателей еще не знал, просила Салтыкова о том, нельзя ли найти в «Отечественных записках» для меня какой-либо подходящей работы, рецензирование вновь выходящих книг или тому подобное.

С рекомендательным письмом от С. И. Ширай* я переступил порог квартиры знаменитого сатирика, редактировавшего тогда вместе с Некрасовым «Отечественные записки». Как уже сказано, это происходило вечером, 24 сентября 1871 года, и этот вечер и вся тогдашняя беседа моя с Щедриным навсегда неизгладимо врезалась в моей памяти.

В гостиной меня встретила сперва супруга Салтыкова и, взяв от меня письмо к нему, попросила подождать немного. Вскоре она вернулась и провела меня в кабинет Салтыкова, причем по дороге расспрашивала, приостановясь, о здоровье семьи Ширай и о том, как понравилась мне их усадьба, где я провел лето.

Щедрин сидел в своем кабинете за письменным столом и делал одновременно три дела: курил папиросу, прихлебывал из стакана чай и что-то писал.

Он прочел рекомендательное письмо г-жи Ширай и затем спросил, что же, собственно, мне надо. Я объяснил, что ищу работы, и о том, не представится ли такая работа по отделу разбора новых книг.

— Садитесь, пожалуйста, — и он указал мне на место против себя.

Я сел.

— Как вас зовут?

Я назвал свое имя, отчество и фамилию, хотя все это и было обозначено в письме г-жи Ширай.

— Не хотите ли чаю? — спросил меня Щедрин.

Я не отказался, и Щедрин сказал своей жене, чтобы та распорядилась насчет чаю. Его принесли. Затем настала продолжительная пауза.

— Я вам не мешаю и не отнимаю у вас времени, Михаил Евграфович? Ведь вы пишете.

— Вы несколько мне не мешаєте, — ответил он и продолжал писать, курая папиросу за папиросой и по временам прихлебывая из стакана чай.

В это время жена Салтыкова, все время нашего разговора оставшаяся в кабинете, продолжала начатые ею расспросы о семье Ширай и о проведенном мною в их усадьбе летнем времени. Затем она на некоторое время отлучилась из кабинета.

— Если не будет с моей стороны нескромностью, позвольте узнать, что вы теперь пишете, Михаил Евграфович, — спросил я его.

— «Самодовольную современность», статью¹.

После непродолжительного молчания я обратился к Щедрину с вопросом о том, был ли он знаком с моим тогдашним кумиром, Писаревым.

— Писарева я видал только один раз в жизни, — ответил мне Щедрин, — и обменялся с ним всего немногими словами.

— Когда же это было?

— Незадолго до смерти Писарева (1868), на редакционном обеде у Некрасова.

После непродолжительного молчания я опять спросил:

— Что вы хотели сказать, Михаил Евграфович, вашей «Историей одного города»? Как ее понимать — сатира ли это на историю России, или же это что-нибудь другое? Как понимать ваше сочинение?

— Как кто хочет, тот пусть так и понимает! * — как-то резко буркнул Салтыков, причем я подумал невольно, что сделал неловкий вопрос, хотя и не видел в нем никакой неловкости.

В это время вошла в кабинет жена Салтыкова.

— Так вы хотите писать рецензии? — спросил меня он. — Почему же вы думаете, что можете хорошо это делать?

— В старших классах гимназии, Михаил Евграфович, я всегда считался знатоком русской литературы, а сочинения мои на задававшиеся и произвольные темы по словесности всегда были первыми и лучшими.

— Это еще ничего не доказывает, — заметил Салтыков, — многие на школьной скамье пишут отличные сочинения, но из этого не следует, чтобы из них всегда выходили впоследствии и писатели. Но... может быть, из вас

¹ Статья «Самодовольная современность» с подписью инициалов М. М. * действительно оказалась в следующей книжке «Отечественных записок» (1871, № 10). (Примеч. Д. Сильчевского).

и выйдет литератор, этого вперед нельзя знать. Вот что я скажу: в «Отечественных записках» я не имею решающего права голоса. Все зависит от Некрасова. Я вас с ним познакомлю, вы переговорите с ним, уж он решит, что и как с вами делать. Приходите в понедельник в редакцию «Отечественных записок», где я познакомлю вас с Некрасовым. Знаете, где редакция?

— Знаю, — ответил я, — на углу Литейной и Басейной, дом Краевского.

— Так! Приходите в понедельник, к часу. Некрасов все решит.

— Но ведь Некрасов, кажется, теперь на медвежьей охоте, — вмешалась тут жена Салтыкова.

— А ты нам не мешай! — резко обратился к ней Салтыков, и она вышла из кабинета.

— Так, значит, Михаил Евграфович, я в понедельник приду к вам в редакцию?

— Да, между двенадцатью и часом пополудни, вернее, в час. Некрасов в это время уже встает.

Я допил свой чай и, обменявшись рукопожатием с Щедриным, ушел от него, преисполненный мечтами и надеждами. Он, со свечой в руках, проводил меня до передней и вновь повторил о понедельничном свидании.

2

В понедельник в половине первого пополудни я явился в квартиру Некрасова, где помещалась и редакция «Отечественных записок». Секретарем редакции был тогда известный в свое время беллетрист, народник шестидесятых годов Вас. Алексеевич Слепцов. Он как-то изысканно любезно разговаривал со мной и на мой вопрос о Салтыкове ответил, что тот уже здесь и сейчас выйдет.

Действительно, Салтыков скоро вошел в приемную залу, поздоровался со мной и сказал:

— Подождите немного: Некрасов сейчас выйдет.

Недолго спустя вошел и Некрасов. Салтыков кивнул мне, чтобы я подошел.

— Как вас зовут? — спросил он шепотом. — Я забыл...

Я назвал свое имя, отчество и фамилию тоже вполголоса. Салтыков повторил мои слова Некрасову, добавив, что я хотел бы писать у них рецензии.

Некрасов отвел меня в сторону, к окну, и стал подробно расспрашивать о моих целях и намерениях. Переговорив со мной, Некрасов написал записку в книжный магазин С. В. Звонарева (там была контора «Отечественных записок»). В записке этой мне давалось полномочие выбрать подходящие новые книги для рецензирования их. После этого Некрасов подвел меня к Григорию Захаровичу Елисееву, представил меня ему и сказал:

— Он у нас этими делами заправляет. Как что напишете, отец, так к нему и несите!..

Попрошавшись с Некрасовым и Елисеевым, я подошел к Салтыкову и в горячих, восторженных выражениях благодарил его за знакомство с великим поэтом.

В 1872 году, раннею весною, я два или три раза был у моего хорошего знакомого, всегда благожелательно относившегося ко мне поэта А. Н. Плещеева, — и вот в последнюю (у Плещеева) встречу с Салтыковым мне особенно запомнились его слова об Н. Г. Чернышевском, когда я спросил Салтыкова, какое впечатление производил Чернышевский. Я при этом заметил, что это был гениальный человек.

— Может быть, — ответил Салтыков, — утверждать не берусь; но что Чернышевский был великий диалектик — это верно. Скажете ему какое-нибудь мнение — он согласится, да потом и начнет выдвигать одно за другим возражения: вот, дескать, вы упустили из виду это, вот вы забыли то-то, да вот примите в соображение еще и это, и так далее и так далее — словом, диалектик изумительный и напоминал мне Хомякова, славянофила*.

Присутствовавший при этом разговоре А. Н. Плещеев, близко знавший Чернышевского, вполне подтвердил слова Салтыкова.

3.

Прошли годы. Мне пришлось — увы, уже в последний раз! — увидеться с Салтыковым 24 февраля 1881 года. Я возвращался из административной ссылки с далекого Севера, где пробыл четыре года, после годичного заключения в крепости. Как мне стало известным по прибытии моем в Петербург (жительство в котором мне, однако, не было дозволено), хлопотал о моем освобождении из ссылки Салтыков, хлопотал же он по просьбе моего хо-

рошего друга, покойного библиографа П. А. Ефремова. Хлопоты Салтыкова увенчались полным успехом, хотя начальник верховной распорядительной комиссии гр. Лорис-Меликов и воспретил мне пребывание в Петербурге. Поэтому, направляясь в Москву (там имелась работа в «Русских ведомостях», где я сотрудничал уже несколько лет — с 1872 г.), я пробыл в Петербурге несколько дней нелегально, нигде не прописываясь. От Плещеева я узнал, что обязан своим освобождением Салтыкову*, и Плещеев сказал, что мне следует поблагодарить знаменитого сатирика. Конечно, я безусловно был в этом отношении согласен с Плещеевым, который заметил, характеризуя Щедрина:

— Хотя он и грубоват с виду, резок и медведем смотрит, а в сущности у него добрейшая душа и золотое сердце. Вот и вам сделал добро — из ссылки вытащил.

— Да еще из какой ссылки — это был ад, а не ссылка благодаря моей войне с тамошней администрацией. Непременно пойду и поблагодарю Михаила Евграфовича.

Салтыков жил тогда на Литейном проспекте д. № 62 (внизу под ним жил бывший СПб. градоначальник Ф. Ф. Трепов).

Дверь в переднюю его квартиры оказалась незапертою. Я вошел, снял с себя и повесил пальто и вошел в гостиную. Долгое время никого не было ни видно, ни слышно, но наконец вошел мальчик лет восьми или десяти. Это был сын Салтыкова.

— Кого вам надо? — спросил он.

— Михаила Евграфовича.

— Это мой папа. Как об вас сказать?

Я вынул заранее заготовленную бумажку, где было обозначено: библиограф такой-то (имя, отчество и фамилия), и передал эту бумажку мальчику. Через несколько минут он вернулся и сказал:

— Папа вас просит в кабинет. Пожалуйста за мной.

Я вошел в кабинет и поздоровался с Михаилом Евграфовичем, сидевшим за письменным столом. Он перелистывал и отбросил при моем входе «крестный календарь» Гатцука. Салтыкова совсем узнать нельзя было в сравнении с тем добрым, подвижным, оживленным человеком, каким я его видел в семидесятих годах. Теперь это была развалина прежнего Щедрина — так он сильно постарел, по-

седел, когда я увидел его сидевшим в кресле, в халате и, очевидно, больным.

Поздоровавшись и обменявшись рукопожатием, я стал горячо, от всей души благодарить Михаила Евграфовича за все хлопоты о моем освобождении из ссылки.

— Ну, это пустяки, а только вперед будьте осторожнее: политика — это такой зверь, что с ним шутить опасно: слопают! Вы все продолжаете с библиографией возиться? Это гробокопательство — рыться в старых книгах и рукописях. Но все же безопаснее политики, — берегите себя вперед! А жилось вам как — плохо в Олонецкой губернии?

Я рассказал, что житие мое там превратилось в ад благодаря моим обличительным статьям и корреспонденциям (в «Русских ведомостях», «Московском телеграфе», «Московском курьере», «Стране», «Земстве» и в других изданиях), причем я доказывал о необходимости сенаторской ревизии Олонецкой губ. ввиду страшных злоупотреблений местной администрации, взяточничества и хищений покойного олонекского губернатора Г. Г. Григорьева и его исправников, с которых он получал ежегодный оброк. Убийства умышленно не вскрывались, другие уголовные преступления также покрывались за известную мзду и творилось множество других зол.

— Все это происходит оттого, что олонекский губернатор Григорий Григорьевич Григорьев — дурак! — резко крикнул Салтыков и вслед за тем сильно закашлялся.

— Я болен, — сказал он, — давно болен и редко кого принимаю, но вас вот я принял... А губернатор Григорьев — дурак, он и прежде таким был, таким же и останется...

— Да разве вы его знали, Михаил Евграфович? — спросил я.

— Знал: он был в Пензе вице-губернатором в шестидесятых годах, а я там был председателем Казенной палаты. Ну, да дело теперь не о нем. Что вы-то теперь думаете делать?

Я объяснил, что ввиду запрещения мне Лорис-Меликовым права жить в Петербурге я пробираюсь в Москву, где намерен продолжать сотрудничать в газетах.

— А деньги на проезд в Москву у вас есть ли? — спросил Салтыков, посмотрев внимательно на мой сильно поношенный костюм и отсутствие крахмальной манишки.

Я замялся и сказал, что надеюсь достать, да и доехать до Москвы не бог знает какие капиталы нужны.

— Возьмите у меня, — крикнул Салтыков и нервно рванул ящик своего письменного стола. — Когда будут — отдадите.

— Нет, Михаил Евграфович, я у многих брал и буду брать, но у вас я ни за что не возьму.

— Так как же быть тогда? Ну, не у меня единолично, так у всех литераторов коллективно взять можно. Возьмите денег из Литературного фонда. Знаете, как надо писать просьбу?

— Не знаю никого теперь там.

Салтыков нервно и быстро оторвал маленький клочок лежавшего перед ним номера газеты «Порядок» и дал его мне.

— Вот адрес газеты. Там спросите Кавелина адрес — он председатель, ему отдадите просьбу.

— А как написать просьбу? — спросил я.

— Без всяких формальностей... Да как же вы таких простых вещей не знаете! Вы всегда останетесь младенцем, которому всегда нянька нужна... Тоже революционер, — а сам рук ни к чему приложить не умеет... — ворчал и брюзжал Салтыков.

Я стал прощаться и просить у Салтыкова на память его фотографию с автографом. Вручив мне просимое, он резко и настойчиво проводил меня словами: — Так не забудьте — в «Порядок», потом к Кавелину, к Кавелину!..

А. Н. Тверитинов

Автор воспоминаний — Алексей Николаевич Тверитинов (1846 — после 1900) — один из участников русского революционного движения второй половины XIX века. В 1872—1876 годах он жил за границей. Не будучи в ту пору эмигрантом, Тверитинов тем не менее принимал некоторое участие в делах русской эмиграции. В частности, он был занят популяризацией на Западе сочинений Чернышевского: переводил их на французский язык и добивался опубликования этих переводов. Воспоминания Тверитинова интересны тем, что дают некоторый материал для суждений об отношении Салтыкова к крупнейшему идеологу революционного народничества семидесятых годов П. Л. Лаврову и об участии сатирика в его газете «Вперед».

ИЗ КНИГИ «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИГОВОРА Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОМУ...»

1

<БАКУНИН О РАССКАЗЕ «ОН!!»>

Были разговоры и о русской литературе. Зашла речь о Щедрина, о его рассказе «Он!!» «Какова смелость!» — воскликнул М. А. *.

Действительно, по сравнению с известным фельетоном Old Gentleman'a * — смелость огромная.

Щедрина хвалил за смелость человек, который в четырех государствах был приговорен к смерти... Такая похвала чего-нибудь да стоит!

«У Салтыкова в Ницце»

... приходит ко мне Лопатин* и предлагает место домашнего учителя у одного русского купца в Ницце. Купец этот, по его словам, обратился с просьбою найти учителя к жившему тогда в Ницце Щедрину, а Щедрин написал об этом в Париж Тургеневу*. Тургенев предложил это место Лопатину, а Лопатин от него отказался и предложил место мне. Мне не из чего было выбирать, а потому я должен был согласиться на предложение.

Отправились мы вместе к Тургеневу <...>.

— В Ницце живет, — сказал мне Иван Сергеевич, — Салтыков... что под именем Щедрина пишет, — знаете?

— Слышал, — ответил я.

— Вот свезите ему это письмо* и скажите, что я его жду сюда. Он — чиновник до мозга костей, имеет страшный вид, но вы его не бойтесь, он в сущности добрейший человек.

Кстати, пользуясь случаем, я попросил Тургенева помочь мне переиздать «Que faire?»*.

— С большим, с большим удовольствием! Я имею здесь имя... редакция «Temps» мои друзья. Непременно я вам это дело устрою. Принесите мне ваш перевод.

Во время нашего посещения в комнату, где принимал нас Тургенев, входил молодой человек лет двадцати, брюнет, и говорил с Тургеневым по-французски на «ты».

— Кто это был? — спросил я потом Лопатина.

— Это молодой Виардо. Известно, что Тургенев более двадцати лет нанимал комнату в семействе Виардо и после смерти своей много если не все свое имущество завещал мадам Виардо.

На другой день я отнес свой перевод Тургеневу, отдав предварительно от него свое предисловие, которое я оставил дома. В предисловии этом я сравнивал «Что делать?» с «Отцами и детьми» и отдал преимущество роману Чернышевского.

Прибыл в Ниццу. Пошел к Салтыкову на rue St.-Etienne в пансион Даниловой*.

Во дворе, под деревом, на скамейке сидели две дамы, когда я вошел в калитку дачи. К одной из дам я обратился на французском языке с просьбою сказать мне,

живет ли тут г. Салтыков. Дама по-французски же сказала, что живет, и указала, куда идти. «Ух, какой страшный», — добавила дама по-русски, приняв, очевидно, меня за француза, когда я подходил к входной двери.

Если я показался г-же Салтыковой — то была жена Михаила Евграфовича — страшным, то несомненно это случилось потому, что я был очень истощен, живя более полугода впроголодь в Женеве и Париже.

Михаил Евграфович не был со мною так любезен, как Иван Сергеевич; но зато снисходил до разговоров со мною о посторонних предметах, а не только о деле.

— Ну, что Иван Сергеевич там подделывает? — спросил Михаил Евграфович.

— Вот в «Temps» печатаются его рассказы: «Стук-стук», «Часы», вероятно, он их переводит... Я, впрочем, ведь вовсе незнаком с ним.

— Хоть бы у нас только срамился, а то еще и тут, — раздраженно сказал он. Очевидно, рассказов этих Михаил Евграфович не одобрял*.

Зашел разговор о цензуре. Салтыков из себя выходил, сравнивая свое положение с положением французских писателей. Как раз в то время цензура запретила подряд несколько его рассказов о «Культурных людях»*. С раздражением говорил он также о «Вперед».

— Ужасно бездарный журнал! *

— Отчего бы вам, Михаил Евграфович, не принять в нем участие? — робко заметил я.

— Благодарю покорно... На старости лет по Владимирке идти, — выпуча глаза, раздраженно возразил мне Михаил Евграфович.

— Зачем по Владимирке?... можно так принимать участие, что никто и знать не будет.

— Редакция «Вперед» — это такие болтуны, что не успеешь еще написать, а весь свет будет о том знать.

Я подозреваю, что это с ним уже тогда случилось. Печатались во «Вперед» письма, очень дельные, о тогдашнем положении вещей в России, и подписаны эти письма были буквою С. При каждом письме были приложены опровержения редакции.

Мне кажется, что эти письма были Салтыкова*.

Редакция «Вперед» была действительно неосторожна. В числе ее близких друзей бывали шпионы, как, напри-

мер, Балашевич; потом она была очень неосторожна в своих печатных ответах. Был, например, ответ У. в К. относительно одного фельетона. Я тотчас же угадал, и угадал верно, что это значит: Успенскому в Калугу.

Иногда принимала также участие в разговоре и г-жа Салтыкова.

— Вы только сумеете понравиться Антонову, он вас озолотит, — раз сказала мне она.

Антонову (это мой хозяин) я не сумел понравиться*, и он меня не озолотил.

Салтыков был мрачный человек, неразговорчивый, а потому я у него никогда не засиживался дольше одного часу, боясь надоесть ему своим присутствием. Он каждый раз при моем уходе звал меня тем не менее заходить еще.

Когда впоследствии я свои впечатления о Салтыкове передавал Успенскому, Глеб Иванович рассказал мне следующий анекдот. Сойдутся, бывало, Салтыков и Садовский¹, посидят рядом и помолчат час, другой — и разойдутся. Потом Салтыков и говорит: «Преинтересный это человек, Пров Михайлыч!»

— Поеду умирать в Россию, поеду умирать в Россию, — очень часто повторял Салтыков, и я думал, что ему жизнь надоела и что он чувствует приближение смерти. Очень его жалел. Слова его, однако, не оправдались, и он прожил еще после того тринадцать лет.

С отъездом Салтыковых из Ниццы я остался совершенно без общества*.

¹ Известный московский актер. (Примеч. А. Тверитинова.)

А. И. Корнилова-Мороз

Александра Ивановна Корнилова (по мужу Мороз; 1863—после 1933) — участница русского революционного движения семидесятых — восьмидесятых годов. Входила в петербургскую революционную группу Кравчинского — Кропоткина — Перовской. В январе 1874 года была арестована и заключена сначала во внутренней тюрьме при III Отделении, а затем в Петропавловской крепости; освобожденная в марте 1876 года под залог, вновь занялась революционной работой. По «процессу 193-х» была присуждена к ссылке на Урал и в Сибирь. Настоящие воспоминания были записаны нами со слов А. И. Корниловой-Мороз в мае 1933 года в Москве (запись авторизована).

<ЩЕДРИН И ДОСТАВКА КНИГ ЗАКЛЮЧЕННЫМ РЕВОЛЮЦИОНЕРАМ>

Я начала с увлечением читать Щедрина с восемнадцатилетнего возраста, когда в 1872—1873 годах в «Отечественных записках» помещались его очень интересные «Благонамеренные речи». Мы получали книжки «Отечественных записок» и бросались на статьи Щедрина и Михайловского, — это были самые излюбленные писатели у нас *. Между прочим, была тогда одна глава из этих «Благонамеренных речей» Щедрина под названием «Переписка». Это — переписка молодого прокурора с маменькой. В письме прокурор говорил о том, как он счастлив в своей деятельности. Его призвал генерал и поручил ему вести дело арестованных пятнадцати человек. Он в патристическом и служебном восторге берется за это дело, которое у него разрастается: с пятнадцати человек

обвиняемых у него вырастает число это до восьмидесяти пяти. В одном из своих писем маменьке он пишет, что это — люди очень хитрые: они заявляют, что занимаются «созерцанием гармонии будущего». Дело все больше разрастается, но в конце концов генералу оно надоедает; ему становится скучно, прокурором он недоволен, и все это дело он прекращает. Эта статья Щедрина была помещена в декабрьской книжке «Отечественных записок» за 1873 год *, а 5 января 1874 года я была арестована. На одном из допросов я высказалась, что считаю неправильным предлагать мне вопросы о знакомствах, ибо, если люди, о которых меня спрашивают, занимаются только «созерцанием гармонии будущего», то ведь это не есть преступление. Жандарм тогда не понял этого намека, но на следующем допросе он заявил: «Что же вы «о перенесении бедствий настоящего» умолчали?»* И вот после этого меня переводят в Коломенскую часть и лишают свиданий. Очевидно, жандармы догадались относительно смысла моей фразы на предыдущем допросе, и это им очень не понравилось.

Когда я была освобождена, мы с сестрой занимались доставкой книг заключенным по большому процессу *. Самое большое требование было на журнал «Отечественные записки». У нас уже было три экземпляра его, которые ходили по тюрьме, но этого было недостаточно. Нам нужен был еще один экземпляр. Мне сказали, что я должна обратиться к Щедрину, что он выразил желание, чтобы к нему пришел кто-нибудь из лиц, которые соприкасались с тюрьмой. Я явилась в редакцию «Отечественных записок». Кто-то из членов редакции сказал мне: «Вон там в углу стоит стол, за ним сидит Щедрин». Я робко излагаю ему свою просьбу. Он глядит на меня исподлобья и говорит: «Ну, хорошо, только без доставки» *. Я ему ответила, что мы и так получаем три экземпляра тоже без доставки. Очень сильное впечатление произвело в политической ссылке закрытие этого журнала. Мы были тогда в ссылке в Томске, и нас это закрытие всех очень огорчило, так как мы придавали большое значение этому журналу.

Г. А. Лопатин

Настоящая запись важна, в первую очередь, тем, что ею устанавливается факт личного знакомства Салтыкова с Германом Александровичем Лопатиным (1845—1918) — замечательным русским революционером, учеником Н. Г. Чернышевского, другом К. Маркса и Ф. Энгельса, членом Генерального Совета Первого Интернационала. Знакомство это Салтыков должен был, естественно, сохранять в тайне. Поэтому единственное упоминание имени Лопатина в его письмах дано в такой форме: «Говорят, будто арестовали какого-то Лопатина...» (письмо к Н. А. Белоголовому от 26 октября 1884 г., — ХХ, 103).

Лопатин был большим почитателем таланта Щедрина и особенно ценил его «сказки» (неизд. письмо к П. Л. Лаврову от 30 сентября 1883 г., — ЦГАЛИ, ф. 285, оп. 1, ед. хр. 15, л. 3).

<РАЗГОВОР ЩЕДРИНА С ТУРГЕНЕВЫМ>

...прихожу я однажды утром к Ивану Сергеевичу и застаю у него Салтыкова-Щедрина *. Михаил Евграфович сердито хрипел:

— Ну, что ваши Зола и Флобер? Что они дали?*

— Они дали форму, — отвечал Тургенев.

— Форму, форму... а дальше что? — допытывался Щедрин. — Помогли они людям разобраться в каком-нибудь трудном вопросе? Выяснили ли они нам что-нибудь? Осветили тьму, нас окружающую? Нет, нет и нет...

Тогда Тургенев, беспомощно разводя руками, спросил Щедрина:

— Но куда же нам-то, Михаил Евграфович, беллетристам, после этого деваться?

— Помилуйте, Иван Сергеевич, я не о вас говорю, — возразил Щедрин, — вы в своих произведениях создали тип лишнего человека. А в нем ведь сама русская жизнь отразилась. Лишний человек — это наше болезненное место. Ведь он нас думать заставляет.

Надо вам заметить, что Тургенев до старости не потерял способности краснеть, как юноша. И тут он вспыхнул весь...

А. В. Прибылев

Александр Васильевич Прибылев (1857—1936) — участник революционного движения семидесятых — восьмидесятых годов, народоволец. В 1882 году организовал динамитную мастерскую «Народной воли». По «процессу семнадцати» был приговорен к пятнадцати годам каторги и отбывал ее на Каре (до 1892 г.). Настоящие воспоминания были получены нами от А. В. Прибылева в мае 1933 года в Ленинграде.

<У ЩЕДРИНА>

Еще в студенческие годы мы с особым удовольствием читали статьи Щедрина. Они привлекали к себе наше внимание не только освещением темных сторон русской жизни, но и бесчисленными намеками на несовершенство внутренней политики государства. Острота языка его сатир, разгадываемый нами его эзоповский язык часто возбуждали множество вопросов, создавали особое протестующее настроение, впоследствии переходящее в революционное. Пользуясь огромным уважением среди молодежи, Салтыков-Щедрин в то же время слыл человеком суровым, недоступным и чересчур насмешливым с людьми чуждого ему круга. В этом отчасти мне самому по личному опыту пришлось убедиться. Кажется, в 1879 году, когда в нашем землячестве * организовалась кружковая земляческая библиотечка, ее организаторам, в том числе и мне, предстояло посетить кое-кого из издателей-литераторов, чтобы упротить их пожертвовать свои издания в пользу

нашей бедной библиотеки. На мою долю выпала обязанность с этой целью побывать у Благосветлова и Щедрина. Первый снабдил меня экземпляром всех изданий журнала «Дело», а у Щедрина я имел в виду получить даровой экземпляр «Отечественных записок». К последнему я шел с большим трепетом, зная его суровый характер и умение огорчить нежелательного посетителя. Тем не менее я набрался смелости и, к моему удивлению, совершенно легко и беспрепятственно проник в кабинет редактора. За столом сидела знакомая мне по портретам фигура серьезного, занятого писателя с характерным выражением больших выпуклых глаз, взглянувших на меня как будто не вполне доброжелательно. Когда я объяснил причину моего прихода и выразил просьбу пожертвовать один экземпляр журнала, он спросил: «Библиотека? Какая?» Я объяснил. «Вы думаете, мы обязаны давать журнал всем, кто его просит?» — спросил он. «Не всем, а нашему студенческому кружку», — отвечал я. «Нет, вы напрасно ходите и кланяетесь, вы ничего не получите!..» Огорченный и аффрапированный¹, я поклонился и повернулся, чтобы уйти прочь, но Михаил Евграфович остановил меня и, бросив мне бумажку, коротко отрезал: «В контору». Дело было сделано, журнал я получил и скоро забыл весь неприветливый диалог со Щедриным.

В последующие годы, будучи уже на Каре, мы не пропускали ни одной статьи Щедрина; всегда их комментировали, обсуждали, восхищались его талантом и умением пользоваться эзоповским языком, смысл которого так гармонировал с нашими взглядами и мыслями.

Таким образом в ряду множества влияний, революционизирующих молодежь моего поколения, нельзя не приписать значительной доли русской прогрессивной литературе вообще и сказкам, статьям и сатирам Щедрина в частности.

Они волновали нас, углубляли наши думы, побуждали мыслить в определенном направлении, от критики современного строя подводили к настроениям протеста, от них — к революционному сознанию.

¹ изумленный, пораженный (от франц. *égaré*).

В. И. Дмитриева

Автор настоящих отрывков — писательница Валентина Иововна Дмитриева (1859—1948). Дочь крепостного крестьянина, сельская учительница, она выступала в печати (с 1879 года) с произведениями, характерными для народнической беллетристики. Была связана с революционным движением (участвовала в кружках народолюбцев, подвергалась административным репрессиям). Уже в советское время Дмитриева написала свое лучшее произведение — воспоминания «Так было (Путь моей жизни)».

В 1933 году Дмитриева приняла участие в организованной редакцией «Литературного наследства» анкете «Русские революционеры 70—80-х годов о Щедринах». Отвечая на основной вопрос анкеты, Дмитриева писала: «Имел ли Щедрин революционизирующее на меня влияние? Да. Несомненно имел». Среди щедринских произведений, сыгравших эту роль, Дмитриева назвала в первую очередь два — «Губернские очерки» и «Историю одного города» («Литературное наследство», т. 11—12, 1933, стр. 477—479).

Первый печатаемый отрывок является единственным источником, из которого мы узнаем, что среди многочисленных посетителей у гроба Достоевского, на его квартире в Кузнечном переулке, был 29 января 1881 года и Салтыков. На похоронах же 31 января он не присутствовал, так как был болен.

Второй отрывок содержит один из характерных и живо переданных рассказов о том, как происходили и чем обычно заканчивались обращения к «грозному Щедрину» с общественными просьбами представителей молодого поколения, студенчества.

<ЩЕДРИН У ГРОБА ДОСТОЕВСКОГО>

Помнится, 30 января 1880 года * утром, перед лекцией профессора Брандта, мы уже шумною толпой наводняли аудиторию, на кафедру вошла О. Ю. Каминская, наш староста, и громко объявила:

— Вчера вечером от кровоизлияния умер Достоевский! <...>.

Тем же вечером, около шести часов, я отправилась на Ямскую, где жил Достоевский *, — в его квартире была назначена панихида. Уже издали, у подъезда, я заметила кучку народа — студенты, курсистки, пожилые дамы и мужчины. Одни спускались по лестнице вниз, другие подымались наверх; я присоединилась к последним. Лестница узкая, грязенькая, темненькая; пахнет кошками и жареным кофе. Типичная петербургская лестница задних дворов и угрюмых пятиэтажных сараев. Поднимались медленно, в торжественном молчании: только раз кто-то негромко сказал:

— Вот как живут наши знаменитые писатели!

Через настежь отворенные двери — они, должно быть, со вчерашнего вечера ни разу не затворялись — мы протиснулись в маленькую темную переднюю, а оттуда в большую комнату, совсем без мебели, если не считать нескольких мягких кресел под парусиновыми чехлами у одной из стен.

Комната была полна народу; стояли тесно, голова к голове, но и здесь царил также благоговейная тишина, никто не толкался, и все сосредоточенно смотрели на двери соседней комнаты, откуда струился душный запах гиацинтов и тубероз. Очевидно, покойный лежал там, и установился уже такой порядок: посетители по очереди входили туда и, поклонившись покойному, уступали свое место другим, так что в комнате образовалось два течения — к гробу и от гроба. Понемножку продвигаясь вперед, мы вдруг слышали среди тишины, наполненной только шорохом толпы, неожиданно громкий и грубоватый возглас:

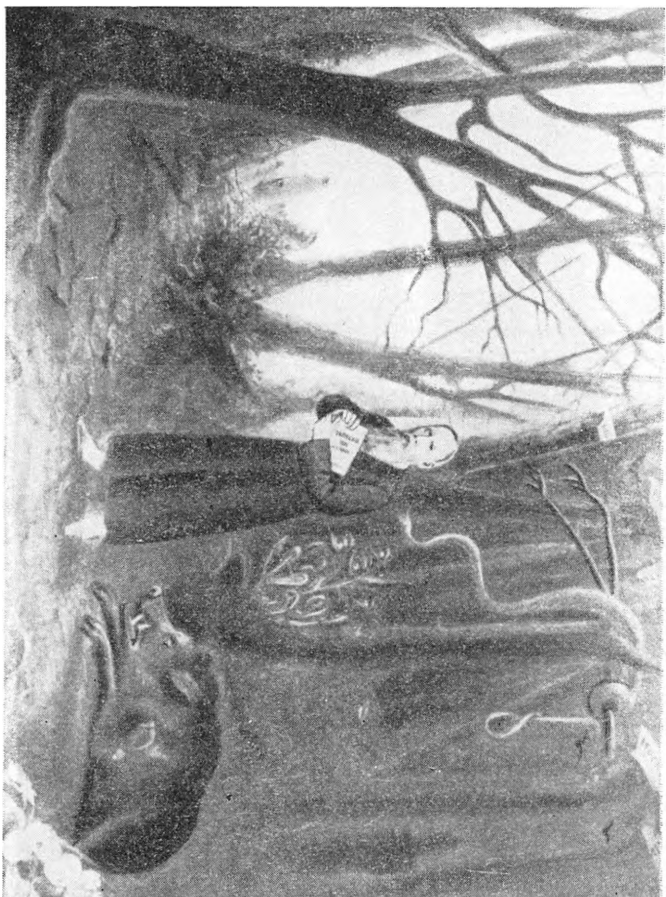
— Что же это попы-то не идут! Уже шесть часов!

Толпа всколыхнулась и, оглядываясь на голос, возмущенно зашипела:



М. Е. Салтыков-Щедрин. 1879.

*Портрет маслом работы И. Н. Крамского.
Институт русской литературы, ИРЛИ, Ленинград*



Щедрин в лесу реакции.

Аллегорическая картина Д. Брызгалова и Н. Орлова, 1893.

— Шш! Что за безобразие? Молчите...

И в ту же минуту возмущенное шипение сменилось другим, уже не негодующим, а изумленным и почтительным шепотом:

— Щедрин! Это Щедрин... Щедрин... — несло в толпе от одного к другому.

Я оглянулась. Знакомое, характерное лицо, седая длинненькая бородка, резкие морщины на худых щеках, сумрачные глаза...

Видя обращенное на него внимание, Щедрин еще сердитее нахмурился и старался поближе протискаться к стене, где стояли кресла. Протискался и только что пристроился в уголку, на ручке одного из кресел, как сидевшая на нем почтенная дама вскочила и зашебетала:

— Ах, Михаил Евграфович, садитесь, пожалуйста, да что же это вы...

— Сидите, сидите, не буду я сидеть... — отмахнулся Щедрин сердито.

— Да нет, пожалуйста! — настаивала дама. — Михаил Евграфович, да я вас прошу...

Тут уже Щедрин не выдержал. Взбешенный настойчивостью дамы, он вскочил и начал проталкиваться к выходу, свирепо рыча:

— Да что вы ко мне пристали, не хочу я сидеть... Черт знает, что такое, пристала!..

И скрылся...

2

<<ПО ПРИМЕРУ ПРОШЛЫХ ЛЕТ>>

...Щедрина мне удалось увидеть лицом к лицу еще раз при следующих обстоятельствах.

В нашей курсовой библиотеке получались два экземпляра «Отечественных записок» — один бесплатный, другой мы выписывали за деньги. И вот, когда меня выбрали библиотечаршей, мне пришлось в голову просить редакцию «Отечественных записок» прибавить нам еще один бесплатный экземпляр, так как «Отечественные записки» читались нарасхват и, чтобы получить книгу, приходилось долго ждать очереди.

Я написала просительное заявление в редакцию, мне ответили, что удовлетворение просьбы зависит от Щедрина.

Довольно храбро я отправилась к нему на квартиру

(он жил на Литейном, в доме, помнится, № 62, и по странной игре случая рядом с домом, где жил Победоносцев). Поднялась по лестнице, но, когда очутилась перед дверью и позвонила, храбрость меня покинула, впору хоть бежать назад. Но было уже поздно: дверь отворилась, нарядная горничная через красиво убранную гостиную провела меня прямо в кабинет. Все остальное вспоминается смутно: шкафы с книгами по стенам, портреты и сгорбленная фигура в сером пледе на кресле перед письменным столом. Знакомое лицо повернулось ко мне, и суровый взгляд сумрачных глаз пронзил меня насквозь.

— Что вам угодно?

От смущения я начала бормотать что-то несуразное, вроде того, что вот у нас в библиотеке только два экземпляра «Отечественных записок», а их так много читают, что двух экземпляров не хватает, и мы просим, чтобы «по примеру прошлых лет» нам дали второй бесплатный экземпляр...

— Да вам сейчас-то сколько бесплатных высылают? — нетерпеливо перебил меня Щедрин.

— Один.

— Так откуда же вы взяли «по примеру прошлых лет»? Разве вам раньше высылали когда-нибудь два бесплатных?

— Нет... — дрожащим голосом пролепетала я.

— Так зачем же вы говорите «по примеру прошлых лет»? При чем тут «по примеру прошлых лет»? Удивительно! Им высылают один бесплатный экземпляр и всегда высылали один, а она просит два — будто бы «по примеру прошлых лет»! Ничего не понимаю!..

Но я уже не дослушала и, пробормотав «прощайте», вылетела из кабинета. Вся дрожа и пылая от негодования и обиды, я примчалась на курсы и, сообщив о происшедшем своим сотрудницам по библиотеке, заявила, что больше никогда ни с какими поручениями к Щедрину не пойду. Меня пожалели и одобрили.

Каково же было наше изумление, когда несколько времени спустя нам стали высылать второй бесплатный экземпляр! Это нас снова помирило с сердитым сатириком, весь инцидент с моим визитом к нему и нелепыми словами «по примеру прошлых лет» приобрел в наших глазах уже не трагический, а комический характер, и, вспоминая о нем, мы не пламенели от обиды и негодования, а хохотали от души.

А. П. Корба

Анна Павловна Корба, урожд. Мейнгардт, по второму мужу Прибылева (1849 — после 1933), была членом Исполнительного комитета партии «Народная воля». С самого начала организации партии ей была поручена работа по установлению конспиративных контактов с литераторами, сочувствовавшими революции. «Нарождавшаяся партия, — писала впоследствии Корба, — имела в виду наилучшим образом обставить свой литературный орган. С этой целью заводились связи с выдающимися писателями, которые могли сотрудничать в газете <«Народная воля»>. Сближение с передовыми работниками русской литературы имело большое значение для партии» (А. П. Прибылева-Корба, «Народная воля». Воспоминания о 1870—1880-х гг., М. 1926, стр. 35—36). Корба в первую очередь установила контакты с писателями журвала Салтыкова — Михайловским, Кривенко, Протопоповым, Успенским. В этой связи следует несомненно рассматривать и публикуемый рассказ о том, как в конторе или редакции «Отечественных записок» Корба встретилась с Салтыковым. Встреча состоялась в день появления в «Правительственном вестнике» указа о назначении Д. А. Толстого министром внутренних дел, то есть 2 июня 1882 года. Через три дня — 5 июня — Корба была арестована по делу 1 марта 1881 года. Приговоренная к двадцати годам каторги, она отбывала ее на Каре.

Настоящие воспоминания были получены нами от А. П. Корбы в мае 1933 года в Ленинграде.

<ЩЕДРИН О Д. А. ТОЛСТОМ>

Если мысленно вернуться к старым временам конца царствования дома Романовых, то невольно вспоминается фигура Салтыкова-Щедрина и проявления его

буйного литературного таланта. Михаил Евграфович хорошо изучил склонности и свойства русского народа, безошибочно оценивал его гений. Отсюда ненависть Михаила Евграфовича к угнетателям и эксплуататорам народных сил и способностей, к лицам, ставившим искусственные преграды проявлению положительных качеств населения в монархической России.

В одном из моих маленьких очерков* я описала свое посещение конторы «Отечественных записок» для свидания с Кривенкой и Михайловским. Это было в то утро, когда жители Санкт-Петербурга впервые узнавали из утренних газет, что бывший министр народного просвещения Толстой назначен министром внутренних дел.

Мы еще не знали этой новости, и все трое мы были очень удивлены шумному появлению Михаила Евграфовича. Он шел по маленькому коридору, соединявшему частную его квартиру с конторою редакции*, шумными и тяжелыми шагами и рычал, как раненый лев. Мы все трое обратили взоры на входную дверь из коридора. Михаил Евграфович появился в ней, держа в руке номер «Правительственного вестника», и первые его слова были: «Читали, читали?» — и на отрицательный ответ моих собеседников он прочел высочайшее повеление, грузно опустившись в кресло. От ярости он был вне себя. «Как, — кричал он, — этого тюремщика, который своим дурацким классицизмом отправил десятки юношей на тот свет, а теперь всю Россию закует в кандалы бесправия и повиновения!» И после краткого молчания и еще громче он кричал: «Ошибутся! Слишком рискованная игра не ведет к выигрышу! Как бы им не проиграться!»*

Салтыков тогда уже был убежден в том, что революционный взрыв неизбежен в России. Слишком безумно было правительственное самоуправство и слишком тяжел гнет, который испытывали на себе трудящиеся массы и трудовая интеллигенция.

Он верил в будущую и притом близкую революцию, и даже великосветские дамы, которых он изображал в «Письмах к тетеньке», восклицали в смущении, хотя по-французски: «Мы танцуем на вулкане».

Эта уверенность Михаила Евграфовича действовала неотразимо на его читателей и приобретала ему друзей и почитателей во всех слоях населения.

П. П. Орлов (Северов)

Об авторе воспоминаний, Николае Павловиче Орлове (1840—после 1906), московском нотариусе, отдавшем свои средства и посвятившем себя революционному делу, известно было до сих пор очень немногое. Тем большую ценность представляют сведения, которые находим в неизданном письме русского политического эмигранта, основателя и редактора газеты «Общее дело» (Женева) А. Х. Христофорова к другому политическому эмигранту Земфирию Арборе-Ралли. Христофоров просил Ралли понудить одну особу вернуть денежный долг Орлову. Ралли ответил согласием. В письме из Vevey (Швейцария) от 28 декабря 1886 года Христофоров рассказал Ралли о человеке, за которого столь горячо хлопотал.

«Многоуважаемый господин Ралли! — писал Христофоров. — Очень вам благодарен за Вашу радужную готовность помочь эмигранту, в интересах которого я обратился к Вашему содействию. Эмигрант этот — Николай Павлович Орлов. Он был нотариусом в Москве, имел несколько десятков тысяч годового дохода и так щедро тратил их на разного рода полезные дела, что когда, незадолго до ареста Германа Лопатина¹, ему пришлось эмигрировать, то он вскоре очутился без всяких средств<...>. У него очень обширные знакомства и связи с порядочными людьми радикального и социалистического лагеря. Он друг Михайловского, Успенского, хороший знакомый Салтыкова (Щедрина) и т. д. В Париже его знают Лавров, Тихомиров и большая часть сколько-нибудь значительных представителей нашей эмиграции. Он был очень близок с Г. Лопатиным, с которым они проектировали вместе жить и действовать в Париже. В последнем номере «Вестника «Народной воли» (6-м) ему принадлежит статья «Рассказ квартального надзирателя

¹ Речь идет о последнем аресте Германа Лопатина — в октябре 1884 г. в Петербурге. — С. М.

о декабристах» и два стихотворения. Пишу все это для того, чтобы хотя немного обрисовать Вам личность Н. Орлова и показать, что я решился побеспокоить Вас ради человека не пустого, но заслуживающего симпатии и доверия<...>, мне было положительно невыносимо и мучительно видеть бедственное положение человека, оказавшего много услуг хорошему делу и способного и теперь служить ему со всею беззаветностью искреннего и очень доброго человека» (ЦГАЛИ, ф. 1019, оп. 2, ед. хр. 76, лл. 3—4).

Справка Христофорова уточняет связи с русскими революционерами одного из «хороших знакомых» Салтыкова. Впоследствии Орлов отошел от революционной работы, но остался в эмиграции. С 1891 года он сотрудничал в газете «Русские ведомости» (под псевдонимом Н. Северов).

М. Е. САЛТЫКОВ (ЩЕДРИН)

Было холодное декабрьское утро*, когда я, в 1882 году, попав проездом в Петербург, навестил Щедрина, жившего на Литейной, 62.

Больной бронхитом, одетый в свой неизменный суконный халат вишневого цвета, он сидел за письменным столом, обложенный рукописями, корректурами. Накануне навестил его доктор Боткин и нашел, что каминная топка может способствовать образованию сквозняка. Камин тогда же был заделан, и к нему приставили круглую кафельную печь. Она топилась теперь, гудя и наполняя комнату жаркою духотой.

— Как поживаете вы, Михаил Евграфович? — спросил я.

— Да вот болею... всесторонне... — стал говорить он, откладывая в сторону просмотренные листки и выравнивая их с привычной аккуратностью. — Надо работать, а цензурные и прочие удавы так свирепствуют, что просто руки опускаются!.. К этому еще кашель проклятый привязался!.. «Никогда со мною не было этого», — говорю вчера Боткину. А он: «Было вам раньше шестьдесят три года?»* — «Нет». — «То-то и есть...»

Подступивший кашель остановил его.

Он кашлял долго и мучительно, нетерпеливо откладывая дрожавшею рукою еще не причесанные длинные волосы; умные пронизательные серые глаза его наполнились слезами.

— На днях приходили студенты просить, чтобы я читал у них на вечере, — начал он, когда миновал припадок. — А я как раз и раскашлялся вот так... «Видите, какой я чтец?» — говорю им потом.

Вошла финка-горничная, Мина, и стала подкладывать дров в печь.

— Зачем вы это?.. Зачем так жарить ее? Она сырая: лопнет! — накинулся на нее Щедрин с присущей ему сердитою ворчливостью.

— Не лопнет! — ответила Мина, продолжая невозмутимо свое дело. — А вам вредно кричать!

Отпор этот как бы смутил великого сатирика. Он умолк и принял спокойный вид.

Разговорившись потом, он спросил меня:

— Вы в Москве знаете, конечно, Плеваку?

— Как же.

— Что это за человек?

Я высказал свое мнение.

Умные глаза Щедрина вспыхнули живым сатирическим огоньком. Всегда как бы горько сжатые губы тронуло подобие улыбки. Подумав, он сказал:

— Я встретился с ним здесь у А. Н. Пыпина и говорю: «Правда, что вы можете поставить на голову стакан с квасом и плясать?»* А он вытаращил на меня свои глазища и отвечает: «Могу!»

Явился метранпаж «Отечественных записок»*.

Выслушав доклад о готовившейся книге, Щедрин спросил:

— Кривенко прислал статью?

— Нет еще...

— С этого часу над душой стойте, — воскликнул Щедрин, хмурясь и приходя в беспокойство. — Требуйте нещадно и неотступно!.. Тормозов довольно и без авторов!.. Я, что обещаю, то даю! Следующая книга в воображении только, а у меня статья готова уже! Вот-с! Извольте!.. Видите?

Он взял со стола пачку белых, атласных листков, исписанных мелким кудрявым почерком, испещренных бесчисленными выносками на больших полях, и потряс ею в воздухе.

Он любил употреблять для своих работ самую лучшую бумагу и, как бы дорожа ею, унизывал листки выносками до последней возможности.

Потом мне случилось встретиться с Щедриным весною в редакции «Отечественных записок», помещавшейся на Спасской, в квартире секретаря редакции поэта А. Н. Плещеева *.

Щедрин был здоров и весел, рассказывал похождения героя Очищенного, не попавшие по цензурным условиям в только что вышедшую тогда «Современную идиллию» *. Тут же, вынув из конторки, он подарил мне экземпляр этой книги, сделав на нем любезную надпись.

За январскую, 1883 года, книгу «Отечественных записок» — за статью Н. Я. Николадзе «Луи Блан и Гамбетта» — дано было журналу предостережение *.

По этому поводу я, при участии малоизвестного, но способного художника Д. Н. Брызгалова, скомпоновал в Москве и издал «подпольно», в фотографических снимках, ходивших потом по рукам, соответствующую картину...

Щедрин в его вишневом халате, изображен был на ней пробирающимся с потерпевшею книгой через темный лес, к просвету, и спасающимся от преследующих его фантастических чудовищ... Художник совсем не знал Щедрина, но, по моим объяснениям и руководствуясь фотографическою карточкой, сумел сделать портрет как бы с натуры.

Под картину было мое четверостишие:

Тяжелый путь... Но близок час рассвета,
И солнца блеск зарделся в небесах;
Его лучом живительным согрета,
Проснется жизнь и тьму рассеет в прах.

Оригинал сохранился у меня до сего времени *. Для Щедрина сделан был и послан ему особый снимок. Получив его, он писал мне: *

«5 июля, 1883 г.

Многоуважаемый Николай Павлович!

Крайне Вам обязан за присылку картины, которая так сходственно и с обстоятельством дела согласно изображает существо вещей. Такого сходного портрета я, во всяком случае, не имел и не видел. Что касается до обстановки, то, не имея ничего сказать против гадов, преследующих сзади, ни даже против просвета, который всегда как-то по штату полагается, я бы, на месте худож-

ника, и по ту сторону просвета устроил встречу гадов. Ибо и это тоже по штату полагается. Вообще это было бы полное изображение отечественного прогресса с непрерывно идущими гадами и с прогрессом, в форме генерала от инфантерии или действительного тайного советника.

Во всяком случае, повторяю и Вам и художнику искреннюю и живую признательность за дорогой подарок. Насилу я мог узнать на железной дороге, откуда мне сие.

Сейчас уезжаю за границу, где прокочую до конца августа.

Искренне Вам преданный и уважающий

М. Салтыков».

Несмотря на свою органическую привязанность к литературе, к «читателю», Щедрин мечтал приобрести деревенский уголок и успокоиться в нем от трудов. Подысканием чего-либо подходящего в этом роде занимались одно время покойный Н. К. Михайловский и я.

В ноябре 1883 года Щедрин писал мне: *

«Начинаю свое письмо извинением. Я так долго не отвечал Вам, потому что не только я сам, но и вся моя семья переболела.

Власьево едва ли придется купить. На днях здесь были тверитяне, которые знают это имение и весьма его не рекомендуют. Живя там, дачники в особенности жалуются на близость колокольни, которая делает из деревни уголок Москвы. А сверх того и следующее обстоятельство: имение совсем разорено. Купив его, то есть заплатив деньги, придется года три сряду все покупать да покупать, что, кроме расхода, тысяч до 6-ти, повлечет за собою еще крайне неприятные хлопоты. Для того чтобы купить, например, 5-6 коров, придется пересмотреть по малой мере 100 штук и кончить все-таки тем, что попадутся коровы, к молоку равнодушные и целомудренные. Во Власьево даже курицы нет — все надо покупать, т. е. целые дни собачиться. А у меня и людей, которым я мог бы довериться, нет; сам же я и болен, да и ничего в курицах не смыслю. Вообще, я полагаю, что в ноябре не удобно искать и покупать имения, кроме заведомо известных. Впереди целая зима, которая потребует расходов по имению, и во время которой невозможно ни к чему приступить, так что весной все-таки придется ехать на

пустое место. Нынче помещики хитры стали: прежде все поштучно выпродают из имения — даже собственный навоз, — а потом уже и предлагают охотникам, не угодно ли сие пустое место приобрести.

Я искренне прошу Вас извинить мою бестолковость, с которою я обращался к Вам и по этому делу. Условия, среди которых я живу, так сложны, что я и сам хорошенько не знаю, что мне нужно. Знаю только одно: что надо когда-нибудь удалиться в свой угол и что собственно для меня достаточно было бы самого неприхотливого угла. Но весьма может быть, что я так и умру, не осуществив моего желания.

Затем благодарю Вас за участие, прошу Вас верить моей искренней преданности и уважению».

Своеобразный, характерный язык Щедрина известен всем, и мне думается, что если б приведенные письма даже не были подписаны, то истинный читатель сатирика все-таки не затруднился бы узнать автора. Язык этот являлся таким присущим Щедрину, так подчинял его себе, что отрешиться от него при каких бы то ни было обстоятельствах, заговорить иначе, он сам был не в состоянии. В Москве, по инициативе радикального кружка, праздновался литературный юбилей Щедрина, бывшего в это время за границей *. Ему послана была составленная мною телеграмма:

«Празднуем 25-летие Вашей литературной деятельности и веруем в торжество разума, правды и любви».

На эту телеграмму получился в газетах ответ — очень любезный и гладкий, но, как казалось мне, страдавший отсутствием чего-то существенного, «щедринского».

Потом, при свидании, Щедрин сказал мне:

— Представьте, я никак не мог округлить ответа на телеграмму, попросил Тургенева *.

Всегда нахмуренный, угрюмый и как бы недовольный, но в сущности очень добрый и справедливый человек, Щедрин, кажется, совсем не знал, что такое улыбка...

Иллюстрацией к этому может служить следующий случай. Зайдя, в Петербурге, к фотографу Шапиро, занимавшемуся тогда составлением альбома русских писателей, я спросил, есть ли последний портрет Щедрина?

— И сам не знаю! — ответил, рассмеявшись, Шапиро. — Был он, снимался... Но меня угораздило попросить его улыбнуться, и смотрите, что вышло! Можно ли выпустить в публику такое чудище?!

Он показал мне портрет. Щедрин сидел, улыбаясь во весь рот*, но... Выходило совершенно по преданию: «Зороастр улыбнулся только однажды в жизни — при рождении — но и эта улыбка была чудовищна».

Л. Г. Дейч

Революционная деятельность Льва Григорьевича Дейча (1855—1941) — будущего меньшевика, после Октябрьской революции отошедшего от политической жизни и работы, — началась в семидесятые годы в народнических кружках «бунтарей»-бакунинцев. Летом 1879 года Дейч вошел в общество «Земля и воля», а осенью того же года, после раскола общества, примкнул к «Черному переделу». В начале 1880 года Дейч эмигрировал в Швейцарию, порвал с народничеством и в 1883 году, вместе с Г. В. Плехановым, П. Б. Аксельродом, В. И. Засулич и В. Н. Игнатовым, принял участие в создании первой русской марксистской группы — «Освобождение труда». Но деятельность Дейча в этой группе оказалась непродолжительной: в 1884 году он был арестован в Германии, выдан русскому правительству и осужден на тринадцать лет каторги.

Печатаемый мемуарный отрывок, написанный Л. Г. Дейчем, по просьбе редакции «Литературного наследства», летом 1933 года, не лишен некоторой тенденциозности (например, подчеркивание принципиального будто бы легализма Салтыкова). Однако эти воспоминания ценны, как рассказ осведомленного современника о том, как относились к Щедрину Плеханов и другие основатели первой русской социал-демократической группы.

<ЩЕДРИН И ГРУППА «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА»>

...В конце семидесятых годов и в первые годы следующего десятилетия Щедрин если не у всех тогдашних революционеров, то, во всяком случае, среди многих из них занимал совершенно исключительное, ни с чем не сравни-

мое положение. Никакое из существовавших тогда у нас передовых, а также и крайних течений не вправе было причислять его целиком к своим единомышленникам, хотя, как известно, разных мастей либералы «готовы были с ним родными счастаться», несмотря на постоянное им их высмеивание. Мы, «радикалы», как в те времена величали всех без различия направлений социалистов, совсем не считали его своим единомышленником, что явствует из вышеприведенных выдержек из его произведений*. Тем не менее, повторяю, многие из нас чувствовали к нему не только наибольшую личную симпатию, но и глубочайшее уважение как к единственному тогда неподкупному, честному легальному публицисту.

Насколько мне известно, Щедрин не имел никаких личных знакомых в нашей среде* и не только не искал их, но даже как будто избегал заводить их с нашим братом как в России, так и во время пребывания своих за границей. И мы, насколько могу теперь припомнить, не только не ставили эту его отчужденность от нас ему в вину, а, наоборот, признавали такое его отношение более тактичным, скажу откровенно — более честным, чем, например, тогдашние заигрывания с молодежью Тургенева: после каждого за эти заигрывания шипения на него Каткова он, как известно, спешил публично откреститься от всякой с нами связи, а тем более симпатии к нам. К тому же, хорошо зная тех немногих, далеко не из лучших, представителей тогдашней нашей эмиграции, вроде известного ренегата, сотрудника «Нового времени» Исаака Павловского, которому тогда протезировал Тургенев*, мы находили, что Щедрин много выигрывал тем, что за границей не заводил подобных связей. Единственными его знакомыми там были Лавров и Зибер*. Но, насколько могу припомнить, он не прочь был познакомиться с примыкавшим к группе «Освобождение труда» Ильей Николаевичем Игнатовым, о чем сообщу здесь все, что удержалось в моей памяти.

Это было летом 1883 года. Плеханов и мы, его товарищи, уже решили тогда выступить в качестве самостоятельной марксистской группы, в которую вступил Вас. Ник. Игнатов; младший же брат его Илья как раз в это время приехал к нему в Женеву по окончании им ссылки*, а также и обязательной воинской повинности. Помню, Илья Николаевич обратился однажды ко мне

с просьбой помочь ему в помещении написанного им в ссылке очерка в «Отечественных записках», пользовавшихся тогда уже большой популярностью благодаря главным образом Щедрина и лишь отчасти Михайловскому, который после оправдания Засулич радикально изменил свое отрицательное отношение к революционерам и даже сам стал пописывать в «Народной воле». Попасть в этот журнал новичку, к тому же с беллетристикой, считалось очень трудным, так как было известно, что этим отделом заведует «чрезвычайно строгий, придирчивый Щедрин». Это я и сообщил Илье Николаевичу, но он уверенным тоном заявил, что не сомневается в одобрении последнего, лишь бы только рукопись попала в его руки.

Этот Игнатов, как и старший его брат Василий, произвел на меня и на других членов нашей группы, не знавших его раньше, впечатление человека серьезного, вдумчивого, к тому же скорее недооценивавшего, чем переоценивавшего свои силы и способности. Я поэтому, не читая его очерка, согласился попросить Лаврова о пересылке отправленной ему рукописи с соответствующей его рекомендацией к Щедрина.

Довольно скоро Лавров уведомил меня, что ему не понадобилось пересылать рукопись в Петербург, так как Щедрин приехал в Париж* и он лично передал ее ему. Вскоре пришло от него же второе письмо, в котором он извещал, что рассказ Игнатова чрезвычайно понравился Щедрина: последний просил его передать автору его просьбу явиться к нему, так как Щедрин предположил, что Игнатов находится в Париже, но, узнав, что тот в Женеве, он выразил большое сожаление, так как находил необходимым в виду цензурных условий произвести в очерке значительные изменения, которых без согласия автора не хотел делать. При этом он самым лестным образом отозвался об этом очерке, признав у Игнатова несомненный беллетристический талант¹.

¹ По цензурным условиям очерк этот не появился в печати, и дальнейшая его судьба мне неизвестна. Из Ильи Николаевича Игнатова, как известно, не вышло беллетриста; впоследствии он стал литературным и театральным критиком, написал статьи и о Щедрина и был редактором «профессорски-скучных» «Русских ведомостей». Подробно о нем см. в сборнике «Группа «Освобождение труда», №№ 1 и 3 (Примеч. Л. Дейча).

Нетрудно себе представить, как по этому поводу возликовали все мы, в особенности же Г. В. Плеханов, издавна ценивший Щедрина почти так же высоко, как и Некрасова.

Обладая изумительной памятью и остроумием, Георгий Валентинович с присущим ему умением всегда чрезвычайно кстати приводил остроумные фразы из статей Щедрина, чем нередко вызывал у присутствовавших взрывы смеха. Щедрина он признавал одним из самых умных наблюдателей и наилучшим изобразителем разных сторон русской действительности, что ввиду занятой тогда Плехановым вместе с нами, его единомышленниками марксистской позиции, он считал исключительно важным.

Как раз летом этого же 1883 года в «Отечественных записках» печатались замечательные «Письма к тетеньке» * Щедрина, которые вызывали у Плеханова, да и у всех нас, остальных, большой восторг. Георгий Валентинович приводил из них на память большие выдержки. Помню, между прочим, что, когда в предшествовавшем году появилась первая статья Плеханова в «Отечественных записках» * — «Новое направление в политической экономии», он мне однажды сказал, что ему доставляет большое удовольствие печататься в журнале, редактируемом Щедриным, и рядом с его статьями, — до того высоко ценил он последнего. Из произведений Щедрина Плеханов приводил много иллюстраций, подтверждавших защищаемые им и нами тогда взгляды по поводу происходившего в России экономического процесса. При этом он недоумевал по поводу непоследовательности или близорукости главного редактора научного отдела «Отечественных записок» Михайловского, который допускал, как он говорил, «измышления В. В.» *. Последний тогда же выступил в «Отечественных записках» же с решительным отрицанием не только в то время, но и в будущем возможности появления капитализма у нас ввиду того, мол, что все рынки уже захвачены другими странами. По мнению Плеханова, Щедрин, не претендовавший на редактирование научного отдела, неизмеримо лучше, правильнее разбирался в вопросе о «судьбах капитализма в России», чем занимавший этот пост Михайловский.

Наряду с Плехановым, и В. И. Засулич издавна являлась горячей поклонницей Щедрина: она также всегда

внимательно следила за его произведениями и, по получении каждой новой книжки его журнала, прежде всего разрезала страницы его статей. Отличаясь, как и он, большой наблюдательностью, тонким чутьем и безграничной отзывчивостью, Вера Ивановна любила Щедрина за его правдивость, искренность, последовательность, и в этих, как и в некоторых других, отношениях она считала его неизмеримо лучшим человеком, чем, например, Тургенева или Достоевского. Поэтому, при желании, она, конечно, могла бы познакомиться с Тургеневым, так же, как и она, многие годы проживавшим за границей, но она не только не стремилась к этому, а, наоборот, решительно отклоняла это не столько вследствие присущей ей застенчивости и скромности, а потому, что многое в характере и поведении автора «Нови» претило ей. Зная ее хорошо, я глубоко убежден, что, встретясь она со Щедриным, она близко сошлась бы с ним, без удержу кричала бы ему, размахивая руками перед его лицом, как это у нее всегда происходило в оживленных ее беседах с симпатичными ей людьми, хотя бы из числа знаменитых иностранцев, как, например, с Фр. Энгельсом, Элизе Реклю, Лефрансе и другими.

Да и вообще все члены группы «Освобождение труда» являлись большими почитателями нашего крупнейшего сатирика, хотя помню, что мы себе представляли его угрюмым, суровым, неприветливым стариком.

В. Л. Бурцев

«Рассказы о Щедрина» Владимира Львовича Бурцева (1862—1936) — политического деятеля, издателя материалов по истории революционного движения в России — сообщают ряд фактов, относящихся к жизни и работе Салтыкова в 1882—1884 годах. Бурцев тогда только начинал свой общественный путь, и начинал его в революционном лагере. В 1885 году за связи с народовольческими группами он был арестован, заключен в Петропавловскую крепость, а затем сослан в Сибирь, откуда бежал за границу. Однако в дальнейшем Бурцев все больше проникался либеральными, антиреволюционными взглядами. Одно время он был близок к эсерам, затем поддерживал кадетов. Октябрьскую революцию Бурцев встретил враждебно и вскоре оказался в эмиграции.

Печатаемые здесь «Рассказы о Щедрина» были написаны в Лондоне, в начале девяностых годов, и предназначались, по-видимому, для опубликования в одном из бурцевских зарубежных сборников по истории революционного движения в России. Однако по каким-то причинам эта публикация не осуществилась (за исключением «рассказа» об убийстве Судейкина). В 1925 году Бурцев напечатал «Рассказы...» в одном эмигрантском сборнике. Судя по внешнему виду сохранившейся рукописи, Бурцев не внес никаких существенных изменений в текст «Рассказов...», а лишь заново написал введение к публикации. Во всяком случае, в «Рассказах...» нет следов позднейшей политической эволюции автора. Они исходят из юношеского восприятия Бурцева, когда он находился в лагере активных противников самодержавия.

Достоверность «Рассказов...» не вызывает сомнений. А их содержание, бесспорно, представляет интерес для освещения некоторых фактов литературной и политической биографии Салтыкова начала восьмидесятых годов.

О Щедрине-Салтыкове, как и о других, подобных ему крупных общественных деятелях, еще при его жизни ходило в обществе очень много апокрифических рассказов и легенд. Например, в начале восьмидесятых годов часто приходилось слышать следующий курьезный рассказ о Щедрине. Он передавался тогда с такой уверенностью, что невольно верилось ему. Без сомнения, многие, кому не пришлось, подобно мне, прочитать опровержение этой басни, сделанное самим Щедриным, придавали веру если не деталям рассказа, так по крайней мере его сущности.

На квартиру Щедрина, как гласила легенда, пришли неожиданно жандармы с обыском. В его кабинете было много компрометирующих бумаг. Щедрин, увидевши жандармов, стал играть на фортепиано «Боже, царя храни» и запел этот гимн. К нему присоединились некоторые другие члены его семейства, и они образовали, таким образом, хор. Жандармы не решались прервать исполнение национального гимна и стояли, дожидаясь окончания пения. Получилась, как потом выразился сам Щедрин, «смешная сцена», а в то время, пока Щедрин играл и пел «Боже, царя храни», другие члены его семейства в задних комнатах занимались... уничтожением компрометирующих бумаг.

Приводимый нами рассказ дошел в свое время и до самого Щедрина. Он немало острил по поводу этой чьей-то досужей выдумки и тогда же напечатал опровержение в «Русских ведомостях»*.

Я упоминаю об этом апокрифическом рассказе из жизни Щедрина, опровергнутом им самим в печати, для того, чтобы указать, как необходимо осторожно относиться к циркулирующим в обществе рассказам об общественных деятелях. Помня об этом, я из слышанных рассказов о Щедрине записал в свое время — записи мои делал в начале девяностых годов — лишь те, которые шли от лиц, заслуживающих доверия, и которые я мог проверить перекрестным допросом различных лиц.

То, что читатели прочтут ниже, не носит характера моих личных воспоминаний. С Щедриным я не был знаком, но в начале восьмидесятых годов, когда я жил в Петербурге, у меня были знакомые, которые состояли

в довольно близких сношениях с семьей Щедрина и часто встречали самого Щедрина или в редакции «Отечественных записок», или у него на дому. Благодаря рассказам моих знакомых, знавших Щедрина в те годы, я много знал о нем.

Нечего говорить, что я, — да и не я один, а все, кто только имел возможность, — с особым вниманием вслушивался в рассказы о Щедрине. Рассказы о таком нашем любимом писателе, каким был Щедрин, выслушивались всеми нами с величайшим любопытством.

Одним из преобладающих мотивов рассказов о Щедрине были рассказы о том, как он на того-то накричал, того-то «оборвал», и т. д. От него доставалось всем — и не одним только людям безобидным, на которых сам бог велел кричать не только Щедриным, а и мелким букашкам, у кого только есть охота кричать. Среди лиц, кому доставалось от Щедрина, называли иногда имена больших тузов. Эти вспышки Щедрина часто сопровождались у него какой-нибудь характерной остротой. Таких острот никогда не мог забыть и тот, кто подвергивался под его удары, а у третьих лиц, бывавших свидетелями этих вспышек Щедрина, его остроты вызывали хохот и потом превращались в пословицы. Это, так сказать, увековечивание ударов, понятно, еще более делало чувствительными нападки Щедрина. Он давно умер, а заклеянные им лица долго носили те ярлыки, которые им наклеил Щедрин.

Потому очень многие боялись встреч с ним, а когда встречались, то у них, что называется, «поджилки тряслись». В обществе Щедрин имел репутацию человека желчного, несдержанного на язык, неприветливого, жестокого даже.

Некоторые из моих рассказов о Щедрине касаются именно подобного рода его вспышек.

1

В конце 1883 года Дегаев привел в исполнение решение Исполнительного комитета «Народной воли» об устранении Судейкина*.

Вскоре после этого события в редакцию «Отечественных записок» зашел один из известных провинциальных земских деятелей. Он, между прочим, спросил Щедрина:

— Михаил Евграфович! Говорят, революционеры убили какого-то Судейкина. За что они убили его?

— Сыщик он был, — ответил Щедрин.

— Да за что же они его убили?

— Говорят вам по-русски, кажется: *сыщик* он был.

— Ах, боже мой, — снова обратился землец к Щедрину, — я слышу, что он был сыщик, да за что же они его убили?

— Повторяю вам еще раз: *сыщик он был*.

— Да слышу, слышу я, что он сыщик был, да объясните мне, за что его убили?

— Ну, если вы *этого* не понимаете, так я вам лучше растолковать не умею, — ответил Щедрин землецу.

Этот рассказ мы слышали в январе 1884 года от Степурина (ум. в 1886 году).

Когда впоследствии русским историкам придется объяснять, почему были убиты Мезенцевы, Гейкинги, Судейкины * и т. п. сволочь, они лучшего объяснения не найдут, как то, которое дал наш гениальный сатирик.

Так, как Салтыков относился к террористической борьбе, когда она направлялась против сыщиков, относились в русском обществе все сколько-нибудь широко смотревшие на дело. Во всех же почти других случаях террористической борьбы, если и бывало со стороны общества отрицательное отношение, так только с той точки зрения, что не отзовутся ли эти факты реакционным образом на общем положении политических дел в России, а по существу симпатии всех сколько-нибудь независимых людей всегда были на стороне террористов...¹ *

2

После закрытия «Отечественных записок» (в апреле 1884 г.) московские студенты собрались на сходку; * ораторы при общем энтузиазме выражали в своих речах сочувствие только что запрещенному органу. Собрания студентов тогда были сравнительно необычны, и рас-

¹ Опускаем рассуждение автора по поводу публичного заявления бывшего управляющего III Отделением Шульца (оставил этот пост в 1878 г.), протестовавшего против наименования сотрудников этого учреждения секретными агентами. Заявление Шульца было опубликовано в газете «Голос», № от 22 февраля 1881 г. — С. М.

плачиваться за них приходилось студентам очень жестоко.

Студенты постановили послать в Петербург депутатов к редактору «Отечественных записок» Щедрина для того, чтобы выразить ему свое сожаление по поводу постигшего его несчастья и заявить глубокое уважение к тому направлению, выразителем которого были «Отечественные записки».

Когда депутация студентов была у Щедрина в зале, он вышел к ним. Один из депутатов выступил вперед и начал свою заранее приготовленную речь. В чем состояла эта речь, понять не трудно. Но прежде чем оратор кончил говорить и он еще не успел даже дойти до сути своей речи, как Щедрин совершенно неожиданно оборвал оратора на полуслове:

— Что вам от меня нужно? Зачем вы пришли сюда? — набросился Щедрин на стоявшего впереди всех оратора. Голос его выражал негодование и даже злобу, как будто перед ним стояли люди, кровно оскорбившие его и повредившие дорогому ему делу, как будто именно это они-то и запретили ему издавать его «Отечественные записки».

— Вам мало того, что закрыли «Отечественные записки»? — продолжал кричать Щедрин, все возвышая и возвышая голос. — Вам этого мало? Да говорите же!.. Вам хочется, чтобы меня сослали в каторжные работы?.. Вы этого, что ли, хотите?

Депутаты, а особенно депутат, стоявший впереди, тот самый, который начал говорить приветственную речь, были озадачены таким неожиданным приемом. Их праздничное, несколько приподнятое настроение вдруг исчезло. Они чувствовали себя в отвратительном положении и готовы были провалиться сквозь землю. Вся эта сцена потому еще особенно поразила депутатов, что они, когда ехали из Москвы в Петербург, с сочувственным адресом, менее всего думали встретить такой прием и к нему совершенно не были подготовлены. Им рисовалась другая сцена: торжественное вручение адреса Щедрина, выражение сочувствия сотен их молодых товарищей к его деятельности, раскрытые объятия Щедрина, разговоры с ним по душе о закрытых «Отечественных записках» и т. д. Они, наконец, рассчитывали от него услышать благодарность молодежи за ее отзывчивость

и т. д. Таковы были их мечты и грезы, а действительность оказалась совершенно иной.

Наконец, один из депутатов решил прервать тяжелую сцену. Он стал извиняться за себя, за своих присутствовавших товарищей, за студентов, которые их послали, в том, что они совершенно неожиданно для самих себя причинили Щедрина неудовольствие своим адресом и выражением сочувствия, и за то, что, так сказать, не спросясь броду, сунулись в воду. После этого депутаты раскланялись пред Щедриным и направились к двери, каждый старался раньше другого юркнуть в прихожую. Тогда Щедрин, как это у него постоянно бывало в подобных обстоятельствах, прекратил свой ворчливый тон и свое окачивание холодной водой сбитых с толку депутатов.

— Ну, что вы, что вы, — заговорил он совершенно иным тоном, — куда вы? Да подождите, поговоримте!

Щедрин усадил депутатов и стал с ними запросто беседовать. Но депутаты, несмотря на душевную речь Щедрина, сидели все еще ошпаренные и никак не могли прийти в себя от полученного вначале афронта. Щедрин скоро овладел разговором, но уже все время ему одному пришлось вести разговор. Он расспрашивал о московских студентах, об их настроении и стремлениях, жаловался на общее положение дел в России, на цензуру, на прекращение «Отечественных записок»; говорил, как теперь охотно привязываются ко всему и из самых обыкновенных фактов, например, посылки депутатов, могут вывести бог знает какие обвинения и т. д. Нападал еще на общество за его равнодушие, за то, что обществу дела нет до того, что закрывают «Отечественные записки». Много говорил он и на ту тему, которую потом он развивал не раз в своих сочинениях, а именно о том, что наше горе заключается в том, что «писатель у нас пописывает, а читатель почитывает» — и тем все и кончается.

Но адрес московских студентов так и остался непрочитанным...

Нечто подобное случилось с другой студенческой депутацией — петербургских технологов, несколько раньше, в 1882 году.

К Щедрину была прислана депутация для передачи ему почетного билета на студенческий бал. Депутатов встретил сам Щедрин еще в прихожей.

Один из студентов, передавая ему билет на бал, обратился к нему с заранее приготовленной речью.

— Какой билет?! на какой это бал?! — не то громко говорил сердитым, раздосадованным голосом Щедрин, не то кричал. — Вы видите, что я болен, я умираю, а, по-вашему, я должен идти на бал! Плясать казачка я стану, по-вашему? Вы этого хотите?! Это черт знает что такое! Покоя нет от них! — и т. д. в том же духе.

Депутаты, не ожидавшие такого приема, были озадачены и долго не нашли даже, что ответить на все непрекращавшиеся крики Щедрина.

Один из депутатов, наконец, стал извиняться пред Щедриным за то, что они причинили, неожиданно для себя, ему столько неудовольствия передачей почетного билета, и сказал, что они вовсе не имели в виду просить его непременно принять участие в танцах на балу, но, исполняя желание своих товарищей, считали своей обязанностью передать ему почетный билет в знак глубокого уважения к его литературной деятельности, как они сделали и по отношению к другим — немногим — уважаемым писателям и общественным деятелям: Михайловскому, Шелгунову, Ядринцеву, Глебу Успенскому и т. д. Кстати сказать, такие почетные билеты были тогда почтой студентами посланы Тургеневу в Париж и Чернышевскому в Вилюйск. После этих слов одного из своих товарищей депутаты стали откланиваться.

— Что это вы, куда это вы торопитесь? — обратился к ним Щедрин, сразу совершенно переменивший свой тон, которым начал разговор с депутатами. — Подождите, поговорим.

Продолжение разговора было совершенно иное, чем его начало,

3

В «Современной идиллии» Щедрина есть одно место, которое, наверное, остается непонятным нынешним читателям.

Щедрин рассказывает в «Современной идиллии», как Глумов, от имени которого ведется повествование, Фаинушка и вся остальная честная компания решились вступить на стезю благонамеренности. Для этого они все

натворили немало пошлостей, глупостей, преступлений, — лишь бы только о них перестали говорить, как об опасных и *неблагонадежных* лицах.

В этом рассказе Щедрин изобразил одну из самых мрачных сторон жизни русского интеллигентного человека того времени. Одна личная порядочность, честность, независимость убеждений, даже простая идейность в жизни человека очень часто могла являться тяжким обвинением и уликой против интеллигентного человека в его неблагонадежности, и нередко все эти подозрительные качества влекли за собою самые серьезные неприятности для лиц, повинных в них.

Люди, в высшей степени порядочные и вообще безглые в отношении к разного рода грязным лицам *должны* бывали часто поддерживать с ними отношения, потому что знакомство с ними не только было очень полезным громоотводом от всякого рода политических неприятностей и преследований, но самый *отказ* от этих знакомств бывал источником неизбежных крупных неприятностей.

После всякого рода мытарств вся компания, о которой повествует Щедрин, попала в уездный город Кашин. Там их привел в восторг местный окружной суд по политическим делам. Особенно понравился им председатель суда — Иван Иванович. Зная, что когда-нибудь, где-нибудь да придется отвечать за совершенные деяния, вся компания стала мечтать о том, чтобы постараться судиться именно в Кашине, у Ивана Ивановича, а не где-либо в другом месте. Они решили так или иначе отдать себя немедленно в Кашине в руки правосудия и понести кару за свои преступления по приговору суда, где стал бы председательствовать Иван Иванович.

Но вот, когда они возвратились после посещения суда к себе на постоянный двор, там их ожидала приятная новость. На имя одного из них был получен пакет.

«Вскрываю, — говорит рассказчик, — и не верю глазам своим... — от клуба Взыволнованных Лоботрясов! * Осведомившись о наших усилиях вступить на стезю благонамеренности, клуб, по собственному почину, записал нас всех шестерых в число своих членов, с обложением соответственной данью на увеселение (описка, вместо «усиление») средств. А именно: купец Парамонов

обязывается ежегодно вносить по двадцать пять тысяч, купчиха Стёгнушкина — по десять тысяч, а все прочие — по десяти рублей. Причем давалось нам знать: а) что все содеянные нами доселе преступления прощаются нам навсегда; б) что взносы могут быть производимы и фальшивыми кредитками, так как лоботрясы, имея прочные связи во всех слоях общества, берутся сбывать их на настоящие.

— Глумов! — воскликнул я в восторге. — Смотри! Лоботрясы простили нас! А мы-то унывали... малoverы!»

Для того чтобы объяснить это место в «Современной идиллии», я расскажу о событиях, наделавших в Петербурге в свое время немало шума.

В ноябре 1882 года в Петербурге, главным образом среди студентов, под предлогом организации тайного антитеррористического общества, были распространены в большом количестве гектографированные приглашения к взаимному шпионству. Вот несколько отрывков из этого воззвания.

«Борьба с террором, как причиной такого (то есть каким было положение русских общественных дел) ненормального положения, — говорилось в прокламации, — становится обязанностью всех, желающих блага своей родине.

На этом основании общество, образовавшееся для борьбы с террором и насчитывающее в своей среде значительное число членов, предлагает вам (то есть тому лицу, которому адресовано письмо) примкнуть к деятельности этого общества...

Члены общества подразделяются на две категории — действительных членов и членов-сотрудников; первые посвящаются во все без исключения дела общества; члены же сотрудники в первый период своей деятельности посвящаются только в дела, в которых они должны принимать непосредственное участие, и знают только одного действительного члена. Время перехода из членов-сотрудников в действительные члены не определяется и находится в зависимости от степени принесенной сотрудником пользы и заслуженного доверия общества. Но и до перехода в действительные члены сотрудник может проводить через действительного члена свои взгляды вообще, которые и будут приниматься обществом в соображение...

Общество сохраняет имена членов и сотрудников в абсолютной тайне, гарантируя таким образом их полную безопасность...

Отношения членов между собою и сотрудниками происходят в различных, каждый раз условленных местах для того, чтобы сношения эти не были обнаружены...

На обязанности общества лежит предоставление своим членам и сотрудникам легальных занятий, обеспечивающих им средства к жизни, или общество выдает из общественной кассы денежные субсидии, если члены в них нуждаются...

Общество гарантирует свободу каждого из лиц, которое, принимая ранее участие даже в террористических актах, обязуется честным словом не принимать дальнейшего участия в революционной деятельности. Общество гарантирует свободу этого лица, смотря по его желанию, двумя способами: или получением полной амнистии, которой общество надеется достигнуть через посредство своих связей, или безусловным доставлением как материальных, так и других средств для отъезда за границу...

Настоящее обращение общество просит сохранить в тайне...

Адрес для ответа: Главный почтамт: Н. И. Кьедусу. До востребования».

На прокламации была приложена голубыми чернилами печать с гербом и голубем, держащим во рту миртовую ветку. Наверху печати стояли буквы П. Ц. Н., а внизу «О. Б. П. Т.», т. е. «Общество борьбы против террора».

С этим воззванием «Общества борьбы с террором» случился курьез, в свое время много заставивший говорить о себе.

Какие-то шутники перегектографировали этот листок с фотографической точностью и только в конце добавили от себя несколько следующих слов:

«Пожертвования в пользу общества, адресованные на имя «Майора», принимаются в редакциях газет «Минута», «Свет» и «Новое время».

Затем на прокламации простыми чернилами было добавлено еще следующее:

«Адрес: Главный почтамт. Н. И. Кьедусу.

Общество приносит многоуважаемой редакции искреннюю благодарность за выраженное ею согласие принимать пожертвования в пользу Общества».

Это «дополненное» издание судейкинской прокламации было послано по почте в редакции «Нового времени», «Света» и «Минуты».

Редакции «Нового времени» и «Минуты» не поняли, в чем дело, и разразились громовыми статьями за злоупотребление именем их газет. В ответе «Нового времени», впрочем, имелось в виду, как мы увидим ниже, и другие цели, кроме самозащиты.

Как к этой шутке отнеслась редакция «Света» — я не знаю.

Резкая статья «Минуты» по поводу прокламации была направлена лично против Судейкина, но этой статье не суждено было появиться в печати. Она была задержана цензурой, и я ее видел только в корректурном оттиске. Статья была написана в очень резком тоне и с прямым обвинением Судейкина в провокации.

«Новое время», издававшееся без предварительной цензуры, было счастливее «Минуты». Номер «Нового времени» со статьей о прокламации вышел из типографии прежде, чем эта статья обратила на себя внимание власть имущих, но уже с раннего утра по Петербургу забегали городовые, отбирая, где только было можно, этот («Новое время», 24 ноября 1882 г., № 2422) злополучный номер, и он потом продавался, говорят, по пяти и десяти рублей и дороже.

Статья в «Новом времени» была озаглавлена: «Политическое шутовство, или Не мытьем, так катаньем» и помещена на первой странице газеты. Очевидно было, редакция придавала этой статье очень важное значение. В тексте статьи была целиком перепечатана прокламация Судейкина.

Редакция «Нового времени» (искренно или неискренно, — это другой вопрос) отказывалась верить в существование «Общества борьбы против террора» и на Судейкина посмотрела менее всего как на автора рассылавшейся прокламации, а скорее — как на жертву каких-то «шутников». «Документ этот, — говорило «Новое время», — очевидно, есть не что иное, как политическое шутовство, затеянное явными или тайными без-

дельниками». Редакция более всего склонна была видеть в прокламации продолжение борьбы лично против нее, борьбы, которую с ней вели разные представители прессы, суда и т. д. В это время редакция «Нового времени» обвинялась в диффамации Стасюлевичем, д-ром Рудневой-Кашеваровой и др.* Прокламация, — говорит «Новое время», — «направлена в значительной степени против нас, с целью заподозрить нас в глазах общества, взять не мытьем, так катаньем, не открытою полемикою, то тайными подкопами, клеветой, которая распространилась бы тайно и притом в форме, придуманной довольно неглубо».

В то же время ссылку авторов прокламации на редакции известных газет «Новое время» объясняет и другой целью — желанием придать серьезность обществу и еще более помистифицировать читателей.

Сделаем еще несколько выдержек из этой весьма любопытной статьи «Нового времени»:

«Нам говорили, что по городу распространено значительное количество таких «прокламаций», что их получили многие студенты, многие курсистки и с недоумением передавали их своему начальству, которое с своей стороны посмотрело на эти документы с недоумением же. Форма этих «прокламаций», их серьезный тон действительно могли вводить в заблуждение, в особенности при беглом просмотре и при воспоминании о том случае, который больше года тому назад попал из иностранных газет в русские и который передавал о том, что якобы в Петербурге организуется тайное общество с целью действовать против террористов их же способами»¹.

Из статьи «Нового времени» видно, что по городу были распространены прокламации, которые «при ближайшем рассмотрении» «оказывались не всегда во всем согласны между собою — на некоторых стояла газета «Русь» наряду с «Московскими ведомостями» и «Новым временем».

В тот же день, как появилась разбираемая нами статья в «Новом времени», было запрещено специаль-

¹ Этому обществу, действительно существовавшему (о чем, конечно, знало и «Новое время», но считало почему-то нужным показать вид, что оно этого не знает), Щедрин посвятил одно из своих «Писем к тетеньке»*. (Примеч. Вл. Бурцева.)

ными предписаниями перепечатывать ее и комментировать.

О статье «Нового времени» появились корреспонденции за границей — между прочим в «Пестер Ллойд», «Нейе Фрейе Прессе» и «Таймс» (1/13 декабря 1882 г.).

«Таймс» приписывает появление этой статьи в «Новом времени» инициативе тогдашнего министерства внутренних дел — графа Дм. Андр. Толстого, который был против всех «антитеррористических обществ» и считал вполне достаточной одну специальную полицейскую организацию.

Таким образом, целью статьи «Нового времени» была борьба со всеми антитеррористическими обществами во имя толстовского идеала — единой специальной организацией, находившейся под непосредственным ведением министерства внутренних дел.

Один экземпляр этой судейкинской прокламации был принесен и к Щедрину знакомым ему студентом.

— Михаил Евграфович, — сказал ему студент, передавая прокламацию, — заступитесь хоть вы! Что *они* с нами делают!.. Ведь жить же нельзя, наконец!..

Прокламация возмутила Щедрина *, и он долго «поливал» без всяких стеснений крепкими словами всех, кто мог быть так или иначе виновным в издании прокламации и ее распространении. На просьбу студента воспользоваться прокламацией и «продернуть» ее авторов в «Современной идиллии», которую Щедрин печатал тогда в «Отечественных записках», Щедрин только безнадежно махнул рукой. По его словам, нечего было и думать, чтобы цензура пропустила хотя слабый намек на эту прокламацию. Рисковать особенно Щедрин не хотел потому, что незадолго перед тем две его статьи были вырезаны из «Отечественных записок» и журналу грозили закрытием, если он будет продолжать держаться «вредного» направления.

Не надо забывать, что 1882 год был началом управления министерством внутренних дел графа Дм. Андр. Толстого и тогда только что были проведены новые законы о печати, на основании которых вскоре потом и были закрыты «Отечественные записки».

Когда студент уходил от Щедрина, он попросил его оставить прокламацию и хотел подумать, нельзя ли будет как-нибудь ею воспользоваться.

Действительно, через несколько недель после только что описанного разговора Щедрина со студентом в январской книжке «Отечественных записок» (за 1883 г.) появилось то место «Современной идиллии», которое я выписал выше.

Многие и тогда поняли, кого хлестнул Щедрин в этом очерке и кого он называл членами *«Клуба взволнованных лоботрясов»*.

Намек пришлось сделать очень неопределенный, но те, к кому он был адресован, расписались в получении.

Дальнейших комментариев к указанному месту в «Современной идиллии», мне кажется, приводить нет нужды. Скажу только, что «Клубом взволнованных лоботрясов» в то время называли не один какой-нибудь кружок, а ряд «тайных» (?!!) кружков и организаций, которых в 1881—1882 годах расплодилось довольно много¹.

Опасения Щедрина за «Отечественные записки» в разговоре со студентом, принесшим ему прокламацию Судейкина, оправдались. За январскую книжку 1883 года редакция «Отечественных записок» получила второе предупреждение.

«Принимая в соображение, — говорилось в правительственном распоряжении, — что журнал «Отечественные записки» обнаруживает вредное направление, предавая осмеянию и стараясь выставить в ненавистном свете существующий общественный, гражданский и экономический строй» и т. д., министр внутренних дел определил: «объявить журналу «Отечественные записки» *второе* предостережение в лице издателя статского советника Андрея Краевского и редактора действит. ст. сов. Михаила Салтыкова».

¹ И, прежде всего, так называемую «Священную дружину»*.
(Примеч. В. Бурцева.)

А. И. Ульянова-Елизарова

Старшая сестра В. И. Ленина Анна Ильинична Ульянова-Елизарова (1864—1935) сообщает факты, представляющие безусловный интерес для биографии Салтыкова. Она вспоминает о том, как в 1885 и 1886 годы больного писателя посетили студенческие делегации и в их составе — сама Анна Ульянова, Александр Ульянов («Саша») и его товарищ Петр Швырев. Все трое примкнули к революционному движению еще в студенческие годы и входили в его боевой актив. Арестованные по делу 1 марта 1887 года — неудавшееся покушение на жизнь Александра III — Александр Ульянов и Петр Швырев были казнены, Анна Ульянова выслана из Петербурга под надзор полиции.

<АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ У САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА>

...Запечатлелись наши деputationи к Салтыкову-Щедрину в день его именин — 8 ноября — в 1885 и 1886 годах.

Мы ощущали очень горестно, что наш любимый писатель вынужденно умолк, что орган его закрыт*, но чем могли мы в то время выразить ему сочувствие? Все формы общественного проявления были тогда закрыты; единственно признанным было принесение приветствия в традиционный день именин. И молодежь воспользовалась этой форточкой. 7 ноября 1885 года ко мне пришел вечером товарищ Саши по гимназии, студент военно-медицинской академии Орловский, с предложением организовать на курсах деputationю к Щедрину, который болен и чувствует себя очень одиноким и всеми забытым.

Он сказал, что говорил с Сашей, что такие депутации с письменными приветствиями будут посланы 8-го и от университета и от нескольких других высших учебных заведений; желательно, чтобы была и от курсов *.

Я набросала проект адреса, который был принят на другой день на общекурсовом собрании, и в составе избранной на нем делегации отправилась на квартиру Михаила Евграфовича. Видеть его нам не пришлось: нам сказали, что он очень болен, и мне помнится даже, что я слышала стон из его комнаты. Нас пригласили в гостиную, где было уже несколько посетителей и где дочка писателя, нарядная, как куколка, девочка лет тринадцати, в голубом плиссированном платье, подвигала нам стулья. Мы перемолвились несколькими словами о здоровье Михаила Евграфовича с его женой, вручили наш адрес и удалились.

Делегация студентов, в которую входил и Саша, попала в другое время *.

На следующий день начальница Высших женских курсов Н. В. Стасова вызвала меня к себе и, затворившись со мной в пустой аудитории, рассказала, что видела также в день именин Михаила Евграфовича, который выразил ей свое удовольствие по поводу адреса от курсисток *, сказав, что он показался ему самым прочувствованным, понравился ему больше всех других, полученных в тот день. Надежда Васильевна добавила: «Мне очень было приятно слышать это; уже второй раз (она назвала еще какого-то писателя или профессора) слышу я, что адрес от курсов признан лучшим. Я всецело сочувствую вам, но вы понимаете, конечно, что при теперешнем положении курсов * мы не могли бы подать его от них официально».

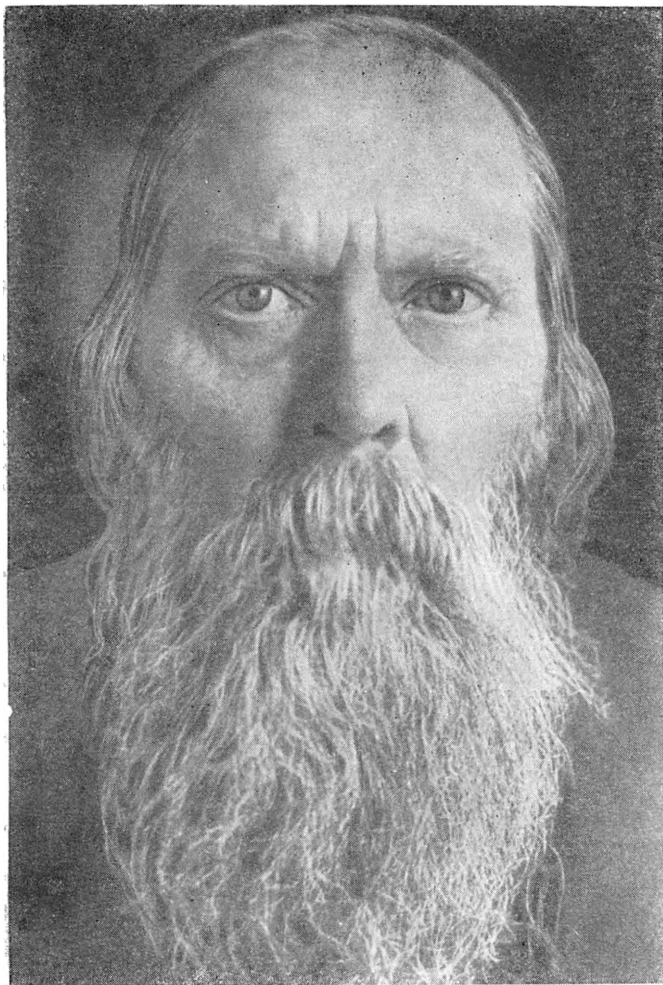
Когда я рассказала об этом разговоре Саше, он спросил: «Это ты написала адрес?»

На следующий 1886 год такой агитации по всем учебным заведениям, не помню уже по какой причине, проведено не было, а 8 ноября на квартиру Щедрина отправилась общая небольшая, человек восемь—десять, делегация от высших учебных заведений. Кроме нас с Сашей в нее входили: студент Мандельштам, однокурсник брата, курсистка Москопуло (теперь Никонова), остальных не помню *. На этот раз Щедрин вышел к нам. Помню, что он был хмурый, худой и желтый,



М. Е. Салтыков-Щедрин. Начало 1860-х г.г.

Литография Дейперта.



М. Е. Салтыков-Щедрин. 1886.
Фрагмент фотографии Л. Ф. Пактеева.

с отросшей бородой, в потертом домашнем костюме. С устным приветствием от общего имени обратился к нему М. Мандельштам. Поблагодарив за него, Михаил Евграфович всем нам пожал руки. А. В. Москопуло-Никонова вспоминает, что, когда дошла очередь до Александра Ильича, он так крепко, от всей души пожал руку Щедрина, что тот схватил ее другой рукой и заорчал: «Ой-ой! нельзя же так сильно... мне больно». Александр Ильич был страшно смущен, покраснел и стал бормотать какие-то извинения. «Ну, ничего, ничего», — сказал тогда добродушно Щедрин.

Я этого не помню, но у меня осталось в памяти, что вся наша делегация чувствовала себя смущенно, держалась угловато, что приветствие Мандельштама вышло скомканным и неумелым, а Саша при выходе выглядел хмуро и недовольно.

З. А. Венгерова

Мемуарный набросок писательницы Зинаиды Афанасьевны Венгеровой (1867—1947) дополняет воспоминания А. И. Ульяновой-Елизаровой о студенческой делегации к Салтыкову в ноябре 1886 года. В ту пору, о которой идет речь в рассказе Венгеровой, она была слушательницей Высших женских курсов в Петербурге, так называемых «Бестужевских».

ИЗ ЗАПИСОК СОВРЕМЕННОЙ

Осенью 1886 года в Петербурге стали носиться вести о серьезной болезни М. Е. Салтыкова-Щедрина *. Университетская молодежь, студенты и курсистки воспринимали эти вести в их общественном аспекте. Личная судьба писателя, его болезнь, страдания, быть может, и мало волновали естественный эгоизм здоровья и молодости, но больной был смелым врагом ненавистного политического режима, и всех охватывало желание проявить свою солидарность с ним, «пожать ему руку» под предлогом его болезни.

Таким настроением была проникнута и та маленькая группа из трех студентов университета и двух слушательниц Бестужевских (Высших женских) курсов, отправившаяся 8 ноября 1886 года «поздравить с днем ангела и пожелать скорого выздоровления» (полицейски вполне легальный повод для того, что в действительности предназначалось быть политической манифестацией) больному Щедрину. Но как бесконечно далеки были участники этого «именинного визита» от представлений об исторической символике сцены, разыгравшейся в тот день в кабинете больного писателя.

Больной, еле держась на ногах, кутаясь в халат,

Щедрин с явным напряжением принимал депутацию от молодежи, а не принять студентов было не в нравах того времени, когда писатель, как воин, должен был быть до конца «на посту», оставаясь учителем и выразителем дум и мечтаний интеллигенции. Но если бы каким-то чудом внутренний голос шепнул больному Щедрину, что перед ним, умирающим борцом, стоит брат будущего революционного вождя, как бы осветилось его страдальческое лицо и зажглись надеждой глаза, глядевшие с большим страхом на вторгнувшихся к нему посетителей...

Щедрин, глядящий перед смертью в глаза Ленину, — какой поразительный ракурс истории. А между тем таков был скрытый от всех в тот день смысл того, когда к Щедрину пришла студенческая делегация, в которой участвовал брат Ленина — Александр Ульянов.

Во всей простоте фактов произошло следующее.

В связи с болезнью Щедрина студенческое собрание Петербургского университета постановило отправить к нему делегацию в день его именин, 8 ноября, с пожеланиями скорого выздоровления. Депутатами выбраны были Ульянов и Шевырев и еще один студент, фамилию которого я не запомнила *. Высшие женские курсы присоединились к депутации в лице двух депутаток, слушательниц последнего курса словесного отделения — Анны Ульяновой и меня *.

Решено было собраться всем у Ульяновой на Песках *. От нее было недалеко до Литейной, где жил Щедрин, — и предполагалось пойти в ранний дневной час, наиболее удобный для визита к больному. Ульянова сказала мне, что один из депутатов — ее брат, который жил отдельно от нее, придет вместе со своим товарищем — Шевыревым. Сестра последнего была тоже бестужевка, слушательница нашего курса. Она была необыкновенно красивая девушка, высокая, статная блондинка с тяжелыми косами — типичная русская красавица.

Когда я пришла к Ульяновой — она жила в меблированной комнате, в нижнем этаже, помнится, с ходом через кухню, — я застала у нее уже ее брата Александра и Шевырева. По моим воспоминаниям, Александр Ульянов был среднего роста брюнет с бледным худым лицом. В тот единственный раз, когда я его видела, он был скорее молчалив. Я слышала громкий говор и смех, когда входила, — но говорил Шевырев. Я его сейчас

узнала по сходству с сестрой. Он тоже был блондин со светлыми глазами.

Анне Ульяновой было тогда двадцать два года. У нее была очень оригинальная внешность. Лицо с крупными чертами несколько татарского типа, узкие черные глаза, густые, коротко стриженные курчавые черные волосы. Что-то сектантское в сосредоточенном выражении лица. Невысокая, плотная, она вспоминается мне всегда в черном шерстяном платье, с лифом, застегнутым на круглые черные пуговицы.

Вскоре после моего прихода явился и третий студент. Он был, видимо, приятель Ульянова и Шевырева. Мне, вероятно, назвали его фамилию, но я ее не запомнила. Помню только, что он был высокого роста красивый брюнет еврейского типа. Выяснилось сейчас же, что он юрист, так как стали уславливаться, кому сказать приветственную речь Щедрина, и оба, Ульянов и Шевырев, указали на него: «Он юрист, известный у нас оратор — речь сказать его дело».

На этом и порешили и, поговорив немного, двинулись в путь. Времени было достаточно, и мы пошли пешком. До Литейной было недалеко, а день был чудесный — ясный и морозный. Когда мы вышли на Невский, нас охватило то особое возбуждение, которое вызывает ослепительная белизна снега на солнце и бодрящий зимний воздух. Не мне было знать тогда, чем полны были думы двух молодых революционеров, судьба которых уже близилась к вершине их подвига — к роковой развязке. Помню только, что мы все, и они в том числе, были веселы, шутили и смеялись по дороге, радуясь солнечному дню, нашей собственной молодости и, с легкомыслием молодости, забывая о том, что мы шли к тяжело больному.

Но вот и Литейная, и мы подходим к барскому красивому дому, где жил Щедрин, и звоним. Недоуменное выражение лица девушки, готовой дать отпор нашествию нежданных гостей. Мы кратко и властно заявляем: «Делегация учащихся».

Девушка уходит доложить, и мы ждем, уверенные, что нас примут, — молодежи не отказывают в приеме в доме борца-писателя. Настроение наше, однако, сразу упало. Нас охватила атмосфера болезни, надвигающихся вершений судьбы.

Девушка вернулась, прося «пожаловать». Следуя за нею, мы вошли в комнату, где, в сером халате, плотно стянутом шнурком на его длинной худой фигуре, стоял М. Е. Салтыков. Он глядел на нас расширенными от болезни, большими, светлыми, прозрачными глазами. В них было тяжкое страдание и глубокая тоска.

В комнате, куда нас ввели, стояла у правой стены кровать; но это не была спальня, а скорее кабинет, наскоро приспособленный для надобностей больного. Огромный письменный стол, стоявший вдоль широкого венецианского окна, был весь заставлен лекарствами. Слякки, бутылки стояли на этажерках. В комнате чувствовалась во всем больничная обстановка. Становилось не по себе, поднималось чувство, что мы в тягость больному, и мы стояли кучкой у дверей, не решаясь подойти к Щедрину, неподвижно стоявшему на некотором расстоянии от нас.

Мгновение странного молчания, скрестившиеся взгляды двух поколений. Но вот, отделившись от нашей группы, выступил вперед высокий молодой брюнет с красивым лицом, уже прославившийся кружковый оратор, подошел к Салтыкову — и начал речь...

Помню остро, как с первых же слов у меня упало сердце. Что он говорил, я, конечно, забыла. В речи его, наверно, было все, что такая речь требовала. Он был действительно талантливый оратор. Но самая речь — чего мы не предвидели и что выявило мгновение молчания — была не нужна. Близкий к смерти великий писатель слишком выстрадал сам в собственном духе свою правду, чтобы ему преподносить ее в упрощенном студенческом понимании... Я узнала впоследствии, что речь нашего оратора не понравилась и другим участникам делегации. Сам же он, увлеченный своим красноречием, длил свое слово, как нам казалось, свыше меры, и мы все время чувствовали на себе взгляд говоривших глаз на длинном худом лице, взгляд, полный тоски и боли...

Наконец оратор кончил и, схватив руку Щедрина, крепко потряс ее с горячностью искренне молодого чувства.

Еще одно мгновение напряженной тишины. Что ответит Щедрин? С какими словами обратится к приветствовавшему его молодому поколению?

Ждем. Писатель медленно высвободил свою руку из крепкого рукопожатия. Раздались тихие четкие слова:

— Как крепко вы жмете руку, молодой человек!

И столь же медленно, с тяжким напряжением, он подошел к остальным членам депутации и попрощался за руку с каждым из нас. Мы едва касались его пальцев, тихо, безнадежно пожелали ему «скоро поправиться» и вышли молча из его комнаты, молча спустились по лестнице.

Выйдя из подъезда, мы все вместе направились к Невскому, охваченные общим впечатлением от краткого, но глубоко запавшего в память свидания с больным писателем. Казалось, он дал нам бесконечно много своим незабываемым взглядом, точно приобщил нас своей тоске, точно завещал нам свой непримиримый гнев. Оттого так глубок и властен был его больной взгляд, оттого слова, произнесенные одним из нас, показались в ту минуту недостаточными и ненужными.

Но помимо ненужных слов был жест, было рукопожатие. Рукопожатие Щедрина и одного из представителей того молодого поколения, которое дало Александра Ильича Ульянова.

Мы дошли до Невского и расстались на углу. Молодые люди вскочили в пробегавшую мимо конку. Морозный мрак поглотил их лица. Каждый из них спешил по своим «неотложным» делам — навстречу жизни, судьбе — и смерти.

Весна 1887 года. Экзамены нашего выпуска Высших женских курсов. В зале заседаний курсов, на Васильевском, на доске объявление о том, что последние листы записок по одному из предметов — не помню какому — будут выдаваться завтра утром. Подпись составительницы записок: Ольга Шевырева. Из газет слушательницы знали, что за два дня до этого состоялась казнь Ульянова и Шевырева*.

На следующее утро слушательницы приходили за записками. Покорная долгу, призрачно-бледная, Шевырева стояла и раздавала листы записок. Мы молча брали и только крепко жали ей руку. Что можно было сказать в такую страшную минуту? Но всем осталось памятным ее лицо, венец светлых кос на голове и тихая скорбь, которую мы все делили с ней.

НА СЛУЖБЕ

К. С. Веселовский

Константин Степанович Веселовский (1819—1901) — известный ученый, академик по отделу статистики и политической экономии. В пору своей молодости Веселовский был связан с М. В. Буташевичем-Петрашевским (они были товарищами по Царскосельскому лицей) и увлекался идеями утопического социализма. Он сотрудничал по экономическим вопросам в обоих демократических журналах того времени — «Отечественных записках» и «Современнике», его статьи высоко ценил Белинский.

Приведенный ниже рассказ Веселовского о том, что первоначально он, а не Салтыков, должен был стать жертвой репрессивной деятельности так называемого «меншиковского комитета», учрежденного Николаем I после революции 1848 года, соответствует истине. Однако от мемуариста осталась навсегда скрытой подлинная причина такого поворота событий. Этой причиной явилось вмешательство всевышнего III Отделения, изменившее благожелательную сначала, по отношению к повести Салтыкова, позицию комитетского докладчика по журналу «Отечественные записки», сенатора П. И. Дега (см. С. Макашин, Салтыков-Щедрин. Биография, М. 1951, изд. 2-е, т. 1, стр. 277—291).

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «ОТГОЛОСКИ СТАРОЙ ПАМЯТИ»

...В 1847—1848 году я жил в Галерной улице, в громадном доме Риттера, в 4-м этаже, а близким моим соседом был Александр Дмитриевич Крылов, живший в доме Шитта, смежном с домом Риттера и стоящем на углу Замятнина переулка. Он был тогда в чине

коллежского асессора, чиновником особых поручений при департаменте железных дорог и, будучи известен князю А. С. Меншикову, был в то время переведен на службу в военно-походную по флоту канцелярию¹. Молодые люди легко знакомятся и сближаются между собою; я встречал Крылова у Н. А. Милютина; мы были по годам почти ровесниками и скоро стали хорошими приятелями <...>.

В один день, во второй половине марта (1848 г.), Крылов входит ко мне с таинственным и смущенным видом и передает мне под строжайшим секретом, лишь по долгу дружбы, что он по приказанию князя Меншикова занимается по секретному комитету, назначенному для расследований о вредных направлениях в русской печати, и что в этом комитете готовится всеподданнейший доклад, в котором на мою появившуюся в «Отечественных записках» статью о жилищах рабочего люда в Петербурге * указывается как на вредную для общественной безопасности.

Нечего говорить, что от этого известия меня как бы варом обдало. Я ясно увидел, чем это мне грозило. Как бы я в глубине души ни сознавал, что в злополучной статье моей мною руководило одно лишь самое искреннее желание общей пользы, как бы я ни был убежден, что от нее не может быть никакой опасности для государства, но должен был видеть, что до моих убеждений и до моей добронамеренности никому нет дела, — они могли оставаться лишь при мне, — а перед моими глазами подымалось обвинение меня «негласным» трибуналом, составленным из самых доверенных и высокостоящих государевых советников *, — обвинение, взводимое в то время, как по ту сторону наших границ бушует революция, со всеми свойственными ей безумствами и кровавыми эпизодами, и порождает у нас страхи, хотя бы и химерические, но тем не менее весьма реальные. Для меня отныне стала ясна моя судьба: в лучшем случае — по бывшим примерам, недобровольное путешествие на казенный счет под охраною специального блюстителя общественной безопасности в один из отдаленных благословенных городов нашего отече-

¹ Впоследствии он был членом главного военного суда и умер в чине тайного советника в марте 1895 г. (Примеч. К. Веселовского.)

ства, например, в Вологду или Вятку, если еще не дальше, а вместе с тем прощай моя служба, прощай все, что мною дотоле в ней с таким трудом достигнуто! Только с небольшим за год перед тем я был назначен (31 декабря 1846 г.) начальником статистического отделения департамента сельского хозяйства; эта должность была первою ступенью, которая ставила меня на виду у начальства и давала основание для надежд на дальнейшее улучшение моего положения. Она составляла собою важный шаг для человека, лишенного какой бы то ни было протекции и обязанного обеспечивать свое существование одним собственным трудом. И вдруг предстояло проститься со всем, что уже было приобретено, со всем, чем еще манили надежды в будущем.

Не стану описывать, да не хотелось бы даже и вспоминать, в каком я был тогда мрачном расположении духа; охладев к каким бы то ни было занятиям, я бродил бесцельно по улицам столицы, в которой я себя уже чувствовал лишь временным гостем. Так прошло не помню сколько времени, — неделя или две; вдруг Крылов вбегает ко мне с радостным лицом и с благовешным словом: «Вы спасены», и тут я узнаю из его рассказов следующее.

Если легко было голословными обвинениями заподозрить тогдашние журналы в распространении вредных для государственной безопасности учений и тем бросить тень на действия цензуры, то не так легко было конкретными доказательствами оправдать такие обвинения. Периодическая печать, да и не одна она, а все печатное слово в то время, радикально ассенизируемое властною и чуткою цензурою, представляла собою такое отсутствие не только вредных, но даже каких-нибудь живых идей, что отыскание в ней этих конкретных доказательств было бы не под силу даже и самым записным читателям русской журналистики; а члены секретного комитета, вероятно, мало даже заглядывали в нее; чтобы, однако же, исполнить возложенную на них задачу, они разобрали между собою выходившие в то время журналы и стали читать каждый доставшуюся на его долю пачку их. Легко себе представить скуку этих недобровольных читателей массы неинтересной для них испечатанной бумаги, в которой, как бы ни смотрели они на нее в лупу, не открывалось искомых ими криминальных вещей.

В то время как они, за неотысканием чего-нибудь более веского, решили уже, *faute de mieux*¹, принести в жертву меня и мою бедную статью, в заседание комитета является один из членов, кажется П. И. Дегай, с радостным *эврика! эврика!*² и заявляет, что в том же томе «Отечественных записок», в котором напечатана статья Веселовского, он нашел нечто еще лучшее или худшее, — не знаю как сказать, — а именно повесть под заглавием «Запутанное дело», подписанную буквами М. С., под которыми скрылся автор ее, Михаил Салтыков. В ней изображена печальная судьба молодого человека, сына бедного мелкопоместного дворянина, как он, прибыв из родительского дома на службу в Петербург, нигде не мог найти себе места и после недолгой борьбы с горькою нуждою печально кончил свою жизнь в крайней нищете. Этот «случай», как назвал его автор в заглавии своей статьи, вращается в среде мелкого столичного люда и по своей банальности, конечно, не обратил бы на себя ничьего внимания, если бы герой повести, лежа больной на смертном одре, не увидел курьезного сна, на пагубу автора. В этом сне Иван Самойлович (герой повести) «разом очутился в совершенно неизвестном ему государстве, в совершенно неизвестную эпоху, окруженный густым и непроницаемым туманом. Вглядываясь, однако же, пристальнее, он не без удивления заметил, что из тумана вдруг начинает отделяться бесчисленное множество колонн и что колонны эти, принимая кверху все более и более наклонное положение, соединяются, наконец, в одной общей вершине и составляют совершенно правильную пирамиду. Но каково же было изумление бедного смертного, когда он, подойдя к этому странному зданию, увидел, что образующие его колонны сделаны вовсе не из гранита или какого-нибудь подобного минерала, а все составлены из таких же людей, как и он, только различных цветов и форм... И вдруг в этих колоннах замелькали ему в глаза различные знакомые лица... и все эти знакомые лица так низко стоят, так бессознательно, безлично улыбаются, завидев Ивана Самойловича, что ему стало совестно и за них и даже за самого себя, что мог он водить знаком-

¹ за неимением лучшего (франц.).

² я нашел! я нашел! (греч.)

ство с такими ничтожными, не стоящими плевка людьми.

«А что, если и я...» — подумал он, да и не додумал, потому что мысль его замерзла на половине пути: так испугался он вдруг, вспомнив, что этак и себя может, пожалуй, увидеть в не совсем затейливом положении.

И как нарочно огромная пирамида, до тех пор показывавшая ему, одну за другой, все свои стороны, вдруг остановилась. Кровь несчастного застыла в жилах, дыхание занялось в груди, голова закружилась, когда он увидел в самом низу необыкновенно объемистого столба такого же Ивана Самойловича, как и он сам, но в таком бедственном и странном положении, что глазам не хотелось верить. И действительно, стоявшая перед ним масса представляла любопытное зрелище: она вся была составлена из бесчисленного множества людей, один на другого насаженных, так что голова Ивана Самойловича была так изуродована тяготевшею над нею тяжестью, что лишилась даже признаков своего человеческого характера, а часть, называемая черепом, даже обратилась в совершенное ничтожество и была окончательно выписана из наличности. Вообще во всей фигуре этого странного, мифического Мичулина (т. е. Ивана Самойловича) выражался такой умственный пауперизм, такое нравственное нищенство, что настоящему, издали наблюдавшему Мичулину сделалось и тесно и тяжело, и он с силою устремился, чтобы вырвать своего страждущего двойника из-под гнетущей его тяжести. Но какая-то страшная сила приковывала его к одному месту, и он, со слезами на глазах и гложущей тоскою в сердце, обратил взор свой выше.

Но чем выше забирался этот взор, тем оконченнее казались Ивану Самойловичу люди...

Он сам теперь чувствовал, какая страшная тяжесть давила его голову; он чувствовал, как, одно за другим, пропадали те качества, которые делали из него известный образ... Холодный пот обливал его тело; дыхание замерло в груди; волосы один за другим шевелились и вставали; весь организм трепетал в паническом ожидании чего-то неслыханного... Он сделал отчаянное, непомерное усилие, и... проснулся!» *

По выслушании этого сообщения члены комитета пришли, что в этом сне нельзя не видеть дерзкого умысла —

изобразить в аллегорической форме Россию*, и что по повести Салтыкова должно быть внесено в изготавливаемый доклад о вредных направлениях журналов. Тогда князь Меншиков, согласившись с этим, заметил, что нельзя обременять внимание государя мелочами, и предложил исключить из приготавливаемого доклада то, что было там сказано о моей статье, а ограничиться в нем одною лишь повестью Салтыкова, как более подходящею к цели доклада, с чем прочие члены комитета и согласились.

Итак, вот каким, можно сказать, чудесным образом я уцелел от беды, и вместо меня поехал, как известно, в Вятку М. Салтыков...

.

И. А. Пузыревский

Автор этих воспоминаний редактор-издатель журнала «Славянская корреспонденция» Илья Алексеевич Пузыревский и автор приложенных к ним дневниковых записей — казенно-патриотический литератор Нестор Васильевич Кукольник служили в конце сороковых годов вместе с Салтыковым в канцелярии военного министерства. Пузыревский был младшим сослуживцем, Кукольник — старшим: он состоял чиновником особых поручений при военном министре, кн. А. И. Чернышеве. В апреле 1848 года, когда над будущим сатириком разразилась гроза, Кукольник был назначен секретарем следственной комиссии, созданной по приказанию министра для разбирательства «дела Салтыкова». Пузыревский приходился Кукольнику близким родственником, жил вместе с ним и пользовался его доверием. Сведения о «деле Салтыкова», которыми он располагал, восходили, таким образом, к первоисточнику. А когда сорок лет спустя ему пришлось восстанавливать в своей памяти главнейшие факты и обстоятельства ареста Салтыкова и следствия над ним, он имел возможность опереться на такой надежный документ, как посвященный этим событиям дневник Кукольника.

Мемуарная заметка Пузыревского была написана вскоре после смерти Салтыкова как ответ на воспоминания критика А. М. Скабичевского, появившиеся в № 116 газеты «Новости и Биржевая газета» от 29 апреля (11 мая) 1889 года. Заметка датирована в рукописи 14 (26) мая. В рассказе об аресте и ссылке Салтыкова Скабичевский допустил ряд грубых ошибок. Пузыревский предложил свою заметку журналу «Исторический вестник». Редактор С. Н. Шубинский был не прочь напечатать воспоминания Пузыревского, но потребовал удалить из заметки полемику с «Новостями». Пузыревский не согласился, и материалы его остались необнародованными. Поэтому неверный рассказ Скабичевского об одном из важных

эпизодов биографии сатирика оставался неисправленным почти полвека.

Поскольку в настоящее время ошибочность версии Скабичевского документально доказана и версия эта практически уже не существует для читателя, мы опускаем полемический раздел статьи Пузыревского.

Более подробные комментарии к статье Пузыревского и дневнику Кукольника, а также библиография архивной документации ареста и ссылки Салтыкова — см. в публикации М. Панченко в т. 13—14 «Литературного наследства», и в книге: С. Макашин, Салтыков-Щедрин. Биография, М. 1951, изд. 2-е, т. I, стр. 291—296, 540—544.

Дополнительно к этим материалам приведем еще одно, ранее неизвестное свидетельство об аресте и ссылке Салтыкова. Это краткая запись информации, полученной известным библиографом С. Д. Полторацким непосредственно от начальника канцелярии военного министерства ген.-ад. Н. Н. Анненкова полтора года спустя после событий. Вот текст записи: «Салтыков. «Запутанное дело». Служил в канцелярии военного министерства. — Анненков его выключил. — Сделал ему выговор. — Статью показал Чернышеву, а Чернышев государю, и его отослали в Вятку. У отца две тысячи душ (сказал мне Ник. Ник. Анненков. Суббота, 17 декабря 1849 г.)» (ЛБ — Полт. 45—47. л. 9). Таким образом, Николай I решил судьбу Салтыкова не только на основании доклада Чернышева, но и в результате личного ознакомления с повестью «Запутанное дело».

ЗА ЧТО И КАК БЫЛ ВЫСЛАН В ВЯТКУ М. Е. САЛТЫКОВ

<С приложением записей из дневника Н. В. Кукольника>

...Часу в третьем ночи на 22 апреля, возвращаясь домой с именин, я съехался у подъезда с фельдъегерем, который привез Кукольнику пакет от директора канцелярии военного министерства с надписью «О весьма нужном». Приняв этот пакет и не обратив внимания на надпись, так как с подобными надписями получались пакеты почти ежедневно, я положил пакет на письменный стол Кукольника, который еще не возвращался домой. На другой день (22-го) рано, часу в девятом приехали к Нестору Васильевичу начальник II отделения канцелярии воен-

ного министерства А. А. Котомин и чиновник III Отделения канцелярии Гушин, прошли с озабоченным видом в кабинет; через полчаса вышли опять в залу, пока Кукольник одевался. Кукольник, во фраке и с портфелем, тотчас уехал, приказав сказать жене, что едет в канцелярию, а немного спустя отправились и эти господа.

Придя на службу, я застал всю канцелярию в смущении, и мне под секретом передали, что Салтыков, по приказанию военного министра, арестован по какому-то политическому делу, «кажется, сегодня ночью». Кукольника я видел мельком, когда он проходил в кабинет министра и обратно.

К обеду мы его не дождались; вернулся он домой в шесть, усталый, озабоченный, на нем лица не было. На тревожные вопросы жены: что с ним случилось, зачем приезжали утром чиновники канцелярии? — отделялся нехотя какими-то полуответами и только за ужином, когда мы и приехавший вечером чиновник Гушин опять пристали к нему с новыми вопросами и вывели из терпения, он закричал:

— Ах, боже мой, вот надоели! Ну, говорю же вам, что со мной ничего не случилось, случилось несчастье с ним, чиновником — юным Салтыковым. Пока я знаю об этом деле почти столько же, сколько и он, — указывая на Гушина. — Пока — скверно... разжалуют, чего доброго, в солдаты. Хуже всего то, что князь Чернышев тут задет: сам царь ему указал на Салтыкова... * Да вы, господа, смотрите, никому ни слова, не то и мне повредите, и дело можно окончательно испортить... дело секретное, да и рассказывать еще пока нечего: вот начнется следствие, тогда посмотрим, что бог даст.

На том и покончили на этот раз.

Когда на другой день, после обеда, я, провожая, по обыкновению, Нестора Васильевича в кабинет, где он отдыхал после обеда, рассказал ему, что в канцелярии все говорят, что Салтыков будет разжалован и сослан на Кавказ, он с досадой перебил меня:

— Ну да, рады, что есть о чем говорить... да ты, бога ради, подальше от этих разговоров... Нет, право, лучше не ходи эти дни в канцелярию, я завтра скажу Андреевскому¹, что ты нездоров; я, серьезно, больше всего боюсь

¹ Начальник регистратуры. (Примеч. И. Пузыревского.)

твоей неосторожности. Не сердись, — не тебя я боюсь, а твоей неосторожности... знаешь, одно какое-нибудь неосторожное слово может повредить дяде перед начальством, и тогда все пропало. У меня в канцелярии много врагов и завистников... Вот тот, что вчера утром приезжал сюда с Гушиным, рад бы меня в ложке воды утопить. Ты думаешь, ему так ужасно жаль Салтыкова? Дудки! Он — его начальник отделения, и больше за себя боится.

Я просидел два дня таким образом под домашним арестом, и, когда явился на службу, все бросились ко мне с расспросами:

«Где сидит Салтыков; правда ли, что наряжено следствие; что говорит Кукольник?» и т. п. Я, по инструкции Кукольника, на все эти вопросы отвечал: «Ничего не знаю; Кукольник ничего не рассказывает». Была тут и доля правды: я и тогда и до сих пор не знаю, где в первые дни содержался под арестом Салтыков *, точно так же, как не знаю, где заседали комиссия и кто были, кроме коменданта крепости Набокова, ее члены *. Кукольник эти дни был так озабочен, как и вначале, и о деле — ни слова. Видел я его только за обедом; по утрам, часов в одиннадцать—двенадцать, уезжал, возвращаясь к четырем; по вечерам тоже уезжал, но ненадолго. Возвратившись часов в десять — одиннадцать, если заставал кого-нибудь у себя, садились за преферанс; только при этом Нестор Васильевич не шутил, не смешил своих партнеров, как это бывало обыкновенно.

Но вот, на пятый, кажется, день, собираясь на службу, слышу — Нестор Васильевич в кабинете весело разговаривает с женою. Вхожу.

— А знаете, — встречает меня жена, — дядя говорит, что Салтыкова не разжалуют в солдаты. Как я рада, как я рада!

— Ну подожди еще, — перебил ее Нестор Васильевич, — это мы так думаем; что еще скажет князь? Сегодня будет доклад, и все зависит от того, как он его примет. Но дело все-таки приняло довольно благоприятный оборот, спасибо Набокову. Если уязвленное самолюбие князя немного улеглось, то царь не страшен. Царь всегда добр и великодушен. Помнишь, — прибавил он, обращаясь к жене, — семь лет тому назад, как я провинился перед ним *, и за меня никто не просил, и Бенкендорф от

меня отступился... Я думал — в Сибирь упрячут, а царь простил. А ты что же, — обратился он ко мне, — не идешь на службу? Мне тоже время собираться. Да не забудь уговор ¹.

К обеду того же дня Кукольник приехал поздно, расстроенный, смущенный... Обед прошел в молчании. Жена и я пошли за ним в кабинет. На вопрос, что слышно о деле: «Да, досталось всем нам сегодня! И слышать не хочет о смягчении наказания. С заключением комиссии не согласен: «Оставьте здесь доклад, говорит, завтра я сам доложу дело его величеству!» Странно, однако, что одну часть заключения комиссии тут же велел привести в исполнение: «Салтыкова из канцелярии уволить и посадить на неделю на гауптвахту» *. Каков будет конец, господь знает.

На другой день, вернувшись опять позже обыкновенного к обеду — «Да, — сказал Кукольник, — я думал, дело все-таки как-нибудь да обойдется, но ошибся: Салтыков по высочайшему повелению переводится на службу в Вятку, под надзор губернатора. Но все ж таки не в солдаты», — прибавил он как бы в утешение.

Спустя несколько дней, является к нам вечером Гушин и другой чиновник канцелярии — Снессарев, и прямо к Нестору Васильевичу с вопросом: «Слыхали вы, говорят, Салтыкова уже увезли в Вятку?» * — «Да мне говорил сегодня Николай Николаевич» ². — «Как же это так вдруг?» — спрашивают те. «Вот, подите, — жандармы поусердствовали. И кто их просил об этом! Николай Николаевич хотел еще, по просьбе Салтыкова, испросить ему разрешение на свидание с родными... Вчера пошла об этом бумага к гр. Орлову» ³.

Спустя два месяца или немного более (это было уже на даче) канцелярия военного министерства спрашивала Кукольника, как, по его мнению, следует сделать отметки в формуляре Салтыкова при отправке этого формуляра к вятскому губернатору? На это Кукольник ответил, что, по его мнению, в IX графе следует отметить, что Салтыков во время службы в канцелярии военного министер-

¹ По наведенной справке, это было утром 25 апреля. (Примеч. И. Пузыревского.)

² Анненков. Директор канцелярии военного министерства. (Примеч. И. Пузыревского.)

³ 29 апреля, за № 1313. (Примеч. И. Пузыревского.)

ства в штрафах и под судом не был *, а в X графе — способным и достойным; но что об этом лучше спросить кого-нибудь, более чем он сведущего в инспекторской части.

Так как дело было на даче и казенного писаря тут не случилось, то справку эту, с черновой Кукольника, переписывал частный писарь под мою диктовку.

Спустя много лет, когда, после смерти Кукольника, мне достались все его бумаги, в числе которых были и его записные книжки, я в одной из них, под 1848 годом, нашел краткие записи карандашом по делу Салтыкова; записи эти я рассчитывал внести в его дневник, редакцией которого для печати я давно уже занимаюсь, но ввиду рассказа г. Скабичевского * не лишним считаю поместить их теперь же в виде дополнения к этой статье, с теми же сокращениями слов, какие находятся в подлинных записях *.

Из дневника Н. В. Кукольника

Март — апрель 1848 года

21 апреля. Среда.

Ночью. Неприятная история. Получил от Н. Н. экстренную записку. Приказано арестовать чиновника Салтыкова за какое-то сочинение, напечатанное без ведома начальства, в котором оказалось вредное направление и стремление к распространению революционных идей, потрясших всю Западную Европу. Это слова государя князю Чернышеву, который ничего подобного не подозревал у себя в канцелярии. Князь требует к себе зайти в двенадцать часов; но прежде Н. Н. просит побывать у него.

22 апреля. Четверг.

Утром рано приезжал Котомин с Гушиным, просили выгородить Салтыкова. Н. Н. застал весьма огорченным и сконфуженным. Был у князя, ужасно возмущен, взбешен; говорит, дам я ему проповедовать, в солдаты да на Кавказ упеку. Назначает следственную комиссию, а меня делопроизводителем.

К О. И. Сенковскому послал за мартовской книжкой «Отечественных записок».

По делу Салтыкова.

Получил от Сенковского «Отечественные записки» с «Запутанным делом», нужно еще получить № 11 этого журнала за прошлый год, с «Противоречиями».

23 апреля. Пятница.

Казенные дела.

«Запутанное дело».

Прочел «Запутанное дело»; тоже и «Противоречия» просмотрел; в этой ровно ничего. А в «Запутанном деле» заметно некоторое увлечение коммунистическими и западными революционными идеями. Но тоже невесть как страшно. С летами взгляд может отрезвиться. Но виден несомненный талант.

Дело Салтыкова.

Был у Набокова в крепости и у всех членов комиссии следственной, кого насколько можно было старался расположить к снисходительности: *неопытность, увлечение молодости*. Набоков не прочь. Другие члены смотрят на дело по-военному: «Начальство требует». Тут надо осторожно, не спеша.

24 апреля. Суббота.

Казенные дела.

«Противоречия» — повесть Салтыкова. Содержание доложил комиссии. Из «Запутанного дела» читал выдержки. Склоняются к снисхождению *по молодости лет* и увлечению *по неопытности*. Положено: представить министру об увольнении из канцелярии и об ограничении наказания семидневным арестом на гауптвахте собственно за напечатание сочинения без ведома начальства, в нарушение высочайшего повеления такого-то года.

Спасибо добряку Набокову, повернули дело: не за что тут, говорит, губить молодого человека солдатчиной. У Н. Н. тоже золотое сердце: надеется умиловить князя. Царь не так страшен. Он добр и великодушен; это я испытал на себе, когда имел несчастье оскорбить его в 41 году. *Забыл всё*, и теперь опять милостив ко мне. А моя вина была хуже салтыковской. Завтра доклад министру.

25 апреля. Воскресенье.

К а н ц е л я р и я .

Князь Чернышев неумолим... Разгневан на следственную комиссию. С заключением ее не согласен; не допускает снисхождения. В солдаты, однако, не разжалуют, но доложит сегодня государю об увольнении из канцелярии и о высылке на службу в Вятку. Мне приказал заготовить в этом смысле бумагу в форме письма шефу жандармов графу Орлову.

<26 апреля. Понедельник.>

К а з е н н ы е д е л а .

Проект приказа письма к Орлову о Салтыкове: исполнено.

Еще: от директора канцелярии по приказанию военного министра отношение С.-Петербургскому коменданту с препровождением Салтыкова для посажения на неделю на гауптвахту за нарушение закона, воспреещающего предавать печати собственные сочинения без ведома начальства.

27 апреля. <Вторник>.

К а з е н н ы е д е л а .

Получено письмо Салтыкова к директору канцелярии с просьбой разрешить ему на честное слово отлучиться с гауптвахты для свидания с родственниками и для снаряжения в предстоящий ему путь в Вятку. Приказано завтра доложить князю Чернышеву через директора канцелярии.

28 апреля. Среда.

Приказано тотчас заготовить от князя отношение графу Орлову по содержанию вчерашнего письма Салтыкова.

Исполнено и отослано Н. Н. с Волковым.

29 апреля. Четверг.

Ночью. Вот те раз. Граф Орлов уведомил князя от сегодняшнего числа, что он отнесся к коменданту, дабы тот приказал сдать Салтыкова жандармскому штабс-ка-

питану Рашкевичу, которому предписано сопровождать Салтыкова до Вятки и представить губернатору. Кто же его просил об этом? Мы вчера сообщили ему просьбу Салтыкова о разрешении ему свидания с родственниками и для сборки в дорогу, и только.

30 апреля. Пятница.

Салтыков выслан до получения третьегоднешнего отношения князя по поводу просьбы Салтыкова о разрешении ему отлучения с гауптвахты на честное слово. И к чему была такая поспешность? А там хотели посоветовать Салтыкову обратиться с письмами к Чернышеву и государю и просить о дозволении ему поселиться при родителях в деревне.

А. В. Дружинин

Известный впоследствии писатель, представитель эстетической критики, Александр Васильевич Дружинин (1824—1864) был в конце сороковых годов товарищем Салтыкова по службе в канцелярии военного министерства. Там они и сблизились на почве общих литературных интересов, а впоследствии резко разошлись, самоопределившись в противостоявших общественных лагерях. Но, когда Салтыков в середине января 1856 года вернулся в Петербург из вятской ссылки, старое товарищество сохранялось. Дружинин первым горячо приветствовал Салтыкова и принял самое деятельное участие в возобновлении его литературной деятельности. Он сразу же предложил Салтыкову сотрудничество в своем журнале «Библиотека для чтения» и ввел старого товарища в новые для него — после семилетнего отсутствия — литературные круги столицы, познакомив, в частности, с Тургеневым, Л. Толстым, Анненковым и другими писателями.

Интересно свидетельство Дружинина о попытках Салтыкова в первые же дни по возвращении из ссылки заняться устройством «нового», то есть своего журнала.

ИЗ ДНЕВНИКА 1856 ГОДА

Воскресенье <15 января>.

В семь часов вечера, когда я собирался, за неимением лучшего, к Марье Львовне, является какой-то господин, вида мне совершенно неизвестного. Оказалось, что это

Салтыков, милейший мой товарищ, восемь лет проживший в Вятке и ныне возвращенный из изгнания. Он же-нится, — одним словом, разговор наш преисполнен был изумительными вещами. Я был рад страшно. Заезжали к Каменскому.

Понедельник <16 января>.

...Взбесил меня вечером Каменский своею запискою. Мы согласились с Салтыковым быть у него во вторник. Он просит переменить день, ибо играет в карты у Самсоновых. Если бы это был отдельный факт, оно бы ничего не значило, — но я (дай бог мне ошибаться) давно уже подмечаю в Каменском нечто неладное. Вот до чего доводит служба, чиновничество, конкубинат и, в особенности, постоянная страсть к компании людей низшего с нами образования, людей, от нас зависящих и, стало быть, — нам поклоняющихся! Вот и плод от компании Титова и разных чиновников. Товарища, восемь лет не виданного, меняют на карточный вечер. И, почем знать, может быть, ссылка в Вятку уже скорей вредит Салтыкову в глазах Каменского? Увы, увыв! а впрочем, не увыв! я благословляю судьбу, исторгшую меня из службы и дозволившую мне жить независимо.

Вторник <17 января>.

К удовольствию моему, я отчасти ошибся насчет Каменского — дело устроилось *. В среду <18 января> обедают <в честь Салтыкова> у меня, а в четверг вечер у Каменского. По обыкновению обедал у Некрасова — были там, кроме Боткина, Тургенев, Ковалевский, Гончаров, Чичерин и Анненков...

Среда <18 января>.

Обедали у меня обломки нашей канцелярии — Салтыков, Толстой, Сатир и Каменский. Было весело — пили здоровье Салтыкова и Толстого как нового супруга. Болтали и смеялись до девяти часов, потом я с Юрием <Толстым> кончили вечер у Тургенева.

Четверг <19 января>.

...Был на двух вечерах — сперва у Краевского, потом у Каменского. Ужинали и вновь пили здоровье Салтыкова. Были, кроме нас четырех, еще Титов и Коведяев, с годами все становящийся скандальнее.

<Пятница 10 февраля>.

В пятницу 10 февраля заехал к Салтыкову и взял его с собой в Шахматный клуб. С нами был еще Безобразов, с которым мы сошлись. Он звал к себе; говорят, что у него жена прехорошенькая. За обедом было около сорока человек, из новых Левицкий, Майков, Ламанский, с которым я познакомился очень давно у Гаевского и на быва-
лых вечеринках у Пассек. Обед был хорош и весел.

Понедельник <27 февраля>.

...На днях были у меня Салтыков с Безобразовым — толковали об устройстве нового журнала. Я советовал им приобрести «Библиотеку для чтения». В четверг <1 марта> мы обедаем у Безобразова. Он, кажется, отличный человек.

А. И. Артемьев

Автор публикуемых дневниковых записей Александр Иванович Артемьев (1820—1874) — довольно известный в свое время статистик, а также археолог, историк, этнограф, географ и краевед. В 1856—1857 годах Салтыков оказался сослуживцем Артемьева по министерству внутренних дел. Артемьев был старшим редактором изданий статистического комитета, Салтыков же числился чиновником особых поручений при министре Ланском, но больше, чем службой, был занят литературным трудом. Он в это время писал — рассказ за рассказом — «Губернские очерки», писал, можно сказать, на глазах у Артемьева, заинтересованного и осведомленного наблюдателя этой работы. По своей краеведческой деятельности в Казанской и Вятской губерниях, в конце сороковых — начале пятидесятих годов (после окончания Казанского университета), Артемьев хорошо знал тот жизненный материал, который был положен в основу первой книги Салтыкова. Главный интерес записей Артемьева и состоит в том, что они знакомят нас с автором «Губернских очерков» в дни, когда он их создавал, передают его слова и живую интонацию его речи, вводят в обстановку, в которой он тогда находился, сообщают первые авторские комментарии к «Губернским очеркам» и первые читательские отзывы. Представляет интерес и остальное содержание записей, относящееся к служебной работе Салтыкова, в особенности к разрабатывавшемуся им в 1857 году административному проекту, важному для уяснения общественной позиции сатирика в это время.

1856 г.

8 <октября>. Понедельник.

...явились Огородниковы *. Они посидели у нас часов до двенадцати. Мы читали «Губернские очерки» и еще замечания на соллогубовского «Чиновника» *, помещенные в июньской книжке «Современника».

10 <октября>. Среда.

Утром был я в комитете * и толковал с Салтыковым. Он писал «Губернские очерки». По слогу я не думал этого. Он порядочно знает и Казанскую губернию и напомнил мне замечательную личность мамадышского исправника Павла Афанасьевича Иванова или Иванова, как зовут его в Мамадыше. Известен он также под именем «Миляги» и «Любезника», потому что он любит этими словами называть всех, с кем желает стать на короткую ногу; звал так и меня... Но за ним же усвоено было и другое прозвище, употреблявшееся, впрочем, заочно: «Живоглот». Значение этого слова попятно из этимологии и из того, что оно употреблялось заочно... Но происхождение этого прозвища осветили мифическою легендою: якобы Иванов ел живую рыбу... По крайней мере в 1846 году, когда я имел счастье входить с ним в сношения, за ним такой удали не водилось... Правда, в ту пору он еще был только непременно заседателем земского суда... Но он вертел уездом более, нежели исправник, который и прозывался-то кстати — Гусаковым... А впрочем, и Гусаков был гусь порядочный!.. О Мамадыш! Когда я соберу воедино все свои воспоминания о тебе?.. Вот городничий Шулинский с великолепною женою Екатериною Александровною; вот окружной Гавриил Захаров и его жена bleu bas ¹ Марья Екзакустодиановна, сокращаемая в Екзастовну и в Екстазовну, читающая «Рене» и «Абенсерагов», «Аталу» и «Мучеников» *, но более и с большею любовью «Астрономию» Деламбра; вот Водяной-Кострица, Лесной-Ивановский *, штатный смотритель — Лука Товстолес и длинная сухая жена его с длинным

¹ синий чулок (франц.).

именем Аполлинии Владимировны и проч. и проч. Но рельефнее других Павел Афанасьевич, хотя он чуждался общества, сидел дома и вылетал оттуда, как паук на муху... Он родился в земском суде, начал службу в нем с мальчишки, был рассыльным, повытчиком, секретарем, заседателем и, наконец, исправником того самого суда, в стенах которого увидел свет божий от родителя-сторожа... Он знал уезд, как собственный карман, да и уезд; можно сказать, знал, что значит карман Павла Афанасьевича... Он говорил по-татарски так, что сами татары, хотя видели его рождение и знали его жизнь, сомневались в русском его происхождении. Один татарин не шутя уверял меня, что Иванов, должно быть, был подменен в детстве татарчонком... Вкрадчивый, уклончивый, с превосходным полицейским чутьем, он был отличный сыщик; но, воспитанный в правилах известного образа действий, он «разыгрывал следствия по нотам» — по выраженью старого подьячего в «Губернских очерках». Уезд его любил и боялся. Казанские отцы-командиры говорили: «Эдакая продувная бестия этот Павел Афанасьевич, а золотой человек вместе с этим». И, надобно сказать, он делал как-то так, что и в Казань почти никогда не ездил... Да! эта личность стоит описанья*.

26 <октября>. Пятница.

...Я обрадовался словам явившегося Салтыкова: «Мне нужно с вами поговорить... я вас ищу давно...» Я обрадовался потому, что они прерывали мой глупый разговор с Кеммерером. Но меня еще более удивил повод, по которому Салтыков желал со мною говорить. Он объявил мне, что Катков, издатель «Русского вестника», просил его пригласить меня в сотрудники их журнала по части статистики. Я отвечал, что мне приятно такое предложение и что принять его я считаю за честь, тем более что и в Москве и здесь найдется много людей, достойных такого предложения более, нежели я. Вместе с этим я сказал, что, изъявляя согласие участвовать по мере сил в трудах редакции, я не могу принять на себя обязательство ежемесячной работы, потому что занятия статистические не фельетонные, а требуют нередко для одной строки продолжительных вычислений и что поэтому даже и оценку их нельзя подводить под общий тариф... «Что касается

этой статьи, — возразил Салтыков, — то о ней вы можете условиться с самим Катковым; а теперь разрешаете ли вы мне отвечать ему о вашем согласии?» * — «Без сомнения», — отвечал я. Не понимаю, каким образом сам Катков мог напасть на меня? Не думаю также, что и Салтыков сам указал ему на меня, потому что мы мало знакомы друг с другом. Предполагаю, что это произошло вот как: Катков просил Салтыкова пригласить в сотрудники кого-нибудь из комитетских; Салтыков предложил это Григорьеву, с которым он короток, а Григорьев отказался и указал на меня.

10 <декабря>. Понедельник.

...у меня завязался разговор с Тобиасом, нашим чиновником, который заведует делами комитета, о сокращении переписки... Тобиас человек солидный и не очень высказывающийся. Он начал разговор со мною об одной статье, которую он начал и которую едва ли напечатают в нашем журнале, хотя «Русский вестник», я уверен, принял бы ее в параллель к «Губернским очеркам» Салтыкова. Он задумал написать или описать причины увеличения переписки, доказывая это официальными цифрами<...>.

Сегодня мы говорим: отлично! так сделаем!.. а завтра скажем: да, это хорошо, только теперь мы это отложим, а займемся вот чем; это же может подождать... И вот мы беремся за новый вопрос<...>. Я, например, составил правила делопроизводства в градских и земских полициях... Пока они составлялись, Левшин суетился, торопился; когда составились — он восхищался... Но Салтыков сказал: «Полезно было бы организовать полицию по выборам» *. — «Так! так! я сам всегда думал... Займитесь-ка этим...» — и составленные правила лежат.

11 <декабря>. Вторник.

...По случаю назначения Чевати¹ Салтыков, или, пожалуй, Щедрин, задал вопрос: «Кому теперь поручат занятия делами инвентарей?» * «Да, быть может, вам, — сказали мы с Тобиасом Салтыкову, — оно и кстати, вы принадлежите к числу аболиционистов...» — «Ну, уж я слуга

¹ Чевати (полковнику) были поручены все дела помещичьих крестьян. (Примеч. А. Артемьева.)

покорный, — забасил Салтыков, — я тут ровно ничего не смыслю, западных губерний совершенно не знаю, — да если б и знал, так с Левшиным далеко не уедешь... начнем орехи перекладывать из короба в короб...» И Салтыков принялся развивать эту тему, то есть тему о суетливой неподвижности Левшина, он коснулся его избрания в Вольное экономическое общество, стал разбирать его отчет по управлению хозяйственным департаментом государственных имуществ, о состоянии казенных крестьян в Вятской губернии... и все так резко, крупно, будто писал новый «Губернский очерк» <...>, я не дивился резкости отзыва, но одинаковости его в главных основаниях с моим собственным воззрением на Левшина...

14 <декабря>. Пятница.

...сегодня дважды посетил нас Григорьев и оба раза сидел у нас довольно долго <...>. Вторичное, вечернее его посещение имело, однако, особую цель. Он сегодня обедал (по приглашению) у Орлова-Давыдова, которые (и муж и жена) просили его познакомить их с Порошиным <...>. Орловы-Давыдовы вообще своих предприятий не любят высказывать. Не имеют ли они намеренья отпустить на волю свои двадцать тысяч крестьян? Они очень хвалят «Старцев» * Салтыкова («Губернские очерки», XI), раскрывающих образ действий раскольников. Графиня велела списать несколько экземпляров этой статьи и отослать их в симбирские вотчины, где много раскольников. Она надеется, что чтение подобной статьи произведет весьма полезную реакцию. Дай бог!

15 <декабря>. Суббота.

...У Срезневского застали мы Пекарского и Палаузова; потом явились Савваитов и Поленов <...>. Рассказов было много <...>. Говорили, что по настоянию гр. Панина «Губернские очерки» повергнуты были на усмотрение государя; но тот отозвался, что он радуется появлению таких произведений в литературе *.

Точно так же, говорят, подан донос и на «Стихотворения» Некрасова * — и государь и о них отозвался благосклонно; но книгопродавцы, распространяя слух о запрещении «Стихотворений», продают их ныне по десяти рублей серебром за экземпляр...

8/20 <января>. Вторник.

...Григорьев получает от одного из исправников Пермской губернии письма оригинального содержания и передает их мне, чтобы я составил из них «Новые губернские очерки». Я даже и начал в промежутки чаепития писать кое-что, да не знаю, выйдет ли какой-нибудь толк<...>. Рука Гоголя или Салтыкова из этого эскиза * сделала бы удивительно изящную картинку.

12/24 <января>. Суббота.

Утро провел в комитете. Я спрашивал Салтыкова: что хотел он означить словом «хвещ»? Он отвечал, что значение этого слова легче понять, нежели объяснить. «Хвещ» — и шарлатан, и пройдоха, и подлец, и непонятный человек, и человек себе на уме и пр. Фалеев начал расспрашивать Салтыкова: хотел ли он в рассказе «Старец» передать общий всем раскольникам взгляд на свое положение, или это буквальная передача речей одного какого-нибудь раскольника? Вопрос этот, кажется, не понравился Салтыкову, потому что он очень обидчиво отвечал: «Зачем, господа, вы думаете что в моих «очерках» одни личности?..» — и наговорил многое на эту тему. Когда он ушел, Фалеев весьма справедливо заметил, что Салтыков человек несимпатический¹. Действительно, его манера говорить, самый голос горловой — производят какое-то особенное впечатление...

19/31 <января>. Суббота.

Из министерства шел я вместе с Салтыковым (Шедриным) и толковал об его «Губернских очерках». Он продал их Каткову*. Многие литературные кружки бранят Салтыкова, завидуют ему. Я сообщил ему, что

¹ Против этого места, на полях, рукою Артемьева сделана, позднее, следующая приписка: «А между тем Салтыков человек весьма теплого сердца, когда узнаешь его поближе». — С. М.

Бернардский желает издать его портрет *. Салтыков отказался, говоря (и справедливо): «Кто поверит, что я не сам затеял публиковать свою физиономию?! Тогда меня заедят вовсе... В Вятке я скучал о Петербурге, а теперь — здесь — я сплю и вижу, как выдраться отсюда куда-нибудь в Малороссию, в степи Приволжские... Меня убивает здешняя жизнь, здешний климат...» И в самом деле, Салтыков смотрит чахоточным... Он составил проект об учреждении полиции «выборной». Ланской и Левшин склоняются на эту идею; но как другие?

15/27 <марта>. Пятница.

Виделся с Россоловским, вызванным из Казани для участия в комитете, рассуждающем об устройстве в Казани Центрального дома умалишенных. Он, увидавши Салтыкова, просил меня познакомить с ним.

Салтыков был в ударе и преуморительно рассказывал разные разности о Крутогорской — Вятской — губернии.

20/1 апр<еля>. Среда.

...я отправился в министерство, чтобы показать Левшину составленные мною замечания об уставе X-й народной переписи <...>.

Показать Левшину, однако, я не успел, потому что меня предупредил Салтыков с своим докладом о новом устройстве полиции, для выслушания которого созван особый совет с приглашением в заседание и находящихся в настоящую пору в Петербурге губернаторов *. Еще в 1845 году готовились важные преобразования в полиции: проект был написан В. И. Далем (Луганским) и напечатан; но не приведен в исполнение. Даль на все смотрел с теоретической точки немецкой философии, хотя, казалось бы, надо было ожидать не того от этого знатока русского характера. Салтыков, в свою очередь, впадает в новую крайность, рассматривая все с точки индивидуальной неприкосновенности, с точки той, что полиция не смеет нарушать семейного спокойствия, не смеет входить в дом и проч. Кроме того, все полицейские чиновники должны быть выборные. Салтыков уве-

рен, что все пойдет отлично; но я сильно спорил с ним, основываясь в особенности на том, что он первый откажется от должности квартального или частного, если бы его выбрали... и т. д.

5/17 <апреля>. Пятница.

...в восьмом часу отправился к Безобразову <...>. Наш разговор был прерван появлением Салтыкова-Щедрина, живущего в одном доме с Безобразовым и живущего дружески *. Он принес только что полученную IV книжку «Современника», где Панаев выставляет Щедрина далеко ниже Печерского... * — Ведь этакой скотина, — сказал Салтыков, — недели две назад все приставал ко мне: да что, скоро ли дадите мне хоть один «Очерк», * и я сказал ему: лучше не приставайте, а то не дам... Вот он теперь... Ну да черт с ним!.. А я пришел было прочитать новую комедию, которую отдаю Дружинину... только подлец Фрейганг перечертил некоторые фразы... *

— Ну, так я жену позову слушать, — сказал Безобразов.

— Да не надо, — сказал Салтыков, — ведь я уж не могу... у меня есть неприличности... Да и нет жены-то твоей дома...

Безобразов, однако, ушел во «внутренние апартаменты», а Салтыков спросил меня: «Ну что, отправляетесь в экспедицию?..» — «Постарайтесь отправить», — отвечал я смеясь. «Я что, — возразил он, — вот его надо просить... Да вам почему не ехать... Отправляйтесь...»

Безобразов воротился без жены. Салтыков принялся читать «Просителей». Это такой же губернский очерк, в котором выведены на сцену князь Чебылкин и его Антигона — Анна Львовна, купец Скопищев и некоторые другие уже знакомые лица. Над некоторыми явлениями нельзя было не расхохотаться... Вскоре по окончании чтения явилась в кабинет и жена Безобразова. Она оставила нас только тогда, как завязался разговор специальный: о возможности и поводе соединения статистического комитета министерства внутренних дел с статистическим отделением Географического общества <...>. Салтыков тоже скоро ушел.

Салтыков сказывал мне, что Безобразов говорил уже с Гвоздевым относительно моего назначения в Волжскую экспедицию. При этом случае Салтыков выразился своим резко-живописным языком о Думшине: «Это известный жополиз... лижет Гвоздева...» Выражение чересчур площадное, но характеризующее г. Думшина лучше длинных разглагольствий. А принять это к сведению, — бесполезно, тем более, что, быть может, придется быть спутником и сотрудником г. Думшина.

4/16 <мая>. Суббота.

Вечером я был у Мельникова * <...>, я ждал хозяев целые двенадцать минут, как раздался звонок и явился Салтыков с женою... «Вы к его превосходительству?» — спросил я Салтыкова, намекая на продолжительность ожидания. Салтыков не понял меня и спросил: «Что-о?!» — «Их превосходительство, вероятно, чем-нибудь изволят быть заняты...» — отвечал я серьезно. Салтыков оглядел меня изумленными глазами, оглядел всю комнату, как бы спрашивая себя: «Туда ли мы попали? Знакомого ли я вижу?» — и отвечал: «Не понимаю».

— Оно, точно, не понятно-с... — отвечал я серьезно.

Салтыков решительно признал меня помешанным и начал разговаривать с женою, которая также смотрела на меня вопросительно. Они занялись рассматриванием какого-то иллюстрированного издания; но... когда прошло восемь минут (я нарочно держал часы перед глазами), Салтыковы переглянулись между собою и муж обратился ко мне: «Каковы?! Нейдут!..» — «Вероятно, их превосходительство заняты чем-нибудь», — отвечал я. «А-ха, то-то, понимаю!.. генеральство...» — сказал Салтыков. Наконец, явился сам Павел Иванович, когда исполнилось двадцать две минуты с момента моего пребывания.

7/19 <мая>. Вторник.

...Получил № 8 «Русского вестника» и немедленно принялся за чтение салтыковской «Матушки Мавры Кузьмовны». Да, что ни толкуй, у Салтыкова

есть художнический талант: в его очерках хотя и встречаются шаржи, карикатуры, тем не менее видишь под этими масками живые типы. Но в этом рассказе лучше всего понравилась мне сцена ямщика со «старкою»: в нескольких строках целая драма...

10/22 <мая>. Пятница.

...статью Мельникова «Дядя Поликарп» * «Вестник» не печатает не по причине цензурных затруднений, а потому, что статья направлена против раскола... А статьи Щедрина: «Старец», «Мавра Кузьмовна» — разве не такие же?.. Конечно, если судить совершенно либерально, то ни одной статьи подобной поместить нельзя: мы пишем против раскольников, а им не позволено возражать... Это только силлогизм; а в сущности я весьма доволен статьями Щедрина и Мельникова, раскрывшими многие гадости, совершаемые раскольниками *, и думаю, что они не бесполезны для правильности взгляда на раскол и его последователей, которых считают невинно-преследуемыми людьми высокой нравственности.

18/30 <мая>. Суббота.

...С Салтыковым (Щедриным) разговорились о Тюфяеве *, бывшем вятском губернаторе. Тюфяев был из аракчеевских писарей. В Вятке вспоминают его более по его любовнице, к которой с поклонами и приношениями являлись все советницы... Сам же Тюфяев пользуется памятью доброго, хотя и рассказывают, что он какому-то купцу-protégé¹ доставил мошеннически выгодную поставку хлеба на винокурный завод. Перед поставкою умышленно, почти по предписанию, подняты были цены. Тюфяев предписал городничим и исправникам еженедельно по эстафете доносить о движении цен на хлеб, которые, как дошли до него сведения, непомерно возвышаются... Цены действительно начали подниматься быстро... Тогда купец взял подряд по половинной цене — и все-таки остался в барышах, потому что тотчас после этого явилось предписание о прекращении доставления сведений о ценах, ибо они *везде* понизились...

¹ которому покровительствовал (франц.).

3/15 <июня>. Понедельник,

Тобиас рассказывал, что Левшин не очень доллюбливает Салтыкова и говорит о нем: «Что он спорит?! Считает, что ли, себя умнее всех?!»

12/24 <июня>. Середа.

Салтыков-Щедрин сегодня рассказывал с своею оригинальною манерою разные приказнические анекдоты, например, о том, как в нерехотском городническом правлении* разбила стекло ворона, а губернское правление предписало вставить стекло «на счет виновных». Городничий рапортовал, что виновница скрылась, а приметы ее неизвестны, почему и публикаций о розыске сделать невозможно... Вообще Салтыков очень хорошо знает анекдотическую историю «крапивного племени»...

19/31 <августа>. Понедельник.

В этом же № 15 прекрасная статья Салтыкова: «Богомольцы, странники и проезжие»*. Есть места, проникнутые искренним и глубоким чувством любви к природе. Есть сцены, полные горького сарказма... Но портреты! Портреты! Что за удивительная способность рисовать портреты помелом из помойной ямы... Чувствуешь всю гадость и увлекаешься живостью лиц...

21 <августа>/2 <сентября>. Середа.

В комитете я все спорил с Салтыковым о последней его пьесе*. Я в особенности хвалил Хрептюгина и г-жу Музовкину; а он сам предпочитает «Пахомовну»*: Последняя, по моему мнению, представляет прекрасное и удачное подражание народным легендам, но как-то не вяжется с общим характером целого очерка «Богомольцев». Там все живые люди. Между ними является и Пахомовна. Ждешь, что и она, как «отставной солдат», начнет что-нибудь рассказывать о себе или о других, а тут вдруг встречаешь лирическое воплощение идеала странницы-богомолки...

...отправился в комитет; но там не удалось сделать многого. Явился Салтыков, очень раздраженный... «Представьте! какая бабббба этот Мельников!.. Я просто куплю на Апраксином сарафан и отошлю к Мельникову: надень его!.. Представьте: на днях прибегает ко мне, словно полоумный, — меня-то, говорит, хотели послать на следствие в Ржев, но я, говорит, отказался, указав на вас; так вы, говорит, приготовьтесь... Что ж, — говорю я, — командировки не ищу, а и отказываться не буду... И точно: вот вчера-то я здесь был... Гвоздев говорит: мы вас пошлем. Хорошо, говорю... Пришел домой, да и бух письмо к жене — она у матери * — не приезжай, мол: я заеду по дороге, я, мол, еду в Ржев, а оттуда заеду за тобою... Прихожу вот нынче, и Гвоздев говорит: как быть?! Мельников, дескать, просится... ему, говорит, есть нечего... мы пошлем его... Ах, черт возьми!.. да я шут, что ли, какой!..»

Как ни серьезно все было, однако я расхохотался. Весь поступок, описанный Салтыковым, так живо изобразил мне Мельникова и его особую манеру хитрить... Очевидно, что он, напуганный недавнею своею размолвкой с министром, побежал к Салтыкову и нагородил чепухи, желая выказать себя каким-то распорядителем командировок, тогда как ехать хотелось самому, но боялся, что его не пустят...

16/28 <сентября>. Понедельник.

Сегодня Салтыков показывал мне составленную им докладную записку государю по делу сестер Петровых, старых дев, отличающихся эксцентрическим образом жизни. Еще в феврале или марте нынешнего года я записал то, что слышал о них *. Теперь же, прочитавши эту записку, составленную мастером, я не мог не пожалеть о судьбе этих девушек <...>.

Дошли они до чудачеств оттого, что бедность затворила им двери в общество, отчудила их от людей.

21/2 <октября>. Понедельник.

...Получил № 19 «Русского вестника». Комедия Щедрина: «Смерть Пазухина» — хороша и замечательна в том отношении, что в первый раз выводит на сцену генералов и статских советников настоящими ворами, забирающимися в чужой сундук...

30/12 <ноября>. Суббота.

В сегодняшнем нумере «С.-Петербургских ведомостей» помещен очень злой разбор салтыковской пьесы: «Смерть Пазухина» *. Ее бранят страшно. Но, по моему мнению, эта пьеса несравненно выше львовской, производящей теперь фурор благодаря превосходной игре актеров. «Свет не без добрых людей» * — тот же «Чинovníк» *, вывернутый наизнанку: та же риторика, те же ходули, та же неестественность. У Салтыкова более последовательности и связи. Но должно сказать правду: не отрицая высоких достоинств в произведениях Щедрина, в искренности его негодования, его «Очерки» не будут вечными образцами художества... Успех их уславливается больше всего обстоятельствами... Пройдет потрясающее ныне всех нас чувство, и «Очерки» останутся интересными и поучительными историческими документами, характеризующими нашу эпоху; но не будут считаться «Очерками» русского человека, высокохудожественными произведениями, подобно комедиям Мольера, драмам Шекспира... Есть места у Салтыкова, где сердце глубоко сочувствует какому-нибудь его герою или, наоборот, тяжело возмущается, а все-таки сознаешь, что это взяты частности, исключения, а не развита, не анализирована общечеловеческая, общепонятная страсть...

С. Н. Егоров

Об авторе этих воспоминаний, Сергее Николаевиче Егорове нам известно лишь то немногое, что он сам о себе в них сообщает. В 1858—1860 годы — годы первой службы Салтыкова в Рязани в должности вице-губернатора — Егоров был делопроизводителем губернского правления. Видимо, разночинец по своему социальному происхождению, он принадлежал к демократически настроенной части рязанской молодежи. Судя по заключительным строкам воспоминаний, написанных в старости, Егоров до конца дней сохранил благодарную память об общественном подъеме конца пятидесятых — начала шестидесятых годов. Однако его восприятие этой переломной эпохи не было ни цельным, ни глубоким.

Лишены глубины и воспоминания Егорова о служебной практике Салтыкова в канун крестьянской реформы. Мемуарист нарисовал внешне достоверную картину энергичной борьбы Салтыкова со взяточничеством, с злоупотреблениями помещичьей властью. Но он не смог проникнуть глубже и уловить связь административных усилий Салтыкова с его идейными поисками этого времени.

Своим назначением на ответственный пост одного из высших начальников такой классически дворянской губернии, как Рязанская, Салтыков был обязан тому кризису «верхов», который переживался Россией после Крымской войны и являлся, как указывал Ленин, одним из признаков складывавшейся в стране революционной ситуации. Когда Александр II утверждал назначение автора «Губернских очерков» вице-губернатором в Рязань, он сказал министру Ланскому: «И прекрасно; пусть едет служить да делает сам так, как пишет» (см. стр. 527). Об этой линии в политике правительства либерализма Огарев писал в «Колоколе» как раз через месяц после назначения Салтыкова: «Правительство ищет свежих, то есть честных, людей для поручения им должностей...» («Преобразование чиновничества». — «Колокол», л. 12 от 1 апреля 1858 года.)

Сам Салтыков был очень доволен сделанным ему предложением. Самостоятельная административная должность в провинции позволяла испробовать в широких масштабах ту «теорию», которую он вывез из безвременья своей вятской ссылки: «Практиковать либерализм в самом капище антилиберализма». Идеологической основой этой «теории», отвергнутой и осмеянной позднее самим Салтыковым, были просветительская переоценка общественно-преобразующих возможностей «честного деятеля» и свойственное просветительству же непонимание классовой сути помещичьего государства. Салтыков искренне надеялся оздоровить администрацию одной из центральных (и наиболее крепостнических) губерний Российской империи и тем принести немалую пользу народу и обществу.

Надо знать, как велика была у Салтыкова жажда практического дела, чтобы понять те надежды, какие возлагал он на свою будущую службу. Автор «Губернских очерков» ехал в Рязань, полный оптимизма и уверенности в себе, — быть может, даже излишней. Это отметил или угадал, в частности, Добролюбов, который писал 3 апреля 1858 года своему товарищу А. П. Златовратскому, жившему в то время в Рязани: «Общество ваше оживит, вероятно, Салтыков, который на днях, кажется, едет уже к вам. Вот будет поле практической деятельности литератора! Пиши мне о нем, пожалуйста. Я думаю, что он будет держать себя страшно гордо, или по крайней мере с большим гонором, как выражался, бывало, мой земляк Журавлев» (<Н. Г. Чернышевский>). Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861—1862 годах, М. 1890, т. I, стр. 422—423).

Салтыков горячо взялся за дело расчистки рязанского «скопища всякого рода противозаконий и бессмыслия» (XVIII, 136). По его словам, он работал «ежедневно, не исключая и праздничных дней, не менее двенадцати часов» (XVIII, 135). Ему удалось прекратить узаконенную традицией практику продажи мест в учреждениях, удалить со службы многих воров и взяточников, а также просто тупых чиновников, наказать злоупотреблявших властью, отдать под суд некоторых виновников помещичьих злодеяний. Эти действия Салтыкова, столь необычные для нравов российской бюрократии, «возбудили к нему почти общую в губернии ненависть». Так писал о Салтыкове жандармский штаб-офицер по Рязанской губернии в донесении начальнику III Отделения кн. Долгорукову от 17 декабря 1859 года (ЦГИАМ, ф. III Отделения, 109, 1 эксп., № 247, г. 38, лл. 63—65 об.).

Наблюдения местного руководителя жандармского надзора соответствовали действительности. Их можно иллюстрировать одним, еще не бывшим в печати, любопытным документом. В де-

лах II секретного архива III Отделения сохранилась перлюстрационная копия письма некоего Васильева из Симбирска. Письмо датировано 9 сентября 1858 года и обращено к бывшему сослуживцу Васильева по Рязани Н. О. Тизенгаузену.

Вот что писал Васильев:

«Вчера получил я письмо из Рязани, в котором самыми черными и кровавыми красками описывают действия Салтыкова и Ральгина в отношении к мелким чиновникам. Многих бывших при нас секретарей и столоначальников не стало, а те, которые и остались, отходя ко сну, не знают, что будет завтра. Все землемеры отданы под суд. Бедная Рязань! Настали и для нее бироновские времена! Между тем благодарят губернатора за его посредничество, иначе давно перевешали бы всех. Все дело в том, что Салтыков составил себе идеал чиновника. И хочет подвести под этот идеал всех, а Ральгин пособляет ему, как сильному. Видно, тот, кто пишет, или, лучше, описывает других хорошо, не всегда видит свои собственные промахи, и от этого могут быть последствия еще хуже описываемых Щедриным. Цель-то правительства не достигается: из-под страха что за служба. А горбатых не только Салтыков, но и могила не исправит...» (ЦГИАМ).

Попавшее в перлюстрацию письмо Васильева интересно в двух отношениях. Во-первых, оно дает нам возможность непосредственно ощутить те чувства страха и ненависти, которые в старых чиновничьих тузах вызывал Салтыков. Во-вторых, в письме верно подмечено встречавшееся в служебной практике Салтыкова сочетание просветительского идеализма с методами административного нажима. Из воспоминаний Егорова, а в особенности из цитируемого в комментариях к ним выступления в печати демократически настроенного чиновника Смирнова (Сбоева), видно, что Салтыков в своих преобразовательских усилиях действительно не останавливался иногда перед такими принудительными мерами, которые ему самому приходилось потом отменять.

Нельзя, наконец, не заметить зерна истины и в заключительных словах письма Васильева. Находясь в Рязани, Салтыков не понимал еще в полной мере, что уродливое российское чиновничество, по определению Огарева «организованная шайка разбойников», было именно тем «горбатым», которого ничем нельзя было *исправить*. Не кто иной, как Чернышевский, указал на это Салтыкову.

Он сделал такое указание печатно в своей статье «Суеверие и правила логики», появившейся в октябрьском номере «Современника» за 1859 год (насколько знаем, это интересное замечание Чернышевского о Салтыкове-администраторе оставалось до сих пор не учтенным в литературе о сатирике). «Мы жили в провинции, —

пишет Чернышевский, имея в виду Саратов, — губернатором которой был человек честнейший, редкого ума и чрезвычайно хорошо знавший дело. Каждый житель того края скажет вам, что при нем делалось то же самое, что и до него... *поручимся, что не исправилась администрация и в Рязанской губернии, где вице-губернатором один из наших благороднейших писателей, характер которого достоин его прекрасных произведений.* Итак, не личные качества людей причиной дурного управления» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. V, стр. 705. Подчеркнуто нами. — С. М.).

Нет сомнения в том, что Салтыков знал эту оценку практических результатов своего вице-губернаторства. Вряд ли можно сомневаться и в том, что слова Чернышевского не могли остаться без влияния на Салтыкова, тем более, что и его собственная мысль развивалась уже в направлении тех выводов, которые столь ясно и определенно сформулировал вождь революционно-демократического лагеря.

ВОСПОМИНАНИЯ О М. Е. САЛТЫКОВЕ

1

... Судьба столкнула меня с Михаилом Евграфовичем лично в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов, в самый разгар реформ и начала его славы: он тогда был вице-губернатором в Рязани, а я, юный, служил делопроизводителем в губернском правлении.

Живо помню восторг молодости, воспитанной на Белинском, и смущение, даже страх, людей старого склада при его назначении в Рязань*, так как он тогда уже получил повсеместную известность своими «Губернскими очерками», представившими свету художественную картину безобразия чиновничьего мира, управлявшего в то время всеми делами.

Помню и появление его среди нас, появление без обычной тогда помпы, без представлений, приветствий и чествований. Пришел он в присутствие* в вицмундире, никому не известный, так что швейцар остановил было его вопросом: «Как о вас доложить», и очень скоро раскрылся перед нами весь.

Строгий в службе, он был в высшей степени правдив и человечен. Требуя от других работы, даже непосильной,

он сам изумлял всех своим трудолюбием. В заседаниях и дома, во всякую пору, хотя бы ночью, он постоянно был за работой. Он ежедневно имел дело с каждым чиновником и всех знал. Несмотря на строгую и трудную службу, все его любили и ничем ради него не тяготились, потому что он всякого ценил по достоинству, поддерживал и давал быстрый ход по службе, входя в положение даже частной жизни подчиненного. Серьезный до суровости с равными, был очень мягок и деликатен с низшими.

Эта яркая, крупная личность заслонила собою губернатора, тем более, что в ту пору на начальников губерний возложены были, собственно, дела по освобождению крестьян: губернией управлял один Салтыков*. Вся энергия его обращена была на искоренение взяточничества, дошедшего до того, что оно считалось как бы делом нормальным, законным, и на преследование злоупотреблений помещичьей властью. Не редкость было, например, встречать такие картины: советник подходит с просителем — помещиком — к делопроизводителю и приказывает заняться делом последнего, и тут же, при всех, обращается к просителю, своему приятелю, со словами: «А вы знаете — даром ничего не делается».

По делам о помещиках открывались вопиющие деяния. Имения у них отбирались в опеку, сами они изгонялись из своих гнезд или предавались суду. Относительно взяток в короткое время губерния стала иной, не похожей на себя. Даже старые взяточники, продолжавшие службу, уже не брали. Протекция не имела никакой силы. Салтыков даже обижался, когда его просили о ком-нибудь. Да и надобности в том не было. До него, чтоб поступить на службу, хотя бы писцом, и не сидеть век на одной ступени, нужно было изыскивать сильного протектора или платить деньги, даже в виде оброка. Начальники просто говорили подчиненному: «Мы вами довольны и считаем вполне достойным повышения, но, к сожалению, вы не можете заплатить 000 р.: нельзя». При новых же порядках каждый шел вперед сам. Люди, не помышлявшие ни о каком повышении, с изумлением двигались вперед по одним заслугам и способностям. Так случилось и со мною.

Поступив, по обыкновению, канцелярским служителем, я был на хорошем счету, постоянно исправлял

классные должности, но при назначениях меня обходили. Салтыков, кроме моей службы, ничего обо мне не знавший, вскоре же зачислил в классную должность, а через год дал высшую. Такая оценка людей тогда была явлением неслыханным, считалась не согласной с порядком вещей. Из дальних мест пошел наплыв ищущих службы. Салтыков никому не отказывал, предупреждая лишь о каре в случае неоправдания себя службой.

Трогательно было его сочувствие к нужде человека. По случаю расстройств здоровья я просил облегчения переводом меня в должность помощника. Он наотрез отказал на том основании, что понижение должности может повредить будущей моей службе, но освободил меня от занятий на месяц, а чтоб без меня дела не запустились, взял лично на себя занятия по моему столу. Никогда и нигде подобных примеров я не видел и не слышал. Наоборот, почти везде люди служат на счет труда и ума своих подчиненных.

Постоянно занятый службой, пока был в Рязани, Салтыков мало писал для печати. За это время были напечатаны: «Скрежет зубовный» и «Ваня и Миша» *. В первом рисуются комитеты, открытые тогда для разработки положений о крестьянах. Это превосходная иллюстрация к истории крестьянской реформы. Последний — небольшой рассказ, содержанием которому послужило действительное происшествие в Рязани. Помещица Кислинская тиранией довела двух своих мальчиков крепостных (лет десяти—двенадцати) до того, что, по взаимному согласию, они зарезали друг друга столовыми ножами. Их нашли мертвыми под мостом, на р. Лыбеди. Салтыков, управлявший в то время губернией, узнал об этом на вечере в одном доме, где был и полицмейстер, который при утреннем рапорте о событии умолчал. Ему тут же предложено было отправиться под арест. Имение у помещицы взято было под опеку, а она была предана уголовному суду *.

По перемещении Салтыкова в Тверь в печати появился его очерк: «Мой старый дружеский хлам». В нем можно видеть господ рязанцев того времени, которых теперь уже нет: «Генерал Голубчиков» — председатель Казенной палаты В., «Рылонов» — советник той же палаты, «Губернский Сенека» — правитель канцелярии губернатора Д. и т. д. Рылоновым советник назван как по

созвучию фамилии, так и по его громадному, с нечеловеческими челюстями лицу. Он был человек не старый, но по складу чиновник дореформенный, не гнушавшийся *видами* по службе. Рассказывали: когда Рылонов узнал о назначении Салтыкова в Рязань, то упал в обморок.

Как ни полезна была служба Салтыкова, однако нельзя не пожалеть, что, отнимая все время, она шла в ущерб литературной его деятельности, прямого его призвания.

Работа его по службе была изумительна. Как и теперь, вице-губернаторы являлись в заседание на час, полтора для подписания журналов. Он же все утро до трех-четырех часов занимался в губернском правлении. Не только вычитывал все, но поверял изложенное с подлинным делом, которое требовал к каждому журналу. В губернском правлении ежедневно подавались доклады от двенадцати столов, средним числом от шести-семи по каждому. Можно судить о труде, какой падал на одного. Но при исполнении должности губернатора, кроме массы этих дел, к нему шли по канцелярии губернатора, из различных комитетов и комиссий, еще приговоры уголовной палаты и прочие дела. Мало того: он брал на себя дела не подлежащие, за других, даже за подчиненных ему лиц. В случае надобности пересоставления журнала, что бывало нередко, он исполнял это сам, отдавая лишь свой черняк для переписки. В порядке закона, доклады составляются делопроизводителем; резолюция проектируется советником. В действительности же все это делается одним делопроизводителем: члены только просматривают и подписывают доклады, часто и не читая их. По более серьезным предметам Салтыков брал все дело и писал постановление с изложением дела *. Уголовные дела от следователей поступали, помимо губернского правления, прямо к нему. Он прочитывал, делал выписки, в канцелярии не успевали в несколько рук заносить следственные дела в журнал, как у него уже готово было постановление, вполне мотивированное. Надо иметь в виду и то, что в то время круг ведомства губернатора и губернского правления был необъятный: в него входили все учреждения в губернии, судебные, административные, хозяйственные, благотворительные и прочие.

Все лично писанные Салтыковым проекты поручалось после переписывать, так как считалось неудобным оставлять при делах своеоручное письмо вице-губернатора, но это не исполнялось, и они в оригинале и теперь хранятся в архивах *.

Нечего говорить об изложении и языке этих бумаг и документов. Местами в них сказывался щедринский юмор и острота.

Рязанская градская полиция (тогдашний термин), возвращая при объяснительном рапорте жалобу, всю смятую и запачканную грязью, сочла нужным объяснить это обстоятельство такими словами: «Прошение это получило свою неблагоприятность собственно от падения с потолка полиции отсыревшей от мочи, во время исполнения в регистратуре бумаг, штукатурки». Объяснение же по жалобе самого производства в полиции дела было очень пространное, но совершенно непонятное. Салтыков написал постановление: так как из объяснительного рапорта ничего нельзя понять, то предписать полицмейстеру лично в присутствии губернского правления объяснить дело, а вместе с тем донести губернскому правлению, кто тот чиновник, который положил труд на составление этого рапорта.

Один городничий (Улан-Полянский) * неправильно принял к своему производству дело, в котором лично был заинтересован, так как в числе истцов находился его родной сын. Чтобы скрыть последнее обстоятельство, деловой градоначальник в объяснительном рапорте назвал своего сына не своим, а сыном жены майора Улан-Полянского. Салтыков требует от него донесения: в какой степени сродства к нему состоит сын жены Улан-Полянского? Пришлось городничему форменно донести, что он приходится ему сыном.

По имению Ериной возбуждено было дело о злоупотреблении помещичьей властью. О результатах произведенного следствия сообщалось для всеподданнейшего доклада министру внутренних дел. Бумагу писал Салтыков. Здесь представлена была живая картина ужасного положения крепостных, особенно их истязаний. Муж Ериной, например, наказывал розгами кучера. «Сечение продолжалось так долго, что Ерин, присутствуя при экзекуции, выкурил три трубки табаку *. Мастеровые на заводе долго слышали крик истязуемого; когда

пошли на обед, крик продолжался, и при возвращении их, чрез час—полтора, он еще не прекратился». «По словам же г. Ерина, — говорится дальше в докладе, — он не принимал никакого участия в управлении именем, в котором занимался только *цветами*».

Все эти дела, как и те, о которых будет говориться дальше, кроме личности Салтыкова, рисуют и тогдашнее время вообще.

В службе Салтыков, повторяю, был очень строг и нецеремонен, и все же, как уже упоминалось, не в отношении к младшим, к которым всегда оставался ровным, мягким и деликатным.

Раз в канцелярии он стал выговаривать за медленность в делопроизводстве и говорил: «Советники (при них же) ничего не делают; я буду переводить делопроизводителей в становые». Затем посадил всех на уроки, назначив для каждого стола число, больше которого не должно оставаться неразрешенных в месяц бумаг. Мало подействовала и эта мера. Тогда, обревизовав все дела, потребовал от каждого делопроизводителя объяснения на бумаге по сделанным замечаниям, с тем чтоб говорили о замедлениях в делах откровенно, свободно, ничем не стесняясь и ничего не опасаясь, — что и было исполнено в точности. Объяснения его удовлетворили, и, оставив репрессалии, он обратился к усилению средств канцелярии и упрощению формальностей.

Его коллеги советники служили по-барски, слегка касаясь дел, и больше только подписывали, что преподносила канцелярия. Все дело было в руках столоначальников и секретарей. На советников-то (кроме одного, нового закала) и обрушивался Салтыков без церемоний. Прочел раз журнал и обратился к старшему советнику за разъяснением дела.

Тот спрашивает: «Это по какому делу?» Отвечает: по такому-то. Советник ничего не может объяснить, а просит прочесть журнал. Лопнуло терпение Салтыкова. Говорит: «Только что сами подписали журнал с своей резолюцией и не знаете, что подписали», — и бросил ему через стол журнал. Подобные столкновения бывали нередко.

В характере его особенно выдавались правдивость, беспристрастие и благородство.

В то время, о котором мы говорим, в литературе с легкой руки «Губернских очерков» Щедрина преобладало обличительное направление. Его слабые подражатели доходили до крайней односторонности, даже пошлости. Очерки, рассказы и стихи о чиновничестве наводняли все журналы и газеты. С яростью бичевали собственно только чиновничью мелкоту, не касаясь высших рангов. Критика не отмечала этого. Первый голос протеста раздался из Рязани, оттуда, где находился виновник этого обличительного направления.

В Рязани тогда был чиновник С., с университетским образованием, очень умный, честный, гуманный и не без литературного таланта. Начав службу в губернском правлении, он еле дополз до стряпчего при палате государственных имуществ. Этот чиновник поместил в «Московских ведомостях» статью под заглавием: «Еще о чиновниках»*. Указывая на крайности, в какие вдалось обличение, он высказал, что несправедливо и нечеловечно ограничиваться одним бичеванием людей; честнее было бы взглянуть на печальное явление всестороннее; войти в положение бичуемых маленьких людей, которые настолько же грешны, насколько и несчастны благодаря среде, в какой появляются в жизнь и продолжают жить; в их положении есть и своя трагическая сторона, заслуживающая внимания и сострадания. Затем, рисуя два типа карателей чиновника, в литературе и бюрократии, он дал почувствовать, что имеет в виду Салтыкова и своего высшего начальника З.*, упомянув два их внешние признака: монокль, который носил Салтыков, и отворачивание лица от подчиненного, кланяющегося своему начальнику, что делал З. Статья была написана сильно, тепло и умно и не могла не произвести впечатления.

Автор статьи хранил в тайне, что писал эту статейку он. Однако Салтыков, имевший в то время дела с «Московскими ведомостями», узнал об авторе. Он приехал к С. познакомиться и сердечно благодарил его за урок. Затем исходатайствовал для него более почетное и выгодное место по министерству народного просвещения*. Позднее С. был членом окружного суда.

Из капитальных дел, возникших в салтыковское время, особенно замечательны два: по Хлудовской фабрике и по Скопинскому банку*.

На фабрике Хлудовых в числе мастеровых и рабочих было много отпущенников из крепостного состояния, которое в то время не было еще упразднено законом 1861 года. Следствием было раскрыто, что все эти люди с их семьями до грудных младенцев, подобно неграм, покупались Хлудовыми у мелких помещиков в полнейшую кабалу. Для облечения сделок законной формальностью это делалось таким образом: помещик писал своему крепостному вольную, которая утверждалась судом; вместе с тем там же и в то же время между отпущенником и Хлудовыми совершался нотариальный договор найма, обязывающий первого работать на фабрике на крайне тягостных условиях как относительно работ и заработной платы, так и погашения долга по выкупу его от помещика. Договоры исполнялись рабочими со всею точностью благодаря полицейским мерам, которые в то время были ужасны. Так как наступало время освобождения всех крепостных по закону, то по сим заключенным с Хлудовыми контрактам все купленные ими люди продолжали бы платить за свою свободу и тогда, когда все без изъятия стали свободны даром. Следствие установило, что все договоры заключались без ведома отпущенников и что за них подписывались посторонние лица, которых они в глаза не видали. Оказалось масса подложных документов и контрактов, подлежащих уничтожению. Все члены уездных и земских судов и магистратов Егорьевского и Зарайского уездов были преданы суду вместе с частными лицами, участвовавшими в деле.

Скопинский городской банк, прогремевший в позднейшее (уже новое) время по всей России своим крахом и знаменитым процессом, тогда только что был открыт. Просуществовав два-три года, он уже обнаруживал нечто неблагоприятное: беспорядки и злоупотребления как по банку, так и по городскому управлению. Рыков был не директором банка, а городским головою и членом правления банка. На основании произведенного следствия члены банка и думы были преданы суду. Но сенатом дело было прекращено. Интересно самое ходатайство Рыкова по своему делу. Когда дело было еще

в рассмотрении губернского правления, он принялся хлопотать. Все производство находилось на моих руках. Рыков приехал ко мне на квартиру. Я отказался его принять за недосугом, объявив его человеку, что справки даются в канцелярии. Зная, что дело нечистое и что по аналогичному делу о банке в Зарайске был подкуплен чиновник, который все следственное производство увез к городскому голове, я тогда же свое дело потщательнее убрал в шкаф. В тот же день, в присутствии, губернатор Муравьев рассказывал, что и у него был Рыков, прося защиты и уверяя, что ни в чем не виноват. Муравьев ему сказал, что в таком случае ему нечего беспокоиться, потому что после передачи дела в уголовную палату она его и оправдает. Тогда Рыков оставил хлопоты в Рязани и обратился в Петербург с жалобой и ходатайствами. Вскоре был получен указ сената о *немедленном* доставлении объяснений по жалобе Рыкова. Не прошло месяца — строгое подтверждение с назначением *срока* на исполнение. Еще месяц — жалоба Рыкова была разрешена. Находя лишь некоторые отступления от порядка ведения дел по банку и думе, сенат постановил: сделать Рыкову и другим *выговор*, а постановление губернского правления о предании членов суду отменить. В таких случаях сенат сам выговоров никогда не делал.

Скопинский банк с тех пор покойно и безмятежно процветал, развивая свои операции до размеров, приводивших публику в изумление и восторг, пока не лопнул. Оказалось, что все двадцать лет он систематически грабил сбережения тысяч людей со всей России, собрав с них до двенадцати миллионов рублей. По делу о расхищении банка, как было видно из напечатанного отчета о судебном разбирательстве, скомпрометированными оказались большие господа рязанские и петербургские. Защитник Рыкова в своей речи сделал вопрос: «Почему он не видит на скамье подсудимых господ с берегов Невы?»

Много было и других характерных для того времени дел, разоблаченных в управление Салтыкова. Например, дело о помещике Д—ве *, который высылал своих крестьян на большую дорогу для грабежей и всю жизнь занимался растлением своих крепостных девочек. Рабская покорность и безропотность до того внедрились в народе, что

даже в наступавшее новое время, незадолго до 19 февраля 1861 года, в имении Д—ва по-прежнему свято исполнялась во всем воля барина. В народе говорилось: барин, что плотник, — чего захочет, то и вырубит. Одна случайность открыла деяния этого ветхозаветного патриарха. Относительно девочек он вел дело аккуратно и систематично: у него велись обстоятельные записи с точным обозначением положенного для каждой срока, который сокращался даже до тринадцати лет. Для одной наступил роковой день. От помещика получен был приказ доставить ее к нему в тот же день к ночи. Отец везет свою дочку. Было это в лютую зиму и снежную бурю. Мужик сбился с дороги и едва не замерз с дочкой. Однако выбился в поселок, где была станковая квартира, и решился прямо заявить приставу о своем деле. Полиция поставлена уже была на новую ногу, и началось дело.

С губернатором Салтыков был в хороших отношениях, но под конец разошелся с ним *. Это был человек своеправный и сильный в Петербурге. Вскоре министр «находя, — как говорилось в бумаге, — полезным участие рязанского вице-губернатора в комиссии по преобразованию уездной полиции» вызвал его в Петербург *, а через год Салтыков был перемещен на ту же должность в Тверь, где продолжал службу еще с большей энергией. Позднее он служил председателем казенной палаты в Пензе и Туле.

Уезжая из Рязани, Салтыков приглашал чиновников к себе на службу, и все, кто пожелал, получили там лучшие места и должности.

Вскоре и я оставил службу в Рязани. Слишком через двадцать лет довелось мне быть в тех краях. И что же: память о Салтыкове живет и до сих пор. Его время считается как бы эрой, раньше и позднее которой ничего подобного не было. В разговорах слышалось: *до Салтыкова, после Салтыкова*.

И действительно так. После Салтыкова там, где он служил, прошел целый ряд администраторов, от которых и следа не осталось. И теперь являются люди даровитые, но все-таки не Салтыковы. Даже избранные из новых людей лишь исправно отбывают службу, как барщину, не полагая душу свою в дело. Настало новое время, *время отрезвления и практичности*, как его называют.

С ним совпала и эпоха червонных валетов, Юханцевых, Рыковых и разных сортов Колупаевых.

Конечно, помимо личностей, подобных Салтыкову, свою роль играл и дух времени, но Салтыков был лучшим и благороднейшим выразителем этого духа, самым искренним и преданным слугою общего дела. Он имел громадное влияние на умы, на общество, поднимая его на гражданскую высоту. В то время не редкость было встретить людей, которые на служение обществу не только безропотно несли бремя непосильных трудов и нужды, но как бы гордились своей нуждой и бедностью. Таковы были идеалы молодежи. Теперь таких людей сочтут ненормальными. Мы отрезвились и стали мудры...

Г. А. Мачтет

Помещаемые ниже рассказы о службе Салтыкова в Рязани были записаны и собраны в 1889—1890 годах Григорием Александровичем Мачтетом (1852—1901) — участником революционного движения и писателем, автором известной революционной песни «Замучен тяжелой неволей...»

По словам сына Мачтета, ныне покойного Тараса Григорьевича, из бесед с которым в 1933 году мы почерпнули сообщаемые ниже сведения, отец его «боготворил» Салтыкова, ставил его «на одно из первых мест среди своих духовных учителей» и навсегда сохранил чувство личной признательности к писателю за помощь, пришедшую от него «в связи с одним особенным случаем». В 1880 году, находясь в очередной ссылке — в Ишиме, Тобольской губернии — Мачтет принял решение жениться на Елене Петровне Медведевой, тоже политической ссыльной, судившейся по так называемому «процессу пятидесяти». В поисках денег, необходимых для женитьбы и первоначального обзаведения, Мачтет послал в редакцию «Отечественных записок», где он уже печатался, рукопись одного из своих «сибирских очерков». В сопроводительном письме к Салтыкову (оно неизвестно) Мачтет изложил свои обстоятельства и просил, в случае принятия рукописи, об авансе. Через полтора или два месяца, то есть, принимая во внимание тогдашние средства сообщения с далеким Ишимом, очень скоро, Мачтет получил из конторы «Отечественных записок» извещение, что очерк его принят. Извещение сопровождалось денежным переводом на сумму, значительно превышавшую самые смелые расчеты автора. Между тем очерк Мачтета в журнале не появился. Впоследствии автору стало известно от своих петербургских знакомых, что Салтыков, ознакомившись с рукописью, сразу же заявил, имея в виду цен-

зуру, что «по теперешним временам нечего и думать печатать рассказ»¹. Таким образом, перевод Мачтету денег в виде гонорара за будто бы принятую рукопись был лишь деликатной формой помощи политическому ссыльному и литератору, оказавшемуся в нужде.

1889 год застал Мачтета в Зарайске, уездном городе Рязанской губернии, где ему разрешено было жить без гласного полицейского надзора (негласный же сохранился). Здесь ему и пришла в голову мысль, в связи со смертью Салтыкова, записать рассказы людей, близко знавших писателя в годы службы в Рязани. С этой целью Мачтет несколько раз ездил из Зарайска в Рязань, где беседовал с бывшими сослуживцами Салтыкова. Беседы эти продолжались потом в переписке. Одновременно Мачтет начал собирание писем Салтыкова к рязанцам и поиски официальных архивных материалов для его биографии. Не дожидаясь завершения предпринятой им большой работы по разысканию новых источников, Мачтет в конце 1889 года написал биографический очерк «М. Е. Салтыков в Рязани», который и напечатал весной следующего года.

К собранным им материалам Мачтет отнесся скорее как беллетрист, а не как биограф. Он извлек из них лишь то, что казалось ему наиболее важным или просто красочным и создал свободную композицию биографического жанра. Элементы беллетризации и стилизации несколько снижают, конечно, источниковедческую ценность очерка Мачтета. Однако общая правдивость нарисованной в нем картины не вызывает сомнений. Нельзя, например, документально проверить, действительно ли были произнесены Салтыковым слова, без которых не обходится теперь ни одна его биография: «Я не дам в обиду мужика! Будет с него, господ... очень, слишком даже будет!..» Но стремление Салтыкова во всех «делах» о притеснении крестьян выступать их защитником подтверждается, не говоря уже о литературных произведениях сатирика, сохранившимися подлинниками самих этих дел и теми «резолуциями» в защиту «мужика», о которых упоминает Мачтет.

В предисловии к публикации очерка (мы опускаем это не представляющее интереса общее рассуждение о судьбе великих людей) Мачтет писал:

¹ Насколько известно, из «сибирских очерков» Мачтета в «Отечественных записках» был напечатан всего лишь один — «Вторая правда. Из сибирской жизни» (1883, № 11, подпись: «Г»). Может быть, это и был тот очерк, рукопись которого поступила в редакцию еще в 1880 году? — С. М.

«Со временем мы надеемся пополнить собранный нами<...> материал архивными справками и документами, указание на которые у нас уже есть. Предлагаемый очерк составлен на основании писем и рассказов трех рязанских старожилов». Имена этих «старожилов» Мачтет, однако, не назвал. Вероятно, их нужно искать среди тех же старых рязанцев, близко знавших Салтыкова, к воспоминаниям которых несколько позднее обращался и Н. В. Дризен, когда писал свою очень тщательно документированную работу «М. Е. Салтыков в Рязани». Вот эти имена: В. А. Атласов, А. М. Бахтиаров, П. С. Белкин, Н. И. Лаппо, В. А. Перцов и А. Д. Повалишин («Исторический вестник», 1900, № 2, стр. 599).

Намерение Мачтета написать еще одну статью о рязанской жизни Салтыкова осталось неосуществленным. Собранные же им материалы, а среди них были и подлинные письма Салтыкова, погибли во время пожара.

ИЗ СТАТЬИ «М. Е. САЛТЫКОВ В РЯЗАНИ».

...15-го апреля 1858 года М. Е. Салтыков прибыл в г. Рязань на должность вице-губернатора. Прибытия его (он был назначен на эту должность еще 6 марта) рязанцы ожидали с горячим интересом... Этот интерес зиждился, конечно, главным образом на том, что Салтыков был известный уже писатель, — его «Губернские очерки» читались тогда в провинции нарасхват, и на том еще, что он ехал в Рязань из столицы. Провинция тогда лихорадочно следила за столичной жизнью, чутко прислушивалась к шедшим из столиц слухам и толкам о готовившихся реформах и жадно читала все, что приносила оттуда почта. Так называемое «общество» рассчитывало приобрести в лице Салтыкова нового «интересного» члена, может быть блестящего светского человека, с которым легче коротать провинциальные будни. Но таким ожиданиям суждено было разлететься прахом с первого же дня. Салтыков приехал без всякой помпы, запыленный, в простом тарантасе, — совсем, казалось, точно и не вице-губернатор, а самый простой чиновник. Вид у него был хмурый, почти суровый, — если бы не ласковый, часто как бы улыбавшийся взгляд, — мало подававший надежды на легкое и приятное «causerie»¹.

¹ собеседование (франц.).

Он зажил очень скромно, принимал у себя и сам бывал в гостях не часто, играл иногда в карты и все свое время посвящал главным образом «делам». В качестве вице-губернатора Салтыкову пришлось быть председателем губернского правления. Что такое представляли из себя тогдашние дореформенные губернские правления, нам теперь и представить себе трудно. Безграмотность была до того велика, например, что одного бывшего семинариста, горячайшего пьяницу, держали, несмотря ни на что, в канцелярии только за то, что в трезвом виде он умел кое-как справляться с буквою «ѣ» и знаками препинания. Им дорожили поэтому и берегли его для «особо важных» бумаг. Служащие получали самое крохотное, часто до смешного, содержание, и поэтому «взятка» получила значение не только обычая, но и права. Да она и не называлась тогда «взяткой», а «доходом». Чиновники так-таки, не обинуясь, нисколько не смущаясь, говорили друг о друге: жалованья, мол, получает столько-то, а *доход* такой-то. Так, например, стряпчему (дореформенный прокурор) жалованья полагалось всего чetyреста восемьдесят рублей в год, а *доход* его определялся в две тысячи рублей. И сами плательщики, те, что платили, так же точно относились к этому «доходу» и с контрибуциями свыклись до того, что роптать на них никому не приходило даже в голову. «Всем кормиться нужно!» — говорилось кругом, и каждое появление просителя в присутственном месте непременно сопровождалось всегда «приношением», которое принималось как должное. «Взяткой» тогда называлось только грубое вымогательство денег или прямой подкуп. «Приношения» же, дававшиеся за справки, для того чтобы дело не затягивалось, и т. д., повторяю, считались всеми безгрешными доходами.

Назначение Салтыкова было встречено многими из служивших в губернском правлении прямо враждебно, ибо они понимали, что автор «Губернских очерков», «писатель», будет непременно ярым врагом взяточничества * и других канцелярских язв, широко зиявших целые десятки лет. Роптавшие и враждовавшие утешали себя, однако, надеждой, что Салтыков — человек, вероятно, непрактичный, неопытный, что его легко провести, что казуистикой и канцелярщиной можно-де будет так его опутать, что в конце-концов он откажется от всяких «новшеств», положится во всем на какого-нибудь «доку»,

а сам будет только «подписывать». Примеров такого превращения в прошлом было довольно. Немало ходило в городе рассказов о разных прежних начальниках, искренно желавших в начале своей деятельности искоренить зло, царившее в канцеляриях, и опускавших скоро руки, которые так ловко опутывались разными «секретарями», «правителями», «делопроизводителями» и т. д., что сам новатор, отказываясь от всякой борьбы, думал только о том, как бы его не подвели и не упекли под суд. «Э, э, э! — говорили обстрелянные «старички», ударяя пальцами по стереотипной табачнице (тогда больше «нюхали»). — Э, э, э!.. Знаем мы этих *реформаторов!* Видывали... Погорячится, покипятится — и сядет, батенька... Потому что, видите ли, сударь мой, у нас в канцелярии черт — и тот ногу сломит!..»

И хотя последнее легко могло стать правдой, но на Салтыкове все эти надежды, так сказать, *обрезались* и притом сразу. При первом же приеме служащих Салтыков, нахмурившись и обводя всех глазами, сказал:

— Брать взяток, господа, я не позволю, и с более обеспеченных жалованьем я буду взыскивать строже. Кто хочет служить со мною, — пусть оставит эту манеру и служит честно... К тому же, господа, я должен сказать вам правду: я обстрелянный уже в канцелярской кабалистике гусь, и провести меня трудно.

Один из старожиллов в своих воспоминаниях о Салтыкове, обязательно присланных нам, пишет:

«В короткое время большая часть состава служащих губернского правления обновилась, вошли новые элементы, желавшие служить честно * и для рязанского губернского правления наступила новая эра».

Но справляться с безграмотностью чиновников было труднее и требовало большого количества времени и больших личных усилий. Каждая бумага, поступавшая к подписи, заключала в себе всегда массу орфографических ошибок; редкой бумаги смысл был ясен, — бывали и такие, в которых никто никакого точного смысла найти не мог... Салтыков, бывало, получив к подписи такую бумагу, прочтет ее раз, прочтет другой, плюнет, зачеркнет и начнет составлять сам.

— Господи, — крикнет он иногда, хватаясь руками за голову, — ну и дураки же! Господи, какие дураки! Впро-

чем, слава создавшему их такими!.. Будь они поумней — всю губернию слопали бы! Ей-богу, слопали бы!

Салтыкову пришлось просматривать лично каждую бумажку, самому корректировать ошибки, вводить смысл в безграмотную тарабарщину и снова возвращать бумагу в «стол» для приведения ее в должный вид *. Труд, конечно, невозможно кропотливый, скучный и тяжелый. Нередко Салтыков увозил домой из губернского правления целые вороха таких бумаг и просиживал за их исправлением и корректурой целые ночи. «В конце концов, — пишет один из наших корреспондентов-старожилов, — его труд все-таки увенчался успехом: губернское правление научилось грамотно писать и довольно правильно излагать свои мысли».

Отношение Салтыкова к сослуживцам всякого ранга было всегда в высшей степени простое. С первого взгляда оно могло показаться грубоватым, — говорил он всегда сердитым и глухим тоном, сдвинув брови, не стеснялся в выражениях, — но такова уже была его манера. Два-три дня — и каждый, свыкнувшись с этой манерой, сразу понимал, что имеет дело с человеком в высшей степени добрым, участливым, в глубине души крайне деликатным, безусловно простым и честным. Иногда, выведенный из себя, Салтыков выкрикивал приведенную нами тираду, но присутствовавшие при этом легко могли видеть, что, собственно, гнева нет в этих умно-ласковых глазах... Грустью скорей осветились они да' каким-то скорбно-ласковым смехом...

Мы приведем здесь два случая, характеризующие это отношение, о которых долго и много говорилось тогда... Раз один столоначальник, человек не молодой, безусловно честный, но и безусловно безграмотный в то же время, поднес Салтыкову к подписи бумагу по довольно важному делу. Все составлявшиеся им бумаги Салтыков обыкновенно рвал и затем писал сам, ворча и ругаясь. Бедняга был уже запуган и раздражен — человек он был амбициозный — и вошел к Салтыкову с своей бумагой довольно взволнованным. Салтыков прочел раз, прочел другой, — высоко поднял плечи в изумлении, плюнул с досадой и откинулся на спинку кресла.

— Что это такое вы намудрили тут? — крикнул он ему в упор.

— Доклад-с, ваше превосходительство! — ответил тот, волнуясь все больше и больше.

— Доклад!! Ахинея-с, а не доклад, ваше благородие! — отрезал Салтыков. — Тут ни один дьявол не разберет вашего доклада... Вы-то понимаете сами, что написали?

— Я понимаю-с, ваше превосходительство! — сконфуженно солгал столоначальник.

Салтыков вспыхнул.

— Ну в таком случае, батюшка, извините, — один из нас несомненный дурак.

— Может быть-с, ваше превосходительство! — ответил тот, обидевшись и выйдя из себя. — Только для меня это обидно-с. Как угодно-с, ваше превосходительство, — у меня амбиция есть!.. — и губы его задрожали.

Салтыков вскочил и схватил его участливо за руку.

— Амбиция есть?! И хорошо, батенька, что она есть! И отлично, что амбиция есть! И слава богу! — говорил он уже ласково. — И нужно, чтобы она была! Только и бумаги, батенька, нужно писать толково... Ну, посудите сами... Ну, посудите сами! Вот, садитесь, садитесь! — говорил он, беря его за руку и сажая его в кресло. — Послушайте!.. Можно ли понять? — и Салтыков прочел вслух.

— Что ж, можно понять?! — спросил он, кончив чтение.

— Действительно, — как будто того!.. — замялся сконфуженный чиновник, уже давно забывший свою обиду. — Не совсем, чтобы ясно...

— Ну вот то-то!.. Ну вот то-то!.. — вновь заговорил Салтыков. — А бумага спешная!.. Разве я в обиду вам?.. Что вы, — зачем мне обижать вас?! Давно вы служите? — и он ласково сжал его руку.

Чиновник, совсем размякший от этой ласки, ответил, что служит в канцелярии уже двадцать пять лет, что «бумага» всегда была для него «темным делом», — что он дока только по «счетной» части и посажен «за стол» «по старшинству» временно, за выходом в отставку столоначальника.

— А «бумага» для меня дело темное-с! Никак не могу-с... В голове-с оно все как будто ясно, — а как только придется на бумагу изложить, — сейчас и шабаш... Никак выйти не может... Все не в тон-с!..

— Так вы бы и служили по счетной части! — сказал Салтыков.

— За счастье почитал бы, да линия не выходит!..

— Ну, выйдет! — успокоил его Салтыков и доставил ему подходящее место. До самой своей смерти рассказывал чиновник этот инцидент с начальником, которого не только полюбил, а перед которым благоговел... Каждый год, бывало, на «Михаила» служил молебен и всегда пояснял при этом знакомым:

— За Михаила Евграфовича, которого «Губернские очерки»... Ве-ли-кий человек!.. Да-с, господа!.. У меня с ним еще в бытность мою в губернском правлении... — Тут всегда следовал нескончаемый рассказ о вышеизложенном.

Другой случай был с экзекутором губернского правления, когда Салтыков временно заменял губернатора, уехавшего в отпуск. В снежную бурю, утром, экзекутор, по установленному обычаю, явился к Салтыкову с рапортом, что «в губернском правлении все обстоит благополучно». Старик, весь синый от холода, опущенный снежинками, дрожал, когда вошел к Салтыкову в кабинет.

— Что случилось, что выгнало вас в такую метель? — невольно бросился к нему Салтыков, полный изумления.

— С рапортом, ваше превосходительство!..

— С каким рапортом?

— В губернском правлении все обстоит благополучно, ваше превосходительство...

— Батюшка, — удивился искренно Салтыков, — да разве я не знаю сам, что там ни мятежа, ни глада, ни мора быть не может?! Что вы, что вы?! Бог с вами, — в такую погоду!.. Да вы дрожите?! Постойте! Чаю, рому! — крикнул он прислуге. Не привыкший к такому отношению, строгий формалист экзекутор совсем растерялся сначала от этого приема, но через несколько минут разговаривал уже с Салтыковым за горячим чаем совсем просто и решился даже высказать, что его, старика, тяготит экзекуторская должность и что давно мечтает он о месте «поспокойнее». Салтыков сейчас же обещал ему это устроить, и, конечно, сдержал свое слово со временем. Когда же старик совсем согрелся, он приказал отвезти его в губернское правление в крытом возке.

— Не рапортуйте, батюшка, мне в другой раз!.. Я ведь хорошо понимаю, что в губернском правлении

революций и других подобных бед быть не может! — сказал он ему на прощанье.

Об этом приеме экзекутора долго говорил весь город. Но строгий формалист экзекутор, как ни приятна была ему встреченная им ласка, все-таки ворчал втихомолку и смущался таким отношением к «порядку».

— Душа-человек, — что и говорить!.. — ворчал он. — А все-таки не по форме это!.. Как это — без рапортов! Хотя и благополучно, а все-таки следует!..

Относясь к сослуживцам просто, душевно, с охотой исполняя их законные желания, Салтыков, однако, был очень требователен в работе. Он и себя не щадил и не баловал, сам просиживал за работой целые ночи, и от сослуживцев своих требовал большого труда. По важным делам, — в особенности по делам о притеснениях крестьян, по делам раскольничьим, — он всегда сам составлял резолюции, сам писал постановления, не говоря уже о том, что сам перечитывал и просматривал каждую бумажку, каждое донесение. Эти резолюции и постановления представляют собою несомненно очень ценный материал, и мы непременно воспользуемся ими для нашей будущей статьи *. В настоящей же заметке мы ограничимся лишь указанием на то, что везде и всегда Салтыков являлся горячим защитником притесняемых и не только защитником, а прямым ходатаем. Последнее давало повод ко всякого рода неприятным столкновениям, породило недружелюбное отношение к нему со стороны многих довольно сильных лиц в губернии, служило предметом толков и пищей для клевет и инсинуаций самого грязного свойства и в конце-концов повлекло за собой даже перевод Салтыкова в Тверь, — но он не сдавался, а твердо и неуклонно шел своей дорогой.

— Я не дам в обиду мужика! Будет с него, господа... Очень, слишком даже будет! — сказанное Салтыковым по поводу одного дела, где несчастных крепостных желали выставить чуть ли не бунтовщиками, — передавалось во враждебном ему кругу из уст в уста, как нечто крайне вредное, опасное, угрожающее. В таком же виде оно достигло и до столицы, где, однако, на эти слова взглянули, кажется, иначе. В губернии же они послужили одному зонику из «белых» поводом для переделки по отношению к Салтыкову слова «вице-губернатор» в «вице-Робеспьер».

Работы в губернском правлении было по горло. Предшественниками Салтыкова дела были очень запущены *, некоторые лежали без движения целые годы, другие тянулись десятки лет. «Искореня взяточничество, — пишет нам один из бывших сослуживцев Салтыкова, — и внушая своим подчиненным строгое отношение к делу, Михаил Евграфович невольно впал в крайность, свойственную, впрочем, всякому усиленно работающему и относящемуся добросовестно к работе человеку. Запущенные дела, доставшиеся ему от предшественников, и желание хоть несколько привести в порядок канцелярию побудили Михаила Евграфовича потребовать от своих подчиненных и вечерних занятий. Он распорядился, чтобы служащие, работавшие и без того много, от восьми до четырех, приходили еще и по вечерам с восьми часов». В правлении поднялся горячий ропот на такое распоряжение и, главным образом, роптала беднота, все мелкие чиновники, жившие за городом. Тот же самый корреспондент пишет дальше: «Мелкий чиновник того времени, при незначительности получавшегося им жалования, принужден был вместе с своим семейством селиться в немощенной окраине города, среди страшной грязи, в так называемой Солдатской слободе, положительно представлявшей собою колонию бедного чиновничьего мира. Через невылазные грязи бедному чиновничьему классу приходилось ходить под дождем в самом карикатурном виде. Со снятыми ради экономии сапогами, повешенными на плечи, с подсученными по колени брюками, бедняк чиновник принужден был переправляться через лужи, чтобы не портить обуви и платья, и тогда только решался надеть сапоги, когда, обмыв ноги в последней луже, выбирался, наконец, в мощеную часть города».

Ропот бедняков, от которых вдруг потребовали двойной работы, не увеличивая за нее платы, был вполне понятен, и за них вступился местный корреспондент, выступивший с негодующей статьей в тогдашних «Московских ведомостях», в одном из июньских номеров *. Корреспонденция была подписана псевдонимом Сбоев и, горячо ратуя за бедноту, на головы которой вечно валялись шишки, осуждала произвольное распоряжение Салтыкова относительно вечерней работы и советовала ему, прежде чем требовать от людей крайнего напряжения сил, — присмотреться к их быту, посмотреть, как и где

они живут. Салтыков, как только прочел, сейчас же отменил свое распоряжение и поехал в Солдатскую слободу посмотреть, как действительно живут его подчиненные. Затем он позвал к себе одного из чиновников, г. Иванова, и спросил его: не знает ли он, кто этот Сбоев?

— Не знаю, ваше превосходительство! — ответил г. Иванов.

— Да вы не думайте, что я со зла спрашиваю. Хоть он меня и отделал, — я не сержусь, а очень ему благодарен, напротив. Я не памятозлюбив, как другие чиновники! — говорил Салтыков, думая, что тот нарочно скрывает. Но г. Иванов уверил его, что он действительно не знает Сбоева.

— Жаль, искренно говорю вам, жаль! — сказал Салтыков. — Я очень благодарен этому господину Сбоеву... Честный, видно, человек, — и я хотел бы с ним познакомиться... Он написал правду, — свое распоряжение я сделал, не подумавши, не приняв во внимание положения работников... Спасибо ему!..

Салтыков, однако, не успокоился, поехал в Москву и в редакции узнал адрес корреспондента. Оказалось, что Сбоевым подписался инспектор Александровского дворянского воспитательного заведения, г. Смирнов. Вернувшись обратно в Рязань, Салтыков немедленно поехал к г. Смирнову с визитом. «Внезапное посещение вице-губернатором, — пишет нам один из стариков, хорошо знавший обоих, — квартиры г. Смирнова смутило хозяина, тем более что он нечаянно встретил гостя в халате.

— Пожалуйста, не стесняйтесь! Я рад с вами познакомиться, как с человеком, который оказал мне услугу! — быстро заговорил Салтыков, заметив смущение г. Смирнова и крепко сжимая его руку. — Вы напечатали в «Московских ведомостях» статью под псевдонимом Сбоев... Я читал ее. Нарочно ездил в Москву, чтобы узнать имя автора, и теперь приехал к вам, чтобы поблагодарить вас... Вы поступили честно и написали правду... Надеюсь, что на этом наше знакомство не кончится...

Вскоре после этого г. Смирнов, с которым Салтыков искренно подружился, принял на себя, по его просьбе, редактирование неофициальной части «Губернских ведомостей» *.

Так завязавшаяся дружба продолжалась до самой смерти Салтыкова. Когда его перевели в Тверь, он писал г. Смирнову оттуда, метко характеризуя тогдашнее тверское общество, переписывался с ним и из Петербурга, когда, оставив государственную службу, всецело посвятил себя литературе и заведовал редакцией «Отечественных записок». Эти письма войдут целиком в нашу последующую статью о Салтыкове*.

Так ценил Салтыков честных и умных людей, так свято уважал он правду и правдивое слово!

Оживление и подъем духа, охватившие наше общество в конце пятидесятих годов, не миновали, конечно, и Рязани. И там, как и везде в России, лучшие элементы спланивались, ратовали за намеченные уже реформы и готовились послужить проведению их в жизнь. Наш корреспондент пишет: «Однообразие провинциальной жизни, со всегдашними ее спутниками: скукой, картами и сплетнями, к концу пятидесятих годов несколько оживилось у нас. Слухи о предстоящих реформах стали волновать умы и в Рязани». В клубе и во многих частных домах, где «преферанс» являлся до сих пор исключительным времяпрепровождением и стимулом сближения людей (до «винта» тогда еще не доросли), — карты все больше и больше забывались. Люди стали думать, читать, интересоваться судьбою своей родины, а «вместо обычных «пас», или «без козырей» стали слышаться умные, горячие речи и страстные споры». Все молодое, живое и честное рвалось навстречу подготавливавшейся реформе и, полное веры в будущее, в жизнь, в себя, «считало прошлое похороненным, исчезнувшим без следа, без возможности воскрешения». Городской сад весной и летом «наполнялся теперь не только дамами и кавалерами, как бывало, но и почтенными, степенными отцами семейств, до сих пор вечно сидевшими за «зелеными столиками». Этот сад превратился в клуб, куда сходились люди для обмена мыслями, для толков и споров. «На террасе, за столом, — пишут нам, — каждый вечер можно было видеть Михаила Евграфовича, окруженного лучшими, интеллигентными людьми Рязани того времени: Офросимовым, кн. Волконским (которого Михаил Евграфович в шутку называл «Жюль Фавром с затылка») и другими передовыми

впоследствии деятелями земской реформы» *. В этом кружке каждый вечер шли толки и обсуждения основной готовившейся реформы, и он невольно приковывал к себе общее внимание. Молодежь обыкновенно незаметно и тихо располагалась на ближайших скамейках или пряталась в кусты и за стволы деревьев, «чтобы послушать, что говорит он, наш незабвенный Михаил Евграфович», как он смотрит, чего ждет. «Выберет себе местечко поближе, — говорил нам один из старожилов, — обопрется о дерево и стоит человек целые часы, не шелохнется, чтобы не пропустить ни словечка, точно соловья слушает... И сердце у него бьется, и глаза горят, и весь он живет... Глядишь и себе не веришь, — тот ли это самый Иван Иванович, что до сих пор только за поповнами ухаживал да банты голубые на шею нацеплял? Да, было времечко! Ну, да и люди были!.. Все тогда как-то меняться стали!» Но Салтыкову не долго пришлось оставаться в Рязани и группировать около себя лучшие элементы общества. Уже в апреле 1860 года его вызвали в Петербург для личных объяснений по поводу возникших у него столкновений с губернатором, покойным Муравьевым, и затем перевели его в Тверь. Столкновения Салтыкова с губернатором начались давно и тянулись долго, пока не дошли до открытой ссоры, поводом к которой послужило одно крестьянское дело (сущность этого дела мы изложим в последующей нашей статье по документальным данным) *.

Губернатор был человек суровый, нетерпимый, с крутым и тяжелым характером. Его ссору с Салтыковым описывает нам один из бывших рязанских чиновников следующим образом:

«Столкновение Михаила Евграфовича с губернатором произошло вследствие того, что последний непременно хотел провести одно дело в губернском правлении, а Михаил Евграфович наотрез отказался подписать формальное постановление, которое безусловно противоречило его внутреннему убеждению и совести». Губернатор все-таки приказал написать постановление и прислать ему, что и было исполнено. «Не видя подписи вице-губернатора, губернатор снова направил журнал к Салтыкову для подписи, но Салтыков остался непоколебим и возвратил его неподписанным». Тогда губернатор вызвал

Салтыкова к себе, и между ними произошел нажеследующий разговор.

«Губернатор был очень сердит и в возбуждении прохаживался скорыми шагами, когда вошел к нему Михаил Евграфович, на вид совершенно спокойный.

— Так вы не хотите подписать журнал? — крикнул ему губернатор, как только его увидел.

— Повторяю, ваше превосходительство, не намерен! — спокойным, не допускавшим сомнений тоном отвечал Салтыков.

После этого и тот и другой сказали друг другу несколько колкостей, о чем ходило по городу много различных вариантов».

Вызванный для личных объяснений в Петербург, Михаил Евграфович был переведен на ту же должность в Тверь.

Как известно, в начале шестидесятых годов Салтыков не служил, а исключительно отдался литературе. Одно время он задумал издавать журнал в Москве*, но, не получив разрешения, уехал в Петербург, где очень сблизился с редакцией «Современника». Но вслед затем обстоятельства вновь вынудили его поступить на государственную службу, и он выбрал теперь министерство финансов. В октябре 1867 года он опять появился в Рязани* в должности председателя Казенной палаты, переведенный из Тулы, где занимал ту же должность. Но это вторичное пребывание в Рязани было еще кратковременнее первого. В июле 1868 года он опять оставил Рязань и уже навсегда*. Приглашенный Некрасовым к участию в редакции «Отечественных записок», он уехал в Петербург, совсем отказавшись от государственной службы.

За это короткое время Салтыков приобрел ту же любовь, то же уважение своих новых сослуживцев и точно так же, как и раньше в должности вице-губернатора, являлся защитником всех честных людей, ходатаем за всех обездоленных, нуждавшихся в помощи и в участии. Слава его, как великого писателя, выросла тогда еще больше, но он оставался все тем же простым, доступным всем, душевным человеком, каким и был. Его правдивость, его простота, его участливое отношение к «низшим» ставились в образец и сами собой, помимо литературной славы, окружали его ореолом. Много случаев,

рисующих Салтыкова с этой стороны, приходилось нам слышать, но из всей этой массы мы выбираем пока один, рассказанный нам разными лицами с некоторыми вариантами. Вот этот случай. «В Спасске сцепились казначей с бухгалтером, — рассказывали нам. — Казначей был старик, что называется на нашем языке «высидженный», то есть получивший это место за «высидку»... Не за заслуги, а за долголетие, значит. И дело свое он плохо знал, но показать этого не любил, — был упрям и заносчив. Ну, а бухгалтер — был человек молодой, из новых, книжки читал, в газетах пописывал и дело свое знал, как пять своих пальцев. Сцепились они сразу, ибо казначею обидно было, что бухгалтер знает дело лучше, чем он. Делает казначей распоряжение, — тот не исполняет и в свое оправдание сует циркуляры и статьи закона. Казначей обижается, настаивает, а тот требует приказания на бумаге и исполнял такие распоряжения, только получив письменные предписания.

Казначей стал писать Салтыкову донос за доносом на своего противника. Обвинял он его в этих доносах чуть ли не во всех преступлениях и в полном незнании дела. Салтыков, наконец, не вытерпел и поехал в Спасск.

— Как бы они там еще землетрясение не произвели! — проворчал он, собираясь в путь.

В Спасск Салтыков приехал в простой почтовой кибитке, чем несказанно удивил все спасское общество и смутил исправника, поехавшего, как водится, ему навстречу. Приехав, он немедленно запечатал «кладовую» и принялся молча, не говоря никому ни слова, за ревизию дел. Рассмотрев книги и дела, он, в изумлении, позвал бухгалтера.

— Что это, батенька?! — сурово обратился он к нему, — рекомендовали мне вас хорошо, человек вы грамотный, книжки, как я слышал, читаете да в газетах пишете, — а столько глупостей наделали?! Смотрите, смотрите, смотрите! — И Салтыков стал указывать ему неправильности и ошибки. — Как это, батенька?!

— По предписанию, ваше превосходительство! — ответил спокойно бухгалтер.

— По какому предписанию?!

— А вот-с! — и бухгалтер выложил Салтыкову все письменные предписания казначея.

«Дело выяснилось таким образом сразу. Салтыков позвал казначея и тут же объявил ему, что он не может допустить его к дальнейшему отправлению должности, а переводит его бухгалтером.

— Доносы, доносы и доносы, батенька! — сказал он ему. — Все я, я да я!.. А вон и выходит, что, где вы, там и вранье... И доносить то, батенька, нужно умеючи, а то ведь иной донос на русском языке и клеветой называется...

Бухгалтера он назначил казначеем, причем, говорят, будто бы сказал ему:

— Вы книжки-то читаете?..*

— Читаю!..

— То-то!.. Я вас казначеем назначаю, — но вы этими перспективами-то не больно увлекайтесь... Книжку-то не забываете...

— Я не забуду! — улыбнулся бухгалтер.

— То-то, батенька!.. Ох, отшибают эти перспективы память на книжки, — крепко отшибают... А ведь в них, нет-нет, да вдруг и найдется такое, что крепко запомнить нужно!.. Так вы перспективами-то не больно!..

Нам передавали также люди вполне достоверные, что перевод Салтыкова из Тулы в Рязань был крайне неприятен бывшему тогда губернатором г. Б. *, который хлопотал об этой должности для своего родственника, г. М. М., и потому Салтыкову пришлось стать с ним сразу в натянутые отношения. Этим натянутым отношениям поспособствовал и первый визит Салтыкова к губернатору, резко обрисовавший его правдивый, искренний характер и нелюбовь к деланным любезностям. Дежурный чиновник, бывший в тот день у губернатора, рассказывал, что Салтыков вошел к нему со словами: «Ну, вот и я, ваше превосходительство!» Губернатор рассыпался в любезностях, стал уверять, что очень рад его видеть, познакомиться с ним и служить в одной губернии.

— Спасибо, спасибо, ваше превосходительство! — тем же хмурым тоном перебил его Салтыков, причем губы его слегка улыбнулись, — очень благодарен и тронут!.. А вот министр просил меня передать вам, что ходатайство вашего превосходительства о назначении на мою должность господина М. М. — уважено им, к сожалению, быть не может!

Губернатор вспыхнул и совсем растерялся...

На этом мы заканчиваем наш краткий очерк, составленный на основании собранного нами материала, который, пополненный архивными и другими справками, а равно и письмами Салтыкова, даст нам возможность написать со временем более обстоятельную статью. Мы думаем, что не мешало бы также кому-нибудь из живущих в Туле, Твери, Вятке, Рязани, — везде, куда судьба забрасывала великого писателя, — заняться собиранием материала, необходимого для его полной биографии. Мы уверены, что все в жизни такого великого человека будет иметь живой и непосредственный интерес для потомков, которые одни и смогут оценить правильно всю колоссальную силу его творческого гения и все его значение.

Д. А. Бырдин

В дневнике А. И. Артемьева приводятся слова сатирика о том, что в годы ссылки ему «довелось наблюдать в жизни вятских чиновничьих бонз столь удивительные картины, которые прямо просились в «Губернские очерки», но не могли в них попасть». Рассказ Д. А. Бырдина — мирового посредника Бежецкого уезда, Тверской губернии, принадлежавшего в шестидесятые годы к либерально настроенной части местного дворянства, — позволяет воссоздать сюжет одной из этих «удивительных картин».

Рассказ Бырдина интересен также и тем, что дает еще один штрих для характеристики борьбы Салтыкова-администратора с безудержным произволом, с беззастенчивым грабежом народа, которыми ознаменовалось одно из главнейших мероприятий крестьянской реформы — составление уставных грамот, начавшееся летом 1861 года. Исходя из норм, определенных «Положением 19 февраля», помещики стремились отводить в крестьянские наделы самые неудобные земли и часто прибегали в этих целях к вопиюще незаконным и разорительным для крестьян переселениям. О том, как Салтыков приостановил одно из таких переселений, а затем оказал переселяемым крестьянам помощь, о которой они просили, мы узнаем из печатаемого рассказа современника.

<У М. Е. САЛТЫКОВА В ТВЕРИ>

Это было в 1861 или 1862 году*. Я жил тогда в своем имении, находящемся в ста пятидесяти верстах от Твери. Крестьяне тогда только что получили волю.

Глубоко заинтересованный всем, что касалось так называемого крестьянского вопроса, я считал нравственным своим долгом войти в несчастное положение небольшого селения в тридцать душ, находящегося неподалеку от моей усадьбы. Положение это было создано для них их помещиком г. Б., ярым крепостником. Он довел своих подданных до невообразимой нищеты, заставляя поголовно всех своих крестьян ежедневно работать у него на барщине, так что свои поля они принуждены были обрабатывать по ночам. Когда же грянул гром 19 февраля, он широко воспользовался своими хорошими отношениями с местным исправником и дружбой с мировым посредником, недалеко ушедшим во взглядах на крестьянское положение от сказанного владельца. Опираясь при этом на предоставленное помещикам право оставлять за собою прилегающую к их усадьбам землю, он задумал переселить крестьян на полверсты от их прежнего местожительства на совершенно неудобную землю, а удобренную крестьянами землю оставить за собою. При этом гуманный господин этот не пожелал даже дать крестьянам лесу на постройку или переустройку их гнилых изб на новом месте. Не видя нигде себе помощи, крестьяне обратились ко мне с горячей просьбой ходатайствовать за них перед начальством. С этою-то целью я и поехал в Тверь, думая просить губернатора обратить внимание на это вопиющее дело. Но губернатор оказался в отлучке, и мне пришлось обратиться к временно управлявшему губернией вице-губернатору М. Е. Салтыкову. Я приехал к нему на квартиру вечером и передал ему мою просьбу. Михаил Евграфович немедленно сделал распоряжение приостановить переселение вышеуказанных крестьян впредь до расследования, а затем попросил меня на вечерний чай. Мы стали беседовать о его «Губернских очерках». Когда я заметил, что, вероятно, многие из его очерков не были напечатаны по не зависящим от него обстоятельствам, он подтвердил мое предположение * и затем добавил:

— Да вот хотите, я передам вам один эпизод из моих вятских впечатлений, который я даже не думал никогда предавать гласности, зная наверное, что это невозможно. Вероятно, вы знаете, что в 1848 году я проживал не по собственному желанию в городе Вятке. Все местные губернские власти почему-то мною интересо-

вались до такой степени, что постоянно приглашали меня к себе на официальные обеды. В числе других чиновных лиц был я приглашен и на обед председателем палаты гражданского суда, причем удостоили посадить меня рядом с председателем Казенной палаты. Я увидел, что за обедом несколько человек лакеев служат во фраках, чему крайне удивился, так как ни в клубе, ни в частных домах мне не приходилось здесь видеть прислугу во фраках. Я обратился за разъяснением к соседу своему по столу, председателю Казенной палаты, спрашивая его, откуда мог получить такую приличную прислугу наш хозяин. В ответ на это мой сосед пригласил меня спросить об этом у самого хозяина дома. Конечно, я тотчас же исполнил совет соседа и получил следующий ответ: «Это мои ребята». Оставаясь по-прежнему в недоумении, я сказал: «Извините, ваше превосходительство, я не совсем понимаю вас». Я получил снова в ответ: «Это мои столоначальники». При моем положении опального человека мне, конечно, неудобно было входить в дальнейшие обсуждения вопроса о лакеях во фраках, но я сильно заподозрил нашего любезного хозяина в желании мистифицировать меня. Как бы то ни было, я отложил разрешение этой загадки до другого дня. На следующий день после памятного мне обеда я отправился в палату гражданского суда и был несказанно удивлен, действительно признав в столоначальниках тех лакеев, которые прислуживали вчера за обедом у председателя. Только на сей раз они были не во фраках, а в виц-мундирах с блестящими форменными пуговицами. Мне представился вопрос: откуда могли взять столоначальники фраки? Сами они не могли их приобрести, потому что получали слишком ничтожное жалованье. Неужели председатель на свой счет изготовил им фраки на случай обеда у него? Предложив двум-трем столоначальникам этот вопрос, я получил от них следующее разъяснение: «Нам не велено пришивать форменные пуговицы к виц-мундирам, а приказано вышивать на подлежащих для пуговиц местах отверстия, в которые и вкладываются пуговицы, прикрепляющиеся с исподней стороны шнурком, который вдевается в их ушки, а на случай обеда велено иметь матерчатые черного цвета пуговицы с такими же ушками. С помощью этих пуговиц виц-мундиры и превращаются во фраки

во время службы за обедом у его превосходительства».

То, что я рассказал вам, — заключил Михаил Евграфович, — факт *, но* мне нечего и думать об его оглашении.

Затем я откланялся, и мне уже никогда не довелось видеть знаменитого нашего сатирика. Считаю долгом добавить, что просьба моя была уважена и крестьяне получили требуемый им лес на постройку и льготу на уплату оброка в течение трех лет.

И. М. М<ихайлов>

В конце 1864 года Салтыков вышел из состава редакции журнала «Современник» и вновь уехал служить в провинцию. Это решение было одним из преломлений в биографии Салтыкова общего кризиса демократического лагеря в период после краха революционной ситуации начала шестидесятых годов и наступления полосу политической и общественной реакции.

На этот раз выбор службы зависел от самого Салтыкова. Не желая возвращаться в министерство внутренних дел, являвшееся главным проводником правительственной реакции, Салтыков избрал министерство финансов, — отчасти еще и потому, что министр М. Х. Рейтерн был старшим лицейским товарищем Салтыкова.

С ноября 1864 по июнь 1868 года Салтыков возглавлял Казенные палаты последовательно в Пензе, Туле и Рязани. Столь частая смена мест объяснялась тем, что появление Салтыкова в каждом новом городе неизменно сопровождалось возникновением острых конфликтов его с начальниками губерний.

По жалобам губернаторов Рейтерн вынужден был перемещать беспокойного управляющего из одного города в другой до тех пор, пока Александр II своей резолюцией по докладу начальника III Отделения гр. Шувалова не счел недопустимым дальнейшее пребывание Салтыкова на государственной службе вообще. Об этом времени и этих обстоятельствах сохранилась следующая запись Вл. Лихачова в его рукописи «Из памятной тетради старого литератора» (ЦГАЛИ, ф. 282, оп. 1, ед. хр. 32, лл. 24 сл.; ср. газета «Слово», СПб. 1909, № 785 от 4 мая):

«Из министерства внутренних дел, с должности вице-губернатора, Салтыков перешел в министерство финансов, на должность управляющего Казенной палаты (по нынешним штатам — председателя Казенной палаты). Министром финансов был тогда Рейтерн — и много пришлось ему повозиться со своим однокашником по лицею. Не успев Салтыков где-нибудь прижиться, глядь, уже и поссорился с губернатором. Приезжает в Петербург — к Рейтерну.

— Давай другую палату! Не могу я с этим мерзавцем служить...

Получает другую палату — и опять та же история. Так и переезжал с места на место — до полной отставки».

В этой войне Салтыкова с губернаторами, продолжавшейся все три с половиной года его последней службы, особенно яростными были сражения с тульским губернатором Шидловским. По свидетельству Н. И. Лаппо, «это время было самое тревожное и для Салтыкова и для близких ему лиц» («Исторический вестник», 1900, № 2, стр. 615). Шидловский доносил и жаловался на Салтыкова и в III Отделение, и в министерства, и самому царю. Салтыков в свою очередь люто ненавидел тульского «помпадура» — одного из наиболее ретроградных и тупых представителей высшей администрации царизма. Выразительно охарактеризовал Шидловского министр внутренних дел, а ранее управляющий III Отделением А. Е. Тимашев: «Генерал Шидловский тем только и замечателен, что во всю жизнь свою ни разу не сказал либерального слова» («Литературное наследство», М. 1949, т. 49—50, стр. 470). Именно Шидловский, по свидетельству ряда близких к Салтыкову лиц, натолкнул сатирика на создание гротескного образа градоначальника с «органчиком» в голове, который имел в арсенале своего администрирования лишь два средства: «не потерплю!» и «раззорю!» Как сановный бюрократ военно-полицейской формации, к тому же человек непомерного самолюбия, Шидловский не мог «вместить» самой мысли о возможности какого-либо противоречия, хотя бы и по вопросам частным, не касавшимся службы. Каковы же были его взгляды на литературу, показывает такой эпизод, относящийся к весне 1871 года, когда Шидловский после тульского губернаторства ненадолго занял пост председателя совета Главного управления по делам печати. На одном из заседаний совета поэт Тютчев спросил Шидловского по одному поводу: «Для чего литература и печать, если отрицать значение ее заявлений?» «Для забавы, для забавы! — крикнул не своим голосом Шидловский. — Для того, чтобы людям, которым нечего делать, было что читать. Другого значения литература и вообще печать не имеют!» («Литературное наследство», М. 1949, т. 49—50, стр. 470). Таков был человек, с которым судьба столкнула Салтыкова на служебном поприще в Туле.

Михайлов — в ту пору один из служащих Тульской казенной палаты — уделяет немало внимания «ссоре» Салтыкова с Шидловским, о которой тогда шли толки не только в Туле, но и в обеих столицах и в других городах. Никакой идеологической почвы в этом конфликте чиновник-мемуарист не видит. Все объясняется

внешне и прямолинейно — как результат, с одной стороны, столкновения двух трудных характеров, а с другой стороны, и это главное, как проявление «несчастной страсти» сатирика быть непочти-тельным к вышестоящему начальству.

В этой связи вообще следует заметить, что среди других воспоминаний о служебной деятельности Салтыкова — в Вятке, Рязани, Твери и Пензе — мемуары Михайлова, пожалуй, наиболее проникнуты этим «чиновничьим» духом. Автор, хотя и «преклоняется» на словах перед Салтыковым-писателем — «генералом от литературы», — но по существу равнодушен к таланту художника. Он больше склонен восхищаться выдающимися административными способностями Салтыкова, впрочем, сожалея, что они не смогли полностью раскрыться. Перечислив эти способности, Михайлов замечает: «...все это, естественно, поражало и изумляло ближайших свидетелей его деятельности, сулило ему, по-видимому, блестящую будущность государственного деятеля». Мемуарист сожалеет, что Салтыков загубил свою служебную карьеру, которую таким образом ставит выше его писательской судьбы. «...Несчастливая страсть его, — пишет Михайлов, — открыто и беспощадно издеваться над представителями высшей губернской администрации, относя их всех безразлично, кто бы они ни были, к категории презренных Помпадуров, — отчего он не мог сойтись и ужиться ни с одним почти губернатором, — делала его нетерпимым на службе...»

Эта позиция мемуариста заставляет весьма критически отнестись к характеристикам мотивов поведения Салтыкова, которые мы находим в воспоминаниях Михайлова — единственном мемуарном источнике, специально относящемся к жизни Салтыкова в Туле. Но следует согласиться с заключительными словами автора, что у нас нет оснований сомневаться в «верности и правдивости» самих сообщаемых фактов. А факты эти не только позволяют воссоздать внешнюю картину служебного быта Салтыкова в Туле. Автору удалось очень непосредственно передать поведение Салтыкова, ярко иллюстрирующее стихийную силу и своего рода неукротимость его сатирического темперамента. Такова, например, зарисовка острой сценки, изображающей, как Салтыков спешил по улицам Тулы на почту, держа всем напоказ жалобу на Шидловского министру и громко возглашая встречавшимся знакомым: «Иду травить Мишку!»

Шумный конфликт с Шидловским — документируемый в первую очередь воспоминаниями Михайлова — занимает свое место в биографии писателя. Конфликт этот интересен и как один из реально-бытовых источников знаменитой щедринской галереи «Помпадуров».

Тульской казенной палате останется навсегда памятным 1866 год не столько по преобразованию ее и введению новых штатов во второй половине года, сколько по замечательной перемене в личном составе ее.

Осенью того года бывший управляющий ее, М. Е. Кличановский, перемещен в Каменец-Подольскую палату, а на его место назначен в Тулу известный писатель М. Е. Салтыков (Щедрин), управлявший дотоле Пензенскую казенную палатой *. Перемена эта не могла считаться неожиданной, ввиду неприязненных отношений к палате губернатора, М. Р. Шидловского, обвинившего ее в небрежном исполнении своих обязанностей и нередко обращавшегося с жалобами на нее в министерство. Хотя вызванная этими жалобами ревизия и не обнаружила в делах палаты особых упущений и командированному для ревизии чиновнику особых поручений министра, барону Корфу, сам же губернатор на запрос о личном составе палаты отзывался в самых лестных выражениях об управляющем палатой, как о честнейшем и благороднейшем человеке, а равно и о некоторых других известных ему членах общего присутствия палаты, тем не менее через несколько времени Шидловский возобновил свои доносы, не прекращая их даже и после того, как вследствие обстоятельных объяснений палаты по некоторым из этих доносов получил от министерства внутренних дел предупреждение не обременять министерство напрасной перепиской. Подобных замечаний не мог выносить самолюбивый губернатор и как бы в оправдание себя старался еще более представлять деятельность палаты в дурном свете, так что в сентябре и октябре месяцах не проходило почти ни одной недели без запросов по его доносам. Понятно, что такие непрерывные пререкания более и более надоедали министерству и вынудили его переменить управляющего палатой. Слышно было, что при первом же после этой перемены представлении Шидловского министр финансов сказал ему: «Теперь, генерал, думаю, вы успокоитесь и не будете иметь поводов жаловаться на Тульскую палату; я выбрал для вас умного и энергичного управляющего». Шидловский будто бы горячо благодарил министра за этот выбор. Он не знал, конечно, Салтыкова, и

если бы мог предвидеть, как много неприятностей навлечет ему эта перемена, он не поблагодарил бы за нее министра, а скорее просил бы избавить его от вновь назначенного управляющего и заменить кем-либо другим.

Высочайший приказ о назначении Салтыкова управляющим к нам состоялся еще 11 ноября, но не скоро дождался мы его прибытия в Тулу: * он приехал уже недели через три, когда мы перестали ожидать его, как прежде, изо дня в день. Оставляя нас в неизвестности о времени своего приезда, явившись к нам внезапно, он как бы хотел застать нас на службе в обычной обстановке, без всяких приготовлений к его приему. И вот в один из будничных дней, придя в палату, мы узнаем, что новый управляющий приехал еще накануне и сейчас будет у нас, а вместе с тем слышим, что начальники отделений представлялись ему в квартире и остались недовольны его сухим и надменным приемом, причем он будто бы даже высказал им свое неудовольствие, зачем явились к нему на квартиру представиться — могли бы сделать это и в палате, по приезде его туда. Действительно, почти вслед за ними является он сам, суровый и мрачный на вид, быстро проходит в присутствие, застаёт там старшего делопроизводителя с кипой бумаг на присутственном столе и, указывая на него, спрашивает сопровождавших его начальников отделений: *

— Это кто такой?

Доклаживают:

— Старший делопроизводитель.

— Зачем, — говорит, обращаясь к нему, — вы здесь сидите?

Объясняют:

— По распоряжению бывшего управляющего все члены общего присутствия сидят здесь.

— Что же вы тут делаете?

— Обсуждаем дела общего присутствия.

— Что за дела такие? Вы знаете, что теперь управляющий один своею властью решает все дела по докладу одного из начальников отделения, причем же тут общее присутствие ваше, и зачем будут торчать здесь другие члены? Мешать только докладом, отвлекать от дела себя и других пустою болтовней или непрошенными советами? Вот нашли место для занятий! Разве чтобы подписывать, не читая, бумаги, какие подложат? Эй, швейцар, —

кричит он, указывая на зеркало, — убери подальше это воронье пугало, чтобы его тут не было¹. В этой комнате должен быть мой кабинет, а не какое-то мифическое присутствие. Я буду здесь сидеть один, а вас прошу заниматься в своих отделениях; когда будет нужно, позову вас.

С удивлением слушали мы эти странные речи, вовсе не похожие на обычные приветствия, с какими обращаются к своим подчиненным начальники отдельных частей при вступлении в должность.

В сущности замечания управляющего, конечно, были справедливы и вскоре были подтверждены циркуляром департамента государственного казначейства, от 10 января 1867 года, о порядке производства дел в казенных палатах. Но к чему этот тон, резкий и раздражительный? Из-за чего было так кипятиться при отсутствии каких бы то ни было возражений с нашей стороны, когда и сами мы хорошо понимали, что заседания общего присутствия с преобразованием казенных палат потеряли свое значение? В особенности с какой стати понадобилось изливать свою желчь на неповинное в наших порядках зеркало? С грустным чувством изгнанников оставили мы излюбленный зал своих заседаний и вслед за управляющим направились через канцелярию в отделение казначейства. Здесь прежде других представились ему чиновники особых поручений. Спрашивает их:

— Чем занимаетесь?

Отвечают:

— Поверкой торговли.

— Еще чем?

— Собираением сведений о недоимках.

— Давно кончили?

— В сентябре.

— А с того времени что делаете?

Молчат.

Опять слышим крики:

— Поверочкой, поверочкой занимаются, и только.

¹ Впоследствии эта выходка не прошла даром для Салтыкова. Как он жаловался тульскому архиепископу: «Что это за кляузный город ваш? Здесь всякое лыко в строку. Вырвались у меня два неосторожных слова относительно зеркала присутствия, пошли они гулять по Туле, дошли до Петербурга, а там взмылили мне за них голову, вышел, словно из бани». (Примеч. И. Михайлова).

Что ж это за служба? Нет, я вас заставлю бросить такие привычки. С завтрашнего дня извольте ходить в палату — вместе с столоначальниками — помогать им кончать дела к новому году. Пишите доклады, какие дадут вам, и, чтобы я видел, чем каждый из вас занимается, подавайте их мне отдельно¹.

Затем управляющий обошел все столы в отделениях, расспрашивая у каждого столоначальника, какие у него дела, заметил тут же неравномерность в распределении дел, что и поставил на вид начальникам отделений, а после сам старался уравнивать труды делопроизводителей, облегчив некоторых из них передачею части дел в другие столы.

Разошлись мы по своим отделениям, но от возмутительных криков управляющего не ушли. Особенно терпел от них старший делопроизводитель, как по смежности канцелярии с комнатою присутствия или кабинета управляющего, так и от непрерывных объяснений с ним по делам, касающимся личных распоряжений его. Являясь в палату около двенадцати часов, управляющий прежде всего тщательно просматривал входящие бумаги, которые велел распечатывать до своего прибытия, и, если замечал по ним медленность в исполнении каких-либо требований, сейчас же вызывал делопроизводителя, делал ему строгое внушение, нередко с криком и бранью. Сдав почту, по наложении резолюций на бумагах, требующих какого-либо распоряжения, Салтыков переходил к объяснениям по докладам, найденным при просмотре у себя дома неудовлетворительными или неясными, на которых было помечено: «к объяснению», а иногда с прибавлением резких замечаний, вроде: «что за чушь», «какая путаница», «галиматья» и т. под. Понятно, что при таком предубеждении против этих последних докладов редко обходилось без грубых и желчных выговоров составителю доклада, как бы он ни старался объяснять их.

Бывали и такие случаи, что иной бухгалтер не сумеет объяснить хорошо своего доклада, тогда, конечно, раздражение и крики управляющего удваивались, иногда

¹ Это строгое требование, однако, мало исполнялось: только один младший чиновник написал несколько докладов, а старшему было дано особое поручение, с наступлением же нового года чиновники особых поручений были скоро откомандированы от палаты и больше не занимались в ней. (Примеч. И. Михайлова).

приходилось старшему делопроизводителю или другому бухгалтеру, по выражению Салтыкова, быть *толмачом* докладчика.

— Не понимаю, — кричал он, — что хочет сказать этот мудрец! Переведите, пожалуйста, бухгалтерскую тарбарщину его на общепонятный язык.

После объяснений все относящиеся к ним доклады большею частью тут же переделывались и исправлялись самим управляющим, а иные, оказавшиеся совершенно негодными, были возвращаемы надорванными для пересоставления. Больше и чаще всех доставалось от управляющего за промахи в докладах и неисправности столоначальнику распорядительного стола, Б — ву. Дела у него в столе было много, а помощники плохие, да и сам, хотя и труженик, но крайне нерасторопный и опрометчивый. То задерживалось у него составление ассигновок, то, при спешной работе, справки наводились неверно, отчего ассигновки получались с ошибками, даже в цифрах. Раз поступает требование из палаты государственных имуществ о выдаче третних денег ассессору, назначенному советником в одну из сибирских палат. Вскоре приходит сам ассессор и просит выдать ему деньги поскорее, потому что намерен отправиться к месту назначения в тот же день. Столоначальник справляется по расписанию должностей, сколько полагается жалованья советнику, составляет доклад с исполнением и подает управляющему для подписи. Салтыков бегло просмотрел доклад, подписал ассигновку и хотел отдать ее Бого — ву, только, к счастью, вздумалось ему еще раз проверить сумму выдаваемых денег, — видит, назначено к выдаче четыре тысячи пятьсот рублей, спрашивает: сумма верна?

— Точно так, ваше превосходительство.

— Как? — разве в Сибири чиновники получают вдвое больше здешних?

— Так значит в расписании.

— Покажите.

Приносят расписание. Действительно, жалованье советникам означено цифрою четыре тысячи пятьсот рублей, но впереди стоит цифра 3 (т. е. трем), которой не досмотрел Бого—в.

Тут Салтыков положительно вышел из себя, ругался и кричал до хрипоты. На этот неистовый крик входит в комнату присутствия старший делопроизводитель.

— Вот, батюшка, — кричит ему Салтыков, — какие у вас столоначальники! Как обсчитывают управляющего! Да у меня и волос на голове не достанет столько, сколько пришлось бы платить по начетам, если каждый день будем передавать по тысяче рублей. Это не чиновник, а какая-то чума, язва, от которой нужно беречься.

Нескоро он успокоился после такого раздражения, но потом мы увидим, как поступил он с этой язвой. Но еще раздраженнее был он раз в губернском казначействе. Не понравилась ему почему-то ведомость казначейства, и вот перед приходом в палату он заходит в казначейство и набрасывается с азартом на казначея:

— Что вы тут напутали? Как не стыдно представлять такую ведомость!

Казначей, застигнутый врасплох, растерялся, сказал неудачно что-то в свое оправдание.

— Что? — закричал, выйдя из себя, Салтыков, — ах ты... — и хватил несчастного площадною бранью.

Побледнел старик казначей и затрясся, а Салтыков швырнул ему чуть не в лицо ведомость и ушел в палату, но не прошло и десяти минут, как является опять в казначейство, на этот раз уже с повинной головой:

— Простите меня, бога ради, Василий Ипполитович, я всегда вас уважал и высоко ценю вашу службу. Сорвалось как-то нелепое слово с языка, и самому досадно на себя. Извините, пожалуйста, и забудьте, что высказал вам в пылу досады.

Тут только могли объяснить ему, что ведомость составлена правильно, с показанием всех кассовых оборотов, которых он не разобрал, и Салтыков должен был сознаться, что он вдвойне виноват, оскорбив совершенно напрасно образцового чиновника, каким был действительно губернский казначей. Тяжело, конечно, было ему сознаваться в этом, но как часто пришлось бы ему извиняться перед своими подчиненными в подобных, хотя не столько грубых оскорблениях, если бы он чувствовал, как горько было переносить беззащитному чиновнику такие оскорбления, особенно незаслуженные! Против справедливых, хотя бы и строгих замечаний его, вызываемых упущениями или промахами по службе, конечно, никто не смел претендовать, но в том-то и беда была, что нередко в состоянии раздражения он не стеснялся осыпать

чиновников резкими укоризнами без всякой вины с их стороны или под пустыми предложениями!

Из множества таких случаев припоминаются особенно следующие.

Вскоре по приезде Салтыкова зашел как-то в канцелярию палаты белевский исправник и, увидав старшего делопроизводителя, с которым служил несколько лет в кадетском корпусе, садится к столу и беседует с ним, как с старым знакомым. Салтыков видит все это через стеклянную дверь, отделявшую кабинет его от канцелярии. Не прошло и пяти минут, как он выбегает из своего кабинета и обращается к исправнику:

— Вы кто такой?

Тот встает, рекомендуется.

— Зачем пришли сюда?

— Нужно справиться кой о чем, увидал вот своего знакомого (указывая на старшего делопроизводителя) и прошу его дать мне справку.

— Да разве казенная палата справочное бюро какое-нибудь или адресная контора, что вы обращаетесь сюда за справками?

— Я хотел бы повернее узнать о некоторых недоимках.

— У вас есть недоимочный реестр, казначейство под боком, там и можете справиться, а здесь вы только мешаете занятиям моих чиновников, отвлекая их от дела своими разговорами. Убирайтесь отсюда.

Исправник благодушно извинился и ушел, поспешив рассказать губернатору (товарищу по инженерной академии), в какую историю он попал и что за оригинал новый управляющий палаты. Губернатор сам любил и нередко позволял себе подобные выходки, потому от души посмеялся только над неловким положением исправника. Но старшему делопроизводителю было не до смеха: он был педагогом более десяти лет и вдруг благодаря такому несуразному требованию не вступать в разговоры с посторонними во время занятий сам очутился в положении школьников, которым запрещал разговаривать в классе на уроках.

Каждое утро перед своим приходом в палату Салтыков присылал портфель с просмотренными им докладами, с тем чтобы те из них, которые пропущены им без замечаний, были розданы до него столоначальникам по принадлежности, а другие, на которых было написано

«к объяснению», положены были на стол к нему. Так как при этих объяснениях докладчики часто путались и терялись, упуская из виду или забывая обстоятельства дела, служившие к подтверждению докладов, — то они просили давать им наперед просмотреть эти доклады, чтобы лучше подготовиться к ответу на запросы управляющего. Нескольким раз это сходило им с рук, но однажды Салтыков пришел раньше обыкновенного, доклады не были еще просмотрены и подложены на стол к нему. Тотчас же он зовет старшего делопроизводителя.

— Где же доклады? Кто смел их брать отсюда?

— Чиновники взяли для просмотра, сейчас принесу.

И уходит поскорей собрать по столам.

— Господа, сдавайте скорее, управляющий сердится, зачем взяли?

Глядь, и управляющий бежит за ним, кричит: «Как смели брать!» Собранные старшим делопроизводителем вырывает у него из рук, сам рвет их у столоначальников, суетится, ругается: давайте скорей, зачем брали? Бегают по отделению казначейства, точно в белой горячке. Словом, выходило что-то дикое, крайне неприглядное и роняющее престиж управляющего.

В одно из заседаний набралось по канцелярии много исходящих бумаг к подписи управляющему. Старший делопроизводитель несет их все разом в кабинет.

Увидав такую большую кипу, управляющий кричит:

— Это что такое? Откуда набрал столько дряни? Сам не мог подписать, лезет с ними к управляющему.

— Нельзя, ваше превосходительство, такие бумаги, что должны идти за вашей подписью.

— Посмотрим. Это что?

— Представление в сенат жалобы одного торговца на постановление палаты об оштрафовании его.

Хмурится, но подписывает.

— Это?

— Однородное же представление.

— Глупый народ, что выиграют этими жалобами? Это?

— Представление в департамент об ассигновании кредита.

— Был кредит, успели уж израсходовать?

— Много поступает требований.

— Вам сколько ни дай, все мало. Это?

— Просим согласия губернатора на определение чиновников (несколько бумаг).

— Ну, этих не подпишу. Я вам сказал, что на таких бумагах я буду подписывать только свою фамилию, а слово управляющий должно быть заранее написано переписчиком. Почему этого не исполнили?

— Вы знаете, как скрупулезен губернатор. Он обижается такою подписью.

— Вам-то что до этого? Делайте, как приказываю. Не стану я угождать этому скоту.

Отшвыривает бумаги.

— Это?

— Ответы на запросы, адресованные на ваше имя.

— Ну, эту-то дребедень не могли сами подписать?

— Да ведь вас лично спрашивают.

— Что ж, и написали бы: по приказанию управляющего Казенная палата имеет честь уведомить.

— Хорошо, в следующий раз будем так писать, а приготовленные-то ответы уж подпишите.

Ворчит, но подписывает.

— Это еще что?

— Паспорт вдове чиновника, по ее просьбе.

— Гоните ее в полицию, стану выдавать еще паспорта им.

— Нельзя не выдать: это вдова бывшего нашего чиновника. Вам известно, что по закону вдовы чиновников получают виды на жительство от начальства своих мужей.

Подписывает с раздражением, предварительно выругав несчастную вдову. Словом, ни одной бумаги не было подписано без оговорок и замечаний. И придет же, подумаешь, такая блажь в голову: не затруднялся собственноручно писать всякого рода представления, разъяснения, замечания и вдруг, ни с того ни с сего, начинает тяготиться одною подписью готовых исходящих!

Подобные выходки Салтыкова, раздражительные крики, беспрерывно повторявшиеся, и вообще грубое и оскорбительное обращение производили, особенно на первых порах, удручающее впечатление на чиновников палаты. Некоторые из них прямо не выносили такого обращения и тотчас же выходили в отставку, другие не раз

переболели, многие обращались с просьбою к прежнему управляющему о переводе их на службу в Подольскую казенную палату или старались приискать место в других губернских учреждениях. К счастью, нашелся добрый человек (приехавший с управляющим из Пензы) *, который старался успокоить слишком взволнованных и встревоженных дерзостями Салтыкова чиновников. На запросы о причинах таких дерзостей, не вызываются ли они каким-либо предубеждением против Тульской казенной палаты и желанием заменить ее чиновников пензенскими, он уверял, что никаких предубеждений Салтыков не имеет, что все его грубые выходки не более, как мимолетные вспышки желчной и нервной натуры его без всяких задних мыслей или затаенной злобы, и убеждал их не придавать значения этим выходкам, указывая на обращение Салтыкова с ним самим, подчас также грубое и раздражительное. Эти убеждения, чистосердечно высказанные, несколько ободрили чиновников и ослабили опасения их за свою будущность. С течением времени они и сами стали замечать, что несуразная ругань управляющего не так еще страшна и опасна, как казалось им прежде, не влечет за собою вредных последствий, кроме временной неприятности, и мало-помалу убеждались, что Салтыков не злой человек, а раздражительный и вспыльчивый крикун, почему, спокойнее относясь к его крикам, как заурядным служебным неприятностям, отложили свое намерение уходить из палаты, а некоторые взяли назад прошения о переходе на службу в другие учреждения. Немало содействовали этому убеждению и распоряжения управляющего по поверке торгово-промышленных заведений. Откомандировав для поверки в разные города с уездами и части города Тулы пять чиновников, он тем самым дал возможность командированным избавиться, хотя на время, от крикливых замечаний своих, отчего производимое ими неприятное впечатление само собою ослабело и рассеялось. Но, кроме того, при отправлении чиновников в эти командировки замечалось в управляющем уже другое настроение, слышались другие речи. Погручая, например, старшему делопроизводителю поверить торгово-промышленные предприятия второй, третьей и четвертой частей города Тулы и снабдив его в достаточном количестве бланками свидетельств всякого рода и билетов для раздачи торговцам, он говорил:

— Смотрите, чтобы не было укрывающихся от платежа пошлин; раздавайте документов побольше, но актов о нарушениях составляйте поменьше. Между торговцами, и особенно кустарями тульскими, конечно, найдется немало бедняков; им и пошлины-то оплачивать тяжело, за чем же их обременять еще штрафами по вашим актам? Тем, кто не в силах сразу заплатить, давайте отсрочки, взыскивайте по частям (последнее, впрочем, распоряжение было вскоре отменено, как неудобное и неблагоприятное), а с упрямых требуйте настойчиво, грозите штрафами, для большей остротки берите иногда с собой полицейского чиновника и только в крайних случаях, когда уже никакие предупредительные меры не подействуют, прибегайте к составлению протоколов.

После таких гуманных внушений всем и каждому из нас стало ясно, что под суровою наружностью Салтыкова таятся добрые чувства. Иногда эти чувства проявлялись и на деле с особою яркостью.

Так один слесарь из бывших оружейников, имея двух посторонних работников, уклонялся от выборки девятирублевого свидетельства под вымышленным предлогом, что найденные у него работники — его крестники и приемыши, потому их следует считать семейными, а не посторонними. Хотя заявление это было признано по акту торговой депутации несправедливым, но кустарь, явившись в палату, разжалобил управляющего так, что он велел произвести обстоятельное дознание о рабочих этого кустика (то есть семейные ли они, или наемные) сначала старшему делопроизводителю, а потом, когда опросом самих рабочих и соседей подтвердилась неправильность означенного заявления, — полиции, представившей противоположное дознание, и, получив последнее, рад был освободить этого *визжулю* (как он выразился) не только от штрафа, но и от выборки свидетельства. При этом смеясь Салтыков заметил старшему делопроизводителю:

— Вот вы не умели составить дознания об Одоевцеве (фамилия кустаря), а полиция выдала удостоверение в его пользу.

Затем, на замечание, что неправильна и обидна для торговой депутации такая проверка действий ее чрез какого-нибудь помощника надзирателя, он прибавил:

— Ну, претензии-то всякие в сторону, когда представляется возможность помочь бедному человеку¹.

Другой случай, свидетельствующий о сострадании Салтыкова к бедным торговцам, был еще нагляднее. Однажды, часов в одиннадцать утра, является в палату целая толпа рыночных торгов, оштрафованных по актам торговой депутации за невыборку билетов на торговлю из палаток отрезками ситцев и мелочным галантерейным товаром, и вот, как только входит Салтыков в переднюю, толпа эта бросается перед ним на колени с слезной мольбой о пощаде, кричат все вместе, перебивая друг друга: «Ваше превосходительство, помилосердуйте, не прикажите теснить и преследовать нас».

— В чем дело? — спрашивает он.

Опять крики и вопли всех вместе, так что трудно разобрать, чего хотят, а пройти не пускают, хватаясь за ноги. Вырвавшись кое-как из этой толпы взволнованным и расстроенным, Салтыков набрасывается на старшего делопроизводителя:

— Это вы своими протоколами пригнали сюда сумасшедших баб, — не могли там на месте разобрать их и уладить дело!

— Что ж я мог сделать? Билетов не взяли при всем настоянии, пропускать их в обиду других исправныхплательщиков я не имел права, тем более, что торговля их у всех на виду, хотя прежде и пропускали их. Вот и галдят теперь, чтобы опять позволили торговать беспошлинно.

— Ну, подите, убедите их сами, что этого нельзя допускать, и пусть убираются отсюда.

Вышел к ним старший делопроизводитель, они и слушать его не стали. «Мы, говорят, желаем объяснить свои нужды самому генералу вашему, попросите его к нам». Но и генерал, сколько ни разъяснял им, что закон запрещает беспошлинную торговлю, что, если им тяжело вдруг заплатить требуемые пошлины, могут платить по частям, — не мог вразумить и успокоить их. Потеряв, наконец, терпение, управляющий ушел в свой кабинет, а их велел

¹ Это милостивое распоряжение Салтыкова оставалось в силе только при нем: в последующие года Одоевцев обязан был платить и беспрекословно платил надлежащие промысловые пошлины за своих работников наравне с другими кустарями. (Примеч. И. Михайлова).

выгнать. Тем не менее благодаря этим воплям и мольбам о снисхождении Салтыков принял живое участие в положении бедных женщин: немедленно предписал полиции произвести дознания об имущественной несостоятельности их и затем, по получении этих дознаний, многих освободил от уплаты штрафа и пощил, по безнадежности поступления, об остальных просил полицеймейстера не требовать с них строго уплаты всей суммы взыскания вдруг, а взыскивать понемногу и по частям, но в том и другом случае лавок их не велел закрывать и не запрещал продолжать торговлю.

То и другое распоряжение были явно неправильны и несогласны с требованиями закона. Салтыков, конечно, вполне сознавал это и все-таки предпочел лучше следовать влечению своего отзывчивого сердца, чем руководствоваться буквою закона. Не раз потом вспоминали с благодарностью об этом *милостивом барине* бедные торговки: в последующие года их всех поголовно обязывали выбирать билеты на торговлю, наказывая упрямых штрафами, а иногда и запрещением торговать до выборки требуемого билета.

Зато проходимцев, притворявшихся бедняками, Салтыков умел легко различать и по заслугам наказывать. Так однажды приходит к нему с просьбой о пощаде торговец, одетый, как последний бедняк, в рваном сюртуке, в худых сапогах, падает перед ним на колени и жалуется на торговых депутатов, что напрасно заставляют его выбирать гильдейские документы. «Помилосердуйте, говорит, ваше превосходительство, это мне не под силу и вовсе не требуется по моей торговле, так же незначительной, как в других мелочных лавках». Управляющий спокойно выслушал его, не прерывая, затем, потребовав протокол торговой депутации и прочитав в нем, что у этого мнимого бедняка, кроме большой лавки с железом всякого рода, имеется еще набитый латунью, а частью старыми самоварами и приборами к ним амбар для торговли медью тайком со двора, — вдруг с криком и бранью обрушивается на него как на обманщика:

— Вздумал еще жаловаться, я тебя проучу, сдери с тебя три шкуры (иначе сказать: взыщу тройной штраф) да еще под суд отдам за воровскую торговлю, наверно, краденым из мастерских материалом, — вон! — и уходит в свой кабинет.

Испугался торговец, отворяет дверь кабинета, падает опять на колени, со слезами просит прощения, изъявляя полную готовность исполнить все законные требования.

— Пошел, — говорит Салтыков, — сейчас же возьми из управы и принеси мне сюда гильдейские документы.

Побежал торговец опрометью в управу и не долее как через полчаса предъявляет управляющему годовые свидетельства и билет 2-й гильдии на свое имя, взятые, конечно, без зачета уплаченных прежде пошлин за свидетельства на мелочной торг.

— Хорошо, что послушался, — говорит управляющий, — теперь можешь торговать свободно, чем хочешь, не только медью, а и серебром и золотом. На этот раз я избавлю тебя от штрафа, но смотри, если еще когда-нибудь осмелишься не выбирать требуемых для торговли документов, пощады не жди, я с тобой разделаюсь, будешь помнить.

— Не беспокойтесь, — говорит, — и так уж поучили, всю жизнь не забуду.

Прошло более двадцати пяти лет после того. Проученный Салтыковым торговец нажил большое состояние, стал видным купцом в городе и на одно трехлетие был избран членом от плательщиков в присутствии Казенной палаты по раскладочному сбору. В первое же заседание в числе других членов является и он в палату по повестке в назначенный для присутствия день и час, только в каком-то растерянном виде, сторонясь от своих сочленов. Скоро, увидав составителя протокола, за который когда-то так больно досталось, он обращается к нему с упреками: «Зачем, говорит, меня вызывали? Мне совестно быть здесь, ведь невольно вспоминается, какие глупости я проделывал, чтоб избавиться от гильдейских пошлин, и как отделал меня за это ваш тогдашний генерал. Уж и сердит был кормилец! Конечно, нас, дураков, так и следует учить. Дай бог ему здоровья за эту науку. Я свет увидел, когда по его требованию стал платить купеческий капитал и торговать открыто, чем вздумается, а все-таки тяжело вспомнить и теперь о прежнем унижении, лучше уходить подальше от вас, и вперед не зовите меня, не могу заседать в вашем присутствии». Вслед затем и ушел этот оригинал, а после никогда и не был в заседаниях присутствия, так что пришлось вместо него приглашать на эти заседания кандидата.

К чиновникам, производившим поверку торговли, Салтыков относился так же строго, как и к делопроизводителям палаты, не терпел медленности в их действиях, обязывал представлять поверочные журналы еженедельно, всегда сам просматривал эти журналы, зорко следил, нет ли каких упущений и поблажек торговцам, все ли они и их приказчики снабжены надлежащими документами, своевременно ли сдаются в казну собранные за документы пошлины, а в случае каких-либо недоразумений или замеченных неисправностей требовал тотчас же объяснений; но если при этом обнаруживалась была несправедливость или непрактичность его требований, он не затруднялся исправлять свои ошибки новыми распоряжениями. Так, например, старшему делопроизводителю он вменил в обязанность окончить поверку торгово-промышленных заведений в трех частях города Тулы непременно к святой неделе, то есть меньше, чем в три месяца, и слышать не хотел, что от этой скорости казна может потерпеть значительный недобор пошлин, так как в третьей и четвертой частях города имеется много кустарей, содержащих мастерские без вывесок, отчего потребуется немало времени разыскивать их.

— А вы, — говорит, — не тратьте времени на пустые разговоры и тогда успеете проверить все лавки и мастерские, не пропуская ни одной.

Расчет его оказался, однако ж, неверным: после поверки стали поступать непрерывные доносы, что те или другие мастерские остались не проверенными. Ввиду таких заявлений Салтыков распорядился назначить летом вторичную поверку пропущенных предприятий, чтобы пополнить недобор от прежней спешной поверки.

Еще более своеобразно и несдержанно вел себя Салтыков в отношении к губернатору*.

По приезде в Тулу управляющий наш как будто сошелся с начальником губернии, М. Р. Шидловским, нередко бывал у него запросто, любил играть с ним в пикет. Казалось, что к этому сближению их были прочные задатки; видимое сходство в характере их служебной деятельности, одинаково живой и энергичной, в строгом наблюдении за исполнением обязанностей службы подчиненными и даже в манере обращения с ними, наконец отсутствие серьезных поводов к столкновениям по службе, легко устранимым при взаимной уступчивости, —

все это, на наш взгляд, должно было располагать их идти рука об руку друг с другом в делах служебных. И мы надеялись, что при новом управляющем избавимся, наконец, от пререканий с губернской администрацией, от надоевших при прежнем управляющем объяснений и отписок по ее придирчивым запросам и жалобам. Но недолго пришлось нам обольщать себя этими надеждами. Скоро дружелюбные отношения главарей наших неизвестно почему сменились взаимною неприязнью. Уже в половине января* в статистическом комитете, где пришлось ждать губернатора больше получаса, Салтыков слишком резко выражал свое нетерпение (что-де за невежество и свинство такое, зовет к часу, а скоро два, — и его все нет, я не холоп его и не мальчик, чтобы ждать его милость) и затем не постеснился и лично высказать свое неудовольствие Шидловскому, несмотря на извинение его в невольной неаккуратности по случаю неожиданного приезда кого-то из Петербурга. Через несколько времени в заседании особого о земских повинностях присутствия, бывшем в квартире губернатора вечером, когда Шидловский читал по обыкновению журналы присутствия, им же большею частью редактированные, и спрашивал членов, согласны ли на изложенные в них постановления, Салтыков стал возражать против некоторых из них, горячо оспаривал губернатора, говорил ему колкости, а тут еще ни к селу ни к городу подвернулся полупьяный городской голова с своей жалобой на губернаторского любимца-полицеймейстера, будто он ворует овес и сено, отпускаемые городом на пожарных лошадей. Губернатор потерял терпение и закрыл заседание, отзываясь невозможностью вести его в виду *возбужденного состояния* некоторых членов. Такой отзыв, приравнивающий замечания Салтыкова к неуместной претензии городского головы, бывшего в нетрезвом виде, конечно, еще более озлобил управляющего, и он стал повсюду публично издеваться над *тульским помпадуром*, написал на него памфлет под названием: «Губернатор с фаршированной головой»¹, и читал его довольно открыто своим клубным

¹ Мне не пришлось видеть в то время этого памфлета, не нахожу ничего подходящего и в сочинениях Салтыкова (изд. 1895 г.). В «Истории одного города», правда, имеется фантастический рассказ о градоначальнике Глупова с фаршированной головой (т. VII, стр. 116—122), но этот тип (Прыщ Ив. Пантел.) не имеет ничего

собеседникам. Обо всем этом прислужники губернатора, конечно, не замедлили довести до его сведения. Ну, и пошла писать губерния! Посыпались разные запросы, жалобы на Казенную палату, доносы, — успевай только отписываться. К довершению зла, случилось еще следующее обстоятельство: так как в канцелярии особого присутствия и в Казенной палате велись отдельные счета по приходу и расходу государственного земского сбора и счета эти расходились во многом, то губернатор приказал своему чиновнику особых поручений сверить полученные счета канцелярии и привести их к согласию с палатскими счетами, чтобы в обоих значились одинаковые цифры. Чиновник является в палату и упраскивает бухгалтера помочь ему разобраться в этой путанице. К несчастью, в то же время управляющий проходит по отделению казначейств, видит: у бухгалтерского стола сидит постороннее лицо, выписывает что-то из книг, отыскивает какие-то бумаги в делах; узнает, что это губернаторский чиновник, и кричит:

— Это еще что? Кто вам позволил рыться в палатских книгах и делах? Вон, чтоб нога ваша не была здесь, губернатору вашему первое место в палате, а челяди его я знать не хочу, убирайтесь.

Вслед затем Салтыков зовет экзекутора и велит ему привесить к дверям записку с надписью: «Вход посторонним воспрещается», приказывая настрого не пускать никого, особенно губернаторских чиновников. Что оставалось после того делать бедному чиновнику? Оставить без исполнения данное поручение он не смел и думать, так как губернатор не принимал никаких отговорок, требуя всегда беспрекословного исполнения своих поручений. Вот и придумали они с добрым бухгалтером нашим заниматься поверкою счетов в неприсутственные дни, начиная с четверга страстной недели. Пришли в этот день в одиннадцать часов утра в полной уверенности, что никто не помешает их занятиям, сидят, затворившись, и преспокойно проверяют счета друг у друга. Вдруг совершенно неожиданно является в палату управляющий, просмотрел почту, сам распечатал входящие бумаги (предварительно обругав

общего с Шидловским, кроме разве вазвания майором, так как и Шидловский любил подписываться на исходящих бумагах: не губернатор, а *генерал-майор* Шидловский. (Примеч. И. Михайлова).

старшего делопроизводителя, что не пришел помочь ему), затем как бы машинально, следуя своей привычке, идет в отделение казначейств и к удивлению застаёт двух приятелей на месте преступления. При виде их он приходит в крайнее раздражение.

— Я вам запретил ходить сюда, — кричит он чиновнику, — а вы опять тут! Вон! Швейцар, выведи его, — ругает своего бухгалтера, затем бежит в кабинет и, потребовав лист бумаги, быстро набрасывает на нем жалобу министру на губернатора * (что он-де не только обременяет палату ненужными запросами и требованиями, но и отвлекает бухгалтеров от дела непрерывными командировками своих чиновников в палату для извлечения каких-то справок из дел, для исправления будто бы счетов, почему и просит оградить вверенную ему палату от неуместных притязаний губернатора, устранить своевольный пересмотр его чиновниками дел и книг палатских). Затем велит скорее переписать это представление, непрерывно понукая переписчика, и, когда оно было запечатано, расписывается в получении пакета по разносной книге, сам несет его на почту, держа перед собою как бы напоказ всем. На полдороге встречается с ним знакомая барыня и с удивлением спрашивает:

— Куда это вы, Михаил Евграфович?

— Иду Мишку травить.

— Какого Мишку?

— А вон (указывая на квартиру губернатора, помещавшуюся во втором этаже), что залез в высокую берлогу.

— А! верно, жалобу на губернатора хотите отправить? Что ж вы сами-то несете пакет?

— Покойней будет на душе, когда сам в подлеца камень бросишь¹.

Вскоре после того Салтыков спрашивает себе у министра десятидневный отпуск в Петербург для *необходимых*

¹ Из чего, подумаешь, сыр-бор тут загорелся? Кому мешали, какой вред делу могли приносить эти совместные занятия губернаторского чиновника с бухгалтером палаты в свободное время? Но, кроме того, что Салтыкова возмущали эти занятия как самовольные, начатые без его позволения и продолжаемые вопреки его запрещению, у него внедрилось странное подозрение, будто бы губернаторский чиновник был не более как шпион, подсланный губернатором под благовидным предлогом для отыскания в делах и счетах палаты новых поводов к доносам. (Примеч. И. Михайлова).

объяснений по делам службы и, получив разрешение, немедленно уезжает на святой неделе... * Какой был для него результат этих объяснений, нам осталось неизвестным. Только по возвращении из Петербурга Салтыков как будто стал сдержаннее и приличнее вести себя относительно губернатора. Зато губернатор не переставал осыпать палату своими требованиями и жалобами на казначейства, а с Салтыковым даже и встречаться не хотел. Придет, бывало, в палату, спросит у швейцара в передней, не раздеваясь: «Управляющий здесь?» И если скажут: «Здесь», отвернется и был таков; если нет, пройдет в присутствие, вызовет, кого ему нужно из начальников отделения, расспросит, накричится вволю и уйдет. Раз, впрочем, почему-то он счел нужным видаться с управляющим, чтобы высказать ему свое неудовольствие (кажется, на губернского казначея за возвращение ассигновок как неправильно составленных); на шумел и вышел в раздраженном состоянии. Салтыков выслушал эти замечания молча, но, как только губернатор за дверь, разразился насмешками над ним, принялся передразнивать его и так удачно, что без смеха нельзя было видеть и слушать это обезьянство, а в заключение стал ругать себя:

— Дурак я был, что уступил ему председательское место, пусть бы он постоял передо мною, пока кричал, это было бы хорошим уроком для него.

Издаваться так над губернатором Салтыков мог безнаказанно, конечно, только в своем кабинете, но, к сожалению, он недолго следовал петербургским внушениям об осторожности и по-прежнему перестал стесняться в своих неприязненных отзывах о Шидловском повсюду и при всякой обстановке. Так, он часто обедал в буфете кремлевского сада с полицеймейстером и при этом любил приправлять свои обеды неистощимыми сарказмами над губернатором, которыми до того, наконец, надоел своему собеседнику, что тот просил *ради бога* избавить его от таких разговоров, чтоб не быть вынужденным передавать их своему начальнику. Подобные выходы Салтыкова скоро привели к нежелательным для него последствиям. В последних числах августа получается телеграмма * на имя управляющего палатою из канцелярии министра, извещающая его, «что-де в виду обострившихся отношений ваших к губернатору министр находит неудобным оставлять вас в Туле на занимаемой вами должности и предлагает

избрать другую палату для своей деятельности». Прочитав телеграмму, Салтыков вскочил с кресла, как ужаленный, стал бегать по своему длинному кабинету, с криком и бранью: «Это он, его это дело, нет, живой не уступлю подлецу, не уйду отсюда», и на другой день уехал в Петербург с твердым намерением остаться в Туле. Между тем за несколько дней до получения этой телеграммы он изумил нас своим странным распоряжением: призывает старшего делопроизводителя и приказывает ему просить согласия губернатора на определение уездным казначеем столоначальника палаты Бог — ва.

— Кого? — спрашивает тот в недоумении.

— Что, вы глухи, что ли? Бог — ва.

— Помилуйте, — говорит, — не сами ли вы называли его язвой, которой нужно бояться, сколько раз ругали за медленность, неаккуратность, опрометчивость в составлении ассигновок?

— Мало ли что? А вот теперь хочу определить его на высшую должность. Это мое дело, я определяю, я один и буду отвечать за свой выбор. Пишите без рассуждений.

Делать нечего, написали, как приказано, и вскоре по отъезде Салтыкова губернатор уведомил о неимении с его стороны препятствий на предположенное назначение Бог — ва. Вслед затем получается в «Вестнике финансов» высочайший приказ о перемещении Салтыкова на должность управляющего Казенной палатой в Рязань *, а на его место в Тулу управляющего симбирской палатой Щепкина. Ввиду этого взяло членов присутствия раздумье: не лучше ли отложить определение или отправление Бог — ва к месту назначения до прибытия нового управляющего, как-де он хочет, тем более, что Бог — ва нужно еще сдавать дела новому столоначальнику. Но вот, после 20 числа сентября, возвращается в Тулу Салтыков *, зовет к себе на квартиру старшего делопроизводителя и, между прочим, спрашивает его:

— А о Бог — ва пришло согласие от губернатора?

— Да.

— Что же он, отправился к месту новой службы?

— Нет.

— Это почему?

— Не сдал еще дел, притом члены присутствия затрудняются определять его до прибытия нового управляющего.

— Это что такое? — кричит Салтыков. — Хотите, что ли, отменить распоряжение бывшего управляющего? Как вы смеее это делать? Да я вас всех расшвыряю. Хорошо ж, я буду сегодня в палате, посмотрим, как вы не исполните моего распоряжения.

Действительно, вскоре Салтыков приходит в палату, с криком и укоризнами обращается к заступающему место управляющего и заставляет его тотчас же записать в книгу об определении Бог — ва, выдать ему прогоны и сделать другие распоряжения о немедленном отправлении нового казначея к месту его служения и, после того как требование его было исполнено, раскланивается с нами.

— Теперь — говорит, — прощайте, я уж больше не управляющий вам; видно, и правда, что два медведя в одной берлоге не уживаются.

Этим и закончил Салтыков свою деятельность по Тульской палате. Финал, конечно, делающий ему больше чести, чем вступление! Но эта поздняя заботливость о награждении чиновника, более других подвергавшегося его резким и грубым замечаниям, не принесла никакой пользы Бог — ву, а, напротив, поселила предубеждение против него в новом управляющем Щепкине, оставшемся крайне недовольным тем, что помимо его и без его согласия был определен на ответственную должность казначея неизвестный ему protégé Салтыкова.

Вследствие этого Бог — в вскоре по определении своем должен был взять двухмесячный отпуск, а затем, быв отчислен от должности казначея к штату палаты, вынужден был выйти в отставку и искать себе место в другом учреждении¹.

После прощального визита мы более не видали Салтыкова. Уехал он от нас без всяких проводов, как и приехал без встреч. Ярким метеором, с шумом и треском, пронесся он перед нами и исчез навсегда, так же незаметно

¹ Такую же медвежью услугу оказал потом Салтыков начальнику отделения Рязанской палаты Василевскому. Не предупредив Щепкина, он исходатайствовал в министерстве перемещение Василевского в Тульскую палату на место взятого им к себе из Тулы начальника отделения. Щепкин еще более был озлоблен этою бесцеремонностью Салтыкова, относился с явным недоброжелательством к навязанному ему начальнику отделения и в конце концов добился причисления его к министерству. (*Примеч. И. Михайлова*).

и внезапно, как и появился. Но нельзя сказать, чтобы с шумом и погибла память его.

Девять только месяцев он управлял Тульской палатой, но и за это короткое время своею энергическою, неутомимою деятельностью, следы которой повсюду встречаются в уцелевших делах его управления и остаются до сего времени неизгладимыми, он принес ощутительную пользу палате: 1) упростив и ускорив делопроизводство отменю журналов общего присутствия, писавшихся прежде чуть не по каждому делу, уменьшением докладов при помощи своих резолюций на входящих бумагах, неупустительными требованиями скорейшего исполнения этих бумаг, завершением массы старых залежавшихся дел; 2) увеличив в значительной степени сбор торговых пошлин по губернии — тщательным наблюдением за действиями чиновников, поверявших торговлю, по их журналам, актам или протоколам и по количеству проданных торговых документов; 3) упорядочив делопроизводство о недоимках окладного и неокладного сборов точным распределением их на категории: а) подлежащих сложению по манифесту 28 октября 1866 года властью самой палаты или с разрешения министерства и б) требующих неотложного взыскания, разъяснением причин значительного накопления их в некоторых уездах и указанием наиболее целесообразных мер к успешному взысканию их, — благодаря чему, несмотря на несходство во взглядах¹ на некоторые виды недоимок с губернской администрацией и встречаемое поэтому иногда противодействие с ее стороны, всей недоимки взыскано было при нем до миллиона. Многие из улучшений, введенных Салтыковым, например, безотлагательное исполнение входящих бумаг, внимательное наблюдение за поступлением недоимок прочно привились к палате, обратились в традиционную привычку ее делопроизводителей, потому и не могут быть забыты.

¹ В этом отношении замечательно его пререкание с губернским правлением относительно принятия на счет казны издержек по пересылке арестантов для водворения на место их постоянного жительства. Салтыков не согласился с заключением губернского правления, что-де кормовых денег с таких лиц взыскивать не следует, а должно только отбирать от них казенную одежду, и представления полицейских управлений о сложении таких недоимок оставлял без удовлетворения. Дело дошло до сената, и сенат, вполне одоблив мнение Салтыкова, утвердил заключение Казенной палаты. (Примеч. И. Михайлова).

Да и само служебное положение делопроизводителей и бухгалтеров заставляло потом не раз пожалеть о Михаиле Евграфовиче, неоднократно помянуть его добрым словом. При суровом режиме его преемника само собою приходило на память, что, во-первых, как ни строг и требователен был Салтыков, но он не любил прибегать к крутым мерам относительно провинившихся чиновников, никогда не пользовался штрафным для них третьим пунктом * и взыскания его большею частью ограничивались словесным выговором, более или менее строгим, и в редких случаях — занесением в штрафную книгу, причем подобные взыскания не только не препятствовали виновному продолжать службу на занимаемой им должности, но и не отнимали у него возможности получить впоследствии высшее назначение¹; что, во-вторых, Салтыков терпеть не мог сплетней и наушничества на подчиненных и беспощадно преследовал клеветников и интриганов², и, в-третьих, заставляя столоначальников и бухгалтеров палаты неупустительно заниматься своим делом, Салтыков в то же время старался облегчать труды их лично своею работою. Кроме ежедневных

¹ Как это мы видели уже из дела об определении Бог—ва и как то же еще нагляднее подтверждалось определением в бухгалтеры казначейства одного помощника бухгалтера, внесенного прежде в штрафную книгу за самовольное удержание в свою пользу наградных от земства ста рублей. (Примеч. И. Михайлова).

² По этому поводу больше всего припоминались два выдающихся случая: 1) вскоре по вступлении в должность Михаил Евграфович оборвал одну бойкую барыню, пытавшуюся на одном вечере очернить старшего делопроизводителя, чтобы предоставить его место своему мужу, которого всячески расхваливала, как посторонняя женщина, и, когда стало известно, что эта жена слишком усердствовала в пользу своего мужа, Салтыков был возмущен ее наглостью и просил хозяйку не приглашать его к себе на вечерний чай вместе с нею. «Ах, грош ей цена, — говорил он, — вздумала еще обманом, как посторонняя, заискивать у меня места для мужа, унижая других; не желаю больше я встречаться с такой нахальной особой». После этого стал и к мужу этой барыни относиться с презрением и рад был избавиться от него, содействуя переходу его в другую палату. 2) Салтыков старался выжить из палаты одного начальника отделения, преследуя его сначала, по-видимому, за недейтельность и бесполезность для службы (он-де мало помогает своим столоначальникам и бухгалтерам, понукая их только к спешной работе, вроде сельского старосты с палкой, а сам занимаясь лишь перестановкой запятых или переменою выражений в их докладах), и затем настоял на причислении его к министерству. Что писал об нем Салтыков, осталось неизвестным, так как

резолуций на входящих бумагах, которые оставалось только исполнять без всяких докладов, все исходящие нешаблонные бумаги, как-то: представления в министерство, ответы по предположениям губернатора, на запросы контрольной палаты и других учреждений, личные распоряжения и предписания управляющего, более сложные, редактировал большею частию он сам. Мало того: иногда он составлял и доклады как бы самому себе. Бывало, придет, просмотрит почту, объяснится по сданным утром докладам, исправит их, в чем найдет нужным, подпишет, какие подадут исходящие, и, отделившись от всего этого, ходит взад и вперед в своем кабинете, а через несколько времени обращается к старшему делопроизводителю:

— Что ж я слоняюсь из угла в угол, когда все сидят за делом, совестно, дайте мне написать какой-нибудь доклад, по каким хотите делам вашим, ну, хоть по торговым! — Напишет и предварительно даст на просмотр: — Посмотрите, — говорит, — не напутал ли я.

И вот один раз пришлось уличить его в неправильном постановлении.

— Что ж, — говорит, — исправьте, как нужно.

— Не угодно ли вашему превосходительству самому исправить свою резолюцию, неловко марать ее.

— Что, — говорит, — за китайские церемонии? Марайте, сколько хотите, я напишу: исполнить.

И как живо кипела у него всякая работа! Как сво-

черновые подобных представлений он всегда оставлял у себя, не сдавая в канцелярию, но впоследствии он сам объяснял причины неприязни к этому влиятельному при прежнем управляющем советнику не столько неспособностью его к службе, сколько интриганством и ябедничеством. «При первом же представлении, — говорил Михаил Евграфович, — этот господин вздумал аттестовать мне своих товарищей по службе так или иначе, но непременно с дурной стороны, предупреждая при этом не доверяться никому из них, хотя я вовсе не требовал от него никакой аттестации о сослуживцах. Это тогда же возбудило во мне антипатию к нему и заставило отшатнуться от него. Затем, на святой неделе, гуляя в хорошую погоду, я вздумал зайти в палату и, встретив там этого приятеля, вступил в разговор с ним, — такие уж нашли на меня телячьи чувства, — а он, пользуясь моим ласковым обращением, ни к селу ни к городу, стал еще больше разводить сплетни и ябеды на сослуживцев. Тогда я окончательно убедился, что это — негодяй, нетерпимый на службе, и счел долгом выбросить его из палаты, как вредную гадину». (Примеч. И. Михайлова).

бодно передавал он на бумагу свои мысли! Бывало, вздумает что написать в министерство, потребует лист бумаги, и не далее как через десять минут выносит его весь исписанным без помарок, тогда как переписать этот лист не успевали так скоро даже бойкие писцы. И вообще затруднений в делах для него как будто не существовало: самые сложные и запутанные дела, которые в несколько лет не могли распутать комиссии, как, например, дело по ликвидации приказа общественного призрения, он один решал в несколько дней.

Припоминая все это, невольно преклоняешься перед этой выдающеюся, богато одаренною личностью, но тем более затрудняешься понять, как могли образоваться и развиться в таком высокообразованном и талантливом человеке свойства и привычки другого рода, компрометирующие и недостойные его.

Живой и светлый ум Салтыкова, быстрота соображения, помогавшая ему моментально схватывать всегда суть дела, хотя бы и сложного, каким-то чутьем угадывать неправильность счетов в ведомостях, без подсчета их, прекрасная память, легко воспроизводившая все детали прежних дел, замечательная способность легко и свободно излагать свои мысли — все это, естественно, поражало и изумляло ближайших свидетелей его деятельности, сулило ему, по-видимому, блестящую будущность государственного деятеля. Но его взбалмошный характер, болезненная раздражительность до самозабвения, готовая поднять бурю в стакане воды, разразиться крикливою руганью из пустяков, крайне невоздержный и злой язык, гордое, презрительно-насмешливое, чуждое всякой приветливости, обращение с окружающими — затмевали высокие качества его ума и отзывчивого сердца, подрывали сочувствие и уважение к его личности, а несчастная страсть его открыто и беспощадно издеваться над представителями высшей губернской администрации, относя их всех безразлично, кто бы они ни были, к категории презренных помпадуров, — отчего он не мог сойтись и ужиться ни с одним почти губернатором, — делала его нетерпимым на службе, так что через несколько месяцев по перемещении из Тулы он вынужден был искать себе средств к жизни на другом более сродном ему поприще *, но и здесь, как известно, в качестве редактора большого журнала, он

не всегда мог владеть собою, нередко давал волю своему желчному языку, держал себя относительно своих молодых сотрудников таким же суровым и строгим генералом, как с подчиненными на службе.

Таким *генералом от литературы* он и остался до конца своей жизни, не вступая более на скользкий путь служебной деятельности.

Почти тридцать пять лет прошло со времени управления Салтыкова Тульской казенной палатой. Много перемен пережила она после того, много видела хорошего и дурного в своем режиме. Но ни один из управляющих не производил на чиновников ее такого сильного впечатления, не оставил по себе таких ярких воспоминаний, как незабвенный Михаил Евграфович. Из сослуживцев его осталось в палате только четверо: начальник отделения, податной инспектор, чиновник особых поручений и архивариус, и все мы до сих пор отчетливо представляем себе его облик и особенные черты его деятельности. Как живой, стоит он и теперь перед нами, вечно хмурый, как будто недовольный чем-то, расстроенный или озабоченный, с неприглаженной шевелюрой, с большими блестящими глазами, с насмешливым выражением на лице, нервно подергивая головой, как будто что-то теснило его шею, моментально готовый вспыхнуть, как порох, подвижной и быстрый не по летам, строго внимательный к требованиям службы и действиям чиновников. Неизгладимыми также остаются в нашей памяти своеобразный тон и склад его речи и самые выражения резкие и меткие. Нет основания сомневаться в верности и правдивости предлагаемых вниманию читателей воспоминаний (тем более что составитель их не находился в особых отношениях к Салтыкову — ни в близких, ни в неприязненных). Это точная копия действий и подлинных выражений Салтыкова при управлении его Тульской казенною палатою, без каких-либо прибавлений и произвольных изменений.

Н. Н. Кузнецов

Для биографии Салтыкова периода его последней службы в провинции воспоминания Николая Николаевича Кузнецова (1848 — после 1908) интересны не столько теми фактами и наблюдениями, довольно внешнего характера, которые в них содержатся, сколько самой личностью мемуариста и некоторыми обстоятельствами его жизни.

Кузнецов принадлежал к числу тех «честных молодых людей провинции», которых Салтыков энергично выискивал в «глуповских омутах и трущобах» и стремился группировать вокруг себя.

Известно несколько таких молодых людей, отмеченных вниманием и заботой Салтыкова: Егоров, Виноградов, Смирнов, Лаппа, Лихарев... Мы мало что знаем о них, об их взглядах, характере, общественном поведении — о всем том, чем они привлекли к себе внимание Салтыкова. Кузнецов же сообщает о себе некоторые автобиографические сведения. Он не только называет себя «большим поклонником и почитателем Салтыкова», но и рассказывает, почему именно Салтыков заинтересовался им и пытался помочь ему в его тогдашних трудных обстоятельствах. Однако рассказ Кузнецова об инциденте в пензенской гимназии, послуживший поводом к этому знакомству, носит печать недоговоренности и некоторой зашифрованности.

Сотрудникам Пензенского областного исторического архива С. Кузнецову и В. Швареву удалось восстановить по документальным первоисточникам то, что, быть может, по цензурным причинам утаил в своих воспоминаниях их автор. Вот что пишут С. Кузнецов и В. Шварев в своем сообщении: «В конце 1864 года в Пензе получило широкую огласку дело гимназиста 6-го класса пензенской мужской гимназии Николая Кузнецова. Директором гимназии был Шарбе — ярый поборник реакционного курса в области просвещения. Шарбе снискал себе печальную славу доносчика

и самодура. По его проискам из гимназии был исключен революционер Ишутин и целый ряд других «вольнодумцев». Будучи директором училищ губернии, он своими интригами заставил покинуть Пензу таких лучших, передовых учителей, как И. Н. Ульянов <отец В. И. Ленина. — С. М.>. Шарбе завел в гимназии казарменные порядки. Он широко практиковал унижительные наказания. Малейшая провинность со стороны ученика влекла за собой заключение в карцер, стояние на коленях и т. д. Непокорные ученики немедленно исключались. Именно на этой почве и произошел инцидент с Н. Кузнецовым. Честный юноша хотел добиться отмены казарменных порядков. Вместе с одним приезжим студентом он написал письмо с требованием изменить режим гимназии. Несмотря на то, что Кузнецов учился отлично, его стали всячески преследовать. В ответ на издевательства Кузнецов дал Шарбе пощечину. Губернатор немедленно сообщил об этом министру внутренних дел, прокурор Пензы дал знать министру юстиции, Шарбе телеграфировал попечителю Казанского учебного округа, а тот в свою очередь — министру просвещения; Кузнецов был исключен из гимназии, арестован и посажен в тюрьму. Его признали политически неблагонадежным и выслали в Нижний Ломов под надзор полиции. Вместе с тем его лишили права поступать на государственную службу, чем обрекли на нищету» («Из новых материалов к биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина». — Альманах «Земля родная», Пенза, 1951, кн. 7, стр. 132—133).

В этих-то трудных для Кузнецова обстоятельствах Салтыков и вызвал юношу к себе из Нижнего Ломова, но попытка помочь ему окончилась неудачей. Лишь через три года и уже не в Пензе, а в Рязани Салтыкову удалось устроить Кузнецова к себе на службу.

Наряду с «делом Кузнецова» в биографии Салтыкова пензенского периода должен быть отмечен еще один эпизод. Он связан с выстрелом Каракозова 4 апреля 1866 года в Александра II.

Событие это, всколыхнувшее всю Россию, вызвало особо оживленные толки в Пензе. Дело в том, что и сам Каракозов и руководитель революционного кружка, из которого он вышел, его двоюродной брат Ишутин, и ряд других видных членов того же кружка — Загibalов, Странден, братья Федосеевы, Юрасов — были воспитанниками пензенской гимназии или пензенского дворянского института. Поэтому политический надзор в Пензе, возглавлявшийся жандармским штаб-офицером подполковником Глобой, резко усилился.

25 мая 1866 года полицейский надзиратель города Мокшана донес уездному исправнику, а тот, в свою очередь, Глобе: «Учитель

здешнего уездного училища Вальтер позволил себе сказать <...> что очень жаль, что Каракозов не убил царя» (Пензенский обл. исторический архив, фонд канцелярии губернатора. Цитируем по упомянутому выше сообщению, стр. 133).

Получив донесение исправника, Глоба, а вместе с ним и Шарбе, бывший в ту пору директором народных училищ, поспешили в Мокшан и учинили здесь допросы учителям, но потерпели неудачу. Никто из сослуживцев Федора Вальтера не согласился подтвердить полицейский донос.

Тогда Шарбе, по совету Глобы, решил избавиться от учителя, «оставшегося под подозрением», применив к нему так называемый «третий пункт» (см. о нем на стр. 801). Основываясь на донесении и просьбе Шарбе, попечитель Казанского учебного округа издал 27 июня 1866 года рапортование: «Нахожу г. Вальтера не на месте в звании учителя и потому увольняю его от исполнения порученной ему должности» (там же, стр. 134). И вновь, как и в случае с Кузнецовым, как только дело Вальтера стало известно Салтыкову, он поспешил прийти на помощь попавшему в беду молодому человеку. В августе 1866 года Вальтер был определен на службу в Пензенскую казенную палату. Для того чтобы сделать это, Салтыкову нужно было проявить не только энергию и настойчивость, но и определенное гражданское мужество. Ведь Салтыков принимал человека, скомпрометированного в связи с «делом Каракозова», которое повергло в панику правящие круги и породило в них манию страха и подозрительности.

Защита Вальтера тем более могла сказаться на политической репутации и служебном положении Салтыкова (о чем, однако, он не мог знать), что в одном из донесений упомянутого Глобы шефу жандармов — от 23 апреля 1866 года — сообщались материалы, обвинявшие самого Салтыкова в сочувствии к выстрелу Каракозова. Обвинение было высказано в связи с тем, что Салтыков публично выразил свое «негодование» «на государя императора» за то, что тот возвел в дворянство крестьянина Осипа Комиссарова, толкнувшего Каракозова в момент выстрела и тем спасшего жизнь царя. Слышавший это высказывание Салтыкова местный дворянин И. В. Сабуров добавлял в своем рассказе, который и попал в донесение Глобы, что «в словах г. Салтыкова звучало как будто негодование на г. Комиссарова за его великое дело, свыше ему внушенное» (Б. Бухштаб, После выстрела Каракозова — «Каторга и ссылка», 1931, № 5, стр. 165).

В конце воспоминаний Кузнецова, — там, где речь идет уже о Рязани, а не о Пензе, — упоминается о том, что Салтыков «страшно сожалел», слишком поздно узнав об административной

ссылке, которой был подвергнут местный поэт Стародубский, и не мог ему помочь. Стародубский — брат старшего врача рязанской городской больницы, с которым Салтыков был знаком, — сильно пил и по временам опускался «на дно». Но местные власти невзлюбили Стародубского и выдворили его из Рязани не за пьянство, а за проступки совсем другого рода. В одном из донесений губернатора Болдарева министру внутренних дел Стародубский аттестуется как человек «весьма неблагонадежного образа мыслей и вредной в политическом отношении нравственности». В подтверждение губернатор ссылается на какие-то «возмутительные стихи» поэта, распространявшиеся «по рукам». Содержание стихов неизвестно, так как приложенный список их в «деле» отсутствует.

Через два-три года после отставки Салтыкова в Рязани побывал К. Ф. Головин, реакционный беллетрист и публицист, входивший тогда в комиссию гр. В. А. Солдугуба по обследованию тюрем.

Рязанские впечатления — «Все там было заурядно: и самый город, и его тюремные учреждения, и губернатор Болдарев, впоследствии попавший под суд» — дали повод Головину для размышлений о недостатках государственной машины самодержавия. Отмечая (с крайне правых, реакционных позиций) «противоречивость» и «робость всех действий правительства» Александра II, Головин подкрепляет свои тезисы примерами, заимствованными из рязанской действительности. Увольняли, указывает он, ни в чем неповинных учителей. «И рядом с этим в числе правительственных чиновников, представителей министерств народного просвещения и финансов, встречались нередко люди безусловно неблагонадежные, покрывавшие революционеров своим авторитетом». (К. Головин, Мои воспоминания, изд. М. О. Вольф, 6 г., т. I, стр. 234 и 250). «Безусловно неблагонадежные» представители министерства финансов — это, вероятно, Салтыков, а также его добрый знакомый барон Г. О. Розен, о котором будет сказано ниже.

Разумеется, ни Кузнецов, ни Вальтер, ни Стародубский не могут быть названы революционерами. Но они были носителями оппозиционных настроений среди молодежи в провинции, за что и подверглись политическому преследованию. Рассказ о вмешательстве в их судьбу Салтыкова знакомит нас с одной из тех сторон его общественного поведения в годы службы, которая осталась нераскрытой в воспоминаниях Кузнецова.

Совсем почти не затронуты в этих воспоминаниях и две другие темы: о круге дружеских знакомств Салтыкова в Пензе и Рязани и о его писательской работе (мемуарист ограничивается лишь указанием, что сверх занятий служебными делами Салтыков «посвящал себя литературному труду»).

Между тем и в этих городах нашлись люди, которые приобрели уважение и привязанность Салтыкова, связи с которыми он поддерживал и впоследствии. Таких людей было, впрочем, очень немного. Но они должны быть названы. В Пензе это — А. П. Тиховидов, старый знакомый Салтыкова еще по Вятке, Ф. А. Вонлярский, местный помещик и одновременно старший чиновник Пензенской казенной палаты, наконец барон Г. О. Розен, занимавший должность управляющего акцизными сборами Пензенской губернии. В Рязани — старая знакомая Салтыкова, писательница Н. Д. Хвощинская. Хотя эти люди и не были, что называется, единомышленниками Салтыкова, но идейная близость между ними существовала. Особенно интересна, не освещенная в биографии сатирика, дружеская связь его с Розеном — бывшим лицеистом, участником Севастопольской обороны. Дело в том, что во время заграничной поездки 1860 года Розен познакомился в Лондоне с Герценом и Огаревым и по возвращении в Россию стал корреспондентом «Колокола». Дружеские связи Салтыкова с Розеном были отмечены в одном из доведений Глобы шефу жандармов. С Розеном Салтыков встречался позднее в Петербурге и за границей.

Что касается писательской работы Салтыкова в Пензе и Туле, то общепринятое в биографической литературе о сатирике представление, будто с уходом из «Современника» и переходом на службу, то есть с конца 1864 года, творчество Салтыкова совсем затухает, не отвечает действительности. Верно лишь, что Салтыков, занятый своими служебными обязанностями, почти перестал выступать в печати, хотя попытки продолжать сотрудничество в «Современнике» в 1864—1866 годах были. Но вместе с тем именно в этот период вольного и невольного воздержания от литературы у Салтыкова возникает особый вид творческой деятельности, осуществляемый первоначально без расчета на печать, а значит и без всякой оглядки на цензуру. Об этом сохранилось интересное свидетельство самого писателя. В письме от 11 июля 1867 года из Тулы к упомянутому выше своему пензенскому знакомому Ф. А. Вонлярскому Салтыков писал: «О себе скажу Вам одно: ленюсь и скучаю безмерно, и даже не могу преодолеть себя, потому что палатская служба опротивела до тошноты. Не знаю, что со мной и будет, ежели не выручит какой-нибудь случай<...>. Литературного ничего в голову не идет, кроме самого непозволительного. Коли хотите, я и пишу, но единственно для увеселения потомства» («Красный архив», 1941, № 2, стр. 160).

Эти «непозволительные», — разумеется, с точки зрения политической, цензурной — «произведения» Салтыков читает в кругу своих друзей и знакомых как в провинции, так и приезжая в Петербург.

Что же это за произведения?

Это, во-первых, сатира 1865—1866 годов на пензенские нравы и быт с многозначительным для будущей «Истории одного города» названием «Очерки города Брюхова»; это, во-вторых, памфлет 1867 года на тульского губернатора Шидловского, озаглавленный «Губернатор с фаршированной головой» (см. об этом в заметке к воспоминаниям И. М. Михайлова, стр. 475—477).

Об «Очерках города Брюхова» до сих пор было известно лишь то, что сообщил сам Салтыков в письме к П. В. Анненкову от 2 марта 1865 года: «О Пензе могу сказать одно: не похвалю. Это до того пошлый отвратительный городишко, что мне делается тошно от одной мысли, что придется пробыть в нем долго. Губернатор здешний вот каков <...следует характеристика уголовных деяний пензенского губернатора Александровского. — С. М.>. Вот Вам глава Пензенской губернии: остальное — на него похоже, если не хуже. У меня начинаются складываться Очерки города Брюхова, но не думаю, чтобы вышло удачно. Надобно, чтобы и в самой пошлости было что-нибудь человеческое, а тут, кроме навоза, ничего нет. И как плотно скупился этот навоз — просто любо. Ничем не разобьешь» (XVIII, 195—196).

Дальнейшая судьба замысла была долгое время неизвестна, его связь с остальными произведениями Салтыкова неясна. Найденное в 1932 году сотрудником Пензенского архива Еф. Быковым частное письмо дает возможность дополнить скупое сообщение Салтыкова. Письмо адресовано ближайшему сослуживцу Салтыкова А. Ф. Максиму, бывшему в 1866 году ассессором Пензенской казенной палаты. Письмо написано, очевидно, женой Максимова. Датировано оно 28 апреля, год и место не указаны, но по содержанию письма несомненно, что оно написано в Пензе в 1865 или, быть может, в 1866 году.

Сообщая о разных домашних и городских новостях, корреспондент, между прочим, пишет следующее:

«О критике, читанной у Сабуровых, от Федор. Федоровича¹ слышали, что смеху было довольно. Выведены все наши и в самом неприязненном виде — с подносами бегают и «ура» кричат. А что узнать легко, хотя по имени все выдуманы, а поступки нелепые, так что и быть того не может и вообразить нельзя. Губернатор по воздуху летает и нехорошими словами ругается. Чепуха страшная, а акцизные рады и говорят: так им и надо. Его же

¹ Островидова, в 1866 году начальника ревизского отдела Пензенской казенной палаты, а после ухода Салтыкова исправлявшего в течение года должность управляющего палатой. — С. М.

превосходительство, узнав об этой критике, был очень недоволен, «с г-ном управляющим не кланяется...»

Бряд ли можно сомневаться, что под «критикой», «читанной у Сабуровых» следует разумеать какой-то не дошедший до нас памфлет Щедрина на пензенское общество, пензенскую администрацию и на возглавлявшего ее «помпадура». Правда, имя Салтыкова в письме не названо, но говорится о «г-не управляющем», который, очевидно, настолько хорошо был известен в пензенском обществе как автор всякого рода «критик», что можно было и не называть его имя (тем более в письме к подчиненному Салтыкову лицу). Любопытно, что кое-какие факты, о которых сообщается в приведенном тексте, находят себе подтверждение в упомянутых выше секретных донесениях о Салтыкове в III Отделение жандармского полковника Глобы.

В этих донесениях сообщалось, например, о «дерзких речах», произносимых Салтыковым «в доме пензенского дворянина И. В. Сабурова», о большом авторитете Салтыкова «среди некоторых лиц в Пензе, в особенности служащих по акцизу», наконец, давалась характеристика Салтыкова как «замечательнейшего интригана», который «с большим умением успел поселить вражду между обществом и губернатором» и т. д.

О том, что Салтыков, будучи в Пензе, не поладил с губернатором Александровским, «человеком очень богатым, пользовавшимся особенной поддержкой министра Валуева; поэтому <...> был переведен в Тулу», сообщается с его собственных слов в воспоминаниях Л. Ф. Пантелеева (см. стр. 183) и в письмах самого Салтыкова из Пензы.

Приведенный документ (письмо к Максиму) дает основание утверждать, что в 1865—1866 годах Салтыковым был написан не дошедший до нас рассказ, который, по-видимому, следует рассматривать как частичное воплощение замысла написать «на пензенском материале» «Очерки города Брюхова», о котором рассказано в письме к П. В. Анненкову.

Особый интерес в этом пензенском памфлете представляют в историко-литературной отношении два сатирических образа: во-первых, образ бегающих с подносами и кричащих «ура» чиновников и, во-вторых, гротескно-фантастический образ летающего по воздуху и сквернословящего губернатора. Первый образ целиком входит в одну из основных тем «Истории одного города» — обличения и бичевания «начальствлюбия» глуповцев. Второй образ непосредственно перешел, хотя и в неразвернутом виде, на страницы той же «Истории одного города». Он использован здесь дважды. Во-первых, в характеристике «маркиза де Санглот», который «лю-

бил петь непристойные песни», «летал по воздуху в городском саду и чуть было не улетел совсем, как зацепился фалдами за шпиль и оттуда с превеликим трудом снят». И, во-вторых, в описании градоначальника Брудастого, о котором ходили «безобразные слухи», будто бы он «по ночам в виде ненасытного упыря парит над городом и сосет у сонных обывателей кровь».

Вот все, что можно сейчас сказать о «пензенском памфлете» 1866 года и его связи с будущей «Историей одного города».

Что касается некоторых других литературных работ Салтыкова того времени, а также позднейших произведений сатирика, в которых отразились его пензенские впечатления, то обзор этих материалов, хотя и не полный, читатель найдет в работе Л. Вольпе «Салтыков-Щедрин в Пензе», выпущенной в 1951 году Пензенским областным издательством.

Наблюдения над провинциальным обществом в первые пореформенные годы, проведенные Салтыковым в Пензе, Туле и Рязани, во многом углубили его знания русской действительности на ее новом историческом этапе. Именно опыт последней службы Салтыкова снабдил его материалами для той реалистической картины разложения правящего класса дворянства и государственного аппарата самодержавия после крестьянской реформы, которую он нарисовал в «Письмах о провинции», «Признаках времени», в «Помпадурах и помпадуршах» и в гениальной «Истории одного города».

ВОСПОМИНАНИЯ О М. Е. САЛТЫКОВЕ-ЩЕДРИНЕ (1865—1868)

В первый раз я увидел Михаила Евграфовича Салтыкова (Щедрина) и познакомился с ним в городе Пензе, где он служил управляющим Казенной палатой.

В Пензе в то время были: гражданским губернатором — действительный статский советник Александровский, губернским предводителем дворянства генерал-майор Александр Николаевич Арапов и директором мужской гимназии Раймунд Августович Шарбе.

Поводом моего знакомства с М. Е. Салтыковым послужил инцидент, происшедший при окончании мною курса пензенской гимназии.

Благодаря директору гимназии Шарбе, по некоторым причинам враждебно ко мне относившемуся, я был

исключен из гимназии с лишением права дальнейшего образования и даже поступления на государственную службу.

Во мне принял участие попечитель пензенского дворянского института, в котором я перед гимназией воспитывался, вышепомянутый А. Н. Арапов, но, несмотря на его заступничество, меня под конвоем жандармского унтер-офицера, по распоряжению губернатора Александровского, отвезли из Пензы на родину, в город Нижний Ломов, и сдали исправнику, который меня передал на попечение моей опекунше-тетушке Татьяне Яковлевне Андреевой.

М. Е. Салтыков, узнавший о случившемся со мною означенном инциденте через одного из своих служащих, г. Успенского, пригласил меня приехать для личных переговоров, обещая определить меня к себе на службу.

Когда мне было передано его желание, я немедленно на перекладных помчался за сто двадцать верст из Нижнего Ломова в Пензу. Я был знаком с «Губернскими очерками» и с другими произведениями нашего сатирика и, разумеется, был от них в восторге.

С нетерпением я летел в Пензу, скорее хотелось видеть Салтыкова и говорить с ним.

До сих пор отлично сохранилось первое впечатление моего с ним знакомства. Он мне очень понравился, хотя в первый момент и напугал своим суровым, серьезным, величавым видом, своими чрезвычайно блестящими, полными особенным магнетическим светом, проницательными, умными глазами и своим густым, басовым голосом.

Тогда он был молодым, элегантно одетым, вооруженным золотым ріпсе-пез на длинном шнурке, которое он ловко подбрасывал.

Салтыков принял меня любезно и внимательно выслушал мою историю с директором гимназии.

Видимо, сдерживая свой голос, он ласково обещал мне переговорить с губернатором относительно моего определения на службу и о результате сообщить через два дня.

По приходе моем к нему через два дня он мне сказал:

— Уезжайте из Пензы немедленно на родину. Вам губернатором въезд в Пензу запрещен. Черт с ним! По-

терпите некоторое время. Быть может, я вас сам буду иметь возможность определить собственную властью. До свиданья. Уезжайте же, уезжайте из Пензы поскорее!

Простившись с Салтыковым, я возвратился домой. Ожидать радостного известия пришлось порядочное время. В этот промежуток, по совету моего родного брата, служившего помощником исправника в городе Саранске, мною было подано прошение государю императору Александру II, на которое в скором времени через губернатора было мне объявлено разрешение государя — поступить на государственную службу или в высшее учебное заведение.

Я поступил в Казанский университет, но вследствие смерти опекуни-тетюшки вынужден был, не окончивши курса, возвратиться домой.

В Нижнем Ломове я занимался домашними делами, не раз ездил в Пензу и наконец получил известие, что М. Е. Салтыков переведен из Пензы в Тулу на ту же должность*. Я ему написал прошение об определении меня на службу, на которую, к великой моей радости, и был принят.

По приезде в Тулу М. Е. Салтыкова я не застал. Он был переведен в Рязань, вследствие ссоры с тульским губернатором Шидловским...*

В Рязани, перед Пензой, Салтыков был вице-губернатором.

Не долго думая, я в первый же день занятий в Тульской казенной палате, по совету секретаря палаты Мерцалова, написал просьбу Салтыкову о перемещении меня в Рязань.

По получении бумаги о моем переводе я отправился в Рязань, радуясь, что буду служить с Салтыковым, буду его видеть и слышать, говорить с ним, буду в его обществе.

Я был экзальтированным в то время и был большим поклонником и почитателем Салтыкова.

В Рязани я представился Михаилу Евграфовичу в Казенной палате, в комнате, называемой «присутствием», где был портрет государя во весь рост, а на столе трехгранный небольшой шкафчик на трех ножках, вверх коего был золотой двуглавый орел. В шкафчике этом, называемом «зеркалом», помещались указы, в том числе

знаменитый указ императора Петра I: «Все законы писати...»

Когда нужно было курить, то Салтыков снимал золотой герб с «зеркала» и, кладя его на стол, говорил: «Ну, теперь можно и вольно!»

Михаил Евграфович сразу меня узнал и тотчас же расспросил, чем я занимался, и представил секретарю палаты, Константину Павловичу Лихареву, сидевшему всегда за отдельным столом в том же «присутствии».

Салтыков попросил Лихарева пригласить делопроизводителя Виноградова, оказавшегося моим учителем географии по пензенской гимназии, бросившим свое преподавание и ушедшим к Салтыкову, которого он был страстным почитателем.

В Пензе Виноградов имел свою библиотеку и много подписчиков, но все бросил и уехал служить к Салтыкову.

Салтыков сказал Виноградову: «Пожалуйста, Иван Сергеевич, возьмите к себе в канцелярию вашего бывшего ученика и учите его делу».

Скоро я от Виноградова перешел в распорядительный стол отделения казначейств; начальником последнего был Николай Иванович Лаппа, а столоначальником брат родной И. С. Виноградова, очень скромный и застенчивый молодой человек.

Салтыков являлся аккуратно на службу в десять часов утра, и служащие о приходе его узнавали по особому волнению прислуги в передней и по зычному голосу Салтыкова. Ему приходилось проходить в «присутствие» из передней через длинный зал, в коем помещалось отделение казначейства со множеством служащих, во главе с начальником отделения Н. И. Лаппа, рядом с которым сидел бухгалтер Кашуров, а напротив их — столоначальник Виноградов со своим помощником, автором настоящих воспоминаний.

По обеим сторонам этого зала помещались другие служащие до самого «присутствия». Посредине зала было довольно большое пространство, составляющее проход. Салтыков не входил, а влетал в этот зал из передней и быстро неся по проходу, раскланиваясь на ходу с начальником отделения и некоторыми другими, и исчезал в заранее открытую сторожем дверь «присутствия». Все служащие вставали с своих мест и, стоя, ожидали

Салтыкова, кланяясь ему, отвечая на его общий им поклон.

Басовые звуки его голоса, всегда суровый, сердитый вид и в особенности его быстрые глаза, взгляд коих трудно было выносить, вызывали во многих чиновниках трепет и страх. Салтыков знал об этом впечатлении, как я полагаю, и пользовался им при репримандах¹ с провинившимися служащими, всегда, впрочем, высказываемых Салтыковым в шутливой, юмористической форме. Об этом трепете он где-то написал, что при объяснениях его со служащими у них поджилки трясутся. Но Салтыков никому никогда не сделал зла из служащих, и ежели кто ему почему-либо не нравился, то он делал в этих случаях такие распоряжения, которые дивили всех своею оригинальностью и добродушием. Так, например, один из старых служащих в Рязанской казенной палате, до него и при нем состоявший в должности помощника бухгалтера, за отсутствием своего ближайшего начальника, докладывал дела лично Салтыкову. Не обладая даром ясного объяснения и по природе застенчивый, он путался в словах и не мог толково объяснить дело, вынуждая Салтыкова просить повторить доклад. Чиновник снова начинал объяснять дело и снова от робости так говорил долго и неясно, что Салтыков наконец с трудом улавливал суть дела, заставляя его несколько раз повторять, говоря: «Ничего не понимаю! Ничего не понимаю! Повторите снова».

В следующий раз после подобного доклада Салтыков рассердился окончательно на этого чиновника и пригласил к себе начальника отделения, которого просил избавить его от такого докладчика, говоря: «Пожалуйста, переместите его куда-либо, ну, хотя в уездные казначеи!» Должность эта представлялась для такого чиновника недостижимым идеалом и была всегдашнею его мечтою. Он не знал, как выразить свою признательность, пошел благодарить Салтыкова и назвал его своим благодетелем. Салтыков рассмеялся и сказал: «Ну, не благодарите, поезжайте себе с богом».

Многие чиновники завидовали счастливцу, как они окрестили вновь испеченного уездного казначея, и стали смелее и симпатичнее относиться к Салтыкову.

¹ выговорах (от франц. *réprimandes*).

Раз Салтыков, подъезжая к Рязанской казенной палате, увидел зимою ежившихся от холода в рваных костюмах «запьянцовских» отставных чиновников, потерявших, как говорится, образ божий, просящих на водку и предлагающих свои услуги для написания прошений неграмотным или несведущим просителям.

Салтыков, придя в палату, расспросил о «запьянцовских» секретаря и других и узнал, что в числе этой «чиновничьей рвани» есть дельные и умные люди, служившие когда-то в Рязанской казенной палате, губернском и акцизном управлениях. Тогда Салтыков, зная, что предстоит разборка старых дел в ревизском отделении, поручил пригласить «запьянцовских» для этого дела, кропотливого и сложного, чтобы хотя на время дать им возможность посидеть в теплом месте и заработать приличное вознаграждение. Всех их было человек семь. Сколько радости было на лицах этих «запьянцовских». Как признательны они были Салтыкову! Как они были старательны и аккуратны на первое время! Сам начальник ревизского отделения Фрей, встретивший их не очень любезно в первое посещение палаты, удивлялся примерному их усердию и стал относиться к ним благосклоннее.

Этот самый Фрей при составлении ревизской сказки * одному незаконнорожденному никак не мог согласиться с столоначальником, чтобы допустить отчество этого незаконнорожденного назвать по крестному отцу, отказываясь подписать бумагу. Спор по этому поводу дошел до того, что Фрей пошел к Салтыкову с жалобой на столоначальника. «Помилуйте, — говорил Фрей Салтыкову, — я говорю, чтобы в сказке отчество незаконнорожденного было названо по матери, как не имеющего родного отца, а мне столоначальник противоречит и доказывает, что принято отчество незаконнорожденных именовать по крестному отцу». Салтыков захохотал на всю комнату и едва мог убедить Фрея, что столоначальник прав в данном случае. Фрей настаивал и доказывал, что, по его мнению, раз незаконнорожденный родного отца не имеет, то отчество ему надо давать по матери: Матреныч, Татьяныч и т. д. Салтыков был в восторге от этого инцидента.

Спустя месяц или два, ввиду приближавшейся к окончанию работы, порученной «запьянцовским», они начали ее умышленно замедлять, чтобы подольше получать гонорар, стали являться на службу в нетрезвом виде и, мало этого, стали приносить с собою водку и закуску и ставили все в шкаф. Потом, во время занятий, по очереди прикладывались к этому шкафчику и быстро оканчивали это нерешенное дело. Попойки эти стали хроническими. Срок окончания работы миновал, работа ими не была еще окончена. Салтыкову сообщил обо всем Фрей. Раз Салтыков своей быстрой походкой влетел в комнату, где занимались «запьянцовские», и обратился к ним со следующими словами: «Вы все здесь дебоширите, смотрите у меня, республиканцы! Скорее заканчивайте дела». Видя, что они страшно растерялись и молча, сознавая свою вину, стоят, а некоторые пошатываются, повернулся и исчез в «присутствии».

До Салтыкова в Рязанской казенной палате было очень доходное «питейное отделение», во время существования откупов; тогда чиновники получали, под предлогом благодарности, большие деньги. В этом отделении в то время была заведена кружка, в которую и опускались получаемые благодарности от откупщиков и от прочих просителей, а по истечении месяца из кружки вынимались все деньги и происходила общая дележка их между служащими. Затем, само собою разумеется, некоторые из чиновников исчезали немедленно в ближайший трактир и производили там генеральную попойку.

Рассказывали, что было время, когда по субботам провинившихся чиновников пороли розгами по приказанию «председателя», как тогда назывался управляющий палаты, а также сажали под арест, заключая в комнату, находящуюся в нижнем этаже палаты, где был архив со старыми делами и где производились экзекуции над чиновниками. Чтобы чиновники не убегали из-под ареста, с них снимали сапоги.

Салтыков все это уничтожил. При нем не брали взятки, или так называемых благодарностей, не имели кружек, не пороли чиновников и не сажали их под арест.

Салтыков занимался в палате делами очень усердно, скоро и внимательно. Обладая быстрым соображением

и богатою памятью, он никогда дел у себя не задерживал и наблюдал, чтобы и другие быстро решали дела. В особенности следил, чтобы не задерживали просителей и не подвергали их прежней волоките. Деловые бумаги, им самим сочиненные, представляли в некотором роде литературную редкость. Я любил читать такие его бумаги. После занятий в палате Михаил Евграфович успевал заниматься дома, куда ему из всех отделений палаты в особых портфелях сторожа носили вечером множество бумаг и утром приходили за ними и уносили в палату, сдавая дежурному чиновнику, который передавал их по принадлежности. На удивление служащих, Михаил Евграфович не пропускал в бумагах ошибок, не замеченных—двумя или тремя подписавшими их до рассмотрения и подписи. Вспоминается интересный инцидент, как раз Салтыков, найдя в ассигновке грубую ошибку, — что-то вместо ста рублей, подлежащих к выдаче частному лицу, было написано десять тысяч рублей, — пригласил виновника к себе — какого-то столоначальника — и, показывая ему ошибку, предлагая ее исправить, между прочим, встав с своего места, стал столоначальника преследовать однообразной фразой: «Куда вы меня влечете?!» Чиновник от громового голоса Салтыкова, по робости своей, сознавая свою непростительную вину, трепетал и пытался от него назад, а Салтыков, повышая голос, повторял свой грозный вопрос: «Куда вы меня влечете?!» Приблизившись к двери и видя все более и более наступающего на него Салтыкова, чиновник повернулся к нему спиною и выскочил за дверь в другую комнату. Салтыков при этом маневре расхохотался и возвратился на свое место.

Однажды бухгалтер С. был также приглашен Салтыковым в присутствие для общего рассмотрения и проверки какого-то отчета, переполненного цифрами. Салтыков заставил С. класть на счетах цифры, диктуемые Салтыковым, предварительно предложив ему сесть с собою рядом. Когда Салтыков замечал неверность выкладки на счетах С., то ударял сердито рукою по столу, С. при этом подскакивал на своем месте. При новой путанице на счетах Салтыков опять стучал рукою, и опять С. подпрыгивал на стуле. Салтыков, проверив отчет, возвращая его С. после последней ошибки и окончания отчета и после последнего подпрыгивания, начал

преследовать С. так же, как и предыдущего чиновника, фразой: «Что вы все прыгаете?! Что вы все прыгаете?!» С. вскочил почти одновременно с Салтыковым со стула, а Салтыков стал на него наступать и говорить одно и то же: «Что вы все прыгаете? Что вы все прыгаете?!» Наконец С. очутился у двери, в которую и высочил. Салтыков стал ходить по комнате и хохотать. Эти комические маневры, видимо, его развлекали и доставляли ему удовольствие.

В ходатайствах ближайших начальников служащих о прибавках жалованья или о повышениях Салтыков никогда не отказывал и немедленно утверждал их, отсылая всякий раз губернатору представления об этом в особой книге с чиновником палаты. Губернатор писал почти всегда одно слово: «согласен», и свое звание и фамилию.

В своих бумагах с репримандами служащим Салтыков выражался очень деликатно. Так, например, в одной из них он писал: «Циркулярно. Гг. уездным казначеям. Замечено мною, что в доставляемых мне вами ежемесячных и третних ведомостях встречаются ошибки самого грубого свойства. При повторении таких ошибок в будущем виновные будут мною подвергнуты взысканиям, для них весьма неприятным».

Салтыков занимался служебными делами утром и вечером, в палате и дома, да еще посвящал себя литературному труду. Кроме того, он посещал знакомых и местный клуб с дворянским собранием.

В клубе он любил пить херес в рубль двадцать копеек за ужином. Раз, когда он приказывал человеку: «Подайте хересу в рубль двадцать», один из его знакомых спросил: «Михаил Евграфович! а разве нельзя подороже?» Салтыков сначала сказал: «Чего-с?!», а затем ответил: «Не по карману».

Возглас «чего-с» был его любимым, и он нередко его повторял в разговоре с кем бы то ни было очень громко, сопровождая и предваряя свой разговор львиным рыканьем, выражаемым однозвучным: «а-а-а-а», которое он иногда тянул, задумавшись во время разговора, довольно продолжительно.

С Салтыковым очень любили беседовать в клубе его поклонники и поклонницы, в особенности последние. Иногда он в клубе бывал в очень хорошем расположении духа, и когда женщины замечали в нем такое

настроение, то обыкновенно приставали к нему с неотвязными своими просьбами рассказать что-либо интересное. Салтыков в угоду им, этим, по его выражению, «благоухающим розам», рассказывал разные разности и анекдоты, от которых слушатели и слушательницы покатывались со смеха. Его блещущие остроумной сатирой и юмором рассказы были неистощимы. Но раз эти розы утомили его до того, что он стал извиняться перед ними и сказал: «Не могу больше, mesdames. Довольно. Надо ехать домой, жена зовет!» Но они не унимались, просили его рассказать последний анекдот, и он не устоял пред их мольбою и сказал: «Хорошо! Пусть будет повашему. Только расскажу с условием, чтобы вы больше не просили и чтобы этот анекдот действительно был последним». Розы выразили согласие. Салтыков всем усевшимся около него и окружившим его стал рассказывать, как один молодой человек во время устройства одного из любительских спектаклей неаккуратно выполнил данное ему барынями и барышнями поручение и как они за это придумали этого молодого человека наказать. Когда Салтыков договорил до этого места, то приостановился умышленно и замолчал. Дамы наперебыв друг перед дружкой стали просить: «Михаил Евграфович, доскажите, доскажите же анекдот. Что они с ним сделали, с этим молодым провинившимся пред ними человеком?» Салтыков отговаривался, говоря, что скажет как-нибудь после, или лучше о наказании умолчать, так как оно очень плачевно. Розы так атаковали Салтыкова, что он как бы невольно согласился, и, когда они ему задали вопрос: «Что же они ему сделали, какое придумали наказание?» — Салтыков решился и сказал: «Что сделали с ним, вы спрашиваете?» «Да, да, да!» — раздалось со всех сторон. Тогда Салтыков, сдерживая несколько свой голос, выкрикнул басом: «Клистир ему из чернил поставили!» Все женщины моментально с хохотом вскочили с своих мест и врассыпную разбежались в разные стороны. Салтыков, сам рассмеявшись на всю комнату, встал и, простившись с знакомыми, уехал домой.

Михаил Евграфович Салтыков после двух или трех лет своей службы в Рязанской казенной палате вышел в отставку, главным образом вследствие неприятностей с губернатором Болдаревым, про которого он гово-

рил, что «его за глупость в губернаторы поставили» *. Салтыков описал этого губернатора в своем произведении «Нарцисс, или Влюбленный в себя», в лице субъекта, блиставшего французским языком и белыми зубами *. Губернатор тоже не любил Салтыкова по понятной причине. Салтыков сторонился от него и очень был дружен с ненавидевшим также губернатора председателем Рязанской уездной земской управы — Федором Сергеевичем Офросимовым *, человеком дельным и очень умным, каких не избегал, а любил и уважал Салтыков. Губернатор наговорил в Петербурге на Салтыкова разные разности и, между прочим, что он не ходит в табельные дни наравне с другими чиновниками в собор и не является к нему, губернатору, с служебными визитами на Новый год и другие большие праздники, что Салтыков социалист и нигилист.

Вскоре после отставки Салтыкова губернатор Болдарев был уволен за известное дело, происшедшее во время его охоты *, когда он заехал в ржаное поле и собственник последнего, крестьянин, не знавший губернатора, стал на него кричать, чтобы он не портил рожь, и схватил под уздцы лошадь, на которой сидел губернатор, чтобы свести ее с поля. В один момент подскакали к губернатору на помощь его доезжачие и прочие его люди и, по приказанию его, так избили крестьянина нагайками и чем попало, что переломали ему ребра и отправили его на тот свет. По приказанию губернатора этот крестьянин был быстро похоронен. Однако местным прокурором было возбуждено дело. Крестьянина вырыли из могилы, произвели медицинское вскрытие и обнаружили, что он с переломленными ребрами, кровоподтеками, с ссадинами, — был засечен и избит нагайками насмерть. Этот губернатор имел громадную протекцию, благодаря чему его за означенное смертоуверье крестьянина только перевели из губернаторов управляющим московским государственным коннозаводством.

Перед выходом в отставку из Рязани Салтыкову понадобился отпуск в Петербург *, и он поручил секретарю Казенной палаты Лихареву съездить к губернатору Болдареву с просьбой выдать Салтыкову отпуск, но губернатор выдать отпуск отказал. Лихарев возвратился к Салтыкову ни с чем, о чем и доложил Салтыкову. Салтыков заволновался, вскочил с места, схватил свою

шапку и полетел к губернатору. Губернатор в окно увидел подъехавшего Салтыкова и приказал швейцару сказать, что его нет дома. По отъезде Салтыкова губернатор распорядился написать отпуск Салтыкову и, подписавши, велел немедленно отослать его с курьером в Казенную палату Салтыкову.

Салтыков от губернатора проехал к себе на квартиру, а затем вернулся в палату, где ему секретарь подал присланный губернатором отпуск, который Салтыков взял и закричал: «Ах, мерзавец, заставляет волноваться! Ну, уж я ж тебя в...!»

При окончательном отъезде Салтыкова из Рязани, по увольнении его в отставку, все чиновники Рязанской казенной палаты поднесли ему альбом с своими фотографическими карточками, в котором на первом месте был вложен его, Салтыкова, портрет, снятый в увеличенном размере с карточки, взятой из его домашнего кабинета через посредство его супруги.

Михаил Евграфович Салтыков, при поднесении ему от нас альбома, просил нашего уполномоченного передать нам всем его сердечную благодарность и при этом наказал сказать всем, что если кто будет в нем иметь нужду, то чтобы без стеснения обращались к нему, лично или письменно, по петербургскому адресу: на Фурштатскую улицу, близ Таврического сада, в дом под №... забыл каким, или же в помещении редакции «Отечественных записок», где квартира поэта Некрасова. Я знаю, что этим любезным предложением Салтыкова воспользовался мой бывший учитель географии, делопроизводитель Виноградов, и старший делопроизводитель палаты Лихарев. Первому из них удалось занять хорошую должность в петербургской контрольной палате, а второму — в каком-то акцизном управлении должность старшего ревизора.

Салтыков, узнав о ссылке административным порядком куда-то далеко из Рязани поэта Стародубского, где он и умер вскоре, страшно сожалел, что поздно узнал об этом и не мог ему помочь...

М. И. Семевский

Известный историк и публицист, редактор-издатель журнала «Русская старина» Михаил Иванович Семевский (1837—1892) считал себя большим почитателем Салтыкова. Действительно, на страницах своих изданий — той же «Русской старины» и альбома «Знакомые» — Семевский охотно печатал как при жизни Салтыкова, так и после его смерти, хвалебные отзывы о «гениальном сатирике», публиковал биографические сведения о нём. Однако внимание Семевского к Салтыкову определялось не столько идеологическими, сколько «деловыми» интересами. Неутомимый и довольно бесцеремонный ловец всяческих «фактов истории», Семевский и на Салтыкова смотрел преимущественно с точки зрения той «пользы», которую великий писатель — тоже «факт истории» — мог оказать «Русской старине» как источник и предмет ее настоящих и будущих публикаций.

Салтыков знал подлинную цену Семевскому. Он относил его к тем «фельетонистам-историкам» «анекдотической школы», которые «не задаются в своих трудах ровно никакою идеею и тискают в печатные статьи нисколько не осмысленные материалы, открытые где-нибудь в архивах или в частных записках». Популярные в свое время очерки и рассказы Семевского из русской истории XVIII века, раскрывающие альковные тайны придворного быта, явились одним из поводов для щедринской пародии-памфлета на литературу «анекдотистов» в «Истории одного города» (глава «Сказание о шести градоначальниках») ¹,

¹ Определению пародийно-памфлетного содержания этой главы в журнале было посвящено особое примечание, опущенное в отдельных изданиях «Истории одного города»: «События, рассказанные здесь, совершенно невероятны. Издатель даже не решился бы печатать эту историю, если бы современные фельетонисты-историки

Отталкивало Салтыкова от Семевского и многое другое. Например, Семевский не слишком стеснялся в средствах добывания интересовавших его архивных и устных свидетельств: это имел в виду Н. А. Белоголовый, когда писал о нем Салтыкову в 1887 году: «Вертлявый господин, ловко умеющий ловить рыбу в мутной воде» (ИМЛ, ф. Лаврова, п. 36, лл. 65—66). Особенно же ненавистна была сатирику склонность Семевского к чиновничеству и угодничеству — как перед начальством, так и перед видными «именами» и «авторитетами». Когда Елисеев, не выдержав случайного сожительства с Семевским за границей в 1881 году, перебрался от него на другую квартиру, Салтыков одобрително отозвался об этом решении в письме к Белоголовому и резюмировал: «Действительно, это ужасный холоп» (XIX, 242). А самому Елисееву Салтыков писал тогда же: «Я совершенно понимаю Ваше бегство от лица М. И. Семевского. Это малый, созданный для того, чтобы обращать людей в бегство, и если бы правительство в прошлую войну употребило его в качестве передового отряда, то многих врагов он обратил бы в бегство без кровопролития. Я никогда особенно часто с ним не видался, но могу себе представить положение человека, который видится с ним каждый день поневоле» (XIX, 243).

Тем не менее Салтыков признавал ценность архивно-собирательской и публикаторской работы редактора «Русской старины» и был заинтересованным читателем его журнала, все же выгодно отличавшегося своими либеральными тенденциями от густой реакционности «Русского архива» и только что возникшего «Исторического вестника».

Это отношение Салтыкова к «Русской старине» позволяло Семевскому время от времени обращаться к сатирику с обычными своими просьбами — написать автобиографию, передать какой-либо документ или проверить свидетельским показанием верность того или иного поступившего в редакцию сообщения.

Печатаемый ниже документ — запись беседы Семевского с Салтыковым 6 февраля 1882 года — также, вероятно, возник в связи с текущей работой редакции «Русской старины». Как отметил первый публикатор документа И. М. Троцкий, в беседе упоминаются записки сенатора Я. А. Соловьева, печатавшиеся в это

наши гг. Мельников, Семевский, Шишкин и другие не показали, до чего может доходить развязность в обращении с историческими фактами. Читая предлагаемое «Сказание» можно даже подумать, что «Летописец», предвосхитив рассказы гг. Мельникова и Семевского, писал на них пародию» («Отечественные записки», 1869, № 1, стр. 301) — С. М.

время в «Русской старине». Беседа происходила 6 февраля, а в мартовской книжке журнала появилась та глава записок, в которой сообщались сведения о служебной деятельности Салтыкова в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов. Не желая печатать материалы о Салтыкове без его ведома, Семевский привез показать ему соответствующую главу. Об этом свидетельствует сохранившаяся в архиве «Русской старины» корректурная страница записок Я. А. Соловьева с отметкой Салтыкова (ИРЛИ, ф. 265, оп. 1, ед. хр. 26, лл. 178—178 об. — Сообщено Е. И. Покусаевым). Эти обстоятельства и определили содержание разговора, целиком посвященного служебной деятельности Салтыкова, о которой он вспоминать не любил и которую вряд ли сам сделал бы темой свободно избранной автобиографической беседы.

В какой мере запись Семевского соответствует рассказу Салтыкова? Конечно, это не стенографически полная, а литературно обработанная запись, сделанная, вероятно, сразу же после свидания. Ведь и сам Семевский оговаривается, что приводит лишь «кое-что» из беседы, которая продолжалась «час времени». Он прямо пишет, что говорили «о разных современных событиях», а о них нет ни слова в записи. Проверка сообщаемых фактов по некоторым первоисточникам устанавливает высокую точность как памяти сатирика, так и записи Семевского. Это позволяет предположить, что запись в какой-то мере передает не только самое содержание беседы, но и живую речь Салтыкова. Но только в какой-то мере, так как иные из вложенных в уста Салтыкова выражений, касающихся, например, Александра II («государь сам был моим читателем и защитником») или даже наименования столичного города («Санкт-Петербург») даны в том почтительно-официальном ключе, который был совершенно чужд сатирику. Эта фразеология и эта интонация идут от Семевского.

При всем том запись беседы Салтыкова с редактором «Русской старины» должна быть отнесена к числу весьма интересных и достоверных источников биографии писателя.

Как показательна, например, для характеристики независимого и смелого характера сатирика сцена его разговора с Шуваловым. Салтыков выразил свое негодование начальнику III Отделения и шефу жандармов, которого боялась вся Россия, в том числе и правящая, — выразил с такой же естественностью, с какой он это сделал бы по отношению к любому человеку, допустившему несправедливость и фальшь. Важны и закрепленные записью Семевского слова Салтыкова о своем писательском призвании, а также указание на объективную ценность служебного опыта для литературного творчества сатирика,

Подлинник записи Семеvского сохранился среди бумаг архива «Русской старины» в переплете с надписью «Материалы к воспоминаниям». Однако намерение писать мемуары, для которых, возможно, предполагались и другие собеседования с Салтыковым, Семеvский не осуществил.

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ

(6 февраля 1882 г.)

Приехал к нему сегодня в двенадцать часов дня. Сидит в кабинете, за корректурой, в халате. Лицо усталое, как бы налитое водянкой, болезненное. Когда говорит — сильная одышка, точно астма его душит; когда ходит — ногу слегка волочит, точно одна у него слегка тронута параличом. Вообще наружный вид нашего гениального сатирика заставляет желать ему здоровья, так как именно здоровья ему очень, очень недостает.

Вначале был не в духе; потом постепенно одушевился, и час времени пролетел — секундой. Вот кое-что из его беседы.

«Возвращен я из Вятки С. С. Ланским в 1856 году, до коронации. — Приехал я в С.-Петербург; * был я тогда советником губернского правления, — явился к Ланскому — и заявил, что ехать я, хотя бы и с повышением, в провинцию не желаю. Меня причислили к министерству *. Директором хозяйственного департамента был в то время Н. А. Милютин. Он взял меня под свое покровительство. Дали мне большую работу: составить исторический обзор того, что было пожертвовано после войны 1812 года на помощь пострадавшему населению, как велики были бедствия населения и что сделано было в пользу пострадавшим; а в параллель с этим я же сделал обзор того, как велики были нужды в населении, пострадавшем после войны 1853—1855 годов, что было пожертвовано на помощь пострадавшим, — эта работа вела к определению того, что должно было сделать для пострадавших во время войны 1853—1855 годов. Весь труд этот был напечатан особою запискою, и его можно найти в министерстве *.

Живя в С.-Петербурге, именно в это время я посылал и печатал в «Русском вестнике» мои «Губернские очерки». Было нас тогда в министерстве внутренних дел два литератора, причастных к «обличительной литера-

туре». Я и Мельников (Пав. Ив.). В Государственном совете, при встречах с Паниным, Ростовцевым, быть может Чевкиным, Ланской выносил из-за нас немало нападков *. Особенно доедал его Панин, который жаловался даже однажды государю, что-де «управлять нельзя министерством, обличительная литература вмешивается во все» и т. п. Ланской был в сущности человек вполне хороший, гуманный, но это был кисель-человек; просто либеральный кисель и поддавался влиянию вблизи его стоящего человека; но ко мне относился он очень хорошо. Не устоял, однако, под нападками Панина и К°, призывает Ланской Мельникова и требует, чтобы тот не писал в журналах. Мельников прибегает ко мне и сообщает об этом. Ну, стало быть, и до меня дело касается. Иду к Ланскому. Спрашиваю его. Старик весь покраснел и говорит: «Это до вас вовсе не касается».

До какой степени он еще сам тогда не определился по отношению к либеральным реформам, в важнейшей из которых ему вскоре довелось быть вожаком, видно из следующего: в августе 1856 года, за несколько дней до отъезда Ланского на коронацию в Москву, получаю от него приглашение на чашку чая, на Аптекарский остров, на дачу министра *. Застаю у него только Гвоздева, человека тогда такого, от которого все зависело в министерстве; * он держал Ланского в руках. Говорит этот Гвоздев так почтительно: «Ваше высокопревосходительство, вот-де говорят, что скоро подымется вопрос об уничтожении крепостного права и что вы...» (Гвоздев, как мошенник, был сам, конечно, крепостник в душе, самый отчаянный.) И что же вы думаете? «Нет, этого ни за что не будет, или будет — по крайней мере очень не скоро», — отвечал Ланской и отвечал с твердостью! Вот тебе и человек. Просто был кисель, а не человек.

В 1858 году — кажется, именно в апреле — Ланской представил меня особым докладом в вице-губернаторы, в Рязань; * но при этом, чтобы оградить себя, счел, конечно, необходимым объяснить, что-де вот это тот самый Салтыков, который пишет, и проч. Что ж бы вы думали? Государь, утверждая доклад, говорит: «И прекрасно; пусть едет служить да делает сам так, как пишет», то есть так, как желает, чтобы действительно делали хорошо.

Как видите, в то время государь сам был моим читателем и защитником.

Когда меня из Рязани перевели вице-губернатором в Тверь, тогда при министерстве внутренних дел, в особой комиссии, обсуждалась реформа уездной полиции. Меня, как ближайшего вице-губернатора и почему-то как эксперта, вызвали в эту комиссию. И я жил тогда месяца два в С.-Петербурге в 1860 году*. Встретил я в комиссии: Н. А. Милютину, бывшего тогда товарищем министра, Я. А. Соловьева, Н. И. Стояновского, с.-петербургского губернатора Смирнова, гр. Петра Андр. Шувалова, бывшего тогда директором департамента общих дел, и еще несколько лиц, кого именно, не помню. Ну, полиция, как известно, была тогда ужасно нелепая. Городская была врозь от земской; мошеннику стоило выйти за городской выгон, и он уже попадал в ведение земской полиции, и городская заводила о нем переписку с земской. Ну, словом, нелепость была изрядная. Комиссия много толковала. Шувалов был на ножах с Милутиным; но играл граф Шувалов довольно жалкую роль; против него в комиссии были все; поддерживал его только один Смирнов; говорил часто и я против него. Ну-с, проходят годы. Я в 1867 году в Туле, председателем Казенной палаты. Пишет ко мне Рейтерн, что на меня беспрестанно жалуется губернатор Шидловский, что-де я его, губернатора, держу в осаде, кричу на него и прочее. Вижу я — пахнет отставкой; а тогда положение мое как писателя не было еще прочно. «Современник» был закрыт; «Отечественные записки» не перешли еще к Некрасову. Выходить в отставку не находил я еще возможным. Нечего делать; еду в С.-Петербург объясняться. Иду к Рейтерну. Выясняется дело, что граф Шувалов, управлявший тогда III Отделением, нажаловался на меня государю. И государь согласился на то, чтобы «Салтыкова убрать как беспокойного человека из Тулы»*.

А дело состояло в том, что Шидловский, губернатор тульский, уже тогда был сумасшедший, у него болезнь была в ухе, и, когда она, бывало, начнет нажимать на мозг, он дурел и выкидывал глупости, против которых я и говорил и спорил. Только несколько лет спустя, сделавши Шидловского товарищем министра, заметили, что он был сумасшедший. Он умер. — «Не сходить ли мне к графу Шувалову объясниться?» — говорю я Рейтерну. «А что же, сходите, это не лишнее». Отправляюсь к Шувалову. Принимает весьма любезно. «Вы, граф, уверили

государя, что я человек *беспокойный*». — «А что же, неужели вы, господин. Салтыков, разубедите меня в том, что вы человек *беспокойный*?» — «С чего же вы взяли это?» — «О, я вас очень хорошо и давно знаю, еще с того времени, когда мы встречались с вами в комиссии по преобразованию *полиции*, — говорит мне весьма любезно Шувалов, — припомните, как вы тогда *вели* себя?»

«Как я себя *вел*? — воскликнул я, весь покраснев от негодования и вскочив с места. — Как я себя *вел*? Да ведь я был членом комиссии, так же, как и вы, ведь я высказывал свое мнение, свое убеждение! Ведь я думал, что я дело делаю! А если мое мнение было несогласно с вашим, так ведь из этого не следует, чтобы мне теперь ставили вопрос: как я себя *вел*». Шувалов также встал и, увидев мое негодование, стал меня успокаивать, уверяя, что он нисколько не думал меня обидеть, и проч.

— Нет-с, вы, однако, доложили государю, что я *беспокойный* человек; я вас прошу непременно доложить теперь, что я был у вас и объяснялся с вами.

— Ну, помилуйте, — мы люди такие маленькие, что невозможно о нас и нами утруждать государя. Между его величеством и нами такая дистанция огромная...

— Нет, позвольте! Должно быть, не столь огромная, если государю докладывают, что я *беспокойный* человек и что вызывают его на решение убрать меня. Я вас прошу непременно обо мне доложить и о моем с вами объяснении.

— Хорошо, доложу.

Ну, уж, конечно, и расписал он меня!

Тем не менее тогда я не был уволен в отставку, а переведен председателем Казенной палаты в Рязань.

И вот сюда уже, месяцев шесть спустя, пишет ко мне Рейтерн *, что-де и рязанский губернатор — Болдарев (тот самый, что потом был под судом) пишет, что я и его держу в осаде, как держал Шидловского; что жалобы двух губернаторов в III Отделение вызывают его, Рейтерна, на необходимость предложить мне подать в отставку.

А я только что собирался это сделать сам. «Отечественные записки» перешли в это время к Некрасову, меня пригласили быть постоянным сотрудником этого журнала, и я с удовольствием бросил службу, да и не хочу о ней вспоминать! Я писатель по призванию. Еще

в лицее меня все тянуло к литературному труду; выйдя из лицея, я двадцатилетним юношей написал повесть, после которой отправился в Вятку; и вообще, куда бы и как бы меня ни бросала судьба, я всегда бы сделался писателем, это было положительно мое призвание.

Я. А. Соловьев упоминает в своих записках, что я, в бытность мою при министерстве внутренних дел (1856—1858 годы) чиновником особых поручений, составил по поручению министра обзор всех мнений о нашей полиции и составил предположения о том, как ее исправить *. Я только сделал свод мнений, высказывавшихся рядом нескольких министров внутренних дел, из которых каждый в свою очередь пытался преобразовать полицию, и из этого ничего не выходило — пока не освободили крестьян. Затем, я решительно не помню, составлял ли я какие предположения об *исправлении* полиции, или нет, но если и составлял, то записка моя должна быть очень слабая и голословная и вообще не стоившая внимания.

Вообще повторяю: о времени моей службы я стараюсь забыть. И вы ничего о ней не печатайте. Я — писатель, в этом мое призвание».

На мое, однако, замечание, что, если бы он не прошел всех стадий службы (кто на Руси не служил!), тогда, быть может, он и не стал бы тем, что он теперь, то есть не знал бы так Русь и всю ее бюрократию, — Салтыков согласился с этим.

Кабинет нашего гениального сатирика в два окна; он очень прост; оклеен лиловатыми обоями, и стены его украшены тремя большими, карандашом исполненными портретами: его жена (рожд. Болтина), сын и дочь. Тут же, в кабинете, два бюста Салтыкова, исполненные Забелло и кем-то другим *. В гостиной, над диваном, висит превосходно писанный Крамским портрет Михаила Евграфовича.

«Сию я все дома. Никуда не выхожу и не выезжаю, — говорил Салтыков, меня провожая и после беседы о разных современных событиях, — изредка лишь бываю у А. М. Унковского — благо близко живет, да иногда вечером у В. И. Лихачева, — здоровье плохо, жить доводится недолго. Слышите, какой у меня кашель».

М. Е. Салтыкову всего лишь пятьдесят шесть лет.

**В КРУГУ СЕМЬИ, ДРУЗЕЙ
И ЗНАКОМЫХ**

•

•

Л. Н. Спасская

Отрывки, озаглавленные нами «М. Е. Салтыков и его вятские друзья Ионины», извлечены из статьи вятской общественной деятельницы и литератора Лидии Николаевны С п а с с к о й. Статья была написана в 1904—1905 году и называлась: «Михаил Евграфович Салтыков. Опыт характеристики. (Составлен по воспоминаниям моих родителей и по сочинениям Михаила Евграфовича, носящим автобиографический характер)». В настоящем издании опущены те разделы статьи, в которых автор пересказывает и комментирует автобиографические страницы сочинений Щедрина, и перепечатано только то, что восходит к личным воспоминаниям родителей Спасской — известного вятского врача Николая Васильевича Ионина и его жены Софии Карловны Иониной, рожденной фон Людевиг. С этими людьми Салтыков близко сошелся во время своего семилетнего «вятского пленения», а покинув Вятку, долго поддерживал с ними переписку. «Родители мои, — пишет Спасская, — имели полную возможность хорошо его узнать <...> и много порассказали мне о нем...»

Рассказы Иониных в передаче Спасской — единственный мемуарный источник, относящийся к жизни Салтыкова в Вятке, источник в общем правдивый, хотя и носящий на себе отпечаток враждебности Иониных и самой Спасской — человека правого лагеря — к идейным позициям писателя. Когда Спасская решила восстановить в своей памяти рассказы родителей и записать их для печати, она уже не могла опереться на документы, подтверждавшие достоверность слышанного ею о Салтыкове: пожар вятского дома Иониных в 1895 году уничтожил «Записки» матери и другие семейные бумаги, а главное — письма Салтыкова. Однако кое-что, по-видимому, уцелело и было использовано Л. Н. Спасской. Вятский старожил и краевед Дмитрий Васильевич Фаворский сообщил в 1932 году автору этих строк, что, когда он в конце девяностых

годов задумал написать «Исторический очерк о жизни в Вятке М. Е. Салтыкова» (судьба этой рукописи неизвестна), он обратился за содействием к Л. Н. Спасской. Она разрешила Д. В. Фаворскому привести в его статье «некоторые сведения о Михаиле Евграфовиче, содержащиеся в бумагах ее родителей». А другой старый вятчанин, корреспондент местной газеты «Северное слово» Сергей Петрович Наумов, сообщил нам, что статья Л. Н. Спасской была в рукописи «вдвое больше» и содержала «документальные приложения», опущенные при печатании.

Пользуемся случаем привести здесь еще одно интересное сообщение С. П. Наумова, относящееся к невыясненному до сих пор вопросу о писательской работе Салтыкова в Вятке. В 1912 или в 1913 году С. П. Наумову случилось, по его словам, переписывать рукописи трех «произведений» Салтыкова, созданных в Вятке. Он припомнил, хотя и с оговоркой, о возможной своей неточности, что один из салтыковских автографов был озаглавлен «О нравственной пользе ужения рыбы после вечернего славословия» («размышления дьячка»), а другой — «Идеалы Феодора Ижболдина» («поражение магистра богословия в споре с раскольников по делам веры») ¹. Эти произведения являлись, судя по изложению С. П. Наумова, антиклерикальными памфлетами. Третья рукопись была написана в драматической форме, в форме «сцен»; обличался быт молодых людей вятского «бомонда». Многие диалоги в «сценах» были на французском языке. Заказал копии редактор «Северного слова» Николай Дмитриевич Михайлов; литературный интерес к ним проявил вятский вице-губернатор Виктор Эдуардович фон Ден (знакомый Л. Н. Толстого). О дальнейшей судьбе рукописей и копий С. П. Наумов ничего сообщить не мог.

М. Е. САЛТЫКОВ И ЕГО ВЯТСКИЕ ДРУЗЬЯ ИОНИНЫ

Михаил Евграфович Салтыков прожил в Вятке целых восемь лет *, с 1848 года по 1856-й. В течение этих восьми лет он был, можно сказать, ежедневным посетителем дома моих родителей, относился к ним с полным доверием и откровенностью и, возвратясь в Петербург, долго поддерживал переписку с моим отцом, — следовательно,

¹ В письме Салтыкова из Вятки от 6 октября 1851 года упомянуты фамилии двух купцов — Ижболдина из Сарапула и Шишкина из Елабуги. В качестве советника губернского правления Салтыков разбираал спорное дело между ними. — С. М.

родители мои имели полную возможность хорошо его узнать как человека, приглядеться ко всем особенностям его нравственной физиономии и много порассказали мне о нем <...>. Не имея ни малейших притязаний на литературные достоинства <своего очерка>, я могу только отвечать за безусловную правдивость всего передаваемого мною.

Михаил Евграфович был сослан в Вятку в апреле 1848 года за повесть «Запутанное дело», помещенную им в мартовской книжке «Отечественных записок» того же года.

Эта повесть юного автора (ему было только двадцать два года) представляет из себя подражание на шумевшим тогда «Бедным людям» Достоевского и написана совершенно в другом роде, нежели все дальнейшие произведения Салтыкова¹, но в конце ее включен фантастический сон Мичулина (героя повести), в котором цензура усмотрела дерзкую аллегория состояния России, — и автор в наказание был послан на службу в Вятку <...>.

Салтыков приехал в Вятку под присмотром жандармского офицера, в сопровождении своего крепостного слуги, старого дядьки своего Платона, который и ухаживал за ним во все время его вятской жизни с полным самоотвержением. Через некоторое время к Михаилу Евграфовичу явился и камердинер его, Григорий, тоже крепостной, а потом родители выслали ему экипажи и пару лошадей. Салтыков снял квартиру в небольшом домике Раша (ныне Матанцева, где помещалась почтовая станция), нанял кухарку и кучера и зажил полным хозяйством.

Вскоре губернатор Середя назначил его старшим чиновником особых поручений при своей канцелярии, и Салтыков начал знакомиться с вятским обществом. Между прочим, явился он с визитом и к моим родителям, потом стал бывать у них запросто. На новых своих знакомых он не произвел по первому взгляду приятного впечатления. Наружность его не отличалась привлекательностью. Это был очень молодой человек (двадцати двух лет, как я уже говорила), темноволосый, довольно

¹ Сам Михаил Евграфович не любил «Запутанное дело» и, когда разговор заходил об этом его сочинении, обыкновенно хмурился и говорил: «И черт меня знает, зачем я написал эту чепуху!» * Мне передавала это мать моя и покойный Филипп Киприянович Яголковский, не раз слыхавшие такой отзыв Салтыкова. (Примеч. Л. Спасской).

высокий, но неуклюжий, с болезненным цветом лица и очень выпуклыми серыми глазами, чрезвычайно близорукими, что еще более усиливало его неловкость. Выражение лица Михаила Евграфовича и настроение его духа постоянно менялось, причем мимолетная веселость сменялась то чрезвычайной угрюмостью, вовсе не свойственной его возрасту, то крайней раздражительностью. Сдержанности, самообладания у него совершенно не было, и всякое противоречие выводило его из себя.

С родителями моими Салтыков сошелся очень скоро и стал ежедневным их гостем. Тогда мои родители жили во флигеле Андреева (в настоящее время уездной управы), втором от угла; напротив их был губернаторский дом (ныне окружной суд), а рядом с ним в угловом флигеле (теперь соединенном с главным зданием) помещалась канцелярия губернатора. Пользуясь таким близким расстоянием, Салтыков приобрел привычку забегать к моему отцу по нескольку раз в день: то идя на службу, то выгадав свободные полчаса во время занятий, то возвращаясь со службы домой... Даже впоследствии, находясь в гостях у губернатора Семенова, он вдруг исчезал и являлся «на минутку» к моим родителям. Семеновы были этим очень недовольны, особенно мадам Семенова, которая саркастически замечала Салтыкову: «Кажется, вы ошиблись и думаете, что вас пригласили не мы, а Николай Васильевич». Но, несмотря на эту иронию и упреки, Михаил Евграфович продолжал делать то же самое. Однако эта привычка перебегать зимою через улицу в одном фраке не прошла ему даром, и на следующую же зиму он получил такой жестокий ревматизм во всем теле, что не мог двинуть ни рукой, ни ногой и сильно страдал.

Верный Платон (дядька) ухаживал за ним, как за ребенком, и отец часто рассказывал, как было жалко и смешно слушать, когда Михаил Евграфович плаксивым голосом кричал: «Платон, иди скорее, высморкай мне нос!» Он даже не мог сам есть, и Платон кормил его с ложки.

Отец мой вылечил Михаила Евграфовича от его жестокой болезни¹, и это обстоятельство еще более скрепило и сблизило их отношения. Быть может, между ними установилась бы и истинная сердечная дружба, если бы

¹ Привычка же перебегать через дорогу осталась навсегда, только, наученный горькими опытом, Михаил Евграфович стал надевать при этом шинель. (Примеч. Л. Спасской).

не-тяжелый характер Михаила Евграфовича, делающий отношения с ним не особенно приятными.

Многие черты его положительно отталкивали от него людей и казались бы необъяснимыми в таком богато одаренном природою человеке, если бы мы не знали среды, из которой он вышел, если бы не были известны обстоятельства, влиявшие на него в детстве, и полученное им воспитание. Все это наложило на Салтыкова неизгладимые следы <...> *

Итак, Михаил Евграфович волей-неволей сделался гражданином или, как он любил называть, обывателем нашей Вятки. Можно себе представить, как действовало на юного утописта * это переселение!.. Провинция была в его глазах царством тьмы, в которое он надеялся заронить лучи света, возвестив новые, высокие откровения. Конечно, действительность оказалась не соответствующей его ожиданиям... В своем очерке «Имярек» (род краткой автобиографии) Салтыков так описывает этот период своей жизни: «По обстоятельствам он (то есть Михаил Евграфович) вынужден был оставить среду, которая воспитала его радужные сновидения, товарищей, которые вместе с ним предавались этим сновидениям, и поселиться в глубь провинции. Там, прежде всего, его встретило совершенное отсутствие сновидений, а затем в его жизнь шумно вторглась целая масса мелочей, с которыми волей-неволей приходилось считаться. Юношеский угар соскользнул с него быстро» *. «Новая жизнь со всех сторон обступила меня; сначала это было похоже на полное одиночество, тоже своего рода существование, но впоследствии и люди нашлись» *.

Конечно «люди нашлись» и притом такие, которые приобрели его уважение и привязанность, но не нашлось единомышленников, а Михаил Евграфович недаром утверждал, что «человек только тогда действительно хорош, когда он хорош *по-нашему*... «Хороших» людей, то есть добрых, честных и даже разумных действительно встречается довольно, — говорит он, — но все они хороши по-своему» *.

Между тем его новые приятели жили душою и телом в России, которую беззаветно любили, и, всем сердцем желая освобождения крестьян, конечно, нимало не жаждали каких-нибудь фаланстер Фурье, относясь к самой их идее с беспощадной критикой.

Но если не считать несочувствия французским социалистам за неопровержимый признак темноты, провинция оказалась не слишком уже темною. Вот что говорит о просвещении вятского края исследователь местной старины А. С. Верецагин: «Еще в начале XVIII века большинство хлыновцев* оказывалось грамотным». «В 1735 году была здесь основана семинария, из которой уже в первой половине века выходили не только «аппробованные» архиереями проповедники, но и такие лица, как Иакинф Черепанов, впоследствии Иоанн Новоспаский, в Москве архимандрит, и член Синода, как К. И. Щепин, впоследствии доктор медицины и ботаники, самый редкий в свое время знаток естественных наук, знакомец Линнея, любимец Ломоносова, собравший во время своих путешествий по Европе от Константинополя до Парижа, Лондона и Упсалы превосходный гербарий и редкую библиотеку, подаренные им Московскому университету». Во второй половине того же XVIII века благодаря порядочной постановке преподавания Любарским и его преемниками и весьма ценной библиотеке из выписанных из-за границы (приблизительно на двадцать пять тысяч нынешних рублей) книг семинария... выпускала переводчиков сочинений Драйдена, Караччиоли, Мильтона, французских философов, давала Казани директора университета Яковкина, Москве профессора истории Никифора Черепанова и поэта-переводчика Илиады Е. И. Кострова, Новороссийскому краю «правую руку Потемкина по духовной части» архиепископа Амвросия Серебrenикова, автора всероссийского учебника «Оратории Российской», переводчика «Потерянного рая», члена Российской Академии и знаменитого проповедника. Ровно сто лет назад появилась в Вятке «История вятчан» Вештомова¹. Конечно, уровень просвещения Вятки не был низок и в сороковых—пятидесятых годах XIX века.

Мы знаем, что многие вятчане, современники Салтыкова, выступали в печати с заслуженным успехом. Для примера укажу на замечательные исследования о вотяках священника Осокина, помещенные в «Отечественных записках» пятидесятых годов, этнографические

¹ Труды Вятской Архивной комиссии 1905 г., выпуск 1-й, отдел III, стр. 28—29. (Примеч. Л. Спасской).

труды стряпчего Никитина, работы по этнографии и статистике учителя Савинова, по географии учителя Косарева и многие другие. Большинство из вятского духовенства тогда были люди с академическим образованием, также не чуждые литературной работы.

В далеком провинциальном городе уже в тридцатом году была открыта публичная библиотека *, но, не смотря на это, во всех вятских интеллигентных семьях имелись свои домашние библиотеки... Некоторые из них сохранились и до моего времени, и я, в молодости, часто пользовалась ими. Укажу для примера богатые библиотеки Машковцевых Аркадия Ивановича и Егора Петровича. Моя мать имела хорошую библиотеку на французском языке, которая сгорела в 95 году, а большая часть медицинской библиотеки моего отца, пожертвованная после его смерти Вятскому обществу врачей, вероятно сохранилась и до сих пор. Знаю, что существуют еще остатки большой библиотеки П. П. Хохрякова, часть библиотеки А. Я. Спасского и еще многие другие, которые не перечисляю за недостатком места.

Насколько в Вятке интересовались литературой, можно видеть из следующего обстоятельства: в 1847 году издавался по подписке в Петербурге альбом «104 рисунка к сочинению Гоголя «Мертвые души» — прекрасный альбом работы известного художника Агина. Цена была, если не ошибаюсь, десять рублей. Имена всех лиц, подписавшихся на издание, напечатаны на первой странице альбома. Всего было потребовано подписчиками сто пять экземпляров, из которых восемь приходится на долю особ императорской фамилии, шестьдесят пять на долю петербургских жителей, различных графов и князей или аристократов литературы и художеств, например, министр народного просвещения граф Уваров, граф Виельгорский, князь Любомирский и др.; знаменитые писатели: князя Вяземский и Одоевский, Плетнев, Сологуб, Некрасов, Струговщиков; художники Брюллов, Бруни и тому подобные лица; остальные тридцать один экземпляр разошлись на всю Россию. *Из них двадцать было выписано в Вятку*¹. Мне кажется, что эти цифры достаточно красноречивы...

¹ Смотри 1-й лист, начинающий альбом «104 рисунка к сочинениям Гоголя «Мертвые души». (Примеч. Л. Спасской).

Но вернемся к жизни Михаила Евграфовича в Вятке. Молодой утопист скоро освоился на новом месте и близко сошелся с некоторыми вятчанами. Кроме дома моих родителей, он бывал ежедневно и у деда моего, К. К. фон Людевиг, и очень любил побеседовать с ним... Моего деда я могу охарактеризовать так: это был по происхождению немец, хотя родившийся и воспитанный в России, по религии лютеранин, по убеждениям же горячий русский патриот, ненавидевший немцев... О направлении его можно судить по тому, что любимому его книгою были записки воспитателя Павла I, Семена Порошина, этого идеально благородного человека и пламенного патриота, погибшего жертвою придворных интриг немецкой партии, ненавидевшей его.

Так же близко сошелся Михаил Евграфович и с Тиховидовым *, учителем словесности в мужской гимназии... Тиховидов был прекраснейший, благородный человек, друг моего отца, в доме которого Салтыков и сблизился с ним.

Несмотря на то, что я была еще очень мала, когда Тиховидов жил в Вятке вторично, я очень хорошо помню его, так как чрезвычайно его любила. Я как сейчас вижу его высокую фигуру и смуглое лицо, некрасивое по чертам, но прекрасное по выражению, исполненному ума и глубокой доброты... Есть портрет Пушкина, нарисованный Элеонорою Жуковскою с маски, снятой по смерти с лица великого поэта, — портрет этот замечательно напоминает Тиховидова, и в моем детском воображении так слились эти два образа, что я долго представляла себе Пушкина с тиховидовским лицом и очень удивилась, когда узнала, что Пушкин не был ни высок, ни смугл, ни черноглаз.

В биографиях Салтыкова говорится, что он имел большое влияние на Тиховидова и уговорил его бросить учительство, называя его «искусством вить веревки из песку»; он же будто бы посоветовал Тиховидову перейти на гражданскую службу. Все это едва ли верно. Сколько я помню, говорили, что Тиховидов бросил учительство потому, что имел слабую грудь и ему тяжело было долго и громко говорить в классах. Я помню, что он и всегда много лечился и даже ездил за границу, возвратясь откуда, навез мне много подарков. Один из них (чайная чашечка из саксонского фарфора) и до сих пор хранится мною на память об этом прекрасном человеке... Мало

вероятным представляется и то, чтобы Тиховидов согласился разделять мнение Михаила Евграфовича, будто преподавание родной словесности равносильно витью веревки из песка. Сильно сомневаюсь, чтобы и Михаил Евграфович утверждал это. Думаю, что это мнение можно всецело приписать Михайлову, который и сообщает его *. Никогда не слыхала я и того, что будто бы указаниям Салтыкова следует приписать большую часть определений и увольнений, последовавших в Вятке при губернаторе Муравьеве, и нахожу, что к этому сообщению следует относиться осторожно.

Кроме перечисленных выше лиц, Михаил Евграфович постоянно посещал и супругов Пашенко, из которых он очень ценил жену, чрезвычайно добрую женщину, способствовавшую его освобождению из ссылки, о чем я расскажу далее.

Это были друзья Салтыкова, но, и кроме них, он имел много знакомых домов, где он проводил вечера, предаваясь с увлечением карточной игре. Вл. Кранихфельд в «Мире божьем» упоминает * о друзьях человечества в провинции: сне, водке и картах, с которыми будто бы познакомился в Вятке и Салтыков и от скуки, по общему обыкновению, стал проводить вечера за картами. На самом деле Михаил Евграфович явился в Вятку уже завзятым любителем карт, к которым пристрастился с детства...

Раздражительный и нетерпеливый, Михаил Евграфович был нестерпим за картами. Он выходил из себя, кричал, бранился и ссорился с партнерами, но без карт не мог обойтись. В доме моих родителей в карты никогда не играли, потому, с наступлением вечера, Михаил Евграфович часто исчезал и отправлялся на поиски партии.

К лицам, с которыми Салтыков был дружен, Вл. Кранихфельд причисляет и семейство Болтиных, на дочери которых Михаил Евграфович впоследствии и женился, — это не совсем верно: Михаилу Евграфовичу нравились барышни Болтины, но родителей их он крепко недолюбливал, в особенности отца *. У Болтиных были две дочери — Анна и Елизавета... Салтыков находил более красивой Елизавету, а более умной и симпатичной Анну и долго колебался, кому из них отдать предпочтение. Не раз советовался он об этом с моею матерью, мнение которой он очень ценил. Когда же она говорила, что предпочитает Анну, то Михаил Евграфович

возражал, что не может без досады смотреть на то, как она любит отца своего, которого он не выносит, и что с этою ее привязанностью ему невозможно примириться... В конце концов он решился жениться на Елизавете.

Выше я говорила, что мои родители относились к Михаилу Евграфовичу более холодно, чем он к ним, по причине его тяжелого характера и многих несимпатичных привычек, и действительно, с ним нужно было иметь неистощимое терпение: приходя по нескольку раз в день, он то и дело ссорился и мирился.

Умный, интересный и остроумный собеседник, Михаил Евграфович не мог выносить противоречий и в споре терял всякое самообладание и выходил из себя. Сейчас же хватался он за шапку и убегал, бормоча про себя: «Ну и черт с вами! Нога моя больше не будет в этом проклятом доме!» и тому подобное... Но не проходит и полчаса, как смущенная физиономия Михаила Евграфовича показывается из-за двери и он спрашивает с виноватой и робкой улыбкой: «Ну что, вы очень на меня сердитесь? Ну, ради бога, не сердитесь! Простите же меня! Чем я виноват, что у меня такой проклятый характер?..» Конечно, на него не сердились, но такие выходки, беспрестанно повторяясь, страшно надоедали.

Симпатичною чертою его была любовь к детям, и он чрезвычайно привязался к моему брату, совсем еще маленькому мальчику, который родился вскоре по приезде Михаила Евграфовича в Вятку и при первом его знакомстве с нашим домом был еще грудным младенцем.

По мере того как Коля подрастал, возрастала и дружба его с Михаилом Евграфовичем. По целым часам вели они бесконечные беседы и заливались смехом. «Отдайте мне Колю, — просил Михаил Евграфович, — я ему буду из своих жилетов «пальты» шить!» Эта мысль так его забавляла, что он часто затворялся с Колей в кабинете отца и выходил оттуда, застегнутый на все пуговицы, ведя Колю, одетого в его жилет, который, конечно, сидел на ребенке, как на корове седло.

Вообще, проживши в Вятке несколько лет, Михаил Евграфович бросил понемногу свою угрюмость, стал несравненно разговорчивее, гораздо веселее и был большим любителем пошутить, посмеяться, подурачиться — словом, заметно смягчился, но от своей раздражительности никак не мог избавиться.

Любимцу своему, Коле, Михаил Евграфович часто делал разные подарки, но скоро это было ему запрещено, так как у него была неприятная привычка сейчас же укорять этими подарками и хвалиться внимательностью, спрашивая: «Ну кто бы об этом подумал, если бы не я? Говори, кто бы дал тебе такую славную штуку?» Бывало, принесет Михаил Евграфович каких-нибудь фруктов и угощает всех, но едва лишь кто-нибудь возьмет, предположим, персик, как он заводит обычную песню: «Вот видите, какой я добрый? Не было бы меня, кто бы вам принес сейчас персиков? А я вот об вас подумал!» — и продолжает распространяться на эту тему. Наконец, матери моей это так наскучило, что она раз навсегда запретила Михаилу Евграфовичу приносить какие бы то ни было лакомства или игрушки, а Коле велела возвратить все полученные от него подарки. Как ни сердился, как ни выходил из себя Салтыков, но должен был покориться этому, и у Коли из всех подарков Михаила Евграфовича осталась одна фарфоровая чернильница, изображающая французского маркиза, сидящего около урны, обвитой цветами. Так как Коля успел уже обломать эти цветы, то и нельзя было возвратить ее в поврежденном виде... Впоследствии брат подарил ее мне, и я храню ее до сих пор на память о знаменитом друге нашего семейства.

Еще более, чем раздражительность, были тяжелы в Михаиле Евграфовиче его, если можно так выразиться, «пошехонские привычки», с детства вьевшиеся глубоко в его натуру, которые не удивят читателя, если он вспомнит приведенные мною выше подробности о семье Салтыковых и воспитании их детей*.

Отец мой, человек чрезвычайно мягкого характера, всегда до глубины души возмущался, когда Михаил Евграфович говорил о своих родителях. Со дня рождения наслушавшись циничных разговоров о родных, Михаил Евграфович был чрезвычайно неводержан и не разборчив в словах и выражениях; например, на основании того, что брат его Илья единственный из семьи вышел довольно красивым и здоровым, он строил разные предположения о его происхождении на свет и болтал такой возмутительный вздор, что невыносимо было слушать. Вообще о родителях своих он отзывался без тени уважения или любви, как о совершенно посторонних

лицах, и часто выражал опасение, что мать обсчитает его при разделе наследства: «Вот увидите сами — она все свалит этому подлецу Илюшке», — ворчал он. (Подлец, подлость были любимые словечки Михаила Евграфовича). Опасения его, впрочем, кажется, имели основания, так как в «Пошехонской старине» он говорит: «Разделение на любимых и постылых не остановилось на рубеже детства, но прошло впоследствии через всю жизнь и отразилось в очень существенных несправедливостях» *.

Неприятным качеством Михаила Евграфовича была и чрезвычайная грубость с прислугой. Гостеприимный и радушный, он любил пригласить к себе друзей пообедать, но эти обеды бывали всегда очень тяжелы для гостей вследствие чрезмерной раздражительности хозяина. Малейший промах или неловкость прислуги приводили Михаила Евграфовича в ярость: он ужасно кричал, немилосердно бранился и с досады бросал на пол не так поданную вещь. Тут уже всем равно доставалось — и юному Гришке и бедному старому Платону. «Пошехонские привычки» проявлялись тут во всем своем блеске... Отец мой не мог выносить таких сцен и большею частью уклонялся по возможности от салтыковских обедов, а в добрые минуты Михаила Евграфовича отец стыдил его и дразнил известными стихами Дениса Давыдова на либералов: *

А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврила
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло!

К чести нашего вятского Мирабо, я никогда не слышала, чтобы он в таких случаях поднял руку на своих людей — он довольствовался криком и бранью.

Вот эти-то и другие подобные выходы отталкивали от более дружеских отношений с Михаилом Евграфовичем... Несомненно, что он сам тяготился ими и желал бы избавиться от своих «пошехонских привычек», но по крайней мере в Вятке он не мог от них отстать. Не знаю, не исправила ли его в этом отношении жена — никаких указаний в его биографиях на это не встречается.

О служебной деятельности Михаила Евграфовича я мало могу сказать, потому что мало о ней знаю, но слышала, что он был добр с мелкими чиновниками и не

позволял себе с ними грубых выходок. Конечно, и они уже, зная его характер, остерегались чем-нибудь рассердить его. В общем, отношения были не дурные, и чиновники и боялись и любили его.

В прежние времена чиновники особых поручений при губернаторе и советники губернского правления должны были производить следствие по особо важным делам, — производил их, к сожалению, и Михаил Евграфович, хотя по своему характеру он совершенно не годился для этого дела <...>.

Много раз за все время своей ссылки Михаил Евграфович пытался добиться освобождения *, но, несмотря на содействие губернатора Семенова, эти попытки не увенчались успехом. Так время прошло до 1855 года, когда в Вятку приехал генерал-адъютант Петр Петрович Ланской, чтобы лично наблюдать за формированием вятского ополчения, начальником которого он был назначен. С Ланским приехала и жена его Наталья Николаевна, бывшая в первом браке за знаменитым нашим поэтом А. С. Пушкиным. Ланские пробыли в Вятке с конца сентября по январь и сыграли крупную роль в жизни Михаила Евграфовича.

Среди вятского общества Ланские особенно сошлись с управляющим палатою государственных имуществ Пашенко, состоявшим членом губернского комитета по созыву ополчения, и его женою и часто бывали у них в доме. Я уже писала, что Михаил Евграфович был коротко знаком с семейством Пашенко и был у них принят, как родной. Госпожа Пашенко, женщина замечательно добрая, сожалевшая, что Михаил Евграфович не может освободиться из ссылки, придумала воспользоваться дружеским расположением к ней Натальи Николаевны и просить последнюю посодействовать исходатайствованию свободы Салтыкову, что при связях Ланских при дворе и в обществе было бы нетрудно. Та охотно согласилась и с помощью своего мужа достигла скорого успеха: 13 ноября 1855 года Михаилу Евграфовичу было разрешено жить и служить, где он сам пожелает <...>.

Итак, желанная свобода после долгих тщетных ожиданий наконец пришла! Но... Михаил Евграфович почувствовал, что ему тяжело расставаться с Вяткою, которую он полюбил. «Я оставляю Крутогорск окончательно, — пишет Салтыков в своем очерке «Дорога», —

передо мною растворяются двери новой жизни, той полной жизни, о которой я мечтал, к которой устремлялся всеми силами души своей... И между тем внутри меня совершается странное явление! Я слышу, я чувствую, что какое-то неизъяснимое, тайное горе сосет мое сердце... Я огорчен, я подавлен и уничтожен... Мне кажется, что меня тяжело оскорбили, что внезапно погибло все, что я любил, чем был счастлив, что я неожиданно очутился один, совершенно один, отторгнутый от всего живого...» *

Действительно, Михаил Евграфович имел причину полюбить Вятку: живя в ней, он впервые достиг того общения с природою, которого не доставало ему с детства; в ней он оставлял людей, с которыми его связывали не интересы партии, а действительная привязанность, так как они были «честны, разумны и добры» и, может быть, первые сумели внушить ему бескорыстную, сердечную преданность; наконец, живя в ней, он ближе познакомился с прекрасным русским народом, который до сих пор он видел только в «поруганном образе раба», изнывающего под игом пошехонского злонравия.

Вот какими симпатичными чертами обрисовывает он город Вятку и вятского крестьянина: «В одном из далеких углов России есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу... Крутогорск расположен очень живописно: когда вы подъезжаете к нему летним вечером со стороны реки и глазам вашим издалека откроется брошенный на крутом берегу городской сад, присутственные места и эта прекрасная группа церквей, которая господствует над всей окрестностью, — вы не оторвете глаз от этой картины... Перед вами река. Но ясна и спокойна ее поверхность, ровно ее чистое зеркало, отражающее в себе бледно-голубое небо с его миллионами звезд; тихо и мягко ласкает вас влажный воздух... Но вот долетают до вас звуки колоколов, зовущих ко всенощной; вы еще далеко от города, и звуки касаются слуха вашего безразлично, в виде общего гула, как будто бы воздух полон чудной музыкой, как будто все вокруг вас живет и дышит...» *

Я думаю, можно без преувеличения сказать, что другого описания, проникнутого такой поэзией и любовью, не найдется во всех двенадцати томах сочинений Салтыкова! Привлекательными красками рисует Михаил Евгра-

фович и природу Вятской губернии и населяющих ее крестьян.

«...Куда ни взгляните, все окрест — лес, луга да степь, — степь, лес и луга; где-где вьется прихотливым извивом проселок, и бойко проскачет по нем телега, запряженная маленькою, резвою лошадкой, и опять все затихнет, все потонет в общем однообразии...» «Да, я люблю тебя, далекий, никем не тронутый край! Мне мил твой простор и простодушие твоих обитателей!» «Мне отрадно и весело шататься по городским улицам, особливо в базарный день, когда они кипят народом, когда все площади завалены разным хламом: сундуками, бураками, ведерками и проч. Мне мил этот общий говор толпы, он ласкает мой слух пуще лучшей итальянской арии, несмотря на то, что в нем нередко звучат самые странные, самые фальшивые ноты. Взгляните на эти загорелые лица: они дышат умом и сметкою и вместе с тем каким-то неподдельным простодушием, которое, к сожалению, исчезает все больше и больше. Столица этого простодушия — Крутогорск» * (*Примечание:* К сожалению, биографы Салтыкова совершенно неосновательно относят к Вятской губернии следующее описание, извлеченное из «Пошехонских рассказов»: «Дороги мне и зыбучие ее пески, и болота, и хвойные леса... Но в особенности мил населяющий ее люд, простодушный, смирный, слегка унылый, или, лучше сказать, как бы задумавшийся над разрешением какой-то непосильной задачи... Бедная это страна — ее надо любить» *. Это описание относится к Тверской губернии, родине Михаила Евграфовича, выросшего в своем скучном и угрюмом тверском имении, среди болот и хвойных лесов и забитого, робкого народа, несущего тяжкое ярмо пошехонского злонравия).

Но как ни дорога была Михаилу Евграфовичу Вятка, «двери новой жизни» растворились перед ним — и он должен был вступить в эту новую жизнь... Однако пережитое не выходило из его мыслей и памяти, и он воплотил его в своих «Губернских очерках», которые он помещал один очерк за другим в «Русском вестнике» за 1856—1857 год.

Появление «Губернских очерков» сильно взволновало вятчан, узнавших в героях рассказов многие портреты *. Так как очерки носили характер сатирический, то в них и попали большею частию не те лица, которые пользо-

вались уважением автора, а совсем противоположные, и как при том же нарисованы они были в самом непривлекательном виде, то естественно, что оригиналы портретов сильно оскорбились. Тем более, что в сущности Салтыков не рисовал верных с подлинником портретов, а брал какую-нибудь характеристическую черту известного лица, а остальное добавлял воображением. Но по этой-то характеристической черте все и узнавали, о ком идет речь, и чем более такому лицу прибавлялось посторонних качеств, тем более оно чувствовало себя обиженным, так как прибавлялись качества, конечно, не похвальные.

Особенно оскорблялся советник питейного отделения Григорий Иванович Макаров, которого Салтыков изобразил в лице Порфирия Петровича Харченко. Михаил Евграфович приписал ему происхождение от какого-то пьяного причетника и безнравственной жены его, чего Макаров, родители которого были люди весьма почтенные, не мог перенести и принял как жестокую личную обиду. Не знаю, писал ли об этом Михаилу Евграфовичу сам Макаров, или кто-нибудь другой, но Михаил Евграфович сильно смутился и должен был даже просить моего отца постараться несколько оправдать его перед Макаровым, уверяя, что он и не думал изображать его, а только случайно придал Харченко некоторые его черты. Конечно, Макаров не удовлетворился таким объяснением.

Вообще Михаилом Евграфовичем были описаны люди, у которых он часто бывал в гостях, обедал, играл в карты; они, оказывая ему гостеприимство, никак не ожидали, что будут увековечены им в литературе и притом показаны в таком непривлекательном виде, находили, что это со стороны его чрезвычайная коварность, хором поносили его и возмущались его «черною неблагодарностью»¹.

Единственные лица, обрисованные в очерках с хорошей стороны, были мой отец и мать, Николай Василье-

¹ В героях очерков вятчане узнавали следующих лиц: князь Чебылкин с семьею — губернатор Семенов; генерал и генеральша Голубовицкие — губернатор Середа и его жена; семейство Розмазовских — семья прокурора Шиллинг. Слышала я еще и о других, но не могу вспомнить, тем более, что и все названные лица уехали из Вятки до моего рождения и известны мне только по имени. Слышала я также догадки, что часть очерков была написана Михаи-

вич и Софья Карловна Ионины — они названы в «Губернских очерках» Василием Николаевичем и Верой Готлибовной Проимиными.

Я уже говорила, что Михаил Евграфович, уехавши из Вятки, долго поддерживал переписку с моим отцом, и много его писем хранилось в нашем доме, но, к сожалению, они все сгорели в пожаре 1895 года... Из этих писем особенно выделялись по задушевно-дружескому тону два: одно, написанное по случаю моего рождения на свет, и другое, сопровождавшее посланный автором отцу очерк «Христос воскрес» *. Я чрезвычайно жалею, что не выпросила у моих родителей письма Михаила Евграфовича. Когда в нашем доме был пожар, я уже не жила в нем, так как давно уже была замужем, и письма, если бы они находились у меня, сохранились бы и до сих пор.

Возвращаясь к упомянутым мною двум письмам. То, в котором Михаил Евграфович поздравлял родителей моих с моим появлением на свет, было написано очень забавно: в нем мой отец и мать изображались в виде праотцев Захарий и Елизаветы. Шел рассказ о том, как жила эта достойная чета, и не было у них детей — кроме Коленьки и Юленьки — замечает в скобках Михаил Евграфович. И вот, наконец, по особой благодати божией, ошастливила их новорожденная дочка (нужно заметить, что моя сестра старше меня на девять лет, а брат на восемь лет). Далее шли самые дружеские поздравления родителей и сердечные пожелания новорожденной... Мне особенно жаль, что я не выпросила себе этого письма...

В другом, посланном с очерком «Христос воскрес», в котором Михаил Евграфович, между прочим, описал, как он в первый день светлого праздника обедает в доме моих родителей (и притом увековечил не только маленьких брата и сестру, но и старую экономку, Варвару, нашу старинную и верную служанку), он с теплым чув-

лом Евграфовичем еще в Вятке. Мать моя, которую он называет в очерках Верою Готлибовною Проиминою, рассказывала, что иногда и в разговоре Михаил Евграфович называл ее этим вымышленным именем и на ее удивленный вопрос, почему он так зовет ее, обыкновенно отвечал, что это имя более бы подходило к ней, как к русской-немке. Конечно, если часть очерков и была уже создана им, он не мог напечатать ее, живя в Вятке, в виду их щекотливого содержания. (Примеч. Л. Спасской).

ством объясняет отцу, что этот день великого праздника, наиболее любимый им с детства из всех дней в году, он мысленно проводит с ним, как с человеком, чистая личность которого оставила в его душе дорогое и светлое воспоминание. Но трогательно начатое, письмо оканчивалось юмористически: «Скажите Софье Карловне (моей матери), — писал Салтыков, — что я таки поставил на своем и отобедал у нее, да еще перед лицом всей России!»

По поводу последних строк письма надо сделать маленькое объяснение.

Нужно знать, что Михаил Евграфович любил покушать и не отказывался от приглашений пообедать запросто. После такого обеда он, по своей привычке заходить ежедневно, обыкновенно являлся в наш дом, а так как, скушавши лишнее, он чувствовал себя всегда нехорошо, то и начинал без милосердия критиковать обед и бранить угощавших его хозяев. При первых его выходках этого рода мать моя заметила ему, что если он недоволен такими обедами, то не нужно бы и принимать приглашений на них, а то выходит очень некрасиво, что он сначала наедается, а потом бранит тех, кто накормил его. Михаил Евграфович возражал, что свинство звать гостей обедать и кормить их дрянью... Слово за слово, завязался спор, и в заключение мать моя дала честное слово, что Михаилу Евграфовичу не удастся никогда пообедать у нее... Сколько было по этому поводу и просьб, и ссор, и споров! Но все оказалось напрасным, и моя мать выдержала характер. За все восемь лет жизни в Вятке Михаил Евграфович ни разу не обедал в нашем доме и утешил себя тем, что описал небывалый обед в вышеупомянутом очерке.

Содержание остальных писем я подробно не помню, но знаю, что с годами они становились более грустными и желчными, переполненными жалобами на тоску и душевное одиночество. По-видимому, Михаил Евграфович так и не нашел себе ни одного настоящего друга в своей новой жизни. Он вращался преимущественно в среде литературной, «где во взаимных отношениях примешивается очень значительная доля рационализма», как утверждает это сам Михаил Евграфович в своем рассказе «Похороны». «Я не отрицаю, — говорит он, — что связи, вследствие этого, становятся более прочными, но думаю, что в

то же время они приобретают окраску исключительно деловую и совершенно утрачивают тот ласкающий элемент, который так присущ истинной дружбе, а между тем есть минуты, когда человек ощущает непреодолимую потребность в истинном друге и, не находя такого друга, впадает в уныние» *.

С каждым прожитым годом душевное состояние Салтыкова становилось все тяжелее и тяжелее <...>.

По письмам Михаила Евграфовича к моему отцу можно видеть, как постепенно овладевало им это тяжелое настроение *.

При таких условиях переписка, понятно, становилась довольно монотонною, и, наконец, еще прежде чем Салтыков окончательно поддался унынию, вследствие одного обстоятельства эта переписка совершенно прекратилась... Но Михаил Евграфович не забывал моего отца. По окончании войны с Турцией в одной из петербургских газет (кажется, в «Голосе») появилась его статья, посвященная воспоминаниям о далеких временах Севастопольской кампании (Михаил Евграфович жил в те времена в Вятке), и в ней снова выступил на сцену «искреннейший друг мой Василий Николаевич Проимин» *. Помню, что отец прочел нам вслух эту статью, сопровождая ее своими пояснениями, как очевидец описанных в ней происшествий. Он был, видимо, тронут, что Михаил Евграфович, сделавшийся с годами еще более суровым и жестким, продолжает неизменно хранить добрую память о далеком друге своей молодости.

Выше я упомянула об одном обстоятельстве, бывшем причиною прекращения переписки. Эта причина, охладившая моего отца к Салтыкову, была его «История одного города» *. Она сильно возмутила моего отца, знатока и любителя русской истории, интерес к которой он и нам, детям, старался внушить с раннего возраста. Я не помню, чтобы отец рассказал мне в детстве хотя одну сказку, но во время наших ежедневных прогулок темой бесед всегда были исторические рассказы, которые он превосходно умел приновить к возрасту слушательницы.

Естественно, что такое издевательство над всем дорогим его сердцу, как «История одного города», не могло пройти для него бесследно. Он хорошо понимал процесс, посредством которого Салтыков дошел до состояния ума

и сердца, отразившегося в означенной книге; но, и понимая и даже сожалея о нем, отец все же не мог с ним примириться и с этих пор не писал Михаилу Евграфовичу ни слова, говоря, что Михаил Евграфович настолько умен, что молчание будет для него весьма понятным ответом на его произведение. И действительно, Михаил Евграфович все понял и не делал попытки возобновить переписку.

Тем более отец был тронут доказательством неизменной привязанности к нему Салтыкова.

Упоминанием об этой симпатичной черте Михаила Евграфовича я и закончу свой скромный опыт характеристики этого *мученика злонравия*, жизнь которого была целью почти непрерывных страданий, и нравственных и физических.

Вятка. 5 апреля 1905 года.

В. И. Танеев

Отношения Салтыкова с Владимиром Ивановичем Танеевым (1840—1921) — братом известного композитора, философом-социологом, заслужившим уважение Карла Маркса и В. И. Ленина, — до сих пор оставались не освещенными. Между тем, еще юношей встретившись с Салтыковым, Танеев в начале семидесятых годов настолько близко сошелся с ним, что внес его в составленный им список своих друзей (сохранился в бумагах Танеева). Такой пробыл в биографии сатирика объясняется тем несколько странным обстоятельством, что мы до последнего времени не имели почти никакого представления о человеке, о котором А. К. Тимирязев писал со слов своего отца великого русского ученого К. А. Тимирязева: «Имя Танеева в ту пору произносилось с уважением всем, что было прогрессивного и честного в тогдашней России...» (Л. Филимонова, В. И. Танеев. Биографический очерк, рукопись, стр. 41). Лишь совсем недавно появилась в научной печати первая и пока единственная статья, посвященная этому своеобразному мыслителю — статья Б. П. Козьмина в сборнике «Из истории социально-политических идей», изданном к семидесятипятилетию академика В. П. Волгина (М., 1955, стр. 664—673).

Непримиримый враг общественного строя, основанного на угнетении человека человеком, глубокий и острый критик всех современных ему политических систем, Танеев мечтал о создании для человечества новой справедливой жизни, об организации общества, построенного на труде. Обличению старого мира он посвятил сочинение «Теория грабежа»; размышлениям о «гармониях грядущего» — незавершенный трактат «Ейтихиология» (учение о счастье) и утопию «Коммунистические государства будущего». Этим сочинениям Танеев отдал в сущности всю свою жизнь. Социалистические взгляды Танеева — поклонника Фурье, знатока Сен-Симона и Кабэ — оставались, в главных чертах, на уровне утопистов домарковского периода. Однако, в отличие от них, Танеев признавал

необходимость и законность революционного насилия. Он утверждал: «Если судить беспристрастно, то убийство господина рабом должно считаться добрым и хорошим делом» (Б. П. Козьмин, цит. статья, стр. 669). В революционном движении Танеев участия не принимал, но свое отвращение к самодержавию, его установлениям и слугам он проявлял открыто и смело. Начиная с 1875 года Танеев стал устраивать ежемесячные обеды в московском ресторане «Эрмитаж». На этих, так называемых «академических», или «эрмитажных» обедах, где собирался кружок либерально и оппозиционно настроенной интеллигенции, Танеев умело завязывал политические дискуссии и, по словам современника, «высказывал сногшибательные сентенции о том, что надо не оставить камня на камне в нашем строе...» (А. Белый, На рубеже двух столетий, М. 1930, стр. 136—137). Среди приглашенных — список их составлял всегда сам Танеев — бывал в конце семидесятых годов и Салтыков. Здесь он встречался с представителями научной и артистической Москвы и, в частности, познакомился с П. И. Чайковским.

Другой формой выявления своей идейной позиции Танеев избрал сочинение и распространение среди друзей и знакомых эпиграмматических четверостиший. Своей заостренностью и резкостью суждений, своей гневной, бичующей эмоцией танеевские «тетрастихи» полно и определенно выражали политические взгляды их автора.

Вот, например, поздний «тетрастих», озаглавленный датами крестьянского восстания под руководством Емельяна Пугачева:

1773—1775

Великий Пугачев, колодник, царь и гений,
Как вождь измученных, разграбленных крестьян,
Как бог, карающий разбойников-дворян, —
Бессмертен в памяти скорбящих поколений.

А вот другой, более ранний «тетрастих». Он посвящен Чернышевскому и другим участникам революционно-демократического движения шестидесятых годов; автограф его сохранился не только в бумагах самого Танеева, но и в бумагах П. Л. Лаврова, которому этот «тетрастих» был подарен:

НИГИЛИСТЫ

Вас травят, как волков. Вы стужу, и ненастья,
И голод терпите в скитаниях своих,
Не зная радостей, томимы жаждой счастья
Не для себя, а для других.

Оба четверостишия не оставляют сомнения в политических симпатиях и антипатиях Танеева.

В 1866 году, нуждаясь в заработке, Танеев вступил в сословие присяжных поверенных. Он сразу же завоевал себе репутацию «адвоката красных» и «мужицкого адвоката». Даже в тех случаях, когда Танеев старался, в интересах своих подзащитных, говорить осторожно, у него порой срывались слова, свидетельствующие о радикализме его воззрений. Так на процессе нечаевцев, по поводу обвинения подсудимых в чтении недозволенной литературы, в частности, сочинений Герцена, Танеев заявил, что ничего противозаконного в этом не видит, тем более что «сочинения Герцена, отличавшегося необыкновенным талантом, принадлежат русской литературе, и изучать их необходимо каждому, кто только желает иметь полное и основательное понятие о русской литературе» (Л. Филимонова, цит. рукопись, стр. 13).

С адвокатской деятельностью Танеева связано одно интересное высказывание о нем Карла Маркса. В 1877 году в письме к М. М. Ковалевскому по поводу судебного дела мужа Е. Л. Тумановской (Ел. Дмитриевой) — русской революционерки, члена русской секции Интернационала, участницы Парижской коммуны — Маркс сообщал о своем желании привлечь к этому делу Танеева. «Господин Танеев, — писал Маркс, — которого Вы знаете и которого я с давних пор уважаю как преданного друга освобождения народа, — может быть, единственный адвокат в Москве, который возьмется за такое неблагодарное дело. Я буду Вам очень благодарен, если Вы от моего имени попросите его принять участие в исключительно тяжелом положении нашего друга...» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXVI, стр. 445). В 1919 году Ленин, посылая престарелому Танееву охранную грамоту на его имение Демьяново (под Клином), где помещалась собранная Танеевым уникальная библиотека социалистической литературы и иконографии, привел в этом документе Марксову характеристику Танеева — «преданного друга освобождения народа».

Был ли Танеев лично знаком с Марксом и Энгельсом? Точного ответа на этот вопрос пока нет. Известно лишь, что во время своих поездок за границу Танеев активно искал встреч с западноевропейскими социалистами. Он, например, общался с Луи Бланом, жил в «фамилистере» Анри Годена и позднее переписывался с ними. Посредниками в этих знакомствах выступали друзья Танеева — М. М. Ковалевский и П. Л. Лавров, с которым Танеев тесно сошелся (в бумагах Лаврова, находящихся в ИМЛ, хранятся весьма дружеские и любопытные письма к нему Танеева). Оба они находились в добрых отношениях с Марксом и Энгельсом. Известно далее, что в 1870 году Танеев довольно долгое время пробыл в Лондоне, где жил Маркс, а в следующем, 1871 году, получил от

Маркса его фотографическую карточку с автографом. О пристальном интересе Танеева к деятельности Маркса и Энгельса свидетельствуют многие страницы его сочинений. Судьба одного из них и, пожалуй, самого интересного, связана, как оказывается, с Салтыковым — об этом мы впервые узнаем из публикуемых воспоминаний. Это небольшой очерк истории Первого Интернационала и Парижской коммуны. Очерк был написан Танеевым осенью 1871 года «для своего личного употребления» и озаглавлен: «Международное общество рабочих, исторический рассказ по подлинным источникам, без рассуждений и выводов». Главным среди этих «подлинных источников» были документы Первого Интернационала, принадлежавшие перу Маркса, в том числе «Учредительный манифест Международного товарищества рабочих». Раздел о Парижской коммуне также опирался на работу Маркса «Гражданская война во Франции» (в произвольном переводе Танеева: «Международная война...») — первое по времени и глубочайшее теоретическое обобщение исторического опыта Коммуны. Это произведение, вышедшее в июне 1871 года в Лондоне, на английском языке, и послужило одновременно источником и поводом для написания танеевского очерка. Именно об этом издании и пишет Танеев в заметке «Михайловский», также неизданной, дополняющей соответствующее место публикуемого текста: «Осенью 1871 года у меня была в руках книжка, которой еще не было тогда в Петербурге (а может быть, не было и после). Поэтому я начал и написал для своего личного употребления небольшую историю Международного общества рабочих. <1 нрзб.> написать ее (?)¹ мне сам М. Е. Салтыков (Щедрин), с которым я тогда был близок и виделся почти каждый день. Я прочитал ему эту историю и, он настоял <попробовать напечатать ее в>¹ «Отечественных записках». Недели через две статья была мне возвращена с объяснением, что она может вызвать предостережение» (ИРЛИ, ф. 653, ед. хр. 202).

Таким образом Салтыков предпринял попытку напечатать в «Отечественных записках» статью в защиту Первого Интернационала и Парижской коммуны, притом статью, основанную преимущественно на суждениях и оценках Маркса. Интерес этого факта для идейной биографии Салтыкова не умаляется тем обстоятельством, что Танеев допустил в своей статье (она сохранилась в бумагах автора) ряд ошибок и несообразностей. Не все идеи Маркса были им поняты правильно. Но он высоко оценивал заслуги Маркса в деле создания первой международной революционной ор-

¹ Читается предположительно. — С. М.

ганизации пролетариата, возлагал большие надежды на деятельность этой организации и солидаризировался с Марксовой оценкой исторического подвига Парижской коммуны.

Вряд ли можно сомневаться, что в годы близости Салтыкова и Танеева, когда они виделись «почти каждый день», вопросы социализма занимали в их беседах важное место. Ведь эти вопросы стояли в центре внимания Танеева; глубоко интересовался ими и Салтыков. Беседовали они и о политике. В сохранившемся отрывке одного из позднейших недатированных писем Танеева к М. М. Ковалевскому читаем: «М. Е. Салтыков часто говорил мне: «Погодите, вот у нас будет парламент, какие явятся люди. Они сидят теперь в своих углах, а соберут их, так они себя покажут». Я не верил ему, но действительность превзошла все мои ожидания» (ИРЛИ, ф. 653, ед. хр. 324, л. 3). Судя по последним словам, письмо, содержащее это любопытное и несколько неожиданное свидетельство, относится уже к «думскому периоду», когда царское правительство вынуждено было в ходе революции 1905—1907 годов создать в стране представительное учреждение с ограниченными правами — Государственную думу. Однако читатель не найдет отражения этих тем в публикуемых воспоминаниях. При несомненном интересе отдельных сообщаемых в них сведений, воспоминания эти вообще разочаровывают; они не передают идейной атмосферы общения Танеева и Салтыкова. С присущей Танееву резкостью, колючестью и угловатостью он рисует образ человека с тяжелым характером, неприятного, даже трудно переносимого в быту. Это грубый и злобный «Езоп» древней легенды. Но когда мемуарист касается оценки Салтыкова как писателя, он считает его по таланту «не ниже» Гоголя, а Гоголь был для Танеева одним из высших эстетических мерил. Судя по автобиографической повести «Воспитание Шумского» (неизд., хранится в архиве П. В. Танеева), Танеев еще в юности «сравнивал Гоголя с Шекспиром и отдавал Гоголю безусловное преимущество». Это отношение Танеева к автору «Мертвых душ» не изменилось и впоследствии. В заметках о писателях (неизд.) он называет его «великим художником» — наряду с Гейне, Диккенсом и Флобером. Он включает его в перечень «писателей, которыми может гордиться Россия перед вселенной: Пушкин, Гоголь, Герцен, Чернышевский и Островский». В этом ряду Танеев мог бы назвать и Салтыкова, о котором убежденно писал: «Он имел огромный художественный талант».

Судя по заглавию публикуемой рукописи, в намерение Танеева входило воссоздать всю сложность противоречивого характера Салтыкова. Однако из двух положений основного противоречия — «пошехонский» характер и грозный судия «пошехонского» мира —

Танеев развил преимущественно первое. Возможно, что такое несоответствие отчасти объясняется незаконченностью воспоминаний, которые дошли до нас в двух первоначальных черновых набросках. Автор, по-видимому, предполагал вернуться к своей работе, чтобы не только литературно отделать ее, но и расширить. «Вот и все пока», — написал он, завершая рассказ о последнем свидании с Салтыковым (подчеркнуто нами. — С. М.).

Но главная причина жесткости рисунка в танеевском портрете Салтыкова заключается в другом. Воспоминания эти писались Танеевым в поздние годы. Непричастный к активной борьбе русских революционеров, социальный мечтатель все больше терял к концу долгой жизни связь с народом и веру в возможность осуществления своих «утопий». Он все глубже погружался в разъедающий сарказм и скептицизм, доходящий до подлинной мизантропии. Репутацию «циника», «ненавистника», «осквернителя святынь» отмечают почти все, кто встречался с Танеевым в его старости, в том числе Андрей Белый в книгах «Начало века», «Между двух революций» и особенно «На рубеже двух столетий», где Танееву посвящен самостоятельный очерк. В своем неизданном дневнике за девяностые годы Р. М. Хин, хорошо знавшая «последнего русского вольтерианца», писала о нем: «У Танеева талант раздражать людей. Он точно взял себе привилегию говорить человеку в лицо неприятности и щекотливые вещи. Все под видом остроумных парадоксов. Это какая-то игра на людскую трусость. Никто не решается оборвать великолепно-Владимира Ивановича» (Л. Ф и л и м о н о в а, Цит. рукопись, стр. 49). О склонности Танеева к парадоксам пишет и К. А. Тимирязев: «Обычно он начинал с того, что высказывал какие-нибудь самые необыкновенные парадоксальные мысли, с которыми ни один из присутствующих не мог согласиться. Все накидывались на Танеева с возражениями, хотя отлично понимали, что он сам не разделял того, что он говорил...» (К. А. Т и м и р я з е в, статья «Памяти друга» — Сочинения, т. VIII, М., 1939, стр. 330). Подобно былым слушателям язвительных бесед Танеева, современный читатель его воспоминаний должен помнить, что не все записанное им следует понимать буквально. Когда, например, Танеев, противопоставляя «изображения» и «рассуждения» Салтыкова, заявляет, что изображения «несравненны», а рассуждения «никуда не годятся» и составляют «ненужный и нелепый балласт», то это не более как гротеск и парадокс. Танеев хотел заострить таким приемом правильное наблюдение: Салтыкову действительно было свойственно некоторое недоверие к художественной мощи своего таланта, к пластической силе создаваемых им образов. Известно то странное, на первый взгляд, обстоя-

тельство, что сам Салтыков менее других своих крупных произведений ценил «Господ Головлевых» и «Пошехонскую старину». Что касается «рассуждений» Салтыкова, о которых столь пренебрежительно отзывался Танеев, то именно они и явились той почвой, на которой произошло сближение этих двух людей — последних представителей утопического социализма в России, — остро и глубоко ненавидевших «старый мир», одинаково чуждых мещанского спокойствия и одинаково поглощенных раздумьями о будущих судьбах своего народа и всего человечества.

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ М. Е. САЛТЫКОВ (ЕЗОП)

<1>

¹ как мальчик, стоял позади ее кресла*.

Ничего особенного ни в его словах, ни в его наружности я не заметил.

По тогдашней моде он был гладко выбрит и носил длинные бакенбарды.

Особыми приметами были: большие глаза навывкате и несколько грубый голос.

Вскоре после этого я возвратился в Петербург, Салтыков женился, и были напечатаны его знаменитые «Губернские очерки», которые я прочитал уже в Петербурге, которые я часто с наслаждением перечитывал.

Прошло года три. В 1859 году в Петербург съехались депутаты дворянства, приглашенные Редакционной комиссией по делу об освобождении крестьян.

От Ярославской губернии приехал некто Павел Николаевич Дубровин, который был человек очень неглупый, и в Ярославле про него говорили: «Павел Николаевич — это Мирабо».

Но «Мирабо» был малообразован и малограмотен. Когда ему нужно было составить записку для представления в комиссию, то он обратился к Буланину. А Буланин попросил меня сделать эту работу. Поэтому мы

¹ В рукописи отсутствует 1-й лист. — С. М.

каждое воскресенье заходили в гостиницу, где жил Павел Николаевич. Там я видел неоднократно Алексея Михайловича Унковского, которому было тогда с небольшим тридцать лет и который был губернским предводителем дворянства в Твери.

Унковский был необыкновенно привлекательный молодой человек с бледным, гладко выбритым, несколько опухшим лицом.

<2>

В 1861 году я кончил курс в училище и лето провел во Владимире у родителей. А в августе, возвратясь в Петербург, поступил на службу в сенат, но прослужил только две недели. Первые знакомые, которых я увидел в Петербурге, были Болтины. Они переселились в Петербург.

Аполлон Петрович получил место в военном министерстве и совершенно переродился. Он перестал красить волосы и носил какой-то генеральский мундир, не то военный, не то гражданский, с красным воротником. Весь образ жизни его изменился. Он обратился в скромного и доброго семьянина.

Екатерина Ивановна и ее дочери приписывали это превращение тому, что он занялся спиритизмом. В обществе петербургских спиритов он скоро сделался первосвященником и на собраниях общества открывал и закрывал заседания молитвой.

Салтыков, который тогда служил в провинции, приезжал иногда с женой в Петербург и был с нею довольно груб, и голос его становился постепенно все грубее.

Они останавливались у Болтиных. И когда Аполлон Петрович возвращался после службы домой, то Салтыков говорил своей жене: «Опять этот Аполлон, черт его побери! будет вызывать своих глупых духов. Ты у меня, Лиза, не смей!» <...>.

К спиритическому обществу принадлежал и тогдашний министр путей сообщения Мельников. Он сошелся с Аполлоном Петровичем. И духи объявили им, что под Михайловским инженерным замком находится большой клад. Они начали рыть так, что часть здания могла обрушиться, и им было приказано, по высочайшему повелению, прекратить эту работу.



Е. А. Салтыкова — жена писателя. 1864.

В 1866 году открылись новые суды, и я поступил в присяжные поверенные. А через несколько месяцев поступил в присяжные поверенные Алексей Михайлович Унковский. Я возобновил с ним знакомство, и мы сблизились, тем более что жена моя росла вместе с его женой.

Салтыков оказался старинным товарищем Унковского.

Он в то время переезжал из одного провинциального города в другой, то в должности вице-губернатора, то в должности председателя Казенной палаты.

В 1868 году он вышел в отставку, переселился в Петербург и сделался одним из редакторов «Отечественных записок», которые Некрасов взял в аренду у Краевского, когда был запрещен «Современник».

Почти в каждой книжке Салтыков помещал какой-нибудь рассказ, начав с первой же книжки, где был помещен «Новый Царцисс, или Влюбленный в себя». Он несколько тяготился срочной работой. Он говорил:

— Каждый месяц надо готовить статью. Черт знает, что такое! Как хорошо на службе! Бывало, поступит дело. Лежит, лежит, а потом, черт его возьми, как-нибудь и решится.

<3>

Характер Салтыкова сложился под влиянием двух обстоятельств: болезни и избалованности. Была ли у него какая-нибудь наследственная склонность к болезни, я не знаю. Но главным обстоятельством, неблагоприятно повлиявшим на его здоровье, была нелепая и беспутная жизнь, которую он вел во время своей ссылки в Вятке. Карты и вино, обыкновенное препровождение времени в провинции, оставили на нем неизгладимые следы <...> *.

Слабость его друзей, особенно Алексея Михайловича Унковского и Алексея Андриановича Головачева, много содействовала ухудшению его характера. Он часто кричал на них без всякой церемонии и не встречал ни малейшего отпора.

С женой он обращался ужасно *. Кричал на нее, называл «дурой» и при своих и при чужих. Так репутация «дуры» за ней и осталась. А она была вовсе не глупее других женщин своего круга, которые охотно поддерживали

и распространяли ее репутацию глупой женщины, завидуя ее красоте. А самообладанию ее я всегда удивлялся. Когда она выходила замуж, мать ее, Екатерина Ивановна, говорила ей:

— Что ты делаешь, Лиза?! Подумай, разве ты не знаешь, какой у него ужасный характер?!

— Знаю, — отвечала она, — и никогда никто не услышит от меня ни раскаяния, ни сожаления.

И в самом деле, более двадцати лет она выносила все с невероятным спокойствием. Когда его крики и брань доходили до последних пределов, она говорила тоном сожаления: «Ах, Мишель, ах, Мишель!»

Только лет за десять до его смерти терпение ее истощилось, и она говорила ему тоном раздражения и презрения: «Хоть бы ты умер поскорее!» Но часто ли это бывало, я не знаю.

Я тогда уже жил в Москве и виделся с Салтыковыми только тогда, когда приезжал в Петербург. Поведение Унковского и Головачева было совершенно исключительно. Они боялись, что с Салтыковым, в случае ссоры или противоречия, сделается разрыв сердца, и Россия лишится высокодаровитого писателя.

Со стороны Унковского слабость его к Салтыкову и снисхождение были совершенно искренни.

Унковский был человек, имевший все пороки. Он был ленив, сладострастен, обжорлив, любил выпить и сквернословил на каждом шагу.

Но, глядя на него, я всегда вспоминал тех публичных женщин, о которых говорит Гейне и у которых порок яркими красками написан на лицах, а в сердцах обитают чистые и святые ангелы. И я бы назвал Унковского святым, если бы сравнение с ним не было для святых слишком большою честью. И не я один смотрел на Унковского как на лучшего из людей.

Все смотрели на него как бы с благоговением.

Больше всего Салтыков любил карты, за которыми немилосердно ругал своих партнеров.

Обыкновенно его партнерами были: судебный следователь Ераков, Унковский и Некрасов, когда был свободен от игры в Английском клубе.

Они играли несколько раз в неделю, и Салтыков с лихорадочным нетерпением ждал вечера, когда можно было сесть за карточный стол.

Елизавета Аполлоновна без всякой надобности подходила к столу, становилась позади мужа и смотрела ему в карты.

Когда он замечал это, то тут же при всех начинал грубо кричать на нее.

Как-то 8 ноября, в день Михаила Архангела, мы обедали у Салтыкова. Почти сейчас после обеда Салтыков, Некрасов, Унковский и Ераков сели в кабинете за карты, а я оставался в гостиной с дамами.

Дамы эти были: хозяйка дома, моя жена, еще какая-то дама и гражданская жена Григория Захаровича Елисеева, низенькая, безобразная, с грязными волосами и немытым лицом, в великолепном шелковом платье, и, вопреки тогдашней моде, — без белья.

Из кабинета доносились громкие крики Салтыкова.

Играли в игру, в которой участвуют каждый раз только трое, а четвертый сдает по очереди.

Салтыков самым решительным образом не позволял сдающему сходить с места и пройти, чтобы отдохнуть.

Вдруг распахнулись двери из кабинета, и в гостиную влетел Алексей Михайлович с видом совершенного отчаяния.

— Это уже ни на что не похоже, — завопил он, — не позволяет даже отправлять естественные надобности.

И быстро исчез в противоположную дверь.

Дамы, в немом изумлении, не могли сразу понять, в чем дело.

У Унковского по пятницам, а изредка и у Салтыкова я встречал весьма известного тогда Европеуса. Европеус, замешанный в историю Петрашевского, был приговорен к смертной казни, кажется, исключительно за то, что читал сочинения Карла Фурье, и стоял уже под виселицей *, но был помилован в солдаты на Кавказ.

По возвращении он воздерживался от всякой умственной деятельности, так что у него в квартире не было ни одной книги, не было даже бумаги и пера.

Когда к нему являлись с обыском, как к старому злоумышленнику, жандармы, то они каждый раз очень удивлялись, не находя ничего, кроме закуски. И закуску эту он любезно разделял с ними.

Салтыков изложил все это в одном из своих рассказов *.

Еuropeус служил тогда членом правления в каком-то

городском ломбарде, который помещался на Невском проспекте, и пил запоем.

Но в свободное от припадков время отличался непомерным аппетитом, а в разговорах казался несравненно образованнее тех образованных людей, с которыми встречался. И это только потому, что хорошо изучил в молодости сочинения Фурье. Сочинения эти заключают в себе всевозможные сведения и рассуждения, начиная от самых высоких и сложных мировых вопросов и кончая самыми простыми задачами домашнего хозяйства. Европеус не играл в карты, и у Унковских по пятницам часто забирался в столовую и съедал всю поставленную там закуску без остатка. Раз Алексей Михайлович устроил концерт в пользу каких-то политических ссыльных и пригласил артистов итальянской оперы.

Итальянцы любезно отказались от всякого вознаграждения, и Алексей Михайлович устроил для них великолепную закуску. Но, когда он пригласил их в столовую, то оказались одни обеды. Во время концерта туда забрался Европеус и все съел.

Конец своей жизни Европеус, женатый на безобразной англичанке, ознаменовал интимной связью с молодой, красивой и недалекой женщиной, муж которой был в параличе. Он разъезжал с ней по Петербургу на извозчиках, и все его знакомые знали, где у нее на спине родинки и пятнышки.

<4>

В 1868 году я нанял квартиру в Эртелевом переулке в доме Меллиса и назначил у себя вечерний прием по субботам. Очень редко кто-нибудь приходил ко мне в субботу. Может быть, раза два-три в год сходилась десять—пятнадцать человек. Каждый раз приготавливался чай с роскошными кондитерскими пирогами, конфетами и фруктами.

Один только Салтыков являлся вместе с своей женой аккуратно и неизменно каждую субботу.

Часто он молчал, но иногда бывал в духе и с неподражаемым юмором рассказывал разные забавные случаи.

Каждый раз он требовал бутылку хересу, выпивал ее всю один и часто требовал другую. Я не баловал его,

и он, очевидно не избалованный, с наслаждением пил плохой рублевый елисеевский херес.

При прощании бывали странные сцены. Если он выходил на лестницу, а жена его, по русскому обычаю, заговаривалась с моей женой в передней, то он неистово кричал швейцару:

— Зови ее, дуру, что она нейдет?!

А раз он держал в руках ее муфту, вышел на улицу и бросил муфту в снег.

Раз, ранней осенью, возвратясь из деревни, он был с женой у нас в первую же субботу. Гувернантка моего брата, Елизавета Борисовна*, давно отошла от нас, проводила в том году лето у Салтыковых в деревне, приехала вместе с ними и жила у них.

Мы ходили с Салтыковым по большому кабинету, и я наслаждался прекрасным и одушевленным его рассказом и не заметил, как раздался звонок и как кто-то вошел в переднюю, бывшую рядом с кабинетом.

Я увидал только, что Салтыков вдруг нахмурил брови, сделал злое лицо и замолчал.

— Что с вами, Михаил Евграфович?

— Да вот эта Борисовна тут, — сказал он.

— Елизавета Борисовна пришла? Так что же?

— Терпеть ее не могу!

— Как терпеть не можете? Ведь она прожила у вас все лето?

— Да, прожила, и признаюсь, большие услуги нам оказывала. Мы две недели были без кухарки, так она готовила нам кушанья!

— Кушанья? Она и теперь живет у вас?

— Да, живет, — сказал он с отвращением. — Вы полагая нашего знаете?

Я отвечаю:

— Знаю. Лет восемь тому назад покупал ему клетку.

Салтыков засмеялся:

— Ну вот, он из этой клетки выскочил, прямо на Борисовну, и губу ей прокусил. Так я был доволен!

Елизавета Борисовна тоже не стеснялась в выражениях. Имела ли она какие-нибудь стычки с Салтыковым, не знаю. Но раз она сказала с чрезвычайным добродушием:

— Вы знаете, как я люблю Салтыковых... Это такие свиньи!

Грубый с домашними и с старыми друзьями, Салтыков был так же груб и с народом.

Мы жили летом на даче в Гатчине. Как-то в воскресенье Салтыков приехал к нам вместе с Унковским. Было еще несколько гостей. После завтрака мы пошли все гулять. Впереди бежали дети.

На самой дороге какой-то кучер, очевидно пьяный, гонял лошадей на корде.

Кто-то из нас обратился к нему, по тогдашней моде, с вежливой просьбой:

— Дайте, пожалуйста, пройти. Идут дети.

Кучер не обратил на это никакого внимания. Просьба была повторена несколько раз и бесполезно.

В это время мы подошли с Салтыковым. Он закричал громовым голосом:

— Говорят тебе, мерзавец, убери свою лошадей!

Всякий умеет ценить дурное обращение. И кучер и лошадь мгновенно исчезли.



Неудачные субботы мне надоели. Зимой 1871 года я объявил прием в воскресенье утром, и характер моих приемов совершенно изменился. Тридцать — сорок человек толпились каждый раз.

В маленькой курительной комнате стоял всегда такой дым, что, отворив дверь, нельзя было различать человеческих лиц.

Роскошные закуски, кондитерские пироги, конфеты — все это было устранено.

Я вспомнил своего старого друга и учителя Высокова, который на упрек, что он давно у нас не был (это было еще во Владимире), отвечал:

— Да что к вам ходить! У вас такая чистота, что и плюнуть негде!

Вместо роскошно убранного чаю подавался огромный пирог на железном листе, большой графин с водкой и несколько бутылок пива. Свои и чужие, званые и незваные, знакомые и незнакомые — все чувствовали себя отлично.

Самым интересным гостем был актер, Павел Васильевич Васильев, заменивший Мартынова, еще не пропивший ни голоса, ни таланта и еще не придумавший играть роль Гамлета. Он рассказывал массу анекдотов из жизни провинциальных театров и производил чрезвычайный эффект. Один из этих анекдотов я приведу для образца:

«В каком-то губернском городе сборы были очень плохи. Антрепренер приходил в отчаяние. Тогда он объявил свой бенефис, назначил какую-то мелодраму в 5 действиях и 15 картинах, с танцами, пожаром и великолепным спектаклем.

На огромной афише каждая из 15 картин имела свое особое название, поражавшее страхом и ужасом. Но самое интересное было в конце афиши. Огромными буквами так было напечатано: «В заключение бенефициант угадает желание каждого из публики».

Цены были назначены огромные, и все билеты были разобраны задолго до представления.

Драму смотрели невнимательно, и танцы не произвели никакого впечатления. Все с нетерпением ждали заключения спектакля. После продолжительного антракта поднялся занавес. Бенефициант, во фраке и в белом галстуке, вышел при громе рукоплесканий на сцену, которая изображала какой-то сад. Он протянул руку в глубину сцены, и задний занавес, изображавший сад, поднялся. В глубине сцены явилась грубо сделанная из досок надпись: «Боже, царя храни!»

Публика, по-видимому вполне удовлетворенная, печально разошлась, тихо и без всяких протестов».

Каждое воскресенье неизменно приходили Салтыков и школьный мой друг Буланин. Они всегда помещались возле графина с водкой и начинали всегда один и тот же спор.

Буланин был из Ярославской губернии, и поэтому мы звали его в училище «пошехонцем».

Не знаю, почему у них зашла речь о Пошехонье.

Салтыков доказывал Буланину, что Пошехонье — страна отвратительная, и самое название ее — синоним дикости и варварства *. Буланин, как ярославец, вступался за Пошехонскую страну, которую как бы считал своей родиной, хотя был из Романовского уезда. От этих

споров возникло название «Пошехонских рассказов», а потом «Пошехонской старины», лучшего из произведений Салтыкова, которое если бы было окончательно отделано, не уступало бы ни по интересу содержания, ни по силе таланта «Мертвым душам».

<6>

Осенью 1871 года, после Парижской коммуны, у меня были книги, которых еще не было тогда в Петербурге и на основании которых я написал, для своего личного употребления, небольшую «Историю Международного общества рабочих» *.

Я прочитал ее Салтыкову, который уговорил меня дать ее для напечатания в «Отечественных записках». Через две недели мне ее возвратили «по цензурным соображениям».

Но я был приглашен на еженедельные обеды «Отечественных записок» *, которые происходили по понедельникам в небольшом трактире «Малый Ярославец» на Большой Морской.

В то же время на эти обеды был приглашен и А. М. Унковский.

Я бывал на этих обедах несколько понедельников сряду, и никогда не бывал в таком невеселом обществе, как это.

Общество делилось на аристократов и демократов. Аристократами были: Некрасов, Салтыков и Елисеев. Остальные составляли демократическую толпу, в которой одни не произносили весь вечер ни слова, например очень тогда еще молодые Михайловский и Глеб Успенский.

А другие, тоже молчавшие, когда были трезвые, начинали грубить аристократам, когда напивались пьяны.

Средину между аристократами и демократами занимал Боборыкин, который помещал свои романы в «Отечественных записках», ужасно боялся Салтыкова, не затруднялся признаваться в этом и молчал в его присутствии.

— Опять, черт его возьми, набоборыкал роман! — говорил Салтыков.

Салтыков несколько раз показывал мне на Глеба Успенского, который был тогда молод, скромен и необыкновенно красив.

— Если вы хотите, — говорил Салтыков, — видеть будущего великого русского писателя, то вот он.

Лет через двадцать я встретил потом Успенского, больного, преждевременно состарившегося <...>.

Я видел его вместе с редактором «Русских ведомостей» Соболевским, который обращался с ним нежно и почтительно, как с бессловесными мощами.

Успенский, по-моему, не оправдал предсказаний Салтыкова. Он мог бы быть хорошим этнографом, если бы довольствовался записыванием того, что видел. Но, по ограниченности таланта и малограмотности, художественные произведения его были всегда слабы.

После каждого обеда подавался счет, и все начинали жаловаться, что дорого. Жалобы эти продолжались час или два, и на следующий раз заказывались опять те же дорогие блюда: московские поросята, осетрина или стерлядь и т. п. И опять начинались жалобы на дороговизну, которые вызывали невыносимую тоску и отвращение.

Было двое постоянных, тяжелых пьяниц: Деммерт и Минаев. Деммерт, писавший в «Отечественных записках» внутреннее обозрение, пил мрачно и молчаливо и напивался в самом начале обеда. А Минаев являлся всегда в середине или в конце обеда, бог знает откуда, совершенно пьяный, но веселый и разговорчивый.

Раз он обратился к Некрасову, указывая на начинавшего тогда критика Скабичевского:

— Вот, Николай Алексеевич, времена! Прежде вы имели дело с Чернышевским и с Добролюбовым, а теперь с такими дураками, как Скабичевский!

Общество не смутилось и выслушало это совершенно равнодушно. Но Некрасов очень сконфузился, стал что-то бормотать своим хриплым голосом, и слышны были только слова:

— Скабичевский... Скабичевский... это... это... душа общества.

«Душа общества» сидел неподвижно и, по-видимому, нисколько не оскорбился замечанием пьяного наглеца. По обыкновению он молчал, и я никогда не слыхал от него на обедах ни одного слова.

Некрасов говорил очень мало. Он имел вид старый

и утомленный и, обращаясь к кому-нибудь, начинал всегда хриплым голосом: «Ах, отец!...»...

Вскоре была пасха, потом лето.

Летом я занемог оспой, а осенью переехал в Москву. С тех пор я ничего не слышал об этих обедах.

<7>

В 1871 году у меня уже было трое детей. Салтыков смотрел на нас с любовью и с завистью. Он был женат уже пятнадцать лет, и у него не было детей.

Вдруг весной 1872 года он явился к нам радостный, сияющий, с тем добрым выражением лица, которое у него было бы постоянным, если бы он не напускал на себя нелепой грубости, которая от упражнения обратилась в привычку.

— Поздравьте нас, — сказал он, — у Захария и Елизаветы родился сын *.

Елизавета Аполлоновна так искусно скрывала свою беременность, что мы ничего не подозревали. Салтыков долго обдумывал, какое имя дать сыну, и остановился на Константине. Я был приглашен в крестные отцы. Но крестника своего увидал вторично только в 1896 году.

Насколько Алексей Михайлович Унковский был прост и добродушен, настолько другой друг Салтыкова, Алексей Адрианович Головачев *, был лукав и ехиден.

Это был человек бездарный, гораздо старше, чем Салтыков и Унковский, автор известной книги «Десять лет реформ». Он боялся Салтыкова, выслушивал от него всевозможные оскорбления и втайне его ненавидел.

Раз, вскоре после рождения Кости, он обедал у меня вместе с Унковским. За обедом он много выпил и изображал нам Салтыкова как последнего из людей, ругался, что Костя вовсе не его сын, хотя у ребенка было уже поразительное сходство с отцом, сейчас же уже по рождении, и сходство это усиливалось с годами.

Когда в 1884 году были запрещены «Отечественные записки», то в Москве на одном из так называемых «академических» обедов, которые бывали с 1875 года каждый месяц, кто-то предложил сделать коллективное исследование о свойствах русского образованного человека.

Доктор Бензенгр заявил, что надо начать с исследо-

вания характера и свойств русского человека вообще, а потом уже перейти к русскому образованному человеку.

А. А. Головачев, который жил тогда в Москве и был на этом обеде, полагал, что сначала надо изучить образованного человека, а потом уже обратиться к русскому человеку и человеку вообще.

Я председательствовал на обеде, и мне пришлось резюмировать прения.

— Одни хотят, — сказал я, — начать дело с начала, другие с конца, вопреки известной русской поговорке: «Когда в хвосте начало, то в голове мочало».

Когда я кончил резюме, передо мной на другой стороне стола стоял старик Головачев:

— Позвольте вас спросить, — сказал он тоном величайшего волнения, — почему вы полагаете, что у меня в голове мочало?!!!

— Я очень извиняюсь, если огорчил вас неосторожным выражением, но мне в голову не приходило иметь вас при этом в виду.

— Нет, позвольте, однако, — продолжал Головачев, — почему вы предполагаете, что у меня в голове мочало?!

Раз десять он повторял эту фразу...

— Можно ли так приставать, — сказал кто-то из присутствующих, и насилу могли его успокоить.

Когда зашла речь о том, чтобы послать Салтыкову сочувственную телеграмму, я, уже с некоторым ехидством вспомнив отзывы Головачева о Салтыкове и зная, что Головачев плохо владеет русским языком, предложил присутствующим поручить составление депеши Головачеву и, во избежание многочисленных подписей, уполномочить его подписать депешу за всех. Головачев редактировал депешу так: «Ежемесячно обедающие шлют тебе привет и т. д.».

На это он получил ответ: «Благодарю тебя и всех ежемесячно обедающих. Ежедневно обедающий Салтыков».

<8>

Близкое знакомство в течение нескольких лет и кумовство заставляли, по-видимому, Салтыкова включать и меня в число старых друзей, несмотря на то, что я

лет на пятнадцать был моложе его. Он пробовал уже говорить со мной почти так же грубо, как с ними.

Мне это не понравилось, но я вскоре после рождения Кости переехал в Москву и довольно долго не видал Салтыкова, и когда приехал на время в Петербург, то сказал Унковскому, что к Салтыкову совсем не поеду. Унковский, конечно, сейчас же это передал ему. На другой день я должен был обедать у Унковского, и мы беседовали с ним, когда вдруг раздался сильный звонок.

Я увидел, что Унковский смутился и побледнел...

— Что с вами, Алексей Михайлович?

— Это, должно быть, Салтыков.

— Так что же?

— Да я ему обещал взять на завтра ложу в оперу и не успел.

Вошел Салтыков, совершенно разъяренный, и, не замечая меня, накинулся на Унковского:

— Взяли ложу?

— Нет еще.

— Опять обман?

И пошел. Потом он смягчился, поздоровался со мной и сказал кротко и ласково:

— Владимир Иванович, вы за что-то на меня сердитесь?

— Я не сержусь, но вы, кажется, записали меня в число старых друзей?

— Ну так что ж?

— Как что ж?! Ведь вы кричите на них, как помещики не кричали на крепостных лакеев.

— Слышите, Алексей Михайлович, что он говорит?

Алексей Михайлович, которому обыкновенно доставалось больше всех, робко и смущенно отвечал:

— Я что-то этого не замечал.

Мир был заключен, и на другой день мы оба обедали у Салтыкова.

Я возвратился в Москву. Отец мой, уже восьмидесятилетний старик, собирался как-то ехать в баню и не мог сразу найти мочалы, которую всегда брал с собой.

Кто-то возился внизу, вероятно это был дворник, который всегда сопровождал его в баню.

Отец мой нагнулся над круглой лестницей и сказал:

— Куда ты положил в прошлый раз мочалку? Сколько раз я тебе говорил? Где мочалка?

— Право, сударь, не знаю. Я ее не видал, — отвечал какой-то незнакомый грубый голос, и на лестнице слышались шаги.

— Ах, Михаил Евграфович! Милости просим, — кричал отец и отложил свое путешествие в баню.

В другой раз, когда я был в Петербурге, в Мариинском театре играли «Пророка»*. Кажется, эта опера называется в действительности «Иоанн Лейденский», по имени главного действующего лица.

Я взял ложу и пригласил жену Салтыкова и ее сестру Анну Аполлоновну. Это было в пятницу, обычный день карточной игры у Унковского.

Пока мы сидели в театре, Салтыков выиграл сто рублей, чего с ним прежде никогда не случалось.

Когда я на другой день у него обедал, он встретил меня следующими словами:

— Что это вы со мной делаете? Взяли мою жену и увезли ее в театр. А я-то что?

— Как что? Ведь вы играли в карты у Алексея Михайловича, выиграли неожиданно сто рублей, и никто вас не беспокоил, потому что не было Елизаветы Аполлоновны, которая смотрит вам в карты.

— Нет, все-таки, однако, можно бы и обо мне подумать!

Такова была его логика, которая лучше всего проявилась при разделе его с братьями.

Когда умерла мать и оставила большое наследство, братья никак не могли разделиться с Салтыковым, который был с ними в непрерывной ссоре.

Тогда они сказали Алексею Михайловичу, который был поверенным Салтыкова при разделе:

— Разделите, Алексей Михайлович, все имущество, как вы хотите, на части, по числу братьев, и пусть Михаил Евграфович возьмет себе ту часть, какую хочет.

Когда Унковский передал это предложение Михаилу Евграфовичу, тот сказал:

— Я так и знал, что эти мерзавцы придумают какую-нибудь каверзу!

Когда в декабре 1877 года умер Некрасов, Салтыков сделался главным редактором «Отечественных записок».

Джаншиев, приехавший в Петербург из Москвы, имел какую-то надобность в Салтыкове и явился в помещение редакции.

В приемной сидело несколько человек, а из кабинета редактора раздавался грубый голос, который бранил кого-то площадными и непечатными словами.

Джаншиев сидел в изумлении.

Вдруг дверь кабинета отворилась, и из нее вылетел обыкновенно бледный, а тут красный как рак поэт Алексей Николаевич Плещеев, тогдашний секретарь редакции.

Вслед за этим в кабинет позвали Джаншиева, и тот с изумлением убедился, что в кабинете была только одна дверь, та самая, в которую он вошел и из которой вышел Плещеев. Стало быть, все слышанные оттуда ругательства могли относиться только к Плещееву.

Это еще не все. Когда аудиенция Джаншиева окончилась, Салтыков взял со стола какую-то рукопись и вышел в приемную вместе с ним.

— Михаил Иванов! — закричал он грубым голосом. — Кто здесь Михаил Иванов?

— Это я, Михаил Салтыков, — отвечал еще более грубый голос, и со стула поднялся какой-то человек.

Услышав этот ответ, Салтыков стал вдруг необыкновенно мягок и любезен, передал Иванову рукопись, долго, подробно и вежливо объяснял ему, почему она не может быть напечатана, и на прощание дружески жал ему руку.

<9>

Здоровье Салтыкова все ухудшалось. Его лечил Боткин и приставил к нему ассистента своего, доктора Белоголового.

В 1875 году Салтыков, у которого тем временем родилась еще дочь, Лиза, со всем семейством поехал лечиться в Баден-Баден.

Салтыков лечился, но все-таки каждый день играл в карты. Постоянным его партнером был все тот же А. М. Унковский, который тоже пр<иехал> в Баден. Салтыков не отпускал его от себя, и тому редко приходилось подышать воздухом в вечернее время.

Но раз, когда партнеров было достаточно, Унковский был отпущен. Почуввав свободу, он нанял коляску и пригласил Елизавету Аполлоновну. Было уже прохладно, он взял на всякий случай серый плед, который висел в передней, поехали и у курзала вышли из коляски. Алексей Михайлович подал Елизавете Аполлоновне

руку, и они торжественно шли среди блестящей публики. Их удивляло, что общее внимание, по-видимому, было обращено на них.

В Баден-Бадене в это лето съехались двое или трое императоров и с германским приехал знаменитый Бисмарк.

Прошел один император, посмотрел и улыбнулся*.

Прошел другой император, тоже улыбнулся и пожал плечами.

Прошел Бисмарк, пожал плечами и засмеялся.

Они не понимали, что это значит? Но оказалось, что Алексей Михайлович <1 нрзб.> схватил в передней вместо пледа серые панталоны Михаила Евграфовича с обыкновенными медными пуговицами и показывал их, таким образом, высшему обществу целой Европы.

Насколько Алексей Михайлович был рассеян, видно, между прочим, из письма к нему Салтыкова из Баден-Бадена от 16 июля*, когда Алексей Михайлович, уехав оттуда, находился уже у себя в деревне:

«Многоуважаемый Алексей Михайлович! Вы увезли две пары чужих носков, и теперь владелец этих носков, сердитый немец, и рвет и мечет, непременно подай ему эти самые носки, которые связала ему дочь ко дню именин. Не знаю, как Вы поступите в этом случае, но я советовал бы: плюнуть».

В 1880 году я был в Париже и случайно попал к Салтыковым, которые остановились в меблированных комнатах около Мадлены*.

Тут были и Михаил Евграфович и Елизавета Аполлоновна, и сестра ее, Анна Аполлоновна. Анне Аполлоновне было уже более сорока лет. Она никогда не была так красива, как сестра, но это не мешало ей быть еще более привлекательной. А улыбка ее была прямо очаровательна.

Занявшись вместе с родителями спиритизмом, она стала писать статьи во французских спиритических журналах и в Париже сейчас же попала в общество спиритов. Так как сделалось почему-то известным, что у нее на родине очень хорошее состояние, то спиритическое общество не только старалось льстить и угождать ей, но и нашло ей в своей среде жениха, какого-то Турнье, прогоревшего учителя (professeur) лет семидесяти, лысого и немощного. Она вышла за него, и они поехали в Тур*. Она уведомила о своем браке русских знакомых, в том

числе и нас. Мы получили и портрет Турнье, который, по неимению волос, был сфотографирован в шляпе и с достоинством держал под мышкой палку, на которую, очевидно, должен бы был постоянно опираться.

Пользуясь нецеремонностью старой дружбы, я писал ей, что семидесятилетний старик, вероятно, скоро ей надоест. Но на это я получил ответ: «Я нашла мужа, который не тяготится моим присутствием и который мне говорит: «*Vois-tu, lorsque tu dis que quelque chose te déplait, cela me fend le coeur*»¹. Я чувствую, что это не простые слова, он старается приноровиться к моим вкусам и привычкам».

А впоследствии она говорила:

— Если бы я могла дать Лизе (жене Салтыкова) хоть одну десятую долю моего счастья, как бы я была довольна!

В это время Аполлон Петрович уже умер, а Екатерина Ивановна, после его смерти, переселилась в Нижегородскую деревню и каждый день ставила к обеду два прибора, в уверенности, что Аполлон Петрович будет обедать вместе с нею*, а когда слышала топот лошадей и звон колокольчиков, то кидалась под кровать и в ужасе кричала: «Салтыков едет! Салтыков едет!»

Результатом поездки Салтыкова за границу в 1880 году были рассказы: «За рубежом».

В 1884 году «Отечественные записки» были запрещены. Салтыков остался без журнала. Это подействовало на него ужасно, и болезни его все усиливались.

В 1885 году он опять ездил лечиться в Висбаден и там жил вместе с Белоголовым.

Джаншиев, издатель «Воспоминаний Белоголового», показывает Салтыкова его другом. Но в письме к Унковскому, от 16 июля 1875 года*, Салтыков пишет: «Все эти Белоголовые суть собственно Пустоголовые».

<10>

Я бывал в Петербурге все реже и реже, и сведения о Салтыкове доходили до меня все реже и реже. Последние произведения Салтыков печатал (от 1884 до 1889) —

¹ «Видишь ли, когда ты говоришь, что тебе что-то не нравится, мое сердце готово разорваться» (франц.).



Константин Салтыков — сын писателя. 1880-е г.г.

большие в «Вестнике Европы», мелкие в «Русских ведомостях».

В ноябрьской книжке «Вестника Европы» 1887 года началось лучшее его произведение «Пошехонская старина», печатание которой окончилось за месяц до его смерти.

Джаншиев рассказывал, что кто-то привез на поклонение к Салтыкову редактора «Русской мысли» Вукола Лаврова, горького пьяницу, бывшего хлебного торговца.

Салтыков был с ним до крайности неприветлив, и визит кончился скоро.

Но когда Лавров ушел, то Салтыков, со слезами на глазах, говорил:

— Почему же привели ко мне такого дурака и с такой глупой рожей?

Унковский рассказывал, что Боткин (в 1889) велел сделать анализ мочи Салтыкова. Результаты <1 нрзб.> этого анализа были доставлены. Салтыков положил их в конверт, запечатал и сделал надпись:

«Моя моча. После моей смерти завещаю отдать сукину сыну Бартеневу для «Русского архива» *.

В январе 1889 года я был в Петербурге и в последний раз видел Салтыкова.

Он сидел в своем кабинете за письменным столом, точь-в-точь такой, как снят на фотографии Пантелеева и в такой точно обстановке; окруженный всевозможными лекарствами, он писал «Пошехонскую старину» и беспрестанно мучительно кашлял. Я сказал ему, что слышал, будто он опять покупает имение.

— Как же я буду покупать имение?! Имение надо осмотреть, а вы видите, в каком я положении! А эта дура, что она смыслит?! Ей нужно паркетные полы в полах и пруды в комнатах!

— Куда же вы поедете летом?

— Куда я поеду? А почему я знаю? Боткин говорит: «Поезжай в Баден, там Белоголовый». Да черта ли мне в том, что там Белоголовый?! Да вы послушайте, в прошлом году жена собралась ехать с детьми на дачу раньше меня. Так я слышу, горничная ей говорит: «Вы меня оставляете одну с Михаилом Евграфовичем — это ужасно!» И так они всегда про меня судачат. «Это ужасно!» Да как она смеет так говорить?! Разве у вас горничная скажет

Елене Сергеевне: * «Вы меня оставляете одну с Владимиром Ивановичем — это ужасно!» Не знаю, куда мне от них деваться. Писал я в Москву Соболевскому (редактору «Русских ведомостей»), чтобы он приискал мне там где-нибудь комнатку в больнице, и, черт его побери! никакого ответа!

Входит горничная, мне знакомая, та самая, о которой шла речь.

— Владимир Иванович, Елизавета Аполлоновна желают вас видеть, просит, чтобы вы не уехали, не повидавшись с ней.

— Да он сейчас уезжает, зови ее сюда. Ведь вот дура, это она вам новое голубое платье показать хочет.

Входит Елизавета Аполлоновна, действительно в голубом платье. Она говорит тоном нескрываемой досады:

— Пойдемте ко мне. С ним нет никакой возможности. Я иду за нею.

— Вот дура, — раздается вслед за нами.

Елизавета Аполлоновна уводит меня к себе, за три или за четыре комнаты. Мы беседуем с нею о том, что может при встрече интересоваться старых знакомых.

Из кабинета беспрестанно раздается громогласный неистовый кашель!

— Он всегда так... В самом деле кашляет, но еще и от себя прибавляет.

Немного погодя входит Салтыков.

— Зачем ты его увела? Нет, ты скажи мне, зачем ты его увела?! Он приехал ко мне, а не к тебе. Он на поезд опоздать может. Пойдемте ко мне.

Я простился с Елизаветой Аполлоновной. Она не пошла за нами.

В кабинете разговор возобновился.

— Кто вас навещает? — спросил я.

— Хоть бы кто плюнул.

— А Алексей Михайлович?

— Да что этот Алексей Михайлович! Обещает прийти вечером играть в карты, а потом присылает записку, что ему некогда. Апелляцию надо строчить! Сроки, видите, пропустить боится.

Я посмотрел на часы.

— Если вас все оставили, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен?

— Да чем вы можете быть мне полезны?! Отравить меня, что ли?!

— Этого я не могу сделать. Я не доктор, у меня нет соответствующих медикаментов.

Я стал прощаться. Когда я спускался по лестнице, дверь салтыковской квартиры отворилась, и Салтыков, стоя в дверях, громко кричал:

— Владимир Иванович, Владимир Иванович.

Я поспешил возвратиться.

— Елене Сергеевне мое почтение.

Я пожал ему руку. Он затворил дверь. Больше я его не видал.

Произведения Салтыкова состояли из двух элементов: изображения русской жизни и рассуждений.

Изображения его несравненны, он имел огромный художественный талант. Если бы он отделял свои произведения так же тщательно, как Гоголь, он, конечно, был бы не ниже его.

Что касается рассуждений, то просто они никуда не годятся. Ни образование Салтыкова, ни условия русской печати не давали ему возможности быть настоящим публицистом. Намеки, которые он делал на современные ему события и лица, были почти непонятны и в его время, а теперь не имеют никакого значения и только нагоняют нестерпимую скуку. Если бы его сочинения очистить от этих рассуждений, они были бы вовсе не более отрывочны, чем теперь, а художественные изображения имели бы все свое несравненное достоинство и верность изображаемого. Никто лучше Салтыкова не знал русского чиновничества, которое составляло главный элемент в русской жизни. Недалекие читатели видели важное значение в рассуждениях Салтыкова, хотя в них ничего не понимали. Всякий читатель глуп и считает обыкновенно глупоим и высоким то, чего не понимает.

Но Салтыков, при всем своем уме и великом таланте, сам разделял заблуждения своих читателей. Он ставил ни во что свои художественные картины*, которыми наполнены даже скучнейшие из его произведений, и видел огромное значение в неясных рассуждениях, которые составляют в его произведениях ненужный и нелепый балласт.

В конце семидесятих годов Салтыков попал в руки двух недостойных людей, о которых он отзывался прежде не иначе, как с глубоким презрением. Люди эти в свое время пользовались большой известностью в Петербурге.

Один из них уже умер, другой еще жив.

Умерший был человек очень даровитый и необыкновенно красивый. Он всю свою жизнь стремился достигнуть высокого положения и денег. Он пользовался высоким положением, чтобы иметь деньги, законными и незаконными путями. А деньгами пользовался, чтобы угождать высокопоставленным лицам и возвышать свое положение. Он научил Салтыкова играть на бирже и оказал ему другую, еще худшую услугу *, о которой Салтыков, вероятно, никогда не подозревал.

Другой, который остался жив, пользовался Салтыковым, как паук пользовался орлом *. Он писал о нем в журналах бесцветные, бездарные статьи.

Человек этот вообще представляет собой довольно замечательное явление. Он умен, отлично образован, но совершенно бездарен. В его многочисленных сочинениях, в его речах нет ни одной собственной мысли, ни сильного чувства, ни воображения, ни остроумия. Все гладко и ровно, но все совершенно бесцветно. Из него нельзя привести ни одной мысли, ни одного образа. Это — бездарность, в самом высоком ее проявлении. Бездарность эта тем сильна, что она не оскорбляет тех бездарных людей, которые смотрят на нее, как на нечто близкое и дорогое, не знают, что печатная бездарность есть та же бездарность, и ревниво ненавидят то, на чем лежит печать таланта.

Б. Э. Кетриц

Воспитанник училища правоведения Бернард Эрнестович Кетриц (1849—1923?) после его окончания не захотел воспользоваться открывавшейся перед ним служебной карьерой в столице. Находясь под влиянием демократической литературы своего времени, он решил «идти в народ». Намерение это встретило, однако, решительное сопротивление со стороны отца, и дело кончилось компромиссом. Вместо сената Кетриц отправился служить в глухую провинцию. Он стал мировым судьей в Весьегонском уезде Тверской губернии. Впоследствии, однако, он переехал в Петербург и в течение многих лет избирался здесь мировым судьей. Кетриц выступал и в печати, был сотрудником «Юридической газеты». Несколько раз, как это видно из его писем к Е. С. Некрасовой (ЛБ), он пытался организовать издание «книг и брошюр для народа», но по-видимому, из этих замыслов ничего не вышло. Кетриц был известен также как один из инициаторов общественного сбора книг, журналов и газет для политических заключенных (биографические сведения о Б. Э. Кетрице сообщены нам его племянницей Еленой Павловной Халецкой, за что приносим ей свою благодарность).

Когда и где произошло знакомство Салтыкова с Кетрицем — неизвестно. Возможно, что оно состоялось во время описываемой им случайной встречи в квартире Елисеева. Это было в конце 1876 или в начале 1877 года.

Кетриц правильно передает отношение Салтыкова к «славянскому движению» семидесятых годов. В целом отношение это было отрицательным. Салтыков глубоко сочувствовал борьбе сербов, болгар, черногорцев против турецкого ига. Но он не верил, что движение, находившееся политически под контролем самодержавия и возглавлявшееся славянофилами и панславистами, могло привести к подлинному освобождению славян. Салтыков угадывал тайные

расчеты реакции, стремившейся использовать в своих целях симпатии демократической части русского общества к освободительной борьбе южных славян. Во внешней политике этой целью было создание на Балканах славянского государства под покровительством российского монарха (именно в этой связи уясняется смысл приводимого Кетрицем «пророчества» сатирика относительно «князя Милана» — сербского князя Милана Обреновича, провозгласившего в 1882 году, с помощью царской дипломатии, Сербию королевством, а себя королем). Во внутренней политике реакция пыталась использовать славянский вопрос как средство отвлечь русское общество от революционного движения и укрепить самодержавие (ср. с этим слова Ф. Энгельса в письме к К. Марксу от 25 августа 1876 года о пользе либеральных криков о «турецких зверствах» для русского правительства. — К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIV, стр. 462). Понимая это, Салтыков писал Некрасову 13 октября 1876 года: «Мое личное мнение, что вопрос этот <славянский — С. М.> для России не полезен. Под шумок его издан, например, закон, разрешающий губернаторам издавать обязательные постановления или, попросту говоря, законы же» (XIX, 78). Славянскому вопросу Салтыков посвятил весьма ядовитый сатирический очерк «День прошел — и слава богу», появившийся в ноябрьской книжке «Отечественных записок» за 1876 год (XII, 407—427).

Будущее, однако, показало, что, несмотря на реакционную сущность целей и планов царского правительства и панславистов в период так называемого восточного кризиса 1875—1878 годов, их действия сыграли объективно положительную роль, так как способствовали освобождению славянских народов Балкан от турецкого господства. В 1876 году в начале подъема «славянского движения» и сопутствовавшей ему крикливой шовинистической агитации Салтыков не мог дать исторически верной оценки этому движению.

ВСТРЕЧА С М. Е. САЛТЫКОВЫМ

Было это в 1876 или 1877 году. В то время я был мировым судьей в гор. Красном Холму, Весъегонского уезда Тверской губ. Приехав в Петербург, я навестил Елисеева. При мне пришел к нему М. Е. Салтыков, помню, в бархатном черном и несколько засаленном пиджаке. Это было время восстания против турок в Герцеговине,

«турецких зверств» в Болгарии и последовавшей за ними кампании Сербии и русских добровольцев под начальством Н. Г. Черняева против Турции, кампании, окончившейся разгромом сербов и добровольцев под Дьюнишем *.

Я рассказал, как вся провинция и провинциальная интеллигенция сочувствовала славянским героям, с слабыми силами восставшим против турецких пашей, башибузуков и турецкой армии; как я читал в моей судебной камере собиравшемуся по судовым делам народу выдержки из газет о турецких зверствах и об этой неравной борьбе слабого с сильным; как народ разделял это настроение, бросал свои копейки в выставленную мною в камере сборную кружку; как я из нее отослал в С.-Петербург в комитет Славянского общества более ста рублей и как два даровитейших молодых деятеля тверского земства Ф. И. Родичев (весьегонец) и В. Н. Линд (новоторжец) отправились в Сербию и принимали участие в кампании добровольцев.

Неожиданно для меня М. Е. Салтыков отнесся к этому движению совершенно обратно. Он вспылал и горячо заговорил почти буквально в таком роде: «И зачем это мы, русские, лезем освобождать славян от какого-то турецкого ига! По-моему, славянам под турецким игом жилось лучше, чем будет житься теперь. Хотя над ними турки делали от времени до времени кое-какие зверства, но были европейские консулы, и славяне могли приносить европейским консулам какие-нибудь жалобы. А теперь, освободив их, посадят им какого-нибудь краля Милана (пророчество в отношении юного тогда князя Милана!) и скажут: «Теперь больше не смейте быть недовольны, вам дали все, чего вы желали, и теперь сидите смирно!» Я попробовал шутливо возразить, что русская интеллигенция поклонялась Гарибальди как герою освобождения Италии, и что, может быть, Черняев имеет некоторое сходство с Гарибальди и есть тоже герой освобождения славян. Салтыков воскликнул, что «нет ничего общего между Гарибальди и русским генералом Черняевым» *.

Страничка из нашей общественной истории. Чужую беду всегда очень легко развести руками, но едва ли сами сербы даже из-под «краля Милана» захотели бы вернуться под власть турок, где им жилось «лучше».

Е. Ф. Буринский

Горячий и страстный спорщик, Салтыков практиковал иногда своеобразный способ проверки собственных взглядов путем мнимого оспаривания их в беседах с единомышленниками. Вызывая этим собеседников на такие возражения, которые без нарочитого обострения спора остались бы скрытыми, Салтыков углублял и оттачивал свои мысли. Такой метод «диалектики» Салтыков ввел и в литературу. Свидетельство Евгения Федоровича Буринского (1849—1912), впоследствии известного химика, свойства друга А. М. Унковского, интересно тем, что позволяет заглянуть в один из источников, питавших образы Глумова и авторского «я» в щедринской сатире семидесятых — восьмидесятых годов. Следует лишь иметь в виду, что выражение «припадки самопротиворечия» употреблено мемуаристом неудачно. Его следует понимать только в качестве условного обозначения охарактеризованного метода сатирика, применяя который, он, разумеется, оставался верен своим взглядам и убеждениям.

ДВА СЛОВА О М. Е. САЛТЫКОВЕ

Б. Кетриц, приехав в 1876 или 1877 году в Петербург из Весьегонского уезда, навестил Г. З. Елисеева, рассказывал ему о возрастающем сочувствии провинции и провинциальной интеллигенции к славянским героям, нашим добровольцам, дравшимся с турками за освобождение Сербии от турецкого ига. Присутствовавший при этом разговоре М. Е. Салтыков не только не разделил восторга г. Кетрица, но «вспылил и горячо заговорил» против освобождения славян русскими и решительно от-

казался приравнять генерала Черняева к Гарибальди. Так излагает г. Кетриц подробности своей встречи с Салтыковым.

Не знаю, какого мнения держался Салтыков о тогдашнем движении в пользу славян, но не могу не напомнить, что у Михаила Евграфовича была манера защищать иногда такие взгляды, которых он сам не разделял. В существовании этой манеры у Салтыкова я имел случай достаточно убедиться, прожив с ним вдвоем, в одной комнате, целое лето 1868 года¹. Каждый вечер, перед сном, Салтыков принимался меня «допрашивать», экзаменовывать по разным вопросам и очень часто высказывал с самым серьезным видом такие положения, которые, как мне казалось, совсем были не к лицу Щедрину, тому Щедрину, какого знали мы, юноши шестидесятих годов, по его произведениям.

Одно время к нам зачастил князь А. И. Урусов, тогда еще молодой человек, кажется товарищ прокурора, впоследствии известный присяжный поверенный; с ним Салтыков проделывал то же самое, то есть говорил и защищал явно не то, в чем сам был убежден. И с каким, бывало, жаром защищал! Наверно, не с меньшим, чем в разговоре с Б. Кетрицем о славянских делах.

Однажды, после ухода А. И. Урусова, я решился указать Михаилу Евграфовичу очевидное противоречие между тем, что он сейчас высказывал, и его собственными писаниями. Он усмехнулся (кажется, единственный раз во все лето).

— Да ведь скучно же, когда люди сойдутся и поддакивают друг другу! Что хорошего, если я буду изрекать, а он «дакать» или наоборот! И вам, юноша, советую почаще проверять себя таким же способом: услышите иногда такие выражения, до которых

¹ Сестра моя, Л. Ф. Унковская, уезжая с мужем (А. М. Унковским, известным юристом и деятелем реформы по освобождению крестьян, товарищем и другом М. Е. Салтыкова) за границу на все лето 1868 года, предложила мне, тогда двадцатилетнему юноше, занять на время их отсутствия одну комнату в их квартире (М. Итальянская, д. 24). Скоро после моего переселения из меблированных комнат в кабинет зятя, в Петербург приехал из Рязани М. Е. Салтыков и тоже остановился, по обыкновению, в квартире Унковских. Так как все остальные комнаты, кроме кабинета, были заперты, нам пришлось поместиться вместе и так прожить все лето, до возвращения хозяев. (Примеч. Е. Буринского).

сами бы ни за что не додумались. Особенно полезно спорить с единомышленниками, став на противоположную точку зрения. С книгой тоже надо спорить: читать ее мало. Чичиковский Петрушка тоже все читал, но его чтение все-таки было лучше, чем большей части ваших сверстников: он по крайней мере сейчас же забывал прочитанное, а ваша братия чуть не слово в слово заучивает. Когда принимаетесь за книгу, тотчас же задайтесь мыслью, что в ней все наврано, и старайтесь не соглашаться, спорьте с книгой. Без этого непременно попугаями будете, все равно какого цвета, белого, или красного, или серого!

Впоследствии встречаясь еженедельно с Салтыковым у зятя по «пятницам» *, на которые собирались Н. А. Некрасов, С. В. Максимов, Т. И. Филиппов, И. Ф. Горбунов и др., я много раз бывал свидетелем «припадков самопротиворечия», частенько находивших на Михаила Евграфовича. Эти припадки хорошо были знакомы многим, особенно А. М. Унковскому, который умел к ним приноровляться. Только люди, очень близко знавшие Салтыкова, могли безошибочно различать, спорит ли он «от души», или в «припадке самопротиворечия»: в первом случае он особенно часто подергивал головой, как будто его беспокоил воротничок сорочки (привычка, никогда не покидавшая Михаила Евграфовича), и говорил менее грубо, тогда как в «припадке» он бывал невозможно груб, язвителен, но голова подергивалась не так часто.

Очень возможно, что Б. Кетриц познакомился с Салтыковым как раз в такую минуту, когда тот был в ударе «спорить с самим собой, споря с единомышленником» *. Поэтому, повторяю, очень было бы неосторожно сделать заключение, что Салтыков искренне не сочувствовал освобождению славян в 1877 году русскими.

Кстати, говоря о М. Е. Салтыкове и о нашем совместном жительстве в 1868 году, замечу в виде курьеза, что при нас состоял в качестве фактора... Колупаев! Этот Колупаев, бывший денщик моего дяди, так умел вести свои дела, что тотчас же после смерти своего барина генерала оказался обладателем не одного десятка тысяч рублей. Он открыл большой табачный магазин, ссужал деньгами (и крупными суммами) под векселя за огромные проценты молодых гвардейцев, исполнял всевозмож-

ные поручения по покупке чего угодно, комиссионерство-
вал на все лады и т. п.

Салтыков никогда не мог спокойно произнести фамилию нашего фактора.

— Скажите, Иван, ваш отец тоже назывался Колупаевым, или вы сами себе придумали такую фамилию? Во всяком случае, удачнее ничего быть не может! Колупаев! Черт знает что такое!

Этот Колупаев знал, что фамилию его Салтыков обессмертил *, но был очень доволен и до самой смерти Салтыкова выказывал ему полное уважение и преданность. Под конец лета 1868 года Салтыков просто не мог обойтись без Колупаева: мебель ли купить, квартиру нанять, денег достать (было и это) — все поручалось Колупаеву, и Колупаев всегда оказывался на высоте оказанного ему доверия... конечно, не без выгоды для себя.

Н. А. Белоголовый

Среди людей, которых на закате своей «горькой жизни» Салтыков вправе был считать близкими друзьями, доктор Николай Андреевич Белоголовый (1834—1895) должен быть назван одним из первых. «Вы единственный, быть может, человек, который не охладел ко мне», — писал Салтыков Белоголовому весной 1888 года (XX, 357). А полгода спустя, уже всецело находясь во власти предсмертного недуга, Салтыков сделал ему такое признание: «И письмо это пишу через силу, опасаясь, чтоб не произошло перерыва в общении с человеком, которого я люблю более, нежели кого-либо из друзей» (XX, 375). Любовь к человеку — «отличнейшему человеку» (XIX, 263) — соединялась у тяжелобольного Салтыкова с верой во врачебное искусство Белоголового. Жена его, Софья Петровна, — по мнению Салтыкова, тоже «отличнейший человек», — писала в 1885 году Лаврову: «Михаил Евграфович смотрит на Николу как на спасителя во всех отношениях» (ИМЛ, ф. П. Л. Лаврова, п. 32, лл. 71—72).

Один из лучших врачей-терапевтов своего времени, Белоголовый был весьма разносторонним человеком, с широким кругом общественных интересов. Не в виде комплимента, а вполне искренне писал ему Салтыков: «С Вами, кроме болезней, и о многом другом можно было посоветоваться...» (XIX, 362). С молодых лет и до старости Белоголовый жил передовыми социально-политическими и литературными интересами. Его первыми учителями были ссыльные декабристы — П. И. Борисов, А. П. Юшневский и А. В. Поджио (детство и отрочество Белоголового прошли в Сибири). Юношей он учился в Московском университете. Это было в первую половину пятидесятых годов, когда с кафедры старейшего русского университета звучало слово Грановского — «просветителя нации», по определению Чернышевского — слово, оказавшее вслед за

идеями декабристов большое влияние на формирование взглядов Белоголового. По окончании университета Белоголовый, работая практикующим врачом сначала в Сибири, а потом в Петербурге, испытывает сильное воздействие демократического подъема этого времени. Он не вступает в ряды «революционеров 61 года» (Ленин), но их вождь, Чернышевский, навсегда остается для него «святым именем». В начале семидесятых годов Белоголовый сближается с литературно-общественной группой журнала «Отечественные записки». Он становится лечащим врачом и другом всех руководителей журнала — Некрасова, Салтыкова, Елисеева. Еще раньше он заводит дружеские связи с другими выдающимися людьми эпохи — в России и в русской революционной эмиграции: с Толстым, Тургеневым, Герценом, Огаревым, Лавровым, Лопатиным.

В 1881 году Белоголовый оставляет медицинскую практику и, поселившись за границей, отдается литературно-политической деятельности. С 1883 года он становится одним из негласных редакторов женевской эмигрантской газеты «Общее дело», с которой был связан со дня ее основания в 1877 году. Свое участие в этой газете, просуществовавшей до 1890 года, Белоголовый тщательно конспирировал, так как не хотел закрывать себе пути возвращения в Россию.

С начала восьмидесятых годов не медицина, а общественно-политические интересы становятся, как любил говорить Белоголовый, «движущим нервом» его жизни и деятельности. Белоголовый превращается в неутомимого обозревателя русской общественной жизни. Он ведет два «обозрения». Одно, под названием «Хроника» — в «Общем деле», другое, не предназначенное к печати, — в форме писем к Лаврову, которые с удивительной регулярностью, через каждые три-четыре дня, посылались на протяжении полутора десятков лет (они еще не изданы). И каких бы разнообразных вопросов ни касался Белоголовый в своей «Хронике» и в письмах к Лаврову, в написанных им строках всегда пульсировала политическая жилка, всегда чувствовалось дыхание общественной злобы дня, — хотя и несколько охлажденное тем «прекрасным далеко», в котором *добровольно* пребывал автор (чего ему, при всех чувствах симпатии, никогда не прощал Салтыков).

Белоголовый всегда с глубоким протестом относился к русским политическим порядкам и ненавидел их основу — самодержавие. Реформы шестидесятых годов, по его мнению, были недостаточными. Они не оживили страну, мумифицированную веками крепостнического рабства и феодального застоя. Его планы решения главной проблемы — перевода страны на рельсы свободного развития — требовали проведения более радикальных преобразований

в России. «Мы, как древние богатыри, — писал Белоголовый об исканиях русской общественной мысли, — стоим по-прежнему на перекрестке трех путей, которые открывает нам история» («Общее дело», № 23). Белоголовый имел в виду те пути, которые Бакунин в начале шестидесятых годов выразительно связал с тремя именами: «Пугачев, Пестель или Романов?»

К «пути Пугачева» никогда не лежало сердце Белоголового. Он страшился крестьянского восстания, «народной дикой революции» (Записки Отдела рукописей, Гос. библиотеки СССР им. В. И. Ленина, вып. 2, М. 1939, стр. 52). В периоды демократических подъемов в стране, в начале шестидесятых и в конце семидесятых годов, он не раз склонялся к «пути Пестеля» — к пути революционных или, во всяком случае, радикально-реформистских преобразований, но без участия широких народных масс. Этим определялась поддержка, которую оказывал Белоголовый на страницах «Общего дела» революционному движению, — несмотря на то, что оно в его глазах являлось «крайним и прискорбным проявлением духа прогрессивного общественного самосознания» (там же, стр. 67). «Хотя я и не Вашего прихода, — писал Белоголовый Лаврову, — а жаль, что партия «Народной воли» сходит со сцены, все же это была организованная партия протеста» (там же, п. 35, лл. 64—65). К середине восьмидесятых годов, в связи с углублением реакции в России, в политических настроениях Белоголового происходят сдвиги вправо. Он теряет и ту небольшую, нетвердую веру в активные силы русского общества, которая была у него раньше. «Наша интеллигенция, — пишет он Лаврову, — самым добродушным образом ковыряет у себя в носу, а Вы все ждете, что она вот-вот двинется на какие-то баррикады. Ну и ждите. Вы — блаженно-верующие!» (там же, п. 38, лл. 40—41).

«Наш беспочвенный радикализм и наш трусливый либерализм», — оценивает Белоголовый силы «русской оппозиции» царизму и, обращаясь в качестве «либералишки» к революционеру Лаврову, заключает: «Настоящая русская жизнь ни Вас, ни нас знать не хочет» (там же — п. 34, лл. 78—79 и п. 36, лл. 77—78).

В черные годы разгула катковщины и победоносщины реакционная «повадливость» русского «культурного человека» усиливает пессимизм Белоголового: «наша опара села и никогда не взойдет больше — дрожжи выдохлись». В революционную активность масс Белоголовый по-прежнему не верит и боится ее. Все это приводит его к выводам, опровергнутым скоро историей — что реальным остается лишь «путь Романова», путь реформ сверху, проводимых существующей властью (которую он продолжает ненавидеть) методом «просвещенного абсолютизма», «Революция, — утверждает

в 1887 году Белоголовый, — если может произойти, то во всяком случае только сверху, по царской инициативе, а никак не снизу» (там же, п. 36, лл. 85—86).

В рамки колебаний между «путем Пестеля» и «путем Романова» вмещаются все тактические искания Белоголового.

Иными словами, редактор «Общего дела» был не революционером, а буржуазным демократом. Он и сам всегда называл себя «либералом» (и уничижительно — «либералишкой»), «человеком умеренных взглядов», «средним человеком», «постепеновцем», «мирным гражданином». Либеральные установки Белоголового не могли не повлиять на его восприятие Салтыкова, не могли не отразиться и на портрете сатирика, нарисованном в печатаемых воспоминаниях. Вопреки мнению многих современников Белоголовый отказывается причислить Салтыкова к социалистам, заявляя, что «вся его литературная деятельность в общем, вся его личная жизнь противоречат такому зачислению». В подтверждение Белоголовый приводит слышанную им от Салтыкова сравнительную характеристику западноевропейской и русской буржуазии. Но из этой характеристики следует лишь, что нарождавшаяся в России «колупаевщина» воспринималась сатириком преимущественно, если не исключительно, с ее разрушительной и дикой, «чумазовской» стороны. В достигшем же своей зрелости буржуазном обществе Запада Салтыков различал и социально полезный его слой, чьи «труды нередко производительны для всего человечества». Очевидно, однако, что отношение иностранных капиталистов к более высокому — организационно и культурно — типу буржуазии, чем тип российского купца-толстосума, не может являться основанием для того, чтобы поставить под сомнение искренность и полноту симпатий Салтыкова к социализму. Ничего не доказывают и намеки Белоголового на элементы дворянско-буржуазного стиля в домашнем быту семьи Салтыкова. Цепляясь за детали и частности, Белоголовый игнорирует главное — идейное содержание щедринского творчества, вдохновленного идеалами социализма (утопического) и в самой своей сущности враждебного буржуазному миру.

Конечно, этот ошибочный взгляд мешал Белоголовому объективно отнестись к соответствующим сторонам духовной личности и творчества Салтыкова. Интересен в этом отношении отзыв Белоголового о «Мелочах жизни». «Это уже не сатира, — писал Белоголовый Лаврову 21 ноября 1886 года, — а целый философско-социальный трактат, который Вам, вероятно, очень понравится, я же к основной идее его остаюсь холодным, а потому одобряю в самой умеренной степени, но только еще больше поражен удивительной свежестью и силою его таланта...» (там же, п. 35, лл. 54—55),

«Основной идеей» не одобряемого Белоголовым произведения являлась критика буржуазного общества с позиций грядущего социализма, к неведомым дням которого Салтыков протягивал нити от разорванности, свары и смуты «мелочей жизни» частнособственнического строя. Белоголовый и должен был, разумеется, остаться «холодным» к этим идеям. Не в том дело, что он не ценил моральной, гуманитарной и свободолобивой стороны социалистического идеала. Но он не верил в его осуществимость и называл социализм не иначе как «страной с кисельными берегами» (там же, п. 38, лл. 23—24).

Неверное освещение столь важного вопроса, как вопрос о социализме Салтыкова, тем не менее не лишает «Воспоминаний» Белоголового значения одного из наиболее важных мемуарных источников для биографии сатирика. Но при оценке этих воспоминаний, к сожалению незавершенных и поэтому фрагментарных, следует помнить, что, хотя они написаны человеком, которому Салтыков безгранично доверял, от которого не имел никаких тайн, и написаны с полной искренностью, в них нарисована не вся картина их взаимоотношений. Кое о чем, и как раз об очень важном, Белоголовый не мог рассказать по весьма серьезным причинам.

Несмотря на умеренность своих политических взглядов, Белоголовый, как сказано, весьма активно вел за границей конспиративную литературно-политическую работу и входил, по ходу этой работы, в деловой и дружеский контакт с революционерами. Он принадлежал к тем немногочисленным деятелям буржуазной оппозиции в России семидесятых—восемидесятых годов, которых называли «либералы с бомбой». Органам политического надзора самодержавия осталось неизвестным многое в этой деятельности Белоголового. Но кое о чем там знали, о другом догадывались. «Этот Белоголовый — весьма подозрительная личность», — написал директор департамента полиции Плеве на представленной ему копии письма Белоголового к Салтыкову, попавшего в перлюстрацию (ЦГИАМ, Секретный архив ДП, № 23; 1883). Определяя в 1887 году программу «Общего дела», Белоголовый писал, что она «закключалась в борьбе с самодержавием посредством обнаружения во всей наготе его отживших форм и порядков и в призыве к содействию нам всех убежденных, как мы...» («Общее дело», № 97). К этому содействию Белоголовый привлек и талант Салтыкова, всей своей силой обращенный на разрушение самодержавного строя, на развенчание его идей и авторитетов. Белоголовый несколько раз печатал на страницах «Общего дела» запрещенные цензурой произведения Салтыкова, правда, — в целях безопасности сатирика, — лишь те, которые уже ходили по России в списках и нелегальных литографированных из-

даниях. Кроме того, как это установил С. С. Борщевский, для своей «Хроники» Белоголовый обильно черпал материалы из обращенных к нему частных писем Салтыкова («Новый мир», 1939, № 7, стр. 258—260).

Когда реакция в России начинала особенно ядовито травить Салтыкова, «Общее дело» возвышало свой голос в его защиту и при этом почти всегда ставило имя Щедрина рядом с именем Чернышевского¹.

В редакции «Отечественных записок» конспиративно сотрудничали некоторые революционные эмигранты, в том числе Лавров. Главным же посредником в сношениях Салтыкова с Лавровым был Белоголовый, связанный давней дружбой с автором «Исторических писем» (при всем расхождении их принципиальных позиций).

С посредничеством Белоголового связан еще один конспиративный эпизод в биографии сатирика. В августе 1881 года Салтыков предупредил Кропоткина и Рошфора о террористических актах, замышлявшихся против них «Священной дружиной» — тайной контрреволюционной организацией царизма. Вслед за тем последовало публичное разоблачение «Священной дружины». Это было сделано в статьях «Белый террор» и «Nec plus ultra», появившихся в сентябрьском номере «Общего дела» за 1881 год. Статьи были написаны одним из редакторов газеты — Варфоломеем Зайцевым, но содержание их восходило к той информации, которая была передана Белоголовому Салтыковым, получившим ее в свою очередь от Лорис-Меликова.

Все эти и некоторые другие важные факты из истории отношений Салтыкова с Белоголовым остались, естественно, за пределами воспоминаний, создававшихся в расчете на подцензурную печать человеком, которому едва разрешили вернуться в Россию.

¹ Вот несколько примеров (автором всех приводимых анонимных текстов является Белоголовый).

В № 61: «Нынешнее поколение не имело смелости заступиться за талантливейших своих представителей Чернышевского и Салтыкова».

В № 62: «Всякий негодяй, доползший до властного местечка, может играть, как пешками, жизнью людей, хотя бы эти люди носили имена Чернышевских, Салтыковых, Тургеневых, Л. Н. Толстых».

В № 63: «Катков и Суворин, которых не должно бы терпеть среди себя ни одно уважающее себя общество <...>, призваны руководить общественным мнением, в то время когда талантливейшие современные писатели — Чернышевский, Салтыков и Лев Толстой лишены возможности писать и права печатать свои произведения».

Значительное место в «Воспоминаниях» Белоголового занимает введенный в них биографический очерк о сатирике (незавершенный). Известная по предыдущим изданиям печатная редакция очерка широко использована в литературе. Белоголовый указывал в этой редакции, что он сообщил в своих биографических заметках «только то, что нам удалось слышать от самого Салтыкова о его жизни» (Н. А. Белоголовый, Воспоминания и другие статьи, М. 1897, стр. 234). Такая формулировка позволяла предполагать, что Белоголовый воспроизвел *по памяти* содержание тех автобиографических рассказов Салтыкова, которые довелось слышать мемуаристу в начале и в середине восьмидесятых годов. Печатаемая нами более поздняя и подробная рукописная редакция очерка вносит важное уточнение в приведенную формулировку. Уточнение содержится в следующих словах, предваряющих очерк: «К счастью, я тогда же <летом 1885 г.> набросал для себя на всякий случай его рассказы и, разыскав теперь эти старые краткие заметки, постараюсь <извлечь?> из них все то, что может впоследствии послужить руководящей нитью для составления более цельной и законченной биографии Салтыкова» (подчеркнуто нами. — С. М.).

Это обстоятельство, ранее неизвестное исследователям, значительно повышает документальную ценность биографического очерка, написанного Белоголовым.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О М. Е. САЛТЫКОВЕ

<1>

Я намереваюсь передать здесь все, что осталось у меня в памяти о последней заграничной поездке М. Е. Салтыкова, предпринятой им летом 1885 года в Висбаден, где мне пришлось прожить с ним четыре недели под одной крышей и ежедневно проводить с ним многие часы.

Знакомству нашему тогда исполнилась уже десятилетняя давность, и, начавшись в 1875 году* во время его тяжелой болезни в форме отношений пациента и врача, оно впоследствии приняло более интимный и приятельский характер и после выезда моего за границу в 1881 году поддерживалось постоянно оживленной перепиской. Корреспондент он был изумительный по аккуратности, — и я всегда удивлялся, как при обилии своих письменных работ он не только не тяготился часто писать письма, но и любил сам их получать; стоило только

на неделю замешкаться ответом к нему, как он тотчас же раздражался или жестоким выговором или жалкими упреками, вроде того, «что он всем надоел», «все его забывают» и т. п. Здоровье его было с давних пор плохо, но, любя горячо свои литературные занятия, он чуть не целые дни просиживал за своим письменным столом, читал, писал и в этом любимом труде находил до некоторой степени отвлечение от мучительных припадков и свойственной ему хандры. К весне 1885 года не вдруг, а мало-помалу ему стало делаться заметно хуже: сначала начали его беспокоить нервные боли в глазах, не связанные ни с каким очевидным повреждением зрительного аппарата, а между тем заставившие его отказаться от обычного чтения, а вслед за тем появились судорожные сокращения в мышцах тела, особенно выраженные в руках, голове и верхней части туловища и до такой степени сильные, что писание стало для него не только затруднительным, а почти невозможным; не будучи, таким образом, в состоянии отдаваться своему обычному времяпрепровождению и видя в этом ухудшении наступление финала своей писательской деятельности, он, понятно, сделался еще более раздражительным и сильно затосковал...

Врачи находили полезным рассеять его слишком сосредоточенное на своем здоровье внимание поездкою за границу, но так как он для своего развлечения ни за что бы не оставил Россию, то они прибегли к такой уловке: детям его вначале было прописано провести лето с матерью в Гапсале, теперь же этот план был переделан и им назначено было брать сначала железно-грязевые ванны в Эльстере, а потом купаться в море, а при этом плане и Михаил Евграфович, чтобы не оставаться все лето одному в Петербурге, должен был тоже ехать за границу. Оно так и случилось, но и тут он, отправив семью в конце мая, сам насилу собрался выехать в конце июня.

Я намерен остановиться несколько дольше на этой поездке, чтобы по возможности подробно передать все, что осталось у меня в памяти от моих частых встреч с Михаилом Евграфовичем и бесед, имевших место за эту его последнюю поездку. Я жил в это время в Висбадене и часто с ним переписывался, и из писем видел, что у него сильное желание приехать также в Висбаден и пожить со мною вместе: в его планы входило приехать к семье

в Эльстер к концу ее лечения, переехать с нею с Висбаден и потом, отпустив ее к морю, самому остаться на некоторое время в этом городе. По мере того как приближалось наше свидание, я видел со страхом, что ему делается все хуже и хуже *: уже последние письма из Петербурга были писаны им сильно дрожащим и изменившимся почерком, а из Эльстера я стал получать коротенькие записки, написанные так, что с трудом можно было разобрать, с беспрестанным пропуском букв в словах, и наполненные самыми отчаянными жалобами на свое состояние. В одном из этих писем он извещал, что 10 июля приедет с семьей в Висбаден, и просил задержать для него на две недели комнаты в пансионе, где он прежде жил, — и действительно, в означенный день поздно вечером он приехал *. Когда на завтра утром я пришел навестить его, то только потому не удивился перемене, происшедшей в нем за два года со времени нашего последнего свидания, что письмами был приготовлен к самому худшему. Наружно он заметно похудел, и лицо его стало бледно-желтым; при моем входе он встал мне навстречу, подал мне руку, но потом тотчас же в каком-то нервном изнеможении опустился на стул и закрыл лицо рукою, — и так просидели мы молча с полминуты; когда же, наконец, на мои расспросы, он заговорил, то меня поразило в его речи свойство, прежде ей не присущее, а именно какое-то бормотанье, неясное произношение слов. Вскоре, начав рассказывать о своих приключениях во время путешествия, он оживился, хотя живость эта была раздражительная, и, отвечая ему, надо было быть крайне осторожным, чтобы как-нибудь словом не впадал или противуречием не усилить эту раздражительность. Он жаловался на все: на железные дороги, на отели, на извозчиков, но больше всего доставалось врачам, выславшим его за границу. Затем зашел разговор о здоровье, и так как время подошло к обеду, трое мы, условившись, что я на следующее утро зайду его посмотреть, расстались.

Назавтра медицинский осмотр дал мне те же болезненные явления, которые я находил года три-четыре тому назад, только еще более в усиленной степени под влиянием времени. В этом развинченном организме не было ни одного органа нормального, и воистину приходилось удивляться его живучести: сложный сердечный порок, стародавний бронхит, заставлявший подозревать расши-

рение дыхательных ветвей, хроническое поражение печени и почек, частые кишечные катары и т. п. — все это выразалось еще яснее, чем прежде, но теперь отступило на второй план, на первый же выступал ряд явлений, свидетельствовавших о поражении мозгового существа, а именно — заметное ослабление памяти относительно того, что делалось вокруг него за последние дни, решительная невозможность сосредоточиться на своей творческой работе и что-нибудь написать, сильное подергивание рук и мышц лицевых, раздражительность, бывшая, правда, всегда, но теперь переходившая все границы, и т. д. Разговоры его большею частью вращались около его болезни, около описания своих болезненных ощущений, и отвлечь его на другие темы составляло немало труда, а если это удавалось, то по-прежнему приходилось нередко удивляться оригинальности и остроумию этого ума, его изощренности схватывать смешные стороны предмета и возводить их до гротеска. Нередко бывало, что, разговорившись, он начинал увлекаться своим рассказом, острить, лицо его оживлялось, как вдруг в самом пылу увлечения он вдруг останавливался, говоря: «Ну вот, меня снова начинает душить» или «дергать», и тотчас же впадал снова в свое мрачное настроение. Несмотря на то, что он высказывал постоянно полную безнадежность в своем поправлении, он неотступно самым жалостливым голосом просил что-нибудь ему выписать и, ругая бесплодность лекарств, целый день принимал в известные часы то ложку микстуры, то капли, то порошки и ужасно боялся, как бы не перепутать и не пропустить время приема. Все мои старания ограничить его в этом постоянном глотании лекарств были напрасны; и на все мои уговоры приостановить хоть на несколько дней то или другое из них он обыкновенно умолял: «Ах, нет, пожалуйста, не отнимайте у меня, ведь я чувствую, что оно мне помогает». И приходилось уступать ему.

Десять дней семья его прожила с ним в Висбадене, и не проходило дня, чтобы мы не видались: то я заходил к нему, то он, задыхаясь и с остановками, поднимался к нам, несмотря на то, что мы жили на горе. Все это время больше всего его угнетало то, что он не мог написать задуманную им сказку «Богатырь» *, каждый день садился он к письменному столу, писал несколько строк, но тотчас же зачеркивал; он жаловался, что не может

подбирать выражений для своей мысли, хотя скелет сказки лежал совсем готовый в голове; сущность ее он передавал приблизительно в следующем виде: «Родился богатырь, здоровенный, голос как труба, растет в люльке не по дням, а по часам, и все ждут с радостной надеждою: что из него выйдет, когда он вырастет? Вот уж он вышел из люльки и все растет и здоровеет, подрос так, что пора бы уж ему из дому на вольный воздух, а он все сидит и только растет да изумляет свою семью страшной силой. Наконец однажды он встал, потянулся и вышел из дому, родные и знакомые следовали за ним вдали с смутным трепетом радостной надежды, повторяя себе: «Идет, идет богатырь! Ну что он теперь натворит?» Богатырь прямо пошел в близлежащий лес, идет, играючи выворачивает огромные деревья, а толпа, следующая сзади, дивится силе и говорит: «Ну что-то дальше будет?» А богатырь дошел до огромного дупла, остановился, посмотрел внутрь, залез в него, свернулся калачиком и уснул. Долго стояла толпа вокруг дупла в благоговейном ожидании, что сон этот будет непродолжителен, и говорила всем: «Тише, тише, спит богатырь, не будите». Однако, простоявши так немалое время и видя, что богатырь не просыпается, разошлись по своим делам¹, говоря шепотом: «Тише, тише, не будите, спит богатырь». Пришли вечером, смотрят: все спит богатырь, и храм его стоит по лесу; пришли назавтра — то же самое, да так он и спит все по сие время».

Кроме этой сказки, ему хотелось написать для «Русских ведомостей» еще две сказки — «Солнце и свиньи» и «Забывтая балалайка», в которой он хотел представить И. С. Аксакова, — но обе эти сказки еще не были им достаточно обдуманы*.

Между тем приближалось время отъезда семьи Салтыкова к французским морским купаньям в Ройане; * сам же он находился в колебании, вернуться ли ему прямо в Петербург из Висбадена, или же остаться с нами на некоторое время. Состояние его было таково, что пустить его в Россию одного было бы очень рискованно, он мог не только захворать, но умереть дорогою, что он сам, очевидно, понимал; даже оставить его одного в каком-нибудь из висбаденских отелей я находил небезопасным

¹ В рукописи имеется вариант: «по своим домам».

ввиду его крайней слабости и психического угнетения. К счастью, в пансионе, где мы жили, очистились как раз подле нас две хорошенькие комнаты, — и я предложил ему занять их с тем, чтобы жить с нами одним хозяйством, вместе обедать и ужинать. Он ухватился за это предложение с великою радостью, хотя не без оговорок, что он нам надоест, что не даст спать по ночам своим жестоким кашлем, и т. д., — и в тот день как уехала его семья, он, проводив ее, прямо с железной дороги приехал на новоселье*.

Жизнь наша сначала пошла так прекрасно, что мы с женою не могли нарадоваться, ибо, признаюсь откровенно, оба трусили немало этого сожительства, зная болезненную раздражительность и резкую нетерпимость Салтыкова. Но то ли прекращение вечных препирательств с женой и детьми, а вместо того наш внимательный уход за ним, то ли ему действительно это время стало немного полегче, но только на него нашел, как говорится, «тихий час», он стал чрезвычайно кроток и благодушен*. И тут, ближе вглядываясь в этого человека, можно было легко заметить, что столь щедро одарившая его природа дала ему и прекрасное сердце и весьма деликатную нравственную организацию, и только продолжительная болезнь да семейные невзгоды сделали то, что на фоне головлевской наследственности развился такой дикий и грубый человек, каким представлялся Салтыков для лиц, мало его знавших. Для нас он не только не был грубым человеком, а агнцем доброты и кротости, в высшей степени деликатным во всех сношениях и горячо благодарным нам за дружеский уход, которым мы старались его окружить.

Прожили мы вместе около шести недель и, против наших ожиданий, дружно и гладко, без малейших столкновений. Михаил Евграфович не хотел нарушать рутины нашей жизни, которую мы с женой привыкли вести, и совершенно к ней прилачился. Утрами я заходил к нему, всякий раз выслушивал его жалобы на различные болезненные припадки, старался его успокоить и непременно каждый день подвергал его медицинскому осмотру, так как заметил, что он дает большое значение такой внимательности к себе и очень ценит ее, и, покончив с этой статьей, пытался развлечь его политическими новостями дня; он сам аккуратно пробежал несколько русских газет

и, кроме того, «Temps» и «Figaro». Потом он усаживался или писать письма к жене и к знакомым, или же отправлялся навестить гр. Лорис-Меликова; хотя последний жил не далее десяти минут от нас, Михаил Евграфович должен был брать извозчика, потому что не мог, вследствие страшной своей одышки, подниматься на крутую гору, где находилась квартира графа. К половине первого часа он приходил к нам, и мы тотчас же садились втроем обедать; ел он чрезвычайно умеренно, и так как мы с хозяйкой пансиона условились, чтобы она почаще давала нам дичь, которую он особенно любил, то он обыкновенно оставался доволен нашим простым и безыскусственным столом. В три часа он уходил к себе отдохнуть, а в пятом часу шел в курзал на музыку, возвращался к себе, читал и в седьмом часу, когда мы приходили с нашей прогулки, шел к нам, мы ужинали вместе и беседовали до девяти или девяти с половиной часов, когда он вставал, чтобы, протренившись, уйти на свою половину.

Эта тихая, правильная жизнь нередко разнообразилась визитами к нам кое-кого из знакомых, заезжавших в Бисбаден по дороге, или чтобы посоветоваться со мною, или просто повидаться. Так, дня три прожил покойный поэт Надсон, которого я устроил в нашем же пансионе в двух комнатах между своими и салтыковскими; заезжали М. М. Стасюлевич, Ядринцев, сенатор Арцимович и другие *. С мало знакомыми или вовсе неизвестными лицами Михаил Евграфович обходился не только сдержанно, но резко, большею частью угрюмо молчал, чем приводил в немалое смущение и даже трепет наших гостей, хотя мы всегда старались оставлять у себя на обед или ужин только людей, более или менее симпатичных ему по уму и взглядам. На покойного Надсона он нагнал такой страх, что тот после отъезда в письмах ко мне, прося передать поклон Михаилу Евграфовичу, прибавлял: «Если только это его не рассердит» *. В числе моих хороших знакомых жил тогда граф П.-Б. *, который посещал нас довольно часто; это был старый холостяк, образованный и очень богатый аристократ, относившийся с большим почтением к Салтыкову; чтобы поразнообразить для Салтыкова наш довольно в сущности однообразный стол, я попросил графа П. задать нам тонкий обед, пригласив мою жену, меня и его, а чтобы еще скрасить этот фестиваль для Салтыкова, пожертвовать несколько

сот в пользу литературного фонда, в котором Михаил Евграфович принимал всегда самое горячее участие. Обед был устроен на славу, а когда в заключение за десертом хозяин поднес Салтыкову, помнится, тысячу рублей для внесения от имени неизвестного в литературный фонд, то Михаил Евграфович был совсем растроган. После обеда он вскоре ушел домой; мы же оставались в гостях еще довольно долго, и когда сделали несколько шагов, то счечь удивились, увидав в подъезжавшей «конке» Михаила Евграфовича, стоявшего на ногах и усиленно махавшего нам руками; поравнявшись с нами, он остановил вагон, продолжая меня подзывать, а когда я подошел, заговорил взволнованно и торопливо: «Этакая чертовщина! вздумал я прокатиться на конке, а кошелек или потерял, или оставил дома, расплатиться нечем и сойти потому не могу: вот уж третий раз объезжаю кругом всего города, и кондуктор, должно быть, считает меня или за сумасшедшего или за жулика и начинает посматривать на меня подозрительно. Какое счастье, что вас встретил, а то я, чтобы не проездить до ночи, подумывал отдать в залог часы, — и то уж наездил на себя уйму денег». Я дал ему денег, и он покатиł заканчивать свой третий объезд Висбадена.

Особенно врезался у меня эпизод приезда известного критика и библиографа Павла Васильевича Анненкова. С последним Михаил Евграфович сошелся в Баден-Бадене, где прожил несколько месяцев в 1876 году, когда лечился от сочленовного ревматизма; Анненков же был давно постоянным жителем Баден-Бадена и в описываемый нами год, узнав, что Салтыков не может по болезни навестить его, прислал телеграмму, что выезжает сам на свидание в Висбаден* в день депеши. Получив это известие, Михаил Евграфович пришел ко мне утром, не столько обрадованный ожидаемой встречей, сколько, по своей нервозности, раздраженный внезапною и близостью ее. «Ну зачем он едет? — говорил он, — он едва ноги волочит, еще недавно после удара совсем не мог ходить и говорить, я тоже вот в каком положении, — ну какое может быть между нами свиданье? Еще, пожалуй, оба издохнем тут, на ваших руках! А все-таки мне надо встретить гостя на железной дороге; скажите, когда приходит поезд из Бадена?» По справке оказалось, что приехать Анненков может скорее всего в третьем часу дня, а потому надо

ехать на станцию тотчас после нашего обеда, и я, чтобы облегчить Михаилу Евграфовичу розыск приехавшего, настоял, что поеду вместе с ним. Так мы и сделали, но, к нашему разочарованию, в прибывшем поезде Анненкова не оказалось, и я объяснил себе это, что он как-нибудь пропустил поезд в Майнце, где ему надлежало переместить вагон, и что, вероятно, приедет с следующим, приходившим через час, а потому уговорил Салтыкова прождать этот час на станции. Приходит следующий поезд, я самым тщательным образом обшарил все вагоны, но Анненкова и тут не было, — и мы не без недоумения и не без досады вернулись домой. Каково же было мое удивление, когда часа через два, возвращаясь с прогулки с женой, я увидал, что на балконе нашего дома Салтыков стоит с Анненковым и беседует. Михаил Евграфович тотчас же вышел мне навстречу в коридор и торопливым шепотом стал говорить: «Ну хорош же Анненков; вот так развалина! пропустил в Майнце поезд и приехал на извозчике, потерял свой багаж, и лучше всего то, что я вскоре после вашего ухода выхожу случайно на балкон и вижу, что Анненков на противоположной стороне улицы смотрит номер дома, я ему кричу: «Павел Васильевич! я здесь, идите сюда!» — а он, представьте себе, мне отвечает: «Нет, мне сказали нечетный номер, а у вас какой, кажется, четный?» — и не идет, насили я его урезонил, что все время жил в № 8, а не в нечетном номере; я стою на балконе и уговариваю, а он стоит внизу перед входом и все мне не верит и упирается. Вот так гость!»

И действительно, от прежнего Анненкова, которого я не видал не более четырех лет, всегда добродушного, приветливого и оживленного собеседника, оставалась только разве его коренастая, ширококостная фигура; он обратился в дряхлого старика, говорил медленно, с запинкой и, под влиянием нед^оавно бывшего размягчения мозга, очевидно не вполне отчетливо относился и к лицам, и к месту, и ко всему с ним происходившему. Салтыков казался перед ним молодым и бодрым человеком, и он словно почувствовал это свое телесное превосходство, заметно подбодрился и с необычными ему внимательностью и молодцеватостью заботился обо всех мелочах, чтобы сделать пребывание Анненкову у нас приятным и удобным, например входил во все детали еды, чтобы хорошо угостить его, и, узнав, что Анненков любит рейнвейн, сам

отправился и купил бутылку вина потоньше. Сначала под влиянием дорожного утомления и приключений Анненков был шибко не в духе, старался, но безуспешно, объяснить, как он пропустил поезд в Майнце, и постоянно ругал немецкого извозчика, взявшего с него до Висбадена, по его мнению, чересчур дорого, а именно двенадцать марок, но потом он понемногу успокоился, на лице его появилась добрая улыбка и речь стала связнее и последовательнее. За ужином он и еще разошелся и делался еще более разговорчив, чем я и воспользовался, чтобы спросить у него, в каком положении стоит у него дело по разбору бумаг и писем покойного И. С. Тургенева, которое madame Виардо поручила ему? «Помилуйте, — отвечал Анненков, — в таком ли состоянии я теперь, чтобы заниматься подобной обширной и ответственной работой; писем и бумаг после Тургенева остались груды, и много интересного; и только что я приступил к рассортировке их, как захворал и вынужден был отказаться от предложения Виардо».

Салтыков был весел и очень любезен по отношению к гостю, так что ужин шел очень оживленно, и, по окончании его, мы, не вставая из-за стола, продолжали свою беседу, пока неожиданно не явился новый гость — один военный генерал, проживавший тогда в Висбадене и которого Михаил Евграфович недолюбливал *, — и, как я заметил уже раньше, приход к нам этого в сущности в<есьма> хорошего человека, но непричастного к литературе, вызывал всегда у него резкую перемену тона и усиленные подергивания. Так было и этот раз: Михаил Евграфович сразу сделался сух и угрюм, и клонсические судороги в мышцах лица, головы и всего туловища приняли такие размеры, что на него больно было смотреть; разговор тотчас перешел на военные темы, генерал и Анненков начали рассказывать разные военные анекдоты, Салтыков сосредоточенно молчал и едва держался на стуле от чрезмерных подергиваний, как вдруг я, с беспокойством следивший за этим редким по силе припадком, увидел, что судороги сразу прекратились, голова Михаила Евграфовича склонилась на грудь, — и этот внезапный переход до того меня поразил, что моею первою мыслью было: уж не умер ли он, или, по малой мере, не впал ли в глубокий обморок, тем более что, несмотря на все старание уловить дыхательные движения, я их

подметить не мог. Я машинально взглянул на жену, она смотрела на меня тревожно и вопросительно, а генерал монотонно продолжал тянуть какой-то бесконечный рассказ из жизни великого князя Константина Павловича и вместе с Анненковым не замечали нашей тревоги. Так прошло с минуту, и я уж собирался взять Михаила Евграфовича за руку и пощупать его пульс, как вдруг из груди его вырвался чуть слышный храп, и я убедился, что он просто задремал от усталости проведенного дня и убаюканный военными анекдотами. Через несколько минут он открыл глаза, смущенно оглядел нас и, убедившись, что мы не обращаем на него внимания, дослушал спокойно рассказ и, по окончании его, встал со словами: «А ведь уж половина десятого, и больным людям пора и на покой, а особенно вам, Павел Васильевич, после ваших дорожных приключений», а когда я их провожал по спальням, он мне шепнул: «Простите, пожалуйста, а я ведь вздремнул самым бессовестнейшим образом; очень уж допекли меня гости наши своими казарменными рассказами».

Утром Салтыков получил из Баден-Бадена депешу от Анненковой, в которой та спрашивала, где ее муж и что с ним случилось, так как взятый им с собой багаж возвращен назад из Майнца, а о нем самом нет ни слуха ни духа; ответ был послан самый успокоительный. Вплоть до обеда Михаил Евграфович занимал гостя, передавал ему разные петербургские литературные новости, гость молча сидел и слушал, по временам делая вопросы, нередко детски нелепые и явно показывавшие, что для этого ревностного бытописателя русской литературы эти еще недавно столь жизненные для <него> интересы потеряли смысл и значение, болезнь лишила и его памяти, и он почти автоматически выслушивал жалобы Салтыкова на современное положение литературы. Я несколько раз заходил к ним на выручку Салтыкова, боясь, чтобы такая бестолковая беседа не утомила его, но он с удивительным терпением и кротостью исполнял свою роль хозяина и не раздражался невольными вопросами собеседника; видимо, сострадание к болезненному положению последнего, уважение к его старым заслугам, и наконец, всегдашняя незлобивость Анненкова на этот раз совсем обезоружила обыкновенно столь вспыльчивого, как вулкан, сатирика. В один из моих забегов я застал, как Сал-

тыков подробно рассказывал гостю об успехе «Русской мысли». «А кто же ее издает?» — спросил Анненков. «Лавров!» — «А, вот как: значит, правительство его простило и позволило ему вернуться в Россию», — самым апатичным тоном произнес Анненков, даже не изумившись несколько такому предполагаемому им превращению в судьбе известного социалиста. Но Салтыков и тут справился с собой и, только бросив на меня знаменательный взгляд, продолжал ровным голосом: «Да что вы, Павел Васильевич? Как же это можно? Лавров, про которого я вам говорю, совсем другой, даже не писатель, а хлебный торговец, богатый лабазник».

Такая беседа продолжалась между собеседниками до обеда, после которого мы с Салтыковым проводили Анненкова на железную дорогу и усадили в вагон. «Ну, слава богу, все обошлось благополучно, — говорил мне Салтыков, возвращаясь домой, — угостили мы его на славу, и вы, пожалуйста, поблагодарите хозяев (нашего пансиона) за обед; он все хвалил мне — и обед, и вино, и ваши сигары, а он по всем этим частям дока: и сам всегда любил поест и любил других угостить, даже, бывало, на чужих обедах хлопотал больше хозяев по части угощения присутствовавших, так что в Петербурге кто-то остроумно и верно прозвал его гостеприимным гостем».

Когда не было у нас гостей, мы проводили время с Михаилом Евграфовичем в мирных беседах. Любимой и постоянной темой его была его болезнь и многочисленные его болезненные ощущения, но я старался его от них отвлекать, переводя разговор на литературу, явления общественной жизни и тому подобные предметы. Человек он был чрезвычайно горячий и страстный, в спорах сильно разгорячался, начинал говорить с окриком, но ни разу не помню, чтобы спор у него переходил, что в наших нравах, в личности, и готов был сейчас же согласиться с доводами противника, если находил их убедительными. Иногда такой конец спора у него выходил очень оригинально и даже поражал своей быстротой; например, как-то мы заспорили о даровитости и нравственных достоинствах еврейской расы; он нападал на евреев, я защищал их, доказывая, что евреи способны выставить крупных деятелей не только в банкирской и маклерской сфере, но и в ученой, называл имена известных мыслителей и ученых и т. д. «Да знаете ли? — загремел

Михаил Евграфович, — мне уж до крайности противна в них эта операция обрезания, которой они калечат своих детей». — «Ну, а я, вообразите, наоборот, великий партизан с медицинской точки зрения этой операции, — отвечал я, — на своих наблюдениях я убедился, что между евреями неизмеримо реже встречаются онанисты, чем между русскими детьми, и отчасти приписываю это той самой операции, на которую вы нападаете, — и на этом основании нередко настаивал на этой операции в русских семьях». И затем пояснил, почему я пришел к такому убеждению, с такими подробностями, которые приводить здесь было бы не у места. Я не мог удержаться от смеха, когда вместо всякого ответа Михаил Евграфович вскочил с кресла, стремительно подошел ко мне и серьезно спросил меня: «А как вы думаете, не надо ли нам обрезать Константина?» (его тринадцатилетний сын).

Вообще же до споров у нас доходило редко, и наш разговор носил почти всегда мирный характер. Известно, как он сильно любил литературу и охотно вел речь о ней, в своих приговорах о различных произведениях был очень строг, но, с точки зрения своей требовательности, беспристрастен и логически доказывал причины своего неудовлетворения тем или другим модным писателем. Помню раз, как он на меня горячо напал за то, что я отозвался неуважительно о талантах Виктора Гюго и Достоевского, и принудил меня сознаться в опрометчивости моего отзыва; закончил он свою защиту словами: «Как можно: у Достоевского был первостепенный талант, но только он в своих произведениях уродовал его, отдал на служение и восхваление самых уродливых тенденций. У него есть маленький рассказ «Кроткая»; * просто плакать хочется, когда его читаешь; таких жемчужин немного во всей европейской литературе». К творчеству Тургенева и гр. Л. Толстого относился с большим уважением, а о более поздних литературных силах сожалел, что у них чувствуется недостаток серьезного образования и они творят, слишком полагаясь на вдохновение, на свой талант и не сознавая даже необходимости и пользы большей систематичности и расширения знаний. Он однажды по этому поводу сказал: «И Тургенев находит тоже, что среди молодежи — талантов немало, но все они — грубы, не выполированы, и он меня сильно бранит за то, что я не стараюсь сближаться с ними и влиять на них част-

ными беседами; даже уговаривает меня открыть для этого журфиксы, и я сам понимаю, что это, пожалуй, следовало бы устроить, но как; я ведь человек дикий, не общественный, на словах горяч, и выйдет только то, что мы все перессоримся; да и жена моя — дама не литературная: я заведу литературные журфикисы, а она назовет на них своих знакомых, гвардейцев всякого оружия, что же это будет такое?»

Не раз поднимались в печати диспуты о том, принадлежал ли Михаил Евграфович к какой-нибудь политической партии, и решались различно. Мне кажется тоже, что, хотя он и имел завидно определенные политические взгляды, но с таким своеобразным оттенком, что его трудно было бы поставить под то или другое шаблонное партийное знамя. В ранней молодости, в конце сороковых годов, он увлекался тогдашними социалистическими теориями и, не принадлежа непосредственно к кружку Бутаевича-Петрашевского, не раз посещал какую-то группу этого кружка, в которой для неофитов читались произведения Фурье, Кабэ и др., и сам говорил, что через десять лет, по возвращении в Петербург, чувствовал, что последовательная и убежденная логика Чернышевского не оставалась на него без влияния, что иногда и выражалось на духе некоторых и гораздо позднейших его произведений, но это слишком мало, чтобы на основании его симпатий к основному источнику происхождения социализма, на основании его сочувствия к ненормальному и бедственному положению рабочего класса причислить Салтыкова к социалистам; вся его литературная деятельность в общем, вся его личная жизнь противоречат такому зачислению. Он сам однажды в разговоре так развивал свой взгляд на буржуазию: «Как говорят французы — *il y a fagots et fagots*¹, так есть буржуазия и буржуазия; я, как сам рабочий человек, не могу не чувствовать уважения к той части западноевропейской буржуазии, которая работает с утра до вечера самым добросовестным образом и честным трудом достигает благосостояния и обеспеченности; она обладает весьма солидными познаниями, и ее труды нередко производительны для всего человечества; не могу же я эту буржуазию ставить на одну доску с нашей, с каким-

¹ вещь вещи рознь (франц.).

нибудь московским фабрикантом, ворочающим миллионами и который сам не имеет ни малейшего понятия о труде, а всю свою жизнь проводит вечным именинником в кутежах да в пирах, он даже о технике своего производства не имеет ясных понятий и отнюдь не следит за его усовершенствованием, а ограничивается тем, что нанимает для фабрики англичанина управляющего, платит по двадцать пять тысяч рублей в год, тот ведет все дело, и наш фабрикант только или собирает деньги в кубышку, или спускает их в Кунавино» *. Я стараюсь употребить в этой передаче подлинные слова Салтыкова, но не ручаюсь, чтобы моя ослабевшая память могла восстановить их в точности.

Очень охотно любил он говорить о своем прошлом, вспоминать свое детство, и значительную часть этих детских воспоминаний я нашел впоследствии воспроизведенными в его «Пошехонской старине». Рассказывал он кое-что и о последующей своей жизни, воспитании, высылке, государственной службе и т. д.; к счастью, я тогда же набросал для себя на всякий случай его рассказы и, разыскав теперь эти старые краткие заметки, постараюсь <извлечь?> из них все то, что может впоследствии послужить руководящею нитью для составления более цельной и законченной биографии Салтыкова.

<2>

М. Е. Салтыков родился в январе 1826 года в селе Спасском, Калязинского уезда Тверской губ. Отец его был столбовой помещик, женившийся на купчихе; от брака этого родилось пять сыновей и три сестры *. Семья была дикая и нравная, отношения между членами ее отличались какой-то зверскою жестокостью, чуждой всяких теплых родственных сторон; об этих отношениях можно отчасти судить по повести «Семейство Головлевых», где Салтыков воспроизвел некоторые типы своих родственников и их взаимную вражду и ссоры, — но только отчасти, потому что, по словам автора, он почерпнул из действительности только типы, в развитии же фабулы рассказа и судьбы действующих лиц допустил много вымысла. Отец был человек смирный и находился совсем под башмаком жены, которая была и умнее и от-

личалась чрезвычайно властным характером; она же заведовала и всем сельским хозяйством и значительно увеличила фамильную собственность, прикупив несколько имений.

Первым учителем Салтыкова был какой-то сельский учитель в фризском скютке *, но это продолжалось недолго, ибо вскоре вернувшаяся из какого-то петербургского института старшая сестра занялась обучением братьев; она была очень строга и за всякую провинность била братьев линейкою так жестоко, что, вспоминая об этом периоде своего воспитания, Михаил Евграфович говорил с содроганием.

В 1837 году он был отправлен из деревни в Москву, в Дворянский институт, в котором провел около двух лет * и где преподавание было поставлено настолько удовлетворительно, что даровитый мальчик горячо увлекся занятиями и учился очень хорошо; в кружке его ближайших товарищей по институту было тогда стремление поступить впоследствии в Московский университет для усвоения высшего образования, и это стремление передалось и Салтыкову. А потому, когда в 1839 году состоялось министерское распоряжение о присылке из Дворянского института двух лучших воспитанников для определения в Царскосельский лицей и директор института предложил тринадцатилетнему Салтыкову поступить на казенный счет в лицей, то он отказался, говоря, что предпочитает довершить свое образование в университете. Но мечтам его не суждено было исполниться. В то время было в обычае, что многие родители, помещая своих детей в Дворянский институт, присылали с ними для ухода и наблюдения и дядьку из своих крепостных, и дядьки эти входили в состав институтских комнатных сторожей и даже иногда получали грошовое казенное жалование от института. Был такой дядька и у Салтыкова — и он-то немедленно донес матери Салтыкова о предложении директора и об отказе его барина; мать же, не терпя никакого самовольства в семье, сделала внушительный нагоняй сыну и заставила его перейти в лицей. В лицее преподавание тогда стояло далеко не <на> надлежащей высоте и велось так поверхностно, что отлично подготовленному Салтыкову пришлось вначале повторять зады и бездельничать, а это постепенно привело его к лени, и охота к учебе пропала, так что во все пребывание

в лицее он был самым заурядным воспитанником. Зато он здесь пристрастился к литературе и стал много читать; тогда же вскоре у него появилась страсть к писанию стихов, но о продуктах своего поэтического творчества он вспоминал впоследствии с большим сарказмом, особенно о своей неоконченной трагедии «Кориолан». Первые два его стихотворения напечатаны в «Библиотеке для чтения», а несколько последующих, позднее, в «Современнике» *, издававшемся тогда Плетневым; Плетнев даже до того заинтересовался юным сотрудником, что приехал однажды на лицейский экзамен, но, по словам Салтыкова, не мог не составить о нем самого невыгодного впечатления, потому что сотрудник отвечал, по обыкновению, далеко не блистательно, а скорее плоховато.

В 1844 году Салтыков кончил курс в лицее и вскоре поступил на службу в канцелярию военного министра. О своих лицейских годах он вспоминал мало; отметим разве только то, что классом ниже его шел граф Д. А. Толстой *, будущий министр народного просвещения и прозелит русского классицизма; Салтыков вспоминал о нем, как о мальчишке сосредоточенном, мало якшавшемся товарищами, а так как и Салтыков не отличался большою социабельностью, то благодаря этой общей им черте Толстой старался сблизиться с Салтыковым, хотя последний и в то время к нему особой симпатии не ощущал. Впоследствии дороги их так разошлись, что встречаться им не приходилось; Салтыков, однако, почему-то предполагал, что Толстой не переставал хранить к школьному своему приятелю чувство некоторого расположения и допускал ему большую безнаказанность в литературной деятельности, чем позволил бы это кому другому на его месте. Но едва ли эти догадки были справедливы, особенно если принять во внимание, что окончательное запрещение «Отечественных записок» произошло в 1884 году, то есть как <раз?> в апогее полновластия гр. Толстого *.

Вскоре по выходе из лицея Салтыков познакомился со многими из петрашевцев и хотя на тайных собраниях их не бывал, но посещал какой-то кружок из пяти-шести человек молодежи *, на котором читались и комментировались сочинения Фурье и школы сен-симонистов. В 1847 году он напечатал в «Отечественных записках» первую свою повесть под заглавием «Противоречия»,

о которой, как он говорил, ему даже вспоминать стыдно, до того она была дика, восторженна и написана под очевидным впечатлением фурьеристских тенденций, и Белинский был прав, отозвавшись что это произведение есть бред больного ума *. Вторым произведением Салтыкова была повесть «Запутанное дело», появившаяся в начале 1848 года в «Отечественных записках»; написана и проще и трезвее, и в ней уже начинает проглядывать незаурядное дарование автора. Но тут же вскоре был положен предел литературной деятельности молодого писателя на многие и многие годы ¹.

В конце февраля 1848 года грянула революция в Париже, пронеслась грозою по всей Западной Европе и всколыхнула до этого безмятежные и непоколебимые престолы немецких государей; смутился немало и наш самодержавный император Николай I за прочность своего сидения и, назначив беспощадный суд над несчастными петрашевцами, назначил, кроме того, особую комиссию под председательством Д. П. Бутурлина *, чтобы разыскать, не скрываются ли где-нибудь в России задатки пагубных учений, охвативших Россию? Под председательством этого сановника был учрежден комитет для высшего надзора за духом и направлением печатаемых произведений в России. Графиня А. Д. Блудова в своих воспоминаниях прекрасно знакомит нас с цензорским рвением Бутурлина, описывая препирательства Бутурлина с ее отцом, министром гр. Блудовым, когда Бутурлин покушался вырезать несколько строк из акафиста покрову божией матери и между прочим следующие: «Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и зверонравных», находя, что в этих словах есть опасные выражения; а когда на это Блудов ему возразил, что подобные превратные выражения можно отыскать и в евангелии, то наш строгий цензор отвечал (впрочем, уже в шуточном тоне, как отмечает сама А. Д. Блудова), что цензура должна была бы сделать исправления и в евангелии, если

¹ Далее в рукописи имеется следующая фраза, почти текстуально повторяющая слова из предыдущего абзаца: «В 1847 году он сошелся со многими из юных петрашевцев и хотя на их тайные собрания не был допущен и даже о существовании таких собраний ничего не знал, а только посещал какой-то кружок из 5—6 человек, занимавшийся совместным чтением и обсуждением сочинений Фурье и сен-симонистов».

бы это не была такая известная книга. Мудрено ли, что при таком суровом проникновении своими председательскими обязанностями, Бутурлин обратил внимание на обе юные повести, напечатанные Салтыковым, отличил их как неблагонамеренные и при встрече с военным министром, кн. Чернышевым, передал, что в его канцелярии состоит молодой чиновник вольного образа мыслей. Собщение сделано было вскользь, так что кн. Чернышев не придал ему особенного значения и мог забыть о нем, а если бы и вспомнил впоследствии, то все дело, по мнению Салтыкова, должно было бы кончиться пустяками, выговором, не больше. Но как раз около этого времени Салтыков захворал и, к довершению своей беды, подал кн. Чернышеву прошение об увольнении его в отпуск в деревню для лечения; прошение это напомнило министру предупреждение Бутурлина относительно Салтыкова, и он заблагорассудил доложить о преступном образе мыслей своего подчиненного государю, а последний приказал выслать Салтыкова в Вятку. Салтыков был призван кн. Чернышевым, и ему была объявлена высочайшая резолюция, что его за распространение идей, потрясших Европу, надлежало бы отдать в солдаты, но, снисходя к носимому им имени и к молодости лет, государь повелеть соизволил выслать его на службу в Вятку под непосредственное наблюдение вятского губернатора. По выслушании этого решения преступник прямо из министерства отвезен был на Адмиралтейскую гауптвахту, где провел ночь, а на следующий день (28 апреля 1848 г.) отправлен с жандармом к месту своего назначения.

В нашей передаче есть некоторое разногласие с рассказом, напечатанным о том же эпизоде г. Скабичевским; по словам последнего, кн. Чернышев сам обратил внимание на литературную деятельность Салтыкова и поручил просмотреть его произведения Н. Кукольнику и составить о них доклад и что на основании этого доклада, препровожденного кн. Чернышевым в III Отделение, состоялось распоряжение о высылке Салтыкова в Вятку.

Я не берусь решать, которая из двух версий верна, но передаю только то, что слышал непосредственно от Салтыкова*, который в своем рассказе мне даже не упомянул имени Кукольника, да и разноречие это имеет чисто второстепенное значение, касаясь преимущественно

доли участия различных административных лиц и Кукольника в постигшем Салтыкова наказании. Для истории русской литературы вообще и, в частности, для истории талантливейших ее представителей важен самый факт, что Салтыков разделил общую участь его сверстников, как Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Тургенева, Чернышевского и др., не говоря уже о множестве второклассных талантов, что на его творческую деятельность при самом зарождении ее была наложена строгая административная узда и он должен был семилетним заключением в глуши северной провинции искупать не свою в сущности более чем проблематичную вину, а расплачиваться за взрывы мировой истории в Западной Европе, — и это в возрасте двадцатидвухлетнего юноши, когда талант требует еще попечительного ухода за собой, а мысль должна еще слагаться и крепнуть под влиянием хороших культурных условий для нее, живого общения с образованными людьми, тесного знакомства с продуктами человеческого ума и пр.! И можно себе представить, насколько могла удовлетворить Вятка конца сороковых годов подобным требованиям!

Вятским губернатором в это время был генерал Серада, прямо в дом которого и был доставлен жандармами Салтыков, но губернатор к нему не вышел, а отправил их к полицмейстеру, приказавши последнему принять прибывшего под расписку. Губернатор немедленно причислил поднадзорного в штат губернского правления на должность канцелярского служителя, это показалось Салтыкову и обидным и лишило его совершенно всякой деятельной, сколько-нибудь развлекающей работы, обращая исключительно на занятия переписчика официальной канцелярщины. Он попытался было приняться за них, но можно себе представить, как при его живом и вдумчивом уме такая машинная и сухая работа вскоре ему показалась бессмысленной и опротивела до того, что он жестоко захандрил и, в порыве отчаяния от безвыходности своего положения, решил обратиться к вице-губернатору, как к однокласснику * (к счастью, тот тоже кончил курс в Александровском лицее), за советом, что ему с собой делать. Молодое его горе было так искренно и красноречиво, что тронуло сердце товарища, и он посоветовал ему вовсе не

ходить на службу, обещаясь между тем переговорить с губернатором. А сам Середа около этого времени кстати получил разом два письма, одно от бывшего тогда директора хозяйственного департамента, известного Н. А. Милютина, с младшим братом которого, безвременно погибшим В. А. * юный Салтыков был очень дружен и ему он посвятил свою повесть «Противоречия», а другое — от известного ученого путешественника Ханыкова *, причем оба эти влиятельные лица просили обратить внимание на Салтыкова и облегчить по возможности его участь. После этого губернатор изменил свое отношение к Салтыкову и назначил сначала чиновником особых поручений, а впоследствии, в 1850 году, советником Вятского губернского правления; на этом месте Салтыков оставался до окончания своей ссылки, живя почти безвыездно в Вятке за исключением редких командировок по губернии, занимаясь очень деятельно службой и, между прочим, с особенным интересом собиранием сведений для подготавливаемого в то время нового городского положения. О своей служебной деятельности сам он мне никаких подробностей не передавал, а потому я ничего не могу прибавить к тому, что до сих пор сообщено было о ней г. Арсеньевым в «Материалах для биографии М. Е. Салтыкова» и г. Кривенко в его биографическом очерке «Салтыков» в издании Павленкова. Взяв в соображение тяжелую пору конца царствования имп. Николая I и все условия нашей дореформенной эпохи, трудно предположить, чтобы вятская служба могла сколько-нибудь удовлетворить даровитые силы, заключавшиеся в натуре Салтыкова; им негде было найти для себя ни дальнейшего развития, ни применения, и молодость Салтыкова, эта лучшая пора человеческой жизни, отравлялась постоянно тяжелой зависимостью поднадзорного человека в грубой и пошлой обстановке северного городка. Его жизнь в Вятке тянулась однообразно и бесцветно, истинно интеллигентных людей было мало, за исключением нескольких сосланных поляков, с которыми хотя Салтыков и был знаком, но близко сойтись не мог вследствие национальной розни *, и дни проходили в малоинтересных занятиях по службе и в карточной игре по вечерам; от скуки и следуя общему в то время обыкновению, он пристрастился было и к употреблению водки.

Литературный талант его в Вятке совсем погрузился в дремоту, и писать там в течение семи лет <Салтыков> и не пробовал, «даже подобной мысли в голову не приходило, — говорил он *, — до того заедала эта тупая и пошлая среда; я видел все безобразия провинциальной жизни, но не вдумывался в них, а как-то машинально впитывал их телом и только по выезде из Вятки и по возвращении в Петербург, когда снова очутился в литературном кругу, я надумал изобразить пережитое в «Губернских очерках». Неоднократно пытались многие хлопотать о переводе Салтыкова в другие губернии, чтобы вырвать его из опротивевшей ему по горло Вятки; так генерал Середа, назначенный в 1851 году атаманом мещерякского войска, хлопотал, по просьбе Салтыкова, о назначении и его в Оренбургский край, а также случайно проезжавший через Вятку генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев (впоследствии граф Муравьев-Амурский), познакомившись с Салтыковым, принял в нем живое участие и ходатайствовал у государя о переводе его в штат состоявших при нем чиновников особых поручений, но в ответ на это ходатайство получился короткий и категорический ответ: «Рано».

Так пришлось дожить Салтыкову в Вятке до наступления русско-турецкой войны 1854—1855 годов, вскоре, с вмешательством в нее союзных европейских сил, ограничившейся грандиозной высадкой на Крымский полуостров и блистательной защитой Севастополя, где России пришлось выдерживать тяжелую борьбу с врагом, превосходившим ее не численностью, но общим уровнем познаний, лучшим вооружением и всей организацией военного дела. В этой неравной войне наши военные силы быстро истощились, и вскоре потребовалось свежее подкрепление со стороны населения; везде стали создаваться губернские ополчения, и дело дошло и до далекой Вятской губернии, а так как в ней мало было помещиков и видных дворян, то для организации Вятского ополчения был прислан из Петербурга генерал-адъютант Ланской, женатый на вдове покойного поэта Пушкина. Вследствие этого обстоятельства в семье Ланских <свято хранились> сбереглись вместе с памятью о покойном поэте и живые симпатии к литераторам и их деятельности; Салтыков немедленно познакомился с ними, стал часто бывать в их доме и до старости со-

хранил благодарную память о радушном приеме и нравственной поддержке, какую всегда встречал у них. Вскоре эта поддержка выразилась и более сильно, благодаря внезапно изменившимся обстоятельствам. Февраля 18-го умер император Николай, пошли большие перемены в министрах, и родной брат Ланского сделан был министром внутренних дел; * тогда Ланской из Вятки написал брату министру письмо, в котором просил ходатайствовать перед государем о помиловании Салтыкова, и в ответ на это последовало высочайшее распоряжение о снятии с Салтыкова полицейского надзора и позволении ехать ему из Вятки на все четыре стороны. Можно представить себе радость Салтыкова при получении известия о своем освобождении от семилетнего томительного заточения из безжизненной Вятки, и он тотчас же, в октябре 1855 года, поспешил выехать *. Была у него еще и другая важная побудительная причина торопиться этим выездом: в Вятке он был своим человеком в доме тамошнего вице-губернатора Болтина и, увлекшись красотой шестнадцатилетней дочери хозяев, Елизаветы Аполлоновны, сделал ей предложение, которое и было принято, и свадьба была отложена до встречи с невестой в Москве. По дороге из Вятки он свернул в сторону, в тверскую деревню матери, чтобы повидаться с нею после продолжительной разлуки, но свиданье это кончилось резкой размолвкой, потому что строптивой старушке по каким-то соображениям не нравился выбор себе невесты сыном, которого она до того считала своим любимцем; она пыталась отговаривать от этого брака влюбленного жениха, но, встретив решительный отпор, очень рассердилась и в конце концов объявила, что в наказание заслушание ее воли она, вместо того чтобы прибавить, напротив, убавляет ту постоянную субсидию, которая присылалась ею из дому на прожитие сына. Несмотря на эти преграды, в проезде через Москву в ноябре того же года Салтыков повенчался с Е. А. Болтиной в небольшой церкви, находящейся в Охотном ряду *, и переехал с молоденькой женой в Петербург.

Всем более или менее известны, или по личным впечатлениям, или понаслышке, те счастливые годы, которые переживали образованные русские люди в начале царствования Александра II. Ко времени возвращения

Салтыкова ничего существенного еще не произошло, а только как бы изменилась вся нравственная атмосфера кругом, дышалось как-то легче, кровь обращалась свободнее в жилах и все люди смотрели счастливше, открытее и смелее, а не исподлбоя и подозрительно, как встарь. Словно какой-то тяжелый кошмар свалился со всех, вместе с ним свалилась и наша обычная апатия, и все порывались к живой деятельности, которая открывалась каждому по его способностям во всех направлениях. Эта перемена особенно разительно и ободряюще должна была почувствоваться Салтыковым, только что восстановленным в своих правах и только что выпущенным из своей суровой и мрачной вятской клетки в эту яркую обстановку чуть брезжившей свободы, со всеми ей свойственными миражами, которые тогда не казались миражами. Он вновь разыскал своих прежних приятелей и сверстников, постаревшими физически за семь лет разлуки с ним, но во всех проявлениях их характеров как бы более поюневшими под влиянием расцвета надежды и общего подъема духа, и снова попал в литературные круги, в которых оживление сказывалось едва ли не больше, чем где-либо. Понятно, что Салтыков, при его безграничной любви к литературе, страстном увлечении общественными вопросами и в высшей степени деятельной усидчивости в труде и, наконец, при его громадном таланте, не мог оставаться пассивным лицом в такое живое время и его тотчас же потянуло на литературную арену, с которой восемь лет назад его свели столь все-сильные в жизни русского писателя «независящие обстоятельства». Хотя он и говорил впоследствии, что на выступление его вновь в литературу главной побуждающей причиной был недостаток в материальных средствах для сносной жизни с молоденькой женой в Петербурге, так как чиновничье жалование его было невелико, а урезка в присылке денежной помощи из деревни причиняла ему большие затруднения в его семейном бюджете, но более чем очевидно, что потребность в стороннем заработке при обращении его к писательской деятельности могла сыграть только второстепенную, побочную роль. В литературе тогда только что зародилось обличительное направление, а пережитая в Вятке ссылка дала Салтыкову такой обильный материал для обличения, который, живя там, он не собирал сознательно для

литературной обработки, а «впитывал в себя», как выражался сам, и теперь для возобновления своей литературной деятельности задумал восстановить, привести в систему и выпустить в печать. Таким образом появились «Губернские очерки». Тотчас по переезде в Петербург он не был знаком с кружком «Современника», а потому, по совету приятелей, послал их в Москву в «Русский вестник», к Каткову, который в описываемое время не был тем страшным букой, каким стал известен впоследствии, а напротив, стоял, как и издаваемый им журнал, или, вернее, блудил, в либеральном лагере и, усмотрев крупные достоинства литературного дебютанта в обличительном духе, охотно стал печатать статьи Салтыкова в своем журнале.

В нашу задачу не входит проследить за постепенным появлением многочисленных сочинений Салтыкова и быстрым ростом его литературной известности; это сделают будущие его биографы и гораздо лучше нас и обстоятельнее на основании более тщательного и разнородного изучения его произведений и при более свободном и спокойном отношении к тому историческому периоду, в который они появлялись. Но не могу умолчать о глубоком впечатлении, испытанном лично мною при прочтении первых глав «Губернских очерков» и благодаря силе этого впечатления очень живо сохранившихся в моей старческой памяти. Я был тогда очень юным, двадцатидвухлетним молодым человеком и жил в Иркутске в качестве врача; досугу у меня было много, а так как я всегда горячо увлекался русской литературой, то следил ревностно за всем появлявшимся в печати и читал запоем. Когда дошла до моих рук четвертая книжка «Русского вестника»*, в которой напечатаны были первые рассказы Салтыкова, подписанные совсем неизвестным до того в литературе именем «Н. Щедрин», я был поражен его своеобразной талантливостью, отсутствием подражательности всем нашим предшествующим образцовым писателям и необыкновенною картинностью его богатого языка. Желая проверить свои впечатления, я в тот же день собрал к себе кой-кого из своих приятелей, таких, как я, любителей¹ литературы, и прочел им вслух восхитившие меня страницы; все были

¹ любителей (от франц. amateurs).

в восторге, кто более от тонкого юмора рассказов, кто — от гражданских мотивов, положенных в их основание, кто от изумительно меткого языка, но все мы тут же единогласно признали и порадовались, что на Руси одним крупным писателем стало больше и что писатель этот сразу выступает в таком всеоружии большого таланта. Он тотчас же завоевал место в небольшой кумирне наших литературных божков, наряду с Тургеневым, гр. Львом Толстым и Некрасовым, сделался нашим общим любимцем, и мы стали с нетерпением поджидать всякой новой книжки «Русского вестника», накидываясь в ней прежде всего на те страницы, которые были подписаны Н. Щедриным. Едва ли нужно прибавлять, что эти восторги и надежды вполне оправдались и что этот начинающий талант в течение своей более тридцатилетней последующей деятельности продолжал расти, делаясь разнообразнее и разностороннее по мере изучения им русской действительности и опыта.

Одновременно с возобновлением литературной деятельности Салтыкова шла и его служебная карьера, но о последней он не любил много распространяться, потому что все его симпатии, очевидно, влекли его к литературе, а на службу он смотрел как на подспорье для своего материального существования, так как литература в то время и его только создававшаяся писательская известность не могли давать ему прочного и достаточного обеспечения. Так как вообще в беседах сам он мало говорил о своей служебной деятельности, то и мне почти нечего прибавить к тому, что приведено господами Арсеньевым и Кривенко в собранных ими материалах. Желая, однако, сохранить все, что у меня осталось в памяти от бесед с ним, упомяну лишь о некоторых эпизодах, скорее анекдотического свойства, но хотя несколько обрисовывающих и службу Салтыкова и эпоху, в которую она протекала.

Отчисленный в феврале 1856 года от должности советника вятского губернского правления, <Салтыков был> вскоре назначен исправляющим должность чиновника особых поручений при министерстве внутренних дел, а в 1858 году — рязанским вице-губернатором. Рассказывалось, что при этом определении Александр II выразился: «Я рад этому и желаю, чтобы Салтыков и на службе действовал в том же духе, в каком он

пишет» *. Губернатором в Рязани был тогда Муравьев, старший сын гр. М. Н. Муравьева-Вилenskого, человек властный, крутого нрава и крутых взглядов на управление, и Салтыков с ним не поладил на первых же шагах; между ними пошли непрерывные столкновения и пререкательства, доходившие не раз до министерства и установившие такие невозможные отношения, что менее чем через два года Салтыков был переведен вице-губернатором в Тверь. Салтыков слышал переданный ему по этому поводу рассказ, что, когда граф М. Н. Муравьев, бывший тогда министром государственных имуществ, спросил министра внутренних дел гр. Ланского, может ли его сын, рязанский губернатор, надеяться получить к празднику высочайшую награду? Ланской не без ехидства отвечал: «О, как же, можете написать ему и поздравить его. Государь император в виде высочайшей награды повелел перевести Салтыкова от него из Рязани» *.

В Твери Салтыков попал в среду, которая ему была гораздо симпатичнее рязанской. Тверским губернатором состоял Баранов, человек не особенно выдающегося ума, но очень мягкий и благожелательный и не только не тормозивший, а скорее сочувствовавший либеральным стремлениям правительства. Тверское общество слыло самым передовым в России, и эту окраску давало ему дворянство, заключавшее в своем кругу много истинно образованных и искренне проникнутых сознанием в необходимости преобразований людей, как братья Бакунины, Европеус, Неведомские, Головачев и много других; губернским предводителем же дворянства был несколько лет известный А. М. Унковский, за несколько месяцев до назначения Салтыкова вице-губернатором устранный от должности, один из лучших и бескорыстнейших деятелей той эпохи, с правами которого на память последующих поколений так документально знакомит прекрасная биография г. Гр. Джаншиева *. С ним Салтыков, знавший его еще по лицу, но где они находились в разных классах, особенно сблизился за время своего пребывания в Твери, и с тех пор их связывала самая тесная дружба; и смело можно <сказать>, что Унковский до последних годов оставался самым верным другом Салтыкова и самым близким к нему человеком. Унковский же, помимо своих высоких нравственных

достоинств, был чрезвычайно веселый и остроумный человек и неистощимый рассказчик разных анекдотов; запас житейской мудрости в нем был богатый, русскую жизнь и все ее неурядицы он изучил до тонкости и умел иллюстрировать самыми разнообразными доказательствами из пережитого им самим и слышанного от его многочисленных знакомых. Известно, что он служил для Салтыкова неисчерпаемым источником по собиранию всевозможных редкостных фактов из русской действительности, и последний зачастую пользовался в печати его рассказами, освещая их силой собственного таланта и умения обобщать при помощи и своего собственного и разностороннего знания этой действительности.

В Твери же пришлось Салтыкову встретить великий момент нашей современной истории — обнародование высочайшего освобождения крестьян, и не только встретить, а по мере сил содействовать проведению его в жизнь *, по своей должности вице-губернатора, тем более что губернатор Баранов, будучи человеком нерешительным, очень боялся подпасть ответственности за какие-нибудь упущения и неправильные толкования крестьянской реформы, а потому старался разделить эту ответственность с Салтыковым, взвалив на его плечи часть организационной работы в губернии. Ликвидация многовекового рабства и переход России на более высокую ступень гражданского развития составляли такую эпоху, какой нам в новейшей нашей истории еще не представлялось переживать, но если она вливалась в души всех сочувствовавших этому переходу к зарождению новой России одни ликования и лучезарные восприятия великого факта, как уже бесповоротного поступления на новую дорогу, то в душах непосредственных деятелей проведения самой реформы в жизнь эти ликования отравлялись значительной дозой горечи и недовольства и от неудовлетворявшей их разработки правительством подробностей освобождения, и от массы препятствий, встреченных ими со стороны противников реформы, недоброжелательства и вражда которых не останавливались ни перед доносом, ни перед клеветой, и от понятного недоверия к себе освобождаемых, не бывших в состоянии на первых порах и сразу обнять все значение происходившей перемены в их участи, и т. д. Из книги г. Джаншиева об Унковском мы можем видеть, как на

судьбе этого деятеля отразилось его горячее и ревностное служение великой реформе: так в 1859 году он был отдан под надзор полиции, через два месяца после того удален от должности губернского предводителя дворянства, а еще два месяца спустя, в феврале 1860 года, выслан административно в Вятку, откуда возвращен в сентябре того же года с обязательством жить безвыездно в своем тверском имении. Салтыков, вполне солидарный с Унковским во взглядах, испытывал одинаковые с ним разочарования от недостаточности программы крестьянского освобождения, горячо воевал и не с противниками освобождения, для которых считал достаточным бича своей сатиры, а с теми людьми, которые, удовлетворившись реформой освобождения крестьян, не видели настоятельной потребности в дальнейшем ее развитии, и воевал не только на словах, а в печати и, не обращая внимания на свое вице-губернаторство, вступал в полемику в газетах *. В то же время он продолжал печатать свои сатирические очерки под названием «Невинные рассказы» и «Сатиры в прозе» в «Современнике», которые лучше всего могут познакомить читателя и с его мрачным настроением, и с той средой, в которой приходилось ему действовать. Весьма понятно, что такое совмещение литературы и особенно публицистики, с одной стороны, и видный административный пост, с другой, не могли вовсе гармонировать вместе, и Салтыков вскоре же должен был почувствовать все неудобство своей двойственной роли, а потому в конце 1862 года мы видим его уже в отставке *, с намерением отдаться всецело литературе. Но в 1862 же году по распоряжению администрации приостановлено было на восемь месяцев издание «Современника», этого единственного журнала, с направлением которого Салтыков признавал себя совсем солидарным, после того как Катков стал обнаруживать в своих взглядах некоторые сомнительного свойства колебания, — и поэтому вначале Салтыков надумал было вместе с Унковским, у которого как раз к этому времени, по распоряжению министра внутренних дел, отнято было право вести перед судом крестьянские дела и он, деятельный, рабочий человек, сидел в вынужденном бездействии, основать в Москве собственный журнал под названием «Русская правда» *. Но и этому плану не суждено было осуществ-

ствиться, потому что министерство отказало в разрешении издания, — и тогда Салтыков переехал в Петербург и, выждавши конца запрещения, наложенного на «Современник», по возобновлении его вступил в число постоянных его сотрудников не только по беллетристике, но и по отделу разработки общественно-насуущных вопросов.

На журнальную работу он набросился с горячим увлечением как на самое любимое свое дело, от занятия которым почти совсем отвлекала его служба, притом и время стояло такое, когда перестройка дореформенной России на новый лад поднимала множество вопросов, в освещении и разрешении которых Салтыков и по широкому теоретическому образованию, приобретенному не столько в школе, сколько послешкольным серьезным чтением, и по живейшему интересу¹.....

<3>

Из скудных рассказов Салтыкова о своем пребывании в Твери цельнее всего был передан им рассказ о представлении его царю *. В Твери тогда была расположена какая-то дивизия, кажется, кавалерийская, которую изредка приезжал инспектировать еще Николай Павлович; ради этой традиции в бытность там Салтыкова приехал как-то и император Александр II и остановился во дворце, некогда выстроенном для принца Ольденбургского. К обеденному царскому столу раз удостоился быть приглашенным и Салтыков: обедало всего человек около сорока; кроме царя, тут были великие князья Константин и Михаил, а из тверских обывателей — губернатор, предводитель дворянства и Салтыков, как вице-губернатор; перед обедом гр. Адлерберг подвел Салтыкова к царю и представил, и царь спросил только у него, откуда он родом и давно ли служит в Твери. А после обеда подошел к Салтыкову один из свитских и сказал, что великий князь Константин Николаевич желает с ним познакомиться, и для этого указал ему в коридоре у окна место, где просил подождать, как великий князь откланяется у царя и пройдет мимо. Вскоре действительно великий князь вышел и прямо подошел к Салтыкову с вопросом: «Как ваша фамилия?», а потом надел пенсне и, осмотрев с головы до

¹ На этом обрывается текст рукописи. Незаполненной осталась нижняя треть страницы. — С. М.

пяток, шаркнул ногой и с словами «честь имею кланяться» молодцевато удалился. Салтыков передавал эту сцену с удивительным юмором.

Служба скоро надоела Салтыкову, и он, пробывши в Твери около двух лет, вышел в 1861 году <1> в отставку и переехал в Петербург, чтобы посвятить свои силы исключительно литературе, и именно «Современнику», где тогда большим влиянием на журнал пользовался Чернышевский; Салтыков не отрицал, что и он многим обязан в своем развитии Чернышевскому. Но и литература его не удержала надолго, и через два года он снова едет на службу, на этот раз председателем Казенной палаты в Пензу, после Пензы переходит в Тулу и, наконец, снова в Рязань, все на то же председательское место.

Между своим переходом из Тулы на службу в Рязань Салтыков приезжал в Петербург, это было, кажется, в 1867 году, и тогда у Некрасова зародилась мысль взять в аренду «Отечественные записки»; он высказал свой план Салтыкову и пригласил его быть участником в предприятии на равных правах. Салтыков готов был дать свое согласие, но находил, что двух беллетристов во главе журнала недостаточно, чтобы поставить его на должную высоту, а что им надо пригласить еще третье лицо, знакомое с земскими и бытовыми вопросами, и указал как на такое подходящее лицо — на Г. З. Елисеева. Елисееву послали записку, но когда тот явился и узнал, в чем дело, то напрямик объявил, что он с таким подлецом, как Краевский, в соглашение входить ни за что не будет, и, надев шапку, удалился с совещания. Так предприятие и не состоялось, и Салтыков, не имея средств к существованию, снова должен был обратиться к службе и принял место в Рязани*.

Но усидеть ему долго там не пришлось; продолжая писать и печатать, он неизбежно должен был навлекать на себя косые взгляды высшего правительства, которому не могла нравиться такая сатирическая деятельность председателя Казенной палаты, — и тот же Александр II, желавший лет десять назад, чтобы Салтыков применял свои литературные воззрения на государственной службе, теперь нашел его двойственную деятельность неудобною, и, по личному желанию царя, Салтыков был уволен в отставку*, причем, однако же, был награжден чином действительного статского советника и ежегодною пенсией



Елизавета Салтыкова — дочь писателя. 1884.

в тысячу рублей. Благодаря этому обстоятельству навсегда закончилась чиновная карьера Салтыкова и он мог остальную часть своей жизни посвятить исключительно литературе, где он, конечно, неизмеримо больше принес пользы обществу, чем своими административными талантами.

Вернувшись в Петербург с тем, чтобы поселиться в нем навсегда, Салтыков застал уже «Отечественные записки» в аренде у Некрасова и Елисеева и тотчас же напомнил первому его обещание принять и его на равных правах в соредакторы, но Некрасов сначала отказал, потому что журнал шел небойко и не мог вынести расхода на трех редакторов. Тогда Салтыков вступил в «Отечественные записки» в качестве простого сотрудника, но так как вскоре успех журнала стал быстро расти, и главное благодаря ежемесячно являвшимся статьям Салтыкова, то по истечении года Некрасов нашел полезным сделать его третьим равноправным редактором и таким образом обеспечить журнал его постоянным сотрудничеством. С этого времени материальное состояние нашего сатирика стало быстро улучшаться, потому что журнал постепенно приобретал большее распространение и, наконец, стал давать отличный дивиденд своим редакторам; это финансовое улучшение тем более было кстати, что у Салтыкова, так долго жившего бездетным, в 1872 году родился сын Константин, а спустя год — дочь Елизавета.

Все шло хорошо до 1875 года, здоровьем он пользовался хорошим и вел ту безалаберную жизнь, которая была тогда в обычае у петербургских литераторов, и открыто была в противуречии всем правилам гигиены: днем сидел за работой, а вечера проводил за карточным столом, много пил вина и поздно ложился спать. В декабре 1874 года умерла в Тверской губернии его мать, и он поехал на похороны; зима была лютая, в поездке он простудился и положил начало той болезни, которая так жестоко отравила все его последующее существование. Вскоре по возвращении в Петербург у него открылся сильный ревматизм суставов, осложненный воспалением сердца; болезнь приняла такой оборот, что долго боялись за его жизнь, и в конце апреля его прямо с постели врачи отправили в Баден-Баден. До этого разу Салтыков за границей не бывал. В Баден-Бадене он поправился довольно быстро, так что осенью переехал в Париж, на зиму в Ниццу, а весной вернулся в Петербург, но вернул-

ся уже с резкою болезнью сердца, сделавшей его инвалидом на всю остальную жизнь. Помимо жестокого и не прекращавшегося с тех пор кашля и болезненных ощущений со стороны сердца, у него постепенно все более и более развивалось множество разнообразных нервных припадков, которые сделали его очень мнительным и заставляли беспрестанно прибегать к медицинской помощи; он сам нередко говаривал, что страсть к лечению его деморализует, и все-таки продолжал глотать массу лекарств.

Литературная слава его продолжала расти и крепнуть, и болезнь нисколько не отзывалась на его творческой способности и плодовитости; после смерти Некрасова с 1878 года он стал во главе триумвирата, заведовавшего изданием «Отечественных записок» и в котором место Некрасова занял Н. К. Михайловский; с этого времени он стал подписываться под журналом как ответственный редактор и на него же легли все хлопоты по сношению с Главным управлением по делам печати, которые с каждым годом делались все тяжелее и неприятнее. Жизнь он вел очень замкнутую, изредка ездил в итальянскую оперу да в два-три знакомых дома, где всегда для него устраивалась карточная партия. Так шло до февраля 1884 года, когда вышло запрещение «Отечественных записок», поразившее Салтыкова своею неожиданностью; * для характеристики отношений правительства к перво-классному русскому таланту может служить то, что Главное управление не сочло даже нужным уведомить Салтыкова о запрещении издаваемого им журнала, и он узнал о нем от одного приятеля *, прочитавшего известное «сообщение» в «Правительственном вестнике» и забежавшего выразить редактору свое соболезнование. Удар для Салтыкова, понятно, был весьма чувствителен, потому что сразу лишил его столь дорогого ему и привычного занятия по редактированию¹ издания и, кроме того, значительно урезывал его материальные средства; но еще более чувствительное разочарование нанесло отношение к нему общества: не только он не нашел в нем никаких признаков сочувствия, каких вправе был ожидать, но весьма многие из его некогда страстных поклонников стали теперь видимо сторониться от него, как от зачумленного *. До ушей его дошло, между прочим, и такое раз-

¹ редактированию (от франц. *rediger*).

венчание его деятельности, каким ознаменовала себя некогда столь либеральная Тверь; в этом городе несколько лет назад земство устроило местный музей и вскоре после открытия решило поставить в его зале бюст Салтыкова, как знаменитого уроженца Тверской губернии, как ее гордость и славу, — и бюст был выставлен до тех пор, пока правительственная кара не постигла «Отечественных записок»; но лишь только гроза разразилась над головой Салтыкова, тотчас же председатель тверской палаты Жизневский (не раз до того выражавший лично сатирику свое восторженное поклонение перед его талантом) предложил комитету, управлявшему музеем, убрать бюст, как изображение лица неблагонамеренного, и хранить его на чердаке *.

Таков был приговор родной губернии, а если большинство остального общества и не отнеслось к Салтыкову столь же демонстративно враждебно, то проявило такое полнейшее равнодушие к грубому прекращению его деятельности, что все это подняло много горечи в душе писателя и окончательно подорвало его силы. Смущало его и то, что талант его продолжал проситься наружу императивно * и он не мог зачесть себя в число писателей, уже покончивших с своею деятельностью; обличительная сатирическая струна звучала еще так громко и чутко, что он не мог не писать, но мысль, где печатать впредь свои произведения, ставила его в большое затруднение. Он был дружен с давних пор с Юрьевым, редактором «Русской мысли», а потому охотнее всего желал участвовать в этом журнале и первое «Пестрое письмо» послал к Юрьеву, но московская цензура, просмотрев статью, не согласилась на ее печатание; тогда Салтыков по получении обратно статьи предложил Стасюлевичу попытаться, не будет ли петербургская цензура менее придирчива, и действительно «Пестрое письмо» появилось благополучно на страницах «Вестника Европы», а за ним столь же благополучно прошла и вся серия «Пестрых писем» *. Кроме того, в эту же зиму Салтыков напечатал еще несколько сказок в «Русских ведомостях» и в «Неделе», и почитатели его, вероятно, согласятся с нами, что такие вещи, как «Коняга», «Неумытый Трезор» и большинство «Пестрых писем» могут быть причислены к лучшим его произведениям, а потому никак нельзя было ожидать, что это были его лебединые песни.

В. М. Лазаревский

В конце шестидесятых — начале семидесятых годов, то есть на первых порах существования «Отечественных записок» под редакцией Некрасова и Салтыкова, имя Василия Матвеевича Лазаревского (1817—1890) в кругах цензурного ведомства значило многое. Начиная с 1866 года он состоял членом совета Главного управления по делам печати и пользовался здесь репутацией наиболее влиятельного и авторитетного чиновника. Такая репутация происходила и от того, что Лазаревский был лично близок к министру внутренних дел А. Е. Тимашеву и занимал в его министерстве место члена совета. Одного этого было достаточно, чтобы с мнением Лазаревского считались особо.

Вместе с тем Лазаревский был давним знакомым Некрасова и Салтыкова. С Некрасовым он вместе охотился, Салтыкова узнал во время совместной службы в министерстве внутренних дел. С 1868 по 1873 год Лазаревский, искусно направляемый главным образом Некрасовым, но также и Салтыковым, был по существу главным «адвокатом» «Отечественных записок» в совете Главного управления по делам печати и не раз спасал журнал от грозивших ему катастроф. Он же благодаря своему знакомству с Тимашевым являлся для Некрасова и Салтыкова главным источником информации о планах и намерениях властей.

В 1874 году между Некрасовым и Лазаревским произошел разрыв и личных и деловых отношений; это отдалило от Лазаревского и Салтыкова. С этого года они встречались редко. Во время одной из таких редких встреч произошел разговор, запись которого мы публикуем.

1886 г. *

— Прощлое лето я жил в Эмсе и хотел было навестить вас в Эльстере.

— Пожалуй, не застали бы. Я там пробыл всего недели две и, оставив семейство, сам переехал в Висбаден. И тут не помогло. В нынешнем году Боткин, однако, подавал мне большие надежды. Он устроил мне и это дачное помещение. «Через месяц, говорит, возьму вас под руку и пройдем на мою горку» (на этой горке мыза Боткина, версты полторы от Оболенской). А между тем вот, как видите. Ко всему прочему нажил еще ревматизм. Левое колено пухнет. В правой ступне все косточки словно переломлены. На мне тела нету. Вот смотрите руку.

Он поднял халатный рукав — рука ребенка.

— Из тысячи больных один такой, как я. Пляска святого Витта.

И он начал ворочать шею и плечи, зрачки сильно расширились.

— А тут еще эта подлая дача, строена из дюймовок, вся размалеванная, а всякий разговор по всему дому слышен. К тому же это подлое озеро, вечная возня, вечный шум.

— Что вы платите за эту дачу?

— Пятьсот рублей. Да держу пару лошадей для ежедневных поездок к Боткину *, по сто шестьдесят рублей в месяц.

— Долго ли думаете прожить здесь?

— Здесь умру.

— Ну, такие еще не умирают.

— Помилуйте, я не могу ни писать, ни читать, ни слушать чтения.

На письменном столе перед ним лежала в папке объемистая рукопись в лист, мелко, четко, даже красиво переписанная его рукою. На вид листов около двадцати. Указать на нее было нескромно, но спросить хотелось.

— Что, у вас есть что-нибудь готдовое, подготовленное?

— Ничего. За год и на печатный лист не нацарапашь. Рублей двести пятьдесят заработаешь — и все тут.

— Скажите, сделайте милость, правда ли, что «Отечественные записки» закрыты по требованию жандармской

власти за прямые сношения редакции с заграничными анархистами?

— Врут, подлецы. Затеяли дело из-за Кривенки, который всего одну статью поместил в «Отечественных записках» *, между тем как Эртель в «Вестнике Европы» печатался постоянно, а Кривенко и Эртель — одно и то же лицо *.

— Как бы интересно было сохранить эти сведения, но напечатать теперь нельзя.

— Еще бы. Конечно, можно передать запечатанный пакет в Публичную библиотеку, но ведь распечатают.

Мне почему-то кажется, что эта рукопись в пакете вещь вполне уже готовая, предназначенная или к печати по смерти автора, или именно для Публичной библиотеки.

Салтыков был очень оскорблен тем, что редакция «Русской мысли» прекратила с окончанием года высылку этого журнала.

— Подлецы, я им дал шесть тысяч подписчиков *, а они пожалели пятнадцать рублей в год.

Танеев — либерал-либерал, а с Феоктистовым не разольешь (Салтыков).

Ванька-Встанька Игнатьев (Салтыков).

Печать — чик, и нет ее (Салтыков).

В. А. Оболенский

Несмотря на отдельные фактические неточности, воспоминания Владимира Андреевича Оболенского (1869—1932) правдиво воссоздают тяжелую домашнюю обстановку последних лет жизни Салтыкова. Изгнание из квартиры умирающего писателя веселившихся в гостиной его жены светских шалопаев, «шаркунов проклятых» — эпизод глубоко драматичный. Сильно написан портрет Салтыкова: «Мрачно смотрели на нас с неподвижного желтого лица, изредка нервно подергивавшегося, огромные, строгие и какие-то бесстрастно отвлеченные глаза...» Нарисованная мемуаристом картина сурова и в отдельных деталях и в целом, но в ней нет нарочитого сгущения красок. Верность этой картины подтверждается перепиской людей, наиболее близких к Салтыкову в эту пору: С. П. Боткина и Н. А. Белоголового. Они знали всю подноготную семейной жизни Салтыкова и говорили, что «домашний очаг его представляет подобие настоящего ада» (письмо Н. А. Белоголового к П. Л. Лаврову от 21 августа 1886 г. — ИМЛ, ф. П. Л. Лаврова, п. 34, л. 75). Разумеется, не следует забывать, что не только отношения с женой определили «ад» семейной жизни Салтыкова. Большую роль играли, с одной стороны, жестоко терзавшие его болезни, а с другой — свойственное ему крайне обостренное восприятие явлений общественной и политической реакции восьмидесятых годов. Все вместе доводило Салтыкова до припадков крайнего раздражения и осложняло общение с ним его близких и друзей.

Автор воспоминаний — сын кн. Андрея Васильевича Оболенского (1825—1875), друга и единомышленника И. С. Аксакова, и кн. Александры Алексеевны Оболенской (1831—1890), сестры тульского помещика Д. А. Дьякова, приятеля Л. Н. Толстого. В 1860 году Салтыков встречался в Петербурге с А. В. Оболенским, как с депутатом редакционных комиссий. С его женой, известной в 1870 году деятельницей женского образования, основательницей первой женской гимназии, Салтыков познакомился у С. П. Боткина. В этой гимназии училась с 1883 года дочь Салтыкова.

Лето 1886 года Михаил Евграфович Салтыков проводил в Финляндии, возле ст. Мустамяки, где он нанял дачу в имении моей матери *.

Там впервые мне пришлось встретиться с ним и познакомиться с его семьей.

Был я тогда птенцом желторотым, только что окончил гимназию, но произведения Салтыкова-Щедрина читал и относился с благоговением к великому писателю.

Теперь Салтыков полузабыт, молодежь его мало читает. А тогда, я помню, с каким нетерпением мы ждали выхода очередной оранжевой книжки «Вестника Европы», в котором, после закрытия «Отечественных записок», печатались очерки и рассказы Щедрина.

И вот этот знаменитый Салтыков-Щедрин должен поселиться у нас на даче... Я с нетерпением ждал дня, когда его увижу.

Наконец, по въездной аллее, куда мы в условленный день вышли встречать знаменитого писателя, мимо нас проехало ландо, в котором рядом с довольно красивой дамой сидела неопределенная фигура, укутанная шубами, несмотря на теплую погоду. Тяжелый плед, пожженски надетый на голову, совершенно закрывал лицо Салтыкова.

Сзади на нескольких таратайках ехали двое детей с гувернанткой, прислуга и вещи.

Я был очень раздосадован этой первой встречей: часа полтора сидел в аллее, ожидая увидеть *самого* Салтыкова, и видел лишь комок шуб и пледов...

На следующий день, в той же аллее, я познакомился с женой Михаила Евграфовича Елизаветой Аполлоновой и с его детьми — Костей и Лизой.

Елизавете Аполлоновне было тогда под сорок лет *. Склонная к тучности фигура, туго затянутая в корсет, лицо миловидное, но совершенно невыразительное, несмотря на красивые, слегка искусственно ретушированные серые глаза. Такие лица тысячами встречаются на улицах, в вагонах железных дорог, на званых вечерах, но памяти они не загромождают.

Несмотря на деревенскую обстановку нашей жизни, она одевалась по-городски и, когда ходила гулять в лес, надевала шляпку и перчатки.

И разговаривала она не просто, а так, как, по ее представлению, должна разговаривать светская дама из высшего общества: как-то поверхностно скользила по теме разговора, перепархивая с одного предмета на другой, щебетала всякий наивный вздор, который мог бы показаться милым в устах шестнадцатилетней девочки, но совершенно не к лицу был женщине балзаковского возраста, а тем более жене известного писателя.

Дочка ее Лиза должна была собой изображать *un enfant comme il faut*¹. Несмотря на то, что ей было тогда уже лет четырнадцать, одевали ее *à la bébé*², всегда с распущенными волосами, в коротеньком платьице выше колен, с неизменным *sergeau*³ в руках и с большим мячиком в сетке, перекинутой через плечи. Ну, словом, девочка с модной картинки. А рядом с ней гувернантка, без которой Лиза не отпускала из дому.

Во всем этом чувствовалось стремление матери во что бы то ни стало достичь настоящего хорошего тона. А выходило нелепо и карикатурно.

Хороший тон нарушался развинченным увальнем-гимназистом Костей, грубоватым, балованным, но милым и умным мальчиком, огорчавшим мать своими дурными манерами.

Впрочем, через год она его отдала в лицей, и Костя быстро пополнил пробелы своего воспитания. Но об этом будет речь впереди.

Очень ясно помню мое первое посещение дачи Салтыковых. Через несколько дней после их приезда мы с матерью и сестрой отправились к ним с визитом.

Михаил Евграфович был уже серьезно болен всеми теми болезнями, которые свели его в могилу через полтора года*. Он и поселился у нас главным образом потому, что в двух верстах, на своей даче, жил его приятель, знаменитый профессор С. П. Боткин, лечивший его уже несколько лет подряд. Однажды, когда мать моя спросила С. П. Боткина, какой болезнью болен Салтыков, он

¹ благовоспитанное дитя (франц.).

² как малютку (франц.).

³ серсо (франц.).

ответил, что спросить нужно иначе: какой болезнью он не болен. Все внутренние органы его были в ужасном состоянии, и доктора недоумевали, как он еще мог жить.

Салтыков с женой приняли нас в гостиной. В сером мягком пиджаке и с неизменным тяжелым пледом на плечах он сидел в кресле неестественно прямо, положив руки на тощие колена. Помню, как мне сразу сделалось как-то не по себе от одного вида этого хмурого и сурового старика.

Чувство неловкости еще больше увеличилось, когда он, без всяких вводных любезных фраз, которые обычно люди произносят при первом знакомстве, стал с желчной раздражительностью, как будто нарочно, чтобы нам сделать неприятность, ругать Финляндию, ее природу и жителей *, наконец дачу, владелица которой в первый раз пришла с ним знакомиться. А затем пошли жалобы на болезнь, на плохой уход за ним и т. д.

Мрачно смотрели на нас с неподвижного желтого лица, изредка нервно подергивавшегося, огромные, строгие и какие-то бесстрастно отвлеченные глаза, а отрывочные злые фразы, прорывавшиеся тяжелым дыханием, производили впечатление скорее рычания, чем человеческой речи.

Представлялось как-то вполне отчетливо, точно чувства горечи, гнева и раздражения и есть те болезни, которые разлагают его организм, выходя наружу стонами, кашлем и жестокими словами.

Но вдруг на его каменном лице, в мускуле щеки, появилась едва заметная юмористическая складка, а из уст вылетала чисто щедринская острота, до такой степени неожиданная и комическая, что все присутствующие невольно разражались смехом. А он продолжал сидеть так же неподвижно, глаза смотрели так же строго, и так же продолжалась его гневно-рычащая речь. И становилось неловко от собственного смеха...

Потом мы стали часто видеться с Салтыковыми. Михаил Евграфович очень сошелся с моей матерью и охотно беседовал с ней на литературные и политические темы. Иногда он рассказывал ей эпизоды из своей жизни, давая в одном-двух словах удивительные характеристики людям. Пересказывая нам эти рассказы, мать моя иногда до слез смеялась, припоминая какое-нибудь невзначай брошенное Салтыковым словечко или фразу.

Общий тон его рассказов все-таки был мрачный и угрюмый. Бесконечно мрачны были его воспоминания о своем детстве, о семье и особенно о матери, которую он так ярко изобразил в госпоже Головлевой *. «Я до сих пор ненавижу эту ужасную женщину», — как-то сказал он про свою мать.

Елизавета Аполлоновна иногда присутствовала при этих беседах, но вступала в разговор всегда невпопад, делая внезапно наивно щебечущим тоном совершенно не идущие к делу замечания, что страшно раздражало Салтыкова.

Случалось, что он сдерживался, обнаруживая свое раздражение на жену лишь небольшим подергиванием щеки, причем на лице его появлялось выражение человека, услышавшего фальшивую ноту. Порой, однако, он не мог сдержаться: «Замолчи, вечно всякий вздор болтаешь, у-у-у-у», — рычал он. «Ах, Мишель», — щебетал в ответ наивный голосок. «Молчи, ду-ра!..»

Когда первый раз при моей матери Салтыков назвал ее дурой, Елизавета Аполлоновна, обратившись к ней, сказала: «Не верьте, пожалуйста, княгиня, тому, что Мишель обо мне говорит».

Елизавета Аполлоновна часто говорила такие глупости, которые свежего человека совершенно ставили в тупик. Может быть, она и не была так глупа, как это казалось. Конечно, она не блистала умом. Но мне казалось, что глупостями и наивностями, которые она изрекала на каждом шагу, она сознательно кокетничала. Они казались ей стильными для молодой, хорошенькой femme enfant¹, какой она продолжала себе казаться.

Одна из таких «очередных» глупостей мне хорошо запомнилась.

Однажды Салтыковы взяли меня с собой кататься в их ландо. Мы ехали вдоль большого озера, версты в две шириной, на противоположной стороне которого, на горе, виднелась большая дача С. П. Боткина. Елизавета Аполлоновна смотрела на эту дачу и вдруг обратилась ко мне с вопросом: «Скажите, отчего Сергей Петрович Боткин не построит моста через озеро? Там бы хорошо было кататься!»

Плед, покрывавший с головой Михаила Евграфовича,

¹ женщины ребенка (франц.).

нервно зашевелился и из отдушины, оставленной для воздуха, слышалось рычание и обычное — «дура».

— Ах, Мишель, ведь он же такой богатый, — продолжала невозмутимо Елизавета Аполлоновна.

— Замолчи, не могу я слушать твоего вздора, — раздался почти умоляющий голос из глубины пледа.

Как известно, Салтыков женился на своей Лизе, дочери мелкопоместной помещицы Великолуцкого уезда *, когда ей было всего шестнадцать лет.

Говорили, что женился он по любви, очарованный ее красотой и милой детской наивностью. И, вероятно, детский лепет этой хорошенькой девочки в свое время приводил в умиление сурового мужа.

Но время шло, Елизавета Аполлоновна из миленькой девочки превратилась в зрелую даму, но по-прежнему продолжала лепетать всякий вздор. И этот стилизованный вздор в устах стареющей *femme enfant* и претенциозное имя «Мишель», которым она называла больного, старого человека, — все это было глубоко безвкусно, для Салтыкова же, органически не переносившего пошлости, прямо мучительно.

И тем не менее у меня сложилось впечатление, что он глубоко был привязан к этой женщине, которая каждым словом, каждым жестом раздражала его и которую он так грубо и безжалостно унижал, не стесняясь присутствием посторонних.

Помню, была уже осень, дул холодный пронзительный ветер, и моросил дождь. Мы с сестрой зашли к Салтыкову и застали его одного, как всегда, за письменным столом, над рукописями, исписанными ужасным корявым почерком (он писал тогда «Пошехонские рассказы» *, которые моя сестра, вооружившись лупой, с большим трудом переписывала для печати).

— Ну, скажите, пожалуйста, — обратился он к нам, — куда ее понесло в такую погоду!

Мы поняли, что он говорил о жене, которая часа за два перед тем велела запрячь и поехала кататься.

— Говорил ей, что холодно. Нет, не послушала, понеслась куда-то в легкой кофточке. Вот простудится и заболит... Как за малым ребенком смотреть надо.

Видно было, что он серьезно волновался и беспокоился за жену.

А потом посмотрел на нас как-то растерянно и сказал: «Уж будьте добры, пошлите ей навстречу какие-нибудь теплые вещи. Ведь в самом деле простудится». И в голосе его прозвучала едва уловимая нотка нежной заботливости о жене.

Мы пошли исполнять его просьбу, но в дверях встретили благополучно вернувшуюся веселую и здоровую Елизавету Аполлоновну.

Салтыков просиял и, хотя принялся ее отчитывать за проявленное легкомыслие, но больше так, по привычке...

Оскорбляя свою жену на каждом шагу самым беспощадным образом, он вместе с тем требовал от других полного к ней уважения. На этой почве у него выходили столкновения даже с близкими друзьями.

Рассказывали тогда о ссоре его с известным тверским общественным деятелем А. М. Унковским, с которым он был связан многолетней дружбой.

Ссора произошла при таких обстоятельствах: однажды Унковский играл в винт у Салтыковых. Михаил Евграфович, страстный винтер, но именно поэтому особенно раздражительный во время винтового священнодействия, за что-то рассердился на свою жену и, как всегда, грубо выругал ее.

Вероятно, Елизавета Аполлоновна действительно сказала или сделала какую-нибудь большую глупость, так как Унковский принял сторону ее мужа и в тон ему произнес что-то не в достаточной мере к ней уважительное.

И вдруг, совершенно для себя неожиданно, он увидел искажившееся злобой лицо своего партнера, который стучал по столу кулаком и кричал, что не позволит у себя в доме оскорблять жену.

Унковский, видя возбужденное состояние друга, просил его успокоиться, извинялся, оправдывался, но Салтыкова уже нельзя было унять. Он потребовал, чтобы Унковский немедленно оставил его квартиру, и заявил, что больше никогда его принимать не будет.

Я не помню, кто из двух друзей умер раньше, но, кажется, так примирения между ними и не произошло *.

Елизавета Аполлоновна, при всех своих недостатках, была существом весьма добродушным и незлобивым. Она кротко и терпеливо переносила все грубости и ос-

корбления, ежедневно сыпавшиеся на нее при посторонних, при детях. Привыкла к этому. А кроме того, она знала, что сколько бы ее Мишель ни ворчал и ни ругался, она в каждом отдельном случае поступит не так, как этого требует грозный Мишель, а так, как решила она, «дура» — Лиза.

Жизнь Салтыковых в Петербурге шла так, как ей хотелось.

Правда, у него были свои знакомые и друзья, но, за немногими исключениями, это были знакомые, так сказать, его кабинета, где оживленно говорили о литературе и о политике, горячо спорили, иногда играли в винт...

Семья жила совсем другой жизнью, ничего не имевшей общего с кабинетом ее главы: театры, развлечения, балы.

И дети получали «светское» воспитание, светское в условном смысле, в соответствии с несколько вульгарным представлением Елизаветы Аполлоновны о «свете».

Дочь свою Лизу Елизавета Аполлоновна отдала в пансион г-жи Груби, где больше обучали хорошим манерам, чем наукам, и лишь тогда, когда она поняла, что такое «образование» уже вышло из моды, перевела ее в гимназию.

Успехи дочери в науках мало интересовали мать. Ее больше занимали ее туалеты и выезды.

Когда я в первый раз пришел к Салтыковым на их петербургскую квартиру, Елизавета Аполлоновна пошла мне показывать заново меблированную комнату Лизы:

— Посмотрите, какое я своей Лизе устроила уютное гнездышко.

Гнездышко поражало количеством зеркал.

— Лиза моя хорошенькая и любит смотреться в зеркало. Вот я и поставила ей зеркала так, чтобы она себя могла видеть епфасе и в профиль, — поясняя мне мать, нисколько не стесняясь присутствием дочери.

Когда Лизе исполнилось пятнадцать лет, мамаша удлинила ей платье и стала ее вывозить к знакомым на танцевальные вечера. У Салтыковых тоже начались балы и журфиксы. Появились лощеные правоведы, лицеисты, юнкера, которые прикладывались к ручке Елизаветы Аполлоновны, вели пустые разговоры, играли в *petits*

jeux¹ и вообще придавали дому Салтыковых тот вид, о котором Елизавета Аполлоновна, вероятно, мечтала, когда еще барышней жила в Великолуцком захолустье*.

Салтыков сердился, но изменить образ жизни своей семьи не был в силах. Он сидел за письменным столом и писал сатиру «Ангелочек», в которой со злобным юмором изображал свою жену и дочь...*

Сын, Костя, учился в гимназии Гуревича, но матери казалось, что это заведение недостаточно «comme il faut». И вот, несмотря на протесты Мишеля, Костю переводят в лицей*, в тот самый лицей, в котором учился отец и на который он с глубоким чувством возмущения изливал свой сарказм сатирика.

И в один год милый способный мальчик превратился в фатоватого лицеиста, а затем попал в сильно кутящую компанию товарищей.

Матери очень нравилось, что сын ее покучивает, она с удовольствием рассказывала знакомым о похождениях своего Кости, ибо считала, что хороший тон ее дома требует, чтобы сын ее был лицеистом, и тот же хороший тон обязывает лицеиста кутить.

Бедный Костя, однако, не сумел выдержать пропорции «хорошего тона» и за какой-то пьяный скандал в цирке был исключен из лицея...*

В такой семейной обстановке медленно умирал Салтыков.

Ярко запечатлелось в моей памяти мое последнее свидание с ним.

Это было за несколько дней до его смерти.

Моя мать, тоже больная, не могла его навестить сама и просила меня зайти справиться о его здоровье.

Салтыков в плед сидел за письменным столом, бесильно положив на него свои желтые исхудавшие руки. Огромные глаза строго и отвлеченно смотрели куда-то в пространство.

— Спасибо, что зашли навестить меня, — сказал он, тяжело переводя дух после каждого слова. — А ма-тушке вашей передайте, что я... умираю.

Я робко стал говорить банальности, какие обыкновенно говорят в таких случаях: что напрасно он так

¹ в салонные игры (франц.).

мрачно смотрит на свое положение, что, бог даст, еще поправится и т. д.

Салтыков нервно задержался и перебил меня:

— Не говорите мне вздора! Я знаю, что умираю... Вот сижу за письменным столом, а писать больше не могу... Конеч...

Голос его задрожал и оборвался...

Два года медленно разрушался организм человека, но писатель жил полной жизнью. В тяжелой одышке садился он за письменный стол и творил художественные образы. И сильный дух приспособился к существованию в умирающем теле.

Но когда Салтыков почувствовал, что творить больше не может, когда, усаженный за письменный стол, он тщетно старался вызвать в себе живительное напряжение мысли, а ослабевшая рука отказывалась водить пером по бумаге, — он понял, что все кончено, что пришла смерть...

Писатель умер. Доживало последние дни лишь болезненное, изнуренное тело.

И я понял, что никакими словами утешения не облегчить страшной трагедии человека, уже сознающего себя мертвецом...

Наступило молчание. Салтыков тяжело дышал и глухо, угрюмо стонал.

А из гостиной через полуоткрытую дверь доносились обрывки веселой болтовни. Там Елизавета Аполлоновна с Лизой принимали визиты каких-то молодых людей.

Молодые люди отпускали остроты, дамы кокетливо смеялись: «Вы думаете? Ах, какой вы злой!!», «Не смейте так говорить, я рассержусь...»

— У-у-у, — застонал Салтыков, — я умираю, а они...

Лицо его гневно задержалось, и вдруг со страшной ненавистью в голосе он закричал:

— Гони их в шею, шаркунов проклятых! Ведь я умираю!

В соседней комнате сразу затихли разговоры, послышался скреб отодвигаемых стульев и удаляющиеся шаги.

Через минуту в кабинет вбежала Елизавета Аполлоновна и, надув губки, хныкающим тоном обиженной гимнастки сказала:

— Ну, вот, ты всегда, Мишель, такие грубости говоришь. К нам никто ходить не будет.

Мишель не ответил. Он устал от только что пережитого возбуждения, сидел молча, по-прежнему положив ладони на письменный стол и уставившись в одну точку своими отвлеченными глазами...

А через несколько дней по Лиговке тянулась многотысячная толпа, предводимая с опаской поглядывавшими на нее конными жандармами.

Студенты стройно пели «Вечную память».

Русская интеллигенция хоронила великого русского писателя, одного из своих любимых вождей в борьбе за свободу и человеческое достоинство.

А среди этой густой толпы, непосредственно за гробом, под руку с юным лицеистиком, шла в глубоком трауре женщина, хоронившая только старого «Мишеля». Самый близкий, а вместе с тем и самый далекий из всех этих чужих людей ему человек.

Вскоре после похорон я зашел навестить Елизавету Аполлоновну.

— Ах, Владимир Андреевич, — сказала она мне печальным голосом, — могла ли я думать, что в той же шляпке, в которой я хоронила Сергея Петровича Боткина, я буду хоронить своего Мишеля! *

Мы сидели в том самом кабинете, где несколько дней тому назад меня принимал Салтыков...

Алексей Н. Веселовский

Алексей Николаевич Веселовский (1843—1918), как и его брат Александр Веселовский, был представителем сравнительного метода в литературоведении (компаративизма). Щедрин в своей сатире едко высмеивал крайности этого метода, особенно уродливо развившиеся в так называемой «теории заимствования». Эта анти-историческая теория отрывала произведения литературы от народной почвы и национальной традиции. В «Дневнике провинциала в Петербурге» сатирик создал ядовитый образ ученого-пенкоснимателя Болиголова, автора диссертации: «Русская песня «Чижики! чижики! где ты был?» — перед судом критики». Болиголова утверждает, что эта песня «подлог» и что в мавританском подлиннике сказано: «На Гвадалквивире воду пил». «Всю Европу, батюшка, изъездил, чтобы убедиться в этом!» — заявляет Болиголова. Сатирический образ Болиголова затрагивал Алексея Веселовского не в меньшей степени, чем его брата Александра.

Личное знакомство сатирика с Алексеем Веселовским поддерживалось через Сергея Андреевича Юрьева (1821—1888) — товарища детских и школьных лет Салтыкова. В семидесятых — восьмидесятых годах Юрьев был дружески связан с Алексеем Веселовским. Записанная Веселовским в феврале 1889 года беседа с Салтыковым о Юрьеве и о совместно проведенных ими школьных годах в Москве является почти единственным автобиографическим источником, освещающим этот период в жизни будущего писателя.

<М. Е. Салтыков и С. А. Юрьев>

М. Е. Салтыков родился всего в семи верстах от села Воскресенского, родины Юрьева. Дружба их, начавшаяся в детстве, еще более скрепилась в школе; оба они

учились сначала вместе в Дворянском институте, в Москве. Потом пути их разошлись: Салтыков перешел в Александровский лицей, Юрьев — в Московский университет. Служба будущего сатирика в Петербурге и годы ссылки в Вятке еще дальше, казалось, развели их. Но возвращение Салтыкова к литературной деятельности и несколько новых попыток его служить опять скрепили старые отношения. Оба друга виделись и в Москве, куда Салтыков прежде часто заезжал, также и в Твери, где он одно время служил, наконец в Петербурге. Вероятно, и прежде они обменивались письмами, но дошедшие до нас относятся уже к петербургскому периоду жизни Салтыкова, и именно, за исключением одного, очевидно писанного в 1871 году, и другого, по всей вероятности 1880 года (все они без обозначения года), к поре после прекращения «Отечественных записок»*.

Салтыков до последних дней своих сохранил необыкновенно ласковое, я бы прямо сказал — нежное, отношение к другу своего детства. Иной раз и на его счет вырывалась у него шутка, вспоминался какой-нибудь анекдот, но в них выступали лишь сильная впечатлительность, сказочная рассеянность, обильное красноречие и неистощимая способность Юрьева увлекаться идеею, — и в остроумной шутке слышалось сочувствие мечтателю. Это заметно и в письмах Салтыкова, откровенный тон которых показывает, каким близким человеком был ему Юрьев.

Зная это, друзья Сергея Андреевича, задумывая издание настоящего сборника, решили обратиться к Салтыкову с просьбой написать для него хоть несколько отрывочных воспоминаний о школьных годах в Дворянском институте. «Пошехонская старина» с ее несомненно автобиографическим фоном располагала, казалось, к припоминанию всех частных прошлого; работа подобного рода, думалось нам, была бы всего менее утомительной для больного.

Когда в первых числах февраля 1889 года я вошел в кабинет Салтыкова, я застал его одиноко сидевшим в глубоком кресле: ноги были заботливо закутаны пледом; на столике виднелось несколько склянок с лекарством; на исхудавшем лице, в недвижном взоре застыло неотвязное, бессменное страдание. Ни души в соседних комнатах, ни звука; все было уныло и мертво. С первых

же слов Салтыков стал уверять, будто я «один из немногих, которые о нем еще помнят»; затем речь зашла о Юрьеве — и на страдальческом лице мелькнула добрая улыбка. Несколькими штрихами обрисовал он тут же характер умершего товарища, его вечную страсть к театру, Мочалову, Шекспиру, но от писания воспоминаний решительно уклонился. «Не могу ничего припомнить связанного, — говорил он, — да и голова совсем не работает; за несколько недель вот все, что я написал», — и он указал на лежавший перед ним лист писчей бумаги; первая страница была далеко не вся исписана, и многие строки зачеркнуты (это была рукопись «Забытых слов»). Но я все еще не терял надежды.

— Вероятно, у вас не мало было курьезных педагогов, — говорил я, наводя разговор опять на прежнюю тему, — ведь старая школа была полна оригиналами.

— Да, — отвечал он, — теперь таких уже не бывает, — небритые, вечно пьяные, ходили в фризových шинелях, — и он стал как будто вглядываться во что-то и продолжал говорить, не отрывая глаз от сцены, которая в эту минуту, вероятно, живо представлялась его воображению. Я знал, что за тем последует бесподобная комическая импровизация, и не ошибся в ожиданиях. Забыв, что за несколько минут он печалился, что ничего не может припомнить, Салтыков рассказал в лицах картинку из прежней школы. На слушателя пахнуло стариной, с допотопными учителями, патриархальными средствами исправления, битьем линейками по рукам, надеванием колпака с огромными ушами. Героем рассказа был учитель русской словесности Суринов*, никогда не являвшийся в класс в трезвом состоянии и не замечавший, что во время его урока ученики чуть не на головах ходили. Но вот однажды шум стал до того оглушительным, что он решил положить ему предел. На самой дальней скамейке увидел он Юрьева в рукопашной схватке со своим соседом и, чтобы застичь его врасплох, устремился к ним, шагая прямо по классным столам, выволок Юрьева на середину комнаты, поставил на колени и украсил его голову страшным колпаком.

— Вот как сейчас вижу эту сцену, — закончил свой рассказ Салтыков и закашлялся.

Несколько раз, мимоходом, Михаил Евграфович выводил (по его же словам) некоторые черты Юрьева в

своих произведениях (например, в «Пестрых письмах» в лице Семена Семеныча *) и указал мне на только что явившуюся тогда в «Вестнике Европы» главу из «Пошехонской старины», где всего полнее характеризовал его. В герое рассказа, Валентине Бурмакине, говорил он, много юрьевского, хотя обстоятельства его жизни, его женитьба и т. д. с умыслом изменены и расходятся с действительностью.

Но воспоминаний своих Салтыков все-таки не согласился написать и, желая сделать свой вклад в сборник, предложил четыре свои сказки, ходившие в свое время по рукам *, — все, что у него было в эту минуту законченного и ненапечатанного.

А. М. Унковский

В узком кругу домашних друзей Салтыкова одним из самых близких к нему людей был Алексей Михайлович Унковский (1828—1893) — либеральный деятель периода реформ, с 1866 года присяжный поверенный. Они познакомились еще юношами в начале сороковых годов, в Царскосельском лицее, но дружески сошлись уже в зрелом возрасте — в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов.

Основой их сближения в период начавшейся подготовки крестьянской реформы явилось сходство (не единство) взглядов по этому важнейшему вопросу эпохи. Избранный в 1857 году тверским губернским предводителем дворянства, Унковский принял деятельное участие в разработке либерального плана реформы. Он предлагал совершенно освободить крестьян от всякой помещичьей власти и наделить их землею, за которую помещики должны были быть вознаграждены «капитальным выкупом деньгами или облигациями». Проект Унковского был наиболее «буржуазным» из всех помещичьих проектов; он дальше всех шел навстречу потребностям капиталистического развития и в этом смысле был исторически прогрессивен¹. В статье «Гонители земства и Аннибалы либерализма» Ленин упомянул, вслед за Герценом и Чернышевским, имя Унковского в ряду тех передовых людей, которые «требовали несравненно большего, чем то, что осуществили «реформы»...» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 56).

Разумеется, объективно-исторический смысл проекта Унковского не мог в полной мере сознаваться ни им самим, ни современни-

¹ В январе 1860 г. Маркс писал Энгельсу: «По моему мнению, самые великие события в мире в настоящее время — это, с одной стороны, американское движение рабов, начавшееся со смерти <Джона> Брауна, с другой стороны — движение рабов в России. Ты, конечно, заметил, что дворянство в России открыто занялось агитацией за конституцию и что два или три человека из самых знатных семей уже сосланы в Сибирь...» (К. Маркс и

ками. Люди той поры оценивали его деятельность, исходя из конкретной политической ситуации тех дней, применительно к задачам того этапа и тех условий борьбы. Общественная репутация Унковского определялась ненавистью, с которой относились к нему крепостники, преследованиями, которым подвергло его правительство, и той поддержкой, которую оказывали ему все демократические силы, включая герценовский «Колокол». Много симпатий, особенно в среде молодежи, привлек к себе Унковский и тем, что не на словах, а на деле доказал полноту своего отвращения к крепостному праву. Получив в пятидесятых годах наследство — родовое имение, Унковский немедленно предложил свободу всем дворовым людям, барщинных же крестьян перевел на легкий оброк и ввел у себя вольный труд. Широкая популярность Унковского во всех антикрепостнических кругах делала его весьма подходящим кандидатом на роль одного из руководителей задуманного Салтыковым в 1862 году журнала «Русская правда». Главной задачей этого органа являлось, по мысли Салтыкова, «сблизжение» между собой всех «партий прогресса, образовавшихся в последнее время в русской литературе и русском обществе» (XVIII, 374). Журнал, однако, не был разрешен властями, и, таким образом, совместная практическая деятельность Салтыкова и Унковского ограничилась разработкой этого проекта и организационными хлопотами. Имеются документы, позволяющие предполагать, что Салтыков и Унковский (живший тогда уже не в Твери) приняли некоторое участие в подготовке оппозиционных выступлений тверских либералов в конце 1861 и в начале 1862 года. Но эти указания недостаточно определены и требуют проверки и подтверждения.

В последующие годы, по мере того как Салтыков все глубже убеждался в политическом бессилии либерально-дворянской оппозиции и тема «измен либерализма» (Ленин) занимала все большее место в творчестве сатирика, идейная основа его отношений с Унковским постепенно стала выветриваться. Но личное их общение не только сохранилось, но и стало значительно теснее. Салтыкова привлекало в Унковском то своеобразное обаяние, которое единодушно признавалось всеми, кому довелось его знать. Даже В. И. Танеев, почти никогда и ни о ком не отзывавшийся с полной

Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXII, стр. 474). Это — отклик на объявленную административную ссылку (не в Сибирь) Унковского, Европеуса и Головачева — будущих компаньонов Салтыкова по проектировавшемуся изданию журнала «Русская правда» (ср. еще в письме Энгельса к Марксу от 26 января 1860 г. — там же, стр. 475—476). Ссылка Унковского (в Вятку) продолжалась недолго: с октября 1860 года он уже жил в Москве и продолжал встречаться с часто приезжавшим туда Салтыковым.

благожелательностью, писал о нем: «...я бы назвал Унковского святым; если бы сравнение с ним не было для святых слишком большою честью. И не я один смотрел на Унковского как на лучшего из людей. Все смотрели на него как бы с благоговением» (см. стр. 562).

Правда, Салтыков как раз не смотрел на Унковского «с благоговением»: он вообще не был на это способен. И Унковского он порою жестоко язвил в своих письмах, ядовито высмеивая слабые стороны его характера и политического поведения — безграничную простоту и добродушие, доходившие до маниловской рыхлости и беспечности. Иногда Салтыков ссорился с Унковским и, в припадках раздражения, слал в его адрес обидные и бранные слова. И все же они были и оставались людьми близкими и необходимыми друг другу, а не только привычными партнерами по карточной игре.

Унковский был большим почитателем литературного таланта Салтыкова, а сатирик дорожил критическими суждениями Унковского и любил читать в его доме свои только что написанные произведения. Постоянно находясь по роду своей профессии адвоката в круговороте различных дел, Унковский являлся для замкнуто жившего сатирика ценным источником необходимых ему для творческой работы разнообразных жизненных фактов. Об этом свидетельствует ряд современников, в том числе и А. Ф. Кони. В своем письме от 23 апреля 1892 года к биографу Унковского, упомянутому Г. А. Джаншиеву, он пишет: «Вы знаете, каким увлекательным, остроумным и хорошо осведомленным собеседником был покойный Алексей Михайлович. Салтыков немало почерпнул из его рассказов, особенно для тех страниц своих сочинений, где он касается нашего суда и адвокатуры» (сообщено Н. Г. Осокиной). О том, что сатирик часто «пользовался в печати» рассказами Унковского, вспоминает и Н. А. Белоголовый (см. стр. 621).

Салтыков высоко ценил моральные качества Унковского. Среди адвокатов той поры, вовлеченных капиталистическим грондерством в лихорадку стяжательства, Унковский, один из немногих, сохранил принципиальность и полное бескорыстие. Он неизменно отклонял предложения выступать за высокий гонорар в делах, которые казались ему в каком-либо отношении не совсем чистыми. Зато он вел дела по земельным тяжбам крестьян с помещиками и защищал подсудимых в политических процессах, в том числе и в процессе первомайцев. Прибылей такая практика ему не приносила. «Он, бедный, — писал об Унковском в 1885 году Салтыков, — работает без устали, но, по обыкновению, скромн и живет с хлеба на квас. Даже возмутительно видеть рядом с этой личностью таких отпетых хищников, как Утин, Урусов, Потехин и даже Спасович...» (XX, 200).

В семидесятые — восьмидесятые годы дружеские отношения ме-

жду Салтыковым и Унковским перешли почти в родственные. Салтыков крестил сына Унковского, а Унковский — дочь Салтыкова. Еще в 1875 году Салтыков назначил Унковского своим душеприказчиком и одним из опекунов своих детей. По словам Л. Ф. Пантелеева, именно к Унковскому обращался Салтыков «в самые трудные минуты, когда его душевное состояние почему-нибудь доходило до крайнего напряжения» (см. стр. 186).

Казалось бы, от Унковского можно было ожидать одного из наиболее крупных вкладов в мемуарную литературу о Салтыкове. И действительно, вскоре после его смерти Унковский задумал целую «книгу воспоминаний». Но «далее небольших набросков не пошел» (см. на стр. 658 записи М. А. Унковского). Этим «наброском», вероятно, и является публикуемая «программа» лекций-воспоминаний. Судя по этой «программе», или «конспекту», воспоминания Унковского уже в самом замысле своем не имели широкого и глубокого плана. Объясняется это в какой-то мере и физическим состоянием Унковского, рано одряхлевшего и уже не способного осилить крупную работу, но главным образом его идейными позициями. С этих позиций — выцветшего и вылинявшего либерализма шестидесятых годов — даже нельзя было определить хотя бы масштабы Щедрина как исторического явления, а не только увидеть и нарисовать его целостный портрет.

При всем том воспоминания Унковского содержат ряд весьма ценных наблюдений и фактов, относящихся к разным периодам жизни Салтыкова. Таковы, например, свидетельства о том, что юный Салтыков «пользовался общим расположением» в лицее, о том, что он был смолоду и до своего заболевания в 1875 году человеком очень веселым, нерасчетливым, доверчивым. Все эти черты характера Салтыкова Унковский намеревался проиллюстрировать живыми рассказами (в соответствующих местах рукописи — пометки: «несколько примеров»), но не сделал этого. С наибольшей энергией подчеркивает Унковский правдивость натуры Салтыкова и его веру в духовную мощь русского народа — веру, служившую главным источником творческой энергии писателя.

<ПРОГРАММА ЛЕКЦИЙ-ВОСПОМИНАНИЙ О М. Е. САЛТЫКОВЕ>

М. Е. Салтыкова я знал более сорока шести лет. В начале 1843 года, когда я поступал в первый (младший) класс Царскосельского лицея, он переходил уже в четвертый (старший) класс. В то время курс лицея был

шестилетний, разделялся на четыре класса, по полтора года в каждом. Поэтому мы были с Салтыковым в лицее одновременно полтора года. В течение этого времени лицей был переведен в Петербург, и Салтыков кончил курс уже в Петербурге, в половине 1844 года. Тогда отношения наши были весьма далекие. Мы знали друг друга почти только в лицо. Помню хорошо лишь то, что Салтыков пользовался общим расположением. Между младшими и старшими классами бывало сближение в то время, когда старшие дежурили в младших для надзора за порядком. Хорошо помню я его лишь в тот момент, когда он, по выходе, приезжал в лицей в мундире военного министерства, — кажется, для получения аттестата.

После этого прошло двенадцать лет. В 1856 году я жил уже в Твери. К концу этого года появились «Губернские очерки» Щедрина *. Об авторе их я знал лишь то, что он вернулся из Вятки. Затем в начале 1857 года я приехал по делам в Петербург и остановился в гостинице Клея. На другой или третий день утром неожиданно ко мне пришел Салтыков, которого я узнал с первого взгляда — до такой степени его лицо мало изменилось. Одет он был тогда положительно щеголем: в лаковых штиблетах и шелковых чулках. В то время мы с ним виделись много раз и скоро сошлись весьма близко. Затем он бывал у меня в Твери каждый раз, когда выезжал из Петербурга *. Мои сношения с ним не прекращались и тогда, когда он был вице-губернатором, сначала в Рязани, а потом в Твери, и управляющим Казенной палатой в Туле и Пензе. В течение этого времени он был с лишком год в отставке * (кажется, с 1862 по 1864 год). Тогда он проводил лето в имении своем под Москвою, а остальное время в Петербурге, где участвовал в «Современнике». Я же проводил большую часть времени в Москве, и мы часто видались с ним как в Москве, так и в его деревне ¹. Бывал он и у меня, в моем имении *. Затем с 1868 года жили мы оба в Петербурге и разлучались лишь на летнее время и при поездках за границу.

¹ В конце 1862 года было у нас с ним намерение издавать вместе ежемесячный журнал под названием «Русская правда». Мы подавали об этом прошение, но разрешения не получили.хлопотали и об оставлении своих <1 нрзб. — фамилий?> и иным образом, то есть под чужим именем, но и это нам не удалось *. (Примеч. А. Унковского).

Смолоду был он человек очень веселый. Юмор его был заразителен. Работал же он изумительно скоро. Я сам видел своими глазами, как велик был его труд при участии в «Современнике» и «Отечественных записках». Кроме того, что он писал сам, он перечитывал громадную массу рукописей и успевал переделывать целые повести и романы; не оставлял без внимания и других отделов журнала. Между тем он успевал бывать и в обществе, интересуясь всеми явлениями общественной жизни, без всякого исключения. Хотя он и не участвовал лично в крестьянской реформе, но его интересовала даже всякая мелочь по этому вопросу. Интересовался он и судебной реформой и экономическими вопросами. В 1863 году я, по его требованию, писал для «Современника» статьи о началах судебной и финансовой реформ *

Матери его я никогда не знал и не видал, но слышал от него и от всех, что он не был ею любим. Из дому получал он очень мало и жил до семидесятых годов почти одним жалованьем и трудом. Несмотря на это, сначала он был очень нерасчетлив. От этого, а также от крайней его доверчивости он был постоянно жертвою всякого рода неудач и обманов в практической жизни. В 1861 или 1862 году купил он имение, — село Витенево под Москвою, около станции Пушкино (Ярославской жел. дор.) * и недалеко от известного Марфина, принадлежавшего графу Панину, — на деньги, которые он занял с целью заняться хозяйством, и эта затея принесла ему большой убыток. Он приехал покупать имение зимою и осмотрел его *à vol d'oiseau*¹, не справляясь с планами. Покупка была сделана им в расчете на особую ценность большого строевого леса и громадных запасов сена, от которых, по-видимому, ломились большие сараи. Между тем немедленно после совершения купчей и вручения денег продавцу показанный ему лес оказался принадлежащим к соседней даче графа Панина, а сена оказалось не более нескольких пудов, которыми были заделаны ворота сараев. Одним словом, имение, за которое он заплатил тридцать пять тысяч рублей, могло давать дохода не более шестисот рублей *. Он принял было за хозяйство, но и тут его постоянно обкрадывали. При этом был еще один случай, наглядно доказывающий его непрактичность

¹ поверхностно (буквально: «с птичьего полета» — франц.).

и крайнюю доверчивость. К нему в Москве явился некто г. Нейфельдт с предложением купить часть имения, прилегающую к простой водяной мельнице, с целью устройства винокуренного завода и с условием уплаты семнадцати тысяч рублей; но так как Нейфельдт плохо понимал по-русски, то просил его написать проект той расписки, которую он получит при уплате денег. Михаил Евграфович, не подозревая никакого злого умысла, написал собственноручно целую расписку в получении семнадцати тысяч рублей и отдал ее г. Нейфельдту, собственню для того, чтобы он показал своим знакомым. Из этого вышла такая история, что Салтыков чуть было не полатился эту сумму; * но, к счастью, Нейфельдт был уличен в обмане, сам сознался, что он не платил Салтыкову денег, и возвратил расписку. Но вот что удивительно: по прошествии некоторого времени тот же Нейфельдт явился к Салтыкову уверять его, что он будто бы был орудием других лиц, которые его ограбили; что он остается с семьею без куска хлеба и т. п., и до того разжалобил Салтыкова, что он отдал ему в аренду часть имения для постройки винокуренного завода. Все это дело окончилось весьма плачевно. Нейфельдт начал строить завод, причем надул многих лиц, занимая у них деньги и никому ничего не заплатил, а Салтыкову не осталось даже и материалов от постройки, так как все они были взяты кредиторами арендатора. Все эти операции заставили Салтыкова изменить самый образ его жизни. С половины шестидесятых годов он по необходимости сделался крайне расчетливым, не пускался уже ни в какие операции, платил долги и боялся больше всего сельского хозяйства¹. Действительно, нельзя представить себе человека, менее способного к такому хозяйству. Если в половине семидесятых годов им куплено было имение под Ораниенбаумом *, то это была только дача для летнего пребывания. С 1868 года, поселившись в Петербурге, он предался исключительно литературному труду, проводя большую часть времени в совершенном одиночестве и лишь изредка позволяя себе отдыхать в кругу близких людей.

¹ Материальное положение его улучшилось лишь через несколько лет, когда мать выделила ему незначительную часть своего имения, а доходы с «Отечественных записок» увеличились. (Примеч. А. Унковского).

Неудачи в практической жизни, необходимость экономики, постоянный труд, отчасти порок сердца, которым он страдал издавна, мало-помалу изменили его характер. С каждым годом он делался более и более нервным, постоянно горячился в спорах о чем бы то ни было и даже в картах, так что лицам, мало его знавшим, казался человеком злым. Но между тем под этой маской он оставался в действительности очень добрым человеком, и даже сердился он очень забавно, а направленная против него брань не вызывала с его стороны продолжительного гнева.

С 1875 года состояние его здоровья окончательно изменилось к худшему. В конце 1874 года он простудился и нажил жестокий ревматизм, который, по-видимому, повлиял на сердце и нервную систему. В апреле 1875 года его отправили в Баден-Баден, где в течение мая он не мог двигать ни рукою, ни ногою, потому что всякое движение причиняло ему сильнейшую боль. Впрочем, с июня он начал поправляться. К счастью, он попал на руки очень хорошего баденского медика г. Гейлигенталля, который в конце апреля не отходил от него ни на минуту в течение нескольких дней. Узнав об этом, мы, друзья Салтыкова, купили г. Гейлигенталлю серебряный кубок*, который я и отвез в Баден-Баден в половине июня 1875 года. Застал я Салтыкова уже на ногах. Он меня встретил на станции, но жаловался на постоянные боли в пальцах рук. Затем осенью он поехал в Париж, а оттуда в конце октября — в Ниццу, где и провел всю зиму. Еще в письмах из Парижа он жаловался на возвращение ревматических болей и в особенности на тяжелое нервное состояние. В письме из Парижа, 14 октября*, между прочим, он писал ко мне: «В какой степени я нервен и болен, тому может служить доказательством, что на днях у Тургенева читал граф Соллогуб сочиненную им пошлейшую и подлейшую пьесу, и со мной сделалось что-то вроде истерики, так что Соллогуб испугался и просил простить его, предлагая сжечь пьесу. Не помню даже, что я ему наговорил». Впоследствии я слышал рассказ об этом случае и от Тургенева. Такого было болезненное состояние Салтыкова. В Ницце ему было еще хуже, и хотя в конце мая 1876 года он возвратился из-за границы в довольно сносном положении, но с тех пор здоровье его уже окончательно пошатнулось,

и кажется, не было ни одного дня, который был бы проведен им без лекарств. Как очевидец могу смело утверждать, что в течение этих почти тринадцати лет он оставался жив благодаря попечениям С. П. Боткина и Н. И. Соколова, которые не оставляли его без постоянного наблюдения.

Трудился он по-прежнему, и даже более, так как с болезнью и смертью Некрасова ему пришлось одному хлопотать по изданию «Отечественных записок». Труд этот был очень тяжел, но запрещение журнала, нарушив его образ жизни, повлияло еще хуже на состояние его здоровья*. В течение долгого времени он привык передавать все свои впечатления публике и в журнале видел единственный способ к удовлетворению этой потребности. Не имея своего собственного журнала, он не мог своевременно делиться мыслями с читающею публикою и долго не мог решиться, где помещать свои сочинения. Вследствие этого по истечении некоторого промежутка времени характер его, как мне казалось, сделался более мрачным, а затем и последние остатки здоровья истощились.

В последний раз в сносном виде я помню его лишь в моей деревне, в июне 1885 года*. Приехав туда дня на три, он был весел и даже в последний раз в жизни играл в карты. Так как его семья была за границею, в Эльстере, то он поехал туда и на дороге, уже за границею, почувствовал себя так плохо, что после того не поправлялся, а в ноябре 1885 года, будучи в Петербурге, очутился почти при смерти, от которой был спасен С. П. Боткиным и Н. И. Соколовым, и затем жил, так сказать, почти искусственною жизнью.

В последние три-четыре года нервное состояние его было невыносимо. Шум обыденной жизни его раздражал. Одиночество его томило. Между тем приход каждого лица приводил его в волнение. Разговоров в соседней комнате он не мог слышать. Даже присутствие близких людей очень часто его стесняло, так что, бывая у него, я сам часто не знал, оставаться ли мне, или уйти.

Но все это не мешало нравственной его жизни и литературному труду. Все время его посвящено было умственной работе. Когда он не писал для печати, то все мысли его были заняты положением его семьи, которую он горячо любил. Сидя постоянно у письменного стола, он оставил массу записок*, из которых видно, что он

обдумывал все мелочи той жизни, которую придется вести его семье после его смерти, а в последнее время принял все меры даже к тому, чтобы его смерть не наделала никаких временных хлопот его жене и детям.

Привычка писать для публики у Салтыкова дошла до того, что, по его словам, представлявшиеся ему в воображении образы не давали ему покоя до тех пор, пока он не изображал их в очерке. «Как только напишу, — говорит, — так и успокоюсь». В особенности жаловался он на такое состояние в течение последнего времени, именно тогда, когда он писал «Пошехонскую старину». Я и многие лица, навещавшие его в это время, часто слышали от него, что вызываемые его воображением образы из давно прошедшего не дают ему покоя даже и ночью. Мне кажется, что это объясняется его болезненным состоянием, в котором письменная работа сделалась для него труднее. В этом состоянии он сделался впечатлительнее. Всякое неприятное известие беспокоило его более прежнего. Часто причина его беспокойства была до того мелочна, что здоровому человеку и понять ее было невозможно. В особенности он сделался мнителен. То и дело ему казалось, что все ненавидят его или забыли. Одним словом, состояние его было таково, что со стороны нельзя было ни помочь, ни утешить.

Между тем, будучи в таком ужасном положении, Салтыков как писатель нисколько не изменился. Я не думаю, чтобы в его сочинениях, даже последнего времени, могла найтись строка, которая противоречила бы его убеждениям и тем идеалам, которым он служил с самого начала литературного поприща. Отрицать существование таких идеалов у Салтыкова могут лишь люди, по понятиям которых определенные общественные идеалы заключаются лишь в готовых проектах уездного или волостного управлений. Нельзя не согласиться, что такими проектами Салтыков не занимался и даже едва ли был способен заниматься. Он не был человеком компромиссов. Выше всего он ставил человеческую личность и терпеть не мог лжи, — не мог терпеть до такой степени, что даже по натуре своей не умел говорить комплиментов. Он всегда говорил только то, что думал, и даже не умел скрывать того, что приходило ему в голову. Хотя он не принадлежал ни к какой партии, но всегда был на стороне тех лиц, которые искренне трудились на общую пользу народа и его

просвещения в пределах благоразумия. Если же увлечения этих лиц выходили из таковых пределов, то он под-
вергал их увлечения беспощадному осмеянию, как и вся-
кую другую ложь и пошлость *.

Все написанное им в течение сорока лет ясно доказы-
вает, что он верил в духовную силу русского народа и
что взгляд его в сущности нельзя признать песси-
мистическим уже потому, что нет возможности предпо-
ложить, чтобы человек, потративший такую массу нере-
месленного труда в пользу литературы, не верил в благо-
творность его результатов. Поэтому смешивать его с теми
пессимистами *, которые ни во что не ставят отдельного
человека, презирают русскую интеллигенцию и верят
в возможность водворения такого законного порядка,
при котором человеческая личность не имела бы никакого
значения, по меньшей мере смешно.

М. А. Унковский

Печатаемые ниже воспоминания и «рассказы» написаны Михаилом Алексеевичем Унковским (1867 — после 1933), сыном Алексея Михайловича Унковского, друга Салтыкова.

Запомнившиеся М. А. Унковскому рассказы отца, так же как и его собственные воспоминания, относятся преимущественно к вне-литературному быту Салтыкова в семидесятых годах. В них, в частности, имеются некоторые сведения о Салтыкове и «компании мушкетеров». Так сатирик называл кружок знакомых ему людей, по-домашнему связанных друг с другом — литератора-пушкиниста В. П. Гаевского, врача С. П. Боткина, инженера А. Н. Еракова, адвокатов А. Л. Боровиковского и А. М. Унковского, гласного петербургской думы В. И. Лихачева, актера-рассказчика И. Ф. Горбунова и других. Эти люди нередко сходились для обедов, карточной игры и либеральных разговоров, вместе ездили в итальянскую оперу и французскую оперетту, участвовали в пародийно-церковном ритуале «основанного» ими шутивого «гастрономического общества», спорили на «пятницах» Унковского.

Участие Салтыкова — до его болезни — в «подвигах» «компании мушкетеров» подтверждают слова из воспоминаний А. М. Унковского: «Смолоду был он человек очень веселый. Юмор его был заразителен». «Компания мушкетеров» давала Салтыкову возможность наблюдать изнутри ту жизнь столичного либерального общества, которая с такой едкостью и остротой изображена в его сатире, особенно в его «Дневнике провинциала в Петербурге».

Я помню Михаила Евграфовича Салтыкова, начиная с самого раннего моего детства, так как отношения между его семьей и нашей были почти родственные. Приобрести сколько-нибудь сознательные впечатления от личности Михаила Евграфовича я, хотя и видел его очень часто, мог, разумеется, не раньше как приблизительно с четырнадцати-пятнадцатилетнего возраста. Эти впечатления длились шесть-семь лет. Я был 21-летним юношей, когда Салтыков умер. Поэтому о большинстве упоминаемых ниже фактов, особенно относящихся к семидесятым годам, я сообщаю не на основании личных наблюдений, а со слов моего отца, Алексея Михайловича Унковского. Ближайший из друзей Салтыкова, отец мой не только знал все литературные замыслы Михаила Евграфовича, но в иных случаях даже подсказывал ему эти замыслы и сам доставлял для их разработки богатые жизненные материалы. После смерти Салтыкова мой отец хотел писать о нем книгу воспоминаний, начал даже собирать для нее материалы и часто высказывался о своем товарище и друге, но дальше небольших набросков не пошел*.

Привожу из слышанных рассказов ряд приходящих мне на память разрозненных фактов и наблюдений, относящихся к разным сторонам характера М. Е. Салтыкова и к отдельным эпизодам его жизни.

Из сочинений Салтыкова видно, как внимательно следил он за всеми политическими событиями как в России, так и за границей. Одним из источников его осведомления являлись запрещенные в то время цензурой журналы и книги, издававшиеся за границей. По словам моего отца, Салтыков в начале шестидесятых годов очень интересовался журналом Герцена «Колокол» и регулярно читал его...

Михаила Евграфовича всю жизнь не покидало и особенно мучило во время приступов предсмертной болезни какое-то далекое воспоминание о том, что он, Салтыков, в бытность свою вице-губернатором, допустил какую-то оплошность, связанную с судьбой одного из обвиняв-

шихся тогда по политическому делу. Подробности этого эпизода мне так и не удалось выведать у отца, так как он говорил об этом неохотно, только намеками. Но связь этого тяжелого душевного переживания с каким-то событием была ясна*.

У покойного отца в конце шестидесятых и в начале семидесятых годов бывали регулярные собрания каждую пятницу, на которые сходились чуть ли не все передовые по своим воззрениям люди того времени, в том числе многие представители литературы и искусства. Постоянными или частыми посетителями пятниц были: Некрасов, Салтыков, Плещеев, Кони, поэт Жемчужников, А. Л. Боровиковский, Елисеев, С. П. Боткин, актер-комик Горбунов, художник Ге, петрашевец Европеус, А. А. Головачев и Ап. Фил. Головачев, его жена А. Я. Панаева (крестная мать моей старшей сестры), Е. И. Утин, Ю. Г. Жуковский с женой и другие. Изредка бывали приезжавшие в Петербург Тургенев, Григорович и Достоевский.

Эти известные в те годы «пятницы» носили еще название «литературного кружка», так как посетителями собраний были в большинстве литераторы и публицисты того времени. Из членов кружка только один Некрасов питал страсть к клубной жизни, где любил играть в большие игры. Салтыков и все прочие считали обстановку клубов крайне для себя стеснительной, потому что они были людьми известного направления, с определенными взглядами, тогда как клубы в то время были полны людьми сборными: туда втирались, в особенности в семидесятых годах, денежные тузы, всякого рода концессионеры, рвачи, или, как называл их Салтыков, «всякий сброд». Правда, и Салтыков, по словам отца, сознавал важность для своих литературных задач тех особых наблюдений, которые он мог бы почерпнуть из клубной жизни. Но Михаил Евграфович не мог побороть своей нелюдимости и боязни встретить там людей не только не сходных, но даже прямо противоположных воззрений.

Чаще всего полный состав литературного кружка собирался у покойного отца на Надеждинской улице в доме Чебышева. Мы жили там до начала восьмидесятых годов, когда перебрались на Литейный. Это был нормальный

пункт еженедельных собраний по пятницам. Здесь Салтыков часто читал свои новые произведения, еще в рукописях, как только они появлялись на свет из-под его пера. Когда ему мешал кашель, он передавал чтение рукописи Кони или Боровиковскому, и слушатели высказывали свои мнения. Изредка, в более тесном составе кружка, — всегдашними участниками были Некрасов, Салтыков, Ераков и мой отец, а остальные чередовались — друзья собирались во французских ресторанах Дюссо или Бореля на Морской. Обычно это происходило по вечерам после балета и итальянской оперы, усердными посетителями которых они все были. Нередко участники кружка навещали модный в то время французский <театр> «Буфф» (в уничтоженной впоследствии пристройке к Аничкову дворцу), где подвизалась одно время увлекавшая петербуржцев, и в том числе Некрасова и Салтыкова, опереточная певица Анна Жюдик. Недаром у Некрасова и Салтыкова встречается столько отголосков этих посещений *.

В самом начале семидесятых годов эту дружескую группу недолгое время занимал еще один своеобразный вид увлечения: они организовали у себя «гастрономическое общество для разработки начал эстетики питания», причем во время принятия пищи о посторонних темах за грешено было говорить. Большое участие в этом обществе принимал и знаменитый С. П. Боткин, вскоре или только что назначенный лейб-медиком. Регулярно, раз в месяц, собирались они в ресторане Бельвю на Невском проспекте против сада Аничкова дворца. Им неизменно прислуживал здесь официант татарин Науматтула Хабибуллин, выведенный в сатире Салтыкова в роли воспитателя Иомудского принца *. Хабибуллина, древнего, но бодрого и расторопного старика, я еще не так давно встречал на б. Николаевском вокзале, где он служил по той же части.

Склонность хорошо поесть и выпить культивировалась не в малой степени и в «домашнем порядке». Однако эти собрания друзей никогда не носили характера простого «жертвоприношения Маммоне», а являлись лишь своеобразной обстановкой, оживлявшей культурные беседы на воодушевлявшие всех темы. Случались и выпад

в область сатирического и просто забавного. И. Ф. Горбунов, отменно зная церковнославянскую речь, художественно верно составлял «акафисты», в которых словились все члены кружка поочередно, причем доставались все нужные церковные облачения и утварь; при этом роль священника исполнял Н. И. Соколов, в то время молодой ассистент профессора Боткина. Кроме «церковных развлечений», участники кружка часто выступали в роли кулинару, особенно Ал. Ник. Ераков и тот же актер Горбунов. Они облачались в поварские одежды и священнодействовали на кухне в качестве приготовителей блюд в духе знаменитых московских трактиров... Нередко оживлял кружок в высшей степени типичным исполнением русских песен и музыки Третий Ив. Филиппов, обладатель хорошего тенора. Впоследствии в связи с повышением по чиновной лестнице он отпал от кружка...

Салтыков с первого взгляда часто производил на многих невыгодное для себя впечатление, так как казался по манере держать себя человеком грубым, а взгляд его больших серых глаз был неизменно суров.

Впечатление грубости создавала главным образом речь Салтыкова. Он любил чисто русскую крестьянскую речь, которую знал в совершенстве, и больше всего ценил старинный московский говор. Михаил Евграфович всегда сердился, когда кто-нибудь, даже в простой беседе, говорил неправильно. Речь самого Салтыкова была пропитана народными оборотами, что объясняется тем, что он детство провел в деревне, среди крестьян, и впоследствии, по роду своей службы, имел дело с простым народом. Михаил Евграфович всегда волновался, когда готовился иметь дело со светскими людьми, и часто говорил о себе: «Я — мужик». Действительно, без крепко посоленного «мужицкого» словца Салтыков почти не умел говорить в обществе своих друзей (разумеется, только мужского пола). Однако, и это было общим впечатлением, речь его казалась, несмотря на всю грубость «истинно русской» терминологии, художественно-выразительной, яркой и остроумной, а не просто пересыпанной циничными выражениями, и при басовом, грудном и зычном голосе Михаила Евграфовича всегда вызывала неудержимый

смех слушателей. Привычка применять характерные для простого русского человека грубые слова не оставляла Салтыкова и при более или менее длительных пребываниях его за границей. В этой связи я не могу не вспомнить случая, произошедшего в одном из германских курортов, помнится в Баден-Бадене. Салтыков прохаживался с моим отцом по какой-то аллее, специально назначенной для лечебных прогулок больных. Вокруг кишело главным образом иностранное общество. Невдалеке от них сидел на садовой скамейке какой-то весьма опрятно одетый субъект, видимо из зажиточного слоя, обладавший широким безбородым и безусым лицом, безволосой головой и жирной шеей. На субъекте была надета шляпа с узкими полями. Салтыков, обращившись к моему отцу и не рассчитывая встретить в данном случае русского человека, гаркнул своим вечно громовым голосом (тихо он совершенно не умел говорить): «Посмотрите, не правда ли, как этот человек удивительно похож на ... в шляпе?», употребив очень грубый русский термин. Когда же они подошли ближе к сидевшему, тот очень почтительно встал, снял шляпу и произнес: «Вы не можете себе представить, как приятно слышать звуки родного языка на чужбине». Михаил Евграфович не знал, куда деться от стыда.

Внешняя грубость Михаила Евграфовича не только не являлась свидетельством грубости его чувств, но как-то даже своеобразно выражала для людей, знавших писателя, внутреннюю сущность его склада и характера. По природе же Михаил Евграфович был человеком в высшей степени добрым, мягким и отзывчивым. Таким его знали все его близкие друзья и люди, имевшие с ним дело по редакции «Отечественных записок». Покойная Наталья Филипповна Головачева (сестра Аполлона Филипповича Головачева), служившая в редакции корректором, рассказывала о частых случаях денежной помощи, оказывавшейся Михаилом Евграфовичем нуждавшимся литераторам, а иногда и обращавшимся к нему по разным поводам представителям революционной молодежи.

Часто за грубость принимали прямоту характера Салтыкова, а также его крайнюю раздражительность. В результате этой раздражительности Салтыков окрещивал

язвительными кличками даже людей, к которым он, казалось бы, скорее должен был чувствовать расположение, и, надо отдать ему справедливость, как всегда у Салтыкова, клички эти схватывали некоторые характерные черты тех лиц, к которым относились.

Так, Елену Иосифовну Лихачеву, энергичнейшую женщину, стоявшую в семидесятых годах во главе движения за равноправие женщин и поднятие уровня женского образования в России, сотрудницу своего журнала, Салтыков иронически называл «начальницей женского вопроса».

Известного общественного деятеля Алексея Адриановича Головачева за его публицистические статьи, в которых он вспоминал и обозревал реформы шестидесятых годов и сокрушался о последовавшем позднее их «оскоплении» правительством, перешедшим вскоре после обнародования этих реформ на путь реакции, Салтыков окрестил названием «старого тряпичника».

— Что вы ходите ко мне с этой запятой? — говорил Салтыков моему отцу, когда тот приводил к нему другого летописца реформ шестидесятых годов, Григория Аветовича Джаншиева, в свои приезды из Москвы всегда выражавшего желание видеть Салтыкова, которому он был сердечно предан. Название «запятой» было дано Салтыковым Джаншиеву в связи с внешним обликом Джаншиева, маленького, горбатого и всегда входившего в кабинет Салтыкова позади отца, — несомненно, метко.

Своего старого знакомого, передового человека, известного тем, что он открыл в С.-Петербурге первую библиотеку для общественного пользования, Николая Николаевича Черкесова, Салтыков прозвал «самым умным из растений».

Язвил он каким-то тоже едким названием и своего в высшей степени заботливого о нем же, Салтыкове, соседа и мужа владелицы того дома, в котором много лет жил и умер Салтыков, известного главного врача и не менее известного историка крестьянской реформы, а также всеми уважавшегося деятеля по призрению слепых — Александра Ильича Скребицкого. Данной Скребицкому клички я не могу вспомнить.

Салтыков, дорожа, без сомнения, мерой своей писательской известности, степенью популярности своих сочинений в широкой общественной среде, в то же время

терпеть не мог каких-либо внешних выражений почета, вследствие чего избегал бывать в больших собраниях и, любя искусство, особенно музыку, — даже в театрах и концертах. Я хорошо помню случай, когда Михаил Евграфович, очень заинтересовавшись какой-то шедшей, помнится, в Александринском театре новой пьесой, вошедши с сыном в фойе театра и услышав вокруг себя восторженный шепот узнавшей его молодежи: «Щедрин, Щедрин», немедленно же, не досмотрев представления, уехал домой.

Несомненно, что Михаил Евграфович женился на Елизавете Аполлоновне Болтиной не иначе как по горячему увлечению. Иначе и быть не могло, если судить по тому обстоятельству, что Михаил Евграфович в бытность свою женихом не затруднился написать специально для своей будущей жены целый курс истории России *. Такой большой труд мог взять на себя только человек, горячо полюбивший свою очень юную тогда невесту и задавшийся целью серьезно заняться расширением ее умственного кругозора. Но увлечься своей Лизой и сохранить это увлечение надолго Салтыков мог, нужно думать, исключительно благодаря ее привлекательной наружности, отменному изяществу, положительной художественности как ее движений, так и всех ее внешних проявлений — свойствам, сохранившимся без особых изменений в Елизавете Аполлоновне до последних лет жизни, несмотря на достижение ею довольно преклонного возраста. Для людей, хорошо знавших трудную семейную жизнь Салтыковых, несомненно было, однако, что Михаил Евграфович горячо любил жену в течение всей своей жизни. Мой отец да и я сам часто слышали резкий ропот Салтыкова на жену и весьма суровые отзывы о ней. Слово «дура» не выходило из обихода домашнего обращения Салтыкова с женой. Для всех друзей Салтыкова было очевидно глубокое расхождение в склонностях и интересах мужа, жившего в сфере широких общественных вопросов, и стремлениях жены, все помыслы которой вращались исключительно вокруг различного рода источников развлечения и средств повышения ее красоты и внешней обаятельности. Такое глубокое расхождение не могло не приводить к повседневному домашнему расколу. Но, ежедневно раздра-

жаясь каждым шагом и словом жены, Салтыков в то же время не мог прожить без нее даже двух-трех дней, не начав испытывать грызущую по ней тоску.

Большая разница лет между ними, ее красота и жизнерадостность, а его, после 1876 года, вечно болезненное состояние заставляли Салтыкова часто ревновать жену к знакомым мужчинам, которыми она, как казалось ему, увлекалась, как, например, известным петербургским адвокатом, циркоманом и лихим наездником П. И. Танеевым или В. И. Лихачевым. Дело иногда доходило до того, что изобретательный слуга П. И. Танеева, боясь грозного Михаила Евграфовича, принося записки с приглашением в цирк или оперу, гримировался монахом-сборщиком на построение церкви.

Что Салтыков любил в жене именно ее красоту и внешнее изящество и едва ли что-нибудь другое, подтверждается его частыми отзывами о сестре Елизаветы Аполлоновны — Анне, как о несравненно более умной женщине. Действительно, Анна Аполлоновна, по мужу Турнье (она вышла в пожилых годах за француза), была более развита и образованна. Она после смерти своей матери проводила большую часть времени за границей в своей вилле, где-то на юге Франции *, и лишь изредка приезжала в Петербург к Салтыковым. На вопрос, почему Михаил Евграфович женился на Елизавете, а не на Анне, раз ставил ее так высоко в сравнении с сестрой еще в пору жениховства, Салтыков неизменно отвечал: «Да Елизавета была много пригляднее».

Очень красивая брюнетка, с серыми глазами, с правильными чертами лица, с изящными манерами, Елизавета Аполлоновна всем обликом и фигурой напоминала француженку *. До старости она была моложава для своих лет и всеми силами старалась сохранить свою красоту, говоря, что для женщины это все. Читала она исключительно французские романы, была суеверна, наивна и легкомысленна. Многие считали Елизавету Аполлоновну «пустой» и «глупой» женщиной, но ее в полном смысле этого слова так назвать было нельзя: практически она была очень не глупа. К осуществлению своих стремлений она шла вполне разумными путями, то есть путями, приводившими ее к достижению намеченных целей. Не менее рассудительно вела она свои дела и после смерти мужа.

Круг интересов Елизаветы Аполлоновны, как я сказал, был узко «женский». Путешествуя за границей, Елизавета Аполлоновна чувствовала себя как рыба в воде, в отличие от своего мужа, который не любил поездки за границу (собственно в Германию, так как для Франции, Парижа Салтыков делал исключение). Попав же на немецкую почву, в особенности в Берлин, Михаил Евграфович сразу начинал ругать немцев за все, в том числе и за непривычную для него, как русского, чистоту в общественных местах, особенно на улицах. «Я — русский; — говорил он, — и не могу выносить этой чистоты, хочешь плюнуть на улице и боишься, так как все кажется, что за тобой бегают немец с тряпочкой и, как только ты плюнешь на панель, сейчас станет вытирать».

Однажды во время нашего совместного пребывания за границей мой отец совершенно случайно довел Елизавету Аполлоновну до крайнего конфуза. Это было в одном из сильно посещаемых курортов Германии, куда Салтыков приехал лечиться, взяв с собою и семью, а мы, кажется, больше для того, чтобы навестить Салтыкова. Сам Михаил Евграфович по вечерам имел обычай, на правах больного, остерегаясь простуды, оставаться дома, отец же обычно вызывался провожать Елизавету Аполлоновну во время вечерних прогулок. Раз собрались на музыку. В курзале играл оркестр какого-то знаменитого в то время капельмейстера (в то время слово «дирижер» в применении к руководителям симфонических оркестров еще не было в ходу). Погода обещала быть ясною. Отец вышел с Елизаветой Аполлоновной из гостиницы, где остановились Салтыковы, еще при ясном небе. Когда же они отошли от дома на недалекое расстояние, стал накрапывать дождь. Отцу в заботе об интересах Елизаветы Аполлоновны, как бы ее не промочило дождем, так как музыка исполнялась на открытом воздухе, пришлось в голову вернуться в номер, чтобы захватить плед. Было уже сумеречно. Отец схватил вещь, казавшуюся ему пледом, догнал Елизавету Аполлоновну, раздетую в пух и прах, и под ручку с ней, неся взятую вещь, сложенную на другой руке, торжественно вошел в пышную толпу. Заняли видное место в середине поднимавшихся амфитеатром рядов стульев:

В немецких курортах все известно: какие личности приехали, откуда, кто где остановился и проч., так как все отбытия и прибытия в этих мертвых зимою и многолюдных в лечебный сезон местечках публикуются с величайшей подробностью в местных «курортных листках».

Да и публика зорко следит за всеми вновь появляющимися за общественной трапезой и у раздачи кружек с водами приезжими. При этом звание и репутацию приезжающих изрядно раздувают.

Так распространено было сведение о том, что Елизавета Аполлоновна — жена знаменитого русского писателя, а отец мой — выдающийся русский адвокат. Поэтому личности их удостоились внимания окружающей публики, да еще при занятом ими центральном положении в рядах амфитеатра.

Хорош же был эффект, когда отец, желая защитить Елизавету Аполлоновну от начинавшего разыгрываться дождя, взмахнул взятую вещь в воздух, чтобы расправить ее, и она перед глазами всей публики оказалась... брюками. Отец и Елизавета Аполлоновна в крайнем смущении поспешили удалиться из концерта*.

Об этом случае на другое же утро прозвонил местный листок, что с «женой знаменитого» и т. д. и «известным русским адвокатом» произошел такой-то комический случай. Сведение это дошло и до с.-петербургской мелкой прессы, и об этом «событии» было возведено, хорошо не помню, не то в «Петербургском листке», не то в «Петербургской газете».

Во время пребывания за границей жена Михаила Евграфовича сыпала деньгами неимоверно. После каждого обхода магазинов более или менее крупных городов, на первом месте, конечно, Парижа и Берлина, она возвращалась в сопровождении магазинных рассыльных, несших груды, несомненно с большим вкусом выбранных, но вовсе не необходимых вещей. На замечания Михаила Евграфовича, к чему закупать столько ненужных вещей, Елизавета Аполлоновна всегда возражала: «Посмотри, какая прелестная вещь! Как же можно было не купить ее, когда она так недорого стоит».

— Помилуй, Лиза, мало ли прелестных вещей, которые недорого стоят? Всего не перекупишь, — возражал всякий раз огорченный широким размахом скупочных appetitов жены Михаил Евграфович.

Но не только в отношении приобретения туалетов и других покупок, но и во многом другом, несравненно более важном, Михаил Евграфович часто подчинялся воле своей жены. К числу таких случаев подчинения относится и допущение им к себе, по настоянию жены, в период резкого обострения болезненного состояния, отца Иоанна Кронштадтского, слывшего чудотворцем. Неверовавший Михаил Евграфович хмуро, в полном молчании выслушал произнесенную у его постели знаменитую молитву Кронштадтского «батюшки», но никаких резких проявлений по отношению к этому духовному лицу себе не позволил. Вспоминаю, что в этот день у Салтыкова кронштадтский священник столкнулся с случайно приехавшим С. П. Боткиным. Салтыков страшно переконфузился, но деликатный Сергей Петрович пожал руку о. Иоанна и сказал: «Мы друг другу не мешаем. Я врач тела, а отец Иоанн — врач души...»

После закрытия «Отечественных записок» и усилившихся болезней Михаила Евграфовича Салтыковы жили в Петербурге очень замкнуто в том смысле, что к ним чрезвычайно редко кто-нибудь заходил в гости. Хотя у Елизаветы Аполлоновны был довольно большой круг знакомых и сама она бывала во многих домах, но к себе не приглашала, боясь раздражать больного мужа и мешать его литературной работе. Бывали доктора, приходили к сыну и дочери их товарищи и подруги, а также учительницы-иностранки, но никаких журфиксов, ни вечеринок никогда не затевалось, даже вечером не заходили знакомые, кроме самых близких к ним людей...

За несколько месяцев до смерти Салтыков посторонних лиц уже не принимал и, когда ему о ком-нибудь из таких докладывали, обыкновенно бурчал:

— Занят, скажите... Умираю... *

С. А. Унковская

Софья Алексеевна Унковская (1873 — после 1933) — старшая дочь Алексея Михайловича Унковского — впервые записала свои воспоминания о Салтыкове в 1926 году, к столетию со дня рождения писателя. В 1933 году Софья Алексеевна по нашей просьбе дополнила свой первоначальный набросок. Новую редакцию воспоминаний она показала брату и сестре — Михаилу Алексеевичу и Зинаиде Алексеевне Унковским, которые предложили ряд изменений и уточнений. Так возникла третья редакция воспоминаний, которую мы печатаем, опуская лишь эпизоды, внесенные в рукопись М. А. Унковским, так как они имеются в публикуемом выше его собственном мемуарном очерке. Рукопись снабжена авторской пометой: «г. Калинин, 20 июля 1933 г.»

При всей своей скромности и непритязательности воспоминания Унковской содержат ряд интересных наблюдений, которых нет в мемуарах литераторов. Ведь Салтыков мало кого и редко допускал в «уединенную комнату» своего домашнего быта. Он был глубоко убежден, что лишь его писательская работа может иметь общественный интерес. Но для портрета Салтыкова в жизни, для понимания внутренних движений его души важно знать и многое другое, например, хотя бы то, что он, оказывается, очень любил животных.

Читатели, интересующиеся жизнью Салтыкова, почерпнут из воспоминаний и ряд других биографических сведений: описание квартиры писателя в последние годы его жизни, характеристику бытового уклада семьи Салтыковых, портретную зарисовку Елизаветы Аполлоновны. С. Унковская, дружившая с дочерью Салтыкова, вместе с ней присутствовала при его смерти; кроме них, в комнате находились только врач и сиделка.

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О МИХАИЛЕ ЕВГРАФОВИЧЕ САЛТЫКОВЕ-ЩЕДРИНЕ

...Ни один из писателей и друзей моего отца не был мне так близок, как Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, о нем у меня сохранились самые яркие воспоминания, так как я росла и училась вместе с его детьми, и дочь его Лиза * была моей ближайшей подружкой и сверстницей.

В 1883 году мы вместе с ней поступили в первый класс частной гимназии Оболенской (упомяну кстати, что одним классом выше училась Надежда Константиновна Крупская). Меня еще совсем маленькую, лет шести или семи, привозили в карете на весь день к Салтыковым, и я до самого вечера играла там с детьми. Мы жили в то время в Петербурге на Литейном проспекте в двух кварталах от Салтыковых, которые тоже жили на Литейном, но ближе к Невскому. Очень хорошо помню я квартиру Салтыковых в доме Красовских: небольшая прихожая, налево кабинет Михаила Евграфовича с большим письменным столом и зеленой мебелью, прямо — столовая, мрачная комната с одним окном во двор, из столовой одна дверь налево вела в гостиную — большую комнату с мебелью, обитой синим шелком, а другая дверь направо — в узкий длинный коридор, с левой стороны которого тянулась стена, а с правой — дверь в спальню Салтыковых, в две детские, в ванну и в конце коридора — кухню, где жила кухарка — чухонка Минна, говорящая на ломаном русском языке. У этой Минны была всегда еще помощница — прислуга.

Дети Салтыковых — Костя и Лиза — были очень избалованы. Я не могу себе их представить иначе в раннем детстве, как в руках с мандаринами, которые они поглощали десятками, и с шоколадными конфетами; при них была крошечная миниатюрная француженка, мадемуазель Мари, дети говорили с ней исключительно по-французски; игрушками была завалена вся детская. В эти годы раннего детства я не могу себе представить иначе Михаила Евграфовича Салтыкова, как сидящего в своем кабинете за письменным столом, с пледом на плечах, громко кашляющего и строчащего свои сочинения. Мы, дети, знали, что не должны мешать ему, так как он пишет серьезную вещь — «Пошехонскую старину», но тем не менее часто забывали это и поднимали возню в соседней

с ним комнате — гостиной. Тогда жена Михаила Евграфовича — Елизавета Аполлоновна, необыкновенно красивая и моложавая брюнетка с серыми глазами, прелестными волосами и мягким голосом, иногда нас усаживала на диван в гостиной, говоря: «Тише, дети, вы мешаєте папе писать, посидите смирно, я вам почитаю», а из кабинета постоянно доносился сильный кашель Михаила Евграфовича, длившийся несколько минут, такой кашель, которому, казалось, и конца не предвидится.

Елизавета Аполлоновна была крайне наивна и непосредственна: что на уме, то и на языке, как говорят. Детей сильно баловала, и когда сама приходила к выводу, что это баловство, кроме вреда, ничего не принесло, то говорила: «Ну, что же делать? Ведь у меня их только двое — сын и дочь; если бы были еще двое, то я их воспитывала бы по-другому: я кричала бы на них с утра до вечера». Сознавая свою красоту и моложавость, она имела непреодолимое желание не стареться и все, что услышит от людей, проделывала, чтобы сохранить свою молодость, так, например, спала только на спине, чтобы не было на щеках морщин, мыла волосы дикой рябиной, чтобы не седеТЬ, мы ей специально сушили в деревне эту дикую рябину и привозили осенью в Петербург; ела она только молодое мясо, то есть цыплят, телят, барашков, и даже ухитрилась раз зайти в рыбную лавку и попросила там продать ей несколько рыбок, но обязательно молоденьких, на что ей продавец ответил: «Мы рыбам, сударыня, годов не считаем». Она верила в сны, в гаданье, в спиритизм; ее родная сестра Анна была замужем за французом-спиритом и заражала ее часто этим делом. Когда Салтыкова гадала на картах, то она предварительно вынимала из колоды всю пиковую масть, говоря: «Зачем себя огорчать заранее разными несчастьями», и гаданье сводилось к тому, что предсказывало ей только одно хорошее. К мужу она относилась довольно странно: с одной стороны, она очень тщательно переписывала многие его рукописи, причем только она и разбирала его очень неразборчивый в последние годы почерк, с другой стороны — она очень несерьезно относилась к его болезни и сплошь да рядом забывала заказать ему прописанное доктором лекарство. Одевалась она всегда очень изящно, по последней парижской моде, платья себе и дочери заказывала в самых модных магазинах, не

жалая на это денег, часто даже привозила их из Парижа, куда ездила с детьми и их гувернанткой. Салтыковы держали своих лошадей и кучера, и, хотя расстояние от них до нас было небольшое — полверсты, я не помню, чтобы Елизавета Аполлоновна пришла к нам когда-нибудь пешком: она навещала нас очень часто, почти каждый день, но всегда в карете или в санях. Хотя в доме Салтыковых всегда готовили хорошие кухарки, но что касается соусов к обеду, то их приготавливала всегда сама Елизавета Аполлоновна, этим искусством она славилась среди знакомых. Михаил Евграфович постоянно сердился на нее, кричал, обвинял в невнимании к себе, но вместе с тем сильно любил ее, не мог без нее жить, требовал, чтобы она всегда была при нем.

Дома к обеду выходил Михаил Евграфович обыкновенно в халате и большом платке или пледе на плечах, в высшей степени всегда раздраженный, нервный. Сначала он садился и долго откашливался, потом начинал в чем-нибудь упрекать жену; всегда находилась предлог, чтобы ее бранить: или она забыла ему дать вовремя лекарство, или не позаботилась купить черносливу, по совету доктора Боткина, или заказала не то кушанье, которое он просил. «Да ведь она каменная, мраморная статуя, — кричал он, ударяя кулаком по столу, — разве она позаботится о больном человеке, у нее каменное сердце». «Ах, оставь, пожалуйста, Мишель, — спокойно отвечает она ему, — чернослив куплю тебе завтра, ну сегодня забыла, что же делать!» — «Нет, ты не забыла, а ты нарочно, змея проклятая». Потом начнет бранить сына, перенося на него гнев. Сын его сильно беспокоил тем, что плохо учился в лицее, что все вечера проводил в театрах, что тратил много денег. Дочь менее других раздражала его, он даже ее часто ставил брату в пример: «Посмотри, Лиза ведь находит же время готовить уроки и не приносит таких скверных баллов, как ты». Учась с Лизой Салтыковой, как я уже сказала, в одной гимназии и в одном классе, мы писали иногда сочинения, заданные нам, на одну и ту же тему. Я писала всегда сама и довольно удачно, а ей иногда помогал отец и потом говорил мне: «А каков ваш учитель-то, Соня, поставил мне тройку с минусом за сочинение «Море и пустыня», а вам сколько?» — «А мне пять». — «Я его хочу пригласить, вашего Дружинина, и прямо сказать: «Да когда же я, наконец,

милостивый государь, пятерки дождусь?» Эдакий болван! И какие темы дает вам: «Аничков мост». Ну, что тут напишешь? А это еще лучше: «Язык народа — хранитель его славы». Идиот, совсем идиот!»

А дело было в том, что учитель ясно видел, что сочинение написано не ученицею, а ее отцом, и потому не ставил пяти.

Когда мы с Лизой поступили в восьмой педагогический класс гимназии, где проходили всевозможные методики, то у нас с ней явилась сильная потребность приложить эти знания, то есть кого-нибудь учить. Поэтому, приехав к нам в деревню в мае месяце, она меня упростила поехать с ней в сельскую школу, находящуюся в версте от нашей усадьбы. Мы поехали в тарантасе и сами правили. Школа была довольно убогая, низкая, маленькая, мы присутствовали там на уроках арифметики и русского языка, которые вела молодая учительница, и это наше посещение школы живо еще в памяти многих людей.

Ко мне Салтыков относился удивительно нежно, я чувствовала, что меня он любил, и часто говорил моему отцу: «А Сонька ваша будет умная». Я этой похвалой особенно гордилась. Раз случилось у меня там сильнейшее кровотечение носом, и он очень заботливо лечил меня, положил на спину на диван, клал в нос желтую вату. Я его тоже любила, но вместе с тем он своей строгостью внушал страх.

Когда я вспоминаю его у нас в гостях, то он мне всегда представляется сидящим за карточным столом и играющим в винт с моим отцом, Некрасовым и одним из братьев Корсаковых. Голос и кашель его раздавались по всей квартире. Большие серые глаза с строгим выражением, длинная борода, громкий голос. Он терпеть не мог, чтобы кто-нибудь из посторонних во время игры подходил к карточному столу. «Уж эти родственники, — говорил он, — всегда несчастье принесут». У него существовали свои приметы насчет карт. Например, он долго не брал карт в руки после того, как сдадут: «Пусть накозыряются», — говорил он. Живо помню, как его партнер Корсаков пошел не с той карты и потому они с Салтыковым остались без многих взяток. Салтыков так рассердился, что закричал Корсакову: «Я этот ремиз на вашей лысине запишу: отчего вы пошли с короля, а не

с маленькой?» После карт шли чай пить, и за чаем обыкновенно Иван Федорович Горбунов читал одну из своих сцен, потом шли бесконечные беседы о современном строе, о политике, о дворе, о новейших произведениях в литературе и событиях того времени...

В хорошем расположении духа я помню Михаила Евграфовича очень редко: большею частью всегда он раздражался, кричал, бранил жену и детей; видно было, что болезнь портила страшно ему характер, и ему надо было на что-либо излить свой гнев.

Между чаями и обедами он все время непрерывно писал в своем кабинете. Его лечили три доктора: Сергей Петрович Боткин, Нил Иванович Соколов и зять Боткина — Василий Михайлович Бородулин, это были в то время лучшие медицинские силы. Доктор Боткин ездил к нему почти ежедневно *, иногда присылал своего ассистента. Силы слабевшего Михаила Евграфовича поддерживались искусственно. Докторам приходилось то укреплять его слабое сердце, то успокаивать приступы кашля, то усиливать питание, то лечить заболевшую правую ноздрю, то левую. Помню, как он мне жаловался на докторов: «Ведь вот три доктора одну ноздрю мне целую неделю лечат, а вылечить не могут!» Лекарств прописывалось бесчисленное множество, болезнь тянулась годами, и не было ничего удивительного, что жена его тоже начинала нервничать, на нее не мог не действовать такой тяжелобольной и вечный уход за ним, как за ребенком. Когда еще болезнь была в первой стадии своего развития, Салтыков приезжал к нам в имение. Его привозили в закрытой карете на четверке. У нас он был обыкновенно в хорошем настроении духа: пил воды, гулял с отцом по липовым аллеям сада, писал в кабинете. Вскоре по приезде обязательно посылал в село за батюшкой, любил с стариком попом потолковать о разных вещах, а также поиграть с ним и моим отцом в дураки. «У вас поп преумный», — говаривал он, угощал его вином на террасе и вообще благодушествовал. Салтыков был большой любитель животных, особенно собак, а у нас в деревне было всегда не менее пяти черных «водолазов», да еще несколько гончих собак. Обед наш происходил обыкновенно в липовой аллее, и после обеда Михаил Евграфович нес каждый раз на тарелке остатки от обеда и угощал свою любимую собаку. Семья его в это время

была за границей, и он ежедневно писал туда детям письма, где описывал свою жизнь в деревне *, и настоятельно требовал, чтобы они ему писали. Детей своих он так любил, что не мог долго жить без них, его тянуло неудержимо к ним, и если он бывал с ними иногда резок и строг, так это только оттого, что каждый их недостаток его сильно огорчал. Он и меня заставлял обязательно хоть несколько слов да приписать в его письме дочери Лизе. Мне иногда не хотелось или нечего было писать, но он всегда так настойчиво усаживал меня, давая перо в руки, говорил: «Пиши все, что тебе придет в голову, ей там, за границей, все будет интересно; вот я сейчас видел из окна, как у тебя сорвало с головы ветром в саду соломенную шляпу, а ее подхватил щенок, ты и это напиши, ей будет интересно». Его же письма к детям всегда начинались так: «Милые мои, дорогие, если бы вы знали, как я скучаю без вас...»

Уезжал он обыкновенно с грустью от нас, так как очень любил моего отца. Он и в Петербурге всегда упрекал отца, что тот редко его навещает. «Вы совсем меня забыли, Алексей Михайлович, — говорил он отцу, — а коль придете, так вечно с «запятой» (так он называл маленького горбуна — присяжного поверенного Григория Аветовича Джаншиева). Когда же вы придете без запятой?» Но отец мой не мог к нему часто ходить: раздражительность больного действовала на него скверно, он большею частью посылал мачеху и меня и удивлялся, как мы можем выносить его крик и брань. По словам моего отца, Салтыков в молодости и Салтыков в старости — это как будто два совершенно разных человека, настолько болезнь изменила его характер.

Почти каждое новое произведение Салтыкова прочитывалось в нашей семье вслух еще до появления его в печати. Я помню, как у нас читались рассказ «Ангелочек», отдельные «Сказки» и главы из «Пошехонской старины»...

Последние годы Михаил Евграфович чувствовал себя отчаянно плохо; его уже не вывозили и в карете, он сидел по целым дням в своем кабинете, всегда нервный, раздраженный, говорил очень часто о смерти и о том, что никакие лекарства не в состоянии спасти его. Но литераторскую свою работу не покидал до последних дней.

Я живо помню, как ночью с ним случился удар, паралич языка и конечностей, и мачеха моя была отозвана туда, чтобы помочь ходить за больным. У нас в это время шли выпускные экзамены — в конце апреля 1889 года. Я помню, как дочь Салтыкова подошла ко мне и сказала: «Папе очень плохо, надежды никакой нет, зайди к нам, если хочешь». Я прямо из гимназии с книгами в руках вошла к ним в гостиную. Он сидел посреди комнаты в своем кресле-качалке, и на всю комнату раздавалось его необыкновенно частое дыхание. Глаза были плотно закрыты, голова откинута на спинку кресла, исхудавшие руки лежали на коленях и по временам вздрагивали, никакого признака сознания. Я спросила его жену: что это такое — агония или припадок? Она мне ответила, что он с утра уже в таком состоянии, и доктора уверены, что он не придет в сознание.

Через два часа его не стало. Это было 28 апреля в четыре часа дня.

Я ушла домой с большой печалью в сердце: мне казалось странным и невозможным, что я его больше не увижу сидящим за письменным столом и не услышу его громкого кашля. У них начались всякие приготовления и хлопоты по погребению. Когда я пришла на другой день на панихиду, он уже лежал в гробу со спокойным, но строгим выражением лица. Вся квартира была заставлена венками, венки были и на столах и на стульях и приставлены к стене, не было никакой возможности пройти через столовую в коридор, настолько она вся была загромождена венками; тут были венки и в футлярах и без футляров, и каждую минуту входили еще делегации от студентов университета, от всевозможных учреждений и обществ и все с венками, на гроб клали и живые цветы. Через два дня были назначены похороны на Волковом кладбище; его хоронили рядом с Тургеневым по его желанию, он сам желал быть там похороненным и оставил даже форму объявления о своей смерти в «Новом времени», оставив только место для числа и месяца *. Везли его на кладбище при огромном скопище народа, мы шли за гробом вместе с родственниками, вокруг нас постоянно приходилось делать цепь из рук, чтобы нас не задавила толпа. Колесница с венками ехала сзади. На Волковом кладбище после отпева была какая-то неимоверная давка, я помню, что нас с сестрой чуть не задавила

эта толпа, хлынувшая к могиле. Многие студенты сидели на крыше, один из них, Захарьин, читал свое стихотворение *, речи были бесконечные, полиция не могла ничего сделать, народ ломился какой-то стеной к могиле. Но вот опустили гроб, зарыли, могила была как раз около церкви, по обеим сторонам могилы росли березки, а рядом возвышался бюст Тургенева. Ежегодно мы приезжали 28 апреля потом в этот день на могилу с семьей Салтыкова, и каждый раз рыскала по кладбищу полиция, разгоняла студентов, не позволяла им служить панихиды, и ежегодно мы находили на могиле Михаила Евграфовича большой букет живых цветов от какого-то неизвестного, который всегда опережал нас, но мы с ним не встречались.

КОММЕНТАРИИ

СРЕДИ ЛИТЕРАТОРОВ

А. Я. Панаева (Головачева)

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

Печатается по изданию: А. Я. Панаева (Головачева), Воспоминания. Под редакцией Корнея Чуковского, М. 1956, стр. 359—362. Впервые в журнале «Исторический вестник», 1889, № 11, стр. 272—275.

Стр. 46. К. — Александр Сергеевич Комаров, инженер путей сообщения, один из завсегдатаев кружка М. А. Языкова, по отзыву Белинского — «препустейший человек».

Он сам стихи пишет, и их напечатали в «Библиотеке для чтения». Кто знает, может, и будет со временем известным поэтом. — Поэтом Салтыков не стал, хотя в лицейские годы писал много стихов. До нас дошло одиннадцать стихотворений Салтыкова, в том числе «Лира» (о Пушкине), напечатанное в 1841 году в журнале «Библиотека для чтения» за подписью С—в (т. 45, март, стр. 105—106). См. на стр. 821 комментарий к воспоминаниям Н. А. Белоголового.

Стр. 47. *Но «Запутанное дело» <...> и без «Современника» произвело гвалт.* — Повесть Салтыкова появилась в мартовской книжке «Отечественных записок» за 1848 год и сразу же привлекла к себе внимание как в передовых, оппозиционных кругах, так и в кругах консервативных, реакционных. Для самого автора опубликование повести явилось, как известно, причиной его ареста и ссылки. См. об этом в воспоминаниях К. С. Веселовского и И. А. Пузыревского.

В 1857 году появились «Губернские очерки»... — «Губернские очерки» начали печататься в московском журнале «Русский вестник» с августа 1856 года; в 1857 году они вышли отдельным изданием (в трех томах).

Я увидела Салтыкова в редакции «Современника» уже в вицмундире в начале шестидесятих годов. — Описываемая Панаевой встреча произошла в конце 1861 или в начале 1862 года. Именно в это время у Салтыкова, тогда тверского вице-губернатора, созрело решение выйти в отставку и всецело посвятить себя литературе.

...отупеешь в среде людей, у которых вместо мозга в голове органчик... — Этот гротескно-сатирический образ Салтыков использовал впоследствии в «Истории одного города». Среди градоначальников химерического города выведен правитель-автомат Брудастый — олицетворение механической тупости и бездушия полицейско-бюрократической машины самодержавия.

Я была свидетельницей однажды страшного раздражения Салтыкова против литературы. — Эпизод относится, вероятно, к концу 1862 или к началу 1863 года и связан с цензурным запрещением очерков Салтыкова «Глуповское распутство» и «Каплуны».

Стр. 48. В 1863 году Салтыков приехал на короткое время в Петербург с места своей службы... — Ошибка в дате. В 1863 году Салтыков не служил. Панаева вспоминает о приезде Салтыкова из Твери в конце октября — начале ноября 1861 года. Этот приезд был вызван необходимостью объясниться с руководителями «Современника» Чернышевским и Добролюбовым по «делу Обручева». См. об этом на стр. 726—729.

Стр. 49. Иудушкой он звал одного своего родственника и через несколько лет воспроизвел его в «Головлевых». — Имеется в виду старший брат писателя, Дмитрий Евграфович, ханжа и лицемер. В письме к А. М. Унковскому от 13 ноября 1875 года Салтыков называет Дмитрия Евграфовича «негодяем» и говорит: «Это я его в конце Иудушки изобразил» (ИРЛИ, ф. 528, ед. хр. 45 в, л. 257)¹.

¹ Письма Салтыкова к его другу А. М. Унковскому погибли. Сохранились лишь краткие аннотации содержания писем, иногда с цитатами, сделанные в 1908 году В. П. Кранихфельдом, которому наследники А. М. Унковского разрешили прочесть письма с тем, чтобы он мог ими «воспользоваться только для пояснительных примечаний». Приведенные слова Салтыкова о Дмитрии Евграфовиче взяты из аннотаций Кранихфельда.

Печатается впервые по автографу, хранящемуся в ИРЛИ, ф. 366, оп. 7, ед. хр. 19. В основе своей настоящая публикация была подготовлена к печати еще в 1933 году, при участии В. В. Гиппиуса.

Стр. 52. *...сослан в сороковых годах за либеральную повесть в Вятку.* — Об этом см. на стр. 410—426.

В то время в Москве жил Ал. Ник. Плещеев, стихи которого появлялись в «Русском вестнике» одновременно с очерками Щедрина. — Сведения не точны. Сосланный в 1849 году по делу Петрашевского рядовым в оренбургские линейные батальоны, Плещеев лишь в начале 1858 года отбыл ссылку и получил разрешение на въезд в столицы. Таким образом в 1856—1857 годах, когда в «Русском вестнике» печатались щедринские «Губернские очерки», Плещеев в Москве не жил. Сотрудничество же Плещеева в «Русском вестнике» действительно началось осенью 1856 года, почти одновременно с возобновлением, после ссылки, писательской деятельности Салтыкова. В октябрьском и дальнейших номерах журнала Плещеев начал помещать свои стихотворения, написанные в ссылке. Одно из них, «При вступлении на поприще», обращено, как мы думаем, к Салтыкову, с которым Плещеев был связан общностью идейной жизни в кружках петрашевцев. См. об этом наше сообщение в т. 67 «Литературного наследства» (печатается).

Он получил незадолго <до того> порядочное наследство, был состоятельным человеком... — Незадолго до возвращения в Москву из ссылки к Плещееву перешло от матери нижегородское имение, но доходов оно не приносило, и Плещеев жил в трудных материальных условиях. Большое же — двухмиллионное — наследство он получил в 1890 году, незадолго до смерти.

Стр. 53. *Там я увидел в первый раз Некрасова, Толстого и Салтыкова.* — Знакомство Буренина с Салтыковым, как это можно заключить из дальнейшего, произошло, вероятно, весной 1862 года, в один из частых приездов Салтыкова в Москву после его первой отставки (с поста тверского вице-губернатора). Буренину было в это время около двадцати одного года, и он «тогда только что начал свою литературную деятельность».

Поздней, когда он поступил на службу вице-губернатором в Рязань... — Последовательность фактов служебной биографии Салтыкова спутана. Вице-губернатором в Рязани, а затем в Твери Салтыков служил с марта 1858 года по январь 1862 года. После

почти трехлетней отставки он вновь поступил на службу, на этот раз в министерство финансов, и с ноября 1864 по июнь 1868 года занимал пост председателя Казенной палаты сначала в Пензе, а потом в Туле и Рязани, после чего окончательно вышел в отставку. Буренин, вероятно, имеет в виду возвращение Салтыкова на службу в 1864 году.

Стр. 54. *...припоминается рассказ Михаила Евграфовича об обеде, данном рязанским дворянством императору Александру Николаевичу.* — Обед, на котором Салтыков был представлен царю и великим князьям, происходил не в Рязани, а в Твери, 12—14 августа 1860 года (XVIII, 155). См. в воспоминаниях Н. А. Белоголовой другую редакцию этого рассказа, вероятно, более точную, но сатирически менее острую.

Стр. 56. *Когда Чернышевский после ареста и суда над ним был сослан, Некрасов пригласил Салтыкова для пополнения редакции «Современника» <...>. Салтыков незадолго перед тем оставил вице-губернаторство в Рязани <...>. Он перебрался из Москвы в Петербург.* — Факты изложены неточно. Салтыков приглашен был вскоре после ареста Чернышевского (7 июля 1862 года), но задолго до отправки его на каторгу (20 мая 1864 года). После Рязани Салтыков, как указано выше, служил в Твери, откуда и «перебрался» в Петербург осенью 1862 года.

Стр. 56—57. *Он сделал попытку возобновить «Свисток», который прекратился за смертью Добролюбова.* — «Свисток» — сатирический отдел в журнале «Современник», созданный Добролюбовым и Некрасовым. «Свисток» придумал, собственно, я, — писал Некрасов, — а душу ему, конечно, дал Добролюбов» («Литературное наследство», т. 49—50, 1949, стр. 153). В 1859—1861 годах вышло семь номеров «Свистка». Восьмой номер вышел в 1862 году (после смерти Добролюбова). Войдя осенью 1862 года в редакцию «Современника», Салтыков действительно предпринял попытку возобновить «Свисток». Он подготовил девятый номер, вышедший в апреле 1863 года; на этом издание знаменитого сатирического листка шестидесятых годов прекратилось. Помимо Салтыкова, который был преимущественным автором девятого номера «Свистка», в нем приняло участие еще несколько литераторов, в том числе и Буренин.

Стр. 57. *...у нас редакция в некотором роде консистория...* — М. А. Антонович был сыном псаломщика, Г. З. Елисеев — сыном сельского священника, А. Н. Пыпин был духовного происхождения с материнской стороны. Выражение «духовная консистория» в том же смысле встречается в письме Салтыкова к Некрасову от 8 апреля 1865 года (XVIII, 197).

...выходят с «дарами»: Елисей с чашей, Пыпин с диском и лжицей и Антонович с «теплотой», как причетник. — Чаша (пир) и дискос (блюдо) — священные сосуды, употребляемые в литургии православной службы. В них содержатся «святые дары» — хлеб и вино. Лжица — ложечка с крестом на рукоятке, для причастия.

Стр. 58. Однако Пушкин высказал такое мнение, что для русских стихов рифмы, может быть, и затруднительны <...>, и при этом прибавлял, что, быть может, когда-нибудь у нас явится поэт, который рифму устранил из русского стихотворства. — Ссылка на следующее высказывание Пушкина из статьи «Путешествие из Москвы в Петербург»: «Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало <...>. Много говорили о настоящем русском стихе <белом. — С. М.> <...>. Вероятно, будущий наш эпический поэт изберет его и сделает народным» (А. С. Пушкин, Полн. собр. соч. в десяти томах, т. VII, М.—Л. 1949, стр. 298—299).

Стр. 59. ...когда он редактировал «Современник». — «Современник» назван здесь ошибочно вместо «Отечественных записок».

...у него было родовое имение... — Из родового имения Салтыкову, после смерти в 1851 году отца, не досталось ничего, но при разделе 1859—1861 годов он получил небольшую часть имения своей матери — деревеньку Новинки Тверской губернии и, в совместном владении с брагом, село Заозерье Ярославской губернии, с деревнями. Заозерские имения все были заложены. Ни эти наследственные владения, ни благоприобретенное в 1862 году подмосковное Витенево не приносили Салтыкову почти никакого дохода, и он вынужден был постепенно ликвидировать всю свою земельную собственность.

Стр. 60. Михаил Евграфович женился в то время, когда служил в губернии... — Неверно. Салтыков женился на Е. А. Болтиной 6 июля 1856 года, то есть уже после возвращения из Вятки в Петербург. К княжескому роду Е. А. Болтина не принадлежала.

Стр. 61. ...оклеветал стремления молодого поколения. — Подобный же отзыв об «Отцах и детях» был высказан Салтыковым в его статье «Петербургские театры» («Современник, 1863, № 1—2»). Смысл этого отзыва: «Отцы и дети» — обличение «нигилизма», но обличение неудачное, так как Базаров для «нигилизма» не характерен. Базаров — «точно такой же материалист, как, например, Ноздрев, которого именем, однако ж, никто и не мнил клеймить никакого поколения...» (V, 148). Следует, однако, указать, что резкость отрицательного суждения Салтыкова о Базарове была в значительной мере полемически направлена против апологети-

ческой трактовки этого образа Писаревым («Русское слово», 1862, № 3). Впоследствии Салтыков изменил свое отношение к Базарову и стал причислять его вместе с Рудиним и Инсаровым к «действительным носителям добрых чувств...» (XV, 612).

Стр. 62. *К Достоевскому Салтыков относился еще более недружелюбно...* — Резко выступая против «Записок из подполья», находя «сумасшедшим» «Подростка» — роман, печатавшийся на страницах его же журнала, Салтыков, однако, совсем иначе отзывался об «Идиоте», о «Кроткой» и признавал в Достоевском, по свидетельству Белоголового (см. стр. 606), «первостепенный талант», хотя и отданный «на служение и восхваление самых уродливых тенденций». Подробно см.: С. Борщевский, Щедрин и Достоевский, М. 1956.

Причину раздражения против Федора Михайловича, кажется, было главным образом то, что он знал про отрицательное мнение Достоевского: ведь Федор Михайлович отрицал глубину сатиры Салтыкова... — Литературную вражду Салтыкова и Достоевского Буренин объясняет элементарно: Достоевский «обругал» Салтыкова, и в отместку Салтыков «обругал» Достоевского. Объяснения такого рода характерны для мировоззрения самого Буренина.

Слова: «Федор Михайлович отрицал глубину сатиры Салтыкова» — могут относиться только к периоду их обостренной полемики в 1863—1864 годах. До этого (в 1861—1862 году) Достоевский неоднократно сочувственно отзывался о «Губернских очерках». И позже, в «Дневнике писателя» за 1876 год и в черновой тетради к «Дневнику» Достоевский называет Салтыкова «большим художником» и «одним из наших талантливейших сатириков».

«Все содержание сатиры Салтыкова заключается в том, что где-то существует квартальный, который наблюдает за ним и мешает ему жить». — Суждение из «Записной книжки» Достоевского, опубликованное вскоре после его смерти: «Тема сатир Щедрина это — спрятавшийся где-то квартальный, который его подслушивает и на него доносит: а г-ну Щедрину от этого жить нельзя» («Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». СПб. 1883, стр. 370). Прочитав эту заметку, Салтыков сказал Гл. Успенскому: «Вот Достоевский написал про меня, что я когда пишу — квартального опасюсь. Это правда, только добавить нужно: опасюсь квартального, который во всех людях русских засел внутри. Этого я опасюсь...» («Голос минувшего», 1913, № 2, стр. 235. — Запись в дневнике А. И. Эртеля от 6 февраля 1884 года).

Переданный Бурениным отзыв имеет еще одну, более раннюю параллель в юмористическом очерке Достоевского «Тритон» («Из

дачных прогулок Козьмы Пруткова и его друга»); в числе разных объяснений выплывшего на Елагином острове Тритона приводится и мнение «известного нашего сатирика г. Щедрина»: «Он полагает, что выплывший Тритон просто-напросто переодетый или, лучше сказать, раздетый донага квартальный, отряженный <...> для подслушивания из воды преступных разговоров, буде таковые окажутся».

Стр. 63. *Засодимские* — те, что засажены в тюрьмах... — П. В. Засодимский выступил в литературе в 1867 году, так что каламбур, основанный на его фамилии, в период работы Салтыкова в «Современнике» появиться не мог.

Н. Н. Мазуренко

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Печатается по тексту журнала «Исторический вестник», 1901, № 12, стр. 1065—1068. Подпись: *Н. М—ко*.

Стр. 65. *Записки хуторянина* — появились в мартовской книжке «Современника» за 1863 год и были подписаны анаграммой фамилии автора: *Н. Окнерузам*.

Очерки — одна из первых в России газет демократического направления. Выходила в Петербурге с января по апрель 1863 года.

...которого я давно уже очень высоко ставил. — Эта высокая оценка была развернута автором в статье «По поводу сатир Н. Щедрина», появившейся в демократической газете «Народное богатство», №№ 256 и 258 от 24 и 27 ноября 1863 года (подпись: *Н. Окнерузам*). Статья была написана в связи с выходом в свет щедринского сборника «Сатиры в прозе». Она примечательна некоторыми наблюдениями, относящимися к характеристике художественного метода Щедрина. Автор пишет о редком умении писателя «вполне поэтическим, художественным образом» рисовать мир пошлости, отрицая его, о способности сатирика создавать «портреты значительной доли целых сословий, миллионов людей» и т. д.

Я в тот же день отправился к Салтыкову, который также жил на Васильевском острове, кажется в 5-й линии. — Этот адрес Салтыкова зафиксирован только в комментируемом источнике. В другой (сокращенной) редакции воспоминаний Мазуренко уточняет: «Мих. Евгр. расспрашивал меня о Герцене, о «Колоколе», о моих корреспонденциях <в «Колокол»>, о жизни за границей, в особенности о Париже, в котором я жил довольно долго» (газ. «Колокол», 1914, № 2395, от 26 апреля, стр. 3).

Стр. 66. ...о чем-то толковал с Серно-Соловьевичем... — Если дело происходило действительно в начале 1863 года, то Салтыков мог «толковать» только с Владимиром Александровичем Серно-Соловьевичем, так как к этому времени Николай Серно-Соловьевич, основатель известного в Петербурге шестидесятых годов книжного магазина и библиотеки (имевших и конспиративно-революционное значение) был уже арестован, а Александр, третий брат, находился в эмиграции.

Валериан Иванович Панаев. — Ошибка: речь идет об Ипполите Александровиче Панаеве. С 1856 года он заведовал конторой и всеми хозяйственными делами «Современника».

...дает мне пятидесятирублевую бумажку. — В счете денег, причитавшихся Салтыкову по третьей книжке «Современника» за 1863 год, составленном им самим, помечено: «Г. Мазуренко в счет «Записок хуторянина» — 50 р.» (XVIII, 180).

Стр. 67. ...выразился так: «Желательно было бы видеть их напечатанными в «Современнике». — Это письмо Салтыкова, судя по всему, относящееся к 1864 году, неизвестно.

Вскоре после того Салтыков перешел в «Отечественные записки» и даже, надо полагать, он окончательно разошелся с «Современником»... — Пока существовал «Современник», Салтыков в «Отечественные записки» не переходил. Он вошел в редакцию «Отечественных записок» в 1868 году, когда журнал перешел в руки Некрасова, а «Современник» был закрыт правительством. См. об этом в воспоминаниях Е. И. Жуковской и вводной заметке к ним, стр. 71—87.

Н. А. Лейкин

из «МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Печатается по изданию: «Николай Александрович Лейкин в его воспоминаниях и переписке. С двумя портретами и приложением писем к нему А. П. Чехова», СПб. 1907, стр. 181—184.

Стр. 69. ...стоял Салтыков-Щедрин, которого я теперь узнал по имевшемуся у меня его портрету издания «Художественного листка» Тимма. — Лейкин ошибся. В «Русском художественном листке», издававшемся В. Ф. Тиммом с 1851 по 1862 год, портрета Салтыкова нет. Речь, несомненно, идет о литографии Дейперта с фото. 1859 года, воспроизведенной в серии «Портретная галерея русских деятелей», А. Э. Мюнстера.

...от самого В. С. Курочкина, который даже ездил к нему советоваться с некоторыми рукописями... — Это интересное свиде-

тельство осталось неучтенным в статье В. В. Гиппиуса «М. Е. Салтыков — сотрудник «Искры» («Ученые записки Пермского гос. университета», вып. I, Пермь, 1929) — ценном и пока единственном исследовании на эту тему.

Стр. 70. *Мы сейчас же напечатает.* — Очерк «Биржевые артефакты» был напечатан в «Современнике», №№ 7 и 10 за 1864 год.

Е. И. Жуковская

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О М. Е. САЛТЫКОВЕ

Печатается по изданию: Екатерина Жуковская, Записки. Редакция и предисловие Корнея Чуковского, Л. 1930, стр. 239—254. Впервые — в журнале «Исторический вестник», 1915, № 3, стр. 813—825.

Стр. 74. *В первый раз я встретила с М. Е. Салтыковым в Москве, на даче Плещеева, к которому он заехал проездом через Москву в свое имение у станции Пушкино.* — Встреча произошла в начале двадцатых чисел апреля 1862 года, когда Салтыков по пути из Твери в свое, недавно приобретенное, имение Витенево, остановился на два-три дня в Москве. Дача Плещеева находилась в Покровском-Стрешневе.

...видала его в коммуне... — Связь Салтыкова со слепцовской коммуной документально подтверждается его участием в литературно-музыкальном вечере, устроенном коммунарами на второй день рождественских праздников 1863 года (К. Чуковский, Люди и книги шестидесятых годов, Л. 1934, стр. 248—249). Впоследствии Салтыков отзывался о коммуне Слепцова, как о деле «совершенно ребяческом», о котором «лучше всего позабыть» (С. Макашиян, Щедрин об «Исповеди» Толстого. — «Огонек», 1951, № 5).

Стр. 75. *...не мог все-таки отделаться от барства и не легко мирился с необходимостью считаться с так называемой им «консисторией».* — У Жуковской не было, разумеется, никаких оснований приписывать Салтыкову склонность к дворянско-помещичьей среде («барству») и сомневаться в искренности его сближения с демократами-разночинцами. Этой фальши, внесенной в характеристику Салтыкова, противостоит не только все его творчество начала шестидесятых годов, но и относящиеся к тому времени свидетельства наиболее осведомленных современников. Так, П. В. Анненков писал в 1863 году о «непреодолимом отвращении» Салтыкова к дворянско-помещичьему быту, из которого вырос он сам и все его поколение, и об инстинктивной потребности

сатирика «преследовать» этот быт «везде, где бы он еще оказался налицо» (П. Анненков, Русская беллетристика и г. Щедрин. — «С.-Петербургские ведомости», 1863, № 85 от 19 апреля/1 мая). Что же касается недовольства Салтыкова так называемой «консисторией», то оно объяснялось, конечно, не тем, что Антонович и Пыпин происходили из духовного звания, то есть принадлежали к разночинцам. Причина его недовольства коренилась в той внутриредакционной борьбе, которая возникла в последний период существования «Современника» между группой Антоновича и Пыпина, с одной стороны, и Салтыковым — с другой. В ходе этой борьбы, являвшейся частным выражением общего кризиса в демократическом лагере середины шестидесятых годов, «консистория» стремилась изолировать Салтыкова в редакции и не раз добивалась отклонения его статей или внесения в них серьезных поправок принципиального характера. Все это сильно раздражало Салтыкова и заставило его в конце 1864 года выйти из состава редакции «Современника».

...приезжая из провинции... — С января 1865 по июнь 1868 года Салтыков вновь жил в провинции. Это была его последняя служба: он занимал пост управляющего Казенными палатами в Пензе, затем Туле и, наконец, Рязани.

Да он в корне крепостник и ест! — Общеизвестно, что Салтыков был непримиримым врагом крепостного права. В борьбе с крепостничеством сложилась личность писателя, родилось его обличительное творчество. Нелепая характеристика Салтыкова как крепостника восходит, возможно, к одному из тех полемических приемов сатирика, когда он выступал с мнимой защитой взглядов, прямо *противоположных* его собственным. См. воспоминания Е. Ф. Буринского, стр. 585—586.

...сделался либералом. — Слово «либерал» употреблено здесь в широком значении сторонника освободительного движения эпохи шестидесятых годов вообще, а не выразителя идеологии либерализма как определенного политического течения.

Я не нашла в собрании его сочинений тех его фельетонов 1864—1865 года, где он глумился над передовыми женщинами, вследствие чего очень популярная в то время княжна Макулова написала ему выговор... — Повод для обвинения, неосновательно предъявленного Жуковской сатирику, содержался не в нескольких его фельетонах, а в одном — в хронике из цикла «Наша общественная жизнь», помещенной в январской книжке «Современника» за 1864 год. В первом разделе «фельетона» продолжалась острая полемика, возникшая в 1863 году между «Современником» и другим радикальным журналом — «Русским словом», — поле-

мика, которую Достоевский назвал «расколом в нигилистах». Сатирический огонь январской хроники был направлен против «горлопанов, юродствующих и вислоухих», то есть против людей левой фразы в революционно-демократическом движении, против болтунов и позеров, которые «всего охотнее хватаются за внешние признаки дела, так как других они и понимать не могут» (VI, 325 и 326). Рассказы, которыми иллюстрировались эти тезисы, содержали насмешки над нигилистами — «настоящими и будущими». Особенно ядовиты были два эпизода январской хроники: о «честной нигилистке», позавидовавшей богатой содержанке, и о «милых нигилистках», мечтающих «бесстрастной рукою рассекать человеческие трупы и в то же время подплясывать и подпевать: «Ни о чем я, Дуня, не тужила» (ибо «со временем», как известно, никакое человеческое действие без пения и пляски совершаться не будет)...» (VI, 246). Оба эти эпизода вызвали враждебную Салтыкову реакцию со стороны демократической общественности и печати, — особенно второй эпизод, затрагивавший не только «вислоухих» нигилизма, но, косвенно, и Чернышевского (намек на знаменитый четвертый сон Веры Павловны в «Что делать?»).

Что написала Салтыкову «нигилистка», княжна Е. А. Макулова, неизвестно.

Стр. 76. ...*принялся усердно есть головки фосфорных спичек для увеличения своего мозгового вещества.* — Жуковская излагает здесь содержание *опущенного в печати* раздела статьи Салтыкова «Литературные мелочи» («Современник», 1864, № 5), специально посвященного Зайцеву («Кроличкову»): «Я мог бы многое сказать здесь о философе Кроличкове, но умалчиваю об этом только потому, что он Кроличков, а не Зайцев <...>. Я рассказал бы о том <...>, как он, еще припадая к сосцам своей матери, уже возмущался своею несамостоятельностью, о том, как он, начитавшись Мошешотта, пожирал головки зажигательных спичек в чайные, что будет от того умнее...» и т. д. Этот набросок памфлетной «биографии» Зайцева был опубликован, по корректурным гранкам «Современника», лишь в 1933 году в т. 11—12 «Литературного наследства» (стр. 96—97). В Полное собр. соч. Щедрина набросок не вошел.

«Видно, что фельетон написан чернилами со стола статского советника». — В девятом номере «Свистка» («Современник», 1863, № 4) Салтыков поместил пародийное объявление о статье «Опыты сравнительной этимологии, или Мертвый дом по французским источникам. Поучительно-увеселительное исследование Михаила Змиева-Младенцева» (псевдоним Салтыкова в «Свистке»). Вступившись за роман Достоевского, Зайцев в анонимной статье

«Перлы и адаманты нашей журналистики» («Русское слово», 1863, № 4) уколол Салтыкова намеком на его недавнюю службу вице-губернатором в Рязани и Твери. «...Смеяться над «Мертвым домом», — писал Зайцев, — значит подвергать себя опасности получить замечание, что подобные произведения пишутся собственной кровью, а не чернилами с вице-губернаторского стола» (стр. 17).

...у него вышли какие-то недоразумения с самой редакцией «Современника» вследствие его попытки осмелеть в фельетоне одного из его сотрудников. — Речь идет об уже упоминавшемся высказывании Салтыкова по поводу «Что делать?» Чернышевского в январской хронике «Наша общественная жизнь» («Современник», 1864, № 1). Высказывание это не затрагивало общей идеи и литературных достоинств романа. К ним Салтыков относился глубоко сочувственно. Возражения касались только той картины социалистического будущего, изображенной в «четвертом сне Веры Павловны», которая, по мнению сатирика, впадала в «сентиментальную идиллию» и грешила «произвольной регламентацией подробностей», «тех подробностей, для предугадания и изображения которых действительность не представляет еще достаточных данных» (VI, 270—271 и 326). Сатирические выпады Салтыкова были направлены не только против некоторых элементов утопии Чернышевского, но и против тех приверженцев «Что делать?», которые стремились извлекать практические «поучения» не из «живой и разумной идеи» романа, а из «сочиненных и только портящих дело подробностей». Ирония и насмешка сатирика над картинками «радостного труда» («с пением и пляской») в будущем гармоничном обществе были восприняты в демократическом лагере, особенно молодежью, с недоумением и поставили сатирика под новые удары «Русского слова». Если верить воспоминаниям сотрудника «Современника» Ф. Н. Берга, написанным на основании заметок, сделанных им осенью 1864 года непосредственно по горячим следам событий, дело дошло до того, что к Некрасову явилась депутация «от молодого поколения», «с категорическим требованием прекратить сотрудничество Салтыкова...» (Ф. Берг, Из воспоминаний прошлого. — «Русский листок», 1899, № 63 от 6 марта, стр. 2).

Так или иначе Некрасов решил свернуть полемику с «Русским словом». В течение 1864—1865 годов редакция отклонила одну за другой около десяти полемических статей и заметок Салтыкова, чем действительно привела его в состояние большого раздражения и недовольства.

Стр. 77. *...живя в Туле, написал целую летопись о губернаторах, причем местного губернатора, как он нам пояснил, изобразил*

в виде губернатора с фаршированной головой. — См. об этом в воспоминаниях И. М. Михайлова, стр. 493—494.

...рязанский губернатор выхлопотал, чтобы его из Рязани убрали. Салтыкову предложили выйти в отставку... — См. об этом в комментариях к воспоминаниям Н. Н. Кузнецова, стр. 801—802.

...в тысячу или тысячу двести рублей... — В тысячу рублей.

Стр. 78. *Он завидовал не только богатым, но даже простому, кому случалось заработать несколько больше обыкновенного...* — Дело было, разумеется, не в «зависти». А. М. Унковский, в отличие от Жуковской досконально знавший характер Салтыкова, пишет, что в эти годы был он «очень нерасчетлив», непрактичен и крайне доверчив (см. стр. 651). Салтыков, высоко ценивший переводческую деятельность А. Н. Энгельгардт, считал, однако, что, взявшись за перевод романа Золя «Нана», она подчинила свои идейные интересы — коммерческим. Сатирик резко осуждал этот роман и считал вредной всякую его популяризацию (XIV, 201). И «богатение» либерала Суворина, отдавшего свое перо журналиста и свою газету «Новое время» на службу реакции и великодержавного шовинизма, тем более вызывало в Салтыкове чувство глубочайшего омерзения к карьеристу и ренегату. Что же касается «негодования» Салтыкова по поводу статей Жуковского в первом вышедшем без предварительной цензуры номере «Современника», то оно, конечно, было вызвано не числом этих статей, а их буржуазными тенденциями. Речь идет о трех анонимных статьях Жуковского, появившихся в восьмой книжке «Современника» за 1865 год (вышла в свет 9 октября): «Итоги», «Милль, перевернутый «Русским словом», и «Записки современника».

Стр. 79. *Попытки его обогатиться покупкой имений всегда как-то скорее разоряли его, чем обогащали.* — Вскоре после отмены крепостного права, в конце 1861 года, Салтыков купил (на имя жены) небольшое подмосковное имение — селцо Витенево, на реке Уче, недалеко от станции Пушкино Ярославской железной дороги. Поначалу он действительно намеревался заняться хозяйством, но затея эта потерпела крах, и Салтыков очень скоро стал смотреть на свою усадьбу только как на дачу. Постоянные и все увеличивавшиеся убытки от Витенева заставили Салтыкова в 1878 году продать его и в том же году приобрести «новый угол» — Лебяжье, близ Ораниенбаума, на берегу Финского залива. Однако вопреки расчетам Салтыкова эта небольшая усадьба оказалась еще более разорительной, чем подмосковная, и вскоре была также продана. В декабре 1879 года Салтыков писал своему бывшему управляющему в Витеневе А. Ф. Каблукову: «А я со своим новым имением точно так же бедствую, как и прежде

И в год не меньше 1500 р. на него трачу. Видно, мне не на деревне, а на том свете хозяйничать» (ЦГАЛИ, неизд.).

Сообщаемые Жуковской обстоятельства покупки Витенева (у помещика Василенкина) находят себе подтверждение в ряде писем и произведений сатирика, подробнее всего в «Убежище Монрепо» (XIII, 31—36). Они изложены и в воспоминаниях А. М. Унковского о Салтыкове, стр. 651—652.

Стр. 80. *При продаже другого имения <...> тщетно прождал покупателя с обещанным задатком.* — Этим покупателем был некто Нейфельдт (письмо Салтыкова к А. Ф. Каблукову от 13 ноября <1869 г.>. — ЦГАЛИ, неизд.). Он пытался обмануть Салтыкова, предложив ему в 1869 году купить часть все того же имения Витенева (а не «другого»). См. об этом в воспоминаниях А. М. Унковского, стр. 652.

...описал ее в одном из своих фельетонов в виде помещицы, наготовившей приданое своим дочерям. — По-видимому, имеется в виду рассказ «Семейное счастье», первоначально напечатанный в составе «фельетона» «Как кому угодно» («Современник», 1863, № 8, стр. 570—598), а впоследствии включенный в цикл «Благонамеренные речи». Именно в этом рассказе (хотя речь в нем идет не о дочерях, а о сыновьях) Салтыков впервые создал художественно-цельный образ властной помещицы-стяжательницы — Марьи Петровны Воловитиновой, живой моделью для которого послужила сатирику его собственная мать. Из переписки Ольги Михайловны Салтыковой, сохранившейся в семейном архиве (ИРЛИ), видно, что осенью 1863 года она действительно была «разгневана» каким-то «поступком» своего сына-писателя, что отразилось и на их имущественных отношениях.

...к нему явился полицейский пристав и взял с него' подписку о невыезде из Петербурга вследствие подачи взыскания с него матерью вышеупомянутых денег. — Этот эпизод произошел летом 1864 года. Салтыков в 1861 году взял у матери двадцать три тысячи для покупки Витенева и должен был возвращать их ежегодными взносами (по 1150 р.). Но в 1864 году Салтыкову неожиданно был предъявлен ко взысканию весь оставшийся долг и наложен запрет на его имения Заозерье и Витенево.

Стр. 81. «Донон». — Ресторан в Петербурге.

Стр. 82. *Один из газетных критиков <...>обозвал его в своем фельетоне «хамом».* — Грубость и развязность реакционной прессы в полемике со Щедриным действительно переходила всякие границы. Так, главарь нововременской клики Буренин назвал сатирика в одном из своих фельетонов «веселящимся хамом из «Отечественных записок».

Появление двух малышей... — В 1872 году у Салтыкова родился сын Константин, а в следующем 1873 году — дочь Елизавета.

Стр. 83. *...после известного в свое время процесса о мясниковском наследстве умер его бездетный брат...* — После смерти купца-миллионера Беляева братья Мясниковы должны были получить по его завещанию огромное состояние. Родственники умершего опротестовали завещание. Возник громкий судебный процесс, тянувшийся около пятнадцати лет. Дело кончилось в пользу Мясниковых. Брат писателя, Сергей Евграфович Салтыков, умер 7 июля 1872 года.

...проявил искреннее сожаление, даже отчаяние, о невозможности удовлетворить просьбу одного из своих приятелей, жившего в Москве. — Речь идет о школьном товарище Салтыкова И. В. Павлове или о поэте А. Н. Плещееве, с которым Салтыков в шестидесятые годы находился в приятельских отношениях.

Стр. 84. *Живя в провинции, он выучился несколько играть на фортепьяно.* — Не выучился, а несколько усовершенствовался. Занятия музыкой входили в программы и домашнего и лицейского воспитания Салтыкова.

...он невольно должен был держать сторону Некрасова, с которым разошелся Юлий Галактионович, как писано в биографии последнего. — Биография Жуковского была приложена к его книге «XIX век и его нравственная культура», СПб. 1909, стр. I—XXIX. Изложение конфликта, возникшего среди членов бывшей редакции «Современника» при организации Некрасовым нового журнала, дано в этой «биографии» столь же тенденциозно, как и в мемуарах Жуковской.

Стр. 85. *...стихотворение Муравьеву...* — Через несколько дней после выстрела Каракозова в Александра II Некрасов совершил тяжелую ошибку, которую сам называл «черным пятном» своей жизни. Стремясь спасти «Современник» от грозившей ему гибели, Некрасов 16 апреля 1866 года прочитал на торжественном обеде в Английском клубе сочиненное им стихотворное послание в честь гр. М. Н. Муравьева-Вилenskого («Вешателя»), только что назначенного председателем Верховной следственной комиссии по делу Каракозова. Текст этого послания неизвестен.

Только один Страхов <...> выступил в защиту Ю. Г. Жуковского и Антоновича... — Н. Н. Страхов был одним из наиболее последовательных и непримиримых противников русской революционной демократии. С этих позиций написана и его статья «в защиту» Антоновича и Жуковского, появившаяся в пятой книжке журнала «Заря» за 1869 год.

Особенно старался в этом направлении Михайловский при начале своего сотрудничества в «Отечественных записках»... — Михайловский неоднократно полемизировал с Жуковским в своих критико-публицистических циклах семидесятих годов: «Литературные и журнальные заметки», «Из дневника и переписки Ивана Непомнящего», «Записки простака». Кроме того, он напечатал две специальные статьи: «О литературной деятельности Ю. Г. Жуковского» (1871, № 4) и «Карл Маркс перед судом г. Ю. Жуковского» (1877, № 10). Эту полемику Жуковская совершенно неосновательно объясняет корыстными мотивами: «желанием выслужиться перед Некрасовым...»

Стр. 86. ...где, по почерку конверта, добрались до Обручева... — Эта версия опровергается документами следственного и судебного дела, а также позднейшими воспоминаниями самого В. А. Обручева («Из пережитого». — «Вестник Европы», 1907, № 5—6). Подробнее об «обручевской истории» см. в воспоминаниях Л. Ф. Пантелеева и в комментариях к ним, стр. 198 и 726—729.

...написал ему частное бранное письмо... — Письмо Антоновича к Салтыкову неизвестно.

Стр. 87. Трусливым зайчиком обозвали. — В анонимной рецензии-памфлете на «Материалы для характеристики современной русской литературы» Антоновича и Жуковского Салтыков иронически писал, что за все время своего сотрудничества в «Современнике» авторы брошюры «не догадались, что Некрасов и Елисеев не что иное, как боа-констрикторы, под отуманивающими взглядами которых они совершенно задаром разыгрывали роли очарованных кроликов <...>. Ну да, это кролики. Это подлинные, несомненные кролики!» («Отечественные записки», 1869, № 4; ср. VIII, 354).

И. В. Засодимский

МОЕ ЗНАКОМСТВО С М. Е. САЛТЫКОВЫМ

Печатается по изданию: П. Засодимский, Из воспоминаний, М. 1908, стр. 310—315.

Стр. 88. ...в своих странствованиях по России... — Засодимский был участником «хождения в народ».

Стр. 90. Вы до сего времени работали в «Деле», у Благовестлова... — С 1868 года Засодимский поместил в «Деле» рассказ «Грешница» и повести: «Волчиха», «А ей весело — она смеется», «Темные силы» и «Старый дом».

...мы разных, как говорится, лагерей, не одного прихода... — Журналы Благовестова «Русское слово» (1860—1866) и «Дело» (1867—1888) принадлежали к буржуазно-радикальному течению в русской общественной мысли шестидесятых — семидесятых годов. А Некрасов и Салтыков стремились продолжать в «Отечественных записках» революционно-демократические традиции «Современника».

Стр. 91. *«наружность иногда обманчива бывает, иной — как зверь, а добр, тот ласков, а кусает...»* В жизни не раз мне вспоминалась эта мораль крыловской басни. — Ошибка. Цитата из басни И. И. Дмитриева «Нищий и собака».

В письме от 20 мая... — Письмо 1874 года (XVIII, 285).

«... 5-й № «Отечественных записок» арестован и, вероятно, будет сожжен». — Поводом к уничтожению майской книжки «Отечественных записок» за 1874 год послужили рассказы, очерки и статьи семи авторов: В. Кроткова, Гл. Успенского, В. Зайцева, Клода Франка, Н. Щедрина, Н. Демерта и Н. Михайловского (В. Евгеньев-Максимов, Очерки по истории социалистической журналистики в России XIX века, М.—Л. 1927, стр. 178—180; анонимная статья В. Зайцева «Франсуа Рабле и его поэма» ошибочно приписана в названной книге А. Плещееву).

Стр. 92. — *Да, скоро...* — ответил он. — Салтыков уехал в Москву, а затем в свою деревню Витенево 26 мая 1874 года (XVIII, 285).

С. Ф. Либрович

I. <ЗАБОТА ШЕДРИНА О ПРОДАЖЕ ЕГО КНИГ>

II. ШЕСТЬ ПИСЕМ ШЕДРИНА

Печатается по изданию: С. Ф. Либрович, На книжном посту. Воспоминания. Записки. Документы, П. и М. 1916, стр. 33—34 и 189—197. Впервые — в журнале «Новь», 1889, № 13 от 1 мая, стр. 49—54, под названием: «Семь писем Н. Щедрина. Сообщил Виктор Русаков».

Стр. 95. *...в «почти-клубе»...* — В семидесятые годы и в начале восьмидесятых книжный магазин Вольфа (в Гостином дворе) служил местом, где встречались друг с другом петербургские литераторы, за это он был прозван «литературным почти-клубом».

Диогенов фонарь. — Согласно легенде древнегреческий философ Диоген (IV в. до н. э.) однажды зажег днем фонарь и, рассказывая с ним, говорил: «Я ищу человека».

...приступая к изданию «Живописной России»... — Издание начало выходить в свет в 1879 году и закончено было лишь

в 1895 году. Оно осуществлялось под редакцией известного географа П. П. Семенова.

Стр. 96. *«La Russie historique, monumentale et pittoresque»*. — Авторы этого двухтомного издания — Artamof и Armengaud. Оно вышло в Париже в 1862 году.

Стр. 97. *Спустя два года, в 1880 году, Вольф <...> обратился к Щедрина с предложением уступить ему право на издание его сочинений*. — Переговоры происходили не в 1880 году, а в ноябре — декабре 1881 года и, после годового перерыва, в октябре—ноябре 1882 года. Вот их последовательность и содержание:

1881 год, около 19 ноября. — В не дошедшем до нас письме Салтыков обращается к Вольфу с предложением продать ему с уступкой 45% часть тиража своих книг и приглашает Вольфа для переговоров к себе на квартиру (С. Ф. Либрович, На книжном посту. П. и М. 1916, стр. 195).

1881 год, 19 ноября. — Вольф извещает Салтыкова, что вследствие одышки не в состоянии подняться к нему на 3-й этаж. (Там же и XIX, 242).

1881 год, 23 ноября. — Салтыков излагает Вольфу письменно сведения, необходимые для начинаемых переговоров. Он сообщает, что речь идет о его желании продать Вольфу часть тиража пяти своих книг: 1) «За рубежом», 2) «Невинные рассказы», 3) «Сатиры в прозе», 4) «Сборник» и 5) «В среде умеренности». (Письмо Салтыкова к Вольфу от <23 ноября 1881 г.> — XIX, 242—243).

1881 год, 25 ноября. — В ответном письме Вольф сообщает Салтыкову: «Я готов приобрести от Вас не только все оставшиеся экземпляры отдельных томов, уже отпечатанных, но и более значительное количество в полном отпечатанном составе тех томов, которые распроданы и которые необходимо вновь печатать». Другими словами, Вольф делает предложение об уступке ему права на издание собрания сочинений Салтыкова. (Неизд. письмо Вольфа к Салтыкову от 25 ноября 1881 года. ИРЛИ. — Сообщено В. Н. Баскаковым).

1881 год, 26 ноября. — Салтыков уклоняется от обсуждения более широкого предложения Вольфа и вновь заявляет, что дело идет о продаже только пяти изданных им книг. (Письмо Салтыкова к Вольфу от <26 ноября 1881 г.> — XIX, 246—247).

1881 год, между 15 и 19 декабря. — Салтыков соглашается начать переговоры об издании собрания своих сочинений Вольфом и составляет план издания в одиннадцати томах. В переговорах участвует приехавший в Петербург 15 декабря 1881 года А. Н. Островский. (С. Ф. Либрович, На книжном посту. П. и М. 1916,

стр. 191; ср. Л. Р. К о г а н, *Летопись жизни и творчества А. Н. Островского*, М. 1953, стр. 296—297.)

1881 год, 19 декабря.—Салтыков отклоняет предложенный ему Вольфом проект контракта, находя условия издания «неудовлетворительными». (Письмо Салтыкова к Вольфу от 19 декабря <1881 г.>—XIX, 248.)

1882 год, 23 октября.—Вольф возобновляет вопрос об издании произведений Салтыкова, «так неожиданно оборвавшийся в прошлом году». На этот раз он предложил издать шесть томов избранных сочинений по 25 листов в томе. (Неизд. письмо Вольфа к Салтыкову от 23 октября 1882 года. ИРЛИ.—Сообщено В. Н. Басковым.)

1882 год, 2 ноября.—В ответном письме Салтыков извещал Вольфа, что он не прочь вступить с ним в переговоры, но лишь тогда, когда разойдутся имеющиеся в продаже его книги. (Письмо Салтыкова к Вольфу от 2 ноября <1882 г.>—XIX, 298.)

Щедрин в ответ на это написал 2 ноября Вольфу письмо...—Приводится письмо от 2 ноября 1882 года (XIX, 298), относящееся к другому этапу переговоров, вместо нужного здесь письма от 23 ноября 1881 года (XIX, 242—243).

...недавно издал 4 книги.—1) «Сборник», 1-е изд. (июль 1881 года); 2) «Губернские очерки», 4-е изд. (октябрь 1881 года; на обложке и титуле—1882 год); 3) «Помпадуры и помпадурши», 3-е изд. (март 1882 года); 4) «Признаки времени» и «Письма о провинции», 2-е изд. (май 1882 года).

...в настоящее время печатаю еще «Монрепо» и «Историю одного города».—«Убежище Монрепо» (2-е изд.) вышло в свет между 16 и 23 ноября 1882 года; «История одного города» (3-е изд.)—в начале 1883 года.

...1000 экз. «За рубежом».—Имеется в виду 1-е изд., вышедшее из печати в сентябре 1881 года, тиражом в 5020 экз.

...в магазин к Вольфу зашел приехавший из Москвы А. Н. Островский...—Островский принял участие в переговорах Салтыкова с Вольфом в свой приезд из Петербурга в декабре 1881 года.

Стр. 98. *Порядок предлагался тогда следующий...*—В проспекте названы книги Салтыкова, вышедшие к 1881 году (включительно), а также «Современная идиллия», отдельное издание которой появилось лишь в 1883 году. Но это произведение, тогда еще не законченное, было названо в порядке предварительной заявки.

Стр. 100. *...письмом от 19 декабря.*—Это письмо 1881 года (а не 1880).

В. Г. Короленко

I. <СВИДАНИЕ С ШЕДРИНЫМ>

II. <РАЗГОВОР ШЕДРИНА С ИЗДАТЕЛЕМ>

Печатается: I — по тексту журнала «Русское богатство», 1914, № 1, стр. 207 (отрывок из статьи «Николай Константинович Михайловский»); II — впервые по автографу, хранящемуся в ЛБ (текст сообщен И. В. Федоровым).

Стр. 106. ...*в назначенный день я пришел в редакцию «Отечественных записок»*... — Это было в понедельник 21 февраля 1879 года, за неделю до обыска у Короленко (28 февраля) и за две недели до его ареста (4 марта). См. В. Г. Короленко, Собр. соч., М. 1954, т. 6, стр. 230 и 318.

Стр. 107. *Алексей Николаевич* — Плещеев, секретарь редакции.

«Но все-таки Михайловский не признал мой рассказ безусловно плохим.» — Первый рассказ Короленко «Эпизоды из жизни искателя» был при содействии Михайловского напечатан в седьмой книжке журнала «Слово» за 1879 год. Автор в это время уже находился в ссылке, и рассказ поэтому был подписан: К — енко.

Около этого же времени умер один известный старый книгоиздатель — М. О. Вольф, умер 19 февраля 1883 года.

...он решил забить все остальные журналы своим новым изданием. — Наследник М. О. Вольфа, Алексей Маврикиевич Вольф (1863—1909), основал в 1884 году двухнедельный иллюстрированный журнал «Новь» и возглавил его в качестве редактора-издателя. Это было чисто коммерческое предприятие, далекое от общественных традиций русской демократической литературы. В кабалу к Вольфу попадали многие молодые писатели. См. И. Ясинский, Роман моей жизни. М.—Л., 1926, стр. 228—229.

Стр. 108. ...*скитался по чужим литературным приютам.* — После закрытия «Отечественных записок» Салтыков вынужден был печататься в чуждых ему либеральных органах: газете «Русские ведомости» и журнале «Вестник Европы».

Не выгорело оно и вообще. — Неверно. Журнал «Новь» под редакцией А. М. Вольфа просуществовал до 1898 года, а затем, вплоть до 1905 года, выходил под названием «Новый мир».

...характерный анекдот. — В рассказанном эпизоде верно лишь то, что молодой Вольф обращался к сатирику (в июле 1884 года) с предложением участвовать в «Нови», но получил отказ. И предложение и отказ были сделаны в письменной форме, а не при личном свидании. (XX, 77—78). Вполне возможно, однако, что приведенный разговор восходит к сатирической сценке, импровизированной самим Салтыковым.

...когда возникла суeta около нового органа, затейного Протопоповым. — В 1916 году министр внутренних дел и шеф жандармов А. Д. Протопопов затеял новую газету — «Русская воля», «одну из наиболее гнусных» буржуазных газет, основанную «на заведомо темные деньги» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 25, стр. 261 и 276).

Этой ссылкой на газету определяется дата публикуемого наброска Короленко — не ранее конца 1916 года.

Н. С. Русанов

из книги «НА РОДИНЕ»

Печатается по изданию: Н. С. Русанов, На родине. 1859—1882. М. 1931, стр. 212, 230—231, 244—246, 250 и 254.

Стр. 110. *Ее я помещу <...> в нашем артельном журнале «Русское богатство».* — Отвергнутая «Отечественными записками» статья Русанова появилась в «Русском богатстве» (1880, № 1) под заглавием «Проявления капитализма в России». Задачей автора было познакомить русского читателя с теорией Маркса и показать, в свете этой теории, иллюзорность народнических надежд на то, что община спасет Россию от капитализма. Эта задача и вызвала в редакции «Отечественных записок» столь характерные разногласия: «Щедрин высказался за, Михайловский колебался, решительно восстал против нее за «антинароднический дух» Елисеев». Следует, однако, иметь в виду, что, полемизируя с народниками, сам Русанов не избежал влияния их идеологии и в ряде принципиальных вопросов явно не понимал учения Маркса. См. об этом Б. Козьмин, От девятнадцатого февраля к первому марта. М. 1933, стр. 243—246.

...Скабичевский и Протопопов жаловались мне, например <...>, что Михайловский <...> не дает им ходу... — Михайловский, как и Салтыков, не очень высоко ставил литературные дарования присяжных критиков «Отечественных записок». И Скабичевский и Протопопов ощущали второстепенность своей роли в делах журнала, считали себя обиженными и жаловались на «несправедливость» (см. вводную заметку к воспоминаниям Скабичевского). Отношение Гаршина к факту отклонения Салтыковым по принципиальным мотивам рассказа «Attalea princeps» было совершенно иным. См. воспоминания Н. Н. Златовратского и комментарии к ним, стр. 149—151 и 711.

«Читатель не поймет и плюнет на все!» — О том, почему Салтыков отклонил рассказ Гаршина «Attalea princeps» см. в упомянутых выше воспоминаниях Н. Н. Златовратского; там же —

об отношении Салтыкова к народническому артельному журналу «Русское богатство».

Стр. 114. *...пока, наконец, Щедрин не прервал этого одностороннего диалога...* — 24 ноября 1880 года Салтыков писал Г. З. Елисееву «...у нас печатаются <очерки> Успенского «На родной ниве», а Златовратский точно наперебой ему лишет в том же роде» (XIX, 179). Златовратский писал в это время продолжение своего романа «Устой». В мае 1882 года Салтыков предложил автору «кончить эту вещь»: «Она так растянулась и пошла в эпизоды, что читателю уже теперь трудно свести концы с концами» (XIX, 276).

Р. И. Сементковский

I. ВОСПОМИНАНИЯ. II. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «ВСТРЕЧИ И СТОЛКНОВЕНИЯ»

Печатается по текстам: I — газеты «Новости и Биржевая газета», 1889, № 119 от 2/14 мая; II — журнал «Русская старина», 1912, № 4, стр. 47—52.

Стр. 115. *Личные мои встречи с Михаилом Евграфовичем относятся к началу восьмидесятых годов.* — Судя по второму мемуарному наброску, Сементковский впервые встретился с Салтыковым, когда тому было пятьдесят три года, то есть в 1879 году.

Стр. 116. *«Там (то есть на Западе) могут уже сеять, а у нас пока еще надо корчевать».* — Ср. с этими словами приведенное Боборыкиным суждение Салтыкова о том, что для французской публики он — «писатель семнадцатого века» (стр. 131).

«Недаром я и родился-то близ Корчева». — Уездный город Тверской губернии Корчева, на Волге, находился в сорока—сорока пяти верстах от поместья Салтыковых в селе Спас-на Углу, и Салтыков не раз там бывал. В «Современной идиллии» он использовал впечатления от Корчева для создания обобщенного образа русского провинциального захолустья, темноты и отсталости. Щедринский «город Корчева» из «Современной идиллии» — один из литературных предшественников горьковского «городка Окурова».

Дремуций лес, в котором так долго задыхался русский человек, был вырублен... — Хотя Сементковский и не принадлежал к числу безудержных апологетов реформ шестидесятых годов, он все же, подобно всем либералам, идеализировал их.

В конце семидесятых годов в нашей печати, как это бывало периодически и раньше, усиленно обсуждался польский вопрос. — Польское национально-освободительное движение было тесно связано с русским революционным движением. Создававшаяся в России в конце семидесятых годов революционная ситуация обострила и

польский вопрос. Сементковский пытается найти пути к польско-русскому сближению «не на почве политических теорий или стремлений». В его формулировках ясно проглядывает враждебность либерала к революционно-демократической постановке «польского вопроса», к стремлению соединить борьбу за свободу русского народа с борьбой за освобождение Польши, против общего врага — царизма.

Стр. 117. *...польская жизнь удивительно похожа на русскую.* — Автор имеет в виду сходство тех явлений социально-экономической действительности России и Польши (Королевства Польского) в семидесятые годы, которые определялись интенсивным процессом развития капитализма: распад дворянского помещичьего хозяйства, дифференциация крестьянства, его пролетаризация, рост деревенской буржуазии — кулачества и т. д.

...за исключением одного ученого труда... — В 1876 году в переводе Сементковского вышла книга Роберта Моля «Наука о полиции».

«Эскизы углем» — одно из ранних произведений Генриха Сенкевича, реалистическая, проникнутая демократизмом новелла, изображающая тогдашнюю польскую деревню.

Стр. 119. *...не австрийская, а русская Польша.* — Украинцы в австрийской Польше жили на территории, занимавшей около двух третей всей Галиции (восточной ее части). Этнографический состав «русской Польши» — Королевства Польского, был в основном польским, особенно в деревне.

Стр. 120. *...напоминал мне, что я давно уже ничего не давал и что пора бы опять что-нибудь прислать.* — Одно из таких напоминаний сохранилось в письме Салтыкова к Михайловскому от 8 декабря 1882 года (XIX, 304—305). Интерес Салтыкова к польской демократической литературе подтверждается уже одним перечнем произведений, помещенных в «Отечественных записках» в переводе Сементковского — знатока польской литературы и польского языка. За последние годы существования журнала в нем, кроме «Эскизов углем» Сенкевича, были напечатаны произведения Э. Ожешко «Могучий Самсон» (1880, № 12), «Милорд» (1881, № 2), «Чудаки» (1881, № 12), «Сильфида» (1882, № 8), «Погибший» (1883, № 10).

Не знаю, сохранилось ли письмо Оржешки и ответ Салтыкова на него. — Известно лишь письмо Элизы Ожешко от 31 октября 1882 года из Гродно. Оно дошло до нас в русском переводе Сементковского (XIX, 432—433). Ответ Салтыкова неизвестен.

Стр. 122. *...и двух других журналистов.* — В. П. Буренина и А. С. Суворина. Оба начали свою литературную деятельность

в демократической печати шестидесятых годов, а затем перешли в семидесятых годах в лагерь реакции.

...он очень горячо рекомендовал Терпигорева Стасюлевичу для его «Порядка», а Терпигорев взял и перешел в <...> «Новое время». — Салтыков не только порекомендовал Стасюлевичу привлечь для воскресных фельетонов в газете «Порядок» С. Н. Терпигорева (Сергея Атаву, автора известных очерков «Оскудение», печатавшихся с 1880 года в «Отечественных записках»), но и обещал «на первое время» «сам просматривать» рукописи этих фельетонов и «руководить» работой автора (XIX, 176). Понятно негодование Салтыкова, когда Терпигорев, поместив в «Порядке» всего одиннадцать фельетонов, перешел в суворинское «Новое время». Правда, статьи Терпигорева в этой газете не были проникнуты специфическим «нововременским» духом. Они носили не публицистический, а бытоописательный характер. Тем не менее самый факт перехода Терпигорева из демократических «Отечественных записок» в реакционный шовинистический орган давал Салтыкову право рассматривать этот поступок своего бывшего сотрудника как проявление беспринципности.

А. Ф. Кони

<ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ>

Печатается по изданиям: I — А. Ф. Кони, На жизненном пути, Т. II, 2-е изд., СПб. 1913, стр. 265; II — то же, М.—Л., 1933, стр. 81; III — «Осгровский, 1823—1923. К столетию со дня рождения». Юбилейный сборник под ред. А. А. Бахрушина, Н. Л. Бродского и Н. А. Попова, М. 1923, стр. 23.

Стр. 124. *Дмитрий Алексеевич был большим почитателем Салтыкова...* — Военный министр Александра II Д. А. Милютин был лично знаком с Салтыковым, дружившим в сороковых годах с его младшим братом, рано умершим Владимиром Алексеевичем Милютиным — талантливым экономистом, одним из представителей утопического социализма. А в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов Салтыкову пришлось служить в министерстве внутренних дел под начальством другого брата Милютина — Николая Алексеевича, известного государственного деятеля. Интерес Д. А. Милютина к щедринской сатире отразился в его дневниковых записях. См. «Дневник Д. А. Милютина», т. IV, 1881—1882. Ред. и примеч. П. А. Зайончковского, М. 1950, стр. 46, 106, 113, 120.

Придя к нему <Тургеневу> вместе с <...> А. И. Урусовым... — Описывается свидание в феврале 1879 года на петербургской квартире Тургенева, на углу Малой Морской и Невского.

Стр. 125. ...но и пророком по отношению к будущему. — Подтверждение этого отзыва находим в письме к Салтыкову Н. Н. Луженовского, который был университетским товарищем сына драматурга, М. А. Островского. См. цитату из этого письма в предисловии к настоящему сборнику, стр. 41.

П. Д. Боборыкин

I. ИЗ ВТОРОЙ НЕОПУБЛИКОВАННОЙ КНИГИ «ЗА ПОЛВЕКА».

II. «МОНРЕПО (ДУМА О САЛТЫКОВЕ)»

Печатается: I — по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ, ф. 67, ед. хр. № 6 (ср. «Литературное наследство», т. 51—52, 1949, стр. 158—159); II — по тексту газеты «Новости и Биржевая газета», 1889 № 154 от 7/19 июня. (Ср. также в книге: П. Боборыкин, Столицы мира, М., 1911, стр. 27—28).

Стр. 128. ...в эти две зимы... — 1871 и 1872 годов.

Вскоре по моем приезде... — Из-за границы, в начале 1871 года. ...рассказ «Посестрие»... — «Отечественные записки», 1871, № 4.

Стр. 129. Это был «Китай-город», попавший к Стасюлевичу. — Роман «Китай-город» — о пореформенной купеческой Москве — был забракован Салтыковым после прочтения одной первой части. 1 декабря 1880 года Боборыкин сообщал Н. К. Михайловскому, что получил письмо от Салтыкова, где говорится, что роман «идет» совершенно вразрез с общим направлением беллетристики «Отечественных записок», что его лично первая часть не удовлетворила и не удовлетворит читателей и что ему «очень тяжело» печатать шесть частей вещи, «которой не сочувствуешь» (ИРЛИ, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 75, неизд.; сообщено Н. Г. Розенблюмом). Роман был напечатан в журнале «Вестник Европы», 1882, №№ 1—5.

Стр. 130. ...по краткому некрологу какой-то парижской газеты... — Некрологи Салтыкову были напечатаны в газетах «Figaro», «La Presse», «Paris», «Journal des Débats», «Gaulois» и «Temps» (майские номера за 1889 год).

«Paris et Berlin». — Полное название: Tchédérine. Berlin et Paris, voyage satirique à travers l'Europe. La conscience perdue. Traduit du russe par Michel Delines. Paris, L. Westhausser, 1887, pp. (4), 303. Книга за год выдержала три издания. В этом сильно сокращенном переводе «За рубежом» (и сказки «Пропала совесть») было, конечно, сохранено то знаменитое автобиографическое начало главы IV, где суровый сатирик так лирически взволнованно писал о «социалистической Франции» своей юности — Франции Сен-Симона, Кабе, Фурье, Луи Блана и Жорж Санд. «Оттуда, — вспоминал Салтыков, — лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам

уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас...» (XIV, 161). По поводу этих страниц французская критика и писала о «великой любви» Щедрина к Франции. При этом приглушалась или вовсе замалчивалась острая критика буржуазной «третьей республики», которую сатирик, по словам Ленина, «классически высмеял» как «республику без республиканцев» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 11, стр. 384).

...не особенно искал этой известности. — Лишь однажды — это было осенью 1885 года — у Салтыкова явилось, по его выражению, «наивное желание» увидеть во французской печати переводы четырех своих рассказов из «Сборника» (1-е изд. 1881 и 2-е — 1883 года): «Больное место», «Похороны», «Старческое горе» и «Дворянская хандра». Но это предприятие, в котором приняли горячее участие Н. А. Белоголовый и П. Л. Лавров, не состоялось. Когда перевод первого рассказа — «Больное место» — был готов, редакция газеты «Temps» взяла обратно свое согласие на публикацию (XX, 210 и в неизд. письмах Н. А. Белоголового к П. Л. Лаврову от 3 февраля и 5 марта 1886 года, ИМЛ, ф. Лаврова, п. 35, лл. 7—8 и 15—16). Переводы сочинений сатирика на французский язык перечислены в работе: С. Макашин, Щедрин в иностранной литературе. — «Литературное наследство», т. 13—14, 1934, стр. 673—698.

Было это в конце русского августа. — В третий раз Салтыков приехал в Париж в 1881 году, 19 или 20 августа ст. ст. Он остановился в знакомом ему по поездке 1880 года отеле на Place de la Madeleine, 31. В письме к М. М. Стасюлевичу от 7/19 сентября 1881 года Салтыков сообщал: «В том же отеле, где я, — Боборыкин» (XIX, 225).

Стр. 131. Он перевел <...> «Сказки» Салтыкова и издал их на свой счет... — Имеется в виду издание: «Trois contes russes de Chtchédrine (pseud.). Traduits par Ed. O'Farell». Paris. Librairie des bibliophiles, 1881, pp. (4), XII, 89, in 8°. В книжку вошли три сказки: «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Пропала совесть» и «Дикий помещик». Переводу предпослано предисловие, весьма высоко оценивающее сатиру Щедрина (pp. 1—12). Издание — библиофильское: отпечатано всего двести экземпляров на особой бумаге.

Стр. 132. ...по год войны. — Речь идет о франко-прусской войне, начавшейся 19 июня 1870 года.

Личное знакомство, через Тургенева, с Флобером и другими натуралистами не смягчило его приговоров. Флобер ему не очень понравился. — 3/15 мая 1876 года Салтыков писал Некрасову из Парижа: «Вчера я был утром у Флобера, с которым еще прежде познакомился: вместе обедали в одном ресторане. Познакомился

с Золя и с Гонкуром. Золя порядочный — только уж очень беден и забит. Прочие — хлыщи» (XVIII, 361). Столь резкое суждение относилось, однако, в данном случае не к творчеству французских «натуралистов», а к их образу жизни, манере одеваться, держать себя в обществе и т. д.

Стр. 132—133. ...три лекции <...> «О реальном романе во Франции». — Эти «публичные чтения» Боборыкина появились в июньской и июльской книжках «Отечественных записок» за 1876 год. Июльская книжка готовилась уже после возвращения Салтыкова из-за границы. Он читал боборыкинскую статью в корректуре, значительно сократил ее и резюмировал свое мнение в записке к Некрасову: «По-моему, это пустословие, соединенное с сквернословием» (XIX, 65; см. также 68).

Стр. 133. ...Золя <...> выпустил тогда уже первые романы своей серии. — Речь идет о двух первых романах серии «Ругон-Маккары»: «Карьера Ругонов» (1871) и «Чрево Парижа» (1873).

И его реализма не признавал суровый сатирик... — Боборыкин упрощает отношение Салтыкова к творчеству Золя. Демократизм французского художника, социальность его тематики, его интерес к народным массам привлекали к себе сочувственное внимание Салтыкова. Деятельность Золя-романиста Салтыков признавал «весьма замечательною» (XIV, 202), делая исключение лишь для «Нана». Совсем иным было отношение Салтыкова к Золя — литературному теоретику. «Парижские письма» Золя, ежемесячно печатавшиеся с 1875 по 1880 год в «Вестнике Европы» и впервые формулировавшие принципы натуралистического романа, были встречены Салтыковым резко враждебно. Боборыкиным же в упомянутых «лекциях» — восторженно. Для сатирика, видевшего в литературе одну из наиболее активных форм общественной практики, придававшего огромное значение целенаправленности литературы, ее тенденциозности, мировоззрению писателя, его оценкам действительности, были совершенно неприемлемы провозглашенные Золя требования «объективизма» и «аполитичности» («я не затрагиваю вопроса об оценке политического строя, я не хочу защищать как-либо политики или режим; рисуемая мною картина — простой анализ действительности, какова она есть»).

Концепция натуралистического романа подверглась наиболее резкой критике на страницах книги Салтыкова «За рубежом». Сатирик обнажил связи этого литературного направления с буржуазией периода ее установившегося могущества и одновременно начала культурно-исторического упадка. В литературе, провозглашавшей отказ от борьбы за общественный идеал, он увидел

«современного французского буржуа», которому «ни героизм, ни идеалы уже не под силу» (XIV, 199).

Не пощадил он и Флобера... — Речь тут идет, вероятно, об отрицательном отношении Салтыкова не к Флоберу, а к истолкованию его творчества в упомянутых лекциях Боборыкина о «реальном романе». Салтыков высоко ценил талант автора «Госпожи Бовари», называл Флобера «писателем сильным» и ставил его в ряд с Жорж Санд и Бальзаком (XIV, 202). А это были наиболее близкие Салтыкову имена французской литературы.

В Париже ему мало что нравилось... — Салтыков резко критиковал «сытый» буржуазный Париж Третьей республики. Но для него существовал и другой Париж — город социалистических идеалов его юности, город трех революций, «светоч» передовой демократической мысли. Об этом Париже, о его площадях и улицах, о быте трудящегося люда суровый сатирик написал проникновенные строки в знаменитой IV главе «За рубежом» (XIV, 167, также XVIII, 307 и др.).

...к искусству французских актеров <...> относился он очень строго. — И это наблюдение Боборыкина несколько односторонне. В письме к Некрасову из Парижа от 28 августа/9 сентября 1875 года Салтыков сообщал: «Был один раз в театре Vaudeville и вышел в восхищении от актеров» (XVIII, 301). См. также отзыв о французском театре в очерках «За рубежом» (XIV, 169).

...князем У. — Речь идет о кн. А. И. Урусове, известном адвокате и литераторе. Урусов был одним из наиболее активных пропагандистов в России творчества Бодлера, Гонкуров и особенно Флобера; он сыграл известную роль в популяризации флюберовского творчества и в самой Франции. Посещение спектакля «La biche au bois» Салтыковым, Урусовым и Боборыкиным описано со слов самого сатирика, в передаче Плещеева, в воспоминаниях Ив. Щеглова (см. стр. 176—177). См. также в письмах Салтыкова 1881 года к В. П. Гаевскому — от 30 августа/11 сентября и к А. И. Урусову — от 4/16 сентября (XIX, 223—225).

Стр. 135. *...где ему оказано было <...> публичное чествование как писателю от покойного канцлера, кн. Горчакова.* — Этот эпизод освещен в заметке «Нового времени» (№ 29 от 28 марта 1876 года): «В прошлом году князь Александр Михайлович был в Баден-Бадене, куда в то же время привезли совершенно больного М. Е. Салтыкова (Щедрина). Когда больной начал поправляться и его стали вывозить на гуляние в тележке, к нему подошел раз наш канцлер, с которым он не был знаком, и, протянув ему руку, сказал: «Позвольте мне, как русскому, порадоваться выздоровлению знаменитого писателя и от души поздравить вашу руку». Салтыков был возмущен лакей-

ским тоном заметки и писал Некрасову: «...неприличная выходка Суворина, сделавшая из меня предмет негнушательства ин. Горчакова, есть геркулесовы столпы фельетонного легкомыслия...» (XVIII, 359).

...«города ядовитых признательностей». — В «Невинных рассказах» (а не в «Губернских очерках»): «город гнусно-искривленных улыбок и заражающих воздух признательностей» (III, 398).

Стр. 136. *Он нашел вечное «Монрепо» еще скорее своего московского школьного товарища.* — С. А. Юрьев (см. о нем на стр. 642) умер в самом конце 1888 года. У Салтыкова в последние годы его жизни действительно не раз возникала мысль о переселении в Москву.

Стр. 137. *...даже в такой мягкой натуре, как Тургенев, вызвала побег на Запад и клятву: не мириться с крепостным строем тогдашней России!* — «Мне необходимо нужно было, — вспоминал Тургенев, — удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него... враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца — с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва...» (И. С. Тургенев, Собр. соч., т. 10, М. 1956, стр. 261).

...сезования Иова!.. — В автобиографической элегии «Имярек» («Мелочи жизни») Салтыков использовал библейский образ многострадального Иова: «Прародитель, лежа в проказе на гноище, у ворот города, который видел его могущество, богатство и силу, наверное не страдал так сильно, как страдал Имярек, прикованный недугом к покойному креслу, перед письменным столом, в теплом кабинете...» (XVI, 709).

М. М. Ковалевский

из «ВОСПОМИНАНИЙ ОБ И. С. ТУРГЕНЕВЕ»

Печатается по тексту журнала «Минувшие годы», 1908, № 8, стр. 13—14.

Стр. 138. *Со времени пушкинских праздников мне не суждено было более встретиться с Тургеневым в России.* — Имеются в виду торжества, связанные с открытием памятника Пушкину в Москве, в июне 1880 года.

В одном доме со мною жил М. Е. Салтыков и мы <...> однажды вместе с Арапетовым и Домонтовичем были приглашены Тургеневым в Буживаль. — Речь идет об осени 1880 года. Салтыков и Ковалевский жили тогда в Париже по адресу: Place de la Madeleine, 31 (XIX, 165, 169). Поездка в Буживаль могла состояться

между 1 и 24 сентября н. ст.: именно тогда и Салтыков и Тургенев были в Париже (XIX, 164, и М. Клеман, *Летопись жизни и творчества И. С. Тургенева*, М.—Л. 1934, стр. 297).

Стр. 139. *Как сатирик он не имеет себе равного.* — Это было твердо сложившееся мнение Тургенева. См. в предисловии к настоящему сборнику, стр. 36 и 38.

(Тургенев сам читал однажды на литературном утре в Париже «Двух генералов» Салтыкова и позаботился о переводе их на французский язык.). — Чтение состоялось 15/27 мая 1879 года на литературно-музыкальном утре в пользу русской колонии в Париже (ИРЛИ, афиша «утра»). Перевод на французский язык сказки Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» появился в 1881 году. См. стр. 131 и 706.

С. Н. Кривенко

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Печатается по тексту журнала «Исторический вестник», 1890, № 2, стр. 262—263 и 274—275.

Стр. 141. *...зашел к Тургеневу.* — Свидание состоялось между 18 и 24 мая 1881 года в меблированных комнатах на углу Малой Морской и Невского, где обычно останавливался Тургенев, приезжая в Петербург.

...повесть Виноцкой... — Повесть А. А. Виноцкой-Будзианик «Перед рассветом» была напечатана в пятой книжке «Отечественных записок» за 1881 год, вышедшей 18 мая. Этой датой и уточняется время встречи Кривенко с Тургеневым.

А у Виноцкой <...>, должно быть, Салтыков не мало вымывал и исправлял... — После появления повести в журнале Салтыков писал автору: «Простите великодушно за те выпуски, которые я нашел необходимым сделать в цензурных видах, а также и за то, что окончание, в тех же видах, стусевано» (XIX, 199). Так же как и Тургенев, Салтыков очень высоко оценил повесть: «Подобной правдивости и свежести давно в русской литературе не бывало...» (Там же).

Л. Е. Оболенский

ИЗ «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ И ХАРАКТЕРИСТИК»

Печатается по тексту журнала «Исторический вестник», 1902, № 1, стр. 133—137.

Стр. 145. *...он вышел из кабинета Феоктистова <...> я в то время уже издавал свой журнал и поместил там статью о его*

произведениях. — Начальником Главного управления по делам печати Е. М. Феоктистов был назначен 1 января 1883 года. Следовательно, встреча Салтыкова с Оболенским в его служебном кабинете произошла не раньше этой даты. Между тем Оболенский начал издавать журнал «Мысль» с 1880 года и поместил в ноябрьской книжке (стр. 70—88) за подписью NN свою статью «Беллетристика в журналах 1880 г.», где уделил много места критическому разбору «Мальчика в штанах и мальчика без штанов». Эту статью он и послал Салтыкову. А предметом их разговора в 1883 году был, надо думать, уже не журнал «Мысль», а третий по времени журнал, издававшийся Оболенским, — «Русское богатство».

Стр. 146. ...со стороны Страстного бульвара. — На Страстном бульваре помещалась редакция «Московских ведомостей» Каткова — воинствующего органа помещичье-дворянской реакции.

Н. Н. Златовратский

из «ЛИТЕРАТУРНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ»

Печатается по тексту издания: Н. Н. Златовратский, Воспоминания. Вступ. статья, подготовка текста и примечания С. А. Розановой, М. 1956, 311—314.

Стр. 149. ...журфиксы в квартире Г. З. Елисеева, в помещении редакции... — О вечерах у Елисеева см.: А. М. Скабичевский, Литературные воспоминания, М. — Л., 1928, стр. 266.

Стр. 151. Да, конечно проповедует... Фатализм проповедует... вот что-с!.. Самый беспощадный фатализм... губящий всякую энергию... всякий светлый взгляд на будущее... — Рассказ Гаршина «Attalea princeps» был отвергнут Салтыковым из-за его пессимистического конца. Гордая, мятежная пальма, символизирующая героический образ революционера, достигла победы — могучими усилиями она разбила стеклянный свод оранжереи и выпрямила свою вершину. Но, добившись, ценой огромных жертв, заветной цели, пальма жестоко разочаровалась. «Только-то, — подумала она. — И это все, из-за чего я томила и страдала так долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшей целью?» Салтыков был прав, усмотрев в рассказе Гаршина настроение пессимизма и неверия. Так преломился в творчестве писателя назревший кризис революционного народничества, все явственнее терявшего инициативу и энергию в борьбе. Отказ напечатать «Attalea princeps», — по словам Короленко, «пророчество Кассандры», — очень характерен для Салтыкова, который всегда придавал огромное значение воспитанию общества в духе исторического оптимизма, веры в будущее.

Много было высказано им хороших мыслей <...>, но я когда-нибудь передам их лучше при другом случае. — Такой случай не представился, и Златовратскому не удалось написать свои более подробные воспоминания о Салтыкове. Но некоторые из них записал и опубликовал Н. Степаненко в своей статье «Из бесед с Н. Н. Златовратским о М. Е. Салтыкове-Щедрине» («Заря, 1914, № 16 от 27 апреля).

Е. С. Некрасова

ИЗ ПИСЕМ И ДНЕВНИКОВ

Печатается впервые по автографам, хранящимся в ЛБ. 1, 2, 5, 6, 13, 14 и 15 — отрывки из писем, собранных в пачку, на которой рукой Е. С. Некрасовой написаю: «Мои письма к сестре Аннете о *Щедрине*, которого видела и с которым разговаривала на jours-fixes'ax у Лихачевых <в> 1883—1884—1889 <годах> и у Елисеевых в 1881 году» (Некр., XXVI, 42 — листы не проставлены). 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 — записи «Из дневника» (Некр., XIV, 5 и Некр., XIX, 6). Некоторые из записей частично и в обработанном виде вошли в воспоминания Е. С. Некрасовой: «Г. И. Успенский, его беседы и письма». — «Русская мысль», 1902, № 9.

Стр. 153. ...желаю поместить некоторые вещи Герцена в «Отечественных записках»... — Некрасова приводит название лишь одного герценовского произведения, предложенного ею для напечатания. Она сообщает о прочтении Елисеевым «Феодоры», то есть известной повести Герцена «Легенда» (в основе повести лежит жизнеописание св. Феодоры). Можно, однако, не сомневаться, что Некрасова предлагала Салтыкову и другую вещь из той же «Записной тетради 1836 года» — цикл «Встречи». Несколько позже ей удалось опубликовать «Легенду» и «Встречи» в «Русской мысли» (1881, № 12 и 1882, №№ 1 и 12).

Стр. 154. ...представляет действительно в настоящем, прошлом и будущем только одно деколье... — Некрасова применяет к жене Салтыкова его определения «культурно-интернациональных дамочек»: «Всякая дамочка самим богом как бы целиком предназначена для забот о самосохранении. В прошлом у нее — деколье, в будущем — тоже деколье. Ни о каких обязательствах не может быть тут речи, кроме обязательства содержать в чистоте бюст и шею...» («За рубежом», гл. 1. — «Отечественные записки», 1880, № 9; XIV, 61).

Стр. 156. Нынешний год еще меньше интересу. — Некрасова сравнивает свои впечатления от литературно-общественных кругов Петербурга во время ее приездов в столицу из Москвы весной

1881 года и в конце 1882 — начале 1883 года. Одною из целей ее последнего приезда было свидание с Успенским перед его путешествием на Кавказ.

Стр. 157. *Унковский спросил — мою ли статью он читал в «Вестнике Европы» о врачебных курсах...* — Статья Некрасовой называлась «Женские врачебные курсы в Петербурге» и появилась в «Вестнике Европы», 1882, № 12.

Да и напугали же вы нас, Михаил Евграфович! — В конце декабря 1882 — начале января 1883 года резко обострилась «жесточкая болезнь» Салтыкова (XIX, 311). Сведения об этом попали в печать.

Стр. 158. *Посмотрите, что он написал (будет в «Отечественных записках»)*. — Речь идет о повести Гаршина «Из воспоминаний рядового Иванова». Повесть была напечатана в «Отечественных записках», 1883, № 1 (вышел в свет 18 января).

«Четыре дня» — первый рассказ Гаршина. Появился в «Отечественных записках», 1877, № 10. В основу рассказа был положен эпизод из русско-турецкой войны, в которой Гаршин участвовал в качестве добровольца.

...Тургенев (ему на днях Сегон сделал операцию, вырезал какой-то нейрон или нервон — не знаю) — пишет: «Я совсем здоров, только вот одно, что не могу двинуться с места...» — Операция удаления нерва была сделана Тургеневу хирургом П. Сегоном 2/14 января 1883 года. Салтыков приводит по памяти следующие слова из письма к нему Тургенева от 31 октября 1882 года: «О себе приходится повторить прежнее: всем здоров — только двигаться не могу» («Первое собрание писем И. С. Тургенева», СПб. 1884, стр. 509).

Стр. 159. *...Анненков не умеет отличить воды от суши <...> Пошел недавно (кажется, в Италии) на гору, да оттуда бух в воду, так прямо рожей — ну и смазался.* — Об этом происшествии, случившемся не в Италии, а в Швейцарии, в Утлиберге, близ Цюриха, Анненков писал Стасюлевичу 30 августа 1882 года: «Выйдя гулять, после дождя, я на самой окраине нашей горы подскользнулся и полетел вниз головой и кубарем; к счастью, встретила площадка, которая и остановила мое падение кубарем в пропасть <...>. Меня подняли окровавленного, со стертой физиономией, с разбитыми членами и поврежденной ногой» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. III, СПб. 1912, стр. 404).

Стр. 160. *...отдал статью в три листа...* — «Из разговоров с приятелями. Очерки» («Отечественные записки», 1883, № 2, стр. 539—576).

Стр. 161. *...что же Щедрин — огорчен предостережением?* —

22 января 1883 года «Отечественным запискам» было объявлено второе предостережение — за статью Н. Я. Николадзе, содержащую восхваление одного из французских коммунаров и за XXII—XXIV главы щедринской «Современной идиллии».

Стр. 163. *...Григорий Захарович прислал письмо, в котором говорит, что ему совестно получать прежнее жалованье, паи и т. д. ...* — Письмо Г. З. Елисеева от 15 января 1883 года из Ниццы («Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину», М. 1935, стр. 103—106). В ответном письме от 21 января 1883 года Салтыков решительно отклонил просьбу Елисеева лишить его «привилегированного положения» (XIX, 319).

Это вы писали рецензию на «Письма к тетеньке»? — Рецензия Некрасовой появилась, без подписи, в февральской книжке «Русской мысли» за 1883 год. Салтыкову запомнилось употребленное там выражение «отважное отчаяние». Он использовал его не только в беседе с Некрасовой, но и в письмах к С. А. Юрьеву и А. Л. Боровиковскому от 12 и 15 февраля 1883 года (XIX, 323—324).

Стр. 164. *...я «Сказки» вырезал из февральской книжки... —* Опасаясь получить третье предостережение, Салтыков изъясил из февральской книжки «Отечественных записок» за 1883 год три свои «сказки»: «Премудрый пескарь», «Самоотверженный заяц» и «Бедный волк».

Стр. 165. — *А он, говоря, у нас свои сочинения хочет издавать, разумеется, не на свой счет, а на деньги купчихи Морозовой.* — Отзвук этих разговоров о переселившемся в Москву Златовратском находим в письме Салтыкова к Н. К. Михайловскому от конца февраля 1884 года: «Златовратский в Москве роль играет и тоже нашел в Морозовой сочувственницу и покровительницу» (XIX, 395).

Разговор как-то перескочил на ежемесячно обедающих... — Речь идет о так называемых «академических» или «эрмитажных» обедах московской либеральной интеллигенции, организованных В. И. Танеевым. Об этих обедах и об обмене телеграммами между «ежемесячно обедающими» и Салтыковым см. на стр. 570—571.

...сочинения Тургенева... — Посмертное издание в десяти томах, вышедшее в Петербурге в 1883 году. Издатель Ив. Ил. Глазунов занимал с 1881 по 1885 год пост петербургского городского головы.

...С. Н. придется непременно проехаться в Сибирь... — Имеется в виду арестованный в ночь на 3 января 1884 года С. Н. Кривенко.

...имение, которое он купил под Клином... — «Демьяново», купленное в 1883 году.

Стр. 166. *...ну зато подлец.* — Так аттестовал Салтыков

младшего из братьев Танеевых — Павла Ивановича, у которого был роман с Елизаветой Аполлоновной.

Стр. 167. ...Пантелеев, который пишет в «Отечественных записках» под каким-то псевдонимом... — Свидетельство не поддается пока документальному подтверждению. До сих пор было известно лишь то, что Салтыков поместил в 1879 году, в №№ 5 и 7, два рассказа Пантелеева из приисковой жизни.

Стр. 168. ...они и одноклассники и ровесники... — О взаимоотношениях Салтыкова и С. А. Юрьева см. на стр. 642—645.

Ив. Щеглов

СУРОВЫЙ ДОБРЯК (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О М. Е. САЛТЫКОВЕ-ЩЕДРИНЕ)

Печатается с сокращениями по тексту «Нового журнала для всех», СПб. 1910, май, № 19, стр. 77—84.

Стр. 170. И вдруг: «Пожалуйте — вас просят!» — Встреча состоялась в понедельник 27 апреля 1881 года. В дневнике Щеглова — «Книга жизни» — она отражена в следующей записи:

«27 апреля. В редакции «Отечественных записок», куда отдал «Неудачного героя».

Щедрин: «Что ж, я помещу». — «Я попрошу денег вперед». — «Денег?!! Хорошо, для первого знакомства, милая молодежь! Дам денег, журнал крокует, а я свисти в кулак». — (Я удаляюсь.) — «Сколько денег?» — «Стасюлевич дает 100 за лист». — «Мы не швыряем так». — «Я приду после». — «Постойте, довольно семидесяти рублей? Подождите, куда бежите? Дам, черт!» (ИРЛИ, 1411 IV С 23. Сообщено Н. Г. Розенблюмом).

Стр. 172. «Оригинал! брюзглив, а без малейшей злобы» — слова Зарецкого из «Горя от ума» А. С. Грибоедова, д. III, явл. 9.

«...агнцем доброты и кротости» — цитата из книги Н. А. Белоголового, «Воспоминания и другие статьи», М. 1897, стр. 247. У Щеглова ошибочно «ангелом» вместо «агнцем».

«...что значит быть сатириком: и лицо не настоящее!» — цитата из той же книги, стр. 274. У Щеглова ошибочно «стариком» вместо «сатириком».

Организм Михаила Евграфовича <...>, откуда он набирался сил, чтоб писать! — неточная и сокращенная цитата из той же книги, стр. 289—290.

...на второй день пасхи <...> я отправился к Щедрину, с визитом на дом. — Ошибка памяти. Пасха в 1881 году приходилась на 12 апреля, а Щеглов был у Салтыкова в среду 29 апреля. Этот визит отмечен следующей записью в дневнике автора воспоминаний — «Книга жизни» за 1881 год: «29-го <апреля> был у него

<Салтыкова> на квартире. Все держал и не отдавал рукопись: «Зачем не дал «Первого сражения». Хорошая вещь. А «Герой» не нравится. Впрочем, черт, не разберу. Утратил впечатление». — «До свидания». — «Приходите в понедельник». — Утратил впечатление! Безумный старик! В халате, растрепанный <...>» (ИРЛИ, 1411 IV С 23).

Стр. 173. ...стена об стену с домом К. П. Победоносцева. — С середины августа 1876 года и до своей смерти Салтыков жил в Петербурге в доме М. С. Скребицкой (рожд. Юрьевич). Сохранилось описание этой квартиры, сделанное мужем домовладелицы, известным врачом-окулистом А. И. Скребицким на рукописной копии щедринской сказки «Орел-меценат». См. «Записки отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина», вып. 6, М. 1940, стр. 81.

Стр. 174. ...а не вы обстоятельства! — Письмо Салтыкова к Г. И. Успенскому, содержащее такое «внушение», неизвестно. Эпизод относится, вероятно, к лету или к началу осени 1873 года. Успенский находился тогда в Москве и дважды обращался оттуда в редакцию «Отечественных записок» с просьбой об авансах. В конце августа — начале сентября того же 1873 года Салтыков поддержал своей справкой и удостоверением обращенное в комитет Литературного фонда ходатайство Успенского о пособии (Г. И. Успенский, Полн. собр. соч., т. 13, М. 1951, стр. 129 и 571).

Стр. 175. Срок контракта в прежнем помещении редакции окончился... — После смерти Некрасова редакция «Отечественных записок» помещалась в квартире Елисеева на Надеждинской 18, Срок контракта истек 1 мая 1882 года (а не 1 июня, как ошибочно указал Салтыков в письме к Елисееву от 15 мая 1882 года — XIX, 275). Находившийся за границей Елисеев принял решение возобновить контракт лишь в конце мая («Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину», М. 1935, стр. 78—79). В этот промежуток одно из понедельничных собраний редакции состоялось на квартире у Ив. Щеглова.

...ему надо было по какому-то озорчивому делу съездить в Главное управление по делам печати. — Вследствие протеста цензуры Салтыкову пришлось изъять из отпечатанной майской книжки журнала статью С. Н. Кривенко «Маленькое величие», в которой содержались «прямые указания на сочинения Лассалья и Маркса» (заявление Салтыкова в С.-Петербургский цензурный комитет от 17 мая 1882 года — XIX, 276).

Записываю кое-что уцелевшее в памяти... — Далее приводится несколько рассказов о Щедрина, бывших в большом ходу у современников. Щеглов произвольно приурочивает эти рассказы к одному дню. Ср. в воспоминаниях С. Н. Кривенко и Н. К. Михайловского.

Стр. 176. ...роман *Ш.* (она назвала имя известной писательницы). — Имеется в виду А. Шабельская. См. о ней в воспоминаниях С. Н. Южакова и в комментариях к ним, стр. 302—303 и 747—748.

...о другом романе — одного известного писателя, назову его *Н.* — Речь идет о П. Д. Боборыкине и о его романе «Китай-город». См. об этом в комментариях к воспоминаниям П. Д. Боборыкина, стр. 705.

...производившая фурор феерия. — О посещении Салтыковым спектакля «*La biche au bois*» в Париже см. воспоминания П. Д. Боборыкина и комментарии к ним, стр. 133 и 708.

Л. Ф. Пантелеев

І. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О М. Е. САЛТЫКОВЕ. ІІ. <РАЗГОВОР О М. Е. САЛТЫКОВЕ С Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИМ>

Печатаются по изданию: Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого. Редакция и комментарии С. А. Рейсера. Вступительная статья В. И. Невского, М.—Л. 1934, стр. 518—538 и 550—552. Приложение: <Запись беседы В. П. Кранихфельда с Л. Ф. Пантелеевым>, печатается впервые, по автографу, сохранившемуся в бумагах В. П. Кранихфельда (ИРЛИ, ф. 366, оп. 7, ед. хр. 23).

Стр. 179. ...я застал Михаила Евграфовича уже первенствующим редактором «Отечественных записок»... — Салтыков был утвержден ответственным редактором журнала 27 марта 1878 года (после смерти Некрасова).

Стр. 180. ...два моих рассказа из приисковой жизни... — «Макар» в № 5 и «Тунгусская примадонна» в № 7.

Стр. 181. Окончив «Губернские очерки», Михаил Евграфович прежде всего дал их прочитать А. В. Дружинину. — Обращение Салтыкова к Дружинину — стороннику «артистической теории», противнику эстетики Чернышевского — объясняется, в первую очередь, близостью их личных отношений в эту пору (см. «Из дневника» Дружинина, стр. 424—426). В двенадцатой книжке «Библиотеки для чтения» за 1856 год Дружинин напечатал критический разбор «Губернских очерков» (собственно, «Введения» и первых семи рассказов журнальной публикации). Он дал им высокую литературную и общественную оценку и поставил их рядом с «Военными рассказами» Л. Н. Толстого. Однако Дружинин не скрыл, что в произведении Салтыкова почувствовал нечто чуждое и даже враждебное своим взглядам. Статья заканчивалась замечанием, что автор «Губернских очерков» находится «на пере-

крестке, с которого разные дороги ведут по разным направлениям». Критик предупреждал Салтыкова, что он «может впасть в односторонность взгляда», то есть пойти по дороге «обличения и протеста». А это направление Дружинин третирует как «дидактическое» и писал о Салтыкове в той же статье: «В нем сказывается умный, но не чуждый дидактики деятель». Статья Дружинина была *первой* развернутой критикой «Губернских очерков», да и творчества Салтыкова вообще.

«Это совсем не литература, а черт знает что такое!» — Резкость этого отзыва подтверждается письмом Тургенева к Анненкову от 9/21 марта 1857 года: «Щедрин я решительно читать не могу... Это грубое глумление, этот топорный юмор, этот воющий канцелярской кислятиной язык... Нет, лучше записаться в отсталые — если это должно царствовать» («Наша старина», 1914, № 12, стр. 1071).

...отчасти тут играли роль и цензурные соображения. — Петербургская цензура не позабыла разноса, учиненного ей восемь лет назад, когда в печать были пропущены две повести Салтыкова. Судьба первого после возвращения из ссылки произведения Салтыкова — статьи «Алексей Васильевич Кольцов» — показывает, что опасения Некрасова не были беспочвенными. Уже набранная для августовской книжки «Библиотеки для чтения», статья была 24 июля 1856 года запрещена цензурой.

...даже жили вместе. — Вернувшись 20 июня 1856 года в Петербург после свадьбы, происходившей в Москве, Салтыков с женой поселился в доме Исаака Утина на Галерной улице — ныне Красная улица, д. 12. В том же доме, этажом выше Салтыкова, жил В. П. Безобразов (письмо Д. Е. Салтыкова к С. Е. Салтыкову от мая 1856 г. — ИРЛИ, ф. 366, оп. 9, ед. хр. 95; Б. Н. Чичерин, Москва сороковых годов, М. 1929, стр. 221).

...Михаил Евграфович не раз говорил мне, что корректуры без пропусков должны были сохраниться... — Судьба этих корректур остается невыясненной. По имеющимся сведениям, пятьдесят шесть гранок «Губернских очерков» сохранялись среди материалов фонда Московского цензурного комитета. Фонд этот в первые годы Октябрьской революции хранился в Ильинской башне китайгородской стены и был частично расхищен.

Михаил Евграфович говорил (в 1886 г.), что сохранились первоначальные корректуры «Истории одного города», которая в печати вышла с большими сокращениями. Где эти корректуры? — Известны авторские корректуры лишь первых пяти глав журнальной публикации «Истории одного города» (то есть без главы «О корени происхождения глуповцев»): это девять гранок из на-

бора январской книжки «Отечественных записок» за 1869 год с правкой Салтыкова (ЦГАЛИ, ф. 445, ед. хр. 1450/86).

Стр. 182. *После выхода «Губернских очерков» Михаил Евграфович приехал в Петербург; здесь к нему одним из первых приехал с визитом Некрасов <...> и предложил ему сотрудничество.* — Между 13 и 18 января 1857 года Салтыков ездил на два дня в Москву за экземплярами только что вышедшего отдельного издания «Губернских очерков». 19 января, как видно из дневника А. И. Артемьева, Салтыков вернулся в Петербург (см. стр. 432), Некрасов находился в это время за границей и вернулся домой лишь в середине лета 1857 года, когда, по-видимому, и побывал у Салтыкова, который произвел на него неблагоприятное впечатление. Некрасов писал И. С. Тургеневу 27 июля 1857 года. «Гений эпохи — Щедрин — туповатый, грубый и страшно зазнавшийся господин. Публика в нем видит нечто повыше Гоголя!» (Н. А. Некрасов, Полн. собр. соч., т. 10, М. 1952, стр. 355). Предложенное Салтыкову сотрудничество в «Современнике» долго не ладилось. В 1857 году Салтыков дал журналу один, да и то очень слабый рассказ «Жених» (напечатан в № 10). Перелом в отношениях с «Современником» наступил у Салтыкова лишь в 1859—1860 году.

...без приделанного для цензуры конца. — Чтобы включить «Свои люди — сочтемся» в собрание сочинений 1859 года, Островский был вынужден по требованию цензурного комитета дать пьесе другую развязку. Он написал заключительную сцену, в которой квартальный сообщает Подхалюзину, что «по предписанию начальства» он должен «представить» его властям, чтобы покарать за совершенные им злодеяния.

«Смерть Пазухина». — Кроме «Смерти Пазухина» (1857), Салтыков написал еще пьесу «Тени» и ряд драматических сцен и отрывков (все в первой половине шестидесятых годов).

Вот что он писал мне 30-го марта 1887 года. — Эту завещательную записку см. XX, 284—285.

Стр. 183. *...сохранившемся у меня проекте условия, помнится, с фирмой Салаевых.* — Пантелеев ошибся: в его бумагах сохранился проект условия с московским издателем Сибиряковым (XX, 339—340).

После выхода в отставку в 1861 году Михаил Евграфович не мог уже вернуться на службу по министерству внутренних дел... — Салтыков подал в отставку с поста тверского вице-губернатора 20 января 1862 года. Мотивировка гласила: «по болезни». Но он был здоров. Пантелеев связывает отставку с желанием Салтыкова «несколько реабилитировать себя» после тяжелой ошибки, допу-

щенной в так называемой «обручевской истории» (см. стр. 198). С другой стороны, имеются сведения, что до властей дошли кое-какие слухи о скрытом участии Салтыкова в оппозиционных выступлениях тверского дворянства в конце 1861 — начале 1862 года. Салтыков в качестве должностного лица мог опасаться разбирательства. Так или иначе он подал в отставку неожиданно, в связи с какими-то чрезвычайными обстоятельствами. Отставка была принята. Царь утвердил ее 7 февраля 1862 года. При этом, как показывает комментируемый текст, Салтыкову, по-видимому, дали понять, что возвращение на службу в министерство внутренних дел будет для него невозможно.

Тут он не поладил с губернатором Александровым... — Гражданским губернатором в Пензе с 1862 по 1867 год был В. П. Александровский. Его уголовные деяния Салтыков описал Анненкову. Письмо, посланное из Пензы 2 марта 1865 года (XVIII, 195—196), попало в перлюстрацию, и содержание его, по-видимому, стало известно Александровскому.

...Шидловский ничем не выразил какой-нибудь особенной неприязни ко мне или «Отечественным запискам». — Это неверно. М. Р. Шидловский (историю его взаимоотношений с Салтыковым см. во вводной заметке к воспоминаниям И. М. Михайлова, стр. 476—477), едва заняв пост начальника Главного управления по делам печати, на ближайшем же заседании Совета управления 23 октября 1870 года обрушился на десятую книжку «Отечественных записок» и потребовал объявить журналу первое предостережение. Совет большинством голосов принял это предложение. Однако министр внутренних дел А. Е. Тимашев «по особым соображениям» воздержался «и на этот еще раз» утвердить предостережение (Б. Папковский и С. Макашин, Некрасов и литературная политика самодержавия. — «Литературное наследство», т. 49—50, 1949, стр. 461—462 и 469—471).

Шидловского скоро сменил Лонгинов. — Назначение М. Н. Лонгинова начальником Главного управления по делам печати состоялось 20 ноября 1871 года. В конце сороковых годов Лонгинов был сослуживцем Салтыкова по канцелярии военного министерства, а когда тот вернулся из ссылки, их приятельские отношения возобновились. В это время Лонгинов еще слыл либералом; он изучал Радищева, дружил с Некрасовым и сотрудничал в «Современнике». Позднее, в семидесятые годы, это был один из реакционнейших и фанатически-нетерпимых чиновников, осуществлявших политический надзор за печатью.

Стр. 184. Лучшим произведением Достоевского Михаил Евграфович считал «Идиота». — Салтыков изложил свою высокую оценку

романа Достоевского в рецензии 1871 года на роман Омулевского «Светлов» (VIII, 438). См. об этом: С. Борщевский, Щедрин и Достоевский, М. 1956, стр. 173—214.

На литературном вечере в конце 1870 года или начале 1871 года <...> я был, — рассказывал Михаил Евграфович, — чтобы заявить свое сочувствие французам. — Речь идет о литературно-музыкальном утре с участием Тургенева — 27 февраля 1871 года. Оно состоялось в час дня в зале С.-Петербургского собрания художников. В объявлении и отчете об «утре», помещенных в газетах, было лишь глухо упомянуто о его «благотворительной цели», но ни сама цель, ни устроители «утра» не были названы («С.-Петербургские ведомости», 1871, № 58 от 27 февраля, и № 60 от 1 марта). В письме к Полине Виардо от 26 февраля/10 марта 1871 года Тургенев, извещая о своем предстоящем выступлении на «утре», писал: «...цель его мне очень сочувственна (в пользу раненых французов, об этом не говорится в афише, но все это знают...)» (Ivan Tourgueneff, Lettres à Madame Viardot. Publiées et annotées par E. Halpérine-Kaminsky, Paris, Bibliothèque Charpentier, 1907, p. 257, подлинник на франц. яз.; ср. на стр. 259—260, в письме от 27 февраля/11 марта, помеченном «суббота, вечером», рассказ об «утре», на котором Тургеневу был оказан восторженный прием). Свои горячие симпатии к Франции, к ее демократическим и социалистическим традициям Салтыков выразил в статье «Сила событий», написанной непосредственно вслед за окончанием франко-прусской войны («Отечественные записки», 1870, № 10).

... (кажется, статья была напечатана в английском «Атенеуме»). — Статья Тургенева об «Истории одного города» («History of a Town») появилась не в «Атенеуме», а в журнале «The Academy», 1871, № 19, March, I, pp. 151—152. Вошла в издание: И. С. Тургенев, Собр. соч., т. II, М. 1956, стр. 200—203 (английский текст и перевод).

Я недавно перечитал Свифта; хотя при издании и была статья В. Скотта, все же трудно понимать без комментариев. — Сочинения Свифта с его биографией, написанной В. Скоттом, впервые были изданы в 1814 году, в девятнадцати томах. Новое издание вышло в 1883 году в десяти томах. Его, по-видимому, и читал Салтыков в середине восьмидесятых годов.

Возобновленные в 1871 году отношения с Тургеневым... — Личные отношения между Салтыковым и Тургеневым резко ухудшились и практически прервались после выхода в свет «Отцов и детей» (1862). Салтыков усмотрел в романе памфлет, направленный против демократии, и выступил с острой критикой полити-

ческих взглядов Тургенева. Переломный момент во взаимоотношениях писателей наступил в 1870 году. Салтыков послал тогда Тургеневу только что вышедшее отдельное издание «Истории одного города», на что Тургенев откликнулся упомянутым хвалебным отзывом в английской печати «о русском Свифте». См. М. О. Габель, Щедрин и Тургенев. — Наукові записки Харківського Державного Педагогічного Інституту, т. X. Харків, 1947, стр. 49—89 и С. Ф. Баранов, М. Е. Салтыков-Щедрин и И. С. Тургенев. — В книге того же автора «Великий русский сатирик — М. Е. Салтыков-Щедрин», Иркутск, 1950, стр. 44—71.

Стр. 185. *«Переписка Николая Павловича с Поль де Коком».* — Сохранившиеся фрагменты этого блестящего образца щедринской «отреченной» сатиры, написанной в форме «рескриптов» императора Николая I к французскому романисту, опубликованы Н. В. Яковлевым в «Литературном наследстве», т. I, 1931, стр. 191—194.

...бросил свою пьесу в камин. — Об эпизоде с В. А. Соллогубом см. в воспоминаниях А. М. Унковского, стр. 653. В передаче Пантелеева есть неточности: обморока у Салтыкова не было, и Соллогуб свою пьесу не сжег.

Незадолго перед тем я обратил внимание Михаила Евграфовича на корреспонденцию в «Daily News», в которой Михаил Евграфович выставлялся как глава республиканской партии в России... — Корреспонденция появилась в номере «Daily News» от 10/22 октября 1884 года, то есть спустя полгода после закрытия «Отечественных записок». Опровержение Салтыкова, датированное 31 октября/12 ноября, было напечатано в «Daily News» 12/24 ноября и в русском переводе — в «Новом времени», № 3134 от 17/29 ноября (ср. XX, 101, 104—105, 428—429).

Стр. 186. *«Я знаю, — говорил Алексей Михайлович, — с лишком двадцать лет Михаила Евграфовича...»* — Унковский и Салтыков знали друг друга в течение сорока шести лет. С 1868 года, когда оба стали постоянно жить в Петербурге, отношения их стали особенно короткими.

.. Михаил Евграфович дал ему «Оброшенного», небольшую вещь, но такую характерную и драгоценную по автобиографическому значению. — Это была «элегия в прозе» «Имярек» из «Мелочей жизни». В черновой рукописи «элегия» называлась «Оброшенный. Притча», в белой — «Оброшенный. Больные грезы большого человека». Заглавие «Имярек» появилось в печатном тексте — в журнале «Вестник Европы» (1887, № 4).

Стр. 187. *«Полковничья дочь».* — Рассказ из сборника «Мелочи жизни». Впервые: «Книжки «Недели», 1887, февраль, стр. 1—18 (XVI, 597—608).

...сказку «Неумытный Трезор». — Впоследствии Салтыков изменил заглавие на «Верный Трезор». Впервые: «Книжки «Недели», 1885, февраль, стр. 1—9 (XVI, 158—164).

В конце октября разыгралась одна громкая история с <1...> В. И. Лихачевым; эта история так взволновала Михаила Евграфовича, что <...> едва не свела его в могилу... — Осенью 1885 года в общественных кругах Петербурга и в столичной печати возникли толки о неэтичных поступках Лихачева, недавно занявшего пост петербургского городского головы. Главные пункты обвинения были следующие: дружба с людьми, скомпрометированными в деле о хищениях и спекулятивно-биржевых махинациях в «С.-Петербургском городском кредитном обществе» и совместительство должности городского головы с членством в правлении Волжско-Камского банка, дававшим Лихачеву крупное содержание. Салтыков был сильно огорчен и встревожен делом Лихачева. По свидетельству Е. А. Боткиной, он часто повторял в то время: «Как обманывал нас этот человек», «это удивительно, право» («Записки отдела рукописей Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина», вып. 6, М. 1940, стр. 75). По предложению Елисеева, в узком кругу друзей Лихачева было организовано разбирательство его поступков. Обвинителем выступил Унковский. Салтыков был против этого суда, а в день, когда он происходил, — 15 декабря 1885 года, — испытал столь сильное нервное возбуждение, что пережил, по словам С. П. Боткина, «опасные и угрожающие минуты для жизни», отчего здоровье его резко ухудшилось. В письме к Белоголовому от 26 декабря 1885 года, из которого взяты приведенные слова, Боткин объяснил, почему разбирательство дела Лихачева было столь болезненно воспринято Салтыковым. «Еще далеко до объяснения, — писал Боткин, — шли разговоры у Салтыкова о Лихачеве, поведение которого возмущало Мих. Евграфовича и тем более, что он не чувствовал себя в силах разорвать старые дружеские отношения, складывавшиеся около 15 лет. «Я слаб и стар, — говорил он, — чтобы разрывать старые связи, и к чему же это объяснение, устроенное старым сплетником <Елисеевым>; пусть лучше все дело пойдет на измор, а старого сплетника не принимать». Ему хотелось сохранить добрые отношения и с Лихачевым, и с Унковским, а объяснение грозило опасностью расстаться с тем или другим, тем более, что Лихачев раз заявил, что ему, Лихачеву, неудобно бывать там, где бывают его враги» (ЛБ. Белог. п. 5, ед. хр. 16—18).

Стр. 188. ...писал мне 12 августа 1887 года. — См. XX, 316—317.

... портрет Михаила Евграфовича, писанный Н. А. Ярошенко... — Этот портрет написан в 1887 году — поясной, 3/4 влево. Салтыков изображен в халате, поверх халата накинута плед. Теперешнее местонахождение портрета неизвестно.

Стр. 189. ... «Забытые слова»; они были совсем готовы, то есть обдуманы, оставалось только написать. — В марте или в апреле 1889 года Салтыков начал писать «Забытые слова», но смерть прервала работу писателя на первой странице. Рукопись этой страницы была впервые опубликована в журнале «Вестник Европы», 1889, № 6, стр. 846—848. Публикации предпослано следующее замечание «от редакции», написанное либо М. М. Стасюлевичем, либо, что вероятнее, А. Н. Пыпиным:

«В беседах с близкими ему людьми Салтыков высказывался, но весьма кратко и отрывочно, относительно темы замышленного труда; не раз по поводу тех или других явлений текущей общественной жизни или прочитанной им статьи в газетах он повторял как бы самому себе: «Да, это теперь все забытые слова, следует их напомнить!.. Раз — это было в ноябре или декабре прошлого <1888> года — он как будто точнее формулировал свой литературный замысел, и среди разговора о чем-то, наведшем его опять на мысль о «забытых словах», он вдруг прервал себя и обратился с вопросом: <...> может ли он и имеет ли право и обязанность написать свое «завещание»?»

Вот я ему покажу настоящих слуг прошлого времени. — Очерк Гончарова «Слуги» появился в «Ниве» в начале 1888 года (№№ 1—3 и 18). Как и Шелгунов, назвавший эти очерки «сатирой на лакеев» («Русская мысль», 1888, № 6), Салтыков считал трактовку темы поверхностной. Эскизным зарисовкам Гончарова он задумал противопоставить свою глубоко-трагическую «галерею рабов». Он посвятил ей главы XVII—XXV «Пошехонской старины» — серию ярких реалистических портретов, обобщенное изображение «множества несчастнейших людей <...>, раздавленных и испачканных именно всем строем старины» (Глеб Успенский, Полн. собр. соч., т. 14, М. 1954, стр. 308).

Главы эти появились в «Вестнике Европы», 1888, №№ 11 и 12.

Стр. 190. ... в одной сказке я вывожу личность, которая живет в большом городе <...> и вдруг, по мановению волшебства, оказывается среди сибирских пустынь. — Салтыков не раз пытался воспроизвести в своем творчестве «изумительный тип глубоко верующего человека». И всегда при этом в воображении писателя вставал образ Чернышевского, его трагическая судьба, его непримиримость революционера, неспособного идти на какие бы то ни было компромиссы. Впервые к этой глубоко «смущавшей» его

теме Салтыков подошел еще в 1875 году, намереваясь разработать ее в рамках цикла «Культурные люди» (см. письма к П. В. Анненкову от 20 ноября/2 декабря 1875 года и к Н. А. Некрасову от 26 апреля/8 мая того же года — XVIII, 323 и 360). Интересную характеристику замысла и экспозицию темы Салтыков дал в гл. VII цикла «За рубежом» (XIV, 268).

Застал его совершенно одного, вся семья уехала на некоторое время в Гельсингфорс. — Елизавета Аполлоновна уехала с детьми на неделю в Гельсингфорс 9 августа 1886 года.

Стр. 191. Михаил Евграфович потом подарил мне на память черновой оригинал «Христовой ночи». — Рукопись сохранилась в бумагах Л. Ф. Пантелеева (ИРЛИ).

Стр. 193. Не знаю, самостоятельно или под чьим давлением, только он решил пригласить отца Иоанна Кронштадтского. — 2 апреля 1889 года к Салтыкову во время консилиума С. П. Боткина с лечащими врачами явился «знаменитый чудотворец» Иоанн Кронштадтский. Его пригласила жена Салтыкова, воспользовавшись беспомощным состоянием больного, тяжелым упадком его психики. Эпизод этот рассказан С. П. Боткиным в письме к Н. А. Белоголовому от 6 апреля 1889 года. Рассказ заканчивается словами: «Очевидно, после этого происшествия ухудшение наступило еще большее...» (ЛБ, Белог. п. 5, ед. хр. 30—31 — неизд.).

Стр. 194. ...вскоре после загадочной смерти принца Рудольфа. — Австрийский кронпринц Рудольф застрелился в своем замке близ Вены 30 января 1889 года.

... Константина (сына) отправлю в Москву к Поливанову. — Л. И. Поливанов был основателем и директором известной в то время частной гимназии в Москве.

Стр. 195. ...я собрался в дальнюю поездку... — Весной 1889 года Пантелеев отправился в поездку по Закаспийскому краю, имея в виду на обратном пути заехать в Астрахань к Чернышевскому.

Стр. 197. «1881 г. декабря 7 сложил с себя звание члена общества». — Пантелеев ошибся. В сборнике «XXV лет», изданном комитетом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым (СПб, 1884), этих слов нет. Из Общества Салтыков не вышел, а лишь отказался (2 февраля 1882 года) от звания члена комитета.

<Разговор о М. Е. Салтыкове с Н. Г. Чернышевским>. — Пантелеев приехал в Астрахань в конце мая 1889 года. 11 июня Чернышевский сообщал жене: «...у меня он <...> проводил большую часть двух дней, которые оставался в городе» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XV. М. 1950,

стр. 877). Сам Пантелеев пишет, что в Астрахани он прожил три дня, проводя их исключительно в обществе Чернышевского («Из воспоминаний прошлого». Цит. изд., стр. 543). Пантелеев указывает далее, что он «тогда же конспективно записал <...> беседы» с Чернышевским и передает эти «заметки» в своих воспоминаниях «почти буквально, как они были записаны» (там же).

Стр. 198. ... я понял, что старая история не забыта Николаем Гавриловичем, как она не была забыта и Салтыковым. — Ввиду большой важности этой «истории», доставившей Салтыкову много горьких минут, остановимся на ней подробно.

В июле 1861 года Салтыков, тогда тверской вице-губернатор, получил по почте экземпляры прокламации «Великорусс № 1». Этим он был поставлен в крайне затруднительное положение. Прокламации были посланы ему по служебному адресу (явная неосмотрительность распространителей «Великорусса»), между тем корреспонденция, приходившая в этот адрес, вскрывалась не самим Салтыковым, а специально приставленным для этой цели чиновником. Поэтому вернее всего, что Салтыков получил конверты с «Великоруссом» уже вскрытыми. Но если даже конверты и были запечатаны, то Салтыков не мог быть уверенным, что они уже кем-то не просматривались. Салтыков знал, разумеется, что III Отделение пристально следит за всеми чинами губернской администрации, начиная с губернатора. Он мог даже предположить, что это полицейская провокация. Быть может, у Салтыкова были и другие соображения, которых мы не знаем и которые, в совокупности с этими, вынудили его передать прокламации своему начальству, тверскому губернатору гр. П. Т. Баранову с просьбой их уничтожить. Сыграло, вероятно, роль в решении Салтыкова и доверие, которое он питал к личной порядочности Баранова. «С Барановым я покамест в большой приязни», — заявлял он в 1860 году (XVIII, 154). И на этот раз доверие его оправдалось: Баранов прокламации уничтожил и в Петербург ничего о них не сообщил, хотя сделать это был обязан. Поэтому нет ничего удивительного, что когда 8 и 9 сентября Салтыков снова получил два почтовых пакета, в которых содержались десять экземпляров прокламации «Великорусса № 2», он пошел тем же путем, то есть передал их Баранову. Но Салтыкову не было известно, что именно в тот день, когда он обратился к Баранову, 11 сентября, губернатор получил секретный циркуляр о воззваниях «Великорусса». Министр внутренних дел предписывал всем губернаторам «иметь особенное негласное наблюдение, не появятся ли подобные воззвания во вверенной им губернии, и в случае присылки оных <...> немедленно представлять в министерство отбираемые

экземпляры, в тех самых конвертах, в каких они были получены» (см. А. И. Герцен, Полн. собр. соч. под ред. М. К. Лемке, т. XI, П. 1919, стр. 351). Принесенные Салтыковым прокламации были немедленно отосланы министру внутренних дел П. А. Валуеву и затем переданы 13 сентября в III Отделение В. А. Долгорукову (ЦГИАМ, ф. III Отделения № 109, 1 эксп., 1861, № 196, ч. 1, лл. 49—49 об.).

А 4 октября того же 1861 года по обвинению в распространении «Великорусса» был арестован известный революционер, соратник Чернышевского Владимир Александрович Обручев.

Версия о причинной связи этих двух событий — передаче Салтыковым листов «Великорусса» и аресте Обручева — циркулировала в литературных и общественных кругах шестидесятых годов; проникла она и в мемуарную литературу (см., например, воспоминания Е. И. Жуковской, стр. 86). Но обращение к документальным источникам убеждает нас в том, что полученные от Салтыкова конверты с прокламациями отнюдь не были для III Отделения ни первой, ни главной уликой против Обручева. Мы имеем в виду следственное дело «О лицах, заподозренных в распространении воззвания «Великорусс»: Обручеве, Данненберге, Лобанове, Яковлеве, Сваричевском и Подоском» (ЦГИАМ, цит. дело. ч. 2, на 266 лл.). Из отношения начальника III Отделения кн. В. А. Долгорукова от 19 декабря 1861 года (в ответ на запрос сената) мы узнаем, что подозрение на Обручева и других пало вследствие сведений, «собранных при секретных разысканиях по сему предмету». А «основной уликой» послужил адресованный Обручеву конверт с письмом доктора П. И. Бокова, запечатанный тою же печаткой, что и некоторые конверты с воззваниями. Печатка эта принадлежала Обручеву и случайно была оставлена им у Бокова (цит. дело, л. 106). В качестве вещественного доказательства Долгоруков передал сенату один из таких конвертов, посланный доктору Водарскому. Что же касается двух конвертов, адресованных Салтыкову, то они вообще представляли весьма малый интерес для следствия, так как поступили в III Отделение уже тогда, когда оно располагало целой коллекцией подобных конвертов: пронумерованные в порядке поступления, они оказались двадцать седьмым и двадцать девятым (всего конвертов сорок шесть). Никаких следов обручевской печати на салтыковских конвертах нет.

Таким образом, непричастность Салтыкова к аресту Обручева можно считать доказанной.

Чем же были вызваны слухи, порочащие Салтыкова и складывавшиеся в легенду, будто именно он своей оплошностью дал в руки следствию главную улику против Обручева?

Конечно, ни Баранов, ни Валуев, ни Долгоруков не могли рассказывать того, что было материалом строго секретного политического следствия. Источником этих слухов явился, мы убеждены в этом, сам Салтыков. По воспоминаниям Е. И. Жуковской, «Салтыков сообразил о своей оплошности, когда дело было сделано, и клял себя страшно...» (см. стр. 86). Слова Пантелеева о посредничестве А. А. Головачева и А. И. Европеуса в переговорах с Чернышевским позволяют считать их в числе тех лиц, которые сразу же были посвящены в историю передачи прокламаций губернатору (Салтыков был дружески связан с ними в бытность свою в Твери). Так или иначе, «буря негодования» против Салтыкова в кружке «Современника» могла подняться лишь в результате толков и слухов, порожденных его собственным рассказом о случившемся. Когда же Салтыкову стало известно об этой «буре негодования» он, по словам Пантелеева, «сейчас же» поехал объясняться в Петербург, но был «крайне сурово» принят Чернышевским и «близкими к нему», то есть в первую очередь Добролюбовым.

Неизвестно, что именно сказал Салтыков Чернышевскому и Добролюбову и что говорили они ему. Если верить Пантелееву, Чернышевский, вследствие этой истории, на всю жизнь сохранил холодность к Салтыкову. Разумеется, Чернышевский должен был резко осудить поступок Салтыкова. Но следует усомниться в точности слов Пантелеева, будто Чернышевский «нисколько» не смягчил той суровости, с какою встретил приехавшего для объяснений Салтыкова. Напротив, с полной уверенностью можно утверждать, что объяснения Салтыкова удовлетворили Чернышевского в главном и основном: он убедился, что передача прокламаций властям явилась либо «оплошностью», либо результатом стечения неблагоприятных обстоятельств. Если бы Чернышевский думал иначе, то как мог бы он продолжать сотрудничество с Салтыковым в «Современнике»? С другой стороны, как мог бы и Салтыков, щепетильность которого отмечается всеми, кто его знал, обращаться к Чернышевскому за содействием задуманному им журналу «Русская правда»? Письмо, которое написал Чернышевскому по этому поводу Салтыков (от 14 апреля 1862 года; XVIII, 167—168), показалось Пантелееву излишне официальным. Но ведь это и было назначение письма — официально пригласить Чернышевского сотрудничать в новом журнале.

Рассказу Пантелеева в этой его части противостоит другое свидетельство современника, воспоминания Е. П. Елисеевой, которые следует признать более отвечающими истине. Мемуаристка — жена Г. З. Елисеева, в то время очень близкого не

только кружку «Современника», но и лично Чернышевскому, посвятила эпизоду с Обручевым следующие строки:

«... На моей памяти он <Салтыков> приезжал вице-губернатором из Твери в 1861 или в начале 1862 г. для объяснения возникших недоразумений по поводу прокламации, которую, получив, будто бы представил губернатору. Помню я шум по этому поводу, недоумение и раздражение. Кажется, ему было написано из редакции <«Современника»> о тех неблагоприятных слухах, и он приехал. Но я его тогда не видала, но слышала от мужа, Г. З. Елисеева, что объяснением, данным им, был *удовлетворен Чернышевский*, и раз этим был удовлетворен Чернышевский, то всякое нареkanie должно быть снято и всякая совесть удовлетворена. Спустя много лет, когда «Отечественные записки» процветали под редакцию Некрасова, Елисеева и Салтыкова, то есть в семидесятые годы, мне не раз приходилось выяснять этот факт последующему поколению и удовлетворять их пытливость тем же несокрушимым доказательством, что Чернышевский *не встал против него*» (ЦГАЛИ, ф. 192, оп. 1, ед. хр. 17, корректурные гранки «Воспоминаний» Е. П. Елисеевой. — Подчеркнуто нами. — С. М.).

В заключение следует указать, что сам Обручев впоследствии, по возвращении из Сибири, не только не выказал никакой враждебности по отношению к Салтыкову, но, напротив, возобновил свою литературную деятельность именно в руководимом им журнале — в «Отечественных записках». Сотрудничество это продолжалось, пока существовал журнал. В бумагах Обручева сохранилась следующая его памятка на черновике рукописи: «Очерки сибирской жизни» — рукопись принята к печатанью в «Отечественных записках» в 1883 г. (о чем имею записку М. Е. Салтыкова от 12 декабря), но не напечатана вследствие закрытия журнала и затерявшаяся». По словам дочери Обручева, Веры Владимировны Обручевой, сообщившей нам этот текст (записка Салтыкова от 12 декабря 1883 года не найдена), ее отец до конца дней с глубоким уважением и любовью относился к Салтыкову, о чем свидетельствуют, в частности, сохранившиеся у него в бумагах три фотографии Салтыкова (письмо к автору этих строк В. В. Обручевой из Вильнюса от 25 июля 1954 г.). Нет ни малейших следов неприязни к Салтыкову и в воспоминаниях В. А. Обручева «Из пережитого» (см. стр. 343—344).

... *под своим портретом (мой снимок)*. — На подлиннике этой фотографии, хранящейся в Пушкинском доме, надпись: «Снимал Л. Ф. Пантелеев в феврале 1886 г.». Салтыков изображен в фас, сидящим за письменным столом, одетым в халат под пледом. См. воспроизведение в настоящей книге.

Стр. 199. ... что считалось навсегда похороненным, да еще с печатью заклеивания, то вдруг стало предметом реабилитации, даже идеализации. Ответом на это течение и явилась «Пошехонская старина». — В 1886—1889 годах, когда возник и был осуществлен замысел «Пошехонской старины», правительство Александра III проводило «с тупоумной прямолинейностью», по определению В. И. Ленина (Сочинения, т. 19, стр. 154), чисто крепостническую политику во всех областях государственной, идеологической и общественной жизни. «Пошехонская старина», несмотря на свое историческое содержание, глубочайшим образом связанная с действительностью своего времени, разоблачала эту политику.

... но ведь и образование Михаила Евграфовича все идет из французских газет. — Трудно поверить, что Чернышевский мог так сказать. Сотрудник «Волжского вестника» Н. В. Рейнгардт, встречавшийся с Чернышевским в июне 1886 года, после одной из бесед с ним внес следующую запись в свою памятную книжку:

«Главный недостаток русских писателей, вызывавший его <Чернышевского> осуждение, заключался, по его мнению, в отсутствии образования, в особенности политического. Поэтому он высоко ценил Щедрина, который отличался, по его словам, обширным образованием.

— Да, этот человек широкого политического развития, не то, что другие, — говорил Николай Гаврилович» («Русская старина», 1905, № 2, стр. 469).

Совершенно такой же отзыв зафиксирован и в заметке личного секретаря Чернышевского (К. Федоров, Жизнь в Астрахани. — «Правда», 1928, № 275 от 27 ноября).

Стр. 200. ... Щедрин весьма сурово, как о глупцах, отзывался о первомайтовцах. — В главе «Мои встречи с гр. М. Т. Лорис-Меликовым» Пантелеев пишет: «Осенью 1881 г., когда я опять был в Петербурге, разговоры о Лорис-Меликове резко расходились. В то время как в радикальных кругах его почти не отличали от других укротителей того времени: Дрентельна, Гурко, Черткова, Тотлебена, ставили ему на счет казнь Млодецкого (Лорис-Меликов безуспешно ходатайствовал перед государем о сохранении жизни Млодецкому, но широкой публике это было неизвестно), массовые высылки, другие — Лихачев и бывавшие у него на вечерах по воскресеньям, например Салтыков, Унковский, Боровиковский и т. п. — видимо, считали падение Лорис-Меликова большим общественным бедствием. Салтыков по временам даже раздражался крайне резкими суждениями насчет дея-

телей 1 марта. Самое меньшее, по его словам, — это были в большинстве люди крайне ограниченные» («Из воспоминаний прошлого», цит. изд., стр. 612).

На заданный редакцией «Литературного наследства» Вере Николаевне Фигнер в 1932 году вопрос об отношении Салтыкова к народолюбцам последовал следующий ответ:

«Как относился Щедрин к нам в период наиболее острой борьбы с самодержавием? Сношения с ним никто из нас не имел — он был слишком осторожен для этого. Вероятно, он смотрел на действующих революционеров, как смотрел другой редактор «Отечественных записок» — старый писатель-народник Григорий Захарович Елисеев <...> При встречах после взрыва под Москвой и взрыва в Зимнем дворце, в то время как жена Елисеева говорила о панике, возникшей в Петербурге после этих взрывов, а мы готовили 1-е марта, Григорий Захарович в конце 1880 г. говорил мне: «Ну, что вы делаете? Бьете головой в каменную стену?.. только головы свои разобьете. И чего добиваетесь? Теперь секут без закона... а тогда будут сечь по закону». Говорил так, а сам предложить ничего не имел» («Литературное наследство», т. 11—12, 1933, стр. 488—489).

Свидетельства Л. Ф. Пантелеева и В. Н. Фигнер должны быть учтены биографами Салтыкова, хотя они односторонни и потому в целом неверно передают отношение писателя к деятелям «Народной воли». Салтыков с глубоким и сочувственным интересом следил за современным ему революционным движением и отдавал должное героическому самоотвержению «действующих революционеров», в том числе и первомайцев. Но Салтыков не разделял их веры в результативность избранного ими метода борьбы — индивидуального террора — и был принципиальным противником этого метода. С присущим ему глубоким социологическим реализмом Салтыков видел, что революционеры «Народной воли» проявляли, говоря словами Плеханова, «неслыханно-узкое понимание революционного действия» (Г. В. Плеханов, Сочинения, т. XXIV, стр. 307). Ему была ясна ошибочность расчетов народолюбцев добиться успеха в борьбе с самодержавием без участия масс, путем террористических ударов, осуществляемых небольшой группой подпольщиков-одиночек. Именно эту «ограниченность» и «узость» народолюбческих деятелей, растративших на индивидуальный террор основные силы революционного движения, и имел в виду Салтыков, именуя первомайцев на своем резком языке «глупцами». Как и предвидел Салтыков, убийство Александра II не принесло народу никакой непосредственной пользы, а, напротив, усилило на первое время реакцию, перешед-

шую в новое яростное наступление и быстро разгромившую уцелевшие после 1 марта 1881 года остатки «Народной воли». «...Революционеры, — писал В. И. Ленин, — исчерпали себя 1-ым марта...» (Сочинения, т. 5, стр. 40).

В. Р. Зотов

ПОСЛЕ БЕСЕДЫ С МИХАИЛОМ ЕВГРАФОВИЧЕМ

Печатается по тексту газеты «Новости и Биржевая газета», 1889, 2/14 мая, № 119 (первое издание).

Стр. 202. *Сороковых годов боец неукротимый...* — Определяя Салтыкова как деятеля «сороковых годов», Зотов отчуждает его тем самым от «шестидесятых годов» — периода первого демократического натиска и первой революционной ситуации в стране, — исторических этапов, оказавших решающее воздействие на жизнь и творчество писателя.

В РЕДАКЦИИ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»

Г. З. Елисеев

< ИЗ НЕОКОНЧЕННЫХ ВОСПОМИНАНИЙ О М. Е. Салтыкове >

Источниками текста являются две черновые рукописи ИРЛИ (ф. 366, оп. 7, ед. хр. 20 и 21): 1) автограф (чернила и карандаш), содержащий очень фрагментарный и трудно читаемый текст, и 2) список, сделанный женой Елисеева, Екатериной Павловной, с поправками автора. Список дает связное чтение одной из частей рукописи и отражает дополнительную работу автора над текстом. Список и положен в основу публикации в настоящем сборнике. Впервые (неполно и неисправно): в журнале «Русское богатство», 1893, № 9, 47—69: отрывок из публикации «II», произвольно озаглавленный «Некрасов и Салтыков (из посмертных бумаг Г. З. Елисеева)»; повторено в кн. «Шестидесятые годы», редакция В. Е. Евгеньева-Максимова и Г. Ф. Тизенгаузена, М.—Л. 1933, стр. 392—410. Другие фрагменты тех же рукописей ИРЛИ, не вошедшие в настоящий сборник, как лишенные мемуарного характера, напечатаны, очень несовершенно, в журнале «Заветы», 1914, № 4, под названием: «М. Е. Салтыков в письмах к Гр. Зах. Елисееву» и «М. Е. Салтыков — Н. Щедрин».

Стр. 208. *...остаются неизвестны публике...* — С тех пор как были написаны эти слова, исследователи открыли много статей и рецензий Салтыкова, помещенных без подписи в «Современнике» и «Отечественных записках». Многие из этих материалов вошли

в его Полное собрание сочинений (V, VI, VIII и др.). Однако изучение вопроса об анонимных статьях Салтыкова продолжается и не может считаться завершенным.

«Как! Мак-Магон <...> будет распоряжаться судьбами несчастной Франции. Это ужасно». — Маршал Мак-Магон (1808—1893) — монархист и клерикал, был избран президентом республики 24 мая 1873 года. Энгельс в письме к Марксу назвал нового президента «величайшим ослом Франции» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIV, стр. 412).

Стр. 210. *...любители изящной, не тенденциозной беллетристики, не раз выражали сожаление: зачем Михаил Евграфович <...> не пишет таких законченных вещей, как «Семейство Головлевых»...* — Елисеев имеет в виду преимущественно И. С. Тургенева, но передает его мысли неточно. Прочитав рассказ «Семейный суд» (из этого рассказа вырос впоследствии роман «Господа Головлевы»), восхищенный Тургенев писал автору: «...невольнo рождается мысль, отчего Салтыков, вместо очерков, не напишет крупного романа, с группировкой характеров и событий, с руководящей мыслью и широким исполнением? — Но на это можно ответить, что романы и повести до некоторой степени пишут другие, а то, что делает Салтыков, кроме его некому» («Первое собр. писем И. С. Тургенева. 1840—1883 гг.». СПб. 1884, стр. 267—268). Елисеев же отзывался о рассказе так: «Мне он тоже очень нравится, но более нравятся те статьи, которые соприкасаются с вопросами и явлениями текущего времени» («Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину», М. 1935, стр. 26).

Склоняя Салтыкова к созданию больших полотен, Тургенев отнюдь не снижал значения щедринского сатирико-публицистического очерка, и не Тургенев, а сам Елисеев недооценивал художественную мощь писательского таланта Салтыкова и утилитарно смотрел на его сатиру.

Во время писания <...> «Пошехонской старины» он раза два спрашивал меня: хорошо ли он делает, что пишет это вместо сатирических очерков? — Салтыков никогда не считал свои «беллетристические произведения», в частности «Пошехонскую старину», «отдыхом от дела». Он задумывался над другим. Он опасался, что его обращение к «бытовому» материалу будет понято как отступление под натиском реакции с передовой линии боевой сатиры в тылы исторической темы. Еще только задумывая «Пошехонскую старину», Салтыков писал Елисееву в августе 1883 года: «...на меня современные российские порядки подействовали удручающим образом <...> В другое время, даже неблагоприятное, я был бы готов переждать и приняться за что-нибудь бытовое (вроде «Го-

ловлевых»), а теперь не могу. Не то, чтобы у меня матерьялов не было (давно уж я задумал), но досадно. Вот, скажут, заставили-таки мы его» (XIX, 349).

Наконец, она все-таки ему наскучила. — Салтыков «скомкал» последние главы «Пошехонской старины» не потому, что она ему «наскучила», а потому, что он уже уходил из жизни и силы его оставляли. «Пошехонская старина» писалась в мучительных страданиях предсмертной болезни. Через три месяца после того как были подписаны к печати две заключительные главы хроники, Салтыков скончался.

Мне хотелось бы перед смертью напомнить публике о когда-то ценных и веских для нее словах... — Елисеев путает. Вместо содержания оставшихся ненаписанными глав «Пошехонской старины» он излагает замысел нового произведения — «Забытые слова», едва лишь начатого Салтыковым в последние дни своей жизни (XVI, 740—741). См. стр. 189 и 724.

Стр. 211. *...хочет посвятить это сочинение имени покойного Некрасова.* — Желание это осталось неосуществленным.

Стр. 212. *...написал Михаилу Евграфовичу обидчивую записку...* — Записка А. И. Левитова неизвестна.

Стр. 213. *Объяснение вышло так горячо и было так обидно для Некрасова, что он вынужден был оскорбить Успенского действием.* — Из этих строк, принадлежащих к впервые публикуемым фрагментам воспоминаний Елисеева, мы узнаем, что во время издания «Отечественных записок», то есть в период, после 1868 года, имело место второе столкновение Н. Успенского с Некрасовым. Первое произошло в январе 1862 года (см. об этом: К. Чуковский, Люди и книги шестидесятых годов, Л. 1934, стр. 151—162). Поводом для обоих инцидентов послужили сложные денежные расчеты между Н. Успенским и редакцией «Современника». Н. Успенский считал, что его материальные интересы были ущемлены. Некрасов и Чернышевский, дорожа сотрудничеством талантливого автора, соглашались кое в чем изменить условия расчета. Однако Н. Успенский занял непримиримую позицию и не только потребовал от Некрасова выплаты ни с чем не сообразных сумм, но и оскорбил его, предъявив клеветническое обвинение, будто Некрасов нарушил в свою пользу заключенное между ними условие об издании отдельной книгой сборника его, Н. Успенского, рассказов. Все это Н. Успенский описал в своих воспоминаниях «Из прошлого» (на них ссылается Елисеев), вышедших отдельной книгой в 1889 году, то есть в год смерти их автора. Как только версия Н. Успенского стала достоянием гласности, она тотчас же была публично опровергнута Ип. Панаевым;

бывшим заведующим конторой «Современника». В своей статье, помещенной в газете «Новое время» 18 января 1889 года, Ип. Панаев привел выписку из приходо-расходных книг журнала, из которой явствовало, что к моменту разрыва с Некрасовым Н. Успенский оставался должен редакции «Современника» более двух тысяч рублей. После первого столкновения с Некрасовым Н. Успенский 26 января 1862 года написал Чернышевскому: «...покорнейше прошу Вас устроить третейский суд, наше публичное объяснение с Некрасовым» («Звенья», III—IV, М.—Л. 1934, стр. 583). На это Чернышевский отвечал: «...я готов по-прежнему быть Вашим посредником или советником, конечно, не в третейском суде, потому что тут мое мнение было бы против Вас...» (там же, стр. 584). Но и мнение Чернышевского не заставило Н. Успенского изменить свою позицию. Он по-прежнему, и вполне искренне, считал Некрасова своим должником. Нет ничего удивительного поэтому, что, когда Некрасов возглавил «Отечественные записки» — новый журнал, призванный заменить закрытый правительством «Современник», Н. Успенский, побуждаемый острой нуждой, опять попытался получить «свои» деньги. Это и привело к тому второму драматическому объяснению с Некрасовым, о котором мы впервые узнаем из воспоминаний Елисеева. Действительно ли Некрасов, разгневанный оскорблениями Н. Успенского, ударил его, или прав Елисеев, сомневающийся в истинности этого показания, — судить трудно (вообще говоря, в рассказах о себе Некрасов не раз отступал от фактов). Но сомневаться в том, что у него было второе и очень острое столкновение с Н. Успенским, не приходится. По предположению К. И. Чуковского, высказанному в письме к автору этих строк, оно могло быть в 1869 или, вернее, в 1870 году.

Стр. 214. *...о Некрасове и «Современнике» я надеюсь написать особое воспоминание.* — Намерение это было выполнено. В существующем издании воспоминаний Елисеева рассказ о Некрасове в «Современнике» занимает первые четыре главы (сб. «Шестидесяте годы», М.—Л. 1933, стр. 267—343).

Г. — писатель Д. В. Григорович.

...написал мне укорительную записку... — Эта записка Салтыкова неизвестна.

Стр. 218. *...одна определенная часть <...> отдавалась за аренду Краевскому...* — Чистая прибыль от издания «Отечественных записок» делилась между владельцем-издателем журнала Краевским и главным редактором Салтыковым следующим образом: прибыль от шести тысяч экземпляров — поровну, прибыль сверх этого количества — из расчета: Салтыкову две трети, Краевскому — одна (пункт 9 «Договора между А. А. Краевским и

М. Е. Салтыковым об издании журнала «Отечественные записки»; XIX, 419—420). В свою очередь отчислявшаяся в пользу Салтыкова сумма делилась поровну между Салтыковым, Елисеевым и Михайловским.

Стр. 219. *Когда я сделался болен и уехал за границу...* — Елисеев перенес удар в апреле 1881 года, а в августе того же года уехал за границу. С тех пор его литературная и редакторская деятельность практически прекратилась. В Россию он вернулся лишь в 1885 году, то есть уже после запрещения «Отечественных записок».

...написал ему письмо с просьбою, ввиду больших расходов на меня журнала, подвести и меня под эту статью о больных редакторах... — Это письмо Елисеева из Парижа от 9/21 мая 1882 года. В нем Елисеев лишь заявляет, что если даже Салтыков и Михайловский сочтут нужным применить к нему ту статью заключенного между ними условия, которой предусматривалось значительное снижение жалования для длительно не работающих по болезни редакторов «Отечественных записок», то «и в таком случае» никаких претензий с его стороны не последует («Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину», М. 1935, стр. 73).

Стр. 220. *«И с тем непременно условием, чтоб и Вы участвовали».* — Вскоре Салтыков изменил свой взгляд (см. вводную заметку, стр. 206). Цитируемый Елисеевым отрывок из письма к нему Салтыкова от 15/27 мая 1882 года приводится с исправлениями по подлиннику ЛБ (ср. XIX, 274—275).

«Почему Вы думаете, — писал он мне несколько раз, — почему Вы уверены в прочности «Отечественных записок»? <...> А когда они прекратятся, чем Вы тогда будете существовать, да еще за границей?» — Елисеев обобщает здесь следующие слова из письма к нему Салтыкова от 11 августа 1882 года: «Я не знаю, откуда Вы почерпали уверенность в прочности «Отечественных записок». Я, с своей стороны, отнюдь этой уверенности не разделяю. И потому думаю, что если что-нибудь случится, то Вы, пожалуй, совсем очутитесь без денег. Поэтому не лучше ли будет обождать передачей Пыпину денег до нового года <...> Право, сделайте так и напишите мне о Вашем согласии. А до нового приказа я буду Ваши деньги хранить у себя» (XIX, 289). Деньги, о которых тут идет речь (3500 рублей), Елисеев хотел переслать Чернышевскому при помощи Пыпина («Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину», М. 1935, стр. 83—85 и 233—234). По-видимому, это намерение — несколько ниже Елисеев относит его к числу своих «необдуманных порывов» — осталось неосуществленным.

...катастрофу 1-го марта... — На казнь Александра II народо-вольцами 1 марта 1881 года правительство ответило рядом репрессий, в частности направленных и против демократической печати.

Только внезапное и беспричинное закрытие их уничтожило эти мои иллюзии. — Об отношении Елисеева к закрытию «Отечественных записок», точнее к официальной мотивировке запрещения журнала, см. в следующем комментарии.

Стр. 221. *...считаю нужным осветить его несколько подробнее по имеющимся у меня <...> собственноручным письмам Михаила Евграфовича.* — Эта часть воспоминаний была опущена в публикации журнала «Русское богатство» (1893, № 9) и появилась в печати значительно позднее: «М. Е. Салтыков в письмах к Гр. Зах. Елисееву». — «Заветы», 1914, № 4, стр. 22—48. Но публикация «Заветов» не исчерпала всей рукописи Елисеева. В частности, остался ненапечатанным весьма любопытный комментарий Елисеева к правительственному сообщению о закрытии «Отечественных записок».

В нем он доказывал полную будто бы легальность образа действий редакции «Отечественных записок», всячески подчеркивая умеренность направления журнала, называя действия революционеров «крамолой» и т. д. Этой ретроспективной характеристикой, сделанной в духе того безудержного оппортунизма, во власти которого Елисеев находил последние годы своей жизни, он превращал ведущее демократическое издание семидесятых — начала восьмидесятых годов в орган дюжинного либерализма, принципиально противостоящий всякой борьбе с царским режимом.

...главная причина его смерти была не столько физическая, сколько нравственная, зависящая от тех огорчений, которые принесло ему с собой редакторство в таком прогрессивном журнале, как «Отечественные записки»... — Доктор Н. А. Белоголовый придерживался иной точки зрения. Он сообщал П. Л. Лаврову из Туна 18 августа 1889 года: «Елисеев начал писать свои воспоминания о покойном Салтыкове, но мне не нравится, что хочет подвести и болезнь и смерть исключительно под редакторские тревожнения. Это и слишком тенденциозно и несправедливо» (ИМЛ, ф. П. Л. Лаврова, п. 37, лл. 93—94).

С. Н. Еривенко

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ О М. Е. САЛТЫКОВЕ»

Печатается по тексту журнала «Исторический вестник», 1890, № 11, стр. 318—342, и № 12, стр. 603—631. В подстрочных примечаниях приведены добавления, сделанные автором при использовании воспоминаний в книге: «М. Е. Салтыков. Его жизнь

и литературная деятельность. Биографический очерк», изд. 3-е, П. 1914. Вводный раздел «Воспоминаний» воспроизводится со значительными сокращениями: опущены места, не имеющие мемуарного характера.

Стр. 227. *Доклады, отзывы, заключения и вообще переписка его по таким поводам, хранящаяся где-нибудь в архивах, должна представлять большой интерес.* — Предварительное описание служебных бумаг Салтыкова, далеко не полно выявленных в различных архивах страны, см. в «Литературном наследстве», т. 13—14, 1934, стр. 591—624. О роли Салтыкова в возбуждении уголовных дел о жестоком обращении помещиков с крестьянами см. в воспоминаниях С. Н. Егорова и в воспоминаниях, собранных Г. А. Мачтетом, стр. 445 и 466, а также в книге: Н. Журавлев, М. Е. Салтыков-Щедрин в Тверской губернии, Калинин, 1939.

Михаил Евграфович рассказывал, что покойный государь, которому случалось, при рассмотрении разных дел, прочитывать иногда и некоторые из его бумаг, обратил на них внимание и выразил по начальству, что они ему очень не нравятся слишком мрачным тоном, что он их просто не может читать. — Александру II приходилось, конечно, читать некоторые из служебных бумаг Салтыкова, например составлявшиеся им в бытность рязанским, а затем тверским вице-губернатором отчеты по управлению этими губерниями. Однако думать, что причиной отставки Салтыкова послужил «мрачный тон» его служебных бумаг, наивно. О причинах отставок Салтыкова — первой, 1862 года, и второй, окончательной, летом 1868 года — см. на стр. 719—720 и 801—802.

Стр. 228. *...первая моя статья...* — Статья «Невинные воспоминания из недавнего прошлого» была напечатана анонимно в «Отечественных записках» (1873, № 9).

Стр. 231. *...рассказов, которые потом вошли в «Монрепо».* — В первом очерке цикла «Убежище Монрепо» («Отечественные записки», 1878, № 8) Салтыков очень непосредственно использовал впечатления и наблюдения, вынесенные из своего личного неудачного опыта хозяйствования в Лебяжьем (близ Ораниенбаума), приобретенном в конце семидесятых годов, и в подмосковном имении Витенево, незадолго до этого проданном (XIII, 31—57).

Стр. 232. *...одному критику...* — Речь идет о статье известного революционера, публициста и критика П. Н. Ткачева «Безобидная сатира» в журнале «Дело» (1878, № 1, стр. 1—27; подпись: П. Никитин). Статья была написана по поводу щедринского цикла «В среде умеренности и аккуратности».

Стр. 234. Один из бывших сотрудников «Отечественных записок» рассказывает о нем... — С. Н. Южаков в газете «Одесский вестник», 1889, № 176 от 4/16 июля. См. стр. 302.

...когда он сделался ответственным редактором «Отечественных записок». — Официально Салтыков был утвержден редактором 27 марта 1878 года.

Стр. 235. «Жить тебе, пока ты на ходу...» — Слова доктора рассильному Минаю из стихотворения Н. А. Некрасова «О погоде. II. До сумерек».

...для известного <героя> мифа... — для Антея.

Стр. 236. Н. К. Михайловский рассказывает... — в газете «Русские ведомости», 1889, № 119. См. стр. 317.

...вспоминает <...> Скабичевский... — в газете «Новости и Биржевая газета». 1889, № 116 от 29 апреля. См. стр. 284.

Стр. 241—242. ...у него иногда можно было встретить и графа Лорис-Меликова... — Знакомство Салтыкова с видным военным и государственным деятелем, генералом гр. М. Т. Лорис-Меликовым состоялось в первой половине мая 1880 года по инициативе последнего. «На днях был я у гр. Лорис-Меликова (сам пожелал познакомиться)...» — сообщал Салтыков Н. Д. Хвошинской-Зайончковской в письме от 15 мая 1880 года (XIX, 153). В это время Лорис-Меликов возглавлял учрежденную правительством в связи со сложившейся в стране революционной ситуацией «Верховную распорядительную комиссию по охранению государственного порядка и общественного спокойствия» и являлся фактическим диктатором России. Попытка Лорис-Меликова в этот момент «кризиса верхов» сблизиться с писателем, возглавлявшим оппозиционное крыло в литературе и журналистике, не может, конечно, быть объяснена «симпатией графа к таланту сатирика» (см. воспоминания Н. А. Белоголового). Дело было не в литературе, а в политике.

«Причина, побудившая графа искать знакомства отца, — пишет сын писателя К. М. Салтыков, — была чрезвычайно интересная. Дело в том, что Лорис-Меликову было Александром II поручено составить конституцию Российской империи, ту конституцию, которую загодя называли «куцей» и которой не суждено было быть обнародованной. Получив это для него весьма лестное поручение, М. Т. испытал большое затруднение при выполнении его, не будучи знакомым с бытом русского народа. Среда, его окружавшая, тоже с этим бытом была или вовсе не знакома, или почти не знакома. И вот кто-то посоветовал графу обратиться к моему отцу, известному как опытный администратор, имевший много дела с народом в бытность советника вятского губернского

правления; а также в должности вице-губернатора. Лорис-Меликов внял совету и обратился к отцу с просьбой оказать ему содействие <...>. Таким образом, завязались между либеральным сановником и известным писателем чисто деловые отношения на предполагавшееся благо народа. Событие 1-го марта расстроило весь план Александра II и прекратило работу комиссии, одним из закулисных участников которой был мой отец. Наступила реакция...» (К. М. Салтыков, Интимный Щедрин, М.—П. 1923, стр. 25—26).

Как и во многих других местах своих воспоминаний, сын писателя неточно передает факты и неверно их истолковывает. Участником «комиссии» по выработке так называемой «конституции Лорис-Меликова» Салтыков не был, да и более чем сомнительно, чтобы к нему обращались с подобным предложением. Салтыков признавал прогрессивность некоторых мероприятий Лорис-Меликова, например относящихся к цензурному законодательству («По цензуре теперь легче, да и вообще полегчало», — писал он в июне 1880 года А. Н. Островскому; XIX, 158). Но он не заблуждался относительно политического смысла предпринятой Лорис-Меликовым попытки «примирения власти с обществом», правильно усматривая в этой попытке лишь своеобразный тактический маневр царизма в его борьбе против революции. Салтыков не возлагал никаких упований на обещанные Лорис-Меликовым уступки и не верил в глубину и искренность его «либерализма».

Уже осенью 1880 года Салтыков имел возможность подтвердить одному из представителей доверчивого «общества» обоснованность своего скептицизма. «Вам, вероятно, известно, — писал Салтыков П. В. Анненкову, — что Лорис-Меликов созывал всех редакторов и прочитал им речь, в которой заявил, что о конституции и думать нечего и распространять конституционные идеи значит производить в обществе смуту. Вот, значит, и либерализм выяснен» (XIX, 170). Никто из современников не вскрыл глубже и пронизательнее, чем это сделал Салтыков в «Письмах к тетеньке», охранительный смысл политики обращения правительства к содействию общества, — политики, проводившейся Лорис-Меликовым, а затем его преемником на посту министра внутренних дел Игнатьевым. Эта позиция Салтыкова исключает, конечно, версию о его участии в выработке проекта конституции, зафиксированную в воспоминаниях сына писателя. Но один факт, отраженный, хотя и не совсем точно в этих воспоминаниях представляется нам вполне достоверным: Лорис-Меликов, по-видимому, действительно надеялся в какой-то форме привлечь Салтыкова к разработке своей «политики содействия общества», что и явилось причиной, побудившей «диктатора» искать знакомства с писателем. Попытка

эта не удалась, хотя при первом свидании Лорис-Меликов произвел на Салтыкова благоприятное впечатление. «Это человек хороший и умный, — писал о нем после этой встречи Салтыков. — Знает солдата до тонкости, а стало быть, не чужд и знания народа» (XIX, 154). Впоследствии, начиная с лета 1881 года Салтыков многократно встречался с Лорис-Меликовым за границей, где после своей опалы и отставки почти постоянно жил бывший министр. Благодаря своему недавнему официальному положению и связям Лорис-Меликов и в это время располагал обширной информацией о всех закулисных делах Петербурга. Несомненно, из бесед с Лорис-Меликовым Салтыков почерпнул немало материалов для обличения политического быта правящих сфер. Известно, например, что именно от Лорис-Меликова получил Салтыков сведения о «Священной дружине», что позволило писателю разоблачить террористические замыслы этой тайной контрреволюционной организации — как непосредственно перед революционерами, так и в печати (см. об этом стр. 593).

...сердился, узнав, что к нему собирается Трепов. — Родоначальник полицейско-бюрократической «династии» Трепов интересовал Салтыкова, по его же словам, в качестве «типа» и «прелюбопытного», «настоящего полицейского». Об обстоятельствах и характере знакомства Салтыкова с Треповым см. в воспоминаниях писателя С. Н. Терпигорева (Атавы), которого Трепов немного знал (С. Н. Терпигорев, Из воспоминаний. — «Исторический вестник», 1890, № 3, стр. 535—536). Сведения о встречах Салтыкова с Треповым см. также в книгах воспоминаний: К. М. Салтыков, Интимный Щедрин (цит. изд., стр. 27—28) и Иер. Ясинский, Роман моей жизни (М. — Л. 1926, стр. 226—227).

Стр. 243. *Я помню рассказ об одной его поездке к <...> Макову, который официально пригласил к себе редакторов газет и журналов, чтобы высказать им какие-то свои взгляды касательно поведения и положения печати.* — Министр внутренних дел Л. С. Маков созвал к себе редакторов в связи с покушением 2 апреля 1879 года на Александра II. Сохранилась «протокольная» запись приема (состоялся 4 апреля), сделанная одним из его участников М. М. Стасюлевичем; она была опубликована через несколько лет в № 4 «Вестника Европы» за 1883 год, в заметке, посвященной самоубийству Макова.

Стр. 244. *Н. К. Михайловский говорит о Салтыкове...* — В книге «Критические опыты. II. Щедрин», М. 1890. См. стр. 315—316.

...А. М. Скабичевский продолжает... — В газете «Новости и Биржевая газета», 1889, № 116 от 29 апреля. См. стр. 282—283.

Стр. 246. *...Абрамов также опровергает...* — В газете «Неделя», 1889, № 19 от 7 мая. См. стр. 288.

То же или почти то же самое говорит и г. Южаков. — В газете «Одесский вестник», 1889, № 176 от 4 июля. См. стр. 300—307.

Стр. 247. *...получаю от него письмо...* — Письма Салтыкова к Кривенко неизвестны.

Стр. 248. *...написал я рецензию о сочинении Чичерина о немецких социалистах...* — Рецензия Кривенко на статьи Чичерина против Маркса и Лассалья, напечатанные в V и VI томах «Сборника государственных знаний», издававшегося акад. В. П. Безобразовым. Она предназначалась для «Отечественных записок», 1878, № 6, но была изъята редакцией под угрозой ареста книжки журнала. Вторично рецензия Кривенко, переработанная в статью «Маленькое величие», была вырезана, по требованию цензуры, из «Отечественных записок» (1882, № 5). Подробности об этих цензурных инцидентах см. в книге: В. Е в г е н ь е в - М а к с и м о в, Очерки по истории социалистической журналистики в России XIX века, М.—Л. 1927, стр. 192—193 и 207—208; см. также XIX, 276.

Стр. 249. *...я получал еще от редакции очень хорошее жалование.* — С 1881 года — 150 р. и с 1882 года — 175 р. ежемесячно.

Стр. 250. *...поэт, человек с солидным общественным положением и имевший хорошее место...* — Имеется в виду поэт и переводчик Петр Исаевич Вейнберг; он преподавал тогда историю литературы на женских педагогических курсах.

Стр. 255. *В отрывках из его писем к Н. К. Михайловскому, напечатанных в «Русской мысли»...* — Теперь эти письма («Русская мысль», 1890, № 4) опубликованы полностью (XVIII, XIX и XX). Отрывки же, которые имеет в виду и цитирует Кривенко, см. в воспоминаниях Н. К. Михайловского.

...раз по поводу Костомарова, когда Салтыков потребовал, чтобы я под статью хоть инициалы поставил... — Статья называлась «Г-н Костомаров об исторической задаче» и была подписана С. К—о («Отечественные записки», 1878, № 4).

Стр. 256. *...не будем печатать эту рецензию!..* — Рецензия Кривенко на книгу К. Д. Кавелина «Крестьянский вопрос» (СПб. 1882) не появилась в «Отечественных записках». Кривенко лишь кратко и без всякой полемики коснулся ее содержания в своем очередном обозрении «По поводу внутренних вопросов», напечатанном в «Отечественных записках», 1882, № 11. «Кавелинской эквилибристикой» Салтыков называет присущую этому характернейшему представителю российского либерализма половинчатость политических оценок и формулировок.

Стр. 257. *«Это у нас министр финансов».* — Так Салтыков иронически называл Г. И. Успенского.

Стр. 258. *...вез из крепости «Что делать?» Чернышевского, да и потерял.* — Рукопись «Что делать?» частями передавалась через петербургского обер-полицейстера из Петропавловской крепости А. Н. Пыпину для редакции «Современника». Некрасов вез рукопись на извозчике и обронил ее. Через пять дней прохожий, нашедший рукопись, по газетному объявлению доставил ее Некрасову.

...восторженные отзывы делал он, например, об «Устоях» Златовратского... — Кривенко сильно преувеличивает мнение Салтыкова об «Устоях». См. отрицательный отзыв на стр. 148.

Стр. 260. *А, знаете, я ведь написал С., что согласен на его прибавку...* — Речь идет о саратовском беллетристе И. А. Салове. Его размолвка с редакцией «Отечественных записок» на почве денежных расчетов изображена неточно. В июне 1880 года Салов потребовал от Салтыкова платить ему не по 75, а по 130 рублей (в издании писем Салтыкова ошибка или опечатка: «150 р.») за лист. Салтыков ответил ему отказом (XIX, 160). Увеличение гонорара Салову, и не до 130, а до 150 рублей, все же последовало, — но не сразу, как пишет Кривенко, а через год, после того как в десятой книжке «Отечественных записок» за 1881 год была напечатана его повесть «Михаил Суетной. История одного крестьянина» (И. Салов, Из воспоминаний. — «Исторический вестник», 1906, № 11, стр. 507—508).

Стр. 262. М. — Н. К. Михайловский.

Стр. 263. *...а у меня были другие дела, которых я никак не мог оставить...* — Здесь и в ряде других мест Кривенко намекает на свою конспиративную революционную деятельность в начале восьмидесятых годов (сотрудничал в «Листке Народной воли», участвовал в переговорах «Народной воли» со «Священной дружиной», с 1883 года входил в так называемую «Центральную группу» «Народной воли»).

Стр. 264. *...написал было я очередную статью, но, получив гораздо лучшую о том же предмете (Капустина), взял и пустил ее вместо своей...* — Речь идет о статье публициста С. Я. Капустина «Ходячие предрассудки относительно крестьян». Она была напечатана в «Отечественных записках», 1879, № 3 (подпись: С. К...н).

Стр. 265. *...Михайловский экстренно выехал из Петербурга...* — Был административно выслан и выехал в Выборг 27 декабря 1882 года.

...я попробовал указать ему на двух не причастных к журналу лиц, с которыми он более или менее хорош... — Самыми близкими к Салтыкову людьми из круга лиц, не связан-

ных непосредственно с литературой и «Отечественными записками», были (не считая Н. А. Белоголового, жившего за границей): доктор С. П. Боткин, присяжный поверенный А. М. Унковский и деятель петербургской городской думы В. И. Лихачев.

Стр. 266. *...я не знаю, сколько отдал бы, чтобы вернуть причиненные ему совершенно невольной неприятности. Теперь, впрочем, не время еще об этом говорить.* — Намек на то, что связи Кривенко с революционным подпольем были использованы правительством в качестве одного из предлогов для закрытия «Отечественных записок».

Стр. 267. *Почти целых пять лет мне пришлось не видеть Михаила Евграфовича...* — Кривенко находился эти годы в заключении и потом в ссылке. Описывается первое свидание после ссылки (см. вводную заметку).

Стр. 269. *И он рассказал программу этой новой работы.* — О замысле нового произведения, начатого Салтыковым в последние дни своей жизни, см. в воспоминаниях Л. Ф. Пантелеева, и в комментариях к ним.

Стр. 270. *...не это <закрытие «Отечественных записок»> главным образом огорчало его, а то, что его выделили из числа сотрудников...* — Свидетельство любопытное, но единственное и вряд ли правильно передающее настроение и мысли Салтыкова. Если верить Кривенко, Салтыков был «главным образом» огорчен тем, что его не арестовали или не выслали, подобно некоторым другим сотрудникам «Отечественных записок». Что же касается приводимых далее слов Салтыкова — «Я каким-то дураком вышел, вот что обидно», вызванных некоторыми формулировками правительственного сообщения о закрытии «Отечественных записок», то достоверность их подтверждается письмом его к П. В. Анненкову от 3 мая 1884 года: «Вот какой со мной казус случился. Сидел я, больной, в своем углу и пописывал. Думал, что я на здоровье отечеству пописывал, а выходит, что на погибель. Думал, что я своим лицом действую, а выходит, что я начальником банды был. И все это я делал не с разумением, а по глупости, за что и объявлен публично всероссийским дураком» (XX, 44).

— *Знаю я это, — отвечал я.* — Кривенко подумал, что Салтыков винит его в катастрофе, постигшей «Отечественные записки».

...получил только одну книгу... — Сборник «Мелочи жизни», посланный в сентябре 1887 года через А. Н. Плещеева (письмо Кривенко к Скабичевскому, б. д., неизд. — ИРЛИ, ф. 283, оп. 2, ед. хр. 115, л. 11; см. также XX, 325).

Стр. 271. *...объяснить ему настоящую причину неполучения книг мне не хотелось...* — Друзья Кривенко не пересылали ему

книг по его собственной просьбе, чтобы не компрометировать Салтыкова перед органами политического надзора.

Стр. 273. *В частном письме к одному из писателей, отрывок из которого приводит г. Арсеньев...* — Цитируется письмо от 2 января 1881 года к Е. И. Утину, только что перед тем напечатавшему разбор «Круглого года» Салтыкова. Письмо впервые было опубликовано К. К. Арсеньевым в его «Материалах для биографии М. Е. Салтыкова» («Вестник Европы», 1890, №№ 1 и 2).

Стр. 274. *...«на корчевку старых пней», как он выразился однажды в разговоре с одним из сотрудников...* — Р. И. Сементковским. См. стр. 116.

Стр. 275. *...в одной объяснительной записке...* — Ни местонахождение подлинника цитируемого документа, ни его полный текст неизвестны.

Стр. 276. *Служил он по необходимости, работал в литературе также далеко не по одной только охоте.* — Смысл этих слов не ясен. Известно, что в литературе Салтыков видел свое призвание, которому был страстно предан. Вероятно, Кривенко имел здесь в виду не собственно писательскую работу сатирика, а его редакторскую деятельность в «Отечественных записках». В последние годы существования журнала больной Салтыков, несмотря на всю преданность делу, тяготился этой работой.

А. М. Скабичевский

<НЕСКОЛЬКО ВОСПОМИНАНИЙ О М. Е. САЛТЫКОВЕ>

Мемуарные разделы из статьи-некролога Салтыкову в газете «Новости и Биржевая газета», 1889, № 116 от 29 апреля. Печатается по изданию: А. М. Скабичевский, История новейшей русской литературы. 1848—1906, 6-е изд., СПб. 1906, стр. 282—293.

Стр. 281. *...появилась в том же журнале другая его пьеса: «Две жизни»...* — Принадлежность Салтыкову стихотворения «Две жизни», напечатанного в пятидесятом томе «Библиотеки для чтения» (1842), нельзя считать документально доказанной. Об этом, так же как и о других стихотворениях юного Салтыкова, см. С. Макашин, Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1, 2-е изд., М. 1951, стр. 149—153 и 505—508.

...рассказывал о себе несколько анекдотов из этого периода своей жизни... — Эти рассказы до нас не дошли. Лишь в неизданных воспоминаниях С. А. Унковской сказано (со слов ее отца): «Салтыков очень бурно провел свою раннюю молодость».

Стр. 284. ...так называемыми «летними»... — В летние месяцы — «мертвый сезон» — журналы стремились напечатать рукописи наиболее слабых произведений из редакционных портфелей. Эта практика способствовала возникновению целой категории литераторов, чьи произведения имели шанс появиться только в летних книжках журнала.

...одна сентиментальная романистка прибежала к сотруднику Салтыкова... — Речь идет о писательнице Л. Ожигиной и ее романе «Своим путем», напечатанном в «Отечественных записках», 1869, №№ 3, 5—7. Упоминаемый в этом эпизоде «сотрудник Салтыкова» — Г. З. Елисеев.

...в своем *Monrepos*... — Именье Лебяжье, близ Ораниенбаума, на берегу Финского залива.

Я. В. Абрамов

ПАМЯТИ М. Е. Салтыкова

Печатается с сокращениями по тексту газеты «Неделя», 1889, № 19 от 7 мая, стр. 604—612.

Стр. 290. ...крайне плодовитом в количественном отношении беллетристике... — Речь идет о И. И. Ясинском (псевдоним Максим Белинский).

Стр. 291. ...это была настоящая сизифова работа. — Свидетельство осведомленного Абрамова об огромной и тяжелой работе Салтыкова (именно это хотел сказать мемуарист, неточно употребив эпитет «сизифова», применяемый для обозначения бесполезной, безрезультатной работы), над рукописями публицистического отдела «Отечественных записок» — трибуны народнических теоретиков — представляет определенный интерес. Оно должно учитываться при изучении той внутриредакционной борьбы с народническими публицистами, которую приходилось вести Салтыкову.

Стр. 294. Рукопись <...> была принята для помещения в «Отечественных записках». — Статья «Программа вопросов для собирания сведений о русском сектантстве», напечатанная в «Отечественных записках», 1881, №№ 4 и 5. Салтыков сделал в рукописи ряд изменений и сокращений, чем вызвал, по-видимому, недовольство Михайловского (XIX, 193).

...я решил послать вторую рукопись (беллетристического содержания) уже самому Михаилу Евграфовичу. — Речь идет о рукописи «Бабушка-генеральша», которая была передана Салтыкову Г. И. Успенским. Рассказ появился в «Отечественных записках», 1881, № 6.

... Стр. 296. ...большинство сотрудников получили значительные денежные субсидии... — «Единовременно и безвозвратно» было выдано: Михайловскому 1000, Скабичевскому 600, Южакову, Абрамову, Плещееву и Кривенко по 400, Н. Курочкину 300 рублей (XX, 43).

...такое отношение к сотрудникам имело только один прецедент — в коршевских «Петербургских ведомостях». — Когда в 1874 году либеральный журналист В. Ф. Корш был устранен происками министра просвещения гр. Д. А. Толстого от редактирования газеты «С.-Петербургские ведомости», он выдал всем сотрудникам редакции некоторые суммы денег.

Приведу в пример его характеристику двух распространенных газет. — Имеются в виду, с одной стороны, «Московские ведомости» Каткова, орган крайней монархической реакции, а с другой стороны, умеренно-либеральная газета «Порядок» Стасюлевича, выходившая в течение одного года (1881). Салтыков не любил газеты Стасюлевича, как, впрочем, и его самого, и отзывался о ней весьма саркастически (см., например, XIX, 224 и 255).

Стр. 298. «Самое лучшее — возьмите вот эти сказки». — Салтыков дал на выбор, по-видимому, четыре свои не пропущенные цензурой «сказки»: «Ворон-челобитчик», «Вяленая вобла», «Орел-мecenат» и «Медведь на воеводстве». В письме к А. Я. Герду, написанном 7 октября 1888 года, — через день-два после их свидания, — Салтыков рекомендовал остановиться на «Вороне-челобитчике». Эта сказка и была напечатана в сборнике «Памяти В. М. Гаршина», вышедшем в свет в следующем, 1889 году.

С. Н. Южаков

М. Е. САЛТЫКОВ КАК РЕДАКТОР (ПО ЛИЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ)

Печатается с сокращениями по тексту газеты «Одесский вестник», 1889, № 176 от 4/16 июля, стр. 2.

Стр. 300. ...о внешних, не литературных затруднениях. — Имеются в виду политические, цензурные условия редакторской работы в демократических органах печати.

Стр. 302. ...от А. Н. Плещеева... — секретаря редакции «Отечественных записок».

...одна романистка, печатающаяся в разных журналах, в том числе появлявшаяся и в журнале Салтыкова... — Беллетристка и драматург А. Шабельская (псевдоним А. С. Монтвид), сотрудничавшая в «Деле», «Русской мысли», «Северном вестнике» и других изданиях. В «Отечественных записках» Шабельская напечатала три произведения: «Мирон и Аннушка» (1881, № 12), «Наброски карандашом» (1882, № 5) и «Накануне Иванова дня» (1882,

№ 9). Салтыков резко отрицательно отзывался о ней в письме к И. С. Тургеневу от 9 июня 1882 года (XIX, 280).

Стр. 303. *Повесть допускала значительные отклонения от того строгого литературного жанра, который проводил Салтыков как писатель и редактор.* — О какой повести Шабельской идет речь, неизвестно. Произведения этой второстепенной писательницы отходили от основного русла развития русской реалистической литературы и ее общественных традиций. Романистка стремилась опереться в своем творчестве на идейные и эстетические принципы французского натурализма.

...он поспешил приютиться в «Нови». — О журнале «Новь» издателя А. М. Вольфа, где Иер. Ясинский очень быстро опустился до уровня «коммерческого литератора», см. в заметке В. Г. Короленко «Разговор Щедрина с издателем», стр. 107—108.

Стр. 304. *«Чем ты был? И что стал? И что есть у тебя?..»* — Неточная цитата из стихотворения А. В. Кольцова «Что ты спишь, мужичок?..»

Стр. 306. *...одно из главных действующих лиц я вынул из повести!* — Такую операцию, по словам Н. К. Михайловского, Салтыков проделал над повестью Л. О. Котелянского «Чиншевики» («Отечественные записки», 1877, № 12).

Стр. 307. *...двадцать шесть томов его произведений.* — Имеются в виду отдельные издания произведений Салтыкова, вышедшие при его жизни.

Да! были личности!.. — Цитата из «Медвежьей охоты» Н. А. Некрасова.

Н. К. Михайловский

I «ПАМЯТИ ЩЕДРИНА»; II ИЗ КНИГИ «КРИТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ. II. ЩЕДРИН»; III. «МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ПОРТРЕТА М. Е. САЛТЫКОВА»; IV. ИЗ КНИГИ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ СМУТА»

Печатается: I — по изданию «Критические опыты. II. Щедрин», М. 1890, стр. 162—172 (первоначально — «Русские ведомости», 1889, № 119); II — по тому же изданию, стр. 20 и 100; III — по тексту журнала «Русская мысль», 1890, № 4, стр. 158—169; IV — по изданию «Литературные воспоминания и современная смута», т. I, СПб. 1900, стр. 56, 58, 72, 79—80 и 85—87.

Стр. 315. *...с тех пор, как я его помню (с 1870 года)...* — Ошибка памяти. Михайловский познакомился с Салтыковым осенью 1868 года, когда в его присутствии читал в редакции «Отечественных записок» свой роман «Борьба» (см. Н. К. Михайловский. Литературные воспоминания и современная смута, т. I, СПб. 1900, стр. 53—54).

В одном из <...> писем Тургенева есть замечание, что, дескать, у Салтыкова и наружность и голос самой природой уж так устроены, чтобы ругаться. — В письме от 18 декабря 1871 года к Я. П. Полонскому Тургенев писал: «Но что тебе дался Салтыков? Этому человеку даже как-то неприлично не ругаться. Самый голос его на то природой устроен: ты только послушай...» («Первое собр. писем И. С. Тургенева. 1840—1883 гг.», СПб. 1884, стр. 200).

Стр. 316. Один из министров внутренних дел созвал однажды к себе редакторов газет и журналов для предъявления им своих требований от литературы. См. об этом совещании в воспоминаниях С. Н. Кривенко, стр. 243—244.

Стр. 319. Была пущена в ход и усердно эксплуатировалась неслепая клевета, что Щедрина ненавидит и презирает Россию... — Упреки в том, будто он не любит свою страну и ненавидит русский народ, глубоко волновали Щедрина, так как касались самых кровных, заветных его идеалов. Эти упреки он не оставлял без ответа. «Я знаю, — писал Щедрина, — есть люди, которые в скромных моих писаниях усматривают не только пагубный индифферентизм, но даже значительную долю злорадства, в смысле патриотизма. По совести объявляю, что это — самая наглая ложь. Я уже не говорю о том, что обвинение это — очень тяжелое и даже гнусное, но утверждаю положительно, что я всего менее в этом виноват. Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо кроме России. Только раз в жизни мне пришлось выжить довольно долгий срок в благорастворенных заграничных местах, и я не упомню минуты, в которую сердце мое не рвалось бы к России. Хорошо там, а у нас... положим, у нас хоть и не так хорошо... но, представьте себе, все-таки выходит, что у нас лучше. Лучше, потому что больней. Это совсем особенная логика, но все-таки логика, и именно — логика любви. Вот этот-то культ, в основании которого лежит сердечная боль, и есть истинно русский культ. Болит сердце, болит, но и за всем тем всеминутно к источнику своей боли устремляется...» (XIII, 97).

Этому ненавистному для Щедрина течению часто от него доставалось, его мощное слово не раз посрамляло его представителей. — «Патриотизм», охраняющий интересы правящих классов царской России, неизменно находил в Щедрина непримиримого врага. Военно-националистический «патриотизм» по формуле «звон победы раздавайся», хищнический — по формуле «отечество — пирог», охранительно-черносотенный, проповедующий теорию «повсеместного водворения безмолвия», — все эти и другие разновидности «казенного патриотизма» Щедрина не уставал разоблачать в своей са-
тире.

Тогда Щедрин начал в «Отечественных записках» ряд очерков под заглавием «Культурные люди»... — Печатание этого незавершенного цикла (первоначальные названия: «Дни за днями за границей» и «Книга о празднующихся») началось в январском номере журнала за 1876 год (XI, 497—532).

А знаменитая «торжествующая свинья»? — «Торжествующая свинья, или Разговор свиньи с Правдою» — «прерванная сцена» из главы VI цикла «За рубежом». Знаменитая сатира эта отражала непосредственное впечатление Щедрина от того натиска реакции, которым ответили правящие круги на убийство народовольцами 1 марта 1881 года Александра II. Образ «торжествующей свиньи», порешившей «сожрать Правду», как всегда у Щедрина, наделен большой силой обобщения, в данном случае обобщения политической реакции вообще. Но современникам было ясно — это и имеет в виду Михайловский, — что непосредственным толчком для создания образа «торжествующей свиньи» послужили неистовые погромно-черносотенные статьи Каткова в «Московских ведомостях». Их контрреволюционные призывы «обосновывались» ссылками на «патриотические чаяния» русского народа. Любопытно, что Лорис-Меликов, с которым Салтыков встречался в Петербурге и за границей как раз во время работы над очерками «За рубежом», называл свалившую его реакционную камарилью — Каткова, Дм. Толстого, Победоносцева, Валуева, Макова — «торжествующей артелью».

Стр. 320. «Похороны». — Рассказ «Похороны», впервые напечатанный в «Отечественных записках», 1878, № 9, вошел затем в книгу «Сборник. Рассказы, очерки, сказки», изд. 1881 и 1883 гг. (XIII, 390—417).

Стр. 321. Салтыкову очень нравилась эта мысль о загробном продолжении земной битвы. — Эпитет «загробный» относится к сюжету историко-аллегорической фрески Вильгельма Каульбаха «Битва гуннов» (1834—1837, в Берлинском музее), а не к характеру восприятия этого сюжета сатириком. Картина Каульбаха нравилась Салтыкову тем, что он находил в ней как бы иллюстрацию к одной из своих излюбленных мыслей — о связи настоящего с будущим, о том, что человек в своей деятельности и в своем поведении должен помнить о предстоящем суде детей, потомства, грядущих поколений, о суде истории.

...слушая письмо, Салтыков, по обыкновению, ворчал и в то же время плакал... — Михайловский описывает, по-видимому, впечатление, произведенное на Салтыкова письмом некоего Александра Семенова. Однако письмо относится не к очерку «Имярек», а к близкой ему по содержанию и настроению сказке-элегии «При-

ключение с Крамольниковым» («Литературное наследство», т. 13—14, М. 1934, стр. 412). Отметим, впрочем, что в одном из писем, относящихся к «Имяреку», также встречается цитируемое Михайловским выражение «святой старик». Письмо это имеет около ста подписей студентов Дерптского университета (там же, стр. 426—432).

Стр. 322. *...«сзади у него повис ворох крох и мелочей, а впереди — ничего, кроме одиночества и обреченности...»* — Этими словами заканчивается очерк «Имярек» (XVI, 720).

Когда я писал о Салтыкове в «Русских ведомостях» и когда потом издавал эти фельетоны отдельною книжкой... — Цикл статей Михайловского «М. Е. Салтыков. Критические очерки» печатался в газете «Русские ведомости», 1889, №№ 193, 201, 208, 213, 264, 278, 292, 306, 320, 323 и 340. Отдельное издание их вышло в следующем году: «Критические опыты Н. К. Михайловского. II. Щедрин», М. 1890.

...то письмо еще живого «презрительного Терсита», то письмо «могучего Патрокла», которого уже нет... — Цитируются слова из стихотворения В. А. Жуковского «Торжество победителей» (перевод баллады Шиллера): «Сколько бодрых жизнь поблекла! // Сколько низких рок шадит!//Нет великого Патрокла;//Жив презрительный Терсит».

Стр. 323. *Их около сотни.* — В настоящее время известно семьдесят восемь писем Салтыкова к Михайловскому. Все они опубликованы (XVIII—XX). По годам письма распределяются так: 1876 — одно; 1878 — девять; 1880 — двенадцать; 1881 — восемнадцать; 1882 — три; 1883 — три; 1884 — двадцать; 1885 — шесть; 1886 — три; 1887 — три. Письма Михайловского к Салтыкову неизвестны.

Стр. 324. *В одном из позднейших писем, выражая, по некоторому особенному случаю, свои добрые чувства ко мне... —* В письме, написанном 15 марта 1885 года, когда Михайловский получил разрешение на въезд в столицу (XX, 152).

...(не знаю, которого года)... — 5 декабря 1885 года (XX, 217).

...как он выражается в одном письме... — От 11 мая 1884 года (XX, 48—49).

Единственный след чего-нибудь отдаленно подобного я нашел в письме его из деревни от 1876 года, по разным причинам неудобным для печати... — Это письмо с датой 4 августа теперь опубликовано (XIX, 67—68). Оно касается содержания июльского номера «Отечественных записок» за 1876 год. В отсутствие Салтыкова Михайловский напечатал в этом номере националистическую статью по славянскому вопросу под названием «На всенародную свечу». Статья появилась без подписи, автором ее был Д. Л. Мордовцев.

Салтыков, еще не прочитав статьи, по одному названию угадал в ней неприемлемые для него тенденции и писал Михайловскому: «Еще две-три статьи, подобных сальной свече Мордовцева <!...>, и репутация журнала, конечно, пошатнется».

Стр. 325. *В январе 1884 года по некоторому, мне теперь уже не совсем ясному, поводу Салтыков писал мне...* — Далее цитируются слова из письма Салтыкова к Михайловскому от 13 января 1884 года (XIX, 384). Они были написаны в ответ на предложение Михайловского выступить совместно с Салтыковым против статьи «На новый год», напечатанной в правонароднической газете Гайдебурова «Неделя» (автором статьи, подписанной цифрой «I», был литератор В. Л. Киги). В этой статье утверждалось, что вопреки «грозному авторитету Щедрина», выступавшему, как известно, против крохоборчества «теории малых дел», современное общество будто бы «требует» от литературы «меньше мечтаний, меньше фраз и побольше дела!» Имя Михайловского в статье не упомянуто. Но из ряда намеков видно, что автор статьи именно ему хотел приписать солидарность с указанными «требованиями» и таким образом противопоставлял друг другу в этом вопросе двух руководителей «Отечественных записок». Отвечая на не дошедшее до нас письмо Михайловского с предложением совместно выступить в печати против «Недели», Салтыков писал: «Гайдебурова я не вижу, «Недели» не читаю, о «грозном авторитете Щедрина» ничего не знаю. Но лично от себя в полемику вступать с Гайдебуровым не согласен. Ежели Вы находите это нужным, то можете это сделать всячески сами <!...>. По моему мнению, г. Гайдебуров не Вас, а меня ставит в дурацкое положение. Ибо как же согласить «грозный авторитет» с столь продолжительным подчинением «не грозным авторитетам»?..» И далее следуют те слова из письма, которые приводит Михайловский.

«Думаю, что статья со очень благодарен». — Из письма от 29 августа/10 сентября 1881 года (XIX, 223).

...отрывок из письма, не датированного, но, если не ошибаюсь, 1880 года... — Приводится отрывок из письма от 15 января 1881 года (XIX, 188).

Стр. 326. *«Здесь (в Париже) ужас какая скука».* — В известных письмах Салтыкова к Михайловскому таких слов нет. Есть близкие им по смыслу в письме от 3/15 сентября 1880 года: «В Париже тоскливо...» (XIX, 167).

«Здесь... ужасные холода со большое лишение». — Из письма от 5/17 сентября 1880 года (XIX, 167).

«Предполагаю печатать со не написал ли чего Островский?» — Из письма от 11/23 сентября 1881 года (XIX, 226—227).

Стр. 327. «Пожалуйста, поместите со дня три усидчивого труда». — Из письма от 7/19 июля 1881 года (XIX, 207).

«Вы пишете со необыкновенно неприятное». — Из письма от 15/27 августа 1881 года (XIX, 221).

«Я очень просил бы со праздников». — Из письма от 29 августа /10 сентября 1881 года (XIX, 223).

«Вероятно, в эту минуту со на сердце». — Из письма от 14/26 августа (не сентября) 1881 года (XIX, 220).

Стр. 327—328. «Благодарю за письмо со правило». — Из письма от 16/28 сентября 1881 года (XIX, 228—229).

Стр. 328. ...я должен был уехать из Петербурга... — 27 декабря 1882 года Михайловский был выслан из столицы и поселился сначала в Выборге, а потом в Любани.

Затем произошла еще убыль в составе сотрудников. — 3 января 1884 года был арестован Кривенко.

...«Отечественные записки» получили в 1883 году второе предостережение. — Оно было объявлено редакции журнала 22 января 1883 года. Поводом явилось помещение в январском номере статьи Н. Я. Николадзе «Луи Блан и Гамбетта» и XXII—XXIV глав «Современной идиллии». См. стр. 762.

Стр. 329. «Скажу Вам откровенно со ответа». — Из письма от 14 февраля 1884 года (XIX, 390—391).

Стр. 330. «Мне тоже со с Карновичем!» — Из письма от 25 апреля 1884 года (XX, 43).

«Ужасно обидно со завтра». — Из письма от 8 февраля 1884 года (XIX, 387).

«Увы, мои сказки со обратно». — Из письма от 14 февраля 1884 года (XIX, 390).

«Меня лукавый подбил со сегодня быть». — Из письма от конца февраля 1884 года (XIX, 394—395).

Стр. 331. «Вчера я имел со не могу». — Из письма от 25 апреля 1884 года (XX, 43).

Стр. 332. «Ничего не пишу со огорчен!!!» — Из письма от второй половины июня 1884 года (XX, 62).

«Я очень рад со смерти». — Из письма от 29 июня 1884 года (XX, 65).

«Я положительно соотняли». — Из письма от 23 июля 1884 года (XX, 77).

...в одной петербургской газете меня <4...> назвали «критиком, сошедшим со сцены»... — Михайловский был назван так в статье «Ф» <Булгакова> «Г. де Вогюэ о гр. Л. Толстом», напечатанной в газете «Новое время», №№ 3033 и 3035 от 8 и 10 августа 1884 года.

Стр. 333. «Я решил^{ся} не пишется». — Из письма от 17 ноября 1884 года (XX, 113).

«Протопопов ^{со} отступать». — Из письма от 27 июня 1880 года (XIX, 160).

Стр. 334. ...те выписки из сочинений Салтыкова, которые сгруппированы в первой главе моей книжки «Щедрин»... — Речь идет о главе «Отношение к литературе» из книги «Критические опыты Н. К. Михайловского. II. Щедрин». М. 1890, стр. 3—18.

Стр. 335. «Читатели! русский читатель, защити!» — Цитата из рассказа «Похороны» (XIII, 394).

Стр. 336. ...с рядом предшествовавших работников. — С Белинским, Чернышевским, Добролюбовым.

Стр. 337. «Вы были для меня ^{со} сойтись с Вами». — Из письма от 15 марта 1885 года (XX, 152).

...это были *dii minores* Олимпа нужных людей... — Основным приемом применявшейся Некрасовым тактики охраны созданных им демократических журналов от царской цензуры являлись его неофициальные встречи с руководящими чиновниками учреждений, осуществлявших политический контроль за печатью.

Стр. 338. Г-н Фет встретился однажды у Тургенева с Салтыковым. — Встреча произошла в Петербурге, в январе 1864 года. Злопамятный Фет в своих мемуарах оболгал Салтыкова («Мои воспоминания», ч. 1, М. 1890, стр. 367—368).

...успех недавно возникших фаланстеров... — Речь идет о слепцовской коммуне, которую Салтыков посещал в 1863—1864 годах. См. комментарий на стр. 689.

Стр. 339. Можно догадываться, что <...> Салтыков позволил себе откровенно высказаться о поэтических или прозаических произведениях г. Фета. — Салтыков «откровенно высказался» и о публицистике и о поэзии Фета. Значительную часть своей третьей «хроники» «Наша общественная жизнь», появившейся в № 4 «Современника» за 1863 год, Салтыков посвятил ядовитой полемике со статьей Фета «Из деревни», напечатанной в январском номере «Русского вестника» за тот же год. Крепостнически настроенный Фет жаловался на трудности помещичьего хозяйствования в условиях вольнонаемного труда: крестьянские гуси потравили у него пшеницу, а за работником Василием чуть не пропало одиннадцать рублей. В результате вмешательства сатирического пера Салтыкова эти гуси и эти рубли дорого обошлись Фету; в демократической журналистике их припоминали ему и в семидесятые годы. В том же 1863 году в девятой книжке «Современника» Салтыков выступил с острой рецензией на двухтомное издание стихотворений Фета. Признавая высокие достоинства стихотворений, называя иные

из них «прелестными», сатирик писал, что мир фетовской поэзии «довольно тесен, однообразен, ограничен» и беден общественным содержанием (V, 330). Несколько позже Салтыков стал именовать Фета представителем и главой «школы мотыльковой поэзии» (там же, 365).

ВСТРЕЧИ С УЧАСТНИКАМИ РЕВОЛЮЦИОННОГО И СТУДЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

В. А. Обручев

«ИЗ ПЕРЕЖИТОГО»

Печатается по тексту журнала «Вестник Европы», 1907, № 5, стр. 133—134.

Стр. 343. ...в аккуратном вицмундире министерства внутренних дел (или финансов)... — Салтыков служил в это время по ведомству министерства внутренних дел.

Стр. 344. ...образ, написанный Крамским! — Известный портрет Салтыкова, написанный в 1877—1879 году художником И. Н. Крамским, принадлежит к лучшим изображениям писателя. Воспроизведение портрета см. в настоящей книге.

С. Г. Стахевич

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «СРЕДИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ.
НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ»

Печатается по изданию: «Н. Г. Чернышевский. 1828—1928», М. 1928, стр. 115. Впервые — в сборниках «Былое», №№ 21 и 22, Пг. 1923.

Стр. 347. ...в третьем томе его сочинений (стр. 779)... — Цитата приводится по изданию: Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч. в 10 томах, изд. М. Н. Чернышевского, СПб. 1906. Впервые работа «Лессинг, его время, его жизнь и деятельность» была напечатана в 1856—1857 году в «Современнике».

Д. П. Сильчевский

МОИ ВСТРЕЧИ С М. Е. САЛТЫКОВЫМ-ЩЕДРИНЫМ

Печатается по автографу, хранившемуся у В. Е. Евгеньева-Максимова. Текст был напечатан с некоторыми цензурными пропусками и заменами в газете «День», 1914, № 113, от 27 апреля.

Впервые — в газете «Биржевые ведомости», 1899, № 103—104 от 28 апреля под названием: «Памяти М. Е. Салтыкова-Щедрина. Из воспоминаний библиографа». Публикуемый нами текст значительно полнее наброска 1899 года. Однако в этом первоначальном наброске имеется опущенное впоследствии изложение речи, сказанной Сильчевским в день похорон над могилой Салтыкова. В газетах эта речь была передана неточно.

Стр. 350. *С рекомендательным письмом от С. И. Ширай...* — В первоначальном наброске воспоминаний, в «Биржевых ведомостях», Сильчевский назвал другое имя: Аделаиду Ивановну Февр, «хорошую знакомую супругов Салтыковых» (вероятно, это шведка Адель Февр — медиум на спиритических сеансах у А. П. Болтина; см. комментарий к воспоминаниям В. И. Танеева, стр. 813).

Стр. 351. *...с подписью инициалов М. М....* — Этими двумя буквами подписан ряд статей Салтыкова в «Отечественных записках» первой половины семидесятых годов и два художественных цикла того же времени: «Дневник провинциала в Петербурге» и «Между делом».

Как кто хочет, тот пусть так и понимает! — Авторское толкование «Истории одного города» (отнюдь не «сатира на историю России») Салтыков изложил в письмах 1871 года к А. Н. Пыпину и в редакцию «Вестника Европы» (XVIII, 233—235 и 237—241).

Стр. 353. *...Чернышевский был великий диалектик<...>и напоминал мне Хомякова, славянофила.* — Салтыков употребляет здесь слово «диалектик» в его первоначальном значении — «человек, искусный в ведении спора». В этом искусстве Чернышевский действительно не имел себе равных. Слова Салтыкова показывают, что ему самому довелось испытать несокрушимую силу логики Чернышевского.

Сопоставление с Хомяковым дает возможность установить, что Салтыков был лично знаком с ним, знакомство состоялось, вероятно, в конце пятидесятых годов в Москве.

Стр. 354. *От Плещеева я узнал, что обязан своим освобождением Салтыкову...* — Сильчевский был возвращен из ссылки (с воспрещением въезда в Петербург) в январе 1881 года. Салтыков, вероятно, просил об освобождении Сильчевского непосредственно министра внутренних дел М. Т. Лорис-Меликова. В цитированном в вводной заметке деле III Отделения сохранились перлюстрации двух писем Сильчевского — от 4 марта и 20 мая 1881 года, «в город Повенец Олонецкой губернии к ссыльному А. А. Григорьеву». В этих письмах Сильчевский сообщал о своем свидании с Салтыковым и о том, что тот хлопотал о его освобождении (ЦГИАМ, ф. III Отделения, № 109, 3 эксп., 1877, д. 104, л. 153).

А. Н. Тверитинов

1. <БАКУНИН О РАССКАЗЕ «ОН!!»> 2. <У САЛТЫКОВА В НИЦЦЕ>

Печатается по изданию: А. Тверитинов, Об объявлении приговора Н. Г. Чернышевскому, о распространении его сочинений на французском языке в Западной Европе и о многом другом. СПб. 1906, стр. 82 и 87—90.

Стр. 357. *«Какова смелость!» — воскликнул М. А.* — Речь идет о Бакунине. Тверитинов познакомился с ним летом 1875 года в Лугано. Бакунин хвалил за «смелость» рассказ «Он!!» из цикла «Помпадуры и помпадурши» («Отечественные записки», 1873, № 3). В злобешнем образе безыменного «помпадура»-карателя Щедрин дал одно из наиболее сильных своих обобщений насильнической природы царизма. Современники узнавали в этом образе некоторые портретные черты кровавого усмирителя и палача Муравьева-Вешателя.

... по сравнению с известным фельетоном Old Gentleman'a... — Тверитинов сравнивает рассказ Щедрина с нашумевшим фельетоном А. В. Амфитеатрова «Господа Обмановы», появившимся под псевдонимом Old Gentleman в 1902 году в газете «Россия». За этот памфлет на последних представителей царствующей династии Романовых автор поплатился административной ссылкой.

Стр. 358. *...приходит ко мне Лопатин...* — Тверитинов познакомился с известным революционером Г. А. Лопатиным в 1868 или 1869 году, когда Лопатин был студентом Петербургского университета.

...Щедрин написал об этом в Париж Тургеневу. — Письмо Салтыкова неизвестно, но опубликованы два ответных письма Тургенева, от 26 февраля и 9 марта 1876 года («Первое собр. писем И. С. Тургенева. 1840—1883 гг.», СПб. 1884, стр. 286—287).

...свезите ему это письмо... — Рекомендательное письмо Тургенева неизвестно.

...попросил Тургенева помочь мне переиздать «Que faire?» — Издание романа Чернышевского «Что делать?» на французском языке в переводе Тверитинова вышло осенью 1875 года в Италии («Que faire?» Roman par Tchernyshevsky, Milan, 1876). Предпринятые Тверитиновым хлопоты о новом издании перевода успехом не увенчались, несмотря на содействие, оказанное Жорж Санд и Тургеневым.

...в пансион Даниловой. — Вскоре после своего приезда в Ниццу, 30 октября/11 ноября 1875 года, Салтыков писал П. В. Анненкову: «Поселился я здесь довольно удобно, хотя и в захолустье. Нашел здесь Тамбовскую губернию в первобытном виде. Хозяйка

у нас русская, г-жа Данилова, которая, по преданию, называет слуганок «девками»...» (XVIII, 319, ср. также 321).

Стр. 359. *Очевидно, рассказов этих Михаил Евграфович не одобрял.* — Резко отрицательное отношение Салтыкова к рассказу «Часы» подтверждается его письмом к П. В. Анненкову из Ниццы от 15/27 февраля 1876 года (XVIII, 343). В этом произведении, как и в рассказе «Стук-стук», Салтыков усматривал переход Тургенева от общественной традиции русского реализма к флюберовскому «артистическому» стилю.

...цензура запретила подряд несколько его рассказов о «Культурных людях». — В январской книжке «Отечественных записок» за 1876 год Салтыков поместил первые пять глав своего нового сатирического цикла «Культурные люди». В конце текста стояло: «Продолжение следует». Однако печатание цикла на этом оборвалось: он вызвал яростное цензурное гонение. Некрасову, правда, удалось спасти книжку журнала от ареста, но в щедринском тексте появилось много купюр. В предвидении новых цензурных осложнений Салтыков прекратил работу над этим смело задуманным циклом (XI, 565—568).

Ужасно бездарный журнал! — Эта реплика, не объясняя отношение Салтыкова к идейным позициям издаваемого Лавровым журнала, правильно передает чувство «раздражения», которое всегда испытывал сатирик от самого стиля статей Лаврова (в том числе и тех, которые печатались на страницах «Отечественных записок»). Большинство же статей в журнале «Вперед» принадлежало самому Лаврову. Сводку отзывов Салтыкова о Лаврове см.: Ф. И. Витязев, П. Л. Лавров и М. Е. Салтыков. — «Литературное наследство», т. 13—14, 1934, стр. 527—532.

Мне кажется, что эти письма были Салтыкова. — Ни в журнале, ни в газете «Вперед» нет писем, под которыми бы стояла буква «С». По мнению С. С. Борщевского, Салтыкову принадлежит фельетон «Письмо к графу Д. А. Толстому», помещенный без подписи в газете «Вперед», № 14 от 1 августа (н. ст.) 1875 года (VIII, 281—286 и 485—496).

Стр. 360. *Антонову (это мой хозяин) я не сумел понравиться...* — «Хозяин мой, Иван Иванович Антонов, — пишет далее Тверитинов, — владелец прекрасной виллы близ Ниццы, на вилла-франкской дороге, прибыл туда за несколько лет перед тем из Петербурга, где он прославился своим процессом со Шрейером, редактором тогдашних «Новостей». В Ниццу Антонов приехал с одной известной московской актрисой. Актриса пожила там года два и, соскучившись, уехала в Россию, оставив Антонову на память маленького сына, которого и была моя обязанность обучать языкам, русскому и

французскому, и арифметике» (цит. соч., стр. 90). Как и при каких обстоятельствах Антонов обратился к посредничеству Салтыкова, остается невыясненным.

С отъездом Салтыковых из Ниццы я остался совершенно без общества. — Салтыков и его семья уехали из Ниццы (в Париж) 5/17 апреля 1876 года, Тверитинов вернулся в Россию в июле того же года,

А. И. Корнилова-Мороз

<ЩЕДРИН И ДОСТАВКА КНИГ ЗАКЛЮЧЕННЫМ РЕВОЛЮЦИОНЕРАМ>

Печатается по тексту «Литературного наследства», т. 11—12, 1933, стр. 481,

Стр. 361. *...это были самые излюбленные писатели у нас.* — А. И. Корнилова говорит об участниках петербургской революционной группы начала семидесятых годов — С. М. Кравчинском, Д. А. Клеменце, С. Л. Перовской, П. А. Кропоткине и других. Вместе с ними она вела в 1873 году пропаганду среди петербургских рабочих, используя в этой пропаганде, в частности, сочинения Щедрина.

Стр. 362. *Эта статья Щедрина была помещена в декабрьской книжке «Отечественных записок» за 1873 год...* — Очерк «Переписка» — смелая сатира на высшую политическую полицию царизма в период ее острой борьбы с народническими революционерами — появился в «Отечественных записках», 1873, № 12.

«Что же вы «о перенесении бедствий настоящего» умолчали?» — Жандарм продолжил начатую Корниловой цитату из щедринского очерка: «Дело в том, — продолжал генерал, — что несколько злоумышленников образовали из себя «Общество для предвкушения гармоний будущего». По «уставу» общества <...> цель его заключается «в непрерывном созерцании гармонии будущего и в терпеливом перенесении бедствий настоящего» (XI, 103)).

...мы с сестрой занимались доставкой книг заключенным по большому процессу. — А. И. Корнилова, вместе со своей сестрой Л. И. Корниловой (Сердюковой), также известной революционеркой, оказывала помощь заключенным по самому крупному процессу семидесятых годов — «процессу 193-х», к которому затем и сама оказалась привлеченной.

«Ну, хорошо, только без доставки». — Доставка журнала по почте могла легко нарушить конспиративный характер этой «подписки»,

Г. А. Лопатин

<РАЗГОВОР ЩЕДРИНА С ТУРГЕНЕВЫМ>

Отрывок из записи беседы Г. А. Лопатина с С. П. Петрашкевич-Струмилиной (3 ноября 1913 года). Печатается по тексту журнала «Красная новь», 1927, № 8, стр. 168.

Стр. 363. *...застаю у него Салтыкова-Щедрина.* — Это было в апреле—мае 1876 года в Париже, в квартире Тургенева на улице Дуэ.

Что они дали? — Об отношении Салтыкова к Золя и Флоберу см. в воспоминаниях П. Д. Боборыкина, стр. 132—133.

А. В. Прибылев

<У ЩЕДРИНА>

Печатается по тексту «Литературного наследства», т. 11—12, 1933, стр. 486—487.

Стр. 365. *...в нашем землячестве...* — Речь идет о студенческом землячестве: в 1879 году А. В. Прибылев учился в Медико-хирургической академии.

В. И. Дмитриева

I. <ЩЕДРИН У ГРОБА ДОСТОЕВСКОГО>

II. <ПО ПРИМЕРУ ПРОШЛЫХ ЛЕТ>

Печатается по изданию: В. И. Дмитриева, *Так было (Путь моей жизни)*, М.—Л. 1930, стр. 183—185 и 187—188.

Стр. 368. *Помнится, 30 января 1880 года...* — Ошибка: это было 29 января.

...на Ямскую, где жил Достоевский... — Адрес последней квартиры писателя был: угол Кузнечного переулка и Ямской улицы (ныне улица Достоевского).

А. П. Корба

<ЩЕДРИН О Д. А. ТОЛСТОМ>

Печатается по тексту «Литературного наследства», т. 11—12, 1933, стр. 480.

Стр. 372. *В одном из моих маленьких очерков...* — Разыскать этот очерк нам не удалось.

...соединявшему частную его квартиру с конторою редакции... — Ошибка. Если встреча происходила в редакции «Отечественных записок», то это была квартира Елисеева (на Надеждинской), а не Салтыкова. Если же свидание состоялось в конторе журнала (угол Бассейной), как пишет Корба, то и это помещение находилось далеко от квартиры Салтыкова.

«...Как бы им не проиграться!» — «Невозможно себе и представить, — вспоминал Е. М. Феоктистов, — какой эффект произвело назначение графа Толстого уже потому, что оно было совершенно неожиданно <...> Вся либеральная партия ахнула от негодования, в этом отношении Победоносцев был прав, говоря, что в мнении публики появление на сцене графа Толстого должно было свидетельствовать о решительном повороте в политике правительства». (Е. М. Феоктистов, За кулисами политики и литературы, ред. и примеч. Ю. Г. Оксмана, М. 1929, стр. 212),

Н. П. Орлов (Северов)

М. Е. САЛТЫКОВ (ЩЕДРИН)

Печатается по тексту журнала «Красное знамя», Париж, 1906, № 2, стр. 85—86 (подпись: Н. О.). Перепечатано в газете «Русские ведомости», 1906, № 274 от 9 ноября, под псевдонимом Н. Северов (неисправно и с цензурными смягчениями).

Стр. 374. *Было холодное декабрьское утро...* — Из приводимых дальше упреков Салтыкова в адрес Кривенко, задерживавшего сдачу статьи для первой книжки «Отечественных записок» за 1883 год, следует, что визит Орлова состоялся в середине декабря, не позже 17-го числа 1882 года, когда весь материал январского номера был уже сдан в типографию.

«Было вам раньше шестьдесят три года?» — Ошибка: в 1882 году Салтыкову было пятьдесят шесть лет.

Стр. 375. *«Правда, что вы можете поставить на голову стакан с квасом и плясать?»* — В этой сатирической выходке сказалось резко отрицательное отношение Салтыкова к буржуазной адвокатуре, к ее беспринципности. Имя Плевако, известного судебного оратора, участника громких уголовных процессов семидесятых годов, не раз упоминается на страницах щедринской сатиры. См., например, в «Недоконченных беседах» (XV, 339).

Явился метранпаж «Отечественных записок» — Егор Яковлевич Чижов.

Стр. 376. *...в редакции «Отечественных записок», помещавшейся на Спасской, в квартире секретаря редакции поэта А. Н. Плещеева.* — Редакция «Отечественных записок» собиралась

в квартире Плещеева, начиная с осени 1883 года, после того как оставшийся еще на год за границей Елисейев отказался от своей петербургской квартиры на Надеждинской, где после смерти Некрасова происходили собрания редакции.

...только что вышедшую тогда «Современную идиллию». — Отдельное издание «Современной идиллии» вышло в Петербурге в издании Н. П. Карабасникова между 24 и 30 сентября 1883 года, а не «весною», как пишет мемуарист.

...за статью Н. Я. Николадзе «Луи Блан и Гамбетта» — дано было журналу предостережение. — Это было уже второе предостережение. Поводом для него явилась не только статья Николадзе, не только то обстоятельство, что департаменту полиции стали известны связи Николадзе с «Народной волей», но и очередные главы щедринской «Современной идиллии». Салтыков был осведомлен о закулисной стороне дела. 31 января 1883 года он писал А. Л. Боровиковскому: «Николадзе, на которого ссылаются, — только для прилику; главная же цель — я» (XIX, 321).

Оригинал сохранился у меня до сего времени. — В настоящее время оригинал картины (масло, 0,51 × 0,83) хранится в ИРЛИ. Салтыков, держа в руках январскую книжку «Отечественных записок» 1883 года, пробирается через лес, наполненный «гадами». Его преследует «торжествующая свинья», опоясанная полицейской шашкой, в кустах блестят глаза шпиона, из-за деревьев наблюдает жандарм в треуголке, с дерева свешивается «удав», на деревьях — вороньи гнезда с листками «Московских ведомостей» (см. в наст. книге). Картина размножалась нелегально, в простых и раскрашенных фотографиях и пользовалась большой популярностью в революционной среде и в оппозиционно настроенных кругах общества. Часть тиража распространялась за деньги, которые шли в фонд Исполнительного комитета «Народной воли». Насколько ценил сам Салтыков эту картину, показывают три его письма, написанные в конце октября 1887 года в связи с утерей принадлежавших ему экземпляров. Он обращается к своим друзьям с «крайней и слезной просьбой» разыскать и купить для него этот «портрет», так как «нужно хоть что-нибудь *настоящее* сыну на память оставить» и «очень горько будет, ежели он не будет иметь этот портрет» (XX, 334—336).

...он писал мне... — Письмо вошло в Полн. собр. соч. и писем (XIX, 346—347).

Стр. 377. *В ноябре 1883 года Щедрин писал мне...* — Письмо вошло в Полн. собр. соч. и писем (XIX, 364).

Стр. 378. *В Москве, по инициативе радикального кружка, праздновался литературный юбилей Щедрина, бывшего в это время*

за границей. — Праздновался двадцатипятилетний юбилей «Губернских очерков». Инициатива его принадлежала не «радикальному кружку», а либеральной редакции «Русской мысли». Отношение Салтыкова к московскому чествованию было резко отрицательным. Отвергая предложение Литературного фонда продолжить юбилейное празднование в Петербурге, после своего возвращения, Салтыков писал из Парижа В. П. Гаевскому 13/25 сентября 1881 года: «...я не только литератор, но и журналист, человек партии. Партия, к которой я принадлежу, никакого участия в оованиях не примет; затем участвовать будут люди, которым хотя я и сочувствую, но рядом с которыми до сих пор не жил. Согласись сам, что это будет торжество довольно странное» (XIX, 228).

Описание московского празднования, происходившего 31 августа в ресторане «Эрмитаж», находим в письме Н. П. Орлова к Г. И. Успенскому от 12 сентября 1881 года («Голос минувшего», 1915, № 4, стр. 224). Откликаясь на это письмо, Г. И. Успенский писал Е. С. Некрасовой 7 ноября 1881 года: «Хорошо тоже дураки эти почтили Салтыкова! Нечего сказать, похоже на юбилей! <...> И что же смотрела Ваша вяленая Гамбетта, Гольцев, сей ибей и ядикай?» (Г. И. Успенский, Полн. собр. соч., т. 13, М. 1951, стр. 272). Юбилейный обед и особенно его «щедринское меню», в котором красовался «ококор торжествующей свиньи» с головой «фаршированной передовицами «Московских ведомостей», вызвали негодование реакционной печати. См., например, анонимные выступления Буренина в №№ 1979 и 1984 «Нового времени» от 1 и 6 сентября 1881 года.

...никак не мог округлить ответа на телеграмму, попросил Тургенева. — Ответ Салтыкова, отправленный из Парижа 7/19 сентября 1881 года, напечатан в № 253 газеты «Порядок» от 14 сентября (XIX, 226).

Стр. 379. ...Щедрин сидел, улыбаясь во весь рот... — Эта фотография неизвестна.

Л. Г. Дейч

<ЩЕДРИН И ГРУППА «ОСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА»>

Отрывок из статьи «М. Е. Салтыков-Щедрин и русские революционеры. (По личным воспоминаниям)». Печатается по тексту «Литературного наследства», т. 11—12, 1933, стр. 502—504, с исправлениями по авторской рукописи.

Стр. 381. ...выдержек из его произведений. — В опускаемом нами тексте — высказывания Щедрина, направленные против

народнической идеализации крестьянской общины (цитируется «За рубежом» и «Убежище Монрепо»).

...не имел никаких личных знакомых в нашей среде... — Категоричность этого утверждения не оправдана. По своим литературно-журнальным отношениям Салтыков был лично знаком — в России и за границей — со многими участниками революционного движения народников: Н. А. Арнольди, А. Н. Казиной, А. П. Корбой, С. Н. Кривенко, П. Л. Лавровым, Г. А. Лопатыным, Н. К. Михайловским, Н. Я. Николадзе, Н. Э. Петропавловским (Карониным), А. В. Прибылевым, М. А. Протопоповым, Д. П. Сильчевским, А. Н. Тверитиновым, Н. Н. Фирсов (Л. Рускин), А. И. Эртелем, П. Ф. Якубовичем (Мельшиным) и др.

...ренегата, сотрудника «Нового времени» Исаака Павловского, которому тогда протезировал Тургенев... — Корреспондентом реакционно-шовинистической газеты «Новое время» (под псевдонимом — И. Яковлев) Павловский стал во второй половине восьмидесятых годов, то есть уже после смерти Тургенева. В годы же, когда Тургенев «протезировал» Павловскому, тот был эмигрантом, бежавшим в 1878 году за границу из Пинеги, где отбывал ссылку. Тургенев содействовал опубликованию в 1879 году в парижской газете «Temps» очерка Павловского «En cellule. Impressions d'une nihiliste» («В одиночном заключении. Впечатления нигилиста») и написал к нему предисловие. Это навлекло на Тургенева ожесточенные нападки реакционной прессы в России. В 1882 году Тургенев послал в «Отечественные записки» повесть Павловского «Политическое дело» (XIX, 261—262, 489). Салтыков отредактировал рукопись, но в журнале повесть не появлялась.

Единственными его знакомыми там были Лавров и Зибер. — Виднейший лидер старого народничества и редактор «Вестника Народной воли», П. Л. Лавров был большим почитателем Салтыкова. О том, что Лавров искал встреч с Салтыковым во время его заграничных поездок, мы знаем из переписки Лаврова с Н. А. Белоголовым (см. стр. 588—594). Известный русский экономист Н. И. Зибер, сотрудник «Отечественных записок», популяризатор трудов К. Маркса и Ф. Энгельса, лично знакомый с ними, жил с 1875 года постоянно в Швейцарии. Зибер не был эмигрантом.

...брат его Илья как раз в это время приехал к нему в Женеву по окончании им ссылки... — Илья Николаевич Игнатов (1858—1921), арестованный в 1877 году по делу «Общества друзей», отбывал ссылку в Вятке. На вятском материале и был написан очерк Игнатова, который понравился Салтыкову и вызвал у него желание познакомиться с автором. В Женеву Игнатов

приехал в начале 1883 года. Здесь он примкнул к группе «Освобождение труда», но был весьма пассивен и вскоре совсем порвал с революционным движением. С 1888 года Игнатов был сотрудником, а с 1907 года — редактором «Русских ведомостей».

Стр. 382. *Щедрин приехал в Париж...* — В 1883 году Салтыков-Щедрин находился в Париже с 12/24 августа по 20 августа/1 сентября. Точная дата свидания с ним Лаврова неизвестна.

Стр. 383. *...летом этого же 1883 года в «Отечественных записках» печатались замечательные «Письма к тетеньке»...* — Неверно. Печатание «Писем к тетеньке» в «Отечественных записках» началось в июле 1881 года и закончилось в мае 1882 года.

...в предшествовавшем году появилась первая статья Плеханова в «Отечественных записках»... — Статья «Новое направление в области политической экономии» появилась в ноябрьской книжке журнала за 1881 год под псевдонимом: Г. Валентинов. За той же подписью Плеханов напечатал в четырех книжках «Отечественных записок» (1882, №№ 5 и 6 и 1883 №№ 9 и 10) еще одну большую работу — «Экономическая теория Карла Родбертуса-Ягцеова».

...«измышления В. В.» — В. В. — известный народник-экономист В. П. Воронцов. Речь идет о его статьях: «К вопросу о развитии капитализма в России» (1880, № 9), «Фантазии и действительность русского капитализма» (1881, № 3), «Экономический упадок России» (1881, №№ 8 и 9), «Из истории русского капитализма» (1881, № 11) и др.

В. Л. Бурцев

РАССКАЗЫ О ЩЕДРИНЕ

Печатается по копии, снятой нами в Праге осенью 1945 года с рукописи из бывш. собрания «Русского заграничного исторического архива». В несколько другой редакции было опубликовано в сб. «На чужой стороне» (Прага, 1925, т. X, стр. 121—130) под названием «К биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина». Один рассказ — об убийстве Судейкина — был, кроме того, напечатан в первом номере основанных Бурцевым в 1900 году в Лондоне историко-революционных сборников «Былое» (стр. 28—30).

Стр. 386. *...напечатал опровержение в «Русских ведомостях».* — Слухи об обыске, будто бы произведенном у Салтыкова, проникли и в печать. Известная лондонская газета «Daily News», в номере от 10/22 октября 1884 года, поместила описание этого «события», присланное ей одесским корреспондентом газеты.

Салтыков послал в Лондон опровержение. Оно появилось в «Daily News» и было перепечатано, в русском переводе, газетой «Новое время» (а не «Русскими ведомостями»), 1884, № 3134 от 17 ноября.

Стр. 387. ...Дегаев привел в исполнение решение Исполнительного комитета «Народной воли» об устранении Судейкина. — Видный член партии «Народная воля» Дегаев был уличен революционерами в предательстве. В поисках спасения от смертной казни, угрожавшей ему за измену, Дегаев предложил партии искупить свою вину — организовать убийство завербовавшего его жандармского подполковника Судейкина, главного инспектора секретной полиции. Исполнительный комитет, уступая, как говорилось в постановлении, «горькой необходимости преодолеть свою нравственную брезгливость», согласился воспользоваться услугами предателя. Судейкин был слишком опасным врагом, неутомимым и умелым организатором изощренных политических провокаций в среде революционеров. 16 декабря 1883 года в Петербурге Дегаев заманил Судейкина в свою квартиру, где он был убит поджидавшими его здесь народовольцами Стародворским и Конашевичем.

Записанная Бурцевым сцена выразительно рисует отношение Щедрина к агентам политической полиции самодержавия, его глубочайшее презрение и отвращение к ним.

Стр. 388. ...были убиты Мезенцевы, Гейкинги, Судейкины... — Шеф жандармов, начальник III Отделения Н. В. Мезенцев был убит революционером С. М. Кравчинским (Степняком) 4 августа 1878 года. Адъютант Киевского жандармского управления капитан Г. Э. Гейкинг умер от ран, нанесенных ему революционером Г. А. Попко при покушении 25 мая того же 1878 года. Об убийстве Судейкина см. выше.

...симпатии всех сколько-нибудь независимых людей всегда были на стороне террористов... — Бурцев сильно преувеличивает симпатии оппозиционно-демократической части русского общества к народовольческой тактике индивидуального террора. В частности, Салтыков был принципиальным противником этого метода революционной борьбы (см., например, на стр. 200 его отзыв о первоартовцах).

После закрытия «Отечественных записок» (в апреле 1884 г.) московские студенты собрались на сходку... — Узнав о насильственной ликвидации журнала Салтыкова, Московский центральный кружок Общестуденческого союза («Интерфракционного общества») развернул большую работу по организации широкого политического протеста против этого реакционного акта правительства, лишившего русскую демократию ее главной журналь-

ной трибуны. Предприняв выпуск двух литографированных обращений «К русскому обществу», центр направил силы отдельных студенческих кружков на составление адресов Салтыкову и собирание подписей под ними. Составили адреса студенты Московского университета, Петровской сельскохозяйственной академии, Высших женских курсов и других учебных заведений. Затем возникла мысль слить эти отдельные адреса в один адрес, который бы ярко и сильно выразил мнение всей демократической части московского и — шире — всего русского студенчества. С этой целью на квартире учлена центра, инженера-техника Петина, жившего на Ново-Басманной, собрались представители всех московских высших учебных заведений и студенческих кружков, а также некоторые литераторы, в том числе Златовратский, всего «человек сорок», (как показал на допросе привлеченный к дознанию один из участников собрания Илья Аносов). На этом собрании уполномоченных, которое и имеет в виду Бурцев, говоря о «сходке» московских студентов, был принят согласованный текст адреса и произведены выборы депутатов, которые должны были доставить адрес Салтыкову.

В течение нескольких дней удалось собрать более шестисот подписей, и избранные депутаты повезли адрес Салтыкову. Чтобы понять первоначальную реакцию сатирика на появление в его квартире студенческой делегации из Москвы, необходимо принять во внимание, что это были трудные и опасные для него дни. В письме к П. В. Анненкову от 3 мая 1884 года он жаловался: «Неужели я, больной, издыхающий, переживу эту галиматью! В городе разные слухи ходят: одни говорят, что я бежал за границу, другие — что я застрелился; третьи, что я написал сказку Два осла и арестован <...> Столько я в две недели пережил, сколько в целые годы не переживал» (XX, 45). До Салтыкова могли дойти слухи и о том, что московскими студенческими адресами уже заинтересовались органы политического надзора, вскоре создавшие обширное полицейское «дело» об Общестуденческом союзе. В «деле» этом имеется, в частности, адресованный директору департамента полиции запрос Московского обер-полицмейстера, «как поступить относительно Салтыкова: то есть допросить его только как свидетеля, или же прямо произвести у него обыск и действовать затем согласно его результатам» (ЦГИАМ, ф. Департ. полиции, № 102, 1884, д. 53 «об Общестуденческом союзе», т. 1, вещ. доказ., л. 125).

Нарисованной Бурцевым картине приема московской студенческой депутации противостоит мемуарное свидетельство А. Ижевского — одного из руководящих членов Московского Центрального

кружка Общестуденческого союза. По его словам, адрес до Салтыкова не дошел: его не было в то время в Петербурге, и адрес был передан кому-то из литераторов, у которого и отобран при обыске (А. П. Ижевский, Московский студенческий союз. Рукопись. Архив АН СССР). Однако сомневаться в том, что московские студенты посетили Салтыкова, нет оснований. Рассказ Бурцева подтверждается и уточняется воспоминаниями народника Н. М. Терешенкова — брата известного народовольца, — написанными по нашей просьбе в 1932 г. («Литературное наследство», кн. 11—12, 1933, стр. 487—488).

Материалы, документально подтверждающие основу комментируемого рассказа Бурцева, содержатся также в работах: В. Колпенский, М. Салтыков-Щедрин и «Общестуденческий союз». — «Русское прошлое», 1923, № 4; П. Анатольев, К истории закрытия журнала «Отечественные записки». — «Каторга и ссылка», 1929, № 8—9; Вас. Гиппиус, Салтыков и русская нелегальная печать в 1884 г. — «Литературное наследство», т. 13—14, 1934; К. Василенко, Общество переводчиков и издателей. — «Вестник Московского университета», 1956, № 4.

Стр. 392. *«Вскрываю, — говорит рассказчик, — и не верю глазам своим... — от клуба Взволнованных Лоботрясов!...»* — Цитируется место из XXIV главы «Современной идиллии» (XV, 268). Глава была напечатана в «Отечественных записках», 1883, № 1.

Стр. 396. *В это время редакция «Нового времени» обвинялась в диффамации Стасюлевичем, д-ром Рудневой-Кашеваровой и др.* — В октябре 1881 года Стасюлевич привлечен к судебной ответственности за клевету в печати редактора «Нового времени» М. П. Федорова и В. П. Буренина, опубликовавших антисемитские вирши, направленные против газеты «Порядок», издававшейся Стасюлевичем. Аналогичный судебный процесс с тем же Федоровым д-ра медицины В. А. Рудневой-Кашеваровой — по поводу помещенного в «Новом времени» пасквиля «Самохвалова-Самолюбова» — происходил раньше, в 1879 году.

Этому обществу <...> Щедрин посвятил одно из своих «Писем к тетеньке». — Речь идет о первоначальной редакции «Письма третьего» из цикла «Письма к тетеньке», вырезанного по распоряжению властей из сентябрьской книжки «Отечественных записок» за 1881 год, но тем не менее широко распространявшегося в списках, в литографированных и зарубежных изданиях (см. XIV, 316, 332). Письмо было посвящено разоблачению «Священной дружины» (см. комментарий на стр. 769), которая фигурировала в щедринской сатире под именем «Общества частной инициативы спасения».

Стр. 397. *Прокламация возмутила Щедрина...* — Об отношении Щедрина к этой очередной судейкинской провокации можно судить хотя бы по письму его к П. В. Анненкову от 1 ноября 1882 года: «До какой степени разврат проникает в русское общество — Вы можете судить из след<ующего> факта. Между молодежью здешнею обоего пола ходит циркулярное приглашение некоего «Центрального общества борьбы против террористических учений». Циркуляром этим не показывается вреда террористических учений, а гораздо проще ставится дело: обещается известное обеспечение, прекращение преследований, возможность жить за границей и проч. И можно думать, что эта штука породит известный разлад и многих увлечет. Но как Вам кажется эта попытка воспитать молодежь на шпионстве?» (XIX, 296).

Стр. 398. *И, прежде всего, так называемую «Священную дружину».* — Летом 1881 года Салтыков не раз встречался в Висбадене с отдыхающим там экс-министром М. Т. Лорис-Меликовым. В беседе с ним, происходившей 29 июля/12 августа, Салтыкову была раскрыта тайна недавно возникшей в Петербурге, под покровительством царского двора, глубоко законспирированной организации «Священной дружины», задачей которой являлась борьба с революционерами. Главными средствами борьбы являлись политический сыск, провокация, шантаж. Предполагалось заняться и террористическими актами. В качестве первых жертв были намечены П. А. Кропоткин, Л. Н. Гартман и французский радикал Анри Рошфор. По свидетельству Кропоткина, Салтыков, узнав об этих замыслах, специально ездил в Швейцарию, чтобы предупредить кого следует («Русские ведомости», 1912, № 250). Вслед за тем Салтыков разоблачил «Священную дружину» в печати. Он сделал это в письме третьем из цикла «Письма к тетеньке». И хотя «письмо» было вырезано властями из сентябрьской книжки «Отечественных записок» 1881 года, оно сразу же распространилось в списках и сделало свое дело (XIV, 315—332).

А. И. Ульянова-Елизарова

<АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ У САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА>

Печатается по изданию: «Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 г.». Сост. А. И. Ульянова-Елизарова, М.—Л. 1927, стр. 78—79.

Стр. 399. *Мы ощущали очень горестно, что наш любимый писатель вынужденно умолк, что орган его закрыт...* — В другом месте своих воспоминаний А. И. Ульянова-Елизарова сообщает

о том, как остро воспринял Александр Ульянов распространившийся весной 1884 года, в связи с запрещением «Отечественных записок», слух об аресте Салтыкова-Щедрина. «Были только что закрыты «Отечественные записки», — пишет сестра Ленина, — тогдашний передовой журнал. Опытная рука редактора Щедрина, его изощренность в «эзоповском» языке не спасла журнала. Не помню, от меня ли первой услышал Саша об этом. Но я передала ему также в этот вечер, что на курсах говорили, будто Щедрин арестован. За минуту спокойный и довольный, Саша весь потемнел.

— Это такой наглый деспотизм — лучших людей в тюрьме держаты! — сказал он негромко, но с такой силой возмущения, что мне стало снова жутко за него.

Саша мрачно ушел в себя на остальную часть вечера, который был окончательно испорчен для нас» (назв. изд., стр. 73; см. также стр. 57).

Стр. 400. ...и от курсов. — От Высших женских курсов, так называемых «бестужевских».

Делегация студентов, в которую входил и Саша, попала в другое время. — Таким образом, устанавливается, что Александр Ульянов посетил Салтыкова в составе студенческих делегаций дважды — в ноябре 1885 и в ноябре 1886 года.

...видела <...> в день именин Михаила Евграфовича, который выразил ей свое удовольствие по поводу адреса от курсисток... — О том, что Надежда Васильевна Стасова была лично знакома с Салтыковым и бывала у него на квартире, известно только из настоящих воспоминаний. Н. В. Стасова — сестра В. В. Стасова — прогрессивная общественная деятельница; в шестидесятые годы была отчасти прикосновенна к революционному движению (через воскресные школы, в организации и работе которых принимала большое участие). Когда в 1878 году в Петербурге были учреждены Высшие женские курсы, правительство поставило во главе их историка проф. К. Н. Бестужева-Рюмина, обязанности же «распорядительницы», а фактически начальницы курсов взяла на себя Н. В. Стасова. Понравившийся Салтыкову «адрес от курсисток», написанный А. И. Ульяновой-Елизаровой, неизвестен.

...при теперешнем положении курсов... — Бестужевские курсы находились в политическом подозрении у царского правительства. В конце 1886 года они были закрыты и вновь открылись лишь в 1890 году.

...остальных не помню. — Из воспоминаний З. А. Венгеровой (см. стр. 402—406) известны имена еще двух участников делегации — самой Венгеровой и Петра Шевырева.

З. А. Венгерова

ИЗ ЗАПИСОК СОВРЕМЕННОИЦЫ

Печатается по тексту журнала «Звезда», 1930, № 9—10, стр. 290—292 с исправлениями, сообщенными нам автором воспоминаний в письме из Парижа от 26 мая 1938 года.

Стр. 402. *Осенью 1886 года в Петербурге стали носиться вести о серьезной болезни М. Е. Салтыкова-Щедрина.* — Здесь мемуаристка вспоминает об осени 1885 года. Именно тогда, а не в 1886 году, состояние здоровья Салтыкова резко ухудшилось. Известия о болезни писателя проникали в печать (см., например, «Русские ведомости», 1885, № 282, от 13 октября) и вызвали поток «адресов», писем, телеграмм, посланных Салтыкову преимущественно от студенческой молодежи, а также ряд делегаций к больному писателю (см. «Литературное наследство», т. 13—14, 1934, стр. 403—406). Однако в дальнейшем изложении З. А. Венгерова описывает эпизод, относящийся к 1886 году (свое участие в делегации).

Стр. 403. *...еще один студент, фамилию которого я не запомнила.* — Это был Мандельштам, однокурсник Александра Ульянова (см. воспоминания А. И. Ульяновой-Елизаровой, стр. 401).

Высшие женские курсы присоединились к депутации в лице двух депутатов <...> Анны Ульяновой и меня. — А. И. Ульянова-Елизарова называет в своих воспоминаниях еще одну депутатку — А. В. Москопуло (в замужестве Никонову).

Решено было собраться всем у Ульяновой на Песках. — В 1885—1886 годы А. И. Ульянова-Елизарова жила не на Песках, а на Петербургской стороне (Съезжинская ул., д. 12). Депутация, по-видимому, собралась у кого-то другого.

Стр. 406. *...казнь Ульянова и Шевырева.* — Они были повешены 8 мая 1887 года на рассвете, во дворе Шлиссельбургской тюрьмы.

НА СЛУЖБЕ

К. С. Веселовский

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ «ОТГОЛОСКИ СТАРОЙ ПАМЯТИ»

Печатается по тексту журнала «Русская старина», 1899, № 10, стр. 13—17.

Стр. 410. *...появившуюся в «Отечественных записках» статью о жилищах рабочего люда в Петербурге...* — Статья появилась в

той же мартовской книжке журнала за 1848 год, в которой была напечатана повесть Салтыкова «Запутанное дело».

...«негласным» трибуналом, составленным из самых доверенных и высокостоящих государевых советников... — В комитет входили: председатель — морской министр кн. А. С. Меншиков, члены — Д. П. Бутурлин, бар. М. А. Корф, гр. А. Г. Строганов, сенатор П. И. Дегай и управляющий III Отделением Л. В. Дубельт. Некоторые современники ошибочно связывали самое возникновение «меншиковского комитета» с появлением в печати «Запутанного дела» и повести Герцена «Сорока-воровка». Об этом свидетельствует запись в тетради М. Н. Лонгинова — сослуживца Салтыкова по канцелярии военного министерства в 1844—1848 годах. Запись, сделанная в 1858 году, когда Лонгинов, впоследствии крайний реакционер, еще стоял на либеральных позициях, гласит:

«Перед самой революцией 1848 года во Франции появились, между прочим, в «Отечественных записках» повесть Мих. Евгр. Салтыкова «Запутанное дело», а в «Современнике» повесть Александра Ив. Герцена «Сорока-воровка». Они, среди всеобщей паники, сделались поводами к уголовной процедуре над литературой, на которую дикари и невежды бросились сейчас. Наряжена <была> в Адмиралтействе Секретная комиссия, где председателем был князь Ал. Серг. Меншиков, делопроизводителем Александр Александрович Гвоздев, а членами всякая николаевская шушера, судившая и рядившая. В присутствие были призваны редакторы: «Отечественных записок» — Андр. Алекс. Краевский и «Современника» Алекс. Вас. Никитенко (бывший им только по имени), и им объявлено, что будут приняты строгие меры вообще, а при малейшем их поползновении продолжать по-прежнему, с ними поступят как с государственными преступниками!! Никитенко оставил место редактора и цензора. Салтыкова сослали в Вятку. Герцен уже был за границей... Начался бессмысленный, жестокий, отвратительный террор, кончившийся только в вожделенный день 18-го февраля 1855-го года <день смерти Николая I. — С. М.>. Салтыков обратился в Щедрина. Человеческое стало торжествовать над животным» (ИРЛИ, ф. 23056/CZ XVI б. 1: «Тетрадь М. Н. Лонгинова», лл. 11 об. — 12).

Стр. 412—413. ...«разом очутился ~~со~~ проснулся!» — Текст этого отрывка из «Запутанного дела» слегка препарирован мемуаристом. Ср. I, 275—276.

Стр. 413—414. ...члены комитета нашли, что в этом сне нельзя не видеть дерзкого умысла — изобразить в аллегорической форме Россию... — Воспоминания известного демократа-просветителя

В. В. Берви-Флеровского свидетельствуют, что революционно настроенный читатель именно так и понимал мысль Салтыкова и ставил на вершину изображенной в повести «пирамиды» социального угнетения фигуру самого «богдыхана» — Николая I («Голос минувшего», 1915, № 3, стр. 140). Однако в протоколах «меншиковского комитета» мы не находим указанной К. С. Веселовским политической расшифровки образа пирамиды, как аллегории России, то есть русского самодержавия. В тексте повести рассказ о «пирамиде» обрывался строкою точек.

И. А. Пузыревский

ЗА ЧТО И КАК БЫЛ ВЫСЛАН В ВЯТКУ М. Е. САЛТЫКОВ
<С ПРИЛОЖЕНИЕМ ЗАПИСЕЙ ИЗ ДНЕВНИКА Н. В. КУКОЛЬНИКА>

Печатается с сокращениями по тексту «Литературного наследства», т. 13—14, 1934, стр. 486—491. Внесены исправления по рукописи И. А. Пузыревского, хранящейся в ИРЛИ. В конце рукописи имеется авторская пометка: «14 мая 1889 г. С.-Петербург (Вас. Остр., 15 линия, № 10)».

Стр. 417. ...сам царь ему указал на Салтыкова... — Николай I утвердил заключительный «журнал» «меншиковского комитета» 2 апреля. А около 20 апреля, при очередном докладе военного министра кн. А. И. Чернышева, царь заметил ему, что у него служит чиновник, напечатавший сочинение, «в котором оказалось вредное направление и стремление к распространению идей, потрясших всю Западную Европу». О том, что автор «Запутанного дела» служил в министерстве Чернышева, в «журнале» не упоминалось, и даже самое имя «сочинителя» там названо не было. Эти сведения Николай, несомненно, получил от шефа жандармов и начальника III Отделения гр. А. Ф. Орлова.

Стр. 418. ...не знаю, где в первые дни содержался под арестом Салтыков. — После ареста в ночь с 21 на 22 апреля Салтыков четыре дня содержался на Адмиралтейской гауптвахте. См. об этом стр. 612.

...где заседала комиссия и кто были, кроме коменданта крепости Набокова, ее члены. — Состав следственной комиссии по делу Салтыкова в точности не установлен. Известно, однако, что, кроме коменданта Петропавловской крепости ген.-ад. И. А. Набокова, возглавлявшего комиссию, в нее входили начальник канцелярии военного министерства ген.-ад. Н. Н. Анненков и

в качестве секретаря Н. В. Кукольник. Заседала комиссия, нужно полагать, у председателя — в Петропавловской крепости.

...Помнишь, — прибавил он, обращаясь к жене, — семь лет тому назад, как я провинился перед ним... — В 1841 году один из рассказов Кукольника («Сержант Иванов, или Все за одного») вызвал недовольство Николая I. Рассказ, разумеется, был весьма далек от каких-либо настроений политического протеста: как всегда, Кукольник воспевал добродетели верноподданничества. Но носителем этих добродетелей он осмелился на этот раз изобразить не помещика, а его дворового человека. Царь приказал начальнику III Отделения Бенкендорфу предписать Кукольнику «на будущее время воздержаться от печатания статей, противных духу времени и правительства...» Перепуганный Кукольник просил у Николая прощения в том, в чем, собственно, не был виноват. Вскоре Бенкендорф известил его: «...в мыслях его величества не осталось против вас ни малейшего гнева» (М. Лемке, Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг., СПб. 1909, 2-е изд., стр. 133—134).

Стр. 419. «...и посадить на неделю на гауптвахту...» — Препровожденный 26 апреля в распоряжение коменданта Петербурга ген.-майора бар. Залыца Салтыков был в тот же день переведен с Адмиралтейской гауптвахты на Арсенальную, на Литейном проспекте 3, — ту самую, где в 1840 году содержался после дуэли с Барантом Лермонтов.

«...Салтыкова уже увезли в Вятку?» — Салтыков был увезен в Вятку жандармским штабс-капитаном Рашкевичем 28 апреля, в 9 часов вечера, прямо из помещения Арсенальной гауптвахты. Салтыкова сопровождал в ссылку его «дядька», крепостной человек Платон.

...Кукольник ответил, что, по его мнению, в IX графе следует отметить, что Салтыков во время службы <...> в ш т р а ф а х и п о д с у д о м н е б ы л... — Вследствие этого мнения Кукольника в служебные документы Салтыкова — формуляр и аттестат — не было внесено никаких политически «компрометирующих» его сведений и формулировок. Был зафиксирован, без всяких объяснений, факт перемещения Салтыкова из военного ведомства в гражданское и одновременный перевод его на службу из Петербурга в Вятку.

Стр. 420. ...звиду рассказа г. Скабичевского... — См. вводную заметку на стр. 415—416.

...с теми же сокращениями слов, какие находятся в подлинных записях. — Примененные Кукольником сокращения ясны, и расшифровка их не вызывает никаких сомнений, поэтому воспроизводим текст без сокращений.

А. В. Дружинин

ИЗ ДНЕВНИКА 1856 ГОДА

Печатается по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ, ф. 168, ед. хр. 312, лл. 192—192 об., 194, 195 об.

Стр. 425. *...я отчасти ошибся насчет Каменского — дело устроилось.* — Устроилось по записке, полученной Дружининым от Д. И. Каменского, — ближайшего товарища Салтыкова по службе в 1844—1848 годы, человека несколько причастного к литературе (переводчик «Сарданапала» Байрона и др.), а впоследствии редактора газеты «Северная почта», члена совета Главного управления по делам печати и в этом последнем качестве — цензора сатирика. Текст записки, датированной 17 января, см. в изд. «Письма к А. В. Дружинину», Летописи. кн. 9, изд. Государственного литературного музея, М. 1948, стр. 139. И обед 18 и вечер 19 января были даны специально в честь Салтыкова — по случаю его возвращения из ссылки, совпавшего с днем его тридцатилетия (15 января).

А. И. Артемьев

ИЗ ДНЕВНИКА 1856—1857 ГОДОВ

Печатается впервые по автографу, хранящемуся в ГПБ. — Архив Артемьева: К—I, № 16/2, лл. 84, 85—85 об., 103, 138—138 об., 139—139 об., 140 об. — 141 об.; К—I, № 17/1, лл. 7 об., 9 об., 14 об. — 15, 43, 47, 58, 66 об., 77 об., 80, 81, 85; К—I, № 17/2, лл. 4, 8, 53—53 об. и 54—56.

Стр. 428. *Огородниковы* — сослуживец Салтыкова и его жена.

Мы читали «Губернские очерки» и еще замечания на соллогубовского «Чиновника»... — Читались первые семь щедринских «очерков», появившиеся во вторых книжках «Русского вестника» за август и сентябрь 1856 года (порядок очерков не совпадает с отдельными изданиями), и напечатанный в июньской книжке «Современника» без подписи разбор популярной в то время пьесы В. А. Соллогуба, сделанный Некрасовым.

...в комитете... — В статистическом комитете министерства внутренних дел.

...читающая «Рене» и «Абенсерагов», «Аталу» и «Мучеников»... — Перечисляются произведения французского писателя и политического деятеля Ф.-Р. Шатобриана: «Рене, или Следствие

страстей», «Приключения последнего из Абенсерагов», «Атала, или Любовь двух дикарей» и «Мученики».

...*Водяной-Кострица, Лесной-Ивановский*... — Шутливые наименования должностных лиц губернской администрации, ведавших водоустройством и лесным делом.

Стр. 429. *Да! эта личность стоит описанья.* — Впечатления Салтыкова от мамадышского исправника легли в основу созданного сатириком в «Губернских очерках» образа исправника Маремьянкина, прозванного Живоглотом (рассказы «Неприятное посещение» и «Первый шаг»).

Стр. 430. «...разрешаете ли вы мне отвечать ему <Каткову> о вашем согласии?» — Этот ответ неизвестен. Неизвестны, за исключением одного письма (XVIII, 127—128), и все другие письма Салтыкова к Каткову, относящиеся к 1856—1857 годам, когда между ними шла интенсивная деловая переписка, связанная с печатанием в «Русском вестнике» «Губернских очерков».

Но Салтыков сказал: «Полезно было бы организовать полицию по выборам». — См. комментарий на стр. 777—782.

...занятия делами инвентарей. — Инвентарями назывались особые правила, определявшие зависимость крестьян от помещиков в западных губерниях России. Введенные в 1847 году с целью укрепления распадавшихся феодально-крепостнических отношений, инвентари явились серьезным тормозом дальнейшего экономического развития Западного края. С конца пятидесятых годов, после того как определилась решимость царизма приступить к отмене крепостного права, правительство взяло курс на ограничение действия инвентарей. В этой связи уясняются слова сослуживцев Салтыкова о том, что ему, как «аболиционисту», то есть стороннику освобождения крестьян, будет «кстати» заняться «делами инвентарей».

Стр. 431. ...хвалят «Старцев»... — «Старец» (а не «Старцы») — один из рассказов в «Губернских очерках», посвященный раскрытию так называемых тайн раскола (появился в «Русском вестнике», 1856, ноябрь, кн. 2, стр. 271—284). К расколу-старобрядчеству Салтыков относился в это время резко отрицательно.

Говорили, что по настоянию гр. Панина «Губернские очерки» повернуты были на усмотрение государя; но тот отозвался, что он радуется появлению таких произведений в литературе. — Министр юстиции граф В. Н. Панин, ярый крепостник, «глава самой дикой, самой тупой реакции» (по определению Герцена), действительно хотел добиться осуждения «Губернских очерков» Александром II. В 1882 году Салтыков рассказывал М. И. Семевскому, что во время появления в печати «Губернских очерков»

министр Ланской стал подвергаться из-за него резким нападкам со стороны Панина, «который жаловался даже однажды государю...» (см. стр. 527).

В том же рассказе, а также в воспоминаниях Н. А. Белоголового (см. стр. 619) приводятся слова Александра II о литературной деятельности автора «Губернских очерков», сказанные в 1858 году при назначении Салтыкова вице-губернатором в Рязань. О том, что Александр II высказал свое отношение к «Губернским очеркам» и при начале их печатания в 1856 году, до сих пор не было известно.

...подан донос и на «Стихотворения» Некрасова... — В октябре 1856 года вышло в свет первое собрание «Стихотворений» Н. Некрасова (изд. К. Солдатенкова и Н. Щепкина). Огромный успех книги, раскупленной в несколько дней, вызвал сильное беспокойство в высших административных кругах. В результате последовал ряд суровых мер, направленных против цензоров, пропустивших книгу в печать, а также против журнала «Современник», перепечатавшего в № 11 несколько стихотворений из книги. Результатом этой «цензурной бури» было то, что цена на книгу очень скоро возросла до десяти—восемнадцати рублей.

Стр. 432. *...из этого эскиза...* — То есть из содержавшегося в письмах исправника рассказа о подношении пермскими чиновниками подарков дочери губернатора Замятина в день ее именин.

Он продал их Каткову. — «Губернские очерки» появились первоначально на страницах «Русского вестника». Но в данном случае речь идет не о журнальной публикации, а об отдельном издании цикла. Салтыков намеревался сам осуществить издание, но не смог собрать нужной суммы денег и продал его Каткову. Оно вышло в двух томах в начале 1857 года (цензурное разрешение — 11 января). В сентябре того же 1857 года был выпущен третий том новых очерков.

Стр. 433. *...Бернардский желает издать его портрет.* — С талантливым гравером по дереву Евстафием Ефимовичем Бернардским Салтыков мог встречаться еще в сороковые годы на собрании у петрашевцев, к которым примыкал художник.

...меня предупредил Салтыков с своим докладом о новом устройстве полиции, для выслушания которого созван особый совет с приглашением в заседание и находящихся в настоящую пору в Петербурге губернаторов. — Доклад Салтыкова до сих пор не разыскан. Однако до нас дошел, хотя и не полностью, текст «записки» Салтыкова, имеющей прямое отношение к этому затерявшемуся докладу. «Записка» находилась в бумагах сатирика и была опубликована в извлечениях К. К. Арсеньевым

в «Материалах для биографии М. Е. Салтыкова» («Вестник Европы», 1890, № 1—2; «Материалы...» перепечатывались затем в первом томе каждого дореволюционного издания Полн. собр. соч. Салтыкова; ниже они цитируются по пятому изданию А. Ф. Маркса, П. 1905—1906). Подлинник был потом утрачен или же увезен дочерью писателя за границу. Кроме того, в архивных фондах министерства внутренних дел сохранились некоторые материалы, относящиеся к деятельности той особой комиссии о преобразовании полиции, делопроизводителем которой был в 1856—1857 годах Салтыков (упоминания об этом имеются и в печати, см. «Записки сенатора Я. А. Соловьева о крестьянском деле», — «Русская старина», 1882, № 3, гл. 4, стр. 561—562). Обращение к названным источникам позволяет извлечь из них некоторые сведения, относящиеся к этому первому после ссылки и весьма любопытному выступлению Салтыкова в роли административного реформатора.

Весной 1856 года, когда правительство занялось подготовкой почвы для отмены крепостного права, в частности административной, было обращено внимание и на так называемые земские полиции — реакционный, чисто крепостнический орган дворянско-помещичьего самоуправления в деревне. В октябре 1856 года, в очередном «всеподданнейшем отчете» по министерству внутренних дел Ланской доложил царю о «крайне неудовлетворительном состоянии земских полиций» и о том, что «необходимо приступить к составлению предположений о лучшем устройстве сей части управления». Ввиду важности и сложности дела министр полагал «составление обозначенных предположений поручить особому чиновнику, который от сего труда не мог бы отвлекаться постоянными служебными занятиями в департаменте». Царь согласился и, по выбору Ланского, выполнение этого ответственного поручения было доверено Салтыкову. В среду 14 ноября 1856 года Салтыков был вызван к министру и выслушал от него соответствующие наставления, после чего приступил к работе (ЦГИАЛ, ф. 1284, оп. 75, ед. хр. 19, лл. 38—39). Он начал ее с составления общего наброска будущих «предположений» и общего же плана их дальнейшей разработки. «Записка», сохранявшаяся в бумагах Салтыкова, и была несомненно этим наброском. О том, что «Записка» лишь предваряла разработку будущего проекта, свидетельствует ее заключительная часть. «Предположения, высказанные здесь лишь в общих чертах, — указывал Салтыков, — необходимо должны уясниться при более подробном развитии их. Поручение, возложенное на меня, сопряжено с большим трудом и требует много самых разнообразных работ и разысканий». И далее шло пере-

числение главных разделов этих «разнообразных работ и разысканий» («Материалы...», стр. 72—73).

Хотя, по словам Артемьева, Ланской и Левшин «склонялись» к идее «выборной» полиции, сомнительно, чтобы первоначальная разработка этой идеи в «Записке Салтыкова» могла вызвать сочувствие со стороны министра, крайнего консерватора под маской либерала.

Дело в том, что вышедшие из-под пера Салтыкова административные «предположения» были в своей основе враждебны политическому строю царизма. «Азбука всякой системы администрации, — формулировал Салтыков свой основной тезис, — гласит, что предметом ее должно быть *благо народное*». Всем материалом «Записки» Салтыков доказывал, что действующая в стране государственная система не знает этой «азбуки», не служит демократическому идеалу «блага народного». Главное зло Салтыков усматривает в административной централизации. Она — утверждал он — «освобождает граждан от всякой самобытной деятельности», обрекает их на политическую «бессознательность» и пассивность, порождает и поддерживает существование в стране «армии чиновников», «чуждых населению и по духу и по стремлениям, не связанных с ними никакими общими интересами, бессильных на добро, но в области зла являющихся страшной, разъедающей силой». Административную централизацию царизма Салтыков сравнивает с иезуитским орденом. «И там и тут, — восклицает он, — царствует общее недоверие и пастырей к пастве и пастырей между собой. И там и тут все до такой степени искусственно, что не знаешь, чему более удивляться: терпению ли людей, которые придумали призрачную машину, не имеющую никаких корней в природе человеческой, или долговечности этой машины, которая, несмотря на всю свою противоестественность, продолжает и доднесь существовать и пользоваться правами гражданственности».

Живя в Вятке, Салтыков имел возможность изучить самое действие «призрачной машины» абсолютистского государства («призраки» — важное понятие в философии истории сатирика) и теперь во всеоружии фактов вскрывал ее антинародную, полицейскую сущность. «В России, — писал он, — *благотворное* действие полиции почти незаметно; что касается до ее злоупотреблений и сопряженных с всеобщим ущербом вмешательств в частные интересы, то они не только заметны, но оставляют по себе несомненно весьма вредное впечатление. Всякий, кто не праздно жил в провинции и всматривался в окружающие явления, без труда поймет справедливость этого замечания. В провинции существует не *действие*, а произвол полицейской власти, совершенно

убежденной, что не она существует для народа, а народ для нее» (художественную разработку этого положения Салтыков дал в «Губернских очерках»).

Подлинно государственного управления в России нет, потому что такое управление «предполагает ясно осознанную государственную идею, а у нас интересы государства непонятны не только для станowych, но даже и для многих губернаторов» (тема будущих «Помпадуров...»). Что касается собственно полицейского управления, то оно представляет собою «какое-то странное смешение произвола и дисциплины, хаоса и регламентации». Это — идеальный пресс для подавления самобытного развития народных сил, препятствующий народу сознать «свою личность, свое право, делающий его «тем бездушным и бессмысленным субъектом, который правительство могло гнуть в ту или другую сторону по усмотрению» (тема будущей «Истории одного города»).

Беспощадный анализ административной системы самодержавия в «Записке» Салтыкова — важный теоретический комментарий к писавшимся одновременно «Губернским очеркам» — объективно вел к признанию полной негодности этой системы, звал к ее разрушению, а не к сотрудничеству с ней.

Но представления Салтыкова о государстве вытекали в то время из его просветительских и утопических взглядов. Он не понимал классовой помещичьей сути царской бюрократии (хотя в своих художественно сатирических образах умел выражать эту суть) и сильно переоценивал общественно-преобразующие возможности «честного и образованного деятеля». Эти взгляды легли в основу позитивной части «Записки» Салтыкова — его проекта о передаче полицейских функций чиновников, назначаемых правительством, представителям самих «граждан» (выбираемых сословными куриями). Новую организацию земской полиции Салтыков представлял себе в виде уездного земского совета в составе девяти *выборных* членов: трех — от дворян, трех — от городских сословий и трех — от казенных крестьян (напомним, «Записка» составлялась за пять лет до отмены крепостного права, когда помещичьи крестьяне были полностью бесправны). Председателем в совете назначается уездный предводитель дворянства. «Характер занятий совета не должен быть исключительно полицейский, а вместе с тем, и даже преимущественно, административный; совет должен заменить собою все ныне существующие уездные административные учреждения. Ему должно принадлежать обсуждение всех мер по общему управлению уездом и городом, по устройству повинностей, развитию торговли и промышленности, наблюдению за правильным их производством,

учреждению школ, охранению тишины и спокойствия и т. п.» («Материалы...», цит. изд., стр. 71—72). Согласно проекту Салтыкова содержание члены совета должны получать, в целях большей независимости, не от государства, а от своих сословий. Правительство же, со своей стороны, лишь назначает в каждый уезд «стряпчего», который присутствует на заседаниях совета. Однако голос этого агента центральной власти обязателен лишь в делах, касающихся общегосударственного интереса. Во всех остальных случаях его мнение имеет только «руководительное» значение. Постановления совета приводятся в исполнение: в селениях государственных крестьян — волостными и сельскими управлениями, в помещичьих имениях — полицейскими начальниками, избираемыми дворянами, в городах — полицейскими начальниками, избранными городскими обществами. Кандидат в полицейские начальники должен обладать дипломом об окончании учебного заведения, то есть быть человеком образованным. После своего избрания он должен пройти определенный стаж «безвозмездной службы», чтобы доказать свою «способность к честному бескорыстному выполнению обязанностей, возложенных на него обществом». Следует при этом заметить, что сословную организацию полиции Салтыков рекомендовал вовсе не как наилучшую, с его точки зрения (наоборот, он считал всякую сословную организацию противоречащей интересам массы), но как единственно, по его предположениям, возможную в условиях тогдашней действительности. Однако Салтыкову пришлось, нужно полагать, быстро убедиться в необоснованности как этого, так и других его «предположений». Сочиненный им проект новой организации земской полиции, а по сути проект реформы всего местного самоуправления, был практически неосуществим не только в условиях крепостнической России второй половины пятидесятых годов, но и в условиях самодержавно-помещичьего строя вообще.

Как проходило обсуждение проекта Салтыкова, работу над которым он закончил в январе 1857 года, да и дошло ли дело до широкого обсуждения, для которого, по словам Артемьева, в апреле того же года был «созван особый совет», — обо всем этом мы ничего не знаем. Но в цитированных воспоминаниях Я. А. Соловьева, которому Салтыков передал в феврале 1858 года, перед отъездом в Рязань, все материалы комиссии о преобразовании полиции, читаем: «Я получил от него <Салтыкова> все производство и обширную записку, в которой заключалось: и историческое обозрение предположений о преобразовании полиции и подробный разбор всех недостатков полицейского устройства; но, сколько я помню, никакого окончательно сформулированного

проекта не было» («Русская старина», 1882, № 3., стр. 562). Последние слова позволяют предполагать, что радикальный проект Салтыкова, вызвавший резкое неудовольствие самого Панина, был не только отвергнут, но даже и изъят из официального делопроизводства и сохранился только в том первоначальном наброске, который Салтыков оставил для себя, в своих бумагах.

Стр. 434. *Наш разговор был прерван появлением Салтыкова-Щедрина, живущего в одном доме с Безобразовым и живущего дружески.* — Дружеское общение Салтыкова с младшим лицейским товарищем В. П. Безобразовым, дворянским либералом в период подготовки реформ, будущим известным экономистом и географом, академиком и сенатором, оказалось недолгим и в дальнейшем сменилось враждебно-ироническим к нему отношением. Безобразов и его деятельность не раз давали Щедрина красочный материал для создания сатирического типа буржуазного дельца от науки (см. образы Велентьева, Полосатова и Грызунова в «Господах ташкентцах», «Недоконченных беседах» и «Письмах к тетеньке»).

В воспоминаниях Б. Н. Чичерина, сначала либерального московского профессора, ученика Грановского и корреспондента Герцена, а впоследствии апологета дворянской монархии, находим иную, чем у Артемьева, оценку взаимоотношений, существовавших между Салтыковым и Безобразовым в конце пятидесятых годов. Несмотря на свой враждебный тон (когда писались воспоминания, Чичерин уже ненавидел Салтыкова, как и все, что имело отношение к демократии и социализму), его свидетельство представляет известный интерес для биографии сатирика. Ни в одном другом источнике не содержится, в частности, указания на самый факт личного знакомства Чичерина с автором «Губернских очерков». См. Б. Н. Чичерин, Москва сороковых годов, М. 1929, стр. 221—222.

После смерти Салтыкова Безобразов, намереваясь «почтить память дорогого и близкого» писателя, выступил в печати со статьей, представлявшей собой образец либеральной фальсификации Щедрина (Вл. Безобразов, Памяти М. Е. Салтыкова. — «Новости и Биржевая газета», 1-е изд., 1889, № 134, от 17 мая).

...Панаев выставляет Щедрина далеко ниже Печерского... — Имеется в виду очередной фельетон И. И. Панаева («Нового поэта») «Петербургская жизнь» в четвертой книжке «Современника» за 1857 год. Панаев, однако, вовсе не «выставляет» Щедрина «ниже» Печерского. Он передает разговор трех собеседников о так называемой обличительной литературе, и по ходу изложения этого разговора упоминает *сначала* о «прекрасном рас-

сказе» Печерского «Поярков», а затем о «Губернских очерках» Щедрина и о «Доходном месте» Островского.

...все пристаивал ко мне: да что, скоро ли дадите мне хоть один «Очерк»... — Панаев «приставал» к Салтыкову по настоянию Чернышевского, заменявшего в это время на посту редактора «Современника» Некрасова, находившегося за границей. В письме к Некрасову в Париж, от 7 февраля 1857 года, Чернышевский писал: «Я постоянно просил Ив. Ив. <Панаева> хлопотать, чтобы приобрести Щедрина, — он не мог, хотя, кажется, и старался» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XIV, М., 1949, стр. 338).

...новую комедию, которую отдаю Дружинину... только подлец Фрейганг перечертил некоторые фразы... — «Новая комедийка» — это «Просители. Провинциальные спены». Была напечатана в издававшейся А. В. Дружининым «Библиотеке для чтения», т. 143, 1857, май, стр. 1—32 (вошла в «Губернские очерки»). О том, что в журнальном тексте пьесы были сделаны цензором Фрейгангом купюры, до сих пор не было известно (ср. о вмешательстве драматической цензуры в «Литературном наследстве», т. 13—14, 1934, стр. 117—120).

Стр. 435. *Вечером я был у Мельникова...* — Писатель П. И. Мельников (А. Печерский) в описываемое время служил чиновником особых поручений в министерстве внутренних дел.

Стр. 436. «Дядя Поликарп». — Рассказ П. И. Мельникова (А. Печерского) «Дедушка Поликарп» был опубликован в 1857 году во второй книжке майского номера «Вестника Европы».

...я весьма доволен статьями Щедрина и Мельникова, раскрывшими многие гадости, совершаемые раскольниками... — Автор дневника незакономерно сближает «статьи» (то есть рассказы) о расколе Щедрина и Мельникова-Печерского. Отрицательное отношение Щедрина к расколу-старообрядчеству, в котором он усматривал «болезненное уклонение народной жизни», подлинно «темное царство», определялось его взглядами просветителя и было глубоко принципиально. Ни перемена правительственного курса в отношении раскольников при воцарении Александра II, ни, с другой стороны, появившаяся в революционных кругах идеализация раскола как оппозиционной силы не заставили Салтыкова изменить свою точку зрения. Иное мы видим у автора «В лесах» и «На горах». Один из наиболее последовательных проводников политики жестокого преследования раскольников при Николае I, идеолог и организатор этой политики, Мельников сначала разоблачал в своих рассказах «тайны раскольниковьего мира», а с поворотом правительственного курса обратился в своей

работе художника-бытописателя раскольниковой среды к идеализации ее реакционных устоев.

...разговорились о Тютчеве... — Салтыков не мог лично знать Тютчева, увековеченного Герценом в «Былом и думах». Тютчев был уволен с поста вятского губернатора и вообще от службы еще в 1837 году. Однако, как видно, в Вятке долго помнили о его «подвигах».

Стр. 437. *...в нерехотском городническом правлении...* — то есть в Городничем правлении уездного города Нерехта Костромской губернии.

«Богомольцы, странники и проезжие». — Название раздела в «Губернских очерках», состоящего из пяти рассказов: I. «Общая картина»; II. «Отставной солдат Пименов»; III. «Пахомовна»; IV. «Хрептюгин и его семейство» и V. «Госпожа Музовкина». Эта часть «Губернских очерков» появилась в 1857 году в первой августовской книжке «Русского вестника». В журнальной публикации раздел был посвящен С. Т. Аксакову.

...я все спорил с Салтыковым о последней его пьесе. — «Пьесой» здесь назван все тот же раздел из «Губернских очерков» «Богомольцы, странники и проезжие». См. предыдущий комментарий.

...а он сам предпочитает «Пахомовну». — В рассказе «Пахомовна» сказалось кратковременное влияние на Салтыкова славянофильских интересов в области изучения религиозного сознания русского народа и воздействий, сказываемых на это сознание церковной и раскольниковой «книжностью». В письме к С. Т. Аксакову от 31 августа 1857 года Салтыков следующим образом определил общую мысль, которую он намеревался провести «через весь ряд рассказов», задуманных для той части «Губернских очерков», которую он озаглавил «Богомольцы, странники и проезжие» и которую, как сказано выше, посвятил в печати автору «Семейной хроники». «Мысль эта, — писал Салтыков, — степень и образ проявления религиозного чувства в различных слоях нашего общества. Доселе я успел высказать взгляд простого народа устный (в рассказе солдата) и книжный (Пахомовна), а отчасти взгляд разбогатевшего купечества. Затем предстоит еще много <...>» (XVIII, 129). В поисках художественных средств для решения поставленной задачи Салтыков обратился в некоторых рассказах к форме народного ритмического «сказа». Разработкой этой формы он очень увлекался в это время. Благодаря И. С. Аксакову за его «сочувственный отзыв» о «Губернских очерках» и откликаясь на его намерение выступить с этим отзывом в печати, Салтыков писал ему 17 декабря 1857 года: «Мне хотелось бы,

чтоб Вы высказали несколько слов о положительной стороне их <«Губернских очерков»>. А также нельзя ли будет указать на мои попытки узаконить полуславянскую речь нашего народа (в «Пахомовне», «Аринушке» и пр.); многие истые знатоки русского слова совершенно удовлетворены этими попытками» («Труды Отдела новой русской литературы», Пушкинский дом АН СССР, т. I, М.—Л. 1948, стр. 91—92).

Стр. 438. *...она у матери...* — Елизавета Аполлоновна гостила в это время в имении Салтыковых, селе Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии.

...я записал то, что слышал о них. — Эта запись датирована в дневнике «27/8 Середа» (март—апрель 1857 года) (ГПБ. — Архив Артемьева, К — I, № 17/1, л. 52 об.). Докладная записка Салтыкова не найдена.

Стр. 439. *...злой разбор салтыковской пьесы: «Смерть Пазухина».* — Имеется в виду фельетон Н. Н. в «Санкт-Петербургских ведомостях», № 261 от 30 ноября 1857 года («Русская литература. Журналы. «Смерть Пазухина», комедия Н. Щедрина...»). Автор с позиций, враждебных демократизму, осуждает не только «Смерть Пазухина», но и все «критическое» или «щедринское направление» в литературе.

«Свет не без добрых людей» — пьеса Н. М. Львова («Отечественные записки», 1857, № 3—4). Одно из характерных произведений «литературы благонамеренных усилий». Суть пьесы сводится к тому, что герой ее «идеальный чиновник» одерживает моральную победу над «дурным чиновником», проворовавшимся становым приставом, и разоблачает его.

«Чиновник» — упомянутая выше либерально-обличительная пьеса В. А. Соллогуба.

С. Н. Егоров

ВОСПОМИНАНИЯ О М. Е. САЛТЫКОВЕ

Печатается по тексту газеты «Сын отечества», 1900, №№ 135 и 138 от 18 и 21 мая.

Стр. 443. *Живо помню восторг молодости, воспитанной на Белинском, и смущение, даже страх, людей старого склада при его назначении в Рязань...* — Столь же разноречиво отнеслось к предстоящей административной деятельности сатирика общественное мнение не только в Рязани, но и в Петербурге и в Москве. Если Добролюбов полагал, что Салтыков «оживит, вероятно», рязанское общество (см. вводную заметку к настоящей публикации),

то В. С. Аксакова, отражая, нужно думать, общее мнение членов своей семьи, заявляла в письме к М. Г. Карташевской от 5 апреля 1858 года: «...сегодня явится Щедрин (Салтыков, автор «Губернских очерков»), также самый жаркий почитатель отесенькиных сочинений <то есть сочинений С. Т. Аксакова.— С. М.>. Он едет в Рязань вице-губернатором и распугает, верно, всю губернию своим появлением...» (ИРЛИ, 10625, ХУС. 22, л. 104 об.).

Пришел он в присутствие... — Губернское правление помещалось в верхнем этаже большого казенного здания на Соборной (ныне Советской) площади рязанского кремля. Теперь здесь находится типография.

Стр. 444. *...губернией управлял один Салтыков.* — Мемуарист говорит здесь (несколько преувеличивая) о фактической роли Салтыкова в управлении губернией. Формально же Салтыков исправлял должность губернатора в общей сложности лишь около трех с половиной месяцев: с 7 по 15 октября 1858 года, с 16 по 31 января, с 11 по 14 мая, с 15 по 23 и с 24 по 27 июня, с 15 по 29 сентября и с 24 декабря 1859 года по 23 января 1860 года (ЦГИАЛ, ф. м-ва финансов, № 560, оп. 16, 1864 г., д. № 130: «Сведения о службе д. ст. сов. М. Е. Салтыкова», лл. 60—62).

Стр. 445. *За это время были напечатаны: «Скрежет зубовый» и «Ваня и Миша»* — В действительности за двухлетие первой службы в Рязани Салтыков напечатал в Петербурге и Москве не два, а семь небольших произведений: «Генерал Зубатов», «Развешенное жите», «Гегемониев», «Госпожа Падейкова», «Погребенные заживо», «Яшенька» и «Скрежет зубовый». С другой стороны, некоторые из произведений, написанные в Рязани или вскоре после отъезда оттуда, но связанные преимущественно с рязанскими впечатлениями, появились в печати позднее или же вовсе тогда не появились, запрещенные цензурой. Таковы: «Наш дружеский хлам», «Соглашение», «Еще скрежет зубовый», «Миша и Ваня».

Имение у помещицы взято было под опеку, а она была предана уголовному суду. — Днем 27 сентября 1859 года два мальчика из крепостных дворовых людей, находившиеся в услужении у рязанской помещицы Кислинской, братья Иван — четырнадцати лет и Гаврила — одиннадцати лет, покушались на свою жизнь. Они решили зарезаться в соседнем саду. Младший погиб, старшего удалось вылечить. К своему решению мальчики были приведены жестокими истязаниями, которым они многократно подвергались со стороны Кислинской и жившего с ней вместе отставного майора Вельяшева, тоже местного помещика. Узнав о происшествии вечером того же дня, Салтыков утром 28 сентября

распорядился начать уголовное дело против Кислинской и Вельяшева. Дело было начато и велось под неослабным контролем Салтыкова, возбуждая против него все нараставшую ярость не только дворян-крепостников, но и всесильного откупного мира, поскольку Вельяшев был управляющим имениями рязанского откупщика миллионера Рюмина, и Рюмин не жалел средств, чтобы восстановить против Салтыкова всю губернию. В этой неравной борьбе Салтыков не мог не потерпеть поражения и действительно потерпел его. Все его усилия, направленные на то, чтобы Кислинская и Вельяшев понесли за свое зверство суровое наказание, оказались тщетными. Решение рязанского уголовного суда, санкционированное высшей инстанцией — судебной палатой, гласило: «Причину же самоубийства мальчиков Гаврилы и Ивана Афанасьевых предать воле божьей». Дело Кислинской и Вельяшева легло в основу одного из наиболее ярких антикрепостнических произведений Салтыкова — рассказа «Миша и Ваня» («Современник», 1863, № 1—2). Подробное изложение дела по сохранившимся архивным документам см. в статье: В. М. Гайдук о в а, М. Е. Салтыков как администратор. — «Русская мысль», 1914, № 6, стр. 113—128.

...в печати появился его очерк «Мой старый' дружеский хлам». В нем можно видеть господ рязанцев того времени... — В сатирических образах очерка «Наш дружеский хлам» («Современник», 1860, № 8) мемуарист усматривал черты портретного сходства со следующими рязанскими чиновниками: «Генерал Голубчиков» — председатель Казенной палаты действительный статский советник Н. Г. Вишневский, «Рылонов» — ревизор той же палаты надворный советник А. Н. Леонов; «Губернский Сенека» — правитель канцелярии губернатора коллежский ассессор Н. И. Дмитриевский.

Стр. 446. По более серьезным предметам Салтыков брал все дело и писал постановление с изложением дела. — Столь необычный для руководителей губернской администрации той поры метод личного участия в рассмотрении самого существа дела поражал, судя по воспоминаниям, всех сослуживцев Салтыкова. И когда губернатор М. К. Клинггенберг решил возбудить ходатайство о награждении Салтыкова за отличие чином статского советника, он начал свое представление в министерство (от 24 февраля 1859 года) такими словами: «Вице-губернатор Салтыков не только занимается рассмотрением дел при докладе к присутствию губернского правления, но в большой части случаев принимает личное участие в работах чиновников по самому приготовлению докладов...» («Труды Рязанской ученой архивной комиссии 1913 г.», т. XXVI, вып. 1, Рязань, 1914, стр. 41—48).

Стр. 447. Все лично писанные Салтыковым проекты <...> в оригинале и теперь хранятся в архивах. — Перечень, хотя и далеко не полный, сохранившихся в Рязанском областном историческом архиве служебных бумаг, писанных Салтыковым, см. в «Литературном наследстве», т. 13—14, 1934, стр. 621—623.

Один городничий (Улан-Полянский)... — Рязский городничий, майор Улан-Полянский, взяточник и вор. По другому делу Салтыков предал его суду рязанской уголовной палаты, но он умер до объявления приговора. См. Н. В. Дризен, М. Е. Салтыков в Рязани. — «Исторический вестник», 1900, № 2, стр. 607—613.

«Сечение продолжалось так долго, что Ерин, присутствуя при экзекуции, выкурил три трубки табаку...» — Через много лет в «Пошехонской старине» Салтыков увековечил эту подробность в сцене кровавой расправы помещика-истязателя Савельцева над крепостной женщиной Улитой (глава «Тетенька Анфиса Порфирьевна»): «Коренастый инородец, постепенно озлобляясь, сыпал удар за ударом мерно, медленно, отсчитывая: раз-два... Савельцев безучастно выкуривал трубку за трубкой, пошучивая» (XVII, 141).

Стр. 449. В Рязани тогда был чиновник С. <...>. Этот чиновник поместил в «Московских ведомостях» статью под заглавием: «Еще о чиновниках». — Точное название статьи: «Еще несколько слов о чиновниках». Статья появилась 12 августа 1858 года в № 96 «Литературного отдела «Московских ведомостей». Она была написана неким Смирновым — в ту пору младшим чиновником (стряпчим) Рязанской палаты государственных имуществ, подписавшимся псевдонимом «Ф. Сбоев». Мы ничего не знаем об этом человеке, кроме тех скудных сведений, которые сообщаются о нем в комментируемых воспоминаниях и в записанных Г. А. Мачтетом мемуарных рассказах рязанцев о Салтыкове (см. стр. 463—465). В данном случае нас интересует, однако, не столько сам Смирнов, сколько его статья. По-видимому, она действительно произвела сильное впечатление на Салтыкова и заставила его изменить кое-что в своей административной практике. По словам Мачтета, опиравшегося на рассказ не названного им свидетеля-очевидца, причиной публичного протеста Смирнова явилось допущенное Салтыковым превышение власти. Он потребовал от своих подчиненных дополнительных служебных занятий от 8 до 10—11 часов вечера ежедневно, причем без какого-либо увеличения платы. Вечернее посещение присутствия ставило в особенно трудное положение мелких чиновников, ютившихся на далекой окраине Рязани — в Солдатской слободе (увековеченной, кстати сказать, в «Истории одного города»). Смирнов вступился в своей статье за чиновников-бедняков и достиг цели. Согласно тому же источнику «Салтыков,

как только прочел <статью>, сейчас же отменил свое распоряжение и поехал в Солдатскую слободу посмотреть, как действительно живут его подчиненные».

Возможно, что факты, сообщенные Мачтетом, в точности соответствовали действительности и что именно они явились внешним поводом для появления обличительной корреспонденции Ф. Сбоева. Однако ни имя Салтыкова, ни его распоряжение о вечерних занятиях в статье не упомянуты. Автора интересовали не отдельные лица и частные случаи, а общая и принципиальная критика того «жестокоего и одностороннего направления», которое, по его мнению, было внесено в практику борьбы со взяточничеством и другими пороками мелкого чиновничьего люда провинции — людей X класса — идеальными «Надимовыми». Автору ненавистен этот образ неподкупного честного служаки из популярной в то время либерально-обличительной пьесы графа В. А. Соллогуба «Чиновник». Он пишет, имея в виду «Надимовых» в жизни, а не в литературе: «Все эти господа обыкновенно делятся на два класса: Надимовы, ничего не делающие и не понимающие дел, и Надимовы свирепствующие». Первые, по мнению автора, «совершенно бесполезны», вторые — «положительно вредны». Критический огонь статьи направлен преимущественно против «Надимовых свирепствующих». О них говорится, что, воодушевляясь идеей правды, эти руководители тем не менее роняют в глазах массы дело водворения справедливости, потому что «примешивают к нему свои нечистые побуждения: самодовольное чванство бескорыстием, непозволительное самоуправство, проявление диких инстинктов их грубой натуры и совершенное неуважение к личности...» Благородные «Надимовы», имеющие возможность быть бескорыстными благодаря тем родовым благам, которые были собраны их предками «разными позволительными и непозволительными путями», не могут или не в состоянии понять главного — материальных и социальных причин тех моральных болезней, которые разъедают мелкий чиновничий люд, — взяточничества в первую очередь. Обращаясь к «жарким последователям карающей Немезиды», усматривающим в беспощадной строгости наиболее действенное средство очищения чиновнической нравственности, автор бросает им свое главное обвинение: «Думали ли вы когда-нибудь о влиянии нужды и бедности на нравственность и служебный характер презираемых вами людей?..»

В заключение автор обращается к «лицам, облеченным властью» с некоторыми советами. «Если начальник, — пишет он, — не всегда имеет средство облегчить для бедного чиновника тяжелую ношу материальных нужд, по крайней мере он не должен давить его своим величием <...>, он обязан быть терпеливым при выслу-

шивании объяснений подчиненного, деликатным в обращении с ним», а в обществе при встрече с младшим чиновником «начальник не должен отказаться подать ему свою благородную руку и приветствовать без педантизма мягким словом, как человек человека, не осматривая его с головы до пят в какое-нибудь глупое стеклышко, нагло уставленное в упор сконфуженному подчиненному». В последних словах подразумевался Салтыков, носивший тогда моноколь. Салтыкова же, в первую очередь, имел в виду автор, предупреждая, что «суровые обличения и грозные преследования должны иметь место только в редких случаях крайней бессовестности», заявляя далее, что и в этих случаях нельзя прибегать «к крайности и возмутительным выражениям брани и угроз, невероятным в наше время, но тем не менее встречающимся между должностными лицами, имеющими даже все признаки образованности».

...начальника З. ... — Исправляющий должность управляющего Рязанской палатой государственных имуществ Н. А. Замятин.

...исходатайствовал для него более почетное и выгодное место по министерству народного просвещения. — Смирнов занял должность инспектора Александровского дворянского воспитательного заведения в Рязани.

Стр. 450. *Из капитальных дел, возникших в салтыковское время, особенно замечательны два: по Хлудовской фабрике и по Скопинскому банку. —* Материалы обоих дел содержали весьма яркую и типичную картину разгула помещичье-буржуазного хищничества в канун крестьянского освобождения. Оба дела не просто «возникли в салтыковское время», но были раскрыты самим Салтыковым и переданы им в уголовно-следственное производство. Однако, так же как и в упомянутом выше деле о зверствах Кислинской и Вельяшева, виновные наказаны не были. После отъезда Салтыкова из Рязани они без особого труда нашли способы окончить дела без сколько-нибудь серьезных для себя последствий.

Еще находясь в Рязани, Салтыков использовал материал дела по Хлудовской фабрике в одноактной комедии «Съезд», запрещенной тогда цензором и напечатанной спустя три года под заглавием «Соглашение» (III, 84—100), а также в статье «Еще скрежет зубовный», опять-таки запрещенной цензором и появившейся в печати лишь в 1915 году (III, 450—462). О том же деле Хлудовых, как о типичном для эпохи начала крестьянской реформы, Салтыков рассказал впоследствии в знаменитом «Введении» к «Мелочам жизни» (XVI, 438—440). В Рязанском областном историческом архиве выявлено лишь начало дела Хлудовых. Оно находится в фонде канцелярии рязанского губернатора (№ 1690/45, лл. 4—38).

и называется: «Дело по отношению товарища министра внутренних дел о неблаговидных действиях некоторых помещиков Егорьевского уезда при увольнении своих крестьян», 1858 г. Изложение и характеристику дела см. в книге: А. П о в а л и ш и н, Рязанские помещики и их крепостные, Рязань, 1903, стр. 173.

Что касается Скопинского банка и его главы купца Рыкова, то они также не раз упоминаются в салтыковской сатире в разделах о хищничестве и хищниках, но преимущественно в связи с позднейшими событиями — знаменитым крахом в 1884 году этого грабительского предприятия, разорившим множество мелких вкладчиков. См., например, «Самодовольная современность» (VII, 165), «Пестрые письма. Письмо IV» (XVI, 319—322) и др. Архивные первоисточники дела неизвестны.

Стр. 451. ...дело о помещике Д—ве... — «Дело о жестоком обращении помещика Давыдова со своими крестьянами». Оно сохранилось в Рязанском областном историческом архиве (ф. губ. предводителя дворянства № 99, оп. 39, 1857, д. 16 557, св. 23).

Стр. 452. С губернатором Салтыков был в хороших отношениях, но под конец разошелся с ним. — Речь идет о Н. М. Муравьеве, назначенном в Рязань губернатором вместо М. К. Клингенберга в сентябре 1859 года. О взаимоотношениях Салтыкова и Муравьева см. в рассказах, собранных Г. А. Мачтетом, стр. 466—467.

Вскоре министр <...> вызвал его в Петербург... — Салтыков был вызван в столицу министром Ланским в середине марта 1860 года и с 19 числа участвовал в заседаниях учрежденной при министерстве внутренних дел комиссии о губернских и уездных учреждениях.

Г. А. Мачтет

ИЗ СТАТЬИ «М. Е. САЛТЫКОВ В РЯЗАНИ»

Печатается по тексту «Газеты А. Гатцука», 1890, № 16 и 17, от 29 апреля и 6 мая.

Стр. 457. Назначение Салтыкова было встречено многими из служивших в губернском правлении прямо враждебно, ибо они понимали, что автор «Губернских очерков», «писатель» будет непременно ярким врагом взяточничества... — В статье Н. В. Дризеня «М. Е. Салтыков в Рязани» читаем: «По словам покойного А. М. Варницкого, бывшего в 1858—1859 гг. непременным членом ныне упраздненного приказа общественного призрения, Салтыков, будучи вице-губернатором, вел сильную борьбу с чиновниками губернского правления, и особенно с неким советником одного, относительно взяточничества...» («Исторический вестник», 1900, № 2, стр. 613, примеч.).

Стр. 458. *«В короткое время большая часть состава служащих губернского правления обновилась, вошли новые элементы, желавшие служить честно...»* — Интересное, хотя и восходящее к тенденциозному источнику, подтверждение результатов учиненной Салтыковым «чистки» губернского правления, находим в «Поздних воспоминаниях...» А. Д. Шумахера, в ту пору ближайшего сотрудника Н. А. Милютина по хозяйственному департаменту министерства внутренних дел («Вестник Европы», 1899, № 4, стр. 706—707).

О том же, что Салтыкову удалось подобрать более добросовестных молодых сотрудников, мы узнаем из письма А. В. Дружинина к П. В. Анненкову от 13 июня. В этом письме излагается содержание не дошедшего до нас письма Салтыкова к Дружинину из Рязани от начала июня 1858 года («Тургенев и круг «Современника», М. — Л. 1930, стр. 238).

Стр. 459. *Салтыкову пришлось просматривать лично каждую бумажку, самому корректировать ошибки, вводить смысл в безграмотную тарбарщину и снова возвращать бумагу в «стол» для приведения ее в должный вид.* — О том же, многократно писал и сам Салтыков в письмах из Рязани, например, 1 октября 1858 года В. П. Безобразову: «А здесь я решительно бедствую, потому что окружен людьми безграмотными и бессмысленными и должен один работать за всех и исправить то, что нагадила столетняя кляуза» (XVIII, 138). «Стол» в канцеляриях государственной службы того времени назывался разряд дел, находившийся в ведении одного ответственного чиновника — столоначальника — с помощником и писцами.

Стр. 462. *...и мы непременно воспользуемся ими для нашей будущей статьи.* — Это намерение Г. А. Мачтет не осуществил (см. вводную заметку).

Стр. 463. *Предшественниками Салтыкова дела были очень запущены...* — Об этом Салтыков писал брату Дмитрию Евграфовичу 20 июня 1858 года. «Подобного запущения и заустения я никогда не предполагал, хотя был приготовлен ко многому нехорошему; уж одно то, что в месячной ведомости показывается до 2 тысяч бумаг не исполненных, достаточно покажет тебе, в каком положении находится здешнее губернное правление» (XVIII, 135).

...за них вступился местный корреспондент, выступивший с негодующей статьей в тогдашних «Московских ведомостях», в одном из июньских номеров. — Сведения в деталях не точны. См. об этом в комментариях к воспоминаниям С. Н. Егорова, стр. 788—790.

Стр. 464. *Вскоре после этого г. Смирнов <...> принял на себя, по его <Салтыкова> просьбе, редактирование неофициальной части «Губернских ведомостей».* — Документальное подтверждение

этому сообщению неизвестно, но оно правдоподобно. Обязанный по должности вице-губернатора редактировать местные «Губернские ведомости», Салтыков, как писатель, не мог не подумать об оживлении газеты, особенно ее литературной, так называемой «неофициальной части». Этого ждало от него естественно и рязанское общество, и Салтыков, со своей стороны, по-видимому, дал какие-то обещания. Занятый по горло административными делами по управлению губернией, Салтыков должен был искать себе помощника для задуманных преобразований в газете. Возможно, что его выбор действительно остановился на Смирнове. Салтыков подписывал «Рязанские губернские ведомости» с № 16 от 19 апреля 1858 года до № 9 от 5 марта 1860 года. Изучение газеты за это время, с точки зрения выявления роли в ней Салтыкова, еще не произведено.

Стр. 465. *Эти письма войдут целиком в нашу последующую статью о Салтыкове.* — Сын Г. А. Мачтета говорил нам в 1933 году, что в бумагах его отца хранилось около десятка писем Салтыкова, но они погибли во время пожара. Неизвестно, были это письма только к Смирнову или и к другим рязанцам. Ничего неизвестно и о «дружбе» со Смирновым, которая будто бы продолжалась «до самой смерти Салтыкова».

Стр. 465—466. *«На террасе, за столом, — пишут нам, — каждый вечер можно было видеть Михаила Евграфовича, окруженного лучшими, интеллигентными людьми Рязани того времени: Офросимовым, кн. Волконским (которого Михаил Евграфович в шутку называл «Жюль Фавром с затылка») и другими передовыми впоследствии деятелями земской реформы».* — Рассказ о посещениях рязанского городского сада и участии Салтыкова в будто бы происходивших там «диспутах» на злободневные общественно-политические темы вызвал опровержение со стороны вдовы писателя. Ознакомившись с этим рассказом по только что вышедшей и присланной ей автором книге К. К. Арсеньева «Салтыков-Щедрин», Елизавета Аполлоновна обратилась к нему 25 апреля 1906 года с письмом, в котором писала: «...благодарю Вас за книгу. Удивляюсь, как Вы хорошо могли узнать всю нашу жизнь. Но только тот, который рассказал Вам о рязанском городском саде, все выдумал. Мы в Рязани очень подружились с Офросимовыми, очень богатыми помещиками, очень умными, которые летом жили в своем подрязанском имении, вот у них в саду может быть удалось кому-нибудь слушать, что скажет Михаил Евграфович. Но он там больше играл в карты» (ИРЛИ. Поступило в 1951 году вместе с бумагами М. М. Стасюлевича из библиотеки Академии наук).

Жена Салтыкова была далека от идейных интересов своего мужа и всегда, даже в первые годы их совместной жизни, имела

собственный круг друзей и знакомых — людей обычно чуждых и даже враждебных писателю. Поэтому точность ее свидетельства о том, будто бы в конце пятидесятих годов не только она, но и Салтыков «очень подружились» с Офросимовыми, находится под сомнением. Глава этой семьи, местный богатый помещик Ф. С. Офросимов, представитель Пронского уезда в Рязанском губернском комитете по крестьянскому делу, по своей тогдашней общественно-политической позиции должен был находиться в стане врагов, а не друзей Салтыкова. По словам А. И. Кошелева, Офросимов — «человек умный, довольно образованный, весьма хитрый и ловкий» — возглавлял крепостническое большинство в комитете («Записки Алéксандра Ивановича Кошелева. 1812—1883 годы», Berlin, 1884, стр. 97). Возможно, однако, что эта характеристика пристрастна, необъективна. Офросимов резко выступал против Кошелева в комитете и был одним из участников устроенной ему в 1858 году обструкции. «Записки» Кошелева свидетельствуют, что он не забыл об этих фактах и не простил их Офросимову. Быть может, с другой стороны, и мемуарист и Елизавета Аполлоновна хронологически смещают события и относят к концу пятидесятих годов то, что по внешним признакам имело место в конце шестидесятых. О том же, что Салтыков во время своей второй службы в Рязани будто бы «очень был дружен» с Офросимовым, свидетельствует в своих воспоминаниях Н. Н. Кузнецов (см. стр. 521).

Что касается другого, упомянутого мемуаристом, постоянного собеседника Салтыкова, кн. С. В. Волконского, то он также входил в губернский комитет, но принадлежал к его меньшинству, состоявшему, по словам того же Кошелева, «из робких либералов». С первых дней существования Рязанского земства и Волконский и Офросимов играли в нем видную роль. «Жюль Фавром с затылка» Салтыков прозвал Волконского, вероятно, за его пристрастие к ораторским выступлениям в комитете и в рязанских гостиних, несмотря на присущий ему дефект речи.

Стр. 466. Столкновения Салтыкова с губернатором начались давно и тянулись долго, пока не дошли до открытой ссоры, поводом к которой послужило одно крестьянское дело (сущность этого дела мы изложим в последующей нашей статье по документальным данным). — Статья эта неизвестна. По-видимому, Мачтет хотел изложить «дело Егорьевского земского суда об убийстве крестьянина деревни Мелиховой помещицы Серебряковой Ивана Григорьева». Дело возникло в 1859 году. Сущность его заключалась в следующем. Иван Григорьев возил с тока овес. Помещик Серебряков накинулся на него с плетью и приказал своему старосте и дворовым бить его за то, что он будто бы украл несколько мер овса. От

побоев Иван Григорьев умер там же на току. При рассмотрении «дела» в Рязанском губернском правлении 6 октября 1859 года под председательством Салтыкова, было постановлено: 1) «дело» возвратить Егорьевскому суду для дополнительного следствия о жестоком обращении помещицы Серебряковой со своими крестьянами; 2) препроводить копию следственных материалов губернскому предводителю дворянства для взятия имения в опеку; 3) предписать Егорьевскому суду выслать Серебрякову на жительство из ее поместья в Рязань; 4) принять деятельные меры к аресту выехавшего из имения Серебрякова и 5) доложить о случившемся министру внутренних дел. Предпринятое Салтыковым преследование виновников очередного крепостнического произвола и жестокости вызвало новый прилив ненависти и злобы к нему со стороны местных помещиков. В союзе с ними оказался и губернатор. При вторичном рассмотрении «дела» в губернском правлении губернатор добился смягчающего постановления и соответствующим образом доложил о «деле» в Петербург. Салтыков резко протестовал и направил министру внутренних дел «особое мнение». Однако «сила вещей» была против Салтыкова. В Петербурге его мнение было признано «незаконным» (ЦГАЛИ, ф. 277, оп. 1, ед. хр. 129, лл. 84 и 86 — частные письма губернатора Н. М. Муравьева к В. М. Лазаревскому от 27 марта и 21 апреля 1860 года). Вслед за тем Салтыков был под благовидным предлогом вызван в столицу и получил новое назначение, в Тверь. Конфликт по «крестьянскому делу» явился заключительным звеном в цепи острых столкновений Салтыкова с губернатором Н. М. Муравьевым, начавшихся вскоре же после появления Муравьева в Рязани (вступил в должность 30 сентября 1859 года), над которой он «разразился — по словам Салтыкова, — подобно Тахтамышу» (XVIII, 147). Вновь назначенный рязанский губернатор был сыном того Муравьева (в ту пору министра государственных имуществ), ярого крепостника и националиста, который вскоре стал палачом польского народа и получил от него прозвище «Вешателя», а от царя — титул «графа Виленского». Герцен писал в «Колоколе» о новом начальнике Салтыкова: «Россия знает, кто такой рязанский губернатор Муравьев, о котором в «Материалах по делу освобождения» сказано: «Один из подлейших людей и сквернейших губернаторов...» («Колокол», л. 93 от 1 марта 1861 года). А сам Салтыков сообщал о нем А. В. Дружинину в письме от 20 ноября 1859 года: «У нас переменяли губернатора и дали одного из сукиных детей Муравьевых. Положение мое самое скверное, и я уже прошу через Милютина о переводе» (XVIII, 147—148).

Начальная стадия конфликта Салтыкова с Муравьевым зафиксирована в одном неизвестном ранее документе — письме В. М. Лазаревского к какому-то из высокопоставленных сослуживцев по министерству государственных имуществ в Петербурге. Автор письма, находившийся в ту пору в Рязанской губернии, писал своему корреспонденту (ЦГАЛИ, ф. 277, оп. 1, ед. хр. 31):

«Пронск, 16 ноября 1859 г.

Перед моим выездом на следствие в Пронск Н. М. <Муравьев> получил прилагаемое письмо, которое просил меня переслать тебе для доклада министру <то есть М. Н. Муравьеву — отцу губернатора. — С. М.>. Живу так себе, особенного ничего. У Муравьева с Салтыковым заваривается каша, и Салтыков хочет выходить, даже просил Муравьева, чтобы он исходатайствовал ему место у отца или чтобы похлопотал о переводе в другую губернию. Муравьев, видимо, желает избавиться от Салтыкова и пожить без него <?> из желания, чтобы об нем не говорили бы, что Салтыков имеет хорошее влияние на дела, а чтобы вся честь принадлежала Муравьеву; но, по моему, Салтыковым нужно бы дорожить для службы, особенно при переменах управления крестьянами. Правда, что Салтыков резок в обращении, но его нельзя не уважать глубоко по его усиленной и разумной деятельности в службе, хотя и не может <?>, конечно, приятно быть в сношениях с ним. По министерству он уступил значительно. Салтыков имеет много завистников и врагов, которые пользуются случаем и трубят во все рога теперь начальству. При выезде моем из Рязани дело было в разгаре — чем-то кончится.

Целую и обнимаю тебя.

В. Лазаревский.

Салтыков ненавидел Муравьева за его крепостничество, за его карьеризм, за то, что в основании всех его действий находилось: «неуважение к чужой мысли, чужому мнению и чужому труду» (XVIII, 147). Свое отношение к Муравьеву Салтыков не скрывал. Больше того, он сделал рязанского «помпадура» — как позже тульского губернатора Шидловского — объектом систематического разоблачения и разнообразных сатирических нападок. Самолюбивый и тщеславный Муравьев был особенно уязвлен одним эпизодом, о котором мы узнаем из его письма к Лазаревскому из Рязани от 9 апреля 1860 года: «...Салтыков, вероятно, для смеха, распустил по городу, что я на святой неделе получу Станислава 1-й степени, эта молва, конечно, разнеслась по всему городу, многие приезжали меня поздравить, конечно, я говорил, что это все сплетни и вздор, но мне не верили, утверждая, что Салтыков видел сам доклад; но

вот прошел 1-й день пасхи, прошла даже и вся неделя, а известия об этой награде нет никакого, да никто и не пишет мне о ней, это все шутики Салтыкова!..» (ЦГАЛИ, ф. 277, оп. 1, ед. хр. 129, л. 85).

Стр. 467. *Одно время он задумал издавать журнал в Москве...* — В 1862 году, «Русскую правду». См. об этом в воспоминаниях А. М. Унковского и комментариях к ним, стр. 650 и 832—834.

В октябре 1867 года он опять появился в Рязани... — Управляющим Рязанской казенной палатой Салтыков был назначен 13 октября, но «появился в Рязани» 8 ноября 1867 года.

В июле 1868 года он опять оставил Рязань и уже навсегда. — Официальная дата окончательной отставки Салтыкова — 14 июня 1868 г. В середине июня (а не в июле) он и выехал из Рязани.

Стр. 469. ...г. Б. — Н. А. Болдарев, рязанский губернатор. См. о нем в воспоминаниях Н. Н. Кузнецова, стр. 520—521.

Д. А. Бырдин

〈У М. Е. Салтыкова в Твери〉

Печатается по тексту журнала «Русская мысль», 1904, № 12, стр. 245—246. Рассказ напечатан в разделе «Заметки читателя» и сопровождается вводными словами редактора журнала В. А. Гольцева (подпись — В. Г.): «Д. А. Бырдин просит меня напечатать следующий рассказ его о встрече с М. Е. Салтыковым. Он характерен для нашей бюрократии».

Стр. 471. *Это было в 1861 или 1862 году.* — Бырдин указывает, что его свидание с автором «Губернских очерков» состоялось в ту пору, когда Салтыков временно управлял губернией. Салтыков замещал тверского губернатора графа П. Т. Баранова трижды: с 20 мая по 6 июня и с 1 августа по 29 октября 1861 года и с 10 ноября 1861 года по 11 января 1862 года. Бырдин обращался к Салтыкову по делу, связанному с введением уставных грамот, а составлять их в Тверской губернии начали не ранее июля 1861 года. Таким образом, беседа Бырдина с Салтыковым происходила либо в августе—октябре 1861 года (что вероятнее), либо в середине ноября 1861 — начале января 1862 года.

Стр. 472. *...я заметил, что, вероятно, многие из его очерков не были напечатаны по не зависящим от него обстоятельствам, он подтвердил мое предположение...* — Как говорил Салтыков Л. Ф. Пантелееву, при печатании «Губернских очерков» в 1856 году цензура «выкинула» одну треть очерков (см. стр. 181 и 718).

Стр. 474. *То, что я рассказал вам <...> факт...* — Достоверность рассказа была взята под сомнение Л. Н. Спасской, выступившей с полемической «Заметкой по поводу невероятного анекдота из Вятской жизни Салтыкова» («Памятная книжка Вятской губернии и Календарь на 1908 г.», Вятка, 1908, отд. II, стр. 121—125). Однако возражения Л. Н. Спасской, не опирающиеся на факты и документы, лишены убедительности.

И. М. М<ихайлов>

М. Е. САЛТЫКОВ В ТУЛЕ (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ СОСЛУЖИВЦА)

Печатается по тексту журнала «Исторический вестник», 1902, № 1, стр. 158—180.

Стр. 478. *...управлявший дотоле Пензенскою казенною палатой.* — Эту должность Салтыков занимал с 6 ноября 1864 года по 11 ноября 1866 года (фактически же с 14 января 1865 года до 20-х чисел ноября 1866 года).

Стр. 479. *...приказ о назначении Салтыкова управляющим к нам состоялся еще 11 ноября, но не скоро дождались мы его прибытия в Тулу...* — О своем перемещении в Тулу Салтыков узнал из посланной ему в Пензу телеграммы директора Департамента государственного казначейства Купреянова от 14 ноября 1866 года. Этой депеше предшествовали две телеграммы Салтыкова, оставшиеся неучтенными в собрании его писем: 1) «Из Пензы, 4 ноября 1866 г. Петербург, директору Департамента госуд. казначейства. — Согласен с удовольствием. Салтыков»; 2) «Из Пензы, 13 ноября 1866 г. Петербург, Литейная, дом Пеля, барону Розену. — Будьте добры уведомите, состоялся ли предложенный мне перевод в Тулу. Ответ уплачен. Салтыков» (ЦГИАЛ, ф. 565, оп. 9, 1866 г. ед. хр. 134563: «О переписке директора Департ. гос. казнач.», лл. 99, 104—105). Получив телеграмму о состоявшемся назначении, Салтыков испросил себе у министра кратковременный отпуск и во второй половине ноября, навсегда расставшись с Пензой, приехал в Петербург, 16 декабря 1866 года канцелярия министерства финансов известила Тульскую казенную палату о том, что Салтыков «по миновании срока дозволенного ему отпуска в Петербург оставлен был с разрешения г. министра здесь на некоторое время по делам службы», (ЦГИАЛ, ф. 560, оп. 16, ед. хр. 130: «Дело о назначении с.с. Салтыкова...», л. 15). В Тулу Салтыков приехал лишь 28 декабря и уже на следующий день вступил в управление (Тульский областной исторический архив. — Запись от 29 декабря 1866 года в «Книге Тульской казенной палаты об увольнении, определении и перемещении чиновников»),

...спрашивает сопровождавших его начальников отделений... — Одним из них был автор публикуемых воспоминаний.

Стр. 480. *...эта выходка не прошла даром для Салтыкова...* — Хулительные слова Салтыкова о «зерцале» — официальном символе самодержавной власти — были немедленно доведены до сведения управляющего III Отделением Мезенцева. В донесении, датированном 7 января 1867 года, тульский жандармский штаб-офицер полковник Муратов сообщал: «Прибывший в Тулу в последних числах минувшего декабря вновь назначенный управляющий Тульской казенной палатою действ. статск. советник Салтыков, вступив в исправление должности, приказал вынести из присутствия палаты зеркало (вопреки 49 ст. 2 тома Общ. Губерн. учрежд.), советников же Казенной палаты и ее секретаря поместил в канцелярии. Сам является в присутствие в пальто и позволяет себе курить, несмотря на то, что в присутствии находится портрет государя императора <...> Слухи о действиях г. Салтыкова разнеслись мгновенно по городу с разными комментариями; должное уважение утрачено <...> Обо всем этом я сегодня довел до сведения тульского губернатора <...> (ЦГИАМ, ф. 109, III Отд., 1 эксп., № 7, ч. 50—1866 г.: «О лицах, обращающих на себя внимание правительства», лл. 7—7 об.).

Стр. 487. *...нашелся добрый человек (приехавший с управляющим из Пензы)...* — По-видимому речь идет о бывшем учителе географии пензенской гимназии И. С. Виноградове. См. о нем в воспоминаниях Н. Н. Кузнецова, стр. 514.

Стр. 492. *Еще более своеобразно и несдержанно вел себя Салтыков в отношении к губернатору...* — Дополнительно к сведениям, сообщаемым Михайловым, приведем еще одну неизвестную до сих пор запись В. М. Лазаревского, относящуюся к истории взаимоотношений Салтыкова и Шидловского. Запись датирована 1870 годом.

«Когда Шидловский, назначенный управляющим по делам печати, служил губернатором в Туле, Салтыков там же служил председателем Казенной палаты. Там он написал помещенную после в «Истории одного города» статью под названием «Фаршированная голова». Он читал ее в кружке близких знакомых. Шидловский узнал и в приезд государя жаловался Шувалову. Салтыков рассказывает, что Шидловский чуть не ежедневно присылал ему кипами повторения о недоимках, часто в несколько копеек. После Шидловский жаловался министру, что с Салтыковым нельзя служить, и последний вышел в отставку. О Шидловском он говорить любит, но всегда с пеной у рта» (ЦГАЛИ, ф. 277).

Стр. 493. *Уже в половине января...* — 1867 года.

Стр. 495. ...потребовав лист бумаги, быстро набрасывает на нём жалобу министру на губернатора... — Текст жалобы, написанной и отправленной 13 апреля, — на это число и приходился в 1867 году страстной четверг, указываемый мемуаристом, — напечатан в собрании писем Салтыкова (XIX, 56). Получив жалобу, министр финансов Рейтерн обратился 5 мая к Шидловскому с предписанием, в котором поддерживал Салтыкова в его требовании освободить Казенную палату от «гнета непрерывной ревизии губернаторских чиновников». Оскорбленный Шидловский отвечал Рейтерну 15 мая. Он язвительно заявлял министру о своем намерении самому ездить за справками в палату в надежде, что может быть его-то Салтыков допустит (ЦГИАЛ, ф. 560, оп. 16, ед. хр. 130: «Дело о назначении с. с. Салтыкова...» лл. 20—21 и 22—25).

Стр. 495—496. Вскоре после того Салтыков испрашивает себе у министра десятидневный отпуск в Петербург <...> и, получив разрешение, немедленно уезжает на святой неделе... — Просьба о поездке в Петербург для «некоторых объяснений по делам службы» была послана Салтыковым не после, а до эпизода 13 апреля (см. предыд. комментарий) — 5 апреля. Разрешение Рейтерна, датированное 14 апреля, пришло в Тулу 20 апреля. Выехал Салтыков в Петербург 21 или 22 апреля, то есть в пятницу или в субботу пасхальной недели (ЦГИАЛ, ф. 560, оп. 16, ед. хр. 130, цит. дело, лл. 16—17; ср. XIX, 55).

Стр. 496. В последних числах августа получается телеграмма... — Телеграмма, извещавшая Салтыкова о необходимости избрать другую палату была им получена не в августе, а 18 сентября. На другой день Салтыков отправил ответную телеграмму: «Из Тулы 19 сентября 1867 г. — Петербург. Директору Департамента госуд. казначейства Купреянову. — Прошу обождать, в субботу буду в Петербурге лично. Салтыков» (ЦГИАЛ, ф. 565, оп. 9, ед. хр. 34566: «О директорской переписке Департамента гос. казначейства», 1867—1868 гг., л. 49). Салтыков просил задержать решение о переводе, так как надеялся остаться в Туле. Но, приехав 23 сентября в столицу, он узнал, что Шидловский жаловался на него самому царю и что Рейтерну с трудом удалось заменить отставку, грозившую Салтыкову, переводом в другой город.

Стр. 497. ...приказ о перемещении Салтыкова <...> в Рязань. — Это приказ по министерству финансов № 19 от 13 октября 1867 года.

...после 20-го числа сентября, возвращается в Тулу Салтыков... — Время возвращения обозначено ошибочно. В Тулу для сдачи должности Салтыков приехал в конце октября или в первых числах

ноября. Это следует из сопоставления дат следующих документов: 19 октября 1867 года помечено отношение канцелярии министерства финансов и Рязанскую казенную палату, в котором она извещалась, что ее вновь назначенный управляющий Салтыков «оставлен по приказанию г. министра на некоторое время по делам службы в С.-Петербурге». А 8 ноября датирован рапорт Салтыкова министру о том, что он вступил в управление палатою в Рязани (ЦГИАЛ, ф. 560, оп. 16, цит. дело 130, лл. 26—27).

Стр. 500. *...никогда не пользовался страшным для них <чиновников> третьим пунктом...* — На основании статьи 838 пункта 3 «Устава о службе гражданской», чиновник не способный, по убеждению начальства, к исправлению возложенной на него должности или «сделавший вину, известную начальству, но такую, которая не может быть доказана фактами», мог быть уволен от службы без просьбы с его стороны и без объяснения причин. Увольнение по *третьему пункту* применялось преимущественно как средство удаления из государственного аппарата «неблагонадежных» лиц.

Стр. 502. *...через несколько месяцев по перемещении из Тулы он вынужден был искать себе средств к жизни на другом более сродном ему поприще...* — Об обстоятельствах окончательной отставки Салтыкова летом 1868 года см. комментарий к воспоминаниям Н. Н. Кузнецова.

Н. Н. Кузнецов

ВОСПОМИНАНИЯ О М. Е. САЛТЫКОВЕ-ЩЕДРИНЕ (1865—1868)

Печатается по тексту журнала «Исторический вестник», 1908, № 12, стр. 976—986.

Стр. 513. *...переведен из Пензы в Тулу на ту же должность.* — Перевод состоялся в конце 1866 года. См. комментарий на стр. 798—799.

...переведен в Рязань вследствие ссоры с тульским губернатором Шидловским... — Салтыков вступил в управление Рязанской казенной палатой 8 ноября 1867 года.

Стр. 516. *...ревизской сказки...* — Ревизскими сказками назывались списки лиц, подлежащих обложению налогами и отбыванию рекрутской повинности.

Стр. 520—521. *...Салтыков после двух или трех лет своей службы в Рязанской казенной палате вышел в отставку, главным образом, вследствие неприятностей с губернатором Болдаревым, про которого он говорил, что «его за глупость в губернаторы поставили».* — Служба Салтыкова в Рязанской казенной палате продолжалась не два или три года, а всего семь месяцев. Непосредственным пово-

дом к окончательной отставке, предложенной Салтыкову «сверху» (хотя она и соответствовала в то время намерениям писателя)) действительно послужили жалобы губернатора Болдарева. 4 мая 1868 года управляющий III Отделением и шеф жандармов гр. Шувалов получил «совершенно конфиденциальное» письмо от министра внутренних дел Тимашева. Основываясь на только что полученном донесении губернатора Болдарева от 18 апреля 1868 года, министр спешил информировать шефа жандармов о возникшем политическом неблагополучии в аппарате управления Рязанской губернии. Речь шла «о противодействии, оказываемом ему <губернатору> в успешном управлении вверенною ему губерниею некоторыми из служащих в Рязани лиц...» (ЦГИАМ, ф. III Отделения, № 109, 1 эксп., 1866, д. 7, ч. 38: «О лицах, обращающих на себя внимание правительства», л. 7. Основные документы этого дела см.: С. Макашин, Новое о Щедрина. — «Литературная газета», 1946, № 8, от 16 февраля). Министр запрашивал III Отделение, не располагает ли оно какими-либо сведениями о «возникших недоразумениях и о лицах, замешанных в них». Список лиц, приложенный к донесению Болдарева, открывался именем Салтыкова. Шувалов распорядился собрать все материалы III Отделения о Салтыкове и, ознакомившись с ними, отправил 7 мая свой ответ министру. Шеф жандармов «полагал бы необходимым удаление его <Салтыкова> из Рязани...» А несколько позже, в конце мая Шувалов представил Александру II доклад не только об удалении Салтыкова из Рязани, но и о впадении ему впредь занимать какие-либо должности на государственной службе. О Салтыкове в этом документе говорилось, что он «постоянно обращал на себя внимание высшего правительства как чиновник, проникнутый идеями, не согласными с видами государственной пользы».

Стр. 521. ...в лице субъекта блиставшего французским языком и белыми зубами. — В рассказе «Новый Нарцисс, или Влюбленный в себя» («Отечественные записки», 1868, № 1) нет описания такого «субъекта».

Салтыков <...> очень был дружен с ненавидевшим также губернатора председателем Рязанской уездной земской управы — Федором Сергеевичем Офросимовым... — Мемуарист неточно передает характер взаимоотношений, существовавших между Салтыковым и Офросимовым. В представлении губернского общества они могли казаться «друзьями» и единомышленниками, так как оба враждовали с губернатором, хотя и по разным причинам. Но никакой идейной близости между ними не было. Напротив того, именно деятельность Офросимова дала Салтыкову немало материала для сатиры на новые земские учреждения.

...губернатор Болдарев был уволен за известное дело, происшедшее во время его охоты... — На это «дело» — уголовное преступление, совершенное губернатором в августе 1873 года, — Салтыков сразу же отозвался в рассказе «Помпадур борьбы, или Проказы будущего», напечатанном в сентябрьской книжке «Отечественных записок» за тот же год. Для доказательства своей мысли, что «карикатуры нет... кроме той, которую представляет сама действительность», сатирик приводит пример, о котором в цензурно смягченном виде сообщали газеты: «Возьмите для себя исходным пунктом <для рассуждений о «преувеличениях» и «действительности». — С. М.> хотя известие: «из Пронска пишут: вчера наш помпадур, будучи на охоте, устроенной в честь его одним из подгородных землевладельцев, переломил пастуху ребро»... и идите дальше» (IX, 205).

Перед выходом в отставку из Рязани Салтыкову понадобился отпуск в Петербург... — Эта поездка не отражена в официальных документах. Скорее всего Салтыков ездил в Петербург на два-три дня в конце мая 1868 года, сразу же после получения того неизвестного нам письма от Рейтерна, в котором министр сообщал, что «жалобы двух губернаторов в III Отделение» вызывают его на необходимость предложить Салтыкову подать в отставку. См. запись беседы с Салтыковым М. И. Семевского, стр. 529.

М. И. Семевский

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ (6 ФЕВРАЛЯ 1862 г.)

Печатается по тексту «Литературного наследства», т. 13—14, 1934, стр. 523—525. Внесены исправления по подлиннику ИРЛИ (ф. 274, оп. 1, ед. хр. 16, лл. 415а, б, в, г, д, е).

Стр. 526. *Приехал я в С.-Петербург...* — 13 или 14 января 1856 года.

Меня причислили к министерству. — Салтыков был причислен к министерству внутренних дел 12 февраля 1856 года.

Весь труд этот был напечатан особою запискою, и его можно найти в министерстве. — Издание представляет библиографическую редкость. Оно отпечатано в 1856 году в типографии министерства внутренних дел под названием: «Пособия и льготы после Отечественной войны 1812 г. Извлечено из дел бывш. министерства полиции». На обороте последней страницы напечатано: «Составлено под руководством директора хозяйственного департамента МВД <Н. А. Милютин. — С. М.> надворным советником Салтыковым». По свидетельству К. С. Веселовского, «Салтыков, по мере хода этой работы, докладывал свои обозрения Милютину, и тут-то он испытал на себе требовательность Н. А. Случалось, что, побывав

с этим докладом, он возвращался совершенно взбешенный и говорил, что не знает, чего от него хотят, что он все бросит, и т. п.» («Воспоминания К. С. Веселовского». Рукопись. ГПБ в Ленинграде. Сообщено В. Э. Боградом). Что же касается второй «записки» — «свода распоряжений министерства внутренних дел, относящихся до войны 1853—1856 года» — то издание ее найти не удалось. Рукопись же сохранилась и находится в ГПБ.

Стр. 527. *В Государственном совете, при встречах с Паниным, Ростовцевым, быть может Чевкиным, Ланской выносил из-за нас немало нападок.* — Появление «Губернских очерков» вызвало ненависть к их автору со стороны многих руководителей внутренней политики самодержавного правительства, особенно со стороны таких крайних реакционеров, как министр юстиции Панин. По свидетельству осведомленного современника, в разговоре 24 марта 1857 года с высшими чиновниками III Отделения Панин «выразил неудовольствие против <...> общественного мнения», одобряющего «Губернские очерки». Снисходительное отношение правительства к появлению в журнале таких произведений, — убеждал Панин руководителей политического надзора, — «поведет к статьям Герцена» («Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 237). Примерно так же думал и председатель Главного комитета по крестьянскому делу Я. И. Ростовцев, хотя он и занимал в это время относительно либеральную позицию. Когда М. К. Клингенберг, вновь назначенный губернатором в Рязань, куда только что был назначен вице-губернатором Салтыков, явился с благодарностями по начальству, Ростовцев сказал ему: «Ну, очень рад, мой милый, что ты получил губернию; губерния прекрасная, близко от Москвы... и проч. и проч... одно жаль, вице-губернатора к тебе назначили какого! Пишет все эти губернские очерки — человек беспокойный!» Это записал в своем дневнике от 31 марта 1858 года П. И. Мельников (Печерский). Там же находим и другую его запись, вызванную слухами о предстоящем будто бы назначении Ростовцева министром внутренних дел: «У министра внутренних дел был Салтыков Михаил Евграфович, откланивался перед отъездом в Рязань на вице-губернаторство. Ланской говорил ему, между прочим, чтобы он был поосторожнее в литературных делах, потому что бог знает с которой стороны ветер подует. Салтыков в приемной у министра мне говорил, что если будет министром внутренних дел Ростовцев, нам с ним пары <?> не будет» (П. Мельников - Печерский. Полн. собр. соч., т. I, СПб., 1910, стр. 187—188).

...получаю от него приглашение на чашку чая, на Аптекарский остров, на дачу министра. — Разговор Салтыкова с Ланским на даче министра состоялся между 5 и 15 августа 1856 года.

...Гвоздева, человека тогда такого, от которого все зависело в министерстве... — А. А. Гвоздев, ярый крепостник, доверенный человек Панина, занимал должность директора департамента общих дел, то есть был прямым начальником Салтыкова.

...кажется, именно в апреле — Ланской представил меня особым докладом в вице-губернаторы, в Рязань... — Доклад о Салтыкове состоялся 1 марта 1858 года, а «высочайший приказ» о его назначении был подписан Александром II 6 марта. О словах, сказанных царем при назначении Салтыкова, сообщается также в воспоминаниях Белоголового. См. стр. 619—620.

Стр. 528. *И я жил тогда месяца два в С.-Петербурге в 1860 году.* — В апреле и в мае.

И государь согласился на то, чтобы «Салтыкова убрать как беспокойного человека из Тулы». — Об истории и предьистории окончательной отставки Салтыкова, связанной с жалобой тульского губернатора Шидловского царю и III Отделению см. комментарий на стр. 476—477 и 624.

Стр. 529. *...пишет ко мне Рейтерн...* — Письмо это, предположительно от двадцатых чисел мая 1868 года, неизвестно. По-видимому, получив письмо, встревоженный Салтыков сразу поехал на два-три дня в Петербург. См. в воспоминаниях Н. Н. Кузнецова, стр. 521.

Стр. 530. *Я. А. Соловьев упоминает в своих записках, что я <...> составил по поручению министра обзор всех мнений о нашей полиции и составил предположения о том, как ее исправить.* — В мартовской книжке «Русской старины» за 1882 год, в 4-й главе «Записок сенатора Я. А. Соловьева о крестьянском деле» читаем: «Высочайшим повелением, объявленным 18-го февраля 1858, возлагалось на министра внутренних дел (Ланского) и министра государственных имуществ (Муравьева) представить: соображения об усилении земской полиции ввиду предстоящего преобразования крестьянского быта. Дело о полиции, точно так же как вообще об уездных и губернских учреждениях, производилось в земском отделе¹, поэтому оно мне известно не менее крестьянского. Оказалось, что в министерстве внутренних дел существовала особая комиссия о преобразовании полиции, делопроизводителем которой был М. Е. Салтыков, тогда чиновник особых поручений министра внутренних дел и писатель, тогда и ныне... известный в литературе под псевдонимом Щедрина. Я получил от него все производство и обширную записку, в которой заключалось: и историческое обозрение предположений о преобразовании полиции и

¹ С 1857 года Я. А. Соловьев занимал должность управляющего земским отделом министерства внутренних дел. — С. М.

подробный разбор всех недостатков полицейского устройства [и некоторые предположения об устранении их], но, сколько я помню, никакого окончательно сформулированного проекта не было» («Русская старина», 1882, № 3, стр. 562). Именно это место в верстке Семеvский и показывал Салтыкову. Об этом свидетельствует упоминутая в вводной заметке корректурная страница «Записок» Соловьева с пометкой Салтыкова, сохранившаяся в архиве «Русской старины» (автор «Записок» умер еще в 1876 году). Салтыков заявил Семеvскому, что он «решительно» не помнит, составлял ли он «какие предположения об исправлении полиции, или нет». Такое утверждение содержалось в корректурном тексте «Записок», но было вычеркнуто Салтыковым. Этого утверждения уже нет в печатном тексте (см. в приведенной выше цитате из «Записок» слова, взятые в квадратные скобки). Между тем «некоторые предположения» об устранении «недостатков полицейского устройства» Салтыков действительно составлял. См. об этом комментарий к дневнику Артемьева, стр. 777—782.

...два бюста Салтыкова, исполненные Забелло и кем-то другим. — Второй бюст был исполнен в 1882 году скульптором Л. А. Бернштамом. Салтыков высоко ценил этот портрет.

В КРУГУ СЕМЬИ, ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ

Л. Н. Спасская

<М. В. Салтыков и его вятские друзья и юнины>

Печатается с сокращениями по изданию: «Памятная книжка Вятской губернии и Календарь на 1908 год». Вятка, 1908, Отд. II, стр. 77—113.

Стр. 534. *...прожил в Вятке целых восемь лет...* — Салтыков был привезен жандармом в Вятку 7 мая 1848 года, а уехал в Петербург 24 декабря 1855 года.

Стр. 535. *Сам Михаил Евграфович не любил «Запутанное дело» и, когда разговор заходил об этом его сочинении, обыкновенно хмурился и говорил: «И черт меня знает, зачем я написал эту чепуху!»* — В своих письмах из Вятки Салтыков постоянно оценивает «Запутанное дело» как «ничтожную повесть», «опрометчивость», как плод «увлечения молодости» и своего «несколько пылкого характера». Однако эти слова отнюдь не выражали подлинного взгляда Салтыкова на повесть. Отчасти они были внушены соображениями тактического порядка и предназначались для властей, для родственников, для вятского чиновничьего общества. С другой стороны, не желая примириться с постигшим его несчастьем, Сал-

тыков с присущей ему раздражительностью обрушивал проклятия на самого себя и свою повесть. В действительности же «Запутанное дело» было Салтыкову дорого. В 1863 году он включил эту повесть в сборник «Невинные рассказы» и тем самым ввел ее в основной корпус своих сочинений.

Стр. 537. *Все это наложило на Салтыкова неизгладимые следы...* — В мемуарных набросках С. А. Юрьева, товарища детских лет Салтыкова, есть фраза, внесенная, очевидно, в конце 1887 года, после появления в печати первых глав «Пошехонской старины»: «Салтыков безжалостен к своему грустному детству, и это отчасти справедливо: оно рано отравило желчью и ненавистью его духовный организм и навсегда оставило печальную складку в его характере» (Гос. Исторический музей в Москве. Бумаги С. А. Юрьева). Об этой «печальной складке» — элементах грубости в поведении и языке Салтыкова — пишет и Спасская, но пишет не столько по воспоминаниям своих родителей, сколько на основании той же «Пошехонской старины», безоговорочно воспринимавшейся ею в качестве автобиографического документа.

...юного утописта... — Спасская называет так Салтыкова, имея в виду его увлечение идеями утопического социализма.

«По обстоятельствам ∩ быстро». — Цитата из очерка «Имярек» в сборнике «Мелочи жизни» (XVI, 717).

«Новая жизнь ∩ люди нашлись». — Цитата из «этюда» «Счастливец» в сборнике «Мелочи жизни» (XVI, 695).

«...человек ∩ по своему» — цитата из очерка в цикле «Письма о провинции». Письмо двенадцатое (VII, 332).

Стр. 538. *...большинство хлыновцев...* — то есть вятчан (Хлынов — старинное название Вятки).

Стр. 539. *...в тридцатом году была открыта публичная библиотека...* — Публичная библиотека в Вятке была учреждена не в 1830, а в 1837 году. На торжестве открытия с речью выступил Герцен, — предшественник Салтыкова по вятской ссылке и по службе в Вятском губернском правлении.

Стр. 540. *...близко сошелся Михаил Евграфович и с Тиховидовым...* — Одно из немногих вятских знакомств Салтыкова, в какой-то мере отвечавшее его духовным запросам. См. об этом в книге: С. Макашин, Салтыков-Щедрин. Биография, М. 1951, т. 1, 2-е изд., стр. 378—380 и 552.

Стр. 541. *Думаю, что это мнение можно всецело приписать Михайлову, который и сообщает его.* — Здесь и ниже Спасская полемизирует без достаточных оснований с воспоминаниями И. Михайлова «Щедрин как чиновник», написанными в 1887 году, но появившимися в печати в августовских номерах «Казанского биржевого

листка» за 1889 год (перепечатка в «Одесском листке», 1889, № 204).

Вл. Кранихфельд в «Мире божьем» упоминает... — Цитируется статья Кранихфельда «М. Е. Салтыков-Щедрин. Опыт литературной характеристики». — «Мир божий», 1904, № 6, стр. 90.

Михаилу Евграфовичу нравились барышни Болтины, но родителей их он крепко недолюбливал, в особенности отца. — А. П. Болтин был вице-губернатором в Вятке (с 29 февраля 1851 года по 1 сентября 1853 года), а затем во Владимире (с 1 сентября 1853 года по 8 марта 1859 года). Характеристику семейства Болтиных см. в воспоминаниях В. И. Танеева, стр. 560 и 576.

Стр. 543. *...приведенные мною выше подробности о семье Салтыковых и воспитании их детей. —* Эти «подробности», всецело заимствованные из «Пошехонской старины», опущены.

Стр. 544. *«...разделение на любимых и несправедливостях...» —* цитата из «Пошехонской старины» (XVII, 53).

...известными стихами Дениса Давыдова на либералов... — Цитируется строфа из стихотворения Давыдова «Современная песня».

Стр. 545. *Много раз за все время своей ссылки Михаил Евграфович пытался добиться освобождения... —* За семь с половиной лет ссылки Салтыкова было предпринято около двадцати различных попыток добиться его освобождения. Долгожданную свободу принесли Салтыкову лишь «новые времена»: крах «никалаевщины» в результате Крымской войны и смерть Николая I.

Стр. 545—546. *«Я оставляю Крутогорск от всего живого» —* цитата из «Губернских очерков» (II, 447).

Стр. 546. *«В одном из далеких углов России и дышит» —* цитата из «Губернских очерков» (II, 33—34).

Стр. 547. *«...Куда ни взгляните Крутогорск» —* цитаты из «Губернских очерков» (II, 33, 39 и 36).

«Дороги мне и зыбучие ее пески любить» — цитата из «Пошехонских рассказов. Вечер пятый» (XV, 533).

Появление «Губернских очерков» сильно взволновало вятчан, узнавших в героях рассказов многие портреты. — В письме из Вятки от 7 марта 1859 года М. И. Шемановский писал Н. А. Добролюбову, своему товарищу и единомышленнику:

«В Казани не был, а приехал в Крутогорск¹ через Черемисское царство. Здесь приняли меня с отверстыми объятиями; это обещает, что вскоре объятия закроются <...> Щедрина пока все ругают, особенно за то, что он заглянул в семейные отношения крутогорцев,

¹ Примеч. Н. Г. Чернышевского: Название Вятки в «Губернских очерках» Щедрина.

что считается здесь неприкосновенною святынею. Много из его «Очерков» объясняют личностями его с крутогорцами и рассказывают про него разные скандальные истории. Его «Очерки» известны по всей Вятской губернии, даже станционным зрителям и ямщикам почтовым...» (<Н. Г. Чернышевский>. «Материалы для биографии Н. А. Добролюбова, собранные в 1861—1862 гг.», т. I, М. 1890, стр. 498). Приводимые Спасской портретные расшивровки героев «крутогорской» галереи совпадают со свидетельствами лиц, принадлежавших к вятскому обществу в годы, когда оно послужило «натурой» для художественного полотна «Губернских очерков» (см. об этом подробно в книге: С. Макашин, Салтыков-Щедрин. Биография, М. 1951, т. I, 2-е изд., стр. 371—375). Это обстоятельство не должно, разумеется, приводить к биографическому истолкованию соответствующих страниц щедринского повествования. Сам Салтыков неоднократно и решительно возражал против отгадывания «личностей» в его сатирических образах. См. об этом в дневнике А. И. Артемьева, запись от 12/24 января 1857 года, стр. 432.

Стр. 549. ...очерк «Христос воскрес»... — Этот рассказ из «Губернских очерков» был напечатан в «Русском вестнике» № 6, 1856, декабрь, кн. 2, стр. 585—593 — вместе с четырьмя другими рассказами того же цикла. Н. В. Ионину был, очевидно, послан журнальный оттиск публикации.

Стр. 551. «...а между тем есть минуты, когда человек ощущает непреодолимую потребность в истинном друге и, не находя такого друга, впадает в уныние». — Этот текст из рассказа 1878 года «Похороны» Спасская искажила. У Салтыкова читаем: «Бывают, однако ж, минуты, когда человек имеет право быть малодушным, когда он чувствует непреодолимую потребность жаловаться, роптать, проклинать, не соображая, глупо это или умно, полезно или бесполезно, — и вот в эти-то минуты ему необходимо, чтоб дружеская рука сняла хоть часть того бремени, которое давит его» (XIII, 415).

По письмам Михаила Евграфовича к моему отцу можно видеть, как постепенно овладевало им это тяжелое настроение. — Такая характеристика не дошедших до нас писем Салтыкова к Ионину вряд ли верна: она противоречит приводимой ниже дате прекращения их переписки — 1868—1870 год (появление в печати «Истории одного города»). Это было время подъема в жизни и творчестве писателя, а вовсе не «тяжелого настроения» и «уныния».

...в одной из петербургских газет (кажется, в «Голосе») появилась его статья <...>, и в ней снова выступил на сцену «искреннейший друг мой Василий Николаевич Проимин». — Речь идет об очерке «Тяжелый год» в газете «Новое время», 1876, №№ 112—114,

от 22—24 июня/4—6 июля. Первая публикация очерка в «Отечественных записках» (1874, № 5) была, вместе с книгой журнала, уничтожена цензурой. Персонажа с именем Василия Николаевича Проймина в очерке нет. Однако среди действующих лиц выведен уездный лекарь Петр Васильевич Погудин, «человек ума острого и прорзорливого», с которым автор находится в дружеских отношениях и, вернувшись из Крутогорска в Петербург, поддерживает переписку. Погудин представлен в очерке подлинным патриотом, разоблачающим ту вакханалию хищничества и казнокрадства, прикрываемую лицемерным лжепатриотизмом, которой чиновники Крутогорска озаменовали свое «участие» в «великой ополченской драме» Крымской войны. В образе Погудина бесспорно есть кое-что от Николая Васильевича Ионина; несомненно этот образ и имеет в виду Спасская.

...причина, охладившая моего отца к Салтыкову, была его «История одного города». — Н. В. Ионин и его дочь не поняли смысла «Истории одного города». Они усмотрели в этом произведении «издевательство» над историческим прошлым России и русским народом, тогда как все отрицание Щедрина относилось к «порядку вещей» — феодально-помещичьему строю и его главному политическому стражу, самодержавию. Само собой разумеется, что, проявив Ионин более глубокое понимание «Истории одного города», причина его охлаждения к Салтыкову не устранилась бы, а, напротив, получила бы в его сознании большую обоснованность. То же следует сказать и о позиции самой Спасской. Член монархической партии, она не могла не быть противницей политического смысла «Истории одного города».

В. И. Танеев

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ М. Е. САЛТЫКОВ (ЕЗОВ)

Печатается впервые по черновому автографу (без начала), хранящемуся в ЦГАЛИ, ф. 880, оп. 2, ед. хр. 11. В другом собрании танеевских бумаг, находящемся ныне в ИРЛИ, сохранился предварительный, еще более черновой набросок публикуемого текста.

Стр. 559. *...как мальчик, стоял позади ее кресла.* — Описывается первая встреча Танеева с Салтыковым во Владимире, в январе или апреле 1856 года, в доме местного вице-губернатора А. П. Болтина — будущего тестя писателя.

Стр. 561. *Карты и вино, обыкновенное препровождение времени в провинции, оставили на нем неизгладимые следы...* — Салтыков весьма сурово осуждал свое вятское семилетие и его итоги. «Он говорил, — читаем в одной из записок его товарища и друга

С. А. Юрьева, — что жизнь его в Вятке была пустой и едва не погубила его» (С. Макашин, Салтыков-Щедрин. Биография, М. 1951, т. 1, 2-е изд., стр. 404). Еще более жестокие суждения находим в записях автобиографических рассказов Салтыкова, сделанных Н. А. Белоголовым и Л. Ф. Пантелеевым. Нет оснований подозревать, что мемуаристы — люди, пользовавшиеся полным доверием Салтыкова, — что-то исказили в том, что слышали от него, или самовольно сгустили краски. Их показания почти совпадают. И все же свидетельства эти неверны. Они восходят к воспоминаниям, *односторонне обобщенным* самим Салтыковым во имя всегда владевшей им потребности видеть и обличать «темные пятна жизни» — своей или чужой. В мыслях о самом себе он, как и везде, оставался сатириком-обличителем.

С женой он обращался ужасно... — Танеев ограничивается в своих воспоминаниях лишь внешней бытовой картиной отношений, сложившихся между Салтыковым и его женой. Мемуарист вольно или невольно сгущает темные краски, рисуя «грубости» Салтыкова, и стремится обелить Елизавету Аполлоновну, в которую был в юности влюблен и симпатию к которой сохранил на всю жизнь; он ничего не сказал о том, сколько горечи и страданий принесла жена Салтыкову, какую тяжелую драму одиночества и «оброшенности» пережил он в своей семье (см. об этом в предисловии к настоящей книге).

Стр. 563. *...стоял уже под виселицей...* — А. И. Европеус, в квартире которого был устроен обед в честь Фурье 7 апреля 1849 года, был приговорен не к повешению, а к расстрелу.

Салтыков изложил все это в одном из своих рассказов. — В пятом эпизоде очерка «Они же» из «Господ ташкентцев» (X, 89—91).

Стр. 565. *Гувернантка моего брата, Елизавета Борисовна...* — Е. Б. Мелехина прожила у Салтыковых в гувернантках несколько лет. Она сыграла неблагоприятную роль сводни в романе Елизаветы Аполлоновны с младшим братом Танеева, Павлом Ивановичем — известным адвокатом. Отсюда ненависть Салтыкова к этой женщине.

Стр. 567. *Салтыков доказывал Булаину, что «Пошехонье» — страна отвратительная, и самое название ее — синоним дикости и варварства.* — Подобно «Ташкенту», щедринское «Пошехонье» не связано с географией. Содержание образа не имеет специального и непосредственного отношения ни к старинному названию земель вдоль реки Шексны, которая именовалась в древности Шехонью, ни к современному Салтыкову захолустному городку Пошехонье Ярославской губернии (ныне районный центр Пошехонско-Володарск Ярославской области). В «Истории одного города», писавшейся

как раз в дни описываемых споров с Буланиным, исходя из фольклорных сатирических сказаний и присловий о «пошехонцах», носителях глупости, недомыслия и дикости, Щедрин создал обличительный образ большого содержания. Щедринское «Пошехонье» — во всех модификациях этого образа — вся старая Россия, но взятая со стороны тех ее явлений, которые признавались враждебными подлинным интересам русского народа и подлежали поэтому разоблачению и отрицанию. Сатирическое острое образов «Пошехонья» и «пошехонцев» направлено против трагически воспринимавшейся Щедриным пассивности народа и общества, против стихийности и политической неорганизованности в борьбе за собственные интересы.

Стр. 568. ...я написал, для своего личного употребления, небольшую *«Историю Международного общества рабочих»*. — Истории и судьбе этой примечательной статьи посвящена еще следующая запись в танеевской *«Автобиографии»* (от 17 августа 1890 года): «В начале осени 1871 я получил несколько книг о Коммуне и Международном обществе рабочих. По этим книгам я составил небольшую историю Международного общества для своего употребления, я прочел ее Салтыкову. Он попросил ее для «Отечественных записок». Я окончательно исправил слог и передал ему. Но «Отечественные записки» ждали тогда предостережения, и статья моя не была помещена... Так как моя статья была совсем готова для печати, то я отнес ее в редакцию «Знания», где у меня был знакомый редактор профессор Хлебников. Статья понравилась Хлебникову. Он приказал набрать ее, но «Знание» тоже ждало предостережения, и статья моя не была помещена» (архив П. В. Танеева). Гранки статьи сохранились, и она будет опубликована в одном из ближайших томов «Литературного наследства».

...еженедельные обеды *«Отечественных записок»*... — Не еженедельные, а ежемесячные — в первый понедельник после выхода очередной книжки журнала.

Стр. 570. ...у Захария и Елизаветы родился сын. — По евангельскому сказанию, священник Захария и его жена Елизавета не имели детей до преклонного возраста.

...друг Салтыкова, Алексей Адрианович Головачев... — Называть А. А. Головачева, либерального деятеля и историка крестьянской реформы, тверского земца, другом Салтыкова нет оснований; их знакомство, завязавшееся в Твери, поддерживалось, с одной стороны, сотрудничеством Головачева в «Отечественных записках», а с другой — его приятельскими отношениями с Унковским.

Стр. 573: *...играли «Пророка»...* — Опера французского композитора Джакомо Мейербера «Пророк» шла в России сначала под названием «Осада Гента», а затем — «Иоанн Лейденский».

Стр. 575. *Прошел один император, посмотрел и улыбнулся.* — Участие «императоров» и Бисмарка в комическом эпизоде с брюками Салтыкова апокрифично. Более достоверную версию о том же эпизоде приводит в своих воспоминаниях М. А. Унковский. См. стр. 666—667.

...письма <...> от 16 июля... — Это письмо до сих пор не было известно.

...около Мадлены. — То есть около известной церкви св. Мадлены, в Париже, прославленного памятника ампиного зодчества.

...нашло ей в своей среде жениха, какого-то Турнье <...> Она вышла за него, и они поехали в Тур. — В предисловии Ногасе Hennion к книге Турнье «La philosophie du bon sens» (Tours, 1900, р. XII) читаем по этому поводу:

«Однажды, когда Валентин Турнье присутствовал на одном из сеансов <спиритизма. — С. М.>, некая русская барышня явилась с рекомендацией к г. Жоберу <председатель общества спиритов. — С. М.>. Звали ее Анной Болтиной. Она была дочерью Аполлона Болтина, генерала русской армии, который издал в Париже, у С. Reinwald, в 1866 г., сочинение под заглавием «Les dogmes de l'Eglise du Christ expliqués d'après le spiritisme». Уже в 1864 году генерал стал собирать в своей петербургской гостиной высшее аристократическое общество для присутствия при опытах, производившихся с участием зрящего и слышащего медиума, шведки Адели Февр. В последние годы на сеансы, устраивавшиеся у генерала, являлся <А. Н.> Аксаков, и в одном из своих известных сочинений ученый писатель упоминает о некоторых случаях телепатии между Анной и ее сестрой-близнецом Лизой. В мае 1871 года генерал скончался в своем имении в Янове. Г-жа Анна Болтина оставалась там до 1880 года. В том же году она выехала из России и, вместе с сестрой, женой знаменитого памфлетиста и романиста Салтыкова, более известного во Франции под псевдонимом «Щедрин», этого «российского Поль-Луи»¹, приехала в Париж с целью отправиться оттуда в Испанию. Но из-за наводнений продолжать путь по Ирунской дороге не смогла и должна была проехать через Каркассон. Таким образом, и пришлось ей побывать у г. Жобера и у его друзей-спиритов. Для них, впрочем, г-жа Анна Болтина была не совсем неизвестной. Валентин

¹ Поль-Луи Курье — известный французский сатирик и публицист, чьи памфлеты Энгельс ставил на один уровень с полемическими произведениями Вольтера и Бомарше. — С. М.

Турнье по крайней мере помнил, что прочел, за ее подписью, в «*Annali dello spiritismo*», некоторые сообщения духа ее отца, переведенные на итальянский язык туринским журналом. Со своей стороны русская спиритка имела часто случай оценивать статьи, которые печатал в том же журнале ее собрат по доктрине. Оба они испытали большое удовольствие от личной беседы на излюбленную тему, и через две недели после первой встречи Валентин Турнье был помолвлен с г-жой Анной Болтиной. Их гражданский брак был заключен 28 марта 1882 года». (Сообщено К. А. Саниной.)

По этому отрывку можно судить, до какого градуса раздражения должны были доводить «вспыльчивого, как вулкан», сатирика его родственники-спириты. Сарказмом пропитано письмо Салтыкова к Елисееву от 10 февраля 1882 года: «А у нас в доме семейная радость: Анна Аполлоновна выходит замуж на 43-м годку от рождения. Искала — и обрела. Где? В неизвестном городке Каркассоне на юге Франции. Как она туда попала — бог весть; но, должно быть, оттуда пахло жареным, а быть может, и провидение вмешалось <...> И сейчас же портрет прислала: стоит старец испитого вида, на шее — старческие складки <...> и на голове шляпа, для предохранения плечи от непогод. Имущество — чистое сердце; звание — «спирит» (XIX, 260—261).

Однако незадолго до смерти у Салтыкова возникла мысль о переселении навсегда к своим турецким родственникам. Помимо мучительных неладов с женой, возникновению этого мимолетного желания содействовало отчасти то обстоятельство, что Анна Аполлоновна, при участии Турнье, взялась за перевод на французский язык щедринских сказок. Одна из сказок — «Карась-идеалист» — была напечатана, и переводом этим Салтыков был очень доволен («*Le carassin idéaliste*», trad. M-me Tournier, 24 p., 1885, Carcassonne). Перевод другой — «Барана-непомнящего» — остался по-видимому, в рукописи. В цитированной книге Турнье приведен подробный отклик его на смерть Салтыкова, в котором читаем: «Эта смерть явилась для России национальным трауром. Я понял по русским газетам, которые нам были присланы, что французские газеты, сравнивая его с Рабле и с Поль-Луи Курье, ничуть не преувеличивали. Он был, — нишут они, — «колосс русской литературы, основатель новой литературной школы», создатель нового языка, источник, из которого будущие поколения будут черпать, но не смогут все исчерпать. Вместе с ним Россия хоронит громадную литературную силу нашей эпохи, и умер он в полной мощи своего гения» («*La philosophie du bon sens*», pp. 668—669, письмо из Тура от мая 1889 года).

Стр. 576. ...Екатерина Ивановна, после его смерти <Аполлона Петровича> <...> ставила к обеду два прибора, в уверенности, что Аполлон Петрович будет обедать вместе с нею... — Возможно, что именно этот суеверный ритуал подсказал Салтыкову эпизод в «Господах Головлевых»: на поминальном обеде после похорон Павла Владимировича Головлева Арина Петровна отказывается занять опустевшее хозяйское место; далее следует сцена: «Так мы вот что сделаем! — умилился Иудушка, — мы хозяйский-то прибор незанятым оставим! Как будто брат здесь невидимо с нами сотрапезует...» и т. д. (XII, 115).

...в письме к Унковскому, от 16 июля 1875 года... — Письмо не сохранилось.

Стр. 577. «Моя моча. После моей смерти завещаю отдать сукину сыну Бартеневу для «Русского архива». — Салтыков был постоянным читателем историко-документального журнала «Русский архив», издававшегося П. И. Бартеневым. Однако он сильно недолюбливал это издание за его махровую реакционность. Кроме того, Салтыков был враждебен тому культу археографических и библиографических мелочей, который процветал в документальных публикациях «Русского архива». Бартенева Салтыков относил к историкам «сыскальной школы» и не раз задевал его в своей сатире, в частности в «Истории одного города».

Стр. 578. ...Елене. Сергеевне... — В 1867 году Танеев женился на шотландке Елене Сергеевне (Арчибальдовне) Макиэб-Скотт.

Стр. 579. Он ставил ни во что свои художественные картины... — Хотя такое категорическое суждение следует признать не соответствующим истине, оно не является вместе с тем плодом чистого вымысла. Салтыкову действительно было свойственно некоторое недоверие к художественной мощи своего таланта. Об этом свидетельствует ряд высказываний и самого писателя и близко знавших его современников. Вот одно из таких неопубликованных свидетельств. В письме от 19 июля 1880 года М. М. Стасюлевич писал А. Н. Пыпину: «Я послал Вам на днях через редакцию заметку о «Головлевых» Салтыкова. Я готов был бы сказать, что Салтыков ничего лучше этого не написал, но боюсь, что он разозлится, так как он больше всего ценит в себе сатирика, а тут он является великим художником, создавшим новейшего Чичикова в Иудушке-кровопивушке» (ГПБ, архив А. Н. Пыпина, письма к нему М. М. Стасюлевича 1886 года, лл. 25 об. — 26. — Сообщено Н. Г. Розенблюмом).

Стр. 580. Он <...> оказал ему другую, еще худшую услугу... — Речь идет о В. И. Лихачеве (см. о нем комментарий на стр. 723) и его предполагаемой любовной связи с Е. А. Салтыковой.

Другой, который остался жив, пользовался Салтыковым, как паук пользовался орлом. — К. К. Арсеньев — либеральный публицист и критик, автор многих статей о сатирике, собранных в книге «Салтыков-Щедрин» (1906). Выведен в образе «пенко-снимателя» Нескладина в щедринском «Дневнике провинциала». Танеев ненавидел Арсеньева, называл его «фальшивым либералом» и сочинял о нем злые эпиграммы, в одной из которых писал:

Поборник средних мер и медленных прогрессов,
Всех убедил, что чужд он личных интересов,
А сам — воскреснувший Тартюф — как всякий жрец
Исполнен алчности, и лицемер, и лжец.

(«Патенты на бессмертье». II. «Вестник Европы». — ИРЛИ, ф. 653, ед. хр. 53, л. 1).

Б. Э. Кетриц

ВСТРЕЧА С М. Е. САЛТЫКОВЫМ

Печатается по тексту вырезки из газеты, хранящейся у автора настоящих строк. Ни название газеты, ни дата и номер не обозначены. Заметка была опубликована до 12/25 декабря 1900 года — когда появились воспоминания Е. Ф. Буринского.

Стр. 583. *...кампании, окончившейся разгромом сербов и добровольцев под Дьюнишем.* — Армия сербов и русских добровольцев — Тимско-Моравская армия — потерпела поражение при Дьюнише (Джунисе) 17 октября 1876 года.

...«нет ничего общего между Гарибальди и русским генералом Черняевым». — Военный авантюрист и реакционно-националистический деятель, «завоеватель Ташкента», генерал М. Г. Черняев особенно отличился в качестве «добровольного полководца» сербской армии во время сербско-турецкой войны 1876 года. Этот «архистратиг славянской рати», один из идеологов создания всеславянской империи под скипетром российского монарха, сильно скомпрометировал себя в Сербии своим политическим поведением и жестокими военными неудачами. Черняев играл большую роль в развертывании шовинистической пропаганды в пользу всеобщей славянской войны против Турции. На этом основании некоторые органы либеральной печати стали сравнивать Черняева с Гарибальди — героем национально-освободительного движения в Италии. Эту насквозь фальшивую параллель Щедрин позднее сатирически использовал в «Письмах к тетеньке» (XIV, 412). Некоторые признаки черняевской деятельности находим и в сатирическом образе «странствующего полководца» Редеди («Современная идиллия»; XV, 152 и сл.).

Е. Ф. Буринский

ДВА СЛОВА О М. Е. САЛТЫКОВЕ

Печатается по тексту газеты «Новое время», 1900, № 8907 от 12/25 декабря. Перепечатка: «Литературный вестник, т. I, кн. 3, СПб. 1901, стр. 111—113.

Стр. 586. *...встречаясь еженедельно с Салтыковым у зятя по «пятницам»...* — У А. М. Унковского.

Очень возможно, что Б. Кетриц познакомился с Салтыковым как раз в такую минуту, когда тот был в ударе «спорить с самим собой, споря с единомышленником». — Неверно. В беседе с Кетрицем Салтыков высказывал свое подлинное отношение к «славянскому движению». См. вводную заметку к воспоминаниям Б. Е. Кетрица, стр. 581—582.

Стр. 587. *...Колупаев знал, что фамилию его Салтыков обесмертил...* — Образ «кабатчика Колупаева» появился впервые в очерке «Тревоги и радости в Монрепо» («Отечественные записки», 1879, № 2; XIII, 57—86).

Н. А. Белоголовый

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О М. Е. САЛТЫКОВЕ

Печатается по автографу, хранящемуся в ЛБ, ф. Белогол. п. 2/4. Впервые, неполно — в газете «Русские ведомости», 1896, №№ 337, 343 и 353 от 6, 12 и 22 декабря. Вошло, с некоторыми дополнениями, в книгу: Н. А. Белоголовый, Воспоминания и другие статьи. Посмертное издание, М. 1897 (ряд переизданий в последующие годы). Редактор книги Г. А. Джанишев снабдил публикацию следующим примечанием: «В бумагах покойного Н. А. Белоголового, между прочим, оказалось несколько отрывочных воспоминаний о друге его М. Е. Салтыкове. Николай Андреевич несколько раз принимался за эту работу, но не успел ее окончить. В начале 1895 г., за несколько месяцев до своей смерти, он принялся за окончательную отделку своих воспоминаний, но не успел привести в исполнение своего намерения. Согласно предсмертному желанию покойного Николая Андреевича мною приведены в возможный порядок оставшиеся отрывки. — Г. Д.»

Подготавливая текст для настоящего издания, мы изменили порядок расположения отрывков. Однако и предлагаемая новая композиция, хотя и в меньшей мере, тоже несет на себе неустрашимые полностью признаки «монтажа» незавершенных набросков — повторения, обрывы, отсутствие начала и заключения.

Входящий в «Воспоминания» «биографический очерк», написанный Белоголовым по рассказам самого Салтыкова, печатается (*впервые*) не по краткой первоначальной редакции, выбранной Джаншиевым, а по редакции более поздней и расширенной, хотя и менее завершенной литературно.

Стр. 594. ...начавшись в 1875 году... — В конце 1874 года.

Стр. 596. *По мере того как приближалось наше свидание, я видел со страхом, что ему делается все хуже и хуже...* — «Страх» Белоголового вызывался не только ухудшением здоровья Салтыкова, но и перспективой свидания с «грозным» сатириком, находившимся в состоянии болезненной раздражительности. Белоголовый писал по этому поводу П. Л. Лаврову 3 июля 1885 года: «Салтыков, судя по письмам, едет лютый-распрепутый, и я с большим страхом его поджидаю, хотя и от души скорблю о таком состоянии его духа» (ИМЛ, ф. Лаврова, п. 34, лл. 45—46).

...в означенный день поздно вечером он приехал. — Салтыков с семьей приехал в Висбаден не 10-го, а 11-го июля (н. ст.). Остановились они в пансионе villa Rosenhain на Sonnenbergstrasse.

Стр. 597. ...не мог написать задуманную им сказку «Богатырь»... — В рукописи сказка названа «Богатыри». Очевидно, описка, так как, судя по замыслу сказки, который передает Белоголовый, речь идет о «богатыре», а не о «богатырях». Задуманная сказка была написана примерно через год после описываемой встречи. Салтыков продиктовал ее жене в начале июня 1886 года, на даче в Финляндии (ИМЛ, ф. Лаврова, п. 34, лл. 43—44). Но напечатать сказку не удалось, и «Богатырь» увидел свет лишь после Октябрьской революции («Красный архив», 1922, № 2). В процессе работы над сказкой замысел ее существенно изменился. Как видно из рассказа Белоголового, образ «богатыря» первоначально («висбаденская редакция») должен был воплощать *могущество народное, но могущество скованное, непробужденное, само себя не осознавшее*. В передаче Белоголового мы узнаем одну из вариаций главной, глубоко трагической, темы щедринской сатиры: сила и бессилие народа, «богатырская» потенциальная сила и бессилие на данной исторической ступени, когда исторически предопределенное освобождение народа все еще не совершилось. В окончательной редакции сказки, в редакции 1886 года, «богатырь», напротив, олицетворяет антинародные силы русской исторической жизни и, прежде всего, самую организованную и реакционную из этих сил — самодержавие и его государственный аппарат. Сатирик показывает, что этот изживший себя, омертвевший строй

продолжает свое государственное бытие лишь потому, что массы все еще находятся в глубоком политическом сне. Сказка заканчивается картиной прозрения народа, «людишек», веками имевших в «богатыря» «веру великую и неослабную». «Дурак Иванушка», подойдя к дуплу, в котором вот уже «тысячу лет» спит «богатырь», перешибает дупло кулаком и убеждается, что «богатырь» давно мертв, что у него «гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели».

Недавно было высказано мнение, что в образе «богатыря» сатирик изобразил не самодержавие и все те «основы» и «силы», на которые оно опиралось, а «революционного деятеля», хотя и «старого типа», то есть народнического (С. П. Соловьев, Проблема народной революции в сказках М. Е. Салтыкова-Щедрина второй половины 1880-х годов. — Ученые записки Ленинградского Гос. педагогического института им. А. И. Герцена». Кафедра русской литературы, Л. 1955, т. 120., стр. 73—77). Несостоятельность этого мнения очевидна. Оно является печальным пережитком вульгарно-социологической умозрительности.

Стр. 598. ...*«Солнце и свиньи» и «Забытая балалайка»* <...> обе эти сказки еще не были им достаточно обдуманы. — Салтыков рассказал Белоголовому содержание и этих двух сказок, но, за исключением упоминания об И. С. Аксакове, этот рассказ не нашел своего отражения в воспоминаниях мемуариста (письмо к П. Л. Лаврову из Висбадена от 22 июля 1885 года. — ИМЛ, ф. Лаврова, п. 33, лл. 70—71).

...в Ройане... — Курорт Royan (Руайан) на побережье Бискайского залива, близ Бордо.

Стр. 599. ...*приехал на новоселье*. — В пансион Brüsselerhof на Geisbergstrasse, 8, где жили Белоголовые, Салтыков переехал 14/26 июля 1885 года. «Очень плохая улица и весьма раскаленное помещение», — отзывался он о своей новой квартире (XX, 186).

...он стал чрезвычайно кроток и благодушен. — Такие отзывы встречаются и в письмах Белоголовых, относящихся ко времени их совместной с Салтыковым жизни в Висбадене. Так, в письме от 3 августа 1885 года С. П. Белоголова писала П. Л. Лаврову: «Сопансионер наш Михаил Евграфович ведет себя донельзя мило, деликатен и кроток, — чего мы никак не ждали. Так он не избалован своей супругой, вообще домашней обстановкой, что всякую пустую о нем заботу, самую обыденную, что и замечать-то не следовало бы, он принимает как нечто необычное» (ИМЛ, ф. Лаврова, п. 34, лл. 62—63).

Стр. 600. ...*дня три прожил покойный поэт Надсон* <...>; *заезжали М. М. Стасюлевич, Ядринцев, сенатор Арцимович* и

другие. — Даты этих посещений устанавливаются письмом Н. А. Белоголового к П. Л. Лаврову от 9 августа (н. ст.) 1885 года: «Сегодня к нему <Салтыкову> приезжает на свидание старик Анненков <...> Затем дня три как в нашем же доме гостят у нас Надсон и Ватсон <...> Послезавтра приезжает ко мне погостить старый мой пациент и приятель Арцимович, да на днях должен быть Ядринцев, а там недели через 1½ — Лихачевы <...>. Стасюлевич же уже отбыл, приезжал он сюда из Франкфурта всего на три часа <8 августа н. ст.>...» (ИМЛ, ф. Лаврова, п. 34, лл. 68—68 об.).

...«Если только это его не рассердит». — В письме к Н. А. Белоголовому из Петербурга от 6/18 августа 1885 года С. Я. Надсон писал: «Передайте, пожалуйста, мой поклон и наилучшие пожелания <...> Михаилу Евграфовичу (если он только за это на меня не рассердится)» (ЛБ).

...граф П.-Б... — Граф Николай Алексеевич Протасов-Бахметьев (1834 — ?), в прошлом последовательно командир нескольких гвардейских полков, в 1880—1882 годах — астраханский губернатор.

Стр. 601. *...выезжает сам на свидание в Висбаден...* — Свидание состоялось 9 и 10 августа 1885 года (н. ст.). Комическую эпопею поездки Анненкова в Висбаден Салтыков рассказал в письме к Стасюлевичу от 23 августа 1885 года (XX, 198).

Стр. 603. *...военный генерал, проживавший тогда в Висбадене и которого Михаил Евграфович недолюбливал...* — Начальник гвардейской артиллерии Овандер (ИМЛ, ф. Лаврова, п. 34, лл. 70—71).

Стр. 606. *...рассказ «Кроткая»...* — Из «Дневника писателя» за 1876 год.

Стр. 608. *Кунавино* — предместье в Нижнем-Новгороде, примыкавшее к ярмарочным постройкам, где были сосредоточены всевозможные увеселительные заведения. Часто упоминается в щедринской сатире в качестве символа всероссийского купеческого разгула.

...три сестры. — У Салтыкова было четыре сестры, но одна из них — Софья — умерла в младенчестве.

Стр. 609. *Первым учителем Салтыкова был какой-то сельский учитель в фризском скютке...* — Началам русской грамоты Салтыкова обучал крепостной человек, живописец Павел Соколов.

В 1837 году он был отправлен из деревни в Москву, в Дворянский институт, в котором провел около двух лет... — В Московский дворянский институт Салтыков поступил в августе 1836 года, а в июне 1838 года был переведен в Царскосельский лицей,

Стр. 610. Первые два его стихотворения напечатаны в «Библиотеке для чтения», а несколько последующих, позднее, в «Современнике»... — В «Библиотеке для чтения» Салтыков напечатал стихотворение «Лира» (1841, т. 45, март, стр. 105—106) и, возможно, «Две жизни» (1842, т. 50, январь, стр. 10). Список восьми установленных стихотворений Салтыкова в петербургском «Современнике» за 1844—1845 годы см. в книге: С. А. Макашин, Салтыков-Щедрин. Биография. М. 1951, т. 1, 2-е изд., стр. 508.

...классом ниже его шел граф Д. А. Толстой... — Салтыков был воспитанником XIII курса (1838—1844), Дм. Толстой — предшественного, XII курса (1837—1843).

Но едва ли эти догадки были справедливы, особенно если принять во внимание, что окончательное запрещение «Отечественных записок» произошло в 1884 году, то есть как <раз> в апогее полновластия гр. Толстого. — Существует достаточно авторитетное подтверждение справедливости этих догадок. Оно принадлежит Е. М. Феоктистову — начальнику Главного управления по делам печати, доверенному человеку министра Толстого. Феоктистов пишет в своих воспоминаниях, что Толстой «колебался» покончить с «Отечественными записками» «отчасти потому, что Салтыков был некогда его товарищем» (Е. М. Феоктистов, За кулисами политики и литературы, ред. и примеч. Ю. Г. Оксмана, Л. 1929, стр. 242).

Существенную услугу оказал Д. Толстой Салтыкову в 1882 году. За одну из глав «Современной идиллии», появившуюся в сентябрьской книжке «Отечественных записок», департамент полиции, то есть высший орган политического надзора в империи, предъявил сатирику обвинение «в оскорблении его величества». Такое обвинение было чревато серьезными последствиями не только для журнала, но и лично для Салтыкова. Однако предпринятая политической полицией акция была прекращена Д. Толстым. Об этом свидетельствует помета Е. М. Феоктистова на обращенном к нему письме по этому делу директора департамента полиции В. К. Плеве: «Министр изволил приказать оставить без принятия каких-либо мер» (В. Е. Евгеньев-Максимов, В тисках реакции, М.—Л. 1926, стр. 98).

Вскоре по выходе из лиця Салтыков познакомился со многими из петрашевцев и хотя на тайных собраниях их не бывал, но посещал какой-то кружок из пяти-шести человек молодежи... — Допрошенный по делу Петрашевского в Вятке 24 сентября 1849 года Салтыков показал, что «по выходе из лиця <в 1844 году> ...бывал у Петрашевского нередко по пятницам, когда у него собирались человек до шести, а иногда и семи».

В соответствии с этими цифрами (почти совпадающими с теми, которые были названы Белоголовому тридцать шесть лет спустя) Салтыков «вспомнил» и участников «пятниц». Из них двое — Р. Р. Штрэндман и А. Т. Мадерский — были названы в вопросных пунктах следственной комиссии, одного — Валерьяна Майкова — уже не было к этому времени в живых, а с другим — Е. С. Есаковым, товарищем по лицу, — Салтыков переписывался из ссылки и знал, разумеется, что это не является секретом для органов политического надзора. Затем он назвал еще Н. Я. Данилевского и А. А. Григорьева — человека случайного в обществе петрашевцев, но умолчал, воспользовавшись обычной в таких случаях формулой «других не припомню», о более видных участниках ранних «пятниц», как Н. В. Ханыков, А. П. Баласогло, Вл. А. Милютин, А. Н. Плещеев, Н. А. Спешнев, В. А. Энгельсон, А. Н. Барановский и Н. И. Кайданов. А эти лица вместе с вышеназванными и составляли основное ядро тех собраний у Петрашевского в 1845—1846 годах, которые, по собственному признанию, «нередко» посещал Салтыков.

Таким образом, приводимые Белоголовым слова (повторены в варианте) о том, что Салтыков «не бывал» на тайных собраниях петрашевцев и будто бы «даже о существовании таких собраний ничего не знал», не соответствуют действительности. Вероятно, Белоголовый неправильно понял рассказ своего собеседника и распространил его слова, относившиеся к тому времени, когда Салтыков с конца 1846 или начала 1847 года действительно перестал посещать собрания петрашевцев и отдалился от них, на более ранний период, когда начинающий писатель был активным участником «пятниц».

Стр. 611. *...Белинский был прав, отозвавшись, что это произведение есть бред больного ума.* — Белинский крайне резко отзывался о «Противоречиях», хотя и в других выражениях («идиотская глупость») и не в печати, а в частном письме к В. П. Боткину от 4—8 апреля 1847 года. Следует при этом иметь в виду, что отрицательную оценку критик дал всей беллетристике «Отечественных записок» за 1847 год в целом.

...Николай I <...> назначил <...> особую комиссию под председательством Д. П. Бутурлина... — 23 февраля 1848 года (ст. ст.), то есть на следующий день после получения в Петербурге первых достоверных известий о начавшихся во Франции революционных событиях, Николай I приказал «составить комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура, и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы...» (М. Лемке, Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг., СПб. 1909,

2-е изд., стр. 177). Председателем комитета был назначен морской министр кн. А. С. Меншиков. Жертвой деятельности этого меншиковского комитета и стал Салтыков. См. об этом в воспоминаниях К. С. Веселовского, стр. 409—414.

Что касается Д. П. Бутурлина, то он был лишь членом меншиковского комитета, возглавлял же в качестве председателя другой комитет с аналогичными функциями — Особый комитет для надзора за печатью. Но этот новый, бутурлинский, комитет не имел никакого отношения к рассмотрению повестей Салтыкова. Он был образован уже после того, как жандарм отвез автора «Залутанного дела» и «Противоречий» в ссылку.

Стр. 612. *Я не берусь решать, которая из двух версий верна, но передаю только то, что слышал непосредственно от Салтыкова...* — Ошибки и неточности есть в обеих версиях. Ссылка мемуариста на Салтыкова ничего в данном случае не доказывает: всей правды Салтыков не знал сам. Достоверная история его ареста и ссылки установлена лишь в наши дни на основании документов III Отделения, а также дневника Н. В. Кукольника и воспоминаний И. А. Пузыревского. См. стр. 416—423.

Стр. 613. *...решил обратиться к вице-губернатору, как к однокашнику...* — Вице-губернатором в Вятке был в это время С. А. Костливцев, как и Салтыков, воспитанник Царскосельского лицея.

Стр. 614. *безвременно погибшим В. А. ...* — Друг юности Салтыкова, выдающийся экономист и утопический социалист Владимир Алексеевич Милютин покончил самоубийством в 1855 году.

...от известного ученого путешественника Ханыкова... — Письмо было получено не от Николая Владимировича Ханыкова, ученого-востоковеда, а от его брата, Якова Владимировича, в ту пору чиновника особых поручений при министре внутренних дел (впоследствии оренбургского губернатора). Салтыков обращался со своей просьбой к востоковеду, а тот переадресовал ее брату.

...истинно интеллигентных людей было мало, за исключением нескольких сосланных поляков, с которыми хотя Салтыков и был знаком, но близко сойтись не мог вследствие национальной розни... — Это указание остается пока не раскрытым. Как полагают польские авторы W. Kuła, L. Przemski и другие, Салтыков познакомился и дружески сошелся в Вятке с сосланным туда еще в 1845 году известным деятелем польского национально-освободительного движения, публицистом и философом Генриком Каменским (Z. Poniąkowski, O poglądach społeczno-filozoficznych Henryka Kamińskiego, Warszawa, 1955, s. 18). Однако, неизвестно,

на какие объективные биографические факты и документы опираются эти указания.

Косвенное свидетельство интереса к Салтыкову сосланных поляков, живущих в вятской колонии, находим в письме графа Потоцкого из Вятки от 8 июля 1850 года. В этом попавшем в перлюстрацию письме, адресованном в Брацлав на имя Колб-Селецкого, Потоцкий сообщал, «что в Вятке чиновники деликатны и хороши; что они или из поляков, или из ссыльных русских, принятых на службу; что <...> правитель канцелярии также ссыльный, под присмотром полиции, Салтыков, что губернатор любит поляков и старается давать им лучшие места...» (ЦГИАМ, ф. III Отделения, № 109, 1 эксп., оп. 3, ед. хр. 3208, лл. 3 об. — 4).

Стр. 615. *Литературный талант его в Вятке совсем погрузился в дремоту, и писать там в течение семи лет <Салтыков> и не пробовал, «даже подобной мысли в голову не приходило», — говорил он...* — Неверно. На втором году ссылки Салтыков закончил работу над повестью «Брусин». В Вятке же создан художественно-автобиографический набросок, начинающийся словами: «Вчера ночь была такая тихая...» (I, 400—405). Возможно, и работа над «Губернскими очерками» была начата Салтыковым еще в Вятке. См. об этом: С. Макашин, Салтыков-Шедрин. Биография, М. 1951, т. 1, 2-е изд., стр. 437—440. См. также на стр. 534 наст. книги свидетельство С. П. Наумова.

Стр. 616. *...родной брат Ланского сделан был министром внутренних дел...* — Не родной, а двоюродный брат генерал-адъютанта Петра Петровича Ланского — Сергей Степанович Ланской.

...и он тотчас же, в октябре 1855 года, поспешил выехать. — Салтыков выехал из Вятки 24 декабря 1855 года.

...в проезде через Москву в ноябре того же года Салтыков повенчался с Е. А. Болтиной в небольшой церкви, находящейся в Охотном ряду... — Бракосочетание Салтыкова произошло не в ноябре 1855 года, а 6 июня 1856 года и не в церкви, находящейся в Охотном ряду, а в «Крестовоздвиженской, что в бывшем монастыре, церкви Пречистенского сорока», у Арбатских ворот. Запись в метрической книге Крестовоздвиженской церкви указывает, что Елизавете Аполлоновне исполнилось тогда семнадцать лет, чем устанавливается неизвестная до сих пор дата ее рождения — 1839 год (Гос. Исторический архив Московской области, ф. 203, оп. 745, ед. хр. 525, ч. 16, л. 30; Гос. Исторический архив Калининской области, ф. 645, ед. хр. 3622, л. 5 и 5 об.).

Стр. 618. *...четвертая книжка «Русского вестника»...* — Точнее: «Русский вестник», 1856, т. 4, август, кн. 2, стр. 709—744. Здесь

появились четыре первых рассказа из цикла «Губернские очерки»: I. «Вместо введения»; II. «Прошлые времена. (Рассказ подьячего)»; III. «Неумелые» и IV. «Прошлые времена. (Другой рассказ подьячего)».

Стр. 619—620. *Рассказывалось, что при этом определении Александр II выразился: «Я рад этому и желаю, чтобы Салтыков и на службе действовал в том же духе, в каком он пишет».* — Эти слова были сказаны Александром II министру Ланскому, при утверждении — 1 марта 1858 года — доклада о назначении Салтыкова вице-губернатором в Рязань. См. еще одну редакцию рассказа Салтыкова о том же эпизоде в записи М. И. Семевого, стр. 527.

«...Государь император в виде высочайшей награды <Муравьеву> повелел перевести Салтыкова от него из Рязани». — Со своей стороны Салтыков писал 29 декабря 1859 года В. А. Безобразову: «Теперь Муравьев сам в Петербурге. Перед отъездом он спрашивал меня, не желаю ли, чтоб он ходатайствовал мне какой-либо награды; на это я отвечал, что величайшею для меня наградой будет, если меня разведут с ним, и просил, чтоб он заявил об этом министру» (XVIII, 147 и 149).

...биография г. Гр. Джаншиева. — Имеется в виду книга: Гр. Джаншиев, А. М. Унковский и освобождение крестьян, М. 1894. В ней восхваляется правительственный и дворянский либерализм шестидесятых годов. Об отношениях между Салтыковым и Унковским см. в вводной заметке к воспоминаниям А. М. Унковского, стр. 646—649.

Стр. 621. *В Твери же пришлось Салтыкову встретить великий момент нашей современной истории — обнародование высочайшего освобождения крестьян, и не только встретить, а по мере сил содействовать проведению его в жизнь...* — Усилия Салтыкова были направлены на то, чтобы ограничить и нейтрализовать влияние на ход реформы в Тверской губернии местных помещиков-крепостников и той части губернской администрации, которая их поддерживала. Особого внимания заслуживает энергичное противодействие, которое Салтыков оказывал попыткам усмирять крестьянские волнения при помощи войск. О позиции Салтыкова во время острых столкновений и борьбы вокруг проведения реформы в Твери дают представление его письма к Е. И. Якушкину, сыну декабриста, от 11 мая и 7 июня 1861 года (XVIII, 158—159 и 162—163).

Стр. 622. *...вступал в полемику в газетах.* — В 1861 году Салтыков напечатал в газетах «Московские ведомости» и «Современная летопись» (органах дворянского либерализма) пять статей. В них разоблачались различные формы крепостнического сопро-

тивления реформе 19 февраля. Статьи назывались: I. «Об ответственности мировых посредников»; II. «К крестьянскому делу»; III. «Несколько слов об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу»; IV. «Ответ г. Ржевскому» и V. «Где истинные интересы дворянства?» (V, 87—120).

...в конце 1862 года мы видим его уже в отставке... — Салтыков вышел в первую отставку в самом начале 1862 года.

...Салтыков надумал было вместе с Унковским <...> основать в Москве собственный журнал под названием «Русская правда». — Об этом неосуществившемся замысле см. в воспоминаниях А. М. Унковского и в комментариях к ним, стр. 650 и 832—835.

Стр. 623. Из скудных рассказов Салтыкова о своем пребывании в Твери цельнее всего был передан им рассказ о представлении его царю. — Другую редакцию этого рассказа, в записи В. П. Буренина, см. на стр. 54—56.

Стр. 624. Так предприятие и не состоялось, и Салтыков <...> снова должен был обратиться к службе и принял место в Рязани. — Записанный Белоголовым рассказ о начале переговоров Некрасова с Краевским по поводу перехода журнала «Отечественные записки» в руки редакции закрытого правительством «Современника» в главных чертах совпадает с традиционной версией. Заслуживают, однако, быть отмеченными две детали, отсутствующие в других источниках. Во-первых, инициатива приглашения Елисеева к руководящему участию в новом издании приписывается здесь Салтыкову, а не Некрасову. Во-вторых, из записи Белоголового следует сделать вывод, что в случае положительного завершения переговоров осенью 1867 года Салтыков намеревался тогда же порвать со службой. Лишь неудача в переговорах заставила Салтыкова остаться на службе. Для этого ему пришлось просить министра финансов М. Х. Рейтерна, своего лицейского товарища, уладить конфликт с тульским губернатором Шидловским. В августе 1867 года при посещении Тулы Александром II Шидловский заявил царю, что «находит невозможным совместное служение с Салтыковым» (занимавшим должность председателя Тульской казенной палаты). Рейтерну удалось и на этот раз, хотя и ненадолго, предотвратить отставку Салтыкова и ограничиться переводом его из Тулы в Рязань.

...и, по личному желанию царя, Салтыков был уволен в отставку... — Об увольнении Салтыкова в отставку см. в комментариях к воспоминаниям Кузнецова, стр. 801—802.

Стр. 626. ...запрещение «Отечественных записок», поразившее Салтыкова своей неожиданностью... — Салтыков был «поражен» не столько самим фактом запрещения журнала. В условиях свире-

ного натиска реакции в восьмидесятые годы он давно ожидал этого удара и считал его неотвратимым. «Неожиданной» оказалась для Салтыкова та полицейская форма, в которой власти провели ликвидацию «Отечественных записок». Правительственное сообщение о прекращении издания прямо указывало на связи редакции журнала с революционным подпольем. Салтыкову, как главному редактору, тем самым предъявлялось серьезное политическое обвинение.

В статье «Реакционный террор», появившейся в майском номере «Общего дела» за 1884 год, Белоголовый писал: «Катковский кружок, правящий <...> Россией в лице <Д.> Толстого, уничтожил «Отечественные записки», как встарь он с такой же целью, по тем же мотивам и с той же бесцеремонностью уничтожил «Современник». Далее Белоголовый указывал, что, вынужденно удаляясь с литературно-журнальной арены, «Отечественные записки» «оставляют за собой большое пустое место» и что «с их исчезновением реакционный мрак усиливается в России»¹.

...о запрещении издаваемого им журнала <...> он узнал <...> от одного приятеля... — от Виктора Павловича Гаевского.

...еще более чувствительное разочарование нанесло отношение к нему общества: не только он не нашел в нем никаких признаков сочувствия <...>, но весьма многие из его некогда страстных поклонников стали теперь видимо сторониться от него, как от замкнутого. — Такая характеристика не может быть признана вполне объективной, хотя она и восходит к жалобам самого Салтыкова в его письмах к Белоголовому. Представители либеральной части общества действительно после расправы, учиненной правительством с «Отечественными записками», или ренегатски отвернулись от Салтыкова, или трусливо промолчали в ответ на постигшую его беду, или же, хотя и выразили «крамольному» редактору закрытого журнала свое сочувствие, но в таких уклончивых заявлениях и осторожных формах, которые не могли удовлетворить его. Однако в демократическом лагере, преимущественно в среде учащейся молодежи, насильственная ликвидация «Отечественных записок» вызвала сильную волну протестов. Они выразились в составлении сочувственных адресов Салтыкову (были собраны сотни подписей), в посылке к нему депутатий, в помещении нескольких статей в подпольной и русской загранич-

¹ «Общее дело», Женева, 1884, № 61. Авторство Белоголового устанавливается по соответствующей пометке в комплекте «Общего дела», принадлежавшего А. Х. Христофорову и хранящегося ныне в библиотеке Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

ной печати, наконец в выпуске двух нелегально распространявшихся литографированных обращений «К русскому обществу». В одном из них, исходившем от московского центрального кружка подпольного Общественного союза, высказывалась уверенность, что русское общество «выразит свое сочувствие великому писателю-гражданину Салтыкову и его сотрудникам, свой протест и негодование русскому правительству» (Вас. Гиппиус, Салтыков и русская нелегальная печать в 1884 г. — «Литературное наследство», т. 13—14, 1934, стр. 538. См. в наст. книге на стр. 388—391 «Рассказы о Щедрина» Вл. Бурцева и комментарии к ним, в которых приведены документальные сведения и литература об отношении демократической части общества к закрытию «Отечественных записок»).

Стр. 627. ...Жизневский <...> предложил комитету, управляющему музеем, убрать бюст, как изображение лица неблагонамеренного, и хранить его на чердаке. — Сообщая М. И. Семеvскому об этом поступке «применительно к подлости», Салтыков писал: «И заметьте, этот Жизневский — либерал и лично нашептывал мне всякие комплименты» (XX, 141). Ныне этот «бюст» — гипсовый слепок с известного скульптурного портрета работы П. П. Забелло — находится в г. Калининe, в местном историческом музее.

...талант его продолжал проситься наружу императивно... — «Салтыков работает, — сообщал Белоголовый Лаврову в октябре 1887 года — и сам говорит, что его голова переполнена сюжетами и он мог бы наводнить своими работами все русские журналы. Просто непостижима эта способность несомненно затронутого мозга, да еще в шестидесятилетнем возрасте!» (ИМЛ, ф. Лаврова, п. 36, лл. 99—100).

...столь же благополучно прошла и вся серия «Пестрых писем». — Это неверно. Печатание «Пестрых писем» в «Вестнике Европы» сопровождалось серьезными цензурными осложнениями вплоть до требования министра внутренних дел Д. А. Толстого закрыть журнал, чему, однако, воспротивился по формально-юридическим мотивам Победоносцев (XX, 141—142).

В. М. Лазаревский

<ЗАПИСЬ РАЗГОВОРА С М. Е. САЛТЫКОВЫМ>

Печатается впервые, по автографу, хранящемуся в ЦГАЛИ, ф. 277.

Стр. 629. 1886 г. — Дата и место свидания уточняются письмом Салтыкова к Лазаревскому от 4 июля 1886 года (XX, 234). Оно произошло вскоре после отправления этого письма, в Финлян-

дии, на даче у Е. А. Оболенской (Волковой), близ станции Мустамяки, где Салтыков проводил лето.

...для ежедневных поездок к Боткину... — Дача С. П. Боткина находилась по соседству, в местечке Культияла.

Стр. 630. *Затянул дело из-за Кривенки, который всего одну статью поместил в «Отечественных записках»...* — Речь идет несомненно о доставленной Кривенко и напечатанной в № 8 «Отечественных записок» за 1883 год статье «Из истории французской печати». Статья, помещенная без подписи, принадлежала перу находившегося в эмиграции Льва Тихомирова — теоретика и одного из видных писателей партии «Народная воля», члена ее Исполнительного комитета, впоследствии же ренегата, принесшего огромный вред революции. Отметим, что в годы участия в революционном движении Лев Тихомиров был большим поклонником Щедрина и сам указывал, что в своих пропагандистских «притчах», особенно в известной «Сказке о четырех братьях», 1873, «вдохновлялся Щедриным» («Воспоминания Льва Тихомирова», предисловие В. И. Невского. Вступит. статья В. Н. Фигнер, М.—Л. 1927, стр. 75).

...*Кривенко и Эртель — одно и то же лицо.* — Ошибка. Салтыков не мог говорить о тождестве двух хорошо известных ему литераторов, сотрудников своего журнала. Писатель А. И. Эртель, связанный в начале восьмидесятых годов с революционным движением, действительно много печатался в «Вестнике Европы», в том числе и тогда, когда находился в административной ссылке в Твери.

...*я им дал шесть тысяч подписчиков...* — После запрещения «Отечественных записок» в апреле 1884 года Салтыков предложил подписчикам рассчитаться с ними высылкой до конца года московского журнала «Русская мысль». Он сделал это ради товарища своего детства С. А. Юрьева, номинально стоявшего во главе журнала, которым заправляли дельцы В. М. Лавров и Н. Н. Бахметьев.

В. А. Оболенский

М. Е. САЛТЫКОВ В СВОЕЙ СЕМЬЕ
(ВОСПОМИНАНИЯ СЛУЧАЙНОГО ЗНАКОМОГО)

Печатается по тексту журнала «Современные записки», Paris, 1921, № 6, стр. 81—91.

Стр. 632. ...*возле ст. Мустамяки, где он нанял дачу в имени моей матери.* — Салтыков нанимал дачу не у самой кн. А. А. Обо-

ленской а у ее дочери Елизаветы Андреевны, в первом браке Волковой.

Елизавете Аполлоновне было тогда под сорок лет. — В действительности — под пятьдесят (род. в 1839 году).

Стр. 633. *...через полтора года.* — Через три.

Стр. 634. *...стал <...> ругать Финляндию, ее природу и жителей...* — Эти нападки, продиктованные болезненной раздражительностью, отразились не только в беседах и письмах Салтыкова той поры, но и в его сочинениях, например, во «Введении» к «Мелочам жизни» (XVI, 416—419, ср. XX, 231—232).

Стр. 635. *...о матери, которую он так ярко изобразил в госпоже Головлевой.* — Слова эти не следует понимать буквально. Арина Петровна из «Господ Головлевых» — не фамильный портрет, а художественный образ большой обобщающей силы. Верно, однако, что этот образ вообрал в себя и впечатления сатирика от яркой фигуры его матери — Ольги Михайловны Салтыковой, рожденной Забелиной.

Стр. 636. *...дочери мелкопоместной помещицы Великолуцкого уезда...* — Биографические сведения о матери Елизаветы Аполлоновны очень скудны (Н. Макаров, Мои семидесятилетние воспоминания... СПб. 1882, ч. 4, стр. 230).

...он писал тогда «Пошехонские рассказы»... — Ошибка. «Пошехонские рассказы» вышли в свет еще в 1884 году. Летом же 1886 года, в Финляндии, Салтыков заканчивал подготовку отдельного издания «Сказок» и «Пестрых писем», а также приступил к новой книге — «Мелочи жизни».

Стр. 637. *...но, кажется, так примирения между ними и не произошло.* — Неверно. Несмотря на отдельные, порою острые размолвки между Салтыковым и Унковским, их дружеские отношения никогда не прерывались. См. воспоминания А. М. Унковского и вводную заметку к ним, стр. 646—656.

Стр. 639. *...когда еще барышней жила в Великолуцком захолустье.* — Надо читать: в вятском или владимирском захолустье, где прошли девичьи годы Лизы Болтиной.

...писал сатиру «Ангелочек», в которой со злобным юмором изображал свою жену и дочь... — «Ангелочек» — рассказ из сборника «Мелочи жизни». Некоторые черты жены и дочери сатирика действительно можно найти в образах Софьи Михайловны Братцевой и ее дочери Верочки — «ангелочка».

...Костю переводят в лицей... — сын Салтыкова Константин в конце 1886 года был переведен из частной гимназии Я. Г. Гуревича в Александровский лицей. Заслуживает внимания свидетельство В. А. Оболенского, что это было сделано по желанию

Елизаветы Аполлоновны и «несмотря на протесты» Салтыкова.

...был исключен из лица... — Это произошло в 1893 году, то есть уже после смерти Салтыкова (письмо Н. А. Белоголового к П. Л. Лаврову от 18 января 1894 года. — ИМЛ, ф. П. Л. Лаврова, п. 38, лл. 96—97).

Стр. 641. ...могла ли я думать, что в той же шляпке, в которой я хоронила Сергея Петровича Боткина, я буду хоронить своего Мишеля! — Боткин умер 24 декабря 1889 года, то есть через восемь месяцев после смерти Салтыкова.

Алексей Н. Веселовский

<М. Е. САЛТЫКОВ И С. А. ЮРЬЕВ>

Печатается с сокращениями по изданию: «В память С. А. Юрьева. Сборник, изданный друзьями покойного», М. 1891, стр. 282—285.

Стр. 643. ...к поре после прекращения «Отечественных записок». — Справка неточна. Известные письма Салтыкова к Юрьеву — всего одиннадцать — написаны: одно в 1871, три — в 1880, четыре — в 1883 и по одному в 1884, 1885 и 1888 годах. Девять из этих писем вошли в Полн. собр. соч., два — будут впервые опубликованы в готовящемся к печати томе «Литературного наследства».

Стр. 644. ...учитель русской словесности Суринов... — Двойная ошибка Салтыкова или, скорее, Веселовского. Архивные документы устанавливают, что в московском Дворянском институте был в 1836—1838 годах преподаватель латинского (не русского) языка кандидат Тимофей Сиринов (не Суринов).

Стр. 645. ...в лице Семена Семеныча... — К Юрьеву ближайшим образом относится следующая ироническая характеристика упомянутого персонажа из «Пестрых писем» («Письмо IV»): «А Семен Семеныч, с «Гамлетом» в руках, с Гамлетом в сердце и с Гамлетом в голове (есть в Москве чудачки, которые до сих пор Мочалова да Цынского забыть не могут!), тут же, неподалечку, перед Сухаревой башней в восторженном оцепенении стоит и мысленно разрешает вопрос: кто выше — Шекспир или Сухарева башня?» (XVI, 303).

...предложил четыре свои сказки, ходившие в свое время по рукам... — Салтыков предложил, собственно, две сказки: «Медведь на воеводстве» и «Вяленую воблю». Но первая сказка состояла из трех сатирических рассказов: «Топтыгин 1-й», «Топтыгин 2-й» и

«Топтыгин 3-й». Обе сказки были запрещены цензурой в 1884 году и вплоть до 1906 года распространялись в нелегальных гектографированных и печатных зарубежных изданиях. В сборнике памяти Юрьева их также не удалось напечатать. Алексей Веселовский ограничился тем, что дал краткое изложение сказок. Изложение это, как и публикацию писем Салтыкова к Юрьеву, мы опускаем.

А. М. Унковский

<ПРОГРАММА ЛЕКЦИИ-ВОСПОМИНАНИЙ О М. Е. САЛТЫКОВЕ>

Печатается по тексту газеты «Русские ведомости», 1894, № 115, от 28 апреля, где появилось под заглавием «М. Е. Салтыков в посмертных воспоминаниях друга». Заглавие было дано редакцией. Сохранилась наборная рукопись публикации: список рукою С. А. Унковской, старшей дочери мемуариста, с поправками и подписью А. М. Унковского, а также с правкой редактора «Русских ведомостей» В. М. Соболевского (ЦГАЛИ, ф. 445, оп. 2, ед. хр. 1). Авторское заглавие рукописи было: «Программа А. Унковского». Лекцию Унковский предполагал прочесть летом или осенью 1889 года, но она была запрещена полицией (ЦГАЛИ, назв. рукопись, примеч. на л. 1; Гр. Джаншиев, А. М. Унковский и освобождение крестьян. Историко-биографические справки, М. 1894, стр. 7).

Стр. 650. *К концу этого года появились «Губернские очерки» Щедрина.* — В декабре 1856 года в журнале «Русский вестник» закончилось печатание первых девятнадцати «очерков» (из тридцати трех, входящих в окончательную редакцию произведения). В январе 1857 года они вышли отдельным изданием, в двух томах.

...бывал у меня в Твери каждый раз, когда выезжал из Петербурга. — В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов все маршруты поездок Салтыкова лежали через Тверь: к матери и братьям — в Спас-Угол, к Болтиным — во Владимир, в редакцию «Русского вестника» — в Москву, к месту своей вице-губернаторской службы — в Рязань.

...он был с лишком год в отставке... — Год и восемь месяцев: с 9 февраля 1862 года по 6 ноября 1864 года.

В конце 1862 года было у нас с ним намерение издавать вместе ежемесячный журнал под названием «Русская правда» <...> это нам не удалось. — Намерение Салтыкова и Унковского издавать в Москве журнал «Русская правда» возникло не в

конце, а в самом начале 1862 года. Инициатива издания шла от Салтыкова; искавшего свою собственную позицию в общественно-политической и литературной борьбе. Идея журнала владела Салтыковым еще с 1856 года, с самого возвращения из Вятки (см., например, запись в дневнике А. В. Дружинина от 27 февраля 1856 года, стр. 426). Но пока Салтыков находился на государственной службе, он не мог предпринять решающих шагов для ее осуществления. Как только он оказался вынужденным 20 января 1862 года подать в отставку с поста тверского вице-губернатора, он немедленно предпринял такие шаги.

Помимо Унковского, Салтыков привлек к своему предприятию другого вожака тверских либералов — А. А. Головачева (двоюродного брата и приятеля Унковского). Кроме него, к руководящему участию в издании был приглашен бывший петрашевец А. И. Европеус, также причастный к «движению» тверских либералов и вместе с тем связанный с лондонским центром Герцена и Огарева. Издательскую часть согласился взять на себя критик и публицист А. Ф. Головачев (впоследствии, с 1863 года, секретарь «Современника»). На более поздней стадии, в апреле 1862 года, уже после того как в Московский цензурный комитет были поданы все необходимые бумаги, были приглашены Н. Г. Чернышевский и либеральный публицист Б. И. Утин. Ответ Чернышевского на официальное письмо-приглашение Салтыкова остается неизвестным. Что касается Утина, то он выразил желание стать пайщиком издания, но при том, однако, условии, что он будет заведовать отделом политического обозрения журнала. Московский цензурный комитет вынес положительное решение, но оно не было утверждено министром просвещения А. В. Головниным. Свой отказ (4 мая 1862 года) министр мотивировал формально — ссылкой на предстоящий пересмотр правил о печати («Литературное наследство», т. 13—14, 1934, стр. 141; ЦГИАМ — ф. III Отделения, № 109, 1 экз., 1862; д. 61: «О журналах и газетах», лл. 65—66). Салтыков этому не поверил. «Следует полагать, — писал он Б. И. Утину 16 мая 1862 года, — что причина отказа есть только маска, под которою неуклюже скрыто нежелание отдать журнал именно нам» (XVIII, 170). Исходя из этой уверенности, Салтыков и Унковский предприняли обходный маневр. Они задумали начать издание «под чужим именем». В мае 1862 года были начаты переговоры с неким Козловым, владельцем временно приостановленного журнала «Московский вестник», и с Елисеевым — редактором только что переставшего выходить журнала «Век». Елисеев охотно пошел навстречу сделанному предложению. При этом, однако, он выступил с встречным планом. Считая важным

сосредоточить в одном издании возможно больше «однородных сил», «для действия к одной цели», Елисеев предложил группе «Русская правда» соединить свои «моральные и материальные силы» с петербургской группой. Состав ее он не обозначил, но сообщил в письме к Унковскому, что, кроме него самого, в группу войдет Некрасов, согласившийся помочь весьма капитально — внесением суммы, равной половине годовых расходов («Литературное наследство», т. 25—26, 1936, стр. 625—626). Эти любопытные переговоры происходили в тревожное для «Современника» время — конец мая 1862 года, когда над литературно-журнальным центром «революционной партии» уже сгустились грозные тучи и со дня на день можно было ожидать ударов переходившей в контрнаступление реакции. Очень возможно, что в этих условиях вмешательство Некрасова преследовало другие цели, нежели те, которые от его имени и в соответствии с программой «Русской правды» изложил Елисеев в упомянутом письме к Унковскому. Можно думать, что накануне реально возникшей опасности прекращения «Современника» Некрасов хотел закрепить будущий журнал Салтыкова за демократическим лагерем. Однако Некрасов не раскрыл своих карт. Ничего не знаем мы и об отношении к переговорам Чернышевского. Известен лишь общий результат: все замыслы, связанные с «Русской правдой», рухнули. С одной стороны, правительство, резко усилившее борьбу с революционным движением, не могло разрешить журнал, в котором почти все руководители и главные участники побывали в ссылке (Салтыков, Унковский, Европеус, Плещеев) и большинство продолжало находиться под негласным надзором (Унковский, Европеус и Головачев, не говоря уже о Чернышевском). С другой стороны, проект Салтыкова должен был потерпеть неудачу и независимо от этого. Задуманная им коалиция «всех партий прогресса» не могла быть осуществлена в условиях наступившего в 1862 году перелома в политическом состоянии русского общества. Перелом этот ознаменовался, в частности, отходом либеральной оппозиции от сотрудничества с революционерами, ростом враждебности либералов к демократам. Не менее резко обозначилось и встречное движение. По словам М. М. Стасюлевича, относящимся к июню 1862 года, «снизу», то есть со стороны революционной демократии, либералов стали считать «ретроградами и почти что подлецами» («М. М. Стасюлевич и его современники в их переписке», т. I, СПб. 1911, стр. 405). В этой ситуации, особенно после июньско-июльских репрессий правительства — закрытия «Современника» и «Русского слова», ареста Чернышевского, Н. Серно-Соловьевича, Писарева и других, — когда пропасть

между либералами и революционными демократами разверзлась еще глубже, провозглашенная Салтыковым цель «Русской правды» — добиваться «сближения» между «разными оттенками партий прогресса» ради «единства действия», становилась политически беспредметной и практически неосуществимой. Салтыков скоро это понял. Неудача, постигшая его в попытке организовать в блоке с либералами просветительскую группу крупного общенационального масштаба, явилась важным переломным моментом в идейном развитии писателя.

Во время спада открытого революционного и оппозиционного движения в стране, несмотря на осложнившиеся политические условия, Салтыков в том же 1862 году сделал свой окончательный выбор и примкнул к «партии» «Современника».

Документация о «Русской правде» опубликована в следующих работах и изданиях: 1) Ю. Оксман, Несостоявшийся журнал М. Е. Салтыкова-Щедрина «Русская правда». — «Красный архив», М. 1923, № 4, стр. 393—398; 2) Н. М. Выводцев, «Русская правда». — «Литературное наследство», т. 13—14, 1934, стр. 140—142; 3) И. Эйгес, О несостоявшемся журнале М. Е. Салтыкова-Щедрина. — «Литературное наследство», т. 25—26, 1936, стр. 623—626; 4) XVIII, 167—171 и 372—379.

Бывал он и у меня, в моем имении — в сельце Дмитриукове, на границе Тверского и Старицкого уездов, недалеко от почтового тракта между Тверью и Старицей.

Стр. 651. ...я, по его требованию, писал для «Современника» статьи о началах судебной и финансовой реформ. — «Новые основания судопроизводства» и «О преобразованиях по части прямых налогов». Первая была напечатана в №№ 1—4 «Современника» за 1863 год, вторая — в № 5 за тот же год.

В 1861 или 1862 году купил он имение — сельцо Витенево под Москвою, около станции Пушкино (Ярославской жел. дор.). — Витенево было куплено в конце 1861 года.

Одним словом, имение, за которое он заплатил тридцать пять тысяч рублей, могло давать дохода не более шестисот рублей. — Историю покупки Витенева и своего незадачливого хозяйствования Салтыков не раз иронически излагал на страницах своих сочинений, с подробностями, приведенными Унковским (см., например, в «Убежище Монрепо», глава «Общий обзор»). Неудачные методы ведения сельского хозяйства документируются несколькими десятками деловых писем Салтыкова и Елизаветы Аполлоновны к управляющему витеневским имением А. Ф. Каблукову. В 1941 году эти письма были разысканы нами в Витеневе среди

бумаг сына А. Ф. Каблукова, почетного академика И. А. Каблукова. Ныне они хранятся в ЦГАЛИ (неизд.).

Стр. 652. *...Салтыков чуть было не заплатил эту сумму...* — В рукописи эти слова имели продолжение, вычеркнутое Унковским: «...если бы бывший в то время московский генерал-губернатор (кажется, Тучков) не оказал в этом случае энергического содействия...» Генерал-губернатором в Москве Павел Алексеевич Тучков был вплоть до своей смерти в 1864 году. Этим приблизительно датируется эпизод с Нейфельдтом.

...в половине семидесятых годов им куплено было имение под Ораниенбаумом... — В 1878 году Салтыков купил имение «Леляжье» на берегу Финского залива. См. комментарий к воспоминаниям Е. И. Жуковской, стр. 693—694.

Стр. 653. *...мы, друзья Салтыкова, купили г. Гейлигенталю серебряный кубок...* — Кубок купили Некрасов, Елисеев, Ераков и Унковский, который и вручил его Гейлигенталю (Heiligentahl). Врача этого Салтыков очень ценил.

В письме из Парижа, 14 октября... — Письмо не сохранилось. Цитируемый Унковским отрывок — все, что дошло до нас от этого документа. Об истории с Соллогубом см. в предисловии, стр. 32. Подробнее см. в примечаниях С. П. Шестерикова к «Воспоминаниям» В. А. Соллогуба, М. 1931, стр. 282.

Стр. 654. *Труд этот был очень тяжел и его здоровья.* — В рукописи сохранилась первоначальная редакция этой фразы, затем вычеркнутая: «Труд этот был до такой степени тяжел, что известие о запрещении журнала, как мне казалось, с самого начала его очень обрадовало».

...в моей деревне, в июне 1885 года. — Последний раз Салтыков гостил в Дмитриюкове с 8 по 11 июня 1885 года. См. воспоминания С. А. Унковской, стр. 674—675.

...он оставил массу записок... — Судьба этих записок неизвестна (за единичными исключениями). Кое-что могла увезти за границу дочь Салтыкова Е. М. де Пассано.

Стр. 656. *...в пределах благоразумия. Если же увлечения этих лиц выходили из таковых пределов, то он подвергал их увлечения беспощадному осмеянию, как и всякую другую ложь и пошлость.* — Эти слова, относящиеся в первую очередь к народофильским революционерам-террористам, к первомайцам, были опущены в публикации «Русских ведомостей». Ср. воспоминания Л. Ф. Пантелева, стр. 200.

...с теми пессимистами... — Здесь Унковский полемизирует с обывательских позиций с кем-то, кто склонен был усматривать в Салтыкове представителя научного социализма.

**М. Е. Салтыков и его семья по рассказам моего отца
и личным воспоминаниям**

Печатается впервые, в отрывках, по автографам, хранящимся у автора настоящих строк: 1) «Положительные идеалы и сокровенные взгляды М. Е. Салтыкова», 2) «Семья М. Е. Салтыкова и отношения его к семье», 3) «Воспоминания о М. Е. Салтыкове» и 4) «Судьба рукописей М. Е. Салтыкова, бывших у А. М. Унковского». Все эти работы были написаны М. А. Унковским в 1932—1933 годах для «щедринских» томов «Литературного наследства», но в печати появилась лишь одна из них — четвертая (т. 13—14, 1934, стр. 585—588).

Стр. 658. *...отец хотел писать о нем книгу воспоминаний <...> но дальше небольших набросков не пошел...* — См. воспоминания А. М. Унковского, стр. 649—656.

Стр. 659. *...связь этого тяжелого душевного переживания с каким-то событием была ясна.* — Этим событием был арест «великорусца» Владимира Обручева осенью 1861 года. См. комментарии к воспоминаниям Л. Ф. Пантелеева, стр. 726—729.

Стр. 660. *Недаром у Некрасова и Салтыкова встречается столько отголосков этих посещений.* — Такие отголоски имеются, например, в поэме Некрасова «Современники», в сатирической хронике Щедрина «Дневник провинциала в Петербурге» и в других произведениях этих авторов.

...татарин Науматтула Хабибуллин, выведенный в сатире Салтыкова в роли воспитателя Иомудского принца. — См. «Мнения знатных иностранцев о помпадурках» (IX, 270—271) и «Культурные люди» (XI, 527—532).

Стр. 664. *...Михаил Евграфович в бытность свою женихом не затруднился написать специально для своей будущей жены целый курс истории России.* — «Краткая история России» была составлена Салтыковым для сестер Болтиных в 1853 году, в Вятке. Рукопись эта неизвестна.

Стр. 665. *...где-то на юге Франции...* — в Каркассоне.

...Елизавета Аполлоновна всем обликом и фигурой напоминала француженку. — Бабка Елиз. Апол. со стороны матери Екатерины Ивановны, рожд. Юшковой (дочери саратовского помещика) была наполовину француженкой.

Стр. 667. *Отец и Елизавета Аполлоновна в крайнем смущении поспешили удалиться из концерта.* — Другую редакцию этого рассказа см. в воспоминаниях В. И. Танеева, стр. 574—575.

Стр. 668. — *Занят, скажите... Умираю...* — Этот эпизод находим

и в заметке Вл. Лихачова: «Из давнего и недавнего былого (Черты и случаи). М. Е. Салтыков». — Газ. «Слово», 1909, № 785, от 4/17 мая. Совпадение объясняется единством источника — записями А. М. Унковского.

С. А. Унковская

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О МИХАИЛЕ ЕВГРАФОВИЧЕ САЛТЫКОВЕ-ЩЕДРИНЕ

Печатается впервые по автографу, хранящемуся у автора настоящих строк.

Стр. 670. *...дочь его Лиза...* — Дочь М. Е. Салтыкова была сверстницей Софьи Унковской. Незадолго до Октябрьской революции Елизавета Михайловна, в первом браке баронесса Дистерло, во втором — маркиза де Пассано, уехала за границу. Она умерла в 1927 году во Франции. Находясь в 1945 году с войсками Красной Армии в Австрии, автор этих строк имел возможность слышать в Вене от лица, хорошо знавшего Елизавету Михайловну и часто посещавшего ее в двадцатых годах, что у нее сохранялись некоторые рукописи Салтыкова и принадлежавшие ему семейные реликвии.

Стр. 674. *Доктор Боткин ездил к нему почти ежедневно...* — Это бывало в периоды резких обострений болезни Салтыкова.

Стр. 675. *...он ежедневно писал <...> детям письма, где описывал свою жизнь в деревне...* — Известно лишь десять писем Салтыкова к детям. Все они относятся к лету 1880 года и адресованы за границу, но не из деревни, а из Петербурга (XIX).

Стр. 676. *...оставил даже форму объявления о своей смерти в «Новом времени», оставив только место для числа и месяца.* — Текст этого документа, написанного рукою Салтыкова, гласил (см. воспроизведение в «Литературном наследстве», т. 13—14, 1934, стр. 203):

«Проект объявления (в «Новом времени», «Новостях» и «Русских ведомостях» — послать в Москву телеграфом).

Такого-то числа и месяца скончался писатель М. Е. Салтыков (-Щедрин).

Погребение там-то и тогда-то.

Стр. 677. *Многие студенты сидели на крыше, один из них, Захарьин, читал свое стихотворение...* — Стихотворение, прочитанное над могилой Салтыкова студентом Петербургского университета С. А. Захарьиным, обратило на себя внимание политической полиции. Агент охраны доносил о похоронах Салтыкова: «Студент Захарьин в прочитанном стихотворении старался показать, что Салтыков умел «будить уснувшие рабские силы» и что со смертью его гибнет надежда на то, чтобы «угнетенные» услышали слово, ободряющее их». См. «Литературное наследство», т. 13—14, 1934, стр. 241—242; там опубликован и текст стихотворения.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН¹

В указатель включены личные имена, прямо или косвенно упомянутые как в публикуемых воспоминаниях, так и в сопроводительных заметках и комментариях.

Имена, упоминаемые только в библиографических и источниковедческих ссылках, не раскрываются; они набраны курсивом.

Аннотируются, как правило, лишь те имена, которые не могут быть найдены в общих словарях.

Справки даются применительно к контексту или к значению аннотируемого имени в биографии М. Е. Салтыкова.

- | | |
|---|---|
| <p>Абаза Александр Аггеевич (1821—1895), либеральный госуд. деятель — 156.</p> <p>Абрамов Яков Васильевич («Федосеев»), (1858—1906) (см. о нем стр. 286—287), — 224, 246, 742, 746—747.</p> <p>Аверкиев Дмитрий Васильевич (1836—1905) — 30.</p> <p>Агин Александр Алексеевич (1817—1875), художник — 539.</p> <p>Адлерберг Владимир Федорович, граф (1790—1884), министр двора (1852—1872) — 623.</p> <p>Аксаков Александр Николаевич (род. 1832), автор статей о спиритизме, племянник С. Т. Аксакова — 813.</p> <p>Аксаков Иван Сергеевич (1823—1886), один из виднейших представителей позд-</p> | <p>него славянофильства, сын С. Т. Аксакова — 598, 631, 784, 819.</p> <p>Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859) — 784, 786.</p> <p>Аксакова Вера Сергеевна (1819—1864), старшая дочь С. Т. Аксакова — 786.</p> <p>Аксельрод Павел Борисович (1850—1928), член первой русск. соц.-демократ. группы «Освобождение труда» — 380.</p> <p>Александр II (1818—1881) — 54, 105, 207, 431, 440, 475, 505—507, 513, 525, 527—529, 616, 619—620, 623—624, 684, 704, 720, 731, 737—741, 750, 776—778, 783, 795, 799, 802, 805, 825—826.</p> <p>Александр III (1845—1894), — 165, 399, 730.</p> |
|---|---|

¹ Составила Т. М. Велембовская.

- Александров** — см. Александровский В. П.
- Александровский Василий Павлович** (1819—1878), пензенский губернатор (28. XII. 1862 — 3. VII. 1867) — 183, 509—512, 720.
- Альбов Михаил Нилович** (1851—1911), писатель — 326.
- Амфитеатров Александр Валентинович** (1862—1923), писатель; после Октябрьской революции эмигрант — 757.
- Анатольев П. И.** — 768
- Андреев**, вятский домовладелец — 536.
- Андреева Татьяна Яковлевна**, опекуна Н. Н. Кузнецова — 512—513.
- Андреевский**, начальник регистратуры Канцелярии военного министерства (1848) — 417
- Анненков Николай Николаевич** (1790—1865), директор Канцелярии военного министерства (1842—1848); член следственной комиссии, разбиравшей в апреле 1848 г. «дело Салтыкова» — 416, 419—422, 773.
- Анненков Павел Васильевич** (1812—1887) — 11, 25, 28, 32, 34, 37, 135, 159, 255—256, 309, 325, 424—425, 509—510, 601—605, 689—690, 713, 718, 720, 725, 740, 744, 757—758, 767, 769, 792, 820.
- Анненкова Глафира Александровна** (1831—1899), жена П. В. Анненкова — 604.
- Аносов Илья Федорович** (р. ок. 1863), участник студенческого движения 80-х гг.; привлекался по делу Общественного союза — 767.
- Антонов Иван Иванович**, владелец виллы близ Ниццы — 358, 360, 758—759.
- Антонович Максим Алексеевич** (1835—1918) — 56—57, 67, 73—74, 84—87, 332, 684—685, 690, 695—696.
- Аракчеев Алексей Андреевич** (1769—1834) — 274.
- Арапетов Иван Павлович** (1811—1887), член редакционных комиссий по крестьянскому вопросу — 34, 138—139, 709.
- Арапов Александр Николаевич**, губернский предводитель дворянства в Пензе (1855—1872) — 511—512.
- Арборе-Ралли Земфирий Константинович** (1847 — ум. после 1911), привлекался по нечаевскому делу, сотрудник ряда эмигрантских изданий — 373.
- Аристофан** (ок. 446—385 до н. э.) — 36.
- Арманго (Armengaud)**, историк — 96, 698.
- Арнольди Нина Александровна**, писательница — 764.
- Арсеньев Константин Константинович** (1837—1919) — 273, 580, 614, 619, 745, 777, 793, 816.
- Артамов (Artamof)**, историк — 96, 698.
- Артемьев Александр Иванович** (1820—1874), (см. о нем стр. 427) — 9, 21, 471, 719, 775, 779, 782, 785, 806.
- Арцимович Виктор Антонович** (1820—1893), деятель крестьянской реформы — 600, 819—820.
- Атласов В. А.**, рязанский знакомый Салтыкова — 456.
- Афанасьев В. Н.** — 40.
- Афанасьевы Гаврила и Иван**, крепостные мальчики рязанской помещицы Кислинской — 445, 786—787.
- Б.** — см. Безобразов.
- Бабореко А. К.** — 29.
- Базилевский Виктор Иванович** (1834—1895), енисейский золотопромышленник — 197.
- Байроя Джордж-Ноэл-Гордон** (1788—1824) — 775.

- Бакуин** Михаил Александрович (1814—1876) — 357, 590, 757.
- Бакунины**, Александр (1821—1908), Алексей (1823—1882), Николай (1818—1901) и Павел (1820—1900), братья Михаила Александровича, тверские либеральные дворяне, активно участвовали в проведении реформы 1861 г. — 620.
- Баласогло** Александр Пантелеймонович (род. 1813), петрашевец — 822.
- Балашевич-Потоцкий** Юлиан, заграничный агент III Отделения — 360.
- Баллод** Петр Давидович (1839—1918), участник револ.-демокр. движения 60-х гг., один из организаторов «Молодой России» — 345.
- Бальзак** Оноре де (1799—1850), — 184, 708.
- Баранов** Павел Трофимович, граф (1814—1864), тверской губернатор (1857—1862) — 86, 472, 620—621, 726, 728—729, 797.
- Баранов С. Ф.* — 722.
- Барановский** Александр Николаевич (род. 1824), петрашевец — 822.
- Барант** Эрнест де (1818—1859), сын франц. посланника в Петербурге — 774.
- Бартнев** Петр Иванович (1829—1912), историк, ред. изд. журн. «Русский архив» — 577, 815.
- Баскаков В. Н.* — 698—699.
- Бахметьев** Николай Николаевич (1847—1909), секретарь журн. «Русская мысль» — 829.
- Бахрушин А. А.* — 704.
- Бахтноров** А. М., рязанский знакомый Салтыкова — 456.
- Безобразов** А., помещик Тверской губернии — 472.
- Безобразов** Владимир Павлович (1828—1889), экономист и публицист; в конце 50-х гг. служил в министерстве государственных имуществ и редактировал журнал министерства — 181, 426, 434—435, 718, 742, 782, 792, 825.
- Безобразова** Елизавета Дмитриевна, жена В. П. Безобразова — 426, 434.
- Бежецкий** М. (псевдоним Алексея Николаевича Маслова) (род. 1853), писатель — 304.
- Беккариа** Чезаре (1738—1794), итальянский криминалист, буржуазный просветитель — 272.
- Белинский** Виссарион Григорьевич (1811—1848) — 10, 32, 45—46, 139, 144, 272, 308—309, 409, 443, 611, 681, 754, 785, 822.
- Белинский** Максим — см. И. И. Ясинский.
- Белкин** П. С., рязанский знакомый Салтыкова — 456.
- Белоголовая** Софья Петровна, жена Н. А. Белоголового — 588, 819.
- Белоголовый** Николай Андреевич (1834—1895), (см. о нем стр. 588—594) — 8, 23—26, 28, 35, 153, 172, 180, 206, 222, 363, 524, 574, 576—577, 631, 648, 681, 684, 686, 706, 715, 723, 725, 737, 739, 744, 764, 777, 805, 811, 817—820, 822, 826—828, 831.
- Белокопский** Иван Петрович (1855—1931), революционный народник, автор статьи «Очерки тюремной жизни», присланной из ссылки и напеч. Салтыковым в «Отч. записках» (1881, № 10) — 326.
- Белый** Андрей (псевдоним Бориса Николаевича Бугаева) (1880—1934) — 554, 558.
- Беляев**, купец-миллионер — 695.
- Бенедяков** Владимир Григорьевич (1807—1873) — 98.

- Бензенгр Василий Николаевич (1815—после 1885), врач, антрополог — 570.
- Бенкендорф Александр Христофорович, граф (1783—1844), шеф жандармов и начальник III Отделения — 418, 774.
- Берви Василий Васильевич («Н. Флеровский») (1829—1918), экономист и социолог — 773.
- Берг Федор Николаевич (1840—1909), писатель; в 60-е гг. сотрудник «Современника» — 692.
- Бернардский (Бернадский) Евстафий Ефимович (1819—1889), художник — 433, 777.
- Бернштам Леопольд Адольфович (1859—1939), скульптор — 530, 806.
- Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829—1897), историк — 770.
- Бисмарк Отто (1815—1898) — 575, 813.
- Благосветлов Григорий Евлампиевич (1824—1880) — 90, 109—110, 144, 366, 696—697.
- Блан Луи (1811—1882) — 134, 272, 376, 555, 705, 753, 762.
- Блудов Дмитрий Николаевич, граф (1785—1864), министр внутренних дел (1832—1838), министр юстиции (1838—1839) — 611.
- Блудова Антонина Дмитриевна (1812—1891), дочь Д. Н. Блудова; автор «Записок», опубликованных в 1872—1875 гг. в «Русском архиве» — 611.
- Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921), (см. о нем стр. 126—127) — 10, 28, 35, 98, 176—177, 568, 702, 705—708, 717, 760.
- Богов (Б—в), чиновник Тульской казенной палаты (1867) — 482—483, 497—498, 500.
- Боград В. Э. — 804.
- Бодлер Шарль (1821—1867) — 708.
- Бокков Петр Иванович (1835—ок. 1915), врач, участник рев.-демократ. движения 60-х гг., член «Земли и воли» — 727.
- Болдарев Николай Аркадьевич («г. Б.»), рязанский губернатор (14.X.1866 — 7.XII.1873); был отдан под суд за уголовные деяния — 469, 507, 520—522, 797, 801—803.
- Болтин Аполлон Петрович (ум. 1871), отец жены Салтыкова — 541—542, 560, 576, 616, 756, 808, 810, 813, 815.
- Болтина Анна Аполлоновна (род. 1839), сестра жены Салтыкова — 541, 560, 573, 575, 665, 671, 808, 813—814, 837.
- Болтина Екатерина Ивановна, рожд. Юшкова, жена А. П. Болтина — 541, 560, 562, 576, 665, 815, 830, 837.
- Болтина Елизавета Аполлоновна — см. Салтыкова Е. А.
- Болтины — 541, 560, 808, 832.
- Большаков Николай Яковлевич, сотрудник «Отеч. записок» — 326.
- Бомарше Пьер-Огюстен-Карон (1732—1799) — 813.
- Борель, владелец ресторана в Петербурге — 48, 660.
- Борисов 2-й Петр Иванович (1800—1854), декабрист, основатель Общества соединенных славян, ученый-натуралист — 588.
- Боровиковский Александр Львович (1844—1905), юрист, автор стихов, помещенных в «Отеч. записках», друг Салтыкова — 25, 30, 154, 657, 659—660, 714, 730, 762.
- Бородулин Василий Михайлович (род. 1847), врач — 674.
- Борщевский С. С. — 21, 593, 686, 721, 758.
- Боткин Василий Петрович (1811—1869), критик и публицист — 425, 822.

- Боткин Сергей Петрович** (1832—1889) — 23, 25, 40, 166—167, 187—188, 192—193, 240—241, 328, 374, 574, 577, 629, 631, 633, 635, 636, 641, 654, 657, 659, 660—661, 668, 672, 674, 723, 725, 744, 829, 831, 838.
- Боткина Екатерина Алексеевна** (1850—1917), жена С. П. Боткина — 723.
- Брандт Эдуард Карлович** (1839—1891), зоолог, проф. Женских врачебных курсов в Петербурге — 368.
- Браун Джон** (1800—1859), борец за освобождение негров в США — 646.
- Бродский Н. Л.** — 704.
- Бруни Федор Антонович** (1799—1875), художник — 539.
- Брызгалов Дмитрий Николаевич**, художник — 376, 377.
- Брюлов Карл Павлович** (1799—1852) — 539.
- Буланин Александр Васильевич** (род. 1840) школьный товарищ В. И. Танеева, присяжный поверенный — 559, 567, 811.
- Булгаков Федор Ильич («Ф.»)** (1852—1908), сотрудник «Нового времени» — 753.
- Бунин Иван Алексеевич** (1870—1953) — 29, 40.
- Бурдин Федор Алексеевич** (1825—1887), актер Александринского театра, друг А. Н. Островского — 77—78.
- Буренин Виктор Петрович** (1841—1926), (см. о нем стр. 50—51) — 29, 82, 122, 683—684, 686, 694, 703, 763, 768, 826.
- Буринский Евгений Федорович** (1849—1912), (см. о нем стр. 584) — 690, 816—817.
- Бурцев Владимир Львович** (1862—1936), (см. о нем стр. 385) — 765—768, 828.
- Буташичев-Петрашевский Михаил Васильевич** (1821—1866) — 201, 409, 563, 607, 683, 821—822.
- Буткевич Анна Алексеевна** (1826—1882), сестра Н. А. Некрасова — 99.
- Бутурлин Дмитрий Петрович** (1790—1849), военный историк; председатель секретного комитета для надзора за печатью, учрежденного 2 апреля 1848 г. («бутурлинского») — 611—612, 772, 822—823.
- Бухштаб Б. Я.** — 506.
- Бушканец Е. Г.** — 64.
- Быков Еф.** — 509.
- Бырдин Д. А.** (см. о нем стр. 471) — 21, 797.
- В. А.** — см. Милютин В. А.
- В. В.** — см. Воронцов В. П.
- В. Е.** — см. Чешихин-Ветринский В. Е.
- Валентинов Г.** — см. Плеханов Г. В.
- Валуев Петр Александрович** (1814—1890), министр внутренних дел (1861—1868), министр госуд. имуществ (1872—1877), председ. комитета министров (1877—1881) — 73, 183, 510, 727—728, 750.
- Вальтер Федор**, учитель пензенского уездного училища — 506—507.
- Варвара**, экономка в доме Ионинных — 549.
- Варницкий А. М.**, член Рязанского приказа общественного призрения — 791.
- Василевский**, чиновник Рязанской казен. палаты — 498.
- Василенин**, помещик — 694.
- Василенко К.** — 768.
- Василий**, работник Фета — 754.
- Василий Ипполитович**, чиновник Тульской казенной палаты — 483.
- Васильев**, автор попавшего в перлюстрацию письма о Салтыкове — 442.
- Васильев А. В.**, врач — 193.
- Васильев Павел Васильевич** (Васильев 2) (1832—1879),

- артист Александринского театра (1860—1874), — 567.
- Ватсон Эрнест Карлович (1839—1891), сотрудник «Современника», где после ареста Чернышевского заведовал политич. отделом; впоследствии работал в «Вестнике Европы», «С.-П. ведомостях» и др. изданиях либеральной печати — 820.
- Вейнберг Петр Исаевич (1830—1908), постоянный сотрудник «Современника» и «Отеч. записок» — 250, 742.
- Вельяшев, рязанский помещик — 786—787, 790.
- Венгерова Зинаида Афанасьевна (1867—1947), (см. о ней стр. 402) — 770—771.
- Вередагин Александр Сергеевич, вятский краевед-филолог — 538.
- Веселовский Александр Николаевич (1838—1906), историк литературы — 642.
- Веселовский Алексей Николаевич (1843—1918), брат предыдущего, историк литературы — 642, 831—832.
- Веселовский Константин Степанович (1819—1901), (см. о нем стр. 409) — 21, 412, 681, 771, 773, 803—804, 823.
- Вештомов Г. У., вятский поэт и историк, писавший в конце XVIII — начале XIX века — 538.
- Виардо Поль («молодой Виардо»), сын Полины Виардо, скрипач — 358.
- Виардо-Гарсиа Мишель-Поллина (1821—1910), франц. певица, друг И. С. Тургенева — 358, 603, 721.
- Внелъгорский Михаил Юрьевич, граф (1788—1856) — 539.
- Виницкая (псевдоним Будзианик Александры Александровны) (1847—1914), писательница — 127, 141, 710.
- Виноградов, чиновник Рязанской казенной палаты, брат И. С. Виноградова — 514.
- Виноградов Иван Сергеевич, делопроизводитель Рязанской казенной палаты — 487, 504, 514, 522, 799.
- Витязев Ф. И. — 758.
- Вишневский Николай Гаврилович («В.»), председатель Рязанской казенной палаты (1853—1865) — 445, 787.
- Вогюэ Эжен Мелькиор, виконт де (1848—1910), французский литературовед, автор работ о русском романе — 753.
- Водарский, врач в Петербурге — 727.
- Волгин В. П. — 553.
- Волков, чиновник канцелярии военного министерства (1840-е гг.) — 422.
- Волкова Елизавета Андреевна — см. Оболенская Е. А.
- Волконский Сергей Васильевич, князь (1819—1884), рязанский знакомый Салтыкова — 465, 793—794.
- Вологдин — см. П. В. Засодимский.
- Вольпе Л. — 511.
- Вольпини Мария-Франческа, певица Итальянской оперы в Петербурге (начало 60-х гг.) — 84.
- Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ), (1694—1778) — 36, 813.
- Вольф Алексей Маврикиевич, сын М. О. Вольфа, редактор-издатель журнала «Новь» — 107, 108, 700, 748.
- Вольф Маврикий Осипович (1825—1883), петербургский книгоиздатель — 94—103, 107, 507, 697—700.
- Вонлярский Федор Ардалонович (ум. 1903), чиновник Пензенской казенной палаты — 508.
- Воровский Вацлав Вацлавович (1871—1923) — 35.

- Воронцов Василий Павлович («В. В.») (1847—1918), экономист и публицист, либеральный народник — 383, 765.
- Воропанов Федор Федорович (1839—1913), публицист и экономист — 197.
- Вревская Юлия Петровна, баронесса (1841—1878), друг и корреспондентка И. С. Тургенева — 32.
- Выборгский пустынный — см. В. П. Буренин.
- Выводцев Н. М. — 835.
- Вырубов Григорий Николаевич (1843—1913), философ, один из идеологов позитивизма — 126.
- Высокозов, учитель во Владимире — 566.
- Вяземский Петр Андреевич, князь (1792—1878) — 539.
- Габель М. О. — 722.
- Гаевский Виктор Павлович (1826—1888), лицейский товарищ Салтыкова, адвокат, один из учредителей Литературного фонда — 25, 426, 626, 657, 708, 763, 827.
- Гайдебуров Павел Александрович (1841—1893), либерально-народнич. публицист, издатель газеты «Неделя» — 186—187, 752.
- Гайдуков В. М. — 787.
- Гальперин-Каминский Е. (*E. Halpérine-Kaminsky*) — 721.
- Гамбетта Леон-Мишель (1838—1882), один из лидеров франц. буржуазных республиканцев — 376, 762—763.
- Гарибальди Джузеппе (1807—1882) — 583, 585, 816.
- Гартман Лев Николаевич (1850—1913), революционер, с 1880 года эмигрант, заграничный представитель «Земли и воли» — 769.
- Гаршин Всеволод Михайлович (1855—1888) — 10, 35, 38, 40—41, 110, 141, 149, 150—151, 153, 158, 297, 304, 701, 711, 713, 747.
- Гаршина Екатерина Степановна (1828—1897), мать В. М. Гаршина — 38.
- Гаспер Александр Карлович, завед. конторой и типографией «Отч. записок» — 328.
- Гатцук Алексей Алексеевич (1832—1891), издатель «Крестного календаря» и «Газеты Гатцука» — 354, 791.
- Гвоздев Александр Александрович, делопроизводитель «мещиковского» комитета — 435, 438, 527, 772, 805.
- Ге Николай Николаевич (1831—1894) — 659.
- Гейкинг Густав Эдуардович, барон (ум. 1878), адъютант киевского жандармского управления — 388, 766.
- Гейлигенталь (*Heilighentahl*), врач — 653, 836.
- Гейне Генрих (1797—1856) — 557, 562.
- Герд Александр Яковлевич (1841—1888), педагог — 297—298, 747.
- Герцен Александр Александрович (1839—1906), сын А. И. Герцена — 152—153.
- Герцен Александр Иванович (1812—1870) — 10, 30, 35, 37, 53, 56, 64—65, 126, 152—153, 155, 156, 201, 309, 345, 508, 555—557, 589, 646, 658, 687, 712, 727, 772, 776, 782, 784, 795, 804, 807, 819, 833.
- Герцен Наталья Александровна (1844—1936), дочь А. И. Герцена — 152.
- Гете Иоганн-Вольфганг (1749—1832) — 58, 139.
- Гизо Франсуа-Пьер (1787—1874), франц. историк и реакционный политический деятель — 272.
- Гиппиус Вас. В. — 683, 689, 768, 828.
- Глазунов Иван Ильич, (1826—1889), издатель — 165, 714.

- Г л о б а Андрей, жандармский штаб-офицер в Пензе — 505—506, 508, 510.
- Г л о в а ц к и й Александр («Болеслав Прус») (1847—1912), польский писатель и публицист — 120.
- Г о г о л ь Николай Васильевич (1809—1852) — 34, 37, 51—52, 54, 104, 138, 159, 182, 268, 309, 432, 539, 557, 579, 719.
- Г о д е н Андре (1817—1888), франц. мелкобуржуазный реформатор, эпигон утопического социализма — 555.
- Г о л о в а ч е в Алексей Адрианович (1819—1903), деятель крестьянской реформы; сотрудник «Отеч. записок» по финансово-экономическим вопросам — 25, 198, 346, 561—562, 570—571, 620, 647, 659, 663, 728, 812, 833—834.
- Г о л о в а ч е в Аполлон Филиппович (ум. 1877), секретарь «Современника» — 74, 79—81, 346, 659, 662, 833.
- Г о л о в а ч е в а Наталья Филипповна, сестра Апол. Фил. Головачева — 662.
- Г о л о в и н Константин Федорович («К. Орловский») (1843—1913), реакционный дворянский литератор — 507.
- Г о л о в н и н Александр Васильевич (1826—1866), министр народного просвещения (1861—1866) — 833.
- Г о л ь ц е в Виктор Александрович (1850—1906), редактор журнала «Русская мысль» — 104, 763, 797.
- Г о н к у р ы (Гонкур), братья Эдмон (1822—1896) и Жюль (1830—1870) — 133, 707—708.
- Г о н ч а р о в Иван Александрович (1812—1891) — 35, 37—38, 52, 123, 189, 425, 724.
- Г о р б у н о в Иван Федорович (1831—1895), писатель и актер — 586, 657, 659, 661, 674.
- Г о р ч а к о в Александр Михайлович, князь (1798—1883), министр иностранных дел (1856—1882) — 135, 708—709.
- Г о р ь к и й Максим (1868—1936) — 27, 35, 42.
- Г р а н о в с к и й Тимофей Николаевич (1813—1855) — 588, 782.
- Г р и б о е д о в Александр Сергеевич (1795—1829) — 34, 715.
- Г р и г о р и й, камердинер Салтыкова в Вятке — 535, 544.
- Г р и г о р о в и ч Дмитрий Васильевич («Г.») (1822—1899) — 52, 54, 214, 659, 735.
- Г р и г о р ь е в, сослуживец Салтыкова по министерству внутренних дел, чиновник Статистического комитета — 430—432.
- Г р и г о р ь е в Александр Александрович (род. 1859), член Северо-Русского рабочего союза; в 1880 г. послан в Олонецкую губернию — 756.
- Г р и г о р ь е в Аполлон Александрович (1822—1864), поэт, критик — 822.
- Г р и г о р ь е в Григорий Григорьевич, олонецкий губернатор (70-е гг.) — 355.
- Г р и г о р ь е в Иван, крепостной крестьянин — 794—795.
- Г р о з н ы й Иоанн, см. Иван IV.
- Г р у б и, владелица пансиона в Петербурге — 638.
- Г у р е в и ч Яков Григорьевич (1843—1906), педагог — 639, 830.
- Г у р к о Иосиф Владимирович (1828—1901), генерал-губернатор Привислинского края и Варшавы (1883—1894), проводивший жесткую политику обурасания и подавления революционного движения — 730.
- Г у с а к о в, исправник в Мамалыше (50-е гг.) — 428.
- Г у щ и н, сослуживец Салтыкова по Канцелярии военного

министерства (1844—1848) — 417—420.

Гюго Виктор (1802—1885) — 132, 606.

Д. И. — см. Иловайский Д. И.
Давыдов («Д-в»), рязанский помещик—451—452, 791.

Давыдов Денис Васильевич (1784—1839) — 544, 808.

Даль Владимир Иванович («Казак Луганский») (1801—1872), писатель, этнограф, диалектолог, фольклорист — 433.

Данилевский Николай Яковлевич (1822—1885), петрашевец — 822.

Данилова, хозяйка пансиона в Ницце — 358, 757—758.

Данненберг Федор Ростиславович (род. ок. 1842), участник революционного движения 60-х гг., привлекался по делу о прокламациях «Великорусс» — 727.

Девинский И. — 26.

Дегаев Сергей Петрович (1854—1908), (см. о нем стр. 766) — 222—223, 387.

Дегай Павел Иванович (1792—1849), сенатор, в качестве члена «меншиковского комитета» ревизовал «Отеч. записки», где были напечатаны первые повести Салтыкова — 409, 412, 772.

Дейперт, литограф — 688.

Дейч Лев Григорьевич (1855—1941), (см. о нем стр. 380) — 109, 763.

Деламбр (Delambre) Жан-Батист-Жозеф (1749—1822), франц. астроном, автор труда «Abrégé d'Astronomie» — 428.

Делинь (Delines) Мишель — переводчик на франц. язык «За рубежом» Салтыкова — 705.

Деляпорт, актриса парижского театра «Жимназ» (70—80-е гг.) — 132.

Деммерт Николай Александрович (1835—1876), либераль-демократ — 89, 569, 697.

Ден, фон, Виктор Эдуардович, вятский вице-губернатор (900-е гг.) — 534.

Денисюк Н. — 718.

Джаншиев Григорий Аветович (1851—1900), историк и публицист — 573—574, 576—577, 620—621, 648, 663, 675, 817—818, 825, 832.

Диккенс Чарлз (1812—1870) — 104, 557.

Диоген из Синопа (ок. 404—323 до н. э.), др.-греч. философ — 95, 697.

Дистерло Елизавета Михайловна — см. Салтыкова Е. М.

Дмитриев Иван Иванович (1760—1837), поэт — 697.

Дмитриева Валентина Ивановна (1859—1948) (см. о ней стр. 367) — 760.

Дмитриева Елизавета — см. Тумановская Е. Л.

Дмитриевский Николай Иванович («Д», «Губернский Сенек»), правитель канцелярии рязанского губернатора (50-е — нач. 60-х гг.) — 445, 787.

Добровольский Я. М. — 8.

Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) — 14, 18, 35, 45, 57, 64, 279, 308—309, 441, 569, 682, 684, 728, 754, 785, 808—809.

Доде Альфонс (1840—1897) — 133.

Долгоруков Василий Андреевич, князь (1804—1868), военный министр (1853—1856), шеф жандармов и начальник III Отделения (1856—1866) — 441, 727—728.

Домонтович Константин Иванович (1820—1889), либеральный деятель крестьянской реформы — 138, 709.

Достоевский Федор Михайлович (1821—1881) — 21, 30, 33, 35, 37—40, 59, 61—62, 65, 123, 130, 143, 146, 184, 367—368, 384, 535, 606, 613, 659, 686, 691, 720—721, 760, 820.

- Драйден Джон (1631—1700), англ. писатель — 538.
- Дрентелья Александр Романович (1820—1888), шеф жандармов и начальник III Отделения (1878—1880) — 730.
- Дризен Н. В. — 456, 788, 791.
- Дружинин, учитель словесности — 672, 673.
- Дружинин Александр Васильевич (1824—1864) — 181, 424, 434, 717—718, 775, 783, 792, 795, 833.
- Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862), управляющий III Отделением (1839—1856) — 772.
- Дубровин Павел Николаевич, член Редакционной комиссии от Ярославского губернского комитета (1859—1860) — 559—560.
- Думшин, чиновник министерства внутренних дел (1856—1858) — 435.
- Дьяков Дмитрий Алексеевич (1823—1891), тульский помещик — 631.
- Дюма (сын) Александр (1824—1895) — 132.
- Дюран (Duran) Шарль-Огюст («Каролус») (род. 1837) — франц. художник-портретист — 62.
- Дюссо, владелец ресторана в Петербурге — 660.
- Евгеньев-Максимов В. Е. — 123, 697, 732, 742, 755, 821.
- Евреинова Анна Михайловна (1844—1897), редакт.-изд. журн. «Северный вестник» (1885—1890) — 24.
- Европеус Александр Иванович (1826—1885), петрашевец; по возвращении из ссылки (1857) участвовал в подготовке крестьянской реформы в Тверской губернии — 77, 83, 198, 346, 563—564, 620, 647, 659, 728, 811, 833—834.
- Егоров Сергей Николаевич (см. о нем стр. 440—443) — 21, 504, 738, 785, 792.
- Эзоп — см. Эзоп.
- Елена Павловна, великая княгиня (1806—1873) — 346.
- Елизавета Борисовна — см. Мелехина Е. Б.
- Елисеев Григорий Захарович (1821—1891), (см. о нем стр. 205—207) — 11—12, 23, 25—26, 30, 33, 35, 37, 40, 56—57, 65, 73, 85, 89, 108, 110, 111, 117, 121, 129, 148—149, 152—156, 163, 180, 184, 195, 222, 224, 229, 234—235, 239, 265, 280, 284, 286, 294, 308, 336—337, 353, 524, 568, 581—582, 584, 589, 624—625, 659, 684—685, 696, 701—702, 711—712, 714, 716, 723, 729, 731—737, 746, 761—762, 814, 826, 833—834, 836.
- Елисеева Екатерина Павловна (ум. 1891), жена Г. З. Елисеева — 26, 153—154, 563, 712, 728—729, 731—732.
- Ераков Александр Николаевич (1817—1886), близкий знакомый Салтыкова — 25, 185, 209, 562—563, 657, 660—661, 836.
- Ерины, рязанские помещики — 447—448, 788.
- Есаков Евгений Семенович (род. 1825), лицейский товарищ Салтыкова, петрашевец — 822.
- Ефремов Петр Александрович (1830—1907), библиограф; сотрудник «Современника» и «Отеч. записок» — 354.
- Жемчужников Алексей Михайлович (1821—1908), поэт — 659.
- Жизневский Август Казимирович (1820—1896), председатель Тверской казенной палаты, впоследствии председатель Тверской архивной комиссии — 627, 828.

Жобер, председатель Об-ва спиритов Франции — 813.

Жорж Санд, псевдоним Авроры Дюдеван (1804—1876)—132, 272, 705, 708, 757.

Жуковская Екатерина Ивановна (1841—1913), (см. о ней стр. 71—74)—659, 688—691, 693—696, 727—728, 836.

Жуковская Элеонора — 540.

Жуковская-Лисенко Нина Юльевна, дочь Е. И. и Ю. Г. Жуковских — 72.

Жуковский Василий Андреевич (1783—1852)—751.

Жуковский Юлий Галактионович (1822—1907), экономист и публицист — 71—75, 77, 79, 80, 84—87, 659, 693, 695—696.

Журавлев Н. — 441, 738.

Жюдик Анна (1850—1911), артистка парижской оперетты; в 1874—1875 гг. гастрольировала в Петербурге — 660.

З («начальник З») — см. Замятин Н. А.

З («помещик З»), костромской помещик — 144.

Забелло Пармен Петрович (1830—1917), скульптор — 530, 806, 828.

Загибалов Максимилиан Николаевич (1843—1920), участник революционно-народнического кружка Н. А. Ишутина — 505.

Зачиневский Петр Григорьевич (1842—1896), видный участник революц.-демократ. движения 60-х гг., автор прокламации «Молодая Россия» — 347.

Зайончковская Надежда Дмитриевна, («В. Крестовский») (1825—1889), писательница — 107, 226, 312, 508, 739.

Зайончковский П. А. — 704.

Зайцев Варфоломей Александрович (1842—1882), радикально-демократический кри-

тик и публицист, соратник Писарева по журналу «Русское слово» — 76, 593, 691—692, 697.

Зальц Владимир Иванович, барон (ум. 1873), петербургский комендант (40-е гг.) — 422, 774.

Замятин Николай Александрович («начальник З»), (см. о нем стр. 790) — 449.

Замятин Павел Николаевич, енисейский губернатор (конец 50-х гг.) — 777.

Замятина, дочь П. Н. Замятина — 777.

Занд Жорж — см. Жорж Санд.

Засодимский Павел Владимирович («Вологдин») (1843—1912) — 10, 88, 156, 687, 696.

Засулич Вера Ивановна (1851—1919), участница народнических кружков в 70-х гг.; вместе с Г. В. Плехановым основала марксистскую группу «Освобождение труда»; впоследствии один из лидеров меньшевизма — 123, 380, 382—384.

Захаров Гавриил, чиновник в Мамадыше (40-е гг.) — 428.

Захарова Марья Екзекустовна, жена Г. Захарова — 428.

Захарьин Сергей Александрович, студент — 677, 838.

Звонарев Семен Васильевич, бывший завед. конторой «Современника», потом книгоиздатель и владелец книжного магазина — 353.

Зибер Николай Иванович (1844—1888), (см. о нем стр. 764) — 381.

Златовратский Николай Николаевич (1845—1911), (см. о нем стр. 147—148)—10, 35, 110, 114, 153, 164—165, 258, 326, 441, 701—702, 711—712, 714, 743, 767.

Золя Эмиль (1840—1902) — 10, 133, 363, 693, 707, 760.

Зотов Владимир Рафаилович (1821—1896), (см. о нем стр. 201) — 732.

Иван, лакей Унковских — 82.
Иван IV («Иоанн Грозный») (1530—1584) — 272.

Иванов, чиновник Рязанского губернского правления (1858—1860) — 464.

Иванов Владимир Иванович, петербургский нотариус, друг М. Е. Салтыкова — 194, 197.

Иванов Михаил, вероятно вымышленное имя в рассказанном В. И. Танеевым анекдоте о «грубости» Салтыкова-редактора — 574.

Иванов Павел Афанасьевич («Живоглот»), исправник в Мамадыше — 428—429.

Ивановский («Лесной-Ивановский»), чиновник по лесохранению и лесоустройству в Мамадыше — 428, 776.

Игнатов Василий Николаевич (1854—1885), член группы «Освобождения труда» — 380—382.

Игнатов Илья Николаевич (1858—1921), (см. о нем стр. 764—765) — 381—382.

Игнатьев Николай Павлович, граф (1832—1908), министр внутренних дел (1881—1882) — 630, 740.

Ида Ивановна, хозяйка квартиры, снятой П. Д. Боборыкиным — 128.

Ижболдин, купец из Саратова — 534.

Ижевский А. П., один из руководителей Московского центра Общестуденческого союза — 767—768.

Иоанн Кронштадтский (Иоанн Ильич Сергеев) (1829—1908), черносотенный церковный деятель, протоприер собора в Кронштадте — 193, 200, 668, 725.

Ионин Коля, младший сын Н. В. Ионина — 542—543, 549.
Ионин Николай Васильевич,

вятский врач — 533, 536, 539—540, 542—544, 548—549, 551, 552, 809—810.

Ионина София Карловна, жена Н. В. Ионина — 533, 535—539, 541, 543, 548—550.

Ионина Юлия Николаевна, старшая дочь Н. В. Ионина — 549.

Ионины — 27, 533, 534, 535, 536, 541, 542, 549, 806.

Ишутин Николай Андреевич (1840—1879), революционер-народник — 505.

Кабе Этьенн (1788—1856), французский утопический коммунист — 134, 272, 553, 607, 705.

Каблуков Алексей Федорович (1814 — нач. 1880-х гг.), в 1867—1878 гг. управляющий имением Салтыкова «Витенево» — 693—694, 835, 836.

Каблуков Иван Алексеевич (1857—1942), почетный академик, сын А. Ф. Каблукова — 836.

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885), историк, юрист, буржуазно-либеральный публицист; председатель Литературного фонда — 177, 255, 256, 356, 742.

Казина Александра Никандровна (1837—1918), писательница, была связана с революционным движением — 764.

Кайданов Николай Иванович (1821—1894), петрашевец — 822.

Калашникова Е. Д. — 36.

Каменский Генрик Корвин (1813—1865), польский философ и публицист — 823.

Каменский Дмитрий Иванович (1818—1880), (см. о нем стр. 775) — 425, 426.

Каминская О. Ю., слушательница Женских врачебных курсов в Петербурге (1880) — 368.

- Кавкрин Валерьян Егорович, граф (1820—1861), сын министра финансов — 47.
- Капустин Семен Яковлевич (1828—1891), журналист — 264, 286, 743.
- Карабасников Николай Павлович (ум. 1921), издатель — 762.
- Карабчевский (Коропчевский) Дмитрий Андреевич (1842—1903), литератор — 170, 174.
- Каракозов Дмитрий Владимирович (1840—1866), революционер-террорист — 505—506, 695.
- Караччиоли Доменико (1715—1789), итал. ученый и дипломат — 538.
- Карнович Евгений Петрович (1823—1885), журналист-издатель — 257—258, 329—330, 753.
- Каролюс Дюран — см. Дюран.
- Каронин С. (псевдоним Николая Елпидифоровича Петропавловского) (1853—1892) — 326, 764.
- Карташевская Мария Григорьевна (1818—1906), племянница С. Т. Аксакова — 786.
- Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — 181—182, 381, 429—430, 432, 593, 618, 622, 711, 747, 750, 776—777.
- Каульбах Вильгельм (1805—1874), нем. художник — 321, 750.
- Кашуров, бухгалтер Рязанской казенной палаты — 514.
- Кеммерер, чиновник Статистического комитета минист. внутр. дел (1856) — 429.
- Кетриц Бернард Эрнестович (1849—1923?), (см. о нем стр. 581—582) — 584—586, 816—817.
- Кигн Владимир Львович, либерально-народнический журналист — 752.
- Киедус Н. И., агент департ. полиции (фамилия, вероятно, вымышленная) — 394.
- Кислинская, помещица в Рязани — 445, 786—787, 790.
- Клей (Клее), владелец гостиницы в Петербурге — 650.
- Клеман М. К. — 710.
- Клеменц Дмитрий Александрович (1848—1914), революционер-народник — 759.
- Клингенберг Михаил Карлович, рязанский губернатор (до 1859. IX) — 444, 787, 791, 804.
- Кличановский М. Е., управляющий Тульской казенной палатой (до 1866. XII) — 478, 479, 487.
- Клочков, букинист — 297.
- Ковалевский Максим Максимович (1851—1916), (см. о нем стр. 138) — 16, 34, 555, 557, 709.
- Ковалевский Павел Михайлович (1823—1907), худож. критик и поэт, сотруд. «Современника» и «Отч. записок» — 425.
- Коведяев Егор Николаевич (р. 1812), секретарь Канцелярии военного министерства (1844—1848) — 426.
- Коган Л. Р. — 699.
- Козлов, в 1859—1861 гг. владелец журнала «Московский вестник» — 833.
- Козьма Прутков, псевдоним, под которым выступали А. К. Толстой и братья А. М. и В. М. Жемчужниковы — 687.
- Козьмин Б. П. — 148, 553—554, 701.
- Кок Поль де (1794—1871), французский писатель — 179, 185, 722.
- Колб-Селецкий — 824.
- Колпенский В. — 768.
- Колупаев Иван, хозяин табачного магазина — 586—587, 817.

- Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) — 748.
- Коля — см. Ионин Коля.
- Комаров Александр Сергеевич («К») — 46, 681.
- Комиссаров Осип Иванович (1838—1892), шапочный мастер, в 1866 г. был официально объявлен «спасителем» Александра II от выстрела Каракозова; возведен в дворянство под фамилией Комиссаров-Костромской — 506.
- Конашевич, революционер-террорист — 766.
- Кони Анатолий Федорович (1844—1927), (см. о нем стр. 123—124) — 648, 659, 660, 704.
- Консидеран Виктор (1808—1893), франц. социалист-утопист — 134.
- Константин Николаевич, вел. князь (1827—1892), второй сын Николая I — 54—56, 183, 623, 684.
- Константин Павлович, вел. князь (1779—1831), сын Павла I — 604.
- Корба Анна Павловна (1849—после 1933), (см. о ней стр. 371) — 18, 760—761, 764.
- Корнилова Л. И. — см. Сердюкова Л. И.
- Корнилова-Мороз Александра Ивановна (1863—после 1933), (см. о ней стр. 361) — 759.
- Коробка, мировой судья — 165, 167.
- Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — 10—11, 35, 104—106, 108, 123, 304, 700, 701, 711, 748.
- Корсаковы, братья — 673.
- Корф Модест Андреевич, барон (1800—1876), историк, в 1831—1849 г. управляющий делами Совета министров — 772.
- Корф Павел Леопольдович, барон (р. 1837), чиновник ос. поруч. министерства финансов (1866) — 478.
- Корш Валентин Федорович (1828—1893), журналист — 747.
- Косарев М., учитель Вятской гимназии — 539.
- Костливец Сергей Александрович, вятский вице-губернатор (1845—1851) — 613, 823.
- Костомаров Николай Иванович (1817—1885), историк — 255, 742.
- Кострица, чиновник по водопользованию в Мамадыше — 428.
- Костров Ермил Иванович (ок. 1750—1796), поэт и переводчик — 538.
- Котельянский Лев Осипович (1851—1879), писатель — 106, 236, 305—306, 317, 748.
- Котомин Алексей Антонович, начальник Салтыкова по службе в Канцелярии военного министерства — 417, 420.
- Кошелев Александр Иванович (1806—1883), публицист-славянофил, член Рязанского губернского комитета по крестьянскому делу (1858—1859) — 794.
- Кравчинский Сергей Михайлович («Степняк») (1851—1895), революционный народник, писатель, публицист — 361, 759, 766.
- Краевский Андрей Александрович (1810—1889) — 218—219, 228, 302, 327—329, 331, 352, 398, 426, 561, 624, 735, 772, 826.
- Крамской Иван Николаевич (1837—1887) — 154, 344, 530, 755.
- Кранихфельд Владимир Павлович (1865—1918), историк литературы — 179, 200, 541, 682, 717, 808.
- Красовская — см. Скребицкая М. С.

- Крестовский В. — см. Зайончковская Н. Д.
- Кривенко Николай Иванович, отец Кривенко С. Н. — 89.
- Кривенко Сергей Николаевич (1847—1906) — (см. о нем стр. 222—225) — 11, 18, 34—35, 38, 109—111, 140, 148, 155—156, 159, 163, 165, 286, 299, 371—372, 375, 614, 619, 630, 710, 714, 716, 737, 742—745, 747, 749, 753, 761, 764, 829.
- Кропоткин Петр Алексеевич, князь (1842—1921), деятель и теоретик анархизма — 361, 593, 759, 769.
- Кротков Валерий Семенович (1846—после 1914), писатель — 304, 697.
- Крузе Николай Федорович (1823—1901), цензор — 181.
- Крупская Надежда Константиновна (1869—1939) — 670.
- Крылов Александр Дмитриевич, чиновник — 409—411.
- Кузнецов С. — 504.
- Кузнецов Николай Николаевич (см. о нем стр. 504—511) — 18, 21, 32, 693, 794, 797, 799, 801, 805, 826.
- Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868), (см. о нем стр. 415—416) — 21, 417—420, 612—613, 773—774, 823.
- Кула (Kula) В. — 823.
- Купреянов Яков Александрович (ум. в 1869), директор Департамента госуд. казнач. — 798, 800.
- Курочкин Василий Степанович (1831—1875) — 69, 143, 688.
- Курочкин Николай Степанович (1830—1884) — 89, 143, 747.
- Курье Поль-Луи (1772—1825), франц. сатирик-публицист — 136, 813—814.
- Лавров Вукол Михайлович (1852—1912), ред. журн. «Русская мысль» — 577, 605, 829.
- Лавров Петр Лаврович (1823—1900), русский социолог, идеолог народничества — 15—16, 18, 39, 205—206, 357, 363, 373, 381—382, 524, 554—555, 588—591, 593, 631, 706, 737, 758, 764—765, 818—820, 828, 831.
- Лазаревский Василий Матвеевич (1817—1890), (см. о нем стр. 628) — 25, 795—796, 799, 828.
- Ламанский Евгений Иванович (1825—1902), лицеист выпуска 1845 г., экономист — 426.
- Ланская Наталия Николаевна, в первом браке Пушкина (1812—1863) — 60, 545, 615.
- Ланской Петр Петрович (1799—1877), двоюродный брат С. С. Ланского — 545, 615—616, 824.
- Ланской Сергей Степанович (1787—1862), министр внутр. дел (1855—1861) — 427, 433, 440, 447, 452, 526—527, 616, 620, 777—779, 791, 804—805, 824—825.
- Лаппа Николай Иванович, сослуживец Салтыкова по Тульской и Рязанской казенным палатам — 456, 476, 504, 514.
- Лассаль Фердинанд (1825—1864) — 248, 716, 742.
- Левитов Александр Иванович (1835—1877) — 212, 734.
- Левцкий Сергей Львович (1819—1898), двоюродный брат А. И. Герцена; фотограф — 426.
- Левшин Алексей Ираклиевич (1799—1879), товарищ министра внутр. дел (1854—1859) — 430—431, 433, 437, 779.
- Лейкин Николай Александрович (1841—1906), (см. о нем стр. 68) — 688.
- Лемке Михаил Константинович (1872—1923) — 29, 64, 345, 727, 774, 822.
- Ленин Владимир Ильич (1870—1924) — 13, 17, 19—20,

- 35—37, 50, 223—224, 310—311, 399, 403, 440, 505, 553, 555, 589—590, 646—647, 701, 706, 716, 723, 730, 732, 770.
- Леонов Алексей Николаевич («Рылонов»), ревизор Рязанской казенной палаты — 445—446, 787.
- Леонтьев И. Л. — см. Щеголов Иван.
- Лермантов Г. В. — см. Лермонтов Г. В.
- Лермонтов Геннадий Васильевич (1836—1900), в агентурной записке III Отделения (1864), характеризовался как «один из приверженцев Чернышевского» — 25, 84.
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) — 613, 774.
- Лесков Николай Семенович (1831—1895) — 95.
- Лессинг Готхольд-Эфраим (1729—1781) — 98, 347, 755.
- Лефранс Гюстав (1826—1901), французский политический деятель, участник революции 1848 г., член Парижской коммуны 1871 г. — 384.
- Либрович Сигизмунд Феликсович («В. Русаков») (1855—1918), (см. о нем стр. 94) — 697—698.
- Линд Владимир Николаевич, земский деятель 70-х гг. — 583.
- Линней Карл (1707—1778) — 538.
- Лихарев Константин Павлович, секретарь Рязанской казенной палаты (1867—1868) — 504, 514, 521—522.
- Лихачев Владимир Иванович (1837—1906), либеральный общественный деятель; близкий знакомый и душеприказчик Салтыкова — 25, 26, 129, 153—155, 157, 163—165, 167, 179, 187—188, 200, 475, 530, 580, 657, 665, 712, 723, 730, 744, 815, 820.
- Лихачева Елена Иосифовна (1836—1904); сотруд. «Отеч. записок»; жена Лихачева — 26, 155—158, 164, 166—168, 663, 712, 820.
- Лихачов Вл., журналист — 838.
- Лобанов Василий Васильевич (род. ок. 1842), участник революц.-демократ. движения 60-х гг., член «Земли и воли» — 727.
- Ломоносов Михаил Васильевич (1711—1765) — 538.
- Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875), сослуживец Салтыкова по Канцелярии военного министерства (1846—1848); начальник Главного управления по делам печати (с 1871). — 183—184, 720, 772.
- Лопатин Герман Александрович (1845—1918), революционер, социалист, член Генерального совета I Интернационала — 18, 358, 363, 373, 589, 757, 760, 764.
- Лорис-Меликов Михаил Тарнелович, граф (1825—1888), министр внутренних дел (1880.VIII—1881.III) — 25, 242, 354—355, 593, 600, 730, 739—741, 750, 756, 769.
- Луженовский Николай Николаевич, студент Московского университета — 38, 41, 705.
- Луи Филипп (1773—1850), франц. король (1830—1848) — 272.
- Луначарский Анатолий Васильевич (1875—1933) — 41.
- Лунин Михаил Сергеевич (1787—1845), декабрист — 41.
- Львов Николай Михайлович (1821—1872), автор комедии «Свет не без добрых людей» (1857) и других произведений либерально-охранительной литературы — 439, 785.
- Любарский, руководитель вятской семинарии — 538.
- Любомирский Юрий, князь (1817—1872) — 539.

- Людеви́г Карл Карлович фон, дед Л. Н. Спасской — 540.
- М. М. — 469.
- Ма́дерский Александр Тимофеевич (р. 1825), петрашевец — 822.
- Ма́зуренко Николай Николаевич («Окнерузам») (1840—после 1914), (см. о нем стр. 64) — 687, 688.
- Ма́йданов, знакомый В. И. Танеева — 165.
- Ма́йков Валериан Николаевич (1823—1847), литературный критик — 822.
- Ма́йков Владимир Николаевич (1826—1885), брат Аполлона и Валериана Майковых — 426.
- Ма́каров Григорий Иванович, советник питейного отделения в Вятке (50-е гг.) — 548.
- Ма́каров Николай Петрович (1810—1890), лексикограф — 830.
- Ма́кашин С. А. — 73, 207, 409, 416, 689, 706, 720, 745, 802, 807, 809, 811, 821, 824.
- Ма́киэб-Скотт — см. Танеева Е. С.
- Ма́к-Магон Мари-Эдм-Морис (1808—1893) — 184, 208, 733.
- Ма́ков Лев Саввич (1830—1883), министр внутренних дел (1878—1880) — 243, 316, 346, 741, 750.
- Ма́ксимов А. Ф., чиновник Пензенской казенной палаты — 509—510.
- Ма́ксимов Сергей Васильевич (1831—1901), этнограф-беллетрист — 586.
- Ма́ксимова, жена Максимова А. Ф. — 509.
- Ма́кулова Екатерина Александровна, княжна (около 1840—1896), участница «Знаменской коммуны» В. А. Слепцова — 75—76, 81, 690—691.
- Ма́монтов А. И., книготорговец — 261.
- Ма́ндельштам М., участник студенческой делегации 1886 г. к Салтыкову — 400—401, 403, 404, 771.
- Ма́ри-м-ле, гувернантка детей Салтыковых — 670, 672.
- Ма́ркс Карл (1818—1883) — 16, 35, 109, 126, 138, 248, 363, 553, 555—557, 582, 646—647, 696, 701, 716, 733, 742, 764.
- Ма́ртынов Н. Г., книготорговец — 261.
- Ма́ртынов Александр Евстафьевич (1816—1860), актер — 133, 567.
- Ма́рья Львовна, знакомая А. В. Дружинина — 424.
- Ма́танцев, домовладелец в Вятке — 535.
- Ма́чтет Григорий Александрович (1852—1901), (см. о нем стр. 454—456) — 21, 304, 738, 788—789, 791—794.
- Ма́чтет Тарас Григорьевич (1891—1942), сын Мачтета Г. А. — 454, 793.
- Ма́шковцев Аркадий Иванович, вятский купец — 539.
- Ма́шковцев Егор Петрович, товарищ Герцена по университету — 539.
- Ме́дведева Елена Петровна, революционерка, жена Мачтета Г. А. — 454.
- Ме́зенцев Николай Владимирович (1827—1878), шеф жандармов и начальник III Отделения (1876—1878) — 766, 799.
- Ме́йербер Джакомо (1791—1864) — 573, 813.
- Ме́йнга́рдт Анна Павловна — см. Корба А. П.
- Ме́лехина Елизавета Борисовна, гувернантка детей Салтыковых (70-е гг.) — 565, 811.
- Ме́ллис, домовладелец — 564.
- Ме́лье, книготорговец — 261.
- Ме́льников Павел Иванович («Андрей Печерский»)

- (1819—1883)—434—436, 438, 524, 527, 782—783, 804.
- Мельников Павел Петрович (1804—1880), министр путей сообщения (1862—1869)—560.
- Мельшиян — см. Якубович П. Ф.
- Меншиков Александр Сергеевич, князь (1787—1869), председатель негласного цензурного комитета 2 апреля 1848 года («меншиковского») —410, 414, 772, 823.
- Меньшуткин (Меншуткин) Николай Александрович (1842—1907), химик, проф. Петербургского университета — 167.
- Мерцалов, секретарь в Тульской казенной палате — 513.
- Мечников Лев Ильич (1838—1888), участник революц.-демократ. движения 60-х гг., сотрудник «Современника» — 18.
- Мйлан Обрѣнович (1854—1901), сербский князь; в 1882 г. провозгласил Сербию королевством, а себя королем под именем Мйлана I — 582—583.
- Мильтон Джон (1608—1674)—58, 538.
- Милюков Александр Петрович (1817—1897), педагог, писатель, автор книги «Очерки истории русской поэзии» — 99.
- Милютин Владимир Алексеевич (1826—1855), экономист, брат Д. А. и Н. А. Милютиных, друг Салтыкова — 614, 704, 822—823.
- Милютин Дмитрий Алексеевич (1816—1912), военный министр (1861—1881) — 124, 704.
- Милютин Николай Алексеевич (1818—1872), госуд. деятель; начальник Салтыкова по его службе в министерстве внутренних дел (1856—1858)—410, 526, 528, 614, 704, 792, 795, 803.
- Мина (Минна), прислуга Салтыковых — 166, 375, 670.
- Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889), поэт, переводчик — 95, 226, 569.
- Минский Н. (псевдоним Николая Максимовича Виленина) (1855—1937), поэт-декадент — 40.
- Мирабо Оноре-Габриель Рикетти, граф де (1749—1791)—544, 559.
- Михаил Николаевич, вел. князь (1832—1909), младший сын Николая I — 623.
- Михайлов И., автор статьи «Щедрин как чиновник» (1889) — 541, 807.
- Михайлов И. М., (см. о нем стр. 475—477) — 21, 509, 693, 720, 798, 799.
- Михайлов Михаил Ларионович (1829—1865), писатель и революционный деятель — 18.
- Михайлов Николай Дмитриевич, редактор вятской газеты «Северное слово» — 534.
- Михайловский Николай Константинович («М.») (1842—1904), (см. о нем стр. 308—312), 11, 18, 22, 24, 28, 31, 33, 85, 89, 106—107, 109—111, 117, 120, 128, 145, 147—148, 155, 171, 218, 219, 222, 223, 224, 236, 244, 255—256, 262, 265, 271, 279, 286, 294, 299, 326, 361, 371—373, 377, 382—383, 391, 556, 568, 626, 696—697, 700—701, 703, 705, 714, 716, 736, 739, 741—743, 746—748, 750—754, 764.
- Мицкевич Адам (1798—1855) — 98.
- Млодецкий Ипполит Осипович (1856—1880), революционер; был казнен за покушение на М. Т. Лорис-Меликова — 730.
- Модзалевский Б. Л. — 123.
- Молешотт Якоб (1822—

- 1893), физиолог, представитель вульгарного материализма — 76, 691.
- Моль Роберт (1799—1875), немецкий юрист — 703.
- Мольер Жан-Батист (1622—1673) — 30, 34, 439, 816.
- Монтвид-Монвиж А. С. — см. Шабельская А.
- Монументов Владимир — см. Буренин В. П.
- Мордовцев Даниил Лукич (1830—1905), автор исторических романов, публицист — 325, 751—752.
- Морозова Варвара Алексеевна, московская капиталистка — 165, 714.
- Москопуло А. В. («Никонова»), участница студенческой делегации к Салтыкову 1886 г. — 400—401, 771.
- Мочалов Павел Степанович (1800—1848) — 133, 644, 831.
- Мошин А. М. — 46.
- Муравьев-Амурский Николай Николаевич, граф (1809—1881), ген.-губернатор Восточной Сибири (1847—1861) — 615.
- Муравьев Михаил Николаевич («Вешатель») (1796—1866), усмиритель польского восстания 1863 г.; председатель верховной следственной комиссии по делу Каракозова — 85, 620, 695, 757, 795—796, 805.
- Муравьев Николай Михайлович (1820—1869), сын М. Н. Муравьева («Вешателя»); рязанский губернатор (1859. IX—1862. XI) — 451—452, 466—467, 541, 620, 791, 795—796, 825.
- Муратов, жандармский штаб-офицер в Туле — 799.
- Мюнстер Александр Эрнестович (род. 1824), литограф — 688.
- Мясниковы братья, подсудимые в громком уголовном процессе 60—70-х гг. — 695.
- Набоков Иван Александрович (1787—1852), комендант Петропавловской крепости — 418, 421, 773.
- Надсон Семен Яковлевич (1862—1887), поэт — 28, 600, 819—820.
- Назаров, владелец кондитерской — 86.
- Наумов С. П. — 534, 824.
- Неведомские, тверские помещики, участники либерально оппозиционного движения в годы подготовки крест. реформы — 620.
- Невский В. И. — 717, 829.
- Нейфельд, арендатор имения Салтыкова — 652, 694, 836.
- Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) — 11, 13, 25, 30, 34—35, 45, 48—50, 53, 56—58, 60—61, 65, 69, 72—74, 77, 79, 84—85, 89, 91, 99, 108, 110, 123, 126—129, 132, 160, 181—182, 199, 205—206, 208—209, 211—218, 226, 228—229, 233—235, 239, 242—243, 258, 265, 269—270, 279, 281, 299, 308, 318, 336—338, 348—353, 383, 425, 431, 467, 522, 528—529, 539, 561—563, 568—569, 573, 582, 586, 589, 619, 624—626, 628, 654, 659—660, 673, 683—684, 688, 692, 695—697, 706—709, 716—720, 725, 729, 732, 734—735, 739, 743, 748, 754, 758, 762, 775, 777, 783, 826, 834, 836—837.
- Некрасова Анна Степановна («Анета»), сестра Е. С. Некрасовой — 30, 153, 712.
- Некрасова Екатерина Степановна (1842—1905), (см. о ней стр. 152—153) — 9, 30, 712—714, 763.
- Никитенко Александр Васильевич (1805—1877), в 1847—1848 гг. официальный редактор «Современника» — 772.
- Никитин, автор этнографических заметок о Вятском крае — 539.

- Никитин П. — см. Ткачев П. Н.
- Николадзе Николай Яковлевич (1843—1928), участник революц.-демократ. движения 60—70-х гг., публицист, сотрудник «Современника», «Колокола», «Отеч. записок» — 18, 376, 714, 753, 762, 764.
- Николай I (1796—1855) — 56, 179, 185, 345, 409, 416—418, 421—423, 611, 614, 616, 623, 722, 772—774, 783, 808, 822.
- Никслай Николаевич (старший), вел. князь (1831—1891), третий сын Николая I — 54—56.
- Николай Васильевич — см. Ионин Н. В.
- Новодворский Андрей Осипович («А. Осипович») (1853—1882), писатель — 326.
- Оболенская Александра Алексеевна, княгиня (1831—1890), деятельница женского образования — 629, 631—635, 639, 670, 829—830.
- Оболенская Елизавета Андреевна («сестра»), княжна, сестра князя В. А. Оболенского — 633, 636, 829—830.
- Оболенский Андрей Васильевич, князь (1825—1875), отец В. А. Оболенского — 631.
- Оболенский Владимир Андреевич (1869—1932), (см. о нем стр. 631) — 23, 829—830.
- Оболенский Леонид Егорович (1845—1906), (см. о нем стр. 143) — 31, 146, 710—711.
- Обручев Владимир Александрович (1836—1912), (см. о нем стр. 343) — 18, 86, 198, 682, 696, 727, 729, 755, 837.
- Обручева Вера Владимировна, дочь В. А. Обручева — 729.
- Овандер Василий Яковлевич (род. 1831) («военный генерал») — 603, 604, 820.
- Овен Роберт — см. Оуэн Роберт.
- Огарев Николай Платонович (1813—1877) — 30, 35, 64—65, 126, 152, 440, 442, 508, 589, 833.
- Огородников Евлампий Кириллович (1816—1884), сослуживец Салтыкова (1856—1858), редактор изданий Статистического комитета министерства внутренних дел — 428, 775.
- Огородникова Елена Александровна, жена Е. К. Огородникова — 428, 775.
- Одоевский Владимир Федорович (1804—1869) — 539.
- Одоевцев, тульский кустарь — 488—489.
- Ожешко («Оржешко») Элиза (1842—1910) — 10, 120, 703.
- Ожигина Людмила Александровна («сентиментальная романистка») (1837—1899), писательница — 746.
- Ожье Эмиль (1820—1889) — 132.
- Окнерузам Н. — см. Н. Н. Мазуренко.
- Оксман Ю. Г. — 41, 761, 821, 835.
- Ольденбургский Георгий Петрович, принц (1784—1812), тверской, новгородский и ярославский губернатор (1809) — 623.
- Омелевский, (псевд. Иннокентия Васильевича Федорова) (1837—1883), писатель-демократ — 721.
- Оржешко Э. — см. Ожешко Э.
- Орлов Алексей Федорович (1786—1861), шеф жандармов и начальник III Отделения (с 1833) — 419, 422, 773.
- Орлов Николай Павлович («Н. Северов») (1840 — после 1906), (см. о нем стр. 373—374) — 753, 761, 763.
- Орловы-Давыдовы — 431.
- Орловский, гимназический товарищ А. И. Ульянова — 399, 400.

- Осокин С. М., священник, автор исследования «Народный быт в сев.-вост. России» — 538.
- Осокина Надежда Григорьевна, родственница Г. А. Джаншиева — 648.
- Островидов Федор Федорович, чиновник Пензенской казенной палаты — 509.
- Островский Александр Николаевич (1823—1886) — 35, 38, 41, 48, 69, 97—99, 123—125, 131, 139, 182, 326, 557, 698—699, 704, 705, 719, 740, 752, 783.
- Островский Михаил Александрович (1866—1888), сын А. Н. Островского — 705.
- Очкин Амплий Николаевич (1791—1865), журналист; издатель газ. «Очерки» (1863) — 65.
- Оуэн (Овен) Роберт (1771—1858) — 274.
- Офросимов Федор Сергеевич, рязанский помещик — 465, 521, 793—794, 802.
- П. — см. Плещеев А. Н.
- П.-Б., граф — см. Протасов-Бахметьев Н. А.
- Павел I (1754—1801) — 540.
- Павленков Флорентий Федорович (1839—1900), издатель — 614.
- Павлов Иван Васильевич (1823—1904), публицист, издатель журн. «Московский вестник» — 695.
- Павловский Исаак Яковлевич (1852—1924), (см. о нем стр. 764) — 381.
- Палаузов Спиридон Николаевич (1818—1872), историк и публицист — 431.
- Панаев Иван Иванович (1812—1862), писатель и журналист, один из редакторов-издателей «Современника» — 46—47, 434, 782—783.
- Панаев Ипполит Александрович (1822—1901), завед. конторой «Современника» (1856—1866) — 66, 688, 734—735.
- Панаяева (Головачева) Авдотья Яковлевна (1819—1893), (см. о ней стр. 45—46) — 31, 659, 681—682.
- Панин Виктор Никитич, граф (1801—1874), министр юстиции (1839—1862) — 431, 527, 651, 776—777, 782, 804—805.
- Пантелеев Лонгин Федорович (1840—1919), (см. о нем стр. 178—179) — 35, 71, 167, 200, 343, 510, 577, 649, 696, 715, 717, 719, 722, 725—726, 728—731, 744, 797, 811, 836—837.
- Панченко М. — 416.
- Папковский Б. В. — 311, 720.
- Пассано Елизавета Михайловна, маркиза де — см. Салтыкова Е. М.
- Пассек Татьяна Петровна, (1810—1889), писательница, родственница и друг юности Герцена — 152, 426.
- Пашенко Елена Дмитриевна, жена К. Л. Пашенко, вятская знакомая Салтыкова — 541, 545.
- Пашенко Константин Львович, знакомый Салтыкова в Вятке — 541, 545.
- Пекарский Петр Петрович (1827—1872), историк и литературовед — 431.
- Пель, домовладелец — 798.
- Перовская Софья Львовна (1853—1881), революционерка, член «Народной воли» — 361, 759.
- Перцов В. А., рязанский знакомый Салтыкова — 456.
- Пестель Павел Иванович (1793—1826) — 590—591.
- Петин, один из руководителей московского центра Общественческого союза (1884) — 767.
- Петр I (1672—1725) — 514.
- Петрашкевич-Струмилина С. П. — 760.

- Петрашевский — см. Буташевич-Петрашевский М. В.
- Петров Александр Григорьевич (1802—1887), председатель Петербургского цензурного комитета (1865—1884) — 183.
- Петровы, сестры — 438.
- Петропавловский Н. Е. — см. Каронин С.
- Печерский А. — см. Мельников П. И.
- Пржемски Л. (*Przemski*) — 823.
- Писарев Дмитрий Иванович (1840—1868) — 10, 349, 351, 686, 834.
- Писемский Алексей Феофилактович (1820—1881) — 98.
- Платон, крепостной слуга Салтыкова — 535—536, 544, 609, 774.
- Плевако Федор Никифорович (1843—1908), адвокат, — 375, 761.
- Плехе Вячеслав Константинович (1846—1904), директор Департамента полиции (1881—1884) — 592, 821.
- Плетнев Петр Александрович (1792—1865), ред.-изд. журн. «Современник» (1838—1846) — 539, 610.
- Плеханов Георгий Валентинович («Г. Валентинов») (1856—1918) — 380—381, 383, 731, 765.
- Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893) — 29, 52—53, 58, 60—61, 74, 89, 107, 128, 145, 170—171, 175—177, 302, 326, 346, 353—354, 376, 574, 659, 683, 689, 695, 697, 700, 708, 744, 747, 756, 761—762, 822, 834.
- Плещеева Екатерина Михайловна, вторая жена А. Н. Плещеева — 60.
- Плещеева Еликонида Александровна (1841—1864), первая жена А. Н. Плещеева — 60.
- Победоносцев Константин Петрович (1827—1907), обер-
- прокурор синода (1880—1905), один из главных вдохновителей крепостнической реакции — 14, 173, 370, 716, 750, 761, 828.
- Повалишин А. Д. — 456, 791.
- Поджио Александр Викторович (1798—1873), декабрист — 588.
- Подосский, студент, привлекался в 1862 г. по делу о распространении прокламаций «Великорусс» — 727.
- Покусаев Е. И. — 525.
- Поленов Дмитрий Васильевич (1806—1878), историк, археолог — 431.
- Поливанов Лев Иванович (1838—1900), педагог — 194, 725.
- Полонский Яков Петрович (1819—1898) — 749.
- Полторацкий Сергей Дмитриевич (1803—1884), библиофил и библиограф — 416.
- Понятовский З. (*Poniatowski*) — 823.
- Попко Григорий Анфимович (1852—1885), революционер — 766.
- Попов Н. А. — 704.
- Порошин Виктор Степанович (1811—1868), экономист и статистик — 431.
- Порошин Семен Андреевич (1741—1769), воспитатель Павла I, мемуарист — 540.
- Потемкин Григорий Александрович, князь (1739—1791) — 538.
- Потехин Павел Антипович (1839—1916), адвокат — 648.
- Потоский, граф, ссыльный в Вятке — 824.
- Прибылев Александр Васильевич (1857—1935), (см. о нем стр. 365) — 18, 760, 764.
- Прибылева Анна Павловна, см. Корба А. П.
- Прокопович Феофан (1681—1736), сподвижник Петра I; после его смерти выступил с осуждением некоторых пет-

- ровских преобразований, за что был обвинен в ренегатстве — 86—87.
- Протасов-Бахметьев** Николай Алексеевич («П.-Б.»), граф (1834 — не раньше 1889) — 600, 820.
- Протопопов** Александр Дмитриевич (1866—1918), министр внутренних дел, шеф жандармов — 108, 701.
- Протопопов** Михаил Алексеевич («Морозов Н.») (1848—1915), критик и публицист; сотрудник «Отеч. записок»; в 1884 г. был подвергнут аресту за связь с народолюбцами — 18, 110, 333, 371, 701, 754, 764.
- Прус** (Prus) Болеслав (псевдоним Александра Гловацкого), польский писатель — 120.
- Пугачев** Емельян Иванович (род. ок. 1742—1775) — 554, 590.
- Пузыревский** Илья Алексеевич, (см. о нем стр. 415—416) — 21, 681, 773, 823.
- Пушкин** Александр Сергеевич (1799—1837) — 58, 90, 281, 313, 540, 545, 557, 613, 615, 681, 685, 709.
- Пыпин** Александр Николаевич (1833—1904) — 56—57, 73, 349, 375, 684—685, 690, 724, 736, 743, 756, 815.
- Рабле** Франсуа (1483 или ок. 1494—1553) — 34, 36, 697, 814.
- Радищев** Александр Николаевич (1749—1802) — 720.
- Ральгин** Аполлон Александрович, начальник акцизного управления в Рязани — 442.
- Ратынский** Николай Антонович (1821—1887), товарищ Салтыкова по Московскому дворянскому институту; в 1872—1881 гг. цензор СПб цензурного комитета — 25, 240—241.
- Раш**, домовладелец в Вятке — 535.
- Рашкевич**, жандарм — 423, 774.
- Рейнвальд** (Reinwald) — 813.
- Рейнгардт** Николай Викторович (1842 — после 1905), в 60-е гг. студент Петербургского университета, участник револ.-демократ. движения; был связан с Чернышевским; в 1886 г. навестил его в Астрахани — 730.
- Рейсер** С. А. — 71, 717.
- Рейтерн** Михаил Христофорович, граф (1820—1890), министр финансов (1862—1878) — 475, 478, 479, 496, 528—529, 800, 803, 805, 826.
- Реклю** Жан-Жак-Элизе (1830—1905), французский географ, участник Парижской коммуны — 384.
- Репинский** Григорий Кузьмич (1832—1906), судебный деятель, член Литературного фонда — 80.
- Решетников** Федор Михайлович (1841—1871) — 23.
- Ржевский** Владимир Константинович (1811—1885), реакционный публицист — 826.
- Риккер**, книгопродавец — 261.
- Риттер**, домовладелец — 409.
- Робеспьер** Максимильтен-Мари-Изидор (1758—1794) — 462.
- Родбертус-Ягцов** Карл-Иоганн (1805—1875) — 765.
- Родичев** Федор Измайлович (род. ок. 1856), деятель тверского земства; впоследствии один из лидеров кадетской партии, белоэмигрант — 583.
- Розанов** Василий Васильевич (1856—1919), критик, философ идеалист, идеолог реакции и декадентства — 14.
- Розанова** С. А. — 711.
- Розен** Герман Оттонович, барон (1829—1884), управляющий акцизными сборами в

- Пензе (1861—1866) — 507 — 508, 798.
- Розенблюм Н. Г. — 169, 705, 715, 815.
- Романовы — 371, 590—591, 757.
- Росоловский Николай Георгиевич, врач-психиатр — 433.
- Ростовцев Яков Иванович (1803—1860), член секретного и главного комитетов по подготовке крестьянской реформы (1857—1858) — 527, 804.
- Рошфор Анри (1830—1913), французский буржуазный публицист и политический деятель; после падения Парижской коммуны был сослан в Новую Каледонию, бежал из ссылки, в 1880 г. вернулся во Францию — 593, 769.
- Руднева-Кашеварова Варвара Александровна (ум. 1899 г.), врач — 396, 768.
- Рудольф Франц-Карл-Иосиф (1858—1889), австрийский кронпринц — 194, 725.
- Русаков В. — см. С. Ф. Либрович.
- Русанов Николай Сергеевич (1859—1920-е гг.), (см. о нем стр. 109) — 39, 701.
- Рускин Л. — см. Фирсов Н. Н.
- Рыков Иван Гаврилович, директор банка в Скопине — 450—451, 791.
- Рюмин, рязанский откупщик-миллионер — 787.
- С., бухгалтер Рязанской казенной палаты — 518—519.
- С. — см. Смирнов.
- Сабуров Иван Васильевич (1795—1873), пензенский помещик, автор статей по сельскохозяйственным вопросам — 506, 509—510.
- Саввантов Павел Иванович (1815—1895), историк и археолог — 431.
- Савинов Василий Иванович, этнограф и статистик в Вятке 850-х гг. — 539.
- Садовский Пров Михайлович (1818—1872) — 133, 360.
- Салаевы (братья), книгоиздат. фирма — 183, 195, 719.
- Салов Илья Александрович (1834—1902), писатель, сотрудник «Отеч. записок» — 259—260, 326, 743.
- Салтыков Дмитрий Евграфович («Иудушка»), (1819—1885), старший брат М. Е. Салтыкова — 49, 682, 792.
- Салтыков Евграф Васильевич (1776—1851), отец М. Е. Салтыкова — 543, 608, 685.
- Салтыков Илья Евграфович (1834—1895), брат М. Е. Салтыкова — 543, 544.
- Салтыков Константин Михайлович (1871—1931), сын М. Е. Салтыкова — 9, 68, 82, 83, 92, 158, 166, 167, 194, 200, 202, 242, 320, 339, 340, 354, 530, 570, 572, 595, 599, 606, 625, 632, 633, 639, 641, 655, 664, 668, 670—672, 674, 675, 695, 725, 739, 740, 762, 812, 830.
- Салтыков Сергей Евграфович (1829—1872), брат М. Е. Салтыкова — 83, 695, 718.
- Салтыкова Елизавета Аполлоновна, рожд. Болтина (1839—1910), жена М. Е. Салтыкова — 22, 23, 59, 60, 75, 78—84, 92, 154, 155, 165—167, 200, 350—352, 358—360, 400, 417, 435, 438, 520, 522, 530, 541, 542, 544, 560—565, 570, 573—578, 595, 599, 600, 607, 616, 617, 631—641, 655, 658, 664—672, 674, 676, 677, 685, 693, 712, 715, 718, 725, 785, 793, 794, 808, 811—814, 816, 818, 819, 824, 830, 831, 835, 837.
- Салтыкова Елизавета Михайловна (1873—1927), дочь М. Е. Салтыкова, в первом браке Дистерло, во втором —

- де Пассано — 26, 67, 82, 83, 92, 200, 202, 242, 298, 339, 400, 530, 574, 595, 599, 625, 631—633, 638—640, 649, 655, 668—676, 695, 725, 778, 830, 836, 838.
- Салтыкова Надежда Евграфовна (1818—1844), старшая сестра М. Е. Салтыкова — 609.
- Салтыкова Ольга Михайловна (1801—1874), рожд. Забелина, мать М. Е. Салтыкова — 80, 180, 438, 544, 573, 608—609, 616, 625, 635, 651, 652, 685, 694, 785, 830, 832.
- Салтыкова Софья (род. 1825), сестра М. Е. Салтыкова, умершая в младенчестве — 820.
- Самсоновы — 425.
- Санина К. А. — 814.
- Сатир, прозвище некоего Михайлова, в доме которого Дружинин нанимал одно время помещение специально для кутежей — 425.
- Сбоев Ф. — см. Смирнов (чинovníк).
- Сваричевский Михаил Николаевич (род. 1840), участник револ.-демократ. движения 60-х гг. — 727.
- Свифт Джонатан (1667—1745) — 34, 36, 54, 136, 184, 721—722.
- Северов Н. — см. Орлов Н. П.
- Сегон П., французский хирург — 158, 713.
- Семевский Михаил Иванович (1837—1892), (см. о нем стр. 523—526) — 18, 776, 803, 806, 825, 828.
- Семенов Александр, автор письма к Салтыкову о сказке «Приключение с Крамольниковым» — 750.
- Семенов Николай Николаевич, вятский губернатор (1851—1857) — 536, 545, 548.
- Семенов (Семенов-Тянь-Шанский) Петр Петрович (1827—1914), географ — 698.
- Семенова Любовь Андреевна, жена Н. Н. Семенова — 536.
- Сементковский Ростислав Иванович (1846—1914), (см. о нем стр. 115) — 274, 702—703, 745.
- Сенкевич Генрик (1846—1916) — 10, 115, 117—120, 703.
- Сенковский Осип Иванович (1800—1858), редактор журн. «Библиотека для чтения» (1834—1856) — 420—421.
- Сен-Симон де Рувруа Анри-Клод (1760—1825) — 134, 272, 553, 705.
- Сервантес де Сааведра Мигель (1547—1616) — 36, 184.
- Сердюкова Любовь Ивановна (1852—1892), сестра А. И. Корниловой-Мороз, революционерка; организовала об-во «Красного креста» для помощи политическим заключенным — 362, 759.
- Серебренников Амвросий, вятский архиепископ, литератор — 538.
- Серебряков, рязанский помещик — 794—795.
- Серебрякова, рязанская помещица — 794—795.
- Середа Аким Иванович (ум. 1852), вятский губернатор (6. XII. 1843—8. IV. 1851) — 419, 423, 535, 548, 612—615.
- Середа Наталья Николаевна, жена А. И. Середы — 548.
- Серно-Соловьевич Александр Александрович (1838—1869), революционер-демократ — 29, 688.
- Серно-Соловьевич Владимир Александрович, брат Николая и Александра Серно-Соловьевичей — 66, 688.
- Серно-Соловьевич Николай Александрович (1834—1866), революционер-демократ — 18, 688, 834.
- Сеченов Иван Михайлович (1829—1905) — 40.

- Сибиряков Иннокентий Михайлович (род. 1860), московский издатель — 195, 719.
- Сильчевский Дмитрий Петрович (1851—1919), (см. о нем стр. 348—349) — 18, 755—756, 764.
- Сиринов («Суринов») Тимофей, преподаватель латыни в Моск. дворянском институте — 644, 831.
- Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910), (см. о нем стр. 279—280) — 34, 89, 110, 128, 145, 154, 224, 236, 244—245, 304, 415—416, 420, 569, 612, 701, 711, 739, 741, 744—745, 747, 774.
- Скотт Вальтер (1771—1832) — 184, 721.
- Скребицкая Мария Семёновна (1843—1900), общественная деятельница; жена д-ра А. И. Скребицкого — 663, 670, 716.
- Скребицкий Александр Ильич (1827 — после 1903), врач-окулист; историк крестьянской реформы — 663, 716.
- Слепцов Василий Алексеевич (1836—1878) — 72, 352, 689.
- Смирнов, (см. о нем стр. 788—790) — 442, 449, 463—465, 504, 792—793.
- Смирнов Николай Михайлович (1808—1870), петербургский губернатор (1855—1861) — 528.
- Снесарев, чиновник Канцелярии военного министерства (1848) — 419.
- Соболевский Василий Михайлович (1846—1913), редактор газеты «Русские ведомости» — 569, 578, 832.
- Соколов Нил Иванович (1844—1894), врач-терапевт, ассистент С. П. Боткина — 167, 193, 654, 661, 674.
- Соколов Павел, крепостной, первый учитель Салтыкова — 609, 820.
- Соллогуб Владимир Александрович, граф (1814—1882) — 32, 185, 428, 439, 507, 539, 653, 722, 775, 785, 789, 836.
- Соловьев Михаил Петрович, начальник Главного управления по делам печати (1896—1900) — 14.
- Соловьев С. П. — 819.
- Соловьев Яков Александрович (1820—1876), деятель крестьянской реформы — 524—525, 528, 530, 778, 781, 805—806.
- Спасович Владимир Данилович (1829—1908), адвокат и литературный критик — 648.
- Спасская Лидия Николаевна — (см. о ней стр. 533—534) — 27, 798, 806—807, 809—810.
- Спасский А. Я., муж Л. Н. Спасской — 539.
- Спешнев Николай Александрович (1821—1882), петрашевец — 822.
- Срезневский Измаил Иванович (1812—1890), филолог-славист — 431.
- Стародворский, революционер-террорист — 766.
- Стародубский, врач рязанской городской больницы (1850—1860) — 507.
- Стародубский, поэт в Рязани (60-е гг.) — 507, 522.
- Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) — 770.
- Стасова Надежда Васильевна (1822—1895), прогрессивная деятельница в области женского образования — 400, 770.
- Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911), историк, публицист, редактор-издатель журн. «Вестник Европы» (1866—1908) и газ. «Порядок» (1881—1882); фактический издатель первого собр. соч. Салтыкова — 85, 122, 129, 186, 196, 248, 326, 396, 600,

- 627, 704—706, 713, 715, 724, 741, 747, 768, 793, 815, 819—820, 834.
- Стахович Сергей Григорьевич (1843—1918), (см. о нем стр. 345—346) — 18, 755.
- Стaxeев Дмитрий Иванович (1840—1919), писатель, журналист, в 1876—1878 гг. был редактором журн. «Нива» — 318
- Степаненко Н. — 712.
- Степурин (ум. 1886) — 388.
- Стойновский Николай Иванович (1820—1900), юрист, один из деятелей судебной реформы 60-х гг.; член комиссии об уездных и губернских учреждениях, в которую входил и Салтыков — 528.
- Странден Николай Павлович (род. ок. 1844), участник революц.-народнич. кружка Н. А. Ишутига — 505.
- Страхов Николай Николаевич (1828—1896), философ-идеалист и литературный критик — 85, 695.
- Строганов Александр Григорьевич, граф (1795—1891), в феврале 1848 г. входил в «особый» цензурный комитет («меншиковский»), рассматривавший повести Салтыкова — 772.
- Струговщиков Александр Николаевич (1808—1878), поэт и переводчик Гёте; служил в одно время в Салтыковым в Канц. военного министерства — 539.
- Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912), журналист, издатель; в начале своей деятельности был связан с демократическим лагерем; с 1875 года издатель реакционной газеты «Новое время», которая за свое лакейство перед властью имущими получила в щедринской сатире прозвище «Чего изволите?» — 30, 50, 79, 153—154, 593, 693, 703, 709.
- Судейкин, главный инсп. секретной полиции — 222, 385, 387, 388, 395, 398, 765, 766, 769.
- Суринов — см. Сиринов.
- Таганцев Николай Степанович (1843—1923), криминалист, деятель Литературного фонда — 197.
- Танеев Владимир Иванович (1840—1921), (см. о нем стр. 553—559) — 9, 23, 25—26, 28, 127, 153, 630, 647, 648, 714, 756, 808, 810—812, 815—816, 837.
- Танеев Иван Ильич (1796—1879), отец В. И. Танеева — 166, 560, 572—573.
- Танеев Павел Владимирович, сын В. И. Танеева — 557, 812.
- Танеев Павел Иванович (1845—1906), младший брат В. И. Танеева, адвокат и писатель — 166, 665, 715, 811.
- Танеева Елена Сергеевна (Арчибальдовна), рожд. Макнэб-Скотт (1851—1915), жена В. И. Танеева — 561, 563, 565, 578—579, 815.
- Тверитинов Алексей Николаевич (1846 — после 1900), (см. о нем стр. 357) — 757—759, 764.
- Терешенков Николай Михайлович (ум. после 1934), участник народнических кружков 80-х гг., брат С. М. Терешенкова — 768.
- Терешенков Сергей Михайлович, член московской центральной группы «Народной воли»; входил в делегацию московского студенчества, посланную в 1884 г. к Салтыкову — 768.
- Терпигоров Сергей Николаевич («Атава») (1841—1895), беллетрист, печатался в «Отеч. записках», в 80-е гг. перешел в правый лагерь,

- сотрудничал в «Новом времени» — 121—122, 704, 741.
- Тизенгаузен Г. Ф. — 732.
- Тизенгаузен Н. О., рязанский губернский прокурор (50-е гг.) — 442.
- Тимашев Александр Егорович (1818—1893), министр внутренних дел (1868—1877) — 183—184, 476, 628, 720, 802.
- Тимирязев Аркадий Климентович, сын К. А. Тимирязева — 553.
- Тимирязев Климент Аркадьевич (1843—1920) — 553, 558.
- Тимм Василий Федорович (1820—1895), художник, издатель «Русского художественного листка» (1851—1862) — 69, 688.
- Титов — 425—426.
- Тиховидов А. П., учитель словесности в Вятской гимназии (50-е гг.) — 508, 540—541, 807.
- Тихомиров Лев Александрович (1852—1923), член Исполнительного комитета партии «Народной воли», впоследствии отрекся от своих убеждений — 16, 373, 829.
- Ткачев Петр Никитич («П. Никитин») (1844—1886), революционный народник, публицист и литературный критик — 109, 232, 738.
- Тобиас, чиновник — 430, 437.
- Товстолес Аполлинария Владимировна, жена Л. Товстолеса — 428—429.
- Товстолес Лука, штатный смотритель в Мамадыше (40—50-е гг.) — 428.
- Толстой Алексей Константинович (1817—1875) — 115.
- Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823—1889), один из наиболее реакционных деятелей царизма, министр народного просвещения, затем министр внутренних дел (1882—1889) — 371—372, 397, 610, 747, 750, 758, 760—761, 821, 827—828.
- Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — 13, 30—31, 35, 37—39, 52—53, 123, 130, 132, 139, 424, 534, 589, 593, 606, 619, 631, 683, 717, 753.
- Толстой Юрий Васильевич (1824—1878), товарищ Салтыкова по лицу и по службе в Канцелярии военного министерства (1844—1848); директор Особой канцелярии министерства внутренних дел (1852—1855) — 425.
- Тотлебен Эдуард Иванович, граф (1818—1884), с 1879 г. последовательно генерал-губернатор одесский, виленский, ковенский и гродненский — 730.
- Тохтамыш («Тахтамыш»), хан Золотой орды; в 1382 г. вторгся в Северо-Восточную Русь и опустошил ее — 795.
- Трепов Федор Федорович (1812—1889), петербургский градоначальник и обер-полицеймейстер (1866—1878) — 25, 242, 354, 741.
- Трофимов, мировой судья — 165.
- Троцкий И. М. — 524.
- Тумановская Елизавета Лукинична (род. 1851), революционерка, член Русской секции I Интернационала, участвовала под именем «Елизаветы Дмитриевой» в Парижской коммуне — 555.
- Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — 6, 10, 24—25, 27—28, 32, 35—39, 41, 52, 54, 61—62, 65, 123—124, 129—130, 132, 137—141, 158, 165, 177, 181—182, 184—185, 268, 309, 315, 323, 338—339, 358—359, 363—364, 378, 381, 384, 391, 424—425, 589, 593, 603, 606, 613, 619, 653, 659, 676—677, 704, 706, 709—710, 713—714, 718—719, 721—722, 733, 748—

- 749, 754, 757—758, 760, 763—764, 792.
- Турнье (Tournier) Валентин, муж сестры Е. А. Салтыковой — Анны Аполлоновны, — 575—576, 665, 813—814.
- Тучков Павел Алексеевич (1803—1864), московский ген.-губернатор — 836.
- Тучкова-Огарева Наталья Алексеевна (1829—1913) — 152.
- Тьер Адольф (1797—1877) — 184, 208.
- Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — 476.
- Тюфяев Кирилл Яковлевич (1775—после 1840), вятский губернатор (1834—1837) — 436, 784.
- Уваров Сергей Семенович, граф (1786—1855), министр народного просвещения (1833—1849) — 539.
- Улаи-Полянский, ряжский городничий — 447, 788.
- Ульянов Александр Ильич («Саша») (1866—1887) — 18, 36, 399—401, 403, 404, 406, 769—771.
- Ульянов Владимир Ильич — см. Ленин В. И.
- Ульянов Илья Николаевич (1831—1886), отец В. И. Ленина — 505.
- Ульянова-Елизарова Анна Ильинична (1864—1935), (см. о ней стр. 399) — 18, 402—404, 769—771.
- Унковский Алексей Михайлович (1828—1893), (см. о нем стр. 646—649) — 23, 25—27, 77—79, 81—82, 86—87, 129, 154, 157—158, 165—167, 179—180, 185—187, 193—194, 198, 200, 346, 530, 560—564, 566, 568, 570, 572—578, 584—586, 620—622, 637, 657—660, 663—664, 666—667, 669—670, 673, 675, 682, 693—694, 713, 722—723, 730, 744, 797, 812, 815, 817, 825—826, 830, 832—838.
- Унковский Михаил Алексеевич (1867—после 1939), (о нем см. стр. 657) — 23, 649, 669, 813, 837.
- Унковская Анастасия Михайловна, вторая жена А. М. Унковского — 166, 675—676.
- Унковская Зинаида Алексеевна, младшая дочь А. М. Унковского — 669.
- Унковская Любовь Федоровна, первая жена А. М. Унковского — 585.
- Унковская Софья Алексеевна (1873—после 1939), (см. о ней стр. 669) — 659, 745, 832, 836, 838.
- Урусов Александр Иванович, князь (1843—1900), адвокат, литератор — 124, 133, 585, 648, 704, 708.
- Усова Софья Ермолаевна, член центральной группы «Народной воли» (1883—1884), жена С. Н. Кривенко — 223.
- Успенская Александра Васильевна (1845—1906), жена Гл. Ив. Успенского — 111—112.
- Успенский, чиновник Пензенской казенной палаты — 512.
- Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — 24—25, 27, 34—35, 41, 104, 109—114, 129, 141, 153—156, 159—163, 165, 174, 258, 294, 299, 326, 330, 360, 371, 373, 391, 568—569, 686, 697, 702, 712—713, 716, 724, 743, 746, 763.
- Успенский Николай Васильевич (1837—1889) — 212—213, 734—735.
- Утин Борис Исаакович (1832—1872), петрашевец, законовед и публицист — 346, 833.
- Утин Евгений Исаакович (1843—1894), адвокат, литератор, сотрудник «Вестника Европы» — 648, 659, 745.

Утин Исаак Осипович (1812—1876), миллионер-откупщик — 718.

Фаворский Дмитрий Васильевич, вятский историк-краевед — 533—534.

Фавр Жюль (1809—1880), французский политический деятель, славился ораторским искусством — 465, 793, 794.

Фалеев, чиновник министерства внутренних дел (конец 50-х гг.) — 432.

Фарель (*O'Farrell*) Эдуард — 131, 706.

Февр Аделаида Ивановна («Адель»), знакомая семьи Болтиных — 756, 813.

Федоров И. В. — 700.

Федоров Константин Михайлович, с 1885 г. секретарь Н. Г. Чернышевского — 730.

Федоров Михаил Павлович, редактор газеты «Новое время» (с 1873 г.) — 768.

Федосеевы Виктор Александрович (р. 1843) и Павел Александрович (р. ок. 1842), участники революц.-народнич. кружка Н. А. Ишутина — 505.

Феокистов Евгений Михайлович (1829—1898), начальник Главного управления по делам печати (1883—1895) — 145, 630, 710—711, 761, 821.

Фет (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820—1892) — 104—105, 338—339, 754, 755.

Фигнер Вера Николаевна (1852—1942), член Исполнит. комитета «Народной воли» — 41, 731, 829.

Филимонова Л. Ф. — 553, 555, 558.

Филиппов Третий Иванович (1825—1899), публицист, связанный со славянофилами; был известен как знаток и исполнитель русских народных песен — 586, 661.

Фирсов Николай Николаевич («Рускин») (1839—1906),

беллетрист и публицист, постоянный сотр. «Отеч. записок»; с 1872 г. жил за границей на положении полуэмигранта — 764.

Флобер Гюстав (1821—1880) — 10, 132—133, 363, 557, 706, 708, 760.

Франк Клод, см. Шассен Шарль-Луи.

Франко Иван Яковлевич (1856—1916) — 35.

Фрей, начальник ревизского отделения Рязанской казенной палаты — 516—517.

Фрейганг Андрей Иванович (род. 1805), цензор Петербургского цензурного комитета в 40—50-х гг. — 434, 783.

Фурье Шарль (1772—1837) — 22, 134, 272—274, 537, 553, 563—564, 607, 610—611, 705, 811.

Хабидуллин Науматтула, официант в петербургском ресторане «Бельвю» — 660, 837.

Халецкая Елена Павловна, племянница Б. Э. Кетрица — 581.

Ханьков Николай Владимирович (1822—1878), путешественник, востоковед — 614, 822—823.

Ханьков Яков Владимирович (1818—1862), оренбургский губернатор (1851—1862) — 823.

Харламов Алексей Алексеевич (1842—1922 ?), художник — 62.

Хвощинская — см. Зайончковская Н. Д.

Хин Р. М. — 558.

Хлебников Петр Алексеевич, физик, редактор научно-популярного журнала «Знание» (1870—1877) — 812.

Хлудовы, московские и рязанские текстильные фабриканты — 450, 790.

Хомяков Алексей Степанович

- (1804—1860), поэт, один из идеологов славянофильства—353, 756.
- Хохряков П. П.**, вятский капиталист — 539.
- Храбровицкий А. В.** — 106.
- Христофоров Александр Христофорович** (1838—1913), участник революц.-демократ. движения 60-х гг.; в 1875 г. уехал за границу; в 1877—1890 гг. издавал в Женеве эмигрантскую газету «Общее дело» — 373—374, 827.
- Цитович Петр Павлович** (1844—1913), реакционный публицист, издатель газеты «Берег» (газета «Помои» в щедринской сатире) — 30, 154.
- Цынский Л. М.**, московский обер-полицмейстер в 30—40-е гг. — 831.
- Чайковский Петр Ильич** (1840—1893) — 554.
- Чебышев, домовладелец** — 659.
- Чевати, сослуживец** Салтыкова по министерству внутренних дел — 430.
- Чевкин Константин Владимирович** (1802—1875), член Госуд. совета (с 1856 г.) — 527, 804.
- Черепанов Иакинф** — 538.
- Черепанов Никифор Евтропиевич** (1763—1823) — 538.
- Черкесов Александр Александрович** (1839—1908), деятель революционного движения 60-х гг. — 663.
- Чернышев Александр Иванович, князь** (1785—1857), военный министр (1827—1852), с 1848 г. председатель Госуд. совета — 415—417, 420—423, 612, 773.
- Чернышевская Ольга Сокоратовна** (1833—1918) — жена Н. Г. Чернышевского — 725.
- Чернышевский Николай Гаврилович** (1828—1889), — 10, 18—19, 26—27, 35, 39, 45, 56, 64—65, 74, 76, 105—106, 179, 197—199, 206—207, 216, 258, 279, 309, 343—347, 349, 353, 357—358, 363, 391, 441—443, 554, 557, 569, 588—589, 593, 607, 613, 624, 646, 682, 684, 691—692, 717, 724—730, 734—736, 743, 754—757, 783, 808—809, 833—834.
- Черняев Михаил Григорьевич** (1828—1898), (см. о нем стр. 816) — 583, 585.
- Чертков Владимир Григорьевич** (1854—1936), друг Л. Н. Толстого — 30—31.
- Чертков Михаил Иванович** (р. 1829), варшавский генерал-губернатор — 730.
- Чехов Антон Павлович** (1860—1904) — 28—29, 35, 42, 104, 169, 304, 688.
- Чижов Егор Яковлевич, метранпаж** «Отеч. записок» — 375, 761.
- Чистяков Матвей Николаевич** (1854—1920), друг писателя А. И. Эртеля — 37.
- Чичерин Борис Николаевич** (1828—1904), историк, философ, публицист; один из идеологов либерального движения — 248, 425, 718, 742, 782.
- Чуковский К. И.** — 681, 689, 734, 735.
- Шабельская А.** (псевдоним Александры Станиславовны Монтвид-Монвиж), писательница (род. 1845) — 176, 302, 303, 717, 747, 748.
- Шапиро К. А.**, фотограф — 378—379.
- Шарбе Раймунд Августович, директор гимназии в Пензе** — 504—506, 511—512.
- Шассен Шарль Луи** («Клод Франк») (1831—1901), французский историк и журналист, постоянный сотрудник «Отеч. записок» — 697.
- Шатобриан Франсуа Рене** (1768—1848) — 428, 775.

Шварев В. — 504.

Шевченко Тарас Григорьевич (1814—1861) — 35, 37.

Шевырева Ольга, сестра Шевырева П. — 403—404, 406.

Шевырев Петр (казнен 1887), революционер — 399, 403—404, 406, 770—771.

Шекспир Вильям (1564—1616) — 439, 557, 644, 831.

Шелгунов Николай Васильевич (1824—1891), революционный деятель и публицист — 18, 39—40, 109, 205, 391, 724.

Шеллер Александр Константинович («А. Михайлов») (1838—1900), писатель — 144.

Шемановский Михаил Иванович, друг Н. А. Добролюбова — 808.

Шестериков С. П. — 836.

Шидловский Михаил Романович (1826—1880), тульский губернатор (1860—1870), начальник Главного управления по делам печати (1870—1871) — 77, 183, 476—478, 484, 486, 492—497, 501—502, 509, 513, 528—529, 720, 796, 799—800, 801, 805, 826.

Шиллер Иоганн-Фридрих (1759—1805) — 751.

Шиллинг, вятский прокурор — 548.

Ширай С. И., черниговская помещица, знакомая Салтыковых — 349—351, 756.

Ширай Сережа, гимназист, сын С. И. Ширай — 349—351.

Шитт, домовладелец — 409.

Шишкин Иван Васильевич (1792—1872), елабужский купец, отец художника И. И. Шишкина — 534.

Шишкин С., исторический беллетрист — 524.

Шрейер Юлий Осипович, редактор-издатель газеты «Новости» (1872—1876) — 758.

Штрاندман Роман Романович, привлекался к допросу по делу петрашевцев — 822.

Шубинский Сергей Николаевич (1834—1913), редактор журнала «Исторический вестник» (1880—1913) — 415.

Шувалов Петр Андреевич, граф (1827—1889), шеф жандармов и начальник III Отделения (1866—1874) — 475, 525, 528—529, 799, 802.

Шулинская Екатерина Александровна, жена мамадышского городничего — 428.

Шулинский, городничий в Мамадыше — 428.

Шульц Александр Францевич, фон (род. 1823), управляющий III Отделением (1871—1878) — 388.

Шумахер Александр Данилович, сотрудник хозяйственного департамента министерства внутренних дел — 792.

Щеглов Иван, псевдоним Ивана Леонтьевича Леонтьева (1856—1911), (см. о нем стр. 169) — 10, 28, 708, 715—716.

Щепин Константин Иванович (1728—1770), ботаник и врач — 538.

Щепкин, преемник Салтыкова по должности управляющего Тульской казенной палатой (октябрь 1867) — 497—498, 500.

Щепкин Михаил Семенович (1788—1863) — 133.

Щепкин Николай Михайлович (1820—1886), издатель, сын М. Н. Щепкина — 777.

Щепотьева Ел., корреспондентка Н. К. Михайловского — 308.

Эзоп, древнегреч. баснописец — 41, 557, 559, 810.

Эйгес И. — 835.

Энгельгардт Александр Николаевич (1832—1893), публицист, автор известных «Писем из деревни», работа над которыми была начата

- по инициативе Салтыкова — 78.
- Энгельгардт Анна Николаевна (1838—1903), переводчица, двоюродная сестра жены Салтыкова — 75, 78—79, 693.
- Энгельс Фридрих (1820—1895) — 16, 35, 126, 363, 384, 555—556, 582, 646—647, 733, 764, 813.
- Энгельсон Владимир Арстович (1821—1856), лицеист, петрашвец, эмигрант, сотрудник изданий Герцена — 822.
- Эртель Александр Иванович (1855—1908) — 35, 37, 304, 630, 686, 764, 829.
- Ювенал Децим Юний (60-е гг. — после 127) — 36.
- Южак Сергей Николаевич (1849—1910), (см. о нем стр. 299—300) — 224, 234, 246, 286, 311—312, 717, 739, 742, 747.
- Юрасов Дмитрий Алексеевич (1842—?), участник революц.-народн. кружка Н. А. Ишутина — 505.
- Юрьев Сергей Андреевич (1821—1888), друг Салтыкова; ред.-изд. журналов «Беседа» (1871—1872) и «Русская мысль» (1880—1885) — 136, 167—168, 627, 642—644, 709, 714—715, 807, 810, 829, 831—832.
- Юханцев, кассир Общества взаимного поземельного кредита — 453.
- Юшкова Екатерина Ивановна — см. Болтина Е. И.
- Юшневский Алексей Петрович (1786—1844), декабрист — 588.
- Яголковский Филипп Кирилович, вятский знакомый или сослуживец Салтыкова — 535.
- Ядринцев Николай Михайлович (1842—1894), сибирский общественный деятель, публицист, редактор газеты «Восточное обозрение» — 391, 600, 819—820.
- Языков Михаил Александрович (1811—1885), друг Беллинского — 45—47, 681.
- Яковкин, первый директор Казанского университета (1804—1814) — 538.
- Яковлев Алексей Андреевич (ок. 1844—после 1864), участник революц.-демократ. движения 60-х гг., был сослан на каторгу, где и умер — 727.
- Яковлев Н. В. — 722.
- Якубович Петр Филиппович («Мельшин») (1860—1911), поэт, революционер-народоволец — 18, 764.
- Якушкин Евгений Иванович (1826—1905), юрист-этнограф, с 1859 г. служил в Ярославле, был членом губернского по крестьянским делам присутствия, деятельно участвовал в проведении реформы в своей губернии — 825.
- Ярошенко Николай Александрович (1846—1898), художник — 188, 724.
- Ясинский Иероним Иеронимович («Максим Белинский») (1850—1931), писатель — 68, 290, 303—304, 326, 700, 741, 746, 748.
- Яхонтов Александр Николаевич (1820—1890), поэт — 326.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА

Отдельные произведения, статьи, циклы, сборники, их разделы,
замыслы.

- Алексей Васильевич Кольцов — 718.
 Ангелочек — 639, 675, 830.
 Аринушка — 785.
- Баран-непомнящий — 814.
 Бедный волк — 714.
 Благонамеренные речи — 21—22, 59, 98, 361, 694, 759.
 Богатырь — 597, 818.
 Богомольцы, странники и проезжие (раздел в «Губерн. очерках») — 437, 784.
 Большое место — 706.
 Брусин — 824.
- В среде умеренности и аккуратности — 98, 101, 698, 738.
 Введение («Мелочи жизни») — 790, 830.
 Верный Трезор (первоначально: «Неумытный Трезор») — 187, 627, 723.
 Место введения («Губернские очерки») — 825.
 Ворон-челобитчик — 298, 747.
 Вяленая вобла — 298, 330, 645, 747, 831.
- Где истинные интересы дворянства? — 826.
 Гегемониев — 786.
 Генерал Зубатов — см. Зубатов.
- Глуповское распутство — 682.
 Господа Головлевы («Семейство Головлевых») — 22, 34, 38, 49, 98, 131, 138, 184, 210, 308, 314, 559, 608, 635, 682, 733, 815, 830.
 Господа Ташкентцы — 98, 563, 567, 782, 811.
 Госпожа Музовкина — 784.
 Госпожа Падейкова — 786.
 Губернатор с фаршированной головой (*не дошедший до нас памфлет*) — 509, 799.
 Губернские очерки — 21, 27, 37, 47, 51—52, 60, 69, 95, 98, 135, 145, 147, 179, 181—182, 314, 343, 367, 427—432, 434, 437, 439—441, 443, 449, 456—457, 461, 471—472, 512, 526, 545, 547, 549, 559, 615, 618, 650, 682—683, 686, 699, 709, 717—719, 763, 775—777, 780, 782—786, 791, 797, 804, 808—809, 824, 825, 832.
- Две жизни — 745, 821
 Дворянская хандра — 706.
 Дикий помещик — 706.
 Дневник провинциала в Петербурге — 98, 183—184, 642, 657, 660, 756, 816, 837.
 Дорога. Вместо эпилога — 545.

Где скрежет зубовой — 790.

Жених. Картина провинциальных нравов — 719.

За рубежом — 97—98, 101, 103, 314, 319—320, 334, 576, 698—699, 705, 707—708, 711—712, 725, 750, 764.

Забывшая балалайка. (*Замысел «сказки»*) — 598, 819.

Забывшие слова — 189, 269, 285, 313—315, 644, 724, 734.

Запутанное дело — 47, 412—413, 416, 421, 611, 681, 772—773, 806—807, 823.

Зубатов — 786.

Идеалы Феодора Ижболдина (поражение магистра богословия в споре с раскольником по делам веры) (*недошедший памфлет*) — 534.

Имярек («Оброшенный») — 26, 186—187, 321, 537, 709, 722, 750—751, 807.

История одного города — 20, 34, 97—98, 138, 181, 184, 351, 367, 493, 509—511, 523, 551, 682, 699, 718—719, 721—722, 756, 780, 788, 799, 809—811, 815.

К крестьянскому делу — 826.

Каплуны — 682.

Карась-идеалист — 814.

Коняга — 627.

Круглый год — 98, 745.

Культурные люди — 319, 359, 725, 750, 758, 837.

Ляра — 821.

Мальчик в штанах и мальчик без штанов — 320, 711.

Матюшка Мавра Кузьмовна — 435—436.

Медведь на воеводстве — 298, 645, 747, 831.

Между делом — см. Недоконченные беседы.

Мелочи жизни — 17, 22, 26, 186—187, 314, 321, 591, 639, 675, 709, 722, 744, 750—751, 790, 807, 830.

Миша и Ваня — 445, 787.

Мнения знатных иностранцев о помпадурках — 837.

Мой старый дружеский хлам, см. Наш дружеский хлам.

Монрепо, см. Убежище Монрепо.

Наш дружеский хлам — 445, 786—787.

Наша общественная жизнь — 754.

Невинные рассказы — 98, 101, 445, 622, 698, 709, 786—787, 807.

Недовольные — см. Погребенные живо.

Недоконченные беседы («Между делом») — 329—330, 756, 761, 782.

Неприятное посещение — 776.

Несколько слов об истинном значении недоразумений по крестьянскому делу — 826.

Неумелые — 825.

Неумытный Трезор, см. Верный Трезор.

Новаторы особого рода — 127.

Новый Нарцисс, или Влюбленный в себя — 521, 561, 802.

О корени происхождения глуповцев — 718.

О нравственной пользе ужения рыбы после вечернего словословия (размышления дьячка) (*недошедший памфлет*) — 534.

Об ответственности мировых посредников — 826.

Общая картина — 784.

Он!! — 757.

Они же (Ташкентцы, обратившиеся внутрь) — 563, 811.

Орел-меценат — 298, 716, 747.

Ответ г. Ржевскому — 826.

Отголоски (отдел «В среде умеренности и аккуратности») — 98.

Отставной солдат Пименов — 784.

Очерки города Брюхова. (*Замысел*) — 509—510.

Пахомовна — 437, 784—785.

Первый шаг — 776.

Переписка — 361, 759.

Переписка Николая Павловича с Поль де Коком — 185, 722.

Пестрые люди. (*Замысел «сказки»*) — 330.

Пестрые письма — 186, 627, 645, 791, 828, 830—831.

Письма к тетеньке — 59, 163, 269, 325, 327, 372, 383, 396, 714, 740, 765, 768, 782, 816.

Письма о провинции — 98, 511, 699, 807.

Письмо к графу Д. А. Толстому — 758.

Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил — 139, 706, 710.

Погребенные заживо (впоследствии «Недовольные») — 786.

Полковницкая дочь — 187, 722.

Помпадур борьбы, или Проказы будущего — 803.

Помпадур и помпадурши — 14, 98, 477, 511, 699, 837, 757, 780, 803.

Похороны — 320, 335, 550—551, 706, 750, 754, 809.

Пошехонская старина — 17, 22, 33, 137, 189—190, 199, 202, 210—211, 226, 239, 248, 268, 289, 313—314, 329, 332, 544, 559, 568, 577, 608, 643, 645, 655, 670, 675, 724, 730, 733—734, 788, 807—808.

Пошехонские рассказы — 547, 568, 636, 808, 830.

Премудрый пескарь — 714.

Признаки времени. Периодические заметки — 98, 102, 511, 521, 561, 699, 802.

Приключение с Крамольниковым — 15, 22, 334, 751.

Пропаля совесть — 705—706.

Просители. Провинциальные сценны — 434.

Противоречия — 421, 610, 614, 822—823.

Прошлые времена. (Другой рассказ подьячего) — 825.

Прошлые времена. (Рассказ подьячего) — 825.

Развеселое житье — 786.

Самодовольная современность — 351, 791.

Самоотверженный заяц — 714.

Сатиры в прозе — 101, 622, 687, 698, 786, 790.

Сборник. Рассказы, очерки, сказки — 101, 320, 334, 550—551, 698—699, 706, 750, 754, 809.

Семейное счастье — 694.

Семейный суд — 733.

Сказание о шести градоначальниках. Картина Глуповского междоусобия — 523.

Сказки — 15, 17, 22, 98, 131, 139, 164, 187, 189, 191, 200, 298, 314, 329—330, 334, 597—598, 627, 645, 675, 705—706, 710, 714, 716, 723, 724, 747, 750, 814, 818—819, 830—831.

Скрежет зубовой — 445, 786.

Смерть Пазухина — 182, 439, 719, 785.

Современная идиллия — 98, 184, 391—393, 397—398, 699, 702, 714, 753, 762, 768, 817, 821.

Соглашение (первоначальн. назв. «Съезд») — 786, 790.

Солнце и свиньи. (*Замысел «сказки»*) — 598, 819.

Старец — 431—432, 436, 776.

Старческое горе, или Непредвиденные последствия заблуждения ума — 706.

Счастливец — 807.

Съезд — см. Соглашение.

Тени — 719

Тетенька Анфиса Порфирьевна — 788.

Торжествующая свинья, или Разговор свиньи с правдой — 319, 750.

Тревоги и радости в Монрепо — 817.

Убежище Монрепо — 97—98, 109, 137, 231, 694, 699, 738, 764, 817, 835.

Фаршированная голова, см. Губернатор с фаршированной головой.

Хрелтюгин и его семейство — 784.

Христовая ночь — 191, 200, 725.

Христос воскрес! — 549, 809.

Яшенька — 786.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>С. Макашин.</i> Предисловие.	5
---	---

СРЕДИ ЛИТЕРАТОРОВ

<i>А. Я. Панаева</i> (Головачева). Из «Воспоминаний» .	45
<i>В. П. Буренин.</i> Воспоминания о М. Е. Салтыкове	50
<i>Н. Н. Мазуренко.</i> Из «Литературных воспоминаний»	64
<i>Н. А. Лейкин.</i> Из «Моих воспоминаний»	68
<i>Е. И. Жуковская.</i> Из воспоминаний о М. Е. Салтыкове	71
<i>П. В. Засодимский.</i> Мое знакомство с М. Е. Салтыковым	88
<i>С. Ф. Либрович.</i> Из воспоминаний «На книжном посту» I. (Забота Щедрина о продаже его книг) II. Шесть писем Щедрина	94
<i>В. Г. Короленко.</i> I. (Свидание с Щедриным) II. (Разговор Щедрина с издателем)	104
<i>Н. С. Русанов.</i> Из книги «На родине»	109
<i>Р. И. Сементковский.</i> I. Воспоминания. II. Из воспоминаний «Встречи и столкновения»	115
<i>А. Ф. Конш.</i> (Из воспоминаний). I. (Д. А. Милютин о Щедринах). II. (Беседа И. С. Тургенева с Щедриным). III. (А. Н. Островский о Щедринах)	123
<i>П. Д. Боборыкин.</i> I. Из книги «За полвека». II. «Монрепо» (Дума о Салтыкове).	126
<i>М. М. Ковалевский.</i> Из «Воспоминаний об И. С. Тургеневе»	138
<i>С. Н. Кривенко.</i> Из «Литературных воспоминаний» (Два отрывка о Салтыкове и Тургеневе)	140
<i>Л. Е. Оболенский.</i> Из «Литературных воспоминаний и характеристик»	143

<i>Н. Н. Златовратский.</i> Из «Литературных воспоминаний»	147
<i>Е. С. Некрасова.</i> Из писем и дневников	152
<i>Ив. Щеглов.</i> «Суровый добряк» (Из воспоминаний о М. Е. Салтыкове-Щедрине)	169
<i>Л. Ф. Пантелеев.</i> I. Из воспоминаний о М. Е. Салтыкове. II. (Разговор о М. Е. Салтыкове с Н. Г. Чернышевским)	178
<i>В. Р. Зотов.</i> После беседы с Михаилом Евграфовичем	201

В РЕДАКЦИИ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»

<i>Г. З. Елисеев.</i> (Из неоконченных воспоминаний о М. Е. Салтыкове)	205
<i>С. Н. Кривенко.</i> Из «Воспоминаний о М. Е. Салтыкове»	222
<i>А. М. Скабичевский.</i> (Несколько воспоминаний о М. Е. Салтыкове)	279
<i>Я. В. Абрамов.</i> Памяти М. Е. Салтыкова	286
<i>С. Н. Южаков.</i> М. Е. Салтыков как редактор (По личным воспоминаниям)	299
<i>Н. К. Михайловский.</i> I. Памяти Щедрина. II. Из книги «Критические опыты. II. Щедрин». III. Материалы для литературного портрета М. Е. Салтыкова. IV. Из книги «Литературные воспоминания и современная смута»	308

ВСТРЕЧИ С УЧАСТНИКАМИ РЕВОЛЮЦИОННОГО И СТУДЕНЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

<i>В. А. Обручев.</i> «Из пережитого» (Отрывок)	343
<i>С. Г. Стахевич.</i> Из воспоминаний «Среди политических преступников. Николай Гаврилович Чернышевский»	345
<i>Д. П. Сильчевский.</i> Мои встречи с М. Е. Салтыковым-Щедриным	348
<i>А. Н. Тверитинов.</i> Из книги «Об объявлении приговора Н. Г. Чернышевскому...» 1. (Бакунин о рассказе «Он!!»). 2. (У Салтыкова в Ницце).	357
<i>А. И. Корнилова-Мороз.</i> (Щедрин и доставка книг заключенным революционерам)	361

<i>Г. А. Лопатин.</i> <Разговор Щедрина с Тургеневым>	363
<i>А. В. Прибылев.</i> <У Щедрина>	365
<i>В. И. Дмитриева.</i> Из книги «Так было». 1. <Щедрин у гроба Достоевского>. 2. <«По примеру прошлых лет»>	367
<i>А. П. Корба.</i> <Щедрин о Л. А. Толстом>	371
<i>Н. П. Орлов (Северов).</i> М. Е. Салтыков (Щедрин).	373
<i>Л. Г. Дейч.</i> <Щедрин и группа «Освобождение труда»>	380
<i>В. Л. Бурцев.</i> Рассказы о Щедрина	385
<i>А. И. Ульянова-Елизарова.</i> <Александр Ульянов у Салтыкова-Щедрина>	399
<i>З. А. Венгерова.</i> Из записок современницы	402

НА СЛУЖБЕ

<i>К. С. Веселовский.</i> Из воспоминаний «Отголоски старой памяти»	409
<i>И. А. Пузыревский.</i> За что и как был выслан в Вятку М. Е. Салтыков <С приложением записей из дневника Н. В. Кукольника>	415
<i>А. В. Дружинин.</i> Из дневника 1856 года	424
<i>А. И. Артемьев.</i> Из дневника 1856—1857 годов	427
<i>С. Н. Егоров.</i> Воспоминания о М. Е. Салтыкове	440
<i>Г. А. Мачтет.</i> Из статьи «М. Е. Салтыков в Рязани»	454
<i>Д. А. Бырдин.</i> <У М. Е. Салтыкова в Твери>	471
<i>И. М. М (ихайлов).</i> М. Е. Салтыков в Туле (Из воспоминаний сослуживца)	475
<i>Н. Н. Кузнецов.</i> Воспоминания о М. Е. Салтыкове-Щедрина (1865—1868)	504
<i>М. И. Семевский.</i> Михаил Евграфович Салтыков (6 февраля 1882 г.)	523

В КРУГУ СЕМЬИ, ДРУЗЕЙ И ЗНАКОМЫХ

<i>Л. Н. Спасская.</i> <М. Е. Салтыков и его вятские друзья Ионины>	533
<i>В. И. Танеев.</i> Русский писатель М. Е. Салтыков (Езоп)	553
<i>Б. Э. Кетриц.</i> Встреча с М. Е. Салтыковым	581
<i>Е. Ф. Буринский.</i> Два слова о М. Е. Салтыкове	584

<i>Н. А. Белоголовый.</i> Из воспоминаний о М. Е. Салтыкове	588
<i>В. М. Лазаревский.</i> 〈Запись разговора с М. Е. Салтыковым〉	628
<i>В. А. Оболенский.</i> М. Е. Салтыков в своей семье (Воспоминания случайного знакомого)	631
<i>Алексей Н. Веселовский.</i> 〈М. Е. Салтыков и С. А. Юрьев〉	642
<i>А. М. Унковский.</i> 〈Программа лекции-воспоминаний о М. Е. Салтыкове〉	646
<i>М. А. Унковский.</i> М. Е. Салтыков и его семья по рассказам моего отца и личным воспоминаниям	657
<i>С. А. Унковская.</i> Мои воспоминания о Михаиле Евграфовиче Салтыкове-Щедрине	669
К о м м е н т а р и и	681
У к а з а т е л ь и м е н	839
А л ф а в и т н ы й у к а з а т е л ь п р о и з в е д е н и й М. Е. Салтыкова-Щедрина	872

*Салтыков-Щедрин в воспоминаниях
современников*

Редактор *М. Сергиевская*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *М. Позднякова*

Корректор *Е. Мезис*

Сдано в набор 8/VII 1957 г.

Подписано к печати 31/X 1957 г.

Бумага 84×108¹/₃₂—27,5 печ. л.=45,1 усл. печ. л.
47,68 уч.-изд. л.+12 вклеек=48,28 л. Тираж 75 000 экз.
Заказ № 2259. Цена 15 р.

Гослитиздат

Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Типография № 2 им. Евг. Соколовой

УПП Ленсовнархоза.

Ленинград, Измайловский пр., 29